Лев Толстой

Литературное наследство

В двух книгах этого тома печатаются статьи и документальные публикации, подготовленные в связи с пятидесятилетием смерти Толстого.

Читатели найдут здесь «Слово о Толстом» Леонида Леонова, доклад В. В. Ермилова «Толстой-художник», прочитанный на Международной конференции в Венеции, очерк мировоззрения Толстого, написанный В. Ф. Асмусом, статьи о значении художественных открытий Толстого для русской и мировой литературы, обзоры основных итогов изучения Толстого в советское время.

В разделе «Из истории творчества» публикуются рукописи Толстого, относящиеся к его крупнейшим художественным и публицистическим произведениям—повестям «Казаки» и «Холстомер», романам «Война и мир» и «Анна Каренина», статьям «Царство божие внутри вас», «Рабство нашего времени» и др. Здесь же печатается начало незавершенного рассказа «Записки священника».

Публикация 1145 пословиц и поговорок, приведенных в сочинениях Толстого, впервые во всей полноте демонстрирует масштабы и постоянство интереса писателя к одной из наиболее богатых форм языкового творчества народа.

В биографической части тома помещены три очерка жизни Толстого, составленные со слов писателя его женой, 34 неизвестных письма Толстого и группа еще не бывших в печати мемуаров о нем.

Выдающийся интерес представляет дневник М. С. Сухотина. Записи дневника содержат новые и важные свидетельства острого интереса, с каким следил Толстой за событиями революции 1905—1907 гг.

Впервые на русском языке появляется замечательная статья старшей дочери Толстого Татьяны Львовны «О смерти моего отца и об отдаленных причинах его ухода».

В работе «Политическая борьба вокруг смерти Толстого» публикуются документы, навлеченные из архивов царской полиции; в их числе — листовки социал-демократов, одна из которых написана Я. М. Свердловым.

Из документов советского времени печатается неизданная лекция А. В. Луначарского 1928 г. «Толстой и наша современность».

В томе 200 художественных и документальных иллюстраций в тексте и 4 вклейки.

Литературное наследство

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

КНИГА ПЕРВАЯ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
им. А. М. ГОРЬКОГО

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

ТОМ ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТЫЙ

КНИГА ПЕРВАЯ

РЕДАКЦИЯ
И. И. АНИСИМОВ (главн. ред.), Д. Д. БЛАГОЙ,
А. С. БУШМИН, В. В. ВИНОГРАДОВ, А. Н. ДУБОВИКОВ,
И. С. ЗИЛЬБЕРШТЕЙН, С. А. МАКАШИН,
К. Д. МУРАТОВА, Ю. Г. ОКСМАН, Р. М. САМАРИН,
Л. И. ТИМОФЕЕВ, М. Б. ХРАПЧЕНКО, В. Р. ЩЕРБИНА
и Я. Е. ЭЛЬСБЕРГ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
1 · 9 · МОСКВА · 6 · 1

ХРАНИТЬ НАСЛЕДСТВО – ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ
ЕЩЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ НАСЛЕДСТВОМ
ЛЕНИН

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

КНИГА ПЕРВАЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
1 · 9 · МОСКВА · 6 · 1

Редактор тома *С. А. Макашин*

ГОД ИЗДАНИЯ ТРИДЦАТЫЙ

Л. Н. ТОЛСТОЙ

Рисунок Н. Л. Аронсона, 1901 г.

Музей Толстого, Москва

ОТ РЕДАКЦИИ

20 ноября 1960 г. минуло полвека со дня смерти Толстого.

Настоящий том «Литературного наследства», выходящий в двух книгах, задуман и создан в связи с этой знаменательной датой в календаре мировой культуры.

В основных своих чертах «толстовский том» построен по типу, который определился в ранее выпущенных тематических сборниках «Литературного наследства». Документально-архивные *публикации* сочетаются в нем со *статьями* историко-литературного и проблемно-теоретического характера.

Традицией больших литературных годовщин является участие в них крупных писателей современности. Следуя этой традиции, редакция открывает том речью Л. М. Леонова — «Слово о Толстом», произнесенной на торжественном заседании в Большом театре СССР.

Вслед за тем печатается доклад В. В. Ермилова «Толстой-художник». Доклад был прочитан на международной конференции памяти Толстого в Венеции.

Из множества важных задач, стоящих перед современными исследователями Толстого, статьи первого раздела привлекают внимание к двум — изучению общественно-политических и эстетических взглядов Толстого и выяснению значения его художественных открытий для развития реализма в русской и мировой литературе. Разработке этих задач посвящены статьи В. Ф. Асмуса «Мировоззрение Толстого», Л. Д. Опульской «Толстой и русские писатели конца XIX — начала XX в.» и Т. Л. Мотылевой «Толстой и современные зарубежные писатели». В заключающей первый раздел статье К. Н. Ломунова и Б. С. Мейлаха «О некоторых проблемах изучения Толстого» дается обзор основных тенденций советского толстоведения за сорок лет. Во второй книге тома читатель найдет обширную работу, в которой достижения советского литературоведения в разработке наследия Толстого освещаются с другой, не менее важной стороны. Это сделано в коллективно написанном, критическом разборе недавно завершенного монументального издания собрания сочинений Толстого в 90 томах.

Остальные разделы тома заняты разнообразными документально-текстовыми материалами.

Обширную группу составляют публикации рукописей Толстого. В разделе Из истории творчества печатаются первоначальные наброски, редакции и варианты, относящиеся к крупнейшим художественным, публицистическим и литературно-критическим произведениям Толстого — повестям «Казаки» и «Холстомер», романам «Война и мир» и «Анна Каренина», статьям «Царство божие внутри вас», «Рабство нашего времени», «О Шекспире и о драме» и др. Здесь же публикуется начало незавершенного рассказа Толстого 1909 г. «Записки священника».

Для данного раздела редакция стремилась отобрать преимущественно те черновые рукописи, публикация которых могла быть дана в определенной *системе изучения*. Материалы печатаются в сопровождении исследовательских статей и комментариев, выясняющих место и значение помещаемых толстовских текстов в общей истории создания того или иного произведения.

К материалам, вводящим в творческую лабораторию Толстого, относится также публикация 1145 пословиц и поговорок, вошедших в толстовские произведения, письма и дневники. Этот список демонстрирует, впервые с такой полнотой постоянный, увлеченный интерес Толстого к одной из наиболее богатых форм языкового творчества русского народа так же, как и других народов.

Биографическая часть тома открывается публикацией трех очерков жизни Толстого, составленных со слов писателя его женой Софьей Андреевной, им самим исправленных и дополненных. Очерки эти, представляющие большую ценность как для биографии, так отчасти и для истории творчества Толстого, до сих пор полностью не издавались. Затем печатаются 34 неизвестных письма Толстого к разным лицам. Письма относятся к 1858—1909 гг.

Большое место отведено мемуарам и дневникам современников. При отборе для печати материалов этой группы (а их было собрано много) редакция руководствовалась критериями наибольшей достоверности и содержательности свидетельств. Печатаются, в основном, записи людей, которые долгое время находились рядом с Толстым

и имели возможность фиксировать его разговоры и события из жизни сразу же непосредственно. Таковы рукописи И. М. Ивакина и М. С. Сухотина, публикация которых образует главное содержание раздела Воспоминания и дневники.

Записки И. М. Ивакина — учителя детей Толстых относятся к 1880—1886 гг., то есть к тем годам жизни писателя, о которых не сохранилось почти никаких других мемуарных и дневниковых источников. Ивакин не только описывает образ жизни Толстого в то время. В записках содержатся многочисленные данные для суждений о том, как понимал Толстой значение отдельных произведений русской и мировой литературы, как оценивал он деятельность тех или иных писателей. Читатель найдет здесь высказывания Толстого о творчестве Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Фета, Чехова, Горького, а также Бальзака, Мопассана и многих других писателей.

Значительный интерес для исследователей позднего Толстого представляет дневник его зятя М. С. Сухотина, относящийся к 1900—1910 гг. Особенно важны записи дневника, сделанные в дни революции 1905—1907 гг. Они содержат новые и принципиально важные свидетельства острого, глубоко взволнованного интереса, с каким Толстой следил за происходившими в стране революционными событиями, осмысливая их порой, как «мучительные роды» «хорошего, великого, сильного» будущего.

Впервые на русском языке печатается статья старшей дочери Толстого Татьяны Львовны Сухотиной «О смерти моего отца и об отдаленных причинах его ухода». Основная ценность этой полумемуарной статьи определяется стремлением автора объективно охарактеризовать «семейную драму» Толстого как одну из причин такого сложного по своим мотивам факта в биографии Толстого, как его уход из Ясной Поляны на 83-м году жизни.

Смерть Толстого совпала с новым подъемом освободительного движения в России и вызвала в этих условиях крутую волну студенческих и рабочих выступлений в ноябрьско-декабрьские дни 1910 г. В работе «Политическая борьба вокруг смерти Толстого» печатается много новых документов, относящихся к этой теме: листовки социал-демократических организаций, письма участников студенческих демонстраций, распоряжения и рапорты властей и т. д. Все эти материалы извлечены из архивных фондов царской полиции. Читатель найдет в них документальный комментарий к таким статьям В. И. Ленина, написанным в 1910 г., как «Л. Н. Толстой и современное рабочее движение», «Толстой и пролетарская борьба», «Начало демонстраций».

Помимо материалов дореволюционного происхождения в томе печатается один документ советского времени. Это неопубликованная лекция А. В. Луначарского 1928 г. «Толстой и наша современность».

* * *

Редакция «Литературного наследства» приносит свою благодарность Государственному музею Л. Н. Толстого, всем его сотрудникам, оказавшим помощь в работе над этим изданием. Особо следует отметить сотрудничество в настоящем томе А. И. Шифмана.

На всем протяжении работы редакция неизменно пользовалась авторитетными советами и указаниями известных исследователей Толстого Н. К. Гудзия и Н. Н. Гусева, за что приносит им свою глубокую признательность.

В редакционной работе над томом участвовала К. П. Богаевская. В редактировании отдельных публикаций участвовали также А. Н. Дубовиков, Л. М. Розенблюм и Н. Д. Эфрос. Подбор иллюстраций произведен Т. Г. Динесман и Н. Д. Эфрос.

СЛОВО О ТОЛСТОМ

РЕЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ Л. М. ЛЕОНОВЫМ 19 НОЯБРЯ 1960 г. В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ СССР НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ, ПОСВЯЩЕННОМ 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ТОЛСТОГО

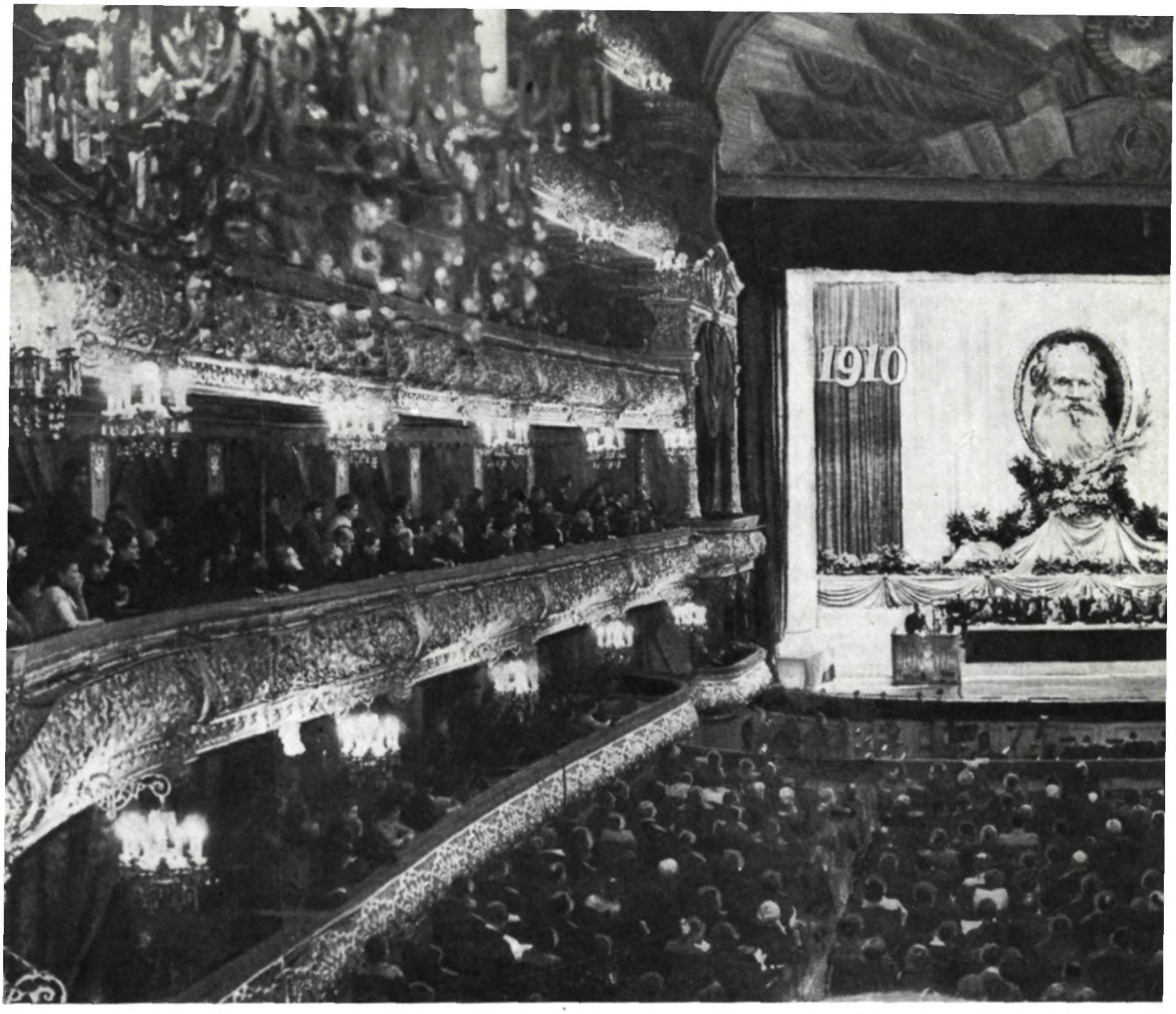
Уважаемые гости, дорогие друзья, товарищи!

Полвека назад, в канун зимы 1910 года, у нас в стране произошло событие, которое глубоко взволновало современников. На исходе одной ненастной ночи писатель Лев Толстой ушел в неизвестность из своей яснополянской усадьбы. Кроме немногих доверенных лиц, никто в России не знал ни адреса, ни истинной причины, заставившей его покинуть насиженное гнездо.

Четырехдневное скитание, порой под проливным дождем, приводит великого старца на безвестный полустанок. Болезнь, чужая койка, огласка... и вот приезжие деятели, духовенство, мужики, «синематографисты», жандармы толпятся поодаль бревенчатого строения. Там, за стеной, один на один со смертью Лев Толстой. Все торопятся делать, что им положено в беде. Старец Варсонофий рвется вовнутрь благословить отлученного от церкви мыслителя до его отхода в дальний невозвратный путь; из Москвы поездом № 3 Рязано-Уральской железной дороги срочным грузом высылаются в Астапово для больного писателя шесть пудов лекарств. Смятение отринутых им церкви и цивилизации. Затем роковая ночь, черная мгла в окнах. Морфий, камфара, кислород. Последний глоток воды, в дорогу. Без четверти шесть Гольденвейзер прошепчет в форточку печальную весть, которая к рассвету обежит мир. Закатилось...

Европа шлет словесные венки на могилу гения. В одну строку с Гомером, Лютером и Буддой. А в Ясной Поляне белесая пасмурная тишина. Мерзлая комковатая дорога под можжевельником, сотня стражников переминается у ворот, вокруг с непокрытой головой Россия. «Несут, несут...» Могила смыкает свое объятие. К потемкам на бугре посреди девяти молодых дубков вырастает холмик, который сближает самые несхожие биографии... Тогда стоял ноябрь, самый сумеречный месяц, пожалуй, наиболее сумрачного в России года, считая с начала века. День шел на убыль, круче примораживало, но передовая русская мысль уже провидела рассвет в этом подобии ночи.

Так бывает на бору после паденья хвойного великана: длинный гул стелется по земле и потом — листва, птица, самые пилы затихают на время. Лес становится ниже, человечество победнéй. Длительностью наступившего безмолвия мерится значение ушедшего для остающихся. Моему поколению дважды, четырнадцать и двадцать шесть лет спустя, довелось испытать эту скорбь одиночества, которая, как любое всенародное событие, делает родину тесным домом под единой кровлей. Наличие подобных людей на капитанском мостике национальной мысли внушает современникам доверие к настоящему и бесстрашие к будущему. Роль Толстого в нашей общественной мысли неоднократно подчеркивалась русскими писателями. За десять лет перед смертью Толстого Чехов писал из Ялты: «...боюсь смерти Толстого. Если бы он умер, у меня в жизни образовалось



ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 19 НОЯБРЯ 1960 г. В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ СССР

бы большое пустое место... литература обратилась бы в беспастушное стадо». Двадцатью годами раньше об этом же думал Иван Тургенев и за два года до толстовской кончины Александр Блок. Смерть Толстого не только у передовой интеллигенции вызвала чувство сиротства, даже обезглавленности. Утрату Толстого ощутила и низовая Россия... Правда, в тогдашних условиях самые прославленные литературные творения шли в низы долгими окольными путями; зачастую простой народ составлял представление о живом писателе лишь по молве об его общественном поведении. А Толстой всю свою жизнь прожил на виду у народа, раскрываясь до тайников то под собственным именем, то под псевдонимом Оленина, Левина, Нехлюдова, — всегда идя против господствующих ветров и течений, борясь с неправедным богатством, праздностью и насилием, с накопившимися уродствами одряхлевшей цивилизации. И так как долголетием была отмечена жизнь писателя, передовые умы из низов привыкли к утешной мысли, что неподкупное сердце бьется вблизи, зоркое око видит их каторжный труд и лишения, чуткое ухо слышит их стон и песню, и, значит, со временем все это отольется полноценной золотинкой в сообщую сокровищницу завтрашней преображенной земли.

Думы и вдохновения, преодоленные сомнения и надежды эпохи — и составляют золото литератур, живучесть которых целиком зависит от того, насколько они обеспечены историческим опытом современников, для таланта — казной всенародной, для гения — общечеловеческой. Все

В МОСКВЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ТОЛСТОГО

наши произведения, даже любимцев и баловней века, опускаются вместе с их создателями в могилу. Книги должны отлежать свой срок в земле, которая там, впотьмах, пока наверху шумит и ликует молодое, безжалостно сдирает с них кудри и румяна моды, шпаклевку накладного оптимизма, как это произошло с Марлинским, Кукольником, Озеровым,— им при жизни были выданы талоны на бессмертие... А то еще был в пушкинскую пору некий поэт Тимофеев, провозглашенный Сенковским за величайшего гения! Ему принадлежит неизгладимое сочинение под названием «Борода ль моя, бородушка!..». Словом, только чистому золоту дано выдержать испытание забвением.

В числе немногих произведения Толстого вовсе не подвергались этой пробе временем, как и Пушкина, которого повсеместно народ наш как бы усыновил навечно. «На холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою». Бывают стихи, которые во всей национальной поэзии пишутся однажды — и потом века без износа служат потомкам камертоном для настройки лир. Оба этих человека занимают особое место в русском Пантеоне. Подобно тому, как Пушкин открыл нам волшебную музыку родной речи, Толстой с ее помощью беспримерно выразил заветные дела, радости и печали русских, в том числе их былинный поединок с многоязычной поднаполеоновской Европой! — а на их историческом образце показал столько раз проверенную с тех пор механику героического преображения в борьбе за правое дело — как наций, так и отдельных

мирных душ вообще. Все внятно автору «Войны и мира», «Казаков», «Анны Карениной» и «Воскресения» — бури и неощутимый ветерок, столь громадное, что не умещается в нормальном зрачке, и мнимые мелочи, ускользающие от рассеянного взора, полдневное величие и вечер человеческой личности. Кроме того, противоречивая и сложная биография Толстого помогла ему показать людское сердце в самых неожиданных сеченьях, и, конечно, после Руссо никто еще не распахивал его читателю до такой степени настежь. Сегодня, с полувекового расстоянья, Толстой без всякого подсвечиванья виден нам во весь исполинский рост не только свершений, но и колебаний, крайностей и заблуждений своих, неминуемых для искателей правды, которая никому пока не попадалась в чистопородном виде.

Облик этого человека не умещается в рамки даже выдающихся литературных судеб. Подобно тому, как о Пушкине, по слову Белинского, стыдно говорить смиренной прозой, имя Толстого требует сегодня праздничного словесного обрамления. Имя это входит в список едва ли полной дюжины великих мастеров слова, начиная с античной колыбели культуры нашей. Самый труд его представляется нам поистине геркулесовым подвигом,— он весь, как гора на столбовой дороге прогресса, с высоты которой видна вековая, иссеченная тропами даль человеческой мысли. Все они там, от самого Фалеса — собеседники Толстого!.. И здесь мне полагалось бы остановиться на немеркнущей пленительности толстовских образов, и в частности провести хрестоматийные параллели между Татьяной Лариной и Наташей Ростовой; сглаживая трудности духовных исканий Толстого, полагалось бы помянуть вскользь про его всепоглощающий пантеизм и одновременно подчеркнуть столь основательное у Толстого и несколько чрезмерно часто упоминаемое сегодня знание жизни, которое, по правде говоря, само собою вытекает не только из подразумевающейся писательской честности, но также и — профессиональной потребности нашего ремесла, то есть — проникновенье в жизнь, что пная его страничка кажется пригоршней неостылого житейского вещества, выхваченного из глубины тогдашней действительности. В связи с этим было бы важно еще раз раскрыть замечание Ленина о сильнейшей разоблачительной стороне толстовского творчества, которою является его «самый трезвый реализм, срыванье всех и всяческих масок».

Для нас, нынешних литераторов, полезно было бы также остановиться на поразительной точности толстовского мышления и — подгонки к нему толстовского языка,— порою узловатого и терпкого, включающего в себя целый вихрь непроизнесенных оценок и психологических интонаций, языка столь емкого, с таким гулким эхом, что позволяет читателю не только спускаться в глубь страницы по ступенькам строк, но и по прочтении книги долго бродить в ее волшебных окрестностях,— пусть иногда затрудненного толстовского языка, заставляющего, по отзыву Чехова, карабкаться на отвесные кручи словесных периодов, что всякий раз с избытком окупается открывающимся сверху кругозором. Не менее уместно было бы перечислить причины столь могучего оплодотворяющего влияния Толстого на европейские литературы и заодно показать на ряде блистательных примеров, как поэтические свершения писателя повлияли на наш национальный характер и как в его собственном творчестве проявились размах, упорство, глубина и другие качества русской натуры. Все это необходимо для понимания исключительного толстовского места в потоке мировой культуры, чем и объясняется такое множество книг о толстовской прозе как на русском, так и на иностранных языках.

Не меньше, главным образом за границей, написано и о прочих, гораздо реже раскрываемых нами томах Толстого. Причем некоторые заграничные исследователи преследуют довольно откровенную цель —

сделать Толстого провозвестником идей, которые, на наш взгляд, никак не вяжутся с истинными воззрениями писателя на современные ему законы общества и цивилизацию. Отчасти это случилось вследствие затянувшегося нашего невнимания к той части наследия писателя, которая находится за пределами его главной прозы. Мы сами как бы отдавали писателя на произвольное, зачастую недобросовестное истолкование его духовного искательства. Некоторые обострившиеся обстоятельства нашего времени надоумили меня даже в моем кратчайшем раздумье о Толстом заняться как раз этой мнимо-второстепенной темой, потому что, как и главная толстовская проза, это тоже окна в большой, с анфиладами и галереями, душевный дом писателя, только окна без занавесок. Сюда так и просится название малой или учительной прозы Толстого. В отличие от основных его шедевров, каждый из которых точно прикреплен к определенным этапам российской действительности, эти чисто отвлеченные произведения не датированы никак. Сюда входят небольшие по размеру рассказы, исполненные в сдержанной форме четьи-минейных легенд и преданий, местами с аскетическим отказом от авторского почерка, и всегда — образцы жанрового лаконизма и простоты. В щемяще-человечном говоре их слышится столь не свойственный Толстому голос странника, хлебнувшего из обманчивой чаши бытия и обретшего, наконец, покой от преходящих обольщений света. У всех бывалых народов найдется по бочонку такой живой воды, к которому и помимо кораблекрушений полезно иной раз прильнуть пересохшими устами. Остается впечатление, что при помощи этих маленьких, на один глоток, сказаний Толстой стремился утолить извечную человеческую жажду правды и тем самым начертать подобие религиозно-нравственного кодекса, способного разрешить все социальные, международные, семейные и прочие, на века вперед, невзгоды, скопившиеся в людском обиходе от длительного нарушения ими некоей божественной правды.

За минувшее полстолетие создалось определенное неписаное отношение к этим рассказам: наравне с пространной церковно-философской публицистикой Толстого они представляют для читателя менее интересную часть почти необъятного толстовского наследия. Вместе с тем, в плане обычной практики, многие из помянутых произведений до такой степени годятся в расширенные эпиграфы к каким-то так и ненаписанным романам, что их можно считать зернами громадных, так и не проросших замыслов писателя. Литературный труд у подобных Толстому скорее суровое призвание, чем профессия,— как, впрочем, и будет оно обстоять у всех тружеников, когда они при коммунизме научатся творчески относиться к своей человеческой должности на земле. Книги таких авторов являются своеобразными отчетами о работе над своею гигантской личностью,— главы их духовной биографии. Насколько дано мне понимать, каждый большой художник, помимо своей главной темы, включаемой им в интеллектуальную повестку века, сам по себе является носителем личной, иногда безупречно спрятанной проблемы, сложный душевный узел которой он и развязывает на протяжении всего творческого пути. Мне представляется даже, что это у них бывает сплетено воедино, причем наличие одного непременно свидетельствует о присутствии другого,— так по кимберлитовым образованиям узнается месторождение алмазов. Подобно общеизвестной трагической проблеме Гоголя, существует проблема Толстого: в ней и лежит разгадка — от жизни или, напротив, к жизни уходил Толстой из дому за полторы недели до кончины...

Можно спорить, в какой степени правомерно столь вольное толкование ведущей толстовской темы. Но даже в ту, насквозь скорбную неделю, ровно полвека назад, пока еще не завяли цветы на свежей толстовской могиле, настолько расходились мнения современников о нем, что в один

и тот же день погребенья Гауптман провозгласил Толстого величайшим христианином, а Метерлинк — величайшим атеистом века: единственно правильное в обоих суждениях — эпитет. Тем более, на мой взгляд, потомок имеет право на самостоятельное понимание явления, предстающего ему во весь рост без досадных подробностей и в полувековой дальности,— пусть даже на толкование запоздалое и, верно, столь же несовершенное!

Кроме мглистого утра в окне да шуршанья газетного листа с траурными сообщениями о смерти писателя, мне, десятилетнему мальчику, врезались в память тогдашние разговоры среди взрослых, пестрая многоголосица молвы о толстовском уходе, происходившая не из одной лишь обывательской любознательности. Все понимали, что этим актом завершается многолетнее и непонятное толстовское единоборство с самим собою, происходившее на глазах как у европейски мыслящего мира, так и прозревавшей низовой России. В той среде, где я рос, событие это живо обсуждалось как первостепенная общественная загадка; и одни присяжные чтецы газет видели в этом акте попытку мудреца избавиться от неправедных излишеств своей среды, от стеснительных житейских обуз,— другие же толкователи, с уклоном в богословскую умственность, смотрели на уход Толстого, как на душеспасительное бегство от суетной и бесчестно сытой жизни к желанному покою наедине с душою, а возможно, и с богом. И те, и другие догадки выглядели вполне правдоподобно, в свете всегдашних толстовских настроений, кроме самого адреса толстовского ухода.

Вспоминаю свои путаные юношеские и чуть позднейшие недоумения по поводу учительной толстовской литературы. Прежде всего — что именно толкало этого сложного, своенравного, с мировым признанием художника, каждая строка которого тотчас по написании появлялась в десятках иностранных переводов, обратиться, казалось бы, к более доходчивому, как частенько полагают и в наши дни, а на деле к совершенно проигрышному, вследствие своей откровенной упрощенности, методу влияния на современников. Причина представлялась мне в том, что учительные рассказы Толстого, как и статьи этого раздела, писались, хотя и вперебивку с основными его произведениями, все же главным образом во второй половине творческой деятельности, когда уже редел такой дремучий вначале лес жизни и, в предвиденье художника пока, мглистая опушка заключительной неизвестности таинственно просвечивала впереди. Думается, здесь где-то периодически и зарождалось у Толстого содрогание перед заключительной неизбежностью, самую волю к жизни поглощающий «арзамасский страх», названный так по городу, где впервые случилось это. Собственно, уж близилось... а тяжеловесное перо художника никак не поспевало за работой жадной мысли, которая ищет всего коснуться, чтобы, осмыслив, обогатив высшим разуменьем, устремиться вперед,— которая «хочет налету засечь протекающие сквозь нас вещи в мгновение, чтобы определить свои координаты в потоке бытия, без чего можно так безнадежно заблудиться в этом слепительном и мглистом пространстве». Этими словами думалось мне в ту пору, приблизительно так же, только проще, думается и теперь. Истинное произведение искусства, произведение слова — в особенности, есть всегда изобретение по форме и открытие по содержанию, а на это требуется время. В отличие от тыквы, за один сезон достигающей похвальных результатов, произведение словесного искусства выращивается, как плодовое дерево; подобно любви, оно начинается с робкого предчувствия, с семечка в душевной борозде. И потом надо долго питать его соками души, бережно холить молодую крону, однако — с безжалостной прорезкой загущений и в постоянной тревоге за урожай, столь ненадежный в нашем суровом континентальном климате... Словом, не потому ли Толстой со смиренным лукошком сеятеля выходил на ниву

народную, что торопился до заката опростать переполненный зерном кошель, пускай под снег, в непропаханную еще людскую целину.

Тем более торопился он, что уж и некогда становилось: зарницами надвигающейся грозы то и дело посверкивало небо страны. Приближалась всеобщая ломка старых устоев,— бесшумные, но такие сердитые гребешки все обильней вскипали на волне моря народного. С каждым годом ощутимей под ногою и в сознании толстовских современников происходили подвижки материковой, вчера еще — верилось — столь незыблемой в России почвы!.. Во второй половине девяностых годов бунтарское пламя с рабочих окраин перекидывается на российскую деревню. В литературных салонах шепотком поговаривают, что вот «идут мужики и несут топоры... Что-то страшное будет!». Первомученики революции чредою восходят на эшафот. Невежество, нищета и каторжный труд низов — все это тяжким грузом давит на совесть писателя. Еще в 65 году, накануне очередной российской голодухи, Толстой глухо роняет в одном письме к Фету — дескать, в случае чего, «и нам достанется!». Нам — то есть правящим сословиям и церкви!.. Тот же жуткий предвестный холодок будущего не менее остро ощущал и другой, чуть постарше, сверстник Толстого по классической литературе русской, у которого страх перед грядущим так явственно отразился в одном не худшем его романе. Достоевский мучился страхом — что же станет с человеческой душою, если древние своды всемирного христианства рухнут на цивилизацию, которая за две тысячи лет так прочно и плодотворно обосновалась под ними. В то же самое время Толстой, подобно библейскому Самсону, в конечном счете — на самого себя, на собственный свой сословный мир! — стремился раздвинуть стеснительные ему, подернутые сеткой исторического склероза колонны. Он острее своего великого современника чувствовал неотложность общественной перестройки, в первую очередь — для пресыщенного привилегированного сословия, к которому принадлежал, а не только для трудового люда, который, по Толстому, и есть истинные дрожжи жизни и который во всех религиях служит почему-то главным объектом опеки и воспитания. Жить по-старому становилось все трудней Толстому, занятие это мнилось ему все горше и бесчестней. «Куда ни выйду — стыд и страдание!» — вырывается однажды, как брызга, из-под его пера. А вот он на верховой прогулке проезжает мимо сутулых, безличных, под слоем придорожной пыли, мужиков. Они бьют камень на обочине... «Словно сквозь строй прогнали!»,— по привычке, кровью сердца, записывает про себя Толстой в дневнике. Поразительно вообще, до какой степени сильно и ежемгновенно этот великий человек чувствует на себе пристальное... нет, даже в лютых бедах не заплаканное, лишь прищуренное око народное, око нищего младшего брата, в котором сквозь подавленную гневную усмешку теплится недоверчивое удивление перед человеческой чертвостью. Можно живо представить, с каким презрительным вниманием люди Черной Африки смотрят сегодня на старших, осиянных светом христианского гуманизма, белых братьев, которые, нагостившись досыта, не желают убираться восвояси из их скорбных хижин.

Работа осмысления жизни началась у Толстого еще в юности — с раздумий о себе, с попыток самоограниченья, с тех общих запросов бытия, на которые умному бессильны ответить самые осведомленные и самонадеянные науки. Даже в годы шумной молодости под радужной пленкой светских удовольствий, не затухая ни на миг, бродит у него, тлеет эта искорка негодованья на себя за телесные и нравственные слабости. В пятнадцать лет мальчик Толстой назовет себя учеником Руссо, и эта робкая вначале искра самоанализа в полную силу разгорится в зрелые годы, когда писатель вслед за великим энциклопедистом, на не меньшем уровне человековедения создаст еще одну «Исповедь» — пристрастный, третьей

степени допрос самого себя, пожалуй — беспощадней, чем у Августина, изобретателя этого редкого литературного жанра. Можно приблизительно датировать начало перелома от мечты к ее практическому осуществленью: когда и без того недолгое левинское счастье впервые омрачилось думой о месте человека в жизни, и снова просветлело лишь к концу романа от спасительного прикосновения к патриархальной земледельческой идиллии. Тезисом Левина становится — «дать возможность миллионам понять одни и те же истины, чтобы по ним создать жизнь души, единственную, ради которой стоит жить». Это все одно, как клятва себе — любой ценою уяснить смысл бытия; к своему заданию Толстой и Левин приступают с решимостью горько и больно наказать себя, самовольным отнятием дара жизни покарать себя в случае неуменья отыскать ей достойное примененье. И так властно охватила Толстого эта одержимость — обрести истину для всех ближних на земле, так сильна стала уверенность в правильности избранного направленья, что в тридцать семь лет в той же заветной тетради Толстой задумывается о создании новой, «соответствующей развитию человека» религии. Возможно, даже одного этого порыва и хватило бы гиганту на выполненье своего обета — кабы пораньше, в условиях, скажем, натурального хозяйства, когда иные пророки—единственно огнем проповеди, бичом строгости, наглядным примером успешно добивались известного душевного и материального благополучия своей кочевой паствы... Отныне бродившая в глубинах искра прожигает бумагу под пером художника и пробивается пламенем наружу. Образуется так называемое вероучение Толстого.

Бросается в глаза смутительное родство эпилогов в творческих биографиях Гоголя и Толстого. Оба к концу жизни предались неистовству христианства в ущерб основной поэтической стихии, обоих пытались вернуть к их прерванной песне, у обоих образовались менее — или вовсе не читаемые тома, оба жгли написанное ими в лучшую пору: один — вещественно, в печурке на Никитском бульваре, другой — жгучим пламенем хулы на себя в «Исповеди», когда называл свои шедевры корыстным бездельем или напрасным умствованием. И, наконец, у обоих эта деятельность вызвала почти одинаково резкое осуждение со стороны передовых умов своего времени. К слову, Толстой высоко, по пятибалльной системе оценил некоторые места из гоголевской «Переписки с друзьями». Однако, при внешнем сходстве этих духовно-философских поисков, вообще свойственных большой русской литературе, совсем несхожий огонь сжигал обоих. Трагическое письмо Гоголя к черному священнику Матвею бросает свет на клинику сожженья «Мертвых душ», на снедавший Гоголя, не только литературный, недуг. Тем разительней, на мой взгляд, отличие этого полуночного каминного пламени от полдневного толстовского костра, не помешавшего ему в конце жизни создать столь блистательное «Воскресение»... Впрочем, профессиональный литератор отыщет во второй части этого романа как бы зачерненные места, где этот пламень совести и гнева лизал толстовское вдохновенье в ущерб живому изобретательному чувству. И если Гоголь во мглу и схиму уходил от людей, Толстого всю жизнь влекло к вечному празднику созидательной радости, в разлив простонародной стихии.

Понятно, какая трудная, просто опасная задача — в беглом очерке рассудить проблему великого, за полвека непревзойденного писателя. Почти всякая попытка окинуть взором явление подобного масштаба рисует скорее тихие возможности самого толкователя с его скромным инструментарием, нежели возвышенный объект предпринятых рассуждений. В сущности оно и не надо бы!.. Но именно толстовское творчество породило в мире не затухшие пока идейные разномыслия, выходящие далеко за границу чистого литературоведения. Не только у нас отмечается сегодня

ТОЛСТОЙ В СВОЕМ КАБИНЕТЕ

Пастель В. Н. Мешкова, 1910 г.

Над подписью художника рукой Толстого: «Лев Толстой, Ясная Поляна 1910, 17 марта»

Музей Толстого, Москва

память Толстого, и, может быть, в этот самый час где-то и чей-то озлобленный ум постарается набором подобранных толстовских цитат нанести моральный урон нашей родине, к которой Лев Толстой всей своею сущностью принадлежал и которую так возвеличил. Наверно, нападки эти последуют именно с позиций так называемого толстовского христианства, развитой Толстым евангельской строки о непротивлении злу насилием, которая сблизила толстовский гуманизм с гораздо более древним нравственным кодексом, зародившимся в одной благословенной стране вечного лета, вдалеке от наших северных стуж и нашествий, под защитой высочайшей горной стены мира... С таким же осуждением будут помянуты, конечно, и неминуемые этапы, через которые в этом грешном запятнанном мире проходила социалистическая революция, без которой, кстати, такая пестрая сегодня, радужно-веселая карта колониальных Азии и Африки доныне была бы покрашена в два-три унылых европейских тона. Ни в одном из упомянутых почтенных источников не указано, однако, как и чем следует живым защищать свои гнезда и детишек от столь неутомимого злодейства, от вчерашнего дня, который, судя по всему, не прочь бы зверски хлопнуть дверью, навсегда покидая планету. В этих условиях держаться непротивления можно только в случае, если кто-то другой, большой и отважный друг, примет на себя грех и подвиг сопротивленья всемирному злу во имя всех униженных и угнетенных на свете.

Признаться, странное же было у писателя Льва Николаевича Толстого христианство, обряды которого он отвергнул в семнадцать лет,— сомнительное христианство Толстого, от которого официально церковь вынуждена защищаться отлучением, то есть публичным проклятием с амвонов страны, что, хоть и полегче лишения гражданской чести на эшафоте, под барабанный бой и через палача, все же не могло не влиять на самочувствие графа Толстого в привычной ему среде, ставило его в затрудненные отношения с любезным его сердцу патриархальным крестьянством. Вера Толстого вела не в отшельнический затвор, не в пустыню эгоистического уединения от суетной житейской толкотни, а, наоборот, к деятельности на пользу ближних, во имя добра и мира, к простым людям — в том исчерпывающем сближении, к которому тянется всякая крупная, общественно-мыслящая личность. Стоит лишь прочесть текст синодского отлучения 22 февраля 1901 года с перечислением толстовских ересей, за каждую из которых три века назад запросто сжигали на площадях Европы... Остается искать другое обозначение духовным исканиям Толстого, которые, по слову Ленина, завершались стремлением «смести до основания и казенную церковь, и помещиков, и помещичье правительство, уничтожить все старые формы и распорядки землевладения, расчистить землю, создать на место полицейски-классового государства общежитие свободных и равноправных мелких крестьян».

Нет, это не бдения аскета, терзаемого ночными видениями в духе некрасовского дяди Власа, без чего, верно, не обошлось у Гоголя, а прямой бунт — против церковных ветоши и волхвований,— окрашенный буслаевским озорством бунт ничему не подвластной силушки, которую столь зорко в Толстом подметил Горький. «В прельщеньи гордого ума», как говорилось в тексте отлученья, Толстой расшатывал догматические устои религии. Надо помнить, что, как все религиозного типа сообщества, церковь еще на пороге храма требует от верующего полного отказа от самостоятельного мышления, то есть от собственной личности вообще, и с этой исключительно целью ведет его через испытательные лабиринты темных иррациональных догматов. Разуму тут неминуемо приходится потесниться, и лучшим выражением такой смятенной капитуляции служит исступленное, с пеной на губах вырвавшееся у Тертуллиана знаменитое латинское восклицанье о своей фанатической вере пусть даже в

бессмыслицу, то есть о готовности во имя Провидения ринуться даже во тьму безумья... Римскому богослову противостоят ясные слова Толстого: «Я хочу понять так, чтобы всякое необъяснимое положение представлялось мне как необходимость разума же, а не как обязательство поверить».

В изложении так называемой толстовской веры нигде не найти ни положенных ей богословских рассуждений о таинственных качествах надмирного существа, ни попыток с помощью мистической алгебры вписать его в космос, как это практиковалось у отцов церкви. Вся проповедь Толстого родится из намерения совместными людскими усилиями утвердить честную, беззакатную радость в опустошенной напрасным и совсем необязательным страданьем душе человека. Любому слову в философской терминологии Толстого, вплоть до столь далекого, казалось бы, от нашей современности царства божьего, найдется надежный синоним и в нынешнем гуманистическом словаре. Так, бессмертие в письме к англичанину Кемпбеллу трактуется Толстым чуть ли не как вечная признательность живых за оказанные им благодеянья. При этом обязательность добрых дел Толстой выводит не из ужаса перед каноническим загробным возмездием, а из естественного и осуществимого права каждого смертного на свою долю счастья... Разногласия возникнут позже — в отношении дороги к его осуществлению! Корень их лежит в разности воззрений — бытие ли определяет сознание или наоборот... Но ведь на протяжении тысячелетий небо над людьми и просторы вод океанских у их приножья были так прозрачны и громадны, что каждый по собственному складу и росту находил там свое отраженье. Не состоит ли весь путь философии как раз в непрестанной полемике — откуда же берется в нас этот священный пламень жизни и мысли? Добывает ли его человек посредством трения деревяшек, родится ли с ним, предвечно зажженным в душе, или бедняге приходится всякий раз похищать его у богов?

Итак, он был вполне сыном Земли, Лев Толстой, упорный труженик и гордец, который в полную нагрузку принял на свои плечи добровольное и пленительное бремя борьбы и тревоги за людей; и не следует считать зазорным недостаток, если подобные Толстому, при своем росте, не в меру часто достают головою небо. По его собственным словам, он принадлежал к тем людям, которые «может быть, и рады были бы не мыслить и не выражать того, что заложено им в душу, но не могут не делать этого, к чему влекут их две непреодолимые силы: внутренняя потребность и требование людей». Великий художник, он в то же время был ненасытного жизнелюбия человек, который в пятьдесят лет уселся за изучение древних языков ради ознакомления с первоисточниками общеизвестных истин. Всякий звук жизни вызывал гулкое эхо в его душе, ничто не ускользало от его нетерпеливого и деятельного внимания — философия истории, сословная архитектура государства, задачи педагогики и воспитания, смертная казнь, голод в Поволжье, деньги и землевладение в России, духоборческая эпопея, вопросы веротерпимости, бессмертия, любви и воли. Игрой политической оказии подвернувшийся в 94 году обменный визит русских и французских моряков вызывает у Толстого обобщенный саркастический отклик на целых три печатных листа. Все касается гения в его эпохе, всякое явление стремится он уложить в логический и моральный чертеж, чтобы высказать ему приговор или оправдание. Он пашет землю, кладет печи и шьет сапоги для высшего познанья через мускульное ощущенье, которое для писателя неизмеримо важнее знания книжного, а тем более понаслышке. Даже во внешнем облике его сквозят знакомые и вечные черты другого, столь же ненасытного исследователя жизни Леонардо, который вот так же шествовал по своей эпохе, вызывая завихренье творческой мысли вокруг себя. Нападавший временами на Толстого пресловутый арзамасский страх происходил от вполне земного, телесного протеста

против безжалостного средства, которым пользуется природа для смыванья ею же начертанных чудесных письмен и видений — ради все новых, наплывающих из звездной пучины,— протеста против смерти, мысль о которой так любит навещать людей отменного душевного здоровья, зачастую в полдневном блеске бытия. Невольно вспоминаются соответственные страницы «Смерти Ивана Ильича»: как нужно было любить жизнь, чтобы так написать смерть! Думается, такое же гнетущее, на пределе творческой зоркости возникшее предвиденье — даже не мрака могилы, а бессмысленности предстоящего уничтожения, от которого ни хитрость, ни власть, ни деньги, ни крепостные стены не могут уберечь,— этой кощунственной бездеятельности ума и рук, разлуки с ненаглядными призраками и обольщениями земли, толкнуло Горького написать «Егора Булычева»... Вот так же страшно одинокой капле воды забираться в ледяное поднебесье, скитаться по голубой пустоте, падать, теряться и пропадать во тьме преисподних глубин... пока однажды не осознает себя посланницей вечного материнского моря. И от этой проясневшей животворящей связи, от соседства со множеством таких же, туда же несущихся в пространстве сестер, вдруг раскрывается смысл неповторимой, отпущенной нам, веселой радости — грозно шуметь на гребне штормовой волны, сверкать в радуге, журчать в ручье весенним и вместе с июльским проливнем разбиваться об иссохшую ниву!

Еще за двадцать восемь лет до кончины, разочарованный в строе окружающей жизни, Толстой определил высшее удовлетворение бытия не в барском безделье, развлечениях или даже книгах, а в безраздельном слиянии с миллионами капель людского моря, в данном случае — крестьянского. Давняя у Толстого идеализация земледельческого уклада и горчайшее, за каждый сладкий съеденный кусок, никогда не покидавшее его чувство дворянской вины перед нищим, ограбленным народом служили тому питательной средой. Надо учесть, что все тогдашнее крестьянство, пока «укладывалась развороченная реформой действительность», страдало от земельного и прочих неустройств... То была почти безоговорочная симпатия писателя к русскому крестьянину, даже с каким-то слепым обожествлением их бытовой скудости без развратительного избытка, почти с завистью к безграмотности, к их добротному невежеству, как будто в этом прибежище нетерпеливого ума, как будто есть хоть щель на земле, где не происходило бы сомнений, расслоенья и затем вечной схватки противоположностей, гарантирующих гармоничное развитие всего живого... Не в том ли благо, по Толстому, чтобы уйти от нечистой, пороками запятнанной цивилизации в гущу народную, в ничем не возмутимую природу, ближе прильнуть к ее вечной груди, где в условиях стерильной детской чистоты и должны возникать образ жизни и погода человеческой истории. Всюду в толстовских произведениях симпатии автора на стороне народной массы — вспомнить только самочувствие Оленина и Нехлюдова в ранних вещах или авторское отношение к Герасиму и Акиму в поздних. Мудрец Каратаев всего лишь солдат, и Пьеру Безухову больше всего хочется быть солдатом, просто солдатом. И если уже никому не ведомый автор пятисотлетней давности Петр Хельчицкий написал книгу, по словам Толстого, «умную, сердечную, сильную и до наивности ясную»,— значит, он был также земледельцем! Чуть заходит речь о блаженстве и покое на земле, тотчас между строк слышится знакомый мотив нравственного совершенства, самоограничения в потребностях и еще — что только посоленный трудовым пóтом хлеб способен утолить терзающий нас душевный голод! Невольно вспоминается, видимо за аскетическое опрощенство полюбившийся Толстому афоризм Григория Сковороды — «благодарение богу, что все нужное — нетрудно, а все трудное — не нужно». И даже на смертном ложе в астаповской каморке, когда все житейские

привязанности, спутники жизни, также избранная им котомка странника — все осталось позади, с мертвенных губ Толстого срывается последняя зарегистрированная газетной хроникой, пронзительной тоски полная фраза Толстого — «нет, мужики так не умирают!». И в этом предсмертном, сквозь зубы, сожалении выражена вся житейская философия Толстого — строить жизнь так, чтобы уходить из нее безбольно, как все они, эти не мудрствующие счастливцы — деревья, птицы и труженики земли: без лжи, без боязни, без оглядки, без жалобы, без попреков совести. Отсюда — несколько в ином свете предстает уход Толстого из дому в ту глухую предзимнюю ночь.

Пусть истлевшая бумага и память еще хранят тягостные подробности последних лет его яснополянского существования, но нет, не в семейных недоразумениях дело и не в несчастной писательской жене, которая с уймой детей на руках сама столько раз, для нас с вами, переписывала вновь и вновь исчерканные толстовские рукописи. И ведь правда, нам всегда хотелось, как досадный летучий сор, отстранить все это рукой, чтоб не заслоняло, не мешало вглядеться в дорогое нам лицо Толстого! Вообще, не пора ли кончать с пигмейской привычкой запускать нос и руку в телесные подробности наших исполинов,— доселе попадается нам дежурный репортаж из-под кровати Пушкина!.. Как хорошо, что с полувекового расстоянья ничтожное растворяется в голубой дымке, и Толстой, подобно снежной вершине, предстает нам в веренице горных пиков, этой галерее бессмертных, которая, сколько бы ни продвигались мы вперед и вперед, вечно будет сиять на горизонте человеческой культуры... Уход Толстого поэтому выглядит как запоздалое освобождение, когда, порвав истончившиеся путы, он осуществил старинное намерение раствориться в своей бесхитростной России, и, тем самым, в рядовую былинку запрятать свою непомерно-огромную, ему самому непосильную личность.

Все здесь сказанное вовсе не означает, что пустовало небо Толстого или что лишь мужики с сохами да земная юдоль отражались в нем. Воспоминания Горького как раз начинаются свидетельством, что — «мысль, которая заметно, чаще других точит его, Толстого, сердце,— мысль о боге». И дальше — важная, хотя столь субъективно окрашенная горьковская поправка: «иногда кажется, что это и не мысль, а напряженное сопротивление чему-то, что он чувствует над собою». Силе этого яростного и беспрестанного богоборства соответствовала и толстовская одержимость — ее имелось у него вполне достаточно для основания новой религии, о чем он помышлял однажды на странице дневника. Более чем полувековая, ничем не сломленная обличительная деятельность Толстого роднит его даже с пророками древности, которые вот так же, единственно с заступом веры и воли выходили перекапывать человеческую целину, изменять географию континентов. Скажут, то были времена попроще... Но в таком случае вспомним обильные толстовские рассуждения о войнах, праздности, богатстве, даже о прибавочной стоимости — столь современные, что как бы невысохшие чернила блестят в строке. А чего стоит вступление к одной статье 96 года, где, словами самого Толстого, прокламируется безоговорочное уничтожение строя капиталистического с заменой его коммунистическим. С другой стороны, стоит припомнить — как объятый пламенем разум Толстого отменял Данте, Рафаэля и Шекспира! Или — как собственная совесть, достаточно разъяренная, чтобы парализовать руку гения, упрекала его же в корыстолюбивом вымогательстве хлеба народного с помощью написанных им книг. Или его готовность даже остановить прогресс во всем разбеге — «пусть погибнет культура, но восторжествует справедливость» и рядом — «чем больше мы отдаемся красоте, тем больше удаляемся от добра», где красота выставлена прямой пособницей и маской зла. От подобной стерилизации мира огнем недалеко

и до костра Савонаролы! С такой решимостью немало можно жарких дел наделать по части исправления земного шара!

Тогда чего же недоставало ему, столь решительно замахнувшемуся на обреченный мир, Толстому?.. Чего недоставало ему — голоса, огня, пророческого рубища, чтобы возглавить возрождение обнищавшего человечества, прополоть заросшую сорняками людскую ниву?.. и — если не основать новую религию, то хотя бы занять заслуженное место в утверждении новизны, которая уже в ту пору стояла у ворот мира и семь лет спустя после толстовской кончины ворвалась в него на штыках русских рабочих и солдат? Всегда бывали у людей мечтанья, слишком объемные и глубинные для осуществления в одиночку, — так почему же не апостолы, не пламенные ученики, а лишь рассеянные по свету сектанты остались после Толстого, вроде тогдашних штундистов или молокан? Не в том ли разгадка, что задуманное преображение жизни Толстой пытался произвести через провозглашение всепрощающей надмирной доброты, которую, к слову, христианские иерархи за два тысячелетия так неосмотрительно приспособили к удобствам знатных и богатых. Опять же евангельское речение повелевает, в первую очередь, заняться душевным устроением — «остальное приложится вам!». Но вся родословная людских страданий показывает, что, кроме небесного осияния в душах, ужасно как много требуется людям даже для сносного существования — хотя бы и не на столь высоком уровне, который у Толстого обозначен термином царства божьего.

Список людских нужд, скрытый в евангельской рубрике — *остальное*, открывается хлебом насущным. Так чем же накормить семью и прочее человечество, которого к исходу столетия накопится шесть миллиардов едоков? Со времен Нагорной проповеди еще не удавалось повторить евангельский опыт насыщенья пятью хлебами несоответственно большего количества ртов. Видно, благочестивой Марии никак не обойтись без земной хлопотуньи Марфы! А там чередою, чем дальше — тем грозней, встают смежные вопросы: как обеспечить всех одеждой и, в нашем климате, теплым жильем,— как во вселенском масштабе наладить товарный обмен веществ, из которых делаются стихи, рельсы, телескопы и всякий ребячий инвентарь,— и как отбиться от безумных кровопролитий и испепеляющих термоядерных бурь — чтобы матери не сходили с ума от тревог за будущее своих малюток?.. И как усовестить иных деятелей, настолько закосневших в классовой алчности, что даже два подряд, с промежутком в двадцать лет, всемирных столкновения не могут образумить их, — и, наконец, чем остановить лавину «холодной войны» на краю кратера, куда все чаще заглядывает человечество с закушенными до крови губами? Видимо, требуется какое-то средство посложней евангельской цитаты, чтобы защититься, вырвать у ада наши — смену и достояние, все то, что по праву принадлежит уже наступившей новизне.

В своих народно-учительных рассказах Толстой ставит на рассмотрение не частные, семейные, скажем, проблемы, не такие уж неотложные, как — искусства или даже воспитания, а первоочередное назначение прогресса — универсальное людское благо. Это дает нам право на один прямой вопрос, который пусть останется без ответа!.. А что если бы Лев Толстой, взыскательный и до скрупулезных мелочей обстоятельный художник, вздумал переселить бесконечно-праведное население этой малой прозы — старцев, отроков, странников и приветливых молодаек — в плоть и кровь своей же большой прозы, то есть перевести их из умозрительного четьи-минейного существования на реальную почву тогдашней российской действительности, оделив их всем необходимым для полнокровной житейской радости — то есть надежно защитив их от бедствий войны, голода и безработицы, классовой дискриминации, экономического парази-

тизма и прочих бед существования, то не пришлось ли бы автору пойти на утверждение некоторых неизбежных социальных предпосылок и мероприятий, способных правдоподобно обеспечить благополучие его героев? Как раз пренебрежение этими мнимыми мелочами и влечет за собою потрясения всемирных катастроф, оставляющих позади себя курганы братских могильников и бедные, вонючие руины. И если бы великий художник слова решился на этот гениальный, логически подготовленный пересмотр, еще не известно — в какой другой точке он вышел бы на столбовую дорогу тогдашней передовой мысли... Словом, Толстому оставался только шаг, но правда, через какую же бездонную пропасть!

Для этого требовались другие средства и решимость несоизмеримо большая, чем только порвать сословную паутину. Легче обрушить гневную мысль на отвлеченный порок, чем голыми руками и в непогоду взяться за перекладку материальных основ бытия, вступив на путь, которым шел Владимир Ильич Ленин. Совсем иная сортовая сталь идет на резцы — для ваяния поэтического образа или новых общественных форм, и в этом мне видится отличие деятельности великого поэта от великого вождя. Толстой в первую очередь был художником, и предсмертный призыв Тургенева вернуться на магистральную дорогу показывает, что думали о религиозном реформаторстве Толстого лучшие люди его века.

Творческая лаборатория Толстого раскрывает нам поучительный опыт поистине великанских — как свершений, так и заблуждений, уводивших его порою от эмоциональной пушкинской традиции к рационалистической проповеди, тем уже опасной для художника, что она схоластическим умозрением подменяет критическое наблюдение действительности. И на эту проповедь была истрачена половина жизни поразительного художника, который повелением пера внушает читателю любое из спектра человеческих чувств — всегда с оттенком наивного, как при чуде, удивления,— оно неслышно преобразует человеческую душу, делая ее стойче, отзывчивей, непримиримей к злу. Не за то ли благодарны мы Толстому, что он дал нам силу и право презирать и отвергать Каренина; вместе с Наташей волноваться у постели раненого жениха; плакать от гордого восхищения перед подвигом Тушинской батареи; возмущаться фальшью и преступным равнодушием сословного судилища над Масловой, их же безвинной жертвой; вместе с Левиным жадно испить сладкой усталости в знаменитой сцене покоса; навечно и благодарно запомнить зрительное и нравственное потрясение от той, на пределе мастерства исполненной разоблачительной встречи простертого на Аустерлицком поле Болконского со своим кумиром, осуществляющим истребление жизни? Все эти сцены наполнены трепетом подлинной жизни, и не этого ли глубинного проникновения в человеческую душу, продиктованного уважением к всегда неповторимой человеческой личности, так недостает подчас нынешней литературе?.. К какому же методу, из испробованных Толстым, надлежит обращаться современному художнику слова для скорейшего и надежного воздействия на читательское сердце; каким плугом и на какую глубину выгоднее поднимать слежавшийся душевный пласт, чтобы не обесплодить его еще до засева зерном под завтрашний урожай?

Кресло Толстого стоит пустое. В мировой литературе, в нашей нынешней также, некому пока сравниться с Толстым. Может быть, не в том и была наша задача, чтобы немедленно и до конца изъяснить открывающуюся новь, наполненную вспышками молний, содроганиями тверди, грохотом исполинской ломки. Порой бумага тлела в наших руках! Не в том ли заключалась обязанность наша, чтобы пронести пламя отечественной литературы сквозь бурю величайшего преобразования, довести до сведения потомков — как же свершалось все это. Еще не одно поколение литераторов впереди займется изображением баснословных дней

и подвигов минувшего полувека, после которого иначе стали выглядеть людские души и поверхность этой страны.

На смену нам придут замечательные творцы слова, и один из них объединит в своем сердце предания молвы народной, новую, социалистическую человечность, материальные завоевания обновленной цивилизации, и это даст ему силу подняться в толстовскую высь, откуда видна будет с полета исправленная и дополненная карта мира и еще — как прожитая нами трудная эпоха вписывается в большой поток человечества.

В нашей литературе ясно различима черта, до которой нет Толстого и после которой все в нашей духовной жизни содержит след его творческой мысли. Как бы ни были богаты наши деды, создавшие нам историю и язык, заложившие основу материального бытия, мы богаче их: во всех нас есть хоть по крупинке от Толстого. Вот пример взаимодействия Родины и Гения, который посредством врученного ему дара прославил ее всемирно и через это сам стал Львом Толстым, которого ныне славит мир!

ТОЛСТОЙ-ХУДОЖНИК

ДОКЛАД, ПРОЧИТАННЫЙ В. В. ЕРМИЛОВЫМ
30 ИЮНЯ 1960 г. НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ПАМЯТИ ТОЛСТОГО В ВЕНЕЦИИ

Если поставить вопрос о том, в чем заключается главная поэтическая идея, пафос всего художественного творчества Льва Толстого,—то, видимо, самым точным ответом будет следующий: утверждение общения и единения людей и отрицание разобщения и разъединения. Два эпиграфа могли бы быть поставлены к творчеству Толстого: «Vivat die ganze Welt!» — «Да здравствует весь мир!»— слова приветствия, которым так радостно обмениваются друг с другом в «Войне и мире» крестьянин-австриец и молодой русский офицер Николай Ростов в светлое утро, когда, кажется, весь мир сияет счастьем; и другой эпиграф: «Зло есть разобщение людей» — слова одной из статей Толстого. Таковы две стороны единой и постоянной художественной мысли писателя. Впервые она была выражена им со всей полнотой в «Войне и мире».

В русском языке слово *мир* имеет три значения: мир — вселенная; мир — социальная связь между людьми — так, сельская община, сходки крестьян для обсуждения своих общих дел издревле назывались в России миром; и мир — согласие, отсутствие войн и всяких ссор и раздоров. Это не является внешним совпадением, которых так много в любом языке. Здесь, в русском языке — органическое *слияние* в общее целое трех значений одного слова, слияние, имеющее глубокий философский смысл, указывающее на неразрывную связь между этими тремя понятиями. В самом деле, мир в смысле вселенского, мирового духовного единения людей и в смысле их дружественной созидательной связи не может не означать и отсутствие войн и раздоров. Народ — мудрый языкотворец, он выражает в своем языковом творчестве и своеобразие своего мышления, и свой характер, и свои стремления и мечты. Лев Толстой творил свои могучие художественные образы в духе народного мышления и народных чаяний. В. И. Ленин в своем блестящем анализе раскрыл глубоко демократическую, крестьянскую основу толстовского творчества и сказал в беседе с Горьким о Толстом, что «до этого графа в русской литературе мужика не было». «Война и мир» утверждает великое русское слово — *мир* во всех указанных его значениях.

Толстой изображает справедливую оборонительную войну русского народа против иностранного нашествия в 1812 г., всенародный патриотический подъем. Художник с чувством национальной гордости рисует беззаветные героические подвиги русских солдат и офицеров, партизан, крестьян. Писатель гордится национальной традицией своего народа — умением дружно защищать свое отечество, поднять священную «дубину народной войны» и не выпускать ее из рук до тех пор, пока не будет окончательно сломлена злобная воля агрессора, ослепленного безумной мыслью о том, что можно поставить на колени великий народ.

И вместе с тем, Толстой, как никто другой, со всей силой правды показывает весь ужас и жестокость войны. Он содрогается оттого, что люди

убивают друг друга — в то время, как каждый человек несет в себе целый мир, и гибель одного человека есть гибель целого мира. Как дружно и радостно могли бы жить на земле эти люди, убивающие друг друга! Какой дружелюбный могучий хохот раздается по обе стороны линии фронта, когда, в промежутки между сражениями, враги видят друг в друге просто людей, одинаково рожденных для естественного счастья, дружбы с природой, друг с другом!

А за всем этим возникает в толстовском романе его внутренняя поэтическая идея: мечта о мире и человеке, какими они *должны* быть, — об истинной, настоящей, подлинно человеческой жизни людей на земле. Достоевский проницательно назвал автора «Войны и мира» «идеальным романистом». Достоевский глубоко понял, что в этом произведении Толстой воплотил свой *художественный идеал*. Да и сам Толстой думал о «Войне и мире», как о *философской поэме*.

Глубоко характерен следующий эпизод из жизни Толстого. Весной 1885 г. Лев Николаевич приехал в Крым и посетил те места, где тридцать лет тому назад он, тогда молодой артиллерийский офицер, участвовал тоже в героической, патриотической эпопее — знаменитой обороне Севастополя. Воспоминания охватили писателя. И он пишет в письме из Крыма: «Проехали по тем местам, казавшимся неприступными, где были неприятельские батареи, и странно: воспоминание войны даже соединяется с чувством бодрости и молодости. Что́, если бы это было воспоминание какого-нибудь народного торжества, общего дела, ведь могут же такие быть!».

Очень значительно это раздумье. В нем прозвучали те же мотивы торжества и скорби, что и в «Войне и мире», и та же мечта художника. Толстой мечтает о каком-то великом *общем деле*, радостном для всех, о таком же значительном народном торжестве, каким была героическая эпопея народной войны. Но это должно быть торжество мирное, праздник созидания жизни. Ведь может же быть такое *общее дело* у людей! Может — и *должно* быть! Вот — мечта Толстого.

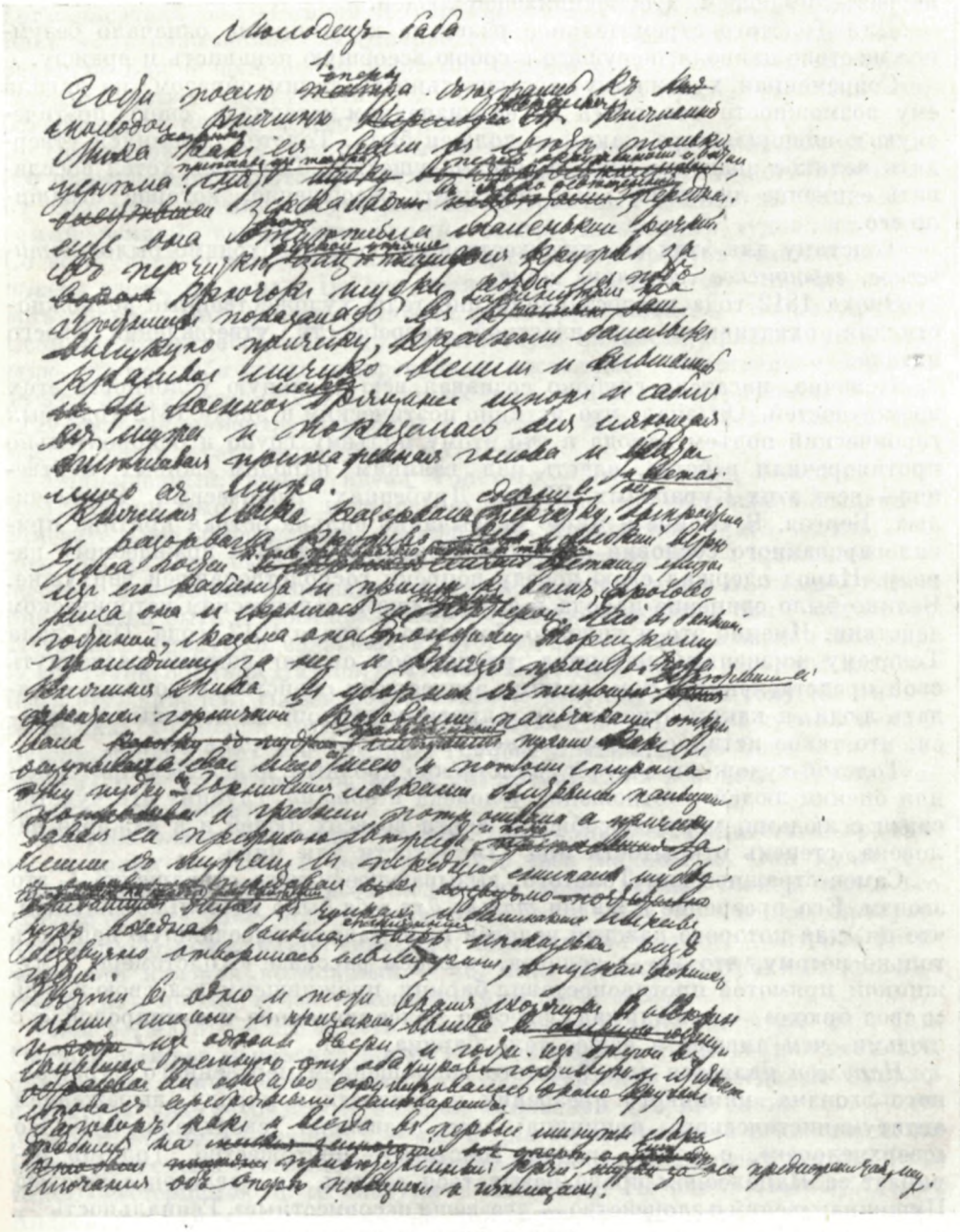
Известный русский писатель Короленко выражал удивление тем, что такой великий художник-мыслитель, как Толстой, «никогда не попытался написать свою „утопию“, то есть изобразить в конкретных, видимых формах будущее общество». Да, Толстой не написал своей утопии. Но свою мечту о том, какая должна быть жизнь людей, он выразил в реалистических образах своего эпического повествования.

«Война и мир» была вдохновлена современностью Толстого — периодом конца 50-х — начала 60-х годов прошлого столетия. То была замечательная эпоха в истории России. Она ознаменовалась общественным подъемом, ростом революционного движения, сознания самим народом своего исторического значения, своих исторических перспектив. Однако общественный подъем скоро трагически сменился торжеством деспотической реакции в стране.

Главное историческое содержание 60-х годов в России, после отмены крепостного права, заключалось в необычайно ускоренных темпах нового, капиталистического развития страны.

Все эти стороны современности сыграли свою роль стимулов в создании «Войны и мира».

Народный подъем выдвигал коренные вопросы жизни, проекты будущего, утверждал веру в силу и величие народа. Создавались «идеальные» произведения. Чернышевский написал свою социалистическую утопию — знаменитый роман «Что делать?». Достоевский тоже написал свой «идеальный» роман «Идиот», с его образом такого прекрасного человека, какими должны быть, с точки зрения автора, все люди. Наступление новой, буржуазной эры с ее цинизмом человеконенавистничества вызывало



ЧЕРНОВОЙ АВТОГРАФ РОМАНА «АННА КАРЕНИНА», 1873 г.
Начало второго наброска
Архив Толстого, Москва

стремление противопоставить ей образ иной, истинной действительности, не разъединяющей, а объединяющей людей.

Для Толстого стремительное развитие капитализма означало безумное шествие дьявола, несущего с собою всеобщую ненависть и вражду.

Современная художнику действительность, таким образом, не давала ему возможности воплотить на ее жизненном материале свою поэтическую концепцию мира, каким он должен быть. Толстой стремился утвердить великое значение народа, его могущество. Писатель хотел восславить единение людей на земле и осудить разобщение, которое страшило его.

Толстому для этой его художественной цели необходимо было *поэтическое, героическое состояние мира.*

Эпоха 1812 года предоставляла писателю художественные возможности для охватившей его властной потребности утверждения своего идеала.

Конечно, писатель глубоко сознавал всю реальную условность этих возможностей. Он знал, что истинно поэтическим в эпохе 1812 года был героический подъем народа и что этому подъему грубо и оскорбительно противоречили рабство, власть над великим народом живых мертвецов — всех этих Курагиных, Шерер, Друбецких, Аракчеевых, Ростопчиных, Бергов. В «Войне и мире» необычайно сильна острая критика привилегированного сословия с его бездушием, чуждого и враждебного народу. Народ одержал свою победу вопреки господствовавшей верхушке. Велико было единение народа в его дружном, героическом историческом действии. Именно это и увлекло Толстого в эпохе 1812 года. Она дала Толстому жизненный материал, на котором он мог широко развернуть свои представления о том, какими этическими свойствами должны обладать люди, к каким отношениям с другими людьми они должны стремиться, что такое истинное человеческое счастье и настоящая жизнь.

Толстой-художник считает единственно прочным, надежным критерием для оценки людей — отношение человека к *общему*, глубину его чувства связи с людьми, меру способности войти во всех людей и в каждого человека, степень открытости или замкнутости для мира.

Самое страшное для Толстого, вызывающее у него отвращение — это эгоизм. Его презрение к жизни *только для себя* было настолько сильным, что он, для которого каждый человек представлял высочайшую ценность только потому, что это — человек, в своем рассказе «Холстомер», с мужицкой прямотой противопоставил барину, прожившему всю свою жизнь «в свое брюхо»,— лошадь как существо, более связанное и с природой и с людьми, чем пившее и евшее тело барина.

Наполеон является для Толстого воплощением мертвенного буржуазного эгоизма, циничного презрения к личности и народу, выражением антигуманистического принципа: «все позволено сверхчеловеку!» Но «сверхчеловек», с точки зрения Толстого — ничтожество. Толстой отрицает за Наполеоном право называться гением, он согласен с мыслью Пушкина: «гений и злодейство — две вещи несовместные». Гениальность — только в глубине и широте связи с жизнью всего мира.

Однако настоящая связь с *общим*, со всей жизнью человечества, возможна, по убеждению Толстого и всех близких ему героев его произведений, только при условии сохранения эгоистического начала. Без личного стимула, без кровного личного интереса не может быть ни настоящего общего дела, ни настоящей, искренней человечности в отношениях между людьми. Гармонию между *личным*, своим и великим *общим* и ищут толстовские герои — и Пьер Безухов, и Андрей Болконский, и Константин Левин. Толстой-художник — противник так называемого «самоотречения», он всегда раскрывает ханжескую фальшь «самоотречен-

ской» позиции. В дневнике Толстого (от 3 марта 1863 г., перед началом работы писателя над «Войной и миром») мы находим знаменательную запись: «Так называемое самоотвержение, добродетель есть только удовлетворение одной болезненно развитой склонности. Идеал есть гармония. Одно искусство чувствует это <...> Кто счастлив, тот прав! — Человек самоотверженный слепее и жестче других».

Нельзя не видеть, что эти мысли художника, воплощенные в образах его произведений, противоречат всем проповедям аскетического отречения от благ мира во имя потусторонних абстрактных ценностей. Толстой — самый земной, самый жизненный, самый человечный художник мира. Со всей своей поэтической страстью и силой он требует счастья для человека здесь, на земле. По его мнению, *не видеть себя* — значит не видеть других. Вот почему человек *самоотрекающийся* — *слепее* других. Если ты отвергаешь себя как человеческую личность, призванную к счастью, то что́ тебе стоит отвергнуть и настоящее, естественное счастье других людей, утопив его в елейных проповедях самоотречения! Вот почему человек самоотрекающийся — *жестче* других. Идеал жизни людей на земле — это гармония себя и *мира*.

Воплощенный, живой идеал Толстого — это Наташа Ростова.

Глубокий мыслитель и теоретик искусства Чернышевский выдвинул замечательное определение *прекрасного*: прекрасное — это жизнь, какою она должна быть по нашим представлениям; это — прекрасное существо, в котором воплощаются наши представления о жизни, какою она должна быть. Таким прекрасным существом является для Толстого его Наташа, в которую он влюблен и в которую, вслед за ним, влюблен весь мир. В чем тайна обаяния Наташи Ростовой? Почему, в самом деле, мы влюблены в эту, кажется, совсем обыкновенную девушку? Да к тому же она — «эгоистка». Объясняя неудачно сложившуюся жизнь своей кузины и подружки детских лет Сони, Наташа говорит в финале, что Соне чего-то недоставало,— может быть, эгоизма: вот почему Соня в конечном итоге оказывается пустоцветом.

Наташа живет для *своего* счастья. Она жадная, ее жадность не сравнима по своим необъятным размерам ни с чьей жадностью. Она хочет вобрать в себя все, жизнь всех людей, она хочет любить всех и чтобы все любили ее. Она хочет полететь навстречу всему миру, и — в одну прекрасную лунную ночь, какой «никогда, никогда не бывало»,— ей даже физически это кажется возможным,— вот так, подхватить себя под коленки «туже, как можно туже» и полететь навстречу *всему*!

Вся ее жизнь — это и есть полет в беспредельно широкий мир. Для Наташи каждое мгновение жизни — величайшая, единственная ценность, потому что такого мгновения, как *это*, «никогда, никогда не бывало» и никогда уже не будет. В каждом мгновении для нее заключено — по-разному, всегда по-разному! — *все*, и она стремится жить в каждом мгновении всем своим существом. Такова ее жадность. Вот почему для нее была такою нестерпимой и ее разлука с женихом. Не поняв Наташу, князь Андрей тем самым трагически не понял жизни. Наташа — сама жизнь. А жизнь вообще никого и никогда не ждет: это не в ее привычках. Для того, чтобы понять Наташу и понять ее любовь к нему, князю Андрею понадобилось понять жизнь. Да, Наташа не знает, что такое «самоотречение»,— этот, оказывающийся таким унылым, пафос жизни Сони. Но зато именно она, Наташа, со страстью и безоглядностью всей своей натуры, развязывает сложенное на возы имущество семьи Ростовых, уже почти вконец разоренной семьи, стоящей вплотную перед бедностью, для того, чтобы освободить повозки для раненых. Соня *связывает* вещи для того, чтобы сохранить хоть что-нибудь, а Наташа *развязывает*, испытывая радость *свободы*, радость общения со всем миром. И именно она, Наташа,

переживает с особенной глубиной народное горе и народное торжество. И именно ей предстоит вместе с ее мужем, Пьером Безуховым, суровая ссылка в Сибирь, тяжесть изгнания,— как мы знаем это из написанных Толстым глав романа «Декабристы». Да и по эпилогу «Войны и мира» ясно видно, что Наташа разделит со своим мужем все тяготы жизни декабриста.

Та гармония между личным и общим, которую Пьер Безухов и Андрей Болконский завоевывают ценою сложных и мучительных философских, этических поисков, гармония, которой они достигают благодаря участию в общенародном историческом действии, эта гармония Наташе дана непосредственно,— как подарок, как счастье. Белинский назвал пушкинскую Татьяну Ларину «гениальной натурой», ни на мгновение не теряющей связи с духовной жизнью народа. С еще бóльшим основанием можно применить эту характеристику к Наташе Ростовой. В образе этой очень простой девушки (Толстой вначале хотел дать Ростовым фамилию Простые), не задумывающейся над мировыми вопросами, выражено поистине мировое содержание.

Толстой-художник обладал глубокой верой в торжество мировой связи, мирового единения людей. Когда Андрей Болконский переживает период тяжелого разочарования, неверия в мир, и Пьер Безухов убеждает своего друга в том, что человек — не один, что мир и правда существуют, то, кажется, вся природа подтверждает эту веру в торжество великого человеческого целого. Было совершенно тихо, «и только волны теченья с слабым звуком ударялись о дно парома. Князю Андрею казалось, что это полосканье волн к словам Пьера приговаривало: „правда, верь этому“».

Толстой явился единственным писателем в мировой литературе, который смог создать роман, рассказывающий о том, *как люди были счастливы*.

«Анна Каренина» — произведение, столь же гениальное, как и «Война и мир», но противоположное по своему поэтическому настроению. Вместо поэмы о счастье — роман о несчастье. Вместо торжества жизни — угроза смерти, духовной смерти человечества, если оно не найдет пути к обновлению, — «воскресению».

В мировой критике еще ведутся до сих пор горячие споры о том, осуждает или оправдывает Толстой Анну Каренину. Что означают в романе таинственные слова эпиграфа, — слова разгневанного Иеговы: «Мне отмщение, и аз воздам»? Неужели это отмщение Анне? Неужели страшная гибель является заслуженной карой этой женщине, которая до конца, несмотря на все свои грехи, остается пленительной в своей чистоте? Но, с другой стороны, если Толстой не осуждает Анну, то может ли он, с его благоговением перед святыней семьи, оправдывать Анну и ее грех? Кем является Толстой: гениальным прокурором или гениальным адвокатом Анны Карениной?

Следует признать такую постановку вопроса неправомерной, неплодотворной, мешающей проникновению в глубину и широту поэтической мысли художника.

Как и в Наташе Ростовой, в Анне Карениной воплощена сама жизнь, сама любовь. Анна так же полна жизни, она так же доверчиво-жадно стремится навстречу всему миру, она обладает удивительным даром понимания всех и каждого. Но если эти же высокие свойства души Наташу Ростову привели к счастью, то Анну они приводят к гибели. Это различие объясняется тем, что образ Наташи Ростовой воплощает в себе жизнь и любовь в поэтическом, или, говоря словами Достоевского, *идеальном* состоянии мира, когда торжествует любовь как высшее единение; образ же Анны Карениной воплощает жизнь и любовь в прозаическом состоянии мира, когда господствует пагубное начало разобщения и гибнет са-

ма любовь, гибнет сама жизнь, невозможная без любви. Образ *железной дороги*, раздавившей фатальными колесами равнодушно проносящегося чудовища живую жизнь прекрасной, молодой женщины, имеет в романе глубокое символическое значение. Это бесчеловечный, безлюбовный, *железный* путь человечества.

Толстой и в этом романе мечтает об идеале простой, естественной человеческой жизни в единении с природой, с землей, со всем миром. Константин Левин, носитель этих устремлений, является как бы представителем самого автора (недаром и фамилия его образована от имени Лев — от имени автора). Мысль Левина бьется в поисках выхода из раздробленности всей жизни. Но все его поиски не приводят ни к каким положительным решениям и выводам. Левин остро чувствует тоску разобщения во всех сферах жизни, и особенно в таких, которые по самой своей сущности должны быть как раз сферами наибольшего радостного единения людей: в сфере труда и в сфере любви.

В той главе, где Левин косит траву вместе с крестьянами и испытывает счастье здоровья, бодрости, подъем всех жизненных сил, — этот восторг и веселье общего дружного труда сменяются у Левина прямо противоположными чувствами — горечи, душевной пустоты и стыда. Левин с особенной остротой, после подъема, ощутил свою разъединенность с этими людьми, чуждость и противоположность всех их коренных жизненных интересов своим интересам. Нет у людей *общего дела*, которое было бы своим, личным интересом для каждого, нет ничего цельного, все разбито, расколото, все чуждо и враждебно противостоит одно другому. Поэтическая мысль Толстого как бы перекликается со словами хора духов в «Фаусте»: «Великий, ты разбил, как шар стеклянный, весь круг вселенной». Великое зло разобщения разбило круг вселенной.

Может представиться, что Левин беспредельно счастлив в любви, в семье и что счастливая любовь и счастливая семья Левина в романе противопоставляются несчастной любви и несчастной семье Анны Карениной. Но и Левин — этот счастливец Левин! — как раз в самом апогее своего счастья думает о самоубийстве, боится веревки, на которой можно повеситься, ружья, из которого можно застрелиться. Счастливому мужу и отцу его семейное счастье представляется *эгоизмом*, а когда к толстовскому герою приходят *такие* мысли о своей жизни, то это означает, что ему жизнь не в жизнь и счастье не в счастье. Эгоизм, по Толстому, только тогда *прав*, когда в его основе — единение человека с миром. Так были правы в своем счастье Пьер и Наташа, перед которыми поэтическая действительность открыла возможность слияния с общим. А когда этого нет, эгоизм является просто эгоизмом, мертвенным и ужасным. И, конечно, тот выход в финале, к которому как будто приходит Левин, — утешительная мысль о возможности жить какой-то *общей* жизнью в *этой* действительности, — это только временный вывод, ненастоящий, непрочный, вывод от отчаяния. Левин не сможет удовлетвориться им, он будет снова и снова мучиться, искать, как и сам Толстой, который вскоре после «Анны Карениной» отвергнул все возможности какого бы то ни было примирения с действительностью, отчуждающей от человека его человеческую сущность.

Таким образом, семья и любовь Левина не столько *противопоставляются* в романе семье и любви Анны Карениной (к тому же это было бы назидательным филистерством, столь чуждым Толстому) — сколько *сопоставляются*. Толстому важно то, что даже и самая счастливая любовь и самая счастливая семья в конечном итоге не так уже далеки от самой несчастной любви и семьи, если оторваны от мира, не включены в общее дело жизнетворчества, если у человека нет того, что Чехов называл *общей идеей*. Именно по общей идее, по общему делу тоскует Левин.

Такова внутренняя связь в романе двух фабульно-сюжетных линий — линии Анны и линии Левина. Отвечая на упрек одного из своих корреспондентов, которому показалось, что «Анна Каренина» представляет собою, в сущности, два отдельных романа, Толстой с законной гордостью художника ответил, что его корреспондент, видимо, невнимательно прочитал роман и не заметил *свода* в архитектуре художественного здания, и что он, Толстой, доволен как раз тем, что *замок* не бросается в глаза.

Для Толстого семья, семейная близость были прообразом жизни всего человечества, вселенского братства. И разобщение в семье, ставшее обычной нормой, страшило Толстого как угроза самим основам жизни человечества.

«Анна Каренина» — величайшая трагедия мировой литературы, которая по своей значительности и художественной силе может быть сопоставлена лишь с шекспировским «Гамлетом». Трагическая вина героини заключается только в том, что у нее были естественные человеческие требования к действительности, что она хотела настоящей, полной жизни и настоящей, полной любви, не зная того, что ни та, ни другая невозможны в обществе разобщения и отчуждения. Невозможно и *бегство в любовь* от действительности, потому что любовь, знающая *только себя*, уходящая целиком в себя, превращается в свою собственную противоположность, становится из высшего единения — глубочайшим разъединением, как это и произошло у Анны и Вронского.

Герой трагедии не может быть мелким человеком с раздробленными чувствами. Человек с маленькими, половинчатыми, слабыми чувствами не способен подвергнуть роковому испытанию само устройство мира, не способен предъявить к действительности большие, цельные требования и ценою собственной жизни обнажить неблагополучие жизни всех людей. Это сделал Гамлет. Это сделала Анна Каренина.

В том грехе, который свершила Анна, повинны многие: и Бетси, подруга Анны, изменяющая мужу, и Стива Облонский, брат Анны, изменяющий жене, и другие. Но на них не обрушивается гнев общества, им все прощается. Они слишком малы и ничтожны для того, чтобы любить, их измены, их любовные связи далеки от настоящей любви. Общество карает *любовь*, мстит ей, ненавидит ее, потому что видит в ней своего врага: человечность. Анна виновна в том, что в безлюбовном обществе требует любви, в безжизненном обществе требует жизни.

Есть только один человек, способный, как Анна, к *настоящей* любви, ищущий, как и Анна, *настоящей* жизни, не могущий примириться ни с какими подделками. И только он мог бы ответить по-настоящему Анне на ее любовь. Это — Константин Левин. У Анны и Левина много общего, роднящего их. Но они разъединены, как разъединено все человечество, все, предназначенное к близости.

Так все больше выясняется глубокое и многостороннее значение тех слов, которые Толстой поставил в эпиграфе к роману. Эти слова прежде всего означают ограждение героини от поверхностного, обычного суда людей: судить здесь должен высший суд, где нет ни прокуроров, ни адвокатов, а есть только голос совести человечества. Гнев этих слов обращен ко всему устройству действительности, казнящей любовь. И речь идет не столько об отмщении Анне, сколько об отмщении за Анну — не отдельным людям, а всему дьявольскому устройству мира. Если Анна виновна, — то только вместе со всем человечеством за то, что жизнь не построена по законам человечности. И если ее кара более жестока, чем кара многих и многих, — то это потому, что она больше представляет человечество, чем многие. Действительность, отчуждающая от людей самую любовь, должна быть сметена высшим гневом. Вместо этого — сметена с лица земли женщина, которая хотела любить. Но — «мне отмщение, и аз воздам»...

Великим гневным бунтарем предстает перед человечеством великий художник Лев Толстой.

И мы вспоминаем слова В. И. Ленина о том, что творчеству Толстого присуще беспощадное «срывание всех и всяческих масок», стремление «дойти до корня» в разоблачении общественной лжи и фальши.

Но Ленин подчеркивал вместе с тем, что Толстому свойственны кричащие противоречия, объясняющиеся в конечном итоге тем, что, порвав с высшей аристократией, к которой он принадлежал по рождению и воспитанию, целиком перейдя на позиции многомиллионного русского патриархального крестьянства, Толстой отразил не только силу, но и слабости, и реакционные предрассудки этой крестьянской массы, которые были характерны для нее в эпоху кануна русской революции. Ленин указал, что учение Толстого носило реакционно-утопический характер, вопреки бунтарской силе, содержавшейся и в его творчестве, и в его проповеди. Тема данного доклада — Толстой-художник. В ленинском анализе раскрыто, что и в самой художественной конкретности произведений Толстого сказывались те же вопиющие противоречия, что и в его проповеди.

В самом деле, подвергнув поистине уничтожающей критике основы современного ему общества, выдвинув свой прекрасный художественный идеал человеческого единения, Толстой отвергнул историческую необходимость реальной борьбы за реальное утверждение свободной и счастливой жизни человечества, за возвращение человечества к самому себе, к своей общественной природе. Утвердив решающую роль народа в истории, Толстой, вопреки этому, отвергнул необходимость борьбы народа против эксплуататорского общества, подменив социальную активность народа фаталистической концепцией истории в «Войне и мире», пассивистскими выводами в «Анне Карениной», «Воскресении». Эта концепция и эти выводы вступают в непримиримое противоречие и с пафосом активного исторического действия народа, вдохновляющим «Войну и мир», и с пафосом гнева и бунта «Анны Карениной» и «Воскресения». Когда Чехов критиковал евангельский исход «Воскресения», то он не имел в виду полемику с толстовскими религиозными взглядами как таковыми, хотя, конечно, Чехов как атеист и не был согласен с этими взглядами. Но Чехов как художник критиковал евангельский примиряющий вывод романа за резкое, нехудожественное противоречие всему художественному содержанию, всей поэтической логике произведения.

Толстой вступал в противоречие с самым главным, — с тем, что определяло самое своеобразие его творчества, и в том числе с динамизмом, присущим самой природе толстовского художественного мышления. На полном поэтическом ходу художник хватается за тормоз, так что читатель не может не испытать чего-то вроде резкого толчка. Возникает антиэстетическая диспропорция, как бы ни было странно говорить о какой-бы то ни было антиэстетичности в применении к одному из величайших художников всех времен и народов. Страстный призыв к действию превращается в призыв к бездействию. Непримиримость превращается в примирение.

Не напоминает ли это те раздумья Толстого об искусстве, которые привели его к отрицанию самого искусства? Вспомним «Крейцерову сонату», вспомним теоретические рассуждения Толстого об искусстве. Толстой считал искусство, особенно музыку, страшным по силе своего влияния на человека. Музыка зовет к какому-то великому *действию*, столь же могучему, столь же страстному, как и сама она. Но у человека нет возможности такого действия, нет такого великого, героического дела, которое соответствовало бы силам, пробуждаемым в нем музыкой, искусством. И поэтому возбуждение, подъем сил, вызываемый искусством, разрешается или в смутной тоске по каким-то утраченным человеческим ценностям, по

чему-то великому и сильному, или в разрушительных, темных страстях, как в «Крейцеровой сонате», — страстях, являющихся уродливым эквивалентом великой страсти. Гениальный художник-мыслитель вплотную подходил здесь к разгадке главных тайн того общества, в котором искусство, как и все человеческое, тоже отчуждается от своей собственной, человеческой, общественной природы и противоречит самой своей сущности. Неутоляемая страсть к великому действию, которая вызывается искусством в людях, не потому ли так глубоко и мучительно чувствовалась Толстым, что он сам мучился этим противоречием в собственном творчестве?

Толстой, как сказал Ленин, обозначил своим творчеством «шаг вперед в художественном развитии человечества». Невозможно перечислить художественные открытия Толстого. Он раскрыл тайны самых сокровенных движений человеческой души. Он постиг тайны, еще так мало исследованные художественной литературой, тайны *человеческого общения*, узнавания людей друг другом, раскрытия человеческой души в других человеческих душах, раскрытия одного человека во множестве людей и множества — в одном. Он указал целые новые поэтические материки для искусства. Он умел изображать народ как целое и личность как часть народа, потому что в народе он любил каждого отдельного человека и в каждом отдельном человеке — народ. Никто не поднял на такую высоту человека и человеческую личность, как Толстой, — и никто до него не поднял на такую поэтическую высоту народ.

Чествуя память Толстого, человечество гордо в нем самим собою. Само по себе *наличие у человечества* Толстого, сама возможность такого явления, как Толстой, является одним из самых могучих, самых неотразимых аргументов в пользу того, что дружественное, неразрывное единение людей, торжество *мира* во всех значениях этого великого русского слова, — возможно, необходимо, что оно настанет. — «Правда, верь этому», — говорит нам Толстой.

Человечество придет к преодолению разобщения и разъединения. Оно придет к торжеству мира на земле. Мы, советские люди, ведем страстную борьбу за это торжество. И в этой борьбе мы опираемся на лучшие национальные традиции русского народа и всех народов Советского Союза, на самые высокие достижения их культуры и литературы, так же как на самые высокие достижения культуры и литературы всего человечества!

СТАТЬИ

МИРОВОЗЗРЕНИЕ ТОЛСТОГО

Статья В. Ф. Асмуса*

I

ОСНОВНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ

Искусство Льва Толстого — великого реалистического писателя — неотделимо от его мировоззрения. В романах, рассказах, которые принесли ему славу великого художника, гениально рисуя действительность, Толстой изображал те самые противоречия русской пореформенной и дореволюционной жизни, которые рассматриваются в его произведениях, посвященных вопросам педагогики, философии, истории, публицистики, морали, религии.

И наоборот. В тех самых художественных, философских, публицистических, моральных и религиозных сочинениях, которые содержат проповедь «толстовства» со всеми его заблуждениями, иллюзиями и противоречиями, Толстой, как показал Ленин, «поразительно рельефно воплотил ⟨...⟩ — и как художник, и как мыслитель и проповедник — черты исторического своеобразия всей первой русской революции, ее силу и ее слабость» [1]. Существует глубокая правомерность в том, что Ленин в качестве материала, обосновывающего выводы его замечательных статей о Толстом, привлекает не только публицистические и религиозно-моральные трактаты Толстого, но также и такие художественные произведения, как «Люцерн», «Анна Каренина», «Крейцерова соната».

Мировоззрение Толстого сложилось, питаясь впечатлениями жизни — общественной и личной. Бо́льшую часть своего века он провел в деревне. Он прекрасно знал труд, бытовые условия русского крестьянина, его отношение к помещикам, к властям. В молодости он служил в армии на Кавказе и во время Крымской войны участвовал в обороне Севастополя. Дважды он пережил страстное увлечение вопросами народной школы. Он изучал путем личного знакомства постановку школьного дела в западных странах, организовал в Ясной Поляне собственную школу, был ее учредителем и учителем, издавал педагогический журнал. Он с увлечением занимался некоторое время сельским хозяйством. Как художник он всю жизнь писал, оставаясь всегда реалистом, но изменяя от периода к периоду реалистический метод письма. Проживая на исходе XIX в. недолгое время в Москве, он погрузился в изучение страшного мира городской бедноты, обитателей Хитрова рынка, принимал участие в переписи московского населения. Уйдя в вопросы религии, он страстно отрицает

---

* В настоящей статье использованы две прежние работы автора, заново им пересмотренные и дополненные: «Мировоззрение Льва Толстого в анализах Ленина» и «Вопросы реализма в эстетике Толстого». Первая была напечатана в «Ученых записках Белорусского гос. университета им. В. И. Ленина», серия филологическая, вып. 18. Минск, 1954; вторая — в журнале «Под знаменем марксизма», 1943, № 1-2.— *В. А.*

богословие православной церкви, критикует раздел за разделом «Догматическое богословие» Макария и противопоставляет ему свой соединенный перевод четырех евангелий. Как моралист и религиозный проповедник он изучает не только христианскую литературу, но и литературу религий Востока. Отрицая революцию как метод решения социальных вопросов, он все же возвысил на весь мир свой голос против террора правительственной реакции.

Разнообразие и сила, внутренний жар всех этих увлечений и занятий не были недостатком сосредоточенности, «разбрасыванием» в разные стороны. В мировоззрении Толстого был живой центр, к которому тяготели все эти различные увлечения и которым они объединялись.

И ранние повести и рассказы Толстого, и большие романы его зрелой поры, и художественные произведения, написанные в старости, — с «Воскресением» в центре, — задуманы и созданы в страстных поисках ответов на те же вопросы, которые Толстой ставил перед собой в своих дневниках, в своей переписке, в статьях и трактатах на публицистические и философско-религиозные темы. Иные из этих философских, социальных, этических трактатов кажутся прямым продолжением исследований, которые в художественной форме начаты в близких к ним по времени, а иногда и в отдаленных художественных произведениях. «Исповедь» — изложение хода мыслей и волнения чувств, сообщающих драматическое развитие образу Константина Левина в «Анне Карениной» — в той части романа, где обретший счастие в женитьбе и в семье Левин с ужасом и недоумением ощущает, как вопрос о смысле личной, слишком личной жизни парализует в нем волю к самой жизни. И к той же философской тревоге Толстого-Левина тяготеют мысли, которые Толстой развивает в одновременной с работой над «Анной Карениной» переписке с Н. Н. Страховым. От сатирического изображения оперы в «Войне и мире», показанной через восприятие Наташи Ростовой, тянется ясная нить к дышащему негодованием и гневом изображению репетиции оперы в трактате «Что такое искусство?». В том же трактате мы находим продолжение идей, развитых в рассказе-статье «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас, или нам у крестьянских ребят?», созданном еще в период первого увлечения педагогической деятельностью.

Та же «Исповедь», из которой видно, какое значение для философского мировоззрения Толстого имел вопрос об образе жизни, способном преодолеть парализующую силу страха смерти, по-новому освещает ранний рассказ Толстого «Три смерти», рассуждения о смерти князя Андрея Болконского накануне Бородина в «Войне и мире» и многое другое. С еще большей силой выражен ужас перед надвигающимся неотвратимым уничтожением в «Смерти Ивана Ильича». В гениальных по исполнению народных рассказах и, в особенности, в «Воскресении» реалистическое искусство Толстого становится способом потрясающего показа тех самых зол социальной жизни капиталистической России, которые Толстой вскрывает — в другой форме — посредством трактатов и статей: «О переписи в Москве», «Так что же нам делать?», «Царство божие внутри вас», «Рабство нашего времени» и других произведений. Чем бы ни занимался Толстой, чтобы он ни изображал в своих романах, пьесах, рассказах, какие бы трактаты он ни писал, — во всех них он пытался уяснить себе один вопрос, который представлялся ему самым важным вопросом истории. Это вопрос о том, в каком направлении идет перестройка русской жизни, начавшаяся с освобождения крестьян в 1861 г. и представлявшая процесс развития капитализма в России — не только в России городской, России рабочих, фабрикантов и купцов, но также и прежде всего — в России деревенской, крестьянской. Толстого занимал не только вопрос о том, в каком направлении идет развитие, как «укладывается» новый

строй, но также и вопрос о том, каким должно быть отношение к этому процессу его участников и свидетелей.

Ленин показал, что, гениально изображая самый процесс укладывания «переворотившегося» после 1861 г. в России строя, Толстой глядел на него глазами не помещика, не офицера, не чиновника и не литератора, а глазами патриархального русского крестьянина — того самого крестьянина, который, не успев освободиться полностью от гнета *крепостнического*, попал в условия еще большего и разорительного *капиталистического* гнета. В этих условиях сознание патриархального крестьянина оказалось сознанием противоречивым. Вековое притеснение помещиков, помещичьей государственной власти, прислуживавшего этой власти духовенства привело крестьянство на край полного разорения и накопило в нем огромные потенциальные силы революционного взрыва. С великой силой нравственного убеждения и осуждения Толстой изображал картины бедственного положения крестьянского народа, положения, порожденного двойным угнетением — помещичьим и капиталистическим. Он видел, что этому угнетению служат, на оправдание его направлены и государство со своими учреждениями, и власть со своим аппаратом насилия, и суд, и церковь, и духовенство, и прислуживающая богатству наука, забавляющее и развлекающее имущих и праздных людей искусство, литература. Толстой был свободен от гипноза авторитета, который в глазах большинства людей делает освященными и неприкосновенными учреждения, общественные отношения, верования и убеждения, сложившиеся в длительном процессе развития общества. Толстой мыслил не исторически, обращался к представлениям и оперировал понятиями, которые казались ему «вечными», «изначальными», запечатленными в самом существе «разума», нравственного и религиозного сознания человечества. Собственные построения, воздвигавшиеся Толстым на этой призрачной основе, рушились при первом прикосновении исторического воззрения. Но в то же время удивительная свобода Толстого от взглядов, традиционно повторявшихся и владевших обычным сознанием людей, загипнотизированных сложившимися порядком и господствующими отношениями, делала Толстого свободным, смелым, не страшащимся даже крайних выводов в критике. Было бы ошибкой, если бы смелость и беспощадность толстовской критики русского капитализма мы пытались понять, исходя только из *личных* черт и особенностей характера и гения Толстого. Критика эта отражала образ чувств и мыслей многих миллионов русских крестьян в период, когда для них кончилась неволя *крепостническая* и надвигалась с поразительной быстротой и силой неволя *капиталистическая*. «Толстой велик, — писал Ленин, — как выразитель тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов русского крестьянства ко времени наступления буржуазной революции в России»[1]. «...совокупность его взглядов, взятых как целое, выражает как раз особенности нашей революции, как *крестьянской* буржуазной революции» [2].

«Критика Толстого, — разъяснял Ленин в другом месте, — потому отличается такой силой чувства, такой страстностью, убедительностью, свежестью, искренностью, бесстрашием в стремлении „дойти до корня", найти настоящую причину бедствий масс, что эта критика действительно отражает перелом во взглядах миллионов крестьян, которые только что вышли на свободу из крепостного права и увидели, что эта свобода означает новые ужасы разорения, голодной смерти, бездомной жизни среди городских „хитровцев" и т. д.» [3].

Но критика Толстого, поражавшая его современников из класса дворянства, из буржуазного класса и их интеллигенции, была *противоречива*. Отражая черты исторического своеобразия пореформенной эпохи в России, а также «черты исторического своеобразия всей первой

русской революции», критика Толстого отразила, как показал Ленин, «ее силу и ее слабость».

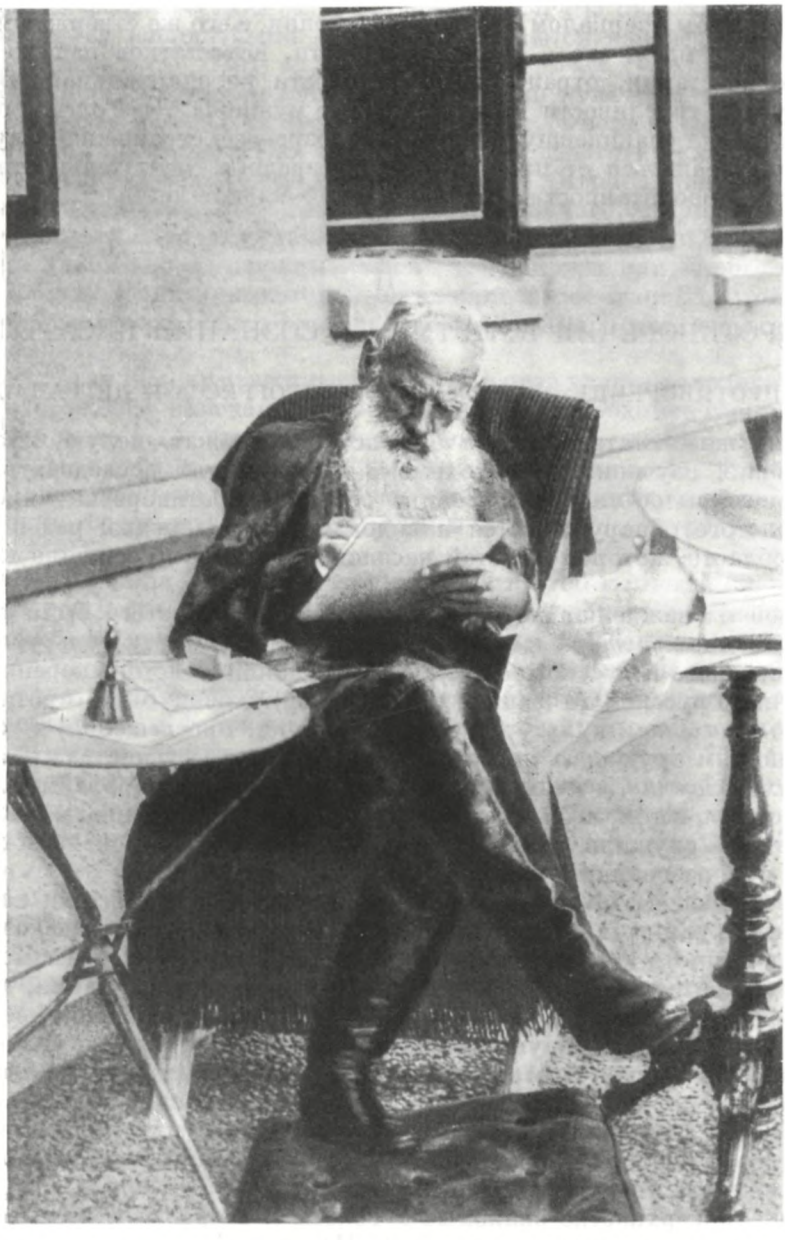
Именно потому, что Толстой глядел на русскую жизнь глазами патриархального крестьянина, он разделял свойственное патриархальному крестьянину непонимание *действительных* причин надвинувшегося на него после 1861 г. нового бедствия — бедствия *капитализма*. Не понимая причин кризиса, он не понимал и того, как следовало бороться против него, кто мог и должен был оказаться его союзником в этой борьбе и в чем условия возможной победы.

Наивность и патриархальность мировоззрения Толстого стояли в резком противоречии с духом протеста и критики. В тех же статьях о Толстом, в которых Ленин характеризовал сильные стороны толстовской критики капитализма, Ленин вскрыл всю ее слабость и несостоятельность. Как силу Толстого Ленин отметил «его горячий, страстный, нередко беспощадно-резкий протест против государства и полицейски-казенной церкви», «его непреклонное отрицание частной поземельной собственности...», «его непрестанное, полное самого глубокого чувства и самого пылкого возмущения, обличение капитализма...» [4].

Но тут же Ленин показал, что в учении Толстого сказалась и другая сторона крестьянского мировоззрения: Толстой, «горячий протестант, страстный обличитель, великий критик обнаружил вместе с тем в своих произведениях такое непонимание причин кризиса и средств выхода из кризиса, надвигавшегося на Россию, которое свойственно только патриархальному, наивному крестьянину, а не европейски-образованному писателю» [5].

Учение Толстого, возникшее как попытка великого художника осознать противоречия жизни народа, среди которого он жил, который он уважал и любил всем сердцем, содержало в себе не только критику капитализма. Оно, кроме того, заключало в себе некоторые *социалистические* элементы. Однако социалистические черты учения Толстого были чертами социализма *утопического*. Еще важнее было то, что социалистические элементы учения Толстого выражали не точку зрения классов, шедших на смену буржуазии, а, напротив, точку зрения классов, на *смену которым* пришла буржуазия. Элементом социализма в учении Толстого было разделявшееся Толстым с массами крестьянства стремление «уничтожить все старые формы и распорядки землевладения, расчистить землю, создать на место полицейски-классового государства общежитие свободных и равноправных мелких крестьян...» [6].

Но в то же время толстовский взгляд на совершенную форму общежития, которую Толстой противопоставлял отношениям, господствовавшим в действительности, есть, — как разъяснил Ленин, — «лишь идеологическое отражение старого („переворотившегося") строя, строя крепостного, строя жизни восточных народов» [7]. Толстой черпает основные черты чаемого им общежития из восточного уклада, который во второй половине XIX в. еще существовал в Азии, но который быстро разрушался капитализмом в России. Именно в восточном характере идеологии толстовства находят свой корень «и аскетизм, и непротивление злу насилием, и глубокие нотки пессимизма, и убеждение, что „все — ничто, все — материальное ничто" („О смысле жизни", стр. 52) и вера в „Дух", „начало всего", по отношению к каковому началу человек есть лишь „работник", „приставленный к делу спасения своей души" и т. д.» [8]. Все эти черты, характерные для учения Толстого — пессимизм, доктрину непротивления, призыв к «Духу» — следует рассматривать, — как доказал Ленин, — «не как индивидуальное нечто, не как каприз или оригинальничанье, а как идеологию условий жизни, в которых действительно находились миллионы и миллионы в течение известного времени» [9]. В своем реальном историче-



ТОЛСТОЙ

Фотография, 1902 г. Гаспра

Музей Толстого, Москва

ском содержании толстовство является «именно идеологией восточного строя, азиатского строя....»[10]

Поэтому нет никакого противоречия между утверждением Ленина, что Толстой был зеркалом русской революции, и его же утверждением, что «толстовские идеи, это — зеркало слабости, недостатков нашего крестьянского восстания, отражение мягкотелости патриархальной деревни и заскорузлой трусливости „хозяйственного мужичка“»[11]. Толстой одновременно отразил «накипевшую ненависть, созревшее стремление к лучшему, желание избавиться от прошлого, — и незрелость мечтательности, политической невоспитанности, революционной мягкотелости» [12].

II

ПРОТИВОРЕЧИЯ КУЛЬТУРЫ В СОЗНАНИИ ПИСАТЕЛЯ

1. ПРОТИВОРЕЧИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА И ДЕГРАДАЦИИ

Гениальные статьи Ленина о Толстом содержат целую программу дальнейших изучений. Необходимо в подробностях исследовать, каким образом вскрытое анализом Ленина основное противоречие мировоззрения Толстого обнаруживается и видоизменяется каждый раз в каждой новой области, которой Толстой касался в качестве художника и мыслителя.

Одной из важнейших сторон мировоззрения Толстого было развитое им понимание *культуры* и *оценка* современной Толстому культуры западноевропейского и русского общества. В сознании Толстого коренным противоречием русской (и западноевропейской) жизни было противоречие между *назначением* культуры (техники, науки, просвещения) — служить потребностям трудового народа, прежде всего крестьянства, и *действительным положением* культуры, которое, в условиях пореформенной России, состояло в том, что *на деле* культура — наука, техника, образование, искусство — служили только интересам ничтожного меньшинства правящих и образованных классов.

Противоречие это стало основой всей толстовской критики капиталистической культуры, — начиная от «Люцерна» и педагогических статей 60-х годов вплоть до таких поздних трактатов, как «Так что же нам делать?» и «Что такое искусство?». Разделение труда и специализация, техника, философия, догматы и культ христианской религии, церковь, естественные и общественные науки, медицина, искусство, педагогика — ничто не осталось не затронутым критикой Толстого. По редкой чуткости ко всякой фальши и лицемерию, по смелости и горячей силе убеждения критика Толстого оставляет позади себя отрицание культуры, которое развил Руссо и которое в сравнении с толстовской критикой полно аффектации, рисовки, чувствительной риторики.

Люди, поверхностно знакомые с Толстым, не раз обвиняли его в нигилистическом отрицании культуры. Но это обвинение совершенно не основательно.

Толстовское осуждение культуры — не злоба варвара, который, будучи сам *вне* культуры, *не дойдя еще* до культуры, отрицает ее как нечто ему совершенно чуждое и ненавистное. Своеобразие Толстого в том, что, будучи европейски образованным писателем, Толстой в то же время глядит на явления культуры и глазами патриархального крестьянина, который видит, что плоды культуры остаются для него недоступными в тех условиях общества, в какие он поставлен. Будучи почти совершенно недоступными вследствие его бедности и неграмотности,

эти плоды культуры капиталистического общества остаются для крестьянина или совершенно вне поля его зрения (как, например, наука, философия, симфоническая музыка и т. п.) или — там, где он с ними встречается, — остаются непонятными и потому осознаются как нечто ему чуждое и ненужное.

Этот критерий оценки явлений и результатов культуры капиталистического общества Толстой выдвинул уже в 1862 г., в период своего увлечения школьной деятельностью и пропагандой педагогической системы, сложившейся в яснополянской школе. В статье «Ясно-Полянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» Толстой за критерий того, что́ нужно народу и что́ хорошо для народа, принимает не свой собственный взгляд и не точку зрения какой-нибудь группы людей своего круга или какого-нибудь учения, а точку зрения, на которой, как видит и как знает Толстой, стоит сам крестьянский народ: *его* критерий и *его* понятия о том, что́ хорошо и что́ дурно.

«...Предлагая народу известные знания, в нашей власти находящиеся, — писал Толстой, — и замечая дурное влияние, производимое ими на него, я заключаю не то ⟨...⟩, что народ не дорос до того, чтобы воспринять и пользоваться этими знаниями, так же, как и мы, но то, что знания эти нехороши, ненормальны, и что нам надо с помощью народа выработать новые, соответственные всем нам, и обществу и народу, знания» (т. 8, с. 112).

И тем же критерием Толстой руководился в 1906 г., когда он разъяснял, что народ, культурные запросы и интересы которого он всегда имеет в виду, есть именно *русский крестьянский народ*: «Только представьте себе ясно этот стомиллионный русский земледельческий народ, который, строго говоря, один составляет тело русского народа, и поймите, что вы все, и профессора, и фабричные рабочие, и врачи, и техники, и газетчики, и студенты, и помещики, и курсистки, и ветеринары, и адвокаты, и железнодорожники, те самые, которые озабочены его благом, что вы все только вредные паразиты его тела, вытягивающие из него его соки, загнивающие на нем и передающие ему свое гниение» (т. 36, с. 307).

Основную ошибку историков, публицистов, философов, педагогов, рассуждавших и писавших о культуре и об ее прогрессе, Толстой видит в том, что все они считали обязательным и благодетельным для общества лишь то понятие о прогрессе и тот критерий культурного прогресса, который они выработали *отдельно* от народа, не считаясь всерьез с его запросами и взглядами.

Этот критерий блага они стремятся навязать сверху в порядке принуждения всему народу.

Но до тех пор, — рассуждает Толстой, — пока понятие о прогрессе и о благе общества не будет признано и принято самим народом, пока оно разделяется только людьми, принадлежащими к ничтожной части общества — к господствующему меньшинству, — понятие это не может иметь в глазах подавляющего большинства общества никакой убедительности и не может почитаться для него обязательным. «...Кто решил, — спрашивает Толстой, — что этот прогресс уведет к благосостоянию? Для того, чтобы поверить этому, мне нужно, чтобы не исключительные лица, принадлежащие к исключительному классу: историки, мыслители и журналисты — признали это, но чтобы вся масса народа, подлежащая действию прогресса, признала, что прогресс ведет ее к благосостоянию. Мы же видим постоянно противоречащее этому явление» (т. 8, с. 334). «Народ, то есть масса народа, $^{9}/_{10}$ всех людей, постоянно враждебно относятся к прогрессу и постоянно не только не признают его пользы, но положительно и сознательно признают его вред для них» (т. 8, с. 335).

С особой силой Толстой подчеркивает то, что деление людей на меньшинство, признающее прогресс, и большинство, отрицающее его, совпадает с основным и решающим в глазах Толстого делением общества на класс праздных, богатых, господствующих и класс трудящихся, бедных, подчиненных. «Только одна небольшая часть общества верит в прогресс, проповедует его и старается доказать его благость. Другая, большая часть общества, противодействует прогрессу и не верит в благость его» (т. 8, с. 336).

«Кто,— спрашивает Толстой,— та малая часть, верующая в прогресс? Это — так называемое образованное общество, незанятые классы, по выражению Бокля. Кто та большая часть, не верующая в прогресс? Это так называемый народ, занятые классы. Интересы общества и народа всегда бывают противоположны. Чем выгоднее одному, тем невыгоднее другому» (т. 8, с. 336—337).

Не входя в анализ чрезвычайно сложного вопроса о прогрессе, Толстой решительно становится на точку зрения *большинства*. Он догматически утверждает, будто «для малой части общества прогресс есть благо; для большей же части он есть зло» (т. 8, с. 336). Утверждение это Толстой выводит из того, что «все люди сознательно или бессознательно стремятся к благу, или удаляются от зла» (т. 8, с. 336). Протест Толстого против современной ему культуры и прогресса был протестом против форм прогресса, навязываемых большинству народа господствующим над ним меньшинством.

Толстовский протест против культуры и прогресса — не блажь чудака и не примитивное слепое отрицание. В протесте этом отразилась оценка чрезвычайно важной черты русского капитализма, выраставшего в рамках крепостничества — чудовищной *неравномерности* в распределении культурных завоеваний и достижений, которые действительно оставались недоступными большинству — в то время как все отрицательные для народа следствия развития капитализма внедрялись в жизнь народа с угрожающей быстротой и казались народу, не знавшему действительного средства избавления от зла, непреоборимыми.

В отрицании прогресса у Толстого односторонне отразилось глубоко верное наблюдение реальных фактов и процессов русской жизни. Толстой свободен от иллюзий некритического почитания буржуазной культуры, рассматриваемой в отвлечении от реальных условий жизни угнетенного и темного народа. Толстой всюду видел тысячи фактов, доказывавших, что блага и приобретения культуры, создаваемые в городах городскими классами, отнюдь не полной мерой возвращаются тому самому крестьянскому народу, который своим земледельческим трудом создает и поддерживает условия, необходимые для производства вообще всех культурных приобретений.

Толстой не только видит, что при настоящем положении вещей народ не пользуется, *фактически не может* пользоваться большей частью культурных благ, создаваемых городскими классами и людьми умственного труда. Толстой видит также, что при нынешнем порядке вещей народ *не признает*, еще *не хочет* признавать за продуктами городской цивилизации — наукой, искусством, техникой — значения подлинных культурных благ. Не признает народ за ними этого значения, во-первых, потому, что не имеет экономической возможности ими пользоваться, во-вторых, потому, что вследствие недостатка грамотности и просвещения в большинстве случаев народ даже не знает о существовании этих благ — философии, науки, литературы и т. д.

Но сделав это наблюдение, Толстой даже не стремится выяснить, при каких условиях блага культуры, ныне недоступные народу и даже чуждые его пониманию, могут стать его достоянием, могут быть возвращены

тому самому народу, которому они принадлежат, и могут стать источником и условием подъема его жизни к лучшему.

Толстой, во-первых, сильно *преувеличивает* свои верные в основе наблюдения. Он *абсолютизирует* неприятие народом культуры. Он не считается с тем, что всюду, где результаты и блага культуры, и, в первую очередь, *техники*, сберегающей труд, оказываются хотя бы в какой-то мере доступными народу, народ очень быстро научается ценить эти блага и закреплять возможность пользоваться ими.

Во-вторых, сделав свои верные наблюдения, Толстой делает не тот правильный вывод, что существующее и для народа чрезвычайно невыгодное положение вещей должно измениться, но тот ошибочный вывод, будто при оценке всех культурных благ следует исходить только из нынешнего положения вещей и из того отношения к культурным приобретениям, какое в настоящее время существует в народе.

Став на эту чуждую историзму точку зрения, Толстой подвергает все категории культуры и все отрасли культурного труда непримиримой критике. В критике своей Толстой впадает в тяжелые заблуждения. Сам того не замечая, он на каждом шагу *подменяет* предмет своей критики. Он критикует уже не только условия общественного строя, которые лишают народ доступа к культурным приобретениям и ценностям. Он критикует *самые эти* ценности, в самом существе их содержания. Правомерная, вызывающая сочувствие толстовская критика существующего в пореформенном обществе (и вообще в капиталистическом обществе) *распределения* культурных благ между основными классами этого общества превращается у Толстого в критику *самих культурных благ* как таковых. Приобретения и блага культуры начинают казаться Толстому ложными, мнимыми и ничтожными уже *независимо* от условий их доступности (или недоступности) народу.

Критика общественного строя, грабящего народ, отнимающего у него его исконное, ему одному принадлежащее достояние, лишающего народ многих достижений культуры, переходит в критику уже не культуры современного общества, а в критику культуры как таковой, науки, философии, искусства как таковых.

Согласно этой точке зрения, возникающей в результате указанной подмены понятий, наука, например, заслуживает порицания уже не за то только, что в современном капиталистическом обществе ученые обслуживают, главным образом, нужды «незанятых» классов и правительств, представляющих их интересы. Наука порицается уже за то, что и сама по себе она будто бы есть мнимое, бесцельное и даже ложное в своих результатах умствование, а не подлинное знание. И точно так же искусство осуждается уже не за то только, что художники современного капиталистического общества удовлетворяют в первую очередь художественные запросы и вкусы пустых или пресыщенных богатых людей господствующих классов этого общества, а за то, что искусство (искусство Данте, Шекспира, Гёте, Вагнера) и само по себе дурное, плохое, ненастоящее искусство.

2. ПРОТИВОРЕЧИЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Отправную точку всей толстовской критики культуры образует критика, больше того — прямое отрицание общественного разделения труда.

В вопросе о разделении труда и о специализации критерием для Толстого, исходной точкой зрения оказывается, как и в других вопросах мировоззрения, точка зрения патриархального крестьянина, наблюдающего проникновение в жизнь новых и непонятных ему капиталистических отношений.

ВЪЕЗД В ЯСНУЮ ПОЛЯНУ

Этюд маслом И. П. Похитонова

На обороте рукой художника: «Въезд в Ясную Поляну, именье Льва Николаевича Толстого. Август 1905 г.»

Собрание И. С. Зильберштейна, Москва

«14/27 июня 1905 г. Приехал художник Похитонов.—16/29 июня 1905 г.— Прекрасно пишет Похитонов въезд в усадьбу» (Записи в «Ежедневнике» С. А. Толстой)

Это совпадение взглядов Толстого на культуру со взглядами патриархального крестьянства ни в коем случае нельзя понимать упрощенно. Совпадение это, разумеется, не означает, будто Толстой был знаком только с тем узким кругом явлений и произведений культуры, который был доступен в XIX в. патриархальному русскому крестьянину. Не означает оно и того, будто Толстой в своих суждениях о культуре только пересказывает и повторяет своими словами оценки ее и суждения о ней, которые он мог слышать из уст, например, крестьян Крапивенского уезда Тульской губернии.

Огромное явление русской и мировой культуры, Толстой сам всю жизнь впитывал ее многосторонние результаты: в изобразительном искусстве, в музыке, в литературе, в публицистике, в философии, в религии. Он не просто излагает в собственных произведениях и трактатах взгляды патриархального крестьянина. Он рассматривает и оценивает факты и явления культуры с точки зрения, которая возникла у него в итоге его собственного, личного, совершенно своеобразного и беспримерного развития, но которая в своих выводах и результатах, а еще более в общей тенденции совпадала с точкой зрения патриархального крестьянина.

Нормальной для такого крестьянина представляется деятельность земледельца, удовлетворяющего собственным трудом все свои несложные, примитивные хозяйственные потребности. Разделение труда на умственный и физический представляется, с этой точки зрения, ничем не оправданным, основанным на насилии освобождением от обязательного

для всех людей труда. «Разделение труда» есть освобождение одной, меньшей, части общества за счет другой, составляющей громадное большинство.

Толстой исходит из мысли, что разделение труда на физический и умственный в условиях современного, то есть капиталистического общества — одно из обнаружений характерной для этого общества противоположности труда и праздности, бедности и богатства. То, что в современном обществе считается *разделением* труда, есть, по Толстому, на деле лишь *перекладывание* труда на плечи трудового народа и *освобождение* от всякого труда праздных людей из богатых классов.

Поэтому Толстой полагает задачу не в том, чтобы разделить физический и умственный труд *между классами общества*, а в том, чтобы физический труд — для всех людей естественный и одинаково обязательный — распределить в рамках трудового дня, обязательного для *каждого члена общества*. Труд должен быть распределен на части, или на «упряжки», последовательное выполнение которых должно удовлетворить все основные физические и материальные потребности, а также и потребность в умственном труде.

Взгляд этот основан на мысли, будто естественной, нормальной и желательной может быть признана только жизнь в деревне, на земле, иначе — трудовая жизнь патриархального крестьянина. Такой крестьянин сам производит не только все продукты, необходимые для пропитания его самого и его семьи, но также и одежду, и обувь, и все остальные предметы обихода и труда: утварь, орудия и т. д.

ЯСНАЯ ПОЛЯНА. ЧЕПЫЖ

Этюд маслом И. П. Похитонова, 1905 г.

Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»

«28 июня/11 июля 1905 г. Похитонов подарил мне вид Чепыжа сегодня»

(Запись в «Ежедневнике» С. А. Толстой)

Разделение труда Толстой считает вредным не только для большинства, отягощенного физическим трудом, но и для меньшинства, которое обманом и насилием освободило себя от физического труда.

Во-первых, разделение труда вредно для праздного меньшинства. Оно лишает членов этого меньшинства возможности удовлетворять одну из необходимейших потребностей каждого человека. «Птица так устроена,— говорит Толстой,— что ей необходимо летать, ходить, клевать, соображать, и когда она все это делает, тогда она удовлетворена, счастлива, тогда она птица. Точно так же и человек: когда он ходит, ворочает, поднимает, таскает, работает пальцами, глазами, ушами, языком, мозгом, тогда только он удовлетворен, тогда только он человек» (т. 25, с. 390).

Естественная, как думает Толстой, потребность каждого человека в физическом труде делает освобождение от этого труда вредным даже для тех, кто от этого труда освобождается. При этом само это освобождение возможно только как результат *насилия* одной части общества над другой: «Там, где не будет *насилия* над чужим трудом и ложной веры в радостность праздности, ни один человек для занятия специальным трудом не уволит себя от физического труда, нужного для удовлетворения его потребностей...» (т. 25, с. 390).

Еще более вредным представляется Толстому разделение труда для рабочих специализированного труда. Для них разделение труда превращается в специализацию в каком-либо *одном*, весьма частном виде труда. Исполнение его никогда не приводит, не может привести рабочего к пониманию и к признанию осмысленности, целесообразности, необходимости и благодетельности производимой им специальной работы. Приковывая рабочего к однообразному, бесконечно повторяющемуся и механическому изготовлению детали, такое разделение труда лишает рабочих необходимого для каждого человека естественного *чередования* всех видов труда, составляющих содержание трудовой жизни.

Толстому был известен довод, каким оправдывается разделение труда на специализированные отрасли: ссылка на выгоду, которую получает от разделения труда общество в целом — вследствие усовершенствования качества и умножения количества продуктов, производимых специализированным трудом. Но довод этот Толстой отвергает самым решительным образом. По Толстому, единственным критерием при обсуждении вопроса о допустимости и полезности разделения труда может быть не отвлеченное благо общества в целом, но только благо каждого из его членов.

Так же отвергает Толстой и всякое оправдание существующего разделения труда, основывающееся на указании *исторических причин*, сделавших это разделение необходимым в развитии производства и форм общественной жизни. Критерий Толстого не *историческая причинность*, а *целесообразность*, и притом целесообразность не для общества в целом или для какого-либо одного общественного класса, а для каждого из индивидов, сумма которых составляет общество.

Как утописта-идеалиста Толстого интересует не столько то, *почему* возникло существующее разделение труда, сколько то, какие формы разделения и чередования труда *желательны* для личности, гармонически развивающей все свои физические и духовные силы.

Точка зрения Толстого на разделение труда одновременно и архаична, и утопична. Она архаична, так как оценивает существующее *настоящее* критерием *прошлого*, причем чрезвычайно далекого прошлого. И действительно, уже писатели античного полиса понимали (как это отметил в первом томе «Капитала» Маркс), какую выгоду приносит разделение труда обществу рабовладельцев в его целом, совершенствуя качество изготовляемого продукта. В этом плане вопрос о разделении труда обсуждают и Ксенофонт, и Платон, и Исократ.

Напротив, Толстой желательным для настоящего признал давно миновавшее и невозвратимое прошлое. Это — все тот же взгляд патриархального крестьянина, рассматривающего факты и отношения *капиталистических* форм разделения труда с точки зрения *примитивного хозяйственного уклада деревни*, где нужные крестьянину несложные орудия он вырабатывает собственными руками, не отрываясь от производительного земледельческого труда. В то же время взгляд Толстого *утопичен*. Он утопичен, так как достаточным условием для перенесения в настоящее исторически сложившихся, но со временем отживших форм труда и отношений между людьми Толстой считает *субъективные* желания и *субъективные* идеалы, представления о том, что *должно было бы быть*.

В утопизме Толстого есть черта, сближающая его мировоззрение со взглядами народников. Стремление Толстого судить настоящее с точки зрения по сути уже невозвратимого прошлого объясняется у Толстого, как и у народников, нежеланием понять, что́ представляет в действительности, в своем реальном содержании отвергаемое им настоящее. «Подобно народникам,— писал о Толстом Ленин,— он не хочет видеть, он закрывает глаза, отвертывается от мысли о том, что „укладывается“ в России никакой иной, как буржуазный строй»[13]. «Для Толстого этот „только укладывающийся“ буржуазный строй рисуется смутно в виде пугала — Англии. Именно: пугала, ибо всякую попытку выяснить себе основные черты общественного строя в этой „Англии“, связь этого строя с господством капитала, с ролью денег, с появлением и развитием обмена, Толстой отвергает, так сказать, принципиально»[14].

Толстой ясно видел одно: существовавшее в современном ему обществе разделение труда явно порабощало личность, калечило ее, подавляло присущее ей стремление к всестороннему развитию. *Для кого*,— таков смысл вопроса Толстого,— выгоднее разделение труда? «Выгоднее поскорее наделать как можно больше сапог и ситцев. Но кто будет делать эти сапоги и ситцы? Люди, поколениями делающие только булавочные головки. Так как же это может быть,— спрашивает Толстой,— выгоднее для людей? Если дело в том, чтобы наделать как можно больше ситцев и булавок, то это так; но дело ведь в людях, в благе их. А благо людей в жизни. А жизнь в работе. Так как же может необходимость мучительной угнетающей работы быть выгоднее для людей? Если дело только в выгоде одних людей без соображения о благе всех людей, то выгоднее всего одним людям есть других. Говорят, что и вкусно» (т. 25, с. 391—392).

Основу всех этих и подобных рассуждений Толстого о разделении труда образует мысль, что выгодным для общества в целом может быть только то, что вместе с тем выгодно и для каждого в отдельности члена этого общества, не принося ему лично никакого вреда: «Выгоднее для всех людей — одно, то самое, что я для себя желаю,— наибольшего блага и удовлетворения тех потребностей, и телесных, и душевных, и совести, и разума, которые в меня вложены» (т. 25, с. 392).

Утвердившись в этом взгляде, Толстой предлагает заменить существующее разделение труда такой его организацией, при которой труд не делится на специальные отрасли, но исполняется во всех своих отраслях каждым отдельным членом общества, однако в известном чередовании работ. Это и есть толстовские ежедневные четыре «упряжки», охватывающие все основные виды необходимого для каждого производительного труда. Такая форма организации труда,— думает Толстой,— обеспечит и удовлетворение всех потребностей общества и отдельных лиц в различных продуктах труда и гармоническое развитие всех присущих каждому отдельному человеку форм деятельности. «Я убедился,— заявлял Толстой,— что труд для удовлетворения своих потребностей сам собою разделяется на разные роды труда, из которых каждый имеет свою прелесть и не

только не составляет отягощения, а служит отдыхом один от другого» (т. 25, с. 392).

Легко заметить, что в толстовской критике разделения труда есть много идей, давно уже до Толстого высказанных по этому вопросу предшествовавшими писателями. Начиная со второй половины XVIII в. ряд экономистов, историков, моралистов, философов, поэтов изображали — порой с замечательной силой и убежденностью — отрицательные результаты разделения труда и форм специализации, сложившихся в буржуазном обществе нового времени. С этой стороны Толстой не сказал ничего такого, что не было бы сказано до него такими авторами как Фергюсон, Руссо и многие другие.

Но вместе с тем в критике Толстого есть и нечто, *вполне оригинальное*, *никем* до Толстого не высказанное, *только одному* Толстому принадлежащее.

Предшественники Толстого по критике разделения труда либо утешались, как утешались классики английской политической экономии, тем, что разделение труда, угнетающее и обедняющее личность, благодетельно для всего общества в целом, либо, как Шиллер, надеялись, будто результаты разделения труда, уродующие личность, могут быть ослаблены или даже вовсе устранены посредством *эстетического* воспитания личности, т. е. способом, ничего не трогающим и не изменяющим в существующих формах разделения труда. В отличие от всех этих авторов Толстой не находит оправдания существующего зла в признании его полезности для общества, рассматриваемого как целое. Он не разделяет и надежды на то, что, возникнув в области отношений труда, зло специализации может быть устранено с сохранением в неприкосновенности самих этих отношений — путем деятельности, лежащей, как эстетическое воспитание Шиллера, *вне* сферы производительного труда.

В возникших и утвердившихся формах разделения труда предшественники Толстого видели роковое и неотвратимое зло самой культуры. Даже Руссо, не говоря уже о Шиллере, утверждал невозможность уничтожения укоренившихся в развитии нового — буржуазного — общества форм разделения труда. Вольтер напрасно потешался над Руссо, вычитывая в его критике культуры призыв стать на четвереньки и ползти в первобытные леса и пещеры, вернуться к докультурному состоянию. В письме к польскому королю Станиславу, поясняя свою мысль, Руссо говорил, что если в настоящее время уничтожить существующие формы культуры, то Европа впадет в варварство, но отрицательные результаты культуры все же останутся.

Также и Шиллер, резко протестовавший против калечащего личность разделения труда, полагал в то же время, будто источники этого зла лежат вне отношений между людьми — *в самом существе культуры* и законов ее развития. «Я охотно, однако, признаюсь вам,— писал Шиллер,— что и род — никаким иным путем не мог совершенствоваться, как ни должны были пострадать индивиды при этом раздроблении их существа»[15]. «Сама культура,— писал он в другом месте,— нанесла новому человечеству эту рану»[16].

И от Руссо, и от Шиллера, и от многих других критиков разделения труда Толстой отличается прежде всего тем, что он не верит, будто в основе существующих форм специализации лежит какой-то «имманентный» культуре, непреложный закон ее развития. Толстой полагает, что основой специализации являются *отношения между людьми* в обществе, и прежде всего — отношения угнетения работающего большинства неработающим меньшинством.

Толстой безошибочно разглядел и разгадал в обычных способах объяснения капиталистических форм разделения труда корыстный способ

оправдания существующего в капиталистическом обществе угнетения человека человеком. В современной системе разделения труда Толстой обнаружил нечто гораздо более важное, чем только черту технической или экономической организации труда. В системе этой Толстой увидел несомненное доказательство того, что основное отношение капиталистического общества есть отношение насильственного угнетения трудящихся, т. е. не только разделение труда, но и стремление нерабочих, «незанятых», по терминологии Толстого, классов «к освобождению себя от известных родов труда, т. е. захвату чужого труда, требующему насильственного занятия специальным трудом других людей» (т. 25, с. 390).

Толстой отрицает разделение труда не только потому, что в ослеплении не видит его благодетельных для общества результатов — умножения количества и усовершенствования качества производимых продуктов. Толстой отрицает в современном ему разделении труда те основы общественного порядка, которые превращают само разделение труда в способ порабощения трудовой части общества, а все выгоды этого разделения — там, где они действительно налицо,— превращают в выгоды для одних лишь поработителей.

Сторонников и апологетов существующего в капиталистическом обществе разделения труда Толстой обвиняет в том, что они «под видом разделения труда и словом и, главное, делом учат других пользоваться посредством насилия нищетою и страданиями людей для того, чтобы освободить себя от самой первой и несомненной человеческой обязанности трудиться руками в общей борьбе человечества с природой» (т. 25, с. 354).

С редкой не только для художника, но и для мыслителя проницательностью Толстой изобразил, каким образом при общественных условиях, в какие был поставлен русский крестьянин пореформенной, то есть капитализировавшейся России, все блага разделения труда или оказываются для него — в силу бедности, угнетения, отсталости — недоступными или приносят ему прямой вред, ускоряя и без того быстрый процесс его разорения и обнищания, выталкивая его из деревни на фабрику, в ряды городского пролетариата.

«Если рабочий,— рассуждает Толстой,— может вместо ходьбы проехаться по железной дороге, то зато железная дорога сожгла его лес, увезла у него из-под носа хлеб и привела его в состояние, близкое к рабству— к капиталисту. Если, благодаря паровым двигателям и машинам, рабочий может купить дешево непрочного ситцу, то зато эти двигатели и машины лишили его заработка дома и привели в состояние совершенного рабства — к фабриканту. Если есть телеграфы, которыми ему не запрещается пользоваться, но которыми он, по своим средствам, не может пользоваться, то зато всякое произведение его, которое входит в цену, скупается у него под носом капиталистами по дешевой цене, благодаря телеграфу, прежде чем рабочий узнает о требовании на этот предмет. Если есть телефоны и телескопы, стихи, романы, театры, балеты, симфонии, оперы, картинные галереи и т. п., то жизнь рабочего от этого всего не улучшилась, потому что все это 〈...〉 недоступно ему» (т. 25, с. 355).

С особой силой Толстой настаивает на том, что изобретения, осуществляемые на основе разделения труда и специализации, в условиях капитализма обычно придумываются и вводятся не в интересах народа, а в интересах его поработителей. «Все мы знаем, — говорит Толстой,— мотивы, по которым строятся дороги и фабрики и добываются керосин и спички. Техник строит дорогу для правительства, для военных целей или для капиталистов, для финансовых целей. Он делает машины для фабриканта, для наживы своей и капиталиста. Все, что он делает и выдумывает, он делает и выдумывает для целей правительства, для целей капиталиста и богатых людей. Самые хитрые изобретения техники направлены прямо

или на вред народа, как пушки, торпеды, одиночные тюрьмы, приборы для акциза, телеграфы и т. п. или на предметы, которые не могут быть не только полезны, но и приложимы для народа: электрический свет, телефоны и все бесчисленные усовершенствования комфорта, или, наконец, на те предметы, которыми можно развращать народ и выманивать у него последние деньги, т. е. последний труд: таковы прежде всего — водка, пиво, вино, опиум, табак, потом ситцы, платки и всякие безделушки» (т. 25, с. 356).

Если же случается,— рассуждает Толстой,— что изобретения, делаемые на основе разделения труда, «иногда нечаянно пригодятся и народу, как железная дорога, ситец, чугуны, косы, то это доказывает только то, что на свете все связано и из каждой вредной деятельности может выходить и случайная польза для тех, кому деятельность эта вредна» (т. 25, с. 356).

Все эти утверждения кажутся парадоксальными. Частично они глубоко ошибочны. Никто не согласится с Толстым в его утверждении, будто ситцы и платки производятся в целях развращения народа. Но важно здесь другое. Несмотря на все свои парадоксы, Толстой правильно определил и указал глубокую связь, существующую в капиталистическом обществе между формами разделения труда и всем строем этого общества, основанного на угнетении. Толстой совершенно прав, когда утверждает, что в условиях капитализма лучшие плоды труда и творчества остаются недоступными народу.

Как раз имея в виду судьбу произведений самого Льва Толстого, Ленин разъяснял, что до тех пор, пока существует капиталистическое общество, произведения эти останутся, несмотря на гениальность Толстого, неизвестными *громадному большинству* трудящихся. «Толстой-художник,— писал Ленин,— известен ничтожному меньшинству даже в России. Чтобы сделать его великие произведения действительно достоянием *всех*, нужна борьба и борьба против такого общественного строя, который осудил миллионы и десятки миллионов на темноту, забитость, каторжный труд и нищету, нужен социалистический переворот»[17].

Но правильно поняв тесную связь между формами разделения труда в капиталистическом обществе и теми чертами его строения, которые делают его обществом, основанным на порабощении и на угнетении трудящихся, Толстой делает из этого открывшегося ему понимания совершенно превратные выводы. Он ошибочно превращает связь разделения труда с капиталистическим строем — связь, исторически возникшую и имеющую исторически ограниченную длительность,— в *существенный признак самого разделения* труда. Враждебность интересам народа, вытекающую из *капиталистических* форм разделения труда и обреченную на устранение вместе с падением капитализма, Толстой приписывает самому разделению труда *как таковому* — независимо от того, в какой *общественно-политической* системе это разделение осуществляется, какому общественному классу оно служит.

Вывод этот — большая ошибка Толстого. Но как она характерна! Она прямо вытекает из взгляда Толстого на все явления и обнаружения капитализма, надвигавшегося на жизнь пореформенного русского общества, в том числе — на жизнь пореформенной деревни. Толстому был глубоко чужд исторический взгляд на действительность. «Для Толстого,— пояснял Ленин,— ⟨...⟩ определенная, конкретно-историческая постановка вопроса есть нечто совершенно чуждое. Он рассуждает отвлеченно, он допускает только точку зрения „вечных“ начал нравственности, вечных истин религии, не сознавая того, что эта точка зрения есть лишь идеологическое отражение старого („переворотившегося“) строя, строя крепостного, строя жизни восточных народов»[18].

Толстой не исследует, даже не пытается исследовать ни реальных исторических условий, из которых возникло и возникает разделение труда, ни тех реальных исторических условий, при которых оно из средства угнетения и ограбления трудящихся, каким оно оказывается при капитализме, становится средством, повышающим не только производительность труда, но и благосостояние трудовых классов в обществе, освобожденном от капиталистического рабства.

Толстой не пошел в решении противоречий разделения труда по этому единственно верному пути. Преодоления вредных для крестьян и для рабочих последствий капиталистических форм разделения труда Толстой ищет не в *реальных* условиях развития существующего общества, а в отрицании *самого принципа разделения труда*.

Таким образом, реальности Толстой противопоставляет мечту, будто развитие одного из важнейших явлений в жизни действительного общества может быть отменено простым противопоставлением этому явлению труда, еще не разделенного на отрасли, труда, существовавшего в далеком прошлом и, как все прошлое, невозвратимого.

3. ПРОТИВОРЕЧИЕ В КРИТИКЕ НАУКИ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Толстовский анализ вопроса о разделении труда — ключ к пониманию аналогичных противоречий мышления Толстого в развиваемой им критике различных сторон и явлений культурной истории общества,— в критике науки, философии, искусства, государства, апологии войны и т. д.

В критике этой Толстой обнаруживает замечательно верное, только крупнейшему художнику и мыслителю доступное понимание отрицательных последствий, какими оборачивается культура для крестьянских масс, подпадающих под пяту капитализма. Во всех своих нападках на культуру современного общества он даже разъясняет, что он не имеет в виду отвергать культуру как таковую: «Я не только не отрицаю науку и искусство, но я только во имя того, что есть истинная наука и истинное искусство, и говорю то, что я говорю...». «Наука и искусство,— поясняет Толстой,— так же необходимы для людей, как пища, и питье, и одежда, даже необходимее, но они делаются таковыми не потому, что мы решим, что то, что мы называем наукой и искусством — необходимо, а только потому, что они действительно необходимы людям» (т. 25, с. 364).

Толстой был искренно убежден в том, что его критика, например критика науки,— есть не отрицание науки в принципе, но лишь отрицание той науки, которая не поставлена на службу действительным интересам народа. Такова, например, толстовская критика медицины. В ряде рассуждений Толстой нападает на медицину не за то, что ее учения и понятия ложны, и не за то, что ее методы будто вообще не дают результата. Он критикует медицину за то, что — в социальных условиях *современного* общества ее учения и методы не могут быть применены к оздоровлению и лечению крестьян и рабочих, так как в условиях современного общества наука служит только богатым и праздным людям.

По разъяснению Толстого, медицинская наука вся так поставлена, что врач «умеет лечить только тех людей, которые ничего не делают и могут пользоваться трудами других» (т. 25, с. 358). «Наука вся пристроилась к богатым классам и своей задачей ставит, как лечить тех людей, которые все могут достать себе, и посылает лечить тех, у которых ничего нет лишнего, теми же средствами». «Что же выходит? — спрашивает Толстой.— Выходит то, что главное бедствие народа, от которого происходят и распространяются и не излечиваются болезни,— это недостаточность средств для жизни (т. 25, с. 359).

Пока народ так беден, как он беден сейчас, рассуждает Толстой, медицина не только не доступна ему, но может стать доступной только при условии еще большего его обеднения и ограбления. Защитники медицины объясняют отсутствие пользы от медицины для народа тем, что до настоящего времени медицинское дело недостаточно развилось. «Очевидно,— замечает Толстой,— что мало развилось, потому что если бы, избави бог, оно развилось, и на шею народа вместо двух докторов, акушерок и фельдшеров в уезде посадили бы 20, как они хотят этого, то половина народа перемерла бы от тяжести содержания этого медицинского штата, и скоро бы и лечить некого было» (т. 25, с. 359).

До сих пор все эти доводы Толстого оказываются доводами не против *существа* медицины как *науки*, а только против общественного порядка, при котором медицина не может, как бы того ни хотели ее работники, выполнять свое общественное назначение — служить массам рабочих людей.

Но Толстой не ограничивается этими правильными доводами. Сам того не замечая, он смешивает вопрос об условиях доступности науки для трудящихся с вопросом об *истинности* самой науки — независимо от того, кому она доступна в современных условиях. Речь идет уже не о том, каким образом добиться того, чтобы результаты науки, недоступные народу в его теперешнем положении, стали доступными для него. Речь идет уже о том, действительно ли эта наука, сделайся она ему доступной, могла бы принести пользу этому народу. Речь идет о том, действительно ли знание, добываемое наукой и предлагаемое ею обществу в качестве истинного, является *истинным* знанием.

Ответ на этот вопрос предрешен у Толстого его критикой разделения труда. Развитие науки в современном обществе основывается на разделении труда. Но, по Толстому, разделение труда насильственно расчленяет всю область работы на части, не имеющие между собой связи, лишенные естественного подчинения и соподчинения. А так как этому расчленению, раз оно однажды началось, в принципе не может быть предела, то отсюда Толстой выводит, что результатом столь специализированной науки не может быть истинное знание.

Наука, по Толстому, оправдывает разделение труда не только в экономической области. Она оправдывает и отстаивает разделение труда прежде всего в своей собственной области — в области научного исследования. Больше того. Разделение труда — не только условие самого существования современной науки, но также условие *нынешнего содержания ее учений*. Толстой прямо говорит, что «разделение труда, т. е. захват чужого труда» стало в наше время «условием деятельности людей науки» (т. 25, с. 362). Но именно поэтому Толстой считает современную науку не только направленной ко вреду трудящихся, но, кроме того, неистинной в самом содержании и существе ее утверждений.

В литературе о Толстом до сих пор, насколько известно пишущему эти строки, не было обращено достаточное внимание на связь, существующую между социальными мотивами толстовской критики разделения труда и *гносеологической* мотивировкой толстовской критики науки. Но связь эта существует.

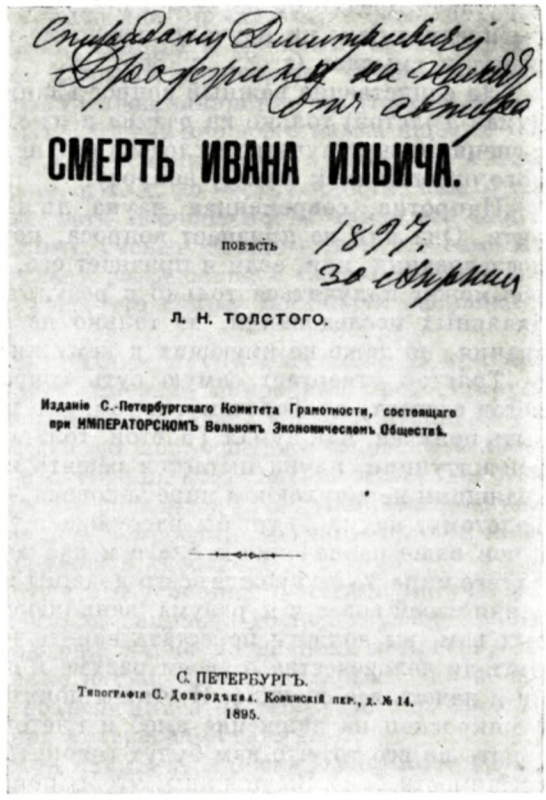
Как ни странно может показаться, но для Толстого существует только один вопрос познания — это вопрос о том, в чем назначение и благо человека. Может быть, после Сократа никто не пытался с такой силой, как это сделал Толстой, свести всю философию к этому вопросу.

Но вопрос этот не требует, как кажется Толстому, никакого разделения труда, никакой специализации, и может быть решен только во всей его неделимости и целостности. Сравнительно с этим вопросом все другие вопросы знания представляются Толстому не только частностями, но в

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ТОЛСТОГО НА КНИГЕ «СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА» (СПб., 1895)

«Спиридону Дмитриевичу Дрожжину на память от автора. 1897. 30 апреля»

Архив Толстого, Москва


Спиридону Дмитриевичу Дрожжину на память от автора

СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА.

повѣсть

1897. 30 апрѣля

Л. Н. ТОЛСТОГО.

Изданіе С.-Петербургскаго Комитета Грамотности, состоящаго при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ.

С. ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія С. Добродѣева. Ковенскій пер., д. № 14.
1895.

своей частности настолько случайными и многочисленными, что без подчинения главному вопросу — о назначении жизни и о благе — превращаются в бесплодные исследования, которые никогда не могут ни закончиться, ни привести к истине.

Современная наука утратила, по Толстому, сознание вопроса, ответ на который один только мог бы быть оправданием ее существования — вопроса о том, в чем назначение и благо людей. «С тех пор,— говорит Толстой,— как существуют люди, в среде их зарождались великие умы, которые в борьбе с требованиями разума и совести задавали себе вопросы о том, в чем состоит благо, назначение и благо не одного меня, а всякого человека. Чего хочет от меня и от всякого человека та сила, которая произвела и ведет меня? И что мне нужно делать, чтобы удовлетворить возложенные на меня требования личного и общего блага? Они спрашивали себя: я целое и частица чего-то необъятного, бесконечного. Какие мои отношения к таким же подобным мне частицам — людям и ко всему целому — к миру?» (т. 25, с. 367).

Чтобы знание было знанием, способным дать *истину*, оно должно, по Толстому, придерживаться руководящей нити, определяющей как *отбор* вопросов исследования, так и их *последовательность и подчинение*. «... Область знания вообще всего человечества,— писал Толстой,— так многообразна — от знания, как добывать железо, до знания движения светил,— что человек теряется в этой многочисленности существующих и в *бесконечности* возможных знаний, если у него нет руководящей нити, по которой бы он мог располагать эти знания, распределять их по степени их значения и важности» (т. 25, с. 365). «Изучать же все ⟨...⟩ без соображения о том, что выйдет из этого изучения, прямо невозможно, потому

что число предметов изучения *бесконечно*, и потому, сколько бы и какие бы предметы мы ни изучали, изучение их не может иметь никакого значения и смысла» (т. 25, с. 365).

На единственно важный вопрос знания ответ может быть получен (так думал Толстой) только из *разума* и из *совести*, но никак не из частных и специальных научных исследований, не имеющих прямого, непосредственного отношения к самому вопросу.

Напротив, современная наука лишена, по Толстому, руководящей нити. Она или не признает вопроса, который один мог бы оправдать ее исследования, или, если и признает его, то думает, что ответ на этот вопрос может получиться только в результате бесконечного множества специальных исследований, не только не подчиненных главному вопросу знания, но даже не имеющих к нему никакого прямого отношения.

Толстой отвергает самую суть современного научного метода. Этот метод состоит, по Толстому, в том, что вопросы, ответ на которые может быть получен, как думал Толстой, только из источников разума и моральной интуиции, наука пытается решать по аналогии с явлениями, происходящими не в духовном мире человека, а в области внешней природы. По Толстому, наука будто бы рассуждает так: «... если вы хотите знать, в чем ваше назначение и благо и назначение и благо всего человечества и всего мира, то вы прежде всего должны перестать слышать голос и требования своей совести и разума, заявляющие себя и в вас самих и в подобных вам, вы должны перестать верить всему тому, что говорили великие учители человечества о своем разуме и совести, считать все это пустяками и начать все сначала. И, чтобы понять все сначала, вам надо смотреть в микроскоп на движение амеб и клеточек в глистах или еще покойнее верить во все то, что вам будут говорить об этом люди с дипломом непогрешимости <...> Вы должны, чтобы понять себя, изучать не только глисту, которую вы видите, но и микроскопические существа, которых вы почти что не видите, и трансформации из одних существ в другие, которых никто никогда не видел, и вы наверно никогда не увидите» (т. 25, с. 368).

Метод современной науки идет от познания низшего к познанию высшего. Этому методу Толстой противопоставляет совершенно иную лестницу ступеней познаваемости. Повторяя мысль Сократа, Толстой утверждает, будто ответ на вопрос, который человек, как *высшее* существо, ставит перед собой о смысле своей жизни, не может быть получен ни из каких исследований *низших* — сравнительно с человеком — явлений и фактов жизни. Познание всех предметов, выходящих за круг нравственного самосознания, не только не приближает нас, по Толстому, к ответу на вопросы, возникающие из источников этого самосознания, но даже вообще невозможно, неосуществимо, недоступно. И так же, как Сократ, Толстой полагает, что чем дальше познаваемый предмет отстоит от предметов нравственного самосознания, тем менее доступен он познанию.

Так, жизнь может быть, по Толстому, предметом познания только в своей неделимой целостности, которая открывается лишь непосредственному самосознанию разумного живого существа. Но именно такого рода познание,— единственно, в глазах Толстого, возможное и доступное,— недоступно науке. «Ложная наука, изучая явления, сопутствующие жизни, и предполагая изучать самую жизнь, этим предположением извращает понятие жизни; и потому, чем дольше она изучает явление того, что она называет жизнью, тем больше она удаляется от понятия жизни, которое она хочет изучать» (т. 26, с. 437).

Последовательность вопросов, в какой наука изучает проявления жизни, ища разгадки сложного в простом, высших форм организации — в низших, живого—в мертвом, представляется Толстому не приближением, а отдалением от действительного познания жизни. «Сначала изучают-

ся животные млекопитающие, потом другие позвоночные, рыбы, растения, кораллы, клеточки, микроскопические организмы, и дело доходит до того, что теряется различие между живым и неживым, между пределами одного организма и другого. Доходит до того, что самым важным предметом исследования и наблюдения представляется то, что уже не может быть наблюдаемо» (т. 26, с. 437). Объяснение всего наука ищет «в тех существах, которые содержатся в микроскопических существах, и тех, которые еще в этих ⟨...⟩ содержатся, и т. д. до бесконечности, как будто бесконечная делимость малого не есть бесконечность такая же, как и бесконечность великого». По Толстому, ученые не видят того, что само их представление, будто вопрос получает разрешение в бесконечно малом, «есть несомненное доказательство того, что вопрос поставлен неправильно» (т. 26, с. 437).

Противоречивость толстовской критики науки очевидна. В критике этой сказался замечательно сильный, смелый, искренний протест крупнейшего художника-мыслителя против того общественного строя, который самое науку превращает в средство порабощения человека человеком. Под личиной объективности и служения всему человечеству Толстой в науке капиталистического общества разглядел прислужничество науки богатству и богатым, пренебрежение к вопросам, имеющим прямой жизненный интерес для бедных, для трудовых классов.

Толстой *прав*, когда доказывает, что в условиях капитализма ученые, занятые в большинстве обслуживанием запросов господствующей части общества, оставляют без внимания ряд жизненно важных вопросов, ответ на которые могла бы дать только наука, но над которыми она не задумывается, так как не видит в разрешении этих вопросов той выгоды, которую ей приносит обслуживание интересов богатых.

«Область медицины, как область техники,— писал Толстой,— лежит еще непочатая. Все вопросы о том, как лучше разделять время труда, как лучше питаться, чем, в каком виде, когда, как лучше одеваться, обуваться, противодействовать сырости, холоду, как лучше мыться, кормить детей, пеленать и т. п., именно в тех условиях, в которых находится рабочий народ,— все эти вопросы еще не поставлены» (т. 25, с. 359—360). То же, по Толстому, происходит и с деятельностью *педагогической*. Наука, утверждает Толстой, поставила это дело так, что «учить по науке можно только богатых людей, и учителя, как техники и врачи, невольно льнут к деньгам, у нас особенно к правительству» (т. 25, с. 360).

Критика Толстого отразила *реальное* противоречие в положении науки при капитализме. От фактов развития медицины и микробиологии, изображенных в книгах Поля де Крюи, вплоть до истории создания атомной бомбы все развитие науки в капиталистическом обществе *подтверждает* правильность утверждения Толстого.

Но эта верная мысль выступает у Толстого в неразрывной связи с рядом поразительных заблуждений. Заблуждения эти показывают, что самого существа науки Толстой зачастую не видит и не понимает. Он отрицает всякую ценность, например, за спектральным анализом звезд, за микробиологическими исследованиями, за гистологией и т. п. Отрицает он все это потому, что и на науку, так же как и на разделение труда, Толстой смотрит не глазами человека, движущего науку, и не глазами передового класса современного общества, а скептическим взором патриархального крестьянина, отождествляющего бесполезность или, вернее, недостаточную пользу, приносимую ему наукой при капитализме, с бесполезностью и даже ложностью науки по существу ее содержания.

Толстой не доверяет науке, так как, во-первых, не видит и не находит *прямой, непосредственной* пользы от ее часто неторопливых, часто имеющих в виду дальнее действие и дальний прицел изысканий; во-вторых,

потому, что верит только тому, что им самим испытано, проверено — в то время как наука, по безмерному разнообразию и объему своих исследований, предметов и обоснований, никогда не может стать личным достоянием только одного человека и потому предполагает доверие к истинности того, что дознано, доказано и обосновано другими.

Еще в педагогических статьях 60-х годов Толстой доказывал, что мерилом ценности и даже *истинности* научных знаний должны быть не гносеологические или логические критерии, а взгляд на эти знания и оценки этих знаний, свойственные миллионам неученой неграмотной массы крестьянства. Толстой заранее и безоговорочно признает истиной только то мнение о науке, которое имеет народ. «...Предлагая народу,— писал Толстой,— известные знания, в нашей власти находящиеся, и замечая дурное влияние, производимое ими на него, я заключаю ⟨...⟩ не то, что народ не дорос до того, чтобы воспринять и пользоваться этими знаниями так же, как и мы, но то, что знания эти нехороши, ненормальны, и что нам надо с помощью народа выработать новые, соответственные всем нам, и обществу и народу, знания» (т. 8, с. 112).

Толстой не признает существующих наук науками, во-первых, потому, что науки эти не занимаются и не интересуются вопросом, который, по Толстому, составляет *единственное* содержание подлинной науки: вопросом о том, как должен поступать человек, чтобы хорошо жить. «Наукой в наше время считается и называется,— поясняет Толстой,— как ни странно это сказать, знание *всего, всего на свете, кроме того одного, что нужно знать каждому человеку для того, чтобы жить хорошею жизнью*» (т. 38, с. 137).

Толстой не признает существующих наук науками еще и потому, что полагает, будто науки эти не могут дать ответа не только на тот вопрос о должном поведении, которым они должны были бы заниматься и которым они не занимаются, но также не могут дать ответа и на те вопросы, которые они сами перед собой ставят.

Мотивировка этого последнего утверждения Толстого — *скептическая*. Науки, полагает Толстой, не могут ответить на вопросы, которые они сами перед собой ставят, потому что, исследуя явления, происходящие в мире неорганическом, а также в мире растительном и животном, науки эти строят все свои исследования на неверной, с точки зрения Толстого, предпосылке. Состоит эта предпосылка в допущении, будто «все то, что представляется человеку известным образом, действительно существует так, как оно ему представляется» (т. 38, с. 140).

Но мир, каким он нам представляется, и мир, каким он существует сам по себе,— не одно и то же. Быть может, под влиянием Шопенгауера, увлечение которым Толстой пережил в 60-х годах и которое отразилось в его переписке с Фетом, Толстой отделяет наше представление о мире от мира в его сущности. По Толстому, предположение, будто мир «действительно таков, каким он познается одним из бесчисленных существ мира — человеком, теми внешними чувствами: зрением, обонянием, слухом, осязанием, которыми одарено это существо (человек), совершенно произвольно и неверно» (т. 38, с. 140). Произвольным же и неверным Толстой это допущение считает потому, что «для всякого существа, одаренного другими чувствами, как, например, для рака или микроскопического насекомого и для многих и многих, как известных, так и неизвестных нам существ, мир будет совершенно иной» (т. 38, с. 140).

Но даже предположив, что мир действительно таков, каким он представляется человеку, одному из бесчисленных существ, различающихся по устройству органов чувств, мы не можем, согласно Толстому, допустить, что существующие науки способны понять этот открытый и доступный нашим чувствам мир. Если, не имея возможности понять мир, каков

он в действительности, мы ограничимся изучением того мира, который представляется человеку, то и в том объеме, в этих пределах познание мира не может быть достигнуто существующими науками. «Потому,— рассуждает Толстой,— что все явления этого мира представляются человеку не иначе, как в бесконечном времени и бесконечном пространстве». Но именно поэтому Толстой полагает, что «как причины, так и последствия каждого явления, а также и отношения каждого предмета к окружающим его предметам никогда не могут быть *действительно* постигнуты» (т. 38, с. 140—141).

Вникая в суть толстовской критики науки, мы видим, что то, что Толстой называет *истинной* наукой — в отличие от существующей, ложной, по его мнению, науки — есть вовсе не наука, а *вера*. Это — не знание того, что есть, а вера в то, что ответ на вопрос о назначении человека и об истинном благе уже давно известен многомиллионному крестьянскому народу и что главная задача сознавшей себя личности состоит в усвоении этой народной мудрости и веры.

Не удивительно поэтому, что настоящими деятелями «науки» (в толстовском смысле этого понятия) Толстой считает не ученых, а великих моралистов и основателей больших религий, имеющих разработанные *этические* учения, а истинной наукой — учение о *назначении* человека, о *должном поведении* и о вытекающем из них *благе*. «Наука,— утверждает он,— 〈...〉 есть знание необходимейших и важнейших для жизни человеческой предметов знания» (т. 38, с. 135). «Таким знанием,— поясняет Толстой,— как это и не может быть иначе, было всегда, есть и теперь одно: *знание того, что нужно делать всякому человеку для того, чтобы как можно лучше прожить в этом мире тот короткий срок жизни, который определен ему богом, судьбой, законами природы*,— как хотите» (т. 38, с. 135).

Так как, согласно Толстому, вопрос о должном поведении всегда стоял перед всеми людьми так же, как он стоит теперь перед нами, то и у всех народов и с самых давних времен,— утверждает Толстой,— были люди, высказывавшие свои мысли о том, в чем должна состоять эта хорошая жизнь, т. е. что должны и чего не должны делать люди для своего блага: «Такие люди были везде: в Индии были Кришна и Будда, в Китае Конфуций и Лаотсе, в Греции и Риме Сократ, Эпиктет, Марк Аврелий, в Палестине Христос, в Аравии Магомет» (т. 38, с. 136). По Толстому, знать мысли этих людей о том, как должны для своего истинного блага жить люди и каким должно быть отношение человека к главным условиям человеческой жизни,— «в этом и только в этом истинная настоящая наука» (т. 38, с. 136).

Из этой толстовской критики науки и из толстовского определения существа истинной науки видно, что понятие науки подменяется у Толстого другим понятием — понятием *этики*. То, что Толстой называет «истинной настоящей наукой» — учение о том, как человек должен поступать относительно других людей для того, чтобы правильно и хорошо жить, есть, в сущности, *этика*.

В свою очередь этика совпадает у Толстого с тем, что он называет *религией*. Совпадение это явствует уже из перечня лиц, которых Толстой считает деятелями и представителями истинной науки — это Кришна, Будда, Христос, Магомет. Больше того. Перечень этих мифологических (или полумифологических) имен сопровождается у Толстого прямым призывом — *поверить* в истину народной мудрости, провозвестниками, учителями которой были, по Толстому, эти лица и которая заменяет все вопросы *знания* вопросом о том, *как следует жить*.

В этом своем значении «наука» совпадает у Толстого с его религией. Учение Толстого не есть ни религиозная онтология (хотя в нем есть бледные

следы идеалистической, весьма путаной онтологии, колеблющейся между крайностями солипсизма и объективного идеализма), ни теория познания (хотя в нем есть слабо намеченные и беспомощно выраженные элементы, точнее фрагменты идеалистической и скептической теории познания). Учение Толстого не есть собственно даже религия. Это — «религия», сведенная почти целиком к этике.

III

ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕЛИГИИ ТОЛСТОГО. СВЕДЕНИЕ РЕЛИГИИ К ЭТИКЕ

Значение, какое сам Толстой приписывает *религиозной* мотивировке и религиозному оформлению своих этических понятий, привело к тому, что учение Толстого предстало в неверном свете. Толстой сам подал повод к тому, чтобы его учение было понято, обсуждалось и принималось прежде всего как учение *религиозное*. Неудивительно поэтому, что в буржуазном обществе последней четверти XIX и начала XX в. за Толстым стала устанавливаться репутация религиозного деятеля, чуть ли не религиозного реформатора.

Взгляд этот на религию Толстого господствует в буржуазной литературе в сущности и в настоящее время. Хорошей иллюстрацией сказанного может быть вышедшее в 1960 г. в Париже исследование Николая Вейсбейна «Религиозная эволюция Толстого» (Nicolas W e i s b e i n. L'évolution religieuse de Tolstoi. 524 p.). Автор поставил перед собой задачу проследить развитие религиозного мировоззрения Толстого на протяжении всей его жизни и деятельности: художественной, публицистической, проповеднической. Автор тщательно изучил — под этим углом зрения — переписку Толстого и его корреспондентов, его дневники, воспоминания родных и современников, художественные и религиозно-философские произведения Толстого, официальные постановления Синода и циркуляры правительства. Читатель книги Вейсбейна может проследить всю эволюцию религиозных взглядов Толстого во всех их оттенках. Добросовестность труда Вейсбейна, осведомленность автора — вне всякого сомнения.

Но все эти достоинства исследования не могут устранить основной порок книги и основное заблуждение ее автора.

Заблуждение это — в том, что автор рассматривает духовное развитие Толстого как явление исключительно личное, вне какой бы то ни было связи с реальным общественным миром, к которому Толстой принадлежал и исторические судьбы которого не могли не участвовать в формировании самой личности Толстого и его мировоззрения. Книга Вейсбейна написана так, как если бы на свете существовали только бог и ищущая бога душа Льва Толстого. Эта ложная предпосылка привела к смещению и даже искажению всех аспектов исследования. Толстовская критика церкви, церковного обмана, угодничества церкви перед имущими классами и их государственной властью осталась в тени. Зато на первый план выступили точки соприкосновения между религиозным рационализмом Толстого и Фомы Аквинского [19]; религиозная проблема провозглашается проблемой, имеющей для Толстого абсолютно необходимое значение [20]; в толстовском рассмотрении вопросов экономических и социальных, обнищания деревни и городских масс, капитализма, социального рабства подчеркивается не их реальное, а чисто духовное, религиозное значение [21] и т. д. Автора совершенно не интересует социальное значение и содержание борьбы Толстого против церкви как учреждения, поддерживающего социальное рабство капиталистического общества. Зато автор со всей тщательностью подбирает данные, чтобы доказать, что обнаро-

дованный Синодом текст отлучения Толстого от церкви гораздо умереннее, сдержаннее, легче, чем предшествующее ему конфиденциальное циркулярное предписание Синода, обращенное ко всем духовным консисториям по тому же вопросу [22]. В результате отсутствия правильной перспективы и критерия оценки рассматриваемых фактов духовный облик Толстого-бунтаря, Толстого-обличителя, Толстого-критика страшно принижается, мельчает и ослабляется. Похоже, что одна из главных задач автора — доказать, будто расхождения между Толстым и православной церковью были вовсе не так уж велики и непримиримы.

Такое представление о мировоззрении Толстого не верно и преувеличено. Спору нет, вопросы религии привлекали страстное внимание Толстого. В учении Толстого есть и некоторое понятие о боге, и признание за религией значения важнейшего вопроса жизни, и даже некоторые, правда, слабые и неразвитые следы мистического элемента. Отчасти через христианскую веру, в которой Толстой был воспитан в детстве и которая вновь стала — на короткое время — этапом его идейно-морального развития в эпоху так называемого «кризиса» мировоззрения Толстого в 70-х годах, отчасти вследствие некоторых особенностей своего художественного мышления Толстой был склонен представлять отношение человека к миру, как отношение «работника» к пославшему его в жизнь «хозяину», или как отношение «сына» к «отцу». Религиозная окраска этих представлений несомненна.

Однако все подобные представления имели для Толстого отнюдь не буквальный религиозный смысл и понимались им не как мистические догматы, но скорее были метафорами, посредством которых Толстой пытался уяснить для самого себя воззрение на жизнь, не поддававшееся усилиям выразить это воззрение в отвлеченных понятиях.

Философские искания Толстого в 70-х годах были сосредоточены не на вопросе религиозном в *прямом* смысле слова. Искания эти были продолжением *этических и социальных* исканий, которые смолоду занимали ум Толстого и составляли предмет своеобразного художественно-философского экспериментирования в ранних повестях, рассказах и в больших романах зрелого периода.

Ленинский анализ вскрыл и в религии Толстого уже известное нам противоречие между отразившимися в мысли Толстого особенностями и противоречиями развития пореформенной России и субъективной неспособностью Толстого найти действительное разрешение этих противоречий.

Толстовское понятие религии прежде всего *отрицательно*: это — *критика* духовного состояния современного Толстому капиталистического общества пореформенного и предреволюционного периода. Толстой не столько пытается раскрыть или обосновать положительное понятие о боге, сколько осуждает и обличает тот строй духовной жизни современного ему общества, при котором члены этого общества утрачивают всякое сознание разумного смысла жизни. Религия Толстого — не столько *вера* (хотя в ней, конечно, есть и элемент религиозной веры), сколько *протест*. Это — протест против безыдейности, беспринципности интеллигенции капиталистического общества, против утраты господствующей частью этого общества представления о высоких задачах, способных руководить жизнью и действием.

В атеизме, в безверии, в религиозном равнодушии и безразличии современного общества Толстой осуждает,— как это ни странно может показаться, — не столько отсутствие веры в *бога* или отрицание существования *бога*, сколько *признание существующего порядка*, *примирение* со всем существующим, как оно существует. Сам Толстой выразил эту мысль с полной ясностью. «Религия людей, не признающих религии,— писал

ИЛЛЮСТРАЦИЯ В. И. СУРИКОВА К РАССКАЗУ ТОЛСТОГО «БОГ ПРАВДУ ВИДИТ, ДА НЕ СКОРО СКАЖЕТ»— АРЕСТ

Акварель, 1882 г.

Музей Толстого, Москва

Толстой,— есть религия покорности всему тому, что делает сильное большинство, т. е., короче, религия повиновения существующей власти» (т. 23, с. 445).

Но именно потому, что толстовская религия есть больше социальная критика, чем догма богословия или мистическое настроение, Толстой на первый план в понятии веры выдвигает не собственно религиозное ее содержание, а способность веры быть *силой жизни*. «...Я понял,— писал Толстой,— что вера ⟨...⟩ не есть только „обличение вещей невидимых" и т. д., не есть откровение (это есть только описание одного из признаков веры), не есть только отношение человека к богу (надо определить веру, а потом бога, а не через бога определять веру), не есть только согласие с тем, что сказали человеку, как чаще всего понимается вера,— вера есть знание смысла человеческой жизни, вследствие которого человек не уничтожает себя, а живет. Вера есть сила жизни ⟨...⟩ Без веры нельзя жить» (т. 23, с. 35).

В центре вопросов толстовского мировоззрения, а потому и в центре понятия веры стало противоречие между конечным, преходящим, мимолетным существованием личности и бесконечным существованием мира. Толстой искал такого решения противоречия, при котором смысл конечного и преходящего существования личности не уничтожался бы, не превращался бы в бессмыслицу неизбежно предстоящим уничтожением личности, ее погашением в бесконечности мирового целого.

Это противоречие не было для Толстого лишь отвлеченным противоречием личного и всеобщего, конечного и бесконечного. Толстой осознавал это противоречие как *жизненное противоречие*, захватывающее наиболее глубокое ядро его личного существования и сознания. Уже в конце «Анны Карениной», но еще сильнее в «Исповеди» Толстой выразил охватившие его в 70-х годах смятение и ужас перед неизбежностью смерти, перед «нирваной» в сознании бессмысленной жизни, неумолимо обреченной на уничтожение.

Именно в связи со страхом смерти Толстой очень точно сформулировал в «Исповеди» основную цель своих религиозных исканий: «Нужно и дорого,— писал он здесь,— разрешение противоречия конечного с бесконечным и ответ на вопрос жизни такой, при котором возможна жизнь» (т. 23, с. 47).

Тем самым толстовская вера оказывается только синонимом силы жизни, осмысленности существования, условием понимающей свое назначение деятельности. Особенность Толстого — в том, что это стремление вернуть жизни утерянное сознание ее оправданности и осмысленности, потрясенное предвидением неизбежно предстоящей смерти, связывается у Толстого с понятием не социальной философии и даже не этики, которой оно должно было бы принадлежать, а с понятием *религии*. Стремление укрепить корень жизни, расшатанный страхом перед смертью, Толстой черпает не в силах самой жизни, а в религиозной традиции.

Здесь в мышлении Толстого — явное противоречие. Значительность этого противоречия оттеняется тем, что понятие религиозной веры, как это было ясно самому Толстому, не выдерживает критики разума. «Все эти понятия,— писал Толстой,— при которых приравнивается конечное к бесконечному и получается смысл жизни, понятие бога, свободы, добра, мы подвергаем логическому исследованию. И эти понятия не выдерживают критики разума» (т. 23, с. 36).

И все же, несмотря на это противоречие с началами разума, Толстой считает необходимым принять *религиозное* мировоззрение. В этом вопросе, как и в уже нами рассмотренных, он становится на точку зрения патриархального крестьянина с его наивной и некритической верой. Безы-

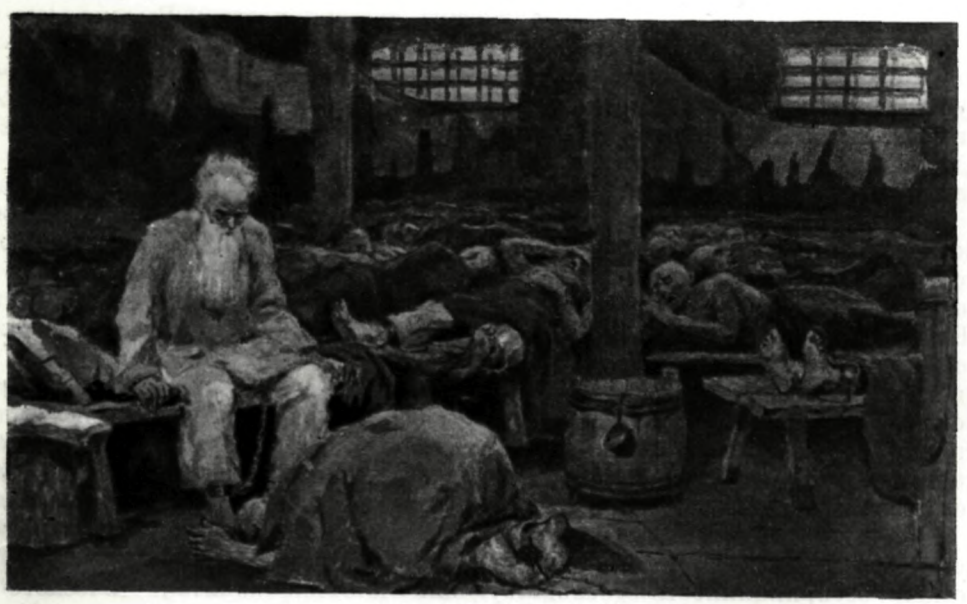


ИЛЛЮСТРАЦИЯ В. И. СУРИКОВА К РАССКАЗУ ТОЛСТОГО «БОГ ПРАВДУ ВИДИТ, ДА НЕ СКОРО СКАЖЕТ»— В ОСТРОГЕ

«Рассказы для детей И. С. Тургенева и Л. Н. Толстого». М., 1883. При переиздании книги в 1886 г. рисунок был запрещен цензурой. Местонахождение оригинала неизвестно

«Говоря об искусстве, Л. Н. сегодня вспоминал разные произведения, которые он считает настоящими, например <...> Сурикова рисунок, как спят в Сибири каторжники, а старик сидит — к рассказу Л. Н. „Бог правду видит“» (Запись в дневнике С. А. Толстой от 1 февраля 1898 г.)

дейности господствующих классов капиталистического общества, отсутствию у них сознания смысла жизни и своего назначения Толстой противопоставляет не те понятия о целях жизни и борьбы, которые в его время уже были выработаны великими мыслителями и вождями рабочего класса, но те понятия о духовном смысле жизни, которые в значительной мере совпадали с точкой зрения религиозно мотивированной этики, сходной с некоторыми этическими учениями народов древнего Востока.

Хотя Толстой пришел к убеждению, что смысл и сила жизни могут быть почерпнуты только в народной вере, это убеждение немедленно вступило в нем в противоречие с другим убеждением, которое запрещает считать истинным все, несовместимое с началами разума и знания.

Противоречие это приобрело особую остроту вследствие того, что народная, крестьянская вера,— как это знал Толстой,— вовсе не была единственной формой религиозного отношения к жизни. На роль учения, будто бы разрешающего все философские противоречия и трудные вопросы, претендовала церковная *богословская* вера. Больше того. Церковная — богословская — форма религии притязала на роль учительницы, наставницы и руководительницы народа в вопросах и делах веры. Поэтому Толстой признал для себя необходимым изучить и исследовать содержание и обоснование церковного богословского вероучения.

По мере того как Толстой углублялся в это исследование, ему все очевиднее становилось, что догматы, к которым церковное вероучение сводило содержание христианской религии, не только не могли быть «силой жизни», выводящей личность из тупика одолевающих ее противоречий, но что поверить в эти догматы можно только ценой отказа от элементарнейших неустранимых условий и законов логики, разума, знания.

Вместе с тем обнаружилось, что система церковного богословского вероучения не только противоречит логике, знанию, разуму. Выяснилось, что система догматического богословия вся построена на стремлении во что бы то ни стало оправдать сложившиеся в церкви за долгое время ее существования понятия о религии. Понятия же эти поддерживают существующий, основанный на насилии и угнетении общественный порядок и прежде всего оправдывают то место и ту роль, какие в этом порядке принадлежат *самой церкви*.

Свои критические исследования Толстой выполнил в «Критике догматического богословия». Предшествующей «Критике» работой была «Исповедь» — философско-религиозная автобиография Толстого. К «Исповеди» и к «Критике догматического богословия» примыкают сочинения «В чем моя вера» и «Царство божие внутри вас». В них Толстой излагает собственные взгляды на религию, сложившиеся в результате критики официального учения православной церкви. Однако в этих трактатах, тема которых — позитивные религиозные воззрения Толстого, на первое место выдвинуто не положительное, а *полемическое* их содержание. И в религиозных сочинениях Толстой выступает прежде всего как критик, полемист и как антагонист признанного богословского вероучения.

Иначе не могло и быть. Призыв Толстого к восстановлению религиозности был, как сказано выше, своеобразной формой протеста против этической беспринципности господствующих классов капиталистического общества, хотя к одному лишь этому протесту он не сводится: одновременно он есть и выражение *слабости*, *непоследовательности* толстовской мысли, архаичности ее устремлений.

При таких предпосылках Толстой естественно должен был искать в догматическом богословии обоснования *практической этики*. По мысли Толстого, христианство, как и всякое религиозное учение, заключает в себе *две* стороны: 1) учение о жизни людей — о том, как надо жить каждому отдельно и всем вместе — учение *этическое* и 2) объяснение, почему

людям надо жить именно так, а не иначе,— *метафизическое* учение (т. 23, с. 437).

Эти две стороны — «этическая» и, по терминологии Толстого, «метафизическая» — могут быть найдены, по Толстому, во всех религиях мира. Такова религия браминов, Конфуция, Будды, Моисея, такова же и христианская религия: «Она учит жизни, как жить, и дает объяснение, почему именно надо так жить» (т. 23, с. 437).

Но историческое изучение показывает, по Толстому, что все религии, развив двойственное — «этически-метафизическое» содержание своих учений, подверглись со временем перерождению. По свойственной им слабости люди отступали от «этического» учения религии, и тогда из их среды являлись лица, которые брались оправдать это отступление. Лица эти старались так разъяснить «метафизическую» сторону религиозного учения, чтобы этические требования становились необязательными и чтобы они заменялись чисто внешним богопочитанием — обрядами.

Это, по Толстому, общее *всем* религиям изменение первоначального — этического — содержания религиозного учения, ни в одной из них не выразилось так резко, как в христианстве. В первоначальном христианстве, каким его представляет Толстой, «метафизика» и «этика», во-первых, «до такой степени неразрывно связаны и определяются одна другой, что отделить одну от другой нельзя, не лишив все учение его смысла». Во-вторых, первоначальное христианство, как его понимает Толстой, уже само по себе есть отрицание «не только обрядных постановлений иудаизма, но и всякого внешнего богопочитания» (т. 23, с. 438).

Но именно поэтому происшедший в христианстве и общий для позднейшего христианства с другими позднейшими, изменившимися религиями разрыв между «метафизикой» и «этикой» должен был, как полагал Толстой, совершенно извратить христианское учение и «лишить его всякого смысла» (т. 23, с. 438). Так оно, по Толстому, и случилось. Разрыв между «этическим» учением о жизни и «метафизическим» объяснением жизни начался с проповеди Павла, не знавшего этического учения, выраженного в Евангелии Матфея и проповедовавшего чуждую Христу метафизическо-кабалистическую теорию. Окончательно же осуществился этот разрыв во времена императора Константина, когда начались вселенские соборы и когда центр тяжести христианства переместился «на одну метафизическую сторону учения» (т. 23, с. 438).

В результате этого смещения центра тяжести христианство в большей степени, чем какая-либо другая из великих исторических религий, утратило составлявшее некогда его главную часть *этическое* учение.

Толстой доказывает эту мысль, сопоставляя христианство с другими религиями. Все религии, за исключением церковно-христианской, «требуют от исповедующих их, кроме обрядов, исполнения еще известных хороших поступков и воздержания от дурных» (т. 23, с. 438). Так, иудаизм требует обрезания, соблюдения субботы, милостыни, юбилейного года и еще многого другого. Магометанство требует обрезания, ежедневной пятикратной молитвы, поклонения гробу пророка и многого другого. И так обстоит дело со *всеми* религиями. «Хороши ли, дурны ли эти требования, но это требование поступков» (т. 23, с. 439).

Напротив, официальное церковное христианство не предъявляет никаких *этических* требований. «Нет ничего,— говорит Толстой,— что бы обязательно должен был делать христианин и от чего он должен был бы обязательно воздержаться, если не считать постов и молитв, самою церковью признаваемых необязательными». Со времен Константина христианская церковь «не требовала никаких поступков от своих членов. Она даже не заявляла никаких требований воздержания от чего бы то ни было» (т. 23, с. 439).

Вместо того, чтобы руководить людьми в их жизненных действиях, церковь «перетолковала метафизическое учение Христа так, чтобы оно не мешало людям жить так, как они жили».

«Церковь раз уступила миру, а раз уступив миру, она пошла за ним. Мир делал все, что хотел, предоставляя церкви, как она умеет, поспевать за ним в своих объяснениях смысла жизни». Мир устанавливал свою во всем противную этическому учению христианства жизнь, а церковь «придумывала иносказания, по которым бы выходило, что люди, живя противно закону Христа, живут согласно с ним» (т. 23, с. 439).

В результате церковь признала и даже освятила все, что было в языческом мире. «Она признала и освятила и развод, и рабство, и суды, и все те власти, которые были, и войны, и казни, и требовала при крещении только словесного, и то только сначала, отречения от зла; потом при крещении младенцев перестали требовать даже и этого» (т. 23, с. 439).

Но именно потому, указывает Толстой, что учение церкви сложилось как оправдание исторически определенного общественно-политического порядка, со временем, с изменением форм общественной жизни, церковное учение *начало отставать*. Придуманное для оправдания *древней* формы рабства, оно уже не годилось для общества, отменившего эту древнюю форму и сменившего ее на другую.

С другой стороны, несмотря на все свои старания скрыть от верующих истинное — *этическое* — учение Христа, вопреки запрещению переводов Библии на национальные языки пришло время, когда истинное учение Христа — через вольнодумцев и через сектантов — стало проникать в народ. Так как народ не мог жить без этического учения и так как церковь извратила и даже старалась скрыть этическое учение христианства, то учение о жизни «эмансипировалось от церкви и установилось независимо от нее» (т. 23, с. 440).

«Так, сами люди помимо церкви уничтожили рабство, оправдываемое церковью 〈...〉, религиозные казни, уничтожили освященную церковью власть императоров, пап, и теперь начали стоящее на очереди уничтожение собственности и государств» (т. 23, с. 440).

«Все, что точно живет,— утверждает Толстой,— а не уныло злобится, не живя, а только мешая жить другим, все живое в нашем европейском мире отпало от церкви и всяких церквей и живет своею жизнью независимо от церкви» (т. 23, с. 440). Так, государственная власть основывается «на предании, на науке, на народном избрании, на грубой силе, на чем хотите, но только не на церкви» (т. 23, с. 441). Войны и отношения государств устанавливаются «на принципе народности, равновесия, на чем хотите, только не на церковных началах» (т. 23, с. 441). Государственные учреждения по сути игнорируют церковь, «мысль о том, чтобы церковь могла быть основой суда, собственности, в наше время только смешна». Наука не только не находится в согласии с учением церкви, но «нечаянно, невольно в своем развитии всегда враждебна церкви». Даже искусство, некогда служившее церкви, «теперь все ушло от нее» (т. 23, с. 441).

Но церковь, по Толстому, не только извратила и забросила этическое учение христианства. Так как «этическое» учение каждой религии неразрывно связано, как думает Толстой, с учением «метафизическим», то порча первого неминуемо вызвала порчу и второго, породила в церкви стремление превратить религию в оправдание существующего порядка и прежде всего в оправдание существующего социального зла.

Мысль эту Толстой доказывает в «Критике догматического богословия»— одном из самых страстных своих произведений. Книга эта дышит гневом, негодованием, чувством оскорбленной и обманутой страдающей человечности. Шаг за шагом, параграф за параграфом Толстой излагает догматическое вероучение православной церкви. Одновременно он рас-

сказывает о своих попытках понять это вероучение, найти в нем разумный смысл и обоснование нравственного поведения. Но во множестве мест книги терпение автора иссякает, оскорбленное достоинство мыслителя и нравственного существа возвышает голос, и тогда из уст Толстого слетают исполненные страдания слова.

В догматическом богословии Толстого оскорбляет все: и содержание учения, и практическая цель, к которой оно клонится, и приемы изложения и убеждения.

В приемах изложения Толстой всюду находит «неясность выражений, противоречия, облеченные словами, ничто не разъясняющими, принижение предмета, сведение его в самую низменную область, пренебрежение к требованиям разума и одно и то же постоянное стремление связать внешним словесным путем самые разнообразные суждения о боге, начиная от Авраама до отцов церкви, и на этом одном предании основать все свои доказательства» (т. 23, с. 98).

Изложение богословия Толстой находит не только не истинным по существу его содержания, но в значительной части случаев попросту лишенным всякого смысла. «Очевидно,— пишет Толстой,— слова тут уже совершенно оторвались от мысли, с которой были связаны, и не вызывают уже никакой мысли» (т. 23, с. 98). Так, Толстой «долго делал страшные усилия, чтобы понять, что разумеется, например, под различными духовными естествами, под различением свойств, под умом и волей бога». И все же он не мог добиться понимания и убедился, наконец, что автору догматического богословия «нужно только связать внешним образом все тексты, а что разумной связи между его словами нет и для него самого» (т. 23, с. 98—99). Но решающая в глазах Толстого черта догматов — их практическая неприложимость, невозможность вывести из них какие бы то ни было нравственные правила. При этом чем дальше отстоит догмат от возможности практического — нравственного — его применения, тем больше значение, какое приписывает ему церковь. «Догматы: исхождения духа, естества христова, таинства причащения, чем дальше они были от возможности какого-нибудь нравственного приложения, тем более они волновали церкви» (т. 23, с. 177—178).

Толстой не ограничился одной лишь теоретической, логической и практической критикой догматов церковного богословия. Для Толстого первостепенное значение при критике каждого догмата имел также вопрос о том, какой практический повод «заставил церковь исповедывать этот бессмысленный догмат и так старательно подбирать вымышленные доказательства его» (т. 23, с. 122).

Исследование этого вопроса привело Толстого к выводу, что церковное толкование догматов имеет *два основания*. Первое из них состоит попросту в грубости и в примитивности свойственного церковным писателям понимания текстов писания, которыми обосновываются догматы. «...Выписки из писания,— разъяснял Толстой,— показывают, что утверждение этих бессмыслиц происходит не произвольно, но вытекает ⟨...⟩ из ложного, большей частью просто грубого понимания слов писания» (т. 23, с. 186).

Второе, по Толстому, основание церковного толкования догматов состоит в утверждаемой церковью *непогрешимости собственных учений*. В свою очередь собственную непогрешимость церковь выводит из непогрешимости церковной иерархии. Понятием об этой иерархии в богословии незаметно подменяется понятие церкви.

В конечном счете учение церкви, как его преподает богословие, все основано на том, чтобы, установив понятие церкви, как единой истинной хранительницы божеской истины, «подменить под это понятие — понятие одной известной, определенной иерархии...» (т. 23, с. 219).

Но этого мало. В системе догматов и учений богословия Толстой обнаруживает, кроме грубости понимания текстов писания и кроме гордости и самомнения иерархии, отождествившей себя с церковью, а свои учения — с самой истиной, еще и прямую *практическую* цель. Эта цель — внушение верующим таких верований и представлений, которые благоприятствуют корыстным материальным интересам иерархии. Например, важное для всей системы христианского богословия учение о *благодати* «... есть, с одной стороны, неизбежное следствие ложной посылки, что Христос искуплением изменил мир, а с другой стороны, оно же и есть основа тех жреческих обрядов, которые нужны для верующих, чтобы отводить им глаза, а для иерархии — чтобы пользоваться выгодами жреческого звания» (т. 23, с. 229).

Введение безнравственного учения о благодати с логической неизбежностью повлекло за собой введение целого ряда еще более безнравственных и грубых учений. Обманное учение церкви о том, что человек всегда порочен и бессилен и что все его личные стремления к добру бесполезны до тех пор, пока он не усвоит себе благодати,— учение это «под корень подсекает все, что есть лучшего в природе человека» (т. 23, с. 230). За признанием благодати последовало учение, сводящее веру к доверию ко всему, о чем учит иерархия, и к послушанию, за учением о вере как о послушании—учение о механическом действии таинств: крещения, миропомазания, причащения и т. д. В свою очередь необходимость побуждать людей к исполнению отправляемых иерархами таинств привела к учению о загробном наказании тех, кто при жизни не исполнял таинств.

Итогом исследования Толстого, посвященного догматическому богословию, стало полное отрицание церкви как установления и такое же полное отрицание ее учений. «Как же я могу,— спрашивает Толстой,— верить этой церкви и верить ей тогда, когда на глубочайшие вопросы человека о своей душе она отвечает жалкими обманами, нелепостями и еще утверждает, что иначе отвечать на эти вопросы никто не должен сметь, что во всем том, что составляет самое драгоценное в моей жизни, я не должен сметь руководиться ничем иным, как только ее указанием» (т. 23, с. 296). «Цвет панталон я могу выбрать, жену могу выбрать ⟨...⟩, но остальное, то самое, в чем я чувствую себя человеком, во всем том я должен спроситься у них — у этих праздных, обманывающих и невежественных людей» (т. 23, с. 296).

С огромной силой негодования Толстой бичует *лицемерие* церкви, разительное расхождение ее современных учений с первоначальным нравственным учением христианства. Отступив от духа христианства, церковь, доказывает Толстой, извратила христианское учение до полного отрицания его всей своей нынешней жизнью: «...вместо уничижения — величие, вместо бедности — роскошь, вместо неосуждения — осуждение жесточайшее всех, вместо прощения обид — ненависть, войны, вместо терпения зла — казни» (т. 23, с. 301).

Всем этим лицемерием прикрывается главный и непростительный, в глазах Толстого, грех церкви — ее участие в общественном порядке, основанном на угнетении и ограблении трудящихся. В конечном счете для Толстого слово «церковь» — «название обмана, посредством которого одни люди хотят властвовать над другими» (т. 23, с. 301).

Сила толстовской критики церкви — не в новизне доводов, которыми Толстой доказывал несостоятельность церковного догматического учения. Задолго до Толстого догматы эти были подвергнуты такой же или подобной рационалистической критике деистами, рационалистами, вольнодумцами, сектантами различных мастей. Толстой только применил эти доводы, уже использованные против католичества и против протестантизма, к православию.

Однако в 80-х годах, когда Толстой писал свои богословские сочинения, развитая им критика догматического богословия сыграла несомненно положительную роль. Оригинальной, неповторимой, самобытной критику Толстого сделала зоркость, с какой Толстой разглядел связь, существовавшую между учениями церкви и *социальным* строем современного

ТОЛСТОЙ
Рисунок Н. Н. Ге, 1884 г.
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

капиталистического общества. «Крестьянский» взгляд Толстого и в церкви разгадал одну из сил, разоряющих и порабощающих крестьянство, узаконивающих и освящающих бедствия надвигавшегося на крестьянина нового и непонятного для него врага — капитализма.

В своих суждениях о Толстом Ленин всегда отмечал силу, убежденность и искренность толстовской критики церкви. Отмечая как достоинство Толстого «замечательно сильный, непосредственный и искренний протест против общественной лжи и фальши», Ленин тут же замечал, что протест этот был направлен Толстым прежде всего *против церкви*.

И во взглядах Толстого на церковь Ленин также ценил, как и в других сторонах его воззрений, «самый трезвый реализм, срыванье всех и всяческих масок»[23]. В толстовской критике церкви Ленин, как и в других частях учения Толстого, видел выражение настроений «примитивной крестьянской демократии, в которой века <...> церковного иезуитизма, обмана и мошенничества накопили горы злобы и ненависти»[24].

В этом отношении Ленин особенно выделял позднейшие произведения Толстого. Именно в них Толстой, как показал Ленин, «обрушился со страстной критикой на все современные государственные, *церковные*, общественные, экономические порядки, основанные на порабощении масс, на нищете их, на разорении крестьян и мелких хозяев вообще, на насилии и лицемерии, которые сверху донизу пропитывают всю современную жизнь»[25].

Толстовская критика церкви и церковного богословия стала предметом внимания и вызвала сочувствие широких кругов русского общества. Волна этого сочувствия поднялась особенно высоко, когда Синод опубликовал во всеобщее сведение специальный акт об отлучении Толстого от православной церкви. В день опубликования постановления Синода Толстой стал, в сознании культурных людей всего мира, в один ряд с такими борцами и деятелями независимой мысли, каким был Спиноза, какими были французские просветители.

Однако в русской (и не только в русской) буржуазной идеалистической литературе религия Толстого была подвергнута истолкованию, притуплявшему ее социальную направленность и сглаживавшему противоречия толстовской критики церкви и православия. Широкое распространение получил взгляд, по которому Толстой будто бы — всеобщая совесть современного мира, творец общечеловеческой религии, автор философско-религиозного мировоззрения. Взгляд этот развивали и некоторые авторы, считавшие себя марксистами или близкими к марксизму. Так, В. Базаров в статье, появившейся в журнале «Наша заря» (1910, № 10), утверждал, будто Толстой впервые «объективировал», т. е. создал не только для себя, но и для других, ту чисто человеческую религию, о которой Кант, Фейербах и другие представители современной культуры могли только субъективно мечтать.

Безусловную ложность этого понимания религии Толстого вскрыл Ленин. В статье «Герои „оговорочки“» Ленин показал, что взгляд Базарова и многих других публицистов на религию Толстого и на ее значение в идейном развитии русского общества основан на *извращении* действительности.

«Более полувека тому назад, — писал Ленин, — Фейербах, не умея „найти синтеза“ в своем миросозерцании, представлявшем во многих отношениях „последнее слово“ немецкой классической философии, запутался в тех „субъективных мечтах“, отрицательное значение которых давно уже было оценено действительно передовыми „представителями современной культуры“. Объявить теперь, — продолжает Ленин, — что Толстой „впервые объективировал“ эти „субъективные мечтания“, значит уходить в лагерь поворачивающих вспять, значит льстить обывательщине, значит подпевать веховщине»[26].

Особенно ошибочным извращением действительной сути религии и мировоззрения Толстого Ленин считал утверждение Базарова, будто «идеализация патриархально-крестьянского быта, тяготение к натуральному хозяйству и многие другие утопические черты толстовства, которые в настоящее время выпячиваются (!) на первый план и кажутся самым существенным, в действительности являются как раз субъективными элементами, не связанными необходимой связью с основой толстовской „религии“»[27].

«Итак,— иронизирует Ленин по поводу этого утверждения Базарова,— „субъективные мечты" Фейербаха Толстой „объективировал", а то, что Толстой отразил и в своих гениальных художественных произведениях и в своем полном противоречий учении, отмеченные Базаровым экономические особенности России прошлого века, это „как раз субъективные элементы" в его учении. Вот что называется попасть пальцем в небо»[28].

Напротив, ленинский анализ вскрыл и в религии Толстого *противоречие* между отраженными в мысли Толстого особенностями развития пореформенной России и субъективной неспособностью Толстого найти действительное разрешение или «синтез» этих противоречий. «Именно синтеза,— писал Ленин,— ни в философских основах своего миросозерцания, ни в своем общественно-политическом учении Толстой не сумел, вернее: не мог найти»[29].

Как ни искренна была толстовская критика церковной религии и как ни сильно было ее действие, критика эта таила в себе глубокое противоречие. Толстой отвергает церковную форму веры, но лишь для того, чтобы очистить и, очистив, укрепить самый принцип веры. Он отвергает церковное учение о боге, но лишь для того, чтобы на его место поставить духовно утонченное, нравственно очищенное новое понятие о боге. Он осуждает поддержку, какую церковь оказывает капиталистическому угнетению, но не для действительной борьбы с капиталистическим порядком, а для проповеди непротивления злу насилием.

Так, Толстой отрицает все развиваемые богословием доказательства существования бога, ссылается при критике этих доказательств на критику их у Канта, но делает все это не для того, чтобы отвергнуть в принципе всякое доказательство бытия бога, а для того, чтобы, отвергнув *богословские* доказательства, как нелепые, выдвинуть, точнее, повторить, сохранить другие — *деистические*,— которые кажутся ему истинными. Упрекая богословов за нарушение основных законов логики и разума, Толстой, сам того не замечая, отрекается от логики в собственном доказательстве бытия бога и души: «бога и душу я знаю так же, как я знаю бесконечность, не путем определения, но совершенно другим путем. Определения же разрушают во мне это знание» (т. 23, с. 132).

Толстой горячо и гневно протестует против участия церкви в капиталистическом насилии. Но в то же время, в той же «Критике догматического богословия» он доказывает, будто христианское учение, освобожденное от церковных софизмов, истинно и будто истина его — в заповеди, запрещающей всякую борьбу с насилием при помощи насилия. В учении Толстого средоточием всех усилий провозглашается личное, и только личное, спасение и совершенствование. Условие его, по сути,— «неделание» (le non agir), воздержание от всякой деятельности, полный покой, квиетизм. «Все учение Иисуса,— говорит Толстой,— только в том, что простыми словами повторяет народ: *спасти свою* душу, но направляй силы только на свою, потому что она все. Страдай, терпи зло, не суди — все только говорит одно. При всяком же прикосновении к делам мира Иисус учит нас примером полного равнодушия, если не презрения 〈...〉 Все, что не твоя душа, все это не твое дело. Ищите царства небесного и правды в своей душе, и все будет хорошо» (т. 23, с. 302—303).

Во всех этих чертах толстовской критики церковного учения мы узнаем не только отражение крестьянского протеста и накопившейся столетиями ненависти к угнетавшему крестьян порядку, но вместе с тем и отражение указанной Лениным другой черты — *бессилия* патриархального крестьянства, его *наивности, юродства* в выборе средств для борьбы против зла. По словам Ленина, Толстой отражает настроение крестьянских масс «так верно, что сам в свое учение вносит их наивность, их

отчуждение от политики, их мистицизм, желание уйти от мира, „непротивление злу", бессильные проклятья по адресу капитализма и „власти денег"[3].

И в своей критике церковной религии и в своем обосновании «очищенной» от церковного обмана и лицемерия «истинной» религии Толстой, как указал Ленин, неспособен стать на конкретно-историческую точку зрения. «Он рассуждает,— писал по этому поводу Ленин,— отвлеченно, он допускает только точку зрения „вечных" начал нравственности, вечных истин религии...»[31].

Это отсутствие конкретно-исторической точки зрения имело результатом то, что Толстой не заметил, как, подменив церковную религию «очищенной» нравственной религией, он на деле вместо грубого, открытого оправдания существующего порядка, предлагал, по сути, также *примирение* с этим порядком, но примирение неявное, утонченное и поэтому несравненно более опасное. Развивая точку зрения «вечных» истин религии, Толстой, говоря словами Ленина, не сознавал «того, что эта точка зрения есть лишь идеологическое отражение старого („переворотившегося") строя, строя крепостного, строя жизни восточных народов»[32].

Дело здесь, как показал Ленин, не в личных нравственных чертах или качествах тех, кто субъективно нуждается в «очищенной» религии и эту религию проповедует. Религию Толстого, так же как и религию богоискателей, Ленин рассматривает и оценивает не как факт *личного* психологического и морального развития Толстого и богоискателей. Религию эту Ленин рассматривает и оценивает исключительно как факт *общественной* психологии и *общественного* поведения. Именно с этой — не личной, а общественной — точки зрения Ленин бичевал не самого Толстого, как личность, а «толстовство», как выражение общественной слабости, бессилия и расхлябанности известной части русской интеллигенции. В «толстовстве» Толстого и шедших за ним интеллигентов Ленин видел одно из обнаружений столь характерного для Толстого противоречия его личности и деятельности, отражавшего противоречивый характер пореформенного развития России.

IV

КРИТИКА НАСИЛИЯ И УЧЕНИЕ О НЕПРОТИВЛЕНИИ ЗЛУ НАСИЛИЕМ. АНАРХИЗМ

В числе обвинений, предъявляемых Толстым церкви, одно из главных состоит в указании на поддержку, какую находит в учении и в проповеди церкви *насилие* — насилие господствующих классов современного капиталистического общества.

Проблема насилия, вопрос об источниках его возникновения, о его формах, о его значении в общественной жизни, о его действии на нравственную жизнь людей, о его правомерности или неправомерности, целесообразности или нецелесообразности — всегда была одной из центральных в мировоззрении Толстого. Уже в ранних художественных вещах, посвященных изображению войны, например в «Набеге», Толстой заявлял, что война интересует его не с исторической или стратегической, но только с *этической* точки зрения: «интересовал меня самый факт войны — убийство. Мне интереснее знать, каким образом и под влиянием какого чувства убил один солдат другого, чем расположение войск при Аустерлицкой или Бородинской битве»[33].

В педагогических статьях 60-х годов основным принципом, на котором строилась вся практика яснополянской школы, Толстой провозглашает решительное и безоговорочное *отрицание насилия* в воспитании и в обучении.

Отрицание насилия в этих статьях Толстой выводил из недоступности человеку знания о том, что составляет предмет необходимого для человека знания. «Мы не знаем,— писал Толстой,— чем должно быть образование и воспитание, не признаем всей философии педагогики, потому что не признаем возможности человеку знать то, что нужно знать человеку» (т. 8, с. 24).

Но Толстой не только ссылался на незнание. Он доказывал, будто насилие в деле образования невозможно, будто оно не приводит ни к каким результатам, кроме плачевных, и будто насилие воспитателя не может иметь никакого основания, кроме *произвола.* «Права воспитания не существует. Я не признаю его, не признает, не признавало и не будет признавать его все воспитываемое молодое поколение, всегда и везде возмущающееся против насилия воспитания» (т. 8, с. 217).

Проблема насилия вновь ставится в центре внимания в романе «Война и мир» — и в художественном изображении и в философско-исторических рассуждениях — в изображении плена Пьера Безухова. И здесь внимание Толстого приковано к вопросу — каким образом возможно, чтобы один человек повиновался насилию, совершаемому над ним другими людьми.

Но в «Войне и мире», в отличие от педагогических статей, вопрос этот приводится к другому вопросу — о существе *власти.* В противоречии со всем художественным содержанием романа, изображающего доблесть и героизм всенародной борьбы против нашествия Наполеона, здесь, в изображении сцен французского плена, выдвигается мысль, будто единственным жизненно-правильным образом действий человека, испытывающего на себе самом насилие власти, должно быть терпение и покорность, то есть непротивление. «Вот оно!.. Опять оно!..—сказал себе Пьер, и невольный холод пробежал по его спине. В измененном лице капрала, в звуке его голоса, в возбуждающем и заглушающем треске барабанов Пьер узнал ту таинственную, безучастную силу, которая заставляла людей против своей воли умерщвлять себе подобных, ту силу, действие которой он видел во время казни. Бояться, стараться избегать этой силы, обращаться с просьбами или увещеваниями к людям, которые служили орудиями ее, было бесполезно. Это знал Пьер. Надо было ждать и терпеть» (т. 12, с. 160).

В то же время явление власти и отношение власти представляется Толстому чрезвычайно важным понятием исторического познания. Будучи, по словам Толстого, «единственным» понятием, «известным историкам», понятие власти есть вместе с тем «единственная ручка, посредством которой можно владеть материалом истории» (т. 12, с. 305).

Толстой отверг взгляд, по которому власть есть совокупная воля масс, перенесенная на исторические лица. В этом взгляде он видит простую тавтологию, точнее — повторение термина, смысл которого не поддается постижению. «Какая причина исторических событий?— Власть. Что есть власть? — Власть есть совокупность воль, перенесенных на одно лицо.— При каких условиях переносятся воли масс на одно лицо? — При условиях выражения лицом воли всех людей. То есть власть есть власть. То есть власть есть слово, значение которого нам непонятно» (т. 12, с. 314).

Но каким бы непостижимым для ума ни представлялось Толстому в «Войне и мире» явление власти, все же в эпоху, к которой относится работа над этим романом, Толстой был убежден в том, что соответствие между совокупным действием масс и соображениями и решениями исторических деятелей все же в принципе возможно. Поэтому власть Толстой определяет здесь как «такое отношение известного лица к другим лицам, в котором лицо это тем менее принимает участие в действии, чем более оно

выражает мнения, предложения и оправдания совершающегося совокупного действия» (т. 12, с. 322). Другими словами, по Толстому, доблесть исторического лица — не в поиске *личного* решения вопроса и не в действовании, руководимом личным пониманием и личной оценкой исторической ситуации. Доблесть исторического лица — в способности так поставить себя и так определить свое поведение, чтобы все его действия только выражали совокупное действие масс, или равнодействующую поведения масс, составляющую подлинную ткань исторического процесса. Поэтому для Толстого Кутузов — истинный исторический деятель, выразитель народного смысла войны 1812 года, в то время как Наполеон — деятель мнимый, деятель только в своем субъективном представлении.

В произведениях, написанных в 80-х годах и позже, Толстой развивает критику общественного строя, основанного на порабощении большинства меньшинством. В связи с этим он изменяет постановку вопроса о власти. Он не только гораздо подробнее, чем в предшествующих сочинениях, пытается исследовать связь, существующую между *властью* и *насилием*. Теперь Толстого занимает не вопрос о власти вообще, но главным образом вопрос о власти государственной, и не о насилии вообще, но о насилии, осуществляемом учреждениями государственными и лицами, представляющими государственную власть.

В работах этого периода Толстой развивает учение *этического анархизма*. Он отрицает не только государство со всеми его учреждениями и установлениями, не только отвергает всякое насилие, совершаемое государством, но вместе с тем пытается доказать, будто единственным средством радикального уничтожения зла может быть только непротивление злу насилием, то есть полный отказ от насилия как от средства борьбы с насилием.

Анархизм и доктрина непротивления злу насилием — наиболее характерные черты общественных и этических взглядов Толстого. Именно в анархизме и в учении о непротивлении всего сильнее сказалось не раз уже обрисованное в предшествующем изложении противоречие мировоззрения Толстого — противоречие между сильной, смелой, страстной критикой капитализма и наивной, беспомощной, юродивой патриархальной крестьянской точкой зрения, с которой Толстой рассматривает отрицательные явления надвигавшегося на Россию и утвердившегося в ней капитализма.

Предпосылку толстовской критики капитализма образует убеждение Толстого, будто общественные отношения между людьми складываются отнюдь не на основе экономических отношений. «...Такое утверждение,— говорит Толстой,— есть только установка, вместо очевидной и ясной причины явления, одного из его последствий». По Толстому, причина тех или иных экономических условий «всегда была и не может быть ни в чем ином, как только в насилии одних людей над другими; экономические же условия суть последствия насилия и потому никак не могут быть причиной отношений между людьми» (т. 36, с. 318).

С того времени как возникла борьба между людьми, т. е. противление насилием тому, что каждый из борющихся считал злом, возник и вопрос, следует или не следует противиться злу насилием. Вопрос этот, по Толстому, неустраним и непременно должен быть решен. «...Это — вопрос, самою жизнью поставленный перед всеми людьми и перед всяким мыслящим человеком и неизбежно требующий своего разрешения» (т. 28, с. 147).

Условием решения этого вопроса Толстой считает освобождение людей от ряда иллюзий, господствующих над их сознанием. Первая в ряду этих иллюзий состоит, думает Толстой, в вере, будто последовательная смена общественных форм и форм государственного устройства при-

ДОКТОР, ОТСАСЫВАЮЩИЙ ДИФТЕРИЙНЫЕ ПЛЕНКИ У БОЛЬНОГО РЕБЕНКА
Рисунок И. Е. Репина, 1887 г. Сюжет рисунка был подсказан художнику Толстым
Третьяковская галерея, Москва

вела к уменьшению существующего в обществе насилия. Несмотря на всю значительность изменений, происшедших в западноевропейском и русском обществе с переходом от крепостнических форм к формам капиталистическим, действительным характером общественных отношений и при капитализме осталось, по Толстому, *насилие*, насильственное угнетение трудящегося большинства нетрудящимся меньшинством.

Более того. Вся предшествующая история общества была, по Толстому, историей смены различных форм насилия человека над человеком. Менялись только формы, но сущность оставалась та же. «Человечество перепробовало все возможные формы насильственного правления, и везде, от самой усовершенствованной республиканской до самой грубой деспотической, зло остается то же самое и качественно и количественно. Нет произвола главы деспотического правительства, есть линчевание и самоуправство республиканской толпы; нет рабства личного; ⟨...⟩ нет самовластных падишахов, есть самовластные короли, императоры, миллиардеры, министры, партии» (т. 36, с. 200).

Как бы ни менялись общественные формы, повсюду жизнь общества, утверждает Толстой, представляла до сих пор и представляет в настоящее время картину порабощения большинства меньшинством насильников, захвативших власть над большинством. «Положение нашего христианского мира теперь таково: одна, малая часть людей владеет большей частью земли и огромными богатствами, которые все больше и больше сосредоточиваются в одних руках и употребляются на устройство роскошной, изнеженной, неестественной жизни небольшого числа семей» (т. 36, с. 192).

Напротив, «другая, большая часть людей, лишенная права и потому возможности свободно пользоваться землей, обременяемая податями, наложенными на все необходимые предметы, задавленная вследствие этого неестественной, нездоровой работой на принадлежащих богачам фабриках, часто не имея ни удобных жилищ, ни одежд, ни здоровой пищи, ни необходимого для умственной, духовной жизни досуга, живет и умирает в зависимости и ненависти к тем, которые, пользуясь их трудом, принуждают их жить так» (т. 36, с. 192—193).

Но жизнь современного общества, как полагал Толстой, состоит не только в *насилии*, которое большинство терпит от меньшинства. Жизнь, кроме того, состоит в непрерывной *борьбе* меньшинства с большинством и, наоборот, большинства с меньшинством. «И те и другие,— утверждает Толстой,— боятся друг друга, и, когда могут, насилуют, обманывают, грабят и убивают друг друга. Главная доля деятельности и тех и других тратится не на производительный труд, а на борьбу. Борются капиталисты с капиталистами, рабочие с рабочими, капиталисты с рабочими» (т. 36, с. 193).

Основным проявлением господствующего в общественной жизни насилия Толстой считает *отнятие земли* у большинства народа, необходимой ему для производительного труда. «...Вглядитесь, — говорит Толстой,— во все ужасы и во все страдания, происходящие от очевидной причины: у земледельческого народа отнята земля. Половина русского крестьянства живет так, что для него вопрос не в том, как улучшить свое положение, а только в том, как не умереть с семьей от голода, и только оттого, что у них нет земли» (т. 36, с. 209).

Но народ не только насильственно лишен земли. Он, кроме того, страдает от непрекращающегося насилия богатых и на тех клочках земли, которые у него еще остались. «...Не говоря уже о главном, о недостатке земли, чтобы кормиться, большинство из них не может не чувствовать себя в рабстве у тех помещиков, купцов, землевладельцев, которые окружили своими землями их малые, недостаточные наделы, и они не могут не думать, не чувствовать этого, потому, что всякую минуту за мешок травы, за охапку дров, без которой им жить нельзя, за ушедшую лошадь с их земли на господскую терпят, не переставая, штрафы, побои, унижения» (т. 36, с. 209).

Внимание Толстого естественно направлено прежде всего на то насилие, которому подвергается русское *крестьянство*. Но не в лучшем, по Толстому, положении находятся и *рабочие*. «Несмотря на все притворные старания высших классов облегчить положение рабочих, все рабочие нашего мира,— говорит Толстой,— подчинены неизменному железному закону, по которому они имеют только столько, сколько им нужно, чтобы быть постоянно понуждаемыми нуждой к работе и быть в силе работать на своих хозяев, т. е. завоевателей» (т. 28, с. 135).

При этом насильственное порабощение в сущности мало зависит, по Толстому, от тех форм правления, в которых жили и живут порабощенные массы народа. «Разница только в том, что при деспотической форме правления власть сосредоточивается в малом числе насилующих, и форма насилия более резкая; при конституционных монархиях и республиках, как во Франции и Америке, власть распределяется между бóльшим количеством насилующих, и формы ее выражения менее резки; но дело насилия, при котором невыгоды власти больше выгод ее и процесс его, доводящий насилуемых до последнего предела ослабления, до которого они могут быть доведены для выгоды насилующих, всегда одни и те же» (т. 28, с. 135).

Толстой разглядел и те формы насилия господствующего класса капиталистического общества, которые характеризуют эпоху империализ-

ма. Даже происшедшее в последние столетия «ограничение власти среди западных народов и распространение ее во всем народе не облегчило,— по Толстому,— бедствий народа, а только привело людей этих народов к развращению и к тому положению, в котором они должны жить обманом и грабежом других народов» (т. 36, с. 332).

Так, западные народы, кроме своих внутренних бедствий и развращения большей части своего населения вследствие его участия во власти, приведены к необходимости «обманом и насилием отнимать для своего пропитания труды восточных народов». Напротив, восточные народы в большинстве своем до сих пор «продолжают повиноваться своим правительствам и, отставая в выработке средств борьбы с западными народами, приведены к необходимости покоряться им» (т. 36, с. 331). Но зло, причиняемое насилием угнетателей над угнетенными, не ограничивается, по Толстому, одним лишь *прямым* подавлением и ограблением большей части народа. Насильственно подавляя народ, власть угнетателей, кроме того, как утверждает Толстой, *развращает* угнетаемый ею народ. Главным последствием участия во власти большинства людей западных народов Толстой считает то, что люди, «все более и более отвлекаясь от прямого труда земледелия и все более и более вовлекаясь в самые разнообразные приемы пользования чужими трудами, лишились и своей независимости и уже самым положением своим приведены к необходимости безнравственной жизни. Не имея охоты и привычки кормиться трудами с своей земли, западные народы неизбежно должны были приобретать средства для своего существования от других народов» (т. 36, с. 327).

Таково, по Толстому, положение городских классов, покинувших земледельческий труд в Германии, Австрии, Италии, Франции, Соединенных Штатах Америки и в Великобритании. «Почти все люди этих народов, сделавшись сознательными участниками насилия, отдают свои силы и внимание на деятельность правительственную, промышленную и торговую, имеющую главной целью удовлетворение потребностей роскоши богатых, и становятся людьми — отчасти прямой властью, отчасти деньгами — властвующими над земледельческими народами, которые доставляют им предметы первой необходимости» (т. 36, с. 327).

Толстой не дал себя обольстить внешне смягченными и прикрытыми формами, за которыми в капиталистическом обществе прячется социальное зло, угнетение, колониальное притеснение и грабеж, милитаризм. С неукротимой и неотступной решительностью Толстой клеймит лицемерие буржуазного общества, срывает маску с бесчеловечной сущности господствующих в нем отношений, разоблачает иллюзии и необоснованные надежды, которыми тешат себя его апологеты.

В критике капиталистических форм насилия и угнетения сказались сильнейшие и лучшие стороны мировоззрения Толстого: горячее сочувствие народу, превосходное знание реальных экономических условий и отношений крестьянской жизни, свобода от обольщений и предрассудков либерализма, умение разоблачать софизмы публицистической, философско-исторической и экономической апологетики капитализма.

Однако даже соединенное действие всех этих качеств, сообщивших деятельности Толстого мировое значение, не могло сделать толстовскую критику капитализма свободной от заблуждений. Независимость от предрассудков либерализма и свобода от обольщений либеральных теорий прогресса отнюдь не знаменовала у Толстого освобождения от всех вообще социальных иллюзий и заблуждений. В вопросах об общественном устройстве и о путях общественного развития Толстой сам оставался в плену глубоких заблуждений и во власти иллюзий.

Толстой ошибочно считал *всякую* власть злом. Он не допускал возможности власти, не противостоящей народу, а служащей народу и ведущей

народ к жизни, в которой нет и не может быть насилия меньшинства над большинством.

Общим источником ошибок толстовской критики капитализма была неспособность Толстого стать при рассмотрении капитализма на конкретно-историческую точку зрения. Толстой не мог понять, какой класс современного капиталистического общества и при каких условиях может вывести человечество из новой — капиталистической — формы порабощения. В бессильном ужасе Толстого перед сменившим крепостническое угнетение угнетением капиталистическим отразился ужас, с каким многомиллионная русская деревня пореформенного и дореволюционного периода глядела на свое обнищание, разорение, ограбление, порождаемое новым — капиталистическим — порядком. Всем этим фактам и процессам русская патриархальная деревня могла противопоставить не столько свою веками накоплявшуюся ненависть, сколько свою веками длившуюся покорность.

Из этого противоречия родилось и основное противоречие толстовского протеста. Беспощадное и в высшей степени конкретное (особенно в художественных произведениях) изображение ужасов капиталистического угнетения, разоблачение обмана и иллюзий правящих классов, постановка конкретных вопросов демократии и даже социализма сочетаются у Толстого с наивным предрассудком и иллюзией идеалистической этики — с мыслью, будто господствовавшее до сих пор в отношениях между людьми насилие может быть изжито и побеждено не борьбой угнетенных против угнетающих, а только *непротивлением*, т. е. полным и безусловным отказом от какого бы то ни было насилия, от всякой борьбы как средства преодолеть господствующее зло.

V

ВЗГЛЯД НА РЕВОЛЮЦИЮ

Толстой не понимал, что догма, или, точнее, предрассудок непротивления, есть выражение слабости, бессилия, недостаточной политической зрелости русского крестьянства. Предрассудок этот владел мышлением Толстого как аксиома нравственного и социального мировоззрения. Вместе с тем Толстой чувствовал связь своего учения о непротивлении с многовековым образом мыслей и образом действий патриархального русского крестьянства. «Русскому народу,— писал Толстой,— большинству его, крестьянам, нужно продолжать жить, как они всегда жили,— своей земледельческой, мирской, общинной жизнью и без борьбы подчиняться всякому, как правительственному, так неправительственному насилию...» (т. 36, с. 259).

Толстой попросту игнорирует многочисленные факты и явления революционного брожения и революционного действия (восстания, уничтожение и сожжение усадеб помещиков) в истории русской крепостнической деревни. Согласно обобщению Толстого, верному только относительно *патриархального* крестьянства, русский народ, в отличие от других народов Запада, будто бы руководится в своей жизни именно христианской этикой *непротивления*. «...В русском народе,— писал Толстой,— во всем огромном большинстве его, вследствие ли того, что Евангелие стало ему доступно в X столетии, вследствие ли грубости и тупости византийско-русской церкви, неумело и потому неуспешно старавшейся скрыть христианское учение в его истинном смысле, вследствие ли особенных черт характера русского народа и его земледельческой жизни, христианское учение в его приложении к жизни не переставало и до сих пор

продолжает быть главным руководителем жизни русского народа в его огромном большинстве» (т. 36, с. 337).

Уповать на насилие как на средство борьбы со злом могут, по Толстому, только люди, которые верят, будто усовершенствование человеческой жизни может быть достигнуто изменением *внешних общественных форм*. Так как изменение это очевидно возможно и доступно, то считается возможным и усовершенствование жизни посредством насилия.

Взгляд этот Толстой отвергает, как будто бы в корне ошибочный. По Толстому, освобождение человечества от насилия может быть достигнуто только *внутренним* изменением каждого отдельного человека, «уяснением и утверждением в *себе* разумного, религиозного сознания и своей соответственной этому сознанию жизнью» (т. 36, с. 205). «Жизнь человеческая,— утверждает Толстой,— изменяется не от изменения внешних форм, а только от внутренней работы каждого человека над самим собой. Всякое же усилие воздействия на внешние формы или на других людей, не изменяя положения других людей, только развращает, умаляет жизнь того, кто 〈...〉 отдается этому губительному заблуждению» (т. 36, с. 161).

В этом толстовском запрете всякой политической деятельности под тем предлогом, будто деятельность эта есть изменение одних лишь внешних форм человеческой жизни и не затрагивает внутренней сути человеческих отношений,— сказалась, как и в других вопросах общественного мировоззрения Толстого, глубокая, впервые Лениным раскрытая, связь между мировоззрением Толстого и мировоззрением патриархального крестьянства — с его аполитичностью, незнанием причин общественных бедствий, непониманием условий их преодоления.

Из этого незнания вытекало глубокое сомнение в доступности для человека какого бы то ни было знания о том, какими будут, какими должны быть формы будущей жизни человеческого общества. И действительно, первый довод, посредством которого Толстой обосновал бесплодность всякой деятельности, направленной на изменение внешних общественных форм, состоял именно в утверждении, будто человеку не дано знание, каким должно быть будущее состояние общества.

Толстой отдает себе ясный отчет в том, что среди людей распространен противоположный взгляд. «...Люди,— говорит Толстой,— уверившись в том, что они могут знать, каким должно быть будущее общество, не только отвлеченно решают, но действуют, сражаются, отнимают имущество, запирают в тюрьмы, убивают людей, для того, чтобы установить такое устройство общества, при котором, по их мнению, люди будут счастливы» (т. 36, с. 353). Люди,— продолжает Толстой,— «не зная ничего о том, в чем благо отдельного человека, воображают, что знают, несомненно знают, что нужно для блага всего общества, так несомненно знают, что для достижения этого блага, как понимают его, совершают дела насилия, убийства, казней, которые сами признают дурными» (т. 36, с. 353—354).

Напротив, по Толстому, условия, в которые станут между собой люди, и те формы, в какие сложится общество, зависят «только от внутренних свойств людей, а никак не от предвиденья людьми той или иной формы жизни, в которую им желательно сложиться» (т. 36, с. 353).

Другой довод, при помощи которого Толстой хочет доказать бесплодность всякой деятельности, направленной на изменение общественных форм, состоит в утверждении, что даже в случае, если бы люди действительно знали, каким должно быть наилучшее устройство общества, устройство это будто не могло бы быть достигнуто посредством политической деятельности. Оно не могло бы быть, по Толстому, достигнуто, так как политическая деятельность всегда предполагает насилие одной части

общества над другой, а насилие, так утверждает Толстой, не устраняет рабства и зла, но лишь заменяет одну форму рабства и зла другой.

На этом ошибочном доводе Толстой построил столь же ошибочное отрицание благотворности революции, в частности отрицание исторической благотворности первой русской революции.

Толстой ни в малейшей степени не отрицает истинности *принципов*, которыми воодушевлялись идеологи французской буржуазной революции. «Деятели революции,— писал Толстой,— ясно выставили те идеалы равенства, свободы, братства, во имя которых они намеревались перестроить общество. Из принципов этих,— продолжает Толстой,— вытекали практические меры: уничтожение сословий, уравнение имуществ, упразднение чинов, титулов, уничтожение земельной собственности, распущение постоянной армии, подоходный налог, пенсии рабочим, отделение церкви от государства, даже установление общего всем разумного религиозного учения» (т. 36, с. 194—195). Толстой признает, что все это были «разумные и благодетельные меры, вытекавшие из выставленных революцией несомненных, истинных принципов равенства, свободы, братства» (т. 36, с. 195). Принципы эти, признает Толстой, а также и вытекавшие из них меры, «как были, так и остались и останутся истинными и до тех пор будут стоять как идеалы перед человечеством, пока не будут достигнуты» (т. 36, с. 195). Но достигнуты эти идеалы, утверждает Толстой, «никогда не могли быть насилием» (т. 36, с. 195).

Непонимание этой — несомненной, как кажется Толстому,— истины было проявлено не только деятелями французской революции XVIII в. По Толстому, это непонимание лежит также в основе теоретических понятий и практической деятельности русских революционеров 1905 г. «То противоречие,— полагает Толстой,— которое так ярко и грубо выразилось в большой французской революции и вместо блага привело к величайшему бедствию, таким же осталось и теперь. И теперь,—утверждает Толстой,— это противоречие проникает все современные попытки улучшения общественного строя. Все общественные улучшения предполагается осуществить посредством правительства, то есть насилия» (т. 36, с. 195).

Чрезвычайно интересно и знаменательно, что в своих размышлениях о будущем ходе развития русского общества Толстой нисколько не сомневался в том, что в начавшейся в 1905 г. борьбе между революцией и самодержавным правительством победит в конечном итоге не правительство, не самодержавие, а *революция*. «...Вам,— с такими словами обращался Толстой к правительству,— не устоять против революции с вашим знаменем самодержавия, хотя бы и с конституционными поправками, и извращенного христианства, называемого православием, хотя бы и с патриархатом и всякого рода мистическими толкованиями. Все это отжило и не может быть восстановлено» (т. 36, с. 304).

Не сочувствуя *методам* революционного преобразования общества, Толстой сочувствовал тому отрицанию существующего социального и политического строя, которым руководились деятели революционного движения. Поэтому не прав известный датский историк русской литературы Стендер-Петерсен, когда он пишет: «В действительности же все *толстовство*, как было названо его учение, толстовское отрицание существующего общественного порядка, его требование непротивления злу и его рационализированная религия — не что иное как мощная попытка перетолковать по-своему движение *народников*, постепенно становившееся все более революционным и террористическим, а также преградить путь новому марксистски-социалистическому учению о борьбе классов»[34].

Но, не считая ни правым, ни просто разумным самодержавное правительство в его борьбе с революцией, Толстой все же решительно осуждает деятельность революционеров.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ М. В. НЕСТЕРОВА К РАССКАЗУ ТОЛСТОГО «ТРИ СТАРЦА»
Акварель, 1896 г.
Музей Толстого, Москва

Возражения, выдвинутые им против революционного разрешения назревшего в жизни русского народа кризиса, в высшей степени характерны для патриархально-«крестьянского» способа мышления Толстого. Главное его возражение исходит из мысли, что в отличие от революций, происходивших в странах Запада, русскую революцию будут осуществлять не городские рабочие и не городская интеллигенция, а главным образом многомиллионное крестьянство: «Участники прежних революций — это преимущественно люди высших, освобожденных от физического труда профессий и руководимые этими людьми городские рабочие; участники же предстоящего переворота должны быть и будут преимущественно народные земледельческие массы. Места, в которых начинались и происходили прежние революции, были города; местом теперешней революции должна быть преимущественно деревня. Количество участников прежних революций — 10, 20 процентов всего народа, количество участников теперешней, совершающейся в России революции, должно быть 80, 90 процентов» (т. 36, с. 258).

Толстовское понимание русской революции 1905 г. как *крестьянской* революции отразило *одну*, действительно важную, черту этой революции. На это значение толстовского понимания нашей первой революции указал Ленин. «Толстой,— писал Ленин,— велик, как выразитель тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов русского крестьянства ко времени наступления буржуазной революции в России. Толстой оригинален, ибо совокупность его взглядов, взятых как целое, выражает как раз особенности нашей революции, как *крестьянской* буржуазной революции»[35].

Крестьянский, по представлению Толстого, характер русской революции не только исключает, как думает Толстой, возможность направления русской революции на путь, по которому совершались революции на Западе, но делает в условиях России всякое подражание западным

революциям вредным и опасным. «Опасность,— пояснял Толстой,— ⟨...⟩ в том, что русский народ, по своему особенному положению призванный к указанию мирного и верного пути освобождения, вместо этого будет вовлечен людьми, не понимающими всего значения совершающегося переворота, в рабское подражание прежде бывшим революциям» (т. 36, с. 258).

Второе возражение Толстого против деятельности революционеров состоит в утверждении, будто деятельность эта, даже в странах, где революцию совершают городские рабочие и городская интеллигенция, никогда не приводит к достижению поставленной цели. Не приводит же она к ней потому, что революционная деятельность, будучи основана на насилии, непременно ведет, так утверждает Толстой, к установлению новых форм насилия, не менее бедственных для человечества, чем прежние.

Революция может установить новый общественный порядок, только заменив прежнюю форму государства новой. Но так как всякое государство держится на насилии, всякое же насилие, по Толстому, есть *только* зло и будто бы не может быть источником или условием блага, то отсюда Толстой заключает, что не может быть таким источником и государство, которое будет создано революцией. «Меняются формы,— писал Толстой,— но сущность отношения людей не изменяется, и потому идеалы равенства, свободы, братства ни на шаг не приближаются к осуществлению» (т. 36, с. 198).

В своих взглядах на государство и на политические пути развития общества Толстой верно отразил точку зрения патриархального крестьянства пореформенной поры. Но из того, что он верно отразил ее, отнюдь, разумеется, не следовало, будто сама эта точка зрения была истинна по существу своего содержания. То, что так верно отразил Толстой в своем учении о неосуществимости революции, было именно *непониманием* роли политической борьбы и, в частности, борьбы революционной. И оттого, что это непонимание было свойственно в начале XX в. еще значительной — патриархальной — части русских крестьян, оно, конечно, не переставало быть тем, чем оно в действительности и было, то есть *заблуждением*, ошибочным и в своих выводах *вредным* учением.

В толстовском политическом скептицизме, в недоверии ко *всякой* власти, ко *всякой* форме государственного устройства, ко *всякому* применению насилия в общественной жизни еще раз отразилось отношение патриархального крестьянства к новому, формально «освободившему» его, фактически же еще более разорившему и поработившему общественному порядку пореформенной капиталистической России.

Явная и огромная ошибка Толстого — в том, что опыт прошлого и наблюдения над настоящим он догматически перенес на все будущее. Из того, что все революции, имевшие место до начала XX столетия, не могли устранить неравенство и угнетение трудящихся, Толстой заключил, будто *и впредь* невозможна никакая форма государственного устройства, которая отвечала бы интересам рабочих и крестьянских масс.

Толстой отрицает возможность создания такой формы государства, так как полагает, будто в соответствии с самой сутью государства добиваться власти, захватывать власть и удерживать власть никогда не могут *лучшие* (т. е., по понятию Толстого, добрые люди), но всегда лишь *худшие* (т. е., по Толстому, злые, жестокие, склонные к насилию люди).

Став на эту точку зрения, подробно развитую в книге «Царство божие внутри вас», Толстой последовательно пришел к полному и безусловному отрицанию государства, т. е. к учению анархизма.

По мысли Толстого, бедствия и противоречия, во власти которых находится нынешнее человечество и прежде всего русский крестьянский народ, прекратятся только тогда, когда будет упразднено государство со

всем необходимым для него аппаратом насилия, принуждения и устрашения — правительством, администрацией, армией, полицией, судами, чиновниками и т. д.

При этом учение Толстого об упразднении государства отличается важной чертой от многих других анархических учений. Анархизм Толстого не революционен. По мысли Толстого, безгосударственная форма общественного устройства не должна быть установлена посредством *насильственного* переворота или *насильственного* разрушения существовавшего государства. Упразднение государства может и должно произойти, думал Толстой, только путем *непротивления*, т. е. путем мирного и пассивного воздержания или уклонения, отказа каждого члена общества от всех государственных обязанностей — военной, податной, судебной,— от всех видов государственных должностей, от пользования государственными учреждениями и установлениями и от всякого участия в какой бы то ни было — легальной или революционной — политической деятельности.

Это учение Толстого об обществе и о политических формах его развития, как показал Ленин, «безусловно утопично и, по своему содержанию, реакционно в самом точном и в самом глубоком значении этого слова»[36]. Реакционность доктрины Толстого в том, что критические и даже социалистические элементы, которые, согласно анализу Ленина, безусловно были в учении Толстого, не выражали идеологии класса, «идущего на смену буржуазии», но соответствовали «идеологии классов, которым идет на смену буржуазия»[37].

Если поэтому еще в конце 70-х годов прошлого века «критические элементы учения Толстого могли на практике приносить иногда пользу некоторым слоям населения *вопреки* реакционным и утопическим черта[м] толстовства»[38], то уже в первом десятилетии XX в., как показал Ленин, «всякая попытка идеализации учения Толстого, оправдания или смягчения его „непротивленства", его апелляций к „Духу", его призывов к „нравственному самоусовершенствованию", его доктрины „совести" и всеобщей „любви", его проповеди аскетизма и квиетизма и т. п. приносит самый непосредственный и самый глубокий вред»[39]. Все это значение толстовства впервые было выяснено в гениальных статьях Ленина о Толстом. Вместе с тем статьи эти пролили новый свет на требования, какие должно предъявлять к исследованиям духовного достояния и духовного мира таких сложных художников и мыслителей, каким был Толстой.

Статьи Ленина о Толстом опровергают основное положение вульгарно-социологического метода в литературной критике, в истории литературы и философии. Статьи эти показали воочию, насколько несостоятельна и примитивна точка зрения историков, которые утверждают, будто идеология большого художника есть *непосредственное* отражение *непосредственных* социальных условий его происхождения, окружения, общественного положения и т. д. Решающей для оценки характера идеологии писателя оказалась точка зрения, на которую становится писатель в своем изображении жизни и которая отнюдь не необходимо должна совпадать с точкой зрения, свойственной людям его социального происхождения и положения. «По рождению и воспитанию Толстой,— писал Ленин,— принадлежал к высшей помещичьей знати в России,— он порвал со всеми привычными взглядами этой среды и, в своих последних произведениях, обрушился с страстной критикой на все современные государственные, церковные, общественные, экономические порядки, основанные на порабощении масс, на нищете их, на разорении крестьян и мелких хозяев вообще, на насилии и лицемерии, которые сверху донизу пропитывают всю современную жизнь»[40].

Именно это несовпадение точки зрения, с которой Толстой рассматривает, изображает и обсуждает явления и отношения современной ему

русской жизни, с точкой зрения, которая, казалось бы, естественно и даже необходимо подсказывалась ему всеми обстоятельствами его происхождения и всеми отношениями его социального круга, позволило Толстому, как показал Ленин, увидеть в явлениях русской жизни то, чего в ней до него не видел *никто* из писателей, рассматривавших русскую жизнь с другой точки зрения. Отсюда это поразившее Максима Горького, по существу глубоко верное утверждение Ленина, сказавшего, что «до этого графа подлинного мужика в литературе не было»[41].

Но если решающим для результатов творчества большого художника является не непосредственное социальное положение художника, а точка зрения, с какой этот художник будет рассматривать и изображать явления доступной для людей его круга или для него лично действительности, то подлинно значительным его творчество может стать не при любых условиях. Действительное общественное значение сообщает творчеству *не всякая* точка зрения, на которую может стать данный художник. Такое значение получает творчество только того писателя или художника, точка зрения которого есть *не просто* его личный угол зрения, но позиция, выражающая взгляды, настроения, чаяния *трудовых* классов, представляющих *значительную часть народа.*

Творчество Толстого приобрело принадлежащее ему значение не просто потому, что Толстой порвал со всеми привычными взглядами своей среды, а потому, что, порвав со своей средой, Толстой стал на точку зрения, представлявшую взгляды и настроения *многомиллионного* русского крестьянства, т. е. взгляды и настроения хотя «патриархальной», архаической, отсталой, но все же заключавшей в себе и подлинно демократическую часть массы русского крестьянства.

«Противоречия во взглядах Толстого,— писал Ленин,— не противоречия его только личной мысли, а отражение тех в высшей степени сложных, противоречивых условий, социальных влияний, исторических традиций, которые определяли психологию различных классов и различных слоев русского общества в *по*реформенную, но *до*революционную эпоху»[42].

Толстой велик не тем, что он выразил в своих художественных и философско-публицистических произведениях учение, которое должно стать руководством к практическому действию и которое само по себе истинно. Верное *изображение и выражение* идеологии не есть еще тем самым изображение и выражение *верной* идеологии. Толстой, как показал Ленин, «не мог абсолютно понять ни рабочего движения и его роли в борьбе за социализм, ни русской революции»[43]. Толстой велик потому, что в его искусстве и в его учении отразилось «великое народное море, взволновавшееся до самых глубин, со всеми своими слабостями и всеми сильными своими сторонами»[44]. Величие Толстого — именно в рельефности, силе, с какими в художественных произведениях и в учении Толстого запечатлены задолго подготовлявшиеся черты первой русской революции.

Самые ошибки и заблуждения Толстого, породив необходимость их опровержения, дали — в этом опровержении — положительный результат. Ленин разъяснил, что для движения вперед часто оказывается необходимым понять, какие недостатки и слабости препятствовали до сих пор поступательному движению. Но именно эту роль сыграли заблуждения Толстого. «Изучая художественные произведения Льва Толстого,— разъяснял Ленин,— русский рабочий класс узнает лучше своих врагов, а разбираясь в *учении* Толстого, весь русский народ должен будет понять, в чем заключалась его собственная слабость, не позволившая ему довести до конца дело своего освобождения. Это нужно понять, чтобы идти вперед»[45].

Вся история России после революции 1905 г. была подтверждением ленинской оценки мировоззрения Льва Толстого.

VI

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ

1. ИСКУССТВО КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Рассмотренные нами главные черты мировоззрения Толстого, как это не раз подчеркивал Ленин, выступают не только в философских произведениях Толстого, но и в его искусстве. И в своих художественных произведениях Толстой обнаружил великую силу критики, о значении которой говорит Ленин.

Чрезвычайная серьезность реалистических задач, какие Толстой ставит перед собой в своем творчестве, вызвала в писателе острый интерес к вопросу об искусстве, о его значении в жизни общества, о критерии художественности, об условиях совершенства искусства и об условиях его упадка. Интерес этот стал обостряться в последней четверти XIX в. по мере того как Толстой стал убеждаться в том, насколько он сам расходится с художниками, в том числе очень большими, которые не ставили перед собой столь серьезных задач. Когда же в художественной жизни Запада и России стали обнаруживаться явления декадентства, протест Толстого против декадентского искусства стал принимать все более резкие формы. Вместе с тем в Толстом созревало желание ясно сформулировать — для самого себя и для общества — свои понятия об искусстве, о его назначении и о том, как современное искусство выполняет это свое назначение.

Так возникли работы Толстого по вопросам эстетики. В центре их стоит книга «Что такое искусство?». К ним примыкают небольшие статьи, предисловия к книгам и собраниям сочинений других авторов, высказывания по вопросам искусства во многих письмах и т. п.

Существующее мнение, будто эстетические взгляды Толстого *всецело* определяются моральным учением Толстого, справедливо лишь отчасти. В этом мнении верно то, что оценка содержания художественного произведения обусловливается у Толстого соответствием (или несоответствием) этого произведения моральным принципам, которых Толстой придерживался.

Но, кроме решения вопроса о ценности произведения по его *моральному* содержанию, Толстой признавал необходимым и весьма важным решение другого вопроса: насколько произведение искусства хорошо как произведение искусства, т. е. независимо от выраженного в нем морального мировоззрения художника. В эстетических высказываниях Толстого нетрудно отделить то, что представляет результат моральных позиций и предрассудков Толстого, от того, что открылось Толстому в результате пристального внимания к фактам самого искусства и в первую очередь — к собственному способу видения реальности и к способу ее изображения.

Религиозно-моральная тенденция Толстого так же не может умалить значение и ценность его выработанных в разрез с этой тенденцией эстетических идей и понятий о реализме, как не может умалить художественную силу, красоту и истинность «Севастопольских рассказов» и «Войны и мира» доктрина о непротивлении злу насилием, зародыши которой можно обнаружить в мышлении Толстого уже в то время, когда писались эти произведения, а частично даже в самом их содержании (образ Платона Каратаева в «Войне и мире»). И здесь художественный гений Толстого сказался неизмеримо сильнее, глубже, мудрее его отвлеченной, рассудочной идеи непротивления — идеи, враждебной жизни. Только там, где

рассудочная схема и рассудочный суррогат чувства подавляли в Толстом восприимчивость необычайно зоркого художника, заглушали ритм горячего и страстного сердца, притупляли созвучность народной жизни, мертвая доктрина непротивления злу насилием — проповедь квиетизма, бездеятельного и покорного растворения личности в целом — брала верх, и тогда с уст Толстого слетали неубедительные, бескровные, далекие от действительности, жизни и истории слова осуждения *всякой* войны, *всякой* борьбы, *всякого* насилия.

Но там, где — как это было в «Набеге», в «Рубке леса», в «Казаках», в «Севастопольских рассказах», в «Войне и мире» — мудрость и непосредственная искренность великого реалистического художника, сознание сложности и противоречивости жизни, а главное, горячее чувство любви к своему народу, гордости его прошлым, веры в его великое и славное будущее побеждали мораль непротивления, Толстой изображал явления войны не только с неподражаемой художественной силой и правдой, но и осознавал эти явления как подлинный русский патриот, как русский человек, страстно заинтересованный в судьбе своей родины и своего народа, ненавидящий врагов, посягающих на свободу, независимость русского народа и русского государства.

Только сила, глубина и чистота толстовского патриотизма раскрыли художнику-Толстому глаза на такие стороны Отечественной войны 1812 г., для изображения которых недостаточно одного художественного дарования, даже и толстовского масштаба. В изображении войны 1812 г. (а также сцен обороны Севастополя в войне 1855 г.) реализм искусства Толстого не может быть отделен от сознательности и убежденности, с какими Толстой как великий патриот не только изображает, но и осмысливает эти великие события русской военной истории.

В «Войне и мире» Толстой описал, в сущности, две войны: войну 1805 г. с центральным для нее событием Аустерлицкого сражения и войну 1812 г. с таким же центральным для нее событием Бородинского сражения. В то время как первая кампания — 1805 г. — была в глазах Толстого войной ненародной, т. е. такой, цели которой были чужды народу, далеки от его жизненных интересов и потому для него непонятны, вторая кампания — война 1812 г.— показана Толстым как война подлинно отечественная, как война всего русского народа, поднявшегося на защиту своих священнейших человеческих и национальных прав и интересов: своей свободы, своей земли, своих очагов, своего духовного и морального достояния.

Гениальное уразумение народного характера войны 1812 г. позволило Толстому подметить в партизанском движении, сопровождавшем борьбу с иностранными захватчиками, такие черты, которых не замечали многие историки и специалисты военного дела, судившие о фактах партизанской борьбы лишь с точки зрения сложившихся у них теоретических представлений, не учитывавшие *народного* характера, *народных* целей борьбы. Толстой понял то *новое*, никакими теориями не предвиденное, что внесла партизанская война в опыт русской и мировой военной истории.

Страстность, нетерпимость Толстого, упорное стремление, став на известную точку зрения, бесстрашно развивать ее во всей ее резкости до самых крайних выводов, чрезвычайно облегчают отделение в суждениях Толстого об искусстве того, что связано с ограниченностью моральной доктрины Толстого, от того, что есть результат глубокого проникновения гениального художника в сущность искусства.

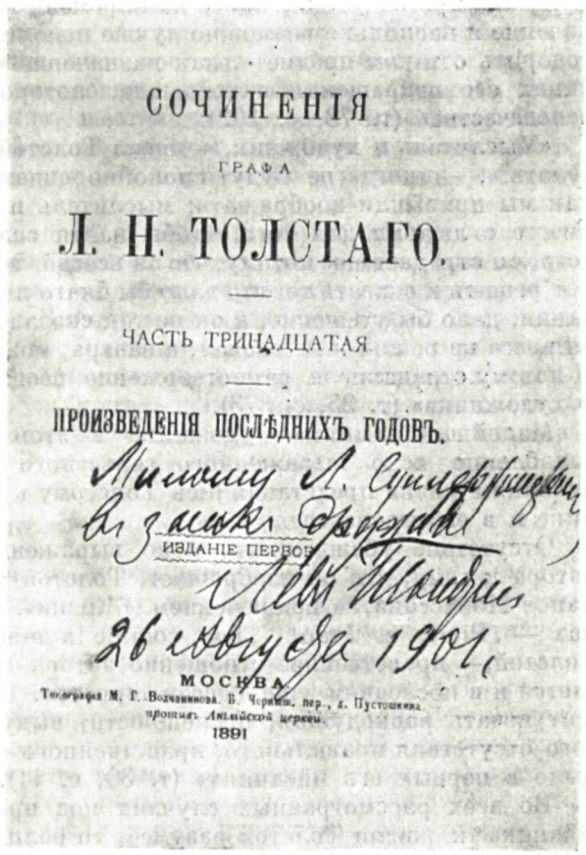
Как бы далеко ни заходил Толстой в эпоху своих религиозно-моральных исканий в критике современного ему искусства, никогда критика его не превращалась в огульное отрицание искусства. Толстой не мог

отрицать искусства уже потому, что в искусстве он всегда видел «одно из условий человеческой жизни» (т. 30, с. 63). Толстой ясно и решительно отвергает взгляд Платона, первых христиан, строгих магометан и буддистов, отрицавших искусство. «Такие люди, отрицавшие всякое искусство,— писал Толстой,— очевидно, были не правы, потому что отрицали то, чего нельзя отрицать,— одно из необходимых средств общения, без которого не могло бы жить человечество» (т. 30, с. 67).

Будучи необходимым условием человеческой жизни, а именно условием общения людей, искусство, как показывает Толстой, есть деятельность, далеко не ограничивающаяся теми проявлениями, за которыми обычно признается право именоваться искусством.

«Мы,— писал Толстой,— привыкли понимать под искусством только то, что мы читаем, слышим и видим в театрах, концертах и на выставках, здания, статуи, поэмы, романы... Но все это есть только самая малая доля того искусства, которым мы в жизни общаемся между собой. Вся жизнь человеческая наполнена произведениями искусства всякого рода от колыбельной песни, шутки, передразнивания, украшений жилищ, одежд, утвари до церковных служб, торжественных шествий. Все это деятельность искусства» (т. 30, с. 66—67).

В этой мысли Толстой частично предвосхищает один из выводов новейшей лингвистики и эстетики, пришедших к заключению, что художественная деятельность не есть изолированная область и что искусство возникает из тех выразительных и изобразительных средств и элементов, которые присущи уже обычной житейской речи и обычному, повседневному мышлению.


СОЧИНЕНІЯ

ГРАФА

Л. Н. ТОЛСТАГО.

ЧАСТЬ ТРИНАДЦАТАЯ.

ПРОИЗВЕДЕНІЯ ПОСЛѢДНИХЪ ГОДОВЪ.

Милому Л. Суллержицкому
в знак дружбы. Лев Толстой.
26 августа 1901.

ИЗДАНІЕ ПЕРВОЕ.

МОСКВА.

Типография М. Г. Волчанинова. В. Черкас. пер., д. Пустошкина, противъ Лазаревской церкви.

1891

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ТОЛСТОГО НА КНИГЕ «СОЧИНЕНИЯ ГРАФА Л. Н. ТОЛСТОГО. ЧАСТЬ ТРИНАДЦАТАЯ» (М., 1891):

«Милому Л. Суллержицкому в знак дружбы. Лев Толстой. 26 августа 1901 г.»

Книга утеряна. Надпись воспроизводится с фотографии

Музей Художественного театра, Москва

Признаком, по которому известные проявления деятельности, лежащей в основе искусства, выделяются из всей необозримой массы подобных им фактов и получают название произведений искусства, является, по Толстому, вызвавшая эти произведения к существованию потребность художников сказать людям самое важное, что они думают о жизни.

Взгляд этот Толстой выразил во множестве произведений, но, быть может, всего сильнее и резче в статье о Шекспире. «...Писать драму,— говорит здесь Толстой,— может только тот, кому есть что сказать людям, и сказать нечто самое важное для людей» (т. 35, с. 267). Без этого внутреннего содержания, без потребности высказать свое отношение к самым важным явлениям и вопросам жизни, «нечего и браться за писание». «Писателю,— говорит Толстой,— нужны две вещи: знать то, что *должно быть* в людях и между людьми, и так верить в то, что должно быть, и любить это, чтобы как будто видеть перед собой то, что должно быть, и то, что отступает от этого» (т. 64, с. 36). «...Чтобы производить то, что называют произведениями искусства,— разъяснял он художнику Н. Н. Ге,— надо 〈...〉, чтобы человек ясно, несомненно знал, что́ добро, что́ зло, тонко видел разделяющую черту...» (т. 64, с. 15).

Искусство,— так поучал Толстой маленького писателя Ф. Ф. Тищенко,— «великое дело и нельзя его делать шутя или из-за целей вне искусства» (т. 63, с. 425). Но и большому писателю — Бернарду Шоу, талант которого Толстой очень ценил и даже любил,— он не прощал недостаточно серьезного, как казалось ему, отношения к самым важным вопросам жизни, которых касался Шоу. «Dear M-r Shaw,— писал Толстой,— жизнь — большое и серьезное дело, и нам всем вообще в этот короткий промежуток данного нам времени надо стараться найти свое назначение и насколько возможно лучше исполнить его 〈...〉 Нельзя шуточно говорить о таком предмете, как назначение человеческой жизни и о причинах его извращения и того зла, которое наполняет жизнь нашего человечества» (т. 78, с. 202).

«Мыслитель и художник,— писал Толстой в трактате «Так что же нам делать?»,—никогда не будут спокойно сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли воображать; мыслитель и художник должен страдать вместе с людьми для того, чтобы найти спасение или утешение. Кроме того, он страдает еще потому, что он всегда, вечно в тревоге и волнении: он мог решить и сказать то, что дало бы благо людям, избавило бы их от страдания, дало бы утешение, а он не так сказал, не так изобразил, как надо; он вовсе не решил и не сказал, а завтра, может, будет поздно — он умрет. И потому страдание и самоотвержение всегда будет уделом мыслителя и художника» (т. 25, с. 373).

Малейшая заминка художника в этом отношении, отсутствие или ослабление ясно выраженного серьезного отношения к изображаемым явлениям жизни представлялись Толстому крупным недостатком в художнике и в его произведении.

Отсутствие убежденного, ясно выраженного, страстного отношения автора к тому, что он изображает, Толстой находил в большей части романов Мопассана, за исключением «Жизни». «В следующих за этим романах — „Pierre et Jean“, „Fort comme la mort“ и „Notre cœur“,— писал Толстой,— нравственное отношение автора к своим лицам еще более путается и в последнем уже совсем теряется. На всех этих романах уже лежит печать равнодушия, поспешности, выдуманности и, главное, опять того отсутствия правильного, нравственного отношения к жизни, которое было в первых его писаниях» (т. 30, с. 11).

Во всех рассмотренных случаях под нравственным отношением художника к жизни Толстой разумеет то религиозное отношение к ней, ко-

торое составляет систему взглядов толстовства и которое ему самому представлялось единственно правильным. В этом Толстой, конечно, глубоко заблуждался.

Главная мысль эстетики Толстого не связана необходимо с *содержанием* религиозно-моральной доктрины самого Толстого и состоит в требовании не равнодушного, а страстного, сознательного, убежденного отношения художника к серьезным явлениям жизни, изображаемым им в произведениях. Именно в этом смысле Толстой требовал от художника *страстной любви* к изображаемому — любви, не только не исключающей ненависть к тому, что противоречит и противостоит должному, но необходимо эту ненависть предполагающей. «Чтобы от всей души говорить то, что он говорит,— писал Толстой В. А. Гольцеву,— художник должен любить свой предмет. А для этого нужно не начинать говорить о том, к чему равнодушен и о чем можешь молчать, а говорить только о том ⟨...⟩ что страстно любишь ⟨...⟩ Нерв искусства есть страстная любовь художника к своему предмету, а если это есть, то произведение всегда будет удовлетворять и другим требованиям — содержательности и красоте: содержательности будет удовлетворять потому, что невозможно страстно любить ничтожный предмет, а красоте потому, что, любя предмет, художник не пожалеет никаких трудов для того, чтобы облечь любимое содержание в наилучшие формы» (т. 30, с. 436).

Страстная любовь к предмету не только подсказывает художнику выбор достойных сюжетов и объектов: она — и только она одна — делает возможным *познание* изображаемого. «Мы знаем то, что любим только»,— писал Толстой Н. Н. Страхову (т. 62, с. 290). «Без силы любви,— писал он Фету,— нет поэзии ⟨...⟩ В „Дыме“ ⟨романе Тургенева.— *В. А.*⟩ нет ни к чему почти любви и нет почти поэзии» (т. 61, с. 172).

Вспоминая уже в 90-х годах впечатление, произведенное на него в юности повестью Григоровича «Антон Горемыка», Толстой силу этого впечатления — «умиление и восторг» — приписывал прежде всего силе любви, с какой Григорович изображал свой предмет и своего героя. Для Толстого, тогда шестнадцатилетнего мальчика, было «радостным открытием», что русского мужика «можно и должно писать во весь рост, не только с любовью, но с уважением и даже трепетом» (т. 66, с. 409).

Но та же «сила любви», которой Толстой требует прежде всего от художника, обращается в силу ненависти, как только предметом изображения становится то, что *отступает* от ясного художнику и страстно любимого им образца совершенства. Именно в этом смысле, браня Тургенева за вялость и безучастность в изображении отрицательных персонажей повести «Накануне», Толстой разъяснял: «...ежели не жалеть своих самых ничтожных лиц, надо их уж ругать так, чтобы небу жарко было, или смеяться над ними так, чтобы животики подвело, а не так, как одержимый хандрою и диспепсией Тургенев» (т. 60, с. 325).

2. НЕОБХОДИМОСТЬ НОВОГО В ИСТИННОМ ИСКУССТВЕ

Из этого основного требования, предъявляемого художнику, Толстой выводит тесно связанную с ним черту всякого подлинного искусства. Черта эта — способность художника видеть в изображаемых им отношениях и фактах жизни *нечто новое,* никем ранее не виденное.

Понятие «нового» — чрезвычайно важное понятие эстетики Толстого. Понятие это стоит в центре толстовского определения художественного таланта. Талант есть, по Толстому, особенный дар, «который состоит в способности усиленного, напряженного внимания, смотря по вкусам автора, направляемого на тот или другой предмет, вследствие которого человек, одаренный этой способностью, видит в тех предметах, на которые он

направляет свое внимание, нечто новое,—такое, чего не видят другие». По Толстому, «для того, чтобы художник знал, о чем ему должно говорить, нужно, чтобы он знал то, что свойственно всему человечеству и, вместе с тем, еще неизвестно ему, т. е. человечеству» (т. 30, с. 435). Усмотрение и показ через искусство нового есть, по мысли Толстого, вовсе не такое условие искусства, которое желательно, но без которого можно все же обойтись: это — условие совершенно непреложное, при отсутствии которого произведение не есть подлинное произведение искусства: «Как произведение мысли есть только тогда произведение мысли, когда оно передает новые соображения и мысли, а не повторяет то, что известно; точно так же и произведение искусства только тогда есть произведение искусства, когда оно вносит новое чувство (как бы оно ни было незначительно) в обиход человеческой жизни» (т. 30, с. 85).

Ошибку всех господствующих эстетических теорий Толстой видел именно в том, что теории эти, как думал он, недооценивают значение, какое для искусства имеет уменье художника показать средствами своего искусства то *новое*, что открылось ему в явлениях человеческой жизни. «Все эти теории,— писал Толстой,— забывают одно главное: что ни значительность, ни красота, ни правдивость не составляют условий произведения искусства, что основное условие произведения есть сознание художником чего-то нового, важного.

И потому для настоящего художника, как всегда было, так и будет нужно, чтобы он мог видеть нечто совсем новое, а для того, чтобы художник мог видеть новое, ему нужно смотреть и думать, не заниматься в жизни пустяками, которые мешают внимательно вглядываться и вдумываться в явления жизни. Для того же, чтобы, во-первых, то новое, что он видит, было важно для людей,— должен жить не эгоистической жизнью, а принимать участие в общей жизни человечества» (т. 30, с. 224).

«Ни в чем так не вредит консерватизм,— утверждал Толстой,— как в искусстве. Искусство есть одно из проявлений духовной жизни человека, и потому, как если животное живо, оно дышит, выделяет продукты дыхания, так если человечество живо, оно проявляет деятельность искусства. И потому в каждый данный момент оно должно быть — современное,— искусство нашего времени. Только надо знать, где оно. (Не в декадентах музыки, поэзии, романа.) Но искать его надо не в прошедшем, а в настоящем. Люди, желающие себя показать знатоками искусства и для этого восхваляющие прошедшее искусство — классическое и бранящие современное, этим только показывают, что они совсем не чутки к искусству» (т. 53, с. 81).

Новизной выраженного в произведении искусства чувства, отношения художника к изображаемым явлениям определяется, по Толстому, сила действия, оказываемого искусством на людей. «Только поэтому,— поясняет Толстой,— и чувствуются так сильно детьми, юношами произведения искусства, в первый раз передающие им неиспытанные еще ими чувства» (т. 30, с. 85).

Сознание своей способности открывать новое и неизвестное есть, по Толстому, черта, отличающая подлинного художника от дилетанта. Отличие это Толстой изобразил в «Анне Карениной». Настоящий художник, Михайлов, противопоставлен тут дилетанту Вронскому. «О своей картине, той, которая стояла теперь на его мольберте, у него ⟨у Михайлова.— *В. А.*⟩ в глубине души было одно суждение — то, что подобной картины никто никогда не писал. Он не думал, чтобы картина его была лучше всех Рафаэлевых, но он знал, что того, что он хотел передать и передал в этой картине, никто никогда не передавал. Это он знал твердо и знал уже давно, с тех пор как начал писать ее» (т. 19, с. 37—38). Напротив, дилетант

не только сам неспособен к усмотрению и передаче нового, неизвестного, но неспособен и оценить эти качества подлинного искусства там, где они проявляются. Так, и Вронский, и его приятель, такой же, как он, дилетант, Голенищев, и Анна,— все находили, что картина, которую писал Вронский, «очень хороша, потому что была гораздо более похожа на знаменитые картины, чем картина Михайлова» (т. 19, с. 46).

Неповторимое, только данному художнику открывшееся ви́дение жизни предполагает неповторимость средств, при помощи которых это ви́дение передается в произведении искусства.

Художник может узнать, пройдя курс художественной школы, каким образом решали свои, особые, ими одними поставленные задачи другие художники. Но как только перед ним возникает своя собственная задача, не совпадающая ни с одной задачей, выдвинутой другими художниками, ему придется искать для ее разрешения своих собственных, никем до него не испробованных и не пройденных путей. Подлинное искусство поэтому всегда заключает в себе долю риска и неизвестности, так как, принимаясь за свою особую, неповторимую задачу, художник не может наперед в точности знать, к какому результату его приведут его поиски и его движение по неизведанному пути. Как бы ни был труден и пугающ неизведанный путь, — для художника, если он только подлинный художник, нет другого выхода, кроме бесстрашного движения по своему пути. «...делая, — разъяснял Толстой Е. И. Попову, — мы не можем знать, что выйдет...» (т. 65, с. 90). «Надо смело идти по неизвестному пути, который открывается, его узнаешь только, когда пойдешь по нем» (т. 65, с. 147).

Даже самым крупным, несомненным художникам Толстой не прощал порока *банальности*, отсутствия той неповторимости средств выражения, которая требуется новизной открывшегося им и ими познанного. «...меня всегда удивляет в Тургеневе,— писал Толстой,— как он с своим умом и поэтическим чутьем не умеет удержаться от банальности, даже до приемов. Больше всего этой банальности в отрицательных приемах, напоминающих Гоголя» (т. 60, с. 325).

3. ИСКУССТВО КАК ИЗОБРАЖЕНИЕ ЖИЗНИ ТРУДОВОГО НАРОДА

Требуя от художника самоотверженного поиска нового, Толстой был далек от мысли, будто новые, никем еще не испытанные средства изображения и выражения могут быть найдены при помощи расширения одних лишь художественных приемов, независимо от способности художника найти в самой изображаемой им жизни новое и достойное изображения *содержание*.

Неоскудевающим источником содержания, обновляющего приемы и средства выражения, Толстой признал ***жизнь народа*** во всей полноте и во всем разнообразии ее проявлений.

Этот свой взгляд — коренной для эстетики и для всего мировоззрения — Толстой с сознательной резкостью противопоставлял взгляду эстетиков «высших классов», не подозревавших даже всего богатства содержания, представляемого поэту, художнику жизнью народной. «Люди нашего кружка, эстетики,— писал Толстой,— обыкновенно думают и говорят противное. Помню, как писатель Гончаров, умный, образованный, но совершенно городской человек, эстетик, говорил мне, что из народной жизни после „Записок охотника“ Тургенева писать уже нечего. Все исчерпано. Жизнь рабочего народа казалась ему так проста, что после народных рассказов Тургенева описывать там было уже нечего. Жизнь же богатых людей, с ее влюблениями и недовольством собою, ему казалась полною бесконечного содержания. Один герой поцеловал свою даму

в ладонь, а другой в локоть, а третий еще как-нибудь. Один тоскует от лени, а другой оттого, что его не любят. И ему казалось, что в этой области нет конца разнообразию. И мнение это о том, что жизнь рабочего народа бедна содержанием, а наша жизнь, праздных людей, полна интереса, разделяется очень многими людьми нашего круга. Жизнь трудового человека с его бесконечно разнообразными формами труда и связанными с ними опасностями на море и под землею, с его путешествиями, общением, хозяевами, начальниками, товарищами, с людьми других исповеданий и народностей, с его борьбою с природой, дикими животными, с его отношениями к домашним животным, с его трудами в лесу, в степи, в поле, в саду, в огороде, с его отношениями к жене, детям не только, как к близким, любимым людям, но как к сотрудникам, помощникам, заменителям в труде, с его отношениями ко всем экономическим вопросам, не как к предметам умствования или тщеславия, а как к вопросам жизни для себя и семьи, с его гордостью самодовления и служения людям, с его наслаждениями отдыха — со всеми этими интересами 〈...〉— нам, не имеющим этих интересов 〈...〉, нам эта жизнь кажется однообразной в сравнении с этими маленькими наслаждениями, ничтожными заботами нашей жизни не труда и не творчества, но пользования и разрушения того, что сделали для нас другие» (т. 30, с. 86—87).

Но если подлинно новым может быть только содержание, почерпнутое из жизни народа, и если значение искусства — в его способности быть средством общения людей, то отсюда следует, что подлинное искусство не может быть ни искусством *исключительным*, т. е. средством выражения и общения *особой* группы или класса, людей, отделенных от народа своим положением и особыми условиями жизни, ни искусством, *непонятным* для народа, доступным только узкому кругу людей, поставленных в особые условия, отделяющие их от условий жизни народа.

Вся страсть и сила критики Толстого, с какой он обрушивается на современное ему искусство, т. е. искусство высших классов конца XIX и начала XX в., направлена не против новаторов искусства, но против *исключительности* и *непонятности* и ненародного, *группового*, кружкового искусства, которое ошибочно отождествлялось с новаторством в искусстве.

Гениальность Толстого проявляется здесь в самом направлении его критики. Толстой метит не в те или другие *частные*, *особенные* и потому всегда спорные случаи или обнаружения исключительности и непонятности: его критика вскрывает самый глубокий, общий корень наблюдаемой им в искусстве исключительности и непонятности — отрыв искусства от жизни народной, превращение большого и серьезного всенародного дела искусства в деятельность, имеющую целью доставлять наибольшее наслаждение известному, обособленному от народа условиями господства, роскоши и праздности кругу людей.

Толстой далек от того, чтобы объявить антипатичное ему лично искусство, например искусство декадентов, дурным только потому, что оно непонятно тому поколению и тому кругу людей, к которому он сам принадлежал и которое было воспитано на искусстве начала XIX в.

Дело не в той или иной, всегда относительной, степени непонятности, а в той общей тенденции развития искусства, которая своей основой имеет исключительность искусства высших классов, обособленных от жизни народа.

«Как только искусство высших классов,— писал Толстой,— выделилось из всенародного искусства, так явилось убеждение о том, что искусство может быть искусством и вместе с тем быть непонятно массам» (т. 30, с. 106).

ИЛЛЮСТРАЦИЯ Л. О. ПАСТЕРНАКА К РАССКАЗУ ТОЛСТОГО
«ЧЕМ ЛЮДИ ЖИВЫ»
Рисунок, 1904 г.
Музей Толстого, Москва

«Спасибо ‹...› за присланные рисунки ‹к рассказу «Чем люди живы»›. Особенно мне понравились два: за ужином и особенно лицо женщины— это 5+. Также 5 за последний рисунок женщины с двумя девочками» (Из письма Толстого к Л. О. Пастернаку от 22 ноября 1904 г.).

Убеждение это Толстой считает одной из самых превратных и губительных для искусства ошибок эстетики. Если только допустить, что искусство может быть искусством, будучи непонятным в то же время людям, «так нет никакой причины какому бы то ни было кружку извращенных людей не сочинять произведения, щекочущие их извращенные чувства и непонятные никому, кроме их самих, называя эти произведения искусством, что собственно и делается теперь так называемыми декадентами» (т. 30, с. 111).

По мысли Толстого, «великие предметы искусства только потому и велики, что они доступны и понятны всем» (т. 30, с. 109). «Все дело искусства,— разъяснял Толстой,— состоит только в том, чтобы быть понятным, чтобы сделать непонятное понятным, или полупонятное — вполне понятным тем его особенным, непосредственным путем заражения чувством, которое составляет особенность деятельности искусства. Все усилия художника должны быть направлены на то, чтобы быть понятным всем» [46].

Самое допущение, будто произведение искусства, будучи непонятным, может быть замечательным произведением искусства, есть, по Толстому, противоречие, явная бессмыслица: «...сказать, что произведение искусства хорошо, но непонятно, все равно что сказать про какую-нибудь пищу, что она очень хороша, но люди не могут есть ее. Люди могут не любить гнилой сыр, протухлых рябчиков и т. п. кушаний, ценимых гастрономами с извращенным вкусом, но хлеб, плоды хороши только тогда, когда они нравятся людям. То же и с искусством: извращенное искусство может быть непонятно людям, но хорошее искусство всегда понятно всем» (т. 30, с. 108).

Глубокая связь между качеством *понятности* и качеством *правдивости* превращает понятность в признак, граничащий с *моральной* характеристикой его автора.

В основе требования понятности стоит тесно связанное с ним требование *правдивости*. Понятное искусство правдиво, а правдивость — необходимейшее условие жизни и искусства. В искусстве, так думает Толстой, правдивость даже еще более необходима, чем в жизни. «В жизни,— писал Толстой Страхову,— ложь гадка, но не уничтожает ее гадостью, но под ней все-таки правда жизни потому, что чего-нибудь всегда кому-нибудь хочется, от чего-нибудь больно и радостно, но в искусстве ложь уничтожает всю связь между явлениями: порошком все рассыпается».

Правдивость, верность действительному существу изображаемого есть свойство, до такой степени присущее искусству, что самый процесс создания художественного образа Толстой, в духе известной мысли Микельанжело, запечатленной в его сонетах, рассматривает как снятие слоев или покрова, скрывающего фигуру, которая существует независимо от глаз художника и его искусства в самом мраморе. Так, художник Михайлов, уловив при помощи счастливой случайности сущность рисуемой им фигуры, понимает, что вся его работа над образом — какие бы изменения он ни внес затем в те или иные подробности ее движения — состоит в «откидывании» того, что закрывало фигуру от взоров наблюдающего: «Можно было поправить рисунок сообразно с требованиями этой фигуры, можно и должно даже было иначе расставить ноги, совсем переменить положение левой руки, откинуть волосы. Но, делая эти поправки, он не изменял фигуры, а только откидывал то, что скрывало фигуру. Он как бы снимал с нее те покровы, из-за которых она не вся была видна» (т. 19, с. 37).

4. О РЕАЛИЗМЕ В ИСКУССТВЕ

Взгляд Толстого, по которому предмет, изображаемый художником в произведении, как бы существует уже в натуре, в материале искусства — так что задача художника состоит только в том, чтобы умеючи и осторожно освободить предмет от облекающего его покрова,— взгляд этот непосредственно приводил Толстого к вопросу о *реализме*, к вопросу об отношении искусства к реальности.

Особенность толстовского реализма состоит в том, что это реализм, не столько прямо изображающий предмет или явление, сколько изображающий их посредством передачи чувства, вызываемого предметом у автора. Знаменитое толстовское определение искусства как деятельности, состоящей в намеренном воспроизведении особыми для каждого искусства средствами однажды испытанных автором чувств с целью передачи этих чувств другим людям, очень точно выражает свойственное Толстому понимание реализма. Толстовское искусство великолепно и с исключительной иллюзией реальности изображает природу, внешность человека, его внутреннюю жизнь, но изображает все это в границах того, что может быть показано через призму *чувства*. Самый ум Толстого, если пользоваться условным термином переписки между Толстым и Фетом, был не «умом ума», но «умом сердца».

Односторонность и недостаточность толстовского определения искусства давно уже выяснены эстетикой и критикой. Общеизвестно, что узость этого определения привела Толстого к недооценке познавательной силы искусства, к пренебрежению интеллектуальными средствами искусства.

Значение искусства не *только* в том, как ошибочно думал Толстой, что искусство «заражает» людей чувствами, которые художник пережил и, пережив, намеренно воспроизвел их в своем произведении. Кроме того действия, которое искусство оказывает на чувство и которое Толстой особенно подчеркивает, искусство воздействует — посредством своих образов — на всю область наших *представлений* и *идей*. Искусство способно изменять в нас не только строй наших *чувств*, но и строй *наших мыслей*. Искусство изменяет степень и глубину наших *знаний* о жизни и ее явлениях. Более того: искусство располагает *особыми*, ему одному принадлежащими средствами познания, сила которых в известных отношениях даже *превосходит* то, что может быть дано познанием *научным*. На это преимущество художественного познания указывал Энгельс. Так, Энгельс разъяснял, что из чтения и изучения «Человеческой комедии» Бальзака он «узнал больше (например, перераспределение реальной и личной собственности после революции), чем из книг всех специалистов — историков, экономистов, статистиков этого периода, вместе взятых»[47]. Познавательная сила искусства делает искусство одним из важнейших и могущественнейших средств *идейного* воспитания.

Толстой говорит и об этой познавательной стороне искусства. Но увлеченный доказательством важности действия искусства на чувства, Толстой недооценил познавательную функцию искусства—не в своей художественной деятельности, а в своих эстетических высказываниях. Недостаток этот был в свое время отмечен Плехановым. Плехановская критика толстовского определения искусства указала на односторонность теоретических взглядов Толстого на искусство. Ошибка Толстого не в том, что, он подчеркивает способность искусства действовать на чувства, а в том, что, правильно подчеркивая эту способность, Толстой недостаточно подчеркивает — в статьях об искусстве — то новое, что искусство вносит также и в область познания. Но эта односторонность, явно выступающая в эстетических формулах Толстого, несравненно менее присутствует и ощущается в практике реалистического искусства Толстого. Произведения

Толстого — богатейший источник художественного познавательного опыта, далеко выходящего за пределы воздействия на одни лишь чувства. Художественный талант Толстого оказался мудрее его рассудочной формулы.

Как реалист Толстой требует, чтобы произведение искусства порождало иллюзию подлинной жизни. В работе «О Шекспире и о драме» он даже определяет иллюзию как «главное условие искусства»: «Художественное, поэтическое произведение, в особенности драма, прежде всего должно вызывать в читателе или зрителе иллюзию того, что переживаемое, испытываемое действующими лицами переживается, испытывается им самим. А для этого столь же важно драматургу знать, что именно заставить и делать и говорить свои действующие лица, сколько и то, чего не заставить их и говорить и делать, чтобы не нарушить иллюзию читателя или зрителя» (т. 35, с. 250).

Художественная иллюзия предполагает полную победу над всеми слишком личными, субъективными, предвзятыми пристрастиями художника и означает способность открыть в изображаемом самый предмет таким, каков он есть. «Художник,— писал Толстой в предисловии к сочинениям Мопассана,— только потому и художник, что он видит предметы не так, как он хочет их видеть, а так, как они есть. Носитель таланта — человек — может ошибаться, но талант, если ему только будет дан ход, как давал ему ход Мопассан в своих рассказах, откроет, обнажит предмет и заставит полюбить его, если он достоин любви, и возненавидеть его, если он достоин ненависти» (т. 30, с. 20).

5. КРИТИКА НАТУРАЛИЗМА В ИСКУССТВЕ. РОЛЬ ДЕТАЛИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ

Требование полноты и совершенства иллюзии вовсе не означает, что в *самом изображении* предмета художник должен стремиться закрепить *все*, что *есть в предмете*, и закрепить таким, *каково оно есть*. *Увидеть* предмет так, как он есть, не значит еще *изобразить* его в произведении искусства таким, каков он есть, натуралистически. Художник должен победить и искоренить из своей субъективности то, что заслоняет от него предмет, мешает ему видеть предмет. Но это не значит, что художник должен или вправе отрешиться от осознания и выявления своего отношения к увиденному и показанному через искусство предмету. Напротив, та иллюзия реальности, без которой нет искусства, только тогда и может возникнуть,— такова мысль Толстого,— если у автора имеется твердое, нравственное, как его называет Толстой, отношение к предмету. «...Цемент,— писал Толстой,— который связывает всякое художественное произведение в одно целое и оттого производит иллюзию отражения жизни, есть не единство лиц и положений, а единство самобытного нравственного отношения автора к предмету» (т. 30, с. 18—19).

Но именно поэтому, победив в себе субъективную предвзятость, увидев предмет таким, каков он есть, художник не может удовлетвориться изображением его, каков он есть. Ибо не все из того, что есть, существует таким, каким оно должно бы было быть.

«Все словесные сочинения и хороши, и нужны,— пояснял Толстой,— не тогда, когда они описывают что было, а когда показывают, что должно быть; не тогда, когда они рассказывают то, что делали люди, а когда оценивают хорошее и дурное» (т. 26, с. 308). «...Нельзя описывать только то, что бывает в мире <...> Если будешь описывать мир, как он есть, то будешь описывать много лжи и в словах твоих не будет правды. Чтобы была правда в том, что описываешь, надо писать не то, что есть, а то, что должно быть... От этого и бывает то, что есть горы книг, в которых говорится

о том, что́ точно было или могло быть; но книги эти все — ложь, если те, кто их пишут, не знают сами, что хорошо, что дурно». «И бывает то, что есть сказки, притчи, басни, легенды, в которых описывается чудесное — такое, чего никогда не бывало и не могло быть; и легенды, сказки, басни эти — правда...» «Такая история вся невероятная, потому что ничего того, что описывается, не бывало и не могло быть; но она вся правда, потому что в ней показывается то, что всегда должно быть, в чем добро, в чем зло...» (т. 26, с. 309). «...Для того, чтобы производить то, что называется произведениями искусства, надо 1) чтобы человек ясно, несомненно знал, что добро, что зло, тонко видел разделяющую черту и потому писал бы не то, что есть, а то, что должно быть» (т. 64, с. 19).

Именно потому, что талант, как его понимает Толстой, есть способность «видеть вещи в их сущности», подлинное искусство не может быть натуралистическим. Способность видеть сущность предмета предполагает, что все второстепенное, побочное, т. е. как раз то, что в непосредственном натуралистическом восприятии часто выдвигается на первый план и заслоняет сущность, должно быть подчинено главному, основному, решающему. Поэтому художественное произведение, заслуживающее этого названия, есть не натуралистическая копия, но всегда и непременно — определенное подчинение или, как выражается Толстой, «иерархия», т. е. гармоническая правильность в распределении изображаемых в произведении предметов.

Именно за высокое совершенство в осуществлении этой «иерархии» Толстой ценил прозу Пушкина, особенно повести Белкина, а также ценил эпос Гомера. «Область поэзии бесконечна, как жизнь,— писал Толстой Голохвастову,— но все предметы поэзии предвечно распределены по известной иерархии и смешение низших с высшими или принятие низшего за высший есть один из главных камней преткновения. У великих поэтов, у Пушкина, эта гармоническая правильность распределения предметов доведена до совершенства ⟨...⟩ Чтение даровитых, но не гармонических писателей (то же музыка, живопись) раздражает и как будто поощряет к работе и расширяет область; но это ошибочно; а чтение Гомера, Пушкина сжимает область и, если возбуждает к работе, то безошибочно» (т. 62, с. 22).

Свойство это Толстой не только ценил в великих поэтах прошлого. Этого свойства — гармонического распределения предметов — он прежде всего добивался и в практике собственного искусства. «Главное,— разъяснял он Фету,—⟨...⟩ в расположении частей относительно фокуса, и когда правильно расположено, все ненужное, лишнее само собою отпадает, и все выигрывает в огромных степенях» (т. 62, с. 441).

Отвергая натуралистическую подробность как несовместимую с «иерархией», или гармоническим расположением частей подлинно художественного произведения, Толстой отнюдь не отвергал подробность как одно из средств, усиливающих действие целого. Подробность, так думал Толстой, может быть чрезвычайно ценным орудием искусства — при условии, если она есть не бессмысленная натуралистическая копия, но черта, сознательно выделенная художником, так как она проливает свет на целое, помогает осмыслить то, что по своему значению гораздо больше, шире и значительнее, чем самая эта подробность.

Только поисками смысла целого может быть оправдана деталь в искусстве. «В поэзии эта страсть к изображению того, что есть, происходит оттого, что художник надеется, ясно увидав, закрепить то, что есть, понять смысл того, что есть».

Анализируя сцену из романа Поленца «Крестьянин», Толстой обращает внимание на одну введенную автором в сцену деталь. «Такая подробность, — разъясняет Толстой, — освещая внутреннюю жизнь этой жены

и этого мужа, освещает для читателя внутреннюю жизнь миллионов таких же мужей и жен, и прежде живших и теперь живущих...» (т. 34, с. 272). Такого рода подробности Толстой не только допускал, но чрезвычайно ценил. В этом смысле Толстой писал Е. И. Попову: «Чем больше подробностей, сцен, тем лучше» (т. 67, с. 122).

Напротив, всякая подробность, отводящая читателя в сторону от основного смысла сцены, положения, действия, произведения или заслоняющая этот смысл, рассматривалась Толстым как непростительная ошибка художника и искусства. «В повествовании об Иосифе,— разъяснял Толстой,— не нужно было описывать подробно, как это делают теперь, окровавленную одежду Иосифа и жилище и одежду Иакова, и позу и наряд Пентефриевой жены, как она, поправляя браслет на левой руке, сказала: „Войди ко мне" и т. п., потому что содержание чувства в этом рассказе так сильно, что все подробности, исключая самых необходимых, как например, то, что Иосиф вышел в другую комнату, чтобы заплакать,— что все эти подробности излишни и только помешали бы передать чувство, а потому рассказ этот доступен всем людям, трогает людей всех наций, сословий, возрастов, дошел до нас и проживет еще тысячелетия. Но отнимите у лучших романов нашего времени подробности, и что же останется?» (т. 30, с. 162).

Именно для достижения иллюзии реальности — этого необходимого условия искусства,— натуралистическая деталь должна быть изгоняема из произведения. «Можно, не нарушая иллюзии, не досказать многого — читатель или зритель сам доскажет, а иногда вследствие этого в нем еще усилится иллюзия, но сказать лишнее все равно, что, толкнув, рассыпать составленную из кусочков статую или вынуть лампу из волшебного фонаря,— внимание читателя или зрителя отвлекается, читатель видит автора, зритель — актера, иллюзия исчезает, и вновь восстановить иллюзию иногда бывает уже невозможно» (т. 35, с. 257).

Мысли эти были для Толстого мерилом при оценке работ самых крупных художников. Так, Лескова, которого Толстой и в старости очень любил, восхищаясь его талантом, вдохновением, он упрекал за «излишек таланта». «...Ваш особенный недостаток, — писал он Лескову...— exubérance образов, красок, характерных выражений, которая вас опьяняет и увлекает. Много лишнего, несоразмерного...» (т. 65, с. 198).

Но не иным был и принцип собственного творчества Толстого — реалистического, но не натуралистического, творчески комбинирующего впечатления, отбирающего характерное, подчиненного чувству меры, которому Толстой учился и у греков, и у французов классического периода, и у Пушкина.

С гордостью истинно великого художника Толстой отвергал наивные догадки некоторых читателей о портретности персонажей в его романах. «Андрей Болконский,— разъяснял он княгине Волконской,— никто, как и всякое лицо романиста, а не писателя личностей или мемуаров. Я бы стыдился печататься, ежели бы весь мой труд состоял в том, чтобы списать портрет, разузнать, запомнить» (т. 61, с. 80).

Натуралистическое копирование представлялось Толстому делом не только ложным по существу, но, кроме того, слишком легким, недостойным той серьезности и трудности, которая составляет гордость, радость и мучение подлинного художника. Напротив, в произведениях подлинного реалистического искусства Толстой ценил их способность расширять опыт, знание жизни — не показом ничтожных и потому никому не нужных подробностей, не простым повторением того, что бывает в жизни, а таким изображением, которое, не будучи самим опытом жизни, приближает человека к пониманию ее явлений. По разъяснению Толстого, удовольствие, доставляемое произведениями искусства, состоит «именно в том,

КАРТИНА В. А. СЕРОВА НА СЮЖЕТ ПОВЕСТИ ТОЛСТОГО «ХОЛСТОМЕР»
Масло, 1892 г.
Третьяковская галерея, Москва

что человек не испытывает всего того трения жизни, которое отравляет и угнетает наслаждения действительной жизни, а между тем получает все те волнения жизни, которые составляют ее сущность и прелесть, и получает их с тем большей силой, что никто не мешает им. Благодаря искусству человек безногий или дряхлый испытывает наслаждение пляски, глядя на пляшущего художника-скомороха, человек, не выходивший из своего северного дома, испытывает наслаждение южной природой, глядя на картину; человек слабый, кроткий испытывает наслаждение силы и власти, глядя на картину, читая или глядя на театре поэтическое произведение или слушая героическую музыку; человек холодный, сухой, никогда не жалевший, не любивший, испытывает наслаждение любви, жалости» (т. 30, с. 252—253).

6. О СУЩНОСТИ И ЗНАЧЕНИИ ФОРМЫ В ИСКУССТВЕ

Сознание невозможности удовлетвориться в искусстве простым перенесением в произведение черт предмета такими, каковы они в натуре, в жизни, а также сознание трудности, с какой в искусстве создается подлинная иллюзия реальности, выдвигало перед Толстым вопрос о *мастерстве*, о *технике*, о *форме* в искусстве.

Искусство всегда было в глазах Толстого нелегким делом, требующим от художника самоотверженного и неутомимого труда.

Первым источником трудности в деле искусства Толстой признал *своеобразие* той формы мышления, какую представляет искусство. Хотя художник необходимо передает в произведении мысли, выражающие его отношение к изображаемым явлениям жизни, произведение искусства отнюдь не равносильно простому соединению мыслей, пусть даже самых истинных и глубоких.

С исключительной силой это свое понимание своеобразия художественного мышления, невозможность свести смысл художественного произведения к простому ряду суждений — как бы проницательны и верны они

ни были — Толстой выразил в письме к Страхову от 26 апреля 1876 г. «...Ваше суждение о моем романе, — писал Толстой Страхову,— верно, но не все, т. е. все верно, но то, что вы сказали, выражает не все, что я хотел сказать» (т. 62, с. 268).

«Если же бы я хотел сказать словами все то, что имел в виду выразить романом, то я должен был написать роман тот самый, который я написал сначала ⟨...⟩ Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собой для выражения себя; но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна и без того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя; а можно только посредственно словами,— описывая образы, действия, положения» (т. 62, с. 269).

Настоящее художественное произведение, пояснял Толстой ту же мысль в «Предисловии к роману Поленца „Крестьянин“», есть «...произведение, в котором автор говорит про то, что ему нужно сказать ⟨...⟩ не рассуждениями ⟨...⟩, а тем единственным средством, которым можно передать художественное содержание: поэтическими образами...» (т. 34, с. 270).

В художественном произведении мысль не перестает быть мыслью, но, сохраняя за собой все свое значение *мысли*, становится элементом неделимого целого, которое есть уже не *отвлеченная только* мысль и которое действует на народ не только *непосредственным* содержанием заключающихся в нем мыслей.

Поэтому одно достоинство мыслей, вложенных драматургом в уста действующих лиц, не решает еще вопроса о достоинстве драматического произведения как произведения искусства. «Мысли и изречения можно ценить,— писал Толстой,— в прозаическом произведении, в трактате, собрании афоризмов, но не в художественном драматическом произведении, цель которого — вызвать сочувствие к тому, что представляется» (т. 35, с. 250). В драматическом произведении мысли оказываются неотделимыми от целого элементами драмы, а условия всякой драмы «...заключаются в том, чтобы действующие лица были, вследствие свойственных их характерам поступков и естественного хода событий, поставлены в такие положения, при которых, находясь в противоречии с окружающим миром, лица эти боролись бы с ним и в этой борьбе выражали бы присущие им свойства» (т. 35, с. 237).

Уяснение своеобразной функции мысли в произведении искусства приводит к уяснению своеобразных трудностей, которые возникают перед художником в процессе создания произведения. Если «основу сцепления мыслей» нельзя выразить «непосредственно словами», а можно «только посредственно словами, описывая образы, действия, положения», то это значит, что в каждом особом случае художник должен найти то неповторимое сочетание сцен, событий, положений, дифференциалов выражения — брюлловских «чуть-чуть»,— которое одно может выразить задуманное им «сцепление мыслей».

Не раз с искренностью и откровенностью великого художника Толстой говорит о трудности этой работы. «Вы не можете себе представить,— писал он Фету в разгаре трудов над «Войной и миром»,— как мне трудна эта предварительная работа глубокой пахоты того поля, на котором я *принужден* сеять. Обдумать и передумать все, что может случиться со всеми будущими людьми предстоящего сочинения, очень большого, и обдумать мильоны возможных сочетаний, для ⟨того⟩, чтобы выбрать из них $^1/_{1\,000\,000}$ — ужасно трудно» (т. 61, с. 240).

Толстой знал, что для победы над этими трудностями необходимо *мастерство*, совершенство *формы*: «Чтобы говорить хорошо то, что он хо-

чет говорить (под словом „говорить" я разумею всякое художественное выражение мысли), художник должен овладеть мастерством. А чтобы овладеть мастерством, художник должен много и долго работать».

Толстой требовал от искусства мастерства и радовался этому качеству в художниках. Ценя идейные замыслы живописца Н. Н. Ге, Толстой опасался, как бы недостатки техники, формы не помешали действию его произведения на людей. «... Только бы вы по технике,— уговаривал он Ге,— удовлетворили требованиям художнической толпы. Если уже выставка и большая картина, то надо считаться с этим» (т. 66, с. 325). Высоко ценя Тютчева и Баратынского, он все же находил в Баратынском сравнительно с Тютчевым недостаток исполнения: «Баратынский настоящий, хотя мало красоты, изящества...» (т. 62, с. 295). *Красоту формы* Толстой включает в свое определение трех основных, кроме таланта, условий истинного художественного произведения, помещая требование прекрасной формы на втором месте после требования правильного отношения автора к предмету (т. 30, с. 7).

Восхищаясь качеством формы в вещах Мопассана, Толстой особенно выделял в этом отношении форму романа «Жизнь». «Форма,— писал Толстой о романе Мопассана, — прекрасная и в первых рассказах, здесь доведена до такой высокой степени совершенства, до которой не доходил, по моему мнению, ни один французский писатель-прозаик» (т. 30, с. 7).

Необходимое для каждого художественного произведения качество новизны есть, по разъяснению Толстого, не только новизна выражаемого *содержания*, но также и новизна формы, посредством которой найденное впервые содержание может быть выражено. Мысль эту Толстой, согласно свидетельству А. Б. Гольденвейзера, выразил так: «Я думаю, что каждый большой художник должен создавать и свои формы. Если содержание художественных произведений может быть бесконечно разнообразным, то так же и их форма. Как-то в Париже мы с Тургеневым вернулись домой из театра и говорили об этом, и он совершенно согласился со мной. Мы с ним припоминали все лучшее в русской литературе, и оказалось, что в этих произведениях форма совершенно оригинальная. Не говоря уже о Пушкине, возьмем „Мертвые души" Гоголя. Что это? Ни роман, ни повесть. Нечто совершенно оригинальное. „Записки охотника" — лучшее, что Тургенев написал. Достоевского „Мертвый дом", потом, грешный человек,—„Детство", „Былое и думы" Герцена, „Герой нашего времени"...»[48].

Но как ни ценил Толстой качество формы в художественных произведениях, он был далек от мысли, будто основная трудность искусства — нахождение единственно правильного и от произведения к произведению меняющегося сочетания характеров, положений, сцен, действий — может быть достигнута совершенствованием одной лишь *формы*, одной лишь *техники*.

Более того. Так как каждое произведение искусства есть, по Толстому, неделимое целое, отвечающее в каждом случае совершенно неповторимой задаче, и так как мысли не могут быть оторваны в нем от образов, положений, действий, нераздельными элементами которых мысли являются, то и самая «техника» каждого отдельного произведения есть, в сущности, не что иное как само это произведение, во всей особенности и неповторимости его содержания, нераздельно слитых с ним и характерных для него средств выражения, способов построения художественного целого и т. д.

В «Анне Карениной» Толстой с редкой силой проникновения показывает ошибочность обычного взгляда, противопоставляющего *технику* произведения его *внутреннему достоинству*, т. е. *содержанию*. Когда

приехавшие к живописцу Михайлову дилетанты похвалили *технику* его картины, Михайлов «вдруг насупился». «Он часто слышал это слово техника и решительно не понимал, что такое под этим разумели. Он знал, что под этим словом разумели механическую способность писать и рисовать, совершенно независимую от содержания. Часто он замечал, как и в настоящей похвале, что технику противополагали внутреннему достоинству, как будто можно было написать хорошо то, что было дурно. Он знал, что надо было много внимания и осторожности для того, чтобы, снимая покров, не повредить самого произведения, и для того, чтобы снять все покровы; но искусства писать, техники тут никакой не было. Если бы малому ребенку или его кухарке также открылось то, что он видел, то и она сумела бы вылущить то, что она видит. А самый опытный и искусный живописец-техник одною механическою способностью не мог бы написать ничего, если бы ему не открылись прежде границы содержания» (т. 19, с. 42).

Уяснение невозможности создать произведение подлинного искусства, если «не открылись прежде границы содержания», особенно необходимо потому, что в дурных или мнимых произведениях искусства качество отделки, внешней формы, может быть и часто бывает даже лучшим, чем в произведениях настоящего искусства.

Как же отличить в подобных случаях подлинное произведение от поддельного? Отличие возможно для того, кто, так же как настоящий художник, не может вступить в общение с произведением искусства, прежде чем ему «не открылись границы содержания».

Такой требовательностью к произведениям искусства и непогрешимой чуткостью мерила отличается отношение к искусству, свойственное народу. Поэтому искусство будущего, которое представлялось Толстому как искусство, творимое народом и для народа, не испытает, так думал Толстой, никакого ущерба, если оно откажется от слишком сложной техники, характерной для исключительного, неспособного быть всенародным искусства господствующих классов современного общества. «Деятельность художественная,— писал Толстой,— будет тогда доступна для всех людей. Доступна же делается эта деятельность людям из всего народа потому, что ⟨...⟩ в искусстве будущего не только не будет требоваться та сложная техника, которая обезображивает произведения искусства нашего времени и требует большого напряжения и траты времени, но будет требоваться, напротив, ясность, простота и краткость,— те условия, которые приобретаются не механическими упражнениями, а воспитанием вкуса» (т. 30, с. 180).

7. ИСКУССТВО ДОЛЖНО СТАТЬ ВСЕНАРОДНЫМ

Толстой не боялся того, что предвиденное им движение искусства к народности, к ясности, простоте снизит «технику» искусства. С огромной верой в художественную силу народа, в его художественный вкус и такт Толстой предсказывал, что известное ослабление техники, неизбежное при превращении искусства в искусство всенародное, не нанесет никакого ущерба действительному достоинству и действительной силе искусства. Строго говоря, ни о каком ослаблении техники здесь не может быть и речи. Техника ослабевает лишь с точки зрения требований эстетов, снобов. «Она, несомненно, ослабеет,— писал Толстой,— если под техникой разуметь те усложнения искусства, которые теперь считаются достоинством; но если под техникой разуметь ясность, красоту и немногосложность, сжатость произведений искусства, то техника не только не ослабеет, как это показывает все народное искусство, но в сотни раз усовершенствуется ⟨...⟩ Она усовершенствуется потому, что все гениальные худож-

ники, теперь скрытые в народе, сделаются участниками искусства и дадут ‹...› образцы совершенства, которые будут, как всегда, лучшею школой техники для художников» (т. 30, с. 181).

Толстой хорошо знал искусство, его внутренние трудности, сложные законы его развития во времени. Утверждая неизбежность перехода искусства к высшему типу всенародного искусства, он в то же время думал, что даже после устранения социальных причин, препятствующих искусству в обществе, основанном на угнетении, стать всенародным, потребуется известное время для того, чтобы из искусства, создавшегося людьми, поставленными в исключительные и отделенные от народной жизни условия, стать искусством народным в действительном значении слова. Уже в начале 70-х годов Толстой ощущал состояние тогдашней русской литературы как упадок, даже как смерть, но смерть «с залогом возрождения в народности». «Заметили ли вы в наше время в мире русской поэзии,— писал Толстой Страхову,— связь между двумя явлениями, находящимися между собой в обратном отношении: упадок поэтического творчества всякого рода — музыки, живописи, поэзии — и стремление к изучению русской народной поэзии всякого рода — музыки, живописи и поэзии. Мне кажется, что это даже не упадок, а смерть с залогом возрождения в народности. Последняя волна поэтическая — парабола была при Пушкине на высшей точке, потом Лермонтов, Гоголь, мы грешные, и ушла под землю. Другая линия пошла в изучение народа и выплывет ‹...› Счастливы те, кто будет участвовать в выплывании. Я надеюсь» (т. 61, с. 274—275).

Толстому не было суждено дожить до исполнения своего предсказания — до времени, когда возможность общего движения искусства к всенародности стала — благодаря нашей революции — действительностью.

Современное искусство народов Советского Союза развивается как искусство всенародное. И если Толстой радовался счастью тех, кому суждено будет увидеть уже не «залог» только возрождения, но самое возрождение народности, то мы, люди Советской страны, счастливы сознанием, что наш величайший писатель предсказал это возрождение искусства в народности, страстно желал его и наперед радовался часу его приближения.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 16, стр. 294.
[2] В. И. Ленин. Сочинения, т. 15, стр. 183.
[3] В. И. Ленин. Сочинения, т. 16, стр. 302.
[4] Там же, стр. 294.
[5] Там же, стр. 295.
[6] В. И. Ленин. Сочинения, т. 15, стр. 183.
[7] В. И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр. 30.
[8] Там же, стр. 31.
[9] Там же, стр. 31—32.
[10] Там же, стр. 31.
[11] В. И. Ленин. Сочинения, т. 15, стр. 184.
[12] Там же, стр. 185.
[13] В. И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр. 30.
[14] Там же, стр. 29—30.
[15] Ф. Шиллер. Статьи по эстетике. М.— Л., «Academia», 1935, стр. 215.
[16] Там же, стр. 212.
[17] В. И. Ленин. Сочинения, т. 16, стр. 293.
[18] В. И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр. 30.
[19] Nicolas Weisbein. L'évolution religieus de Tolstoi. Paris, 1960, p. 217.
[20] Там же, стр. 95.
[21] Там же, стр. 268.
[22] Там же, стр. 370—374.

[23] В. И. Ленин. Сочинения, т. 15, стр. 180.
[24] В. И. Ленин. Сочинения, т. 16, стр. 294.
[25] Там же, стр. 301.— Курсив мой.— *В. А.*
[26] Там же, стр. 339.
[27] Там же, стр. 339—340.
[28] Там же, стр. 340.
[29] Там же, стр. 339.
[30] Там же, стр. 302.
[31] В. И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр. 30.
[32] Там же, стр. 30.
[33] Л. Н. Толстой. Сочинения, т. II. ГИЗ, 1929, стр. 5.
[34] A. Stender-Petersen. Geschichte der Russischen Literatur, Bd. II. München, 1957, S. 368.
[35] В. И. Ленин. Сочинения, т. 15, стр. 183.
[36] В. И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр. 32.
[37] Там же.
[38] Там же.
[39] Там же, стр. 33.
[40] В. И. Ленин. Сочинения, т. 16, стр. 301.
[41] М. Горький. Собрание сочинений, т. 17. М., 1952, стр. 39.
[42] В. И. Ленин. Сочинения, т. 16, стр. 295.
[43] В. И. Ленин. Сочинения, т. 15, стр. 183.
[44] В. И. Ленин. Сочинения, т. 16, стр. 323.
[45] Там же, стр. 324.
[46] «Статьи Толстого об искусстве».— «Литературное наследство», т. 37-38, 1939, стр. 67.
[47] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXVIII. М., 1940, стр. 12.
[48] А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., 1959, стр. 116.

ТОЛСТОЙ И РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX в.

Статья Л. Д. Опульской

1

Конец XIX — начало XX в. завершают в русской истории целую эпоху, которую В. И. Ленин назвал эпохой подготовки буржуазно-демократической революции в России, определив хронологические рамки этой эпохи 1861—1904 годами, и открывают новую эпоху — свершения революции, сначала — буржуазно-демократической, а вскоре — и социалистической.

В истории русского освободительного движения вторая половина 90-х годов знаменует начало нового, пролетарского этапа, начало массового революционного движения пролетариата, который призван был сыграть во главе со своей революционной партией роль гегемона революции. В многомиллионной массе русского крестьянства, страдавшего столько же от развития капитализма, разрушения общины, сколько и от недостаточного его развития, задушенного хроническими голодовками, спасавшегося от них бегством в город, где крестьян ждали новые ужасы нищеты и капиталистического угнетения,— с небывалой до этого быстротой растут стихийный протест и возмущение, вылившиеся в начале 900-х годов в мощное аграрное движение. Россия в этот период становится центром международного революционного движения.

В истории русской общественной мысли 90-е годы отмечены идейным разгромом народничества, превратившегося из революционно-демократического течения в либерально-мещанскую доктрину, утверждением в трудах Ленина революционных идей научного социализма, а конец 90-х — начало 900-х годов — соединением социализма с рабочим движением.

В истории развития капитализма в России 90-е годы были временем его перехода в империалистическую стадию, стадию упадка и разложения.

Новые социально-исторические и общественные условия не могли не отразиться на литературе. Как это всегда бывает в эпохи кризиса, ломки, литературный процесс конца XIX — начала XX в. отмечен бурным развитием новых явлений, обострением борьбы идеологий и стилей.

В начале XX в. происходит подлинная революция в искусстве — рождение нового художественного метода, социалистического реализма. Искусство писателей-реалистов приобретает новые, весьма характерные черты. С другой стороны, в конце столетия определяются кризис и реакционное перерождение буржуазной культуры, приведшие искусство господствующих классов к «болезни века» — натурализму и декадентству.

В истории русской литературы воплотились, таким образом, общие закономерности развития искусства «эпохи империализма и пролетарских революций». Но в России в отличие от других стран Европы конец XIX — начало XX в. были временем предстоящей, а не пережитой революции. Эта предстоящая, буржуазно-демократическая по своему объективному

содержанию революция отличалась, однако, от всех бывших ранее буржуазно-демократических революций тем, что руководящую роль в ней должен был сыграть пролетариат, а главным вопросом стать — крестьянский. Народный характер готовящейся революции обусловил историческое своеобразие русской литературы конца XIX — начала XX в. В то время как реализм переживал всемирный кризис, в России Толстой создавал образцы монументального реалистического искусства; новых высот достигал реализм Чехова; одновременно рождалось великое реалистическое искусство М. Горького. С другой стороны, натурализм и декадентство захватили своим влиянием несравненно меньшие, чем в европейских литературах, области и на сравнительно короткий срок.

В историко-литературных курсах и специальных работах, посвященных творчеству писателей конца XIX — начала XX в., значение Толстого либо вовсе не анализируется, либо рассматривается в плане литературной преемственности, усвоения новыми писателями классических традиций Толстого. Между тем, не только для литераторов старшего поколения, работавших в это время: Чехова, Короленко, Лескова, Эртеля, Мамина-Сибиряка, но и для молодых: Горького, Куприна, Андреева, Вересаева, Бунина — творчество Толстого являлось не «традицией», вернее, не одной традицией, но и живой современностью.

Толстой сам был участником сложных процессов, происходивших в литературе в этот период. В творчестве Толстого 90-х — 900-х годов проявились черты, ярко воплотившие общие закономерности историко-литературного развития на рубеже двух веков, накануне первой русской революции.

В настоящей работе сделана попытка, определив основные черты реализма позднего Толстого, выяснить, как же соотносится его творчество 90-х — 900-х годов с ведущими тенденциями развития литературы в этот период, что внес он своими произведениями, прежде всего — романом «Воскресение», в общее движение русской литературы тех лет.

Другой аспект рассматриваемой проблемы — воздействие Толстого, его творчества, его суждений об искусстве на писателей конца XIX — начала XX в.

О силе этого воздействия справедливо писал Чехов в 1900 г.: «Толстой стоит крепко, авторитет у него громадный, и, пока он жив, дурные вкусы в литературе, всякое пошлячество, наглое и слезливое, всякие шершавые, озлобленные самолюбия будут далеко и глубоко в тени. Только один его нравственный авторитет способен держать на известной высоте так называемые литературные настроения и течения. Без него бы это было беспастушное стадо или каша, в которой трудно было бы разобраться»[1].

Связь с Толстым, его влияние на творческое самоопределение писателей осуществлялось в России иными путями, чем в Европе и Америке. Большинство зарубежных литераторов конца XIX — начала XX в. узнавали художественные произведения Толстого после того, как происходило их знакомство с его религиозно-философскими и социально-этическими сочинениями. В России процесс был обратный. Если не считать тех немногочисленных и весьма посредственных литераторов, которые заявляли себя последователями религиозно-нравственного учения Толстого, интерес к религиозно-философским взглядам Толстого, если он возникал, исходил из того именно, что взгляды эти принадлежали автору «Казаков», «Войны и мира», «Анны Карениной». Воздействие Толстого-художника на судьбы русской литературы оказалось поэтому несравненно бо́льшим, чем влияние Толстого-проповедника на развитие общественной мысли и общественного движения в России.

Увлечение же выдающихся русских писателей конца XIX — начала XX в. идеями Толстого питало их страсть к постановке коренных

нравственных и социальных вопросов и обычно сопровождалось полемикой с его утопическими попытками решения этих вопросов.

Несмотря на то, что существует большая литература о взаимоотношениях и творческих связях Толстого с М. Горьким, Чеховым, Короленко, а в последнее время появились статьи о Толстом и Бунине, о Толстом и Л. Андрееве[2] и т. п., общая проблема — о роли Толстого в историко-литературном процессе конца XIX — начала XX в. еще не ставилась.

В значительной мере неопубликованными остаются письма к Толстому литераторов того времени (Куприна, Л. Андреева, Брюсова, Бальмонта и др.), многочисленные отзывы Толстого о них, а также их высказывания о его творчестве; не обследованы представляющие исключительный интерес пометы Толстого на книгах этих писателей. В настоящей работе сделана попытка обратиться к некоторым из этих материалов и произвести самый предварительный их анализ. Нет сомнения в том, что широкая, углубленная разработка затронутых проблем потребует ряда специальных исследований и публикаций.

2

Наиболее характерные черты художественных произведений «позднего» Толстого определяются, с одной стороны, резко обличительной направленностью всего его творчества после перелома в мировоззрении; с другой стороны,— открыто морализаторскими тенденциями. Развитие художественного метода происходит во взаимодействии противоборствующих сил. С одной стороны, «самый трезвый реализм» доводит возможности реалистического письма до полной исчерпанности находящихся в его распоряжении художественных средств. С другой,— морализаторские задачи воплощения не только того, что есть, но и того, что «должно быть» («должно быть», исходя из принципов религиозно-этического учения Толстого), подтачивают, ослабляют, разрушают реализм, подменяя жизнь картинами утопических мечтаний.

В этом сложном процессе становления и развития художественного метода позднего Толстого все отмечено печатью индивидуальной судьбы его писательского гения; одновременно в нем ярко проявились общие тенденции литературного развития эпохи. С наибольшей полнотой эти тенденции раскрылись в идеологии и стиле романа «Воскресение» — произведении, которое подвело итог всей деятельности Толстого и составило эпоху в развитии литературы.

Острая ломка старых, «патриархальных» отношений, разрыв привычных, складывавшихся веками связей — характерная черта всей переломной — пореформенной и предреволюционной — эпохи. Начиная с 60-х годов, в русской литературе стала типичной ситуация, воплощающая эти конфликты. Волна назревавшей крестьянской революции вымывала «детей» из семей «отцов», сталкивала в непримиримой вражде барина и мужика, новоявленного предпринимателя и разночинца. Эти главные конфликты эпохи составили стержень социальных исканий Толстого и нашли гениальное отражение в его художественном творчестве.

В романе «Воскресение» столкновение представителя господствующего класса со своей средой достигает высшего предела. Дмитрий Нехлюдов не только закономерно завершает галерею толстовских героев, искавших смысла жизни на пути сближения с народом, но и включается в ряд тех «выламывающихся» из своего класса людей, которые стали излюбленными типами Толстого после перелома в его мировоззрении и которых так любил изображать Горький. Они, эти «выламывающиеся» люди, были нетипичны как представители своего класса, но именно в них выражались существенные признаки времени, в которое «все переворотилось». Правда,

Толстой, верный основам своего мировоззрения, подчеркивает как главную — нравственную сторону переворота, совершающегося в сознании его «воскресающих» героев. Но существенно важно то, что жизнь господствующих классов изображается им как потерявшая всякий смысл, как лишенная оправдания. Чтобы найти этот смысл, надо решительно порвать со своим классом, вступить в непримиримый конфликт со всем существующим строем. Толстой разрабатывает эту проблему, всецело находясь в рамках критического реализма. Однако характерной чертой нового искусства, искусства социалистического реализма, также был этот не только беспощадно критический, но уничтожающий взгляд на жизнь господствующих классов.

Психология человека, «выламывающегося» из своей среды, в творчестве Толстого, гениального диалектика души, была раскрыта с такой силой драматизма и глубиной, в таком сложном сплетении частного и общего, неповторимо индивидуального и социально обусловленного, что его произведения на эту тему («Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната», «Дьявол», «Отец Сергий», «Воскресение») стали недосягаемым образцом для всей мировой литературы[3].

Героиней романа Толстой сделал Катюшу Маслову, женщину из народа. Во время работы над «Воскресением» в дневнике Толстого 1895 г. появилась знаменательная запись: «...ясно понял, отчего у меня не идет „Воскресение". Ложно начато ⟨...⟩ я понял, что надо начинать с жизни крестьян, что они — предмет, они — положительн⟨ое⟩, а то ⟨жизнь господствующих классов.— *Л. О.*⟩ — тень, то — отрицательное ⟨...⟩ Надо начать с нее» (т. 53, с. 69). Так было начато новое «Воскресение», в котором центр тяжести переместился с истории нравственного перерождения Нехлюдова на изображение жизни Катюши Масловой, всего угнетенного народа. Небольшая психологическая повесть о раскаявшемся дворянине, задуманная ранее, стала превращаться и в итоге авторской работы, завершенной в 1899 г., превратилась в социально-обличительный роман потрясающей силы и глубины.

Катюша Маслова в первоначальном развитии сюжета выполняла вспомогательную роль, служила своего рода зеркалом, в котором отражалась история нравственного развития Нехлюдова. Теперь судьба Масловой приобретает самостоятельный интерес, она изображается как частное, но глубоко типичное явление в жизни всего народа. Жизнь Масловой соотносится и с тяжкой долей обитательниц тюрьмы, осужденных «господским» судом, и с вопиющими страданиями всего деревенского народа, ограбленного господами, и с безотрадным существованием бедного городского люда, находящегося в услужении у господ. Широкая картина народной жизни, развернутая в «Воскресении», воспринимается, таким образом, не как сумма вставных, дополнительных зарисовок, а как органическая составная часть всего романа.

Верный исторической и жизненной правде, Толстой показывает возрождение Катюши Масловой как результат ее общения с политическими ссыльными, а не воздействия на нее «воскресшего» Нехлюдова. И хотя вопрос поставлен и разрешается Толстым исключительно в нравственном плане, сама жизненная ситуация отражает характерные признаки времени, в которое создавался роман.

В том, что жизнь народа, «большого света», «grand monde», — как говорит автор «Воскресения»,— поставлена в центре большого эпического полотна, а героиней романа стала женщина из «низов», сказался не только демократизм Толстого, но ярко проявилась общая тенденция развития демократической литературы. Истоки этой тенденции восходят ко времени утверждения реализма как художественного метода в творчестве писателей «натуральной школы»; особенно широко она развилась

ТОЛСТОЙ В ЯСНОПОЛЯНСКОМ ПАРКЕ

Фотография, 1903 г.

Музей Толстого, Москва

в демократической литературе 60—70-х годов. Подлинный переворот совершил в постановке этой темы М. Горький, который впервые в русской литературе изобразил трудовой народ как сознательного творца истории, ставшего таковым в процессе революционной борьбы. Толстой был далек от горьковской постановки вопроса. Сила его позиции заключалась в том, что последовательно демократический, «крестьянский» взгляд на вещи определяет всю идейную и художественную концепцию его последнего романа. Художественный принцип: народ — «предмет» искусства, принцип, который в русской литературе отстаивали писатели революционной демократии, Толстым впервые столь отчетливо был заявлен в период работы над романом «Воскресение». Ныне мы видим, что это было то наследие, без освоения которого оказалось немыслимо и новое искусство, искусство социалистического реализма.

Критический пафос достиг в романе «Воскресение» небывалой силы и остроты. Беспощадному осуждению подверг Толстой в этом романе все основы современного ему общественного строя: частную собственность на землю, суд и государственное управление, мораль, религию, науку и искусство господствующих классов. К «Воскресению» в наибольшей степени применима та характеристика реализма Толстого, которую дает Ленин: «самый трезвый реализм», «срыванье всех и всяческих масок». Эта беспощадность обличения несомненно связана с общественными настроениями накануне первой русской революции.

Верный эстетическим принципам передовой русской литературы, Толстой в своем беспощадно критическом отношении к жизни «господ» и всем институтам, сделавшим возможным их господство, выступает прежде всего продолжателем традиций писателей революционно-демократического направления. Его историческая заслуга состоит в том, что в 90-е годы прошлого века, когда уже не было в литературе ни Чернышевского, ни Щедрина, ни Г. Успенского, он с громадной силой таланта воплотил в своих произведениях настроения многомиллионного русского крестьянства. Критика Толстого, по словам Ленина, «не нова». «Он не сказал ничего такого, что не было бы задолго до него сказано и в европейской и в русской литературе теми, кто стоял на стороне трудящихся. Но своеобразие критики Толстого и ее историческое значение состоит в том, что она с такой силой, которая свойственна только гениальным художникам, выражает ломку взглядов самых широких народных масс в России указанного периода и именно деревенской, крестьянской России»[4].

Обличительная сторона деятельности Толстого оказалась наиболее близкой писателям-реалистам 90-х годов. Восхищаясь мастерством характеристик в романе «Воскресение», «силой и богатством и широтой» романа, Чехов писал, что самое интересное в нем — «князья, генералы, тетушки, мужики, арестанты, смотрители», т. е. главным образом те эпизоды, где наибольшей силы достигает критический пафос. «Сцену у генерала, коменданта Петропавловской крепости, спирита,— говорил Чехов,— я читал с замиранием духа—так хорошо! А m-me Корчагина в кресле, а мужик, муж Федосьи! Этот мужик называет свою бабу „ухватистой". Вот именно у Толстого перо „ухватистое"»[5].

В. Г. Короленко, отвечая в 1900 г. на обращение сына писателя — Л. Л. Толстого, приславшего в «Русское богатство» антитолстовский роман «Начало жизни», писал, сообщая, что не может поместить роман в журнале: «Мы, как вам известно, не „толстовцы", но, во-первых, не можем все-таки не признать, что у этого учения есть последователи более искренние, честные и умные, чем выведенные вами „темные". Во-вторых,— и это-то, собственно, решает дело,— мы преклоняемся перед тем *настроением*, которым проникнуты все призывы Льва Николаевича, перед этой постоянной чуткостью совести, обличающей страшные неправды всех сторон жиз-

ни, грехи не только отдельных человеческих душ, но и всего человеческого строя» [6].

Разоблачение жизни господствующих классов достигло в романе «Воскресение» высшей точки, возможной в пределах критического реализма. Новый этап, исторически вполне закономерный, должен был осуществиться в новом искусстве, искусстве социалистического реализма.

Изображение народа, крестьянской массы приобрело в романе «Воскресение» сравнительно с предшествующими произведениями Толстого ряд новых черт. Крестьянская масса, которая сознает свое кабальное положение, ненавидит господ и управляющих, впервые у Толстого появляется в «Воскресении».

Толстой, подобно народникам, отрицал неизбежность для России капиталистического развития. Свою положительную программу он строил, исходя из идеологии патриархального крестьянства. Недаром всегда с такой любовью отзывался он об отношении к народу Короленко. Так, в 1905 г. он говорил: «Короленко хороший и такой приятный, классический народник, старого закала» [7]. Однако в 90-е годы XIX — начале XX в., в период бурного развития капитализма в России, чудовищного разорения крестьян и усиления в их среде социального протеста, Толстой, как и Короленко, не мог не заметить, как постепенно исчезали из экономической жизни деревни черты натурального хозяйства, а из народного сознания — элементы патриархальной идеологии. Именно в конце 90-х и в 900-е годы появляются в дневниках Толстого горькие упреки в адрес своего учения, о которых писал в «Заметках» о Толстом Горький и которые отмечал в своих воспоминаниях Короленко.

И все-таки до конца своих дней Толстой оставался приверженцем патриархально-крестьянской идеологии, которая держала его в плену религиозно-нравственных иллюзий. Отсюда его спор с Чеховым и еще более — с Горьким.

В отношении к народу, к крестьянству Чехова с Толстым объединяла общедемократическая основа их мировоззрения. Как и Толстой, Чехов писал о том, что обеспеченному интеллигенту должно быть стыдно голодных мужиков («Ариадна»); как и Толстой, говорил о «великой цепи», которой опутан народ («Дом с мезонином»); как и Толстой, был убежден в нравственной силе простого народа. «Каким бы неуклюжим зверем ни казался мужик, идя за своею сохой, и как бы он ни дурманил себя водкой, все же, приглядываясь к нему поближе, чувствуешь, что в нем есть то нужное и очень важное, чего нет, например, в Маше и в докторе, а именно, он верит, что главное на земле — правда и что спасение его и всего народа в одной лишь правде, и потому больше всего на свете он любит справедливость», — писал Чехов в повести «Моя жизнь», которая так понравилась Толстому (хотя в ней и рассказывалось о жизненном крахе человека, поверившего в спасительность толстовской идеи опрощения). В неподдельное восхищение приводил Толстого чеховский рассказ «Злоумышленник». В 1906 г. Толстой говорил Д. П. Маковицкому: «„Злоумышленник“ — превосходный рассказ. Я его раз сто читал» [8]. Понравилась Толстому и повесть «В овраге». «Как хорош рассказ Чехова в „Жизни“. Я был очень рад ему», — писал Толстой М. Горькому (т. 72, с. 303).

Но Чехову осталась чуждой толстовская вера в патриархальное крестьянство. Неудивительно, что повесть Чехова «Мужики», напечатанная в 1897 г. в «Русской мысли», вызвала со стороны Толстого решительное осуждение. Как отметил в своем дневнике В. Ф. Лазурский, Толстой был «поражен силой рассказа», но нашел «односторонним талант Чехова, именно потому, что он производит такое удручающее впечатление» [9]. По поводу «Мужиков», как позднее относительно «Дамы с собачкой»,

Толстой даже упрекнул Чехова в декадентстве: «Чехов пишет как декадент, как импрессионист в широком смысле слова»[10]. Толстому не понравилось, совершенно очевидно, то, что деревенская жизнь была изображена в «Мужиках» слишком мрачными красками. Автор «Власти тьмы» не боялся мрачных красок, но требовал непременно «просветленного» авторского отношения к предмету изображения, и сам всегда освещал этим «светом» своих персонажей, хотя в его произведениях позднего периода он оказывался порою иллюзорным светом евангельской истины, а не светом жизненной правды.

Отрицательное отношение к «Мужикам» еще более укрепилось после отзыва о повести Чехова близкого к Толстому по взглядам крестьянского писателя Ф. Ф. Тищенко. «Выходит, что все в деревне гадко, грубо, скверно, дико, противно, противно...»,— писал Тищенко [11]. Сопоставляя трезвый, но мрачный взгляд Чехова на крестьянский мир — с наивным, преисполненным любви и иллюзий отношением к деревне таких писателей, как С. Т. Семенов, Ф. Ф. Тищенко и др., Толстой отдавал предпочтение последним. В 1902 г. посетивший Толстого А. С. Бутурлин писал П. А. Строеву: «...повестью Чехова „Мужики“ он недоволен. Из ста двадцати миллионов русских мужиков,— сказал Лев Николаевич,— Чехов взял одни только темные черты. Если бы русские мужики были действительно таковы, то все мы давно перестали бы существовать»[12].

Еще более неприемлемым для Толстого было отношение к «мужику» Максима Горького, хотя самого Горького он и называл «настоящим человеком из народа».

С Горьким Толстого сближало многое, больше всего — доверие к стихийной народной массе, стихийному развитию, которое в общем бурлении и «сумятице» жизни способно было содействовать ее будущему переустройству [13]. И Толстой и Горький воплотили в своих произведениях и стихийную силу крестьянской массы, и ее протест [14]. Однако было и существенное различие. Для Горького кристаллизация сознательного из стихийного, прекрасного из грязного и безобразного — была одним из путей революционного развития. И главное: Горький никогда не противопоставлял сознательного стихийному, хотя и умел отделять их. Именно понимание роли передового, революционного сознания, привносимого в стихийное движение, сделало историзм Горького вполне последовательным, а его художественный метод способным показать жизнь в ее революционном развитии, открывающим новые принципы анализа человеческого характера.

Толстому горьковские мужики представлялись чересчур «умными». «Я больше вас мужик и лучше чувствую по-мужицки»,— говорил он не без гордости Горькому. В этом была большая доля правды: Толстой никогда не испытывал колебаний в оценке стихийной «мужицкой силы», сильнее Горького чувствовал крестьянскую психологию и сумел замечательно передать мужицкий взгляд на вещи. Но Горький смог трезво оценить противоречивую природу крестьянства, в то время как Толстой безоговорочно принимал эту противоречивость как свой символ веры.

Еще больше расхождений с Горьким было у Толстого в оценке городских рабочих, пролетариата.

Городскую бедноту, фабричных рабочих Толстой не считал самостоятельной, качественно отличной группировкой в общей массе угнетенного народа. Единственное отличие фабричного рабочего от крестьянина, по мнению Толстого, состоит в том, что фабричный более несчастен и жалок, чем крестьянин, так как насильственно отторгнут от единственно нужного и нравственного занятия — труда на земле, поставлен в особенно развращающие условия городской жизни, в которых он неизбежно нравственно опускается: начинает пить, курить, развратничать. Только в этом плане

ЖУРНАЛ «НИВА», ГДЕ ВПЕРВЫЕ БЫЛ НАПЕЧАТАН РОМАН «ВОСКРЕСЕНИЕ»

Первая страница «Нива» 1899, № 11

НИВА

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ЛИТЕРАТУРЫ ПОЛИТИКИ И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ.

XXX г. № 11 — г. XXX 1899

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА „НИВУ" 1899 г.

5 р. 50 к. — 6 р. 25 к. — 6 р. 50 к. — 6 р. 50 к. — 7 р.

Воскресение

Романъ

графа Л. Н. ТОЛСТОГО.

I

Какъ ни старались люди, собравшись въ одно небольшое мѣсто абсолютно сжечь тысячъ, мирудовать ту землю, на которой они жили, какъ ни забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, какъ ни счищали всякую пробивавшуюся траву, какъ ни дымили каменный уголь и нефть, какъ ни обрѣзывали деревья и ни выгоняли всѣхъ животныхъ и птицъ, весна была весною, даже и въ городѣ. Солнце грѣло, трава, оживая, росла и зеленѣла всюду, гдѣ только не соскребли ее, не только на газонахъ бульваровъ, но и между плитами камней, и береза, тополь, черемуха распускали свои клейкіе и пахучіе листья, липы надували почки, галки, воробьи и голуби по весеннему радостно устраивали уже гнѣзда, и мухи жужжали у стѣнъ, пригрѣтыхъ солнцемъ. Весны были и растенія, и птицы, и насѣкомыя, и дѣти. Но люди—большіе, взрослые люди не переставали обманывать и мучить себя и другъ друга. Люди считали, что священно и важно не это весеннее утро, не эта красота міра Божія, данная для блага всѣхъ существъ,—красота, располагающая къ миру, согласію и любви, а священно и важно то, что они сами выдумали, чтобы властвовать другъ надъ другомъ.

— Такъ въ конторѣ губернской тюрьмы считались съ другими и важными тѣ 30, что всѣхъ заключенныхъ о годовъ дали увидѣть и радость весны, а считались съ другими и важными то, что важныхъ получены были за конвертъ, съ печатью и заготовлено бумага о томъ, чтобы къ 9-ти часамъ утра были доставлены въ мужской день 28-го апрѣля, три содержащіеся въ тюрьмѣ подслѣдственные арестанта—три женщины и одинъ мужчина. Одна изъ этихъ женщинъ, какъ самая важная преступница, должна была быть доставлена отдѣльно. И вотъ, въ основномъ этого предписанія, 28-го апрѣля въ тюремной конторѣ женскаго отдѣленія, въ 8 часовъ утра, вошелъ старшій надзиратель. Вслѣдъ за нимъ вошелъ въ коридоръ женщина съ канцелярскимъ листомъ и выходившіе сидѣли женщины, одѣтая въ смѣсь съ ручными общественными „Халатами и подносившими одѣтыя съ своими платьями.

— Иванъ Маслова!—спросила она, подходя съ документомъ надзирательницы въ одной изъ дверей камеры, отворившихся въ коридоръ.

Надзиратель, грозно молчавъ, отворилъ дверь и, растворивъ дверь камеры, изъ которой хлынулъ спертый воздухъ, чѣмъ въ коридорѣ воздухъ, крикнулъ:

— Маслова, къ судѣ!—и опять притворилъ дверь, дожидаясь.

Даже на тюремномъ дворѣ былъ свѣжій, живительный воздухъ полей, приносимый изъ города. Но въ

О настоящемъ нумеръ мы приложили къ печатному роману гр. Л. Н. Толстого: „Воскресеніе" не относящуюся предварительнаго взноса у автора права первого печатанія этого романа. Поэтому, слѣдовательно, не разрѣшенія печатанія романа одновременно съ „Нивой", за исключеніемъ указанныхъ выше, которыя приобрѣли смѣлость съ нами это право у автора. Если же кто-либо попробуетъ въ одно время съ нами печатать романъ „Воскресеніе", то онъ будетъ преслѣдованъ, которую мы рѣшили преслѣдовать цѣлыхъ порядкомъ.

губительного воздействия капиталистического города на патриархального крестьянина раскрывает Толстой в «Воскресении» жизнь городской бедноты.

Эти, в сущности, народнические представления уже в 90-е годы выглядели совершенным анахронизмом. Толстой оставался им верен до конца своего жизненного и творческого пути. В этом — источник одного из его коренных расхождений с Горьким, хотя он и ценил высоко горьковскую любовь к отщепенцам города, босякам.

Вполне закономерно в своих произведениях второй половины 90-х — начала 900-х годов Толстой приходит к изображению революционеров («Воскресение», рассказ «Божеское и человеческое», 1903). Он открыто высказывает сочувствие революционерам, восхищается нравственной высотой, свойственной большинству из них, находит, что более чем достаточны побудительные мотивы их борьбы, признает справедливыми ее цели. Однако и накануне, и во время самой революции Толстой отрицает целесообразность «насильственного» революционного действия, с наибольшим сочувствием относится к «политическим», которые отказались от своего прежнего «революционерства»,—опять-таки решительно расходясь здесь с Горьким.

Так в романе «Воскресение», как и в других произведениях 90-х — 900-х годов, раскрывается сила и слабость позиции Толстого, которые определили своеобразие его воздействия на современную ему литературу.

своеобразие его оценок литературного процесса того времени. С одной стороны, утверждение всей силой своего художественного гения «самого трезвого реализма», беспощадное отрицание декадентства и натурализма. С другой — неприятие бунтарских произведений М. Горького и поддержка таких посредственных писателей, как С. Т. Семенов, Ф. Ф. Тищенко, И. Ф. Наживин и др., группировавшихся вокруг «Посредника», в творчестве которых утверждались религиозно-моралистические тенденции.

Историческая роль Толстого в литературе конца XIX — начала XX в. определяется не только тем, что он утверждал и в теории и в практике своего искусства принципы реализма, но и тем, что он, единственный из писателей-реалистов конца века, оказался способным создать большое эпическое полотно, представляющее собою синтетическую картину эпохи, предшествовавшей первой русской революции. Объяснение этого факта — все в той же ленинской оценке Толстого как «зеркала русской революции».

Роман «Воскресение» был последним романом Толстого и последним большим романом русского критического реализма XIX в. Явившись одним из высших достижений русского реалистического романа, «Воскресение» стало, таким образом, его своеобразным итогом.

Но в XX в., в условиях развертывания и свершения самой революции, представить необходимую для романа обобщающую, синтетическую картину действительности означало — показать жизнь в ее революционном развитии. Эту задачу было невозможно осуществить в рамках критического реализма. Так исторически закономерно возник роман нового типа, роман писателей социалистического реализма — Горького и его последователей.

Кризис романа, о котором много писалось на рубеже двух веков, был, по существу, переходной стадией к роману нового типа, периодом его вызревания в малых художественных формах передового искусства.

Интересно, что в 1906 г., т. е. именно в то время, когда Горький создавал «Мать», Толстой писал И. Ф. Наживину о большом романе: «Я давно уже думал, что эта форма отжила,— не вообще отжила, а отжила как нечто важное. Если мне есть что сказать, то не стану я описывать гостиную, закат солнца и т. п. Как забава, не вредная для себя и для других — да. Я люблю эту забаву. Но прежде на это смотрел как на что-то важное. Это кончилось» (т. 76, с. 203). Истинны здесь лишь сознание своей уже сыгранной роли в создании большой повествовательной формы и убежденность, что новая эпоха должна создать новые формы искусства.

В творчестве Толстого 90-х — 900-х годов, в том числе и в романе «Воскресение», сквозь ужас разоблачаемой действительности просвечивает твердая уверенность в неизбежном разрушении несправедливого социального строя. И здесь Толстой оказывается солидарным с Чеховым, в произведениях которого по мере приближения революции все явственнее звучал протест против насилия, росла мечта о «прекрасной жизни, какая со временем будет на земле»[15], и предчувствие этой жизни; с Короленко, которого не оставляла надежда на неизбежность близких, больших и важных перемен. И Чехов и Короленко не были согласны с Толстым в определении путей к обновлению жизни и потому спорили с ним, критикуя теорию нравственного самоусовершенствования и непротивления злу насилием, хотя и неясно представляли себе действительные способы социального переустройства мира.

Но самое предчувствие близящейся революции, которое так явственно сказалось в мировоззрении крупнейших писателей конца XIX — начала XX в.— Толстого, Чехова, Короленко, — не могло не отразиться на их творческом методе. Реализм в произведениях этих писателей приобретает существенно новые черты. Художественное искусство Толстого пре-

ображается в воинствующее «срыванье всех и всяческих масок» и, с другой стороны, сочетается с попытками изобразить «то, что должно быть»; Короленко стремится к «синтезу романтизма и реализма»; в лирическом подтексте произведений Чехова вырисовывается всегда образ автора, уверенного в скором наступлении «прекрасной жизни» на земле.

Из писателей конца XIX — начала XX в. Толстой выше всех ставил Чехова, хотя отлично видел меру идейных и стилевых отличий своего творчества от чеховского реализма. Он много читал, перечитывал Чехова, часто хвалил его и вместе с тем критиковал за «отсутствие содержания», за «импрессионизм».

В некоторых произведениях Чехова Толстому не нравилось то, что он подверг такой резкой критике в статье о Мопассане: отсутствие четко выраженной нравственной оценки лиц и событий, неясность авторского отношения к предмету изображения. Толстой не всегда бывал при этом справедлив (пример этой несправедливости — его отрицательное суждение о «Даме с собачкой»), иной раз старался приписать Чехову свои мысли и оценки (как это было с «Душечкой», которую он поместил в «Круг чтения» со своим послесловием); но всегда исходил из тех требований (отражавших противоречивую сущность его эстетических взглядов), которые он предъявлял в этот период к искусству: беспощадность суда над существующей действительностью, утверждение христианских идеалов добра и справедливости. Толстой был, конечно, сильнее Чехова в обличении социального и нравственного зла; Чехов оказался прав, когда не поверил религиозно-нравственным утопиям Толстого.

Тонкий художник, Толстой отлично видел сильные стороны чеховской манеры письма. «Впечатление удивительное» выносил он от чтения и тех произведений Чехова, где, казалось, художник «без всякого усилия» набрасывал «какие-то яркие краски, которые попадаются ему», не заботясь как будто о соотношении этих «пятен»[16]; при ближайшем рассмотрении оказывалось, что всякая художественная подробность была и прекрасна, и нужна,— прекрасна по форме и нужна для общего смысла произведения. Особенно высоко оценил Толстой чеховский лаконизм и юмор. Как вспоминает И. Н. Альтшуллер, Толстой сказал однажды: «Я живу и наслаждаюсь Чеховым; как он умеет все заметить и запомнить, удивительно; а некоторые вещи глубоки и содержательны; замечательно, что он никому не подражает и идет своей дорогой; а какой лаконический язык»[17]. Но увлечение музыкой настроений, частично заменявшей у Чехова прямую передачу мыслей и чувств, Толстой воспринимал как пренебрежение исконными требованиями искусства слова. Особенно недопустимым было это пренебрежение, с точки зрения Толстого, в драматургии, и потому он постоянно критиковал пьесы Чехова.

В искусстве идеологический спор всегда оборачивается спором и художественных методов. Именно такой спор происходил между Толстым и Горьким. Неизменно положительно отзываясь о реалистических произведениях Горького, таких как «Ярмарка в Голтве», «Емельян Пиляй», «Двадцать шесть и одна» и др., Толстой решительно осуждал его революционную романтику, усматривая в ней «неестественные героические чувства и фальшь». Горький следовал как будто тому же эстетическому принципу, который провозглашал и сам Толстой: не ограничиваться изображением того, что есть, утверждать то, что должно быть. Но Толстой в определении «должного» исходил из своего религиозно-нравственного учения. Горький основывался на предчувствии неизбежной революционной бури и затем на познании исторически непреложных законов революционного развития жизни. Сходное эстетическое требование в творчестве Толстого оборачивалось моралистической тенденцией, ослаблявшей реалистическую силу его искусства; в творчестве Горького — революционной

романтикой его ранних произведений, которая потом все более обретала плоть и кровь нового художественного метода — социалистического реализма.

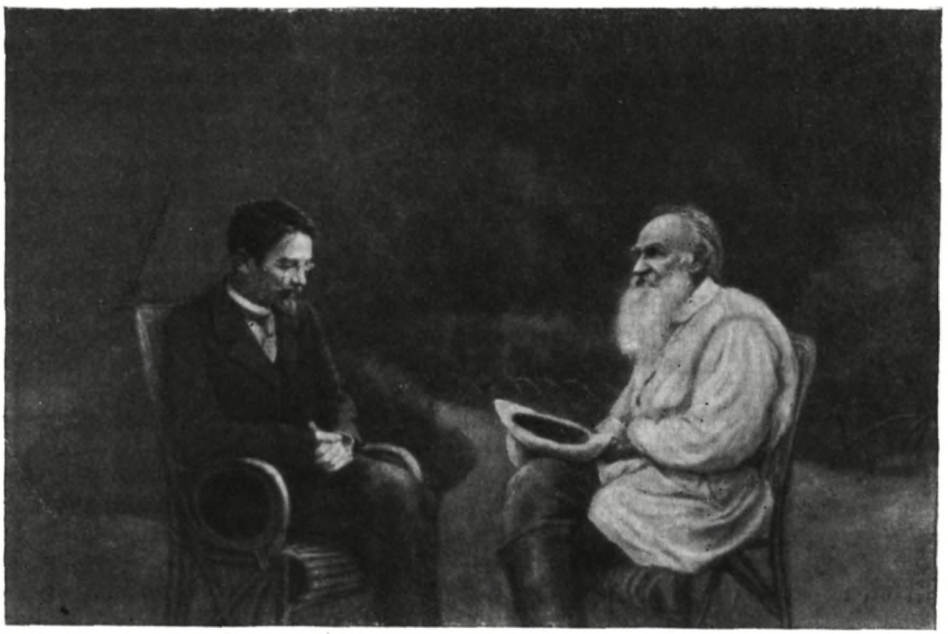
3

В 90-е годы одновременно с Горьким выступила в русской литературе плеяда молодых прозаиков-реалистов: Вересаев, Серафимович, Скиталец, Куприн, Бунин, Л. Андреев и др.

Они начинали одинаково — с реалистических очерков и рассказов. В обстановке необычайно острой идейной и литературной борьбы, наступившей в период революции 1905—1907 гг. и последовавшей за нею реакции, их пути разошлись. Революция выдвинула со всей остротой вопрос о выборе пути, выборе идеологии и художественного метода. И все же в творчестве каждого из этих писателей (если не считать Л. Андреева) реалистические элементы продолжали оставаться доминирующими. В литературных влияниях, которые испытали эти наиболее талантливые представители русской прозы XX в., большая роль принадлежала Толстому.

Толстой и Горький, Чехов и Короленко были властителями дум поколения. Роль Горького, особенно значительная со времени организации им в 1900 г. издательства «Знание», исследовалась во многих работах; нередко эта роль даже преувеличивается[18]. Интересные мысли о значении для литературы конца XIX — начала XX в. творчества Чехова и Короленко содержатся в работах Г. А. Бялого. Толстой обычно оставляется в тени, вопреки многочисленным признаниям самих писателей этого времени и вопреки тому очевидному факту, что опора на Толстого, его пример и авторитет, его правду и разум, противодействовала тлетворному влиянию натурализма и декадентства, которые в этот период представляли явную угрозу для реалистического метода. И сам Толстой отнюдь не оставался безучастным к литературным движениям своей эпохи: отход, хотя бы временный и частичный, некоторых из писателей от принципов реалистического искусства он переживал как тяжелую беду, пытался всегда предотвратить ее и неустанно критиковал «модные» увлечения натурализмом и декадентством.

Из молодых писателей, входивших в круг «знаниевцев», тяготели больше к Горькому, чем к Толстому, Вересаев, Скиталец, Серафимович, Чириков. Толстовские оценки их произведений немногочисленны, хотя и весьма показательны. Он одобряет в их творчестве то, что было близко ему, и решительно отвергает все «чуждое»; солидаризуется с протестом против социальной несправедливости, сочувствием к людям труда, но не приемлет открыто выражаемой политической тенденции. Характерен его отзыв о Вересаеве: «Хорошо пишет, немного однообразно и с политической тенденцией, не отдается художественному чувству»[19]. Эту чуждую ему политическую тенденцию Толстой, должно быть, увидел в повести «На повороте», которую читал в 1902 г. Тогда же Толстым был прочитан рассказ «Конец Андрея Ивановича», к которому он отнесся вполне положительно, найдя в рассказе близкое, свое: сочувственное изображение бедствий городского люда и страданий человека, который умирает, так и не удовлетворив своего стремления «подняться над этой жизнью». Издательница-марксистка М. И. Водовозова писала 22 декабря 1901 г. Вересаеву: «Мне очень приятно сообщить вам его отзыв о ваших рассказах. Лев Николаевич недавно прочел их, а также книжку Леонида Андреева (с которым все теперь так носятся). Ваши рассказы ему очень понравились. Лев Николаевич говорит, что некоторые из них напоминают ему Тургенева, что „в них столько чувства меры и красоты природы и видна искренность и глубоко чувствующая душа“»[20].



ТОЛСТОЙ И ЧЕХОВ

Рисунок И. К. Крайтора, 1902—1904 гг.

Местонахождение оригинала неизвестно. Воспроизводится с фотографии

Нравились Толстому и вересаевские «Записки врача» и произведения о русско-японской войне. В яснополянской библиотеке сохранился экземпляр книги «На войне», изд. 1908 г., с пометами Толстого [21]. Из других источников известно, что с военными очерками Вересаева Толстой познакомился еще в 1906 г. [22] Наибольшее впечатление произвел на него тогда «ужасный рассказ» «Ломайло» — «живостью описания» [23].

Среди произведений Скитальца Толстого особенно заинтересовал рассказ «Сквозь строй». Ему полюбились некоторые художественные детали (как мужики, заходя с мороза в трактир, «хлопают рукавицами»), хотя в целом рассказ показался растянутым и художественно невыдержанным. О революционных же стихотворениях Скитальца, помещенных в 1905 г. в VI сб. товарищества «Знание», Толстой сказал: «Ужасное что-то» [24].

Из произведений Серафимовича внимание автора «Власти тьмы» и «Фальшивого купона» остановила повесть «Пески». Он прочитал ее в 1908 г., как только она была опубликована.

Драматическая история, рассказанная в «Песках», сюжетно близка «Власти тьмы». Как и Толстой, Серафимович рассказывает о страшной силе денег, собственности, которая попирает все законы человеческой нравственности и влечет за собою одно преступление за другим. При этом Серафимович не тешит себя религиозно-нравственными иллюзиями в духе толстовского учения, не верит в возможность победить капиталистическую тьму светом нравственной истины. В «Песках» финал совершенно иной, чем во «Власти тьмы» и «Фальшивом купоне». Непримиренные, нераскаявшиеся, озлобленные, умирают владельцы мельницы, а самую мельницу засыпают пески. Так, разрабатывая толстовскую тему, Серафимович, как и Горький, вступал в спор с Толстым, как спорили с ним позднее и крестьянский писатель Подьячев, и Чириков, открыто выступавшие против теории непротивления злу насилием [25].

Повесть Серафимовича «Пески» произвела большое впечатление на Толстого не только своим содержанием, но и прекрасной формой — «художественностью положений». По мнению Толстого, это «настоящее художественное произведение», хотя описания природы и показались ему «искусственны». В другой раз Толстой говорил о повести Серафимовича:

«Это — такая прелесть! Ничего особенного, но настоящее художественное произведение. Это мне Чехова напоминает. Такой он мне чуждый был по взглядам и такой бессодержательный, но настоящий художник»[26].

«Самым симпатичным» ему писателем из «молодых» был, по признанию Толстого, Куприн[27]. В 1907 г., прочитав вслух рассказы Куприна «Ночная смена» и «Allez!», Толстой сказал: «Как это верно! Ничего лишнего ⟨...⟩ Из молодых писателей нет ни одного близко подходящего Куприну»[28].

Внимательно следя за творческим развитием Куприна, Толстой хотел видеть в его произведениях осуществление принципов высокого реализма — правду жизни, освещенную светом гуманного, демократического, нравственного отношения к ней автора. Именно эти черты привлекли Толстого к лучшим вещам Куприна; отсутствие их в таких произведениях, как повесть «Яма», вызвало «отвращение» к Куприну.

Первый рассказ Куприна, прочитанный Толстым,— «В цирке» — расположил его к молодому писателю. 22 января 1902 г. Чехов извещал Куприна: «Вашу повесть „В цирке“ читал Л. Н. Толстой, и она ему *очень* понравилась. Будьте добры, пошлите ему вашу книжку по адресу: Кореиз, Таврич. губ., и в заглавии подчеркните рассказы, которые вы находите лучшими, чтобы он, читая, начал с них. Или книжку пришлите мне, а уж я передам ему»[29]. В 1903 г., когда вышла книга, Куприн немедленно последовал совету Чехова и отправил ее Толстому. В сопроводительном письме от 11 февраля 1903 г. он писал:

«Глубокоуважаемый Лев Николаевич,

В прошлом году, весной, когда вы уезжали из Крыма, С. Я. Елпатьевский представил вам меня на пароходе, а в последнее время, недавно, г. Хирьяков, возвратившись из Ясной Поляны, очень обрадовал меня, сказав, что вы и до сих пор обо мне не забыли. Это дает мне смелость послать вам книгу моих рассказов, только что вышедшую из печати. Я был бы бесконечно счастлив, если бы хоть что-нибудь в ней оказалось достойным вашего внимания.

Примите, глубокоуважаемый Лев Николаевич, мои уверения в совершенной преданности.

А. К у п р и н»[30].

Куприн не отметил рассказов, которые он считает лучшими. Толстой сразу нашел лучший — «Ночная смена». Небольшой рассказ, в котором его, очевидно, привлекли и сочувственное внимание художника к душевному миру простого человека; и глубокое знание солдатской среды, особенно проявившееся в мастерских диалогах, так близко напоминающих солдатские разговоры в военных рассказах Толстого, «Войне и мире» и в «Хаджи-Мурате» (над которым Толстой в тот период работал); и трогательная любовь солдата Меркулова к оставленной им деревенской жизни; и вся эта удивительная способность Куприна неприглядную картину жизни осветить чистым светом гуманного отношения к человеку. В других произведениях Куприна Толстому, несомненно, оказалось родственным отрицательное отношение к городу, индустрии, изображение их как

злого начала, уродующего жизнь людей, выходящих прекрасными из рук природы. «Жалею, что тебе не понравился Куприн,— писал Толстой брату Сергею Николаевичу.— В нем много лишнего, но очень ярко и хороши тон и язык» (т. 74, с. 102).

Рассказы «В цирке», «Ночная смена» и «Allez!» Толстой вспоминал впоследствии множество раз и всегда с восхищением. Когда в сентябре 1903 г. разговор зашел о Куприне, Толстой попросил найти журнал «Мир божий» с рассказом «В цирке», начал читать и отозвался восторженно: «Как пишет!». Тогда же он попросил П. А. Сергеенко передать Куприну благодарность за книгу. «Скажите только, пожалуйста, ему от меня, чтобы он никого не слушался, ни к какой партии не примыкал, а писал по-своему». Забота о таланте Куприна не оставляла Толстого и позднее. В 1906 г., похвалив рассказы «Allez!» и «Поздний гость» («Как все у него сжато. И прекрасно»), Толстой снова попросил П. А. Сергеенко «кланяться» Куприну и передать, чтобы он «ради бога не слушался критиков» [31].

Следы влияния критиков-декадентов, которых опасался Толстой, он увидел скоро в одном из лучших произведений Куприна — «Поединке». Толстой нашел повесть «превосходной» — она «дает живое представление о военной жизни». Но монологи Назанского вызвали в нем отвращение и, дочитав повесть, он охарактеризовал ее как «гадкую книгу, с талантом написанную» [32]. Посылая дочери Марии Львовне «Поединок», Толстой сетовал по поводу Куприна: «Какой бы был хороший писатель, если бы жил не во время повального легкомыслия, невежества и сумасшествия» (т. 76, с. 43). Вспоминая, очевидно, «Поединок», Толстой говорил в 1907 г.: «У Куприна никакой идеи нет, он просто офицер» [33].

Так в творчестве даже наиболее «симпатичного» ему из молодых писателей-реалистов Толстой констатировал снижение идейности, ставшее характерным признаком литературы того кризисного времени, когда идейная неустойчивость автора либо влекла его в сторону натуралистического измельчания, отказа от литературы идей в пользу литературы фактов, либо приводила к антигуманистическим извращениям декадентства. Что касается Куприна и его «Поединка», Толстой с присущей ему зоркостью верно разглядел, что анархо-индивидуалистическим утопиям Назанского сочувствует автор, не владеющий никакой другой идеей для борьбы с социальной неустроенностью мира, в котором так тяжело живется честному человеку.

Период, когда создавался «Поединок», был временем наибольшей близости Куприна с Горьким («Поединок» вышел в свет с посвящением Горькому). Куприн провозглашал в это время свою полнейшую приверженность принципам реалистического искусства. «Я лично люблю правду,— заявлял Куприн,— голую, бьющую по головам, как говорится, и по сусалам. Потом нахожу, что писатель должен изучать жизнь, не отворачиваться ни от чего... Скверно ли пахнет, грязно ли — иди, наблюдай... Писатель ничем и никем не должен пренебрегать» [34]. Однако в этой декларации (внешне напоминающей принцип, провозглашенный Толстым в севастопольских рассказах, о правде — герое его произведений) уже наличествует та неразборчивость к выбору предмета изображения, которая в ранних произведениях Куприна обусловила натурализм некоторых описаний, а впоследствии, в период реакции, привела к созданию натуралистической, «ненужно грязной», по выражению Толстого, повести «Яма».

В процессе чтения повести «Яма» суждения Толстого о ней становились все более и более резкими. Сначала он говорил Д. П. Маковицкому: «Отвратительно! Отношение автора не то, какое должно быть. Но любуюсь его художественным талантом: придумывает каждому лицу харак-

терные черты»; «Грубость циническая ослабляет впечатление художественное, а не усиливает» [35]. В августе того же года Толстой сказал о «Яме»: «Это мерзость!.. просто ужасна!» [36]. И, наконец, в 1910 г., принявшись читать «Яму», Толстой не мог дочитать: «Так гадко! Главное, лишнее» [37].

Собеседники Толстого сохранили в своих дневниках и записках множество отзывов Толстого и о других произведениях Куприна. Они были различны и, может быть, не всегда справедливы. Кроме того, в них нередко отражалось настроение данного момента, и потому нельзя на каждое из этих суждений смотреть как на окончательное и неизменное. Во время чтения вслух рассказа «Гамбринус», например, Толстой «на третьей странице остановил чтение: рассказ оказался скучным» [38]. Рассказ «Изумруд» также не заинтересовал Толстого, хотя и был посвящен Куприным «памяти несравненного пегого рысака Холстомера». Не понравились Толстому рассказы: «Конокрады» (видимо, чересчур мрачным изображением крестьян, расправляющихся с конокрадами), «Демир-Кая», «Как я был актером» («Нехороший рассказ. Андросова совсем не в его тоне» [39]). Одновременно Толстой отзывается как об «очень талантливых» о рассказах «Корь», «Мелюзга», «Жидовка», «Незванный гость» и др. В июне 1910 г. он говорил: «Я теперь не работаю, беру иногда его ⟨Куприна⟩ книгу и что его ни раскрою, все хорошо» [40].

По складу писательской индивидуальности, наиболее характерным чертам своего стиля Куприн тяготел больше к Чехову, чем к Толстому. С Чеховым, к тому же, его связывали дружеские отношения. Чехову посылал часто Куприн на просмотр рукописи своих рассказов. С Чеховым объединяло Куприна и безграничное восхищение Толстым. Выступая в 1908 г. с воспоминаниями о том, как он видел Толстого в Ялте на пароходе «Св. Николай», Куприн сказал: «...я понял в эти несколько минут, что одна из самых радостных и светлых мыслей — это жить в то время, когда живет этот удивительный человек. Что высоко и ценно чувствовать и себя также человеком. Что можно гордиться тем, что мы мыслим и чувствуем с ним на одном и том же прекрасном русском языке» [41].

Как и Куприн, перед Толстым благоговел Бунин.

Известно, что Толстой не написал Бунину ни одного письма на литературные темы, не сообщил ни одного отзыва о его произведениях. Да и устных отзывов необычайно мало — всего о двух стихотворениях. По воспоминаниям Горького, Толстой восхищался стихами:

Грибы сошли, но крепко пахнет
В оврагах сыростью грибной—

из стихотворения Бунина «Не видно птиц. Покорно чахнет...» (1889). Как отметил в своих записях Д. П. Маковицкий, Толстой остался недоволен стихотворением Бунина «Разлука» (напечатано в 1909 г. в газете «Утро России»), которое, по словам Толстого, «невозможно понять» [42]. У Толстого Бунин был лишь в 1894 г., когда «от влюбленности в Толстого как художника» стал толстовцем, и, как известно из воспоминаний Бунина, при этой короткой встрече не беседовал о литературе.

Но в творческом развитии всякого большого художника личные отношения со своими предшественниками могут и не играть существенной роли. Среди писателей конца XIX—начала XX в. именно для Бунина творчество Толстого имело наибольшее значение. Влюбленность в Толстого-художника влекла Бунина к реализму, к познанию объективной действительности, к отражению реальных форм жизни и заставляла сопротивляться иррационализму декадентов и символистов. При этом творческое воздействие Толстого сыграло бóльшую роль, чем даже дружеские наставления Горького и меры, принятые им для того, чтобы удержать Бунина в «Знании».

По словам самого Бунина, как только он, бывало, «услышит имя Толстого, так у него загорается душа, ему хочется писать и является вера в литературу». В другой раз Бунин говорил: «Толстому надо подражать, подражать, подражать самым бессовестным, самым беззастенчивым образом. Если меня будут упрекать в подражании Толстому, я буду только рад. Все его якобы недостатки, о которых говорят критики,— его величайшие достоинства. „Паршивый старичишка" все прекрасно знал и понимал... Все эти якобы примитивизмы, все эти корявые фразы — все это совершенно исключительные приемы литературного мастерства, никогда раньше до него не бывавшего. Я вчера на ночь прочел его рассказ „О⟨тец⟩ Василий". Ничего там не сказано, это набросок, ничего не написано, так что-то чуть тронуто, два-три слова, не больше, про пейзаж, два слова про мужика, два про попа, а вместе с тем это совершенно исключительное произведение искусства! За этот рассказ можно отдать всю современную литературу с Горьким, Андреевым, Арцыбашевым и др. От этого литература даже только выиграла бы. Не было бы этой пошлости, брехни, безвкусицы». Вскоре после смерти Толстого Бунин говорил: «Значение Толстого для русской литературы еще далеко не выяснено... Он заслуживает безмерно высокой оценки» [43].

Огромное впечатление произвели на Бунина напечатанные уже после смерти Толстого три тома его художественных произведений последних лет. Там были помещены такие шедевры реалистического искусства Толстого, как повести «Отец Сергий», «Хаджи-Мурат», рассказ «После бала», драма «Живой труп» и др. Значение этих, вышедших в 1911—1912 гг. книг Толстого для развития литературы XX в. у нас далеко не оценено. В ту пору, когда символистская проза преобладала в литературе, вышедшие

ТОЛСТОЙ И КУПРИН

Акварель П. Н. Троянского
Собрание И. С. Зильберштейна, Москва

Карикатура была напечатана в журнале «Серый волк» (1908, № 12), с подписью: «Поручик артиллерии гр. Л. Н. Толстой: „Нынешние писатели все что-то крутят. Один только офицер Куприн возьмет кусочек жизни и напишет"»

после смерти Толстого три тома его повестей и драм последних лет на блестящих образцах утверждали силу и неисчерпаемые возможности реалистического искусства. Характерен отзыв Блока о напечатанном впервые в этом издании маленьком рассказе «Алеша Горшок»: «Гениальнейшее, что читал,— Толстой, „Алеша Горшок“» [44]. О том, как переживал Бунин появление «Посмертных художественных произведений Л. Н. Толстого», рассказывает он сам в письмах к брату Юлию Алексеевичу. От многого Бунин был «в диком восторге». Кроме того, в воспоминаниях племянника Бунина Н. А. Пушешникова содержится интересный рассказ о том, как встретил Бунин выход в свет III тома с «Хаджи-Муратом»: «Став в раскрытых дверях, соединявших мою комнату с комнатой Веры Николаевны, он начал было читать вступление к „Хаджи-Мурату“: „Я возвращался домой полями“, но от волнения остановился, закурил папироску и опять на словах: „Сладко и вяло заснувшего там шмеля“ остановился и сказал: „Как можно так писать! Это литератор! Да и вообще: после Толстого всем надо бросить писать!“».

Толстой всегда оставался для Бунина непревзойденным «литератором», мастером слова. Однако идеология и художественный метод Бунина кардинально расходятся с творческими установками Толстого. Особенно наглядно видно это различие в произведениях на сходную тему — о русской деревне.

Как и Толстой, Бунин хорошо знал помещичий и крестьянский быт пореформенной деревни. Но в отличие от Толстого Бунин предавался грусти по поводу гибели старых «дворянских гнезд» и был склонен к их идеализации («Антоновские яблоки»).

Толстого в поздний период его творчества помещичий быт интересовал лишь в той мере, в какой ему было необходимо обличить паразитизм, никчемность существования поместного дворянства как класса. Вырождение, оскудение правящего класса он воспринимал как справедливое и необходимое возмездие и в последних своих произведениях никогда не объединял неурядицы помещичьей жизни с тяготами бедственного положения эксплуатируемых крестьян. Барин и мужик представляли для него два полюса социального бытия. Бунин сближал эти два полюса, нарочито сглаживая, снимая социальные противоречия и выдвигая на первый план тему общей неустроенности, дикости деревенского быта, помещичьего и крестьянского. Характерно, что и в ранних своих произведениях, сочувственно изображая крестьян, которых голод гонит с насиженных мест «на край света», Бунин приглушает социальные мотивы и всячески варьирует мысль о бренности и тщете человеческой жизни вообще. В позднейших произведениях крестьяне представлены существами грубыми, дикими, подчиняющимися велениям животных инстинктов и в моменты своей рабской покорности и во время своего разрушительного протеста. Крестьянская жизнь рисуется мрачно-серыми красками. Серым именует Бунин одного из персонажей «Деревни»; эпитет «серый» много раз повторяется в повести, становясь назойливым символом. Не приходится говорить о том, как далек этот взгляд от веры Толстого в нравственную силу и чистоту русского крестьянина. К толстовскому пониманию крестьянской психологии Бунин приближается, пожалуй, лишь в рассказе «Худая трава» — произведении, в котором, по словам самого Бунина, сказалось непосредственное влияние Толстого. Действительно, в рассказе о простой, тихой смерти Аверкия, смерти, страшной равнодушным отношением к ней окружающих, слышатся отзвуки толстовских «Трех смертей», «Власти тьмы», «Смерти Ивана Ильича».

Идеология и художественный метод натурализма наложили на творчество Бунина определенную печать. Но в языке бунинской прозы, вполне самобытной, несомненно чувствуются традиции русской классической

прозы. Искусству простого и ясного художественного слова Бунин учился больше всего у Толстого. Пример Толстого предостерег его от увлечения декадентством.

Такой тонкий стилист, как Бунин, находил «хороший, колоритный язык народа средней полосы России» только у Глеба Успенского и Толстого.

Ни к одному из молодых писателей Толстой не относился с таким напряженным вниманием, как к Л. Н. Андрееву. Сборники рассказов Андреева он прочитывал от первой до последней страницы, испещряя их многочисленными пометами, подчеркиваниями, оценками. По этим пометам с замечательной наглядностью вырисовывается граница между тем, что привлекало Толстого в произведениях Андреева, и тем, что было совершенно неприемлемым.

«Андреев — большой талант, но в его рассказах надо отчеркнуть, где начинается фальшивая чепуха», — сказал Толстой Маковицкому в 1909 г., перечитывая рассказы Андреева (т. 57, с. 372). Начало этой «фальшивой чепухи» Толстой нашел уже в раннем сборнике Андреева (1901). Поставив в конце рассказа «Ложь» оценку «0», он написал: «Начало ложного рода»[45]. Эта помета не означает, конечно, что Толстому нравилось все, что было создано до рассказа «Ложь», или что он не принимал всего, что написано после этого рассказа. Но здесь — ключ, отгадка, здесь проясняется критерий.

Рассказ «Ложь» — об убийстве возлюбленной, которая, может быть, изменяла, а главное, не хотела сказать правды — в некоторых сюжетных положениях отдаленно напоминает «Крейцерову сонату» Толстого. Большая человеческая драма заключена в нескольких страницах рассказа. Этого не мог не заметить Толстой. Но вместе с тем он никак не мог принять художественный метод раскрытия этой драмы: патетическая декламация вместо психологического обоснования, искусственная преувеличенность чувств, переходящих границы жизненной убедительности и тем самым становящихся ложью. Во всех этих чертах Толстой справедливо увидел признаки отступления от реализма, следы дурного влияния на Андреева модной в то время эстетики декадентства. В первых произведениях Андреева это влияние было незначительным, в последующих — очень сильным. И потому Толстой всегда выносил из чтения рассказов Андреева «очень определенное» впечатление: «Ранние рассказы хороши, позднейшие ниже всякой критики» (т. 57, с. 150).

Сборник своих ранних рассказов, выпущенный в 1901 г. издательством «Знание», Андреев, как и Куприн, прислал Толстому с надписью: «Глубокоуважаемому Льву Николаевичу Толстому» с сопроводительным письмом от 15 декабря< 1901 г>:

«Многоуважаемый Лев Николаевич!

Посылаю вам свои „Рассказы“ как дань безграничного к вам уважения. Когда я их писал, я был искренен, и это дало мне смелость искать вашего внимания.

Глубоко уважающий вас
Леонид А н д р е е в»[46].

В сборник входило десять рассказов: «Большой шлем», «Ангелочек», «Молчание», «Валя», «Рассказ о Сергее Петровиче», «На реке», «Ложь», «У окна», «Жили-были», «В темную даль». Почти все эти рассказы, как писал Толстой в ответном письме Андрееву от 30 декабря 1901 г., он прочел прежде присылки сборника и многие ему «очень понравились». «Больше всех мне понравился рассказ „Жили-были“,— продолжал далее Толстой,— но конец, плач обоих, мне кажется неестественным и ненужным.

Надеюсь когда-нибудь увидаться с вами и тогда, если вам это интересно, скажу более подробно о достоинствах ваших писаний и их недостатках. В письме это слишком трудно» (т. 73, с. 174). Тогда же Горький сообщал в одном из своих писем, что был у него Толстой и «очень нахваливал» Андреева [47].

Пометы, сделанные Толстым в первом сборнике рассказов Андреева, также говорят о том, что рассказы ему понравились.

«Большой шлем» оценен баллом «4». Высшим балом —«5»— помечены рассказы: «Жили-были», «Молчание», «Валя», «На реке», «В темную даль», конец «Рассказа о Сергее Петровиче». Из других источников (воспоминаний С. Т. Семенова, А. Б. Гольденвейзера) известно, что рассказы «Жили-были», «Валя», «На реке» Толстой находил «чуть не первоклассными». Впоследствии рассказ «Жили-были» перестал его удовлетворять: «нет содержания, а одни картины», «Рассказ о Сергее Петровиче» казался «слабым», но мнение о рассказах «Валя», «На реке», «В темную даль», «Молчание» как «прекрасных», «превосходных» осталось неизменным.

В рассказе «Молчание» повествуется о страданиях людей, мучимых тайной, которую унесла в могилу, кончив жизнь самоубийством, их дочь. Внимание Толстого, судя по его пометам, особенно остановили присутствующие в рассказе тонкие и точные психологические детали. Отчеркнут и помечен оценкой «5» следующий абзац: «Когда о. Игнатий взглянул на жену ‹разбитую параличом.— *Л. О.*›, она была без чувств, и пришла в себя только через несколько часов. И когда пришла, глаза ее молчали, и нельзя было понять, помнит она, что говорил ей о. Игнатий, или нет» [48].

Психологически глубокая деталь остановила внимание Толстого и в «Рассказе о Сергее Петровиче». В последний вечер перед самоубийством произошел такой эпизод между Сергеем Петровичем и горничной (текст отчеркнут Толстым на полях, с оценкой «5»):

«— Когда вас будить? — спросила она, уходя.

Сергей Петрович остановил ее и заговорил, но не слыхал ни своих вопросов, ни ее ответов. Но, когда он опять оказался один, в мозгу его осталась эта фраза: „Когда вас завтра будить?“ — и звучала долго, настойчиво, пока Сергей Петрович не понял ее значения» [49].

Явно сочувственно отчеркнул Толстой в «Рассказе о Сергее Петровиче» строки, где говорится о том, как вспомнил Сергей Петрович смерть дяди («обращенные к нему неподвижные ступни ног в белых нитяных носках») и как сама смерть «представлялась ему не иначе, как в виде неподвижных ступней ног в белых нитяных носках» [50]. Толстой встретил здесь так хорошо знакомый ему и так хорошо разработанный им в своем творчестве художественный прием: посредством точной и меткой реалистической детали вскрыть сущность самого отвлеченного образа, а повторением детали усилить впечатляющее воздействие этого образа.

В рассказе «На реке» Толстой отчеркнул страницу (и на полях оценил ее высшим баллом — «5»), где изображается прелесть самоотверженного и потому радостного, сближающего с людьми, труда Алексея Степановича во время речного половодья. Но конец рассказа — пасхальный благовест, который с умилением слушают Алексей Степанович и Оля, Толстой просто зачеркнул как фальшивый и ненужный.

Психологически неверным показался Толстому конец рассказа «Жили-были» (плач умирающих Лаврентия Петровича и дьякона), весь рассказ «Ангелочек», первая половина «Рассказа о Сергее Петровиче» с ницшеанскими рассуждениями героя и рассказ «У окна». Но в целом первый сборник рассказов Андреева произвел на Толстого положительное впечатление.

Видимо, Толстого привлекло в рассказах Андреева и то, что молодой писатель избирал для изображения не шуточные, а серьезные жизненные

ситуации и конфликты, катастрофические эпизоды, какие так любил изображать сам Толстой в поздний период творчества.

Вместе с тем, даже и в ранних рассказах проявился болезненный интерес Андреева к патологическим извращениям человеческой психики, к извечным несовершенствам жизни, к исключительным до нереальности

ТОЛСТОЙ И ЛЕОНИД АНДРЕЕВ
Фотография В. Ф. Булгакова, 22 апреля 1910 г., Ясная Поляна
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

ситуациям. Глубоко переживавшееся Андреевым сознание «бездонной пропасти, которая отделяет человека от человека и делает его таким одиноким, несчастным и слабым», безысходный ужас перед таинственными стихийными силами природы (недаром так любил он изображать картины неизбежной смерти, каждую минуту поджидающей человека, убийства, самоубийства, наводнения, пожара и т. п.) — усиливали пессимистические ноты в мировоззрении Андреева, искривляли полноценное ви́дение мира, делали его односторонним и неверным.

Героями Андреева в первый период творчества были преимущественно слабые, измученные жизнью люди, которые боятся жизни, «отсиживаются»

от нее, как Андрей Николаевич в рассказе «У окна»; впоследствии их сменяют насильники, не сознающие различия между хорошим и дурным, добром и злом. Вместе с утратой гуманистического содержания исчезает, вполне закономерно, реалистическая основа художественного метода Андреева.

Толстой тотчас уловил эту перемену, когда в 1902 г. прочитал рассказ «Бездна». По воспоминаниям А. Б. Гольденвейзера, Толстой «с отвращением» отозвался об этом произведении [51]. Начиная с этого времени, Толстой постоянно критикует ложность содержания и искусственность формы в произведениях Андреева. Когда в 1904 г. Андреев прислал на просмотр рукопись рассказа «Красный смех», Толстой ответил, что «в рассказе много сильных картин и подробностей, недостатки же его в большой искусственности и неопределенности» (т. 75, с. 181). Отрицательные отзывы о произведениях Андреева становятся все более частыми. Но Толстой не оставляет надежды воздействовать на Андреева и заставить его повернуть с избранного им ложного пути. В 1908 г., отвечая на письмо по совершенно частному поводу (Андреев просил разрешения посвятить Толстому «Рассказ о семи повешенных»), он обращается к Андрееву с большим письмом, в котором излагает задачи подлинного искусства. Толстой советует Андрееву не слишком увлекаться писательством, в особенности для денег, брать в руки перо только тогда, когда мысль, которую хочется выразить, неотвязчива; говорит, что не следует подражать большинству «современных писателей» в их желании «быть особенным, оригинальным, удивить, поразить читателя»; что «простота — необходимое условие прекрасного»; что в художественном писании особенно вредна поспешность; что не нужно гнаться за вкусами «большинства читающей публики» (т. 78, с. 218—219).

Все тем же стремлением — помочь Андрееву выбраться на правильный путь — было вызвано перечитывание в 1909 г., в ожидании приезда Андреева в Ясную Поляну, находившихся в яснополянской библиотеке сборников его рассказов. Очевидно, к этому времени относится часть помет в сборнике 1901 г. и еще большее число помет в сборнике 1906 г. «Мелкие рассказы».

Большая часть рассказов, помещенных в этом последнем сборнике, была оценена баллами: «0», «1», «2». Положительно Толстой отнесся лишь к пяти из двадцати трех рассказов. В конце рассказа «Защита» он поставил «5»; рассказа «Первый гонорар»— «5+»; «Христиане» — «5+»; «Город» и «Кусака» были оценены — «4».

Все три особенно понравившиеся Толстому рассказа являются как будто вариациями на темы «Воскресения». Не исключена возможность, что два из них («Первый гонорар» и «Христиане») создавались не без влияния романа Толстого («Защита» увидела свет в 1898 г., до напечатания «Воскресения»). В 1910 г., посетив Ясную Поляну, Андреев рассказывал, «как в начале своей писательской деятельности он „изучал стили“ разных писателей — Чехова, Гаршина, Толстого, разбирал их сочинения и старался подделываться „под Чехова“, „под Гаршина“, „под Толстого“. Тогда же он заметил, что подделаться под Толстого ему не удавалось [52]. Между тем все три рассказа и по тематике, и по стилю близки толстовским произведениям. Неслучайно Толстой так высоко оценил их, хотя рассказ «Защита», например,— художественно довольно средняя вещь. Он питал слабость к тому, что было близко ему по духу.

Героиня рассказа «Защита» — проститутка, как и Маслова в «Воскресении»,— осуждена, будучи невиновной, потому что у нее, как и у Масловой, плохой адвокат. Совпадают даже такие детали: испугавшись совершаемого убийства, Таня в рассказе Андреева побежала и «платок, как бежала, потеряла»— точно так же, как Катюша Маслова, бежавшая

в темную осеннюю ночь на станцию железной дороги, чтобы увидеть Нехлюдова. Особенно понравилась Толстому в рассказе «Защита» отчеркнутая им характеристика «логики» прокурорской речи — «логики, лживее которой нет ничего на свете, когда ею меряют человеческую душу».

Сатирическое изображение судебного разбирательства в «Первом гонораре» и «Христианах» также заставляет невольно вспомнить «Воскресение». Надписями Толстого «хорошо», «очень хорошо» буквально испещрен рассказ «Христиане». Героиня рассказа, проститутка, представ перед судом за участие в краже, отказывается принять присягу и назваться православной, потому что не считает себя христианкой. И вот судейские чиновники и священник, почитающие себя христианами, безуспешно стараются доказать ей обратное. Толстому понравилась и характеристика священника и его отношений с председателем суда («Священник беспомощно взглядывает на председателя; тот говорит: „Свидетельница, вы слушайте батюшку: он вам объяснит“»); и скрытая насмешка над речью священника («Смиренно, с кротостью, подобно богоизбраннику Иову, должны мы принимать все испытания, какие возлагает на нас господь, памятуя, что без воли его ни один волос не упадет с головы нашей»); и разоблачение тайных мыслей защитника, который, глядя на подсудимых, думает: «Хорошо они, должно быть, поют вместе дуэтом, у этой грудь, как кузнечные мехи. С тоскою поют. Где этот дом, что-то я не помню»; и авторские описания, вроде таких: «Электричество горит, и все так хорошо, а она упрямится», и многое другое. Известно, что в октябре 1909 г. Толстой читал рассказ «Христиане» вслух, что он делал только с очень полюбившимися ему вещами.

Однако эти реалистические, столь понравившиеся Толстому произведения Андреева были исключениями на общем фоне его творчества 900-х годов. Более того, они были для него совершенно не характерны. Вполне оригинальными были другие произведения Андреева, в которых он ставил большие социальные и философские проблемы действительности XX в., но в которых отказался от реализма. Таковы, прежде всего, его пьесы: «Жизнь человека», «Анатэма», «Царь Голод», к которым Толстой отнесся безоговорочно отрицательно. В апреле 1908 г. М. С. Сухотин рассказал Толстому содержание пьес «Царь Голод» и «Жизнь человека». Толстому «не понравилась ни та, ни другая. Про „Жизнь человека“ он сказал: „Этот наивный, напускной пессимизм, что не так идет жизнь, как мне хочется... Ни новой мысли, ни художественных образов“» [53]. Пьесу «Анатэма» Толстой начал читать в 1910 г., но, прочитав несколько страниц пролога, бросил, сказав: «Это сумасшедше, совершенно сумасшедше!.. Полная бессмыслица! Какой-то хранитель, какие-то врата... И удивительно, что публике эта непонятность нравится. Она именно этого требует и ищет в этом какого-то особенного значения» [54]. В драмах Андреева Толстой увидел тот общий всему декадентскому искусству порок, который он так резко критиковал в трактате «Что такое искусство?», касаясь западноевропейской драматургии. В своих пьесах Андреев, «не заботясь о содержании, о значительности, новизне, правдивости», рассчитывает «на исполнение и к удобству, эффектам исполнения подгоняет свои произведения» (т. 57, с. 152).

Известно, как отрицательно относился Толстой к пьесам Чехова. Но когда в 1910 г. в разговоре он услышал, что на сцене Московского Художественного театра они производят большее впечатление, чем «Анатэма» и другие пьесы Андреева, то сказал: «Если в противовес андреевским драмам, тогда это очень хорошо» [55]. Н. Н. Гусеву в это время Толстой говорил: «Я не могу читать Андреева. Прочту одну страницу, и мне скучно. Я вижу, что все фальшиво» [56].

Читая рассказы Андреева этого времени («Иван Иванович», «Тьма», «Рассказ о семи повешенных»), Толстой находит в них полное отсутствие чувства меры и удивляется «славе этого человека». «Куприн, Серафимович, Арцыбашев — гораздо талантливее его»[57]. Как отметил в 1909 г. в своих записках Д. П. Маковицкий, Толстой согласился вполне со статьей С. А. Андрианова «Куда идет Леонид Андреев», в которой упадок таланта Андреева прямо связывался с его отходом от реализма: «Зачем же возлюбил он философские схемы больше бесконечно разнообразной жизни и выдуманные эффекты больше потрясающих красок действительности?»[58].

Вполне естественно, что из произведений Андреева, прочитанных Толстым в последние годы жизни, его, автора рассказа «Божеское и человеческое» и статьи «Не могу молчать», более других заинтересовал «Рассказ о семи повешенных».

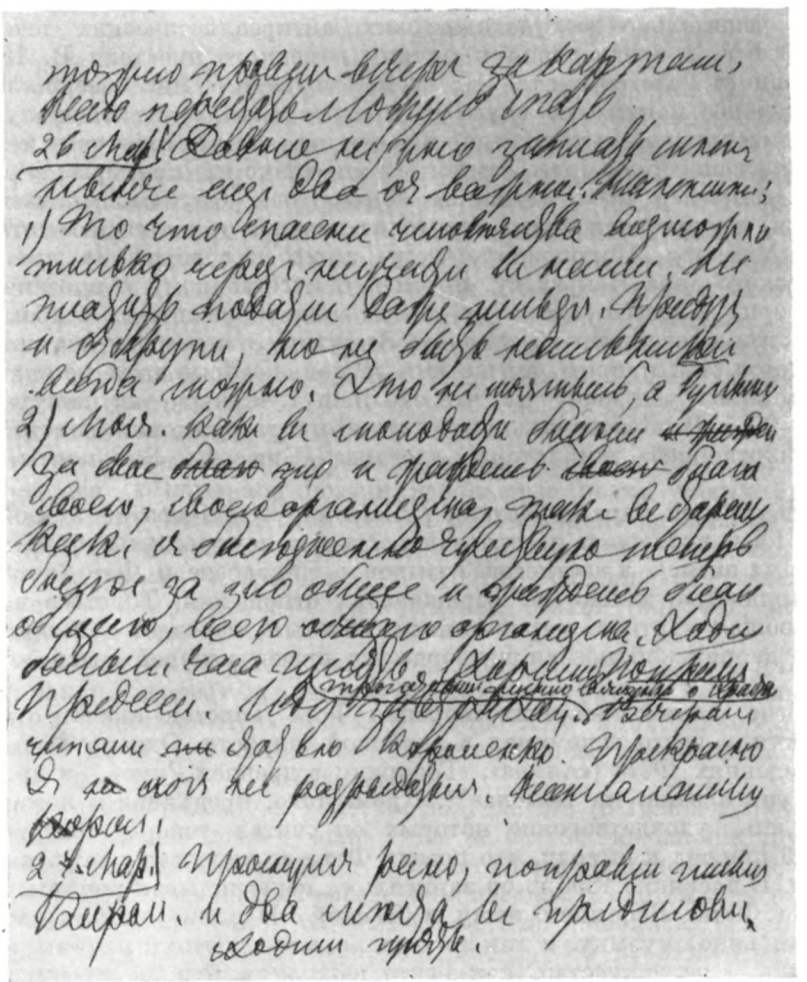
Неудивительно и то, что Андреев посвятил свой рассказ Толстому и даже отказался, подражая Толстому, от права собственности на этот рассказ[59].

«Рассказ о семи повешенных» увидел свет 6 мая 1908 г. в альманахе «Шиповник». 22 мая 1908 г. Толстой уже прочитал рассказ и очень отрицательно отозвался о нем: «Отвратительно! Фальшь на каждом шагу! Пишет о таком предмете, как смерть, повешение, и так фальшиво! Отвратительно! Я потрудился, с левой стороны отметил то, в чем есть признак таланта, а с правой, что отвратительно... Ему надо бы начать писать, как молодому, начинающему писателю, с самыми строгими к себе требованиями ⟨...⟩ и тогда из него могло бы выйти что-нибудь,— у него есть кое-что»[60]. Позднее, в 1909 г., Толстой перечитывал «Рассказ о семи повешенных» и снова осудил «небрежность языка» и «психологически неверные» описания[61]. Верными представлялись Толстому лишь некоторые подробности казни Цыганка.

Задумывая в 1905 г. свой рассказ, Андреев собирался написать в нем о «террористах-семидесятниках». Создавая рассказ в 1908 г., он хотел выразить протест против смертных казней, ставших в России после подавления революции массовым явлением. В написанном рассказе не оказалось исторически-конкретных черт ни той, ни другой эпохи, кроме, может быть, упоминания в первой главе о граммофонах. С большой силой раскрыта здесь психология разных по характерам людей во время ожидания казни и затем во время свершения самой казни. Но в искусстве человеческое переживание, взятое вне связи с жизнью, окружающей средой, эпохой, не только понижается в своем значении но и предстает совершенно искаженным. Закон психологического раскрытия характера путем «сопряжения» единичного и общего, личного и общественного, так глубоко разработанный Толстым, остался чужд Андрееву. Протест против казней не стал главным мотивом в «Рассказе о семи повешенных» и на первый план выдвинулся показ психологии человеческих страданий.

Отрицательный отзыв Толстого о рассказе Андреева, несправедливый, быть может, в своей резкости, приобретает особую выразительность в сопоставлении с восторженными оценками напечатанных тогда же очерков Короленко «Бытовое явление», читая которые Толстой, по его словам, «не мог удержать — не слезы, а рыдания». В дневнике 26 марта 1910 г. Толстой записал: «Вечером читали статью Короленко. Прекрасно. Я не мог не разрыдаться. Написал письмо Короленко» (т. 58, с. 29). «Никакие думские речи, никакие трактаты, никакие драмы, романы не произведут одной тысячной того благотворного действия, какое должна произвести эта статья»,— писал Толстой автору «Бытового явления» (т. 81, с. 187).

В 1910 г. Андреев приехал в Ясную Поляну. В своих воспоминаниях, напечатанных в 1911 г., Андреев восторженно писал о встрече с Толстым: «Вдруг погасли сомнения, и легким почувствовалось бремя жизни, оттягивающее плечи; и то, что казалось в жизни неразрешимым, запутанным и страшным — стало просто, легко и разрешимо»[62]. Это признание рисует, вероятно, вполне правдиво психологическое состояние,



СТРАНИЦА ДНЕВНИКА ТОЛСТОГО С ЗАПИСЬЮ ОТ 26 МАРТА 1910 г.
О СТАТЬЕ КОРОЛЕНКО «БЫТОВОЕ ЯВЛЕНИЕ»
Архив Толстого, Москва

владевшее Андреевым после встречи с Толстым, которая, однако, как и следовало ожидать, не могла изменить направления последующего творчества Андреева. Толстой и Андреев были теперь вполне чужды друг другу. И не оттого, что Андреев был молод, а Толстой стар. Когда, например, речь зашла о кинематографе, Толстой блестяще доказал свою «молодость», он не только не отговаривал Андреева писать для кино, но сам заявил: «Непременно буду писать для кинематографа!»

Разделяло их другое — отношение к жизни и к искусству.

4

Непоколебимое убеждение в том, что нужное и полезное людям искусство должно отличаться значительностью и новизной содержания, простотой и доступностью художественной формы, искренним отношением автора к предмету изображения (это последнее требование в эстетике Толстого означало искреннюю приверженность к «добру» и столь же искреннее отвращение от «зла», социального и нравственного),— все это сделало Толстого непримиримым, страстным противником «искусства для искусства» и решительно всех декадентских, антиреалистических течений.

В 1901 г. в предисловии к роману немецкого писателя В. Поленца «Крестьянин» Толстой писал: «На моей памяти, за 50 лет, совершилось это поразительное понижение вкуса и здравого смысла читающей публики. Проследить можно это понижение по всем отраслям литературы, но укажу только на некоторые, более заметные и мне знакомые примеры. В русской поэзии, например, после Пушкина, Лермонтова (Тютчев обыкновенно забывается) поэтическая слава переходит сначала к весьма сомнительным поэтам Майкову, Полонскому, Фету, потом к совершенно лишенному поэтического дара Некрасову, потом к искусственному и прозаическому стихотворцу Алексею Толстому, потом к однообразному и слабому Надсону, потом к совершенно бездарному Апухтину, а потом уже все мешается, и являются стихотворцы, им же имя легион, которые даже не знают, что такое поэзия и что значит то, что они пишут, и зачем они пишут» (т. 34, с. 274—275). В первоначальном тексте этого рассуждения Толстой называл «стихотворцев», имя которым «легион»: «Брюсовы, Бальмонты, Величко» [63].

Если из этой характеристики развития русской поэзии второй половины XIX в. исключить несправедливость и полемическую субъективность некоторых оценок, в частности, отзывов о Некрасове и Фете (кстати сказать, полностью далеко не выражающих отношения Толстого к их поэзии), общая картина, нарисованная Толстым, передает действительный упадок дворянской поэзии в творчестве представителей «чистого искусства».

Многие лирические стихотворения Фета Толстой любил с ранней молодости и часто вспоминал в глубокой старости. Однако в последних произведениях Фета («Алмаз», «Говорили в древнем Риме...» и др.) он не нашел «ни поэзии, ни смысла» [64]. Кроме того, предъявив к поэзии Фета требования, удовлетворение которых он считал теперь обязательным, Толстой пришел к выводу, что поэзия Фета не удовлетворяет этим требованиям. В дневнике 1896 г. он записал: «...переглядывал романы, повести и стихи Фета. Вспомнил нашу в Я⟨сной⟩ П⟨оляне⟩ неумолкаемую в 4 фортеп⟨ьяно⟩ музыку, и так ясно стало, что все это: и романы, и стихи, и музыка — не искусство, как нечто важное и нужное людям вообще, а баловство грабителей, паразитов, ничего не имеющих общего с жизнью: романы, повести о том, как пакостно влюбляются, стихи о том же или о том, как томятся от скуки. О том же и музыка. А жизнь, вся жизнь кипит своими вопроса⟨ми⟩ о пище, размещении, труде, о вере, об отношении людей» (т. 53, с. 101).

В суждениях и отзывах Толстого 90-х и 900-х годов непрерывно чередуются искреннее восхищение лучшими из лирических стихотворений Фета и строгое осуждение Фета за социальную индифферентность его поэзии и за ее непонятность, ненужность простому народу. Но Фета Толстой считал все-таки поэтом истинным, т. е. владеющим поэтическим даром, как и другого поэта конца XIX в. (выступившего значительно позднее Фета, в 80-е годы) — К. М. Фофанова. Из письма Фофанова к Толстому от 2 сентября 1902 г. видно, что тот, в свою очередь, был всегдашним восторженным почитателем Толстого:

«Глубокоуважаемый Лев Николаевич!

Позвольте от всего любящего сердца пожелать вам еще много счастливых и прекрасных дней. С детства я уже привык любить и уважать вас, незабвенный спутник моего ума и души. Если вы читали или знаете меня понаслышке, то прошу вас не огорчиться моим приветствием, словом несчастного поэта, который желал бы хотя бы одного слова вашего в ответ на эти строки.

Любящий всей душою
Ваш К. Ф о ф а н о в»[65]

Толстой ответил 11 сентября, что он читал стихи Фофанова. «...и хотя, как вы, вероятно, знаете, не имею особенного пристрастия к стихам, думаю, что могу различать стихи естественные, вытекающие из особенного поэтического дарования, и стихи, нарочно сочиняемые, и считаю ваши стихи принадлежащими к первому разряду» (т. 73, с. 290—291).

Как отметил в своих записках Д. П. Маковицкий, Толстой и позднее положительно отзывался о Фофанове: «Фофанов не лишен таланта; Фофанов — поэт»[66]. Тогда же Толстой читал с восхищением стихотворение Фофанова «Стансы». «Л. Н. прочел это стихотворение волнуясь и с большим чувством; голос его дрожал. Отложив газету, он еще раз повторил: „Печально вспомнить дни страданья. Еще печальней дни любви... Мне даже скучно вдохновенье“... О Фофанове сказал: „Лучше поэта нынче нет... Бальмонт — дрянь, декадент“»[67].

Судя по впечатлению, произведенному на Толстого «Стансами», ему нравился в камерной поэзии небольшого поэта, каким был Фофанов, этот углубленный интерес к самопознанию душевной жизни. Кроме того, Фофанов не принадлежал к воинствующим защитникам «чистого искусства», в противовес искусству гражданскому; свой творческий путь он начинал с гражданских стихов (впрочем, подражательных).

Те же из поэтов старшего поколения, которые «чистое искусство» выдвигали как последовательную эстетическую программу, по своим политическим и социальным взглядам в конце XIX в. оказались в лагере реакции. С ними у Толстого возникли серьезные конфликты. Больше всего это касается Я. П. Полонского.

Полонского связывало с Толстым долголетнее (с 1855 г.) знакомство, поддерживавшееся в последующие годы не частой, но вполне дружеской перепиской. Однако уже в 1881 г. Толстого поразил консерватизм Полонского. Встретившись с ним у Тургенева в Спасском, Толстой записал в дневнике: «Милый Полонский, спокойно занятый живописью и писаньем, неосуждающий и — бедный — спокойный» (т. 49, с. 51).

В 90-е годы различие во взглядах обратилось открыто враждебным отношением Полонского к Толстому. В 1895 г. он напечатал против Толстого статью и в 1896 г. выпустил ее в виде отдельной брошюры (ныне, конечно, всеми забытой) «Заметки по поводу одного заграничного издания и новых идей графа Л. Н. Толстого». Касаясь более всего трактата «Царство божие внутри вас», Полонский обрушился с резкими нападками на Толстого за его призывы не повиноваться властям, разрушить церковь, государство, уничтожить суды, тюрьмы и наказания, а также и за то, что осуществление своих надежд на «царство божие» Толстой, к сожалению, ждет «вовсе не в будущем, а сейчас. Он жаждет переворота, т. е. посадки всего человечества корнями вверх, с великим нетерпением и вместо христианской любви бессознательно поселяет вражду, внушает ненависть, распаляет жажду резни или кровавых междоусобий»,— писал Полонский[68], правильно уловив разрушительный смысл деятельности Толстого — обличителя существующего строя.

С нападками, не менее резкими, выступил Полонский в 1898 г. против трактата «Что такое искусство?». Защищая от «нападок» Толстого классические создания Данте, Рафаэля, Шекспира, Бетховена, он, в сущности, спорил больше всего с той критикой «господского» искусства, которая содержалась в трактате «Что такое искусство?». Те же идеи Полонский изложил в двух пространных и довольно резких письмах к Толстому [69]. Толстой ответил любезным письмом, как и в 1891 г., когда он откликался на присылку Полонским сборника его стихотворений «Вечерний звон», хотя из всего сборника ему понравилось лишь одно стихотворение — «Детство».

Спор между Толстым и поэтами «чистого искусства» в 90-е годы был спором непримиримо враждебных идеологических концепций и художественных методов.

Еще более это относится к декадентству, которое Толстой неустанно критиковал и в своих произведениях, и в письмах, и в устных беседах с разными лицами.

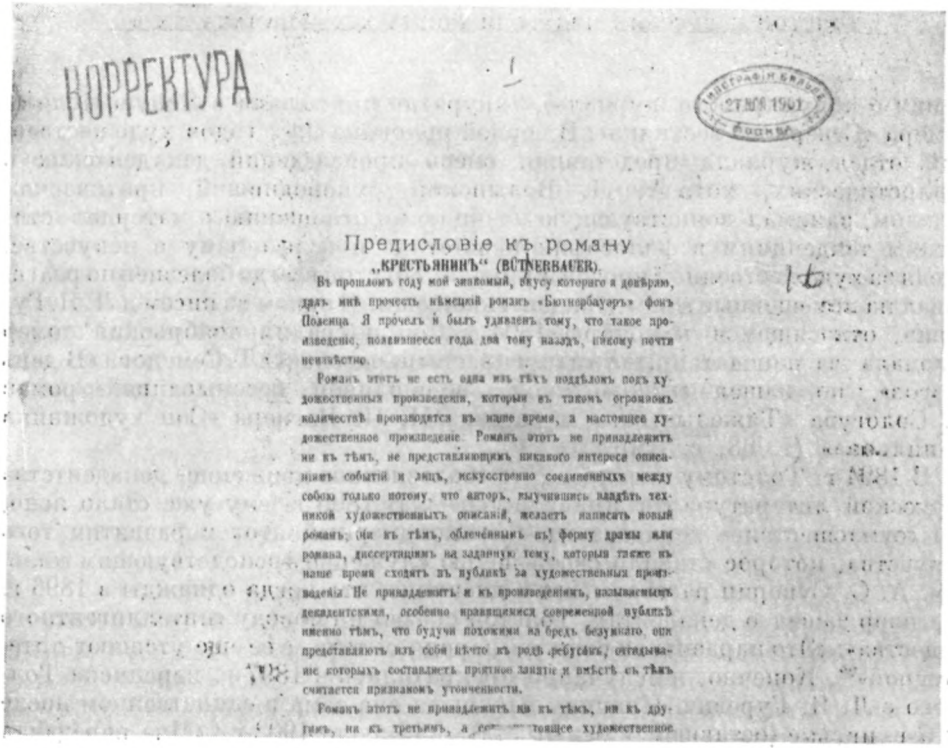
«Вы спрашиваете меня о том, упадок ли декадентство, или, напротив, движение вперед? — писал Толстой в 1908 г. ученику Суворовского кадетского корпуса Михаилу Лоскутову.— Коротко ответить: разумеется, упадок, и тем особенно печальный, что упадок искусства есть признак упадка всей цивилизации... Причина, почему декадентство есть несомненный упадок цивилизации, состоит в том, что цель искусства есть объединение людей в одном и том же чувстве. Это условие отсутствует в декадентстве. Их поэзия, их искусство нравятся только их маленькому кружку точно таких же ненормальных людей, каковы они сами. Истинное же искусство захватывает самые широкие области, захватывает сущность души человека. И таково всегда было высокое и настоящее искусство» (т. 78, с. 67).

Это неизменно отрицательное отношение Толстого к декадентским течениям в искусстве широко известно и достаточно хорошо освещено в работах советских литературоведов [70]. До сих пор, однако, не анализировалась интересная эволюция во взглядах Толстого на характер распространения декадентства в русском искусстве.

Теоретическая программа декадентства, содержавшаяся в книге Д. С. Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», стала известна Толстому раньше, чем названная книга увидела свет. Н. Н. Страхов, который слышал доклад Мережковского на ту же тему, прочитанный 26 октября 1892 г. в Русском литературном обществе, в письме к Толстому рассказал об этом докладе. Толстой сразу и безошибочно уловил сущность позиции Мережковского: «Ведь это опять искусство для искусства. Опять узкие носки и панталоны после широких, но с оттенком нового времени. Нынешние декаденты, Baudelaire, говорят, что для поэзии нужны крайности добра и крайности зла. Что без этого нет поэзии. Что стремление к одному добру уничтожает контрасты и потому поэзию. Напрасно они так беспокоятся. Зло так сильно — это весь фон — что оно всегда тут для контраста. Если же признавать его, то оно все затянет, будет одно зло, и не будет контраста. Даже и зла не будет — будет ничего. Для того, чтобы был контраст и чтобы было зло, надо всеми силами стремиться к добру» (т. 52, с. 76). В письме к С. А. Толстой о докладе Мережковского Толстой заметил: «Признаки совершенного распадения нравственности людей fin de siècle* и у нас» (т. 84, с. 166).

Скоро те же «признаки» увидел Толстой и в литературных журналах, в частности, в «Северном вестнике», издательница которого Л. Я. Гуревич, относясь к Толстому с большим почтением и стремясь привлечь его к сотрудничеству (немалую роль играли при этом также и деловые сообра-

* конца века (франц.).



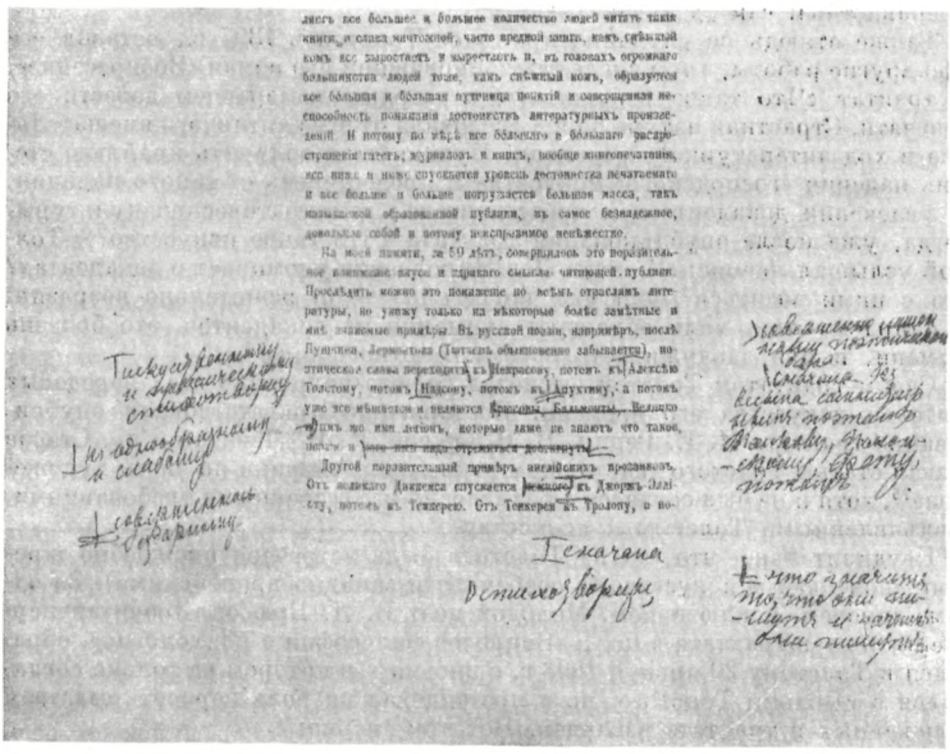
КОРРЕКТУРА

Предисловіе къ роману
„КРЕСТЬЯНИНЪ" (BÜTNERBAUER).

Въ прошломъ году мой знакомый, вкусу котораго я довѣряю, далъ мнѣ прочесть нѣмецкій романъ «Бютнербауеръ» фонъ Поленца. Я прочелъ и былъ удивленъ тому, что такое произведеніе, появившееся года два тому назадъ, никому почти неизвѣстно.

Романъ этотъ не есть одна изъ тѣхъ подѣлокъ подъ художественныя произведенія, которыя въ такомъ огромномъ количествѣ производятся въ наше время, а настоящее художественное произведеніе. Романъ этотъ не принадлежитъ ни къ тѣмъ, не представляющимъ никакого интереса описаніямъ событій и лицъ, искусственно соединенныхъ между собою только потому, что авторъ, научившись владѣть техникой художественныхъ описаній, желаетъ написать новый романъ, ни къ тѣмъ, облеченнымъ въ форму драмы или романа, диссертаціямъ на заданную тему, которыя также въ наше время сходятъ въ публикѣ за художественныя произведенія. Не принадлежитъ и къ произведеніямъ, называемымъ декадентскими, особенно нравящимся современной публикѣ именно тѣмъ, что будучи похожими на бредъ безумнаго, они представляютъ изъ себя нѣчто въ родѣ ребусовъ, отгадываніе которыхъ составляетъ пріятное занятіе и имѣетъ къ тѣмъ считается признакомъ утонченности.

Романъ этотъ не принадлежитъ ни къ тѣмъ, ни къ другимъ, ни къ третьимъ, а есть [illegible] художественное



лаетъ все большее и большее количество людей читать такія книги, и слѣдъ мечтою, часто вредной книги, какъ снѣжный комъ все вырастаетъ и вырастаетъ и, въ головахъ огромнаго большинства людей тоже, какъ снѣжный комъ, образуется все большая и большая путаница понятій и совершенная неспособность понимать достоинствъ литературныхъ произведеній. И потому по мѣрѣ все большаго и большаго распространенія газетъ, журналовъ и книгъ, вообще книгопечатанія, все ниже и ниже спускается уровень достоинства печатаемаго и все больше и больше погрузается большая масса, такъ называемой образованной публики, въ самое безнадежное, довольное собой и потому непростимое невѣжество.

На моей памяти, за 50 лѣтъ, совершилось это поразительное понижение вкуса и здраваго смысла читающей публики. Прослѣдить можно это понижение по всѣмъ отраслямъ литературы, но укажу только на нѣкоторые болѣе замѣтные и мнѣ знакомые примѣры. Въ русской поэзіи, напримѣръ, послѣ Пушкина, Лермонтова (Тютчева обыкновенно забываютъ), поэтическое славы переходитъ къ Некрасову, потомъ къ Алексѣю Толстому, потомъ Надсону, потомъ къ Апухтину, а потомъ уже все нѣмцамъ и являются [illegible] Бальмонты, Вилькины, имена которыхъ, которые даже не знаютъ что такое, потомъ и [illegible] отрекутся достоинствъ.

Другой поразительный примѣръ англійскихъ пріемниковъ. Отъ великаго Диккенса спускается [illegible] къ Джорджъ Эліоту, потомъ къ Теккерею. Отъ Теккерея къ Троллопу, а по-

ПРЕДИСЛОВИЕ ТОЛСТОГО К РОМАНУ В.ПОЛЕНЦА «КРЕСТЬЯНИН». КОРРЕКТУРА С ПРАВКОЙ ТОЛСТОГО

Гранки первая и четвертая. На первой гранке штамп типографии с датой: «27 ноя‹бря› 1901»

Корректура была подарена Толстым С. Н. Дурылину, в собрании которого хранилась до недавнего времени

Архив Толстого, Москва

жения о популярности журнала), аккуратно присылала в Ясную Поляну номера «Северного вестника». В первой половине 90-х годов художественный отдел журнала представлял смесь произведений декадентских и реалистических, хотя А. Л. Волынский, руководивший критическим отделом, занимал воинствующую позицию по отношению к материалистическим тенденциям в философии и эстетике и к реализму в искусстве. Следя за художественной прозой журнала, Толстой всегда болезненно реагировал на помещенные в нем декадентские вещи. В одном из писем к Л. Я. Гуревич, относящемся к ноябрю 1894 г., он похвалил ноябрьский номер журнала за напечатанный там «прекрасный» рассказ С. Т. Семенова «В день итогов», но нашел «невозможной, неряшливой бессмыслицей» роман Ф. Сологуба «Тяжелые сны» и рассказ Н. П. Вагнера «Сон художника Папильона» (т. 68, с. 250).

В 1894 г. Толстому казалось, что «болезненное движение» декадентства в русской литературе «не прививается»[71]. В 1896 г. ему уже стало ясно, что «сумасшествие» декадентства — закономерный итог в развитии того искусства, которое ставило своей целью служение господствующим классам. А. С. Суворин рассказывает в дневнике, что когда однажды в 1896 г. разговор зашел о декадентах, Толстой сказал по поводу «интеллигентного общества»: «Это паразитная вошь на народном теле, а ее еще утешают литературой»[72]. Конечно, не случайно прекратилась в 1897 г. переписка Толстого с Л. Я. Гуревич. Причину раскрыла она сама в единственном после 1897 г. письме (оставшемся без ответа) от 15 июля 1902 г.: «Мне передавал раз достойный доверия человек, что вы за последние годы причисляли меня к ненавистным вам „декадентам“»[73].

Также отнюдь не случайно принялся Толстой в 1897 г., оставив все свои другие работы, в том числе так волновавший его роман «Воскресение», за трактат «Что такое искусство?», с твердым намерением довести его до печати. Страстная натура борца требовала от него активного вмешательства в ход литературного развития. Нужно было обличить крайнюю степень падения «господского» искусства и предостеречь от такого падения, от увлечения декадентством представителей демократической культуры. Когда, уже после опубликования трактата «Что такое искусство?», Толстой услышал мнение: «И зачем Лев Николаевич упоминает о декадентах? Что с ними возиться? Они уже погребены», — он решительно возразил: «...напрасно так мало обращают внимания на декадентов, это болезнь времени, и она заслуживает серьезного отношения»[74].

Своим трактатом Толстой высказал то, что волновало всех передовых деятелей искусства его времени. Восторженно приветствовали опубликование трактата И. Е. Репин, В. В. Стасов, И. И. Левитан и др. Стасов назвал статью Толстого «настоящим открытием Америки по части художества»[75], хотя и не был согласен с религиозно-нравственными требованиями, предъявленными Толстым к искусству.

Неудивительно, что статья Толстого была встречена враждебно жрецами «новейшего» искусства (в особенности западноевропейскими). За одним, впрочем, исключением. Молодой поэт В. Я. Брюсов, прочитав первые пять глав трактата в кн. 5 «Вопросов философии и психологии», обратился к Толстому 20 января 1898 г. с письмом, в котором не только соглашался с мыслями Толстого, но и претендовал на роль первооткрывателя изложенных в трактате взглядов. Вот это письмо:

«Граф Лев Николаевич!

Только на днях я мог ознакомиться с вашей статьей об искусстве, так как все Рождество я пролежал больным в постели. Меня не удивило, что вы не упомянули моего имени в длинном списке ваших предшественников, потому что несомненно вы и не знали моих воззрений на искусство. Между

тем именно я должен был занять в этом списке первое место, потому что мои взгляды почти буквально совпадают с вашими. Я изложил эти свои взгляды — еще не продумав их окончательно — в предисловии к первому изданию моей книжки „Chef d'Oeuvres", появившейся в 1895 г. Прилагаю здесь это предисловие. Вы увидите, что я стоял на той дороге, которая должна была меня привести к тем же выводам, к каким пришли и вы.

Мне не хотелось бы, чтобы этот факт оставался неизвестен читателям вашей статьи. А вы, конечно, не захотите взять у меня, подобно богатому в притче Иоанна, мою „агницу единую". Вам легко поправить свою невольную ошибку, сделавши примечание ко второй половине статьи или к ее отдельному изданию, или, наконец, особым письмом в газетах.

Искренне уважающий вас
Валерий Брюсов

P. S. Я никогда не позволил бы себе обращаться к вам письменно, но болезнь моя, вероятно, еще несколько недель не допустит меня выходить» [76].

Письмо осталось без ответа. Прочитав присланное Брюсовым предисловие к сборнику «Chef d'Oeuvres», Толстой должен был несомненно убедиться, что никакого сходства между его взглядами и взглядами молодого поэта, изложенными на полутора страничках предисловия, нет.

«Наслаждение произведением искусства состоит в общении с душой художника и вызывается примирением в ней таких идей, которые обыкновенно чужды друг другу. Сущность в произведении искусства — это личность художника; краски, звуки, слова — материал; сюжет и „идея" (т. е. обусловленное единство) — форма...», — писал Брюсов. Этот тезис, соответствуя общим принципам субъективистской эстетики молодого Брюсова, отрицает ценность и возможность отражения в искусстве объективного мира, утверждает задачи замкнутого в себе и удовлетворяющегося собою «самовыражения», «самопостижения». Толстой, напротив, утверждал искусство как средство общения с другими людьми, со всем миром. «...Искусство есть одно из средств общения людей между собой. Всякое произведение искусства делает то, что воспринимающий вступает в известного рода общение с производившим или производящим искусство и со всеми теми, которые одновременно с ним, прежде или после его восприняли или воспримут то же художественное впечатление ⟨...⟩ Деятельность искусства основана на том, что человек, воспринимая слухом или зрением выражения чувства другого человека, способен испытывать то же самое чувство, которое испытал человек, выражающий свое чувство ⟨...⟩ Вот на этой-то способности людей заражаться чувствами других людей и основана деятельность искусства ⟨...⟩ *Вызвать в себе раз испытанное чувство и, вызвав его в себе, посредством движений, линий, красок, звуков, образов, выраженных словами, передать это чувство так, чтобы другие испытали это чувство, — в этом состоит деятельность искусства*» (т. 30, с. 63—65).

С точки зрения Брюсова, в искусстве содержание, идеи имеют второстепенное значение. «Эволюция новой поэзии есть постепенное освобождение субъективизма», — писал Брюсов в своем предисловии, видя в этом «освобождении субъективизма» исторически прогрессивные признаки развития литературы.

Для Толстого именно субъективизм декадентства явился несомненным признаком общего упадка искусства. С возмущением говорил он о том, как необыкновенно сузился круг людей, способных воспринимать новейшее искусство, и с ядовитой иронией предсказывал, что если развитие пойдет дальше таким образом, искусство станет непонятно никому, кроме самих

творцов. По убеждению Толстого, «душа художника», заинтересованный, «искренний» взгляд на вещи, которые всегда присутствуют в подлинных произведениях искусства, не только не исключают, но предполагают общезначимость, высокую содержательность, а также простоту и доступность художественной формы.

Это понимание тесной связи и взаимопроникновения субъективного и объективного, лирического и эпического, личного и общественного было чуждо в 90-е годы Брюсову. И все-таки его солидарность с Толстым, хотя и обусловленная специфическими причинами, предвещала возможность того перелома, который произошел в творчестве и эстетических взглядах Брюсова позднее, в период первой русской революции.

С другой стороны, письмо молодого поэта, видимо, остановило внимание Толстого. Любопытно, что в окончательном тексте трактата он опустил находившуюся в черновиках резкую критику стихов Брюсова: «Один в Москве написал целый том совершенной бессмыслицы (там есть, например, стихотворение из одного стиха: „Ах, закрой свои бледные ноги"), и так осталось неизвестно, мистифицирует ли он ту публику, которая браня и смеясь (некоторые и защищают), но все-таки покупает и читает, или он сам душевнобольной» (т. 30, с. 321).

В декабре 1901 г., беседуя с К. И. Арабажиным, бывшим издателем «Северного курьера», Толстой с интересом расспрашивал о Брюсове и Бальмонте [77].

Мнение о Брюсове как «декаденте, упадочнике, духовном дегенерате» оставалось, однако, неизменным. В 1905 г., прочитав в журнале «Вопросы жизни» стихи Брюсова, Белого, Вяч. Иванова, Ф. Сологуба и др., Толстой сказал: «Все это декадентство — полное сумасшествие» [78]. В том же 1905 г. поэт-рабочий Ф. Е. Поступаев прочитал Толстому несколько стихотворений из позднейшего сборника Брюсова — «Urbi et orbi». «Я предложил прослушать, что я помнил из Брюсова, — вспоминает Поступаев.— Лев Николаевич согласился, и я прочел: „Я жить устал среди людей и в днях" („L'ennui de vivre")... Стихи о женщинах я умышленно выпустил, а о думах и книгах постарался оттенить и подчеркнуть в них все красивейшие образы: о стоцветных стеклах окон-книг, через которые видны мир, просторы и сиянья; о голубях, несущих весть в плывущий ковчег, и т. п. Я читал и наблюдал, как задумчиво-серьезное внимание великого старика начинает цвести юношеской улыбкой радости чуткого художника. Глаза Льва Николаевича лучились и искрились духовным удовольствием, чувствовалось без его признания, что стихотворение ему нравится. И когда я кончил, он попросил еще прочесть, если есть что в памяти из того же Брюсова.

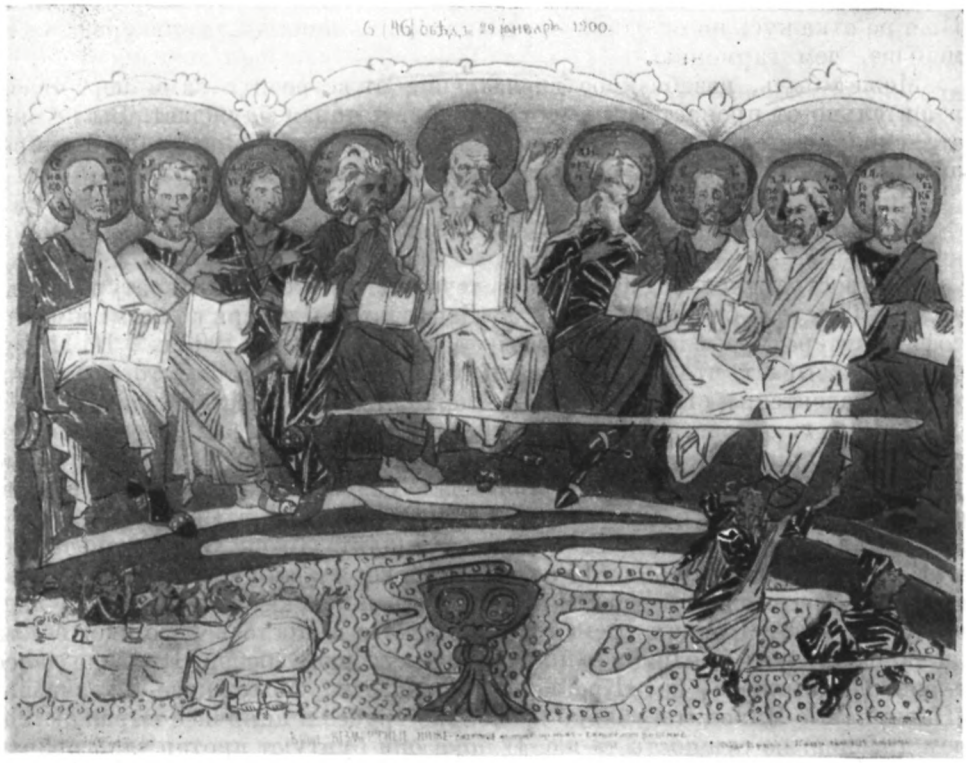
Я читаю „Каменщика".

Лицо Льва Николаевича начинает меркнуть и, когда я закончил, он сказал:

— Первое, глубокое по мысли и настроению, можно уверенно считать поэтическим, а второе — надуманное, и думаю, что прозой гораздо лучше можно выразить ту мысль каменщика, которая выражена стихами» [79].

Основываясь, вероятно, на этих же впечатлениях (книг Брюсова нет в яснополянской библиотеке), Толстой говорил в 1906 г., что некоторые стихи Брюсова «недурны» [80]. Поступаеву же в 1905 г. Толстой дал многозначительный совет: «Всматриваться поглубже не в Брюсовых, а в живой быт трудовой среды» [81].

Еще более резкими, чем о Брюсове, были суждения Толстого о К. Д. Бальмонте. В 1896 г. Бальмонт прислал Толстому книгу своих стихов «В безбрежности» с почтительной надписью «Великому учителю...», а в 1901 г. состоялось личное знакомство. Сам Бальмонт вспоминал об этой встрече: «Великий старик добрым, незабываемо-ласковым голосом



«ВЫШЕ БЕССМЕРТНЫЕ, НИЖЕ СМЕРТНЫЕ»

Акварель Д. С. Стеллецкого, 1900 г.

Карикатура из «Альбома обеденных благоглупостей российских беллетристов», принадлежавшего Д. Л. Мордовцеву. Среди «бессмертных» (слева направо): А. Ф. Кони, В. Г. Короленко, А. П. Чехов, В. С. Соловьев, Толстой (в центре), А. М. Жемчужников, К. К. Романов, А. А. Потехин, А. А. Голенищев-Кутузов. Внизу за столом «смертные»: Д. Л. Мордовцев, Н. А. Лейкин, Вас. И. Немирович-Данченко, А. С. Суворин и др.

Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

говорил, подтрунивая: „А вы все декадентские стихи пишете? Нехорошо, нехорошо!". И попросил меня что-нибудь прочесть. Я ему прочел „Аромат Солнца", а он, тихонько покачиваясь на кресле, беззвучно посмеивался и приговаривал: „Ах, какой вздор! Аромат Солнца...". Потом Толстой попросил прочесть „еще что-нибудь"». Бальмонт прочел «Я в стране, что вечно в белое одета». «Лев Толстой притворился, что и это стихотворение ему совершенно не нравится» [82]. Здесь все верно, кроме того, что Толстой «притворился». По воспоминаниям врача К. В. Волкова, Толстой по уходе Бальмонта «не мало издевался над ним и над современными декадентами и модернистами вообще. Особенно возмущало Льва Николаевича выражение „пьяные ландыши"» [83].

В декабре 1901 г. Бальмонт отправил Толстому новый сборник своих стихов «Горящие здания» с дарственной надписью: «Величайшему гению, какой теперь есть на земле» и посвященными Толстому стихами [84]. В сопроводительном письме Бальмонт писал: «У меня нашлись только две мои книги „Горящие здания" и „Чистилище св. Патрика" Кальдерона... (перевод). Что касается „Горящих зданий", я позволил себе отметить те стихи, которые, может быть, могут сколько-нибудь вас интересовать. Я думаю, однако, что, если у вас будет желание прочесть всю книгу (считаю это невероятным), вы вынесете неблагоприятное впечатление. Эта книга —

сплошной крик души разорванной, и если хотите убогой, уродливой. Но я не откажусь ни от одной ее страницы и — пока — люблю уродство не меньше, чем гармонию.

Может быть, незабвенное впечатление от встречи с вами перебросит решительно от пропастей к высотам душу, которая блуждает. Вы не знаете, сколько вы мне дали, вы, богатый, как солнце. Я мог бы быть выброшенным на необитаемый остров — и целый год думать только о вас.

Но горы, но море, но небо, но звезды, — ведь они сильнее вас?» [85].

Письмо осталось без ответа, мнение о стихах Бальмонта — не изменилось.

Распространение модернистских течений в русской литературе вызывало у Толстого большую тревогу. «Декадентство теперь во всем: в философии, литературе, живописи, музыке», — говорил он в 1905 г.[86] Н. Н. Гусев рассказывает, что когда однажды он в присутствии Толстого стал читать декадентские стихи и громко смеялся, Толстой оставался мрачен [87].

К 1904 г. относится личная встреча Толстого с Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус. Встрече предшествовало знакомство Толстого, помимо упомянутого выше доклада «О причинах упадка...», с речью Мережковского, произнесенной им в Александринском театре в Петербурге перед представлением трагедии Еврипида «Ипполит» (речь была напечатана в «Новом времени», 1902, от 15 октября). Говоря о двояком значении слова «любовь», языческом и христианском, Мережковский в своей речи подчеркивал, что с древних времен и до Толстого и Достоевского идет все та же борьба между признанием плотской и духовной любви. Приведя далее слова Позднышева из «Крейцеровой сонаты», Мережковский сказал: «Наши новые Ипполиты только несколько грубее и циничнее выражаются, чем древние; но сущность та же. И пока они бунтуют против злой похоти и рассуждают о прекращении рода человеческого и о том, как бы обойтись миру без женщин,— Афродита, „которой преодолеть нельзя“, торжествует точно так же, как во времена Федры и Медеи, в убивающей себя Анне Карениной, в рождающей Кити». Утверждая, что «оба начала (рождающей. но жестокой Афродиты и милосердной, но бесплодной Артемиды) одинаково божественны», Мережковский делал вывод, что «предчувствие последнего соединения этих двух начал дано в христианстве».

Толстой, прочитав речь Мережковского, точно разгадал смысл «христианских» идей Мережковского. «...я понял его христианство. Кому хочется христианство с патриотизмом (Побед<оносцев>, славянофилы), кому с войной, кому с богатством, кому с женской похотью, и каждый по своим требованиям подстраивает себе свое христианство» (т. 54, с. 148).

Еще до встречи с Толстым Мережковский несколько раз публично выступал против Толстого: в книге «Л. Толстой и Достоевский», в докладе «Об отношении Л. Н. Толстого к христианству», произнесенном накануне отлучения Толстого от церкви.

Все это не помешало З. Н. Гиппиус обратиться к Толстому 18 февраля 1904 г. с приторно льстивым письмом:

«Лев Николаевич.

Мы любим вас давно, и всю жизнь нас тянет к вам, но мы не осмеливались ехать к вам, зная, сколько чуждого народа отягощает вас свиданиями... Д. С. Мережковский (мой муж) чувствует теперь особенную внутреннюю потребность видеть вас; он говорит, что в последнее время до конца понял, как любит вас, и как вы нам, в самом главном, близки. И ему хочется и нужно сказать вам об этом» [88].

Толстой ответил холодным, но любезным письмом, приглашая З. Н. Гиппиус и ее мужа приехать в Ясную Поляну. Личное знакомство (Мережковские пробыли в Ясной Поляне 11 и 12 мая 1904 г.) не только не сблизило Толстого с ними, но еще больше показало пропасть, разделявшую их. «Сейчас уехали от нас Мережковские,— писал Толстой дочери Марии Львовне.— Этих хочу любить и не могу» (т. 75, с. 104).

Резко критическое отношение Толстого к философии и эстетике декадентства с годами возрастало тем более, что он видел, как гибли, поддавшись влиянию декадентства, незаурядные литературные таланты. Гибли, потому что усваивали самое низменное мировоззрение, безнравственное, антидемократическое, и заражались непомерно высоким мнением о значении своего творчества, освобождавшим их от взыскательного отношения к результатам своего труда. Так случилось, по мнению Толстого, с М. П. Арцыбашевым. Некоторые рассказы Арцыбашева («Кровь», «Подпрапорщик Гололобов», «Смех», «Бунт») нравились Толстому. «Я всегда рад найти хорошее у молодых писателей, так и у Арцыбашева»,— говорил он Д. П. Маковицкому [89]. Но, прочитав роман Арцыбашева «Санин», Толстой «ужаснулся не столько гадости, сколько глупости, невежеству и самоуверенности» автора (т. 78, с. 58). В разговоре о романе Арцыбашева Толстой сказал: «Ничего тут нового нет. Человек спускается до уровня животного — это талантливо описано. Нет никакой духовной жизни» [90].

Широкое распространение декадентской литературы в период реакции, после поражения революции 1905—1907 гг., наводило на Толстого ужас. Во всех его отзывах постоянно, как рефрен, повторяются эти слова: «ужас», «дом сумасшедших». В 1908 г., прочитав в газете «Русь» стихотворения Ф. Сологуба: «Расстегни свои застежки...», «Для тебя, веселой гостьи...» и др., он сказал: «Это удивительное, ужаснейшее!»[91]. В 1909 г. в газете «Утро России» ему попался на глаза рассказ того же Ф. Сологуба «Красногубая гостья». «Ужас, ужас, ужас!»— сказал он, прочитав рассказ. В 1908 г., читая вслух стихи Бальмонта, Толстой «ужасался нелепости» их [92]. Первый номер журнала «Русская мысль» 1909 г. был целиком заполнен произведениями символистов. Там были напечатаны стихи «семи поэтов»: А. Блока «Друзья», В. Брюсова «Отречение», А. Белого «Сумерки», З. Гиппиус «Петухи», Д. Мережковского «Ужель мою святыню...», С. Соловьева «Иоанн Креститель» и Ф. Сологуба «Ты царь. Решеткой золотою...», а также рассказы Ропшина (Б. Савинкова) «Конь бледный» и Ф. Сологуба «Белая березка». «Без преувеличения: дом сумасшедших, а я дорожу мнением этих читателей и писателей. Стыдно, Л<ев> Н<иколаевич>»,— записал Толстой в дневнике (т. 57, с. 154).

В январе 1910 г. Толстой читал сборник стихотворений И. Северянина «Интуитивные краски», присланный автором. Он «много смеялся», особенно над стихотворением: «Вонзите штопор в упругость пробки,/ И взоры женщин не будут робки». Но потом он с грустью произнес: «Чем занимаются! Это — литература!.. Кругом виселицы, полчища безработных, убийства, невероятное пьянство, а у них — упругость пробки!» [93] Незадолго до смерти, 29 сентября 1910 г., Толстой записал в дневнике: «Какой ужасный умственный яд современная литература, особенно для молодых людей из народа» (т. 58, с. 109).

Этой литературе распада Толстой настойчиво противопоставляет, особенно в последние годы жизни, великие создания Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тютчева, Герцена. «И как это странно: были Пушкин, Лермонтов, Достоевский...,— говорил Толстой в 1908 г.— А теперь что? Еще милый, но бессодержательный, хотя и настоящий художник Чехов. А потом уж пошла эта самоуверенная декадентская чепуха» [94]. Иногда кажется, что это восхищение, доходящее до умиления, писателями прошлого

и отрицание «нонешних» похоже на старческое недовольство всем современным. Самому Толстому думалось порою, что в нем говорит эта стариковская черта — признавать только свое, старое. Об этом говорил он в 1908 г. А. Б. Гольденвейзеру, но тотчас оправдывал себя, вспомнив, что в русской литературе «после Гоголя, Пушкина — Леонид Андреев» [95].

Постоянные укоры современной литературе и не менее постоянные напоминания о классических образцах XIX в. исходят из глубоко справедливого убеждения Толстого в том, что декадентские течения в развитии искусства поверхностны и недолговечны потому, в частности, что они разрывают с великими классическими традициями подлинного искусства, которые наследует демократическая культура.

Осмысляя развитие русской литературы в конце XIX — начале XX в., мы видим, что Толстой не в силах был предотвратить исторически неизбежный распад буржуазного искусства. Однако в значительной мере благодаря Толстому, его литературному и нравственному авторитету лучшие, наиболее талантливые русские прозаики конца XIX — начала XX в. остались верны принципам реалистического искусства и смогли противостоять тлетворным влияниям натурализма и декадентства.

Наследие Толстого, создателя больших эпических полотен, рисующих широкую картину народной жизни, открытый им принцип «диалектики души» как средства познания и художественного изображения характера в его неповторимой индивидуальности и в его связях с обществом, с эпохой — не получили развития в реалистической прозе конца XIX — начала XX в., времени распада крупных повествовательных форм. Лишь в творчестве Горького и других писателей социалистического реализма, в эпосе советской эпохи возродились в новом качестве эти великие традиции мастерства Толстого.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] А. П. Чехов. Полн. собр. соч. и писем, т. 18. М., 1949, стр. 312—313.

[2] См. статьи А. К. Бабореко и В. И. Улыбышева в кн.: «Яснополянский сборник. Год 1960-й». Тула, 1960.

[3] Идею Толстого о необходимости и неизбежности разрыва лучшей части дворянства со своим классом и объединении с крестьянством развивали впоследствии некоторые русские символисты, в особенности А. Белый и А. Блок. «Уход» Толстого из Ясной Поляны был воспринят ими как некое «завещание» и предвестие надвигающегося грандиозного переворота в жизни России. Однако и Блок, и Белый (и в этом их коренное расхождение с Толстым), обращаясь к деревне как к основному источнику возрождения жизни, разделяли иллюзию о мнимой общности интересов деревни и усадьбы.

[4] В. И. Ленин. Сочинения, т. 16, стр. 301—302.

[5] А. П. Чехов. Полн. собр. соч. и писем, т. 18, стр. 313.

[6] «В. Г. Короленко о литературе». М., 1957, стр. 519—520.

[7] Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки. Запись от 15 ноября 1905 г. Цитируется, как и другие выдержки из неопубликованной части «Яснополянских записок», по книге: «Летопись», II.

[8] Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки. Запись от 1 марта 1906 г.— «Литературное наследство», т. 68, 1960, стр. 874.

[9] «Дневник В. Ф. Лазурского».— «Литературное наследство», т. 37-38, 1939, стр. 492—493.

[10] А. Г. Русанов. Воспоминания о Л. Н. Толстом. Воронеж, 1937, стр. 110.

[11] Письмо Ф. Ф. Тищенко к Толстому от 3 августа 1897 г. (АТ).

[12] «Литературное наследство», т. 22-24, 1935, стр. 779.

[13] См. об этом в статье: С. Г. Бочаров. Психологическое раскрытие характера в русской классической литературе и творчество Горького.— Сб.: «Социалистический реализм и классическое наследие. (Проблема характера)». М., 1960.

[14] Решительно нельзя согласиться с Б. А. Бяликом, который, сопоставляя Толстого и Горького, пишет: «Горький тоже показывает „каратаевщину" как стихийную силу, но он, кроме стихийной пассивности патриархального крестьянства, показывает и его стихийный протест. В этом „добавлении" и заключено главное, отличающее горьковский взгляд на крестьянство от толстовского и сближающее этот взгляд с ленинским» (Б. А. Бялик. «Душа, объявшая собою всю Русь».—«Вопросы литературы», 1959, № 11, стр. 138). Суждение это противоречит прямому смыслу ленинской оценки

мировоззрения и творчества Толстого: «Протест миллионов крестьян и их отчаяние — вот что слилось в учении Толстого» (В. И. Ленин. Сочинения, т. 16, стр. 302).

[15] Цитата взята из «Палаты № 6». В статье А. П. Скафтымова «О повестях Чехова „Палата № 6" и „Моя жизнь"» («Ученые записки Саратовского гос. пед. института», вып. XII, 1948) справедливо отвергается точка зрения тех исследователей, которые видят в «Палате № 6» полемику с идеями Толстого, и устанавливается, что Чехов критикует в своей повести прежде всего взгляды буржуазных философов Шопенгауэра и Ренана.

[16] П. А. Сергеенко. Записи. Запись от 5 июля 1900 г.— «Литературное наследство», т. 37-38, 1939, стр. 546.

[17] И. Н. Альтшуллер. О Чехове. Из воспоминаний.— «А. П. Чехов в воспоминаниях современников». М., 1960, стр. 595.

[18] См. справедливые критические замечания по этому поводу о X томе «Истории русской литературы (Литература 1890—1917 гг.)». М.— Л., Изд-во АН СССР, 1954, содержащиеся в рецензии Б. В. Михайловского — «Научные доклады высшей школы. Филологические науки», 1958, № 1.

[19] Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки. Запись от 16 апреля 1907 г.

[20] В. В. Вересаев. Сочинения, т. I. М., 1948, стр. 30.

[21] См. описание этих помет в кн.: «Библиотека Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне», ч. 1. М., 1958, стр. 123.

[22] С. А. Толстая. Ежедневник. Запись от 1 марта 1906 г. Рукопись (АТ).

[23] Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки. Запись от 2 марта 1906 г.

[24] Там же. Запись от 8 октября 1905 г.

[25] В Архиве Толстого сохранилось относящееся к 1905 г. интересное письмо Е. Н. Чирикова на эту тему.

[26] Н. Н. Гусев. Два года с Л. Н. Толстым. М., 1928, стр. 92; Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки. Записи от 25 марта и 2 апреля 1908 г.

[27] Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки. Запись от 17 октября 1906 г.

[28] Там же. Запись от 26 сентября 1907 г. См. также дневник М. С. Сухотина (во 2-й книге настоящего тома).

[29] А. П. Чехов. Полн. собр. соч. и писем, т. 19. М., 1950, стр. 229.

[30] Письмо хранится в АТ.

[31] «Литературное наследство», т. 37-38, 1939, стр. 552, 563.

[32] Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки.— «Голос минувшего», 1923, № 1-3, стр. 10, 12, 14, 15.

[33] Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки. Запись от 29 октября 1907 г.

[34] «Петербургская газета», 1905, № 203, от 4 августа.

[35] Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки. Записи от 8 и 9 мая 1909 г.

[36] А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., 1959, стр. 303.

[37] В. Ф. Булгаков. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. М., 1957, стр. 276.

[38] Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки. Запись от 22 февраля 1907 г.

[39] Там же. Запись от 22 марта 1909 г.

[40] А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого, т. II. М.— Пг., 1923, стр. 175.

[41] А. И. Куприн. Собр. соч. в шести томах, т. 6. М., 1958, стр. 605—606.

[42] Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки. Запись от 26 декабря 1909 г.

[43] Отзывы Бунина о Толстом собраны в статье А. К. Бабореко «Бунин о Толстом».— «Яснополянский сборник. Год 1960-й». Тула, 1960. Цит. по этой статье.

[44] Дневник А. Блока. 1911—1913. Л., 1928, стр. 37. Тем же восторгом перед Толстым проникнута статья Блока «Солнце над Россией», напечатанная в дни 80-летия Толстого (А. Блок. Сочинения в одном томе. М.—Л., 1946, стр. 422).

[45] Пометы Толстого на книгах Л. Андреева опубликованы в кн.: «Библиотека Л. Н. Толстого в Ясной Поляне», ч. 1, стр. 17—23.

[46] Письмо хранится в АТ.

[47] М. Горький. Собр. соч. в 30 томах, т. 28. М., 1954, стр. 210.

[48] Л. Андреев. Рассказы. СПб., «Знание», 1901, стр. 39.

[49] Там же, стр. 94.

[50] Там же, стр. 92.

[51] А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., 1959, стр. 114.

[52] В. Ф. Булгаков. Л. Н. Толстой в последний год его жизни, стр. 201.

[53] Н. Н. Гусев. Два года с Л. Н. Толстым, стр. 142.

[54] Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки. Запись от 13 мая 1910 г., В. Ф. Булгаков. Л. Н. Толстой в последний год его жизни, стр. 245.

[55] Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки. Запись от 31 января 1910 г.

[56] Н. Н. Гусев. Два года с Л. Н. Толстым, стр. 150.

[57] Там же, стр. 108—109.

[58] С. А. Андрианов. Куда идет Леонид Андреев.— «Жизнь для всех», 1909, № 12, стр. 131.

[59] Соответствующее заявление Андреева было напечатано в «Биржевых ведомостях», 1908, № 10678, от 28 августа, в день 80-летия Толстого.
[60] Н. Н. Гусев. Два года с Л. Н. Толстым, стр. 164.
[61] Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки. Запись от 1 января 1909 г.
[62] Л. Н. Андреев. За полгода до смерти.— Л. Андреев. Полн. собр. соч., т. VI. СПб., 1913, стр. 303.
[63] См. помещенное в настоящем томе на стр. 131 воспроизведение корректур названной статьи Толстого.
[64] «Дневник В. Ф. Лазурского».— «Литературное наследство», т. 37-38, стр. 444.
[65] Письмо хранится в АТ.
[66] Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки. Запись от 24 февраля 1907 г.
[67] Там же. Запись от 16 апреля 1907 г.
[68] Я. П. Полонский. Заметки по поводу одного заграничного издания и новых идей графа Л. Н. Толстого. СПб., 1896, стр. 89—90.
[69] «Летописи Государственного литературного музея», кн. 12. М., 1948, стр. 220—222.
[70] Наиболее полно — в статье К. Н. Ломунова «Толстой в борьбе против декадентского искусства».— Сб. «Лев Николаевич Толстой». М., Изд-во АН СССР, 1951.
[71] «Дневник В. Ф. Лазурского».— «Литературное наследство», т. 37-38, стр. 451.
[72] «Дневник А. С. Суворина». М.— Пг., 1923, стр. 80.
[73] Письмо хранится в АТ.
[74] «Дневник В. Ф. Лазурского».— «Литературное наследство», т. 37-38, стр. 496.
[75] Письмо В. В. Стасова к Толстому от 18 января 1898 г.— «Искусство», 1953, № 5, стр. 71.
[76] Письмо хранится в АТ.
[77] К. И. Арабажин. Моя встреча с Л. Н. Толстым.— «Искорки», 1910, ноябрь, № 45.
[78] Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки. Запись от 27 июля 1905 г. Цит. в указ. статье К. Н. Ломунова, стр. XXI.
[79] Ф. Е. Поступаев. У Л. Н. Толстого.— «Лев Николаевич Толстой. Юбилейный сборник». М.— Л., 1928, стр. 240.
[80] Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки. Запись от 1 июня 1906 г.— т. 30, стр. XXII.
[81] Ф. Е. Поступаев. У Л. Н. Толстого, стр. 240.
[82] К. Д. Бальмонт. О книгах для детей.— «Весы», 1908, № 3, стр. 82.
[83] К. В. Волков. Наброски к воспоминаниям о Л. Н. Толстом.— «Толстой. Памятники творчества и жизни», вып. 2. М., 1920, стр. 90.
[84] Опубликованы в кн.: «Библиотека Л. Н. Толстого в Ясной Поляне», ч. 1, стр. 37—38.
[85] Письмо хранится в АТ.
[86] Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки. Запись от 24 сентября 1905 г.
[87] «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников». Изд. 2-е, т. II. М., 1960, стр. 346.
[88] Письмо хранится в АТ.
[89] Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки. Запись от 4 февраля 1909 г.
[90] Там же. Запись от 9 марта 1909 г.
[91] Там же. Запись от 28 марта 1908 г.
[92] С. А. Толстая. Ежедневник (АТ).
[93] И. Ф. Наживин. Из жизни Л. Н. Толстого. М., 1911, стр. 87—88.
[94] А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., 1959, стр. 221.
[95] Там же, стр. 222.

ТОЛСТОЙ И СОВРЕМЕННЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ПИСАТЕЛИ

Статья Т. Л. Мотылевой

Во всей мировой литературе конца XIX и XX вв. нет, пожалуй, ни одного крупного писателя, который прошел бы мимо творчества Толстого, не задумывался бы над ним, не извлек бы из чтения его книг прямых уроков для себя.

Понятно, что характер восприятия и истолкования Толстого, характер его воздействия на отдельных художников и на литературный процесс в целом во многом определялся особенностями каждой страны, ее исторического и художественного развития. Толстой помог виднейшим литературным деятелям разных стран в решении тех творческих задач, которые перед ними стояли. Французские прозаики и критики при первом знакомстве с Толстым восприняли его прежде всего как художника, противостоящего натурализму, умеющего совмещать безукоризненную правдивость изображения жизни — с одухотворенностью, высокой нравственной чистотой. Английские писатели — младшие современники Толстого — опирались на него в борьбе против традиционного «викторианского» ханжества и видели в нем пример высокой художнической смелости, не останавливающейся перед осуждением самых незыблемых, освященных вековым авторитетом институтов и понятий. В США, где критический реализм формировался с запозданием, наталкиваясь на большие препятствия в господствующем общественном мнении,— Толстой был опорой для тех писателей, которые стремились преодолеть мещанский идеализирующий подход к действительности, утверждали острую социальную тематику в искусстве. В Германии, где лучшим литературным силам пришлось на протяжении многих десятилетий вести нелегкую тяжбу с идеологами империализма,— особое значение приобрели антимилитаристские выступления Толстого, внимательно изучался его опыт глубокого реалистического изображения войны. Писатели славянских народов, отстаивавших свою национальную независимость, были благодарны Толстому за его сочувствие «малым» угнетенным нациям и следовали его урокам в разработке национально-героической темы. Конкретные условия исторического процесса, конкретные черты литературной обстановки отразились на восприятии Толстого в Венгрии и Румынии, в странах Латинской Америки и странах Арабского Востока.

Проблема мирового значения Толстого не раз привлекала внимание советских литературоведов, затрагивалась в ряде статей и исследований о Толстом (а также в статьях и исследованиях о зарубежных писателях, так или иначе связанных с толстовской традицией). Но тема эта поистине необозрима. Многое еще не сделано, и многое предстоит сделать. Для того, чтобы осмыслить в полном объеме значение творчества Толстого для мировой литературы, необходимо изучить литературную судьбу Толстого в странах Запада и Востока (историю изданий, переводы, отклики критики, особенности восприятия Толстого и характер идейно-литературной

борьбы вокруг него в каждой отдельной стране); необходимо проследить сложные пути взаимодействия творчества Толстого с национальной литературной традицией, спецификой литературного процесса в каждой из этих стран; необходимо, наконец, выяснить, что дал Толстой каждому из видных иностранных писателей конца XIX и XX вв. Понятно, что решение таких задач требует объединенных усилий целого коллектива исследователей, и первые работы на эти темы могут носить лишь характер поиска, разведки, предварительного сбора материалов, первоначальной постановки вопроса.

Автором этих строк несколько лет назад была сделана попытка наметить в обобщающей монографии основные проблемы, связанные с мировым значением Толстого, и проследить влияние Толстого на крупных писателей нескольких западных и славянских стран *.

Настоящая статья, тесно примыкающая к монографии, не может и не должна быть повторением ее. Она является скорей дополнением к ней. В книге освещалось влияние Толстого преимущественно на тех писателей, которые являются всемирно признанными классиками критического реализма XX в. (Ромен Роллан, Томас Манн, Джон Голсуорси, Бернард Шоу, Теодор Драйзер), а также на видных мастеров современной прозы — борцов за социалистический реализм (Луи Арагон, Анна Зегерс, Мария Пуйманова). В данной статье пойдет речь преимущественно о влиянии Толстого на тех писателей современного критического реализма, которые были обойдены (или лишь частично затронуты) в монографии,— писателей, недавно завершивших свой творческий путь, как Роже Мартен дю Гар или Фейхтвангер, или ныне здравствующих, как Эрнест Хемингуэй. Творческие связи Толстого с теми зарубежными художниками, о которых уже говорилось в монографии, здесь будут затронуты главным образом в тех случаях, когда будет возможность дополнить тот анализ, какой был дан ранее, новыми наблюдениями или материалами. Все это определяет по неизбежности фрагментарный характер данной статьи: для того, чтобы исчерпать тему, поставленную в ее заголовке, понадобилась бы не статья, а серия обширных трудов.

Вместе с тем хотелось бы надеяться, что статья будет воспринята не как свод разобщенных наблюдений, а как работа по-своему целостная. Из фактов и сопоставлений, собранных здесь (при всей неминуемой спорности сопоставлений, при всей неминуемой неполноте фактов) вырастают общие выводы о значении конкретных художественных открытий, сделанных Толстым, для поступательного развития реализма в литературе нашего столетия.

ВОСПРИЯТИЕ ТОЛСТОГО ЗАРУБЕЖНЫМИ ПИСАТЕЛЯМИ

В. И. Ленин, как все помнят, разграничивал мировое *значение* Толстого как художника и его мировую *известность* как мыслителя и проповедника. Действительно, международная судьба художественного творчества Толстого и его религиозно-философского учения весьма неодинакова.

Широчайшая всемирная популярность Толстого-художника и его влияние на мировую литературу представляют постоянный, длительно действующий фактор культурного развития человечества за последние три

* Т. Мотылева. О мировом значении Л. Н. Толстого. М., «Советский писатель», 1957. Эта книга была задумана, естественно, не как всеохватывающий труд на данную тему, а как отправная точка для дальнейших более детальных исследований.

четверти столетия. Бесспорно и то глубокое влияние на международное общественное мнение, которое оказал в свое время, оказывает отчасти и сейчас Толстой-публицист — критик империализма, буржуазного строя, антинародного «господского» искусства. Зато воздействие толстовства как доктрины — величина переменная и постепенно убывающая, во всяком случае в странах Запада (в странах Востока — Индии, Японии, отчасти Китае — воздействие толстовства, которое и является, по определению Ленина, «идеологией восточного строя, азиатского строя» [1], имеет, по сравнению с Западом, гораздо более глубокие корни и содержит больше данных, чтобы сохраниться надолго).

Для международного общественного мнения, для большинства читателей и тем более для писателей Толстой всегда был и остается прежде всего гениальным художником. Даже в последние десять-пятнадцать лет жизни Толстого, когда его все обострявшийся конфликт с царским правительством и православными «жандармами во Христе», отлучение от церкви и многочисленные статьи и трактаты, а затем уход из Ясной Поляны приковывали к нему почти непрерывный сенсационный интерес всей мировой печати,— круг единомышленников Толстого в непосредственном, узком смысле слова (т. е. круг тех людей, которые считали и объявляли себя толстовцами) был значительно менее широк, нежели круг его читателей и почитателей его художнического гения. Толстой в последние годы жизни привлекал к себе живейшие симпатии передовой интеллигенции и трудящихся масс во всем мире силою своей личной нравственной стойкости, страстностью своих выступлений против господствующего строя жизни; но большинство тех, кто ценили в Толстом протестанта и обличителя, не разделяли его христианско-утопической системы взглядов. Показательно, что ни один из крупных писателей мира — ни при жизни Толстого, ни после его смерти — не был сторонником его философских и религиозных идей. Даже те писатели, которые наиболее сильно испытали на себе влияние художественного метода, мастерства и эстетической мысли Толстого — будь то Томас Манн, Дж. Голсуорси или Б. Шоу — относились к толстовству как доктрине скептически или осуждающе.

Очень интересны в этом смысле признания Ромена Роллана. Общеизвестно, насколько тесными и прочными были его творческие связи с Толстым; они освещены во многих работах советских и зарубежных исследователей. Однако автобиографические и мемуарные фрагменты Роллана, опубликованные в последние годы его жизни и после его смерти, позволяют уточнить наше представление о характере этих связей. Вдохновляясь примером Толстого как художника и как независимой личности, противостоящей «обществу и искусству привилегированных», Роллан в то же время отнюдь не считал себя последователем религиозно-морального учения Толстого. Об этом ясно сказано в его воспоминаниях юности [2]; об этом сказано и в его письме к болгарскому литературоведу Русину Филипову от 2 декабря 1935 г.:

«Конечно, Толстой оказал на меня глубокое влияние. Но вопреки тому, что думают обычно, — он гораздо больше повлиял на меня своим искусством, нежели своей религиозной мыслью. Он был для меня дорогим и почитаемым „спутником", от которого я постепенно отдалился во время пути, с сожалением, с уважением; — но до конца моих дней я буду верен и благодарен мастеру эпического повествования „Война и мир" и автору бессмертных народных сказок и рассказов. Он занимает место в моем сердце рядом с Шекспиром, Гёте и Бетховеном, которых он *заставлял* себя недооценивать» [3].

С этим свидетельством Ромена Роллана перекликаются воспоминания Лиона Фейхтвангера, который с молодых лет восхищался художественными произведениями Толстого («Реализм этих книг, абсолютно ничего

общего не имеющий с натурализмом, раскрыл передо мной новую действительность») и резко отрицательно оценивал его философские сочинения, оттолкнувшие его своим «мистицизмом» и «мрачным пророческим духом» [4].

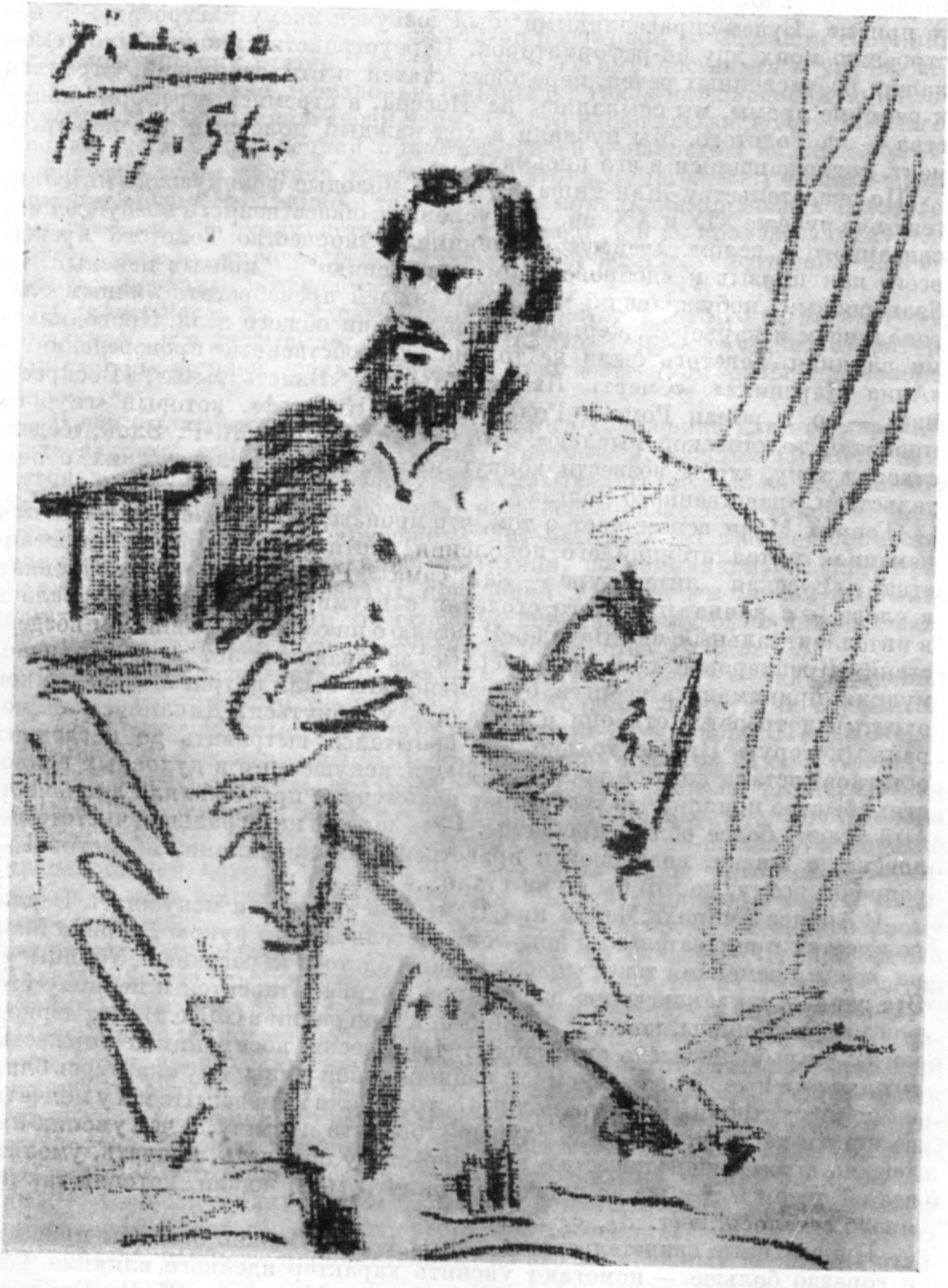
Характерным свидетельством того, насколько резко разграничивался в сознании западных мастеров культуры Толстой как художник-гуманист, протестовавший против социальной несправедливости прежде всего силою образов, и Толстой как проповедник-утопист, глашатай абстрактного милосердия, является краткая статья, написанная Теодором Драйзером в 1928 г., в ознаменование столетия со дня рождения великого русского писателя:

«Непреходящее величие Толстого основано — по крайней мере для меня — не на его социальных и моральных теориях, а на его романах. В них более, чем еще где-либо, светится и продолжает светиться его громадная человечность, — его стремление к лучшей жизни для всех. Но я призываю весь мир, и особенно современную Россию, помнить, что нельзя справиться со сложнейшими проблемами, с которыми сталкивается человечество, посредством одной лишь любви. Ибо жизнь динамична, — она представляет собою явление не только эмоциональное или духовное, но и органическое, — и задачи, которые она ставит, носят не только эмоциональный или духовный, но в такой же мере и практический характер. В этом смысле экономика — или, еще лучше, понимание экономики, — также понимание физики, химии, социологии и биологии представляет гораздо бóльшую важность, чем моральные или религиозные рассуждения или увещания. Ибо,— для того, чтобы человек мог избавиться от власти нищеты и смерти, надлежит действовать осмотрительно. И только знание в сочетании с милосердием (ни в коем случае не одно милосердие) может обеспечить такие осмотрительные действия. Во всех своих романах Толстой ясно показал, каким несчастьям подвергается мир, погрязший в невежестве и блуждающий ощупью. В своих теориях он осознал лишь одну часть истины относительно средств излечения. Я призываю современных русских людей более настойчиво обращаться за руководством и помощью к их экономистам, физикам, химикам и биологам, нежели к их моралистам и религиозным мыслителям» [5].

Все сказанное ни в коем случае не значит, что можно сбросить со счетов *идейное* влияние Толстого на его младших зарубежных литературных современников. Это влияние было очень сильным и при жизни Толстого, на рубеже XIX и XX вв., и после его смерти, например, в годы первой мировой войны. Если западные писатели-гуманисты, будь то Роллан, Франс, Шоу или братья Манны, и отвергали религиозно-утопические идеи Толстого как наивные и нежизненные, то они чутко прислушивались к обличающему голосу автора «Воскресения», «Плодов просвещения», «Крейцеровой сонаты», «Смерти Ивана Ильича». *Критические* элементы мировоззрения Толстого проникали в сознание крупнейших зарубежных писателей не только через его публицистику и философские труды, но и главным образом — через его художественные произведения. Писателям Западной Европы и Америки, в творчестве которых отзывался стихийный протест масс против империализма, была духовно близка толстовская страстная критика, направленная против самых основ собственнического строя жизни, общественного лицемерия, насилия и гнета.

Писатели разных стран воспринимали эту критику по-разному, в свете собственных идейных стремлений и исканий.

По свидетельству американского новеллиста Хэмлина Гарленда, в середине 80-х годов, когда произведения Толстого впервые проникли в США, «вся нация обсуждала проблемы нищеты и пути избавления от нее». Многие американские литераторы оценивали творчество Толстого



ТОЛСТОЙ

Автолитография П. Пикассо

Фронтиспис французского издания романа «Война и мир»
(Léon Tolstoï. «La Guerre et la Paix». Paris, 1956)

главным образом в свете этих проблем. «Его удивительный в своей простоте призыв „Будем справедливыми“ был созвучен моему настроению и настроению моих друзей-реформаторов. Переустройство жизни было темой наших бесчисленных речей, передовых статей и стихотворений. Стремясь к реформе драмы, мы ссылались на Ибсена, а стремясь к реформе общества,— на Толстого. Мы пускали в ход каждый полезный для нас аргумент, содержавшийся в его письмах» [6].

По свидетельству Жан-Ришара Блока, молодые французские интеллигенты на рубеже XIX и XX вв. — в условиях общественного возбуждения, связанного с делом Дрейфуса, — понимали творчество Толстого прежде всего как призыв к «добровольному служению» — призыв неясный, но благородный, побуждавший мыслящих людей пренебрегать личным благополучием и карьерой, жертвовать собой ради общего дела. Проводниками влияния Толстого были не только его собственные произведения — «Анна Каренина», «Смерть Ивана Ильича», «Власть тьмы», «Воскресение», — но и роман Ромена Роллана «Жан-Кристоф», который «глубоко пропитан толстовской мыслью». Этот роман, говорит Ж.-Р. Блок, «содействовал тому, чтобы возвести вокруг нас крепость человеческих обязательств и *нравственного долга*» [7].

Генрих Манн вспоминает о том, что произведения Толстого были для немецкой интеллигенции его поколения противоядием против ницшеанства. «Русская литература — как сама Революция, запечатленная в слове, — с конца прошлого столетия с неумирающей силой ворвалась в интеллектуальный мир Запада. Я помню о ни с чем не сравнимом воздействии „Крейцеровой сонаты“, впервые за двадцать лет заповедь целомудрия принималась всерьез, буквально. Мы были потрясены, скептиков охватывал трепет, хотя они и пытались улыбнуться. Динамическая мораль (которую Ницше только что попытался вытравить до последних остатков) встала во весь рост <...> Люди, искушенные в духовных ценностях, быстро поняли, что требование целомудрия представляло лишь частный аспект более общей проблемы. Речь шла об интегральной чистоте человека, о жизни, согласной с нравственными правилами, об истине! — вопреки всему, во что бы то ни стало...» [8].

В Архиве Генриха Манна при Немецкой Академии искусств в Берлине имеется примечательный документ: переписанный рукою Генриха Манна *полный* немецкий текст «предисловия Толстого к рассказу „Убийцы“»[9]. Эта запись, по заключению работников Архива, относится к периоду второй мировой войны, когда Г. Манн был в эмиграции в США. В этот период, когда старый писатель-антифашист трагически воспринимал торжество гитлеризма и терзался сознанием национальной вины, ему оказалось близки по духу строки Толстого, полные острой боли и гнева: «Не могу молчать, не могу и не могу. Никто не слушает того, что́ я кричу, о чем умоляю людей, но я все-таки не перестаю и не перестану обличать, кричать, умолять все об одном и том же до последней минуты моей жизни, которой так немного осталось...» (т. 37, с. 291).

Приведенные свидетельства и факты — а их можно было бы привести и гораздо больше — помогают уяснить характер идейного влияния Толстого на зарубежных писателей. Ни Генрих Манн, ни Ж.-Р. Блок, ни Х. Гарленд не были толстовцами. Но для них, как и для ряда других писателей гуманистической, демократической ориентации, Толстой был образцом большой моральной чистоты и непримиримости к общественному злу. Он привлекал их как враг угнетателей и защитник угнетенных. Он импонировал им тем, что он умел, по словам Шоу, «поражать безошибочными ударами самые больные места человеческой совести» [10], тем, что он, по словам Анатоля Франса, «с героическим спокойствием, с суровой добротой изобличал преступления общества, все законы которого преследуют

только одну цель — освящение его несправедливости, его произвола» [11]. Ромен Роллан писал в 1901 г., прочитав вышедшие во Франции сборники публицистических статей Толстого: «Я могу ему поставить в упрек, что он подчас несколько произвольно закрывает глаза на современную жизнь и поддается ослеплению своей веры. Но его слово всегда действует благотворно своей великолепной прямотой, своей ненавистью ко всякому лицемерию (как он жестоко отделал императора Вильгельма!) и своим крепким здоровьем» [12]. Именно в таком смысле моральная проповедь Толстого, выраженная и в публицистике, и в художественных произведениях, воздействовала на мировоззрение лучших зарубежных писателей, подчас и на их позицию в общественной жизни.

Однако, когда мы исследуем влияние Толстого на мировую литературу, то главное, что должно нас интересовать, это — специфически литературная сторона вопроса, роль Толстого в художественном развитии человечества.

В чем была притягательная сила Толстого-художника для его младших литературных собратьев за рубежом? Разумеется, каждый писатель чувствовал и понимал его по-своему; тут сказывались не только особенности страны или исторического момента, но и своеобразие творческой индивидуальности каждого из зарубежных литераторов. Но все-таки, сопоставляя различные высказывания, признания, воспоминания, оценки, принадлежащие писателям разных поколений и стран, мы можем выделить самое существенное, — то, что особенно покоряло их и было для них наиболее поучительным в художественном мастерстве Толстого.

«Самый последовательный реализм в литературе» [13], — так определил характер толстовского творчества Ромен Роллан, еще будучи студентом. «Бессмертное здоровье, бессмертный реализм» [14], — говорит Томас Манн. «Я решил, — утверждал в 1895 г. американский прозаик Стивен Крейн, — что чем ближе писатель подходит к жизни, тем выше он вырастает как художник, и большая часть моих прозаических произведений направлена к цели, которая обозначается словом, толкуемым по-разному и нередко произносимым всуе, — реализм. Толстой — писатель, которым я восхищаюсь больше всего» [15]. «Художественная литература может иногда показаться вымыслом, — утверждал У. Д. Гоуэллс в предисловии к первому американскому изданию «Севастопольских рассказов», — только книги Толстого всегда воспринимаются как правда» [16]. Читая Толстого, говорит Стефан Цвейг, «как будто смотришь через открытое окно в реальный мир» [17]. «Ни у одного из повествователей, — писал Дж. Голсуорси в статье о Толстом, — мы не находим такого непосредственного ощущения реальной жизни» [18]. Мысль Голсуорси о том, что секрет мастерства Толстого как стилиста — в умении устранять все барьеры, отделяющие автора от читателя, подкрепляется суждением Б. Пруса о том, что для Толстого каждое слово — это «телеграфный провод, протянутый от автора к читателю» [19]. Отмечая необычайную безыскусственность языка и художественной манеры Толстого, его строгую простоту, усиливающую достоверность его образов, наиболее проницательные из его зарубежных ценителей отдавали себе отчет, что эта простота — результат громадной творческой работы над словом. Любопытно замечание Марии Конопницкой, содержащееся в ее рукописном вступлении к конспекту «Крейцеровой сонаты»: «По простоте стиля можно догадаться, что и над формой и над содержанием велась большая работа» [20].

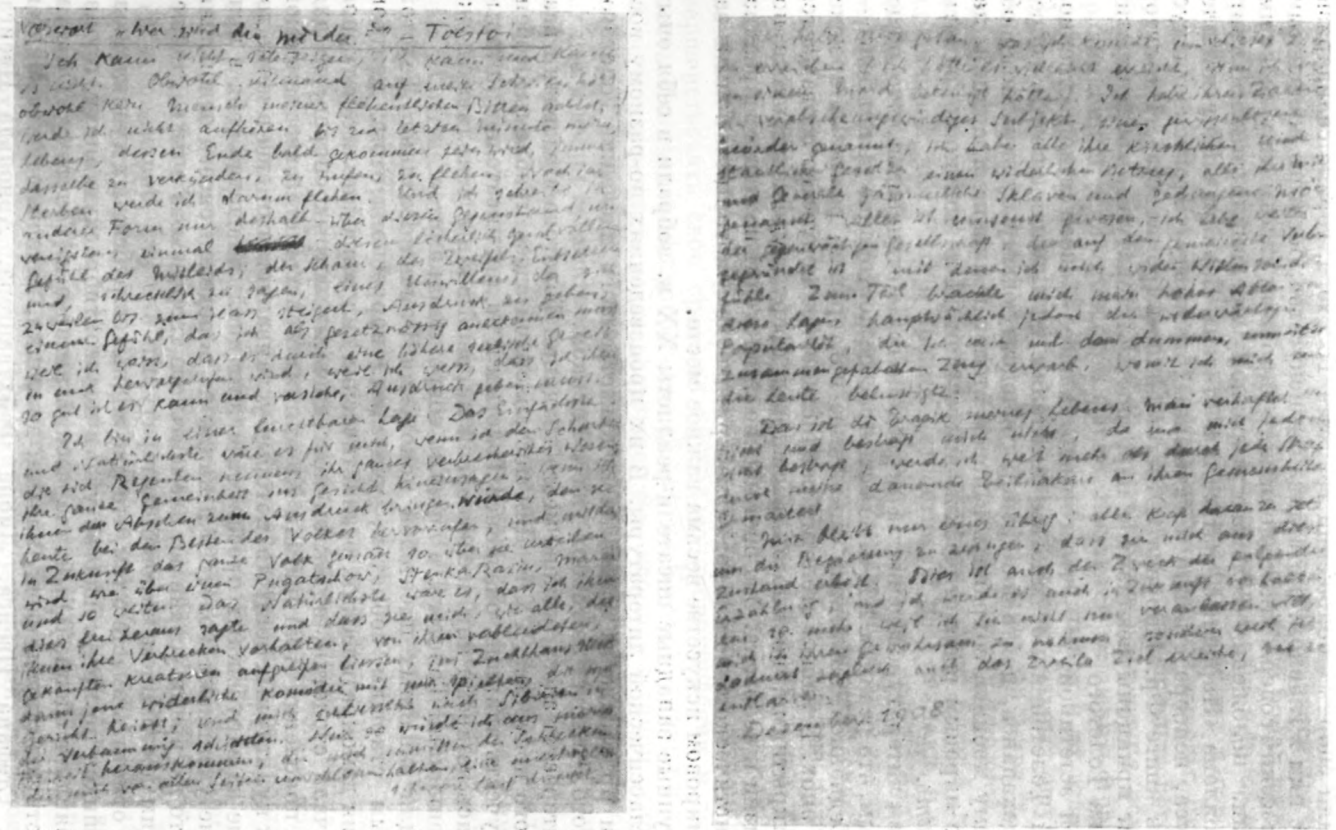
Взгляд на Толстого как на великого художника-реалиста, умеющего воссоздавать подлинную жизнь необычайно правдиво, осязаемо, наглядно, без лишних украшений, с высокой пластической выразительностью, прочно утвердился и в литературной критике, и— шире — в международном общественном мнении. То, что в 80-е годы прошлого века в студенческих

дневниковых записях молодого Роллана или в первых статьях У. Д. Гоуэлл-са о Толстом было личным суждением, личным первоначальным впечатлением зарубежных почитателей Толстого, — теперь стало почти общим местом. Высокие оценки Толстого именно как мастера реалистического искусства можно встретить и у писателей и критиков, не разделяющих прогрессивных общественных идей. Так, известный французский беллетрист академик Андре Моруа (который еще в 1928 г. в романе «Климаты» варьировал на свой лад некоторые элементы сюжета «Анны Карениной» и «Семейного счастья») пишет в предисловии к новому парижскому изданию «Войны и мира»: «Я считаю „Войну и мир" прекраснейшим романом, который когда-либо был написан, в любое время и любой стране... Здесь, на протяжении тысячи пятисот страниц, создан целый мир. Столь же подлинный, как реальный мир. Еще более подлинный» [21].

Есть основание согласиться со Стивеном Крейном в том, что термин «реализм» подвергается разным толкованиям и что иногда им пользуются всуе. Но все же писатели и критики разных стран, которые видят в Толстом великий образец реализма, вкладывают в это слово достаточно ясный смысл. Речь идет не только о реалистичности художественной *манеры* Толстого, о достоверности, зримости, полном жизнеподобии его образов, безыскусственности стиля, но и, что гораздо важнее, о реализме как *методе*, о художественном постижении жизни в ее глубоких внутренних связях и закономерностях. Единодушность суждений крупных писателей разных стран о силе толстовского реализма помогает уяснить то *главное* направление, по которому идет воздействие Толстого на мировую литературу.

Начало мировой славы Толстого приходится на те десятилетия, когда принципы реалистического отображения действительности стали подвергаться резким атакам. Если теоретики натурализма опошляли, принижали само понятие художественной правды, компрометировали его своей вульгаризацией, то литераторы декаданса вовсе отрицали и перечеркивали это понятие. Толстой-художник своей творческой практикой *поддержал авторитет реализма*, показал, какие великие возможности таятся в этом методе, который к концу XIX в. казался иным интеллигентам на Западе опороченным и исчерпанным. На рубеже двух столетий Толстой поддержал авторитет правдивого, содержательного искусства и в прямой публицистической форме, — своими выступлениями против декаданса. Трактат «Что такое искусство?», вызвавший громадный международный резонанс, способствовал размежеванию сил среди западной художественной интеллигенции, помог многим литераторам и художникам определить свое место в борьбе враждебных идейно-эстетических лагерей.

Стоит привести хотя бы один пример, показывающий, какую ярость вызвал трактат Толстого в декадентском антиреалистическом стане. Сар Пеладан, реакционер и мистик, один из французских литераторов, непосредственно задетых критикой Толстого, ответил ему книгой, исключительно грубой по тону. Пеладан сердито отверг идеи Толстого об искусстве как одном из условий человеческой жизни и средстве общения людей между собой. «Искусство начинается там, где кончается жизнь ⟨...⟩ С помощью искусства ⟨...⟩ люди общаются с потусторонним миром, а не друг с другом». В книжке Пеладана десятки раз повторяется — и всегда в резко полемическом контексте — слово «мужик». «Толстой хочет, чтобы литература услаждала мужика, а не образованных людей. Однако привилегированные всегда будут...» Пеладан решительно возражал против толстовского тезиса о передаче эмоций через художественное произведение. «Искусство должно избегать слишком большой заразительности — иначе оно станет воплощением бунта и насилия...» [22] Так в выступлении Пеладана против Толстого обнажались социальные корни декадентской эстетики.



«ПРЕДИСЛОВИЕ К РАССКАЗУ „УБИЙЦЫ“» — НЕМЕЦКИЙ ПЕРЕВОД, ПЕРЕПИСАННЫЙ РУКОЙ ГЕНРИХА МАННА, 1940-е гг.
Немецкая Академия искусств, Берлин (ГДР)

Если литераторы модернизма проявляли крайне враждебное отношение к эстетике Толстого, а подчас и к его личности, и к его творчеству, то крупные писатели-реалисты разных стран, возражая против отдельных наивных или спорных положений трактата Толстого, горячо солидаризировались с ним в главном: в отстаивании искусства, богатого жизненным, гуманистическим содержанием, понятного народным массам и нужного им. Эстетические положения Толстого по-разному преломились и в книге Ромена Роллана «Народный театр», и в статьях Бернарда Шоу и Болеслава Пруса, непосредственно посвященных трактату «Что такое искусство?», и в книге Фр. Норриса «Ответственность романиста», где автор утверждает принципы реализма и народности литературы, неоднократно ссылаясь на Толстого [23].

И своей эстетикой, и — что гораздо важнее — своей художественной практикой Толстой помог многим писателям на Западе устоять перед напором декаданса, пойти наперекор господствующему буржуазному общественному мнению, сохранить в новом столетии лучшие традиции, накопленные мировым реалистическим искусством. И не только сохранить, но и *развить*.

В нашем литературоведении за последние годы становится уже общепризнанным, что реализм XX в. не есть простое повторение (а тем более — не есть обедненное, эпигонски сниженное повторение) реализма предшествующих эпох. В нашем столетии реалистическое искусство обогащается новыми открытиями, во многом расширяет сферу художественного познания жизни и человека. Это обогащение происходит не только в реализме социалистическом, но и в реализме критическом, который и поныне занимает в мировом искусстве весьма важное место.

Все крупные западные писатели-реалисты XX в. вобрали в себя опыт русской классической литературы. В их произведениях по-разному восприняты и преображены элементы художественного наследия Толстого, Достоевского, Чехова, не говоря уже о Горьком.

Нас интересует здесь, каково место традиций Толстого в развитии реалистического искусства XX в. Для поставленной здесь проблемы особенно важно учесть влияние, оказанное Толстым и на тех писателей, которые выдвинулись во время или после первой мировой войны и являются уже не современниками Толстого, а *нашими* современниками.

Если для западных писателей поколения Ромена Роллана Толстой был живым старшим собратом, учителем, корреспондентом, центром притяжения демократических, реалистических сил в идейно-литературной борьбе начала столетия, объектом повседневных острых споров, то для писателей поколения Арагона или Хемингуэя Толстой стал неотъемлемой частью тех культурных богатств, которые усваивались ими еще в юные годы. Многие из зарубежных прозаиков наших дней, не считая себя в прямом смысле учениками Толстого и никак не определяя своего отношения к нему, в то же время усваивают элементы его творческого опыта, ставшего всеобщим достоянием мировой литературы.

Важно отметить вместе с тем, что ряд видных зарубежных художников, выдвинувшихся по преимуществу уже в послеоктябрьскую эпоху, проявлял и проявляет специальный творческий интерес к Толстому. Об этом свидетельствуют статьи, речи, письма, дневники, интервью Роже Мартен дю Гара, Стефана Цвейга, Лиона Фейхтвангера, Арнольда Цвейга, Эрнеста Хемингуэя, Луи Арагона, Анны Зегерс, Юлиуса Фучика, Марии Пуймановой и других видных писателей разных стран, — мастеров критического или социалистического реализма. По высказываниям этих писателей мы можем судить о том, какую важную роль сыграл Толстой в их духовной жизни, в их идейно-эстетических исканиях. А следовательно — и в их творческом развитии.

ТОЛСТОЙ И СУДЬБЫ БОЛЬШОГО РОМАНА

В ходе литературно-эстетических споров последних лет то и дело поднимается вопрос о значении традиций реализма прошлого столетия для современной литературы. Чаще всего вопрос этот ставится применительно к большому повествовательному жанру. Современный роман не может быть простым повторением романа XIX в., — это положение в такой общей форме признается писателями и критиками разных идейных лагерей. Однако из этого бесспорного тезиса делаются весьма разные выводы. Литераторы-модернисты (скажем, приверженцы «новой школы» французского романа — Н. Саррот, М. Бютор, А. Роб-Грийе) требуют *разрушения* романа в его традиционной реалистической форме, пытаются подменить правдивое повествование о социальной действительности, о людях и их взаимоотношениях в обществе хаосом иррациональных подсознательных ощущений или монотонной вереницей описаний внешнего, зримого мира [24]. Писатели прогрессивные ставят вопрос о *преобразовании* традиционной формы романа. Современная жизнь усложнилась, стала более бурной, подвижной, изменчивой, чем была в прошлом столетии. И рост техники, и великие социальные события и сдвиги нашего века — все это требует большой динамичности повествования и в то же время включает в поле зрения писателя множество новых разнородных факторов, управляющих судьбою личности. Усложнился и внутренний мир человека, да и наше представление об этом мире, благодаря успехам современной психологии, стало более комплексным и многообразным. Все это не значит, что роман должен отказаться от познания действительности, а значит лишь, что он должен совершенствовать свои средства глубокого проникновения в действительность. Итальянский прогрессивный критик Карло Салинари в своей статье «Проблемы романа» резко возражает тем, кто перед лицом усложнившихся задач искусства объявляет действительность непознаваемой и бежит от нее в дебри субъективистских представлений. «В общем, нам представляется очевидным, что сегодня нельзя писать романы так, как их писали в XIX в., но не менее очевидным кажется нам, что и сегодня нельзя писать их без двух элементов, являющихся основой любой прозы, а именно *идеологического стержня*, на котором держится произведение, и *героя*, духовное развитие которого идет по мере развития его судьбы» [25].

Есть все основания согласиться с этим. Но можно поставить под сомнение категорическое утверждение Салинари о «кризисе романа XIX века». Само собой разумеется, что повествовательное искусство не стоит на месте, что оно отражает перемены, происходящие в социальной действительности. Однако практика литературной жизни XX в. подтверждает *ценность* реалистических традиций, унаследованных от прошлого столетия, наперекор декадентским разрушителям романа.

В критической литературе нередко можно встретить формулу «роман Бальзака или Толстого» [26]. В известном смысле это сочетание имен вполне закономерно, так как идет речь о вершинах романа XIX в. Но необходимо иметь в виду, что Толстой обозначил *новую ступень* развития реализма по сравнению с Бальзаком. И именно те новаторские черты, которыми Толстой обогатил повествовательное искусство своего времени, оказались особенно важны для развития романа XX в.

Эпоха империализма и пролетарских революций потребовала от писателей расширения социального кругозора. Она вызвала у многих видных художников стремление глубже вдуматься в судьбы общества, поставить развитие личности в возможно более тесную связь с судьбами народов и человечества в целом. Показательно, что именно эти художники — каждый на свой лад — учились у автора «Войны и мира».

Новаторство Толстого-романиста по-разному отозвалось в классических произведениях западноевропейского романа XX в. — «Будденброки», «Современная история», «Жан-Кристоф», «Сага о Форсайтах». Эти произведения очень непохожи одно на другое Но в них есть и нечто общее, что отличает их от романов бальзаковского или диккенсовского образца. В них более интенсивно и живо ощутим ритм истории. В них есть широта эпического дыхания, какой не было ни в «Отце Горио», ни в «Давиде Копперфильде», ни в «Госпоже Бовари» (мы имеем здесь в виду именно *отдельные* произведения, а не творчество Бальзака или Диккенса *в целом*). Эта широта эпического дыхания сказывается не только в монументальности формы, в большом объеме многотомных произведений, включающем ряд самостоятельных сюжетных линий, эпизоды частной и общественно-политической жизни,— но прежде всего и в том, насколько судьбы героев, их духовное развитие *непосредственно* обусловлены большими историческими сдвигами в жизни народов. Специфика литературы XX в. проявляется в этих произведениях и в другом: их авторы глубоко проникают в тайники сложных переживаний личности, уделяют много внимания интеллектуальному миру героев.

Новаторские тенденции, сказавшиеся в западном романе с начала XX в. и тесно связанные с влиянием Толстого, получили еще более заметное и широкое развитие после Великой Октябрьской революции. Новое соотношение классовых сил в мире, невиданное возрастание исторической активности народных масс создавало новый идейный климат. Для развития повествовательного искусства все это было очень существенно. Сама жизнь стимулировала и облегчила развитие романа-эпопеи — большого повествовательного жанра, передающего логикою сюжета поступательное движение истории, влияние общественных событий на отдельных людей, роль личностей и масс в историческом процессе.

Советские исследователи уже не раз писали о том, как разнообразно преломились принципы Толстого-повествователя у художников социалистического реализма, создавших монументальные романы о жизни и борьбе народа, прежде всего у русских писателей (Горький, Шолохов, Ал. Толстой, Федин, Фадеев), а также у писателей зарубежных: достаточно назвать «Коммунисты» Арагона. Само собой разумеется, что у каждого из этих романистов толстовская традиция преобразуется, обогащается на основе нового идейного содержания и нового жизненного материала.

В зарубежной литературе последних десятилетий мы находим и у писателей критического реализма (например, у Роже Мартен дю Гара, в «Успехе» Л. Фейхтвангера, в антивоенном цикле романов А. Цвейга) плодотворные поиски в области большого социально-психологического романа.

Творческая близость Роже Мартен дю Гара к Толстому давно отмечена критикой [27]. Но имеются существенные разногласия по вопросу о том, в чем видеть эту близость. Известный французский писатель Альбер Камю в большом вступительном очерке к собранию сочинений Роже Мартен дю Гара писал: «Мартен дю Гар разделяет с Толстым вкус к живым существам, искусство рисовать их в их плотской заурядности и умении прощать,— добродетелях, ныне вышедших из моды». Различие же между обоими писателями Камю видел в том, что мир героев Толстого объединен верой, тяготением к «вечности», в силу которого все эти герои «в конце концов становятся на колени»,— а творчество Мартен дю Гара, как и общество, изображаемое им, одушевлено сомнением, разочарованием в могуществе разума [28]. Автор недавно появившейся монографии о Роже Мартен дю Гаре, Клеман Боргаль считает, что французский романист научился у Толстого проникновению в мистическую сущность бытия и самые темные подспудные глубины человеческой души. Так буржуазные ценители

Мартен дю Гара толкуют его наследие, а заодно и наследие Толстого, в духе декадентского иррационализма.

Такая трактовка преемственных связей Роже Мартен дю Гара с Толстым, уже вызвавшая обоснованные возражения в советской печати [29], не выдерживает элементарной проверки фактами. Она опровергается прежде всего высказываниями самого Мартен дю Гара о Толстом. Автор «Семьи Тибо» много раз, по разным поводам, говорил о Толстом как о художнике, у которого он учился ясному и трезвому постижению действительности, правдивому воссозданию ее. Не иррационализм, не субъективизм, а глубокая достоверность в изображении человеческих характеров,— вот что было дорого Мартен дю Гару в Толстом; недаром он, задумываясь над различными способами обрисовки персонажей, записал в дневник: «Школа Толстого, а не Пруста...» [30]

В раннем романе Роже Мартен дю Гара «Становление» начинающий литератор Андре Мазерель читает «Анну Каренину». «Давно уже он не испытывал наслаждения столь живого, столь здорового; он словно погрузился в освежающую ванну после бега; все там было подлинным, кристально-чистым, глубоким. Целую неделю он сидел взаперти — пленником Толстого. Он жил в непосредственной близости с Анной, Вронским, Левиным, забыв обо всем на свете. Все другие произведения, которые нравились ему раньше, с этих высот показались ему ничтожными, вымученными, лишенными красок». Прочитав Толстого, Андре мечтает о своих будущих книгах. Он чувствует себя «рожденным для создания гигантских произведений». Ему хочется «писать, не стесняя себя никакими преградами и условными рамками! Дать развернуться живой творческой силе художника! Создавать человеческие существа, щедрой рукой, без счета! И,— вольным накоплением фактов, стихийным богатством деталей,—воссоздавать Жизнь!» [31]

Андре Мазерель терпит неудачу в своих замыслах. Но эпизод с чтением «Анны Карениной» представляет интерес и безотносительно к его судьбе. Ведь сам Роже Мартен дю Гар рассказывает в своих «Воспоминаниях» о том, каким большим, решающим событием его писательской жизни было «открытие Толстого». «Моя безусловная приверженность к роману как литературной форме, в частности к большому роману с многочисленными героями и множеством эпизодов, сложилась у меня после чтения „Войны и мира“〈...〉 Я считаю, что для будущего романиста Толстой является наилучшим учителем». И дальше Роже Мартен дю Гар говорит о поразительной проницательности Толстого, о его умении разглядеть подлинную сущность человека. Сила Толстого — не в «технике», не в нарочитых литературных приемах, а в умении «смотреть вглубь» [32].

Воспоминания и письма Роже Мартен дю Гара дают возможность судить о том, как Толстой помогал ему в решении конкретных творческих вопросов. В ходе работы над «Жаном Баруа», а впоследствии над «Семьей Тибо» романист задумывался над тем, как сочетать повествовательную и сценическую форму изображения действительности. «Если бы я не был в ранней юности зачарован Толстым, я, конечно, обратился бы в первую очередь к драме». В романе Мартен дю Гар хотел добиться той же силы пластического изображения людей, какою обладают герои драмы, исполняемой перед зрителями. «Читая современные пьесы, я пришел к мысли, что при условии совершенно естественного диалога литературный персонаж может восприниматься читателем с такой же силой убедительности, как актер на сцене. Мне казалось также необходимым давать точные указания относительно движений, жестов, выражения лица и некоторых интонаций действующих лиц. Так возникло во мне убеждение, что можно сочетать преимущества романа (его свободу, диапазон, разнообразие средств и оттенков) с преимуществами драматического искусства (ощущение

реальности, получаемое благодаря тому, что мы видим на сцене живых людей — актеров)» [33].

В «Семье Тибо» нет того засилья диалогов, каким, по самому замыслу своему, отличается «Жан Баруа»: романист в ходе своей работы отказался от крайностей, которых не мог избежать вначале, широко вводя сценический элемент в действие. Но само направление исканий Роже Мартен дю Гара в высшей степени интересно и показательно. Растущее взаимопроникновение эпического и драматического действия является, как показывают новейшие исследования, характерной тенденцией развития романа конца XIX—XX вв.; оно вызвано внутренней логикой движения романа ко все более объемному, многогранному воспроизведению частной и общественной жизни людей. «Роман не только „предоставляет слово" героям, включая в неслыханных ранее масштабах диалог и массовые сцены, роман еще делает зримыми совершающиеся в этих сценах поступки и движения; причем делает это с полнотой и меткостью, приводящей в отчаяние даже больших актеров, которым приходится играть инсценировки романов...» Так, «в эпически повествовательной оболочке развивается непосредственно ей противоречащая драматическая форма» [34]. Роже Мартен дю Гар творческим прозрением большого художника почувствовал это противоречие и попытался на свой лад разрешить его в «Семье Тибо».

Внедрение элементов драмы в роман очень характерно для Толстого, он в этом смысле действовал решительнее и смелее, чем его русские и западные предшественники. В «Войне и мире» целые главы, при внимательном их прочтении, поддаются разбивке на реплики и ремарки; развернутые сценические эпизоды естественно включаются в эпическое повествование [35].

Влияние Толстого отвлекло Роже Мартен дю Гара от драмы как самостоятельного рода искусства, но опыт Толстого-повествователя содействовал автору «Семьи Тибо» в разработке современной формы романа, насыщенной «совершенно естественными» диалогами, отличающейся большой конкретностью в передаче внешности, жестов, интонаций действующих лиц. В «Семье Тибо» много таких сценических эпизодов, где развернутые авторские комментарии-ремарки дают возможность наглядно представить себе зримый облик персонажей, их мимику, движения, поступки, отражающие в себе особенности характера. Пластичность изображения оказывается, как у Толстого, важным средством психологической обрисовки людей, обогащая и дополняя содержание диалогов.

Внимание к зримому облику людей, к их мимике, жестам, поступкам, сопровождающим диалог, нередко помогает Роже Мартен дю Гару тонко и ненавязчиво разоблачить неискренность, ложную аффектацию в поведении его персонажей: жесты не только дополняют произносимые людьми слова, но и корректируют их или ставят под сомнение (вспомним, как адвокат в «Анне Карениной» ловит моль во время доверительной беседы с клиентом). Таков эпизод в «Лете 1914 года», где пастор Грегори, разбуженный среди ночи, готовится идти к умирающему Жерому де Фонтанену. «Человек божествен! — проворчал Грегори, прислонившись к стене и согнувшись, чтобы натянуть носки.— Христос знал в сердце своем, что он божествен! И я также! И все мы тоже! Человек божествен! — Он всунул свои ноги в большие черные башмаки, которые так и оставались зашнурованными〈...〉—Бог —все и во всем! Бог!.. Высший источник света и тепла! —Победным жестом он снял свои брюки, висевшие на крючке...» [36].

Роже Мартен дю Гара всегда привлекала задача «создавать живые существа», как говорит герой его ранней книги. Осмысливая опыт Толстого, он приходил к выводу о преимуществах объективного способа повествования — не от лица одного из героев, а от лица автора. «Разве Толстой смог бы создать такой разносторонний, всеобъемлющий образ, как об-

ДОРОГА НА СМОЛЕНСК
Автолитография А. Доббенбурга
Иллюстрация к изданию романа «Война и мир» на голландском языке (L. N. Tolstoi «Oorlog en Vrede». Arnhem, 1949)

раз Наташи, если бы мы знакомились с ним только по „Дневнику князя Андрея" или по „Записным книжкам Пьера Безухова", то есть если бы она предстала перед нами такой, какой ее видит определенный человек, имеющий свои вкусы, свои предубеждения?» [37] Точно так же, размышлял романист, были бы обеднены и Женни или г-жа де Фонтанен из «Семьи Тибо», если бы читатель смотрел на них только глазами Жака или Антуана.

Работая над «Семьей Тибо», Мартен дю Гар мучительно задумывался над тем, как совместить интеллектуальный характер романа с художественной пластичностью, полнотой психологических характеристик. «Жан Баруа» во многом не удовлетворял его — книга оказалась слишком рассудочной, слишком перегруженной документами, дискуссиями, философским и социологическим материалом. Вместе с тем писатель отдавал себе отчет, что современный роман требует серьезного интеллектуального содержания. Ему хотелось написать книгу, не столь диаметрально противоположную Толстому, как «Баруа»; книгу, которая (с учетом всех масштабов) будет «того же плана», что «Анна Каренина» [38]. В Толстом он видел образец художника, умеющего ставить большие проблемы, не становясь при этом отвлеченным и сухим. «Разве „Война и мир" не насыщена, не полна до краев мыслью? Однако ее нельзя назвать „книгой идей", как „Баруа"...» [39].

Мартен дю Гар стремился, не ослабляя внимания к умственной жизни героев и большим общественно-философским вопросам современности, возможно глубже раскрыть эмоциональную природу человеческих существ; он хотел, чтобы его герои обладали яркой индивидуальностью и богатством

характера, чтобы они не сводились к школьному представлению о литературном типе. Он вспоминал о Толстом и в этой связи. «Я думаю о Толстом, создавшем иных персонажей, чем Бальзак; это уже не „типы" — некие литературные копии жизни (то, что принято именовать „характерами", когда в классе риторики анализируют „Мизантропа"), а подлинно живые существа, которые не могут быть названы типами, поскольку они слишком подлинны, чтобы быть сущностями, абсолютами, чтобы на них можно было наклеить этикетку. И что ж, фантазия не помешала ему упорядочить свое произведение. *План* в „Войне и мире", в этом месиве событий и людей, *изумителен*, я его с каждым новым чтением понимаю все лучше, нахожу все более законченным. Какое произведение! Это непревзойденная *книга*» [40]. Нельзя принять утверждение Мартен дю Гара о том, что герои Толстого вовсе не могут быть названы типами. Но он был глубоко прав, когда видел в толстовском человековедении нечто новое по сравнению с Бальзаком. Он прав был, конечно, и тогда, когда отмечал в толстовской эпопее (не раз смущавшей французских критиков сложностью структуры, обилием событий и лиц) высокое композиционное мастерство.

Когда говорят о чертах влияния Толстого в «Семье Тибо», возникает искушение — сказать прежде всего о тех персонажах Мартен дю Гара, которые наиболее непосредственно напоминают тех или иных толстовских персонажей. Так, в образе Жерома де Фонтанена — беспечно-жизнерадостного, добродушно-эгоистического — узнаются черты Стивы Облонского; весь характер отношений Фонтанена с женой, весь уклад их семейной жизни, в которой то нарушается, то восстанавливается равновесие, представляет развитие толстовского мотива «все смешалось в доме Облонских». Так, юная Жиз, воспитанница, вырастающая в семье Тибо, терпеливо и покорно влюбленная в кузена Жака, сама себя обрекающая на полузависимое существование,— имеет нечто общее с Соней из «Войны и мира». Но элементы толстовского влияния проявляются у Роже Мартен дю Гара не столько в этом прямом сходстве, сколько в способе изображения характеров. Персонажи «Семьи Тибо» рисуются в их подвижности, текучести, противоречивом сочетании хороших и дурных качеств. Романист сурово осуждает паразитическое поведение Жерома, трезво раскрывает то ограниченное, рабское, что присуще натуре Жиз. Но он дает почувствовать и те обаятельные свойства, которые могли привлекать к этим его персонажам симпатии окружающих.

Преемственная связь с Толстым особенно наглядно проявляется у Роже Мартен дю Гара в обрисовке Оскара Тибо. Это тип резко отрицательный и вместе с тем психологически многогранный. Своим карьеристским честолюбием, своей непоколебимой верой в прочность официальных общественных устоев, своим мелочным деспотизмом по отношению к близким,— всем этим он напоминает Каренина (определение, которое дает ему сын Жак — «величественная карикатура» — как-то перекликается со словами Анны о муже— «злая машина»). Вслед за Толстым Мартен дю Гар смело накладывает «тени» — наделяет старого Тибо чертами, казалось бы, противоречащими основной характеристике образа, но на самом деле дополняющими и обогащающими ее. Оскар Тибо безукоризненно честен, трудолюбив. Ему свойственно сознание долга и даже — на свой лад — привязанность к семье. Он в разные моменты повествования поворачивается к читателю разными гранями, обнаруживает порою проблески добрых чувств, но это отнюдь не отменяет критической авторской оценки.

В описании смерти Оскара Тибо можно различить мотивы из разных произведений Толстого. Атмосфера ожидания смерти, переживания родственников, утомленных затянувшейся агонией, сложность отношений взрослых детей с умирающим отцом,— все это дано у Мартен дю Гара с большим богатством психологических и бытовых деталей, приобретающих

то возвышенно-трагическую, то снижающе-прозаическую окраску. Тут — при всей безукоризненной точности французского национального колорита — вспоминается и кончина старого князя Болконского, и умирание Николая Левина, но наиболее очевидна здесь — в самой постановке социально-философской проблемы — близость к «Смерти Ивана Ильича». Романисту удается, идя по следам Толстого, последовательно и проникновенно передать чувства умирающего, драматизм самого процесса постепенного угасания старого, измученного болезнью человека; и ему удается, вместе с тем, добиться острейшего обличительного антибуржуазного эффекта. Подобно Ивану Ильичу, который перед смертью убеждается, что он «жил не так, как должно», Оскар Тибо мучительно осознает, что́ представляла собой вся его жизнь: «нечестие, притворство, ложь, ложь!» [41].

Страх смерти, которым охвачен Тибо, его ощущение своей беспомощности и бессилия перед неминуемым концом, пробуждение в нем чувства стыда за прошлое, — все это отнюдь не примиряет нас с ним. Напротив, жалкий, унизительный конец Оскара Тибо с безжалостной суровостью обнажает порочность того социального уклада, опорой и духовным рабом которого он был в течение всей своей долгой жизни.

Строгость к человеку вырастает у Мартен дю Гара из его веры в человека; и в этом он как художник-гуманист близок Толстому.

Во французской литературе критического реализма мало произведений, где так преобладали бы персонажи положительные, или во всяком случае наделенные добрыми человеческими задатками. Мартен дю Гар далек от идеализации, он ни в коей мере не скрывает слабостей и ошибок, свойственных основным героям его романов. Но он наделяет их теми качествами, которые особенно ценил Толстой: внутренней правдивостью, цельностью, полнотой ощущения жизни. Эти качества — в разной степени — свойственны и Жаку, и Антуану, и Женни де Фонтанен, и ее брату Даниэлю, отчасти даже и Жиз.

Так возникает в большом повествовании Роже Мартен дю Гара *атмосфера нравственного здоровья*, столь резко выделяющая этот роман среди многих произведений новейшей французской прозы, в большей или меньшей мере затронутых веяниями декаданса. Роже Мартен дю Гар судит общество и людей с позиций здорового, неиспорченного человека, с этим связана острота его социального критицизма.

Притом этот социальный критицизм проявляется у Роже Мартен дю Гара так, как он может проявиться у большого писателя-реалиста *двадцатого* века. Для автора «Семьи Тибо» буржуазный строй — не тягостная неизбежность, а *отживший* общественный уклад. Проблема преобразования жизни не решается Мартен дю Гаром в революционном духе. Но эта проблема стоит перед писателем и его главными героями остро, мучительно, неотступно. И в этом смысле — как уже отмечено прогрессивной критикой — «Семья Тибо» знаменует нечто новое в развитии французского реалистического романа [42].

Понятно, что в постановке социально-политических проблем Роже Мартен дю Гар шел не от Толстого, а от французской и международной действительности XX в., точнее — от действительности 30-х годов (последние томы романа создавались перед второй мировой войной, в годы подъема Народного фронта во Франции). Однако художественный опыт Толстого приобрел для Мартен дю Гара особенно важное значение именно в связи с тем, что автор «Семьи Тибо» поставил перед собой новаторские задачи.

Работая над седьмой частью своего романа, «Лето 1914 года», Мартен дю Гар писал в частном письме: «Никто не узнает, чего мне стоило сплести все эти нити: французскую политическую жизнь, европейскую политическую жизнь и личную жизнь моих персонажей...» [43] Вот это «сплетение

нитей», насыщение романа актуальной *политической* проблематикой, и делает «Семью Тибо» по-настоящему современным произведением. И вместе с тем — произведением, внутренне глубоко связанным с толстовской традицией.

Мартен дю Гар, как мы помним, особо восхищался умением Толстого подчинить громадное повествование единому *плану*. В «Войне и мире» главным организующим началом, двигателем сюжета является большое событие всенародной жизни. В «Семье Тибо», начатой в рамках семейного романа, большая социально-политическая тема постепенно становится главенствующей. Она не поглощает, не уничтожает личный мир героев, а, напротив, придает изображению этого личного мира новую объемность и глубину. И при всем этом повествование не дробится, не становится разбросанным и мозаичным, а сохраняет свою целостность. Организующая авторская рука остается твердой до конца.

Если в «Войне и мире» война с Наполеоном, вторгаясь в жизнь народа, по-новому направляет личные судьбы героев, ставит перед ними новые вопросы, обогащает их духовную жизнь, определяет дальнейшие пути их внутреннего развития, то в «Семье Тибо» аналогичную роль играет первая мировая война. (Само собой разумеется, что отношение к войне персонажей Толстого и Мартен дю Гара различно, поскольку в «Семье Тибо» в отличие от «Войны и мира» идет речь не о защите родины, а о преступной империалистической бойне.) В «Войне и мире» главной кульминацией повествования является Бородинское сражение. Вокруг него группируются менее крупные кульминационные точки — события личной судьбы героев, так или иначе связанные с войной (смерть старого князя Болконского, встреча княжны Марьи с Николаем Ростовым, ранение князя Андрея и его примирение с Наташей, смерть Элен, пребывание Пьера в плену). В «Семье Тибо» такой главной кульминацией становится начало войны — конец июля 1914 г. И здесь нити личных существований отдельных людей вплетаются в ткань исторической действительности. Встреча братьев Тибо после долгой разлуки, смерть Жерома де Фонтанена, сложные перипетии отношений Антуана и Жака, Жака и Женни, мобилизация Антуана, разъезды Жака по заданиям социалистической организации, а затем его подвижническая гибель,— все это в непринужденном сочетании с массовыми сценами и хроникой предвоенных событий придает повествованию в его предпоследней, седьмой части новую силу не только сюжетной, но и идейной напряженности. У Роже Мартен дю Гара, как и у Толстого, большое событие государственной и народной жизни, затрагивающее судьбы миллионов людей, необычайно повышает духовный уровень главных героев, побуждает их мерять свои чувства и поступки новыми, более крупными масштабами. Динамика интимных переживаний вступает в тесную причинную связь с динамикой исторического движения народов. Среди тревог и волнений предвоенных дней вспыхивает внезапная, громадная по своей силе, глубокая и человечная любовь Жака и Женни. В эти же дни Антуан решает порвать свои отношения с пошлой светской дамой Анной де Баттенкур. («Трагические события, волновавшие Европу, отчасти способствовали этому отдалению,— словно его связь с этой женщиной была ниже уровня каких-то новых чувств, не подходила к масштабу событий, потрясавших мир» [44].)

Эпилог «Семьи Тибо», как и эпилог «Войны и мира», казалось бы, возвращает повествование в русло частной жизни. Но это уже *иная* частная жизнь. И для Женни и для Антуана коренные вопросы общественного бытия и личной морали ставятся иначе, чем ставились до войны. Мир изменился, и перед героями романа неясно, но властно встает перспектива его дальнейшего изменения. Романист усиливает ощущение непрерывного поступательного движения действительности, вводя в эпилог образ

мальчика Жан-Поля, который, по мнению его близких, продолжит дело отца, бунтаря Жака. (Вспомним слова Николеньки Болконского, которыми кончается действие «Войны и мира»: «Отец! Да, я сделаю то, чем даже *он* был бы доволен...».) Последняя строчка «Семьи Тибо» — лаконичная запись в дневнике умирающего Антуана: «Жан-Поль».

В свое время молодой Ромен Роллан, читая в первый раз «Войну и мир», был озадачен необычностью строения толстовской эпопеи: его смутило, что повествование, где идет речь о столь громадных исторических событиях, начинается и завершается эпизодами, не соответствующими, как будто бы, масштабам этих событий. «Меня вначале сбили с толку, — вспоминал он,— некоторые архитектурные особенности, таинственное величие которых я впоследствии постиг:—вход и выход через маленькие двери, причем последняя дверь так и остается открытой 〈...〉 Начало и конец показались мне несоразмерными с грандиозностью здания в целом 〈...〉 Потом я понял 〈...〉 Уже при этом первом чтении я смутно чувствовал: произведение не начинается и не кончается, как сама жизнь. Да оно и есть жизнь, всегда движущаяся» [45].

Прочитав в 1940 г. окончание «Семьи Тибо», Роллан писал Роже Мартен дю Гару: «В последней строке — последнее слово надежды, возобновления: ребенок — точно закрываешь „Войну и мир“» [46]. Роллан почувствовал в романе своего младшего собрата — в перспективности, масштабности, историческом оптимизме этого произведения — близость к традиции Толстого, столь дорогой ему самому.

ТОЛСТОЙ И ТЕМА ВОЙНЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

В статьях зарубежных писателей и критиков нередко встречаются две различные, вовсе не взаимоисключающие оценки «Войны и мира»: «лучший роман, какой когда-либо был написан» (Дж. Голсуорси, А. Моруа) и «лучшее произведение мировой литературы о войне» (Т. Манн, А. Цвейг, Э. Хемингуэй). Эти оценки как бы намечают две линии влияния Толстого как автора «Войны и мира» на зарубежных писателей. Толстой помог прозаикам разных стран разработать новый тип романа — многообъемлющее повествование о жизни народов и отдельных лиц, отличающееся невиданной прежде эпической широтой, включающее постановку больших социальных и философских проблем. И вместе с тем Толстой помог писателям разных стран осмыслить и освоить войну как материал для художественного изображения.

В литературе XIX в. тема войны завоевывает все более важное место, разрабатывается все с большей степенью достоверности,— в этом по-своему проявился рост реализма, освобождение словесного искусства от классицистских или романтических условностей. Однако она чаще разрабатывается на материале историческом, чем на материале современном или близком к современности. Главы о битве при Ватерлоо в «Пармской обители», «Ярмарке тщеславия», «Отверженных», имеющие важное значение для развития сюжета, намного раздвигающие рамки романического действия, все же остаются эпизодами, помогающими мотивировать те или иные повороты в судьбах персонажей, но не связываются в сознании романистов с проблемами современного общества в целом. Толстой вобрал в себя опыт изображения войны, накопившийся в реалистической литературе (зарубежной и, разумеется, прежде всего русской) до него, и на этой основе открыл *новые* пути реалистически углубленного, необычайно конкретного, освещенного смелой ищущей мыслью художественного изображения военных действий.

Стоит вспомнить, как высоко оценил Некрасов новаторство Толстого, проявившееся еще в ранних военных рассказах: «...О солдате, ведь, и наша литература доныне ничего не сказала, кроме пошлости. Вы только начинаете, и в какой бы форме ни высказали вы все, что знаете об этом предмете,— все это будет в высшей степени интересно и полезно» (т. 59, с. 332).

В последние десятилетия XIX в. в западной литературе впервые появились значительные произведения, где война является основной темой и где *рядовые* участники войны показаны конкретно, крупным планом,— «Разгром» Золя, «Алый знак доблести» Стивена Крейна. Оба эти произведения были созданы под немалым влиянием Толстого.

В литературе XX века тема войны приобрела исключительную важность. И это понятно. Новое столетие принесло с собой две мировые войны, бесчисленное количество «малых» войн, колониальных экспедиций, вооруженных конфликтов местного значения. Оно принесло с собой и национально-освободительные, и революционные войны, и — в середине XX в.— большое массовое движение народов за мир. Эти события, взятые вместе, непосредственно затронули судьбы сотен миллионов людей, в сущности, судьбы всего населения земного шара. Множество трудящихся именно благодаря военным потрясениям осознало или впервые начало осознавать коренные противоречия капиталистического строя. На полях сражений, в окопах, эшелонах, в госпиталях, на развалинах домов и городов многие и многие рядовые люди впервые задумывались над тем, как несправедливо устроен мир. В сознании крупнейших писателей XX столетия проблема войны непосредственно связалась с проблемами исторического развития человечества. Война присутствует во многих произведениях литературы XX в. непосредственно как предмет изображения. И она присутствует, помимо этого, еще во многих или почти во всех произведениях этой литературы, так сказать, опосредствованно — как тема для размышлений, как мучительный вопрос, как вполне реальная опасность или неминуемо грозная перспектива, как неотвязно тягостное воспоминание, как исходная точка или переломный момент во многих человеческих судьбах. Герои многих романов XX в. живут в ожидании войны, заранее проклиная ее («Жан Кристоф») или заранее ее приветствуя («Верноподданный»), ищут на войне решения волнующих их проклятых вопросов («Волшебная гора»), в свете переживаний, связанных с войной, тревожно раздумывают над коренными проблемами современной цивилизации («Доктор Фаустус»), стремятся проникнуть в тайну рождения войны и найти способы борьбы с нею («Голова», «Базельские колокола», «Семья Тибо»), прошли через ад войны и душевно неизлечимо ею ранены («Фиеста», «Прощай, оружие», «На западном фронте без перемен»), выходят из испытаний военного времени духовно окрепшими и готовыми к борьбе («Огонь», «Ясность», «Очарованная душа»).

Толстой стоит у истоков всей современной литературы о войне: его опыт как военного писателя, оказавшийся весьма важным и для его младших современников, Золя или Крейна, для писателей XX в. приобрел поистине неоценимое значение. Толстой логикою действия своей эпопеи осудил войну как «противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие» и уже в силу этого явился опорой для всех писателей-антимилитаристов разных идейных оттенков. («Толстой выйдет из войны еще более великим, чем был прежде»,— писал Ромен Роллан в 1916 г. [47]) Он дал писателям всего мира образец реалистически беспощадного, неприкрашенно правдивого изображения войны — без ложного батального ореола, «в ее настоящем выражении, в крови, в страданиях, в смерти». Но опыт Толстого много дал и тем писателям, которым в силу их идейно-эстетического замысла было необходимо поэтизировать воинский подвиг, проследить рождение героизма, солидарности, высокого человеческого благородства

в огне фронтовых переживаний. Для литературы XX в. оказалось важным не только толстовское искусство воспроизведения будней войны, но и толстовский анализ влияния войны на мирную, частную жизнь, и толстовский принцип проверки качеств человека и целого общества в дни военного испытания.

В свое время Толстой свои первые познания о войне получил благодаря чтению «Пармской обители» («Все, что я знаю о войне, я прежде всего узнал от Стендаля») [48], а уже потом, в Севастополе, проверил эти познания практикой личного участия в боях. Но сам Толстой внес много нового по сравнению со Стендалем в реалистическую разработку этой темы. (У Стендаля, напоминает Андре Моруа, «речь идет лишь об одном из сражений. Толстой воскрешает перед нами войну в целом» [49].) Молодые люди, входившие в жизнь в начале XX в., первые свои познания о войне получали нередко благодаря Толстому, а потом уже, на фронтах первой мировой войны, проверяли эти познания личной практикой. Луи Арагон рассказывает об этом: «Мы не знали, что такое война <...> Дело было в годы моего детства; я прочел „Севастопольские рассказы" Льва Толстого в общедоступном издании. У меня осталась в памяти картина большой впечатляющей силы, — я не мог себе представить, что она когда-либо будет иметь отношение к моей собственной жизни. Я не знал, что это и есть изображение будущей войны. Ни одна современная книга не дала мне такой картины, какую увидел, когда попал на фронт, в О-де-Мёз. Там я вспомнил „Севастопольские рассказы" — окопная война была подобна севастопольской» [50].

Благодаря силе своего реалистического гения Толстой смог — обращаясь к событиям 1812 г. или к дням обороны Севастополя — сказать так много существенного и верного о переживаниях человека на войне, что и для читателей XX в. его произведения на военную тему остаются учебником жизни, важным источником познания военной действительности; глубокая правдивость созданных Толстым картин подтверждается жизненным опытом наших современников, разумеется, не в смысле частностей, материально-технических деталей, а в гораздо более широком общем смысле. Стоит привести свидетельство английского писателя и борца за мир Комптона Маккензи (известного советской читающей публике по антимилитаристскому роману «Ракетная горячка»): «Молодое поколение, которое пытается узнать, что такое война, из книг о Великой войне, может больше узнать о ней из „Войны и мира", чем из любых книг о Великой войне, какие мне довелось читать. Знание этого романа необходимо для умственного развития молодого мужчины или молодой женщины, желающих составить себе взгляд на жизнь» [51].

Доверие читателей (и, разумеется, литераторов) к Толстому как военному писателю бесконечно усиливалось оттого, что автор «Севастопольских рассказов» опирался на собственный боевой опыт, повествовал о виденном и испытанном. Эта важная для творчества Толстого, сторона его биографии отмечена в известных размышлениях Э. Хемингуэя из «Зеленых холмов Африки»: «...Я с удовольствием сел у дерева, прислонился спиной к стволу и открыл „Севастопольские рассказы" Толстого. Книга эта очень молодая, и в ней есть прекрасное описание боя, когда французы идут на штурм бастионов, и я задумался о Толстом, и о том огромном преимуществе, которое дает писателю военный опыт. Это одна из самых важных тем, и притом такая, о которой труднее всего писать правдиво, и писатели, не видавшие войны, всегда завидуют ветеранам и стараются убедить себя и других, что эта тема незначительная, или противоестественная или нездоровая, тогда как на самом деле они упустили то, что нельзя возместить ничем» [52].

Мысли, высказанные Хемингуэем в этом отрывке, были развернуты им в предисловии к антологии «Люди на войне», впервые вышедшей под его редакцией в 1942 г. В состав этого объемистого сборника входят вещи разнородные и очень неравноценные, различные по своей идейной направленности. В него включены воинские эпизоды из произведений литературы разных времен, начиная с Библии, сочинений Юлия Цезаря, Тита Ливия, Виргилия; в книгу входит много отрывков из американской художественной и документально-публицистической литературы,— в том числе произведения Стивена Крейна, Амброза Бирса, Теодора Рузвельта, У. Х. Прескотта, У. Фолкнера и самого Хемингуэя. (Характерно для пестроты состава сборника, что империалистический деятель Теодор Рузвельт оказался одним из его авторов наряду с писателями-антимилитаристами!). Иностранная литература дана весьма скупо; однако в антологию включены «Пышка» Мопассана, описание битвы при Ватерлоо из «Пармской обители», отрывок «Корвет Клеймор» из романа Гюго «Девяносто третий год». «Война и мир» представлена тремя большими фрагментами (из которых каждый дается с некоторыми внутренними сокращениями). В разделе «Война — сфера действия случая» мы находим главы I—XI из третьей части четвертого тома (характеристика партизанской войны, нападение отряда Денисова на французов, смерть Пети). В разделе «Война требует решимости, твердости и стойкости» даны главы XIV—XXI из второй части первого тома (выступление отряда Багратиона, действия батареи Тушина) и главы XXXIII—XXXIX из второй части третьего тома (Бородинское сражение).

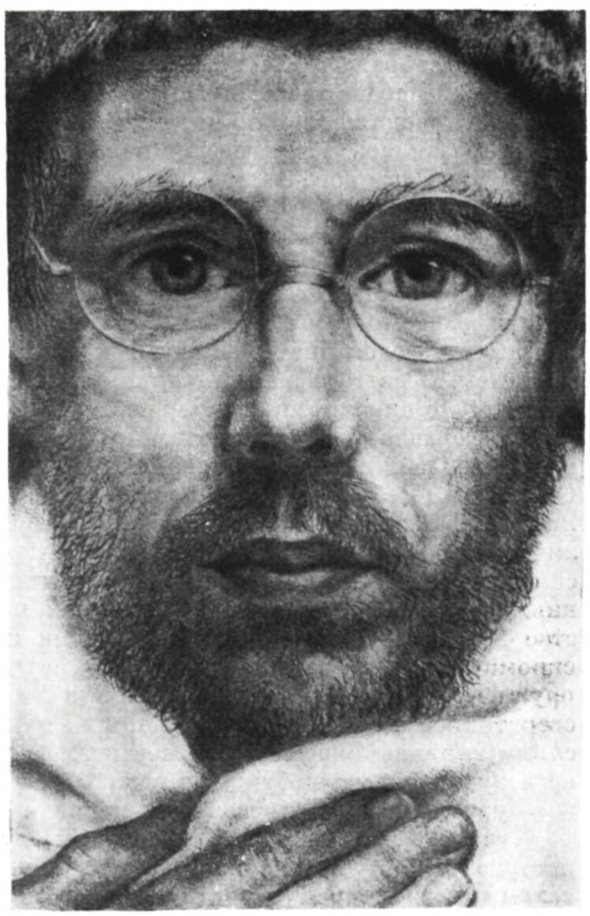
В предисловии к антологии Хемингуэй не только дает обзор отобранных им произведений, но и высказывает общие суждения о природе и задачах художественного творчества. «Дело писателя — говорить правду. Его уровень верности истине должен быть настолько высок, что и то, что создано его воображением, выходящим за пределы его опыта, должно быть более правдивым, чем любое простое изложение фактов. Ибо, наблюдая факты, можно и ошибиться; но, когда хороший писатель творит, у него есть достаточно времени и достаточный кругозор для того, чтобы получилась абсолютная правда» [53].

Обосновывая принципы отбора, легшие в основу антологии, Хемингуэй попутно высказывает критические замечания по адресу Барбюса (который в антологии не представлен). Хемингуэй отдает должное мужеству Барбюса и называет роман «Огонь» — «единственной хорошей книгой, которая вышла во время последней войны». По его мнению, Барбюс оказал влияние на всю литературу антивоенного направления, появившуюся после этого романа. «Он первый показал нам, юношам, которые пришли на фронт прямо из школы или колледжа, что можно, и не только в стихах, протестовать против бессмысленной бойни...» Однако Хемингуэй утверждает, что авторы книг о войне, пошедшие по следам Барбюса, в то же время превзошли его: «они научились говорить правду без крика» [54]. Эти суждения очень характерны для всей системы идейно-эстетических взглядов Хемингуэя. Высоко оценивая правдивость и смелость Барбюса, он отвергает обнаженную тенденциозность, свойственную роману «Огонь» — и, вместе с тем, не видит принципиального различия между *революционным* произведением Барбюса и теми *пацифистскими* книгами, в которых влияние «Огня» могло сказаться лишь в неполной, ограниченной степени.

Все это помогает яснее увидеть те исходные позиции, с которых Хемингуэй воспринимает творческий опыт Толстого. Он сопоставляет «Войну и мир» с повестью Крейна «Алый знак доблести». Повесть Крейна написана сжато, из нее нельзя ничего выбросить, — поэтому она и включена в антологию целиком. «Я не имею в виду достоинств вещи самой по себе. Толстой написал самое лучшее произведение о войне, но оно так громадно

и подавляюще, что из него можно изъять любое количество битв и сражений, оно при этом сохранит свою правдивость и мощь, и вы не почувствуете себя преступниками оттого, что вырезали их из романа. По сути дела „Война и мир" могла бы сильно выиграть от сокращений, — не за счет действия, а за счет тех частей, где Толстой пытается приспособить истину к своим умозаключениям...»

«У Толстого,— пишет далее Хемингуэй, — презрение здравомыслящего фронтовика к большей части генералитета доводится до крайности, почти что до абсурда. Действительно, большая часть генералитета настолько плоха, как он думает. Но он взял одного из немногих действительно великих полководцев, и, поддаваясь мистическому национализму, постарался показать, что этот полководец, Наполеон, на самом деле не вмешивался в руководство сражениями и был просто марионеткой, находившейся во власти независимых от нее сил. Зато, когда Толстой писал о русских, он показывал с большим обилием самых правдивых подробностей, как осуществлялось руководство операциями. Его ненависть и презрение к Наполеону — единственное слабое место в его великой книге о людях на войне. Я люблю „Войну и мир" за превосходное, проникновенное и правдивое изображение жизни и народа, но я никогда не верил в способность великого графа рассуждать. Жаль, что среди людей, которым он доверял, не было никого, кто имел бы право удалять его самые громоздкие и неудачные рассуждения и оставлять то, что создано его правдивым



ПЬЕР БЕЗУХОВ

Автолитография А. Доббенбурга

Иллюстрация к изданию романа «Война и мир» на голландском языке (L. N. Tolstoï «Oorlogen Vrede». Arnhem, 1949)

воображением. Его воображение было более проницательным и правдивым, чем у всех людей, какие когда-либо жили. Но его тяжеловесные и мессианистические рассуждения были не лучше, чем у любого профессора истории евангелического вероисповедания, и я научился у него не доверять своим собственным Рассуждениям с большой буквы и писать как можно более правдиво, прямо, объективно и скромно». (Далее Хемингуэй дает развернутую восторженную оценку тех фрагментов из «Войны и мира», которые помещены в антологии, снова и снова отмечая безупречную достоверность и точность толстовских описаний войны.)[55]

Приведенный отзыв Хемингуэя о Толстом интересен со многих точек зрения. В творчестве Толстого американский писатель находит подтверждение своих собственных, видимо, очень дорогих ему, мыслей о роли «правдивого воображения» — о той высшей художественной правде, которая более убедительна, чем любое простое изложение фактов. В глазах Хемингуэя, как и в глазах многих других писателей XX в., пример Толстого повышает авторитет реализма.

Вместе с тем понятны и те возражения, которые выдвигает Хемингуэй против «Войны и мира». Ему показались громоздкими и излишними те философски-публицистические отступления, которые в свое время смутили и Флобера; он не почувствовал, насколько важны были эти отступления для Толстого, насколько тесно они связаны с общим идейным замыслом его романа-эпопеи. Хемингуэй ошибался, говоря о «националистическом мессианизме» Толстого. Но он верно отметил самую уязвимую сторону толстовской философии истории: недооценку роли государственного и военного руководства в историческом процессе. (Он верно отметил и то, что изображение Кутузова в «Войне и мире» по сути дела опровергает толстовский тезис о ничтожности исторических деятелей и их неспособности руководить событиями.) В замечаниях Хемингуэя по адресу Толстого отразилась эстетическая позиция самого Хемингуэя, особенности его художественного метода. Ему не могла понравиться сатирически заостренная характеристика Наполеона, поскольку он в собственном творчестве, как правило, избегает сатирического заострения. В принципиальном недоверии к «Рассуждениям с большой буквы» сказалось важное свойство Хемингуэя-художника: неприязнь к общим словам, декларативности, риторике. Но в этом сказалась вместе с тем и узость его социальной перспективы. Недоверие Хемингуэя к «Рассуждениям с большой буквы» проистекает из того же источника, что и его отрицательное отношение к открытой тенденциозности Барбюса.

Но гораздо более существенно, что именно у Толстого Хемингуэй нашел образец искусства, говорящего правду о войне и людях на войне. Он отдавал себе отчет, что война — это тема, о которой «труднее всего писать правдиво»: не только потому, что писателю требуется для этого личный фронтовой опыт, но и потому, что причины войны, ее характер, сам ход событий,— все это бывает затуманено официальными представлениями, ходячими софизмами буржуазной печати. Уже в силу этого искусство Толстого, его умение писать о войне «правдиво, прямо, объективно и скромно» оказалось в высшей степени поучительным для автора «Прощай, оружие». Влияние Толстого на Хемингуэя и некоторых его литературных сверстников шло по сути дела в том же направлении, что и отмеченное им самим влияние Барбюса: оно повышало способность сопротивляться господствующей лжи, побуждало показывать войну, как она есть — наперекор буржуазному общественному мнению.

Именно в этом смысле Толстой как автор книг о войне содействовал поступательному движению реализма в новейшее время: он помог писателям разных стран освоить средствами реалистического изображения новую тематическую область, лишь в очень недостаточной степени осве-

щенную литературой до него и ставшую в XX в. необычайно важной. Понятно, что толстовская традиция преломлялась по-разному у литераторов различных идейных направлений; понятно, что для писателей социалистического реализма от Барбюса до Арагона особо важным оказалось толстовское утверждение роли народных масс как решающей силы исторических, в том числе и военных событий, в то время как для писателей-пацифистов наибольшее значение приобрела толстовская откровенность в изображении страданий и лишений простого человека на войне. Разумеется, в том или ином восприятии толстовской традиции сказалось и своеобразие художественной манеры каждого из иностранных литераторов, писавших на военные темы. Если, например, немецкие писатели, связанные с экспрессионизмом (Генрих Манн, Л. Франк), которым творчество Толстого было дорого своей антимилитаристской направленностью, могли лишь в очень слабой степени воспользоваться конкретными художественными открытиями Толстого,— то Арнольд Цвейг близко примыкает к Толстому не только по общей направленности творчества, но и по многим конкретно-художественным особенностям своего антивоенного цикла (поэзия простой и чистой солдатской души в образе унтера Гриши, элементы «срывания масок» в портретах немецких генералов, морально-психологическая коллизия, лежащая в основе сюжета отдельных романов А. Цвейга, например «Воспитания под Верденом» и т. д.) [56].

Новаторство Толстого в изображении войны было по-разному воспринято писателями XX в. Разумеется, для них была очень важна сама та верность и точность, с какою Толстой описывал военные действия, детали походного и фронтового быта, ход сражений, взаимоотношения людей, находящихся на различных ступенях и участках многоголового армейского целого. Но самым существенным и поучительным для них явилось толстовское исследование внутренней — душевной и умственной — жизни человека на войне. По верному замечанию советского исследователя, «распространение психологического реализма на изображение душевной жизни человека в условиях военной, боевой обстановки является одним из важнейших творческих достижений Толстого как художника» [57].

«ДИАЛЕКТИКА ДУШИ» — ЛОЖНАЯ И ПОДЛИННАЯ

В наши дни, как и пятьдесят или семьдесят лет назад, одной из самых важных сторон искусства Толстого, покоряющих его читателей и особенно литераторов за рубежом, остается его психологическое мастерство — человековедение, «диалектика души».

Реализм XX в. в лице своих лучших мастеров проявляет особое внимание к внутренней жизни людей. Стремление вглядеться в психологический процесс и передать его механику, уловить и запечатлеть движение, переходы, незаметные изменения, происходящие в душе человека, — все это очень характерно для всей большой современной литературы и отчасти даже служит признаком ее современности. Но особый интерес к психическому процессу проявляют, как известно, и некоторые крупные литераторы-модернисты. И, когда мы говорим о влиянии толстовской «диалектики души» на писателей XX в.— необходимо прежде всего провести водораздел между подлинно реалистическим и извращенным, антиреалистическим восприятием этой диалектики.

В буржуазном литературоведении иногда делаются попытки приписать модернизму те заслуги, которые принадлежат по праву великим мастерам реалистического искусства [58]. Иной раз ставится знак равенства между понятиями «психологический роман» и «модернистский роман», и Пруст и Джойс объявляются первооткрывателями, научившими современную литературу глубоко проникать в тайны человеческого «я»; иной раз Джойсу

и литераторам его школы незаконно отдается приоритет создания таких произведений, в которых интерес сюжета держится не на внешнем ходе событий, не на интриге, а на раздумьях и переживаниях героев. Но ведь Толстому, а не Джойсу или Прусту, принадлежат строки: «Очень живо представил себе внутреннюю жизнь каждого отдельного человека. Как описать, что́ такое каждое отдельное „я"? А, кажется, можно. Потом подумал, что в этом, собственно, и состоит весь интерес, все значение искусства — поэзии» (т. 54, с. 140). Именно Толстому, а не Джойсу и не Прусту, принадлежат слова об искусстве как микроскопе, который наводит художник на тайны своей души и показывает эти общие всем тайны людям (т. 53, с. 94).

Но для Толстого познание и описание отдельного «я» никогда не отрывалось от познания действительности в целом: он исходил в своем творчестве из представления о мире как объективно существующей реальности, и человеческая психика была для него частью этого мира. Для Толстого (вопреки словам, однажды им сказанным) интерес подробностей чувства не заменял и не отменял интереса самих событий. Напротив: события, крупные или мелкие — будь то Бородинское сражение или первый бал Наташи — становились у него особенно, захватывающе интересными оттого, что они раскрывались через жизнь человеческой души, переданную необычайно конкретно, со всеми подробностями чувств, иногда и с силой увеличения, свойственной необычайно мощному микроскопу. Писатели типа Пруста или Джойса на свой лад восприняли пристальное внимание Толстого к отдельному человеку, к подробностям чувства. Но у них это внимание приобрело характер и направленность, диаметрально противоположные толстовскому реализму.

Тема «Пруст и Толстой» уже не раз, хотя бы в самой общей форме, привлекала внимание исследователей. Постановка этой темы вполне законна уже хотя бы потому, что Пруст знал Толстого, высоко ценил его как мастера, не раз вспоминал о нем в своих произведениях и письмах.

Любопытна небольшая статья Пруста «Толстой». Она начинается с изъявления восторга по адресу русского классика. «Теперь Бальзака ставят выше Толстого. Это — сумасбродство. Творчество Бальзака проникнуто чувством антипатии, полно гримас и смешных уродств; человечество там предстает перед судом писателя-профессионала, желающего создать великую книгу, а у Толстого — перед судом невозмутимо спокойного бога». Пруст говорит о громадной изобразительной силе Толстого, вспоминая эпизоды сенокоса и скачек из «Анны Карениной», сцены поместного быта из «Войны и мира». Но затем он приходит к неожиданному заключению: «Его творчество — не плод наблюдений, а интеллектуальная конструкция. Каждая черта, которая кажется добытой наблюдением, на самом деле есть лишь оболочка, доказательство, пример закона, созданного самим романистом — закона рационального или иррационального. И впечатление жизненной мощи проистекает именно оттого, что все это не есть итог наблюдения, но что каждый жест, каждое слово, каждое действие есть лишь выражение закона, и мы как будто бы движемся среди множества различных законов. Но так как истинность этих законов познана Толстым благодаря той внутренней власти, которую они имеют над его мыслью,— некоторые из них остаются необъяснимыми для нас». К области необъяснимого, по Прусту, относятся иные душевные движения героев Толстого — например, та радость, которую испытывала Анна, когда ей удавалось унизить гордость Вронского. «И, невзирая ни на что, в этом творчестве, которое кажется неисчерпаемым, Толстой, сдается нам, иногда повторялся; в его распоряжении было немного мотивов, которые, подновляясь и принимая другую оболочку, переходили из романа в роман. Разве недвижные звезды в небе, которые замечает Левин,— не то же самое, что комета, которую видит Пьер, или большое голубое небо над

головой князя Андрея? Более того: Левин, который сначала оттеснен Вронским, а потом обретает любовь Кити, напоминает нам о том, как Наташа бросила князя Андрея ради брата Пьера (!), а потом вернулась к нему. А Кити, проезжающая в карете, и Наташа, которая едет в карете по дороге войны,— не лежит ли в основе того и другого одно и то же воспоминание?» [59].

Как видим, восприятие Толстого у Пруста — не только ограниченное, но и превратное. Противопоставляя Толстого Бальзаку, Пруст мимоходом зачеркивает все то обличительное, гневное, страстное, что свойственно критическому реализму Толстого, превращая автора «Воскресения» в «невозмутимо спокойного бога». Пруст решительно обрубает все связи между Толстым и социальной действительностью: поэтому романы Толстого и кажутся ему вариацией одних и тех же мотивов, поэтому и представляется ему, что в душевной жизни героев Толстого немало иррационального, необъяснимого.

Источником творчества Толстого, по мысли Пруста, была не жизнь, не объективная реальность, а «законы», созданные самим художником; в истолковании Пруста Толстой перестает быть реалистом и становится писателем декадентского образца, который творит картину мира по собственному произволу.

Пруст расходился с Толстым в коренных вопросах мировоззрения и художественного метода; но вместе с тем он не раз обращался к творческому опыту русского художника и подчас даже прямо подражал ему. Элементы подражания Толстому, которые можно найти у Пруста, очень интересны для исследователя: они дают возможность особенно наглядно увидеть глубокое несходство обоих писателей.

Роман Пруста «В поисках утраченного времени», основанный на субъективно-идеалистической концепции мира и человека, враждебен реализму по основной своей сути. Но он содержит немало реалистических эпизодов и зарисовок, проникнутых иронией по отношению к буржуазно-аристократическому обществу, его быту и нравам, правдиво рисующим эгоизм, лицемерие, кастовость обеспеченных и праздных людей. Именно в этих критико-реалистических сценах романа (имеющих, по отношению к общему его замыслу, частный, подчиненный характер) мы подчас находим знакомые толстовские мотивы.

Иногда Пруст заимствовал у Толстого способы воспроизведения мгновенных неуловимых изменений, происходящих в сознании и душе человека. Пример тому — знаменитый эпизод из первого тома «В поисках утраченного времени», где герой пьет чай с печеньем «Мадлен», и вкус этого печенья, которое он ел когда-то в детстве, вызывает в нем обильный прилив воспоминаний о далеком прошлом. Этот эпизод не раз давал повод критикам говорить о новаторстве Пруста, о его тонком проникновении в мир подсознательного. Но любопытно, что аналогичный эпизод имеется у Толстого в X главе «Смерти Ивана Ильича»:

«...В последнее время этого страшного одиночества Иван Ильич жил только воображением в прошедшем. Одна за другой представлялись ему картины его прошедшего. Начиналось всегда с ближайшего по времени и сводилось к самому отдаленному, к детству, и на нем останавливалось. Вспоминал ли Иван Ильич о вареном черносливе, который ему предлагали есть нынче, он вспоминал о сыром сморщенном французском черносливе в детстве, об особенном вкусе его и обилии слюны, когда дело доходило до косточки, и рядом с этим воспоминанием вкуса возникал целый ряд воспоминаний того времени: няня, брат, игрушки» (т. 26, с. 108).

У Толстого здесь не только прослеживается возникновение воспоминания по ассоциации, но и дана реалистическая мотивировка той интенсивной работы памяти, при которой достаточно незначительного повода,

чтобы вызвать в человеке богатый мир воспоминаний: болезнь, одиночество Ивана Ильича, его возрастающая отрешенность от внешнего мира,— все это порождает в нем обостренное внимание к собственной внутренней жизни и оживляет в его памяти картины детства. Однако цитированные строки о черносливе занимают в повести Толстого весьма скромное место. У Пруста эпизод с печеньем «Мадлен» развернут на много страниц. Психологическая деталь, которая дана у Толстого мимоходом, в соответствии с той ролью, которую она может играть в реальной жизни, у Пруста приобретает непомерно важное значение. Анализ подробностей психического процесса, который у Толстого всегда подчинен определенным идейно-тематическим задачам, для Пруста становится самостоятельной художественной задачей.

В свое время Мельхиор де Вогюэ писал, отмечая коренное различие между Толстым и импрессионистами: «Он знает, что писатель может попытаться передать некоторые мимолетные, тонкие ощущения, но что эти попытки не должны вырождаться в болезненно-нервозную привычку» [60]. Это как будто прямо сказано в адрес Пруста и других западных романистов школы «потока сознания».

Творческое кредо Пруста весьма полно укладывалось в формулу: «подлинная реальность образуется только памятью» [61]. И в его романе образ реального мира подменялся последовательной сменой разнородных обличий, которые приобретает этот мир в сознании индивидуума. Те различные аспекты, в которых предстают на протяжении романа Сван, Одетта, Шарлюс, Робер де Сен-Лу и другие лица из ближайшего окружения героя, лишены общего, связующего стержня: перед нами каждый раз не реальное лицо, а представление Марселя о нем в данный момент. Когда в последней части романа Марсель встречается с подругой детства Жильбертой и с трудом узнает в постаревшей, подурневшей женщине ту поэтическую девушку, которую он некогда любил, это отчасти напоминает переживания Денисова в эпилоге «Войны и мира», когда он «с удивлением и грустью, как на непохожий портрет когда-то любимого человека», смотрит на Наташу. Но у Толстого Наташа и в эпилоге сохраняет те существенные человеческие черты, на которых было основано ее обаяние в юные годы: угол зрения автора шире, значительнее, чем субъективный угол зрения Денисова. У Пруста же преобладает именно субъективный (точнее — субъективистский) способ ви́дения, и потому каждый его образ, пропущенный через меняющееся восприятие Марселя, распадается на составные части, лишается определенности. Понятно, что и весь социально-исторический фон романа «В поисках утраченного времени», преломленный через сознание эгоцентрического, больного героя, приобретает в значительной мере иллюзорный, призрачный характер.

Многие способы психологического анализа, впервые открытые Толстым, органически привились в творчестве крупнейших писателей-реалистов XX в.; широкое хождение получили, в частности, открытые Толстым способы передачи внутренней речи. У этих писателей, как и у Толстого, неслышный монолог служит далеко не только для воспроизведения смутных, смятенных душевных состояний; он применяется ими и там, где требуется возможно более точно и правдиво передать логически ясную мысль героя, раскрыть сложность его духовной жизни, напряженность умственных или нравственных поисков. Мастера современного критического реализма нередко с большой самостоятельностью и смелостью разрабатывают поэтику внутреннего монолога, расширяют сферу его художественного применения.

В романе Томаса Манна «Лотта в Веймаре» почти вся седьмая глава — идейный и композиционный центр повествования — представляет собой

НАТАША-НЕВЕСТА

Автолитография А. Доббенбурга

Иллюстрация к изданию романа «Война и мир» на голландском языке (L. N. Tolstoj «Oorlog en Vrede». Arnhem, 1949)

внутренний монолог Гёте. Он начинается так: «Ах, нет, не удержишь! Светлое виденье блекнет, растекается быстро, как по мановению капризного демона, тебя одарившего и тут же отнявшего свой дар, и из сонной глуби всплываю я! Было так чудесно! А теперь! Где ты очнулся! В Иене, в Берке, в Тенштедте? Нет, это веймарское одеяло, шелковое, знакомые обои, сонетка. Как? В полной юношеской силе? Молодец, старина!» [62]. Так утренние раздумья Гёте с самого начала облекаются Томасом Манном в формы литературно упорядоченной речи, но с оттенком бытовой, разговорной непосредственности. Романист прослеживает сам *процесс* пробуждения, переход от хаоса сновидений — к сознательной работе мысли (вспомним пробуждение Стивы Облонского в первой главе «Анны Карениной»: сам персонаж, конечно, здесь совершенно иной, чем у Томаса Манна, но приемы воспроизведения внутренней речи в основе те же). Монолог Гёте (гораздо более пространный и сложный по структуре, чем все монологи персонажей Толстого) исключительно богат содержанием: в нем сочетается, переплетается великое и малое — большие политические проблемы эпохи и мелочи веймарских придворных будней, творческие замыслы гениального поэта и эпизоды его интимной биографии. И все эти скачки, переливы, переходы многообъемлющей мысли Гёте переданы Томасом Манном с абсолютной естественностью. Романист пользуется толстовским «микроскопом», чтобы проследить действие скрытого механизма ассоциаций, взаимосвязь внешних впечатлений и внутренней логики мышления.

Привычная утренняя боль в руке наводит Гёте на философские раздумья о старости как особом этапе развития человеческого духа; аромат малины, доносящийся с кухни, пробуждает в нем воспоминания о молодости, о любви к Шарлотте Буфф, о работе над «Вертером». Томас Манн ни в коей мере не поддается декадентскому культу подсознательного: напротив, в монологе Гёте очень отчетливо проявляется характерное для манновского творчества стремление эстетически освоить сложную жизнь интеллекта. Проникая в «тайное тайных» Гёте, романист дает яснее почувствовать духовное величие и богатство его личности; он непринужденно, ненавязчиво вводит в монолог Гёте гневные размышления о немецких националистах, незаконно присваивающих себе право говорить от имени Германии,— и этим заостряется актуальный политический смысл романа. Открытия Толстого-психолога получили здесь у Томаса Манна глубоко реалистическое творческое продолжение.

У Толстого введение внутренней речи всегда идейно и сюжетно обосновано: и развернутые раздумья — монологи, и краткие неслышные реплики — все это дается, главным образом, в ответственные моменты повествования, когда персонажам нужно осмыслить собственное поведение, определить яснее свое отношение к происходящим событиям и самим себе. Внутренняя речь толстовских героев помогает художнику вскрыть психологические истоки человеческих поступков, разгадать, как говорил Чернышевский, «пружины действия». Именно такое реалистическое назначение выполняет внутренняя речь и у зарубежных писателей, воспринявших уроки Толстого.

В романе Л. Фейхтвангера «Успех», в сценах реакционного судилища над искусствоведом Мартином Крюгером, неоднократно применяются своего рода моментальные психологические «просвечивания»: романист сообщает о том, что́ думал каждый из присяжных в наиболее драматические моменты процесса. Учитель Фейхтингер, слушая показания свидетелей, машинально исправляет неправильно построенные фразы, почтальон Кортези спрашивает себя, сколько же семейств проживает в доме, о котором упоминается по ходу процесса, владелец перчаточного магазина Дирмозер озабоченно размышляет о своих коммерческих делах и присматривается к перчаткам свидетельниц... Подобные «просвечивания» (вспомним описание суда в «Воскресении», психологические зарисовки членов суда и присяжных) помогают роману раскрыть фальшь судебной процедуры, равнодушие и обывательскую косность тех, кто призван решать судьбу оклеветанного Крюгера. Местами Фейхтвангер, раздвигая рамки повествования, передает отношение эпизодических, вводных персонажей к описанным в романе событиям. Пассажиры берлинского метро читают в вечерних газетах сообщение о покушении трех неизвестных на адвоката Гейера — защитника Крюгера на суде. — «Все дело в том,— подумал толстый пассажир, страдавший сильной одышкой, — что он чересчур лез вперед.— Я с моим слабым сердцем не мог бы позволить себе такие авантюры». «А все оттого же, — подумал высокий видный господин в охотничьем костюме и высоких сапогах, — что эти евреи сами во всем виноваты». «Мюнхен,— подумал толстяк с массивной тростью,— акции пивоваренных заводов... Не повлияет ли эта история на их курс?» [63]. Подобные краткие внутренние реплики дополняют, конкретизируют изображение общественно-политической обстановки в Германии после первой мировой войны; мы яснее видим реальный исторический контекст описанных романистом вымышленных событий, более точно представляем себе умонастроение тех немецких обывателей, мелких и крупных собственников, на которых смог опереться гитлеровский фашизм.

Один из узловых моментов романа «Успех» — смерть Мартина Крюгера в тюрьме. Развернутый внутренний монолог умирающего передает тра-

гизм его судьбы. Навязчивые мысли о количестве дней, которые еще предстоит провести в заключении, воспоминания о любимой женщине, мечты о завершении новой книги, работа над которой велась в одиночной камере,— все это сплетается воедино в угасающем мозгу больного:

«Проклятие! Как долго держится сегодня жара. Обычно в это время температура была уже вполне сносной. Чудесная женщина эта Иоганна. Какой у нее великолепный, неподдельный гнев, когда что-нибудь не по ней. По совести говоря, он никогда не написал бы книгу о Гойе, если бы не Иоганна. Не будет четырехсот двадцати семи дней. Иоганна постарается, чтобы не было четырехсот двадцати семи дней...

Это не сердце, это не сердце, это не сердце. Я не хочу, чтобы это было сердце. Осталось всего четыреста двадцать семь дней, а если пойдет хорошо, то всего двадцать семь дней, и когда все кончится, то покажется пустяком. До чего же у меня зубы шатаются, прямо поразительно. Но номера я нашел все. Трудно составить каталог по памяти, но все-таки я сделал это...» [64].

В романе «Семья Оппенгейм», написанном на пять лет позднее, Фейхтвангер снова обратился к приемам внутренней речи, чтобы раскрыть переживания честного и одаренного человека, затравленного реакционерами. Но внутренний монолог умирающего Бертольда Оппенгейма приобретает в сравнении с монологом Крюгера новые идейные акценты. Самоубийство юноши, не пожелавшего покориться фашисту-учителю, объективно становится актом борьбы. В предсмертных мыслях Бертольда встает образ Неизвестного товарища, способного оказать сопротивление фашизму. «Нет, он, Бертольд, не один. У него есть товарищи, сотни тысяч товарищей, миллионы. Неизвестному солдату поставили памятник, а о Неизвестном немце, его Неизвестном товарище, никто и словом не обмолвился...» Мысли Бертольда, принявшего яд, в последние секунды путаются и рвутся, монолог становится бессвязным, нескончаемо длинные фразы с алогическими переходами и повторами, цепляются одна за другую, передавая своим вязким и медлительным ритмом состояние человека, сознание которого погружается в туман. Казалось бы, тут — нечто похожее на технику школы «потока сознания». Но сходство это — внешнее, кажущееся. У Фейхтвангера, как это часто бывает у Толстого, внутренний монолог, беспорядочный по форме, имеет ясно различимый эмоционально-смысловой центр. Образ, с которым связаны лучшие мечты умирающего, продолжает стоять перед ним: «Приближается огромная волна, целая гора, и ему нужно проплыть сквозь нее. Мой Неизвестный товарищ, я не могу протянуть тебе руку, опять набегает волна, еще больше той, поднимет ли она его на гребень, вот она» [65]. Предсмертный внутренний монолог героя дышит здесь не только болью, но и гневом, и надеждой. Элементы толстовской диалектики души нашли плодотворное применение в антифашистском романе.

В системе изобразительных средств Толстого-психолога особое место занимают неслышные монологи в форме разговора героя с самим собой, со своим «внутренним голосом» или воображаемым собеседником. Обычно такая форма раскрытия характера или душевного состояния человека возникает у Толстого там, где нужно показать раздвоение сознания героя, противоборство различных чувств и идей, живущих в нем, моменты выбора, решения. (Элементы такого внутреннего диалога можно найти в «Войне и мире», и в «Воскресении», и в «Крейцеровой сонате») [66].

В реалистической литературе XX в. внутренний диалог встречается нередко и применяется разнообразно: писатели и здесь усваивают уроки Толстого, но отнюдь не ограничиваются этими уроками. Внутренний диалог как особо сильное средство эмоционально-психологической характеристики появляется, как правило, в драматические, поворотные моменты

духовного развития героя. Посредством внутреннего диалога ролландовский Жан Кристоф беседует в трудные минуты со своим «богом» — своим личным нравственным началом; посредством внутреннего диалога драйзеровский Клайд Гриффитс заглушает в себе последние укоры совести перед убийством Роберты («Американская трагедия»).

В рассказе Э. Хемингуэя «Снега Килиманджаро» герой, талантливый писатель, перед смертью подводит итоги своей жизни,— итоги во многом для него тягостные. Его раздумья переданы по преимуществу в авторском пересказе («Он думал о том, как было тогда», «... но он не написал ни строчки об этом...»). Там же, где самокритика умирающего приобретает особенно беспощадный характер, его личность как бы раздваивается, и он обращается к себе: «Но самому себе ты говорил, что когда-нибудь напишешь про этих людей; про самых богатых; что ты не их племени — ты соглядатай в их стане; ты покинешь его и напишешь о нем, и первый раз в жизни это будет написано человеком, который знает то, о чем пишет». Однако в следующей же фразе, опровергающей предыдущую (и усиливающей критический смысл раздумий героя), повествователь возвращается к третьему лицу, и, проникаясь мыслями умирающего, в то же время смотрит на него со стороны: «Но он так и не заставил себя приняться за это, потому что каждый день, полный праздности, комфорта, презрения к самому себе, притуплял его способности и ослаблял тягу к работе, так что в конце концов он совсем бросил писать» [67]. Эта гибкая, быстрая — реалистически глубоко оправданная — смена форм внутренней речи характерна именно для Хемингуэя, для его стилистического новаторства. Но у истоков этого новаторства стоит Толстой, впервые сделавший внутреннюю речь — и в монологической, и в диалогической форме — способом раскрытия сложных нравственных исканий, самооценки, самокритики, самоанализа своих персонажей.

Присущее Хемингуэю искусство достоверной, естественной передачи размышлений и переживаний героя ярко сказывается в его романе «По ком звонит колокол» — романе, который, при всех спорных и уязвимых его страницах, представляет одно из самых значительных произведений западной антифашистской литературы. Центральный персонаж, американский филолог Джордан, сражающийся вместе с народом республиканской Испании, живет в атмосфере напряженных моральных исканий. Он старается вдуматься в исторический смысл происходящего, придирчиво анализирует свое поведение, чтобы точнее определить свое место в схватке борющихся сил. Близость автора к герою, честному рядовому американскому интеллигенту, придает всему роману отпечаток лиризма; душевная чистота Джордана, его мужество и вместе с тем его политическая наивность определяют и характер восприятия им действительности, и содержание его раздумий. Джордан, преодолевая сомнения, вновь и вновь убеждает себя в справедливости освободительной войны, в исторической необходимости беспощадной расправы над врагами республики. И его размышления нередко принимают форму взволнованных внутренних диалогов, гораздо более развернутых, чем толстовские, но проникнутых поистине толстовским нравственным беспокойством:

«Скольких же ты убил за это время? — спросил он себя. Не знаю А ты считаешь, что ты вправе убивать? Нет. Но я должен. Сколько из тех, кого ты убил, были настоящие фашисты? Очень немногие. Но они все — неприятельские солдаты, и мы противопоставляли силу силе. Но наваррцы всегда нравились тебе больше всех остальных испанцев. Да. А ты вот убиваешь их. Да. Не веришь, пойди к лагерю и посмотри. Ведь ты знаешь, что убивать нехорошо? Да. И делаешь это? Да.

<...> Слушай,— сказал он себе. Ты это лучше оставь. Это очень вредно для тебя и для твоей работы. Тут он сам себе возразил: ты у меня смотри,

Ты делаешь важное дело, и нужно, чтобы ты все время его понимал. Я должен следить за тем, чтобы в голове у тебя было все ясно. Потому что, если у тебя не все ясно в голове, ты не имеешь права делать то, что ты делаешь, так как то, что ты делаешь, есть преступление, и никому не дано права отнимать у другого жизнь, если только это не делается для того, чтобы помешать еще худшему злу. А потому постарайся, чтобы все это было ясно у тебя в голове и не обманывай себя» [68].

Как известно, действующие лица произведений Толстого часто характеризуются через постоянные портретные или речевые признаки — будь то выразительные черты лица (лучистые глаза Марьи Болконской), излюбленные выражения (поговорка дядюшки Ростовых «чистое дело марш!»), привычные движения или особенности мимики (движения морщин у Билибина). Все эти постоянные приметы толстовских персонажей выполняют не только индивидуализирующее и эмоционально-оценивающее назначение, но нередко берут на себя и назначение более сложное, психологически-типизирующее: так, холодный, безжизненный взгляд Николая I в «Хаджи-Мурате» изобличает в нем деспота, равнодушного к судьбам страны и самодовольно жестокого.

Эта особенность толстовского мастерства привлекла к себе внимание Томаса Манна. Причем Т. Манн заинтересовался ею прежде всего потому, что — как ни парадоксально это звучит — увидел в ней черту сходства между Толстым и Вагнером. В статье «Страдания и величие Рихарда Вагнера» (1933) он мимоходом высказал замечание, что Толстой, подобно немецкому композитору, постоянно прибегает к лейтмотиву, цитирует самого себя, наделяет своих персонажей устойчивыми оборотами речи [69]. Несколькими годами позднее, в лекции о романе «Волшебная гора», Томас Манн отметил и различие между Толстым и Вагнером — именно в этой конкретной особенности. «Не раз указывалось, и я сам указывал, что искусство Рихарда Вагнера оказало влияние на мое творчество. Я, конечно, не отрицаю этого влияния; я в особенности следовал Вагнеру в использовании лейтмотива, который я перенес в повествование, и притом не так, как это было у Толстого и Золя, а также в моем юношеском романе „Будденброки“, не на манер натуралистически-характеризующий, а на символический манер, как в музыке» [70]. Действительно — у Томаса Манна — не только в позднем творчестве, но и в «Будденброках» — применение лейтмотива отнюдь не тождественно толстовскому. Т. Манн не только наделяет многих своих персонажей постоянными индивидуализирующими признаками, той или иной зримой и повторяющейся чертой или характерным словечком, но и извлекает особый художественный эффект из фразеологических и интонационных повторов. (Так, многократно — в разных главах «Будденброков» — встречается краткая характеристика эпизодического персонажа: «Фрау Штут с Глоккенгиссерштрассе, та самая, что была вхожа в лучшие дома...») Такие повторы усиливают композиционную спаянность повествования, напоминают о постоянных — сохраняющихся на протяжении десятилетий — свойствах изображаемых в романе людей, города, среды; эти повторы становятся в то же время важным свойством стиля писателя, придают ему ритмически упорядоченный характер. По верному замечанию В. Днепрова, «встречающееся у Толстого постоянство изобразительной детали в характеристике внешности или манеры поведения героев Томас Манн расширил до эпически музыкального повторения <...> И дело тут не только в стремлении помочь нам различить отдельные лица в толпе персонажей,— дело еще в самом *наслаждении повторностью*, возобновлении однажды уже художественно пережитого и возникающем отсюда ритмическом членении текста» [71].

Но все же портретный и речевой лейтмотив сохраняет у Томаса Манна — не только в раннем, но и в позднем творчестве — и такие функции,

которые далеко выходят за пределы музыкальной символики и ритмики. Иной раз постоянные признаки манновских персонажей, так сказать, нейтральны, не обладают глубоким психологическим наполнением — их назначение скорей ритмическое, нежели смысловое. Но иногда эти детали-лейтмотивы очень важны для познания сущности образа,— тут уже на первый план выступает не музыка, а литература, не вагнеровская традиция, а толстовская. Так, в «Тонио Крёгере» портретная деталь — привычка героя «склонять голову набок» — существенна для понимания душевного склада Тонио: асимметричность внешнего облика напоминает о внутренней дисгармонии, свойственной его натуре, его взгляду на жизнь и на свое искусство. Многочисленные лейтмотивы романа «Доктор Фаустус» часто носят не только музыкально-символический, но и познавательный характер. Так, устойчивая речевая деталь,— несколько претенциозное словечко «Hauptweh», которым Адриан Леверкюн обозначает свою привычную, мучительную головную боль,— отражает в себе, как в капле воды, важные стороны его личности: духовный аристократизм, эгоцентричность, свойственную ему от природы и усиливаемую длительной тяжелой болезнью.

В творчестве немецких писателей XX в., младших современников Томаса Манна, мы находим разнообразнейшие вариации портретных, речевых, сюжетно-психологических лейтмотивов. Видимо, тут сказывается и толстовская традиция (воспринятая и непосредственно, и через посредство Т. Манна), и длительное влияние, оказываемое Р. Вагнером на духовную культуру Германии. Тяготение к слову-лейтмотиву, часто повторяемому, несущему определенную поэтическую нагрузку, вызывающему каждый раз приток зрительных и эмоциональных ассоциаций, можно проследить в очень различных произведениях немецкой прозы — от романа Иоганнеса Бехера «Прощание» до новых романов Г. Белля. У разных немецких писателей в использовании лейтмотива очень сложно сочетается и музыкальное «наслаждение повторностью», и поиски наилучших способов идейно-эмоциональной характеристики персонажа. Так, у Фейхтвангера в «Успехе» мы иной раз встречаем устойчивые фразеологические обороты, назначение которых просто в том, чтобы дать читателю возобновление уже однажды художественно пережитого: так, автопортрет умершей художницы Анны Элизабет Гайдер повторно описан одними и теми же словами — «не слишком стройная шея была как-то трогательно вытянута, груди мягко расплывались в молочно-нежном тумане» [72]. Но мы встречаем в этом романе и портретные лейтмотивы чисто толстовского образца, такие, в которых автора интересует не музыкальная, ритмическая сторона, а возможность обрисовать внутренний облик человека через характерные приметы его внешности. Таковы три вертикальные складки на лбу Иоганны Крайн, наглядно выражающие ее решимость, упорство.

Одной из важных сторон мастерства Толстого, творчески воспринятых и продолженных в реалистической литературе Запада, является особый характер его сатиры приемы скрытого обличения, иронический подтекст, направленный на разрушение общепринятой лжи. Силу Толстого в этом плане особенно остро почувствовал Бернард Шоу. В речи памяти Толстого, произнесенной в 1921 г., он постарался определить роль русского классика в истории драматического искусства, но высказал суждения, относящиеся к методу Толстого в целом.

Развитие драмы, по мысли Шоу, приводит к взаимопроникновению жанров, к сочетанию элементов трагического и комического в одних и тех же пьесах. Произведения серьезные по своему содержанию могут неожиданно обнаруживать в себе юмористически снижающие мотивы. «Современная трагикомедия начинается там, где трагедия и комедия старого образца прекращают свое действие».

«Толстого,— утверждает Шоу,— можно классифицировать как писателя трагикомедийного, пока не будет изобретен более удачный термин. Из всех драматических поэтов он обладает наиболее беспощадным прикосновением, когда хочет разрушить. Человек входит в дом, где лежит мертвец. Никакого морализирования, никакой явной иронии! Толстой всегонавсего с простотой, которая так удается ему, сообщает вам, что крышка гроба прислонена к стене прихожей, и что посетитель входит в гостиную и садится на „пуф". И тут же все издевательство, вся нелепость наших похоронных обрядов и кладбищенской сентиментальности вызывают усмешку у нас на лице. Судья идет на заседание с тем, чтобы, разыгрывая из себя носителя божественного правосудия, отправить своих ближних на виселицу. Толстой не выдумывает исключительных случаев, не позволяет себе наморщить лоб или прищуриться; но он упоминает о том, что судья, прежде чем выйти из комнаты, проделывает несколько гимнастических упражнений. И судья тут же оказывается в грязи, весь, как есть, в пурпуре и горностае, и вместе с ним подверглись несказанному осмеянию все остальные судьи». Этот же принцип незаметного разоблачения мнимых ценностей применяется, как показывает Шоу, и в пьесах Толстого, в частности в «Плодах просвещения»: «Он прикасается своим пером к гостиной, кухне, к коврику в вестибюле и к туалетному столику наверху. И все увядает, как сады Клингсора, по знаку, который дает Парсифаль. Герой „Живого трупа" столь же жив, как другие господа из высшего общества.

СОНЯ

Автолитография А. Доббенбурга

Иллюстрация к изданию романа «Война и мир» на голландском языке (L. N. Tolstoï «Oorlog en Vrede». Arnhem, 1949)

Но дворянство как сословие превращается в прах от мимоходом брошенного им замечания о том, что дворянину, который не пошел на военную или дипломатическую службу, остается лишь искать забвения в пьянстве и разгуле». Толстой, по словам Шоу,— «великая социальная подрывная сила (a great Social Solvent), раскрывающая своим трагикомедийным мастерством все ничтожество и бессмысленность той праздной, чванной жизни, ради которой мы жертвуем нашей честью и счастьем наших ближних» [73].

Конечно, можно оспорить предложенный Шоу термин — «трагикомедийное» мастерство. Но интересно и обоснованно замечание Шоу о том, что сам принцип сочетания, взаимопроникновения трагического и комического начал характерен для новейшего искусства: художественные открытия Толстого и здесь органически входят в круг исканий писателей нашего времени. Интересны вместе с тем суждения Шоу об особой уничтожающей силе, которую заключает в себе сатира Толстого именно благодаря сдержанности тона.

ТОЛСТОЙ И «ЭРА ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ В ЛИТЕРАТУРЕ»

Один из индийских почитателей Толстого, известный писатель и общественный деятель Мульк Радж Ананд, в статье, написанной недавно по просьбе Яснополянского музея, попытался определить значение и место «Войны и мира» в современной мировой литературе. Он верно отметил, что «этот роман носит черты специфически современной формы романа, формы, которая породила свои собственные законы, формы, являющейся значительным шагом вперед по сравнению с художественной литературой прошлых эпох». Столь же справедливо его суждение о том, что «Война и мир» «выявляет новое отношение к проблеме войны», что это «первый великий человеческий документ о войне». Но помимо этого, индийский писатель выдвигает и еще один существенный аспект новаторства Толстого: «Можно сказать, что „Война и мир“ открыла эру простых людей в литературе» [74].

Именно это открытие Толстого еще в большей мере, чем все другие его открытия, связывает его творчество с развитием реализма XX столетия и делает его прямым предшественником передовой литературы наших дней. XX век, когда миллионные массы людей в невиданных прежде масштабах, с невозможной прежде настойчивостью и решимостью вышли на арену истории, должен был и в области искусства предоставить рядовым трудящимся людям место несравненно более широкое и почетное, чем то, какое уделялось им литературой и искусством прошлых эпох. Понятно, что художественная концепция «Войны и мира» — концепция романа-эпопеи, основанная на представлении о народе как решающей силе истории, должна была наложить отпечаток на все дальнейшее развитие большого реалистического романа не в одной лишь России, но и в других странах.

Но дело не только в романе-эпопее, не только в новой форме монументального повествования об истории или современности. Демократизм Толстого-художника оказал серьезное влияние на многих зарубежных писателей безотносительно к отдельным литературным жанрам. И своей эстетикой, и личным творческим примером Толстой побудил своих младших собратьев за рубежом уделить больше внимания людям из народных низов. Речь шла не просто о сострадании к обездоленным. Образы городской бедноты, обрисованные с самым горячим авторским сочувствием, были задолго до Толстого даны Гюго и Диккенсом; страстную боль за уничтоженных и оскорбленных внушал своим читателям Достоевский;

контрасты богатства и бедности, неприкрашенно правдивые картины вопиющей нужды масс и вместе с тем изображение острых классовых конфликтов западный читатель находил и у Золя, и позже — у Гауптмана. Но у Толстого было другое, новое, необычное для Запада: пристальное, уважительное внимание к психологии простых людей, рассматриваемых как важный объект эстетического изображения и нередко как воплощение подлинной человечности и по-настоящему высокой морали. Ранние военные рассказы Толстого, солдатские эпизоды «Войны и мира», «Власть тьмы», образы крестьян в «Плодах просвещения» — все это воспринималось за рубежом как необычайное дерзание русского художника: не потому, что Толстой изображал крестьян или солдат угнетенными и страдающими, а потому, что он с непривычной для зарубежного читателя художнической серьезностью раскрывал *богатство внутреннего содержания*, свойственное его народным персонажам — от дяди Ерошки и солдат Севастополя до Митрича и Акима.

Обилие образов людей из народа в произведениях Толстого и в особенности излюбленное Толстым в поздний период творчества противопоставление «верхов» и «низов», благодаря которому обнаруживалось нравственное превосходство простых людей над богатыми и образованными, не раз вызывало сердитые возражения со стороны современной Толстому буржуазной критики. Стоит привести барски-раздраженный отзыв французского журналиста А. Филона о «Плодах просвещения»:

«Итак, по Толстому, высшее общество непроходимо глупо... Можно ли считать это изображение не только забавным, но и правдивым? Не знаю... Но с Толстым никак нельзя согласиться, когда он вкладывает философию пьесы в уста кухарки, кучера или лакея. Не знаю, как идут дела в России; мы сами не стóим многого, но наши слуги стóят еще меньше. Я отказываюсь выслушивать уроки морали от моей кухарки или нравственно возрождаться по примеру моего дворника. Достаточно забот доставляют нам реформаторы сверху: я вовсе не хочу реформаторов снизу!» [75]

Крупнейшие писатели XX в. оценивают народные образы Толстого по-иному. Они видят новаторский характер этих образов и высоко ставят художническую смелость Толстого даже и в том случае, если не разделяют сами его демократических симпатий. Показательны в этом смысле наблюдения Стефана Цвейга над мастерством Толстого-психолога. Ст. Цвейг говорит об умении Толстого находить интересное, художественно значительное в самых обыденных людях (в противовес Шекспиру и Достоевскому, тяготевшим к характерам исключительным). «Даже в обыкновенном, ничем не примечательном крестьянском парне он обнаруживает ему одному доступные тайные глубины; для проникновения в самые сокровенные области царства души ему вполне достаточно взять крестьянина, солдата, пьяницу, собаку, лошадь, самый общедоступный человеческий материал,— ему вовсе не нужны редкостные, утонченные натуры; но в этих совершенно заурядных существах он открывает неслыханные богатства души — не приукрашивая, а углубляясь» [76].

В этом отзыве Ст. Цвейга верно и тонко подмечено, что Толстой создавал свои положительные народные фигуры, как правило, без элемента преднамеренной идеализации, не нарушая жизненной правды, «не приукрашивая, а углубляясь» (в тех же редких случаях, когда философия «толстовщины» побуждала гениального художника конструировать идеальные образы, соответствующие его религиозным воззрениям, «диалектика души» подменялась приглаженным, плоскостным изображением личности: яркий пример тому — Платон Каратаев). Однако в цитированных строках сказалось и ограниченное понимание Толстого: если поверить Ст. Цвейгу, Толстой не нуждался ни в каком отборе, мог облагородить магией своего искусства любое «заурядное существо». Сам Толстой рассуждал иначе.

Он обращался — и призывал других писателей обращаться — к изображению людей из народа именно потому, что был убежден в их внутренней *незаурядности*, содержательности их душевного мира. Он утверждал, что «жизнь трудового человека с его бесконечно разнообразными формами труда» представляет для искусства исключительно благородный материал, и что «круг чувств, переживаемых людьми властвующими, богатыми, не знающими труда поддержания жизни, гораздо меньше и ничтожнее чувств, свойственных рабочему народу» (т. 30, с. 86, 87).

В этих положениях трактата «Что такое искусство?» заключалась творческая заявка, которую Толстой-художник не мог полностью реализовать. Мир мыслей, переживаний и чувств, свойственных «рабочему народу», не был вполне доступен — и в XX в. становился все менее доступен — ему самому. Исключая из своей картины жизни рост политического сознания масс, их все возраставшее, все более деятельное участие в больших классовых схватках, автор «Воскресения» не мог запечатлеть то духовно наиболее возвышенное, человечески наиболее значительное, что определяло собою жизнь трудового народа в предреволюционной России. Понятно, что Горький (отчасти и его западный сверстник Мартин Андерсен Нексе), а затем и Барбюс, и Фурманов, и Фадеев, и Шолохов, и вся мировая литература социалистического реализма совершили в области психологии народных масс и индивидуальной психологии трудящегося человека такие открытия, которые лежали за пределами реалистических возможностей Толстого (мы имеем в виду, конечно, не уровень мастерства, а скорей саму эстетическую новизну жизненных явлений, освоенных мировым революционным искусством XX в.). Но Толстой сделал чрезвычайно много для того, чтобы утвердить демократическую тему, обосновать ее художественную правомерность, внедрить ее в мировую литературу. Его творчество и в этом отношении знаменует «шаг вперед в художественном развитии всего человечества».

Если современные писатели социалистического реализма в понимании народности искусства и разработке демократической темы идут дальше толстовской традиции, оказываются ближе к Горькому, чем к Толстому, то для писателей критического реализма нередко именно Толстой становится масштабом и ориентиром при определении их отношения к народу.

На примере Арнольда Цвейга можно видеть, как сближение с идейными позициями литературы социалистического реализма помогло старому писателю-гуманисту лучше осмыслить Толстого. В свое время в романе «Спор об унтере Грише» А. Цвейг наделил своего героя, русского унтера, не только большой нравственной чистотой, но и чертами «каратаевской» незлобивости, весьма нетипичными для русских солдат 1917—1918 гг.; учась у Толстого реалистическому изображению войны, А. Цвейг вместе с тем некритически воспринял слабые стороны мировоззрения писателя, проникшие в художественную ткань «Войны и мира». Ныне Арнольд Цвейг понимает любимого им русского классика иначе, несравненно глубже: в статье, опубликованной в 1953 г., он выразил согласие с ленинской интерпретацией Толстого [77]. Углубилось и представление Арнольда Цвейга о русском народе: он перестал считать патриархально-крестьянскую мягкосердечность и простодушие характерными свойствами русского человека. Те представители революционной России, которые эпизодически появляются на страницах романа «Затишье», раскрывают русский национальный характер в совершенно ином аспекте, чем раскрывал его кроткий унтер Гриша. И именно люди такого нового, революционного склада — и граждане Советской России, и сочувствующие делу Октября немецкие рабочие и солдаты — оказываются той решающей силой, которая способна вывести интеллигентов-правдоискателей из лабиринта блужданий и помочь им определить свою цель в жизни.

Незадолго до смерти Толстой записал в дневнике: «Вчера чтение рассказа Мопассана навело меня на желание изобразить пошлость жизни, как я ее знаю, а ночью пришла в голову мысль поместить среди этой пошлости живого духовно человека. О, как хорошо! Может быть, и будет» (т. 58, с. 111). В этом замысле заключена характерная для Толстого поправка к той картине действительности, которая давалась Мопассаном, Флобером, Гонкурами и другими видными мастерами западноевропейского реализма прошлого столетия. Эти мастера не видели в современном им обществе людей, духовно живых. Толстой видел их в русском обществе, сотрясаемом подземными толчками нарастающего революционного движения. Столкновение духовно живой личности с пошлым миром собственников — ситуация вполне толстовская, на ней основаны многие идейно-сюжетные коллизии в произведениях Толстого, от завязки «Казаков» до «Живого трупа». В западной литературе XX в. конфликт мыслящей личности с косной и тупой средой встречается нередко: сама общественная атмосфера революционного века благоприятствует развитию таких конфликтов, побуждает людей здоровых духом не капитулировать перед пошлостью, а в меру своих сил противостоять ей. К породе духовно живых людей, приходящих в конфликт с господствующей пошлостью, принадлежат и честные, но хрупкие положительные персонажи «Саги о Форсайтах» и — на другом полюсе критического реализма XX в. — мятежный и несокрушимый Жан Кристоф. В послеоктябрьские десятилетия писатели социалистического реализма противопоставляют обществу и государству собственников, как правило, не только душевную чистоту мыслящих одиночек, но и нечто более надежное — организованную силу борющегося коллектива, класса, партии. Однако для писателей современного критического реализма толстовская антитеза пошлого общества и духовно живого человека продолжает оставаться вполне жизненной: об этом свидетельствует и «Успех» Фейхтвангера, и «Эроусмит» Синклера Льюиса.

Творчество Толстого изменило в мировой литературе соотношение критики и утверждения. Положительное, нравственно здоровое начало, воплощенное в народе или в людях из обеспеченных классов, тяготеющих к народу, внутренне близких ему, присутствует у Толстого почти во всех произведениях; причем это положительное начало утверждается последовательно реалистическими средствами, без романтических примесей, свойственных наиболее привлекательным персонажам Диккенса. (Ромен Роллан верно заметил: «У Толстого критика всегда имеет созидательную ценность. Он стремится построить заново: уничтожение ради уничтожения чуждо духу Толстого» [78].) Настойчивое и притом реалистическое утверждение положительных ценностей, определяющее своеобразие Толстого в сравнении с большинством мастеров критического реализма XIX в., является одной из важных точек соприкосновения Толстого с современной передовой литературой.

Анна Зегерс верно подметила связь народности Толстого с его склонностью к художественному утверждению, выделяющей его среди реалистов старого образца. Толстой, говорит она, уже в раннем творчестве «видит мир глазами простого крестьянина-солдата. Пусть он и не социалист, с позиции, занятой им как художником, с позиции простого русского человека из народа он *взрывает рамки того реализма, который был только критическим*. Да и не может быть критики без критериев, без масштабов критики. С этой художнической позиции Толстой раскрывает и рисует особенности характера своего народа, отчетливо проявляющиеся тогда, когда он борется за правое дело, когда от него зависит судьба страны — и во время войны, и во время мира». И дальше А. Зегерс отмечает новизну трактовки героизма у Толстого, вспоминает о храбром капитане Хлопове («Набег»), в котором было, казалось бы, «так мало воинственного».

Показать мужественного человека в таком свете, как Толстой показал Хлопова, это, утверждает А. Зегерс,— «самое простое и самое сложное для художника» [79].

Есть основание согласиться с немецкой писательницей, когда она видит именно здесь одно из важнейших проявлений новаторства Толстого. Создатель «Набега», «Севастопольских рассказов», «Войны и мира» более смело и последовательно, чем другие писатели-реалисты до него, лишил понятие героизма ореола исключительности, раскрыл высокое мужество, смелость, самопожертвование как качества, потенциально присущие *многим* людям. Такой взгляд на героизм теснейшим образом связан и с толстовской верой в человека, и с толстовской нравственной требовательностью и, разумеется, непосредственно вытекает из демократической природы творчества Толстого. Понятно, насколько важны и поучительны эти особенности творчества Толстого для передовой литературы наших дней.

Писатели социалистического реализма, рассматривающие наследие Толстого с высоты современных, проверенных практикой их собственного творчества, эстетических и этических понятий, иной раз глубже проникают в суть толстовского метода, чем это удавалось сделать профессионалам-исследователям. В высшей степени интересно и поучительно наблюдение, сделанное К. А. Фединым:

«Одним из основных приемов, которым Толстой пользуется в своей лепке образа, является испытание нравственной ценности героя у решающей черты жизни и смерти <...> Он словно говорит героям произведений: покажи, как ты относишься к смерти — если смерть естественна, если она насильственна, если ты ее просишь, если она добровольна, если долгожданна, если нечаянна,— покажи, и ты определишь свою ценность как человека, а мы поймем таких, как ты.

Замечательно, что писатель, непревзойденно изображавший человеческое счастье, любовь, радость, молодость, применял столь суровый путь распознавания достоинств и пороков человека. Но Толстой шел именно таким путем, побуждаемый своей требовательностью к нравственной силе человека. Ни одного из любимых им героев он не заставил умереть жалкой, недостойной смертью. Наоборот, эти герои в последний час жизни будто еще более возвышаются или выходят из испытания смертью счастливыми» [80].

Федин сумел по-новому взглянуть на ту особенность творчества Толстого, которая не раз вызывала кривотолки в буржуазном литературоведении (и, как правило, обходилась советскими литературоведами, писавшими о Толстом). Он показал, что пристальное, напряженное внимание к теме смерти, внимание, которое Толстой пронес через всю жизнь, от «Детства» до «Хаджи-Мурата»,— не есть проявление «толстовщины», не есть выражение религиозного мистицизма или пессимизма, но что оно, напротив, тесно связано с *жизнеутверждающей* сущностью толстовского творчества, с его любовью к жизни, здоровью, мужеству и верой в людей.

XX век — бурный и богатый потрясениями — принес с собой бесчисленное множество индивидуальных трагедий, оборвал на полдороге, порою очень жестоким и мучительным образом, миллионы человеческих жизней. Понятно, что тема смерти занимает многих писателей нашего времени. Для литераторов, полностью или частично подчинивших себя идеологии декаданса, смерть — предмет культа или панического страха, объект болезненного любования или уважительная причина для всепоглощающего космического пессимизма. Писатели-реалисты говорят о смерти безбоязненно и просто: в этом им помогает Толстой. Вслед за Толстым крупнейшие художники нашего века подводят своих героев к решаю-

щей черте жизни и смерти — и проверяют таким путем их нравственную сущность. Иногда результаты такой проверки оказываются еще более убийственны, чем сама смерть, становятся суровым обвинением не только одного человека, но и целого общественного уклада: вспомним жалкий конец Оскара Тибо. Иногда же смерть героя помогает выявить то благородное, человечное, что заложено в его характере: яркий пример тому — трагическая, но полная достоинства кончина юного Бертольда Оппенгейма.

Во множестве вариаций раскрывается тема смерти в творчестве Хемингуэя: иногда — с примесью нездоровой пессимистической безнадежности (такова, например, внезапная и все же тщательно подготовленная всей атмосферой повествования бессмысленная гибель полковника Кентвелла в романе «Через реку и к тем деревьям»); иногда — с оттенком скорбного стоицизма и вместе с тем со спокойным мужеством и сознанием исполненного долга (такова смерть Роберта Джордана в романе «По ком звонит колокол»); иногда — с гордой верой в человека и несокрушимость его нравственных сил (именно так дана смерть двух молодых кубинских революционеров в маленьком рассказе «Никто никогда не умирает»). В этой, столь различной в разных произведениях, трактовке смерти у Хемингуэя мы видим весь диапазон исканий большого и противоречивого писателя. Однако, по верному наблюдению И. А. Кашкина, для Хемингуэя так или иначе перед лицом смерти «обнаруживается все лучшее и худшее в человеке»[81]. Преемственная связь американского художника с Толстым сказывается не только в конкретных способах психологической характеристики его умирающих героев, например в частом применении внутреннего монолога или диалога, но и — что гораздо важнее — в той моральной требовательности, которая побуждает Хемингуэя в каждом отдельном случае подвергать человеческую ценность своих героев самому суровому из возможных испытаний.

В международной литературе социалистического реализма смерть героя является проверкой не только его личных качеств, но и его *общественной* ценности, проверкой тех жизненных, идейных принципов, которыми человек руководствовался, той цели, ради которой он жил и умер. Толстовские приемы психологической характеристики, свободно и разнообразно применяемые передовыми писателями, помогают им с максимальной психологической достоверностью раскрыть внутреннюю сущность человека, поставленного логикою борьбы у решающей черты жизни и смерти. Такова в романе Анны Зегерс «Седьмой крест» сцена последнего допроса коммуниста-подпольщика Валлау, когда заключенный, противопоставляя всем усилиям своих мучителей упрямое ледяное молчание, подводит итоги прожитой жизни в неслышной беседе с самим собой. Такова в романе Марии Пуймановой «Жизнь против смерти» глава, где идет речь о расстреле чешских патриотов и где героиня национального сопротивления, молодая коммунистка Елена, вспоминает, анализирует, оценивает то, что было ею в жизни сделано и что до порога смерти осталось ей дорого. Толстовское понимание героизма и толстовская трактовка смерти по-своему отразились в «Репортаже с петлей на шее» Юлиуса Фучика и в самом принципе проверки ценности человека, обреченного на гибель, и в рассуждениях автора-героя: «Смерть проще, чем ты думал, и у героизма нет лучезарного ореола...»[82].

Новое, глубоко демократическое понимание сущности героизма («Храбрый тот, кто ведет себя, как следует») в литературе социалистического реализма истолковывается творчески: не только и не столько применительно к героизму воинскому, но и применительно к героизму освободительной борьбы, труда, гражданского, революционного подвига. Понятно, что тема героизма в современной передовой литературе обогащается новым

идейным содержанием, приобретает те *политические* акценты, которых не могло быть у Толстого. Но именно Толстой дал передовым писателям мира новую, широкую реалистическую основу для разработки этой героической темы.

* * *

Толстой дал многое писателям социалистического реализма — не только писателям советским, но и зарубежным. И он еще очень многое может дать им.

М. А. Шолохов в речи на XX съезде КПСС справедливо заметил: «Общеизвестно, что Лев Толстой знал душу русского мужика как никто из нас, современных писателей» [83]. Само собой разумеется, что образ народа, массы в литературе социалистического реализма, и в первую очередь в творчестве самого М. Шолохова, качественно отличен от того образа народа, который создавал в свое время Толстой. Новаторским завоеванием литературы социалистического реализма от Горького и Барбюса до Шолохова и Арагона является образ массы, одушевленной революционным *сознанием*,— то, чего не было и не могло в свое время быть у автора «Войны и мира». Но толстовское проникновение в психологию массы, толстовское глубинное постижение души рядовых трудящихся людей, мастерство передачи дум, чувств, чаяний, настроений этой массы в высшей степени поучительно для передовых писателей наших дней.

В литературе социалистического реализма широкое развитие получил новый тип многообъемлющего реалистического повествования, роман-эпопея, сочетающий историю отдельных лиц с большим потоком народной жизни в ее поступательном историческом движении. Передовые писатели, следуя принципу изображения действительности в ее революционном развитии, разумеется, решают многие конкретные идейно-творческие вопросы по-иному, чем мог их решать автор «Войны и мира» и «Воскресения». Однако мастерство Толстого-романиста, его умение связывать громадное многообразие человеческих судеб в нерасторжимо единое, динамическое повествовательное целое, его умение совмещать психологические «крупные планы» с развернутыми массовыми сценами и наделять каждое из эпизодических лиц запоминающейся, неповторимой индивидуальностью,— все это в высшей степени важно для тех современных прозаиков, которые в трудных поисках разрабатывают искусство романа применительно к ответственным познавательным и воспитательным задачам передовой литературы наших дней.

В литературе социалистического реализма особое значение приобретает положительный образ передового человека современности — образ, могущий служить примером и моральным ориентиром для миллионов людей. Бесспорно, что герои «Коммунистов» или «Молодой гвардии» принципиально, качественно отличны от Андрея Болконского или Анны Карениной. Но толстовское искусство разработки ярких человеческих характеров, обладающих большим личным обаянием, чистотой нравственного чувства, богатством духовной жизни, характеров, которые на протяжении многих десятилетий сохраняют свою притягательную силу для читателей разных возрастов и профессий, многому может научить писателей социалистического реализма в их работе над образом «настоящего человека» нашей эпохи.

За пятьдесят лет, истекших со времени смерти Толстого, искусство реалистического познания жизни обогатилось новыми эстетическими истинами, новыми композиционными и сюжетными решениями, новыми способами точного, зримого воспроизведения действительности, постигаемой в ее постоянной изменчивости и историческом движении вперед. Современная передовая литература с каждым годом расширяет круг своих художественных приемов, развивается в самых различных стилевых и жанро-

вых вариациях — от скрупулезно точного жизнеподобия до смелой условности и романтической приподнятости. Однако художественное наследие Толстого, по-разному воспринимаемое писателями разных стран, разных литературных школ, сохраняет для них свою поучительную и вдохновляющую силу.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр. 31.

Недавно появилась книга, где освещено восприятие Толстого в литературе и публицистике Китая, Индии, Японии, Ирана, Турции, арабских стран: А. И. Шифман. Толстой и Восток. М., Изд-во восточной литературы, 1960.

[2] Ромен Роллан. Неизвестные страницы.— «Иностранная литература», 1959, № 10, стр. 7—8.

[3] Цитируется по копии письма Роллана, полученной автором статьи от Русина Филипова.

[4] Lion Feuchtwanger. Centum opuscula, 1956, S. 327.

[5] Dreiser on Tolstoy.— «The Bulletin» (San Francisco), 1928, 29 IX.

[6] Hamlin Garland. Preface to «Recollections and essays» by L. Tolstoy.— Tolstoy Centenary Edition, v. XXI, 1937.

[7] Jean-Richard Bloch. Destin du siècle. Paris, 1931, p. 70—79.

[8] Heinrich Mann. Ein Zeitalter wird besichtigt. Berlin, 1947, S. 47.

[9] Фотокопия немецкого текста, переписанного Г. Манном, имеется в АТ.

[10] Bernard Shaw. Preface to: Aylmer Maude. The life of Tolstoy. London, 1929.

[11] Анатоль Франс. Памяти Толстого.— «Интернациональная литература», 1940, № 11-12, стр. 229.

[12] Cahiers Romain Rolland. Chère. Sofia. I. (1901—1908). Paris, 1959, p. 12—13.

[13] Cahiers Romain Rolland. Le cloître de la rue d'Ulm. Paris, 1952, p. 197.

[14] Thomas Mann. Gesammelte Werke, Bd. 10. Berlin, 1955, S. 275.

[15] Stephen Crane. An omnibus. London, 1954, p. 627 (см. также: «Вопросы литературы», 1959, № 8, стр. 231).

[16] W. D. Howells. Introduction to: Leo Tolstoy. Sebastopol. N. Y., 1887.

[17] Stefan Zweig. Baumeister der Welt. Wien — Leipzig — Zürich, 1936, S. 562.

[18] J. Galsworthy. Tolstoi as a novelist.— «The Nation», 1928, 5 X.

[19] B. Prus. «Zmartwychwstanie» Lwa Tolstoja.— «Kurier Codzienny», 1900. Nr 158.

[20] А. Пиотровская. Мария Конопницкая и русская литература.— «Вопросы литературы», 1959, № 6, стр. 186.

[21] André Maurois. Préface à: Léon Tolstoi. La guerre et la paix. Paris, 1956, p. 11—12.

[22] Sar Péladan. La décadence esthétique. Réponse à Tolstoi. Paris, 1898, p. 35, 46, 130, 221.

[23] Frank Norris. The responsibilities of the novelist. N. Y., 1903.

[24] См. С. Великовский. Разрушение романа.— «Иностранная литература», 1959, № 1.

[25] Карло Салинари. Проблемы романа.— «Иностранная литература», 1960, № 3, стр. 217.

[26] Так, например, известный немецкий литературовед проф. Ганс Майер в большой статье, опубликованной в декабре 1956 г. в газете «Зоннтаг», упрекал современных прозаиков социалистического лагеря в консерватизме вкуса — в том, что они долго «упрямо держались за форму романа Бальзака или Толстого».

[27] См., напр., Е. Л. Гальперина. «Семья Тибо» Роже Мартен дю Гара.— «Иностранная литература», 1940, № 11-12.

[28] Albert Camus. Roger Martin du Gard.— Préface à: Roger Martin du Gard. Oeuvres complètes, v. I. Paris, 1955, p. VIII.

[29] Л. Зонина. О почтительном произволе. (Наследие Роже Мартен дю Гара и его толкователи).— «Иностранная литература», 1958, № 12.

[30] Роже Мартен дю Гар. Воспоминания.— «Иностранная литература», 1956, № 12, стр. 112.

[31] Roger Martin du Gard. Oeuvres complètes, v. I. Paris, 1955, p. 125.

[32] «Иностранная литература», 1956, № 12, стр. 90.

[33] Там же, стр. 96—97.

[34] В. Днепров. Проблемы реализма. Л., 1960, стр. 78—79.

[35] А. А. Сабуров. «Война и мир» Л. Н. Толстого. Проблематика и поэтика. М., Изд-во МГУ, 1959, стр. 404—416.

[36] Роже Мартен дю Гар. Семья Тибо, т. II. М., 1957, стр. 158—159.

[37] «Иностранная литература», 1956, № 12, стр. 113—114.

[38] Письма Роже Мартен дю Гара. Публикация Л. Зониной.— «Новый мир», 1960, № 3, стр. 275.

[39] Там же, стр. 276.
[40] Там же, стр. 279.
[41] Роже Мартен дю Г а р. Семья Тибо, т. I. М., 1956, стр. 566.
[42] См. Pierre D a i x. Réflexions sur la méthode de Roger Martin du Gard. Paris, 1957.
[43] «Новый мир», 1960, № 3, стр. 281.
[44] Роже Мартен дю Г а р. Семья Тибо, т. II. М., 1957, стр. 389.
[45] Romain R o l l a n d. Mémoires. Paris, 1956, p. 34.
[46] Письма Роже Мартен дю Гара и Ромена Роллана.— «Иностранная литература», 1958, № 10, стр. 254.
[47] Cahiers Romain R o l l a n d. Chère Sofia. II. (1909—1932). Paris, 1960, p. 244.
[48] П. И. Б и р ю к о в. Биография Льва Николаевича Толстого, т. I. М.—Пг., 1923, стр. 124.
[49] André M a u r o i s. Préface à: Léon Tolstoi. La guerre et la paix. Paris, 1956, p. 22.
[50] A r a g o n. Préface à: E. Kasakievitch. L'étoile. Paris, 1949, p. 3.
[51] См. War and peace, by Leo Tolstoy. N. Y., 1942, p. ii.
[52] Э. Х е м и н г у э й. Избранные произведения в двух томах, т. II. М., 1959, стр. 252.
[53] Men at war. The best war stories of all time. Edited with an Introduction by Ernest Hemingway. N. Y., 1955, p. XIV.
[54] Там же, стр. XV.
[55] Там же, стр. XIII—XVII.
[56] О влиянии Толстого на творчество Арнольда Цвейга см.: Т. М о т ы л е в а. О мировом значении Л. Н. Толстого. М., 1957, стр. 603—612, а также: П. Т о п е р. Арнольд Цвейг. М., «Советский писатель», 1960.
[57] И. В. С т р а х о в. Л. Н. Толстой как психолог.— «Ученые записки Саратовского гос. пед. института», вып. X, 1947, стр. 95.
[58] См., напр., L. E d e l. The psychological novel 1900—1950. New York — Philadelphia, 1955.
[59] Marcel P r o u s t. Contre Sainte-Beuve. Suivi de Nouveaux Mélanges. Paris, 1954, p. 420—421.
[60] E. M. de V o g ü é. Le roman russe. Paris, 1897, p. 323.
[61] М. П р у с т. Собр. соч., т. I. Л., 1934, стр. 211.
[62] Томас М а н н. Собр. соч., т. II. М., 1959, стр. 594—595.
[63] Лион Ф е й х т в а н г е р. Успех. М., 1958, стр. 153—154.
[64] Там же, стр. 698—699.
[65] Лион Ф е й х т в а н г е р. Семья Оппенгейм. М., 1938, стр. 199—202. (В новых немецких изданиях этот роман, согласно воле автора, называется «Семья Опперман».)
[66] См. об этом: И. В. С т р а х о в. Толстой как психолог. Саратов, 1947, стр. 30—40
[67] Э. Х е м и н г у э й. Избранные произведения в двух томах, т. II, стр. 293.
[68] Ernest H e m i n g w a y. For whom the bell tolls. Overseas editions. N. Y., <б. г.>, p. 303 (цитируется в переводе Н. А. Волжиной и Е. Д. Калашниковой).
[69] Thomas M a n n. Gesammelte Werke, Bd. X. Berlin, 1955, S. 348.
[70] Там же, т. XII, стр. 440—441.
[71] В. Д н е п р о в. Интеллектуальный роман Томаса Манна.— «Вопросы литературы», 1960, № 2, стр. 157.
[72] Lion F e u c h t w a n g e r. Erfolg. Berlin, 1954, S. 38, 170 (в русском переводе эта стилистическая особенность подлинника несколько стирается).
[73] Bernard S h a w. Tolstoy: Tragedian or comedian? — «The London Mercury», 1921, May, v. IV, № 19.
[74] Лев Толстой. Материалы и публикации. Тула, 1958, стр. 221, 224, 226.
[75] A. F i l o n. Courrier littéraire.— «La Revue bleue», 1891, 21 II.
[76] Stefan Z w e i g. Baumeister der Welt. Wien — Leipzig — Zürich, 1936, S. 568.
[77] Arnold Z w e i g. Leo Tolstoi.— «Die neue Gesellschaft», 1953, № 9.
[78] Ромен Р о л л а н. Собр. соч. в четырнадцати томах, т. II. М., 1954, стр. 296.
[79] Anna S e g h e r s. Tolstoi.— «Sinn und Form», 1953, № 5.—Курсив мой.— *Т. М.*
[80] Конст. Ф е д и н. Писатель, искусство, время. М., 1957, стр. 20—21.
[81] Вступительная статья к книге: Эрнест Х е м и н г у э й. Избранные произведения в двух томах, т. I, стр. 23.
[82] Юлиус Ф у ч и к. Избранное. М., 1955, стр. 513.
[83] «XX съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический отчет», т. I. М., 1956, стр. 582.

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ИЗУЧЕНИЯ ТОЛСТОГО

Статья К. Н. Ломунова и Б. С. Мейлаха

1

Пятьдесят лет назад В. И. Ленин писал о Льве Толстом: «Чтобы сделать его великие произведения достоянием *всех*, ⟨...⟩ нужен социалистический переворот» [1].

Осуществляя поставленную В. И. Лениным задачу сделать произведения Толстого «достоянием *всех*», наши издательства выпускают их огромными тиражами. За 65 дореволюционных лет (считая с 1852 г., когда появилось в печати первое произведение Толстого повесть — «Детство», и по 1917 г.) книги были изданы в России общим тиражом 10 784 000 экземпляров на 10 языках. За 43 советские года (с 1917 по 1 января 1961 г.) они изданы в нашей стране общим тиражом 99 572 000 на 82 языках [2].

Толстой создал великие произведения о своем времени, о народе, о родине, поставив в них такие вопросы «судьбы человеческой», которые всегда будут волновать миллионы людей. Он занял в истории русской литературы и общественной мысли такое место, что у Горького были все основания утверждать: «Не зная Толстого, нельзя считать себя знающим свою страну...». О всеобъемлющем характере его творчества Горький сказал: «Толстой — это целый мир» [3].

Глубоко-национальный писатель, Толстой еще при жизни заслужил всемирное признание. И в наше время он является одним из самых популярных писателей мира. Как свидетельствует журнал «Курьер Юнеско», Толстой занимает первое место среди писателей всех стран по числу переводов его книг на иностранные языки, по количеству языков, на которые они переведены, и по числу переведенных произведений [4].

Слово Толстого звучит сегодня на многих языках во всех концах земного шара. В выпускаемой Государственной библиотекой иностранной литературы библиографии «Художественные произведения Л. Н. Толстого в переводах на иностранные языки» зарегистрированы книги писателя на 48 языках, вышедшие во многих странах Запада и Востока. Перечень этих изданий занял 40 печатных листов [5].

Лев Толстой, наряду с Пушкиным, всегда находился в центре внимания нашей историко-литературной науки. Подобно «пушкиниане», советская «толстовиана» насчитывает тысячи работ. Достаточно сказать, что их библиография за 1917—1958 гг. заняла объемистый том почти в 800 страниц [6]. В ней зарегистрировано около 6000 названий книг и статей, целиком или частично посвященных жизни и творчеству писателя. Наряду с биографическими трудами и очерками о творческом пути Толстого здесь названо большое число других работ, в которых речь идет об отдельных сторонах наследия писателя, о различных вопросах и проблемах, возникающих при изучении его мировоззрения и творчества.

Так, например, в ряде книг и статей освещаются общественно-политические, философско-исторические, эстетические, литературно-критические, педагогические, морально-этические, религиозно-нравственные взгляды Толстого В этих работах характеризуются сильные и слабые стороны мировоззрения писателя, социально-исторические условия, породившие сложность и противоречивость взглядов Толстого. При этом широко привлекаются новые материалы, опубликованные за последние годы в Полном собрании сочинений Толстого и в разных сборниках и периодических изданиях.

Все глубже и разностороннее изучается художественное творчество великого писателя. Наряду с книгами и статьями о важнейших периодах творчества Толстого и об отдельных его произведениях появились новые исследования, характеризующие художественный метод писателя, особенности его реализма, его мастерство. В целом ряде работ освещаются различные стороны поэтики Толстого, выясняется своеобразие его языка и стиля.

Для того, чтобы дать хотя бы самое общее представление о том объеме, который приобрели к настоящему времени отдельные разделы советской «толстовианы», приведем две цифры, взятые из «Библиографии литературы о Л. Н. Толстом. 1917—1958». В ее указателях зарегистрировано более 500 книг и статей, авторы которых в тех или иных аспектах пишут о «Войне и мире», и более 220 книг и статей, в которых идет речь об «Анне Карениной». Многие из этих книг и статей лишь частично посвящены проблематике толстовских романов, но все же эти цифры достаточно внушительны.

Заслуживают внимания книги и статьи советских литературоведов и критиков, освещающие такие темы, как «Мировое значение Толстого», «Толстой и русская литература», «Толстой и литература зарубежных стран», «Толстой и советская литература», «Толстой и наша современность» и т. д.

Уже простое перечисление круга вопросов и тем, связанных с изучением наследия Толстого, свидетельствует, что обзор советской «толстовианы» под силу скорее всего целому коллективу исследователей. В рамках настоящей статьи мы сможем коснуться лишь некоторых важнейших проблем изучения Толстого, немногих работ о писателе, вышедших за последние годы. При этом мы остановим внимание читателей преимущественно на работах, наиболее отчетливо показывающих общее направление, в котором развивается у нас изучение наследия Толстого*.

К сожалению, еще не составлена библиография литературы о Толстом, вышедшей на иностранных языках при жизни писателя и за полвека после его кончины. Такая библиография, несмотря на все трудности ее составления, должна быть обязательно подготовлена. С ее помощью мы еще более отчетливо сможем представить себе картину той острой идейной борьбы вокруг Толстого, которая началась со времени появления его имени в литературе и не утихает до сих пор.

Для представителей общественно-политических и литературных направлений, связанных с освободительной борьбой, Толстой — обличитель всех форм угнетения и рабства — всегда был национальной гордостью, писателем, выражавшим чаяния многомиллионных масс. Подвергая критике те стороны его взглядов, которые были связаны с Россией, уходившей в прошлое, представители этих направлений вместе с тем видели величайшую заслугу писателя в его бесстрашной борьбе с деспотизмом, высоко ценили могучую силу его слова, звучавшего на весь

* Работы 1960—1961 гг., появившиеся в связи с 50-летием со дня смерти Толстого, не могли быть учтены в настоящем обзоре.— *Ред.*

мир. Именно из-за этих сторон деятельности Толстого его ненавидели и травили реакционеры — начиная от самодержцев и «жандармов во Христе». Но в борьбе вокруг Толстого использовались также и приемы прямой фальсификации, нередко замаскированной изъяснениями любви к нему.

Поэтому, чтобы понять подлинный смысл всякого рода писаний о Толстом, к какому бы времени они ни относились, нужно обращать внимание не на реверансы и «изъявления почтения» к писателю, а на внутреннее содержание и основные тенденции тех или иных оценок.

В зарубежной «толстовиане» — не мало интересного и ценного. Тонкие наблюдения и характеристики Толстого принадлежат ряду виднейших писателей и прогрессивных критиков Запада.

Но если внимательно присмотреться к направлению, в котором развивается современная зарубежная наука о Толстом, то нельзя не выделить нескольких ясно наметившихся тенденций. Одна из них заключается в подчеркнутом внимании к частным, нередко малозначительным эпизодам и фактам жизни и творчества писателя. Другая — в выдвижении на первый план религиозно-нравственного учения Толстого как якобы наиболее значительной части его наследия. Третья тенденция находит выражение в использовании творчества Толстого для политических, философских, эстетических и иных дискуссий, устраиваемых с целями, не имеющими ничего общего с подлинной наукой.

В конце июня — начале июля 1960 г. в Венеции состоялась международная конференция памяти Толстого. Наряду с интересными выступлениями итальянского писателя Гвидо Пьовене и других делегатов, говоривших о Толстом-художнике, на конференции был заслушан ряд таких докладов зарубежных исследователей, которые ничего нового в науку не внесли. Как пишет присутствовавший на конференции В. В. Ермилов, советских делегатов «глубоко поразило то обстоятельство, что почти все доклады и выступления зарубежных литературоведов и культурно-политических деятелей были посвящены религиозным, моральным, этическим взглядам Толстого и общим социологическим или политическим рассуждениям *по поводу* Толстого, в отрыве от художественной конкретности толстовских произведений. Как будто речь шла не об одном из величайших художников всех времен и народов, а лишь о религиозном проповеднике или даже политическом мыслителе!» [7].

Это не значит, что такие проблемы, как «учение Толстого» или «Толстой-мыслитель», не заслуживают пристального внимания исследователей. Все дело в том, что в трактовке литературоведов идеалистических школ учение и взгляды Толстого нередко ограничиваются только его религиозно-нравственными идеями, а подлинное содержание последних излагается односторонне и тенденциозно.

Так, например, с докладом «Толстой вопрошает смерть» на конференции выступил французский литературовед Д. Жиллес. По мнению докладчика, Толстой всю жизнь терзался страхом смерти, и этот страх был главным импульсом его творчества. Всю жизнь он искал, но так и не нашел ответа на вопрос: «Что такое смерть?» «Но и не поняв,— говорит Жиллес о Толстом,— он победил смерть, обезоружив ее тем, что приготавливался к ней в течение 30 лет, разрывая узы, которые привязывали его к жизни». Борясь со страхом смерти, Толстой, уверяет Жиллес, «уничтожил в себе все человеческие желания...».

Нет нужды подчеркивать всю бесплодность и ошибочность подобного рода «исследований». Однако в современном зарубежном литературоведении они в большой моде.

На Венецианской конференции прозвучали голоса и таких «исследователей», которые не останавливаются перед прямой клеветой на

Толстого. Так, один из американских делегатов заявил, что Толстой якобы предрекал гибель искусства, если оно станет народным.

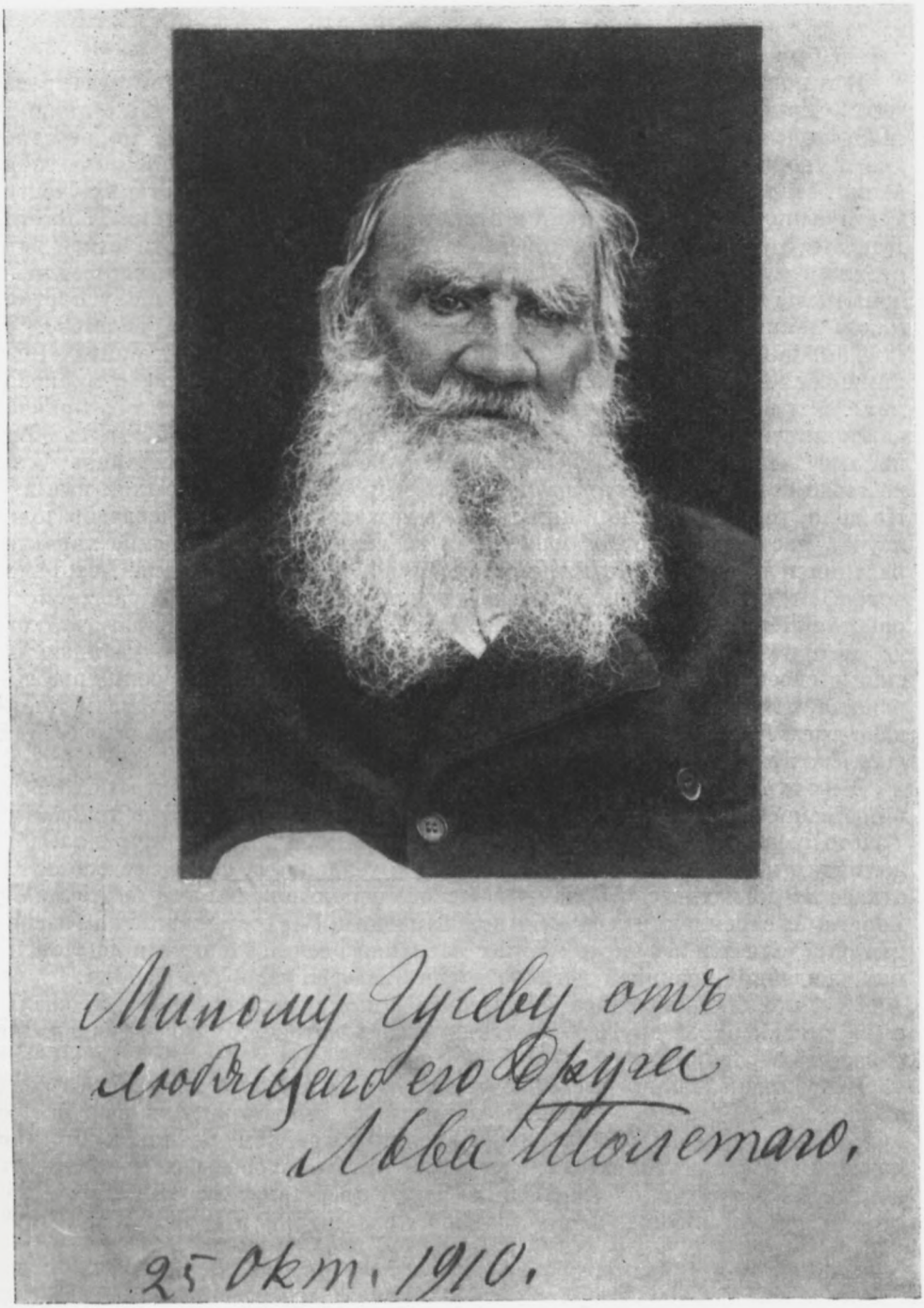
В апреле прошлого года в Нью-Йорке вышел специальный «толстовский» номер журнала «The Russian Review» (т. XIX, № 2). Редакция журнала предоставила свои страницы для очередного антисоветского выступления «деятеля» белоэмигрантского «Толстовского фонда» в США Александры Толстой, выдумок немецкого профессора Р. Фюлеп-Мюллера, объявившего великого русского писателя... апологетом войны. Программный характер носит обзорная статья «Толстой в советской критике» Глеба Струве. Это сочинение, занимающее в журнале 15 страниц, написано с заранее заданной целью: «доказать», что все направление изучения Толстого в СССР, кроме раннего периода, охватывающего 20-е годы, было ошибочным и неплодотворным и что только в последнее время появились «обнадеживающие» тенденции к «лучшему». Что же, с точки зрения Струве, «мешало» нашему литературоведению до последнего времени? Он дает на это недвусмысленный ответ: мешали «директивы» В. И. Ленина (так Струве именует ленинские статьи и высказывания о Толстом).

Струве заявляет, что он не может понять, почему советские ученые придают такое большое значение статьям Ленина о Толстом. И, действительно, он обнаруживает их полное непонимание. Но это нисколько не мешает ему судить об этих работах Ленина вкривь и вкось. Чтобы оценить меру «осведомленности» Струве в том, о чем он берется писать, достаточно сказать, что в качестве виднейших представителей марксистской критики он выдвигает Л. Аксельрод-Ортодокс, а также И. Нусинова. Последний американским «специалистом» по русской литературе изображается своего рода «лидером» советского толстоведения. Но кому не известно, что эти авторы в своих статьях о Толстом выражали не подлинно-марксистские, а вульгарно-социологические взгляды на мировоззрение и творчество Толстого, о чем у нас писалось не раз (а об ошибочности старых статей Нусинова о Толстом сказано в предисловии к недавно изданному сборнику его работ).

Это обстоятельство ни в малейшей степени не смущает Струве, в том же своем сочинении рекламирующего Г. Лукача в качестве «наиболее интересного» литературоведа-марксиста. Лишь мимоходом Струве сообщает, что сейчас Лукач «не может рассматриваться как советский ученый», что советские ученые считают его ревизионистом.

Заговорив об известном советском ученом Б. М. Эйхенбауме, американский критик одобрительно отзывается лишь о тех его работах, которые напечатаны более тридцати лет назад. Всем известно, что эти работы написаны с ошибочных формалистических позиций, которые сам ученый давно пересмотрел. Но этим-то старые работы и привлекают Струве: ведь в них нет даже простых упоминаний о Ленине и его статьях о Толстом. До предела примитивная система «учета» работ о Толстом Струве напоминает приемы царских цензоров: есть цитаты из Маркса или Ленина — значит плохо, нет — хорошо.

Струве ни слова не говорит о последних работах недавно скончавшегося Б. М. Эйхенбаума, где творчество Толстого рассматривается на основе ленинских характеристик и оценок наследия писателя. Разве, например, не показательно простое сопоставление ранних книг Эйхенбаума о Толстом с его статьей «О взглядах Ленина на историческое значение Толстого», напечатанной в 1957 г. в журнале «Вопросы литературы»? Исследователь в названной статье сетует, что ленинские работы все еще не до конца продуманы нашими литературоведами [8]. Разве подобное признание не показывает нам, в каком направлении развивалась научная мысль такого литературоведа, как Эйхенбаум? Но это меньше



ТОЛСТОЙ

Фотография 1909 г. с дарственной надписью: «Милому Гусеву от любящего его друга Льва Толстого 25 окт. 1910»

Собрание Н. Н. Гусева, Москва

всего интересует Струве. Для него интересен лишь тот Эйхенбаум, который был давным-давно «лидером» формализма.

И к новым работам о Толстом, написанным советскими литературоведами, Струве обращается только с одной целью: найти в них, как он пишет, «растущую тенденцию» к отказу от ленинских взглядов на мировоззрение и творчество писателя. Видимо, Струве испытывал немалые затруднения, стараясь как-то «доказать», что в исследованиях советских ученых будто бы появилась тенденция к отказу от ленинской трактовки Толстого. Для этого он без зазрения совести и выдает статьи тридцатилетней давности за «новейшие» труды. Он не останавливается и перед бесчестными попытками отнести целый ряд советских литературоведов к числу противников ленинской концепции мировоззрения и творчества Толстого.

Так, например, Струве «одобрил» монографию А. В. Чичерина «Возникновение романа-эпопеи», утверждая, что она «не связана с марксизмом». Мы видели выше, что американского критика более всего привлекают книги и статьи, в которых он не находит выдержек из трудов Ленина и ссылок на них. Уж читал ли Струве книгу А. В. Чичерина, если не заметил в ней и цитат из ленинских произведений и ссылок на них? Но дело, разумеется, не в цитатах, а в том, что советский исследователь, изучая наследие Толстого, опирается на гениальные ленинские характеристики и оценки наследия писателя и руководствуется ими. Автор монографии «Возникновение романа-эпопеи» неоднократно обращается к работам Ленина и в частности к его статьям о Толстом. Он делает это, когда говорит о правдивости Толстого как художника, о его реализме, о силе и своеобразии его критики, о том, чьи взгляды и настроения она выражала, об историческом значении Толстого[9]: обращается к трудам Ленина и тогда, когда стремится найти прочные методологические основы для анализа художественного стиля Толстого [10].

Этих страниц достаточно, чтобы судить о том, имеется ли в книге «Возникновение романа-эпопеи» тенденция к «отказу» от ленинской трактовки Толстого, в чем уверяет Струве читателей американского журнала. Мы же видим в этой книге как раз обратную тенденцию. Смысл ее состоит в отказе от догматического, начетнического использования статей Ленина о Толстом, в стремлении творчески подойти к ним. Верность ленинским взглядам определяется не числом цитат из произведений Ленина и ссылок на них, а идейной позицией исследователя, методологией его работы.

Не было никаких оснований у Струве и для зачисления в его «похвальный» список работ других советских исследователей, будто бы «ничем не обязанных» Ленину.

Не вопреки Ленину, не отказываясь от Ленина, чего хотел бы Струве, а неуклонно следуя научной ленинской концепции, творчески ее применяя при решении больших и сложных проблем, возникающих при изучении наследия писателя, советские литературоведы смогли создать ряд ценных трудов, обогащающих наше представление о Толстом, постоянно углубляющих наши знания о его жизни и творчестве.

2

Каковы же основные проблемы изучения Толстого, поставленные и освещенные в статьях Ленина о нем, а также вытекающие из этих статей?

Определяющими для нашей науки являются исходные методологические принципы подхода Ленина к освещению Толстого. В отличие от многих исследователей, критиков, публицистов, не выходивших в характеристиках Толстого за пределы «внутреннего мира» «одинокой души» писателя, Ленин рассматривает его кричащие противоречия не как блуждания его личной мысли, не как «оригинальничание» или «каприз», а как

отражение в его сознании сложных процессов исторической действительности. Найти фактор, определяющий как сильные, так и слабые стороны взглядов и учения Толстого в их взаимосвязи,— значило решить «загадку Толстого», о которой так много говорилось в русской и западноевропейской критике. Этим фактором, как показал Ленин, явилось патриархальное русское крестьянство, его роль и значение в освободительном движении. Этот вывод Ленин сделал не путем отвлеченных умозрительных построений, а в результате глубокого сопоставления взглядов Толстого, выраженных во всем его творчестве, с взглядами и настроениями крестьянства, с его поведением в период подготовки русской буржуазно-демократической революции. В первой же из своих статей о Толстом «Лев Толстой, как зеркало русской революции» Ленин наряду с характеристикой идеологии писателя приводил и факты непосредственно из истории крестьянского движения, доказывая, что в самом протесте крестьянских масс сказывалась ненависть к существующему строю, страстное стремление к его уничтожению и вместе с тем политическая незрелость, мягкотелость, непротивление злу насилием,— словом весь тот комплекс противоречивых устремлений, который характерен и для творчества, и для учения писателя.

Отсюда возникает важный вопрос, еще недостаточно разработанный нашим литературоведением: о своеобразии народности Толстого. В свете статей Ленина народность Толстого следует не только рассматривать как прямое представительство народных интересов, но изучать также ее прямую зависимость от степени развития народного самосознания. Говоря о том, что Толстой — «зеркало русской революции» — не понял революции, отстранился от нее, Ленин замечает, что такое отстранение было свойственно в то время даже определенным слоям ее участников. «...Среди массы ее непосредственных совершителей и участников есть много социальных элементов, которые тоже явно не понимали происходящего, тоже отстранялись от настоящих исторических задач, поставленных перед ними ходом событий» [11]. В статье Ленина содержатся положения, раскрывающие смысл этих слов: крестьянство, ненавидя существующий строй, стремясь к его уничтожению, относилось бессознательно к тому, какой борьбой нужно завоевать свободу. «Вся прошлая жизнь крестьянства научила его ненавидеть барина и чиновника, но не научила и не могла научить, где искать ответа на все эти вопросы» [12].

Об отражении Толстым взглядов и настроений крестьянства Ленин говорит неоднократно, подчеркивая исключительную полноту этого отражения. В статье «Л. Н. Толстой» Ленин отмечает, что «...горячий протестант, страстный обличитель, великий критик» проявил такое непонимание причин кризиса и путей выхода из него, «которое свойственно только патриархальному, наивному крестьянину, а не европейски образованному писателю» [13]. А в другой статье «Л. Н. Толстой и современное рабочее движение» Ленин указывает, что Толстой переносит психологию патриархального наивного крестьянина в свою критику, в свое учение

Эти слова Ленина следует распространить и на отрицание Толстым всей культуры, если она не приближена непосредственно к сегодняшним интересам крестьянства и сегодня непонятна ему. Так он дошел и до отрицания науки, до «отрицания» Шекспира, поскольку его образы оказались далекими от чаяний и интересов «безземельного, нищего работника». Сила и слабость Толстого действительно выражались во всем, о чем бы он ни думал, ибо, по его собственному признанию, он на все стремился смотреть «снизу», «от 100 миллионов» (под которыми он подразумевал только патриархальное крестьянство). Глубокое понимание сущности народности Толстого выразилось и в словах, которые Ленин сказал Горькому: «До этого графа подлинного мужика в литературе не было» [14].

Из всего этого следует, что изучать народность Толстого нельзя без глубокого проникновения в психологию пореформенного крестьянства, без всестороннего изучения его положения, его стремлений, его поведения в истории русской революции. Это не значит, что анализ литературных произведений должен быть подменен работой историка крестьянства или крестьянского движения: речь идет об изучении того, как историческая действительность отразилась в творчестве Толстого и, одновременно, как она явилась фактором, определившим мировоззрение художника и его социальную позицию. То, что Ленин шел именно таким путем, подтверждает сопоставление его характеристики генезиса и сущности взглядов Толстого с характеристиками крестьянства, которые содержатся в ряде работ Ленина, посвященных роли и месту крестьянства в подготовке буржуазно-демократической революции. Обобщенный вывод Ленина о Толстом как о «зеркале русской революции» сложился на основе одновременного изучения Толстого и исторических особенностей русской крестьянской революции, т. е. той действительности, тех социальных сил, которые определили взгляды писателя в их совокупности.

Другой важной проблемой изучения Толстого, непосредственно связанной с общим ленинским подходом к его творчеству, является проблема своеобразия его как художника.

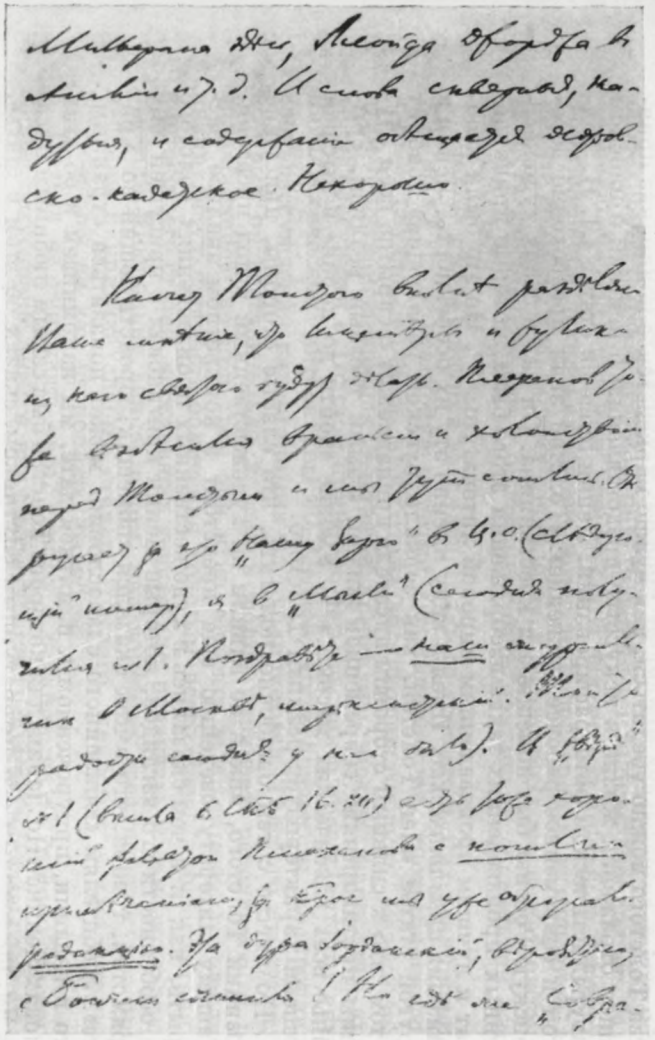
Буржуазные критики не раз писали о том, что марксизм игнорирует природу искусства и что ленинская характеристика Толстого относится к его социальным идеям, а не к художественным произведениям. Но подобные утверждения (которые преследуют цель дискредитации марксистского понимания искусства) свидетельствуют или о злостном извращении ленинской постановки вопроса, или о нежелании вникнуть в содержание его статей. На самом же деле Ленин рассматривает силу Толстого, его значение как результат отражения великим художником существенных сторон действительности.

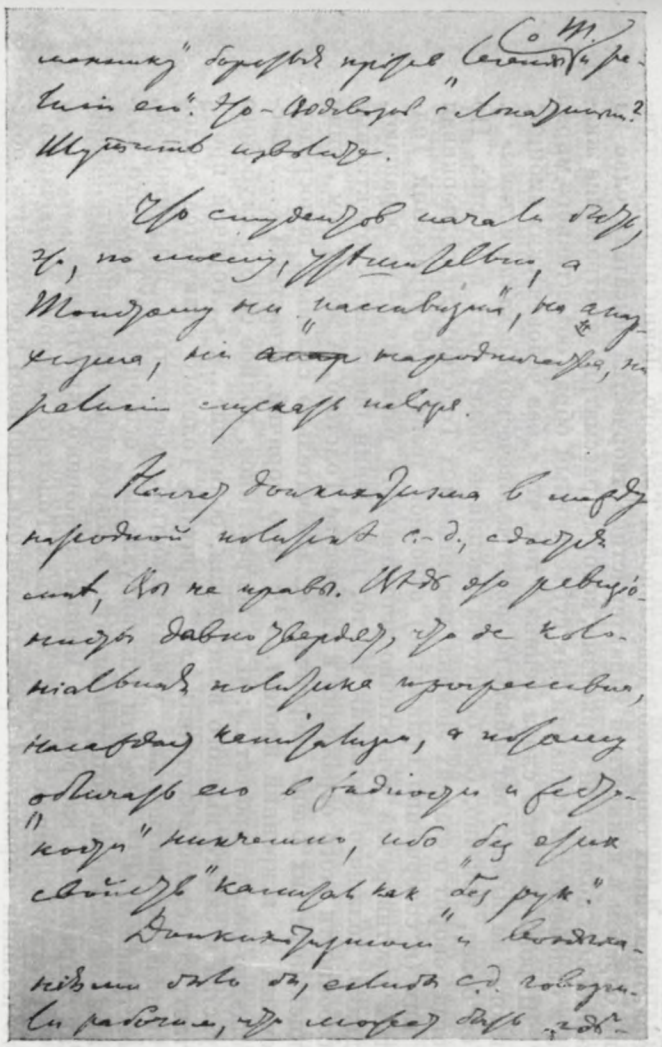
Ленин постоянно подчеркивает, что открытия Толстого — это открытия *гениального художника*, сумевшего отразить народное море, взволновавшееся до самых своих глубин. Это не значит, что тем самым отрицаются сильные стороны обличительной публицистики Толстого, например его знаменитой статьи «Не могу молчать», сыгравшей (вопреки своей морализующей тенденции) столь большую роль в борьбе против самодержавия и реакции. Это не значит также, что творчество и учение Толстого можно разрывать: речь идет о неразрывной связи идейного содержания и эстетической ценности его творчества.

«Критика Толстого не нова,— писал Ленин.— Он не сказал ничего такого, что не было бы до него сказано и в европейской и в русской литературе теми, кто стоял на стороне трудящихся. Но своеобразие критики Толстого и ее историческое значение состоят в том, что она с такой силой, которая свойственна только гениальным художникам, выражает ломку взглядов самых широких народных масс в России указанного периода и именно деревенской, крестьянской России»[15]. Таким образом, значение Толстого определяется двумя взаимосвязанными моментами: величием отраженных им исторических процессов и его гениальностью художника. Именно потому, что критицизм Толстого — это критицизм великого реалиста, выросшего на почве живой жизни, он обладает и колоссальной познавательной силой, и непревзойденной силой воздействия.

Так, стремясь следовать за ходом внутренней логики статей Ленина о Толстом, мы подходим к проблеме его реализма.

Толстовский реализм в свете ленинских определений предстает как правдивое отражение жизни, воссоздающее одну из величайших эпох русской истории, и вместе с тем проникнутое ярко окрашенным, страстным, индивидуально-неповторимым восприятием художника.





АВТОГРАФ ПИСЬМА ЛЕНИНА К ГОРЬКОМУ ОТ 3 ЯНВАРЯ 1911 г. С ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ О ТОЛСТОМ И БУРЖУАЗНЫХ КРИТИКАХ ТОЛСТОГО

Листы 1 об.—2

Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Москва

Слияние этих двух сторон — объективного воспроизведения жизни и идейно направленной оценки ее — Ленин не раз подчеркивает в своих характеристиках творческой деятельности Толстого. Ленин претворяет таким образом в конкретной характеристике творчества писателя одно из важнейших положений марксизма, который рассматривает отражение жизни в человеческом сознании как субъективный образ объективного мира.

Широко известны слова Ленина о том, что «„без человеческих эмоций" никогда не бывало, нет и быть не может человеческого *искания* истины» [16]. Тем более, конечно, без богатства эмоций не может быть искусства. Но когда говорят о статьях Ленина, посвященных Толстому, то, подчеркивая в них (и совершенно правильно) основной тезис — об отражении Толстым противоречий объективно-исторического развития,— не обращают, однако, должного внимания на то, как Ленин оценивает субъективные особенности этого отражения в творчестве Толстого. А между тем Ленин акцентирует их очень энергично: «...замечательно сильный, непосредственный и искренний протест...» [17]; «Его горячий, страстный ⟨...⟩ беспощадно-резкий протест...»; «Его непрестанное, полное самого глубокого чувства и самого пылкого возмущения, обличение...»; «...горячий протестант, страстный обличитель...» [18]; критика Толстого отличается «силой чувства», «страстностью, убедительностью, свежестью, искренностью, бесстрашием...» [19]. Все эти индивидуальные особенности Толстого вызваны той позицией, которую он занял в современной ему действительности как выразитель настроений многомиллионного крестьянства.

Из статей Ленина следует, что сила Толстого, которая заключается в его позиции выразителя протеста многомиллионного крестьянства, обусловила силу его реализма и в частности глубокий аналитический характер его реалистического метода. На примере ленинского анализа творчества Толстого можно убедиться, как чуждо марксистское понимание принципов отражения жизни в искусстве представлению о нем как о плоском натуралистическом фотографировании. Ленин пишет в статье «Л. Н. Толстой и современное рабочее движение»: «Толстой знал превосходно деревенскую Россию, быт помещика и крестьянина. Он дал в своих художественных произведениях такие изображения этого быта, которые принадлежат к лучшим произведениям мировой литературы» [20]. Но это были изображения *аналитические*. Имея в виду именно эту их особенность, Ленин в другой статье «Лев Толстой, как зеркало русской революции» говорит о том, что к сильным сторонам писателя принадлежит «вскрытие всей глубины противоречий» современной жизни, «самый трезвый реализм, срыванье всех и всяческих масок...» [21]. Умение «дойти до корня» в высшей степени характеризует реализм Толстого.

Но вместе с тем ошибочно полагать, что слабые стороны, присущие позиции Толстого, никак не влияли на художественный метод писателя. Нашему литературоведению еще предстоит в конкретном анализе раскрыть, как и в чем сказались в художественных произведениях Толстого те особенности его взглядов, которые Ленин критиковал с присущей ему прямотой, говоря, что в них сказался «помещик, юродствующий во Христе». Любителям «юбилейного славословия» может показаться странным, что в издании, приуроченном к памятной дате, мы напоминаем и об этих словах Ленина. Но Ленин, для которого Толстой был самым любимым писателем, постоянным его литературным спутником, сказал об этом в статье, написанной к юбилею — 80-летию со дня его рождения. Признавая огромное значение Толстого, он вместе с тем не сглаживал острых углов, говоря полным голосом также о вреде, который принесла толстовская проповедь утонченной религии. И нашей науке, не уклоняясь от сложности вопроса, предстоит рассмотреть, в какой степени слабые стороны взглядов Толстого сказались и в его художественном творчестве. Ленин

объяснил, почему Толстой сумел с такой полнотой, с такой искренностью отразить настроения крестьянства: писатель, по рождению и воспитанию принадлежавший к высшей помещичьей знати, «порвал с привычными взглядами этой среды», т. е. перешел на позиции другого класса, патриархального крестьянства [22]. Но приведенные выше слова Ленина о «помещике, юродствующем во Христе» требуют раскрытия: у Ленина здесь, как и за каждым его определением, точным и лаконичным, стоит конкретное содержание. Конечно, при изучении этого вопроса нужно постоянно помнить о возможных рецидивах вульгарного социологизма, сводившего слабые стороны писателя к его родословной. Здесь речь идет о другом: в какой степени, скажем, изображенный в духе философии толстовства финал исканий Константина Левина в «Анне Карениной» связан с идеологией, родственной именно дворянину, хотя и осознавшему «грех» своего класса, сознательно оторвавшемуся от него? Во всяком случае игнорировать этот вопрос нельзя.

В связи с проблемой реализма нужно еще раз сказать об уже подвергавшейся критике в нашей печати ревизионистской концепции югославского критика Иосипа Видмара. Видмар утверждал, что, согласно Ленину, величие Толстого как художника определяется независимо и даже вопреки его мировоззрению, что «несравненные картины русской жизни», изображенные писателем, якобы не имеют никакого отношения к его социальной позиции. Между тем, каждому, кто знаком со статьями Ленина, известно, что Ленин говорит об отражении противоречий Толстого и в его взглядах, и в творчестве, и в учении. Марксистскому литературоведению чужда трактовка реализма как метода, который действует автоматически, независимо от мировоззрения художника.

В истолковании Толстого Иосипом Видмаром сказывается и еще одна особенность: социальную позицию писателя он толкует как сплошь реакционную, пытаясь при этом опереться на взятые вне контекста некоторые формулировки ленинских статей, а на деле повторяя в ухудшенном варианте домыслы вульгарных социологов, извращавших наследие Толстого. Но суть здесь не только в односторонности понимания социальной позиции писателя.

Ленин в ходе критики взглядов Толстого говорит и о их реакционных сторонах. Но в трактовке понятия «реакционность», употребляемого в данном случае Лениным, необходима абсолютная точность. Ведь именно этим понятием, извращая Ленина, пользовались чуждые марксизму критики, рассуждая о Толстом примерно так же, как о представителях антинигилистической литературы 60-х годов. Вульгаризаторы подкрепляли свои рассуждения надерганными из публицистики Толстого цитатами, в которых он действительно в резкой форме порицает революцию и революционеров; но при этом они игнорировали и объективно революционизирующую сущность обличения Толстым всего существующего строя и контекст его статей, рождавших у читателя ненависть к самодержавию и реакции. Поскольку вопрос о том, как понимать «реакционность» в применении к критике слабых сторон Толстого, является весьма важным, остановимся на нем несколько подробнее.

Нельзя не учитывать, что, говоря о реакционности учения Толстого, Ленин безусловно имел в виду объективное реакционное значение этого учения вопреки субъективным намерениям писателя. Такого рода трактовку понятия «реакционность» (в отличие от обличения сознательных и убежденных защитников реакции) мы встречаем у Ленина неоднократно по отношению к определенным деятелям. Разъясняя, например, содержание терминов «мелкобуржуазность» и «реакционность» по отношению к взглядам Сисмонди, Ленин писал в работе «К характеристике экономического романтизма»: «Эти термины вовсе не указывают на эгоистические

вожделения мелкого лавочника или на желание остановить общественное развитие, вернуться назад: они говорят лишь об *ошибочности* точки зрения данного писателя, об ограниченности его понимания и кругозора, вызывающего выбор таких средств (для достижения весьма хорошей цели), которые на практике не могут быть действительны, которые могут удовлетворить лишь мелкого производителя или сослужить службу защитникам старины» [23]. Конечно, не может быть прямой аналогии между, скажем, Сисмонди и Толстым. Но несомненно, что абсолютно утопические и реакционные в прямом смысле слова средства изменения общественных порядков (путем религиозно-нравственного самоусовершенствования и т. п.) Толстой также предлагал «для достижения весьма хорошей цели»,— во имя социальной справедливости, уничтожения самодержавия и эксплуатации народа, ликвидации частной земельной собственности и т. д. Он не сознавал, что предлагаемые им средства на деле привели бы лишь к упрочению «царства господского».

Подобного рода противоречия между объективной сущностью и функцией тех или иных идей и субъективными намерениями отдельных деятелей встречались нередко [24].

Конечно, оттого, что рассуждения о религиозно-нравственном совершенствовании как пути уничтожения рабства продиктованы субъективно «хорошими» намерениями, объективная сущность этих рассуждений не становится менее реакционной, и вред, который они в себе заключают, не уменьшается. Но для понимания писателя и его духовной драмы, для точного понимания его позиций это противоречие между субъективными намерениями и объективной функцией той или иной идеи имеет существенное значение.

Гениальный анализ Лениным кричаще-непримиримых сторон Толстого, т. е. страстного, полного ненависти обличения и призыва к всепрощению и «всеобщей любви», протеста и смирения, — является непревзойденным образцом проникновения в необычайно сложную систему взглядов Толстого и его психологию. В статье «Л. Н. Толстой» Ленин писал: «Борьба с крепостническим и полицейским государством, с монархией *превращалась* у него в отрицание политики, приводила к учению о „непротивлении злу", привела к полному отстранению от революционной борьбы масс 1905—1907 гг. Борьба с казенной церковью *совмещалась* с проповедью новой, очищенной религии, то есть нового, очищенного, утонченного яда для угнетенных масс. Отрицание частной поземельной собственности вело не к сосредоточению всей борьбы на действительном враге, на помещичьем землевладении и его политическом орудии власти, т. е. монархии, а к мечтательным, расплывчатым, бессильным воздыханиям. Обличение капитализма и бедствий, причиняемых им массам, *совмещалось* с совершенно апатичным отношением к той всемирной освободительной борьбе, которую ведет международный социалистический пролетариат» [25].

На эти слова Ленина до сих пор не обращено в литературоведении должного внимания, а между тем они раскрывают, каким образом и почему борьба с самодержавием и казенной церковью, со всеми формами реакции и угнетения народа приводила Толстого к реакционным выводам! Отсюда понятно и положение, которое Ленин развивает в статье «Л. Н. Толстой и его эпоха». Утверждая, что учение Толстого реакционно, Ленин здесь же замечает: «Но отсюда вовсе не следует ни того, чтобы это учение не было социалистическим, ни того, чтобы в нем не было критических элементов, способных доставлять ценный материал для просвещения передовых классов» [26].

Все это дает основу не только для верного понимания всей сложности мировоззрения Толстого, но и является предупреждением тем, кто

рассматривает его учение плоско и однолинейно. Тем более недопустима недооценка политической публицистики Толстого, где верное соседствует с неверным, острейший критицизм и обличение существовавшей социальной системы — с антиреволюционными моралистическими призывами и увещаниями.

Глубоко новаторской является и постановка Лениным проблемы мирового значения Толстого и его национального своеобразия.

Интернациональное значение Толстого и его национальное своеобразие показаны Лениным как диалектическое единство: закономерности исторического развития России, обусловившие характерные особенности идеологии Толстого, являются типичными для многих стран и народов на определенных этапах всемирной истории, а поставленные Толстым проблемы русской действительности оказываются актуальными для всего современного человечества. Тем самым концепция Ленина противостоит реакционным истолкователям Толстого в России и на Западе, которые, умалчивая о том действительно новом и оригинальном, что внесено великим писателем в мировую литературу, выдвигали на первый план толстовскую идею «непротивления» и именно ее относили к исконным свойствам «русской души». В противовес подобным «истолкователям» Ленин рассматривал и сильные и слабые стороны Толстого в их противоречивом сплетении как отражение противоречивости исторического развития: это был период, когда старая, патриархальная Россия «стала быстро разрушаться под влиянием мирового капитализма», период быстрой, тяжелой ломки старых «устоев», период роста «...того протеста против надвигающегося капитализма <...>, который должен был быть порожден патриархальной русской деревней» [27]. Переходный характер этого времени Ленин охарактеризовал словами Левина из «Анны Карениной» о перевале русской истории: «У нас теперь все это переворотилось и только укладывается». То, что «переворотилось»,— это «старый порядок», то, что «укладывается» и что Толстой «не хочет видеть»,— это буржуазный строй. Такого рода столкновения двух тенденций исторического развития — феодальной и капиталистической — некоторые страны мира к тому времени, когда выступил Толстой, уже пережили, другим же странам еще предстояло его пережить. Поэтому Ленин и писал, что в творчестве и взглядах Толстого отразилась «эпоха подготовки революции в одной из стран, придавленных крепостниками...».

Национальное своеобразие творчества Толстого, определившее также и его мировое значение, заключается в том, что оно «с такой силой, которая свойственна только гениальным художникам, выражает ломку взглядов самых широких народных масс в России указанного периода и именно деревенской, крестьянской России». Мировое значение Толстого отражает мировое значение русской революции. Острый критицизм Толстого, непосредственно направленный против политической системы царской полукрепостнической России, подрывал вместе с тем основы всякого эксплуататорского строя. Именно поэтому творчество Толстого оказало и продолжает оказывать огромное революционизирующее влияние на передовые литературы различных стран мира, на все прогрессивное человечество.

Непревзойденное искусство Толстого как писателя, величие его идей гуманиста, друга угнетенных, обличителя социальной несправедливости, отражение в его произведениях всемирно-исторической эпохи ломки старой России, — все это объясняет, почему сочинения Толстого по числу переводов занимают первое место в мировой литературе.

Наше литературоведение за последние годы создало ряд работ, в которых изучение проблемы мирового значения Толстого ведется в широкой перспективе.

Вместо поверхностных обзоров, в которых материалом служили лишь высказывания писателей различных стран о Толстом, стали появляться исследования, в которых рассматривается и борьба вокруг Толстого в общественно-литературном движении за рубежом, и отношение различных писателей мира к его идейным и художественным традициям. Среди работ на эту тему выделяется монография Т. Л. Мотылевой «О мировом значении Л. Н. Толстого» (М., 1957), получившая в нашей прессе положительную оценку [28]. Проблема, обозначенная в заголовке книги, рассматривается здесь в двух отношениях: «Толстой — новатор мировой литературы» и «Толстой и зарубежные писатели». Т. Л. Мотылева сосредоточивает свое внимание на тех сторонах творчества Толстого, которые особенно важны для понимания его всемирного значения. Она путем конкретного анализа обширного материала показывает, что Толстой раскрыл художникам всего мира новые пути реалистического изображения человека. Автор, учитывая широту темы, ограничил себя (и это оправдано) рассмотрением творчества ряда писателей Франции, Англии, США, Германии, Польши, Болгарии и Чехословакии: здесь читатель находит много интересных наблюдений и выводов (хотя надо сказать, что материал по отдельным странам освещен неравномерно). Разумеется, мы лишь в начале исследования этой поистине необъятной темы. Остаются до сих пор почти неизученными вопросы влияния Толстого на литературы стран Востока — Китая, Японии, Индии и др. Да и литературы стран Запада (в частности, Скандинавии) ждут еще в этом плане внимания исследователя. Требует конкретной разработки и вопрос о влиянии Толстого на отдельных крупнейших писателей мира (как это делает тот же автор в ценной книге «Творчество Ромена Роллана». М., 1959).

В числе важнейших проблем, освещенных в статьях Ленина, находится проблема «Толстой и современность». И здесь ленинский подход является для нас основополагающим.

Ленин не ограничивается выяснением источника противоречий Толстого, но устанавливает роль его наследия для общественного развития, для современного этапа революционной борьбы. В годы, когда Ленин писал свои статьи о Толстом, актуальной задачей было разъяснение массам значения толстовской критики государства, церкви, частной поземельной собственности для того, чтобы они поднялись для нанесения нового удара царской монархии, помещичьему землевладению. Таким образом, Ленин вскрыл революционизирующую роль творчества Толстого, совершенно бесспорную, несмотря на то, что у Толстого «обличение капитализма и бедствий, причиняемых им массам, совмещалось с совершенно апатичным отношением к той всемирной освободительной борьбе, которую ведет международный социалистический пролетариат» [29]. Постоянно подчеркивая огромное, непреходящее, бессмертное значение творчества Толстого—национальной гордости русского народа,— Ленин дал всесторонний анализ и потрясающе сильных, и до парадоксальности слабых сторон творчества и взглядов Толстого. Ленин именно для того и выступал против иллюзий, возникших у Толстого в его трагических поисках истины, чтобы подобные иллюзии ни при каких условиях и поворотах истории не могли ослабить решительности, последовательности, революционной сознательности, организованности в борьбе против враждебных народу сил. В этом и заключался смысл ленинского призыва взять у Толстого то, что «принадлежит будущему», для того, чтобы массы «научились сплачиваться в единую миллионную армию социалистических борцов».

Образцом для нашей критики является обличение Лениным фальсификации взглядов Толстого, которая шла из лагеря контрреволюционных либералов, меньшевиков и т. д. Задача советской критики — давать отпор всем попыткам принизить Толстого, исказить его облик — попыткам,

ТОЛСТОЙ НА ОТДЫХЕ ПОСЛЕ РАБОТЫ

Литография с рисунка Д. О. Видкопфа «Газета-Копейка», СПб., 1910. Иллюстрированное приложение № 98.

Местонахождение оригинала неизвестно

которые до сих пор не прекращаются и открытыми приверженцами капитализма, и современными ревизионистами за рубежом.

Толстой остается нашим союзником в борьбе за осуществление во всем мире идеалов свободы, гуманизма, справедливости,— тех великих идеалов, которые он часто облекал в утопические формы. Он остается нашим союзником и союзником всех народов земного шара в борьбе против человеконенавистничества, расизма, милитаризма, в борьбе за мир во всем мире, за всестороннее развитие личности, за счастливую жизнь для всех трудящихся. В этом видим мы на современном этапе смысл слов Ленина, звучащих для нас как завет, слов о том, что наследство Толстого «берет и над этим наследством работает российский пролетариат».

Мы смогли коснуться далеко не всех вопросов, которые возникают в связи с циклом статей Ленина о Толстом. Будучи теоретическим фундаментом нашего литературоведения в целом, они являются подлинной научной программой исследования всех самых сложных вопросов мировоззрения, биографии, творчества Толстого, его всеобъемлющей деятельности. Следовать Ленину — значит *творчески развивать* его идеи и положения. Поэтому особенно нетерпим здесь столь чуждый всему духу ленинского учения догматический подход. Между тем примеры такого догматизма имеются. Так, например, из слов Ленина о том, что Толстой «и как художник, и как мыслитель» принадлежит «главным образом к эпохе 1861—1904 годов», делался вывод о том, что сама постановка вопроса об отражении им настроений крестьянства после 1905 г. неправомерна и что будто бы после 1904 г. вся деятельность его сводилась к религиозно-нравственной проповеди! Мало внимания уделялось и исследованию тех тенденций во взглядах и творчестве Толстого до «перелома», которые сделали возможным его переход на новые позиции в начале 80-х годов. Характеризуя сильные и слабые стороны Толстого, литературоведы не уделяют

должного внимания изучению конкретного соотношения их в различные периоды его жизни в зависимости от общественно-политической борьбы и изменений в настроениях крестьянства.

Новые факты идейной эволюции Толстого, ставшие известными лишь в последние годы, снова и снова подтверждают верность определений, которые в свое время дал Ленин. Новый огромный материал дневников, писем, замыслов Толстого, завершение публикации его наследия в полном объеме дают возможность на основе ленинской методологии, ленинских теоретических принципов поставить и осветить новые, еще не решенные нашей наукой вопросы.

3

Одной из важнейших задач советского литературоведения является создание капитальной, подлинно научной биографии Толстого. Его жизненный и творческий путь, его идейная эволюция должны быть показаны в тесной связи с историческим и общественно-литературным движением его времени. Только на таких принципах, чуждых эмпиризму, предполагающих широкий анализ жизни и деятельности писателя в связи с его эпохой, и может быть основана научная биография.

Как уже говорилось выше, методологические основы для написания такой биографии писателя даны в ленинских статьях и высказываниях о Толстом. Что же касается «строительного материала», который нужен для ее создания, то он подготовлен в достаточной мере, благодаря огромной работе, проведенной советскими исследователями по собиранию, изучению и публикации разнообразных биографических источников, материалов и документов.

Основным источником материалов для биографа служат девяносто томов Полного собрания сочинений Толстого — «Юбилейного»*.

«Писанье мое есть весь я»,— указывал Толстой, выразив в этих словах значение своих произведений для тех, кто изучает историю его жизни. Один из биографов писателя Н. Н. Гусев свидетельствует: «Мне лично пришлось беседовать с Л. Н. Толстым о значении его произведений как материала для биографии по поводу вышедшего в 1908 году второго тома его биографии, написанной П. И. Бирюковым. Я высказал Льву Николаевичу свое мнение, что из его произведений можно гораздо больше узнать о его жизни, чем из этой работы П. И. Бирюкова. Лев Николаевич сейчас же и, как мне показалось, даже с некоторым удовольствием согласился с этим». Н. Н. Гусев рассказал об этом эпизоде с целью подкрепить справедливую мысль о том, что «творчество всякого писателя составляет неотъемлемую часть его биографии»[30].

Наряду с текстами художественных и публицистических произведений Толстого первостепенное значение для биографа имеют, разумеется, дневники и письма писателя. Так, например, Толстой указывал, что его письма к А. А. Толстой представляют собой «один из самых лучших материалов» к его биографии[31].

Нам известно более 10 тысяч писем Толстого к разным лицам и более 50 тысяч писем к нему, полученных писателем со всех концов земного шара. В Полном собрании сочинений Толстого письма и дневники заняли 45 томов — половину всего «Юбилейного» издания.

Ценным источником для биографа Толстого служит мемуарная литература о великом писателе. Значительное число воспоминаний о Толстом до сих пор не опубликовано. Так, например, из 200 печатных листов «Яснополянских записок» Д. П. Маковицкого до настоящего времени

* Подробную характеристику «Юбилейного» издания см. во 2-й книге настоящего тома «Литературного наследства». — *Ред.*

напечатано не многим более 20 листов. Известны лишь небольшие извлечения из «Ежедневников» С. А. Толстой, а также из ее воспоминаний «Моя жизнь». Многие из мемуаров, опубликованных еще при жизни писателя, «затерялись» в старых периодических изданиях и давно забыты.

Разыскания неопубликованных, а также забытых мемуаров о Толстом — одна из задач в области изучения его биографии. Другой серьезной и важной задачей является строгая и объективная критическая проверка и оценка мемуарной литературы. Как справедливо указывает Н. Н. Гусев, «здесь наряду с несомненными данными сплошь и рядом мы находим совершенно фантастические сведения, большей частью бессознательное, а иногда и сознательное искажение фактов» [32]. Особенно строгой критической проверке должны подвергнуться мемуары, написанные не по следам событий, а спустя много лет. В критической оценке нуждаются воспоминания о Толстом, авторами которых являются близкие к нему лица — члены семьи писателя, его единомышленники. Сами они часто указывали, что не претендуют на беспристрастие в рассказах, скажем, о «яснополянской трагедии». А, например, в мемуарах сына писателя Льва Львовича мы встречаемся с серьезным и намеренным искажением истории его отношений с отцом и причин ухода Толстого из Ясной Поляны.

Идя навстречу большому читательскому интересу к мемуарной литературе о Толстом, Государственное издательство художественной литературы в 1955 г. выпустило двухтомник «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников». В этом издании помещены мемуары более 80 авторов. В 1960 г. двухтомник вышел вторым изданием в еще большем объеме. При этом, в отличие от первого издания, в него не вошли воспоминания ряда авторов, выпущенные за последние годы отдельными книгами.

Большой интерес вызвали переиздания в 1959 и 1960 гг. дневника секретаря писателя — В. Ф. Булгакова «Л. Н. Толстой в последний год его жизни» и первого тома книги А. Б. Гольденвейзера «Вблизи Толстого». В 1949 и в 1956 гг. вышли «Очерки былого» С. Л. Толстого, где содержатся ценные сведения. Нужно надеяться, что в ближайшем будущем будут также переизданы четыре тома дневников С. А. Толстой, опубликованные в 1928—1936 гг., давно ставшие библиографической редкостью; что будет сделан перевод на русский язык изданного в 1957 г. в Париже «Дневника» старшей дочери писателя Т. Л. Толстой-Сухотиной, и осуществлено новое издание книги И. Л. Толстого «Мои воспоминания», впервые вышедшей в 1933 г.

Биографу, несомненно, легче вести разговор с читателем, хорошо знающим мемуарную литературу о Толстом. Но это же обстоятельство обязывает его заняться анализом и оценкой освещения фактов жизни и творчества Толстого теми мемуаристами, книги которых пользуются известностью. Это особенно необходимо потому, что нередко одни и те же факты жизни и творчества Толстого по-разному освещаются авторами воспоминаний.

Важнейшие источники для изучения биографии Толстого содержатся в многочисленных фондах, хранящихся в центральных и областных архивах СССР. Эта группа материалов за последние годы пополнилась многими ценнейшими документами, относящимися к самым разным периодам жизни Толстого — от детских лет и до последних дней. Приведем лишь несколько примеров, свидетельствующих о том, какие находки делаются исследователями, ведущими настойчивую работу по разысканию материалов о Толстом. Эти примеры опровергают бытующее в литературоведческой среде мнение о том, что собирательская работа по Толстому была интересной и плодотворной лишь в 20-х и самом начале 30-х годов, когда были обнаружены целые пласты новых материалов о Толстом. Конечно, теперь разыскания архивных материалов требуют бóльших усилий: то,

что лежало на поверхности, в основном опубликовано. Но тем дороже для нас каждая новая находка, в особенности, если она проливает свет на малоизвестные, но важные эпизоды из жизни и деятельности Толстого.

В Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде хранится архив матери писателя Марии Николаевны Толстой, поступивший сюда еще в дореволюционные годы, но до последнего времени остававшийся вне поля зрения исследователей. В состав этого архива входят: учебные тетради Марии Николаевны по разным предметам знаний; выполненные ею переводы художественных произведений английских, французских и немецких писателей; собственные сочинения Марии Николаевны (стихи и одна поэма); сделанное ею описание яснополянской библиотеки; дневник воспитания старшего сына Николеньки [33]. Эти материалы помогают отчетливее представить облик матери писателя, умершей, когда ему не было и двух лет. Они подтверждают, что мать Толстого была «очень хорошо образована для своего времени» и что она, как писал Толстой в «Воспоминаниях», «должна была быть чутка к художеству».

Несомненный интерес представляет серия вновь найденных документов, относящихся к годам военной службы Толстого. Так, в Центральном Государственном военно-историческом архиве в Москве исследователи нашли подлинные тексты военных проектов, составленных Толстым,— участником героической обороны Севастополя. Проекты о реорганизации армии и в частности о переформировании артиллерийских батарей свидетельствуют о том, что Толстой был не только горячим патриотом, но и опытным офицером-артиллеристом, хорошо знавшим военное дело. Найденные в том же архиве документы о запрещении военного журнала, который собирался издавать Толстой в Севастополе, показывают, что уже тогда «синие» (т. е. жандармы) взяли молодого писателя под сильное подозрение [34].

Вновь обнаруженные в архивах материалы зачастую позволяют по-новому осветить ряд важнейших тем, связанных с изучением не только жизни и деятельности Толстого, но и его мирового значения. Характерна с этой точки зрения, например, история исследования такой темы, как «Толстой и Восток». Книги и статьи зарубежных исследователей, посвященные проблеме связей Толстого с народами восточных стран, написаны с определенной тенденцией: доказать, что Восток интересовал Толстого только как родина буддизма, лаотсизма, индуизма и других религий, а влияние Толстого в странах Востока существует лишь как влияние его религиозно-морального учения [35].

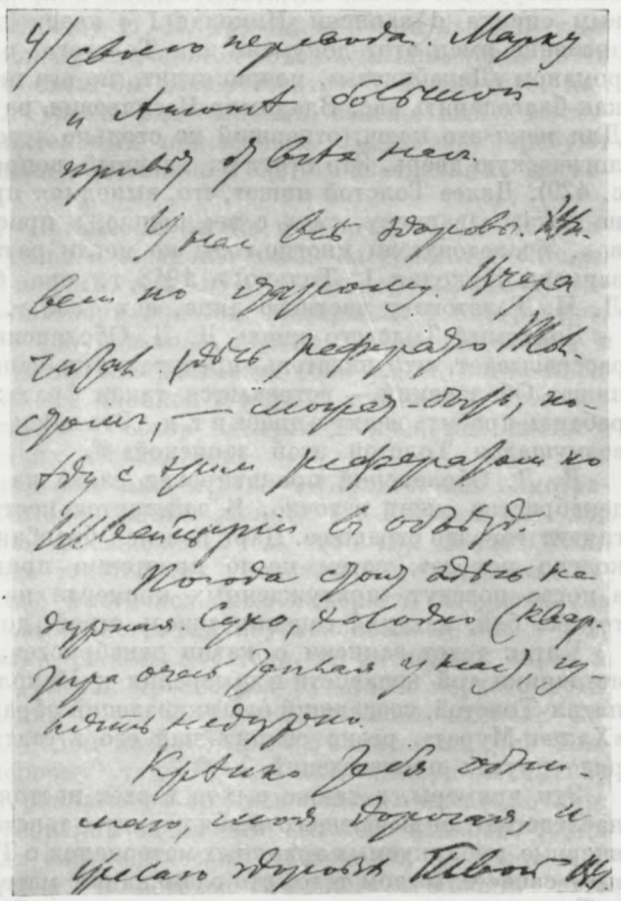
Односторонность и тенденциозность подобных утверждений становится очевидной из переписки Толстого с выдающимися писателями, общественными деятелями и простыми людьми восточных стран. В недавно вышедшей монографии А. И. Шифмана «Толстой и Восток» впервые опубликованы письма Толстому известного писателя и общественного деятеля Японии Токутоми-Рока. В этой книге приведено более 30 писем к Толстому и других японцев. Здесь мы находим также около 40 писем к Толстому, присланных из Индии, ряд писем арабских, турецких и других корреспондентов. Здесь же впервые публикуется переписка Толстого с известным тюркологом О. С. Лебедевой, переводившей на турецкий язык несколько произведений Толстого [36].

Основываясь на присланных Толстому письмах и его ответах восточным корреспондентам, исследователь приходит к справедливому выводу о том, что Восток интересовал великого писателя не только учениями своих философов, но и острейшими социальными контрастами. Его возмущение вызывали политика империалистов-колонизаторов, расовая дискриминация.

Передовые деятели Индии, Китая, Египта и других стран Востока видели в Толстом могучего защитника порабощенных народов, великого писателя-гуманиста. Конечно, на Востоке имела большое влияние и религиозно-нравственная проповедь Толстого. Но все прогрессивные деятели этих, как, впрочем, и всех других, стран мира ценили Толстого за его бесстрашное обличение социального, национального и иного угнетения людей.

Ценнейшие документы из архивов государственных учреждений дореволюционной России, опубликованные в советские годы, характеризуют отношение царских властей к Толстому. Многое еще ждет публикации. Фонды таких документов огромны по своему объему. Достаточно сказать, что в одном только Центральном Государственном историческом архиве в Ленинграде хранится 1180 дел о Толстом и его произведениях. Здесь находятся дела, о содержании которых красноречиво говорят их названия: «О запрещении произведений графа Льва Толстого», «О запрещении распространять сочинения Л. Н. Толстого, изданные за границей», «О недопущении сочинений Л. Н. Толстого в народные библиотеки и читальни», «Об отлучении Л. Н. Толстого от церкви» и т. д.

К этим материалам примыкают многочисленные письма и циркуляры с грифами Министерства внутренних дел, Министерства просвещения, Главного управления по делам печати, С.-Петербургского цензурного комитета, Синода и ряда других учреждений и ведомств. Огромное число дел содержат донесения цензоров о «крамольных» произведениях Тол-



АВТОГРАФ ПИСЬМА ЛЕНИНА К МАТЕРИ ОТ 19 ЯНВАРЯ 1911 г. С УПОМИНАНИЕМ О ЧТЕНИИ ИМ В ПАРИЖЕ РЕФЕРАТА О ТОЛСТОМ И ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПОЕЗДКЕ С ЭТИМ РЕФЕРАТОМ ПО ШВЕЙЦАРИИ

Лист 1 об.

Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Москва

стого. Здесь же хранятся корректуры его книг, уничтоженных по требованию цензуры[37]. В свете этих документов Толстой предстает перед нами как «поднадзорный» писатель, за которым органы политического контроля самодержавия неотступно следили.

Исключительное значение имеют остававшиеся до последнего времени во многом неизвестными архивные документы, относящиеся к последним годам жизни Толстого. «Семейная драма» Толстого, его уход из Ясной Поляны, последние семь дней жизни на захолустной станции Астапово, кончина писателя и его похороны явились событиями, глубоко потрясшими русское общество, взволновавшими миллионы людей во всем мире. Казенная и либеральная печать старалась всячески исказить и преуменьшить значение этих событий. Документы же, извлекаемые из архивов, показывают во всем ее цинизме иезуитскую тактику самодержавия в дни болезни, смерти и похорон писателя, раскрывают «мероприятия», которые проводились властями для того, чтобы помешать народу выразить свою любовь и уважение к Толстому, достойным образом почтить его память. Однако, несмотря на строжайшие запреты, в Петербурге, Москве, Киеве и многих других городах состоялись массовые демонстрации, уличные шествия, сходки и митинги, на которых передовые люди России выразили свою скорбь по поводу утраты Толстого и свой протест против смертных казней и различных репрессий, проводившихся царским правительством [38].

Одной из ценных архивных находок последнего времени явилась собственноручная копия Толстого, снятая с присланного ему В. В. Стасовым списка с записки Николая I о казни декабристов. О том, какое значение имел этот документ для Толстого, работавшего в ту пору над романом «Декабристы», можно судить по его письму к Стасову: «Не знаю, как благодарить вас, Владимир Васильевич, за сообщенный мне документ. Для меня это ключ, отперший не столько историческую, сколько психологическую дверь. Это ответ на главный вопрос, мучивший меня» (т. 62, с. 429). Далее Толстой пишет, что, выполняя просьбу Стасова, он никому не показал записку, снял с нее копию, а присланный «документ» разорвал. Исследователи многие годы не могли разыскать толстовскую копию записки Николая I. Только в 1948 г. она была приобретена музеем Л. Н. Толстого у частного лица, а в 1958 г. впервые опубликована [39].

Знакомый Толстого князь Д. Д. Оболенский в своих воспоминаниях рассказывает, что писатель прочитал ему записку Николая I. «Там, — пишет Оболенский,— встречается такая фраза: когда их выведут, то барабанам пробить мелкую дробь и т. д. „Это какое-то утонченное убийство“,— возмущался Толстой этой запиской» [40].

Д. Д. Оболенский процитировал слова из царской записки о казни декабристов очень неточно. В действительности приказ Николая I выглядит гораздо страшнее. Царь повелел барабанам сначала «пробить одно колено похода», затем после прочтения приговора — «второе колено», а когда поведут «присужденных к смерти на вал 〈...〉 тогда ударить тот же бой, как для гонения сквозь строй, докуда все не кончится...».

Читая текст записки о казни декабристов, мы особенно ясно видим источники той ненависти и презрения к Николаю I, которые всю жизнь питал Толстой, создавший отталкивающий образ царя-вешателя в повести «Хаджи-Мурат», резко обличавший его в статье «Николай Палкин» и в ряде других произведений.

Эти примеры, а также выход в свет настоящего тома «Литературного наследства», включающего в себя наряду с текстами самого Толстого много впервые публикуемых архивных материалов о Толстом, служат убедительным свидетельством того, что разыскания материалов на тему «Толстой и о Толстом» должны и впредь вестись со всей энергией.

Результаты работы по разысканию и публикации новых материалов о Толстом прямым образом сказываются на успехах изучения его жизни и творчества. В этом можно убедиться, обратившись к новым трудам советских ученых, посвященных биографии писателя.

В 1958—1960 гг. читатели получили два тома второго издания монументальной «Летописи жизни и творчества Л. Н. Толстого», составленной Н. Н. Гусевым. Давно ставшее библиографической редкостью первое издание «Летописи», вышедшее в 1936 г., было вдвое меньшим по объему в сравнении с новым изданием. «Летопись» вобрала в себя большое число новых материалов, относящихся ко всем периодам жизни и творчества Толстого. Следует отметить, что включение новых материалов помогло составителю «Летописи» значительно сократить число «белых пятен» в биографии писателя, в особенности в тех ее разделах, которые относятся к ранним годам жизни Толстого. «Летопись» является настольной книгой каждого исследователя жизни и творчества писателя.

«В центре настоящей „Летописи“,— говорит Н. Н. Гусев в предисловии,— Толстой — писатель и общественный деятель. Проследить в главных чертах историю создания всех его как законченных, так и незаконченных произведений: указать даты зарождения замысла, первых набросков, дальнейших стадий работы, окончательных редакций, чтения корректур и, наконец, первых публикаций — вот первая и главная задача, которую ставил себе автор». Шаг за шагом освещая «труды и дни» писателя, составитель «Летописи» заботился о том, чтобы были «указаны все значительные факты личной биографии Толстого» [41].

По авторитетному свидетельству Н. К. Гудзия, в новом издании «Летописи», несмотря на значительное увеличение ее объема, «мы не найдем почти ничего лишнего, чем можно было бы пожертвовать» [42]. Более того, как справедливо замечает Н. К. Гудзий, ряд сведений, сообщаемых в «Летописи», нуждается в дополнительных пояснениях. Например, требуют расшифровки некоторые записи в дневнике Толстого и отдельные высказывания в его письмах.

Многолетняя работа над «Летописью жизни и творчества Л. Н. Толстого» подготовила Н. Н. Гусева к созданию новой биографии писателя. В 1954 г. вышел из печати первый, а в 1957 г.— второй том его фундаментального труда «Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии». Их общий объем составляет 108 печатных листов. Обозрение жизни и творчества Толстого в этих томах заканчивается 1869 годом, когда писателем была завершена работа над «Войной и миром» и вышла в свет последняя часть романа. Впереди — обзор четырех десятилетий жизни и творчества Толстого — и каких десятилетий!

В 1922—1923 гг. Гослитиздатом была издана четырехтомная «Биография Льва Николаевича Толстого», написанная П. И. Бирюковым. Она привлекла внимание читателей прежде всего тем, что в ней впервые были опубликованы тексты из ряда толстовских произведений, запрещавшихся царской цензурой, а также многочисленные выдержки из дневников и писем Толстого. Ценность этой биографии обусловливалась также тем, что она составлялась не только с ведома писателя, но на первых порах и при его помощи. В 1904 г. Толстой просмотрел рукопись первого тома «Биографии» и сделал на полях много замечаний, а также написал несколько вставок в ее текст. Годом позже Бирюков записал со слов Толстого ряд добавлений к первому тому [43]. Он имел доступ к архиву Толстого и пользовался материалами из архивов близких писателю лиц.

С выходом Юбилейного собрания сочинений Толстого ценность труда Бирюкова как первого свода биографических материалов о Толстом в значительной степени утрачена. В методологическом отношении этот труд уже давно и безнадежно устарел. Как правоверный толстовец Бирю-

ков всю сложность идейной и творческой эволюции великого писателя сводил к поискам «смысла жизни» в духе его религиозно-нравственного учения.

Двухтомная биография Толстого, написанная Н. Н. Гусевым в 1920-х гг., также основана на большом фактическом материале [44].

И хотя сам автор книги писал о том, что его целью было «дать возможно более правдивую, полную и яркую картину истории жизни и творчества и развития личности Толстого», хотя он стремился использовать все материалы, какими в ту пору располагала наука о Толстом, все же основное его внимание было сосредоточено на том, чтобы показать, как Толстой стал «учителем жизни», как его «искания смысла жизни» закончились «обращением к вере».

Сосредоточившись на «внутреннем развитии сознания» Толстого, биографы не могли раскрыть ни многообразные связи писателя с эпохой, ни противоречивой сложности, с которой «эпоха Толстого» отражалась в его произведениях, ни подлинного содержания эволюции его творчества.

Новый труд Н. Н. Гусева коренным образом отличается от его ранних биографических работ, посвященных Толстому, прежде всего своей методологией. В предисловии к первому тому этого труда — «Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии» Н. Н. Гусев пишет: «Биограф Л. Н. Толстого в своем понимании социальной эволюции великого писателя должен исходить из ленинской точки зрения, устанавливающей разрыв Толстого со своим классом и его переход к идеологии трудового патриархального крестьянства. Чрезвычайно важно проследить все фазы этого перехода — от его начальных стадий до окончательного утверждения, со всеми временными колебаниями и отклонениями, ослаблением и усилением» [45].

При таком подходе эволюция Толстого должна предстать перед нами не как некое саморазвитие его «духа», а как очень сложный путь идейного и творческого развития, органически связанный с той исторической эпохой русской жизни, которую Ленин называл «эпохой Толстого».

Уже в ранние периоды жизни Толстого проявился его интерес к трудовому крестьянскому народу; в дальнейшем этот интерес определил все направление идейного и творческого развития писателя. И правильно поступает биограф, когда останавливает наше внимание на тех материалах, которые помогают увидеть самые ранние проявления не только интереса Толстого к народу, но и все более горячей заинтересованности в его судьбе. Эти материалы как бы «документируют» признание «позднего» Толстого о том, что его «самой юной любовью» был простой русский мужик [46].

Но, рисуя жизненный и творческий путь великого писателя как путь к народу, не следует сглаживать трудностей этого пути, показывать его «прямее», нежели он был в действительности. Рецензент имел известное основание упрекнуть Н. Н. Гусева в том, что в первом томе новой биографии Толстого он иногда ограничивается изложением воззрений молодого писателя, без анализа их противоречивости, без должной критической оценки их слабых сторон [47]. Так, например, изложены биографом ранние философские опыты Толстого, начатые в 1847 г.

Со времени появления первых произведений Толстого в печати вокруг его имени завязывается идейная борьба. Одна из задач биографа — проследить все перипетии этой борьбы с момента ее зарождения. Между тем, освещая отношение к молодому Толстому со стороны критиков-либералов, Н. Н. Гусев полагает, что А. В. Дружинин, С. С. Дудышкин, П. В. Анненков были почти «единодушны» с критиками революционно-демократического лагеря в оценке творчества молодого Толстого. Верно, что и те и другие высоко оценили первые произведения Толстого. Но оценили их с разных позиций и, по-разному представляя себе путь дальнейшего развития таланта Тол-

ТОЛСТОЙ ЗА РАБОТОЙ
Рисунок Т. Л. Сухотиной-Толстой, 1 марта 1910 г.
Музей Толстого, Москва

стого, стремились его направить — одни на путь «чистого искусства», а другие — на путь служения народу.

Наши замечания ни в коей мере не снижают высокой оценки труда Н. Н. Гусева, внесшего большой вклад в изучение Толстого. Новая биография писателя, создаваемая Н. Н. Гусевым, отличается не только масштабностью, но и строгой документированностью: в ней каждый факт подвергнут всесторонней научной проверке.

Монументальный труд Н. Н. Гусева при всех его достоинствах, отмеченных в 1958 г. премией Академии наук СССР, однако не может быть адресован широкому читателю и по своему типу и объему: когда он будет завершен (а на это понадобится, конечно, несколько лет), его общий объем, вероятно, достигнет нескольких сотен печатных листов. Совершенно очевидно, что наряду и параллельно с его завершением и изданием необходима подготовка и биографических очерков другого типа. Особенно необходимо создание научно-популярной биографии в нескольких вариантах — для читателя, ориентированного в основных фактах жизни и творчества писателя, для учащихся высшей школы и особенно для широкой массовой аудитории.

Серьезным, во многом удачным опытом столь необходимого широкому читателю краткого очерка жизни и творчества великого писателя явилась работа Н. К. Гудзия «Лев Толстой», впервые выпущенная Издательством Академии наук СССР в 1943 г. При дальнейших переизданиях книжка эта перерабатывалась и дополнялась автором. Постепенно материал биографический отходил в ней на второй план и книжка по своему жанру становилась уже не «критико-биографическим очерком», а «очерком творчества».

Позднее Н. К. Гудзий на основе этой книжки написал расширенный очерк творческого пути Толстого, вышедший в 1952 г. в издании Московского университета, а затем в 1960 г.— в Гослитиздате. При глубокой и содержательной характеристике произведений писателя, которая дана в этом очерке, при многих тонких наблюдениях и характеристиках, здесь, к сожалению, мало говорится о жизни Толстого, о его общественной деятельности, о связях с современниками. Все это, будучи введенным в новое издание очерка (которое, безусловно, потребуется, так как нужда в нем очень велика), несомненно, обогатит его.

Может показаться, что при наличии всего богатства материалов о Толстом создание научно-популярной биографии писателя — дело не такое уж сложное. Но это не так! Предстоит и при выполнении этой задачи «поднять» и изучить громадные по объему фонды самых разнообразных материалов и отобрать наиболее существенное и важное. Но этим трудности не исчерпываются. Здесь как нельзя более необходима та, говоря словами Белинского, творческая концепция, которая даст возможность увидеть «всего» Толстого, весь его путь — человека и художника, прослеженный во всей полноте его живых связей со своим временем, во всех формах его участия в «делах века».

Разумеется, должно быть продолжено и всестороннее изучение каждого из отдельных периодов биографии Толстого, отдельных этапов его идейно-творческой эволюции. В этом плане сделано уже немало. Необходимо, однако, отметить, что преимущественное внимание до сих пор уделялось исследователями «молодому Толстому», а также его взглядам и деятельности перед «переломом». Сам «перелом» и деятельность Толстого в последние десятилетия XIX в. изучались сравнительно мало. И только еще начато исследование «позднего Толстого», таких важнейших проблем как «Толстой и революция 1905—1907 гг.», «Толстой в годы реакции (1908—1910)» [48]. Эти проблемы имеют огромное значение не только для изучения Толстого, но и для понимания всего историко-литературного процесса развития дооктябрьской литературы и литературного движения 1900-х годов. Ведь Толстой до сих пор настолько «прикреплен» исследователями лишь к XIX веку, что в вузовских программах литературы XX в. он даже не упоминается! А между тем, последнее десятилетие жизни Толстого — время зенита его мировой славы и активнейшего его участия в общественно-литературном движении, время новых замыслов и новых исканий. Только невниманием к этому периоду его жизни можно объяснить, что в общих биографических очерках ему уделяется всего лишь несколько страниц.

4

Столь же важной задачей, как и разработка научной биографии Толстого, является создание монографических очерков о его творчестве, создание трудов, дающих целостное представление об идейном и художественном развитии писателя.

Изучение проблем творчества Толстого всегда сопровождалось острой идейной борьбой. Именно здесь с особенной силой сталкивались различные взгляды, особенно отчетливо обнаруживались различные точки зрения, шла и идет страстная борьба мнений.

Верное направление исследования творчества Толстого в советском литературоведении определилось не сразу.

В первые годы после Октября пользовались известностью исследования и статьи, написанные Д. Н. Овсянико-Куликовским, Н. А. Котляревским, В. В. Сиповским и другими представителями культурно-исторической школы. В те же годы у нас еще издавались книги о Толстом, принадлежавшие таким авторам, как критик-импрессионист Ю. И. Айхенвальд. Активно выступали тогда с пропагандой своих взглядов толстовцы, считавшие себя единственными «идейными наследниками» писателя. В науке о литературе в первые послеоктябрьские десятилетия сказывалось

сильное влияние зарубежного буржуазного литературоведения и в особенности таких его течений, как формализм и компаративизм.

Из критиков-марксистов о Толстом в те годы писали В. М. Фриче, М. С. Ольминский, но в их работах о Толстом утверждалась плехановская, а не ленинская оценка писателя. Для них Толстой был, прежде всего, графом, помещиком, «кающимся дворянином», и все их усилия были направлены на то, чтобы, по выражению Фриче, определить в этом плане «классовое лицо яснополянского мыслителя» [49]. С вульгарно-социологических позиций написаны были книги И. Н. Кубикова «Лев Толстой» и В. Л. Львова-Рогачевского «От усадьбы к избе. Лев Толстой. 1828—1928», вышедшие к 100-летию со дня рождения писателя.

В 30-х годах советская печать подвергла резкой критике формализм и вульгарный социологизм в литературоведении и искусствоведении. В острых идейных боях была вскрыта порочность лозунга «за плехановскую ортодоксию», которым прикрывался меньшевиствующий идеализм. Как показывает история дальнейшей идейной борьбы против вульгаризаторов марксизма-ленинизма в литературоведении, философии, искусствознании, одним из плацдармов этой борьбы неминуемо является наследие Толстого.

Еще в самом начале 40-х годов в советской печати были осуждены ревизионистские взгляды Георга Лукача, отчетливо выразившиеся в его работе «Толстой и развитие реализма», вошедшей в книгу «К истории реализма» [50]. Доходя до прямого искажения ленинской концепции творчества Толстого, Лукач выступил с утверждением, что великие художественные творения писателя имеют своим источником реакционные стороны его мировоззрения. Это глубоко ошибочное утверждение Лукач попытался возвести в общий «закон» искусства. «Толстой,— писал Лукач,— не единственный пример в мировой литературе, когда художник, исходя из неверного мировоззрения, все же создает непреходящие художественные ценности» [5].

Свой анализ творчества Толстого Лукач подчинил этой антинаучной порочной идее. В недавние годы эта идея была подхвачена югославскими ревизионистами, например, И. Видмаром, о попытке которого извратить ленинские статьи о Толстом уже говорилось выше. Новые книги и статьи Лукача свидетельствуют о том, что он не только не отказался от своих прежних взглядов, но продолжает их отстаивать, сближаясь, таким образом, с прямыми противниками марксизма.

Принципиальная партийная критика формалистических, вульгарно-социологических, ревизионистских и иных ошибочных «теорий» и «течений» способствовала идейному и научному росту нашего литературоведения. Уже с начала 30-х годов наблюдается определенный поворот в среде советских литературоведов к углубленному изучению трудов основоположников марксизма-ленинизма.

В 1932 г. вышла в свет работа А. В. Луначарского «Ленин и литературоведение» [52], в которой была сделана серьезная попытка систематического изложения основных принципов советской науки о литературе в свете ленинской теории отражения. Одной из лучших частей этого труда явилась характеристика статей Ленина о Толстом. В 30-е годы со статьями «Ленин о литературе» выступают М. К. Добрынин, П. Ф. Юдин, А. М. Еголин, В. Я. Кирпотин и другие авторы. В дальнейшем эта тема привлекает все большее и большее внимание советских литературоведов и критиков. При этом пристально изучались статьи Ленина о Толстом, их общетеоретическое, методологическое значение для науки о литературе, для изучения наследия Толстого.

Тогда же появились статьи, в которых обстоятельно разъяснялась принципиальная разница между плехановской и ленинской оценками наследия Толстого [53].

Так постепенно, но последовательно расчищалась почва для того, чтобы поднять уровень нашего толстоведения, освободить его от влияния ошибочных теорий и «направлений». Однако это влияние еще долго давало о себе знать, и наша печать не раз выступала с критикой ошибок, допускавшихся исследователями творчества Толстого.

Одной из таких весьма серьезных ошибок, и поныне еще не до конца преодоленных, явилось признание «раздельного» существования Толстого-художника и Толстого-мыслителя. В своей книге «Л. Н. Толстой», изданной в 1943 году (Л., Госполитиздат), В. С. Спиридонов утверждал, что Ленин, а вслед за ним Горький ценили Толстого «только как художника» и критиковали его лишь как философа-моралиста. Исходя из этого сугубо ошибочного представления об оценке Лениным наследия писателя, исследователь не увидел в художественных произведениях Толстого никаких противоречий и не смог поэтому дать верной картины его идейного и художественного развития.

Игнорируя «кричащие противоречия» мировоззрения и творчества Толстого, В. С. Спиридонов и некоторые другие исследователи пытались по-своему «улучшить» историю. А на деле получалось, что они «смягчали» ленинскую критику слабых, ошибочных сторон мировоззрения и творчества писателя, допускали прямое искажение высказываний Ленина о Толстом. Антинаучность такого подхода к оценке наследия великого писателя была убедительно вскрыта нашей печатью. Тогда же подверглась справедливой критике отчетливо проявившаяся в изучении Толстого тенденция к академическому «объективизму», стремление говорить в «нейтральных» тонах о таких явлениях, которые требуют ясной и четкой идейной оценки [54].

Критикуя ложный объективизм, проникший в работы советских исследователей о Толстом, наша печать справедливо напоминала о том, что ленинские статьи и высказывания, посвященные Толстому, проникнуты духом непримиримости ко всем тем сторонам наследия писателя, в которых выразился его предрассудок, а не разум.

В 50-е годы делаются попытки создания новых монографических исследований о творческом пути писателя, выпускаются монографии о крупнейших его произведениях, издаются многочисленные сборники статей и материалов о Толстом.

В пределах этой статьи невозможен даже самый беглый обзор хотя бы наиболее заметных работ о Толстом, появившихся у нас за последнее время (в «Библиографии литературы о Л. Н. Толстом. 1917—1958» учтено более двух тысяч книг и статей, целиком или частично посвященных творчеству писателя, опубликованных за 1950—1958 гг.). Да это и не входит в нашу задачу. Ограничимся указанием на некоторые характерные тенденции, которые проявились в изучении творчества Толстого в последнее время.

В 1954 г. вышла в свет книга С. П. Бычкова «Л. Н. Толстой. Очерк творчества». Ее появлению предшествовали статьи Бычкова о творчестве писателя, опубликованные в научных сборниках, журналах, а также в виде предисловий и послесловий к различным изданиям произведений Толстого.

Последние главы очерка написаны до крайности бегло и схематично. Не все в нем достаточно продумано. Ряд серьезных проблем толстовского творчества затронут поверхностно.

В очерке С. П. Бычкова заметно выделяются страницы, написанные в результате самостоятельных разысканий исследователя. Такие страницы напоминают о том, что автор книги в свое время много занимался проблемой народа в раннем творчестве Толстого, формированием эстетических взглядов писателя. Бычков признает, что в основе исканий Толстого были поиски путей к народу, начавшиеся задолго до того, как писатель порвал

с дворянским классом и стал идеологом патриархального крестьянства.

Казалось бы, что, верно определив направление исследования, автор сможет дать достоверную и отчетливую картину идейных и творческих

«В ПОГОНЕ ЗА МИЛЛИОНАМИ»

Рисунок неизвестного художника

Иллюстрированное приложение к «Искре», 1901, № 8

Темой карикатуры служит намечавшаяся поездка царя в Париж за займом. На рисунке: русские и французские министры влекут колесницу Николая II по трупам убитых рабочих и студентов. Казаки разгоняют нагайками манифестацию. На заднем плане — голодающая деревня. Обер-прокурор Синода Победоносцев и митрополит Антоний распинают Толстого

исканий Толстого. Однако нарисованная им картина оказалась настолько неясной, что вызвала самые противоположные суждения в критике. Одни из критиков сделали вывод, что, по мнению автора, Толстой до идейного перелома стоял на дворянских сословно-аристократических позициях и что этими позициями определялся идейный замысел и «Войны и мира» и «Анны Карениной» [55]. Другие же критики поняли Бычкова иначе: задолго до перелома Толстой, преодолев свои сословно-дворянские предрассудки, уже стоял на демократических позициях. И более того, что

идейные противоречия в «Войне и мире» Бычков «рассматривает как отражение противоречий в идеологии патриархального крестьянства» [56].

В возникновении всей этой путаницы в значительной мере повинен сам Бычков, выдвинувший концепцию борьбы двух «начал» в мировоззрении Толстого: дворянского и крестьянского. В самом ходе исследования Бычков делит жизненный и творческий путь писателя на два резко противостоящих один другому периода: до идейного перелома и после него. По мысли автора, в первый период Толстой находится на позициях дворянских, во второй — крестьянских. Как заметила Е. Н. Купреянова, в книге Бычкова «первая половина творческой деятельности Толстого объясняется по Плеханову, а вторая по Ленину».

И действительно, о противоречиях Толстого первого периода автор книги говорит, как о противоречиях мысли писателя, о борьбе двух «начал» в его мировоззрении: аристократически-сословного и крестьянски-патриархального (напомним, что Плеханов писал о борьбе в сознании Толстого «начал» барина и художника, христианина и язычника). Во второй период крестьянское «начало» одержало победу над дворянским, и Толстой стал отражать «противоречия, свойственные самому патриархальному крестьянству».

Исходя из признания двух «начал» в мировоззрении Толстого — дворянского и крестьянского, — Бычков автоматически «прикрепляет» к ним сильные и слабые стороны взглядов писателя. Что из этого получается,— можно судить по тем характеристикам и оценкам, которые получили в книге крупнейшие толстовские произведения. Вот, например, что говорит исследователь о замысле «Войны и мира»: «Роман представлялся Толстому как хроника дворянской жизни начала века, типически воплощенная в истории ряда дворянских семейств, представители которых нигде не служили и не были связаны ни с армией, ни с какими-либо департаментами. По этому замыслу в романе отсутствовали широкие исторические картины и историко-философские обобщения». Далее Бычков говорит об откровенно «дворянском» характере первоначального замысла романа, видит в нем «вершину сословных интересов писателя». Исследователь прибег к традиционной оценке произведения Толстого как «дворянской хроники» для того, чтобы подкрепить свою теорию о преобладании в Толстом периода «Войны и мира» дворянского «начала» [57].

Изучение рукописей и корректур «Войны и мира», проведенное исследователями в последние годы, показало, что уже на самых ранних этапах работы произведение Толстого ничего общего не имело с жанром «дворянской хроники», что уже тогда в нем присутствовали и большой исторический замысел и философские обобщения. Это доказано с полной убедительностью в исследовании Э. Е. Зайденшнур «Творческая история романа „Война и мир“», подготовленном к печати [58]. История создания романа опровергает легенду о дворянском «начале» как идейном источнике «Войны и мира», о «дворянской хронике» как авторском замысле этого произведения в его ранних редакциях.

Ошибся С. П. Бычков и в определении идейных истоков романа «Анна Каренина». По его мнению, Толстой выступал в этом произведении «в защиту родовитого дворянства при полном сохранении традиций». «В эпоху стремительного развития капитализма в стране,— говорит Бычков,— писатель, охваченный мучительным раздумьем, утверждал в сущности идеалы старой аристократии, которые и противопоставлял идеалам ненавистного ему буржуазного строя» [59].

По схеме, выдвинутой Бычковым, Толстой периода «Войны и мира» стоял на дворянско-либеральных позициях. По той же схеме выходит, что в пору создания «Анны Карениной» писатель сильно «поправел» и скатился на консервативные позиции «старой аристократии». И это сказано о Тол-

стом, находившемся в преддверии идейного перелома, за которым последовал полный разрыв писателя со всеми взглядами и традициями дворянского класса! Таким образом, исследователь, активно выступавший против вульгарной социологии, сам оказался у нее в плену, не умея объединить идейный и эстетический анализ художественных произведений, рассматривая эволюцию взглядов Толстого вне анализа его художественного метода [60]. Отдельные интересные наблюдения о структуре романа Толстого остались не подчиненными единой исследовательской цели.

В очерках творчества Толстого, появившихся после книги Бычкова, заметно плодотворное стремление исследователей избежать социологического схематизма. Однако это не значит, что допустим в какой бы то ни было степени отказ от необходимости четких общественно-политических характеристик и оценок идейных позиций писателя, что можно мириться с заменой конкретного анализа идейной направленности и художественного своеобразия произведений общими рассуждениями о «глубине» и «широте» отражения писателем исторической действительности. Такого рода тенденции встречаются в ряде работ о Толстом, появившихся за последние годы.

Положительно был встречен читателями обстоятельный очерк творчества Толстого, представляющий собой одну из лучших глав в т. IX «Истории русской литературы» (Изд-во АН СССР, 1956). В этом очерке разделы, характеризующие творческий путь Толстого до «перелома» (§§ 1—13, 18 и заключение), написаны Б. И. Бурсовым, от «перелома» и до конца, за исключением раздела о «Воскресении» (§§ 14—17, 19—22) — Л. Д. Опульской. Авторы писали очерк, опираясь на свои собственные исследования различных проблем, связанных с изучением наследия Толстого, и на работы других литературоведов.

Очерк этот интересен и как попытка проследить весь творческий путь писателя и многими ценными наблюдениями более частного порядка. Свежо, хотя по необходимости сжато, охарактеризован «поздний Толстой»: это следует особо отметить, так как в общих очерках последнему десятилетию деятельности писателя обычно почти не уделялось внимания. Авторы дают ряд удачных общих характеристик отдельных этапов идейно-творческого пути Толстого, сообщают сведения, необходимые в очерке, предназначенном для «Истории литературы», изображают в свете ленинской оценки писателя эпоху, породившую его силу и слабость. В главах, посвященных собственно творчеству писателя и отдельным крупнейшим его произведениям, выдержан преимущественно один определенный аспект: речь идет в первую очередь о внутренних психологических и моральных мотивах, руководивших Толстым при создании того или иного произведения, а затем уже об отражении в нем реальной действительности.

Так, при анализе трилогии «Детство», «Отрочество» и «Юность» пристально прослеживаются все этапы духовных исканий главного героя Николеньки Иртеньева, при этом подчеркивается, что «основой для образа Николеньки Иртеньева Толстому послужил опыт собственных духовных исканий, собственной духовной биографии» [61]. Из этого — самого по себе верного — наблюдения делается вывод, что центральной фигурой не только трилогии, но и всего творчества Толстого является идейно близкий писателю герой, наделенный многими автобиографическими чертами. В соответствии с этой мыслью главным предметом изучения становится «духовная биография» писателя.

Далее, при рассмотрении перехода от трилогии к военным рассказам, написанным молодым Толстым на Кавказе, устанавливается внутреннее единство между этими произведениями. В чем же оно заключается? «Главная проблема автобиографических повестей,— читаем мы в очерке,—

проблема высокого назначения человека, которое он может оправдать, лишь обладая твердой волей и непреклонным характером. Эта же проблема, конечно, в другом виде, присутствует и в кавказских рассказах».

Здесь к «материалу самонаблюдения», преобладавшему в трилогии, прибавился материал наблюдений над другими людьми. Главное же и в кавказских рассказах — не жизнь этих «других людей», а опять-таки «искания» самого писателя. «Главная тема кавказских рассказов, — говорится в очерке, — тема храбрости. Она рождается всем ходом идейно-нравственных исканий Толстого» [62]. При этом отмечается, что «в скрытом виде» проблема храбрости присутствует уже в автобиографической трилогии, но там она дана «как производная от главной проблемы — проблемы высокого назначения и высоких устремлений человека». Далее подвергаются обсуждению «два вида храбрости»: моральная и физическая и два аспекта рассмотрения Толстым храбрости.

Увлечение анализом хода «идейно-нравственных исканий» Толстого приводит к некоторому ослаблению внимания к проблемам отражения действительности в художественном творчестве в широком плане и влияния на него процессов жизни эпохи. При всем огромном значении «идейно-нравственных исканий» все же нельзя отводить им преобладающего места в исследовании, задача которого — освещение всего творчества писателя в связи с его идейной эволюцией, а не анализ преимущественно его духовной биографии.

Вследствие сосредоточения в этом очерке внимания на анализе исканий писателя значение художественных картин и образов, созданных Толстым, рассматривается иногда как иллюстрация тех или иных его мыслей. Так, знаменитая картина Шенграбенского сражения из «Войны и мира» оказывается «как бы иллюстрацией к мысли Толстого, что сущность национального характера с особой силой раскрывается в трудных обстоятельствах». А «новая ступень реализма», достигнутая Толстым в романе «Анна Каренина», усматривается в оригинальном решении образа Левина: «Построение образа одного из главных героев романа, Константина Левина, — читаем в очерке, — определяется тем, что вся его духовная биография связана с непрерывными усилиями понять экономическую структуру общества, выяснить, в чем причина ее непригодности» [63]. Но ведь создавая образ Константина Левина, Толстой, конечно же, не ставил перед собой такой утилитарной задачи. Как известно, кроме хозяйства, у Левина было много и других интересов. Круг его увлечений и забот весьма широк и разнообразен: ведь, разумеется, Левин — не «заданный» персонаж, для которого уготована роль «рупора идей» автора романа, а сложный и живой образ, в котором воплощены многообразные отклики жизни (что подтверждается далее в том же очерке рядом наблюдений).

В этом очерке значительное место уделено анализу художественного своеобразия произведений Толстого (хотя сделано это «неравномерно». Так, сюжету и композиции «Анны Карениной» посвящена большая глава, а сюжету и композиции «Воскресения» — один абзац) [64].

Достоинства этого очерка, как мы уже отмечали, неоспоримы. Но если рассматривать его в перспективе дальнейшего изучения Толстого, то нельзя не заметить, что наряду с анализом внутренних процессов жизни писателя, его «духовной биографии» необходим более широкий и развернутый анализ идейной и эстетической сторон творчества Толстого, в их нерасторжимом единстве и в постоянных связях с исторической действительностью.

Задача эта весьма трудная, литературоведение только подходит к ее решению, но тем не менее именно на этом пути возможно дальнейшее развитие нашей науки. Работы, выдвигающие такую постановку вопроса,

«РУССКИЕ МУЖИКИ». АЛЬБОМ КАРТИН Н. В. ОРЛОВА, ИЗДАННЫЙ С ПРЕДИСЛОВИЕМ ТОЛСТОГО (СПБ., 1909). ЭКЗЕМПЛЯР ИЗ ЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ЛЕНИНА

Титульный лист с дарственной надписью художника Ленину от 23 сентября 1918 г.

Рядом с фотографией Толстого, помещенной на титульном листе, Орлов наклеил свою и вписал цитаты из «Круга чтения» Толстого

Кабинет В. И. Ленина в Кремле, Москва

То же и въ картинѣ тѣлеснаго наказанія. Всѣ лица, кромѣ молящагося за грѣхи людей старика и недоумѣвающаго передъ жестокостью людей мальчика, уже доведены до того, что дѣлаютъ свое постыдное дѣло, какъ что-то нужное и должное.

Послѣдняя же картина, въ себѣ одной выражающая все то, что сказано въ этихъ шести, особенно и сильна и страшна тѣмъ, что самымъ простымъ и понятнымъ способомъ изображаетъ то, что лежитъ въ основѣ того развращенія, которому подвергается народъ, и ту главную опасность, которая предстоитъ ему. „ступай, ступай, Богъ подастъ" говоритъ хозяйка, отказывая нищему, „видишь батюшка тутъ" Да, это ужасная картина.

Сила народа въ наибольшей истинности его религіознаго, руководящаго его пониманія, пониманія законовъ жизни. Я говорю „истинности" потому что вполнѣ истиннаго религіознаго пониманія законовъ жизни, какъ и вполнѣ истиннаго пониманія Бога, никогда невозможетъ быть у человѣка. Человѣкъ только все больше и больше приближается къ тому и другому. И такъ наиболѣе по на- шему времени истинно религіозное пониманіе жизни было и есть у русскаго безграмотнаго, мудраго и святою мужицкаго народа. И вотъ съ разныхъ сторонъ, со стороны суда, податей, сосѣдства, винной отравы для государственнаго дохода, его окружаютъ ужаснымъ соблазномъ, и самымъ страшнымъ изъ нихъ: религіознымъ соблазномъ, вслѣдствіе котораго церковь и ея служители въ мірѣ- нетъ милосердія, любви къ брату.

Все это изображено въ картинахъ Орлова. И потому мнѣ кажется, что я не напрасно люблю ихъ.

Картины эти указываютъ намъ на ту опасность, въ которой находится теперь духовная жизнь русскаго народа. А понять опасность тамъ, гдѣ не видалъ ее, уже шагъ къ избавленію отъ нея.

26-го Іюня 1908 года.
Ясная Поляна.

«РУССКИЕ МУЖИКИ». АЛЬБОМ КАРТИН Н. В. ОРЛОВА, ИЗДАННЫЙ С ПРЕДИСЛОВИЕМ ТОЛСТОГО (СПб., 1909). ЭКЗЕМПЛЯР ИЗ ЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ЛЕНИНА

Последняя страница предисловия Толстого с восстановленными рукою Орлова цензурными купюрами

Кабинет В. И. Ленина в Кремле, Москва

появляются в последние годы все чаще. К ним относится и опубликованная в 1954 г. работа М. Б. Храпченко «Реалистическое искусство Толстого» [65].

Статья М. Б. Храпченко основана на цельном представлении об идейном и художественном развитии писателя. Достигается это прежде всего тем, что исследователь устанавливает органическую связь между всеми периодами творчества Толстого. Надежная основа указанной связи— развитие народности творчества великого писателя.

«Между „Севастопольскими рассказами", „Войной и миром", „Анной Карениной" и произведениями последних десятилетий жизни Толстого,— пишет М. Б. Храпченко,— существует внутренняя органическая связь, которая определяется тем, что в творчестве писателя на разных этапах, хотя и в разной степени, отразился народный взгляд, народная точка зрения на явления общественной жизни». Исходя из этой основополагающей мысли, исследователь рассматривает весь творческий путь Толстого как единый, развивающийся динамический процесс. Не преуменьшая сложности идейно-творческой эволюции великого писателя, М. Б. Храпченко стремится выделить в ней самое существенное и значительное. С его точки зрения, оно «заключается в том, что уже в произведениях начального этапа творчества Толстого в качестве решающей социальной проблемы возникает проблема народа, его бедственного существования. Уже в ранних художественных созданиях писателя известное отражение получают настроения патриархального крестьянства» [66].

Однако из сказанного вовсе не следует, что правы те исследователи, которые склонны считать, что никакого перелома в мировоззрении Толстого не было, что чуть ли не с первых шагов в литературе он явился идеологом патриархального крестьянства.

М. Б. Храпченко отчетливо говорит о переломе во взглядах писателя, о его полном и окончательном идейном разрыве с дворянским классом. В то же время исследователь подчеркивает, что разрыв Толстого с дворянством «был подготовлен всей предшествующей эволюцией писателя, в процессе которой формировались новые идеи и воззрения, имевшие своими истоками условия жизни многомиллионного крестьянства» [67]. Основой идейной и творческой эволюции писателя служит, таким образом, реальная историческая действительность, находившая многостороннее изображение в произведениях Толстого. Как немногие даже из числа великих художников, Толстой умел находить художественное решение больших социальных тем, ставя при этом коренные вопросы общественной жизни. Он умел передать течение, развитие громадных жизненных процессов, запечатлеть их бесчисленные взаимосвязи, взаимопереходы, антагонизмы и столкновения.

Разумеется, в сравнительно небольшой по объему статье М. Б. Храпченко не смог с достаточной полнотой использовать все возможности, которые открывает широкий подход к наследию Толстого, соединяющий в себе идейный и эстетический критерии оценки. В частности, в его работе, как и в очерках творчества Толстого, написанных другими советскими литературоведами, сравнительно мало внимания уделено публицистике писателя. Между тем, в трактатах Толстого «Так что же нам делать?», «Рабство нашего времени», статьях «Великий грех», «Не могу молчать» и других его публицистических произведениях звучит рядом с рассуждениями религиозно-нравственного характера могучий голос обличителя, протестанта и критика. Когда мы говорим о Толстом как о «зеркале русской революции», нельзя забывать о его статьях и трактатах, являвшихся прямыми откликами писателя на события эпохи.

В очерке творчества Толстого анализ и оценка его важнейших теоретических произведений непременно должны присутствовать.

* * *

За последние годы в исследованиях о творчестве Толстого все настойчивее выдвигается на первый план проблема его художественного новаторства. Она, действительно, является одной из самых важных среди большого числа других проблем, изучаемых толстоведами. Идет ли речь о художественном методе Толстого, или о своеобразии его реализма, или об особенностях его крупнейших произведений — неизменно возникает вопрос о новаторстве писателя, о его художественных открытиях, обогативших русскую и мировую литературу.

Не выяснив природы художественного новаторства Толстого, нельзя также дать верного решения вопроса о значении толстовских традиций для литературы социалистического реализма.

Разными путями подходят исследователи к изучению названной проблемы. Один из путей — характеристика творчества Толстого на фоне русской и западноевропейской литературы, сопоставление творческого метода Толстого с художественным методом крупнейших русских и зарубежных писателей.

Плодотворными могут быть сопоставления различных способов типизации при оценке изображения писателями одного и того же явления или даже одного и того же исторического лица. Например, чтобы показать новизну и смелость трактовки образа Наполеона в «Войне и мире», Т. Л. Мотылева дает анализ разработки наполеоновской темы в западноевропейской литературе XIX в. «В десятилетия, предшествующие появлению „Войны и мира“,— говорит она,— в странах Западной Европы не было почти ни одного крупного писателя, который не выразил бы так или иначе своего отношения к наполеоновской эпохе»[68]. Исследователь называет причины, делавшие оценку деятельности Наполеона для многих западных писателей делом весьма сложным. Толстой посмотрел на него глазами простых русских людей, отстаивавших свою родину от иноземного порабощения. «Потому и оказался он в состоянии — впервые в истории мировой литературы! — показать Наполеона без фальшивого ореола величия», — пишет Т. Л. Мотылева. Народная точка зрения на миссию Наполеона помогла Толстому создать образ огромной обличительной силы.

Новаторские приемы «снятия ореола», найденные Толстым при создании образа Наполеона, получили дальнейшее развитие в работе писателя над образом Николая I в повести «Хаджи-Мурат». Т. Л. Мотылева находит и черты сходства в изображении этих «коронованных тиранов» (здесь тонко подмечена ею характерная деталь: Николай I считает свой походный плащ «столь же знаменитым, как шляпа Наполеона») и черты различия. В отличие от образа Наполеона образ Николая I лишен элементов юмора. Сатирическое заострение его образа шло путем отбора не смешных, а «низменно-безобразных» черт.

Как свидетельствует экскурс о «наполеоновской теме» у Толстого и его предшественников, автор книги «О мировом значении Л. Н. Толстого», выдвигая те или иные литературоведческие проблемы, умеет соединить широкую историческую перспективу с конкретностью анализа. И там, где такое соединение налицо,— выводы, сделанные автором, наиболее убедительны. В тех случаях, когда оно отсутствует или выражено недостаточно отчетливо, утверждения автора приобретают декларативный характер. К сожалению, Т. Л. Мотылева иногда ограничивается лишь «заявками» на большие темы, обозначая их в самом общем виде. Она, например, пишет: «Толстой по-новому осветил психологию любви, психологию труда, психологию творчества, психологию войны, психологию детства и материнства, психологию болезни, старости умирания — и тем самым

помог своим читателям яснее, вернее увидеть многие важные стороны повседневного существования людей»[69]. Анализ того нового, что внес Толстой в разработку этих «вечных тем», является одною из важных задач нашего литературоведения.

Мы далеки от намерений требовать от автора всестороннего освещения проблемы новаторства Толстого, рассматриваемой в книге Т. Л. Мотылевой как часть проблемы мирового значения писателя. Но, как верно говорит она в предисловии к книге, «особенно важно для понимания его всемирного значения — новаторство в изображении человека и в изображении народа». В книге Т. Л. Мотылевой этой цели служат главы «Диалектика души» и «Великое народное море». Говоря о том, как рисует Толстой крестьянские образы, Т. Л. Мотылева делает упор, однако, не на новаторство писателя, а на продолжение им традиций Гоголя, Тургенева и Григоровича.

Не менее широко, нежели в книге Т. Л. Мотылевой, вопрос о новаторстве Толстого ставится в монографии А. В. Чичерина «Возникновение романа-эпопеи», о которой уже говорилось выше. Одна из ее глав посвящена теме «Новаторство Льва Толстого в романе-эпопее „Война и мир“».

А. В. Чичерин обобщил и, в известном смысле, подытожил работу многих советских литературоведов по изучению жанра «Войны и мира»[70] и вместе с тем выдвинул новые соображения.

В этой монографии горячо отстаивается мысль о том, что жанр романа-эпопеи, возникший в минувшем веке, — новое эстетическое явление, уже утвердившее себя в литературе и имеющее большую будущность. А. В. Чичерин полемизирует с исследователями, стремящимися разделить в жанровом отношении роман и эпопею. Он видит в эпопее высшее развитие романического жанра, связанное с задачей изображения народных масс, вызванных историей к самостоятельным действиям огромного значения.

Говоря о «Войне и мире», исследователь указывает, что в произведении Толстого «описание жизни и движения народных масс — это *не фон, а самое существо дела* ⟨...⟩ это основа внутренней связи романа-эпопеи»[71]. Исходя из этой мысли, А. В. Чичерин и анализирует «Войну и мир», видя в ней классический образец нового жанра романа-эпопеи.

Исследователь подвергает критике бытующее в литературоведении и проникшее в школьные программы и учебники представление о «раздельном» существовании в «Войне и мире» эпопейного начала и традиционной романической формы. Он утверждает, что Толстой «создал роман, который вышел из рамок романа», создал произведение, в котором «народ в целом, в его многообразии и в его единстве, впервые нашел реалистическое и гениальное воплощение»[72].

В работе Чичерина есть свои недостатки, на которые справедливо указала критика. Увлекшись «утверждением в правах» жанра романа-эпопеи, исследователь видит в нем «завершение эпической прозы», «высшее выражение реализма в литературе нашего времени» и т. д. Критики заметили, что «за честь других жанров вступилась сама литература», и напомнили А. В. Чичерину, что после «Войны и мира» Толстой написал «Анну Каренину», что многие из созданных им гениальных образов живут не только в романе-эпопее, но и в «обычном» романе, и в повестях и рассказах[73].

Отстаивая мысль о величайшем новаторском значении «Войны и мира», исследователь совершенно напрасно ставит роман-эпопею над всеми другими жанрами художественной прозы, развитие которых не прекратилось с возникновением нового жанра.

В исследовании А. В. Чичерина читатель не найдет ответа на вопрос о том, как русская литература подготовила появление «Войны и мира».

В качестве ее единственных предшественников Чичериным рассматриваются черновые редакции незавершенных исторических романов Пушкина. Тема истоков «Войны и мира» в русской литературе еще ждет своего исследователя.

Монография А. А. Сабурова «„Война и мир" Л. Н. Толстого. Проблематика и поэтика», изданная в 1959 г., явилась завершением многих лет упорного и сосредоточенного труда покойного исследователя. Она отличается масштабностью замысла и его осуществления [74].

Предметом изучения А. А. Сабурова является тематика «Войны и мира», идейное содержание произведения, отражение в нем исторической эпохи, образы героев, вопросы художественного метода, композиции, жанра, языка и стиля. Обосновывая мотивы, которыми он руководствуется, производя раздельное рассмотрение проблематики и поэтики романа, А. А. Сабуров пишет: «Взаимопроникновение проблематики и поэтики всякого художественного произведения не только не исключает, но делает особенно необходимым их аналитическое рассмотрение. В ходе исследования мы ставили своей задачей находить проблематику в особенностях образной системы произведения и показывать каждую деталь художественной формы как функцию его внутреннего замысла».

Исследователь находит, что проблематика и поэтика особенно сближаются между собой при решении вопроса о жанре произведения. И, действительно, анализируя проблематику «Войны и мира», он, в то же время, проводит анализ «тематической основы жанра». А изучение жанра, по выражению А. А. Сабурова, «открывает нам оборотную сторону той же художественной ткани». Жанр произведения трактуется исследователем как «живая художественная структура», на формирование которой влияют и сюжет, и композиция, и другие элементы художественности.

А. А. Сабуров, разумеется, не мог обойти молчанием тех споров вокруг определения особенностей эпопейного жанра, которые в течение ряда лет не утихают в литературоведении и критике и самым прямым образом касаются вопроса о жанре «Войны и мира». Позиция, которую он занял в этом споре, в полемически заостренной форме выражена исследователем в конце его книги. «Заканчивая свою монографию,— пишет А. А. Сабуров,— автор хотел бы подчеркнуть, что он рассматривает „Войну и мир" не как этап в „возникновении" нового жанра романа-эпопеи, а как новую, уникальную разновидность романа, которая хотя и вобрала в себя существенные черты эпического жанра, но положила основу — и в творчестве самого Толстого и в мировой литературе — для развития романа нового типа, а не для компромиссного эклектического жанра, слитого из разнородных традиций. Этот новый жанр требует для своего определения таких литературоведческих категорий, которые не нарушали бы принципов историзма, лежащих в основе существующей жанровой системы» [75].

Не подлежит сомнению, что это полемическое утверждение направлено прежде всего в адрес А. В. Чичерина — автора книги «Возникновение романа-эпопеи», вышедшей в свет за полгода до появления монографии А. А. Сабурова. В критических отзывах об этой книге встречались утверждения, что «о терминах спорить не стоит».

Конечно, можно было бы и «не вмешиваться» в этот спор двух литературоведов, если б они действительно спорили только о терминах. Для каждого из них вопрос о жанре «Войны и мира» — один из важнейших. А. А. Сабуров, отвергая термин «роман-эпопея», посвящает в своей книге особые главы темам «Эпическая основа „Войны и мира"» и «„Война и мир" как роман».

Совершенно очевидно, что за различными терминами, которыми исследователи стараются определить жанровое своеобразие «Войны и мира»,

«СТРАШНЫЙ СУД»

Рисунок неизвестного художника. 1901 г.

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

Сатирический отклик на отлучение Толстого от церкви и преследования его церковниками. В центре на троне обер-прокурор Синода Победоносцев. Слева (против Толстого) — митрополит Антоний

скрывается различное понимание природы новаторства Толстого. А с этим, как мы уже говорили выше, связан целый комплекс других серьезнейших вопросов.

Первым критиком, остро поставившим вопрос о жанровом своеобразии «Войны и мира», был сам Толстой. В статье «Несколько слов по поводу книги „Война и мир“» Толстой писал:

«Что такое „Война и мир“? Это не роман, еще менее поэма, еще менее историческая хроника. „Война и мир“ есть то, что хотел и мог выразить автор в той форме, в которой оно выразилось. Такое заявление о пренебрежении автора к условным формам прозаического художественного произведения могло бы показаться самонадеянностью, ежели бы оно было умышленно и ежели бы оно не имело примеров. История русской литературы со времени Пушкина не только представляет много примеров такого отступления от европейской формы, но не дает даже ни одного примера противного. Начиная от „Мертвых душ“ Гоголя и до „Мертвого дома“ Достоевского, в новом периоде русской литературы нет ни одного художественного прозаического произведения, немного выходящего из посредственности, которое бы вполне укладывалось в форму романа, поэмы или повести» (т. 16, с. 7).

Здесь ясно выражена не раз высказывавшаяся Толстым мысль о том, что «Война и мир» «не укладывается» в традиционные формы западноевропейского романа и что таковы все выдающиеся произведения русской литературы. Но, заявив о новаторском характере «Войны и мира», Толстой, однако, не дал определения жанра своего произведения, многозначительно назвав его «книгой».

Нельзя также не заметить, что Толстой начинает ответ на поставленный им вопрос о жанре «Войны и мира» словами: «Это не роман».

А. А. Сабуров видит в этих словах выражение протеста против шаблона романа, получившего наиболее широкое распространение в западноевропейской литературе, но отнюдь не стремление отмежеваться от русской литературной традиции, от монументальных созданий русской классики XIX в. в области романа.

Нельзя не прислушаться к тому, что говорит А. А. Сабуров о связях Толстого с традициями русской классической литературы, в которой роман стал действительно ведущим жанром. Интересные соображения высказывает он по поводу известного «непостоянства» структуры романа. «Сервантес, Лесаж, Гёте, Гюго, Диккенс создавали своими произведениями каждый раз новую структуру романа,— пишет А. А. Сабуров,— сказывавшуюся не только на проблематике и художественном методе, но и на композиционной структуре их творений» [76]. Русский роман, начиная с «Евгения Онегина», также по-своему ломал структуру жанра.

Однако, замечает А. А. Сабуров, основной жанровый признак романа долго сохранялся в русской художественной прозе. Структура романа определялась судьбой одного героя, а сюжетная завязка и развязка основывались чаще всего на любовной коллизии. Столкнувшись с этим, автор «Войны и мира» поднял «бунт» против канонов романического жанра, однако в полной мере воспользовавшись всеми его художественными элементами — экспозицией, завязкой и т. д.

Какой же представляется А. А. Сабурову жанровая структура «Войны и мира»? «Эпическая основа толстовского повествования,— пишет он,— вобрала в себя элементы романической композиции, ее сюжетную структуру и образную систему, подчинив их себе. Однако эти сюжетные линии и образная система в значительной степени сохраняют свое значение: в „Войне и мире“ нет одного ведущего „романа“ (т. е. повествования, построенного на развитии личных судеб одного героя), но в „Войне и мире“ есть некоторое множество „романов“, которые и порознь и все вместе подчинены общей закономерности — закономерности последовательного исторического повествования, охватывающего жизнь всего русского „мира“» [77].

«Война и мир», по А. А. Сабурову, и роман и национально-героическая эпопея. И, пожалуй, эпопея прежде всего, ибо господствующим началом «Войны и мира» является величественная эпическая тема, раскрывающаяся во всех элементах произведения. А в итоге А. А. Сабуров, как мы видели, предлагает называть «Войну и мир» *романом нового типа* [78].

Итак, роман-эпопея или роман нового типа — таковы два новейших ответа на вопрос о жанровом своеобразии «Войны и мира», поставленный Толстым почти сто лет назад. Обе «стороны» выдвигают веские аргументы, к которым нельзя не прислушаться. В то же время наличие двух различных точек зрения на жанровую природу «Войны и мира» заставляет сделать вывод о том, что проблема художественного новаторства Толстого еще далеко не изучена и не разрешена нашими исследователями.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что поиски точных определений жанра «Войны и мира» не есть «игра в термины», а насущная задача, с решением которой связано полное раскрытие значения того вклада, который Толстой внес своим бессмертным произведением в развитие русской и мировой литературы.

Успешная разработка этой проблемы зависит от степени теоретического исследования таких проблем литературоведения, как вопросы жанра, специфика реализма, соотношение художественного метода и мировоззрения и др. В особенности же от состояния теории литературы зависит верное решение вопроса о значении традиций Толстого для современной советской литературы и литературы зарубежных стран.

Вопрос о традициях Толстого связан в нашей литературной науке с общим вопросом об отношении советских писателей к наследию классиков.

В решении этого вопроса были неверные тенденции. Одни из литературоведов и критиков еще недавно утверждали, что в творчестве Толстого, Короленко и Чехова обнаружился кризис и упадок реализма и что новый художественный метод — социалистический реализм, пришедший в литературу с Горьким, знаменовал полную замену «старого» метода критического реализма, отжившего свой век. Это была одна крайность.

Литературоведы и критики, впадавшие в другую крайность, утверждали, что социалистический реализм служит простым продолжением критического реализма и не заключает в себе ничего принципиально нового.

Эти обе крайности проявились и в разработке одной из наиболее популярных в литературоведении темы «Толстой и Шолохов» как части общего вопроса о традициях Толстого в советской литературе. Остановимся на этой теме подробнее, поскольку в освещении ее особенно ярко проявились два принципиально различных методологических подхода.

В книге И. Г. Лежнева «Михаил Шолохов» (М., 1948) вопрос о преемственности автором «Тихого Дона» толстовских традиций сводился к простому сопоставлению внешне сходных ситуаций, отдельных деталей и частностей. Автор, например, пишет: «Параллель между семейной драмой Аксиньи Астаховой и Анны Карениной очевидна». «Некоторые штрихи в обрисовке Дуняшки напоминают сходственные черты Наташи Ростовой». Там же автор сравнивает Ильинишну и старую графиню Ростову.

И. Г. Лежнев пытается «проследить и черты глубокого принципиального различия в пределах этой сходственности» и пишет, что Анна Каренина низко «опускала свою когда-то гордую, веселую, теперь же постыдную голову». Аксинья же Астахова «гордо и высоко несла свою счастливую, но срамную голову».

При этом критик указывает, что Толстой осуждает свою Анну, а Шолохов «сочувствует своей героине» [79].

Если И. Г. Лежнев не идет дальше внешних сопоставлений героев «Тихого Дона» и «Войны и мира» и сводит всю проблему к учению Шолохова у Толстого, то автор монографии о «Тихом Доне» Л. Г. Якименко справедливо говорит о том, что проблема традиций гораздо шире и сложнее, нежели вопрос об учебе у писателей-классиков. В традиции (которая «подкрепляется учебой, влиянием») осуществляется преемственность развития искусства и литературы на разных исторических этапах. Она проявляет себя «и в отношении к действительности и в подходе к изображению человека, к выявлению его сущности».

Л. Якименко указывает, что можно изучать развитие традиций Толстого и в том, как изображается народ, и как развивается жанр эпопеи, и в том, как разрабатываются формы психологического анализа («диалектика души», внутренний монолог и др.). Но высказав эти верные соображения, Л. Якименко в своей монографии ограничился лишь отдельными сопоставлениями «Тихого Дона» и «Войны и мира»[80]. В последней главе книги, посвященной особенностям жанра и стиля «Тихого Дона», автор сделал попытку обзора развития жанра эпопеи в русской литературе. «Война и мир» заняла видное место в этом обзоре, но вопрос о продолжении и развитии Шолоховым традиций Толстого как эпического писателя сколько-нибудь отчетливого освещения в этой главе не получил.

Более двадцати лет назад сам Шолохов, в беседе с корреспондентом «Известий», высказал такие мысли по поводу сравнения его героини с Анной Карениной:

«Известно, что тема „Анны Карениной" была подсказана Толстому жизнью, каким-то имевшим место эпизодом — такая же семья, такие же переживания, с такой же трагической развязкой. Однако разве нам, чи-

тателям, есть дело до этого? Мы знаем одну Каренину, которую написал Толстой. Эта Каренина нам дорога. Я ставил себе задачей создать мою Аксинью живой. Показать ее со всеми ее поступками, оправданными и убедительными» [81].

Легко увидеть, что Шолохов говорит здесь о творческом методе Толстого, о том, что он изучает творческий опыт автора «Анны Карениной», учится мастерству изображения героев живыми. Подобно Толстому, он находит своих героев в самой действительности, в жизни. Правда, Шолохов в той же беседе подчеркнул, что «буквально такой ситуации не было в жизни. Но вообще жизнь деревни, казачьей станицы пестрит такими историями».

Образ Аксиньи в «Тихом Доне», как и Анны Карениной у Толстого,— поэтический образ, взятый из жизни, но созданный по законам искусства.

В той же беседе Шолохова мы находим и ответ на прямой вопрос о его отношении к Толстому.

— Находились ли вы, создавая «Тихий Дон», под чьим-нибудь влиянием? Правда ли, что на вас сильно влиял Лев Толстой?— спросил корреспондент. И вот ответ Шолохова:

— Толстой недостижим. Существуют такие писатели,— это не в порядке самокритики,— на которых Толстой и Пушкин не влияют... Ей-богу, на меня влияют все хорошие писатели. Каждый по-своему хорош. Вот, например, Чехов. Казалось бы что общего между мною и Чеховым? Однако и Чехов влияет! И вся беда моя и многих других в том, что влияют еще на нас мало.

Не научились мы еще писать, как старики писали. Это отнюдь не самоуничижение. Но все же работаем мы не в полную мощь... Не хватает еще у нас культуры. Возьмем Чехова. Чехов никогда не выпускал полуфабрикатов. И брака у него не найдешь...

Как будто бы Шолохов ушел от прямого ответа на вопрос. Но, в действительности, он дал на него вполне ясный ответ. Да, Толстой на него влияет, как и все хорошие писатели, но — «Толстой недостижим» как художник. В телеграмме, присланной в 1953 г. Музею Л. Н. Толстого, Шолохов снова подчеркнул эту мысль: «Лев Толстой,— пишет он, — навсегда останется в русской и мировой литературе величавой, недосягаемой вершиной».

Из такого понимания творчества Толстого, как высшего критерия искусства, Шолохов делает вывод: нашим писателям надо учиться писать у «стариков», а для этого надо работать и работать, осваивать литературное наследие прошлого, совершенствуя свое мастерство.

Ромен Роллан, внимательно следивший за развитием советской литературы, писал в 1935 г., что «лучшие новые произведения советских писателей (например, Шолохова) связаны с великой реалистической традицией прошлого века, в которой воплотилась сущность русского искусства и которую обессмертило мастерство Толстого» [82].

Об органической преемственности творчества Толстого и Шолохова говорил А. Н. Толстой, отметивший в своем отзыве о «Тихом Доне», что Шолохов «начинает новую народную прозу, скрепляя ее со старыми богатырями» [83].

В создании «новой народной прозы», продолжающей традиции Толстого и других «старых богатырей» русской литературы, участвовали многие мастера советского романа, возглавляемые Горьким: Шолохов и Фадеев, Алексей Толстой и Федин, Серафимович и Фурманов, Гладков и Катаев, Леонов и Соболев,— и все те, кто внес свой вклад в создание эпических полотен о жизни советского общества.

Можно было бы назвать много работ советских литературоведов и критиков, где освещаются темы «Толстой и Горький», «Толстой и Фадеев»,

«Толстой и Алексей Толстой» и т. д. Для них характерны те же тенденции, что и для исследований на тему «Толстой и Шолохов»: от сопоставлений чисто внешнего характера их авторы переходят к выяснению влияния на творчество советских писателей художественной традиции Толстого [84].

Дальнейшая разработка темы «Толстой и литература социалистического реализма» должна вестись в плане все более глубокого постижения форм и методов преемственности советской литературой всего лучшего, что создал критический реализм, высшим достижением которого явилось творчество Толстого.

Вопрос о традициях Толстого имеет большое значение и для судеб современной зарубежной литературы.

На Западе есть критики, которым «не нравится» влияние Толстого на современных писателей, и они пытаются уверить их в том, что Толстой якобы «устарел». Прекрасным ответом на подобные уверения служит «Письмо к друзьям на Западе о поездке в Советский Союз», принадлежащее перу Анны Зегерс. С увлечением рассказывая о своем изучении рукописей «Войны и мира», называя это произведение «неотъемлемой частью нашей общей мировой культуры», Анна Зегерс убежденно утверждает: «Мы можем научиться у Толстого больше, чем у большинства других эпических писателей» [85].

О значении Толстого для литератур стран социалистического лагеря имеются авторитетные свидетельства виднейших писателей этих стран. «Его произведения уже пустили корни в Китае,— говорит, например, Лао-Шэ.— Он оказал влияние на всех писателей новой литературы ⟨...⟩ Все хотят овладеть его ширью и глубиной...». Лао-Шэ высоко ценит и другие стороны творческого метода Толстого. «Молодежь любой страны,— пишет он о Толстом,— должна учиться у него, учиться его добросовестности, учиться той серьезности, с которой он пропагандировал правду в своих художественных произведениях» [86]. Вопреки беспочвенным попыткам некоторых зарубежных критиков объявить наследие Толстого «устаревшим», прогрессивные писатели и Запада и Востока настойчиво проходят «школу Толстого», усваивая и развивая его великие традиции.

Суждения многих советских и зарубежных писателей о значении толстовских традиций для современной эпохи как бы подытожены в следующих словах К. А. Федина: «Лев Толстой — мировая школа литературного искусства. Это русская литературная школа, вызвавшая небывало широкое течение художественной мысли на земном шаре. Это школа, в которой наша советская литература черпает познание искусства и вдохновение к своим новым трудам о новом человеке» [87].

В этих словах выражена уверенность в том, что для литературы нашей страны и передовой литературы других стран всегда будут жить традиции Толстого, учившего писателей страстно жить интересами своего века и в то же время создавать произведения, устремленные к грядущим дням, обращенные к грядущим поколениям.

* * *

Изучение толстовского наследия проходит у нас в обстановке творческих споров и дискуссий. Это лишний раз показывает всю беспочвенность и вздорность выдумок буржуазных литературоведов Запада и США о неких стандартах и шаблонах, якобы господствующих в советском литературоведении. Сохраняя верность ленинской концепции Толстого, беря наследие писателя под защиту от тех, кто пытается его искажать и опошлять, наше литературоведение ищет новые пути для все более глубокого его постижения.

Из множества задач, стоящих перед изучающими Толстого, мы более или менее подробно остановились преимущественно на двух — разработке научной биографии писателя и монографического исследования, охватывающего его творческую деятельность во всей целостности. Из всего многообразия проблематики, разрабатываемой специалистами, мы привлекли внимание к двум проблемам — природе художественного новаторства Толстого и значению его традиций для современной литературы. Эти задачи и проблемы, на наш взгляд, являются «ключевыми» и первоочередными. Но с ними, разумеется, связано большое число других задач и проблем, также имеющих важнейшее значение. Среди них следует назвать такие проблемы, как особенности художественного метода Толстого, своеобразие его реализма, творческая индивидуальность писателя, эволюция его творческого развития и связанные с нею вопросы периодизации творчества, место Толстого в истории русской и мировой литературы, его роль в художественном развитии всего человечества. В каждой из названных проблем выделяются соподчиненные проблемы и вопросы, например, изучение художественного метода Толстого связано с исследованием его языка и стиля (видное место занимают здесь работы В. В. Виноградова[88]), принципов типизации, разработанных писателем, анализом форм толстовского психологизма, принципов толстовского историзма и т. д.

Советское литературоведение имеет немалые достижения в разработке наследия великого писателя. Накопив богатейший опыт, наша литературная наука обладает всеми возможностями для того, чтобы еще более повысить уровень изучения творчества Толстого и успешнее решать те задачи, которые выдвигает перед нами время.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 16, стр. 293.
[2] Сведения о тиражах получены из Всесоюзной книжной палаты.
[3] М. Горький. История русской литературы. М., 1939, стр. 296.
[4] «Курьер Юнеско», 1957, февраль, стр. 13.
[5] «Художественные произведения Л. Н. Толстого в переводах на иностранные языки. Зарубежные издания». М., изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1960.
[6] «Библиография литературы о Л. Н. Толстом. 1917—1958». М., изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1960.
[7] В. В. Ермилов. Большой день.— «Литературная газета», 1960, № 87, от 23 июля.
[8] «Вопросы литературы», 1957, № 5, стр. 116.
[9] А. В. Чичерин. Возникновение романа-эпопеи. М., 1958, стр. 15, 129, 188, 252, 258, 281, 282.
[10] Там же, стр. 163, 164.
[11] В. И. Ленин. Сочинения, т. 15, стр. 179.
[12] Там же, стр. 184.
[13] В. И. Ленин. Сочинения, т. 16, стр. 295.
[14] М. Горький. Собр. соч. в 30 томах, т. 17. М., 1952, стр. 39.
[15] В. И. Ленин. Сочинения, т. 16, стр. 301—302.
[16] В. И. Ленин. Сочинения, т. 20, стр. 237.
[17] В. И. Ленин. Сочинения, т. 15, стр. 180.
[18] В. И. Ленин. Сочинения, т. 16, стр. 294—295.
[19] Там же, стр. 302.
[20] Там же, стр. 301.
[21] В. И. Ленин. Сочинения, т. 15, стр. 180.
[22] В. И. Ленин. Сочинения, т. 16, стр. 301.
[23] В. И. Ленин. Сочинения, т. 2, стр. 221.
[24] В письме к Горькому в декабре 1913 г., критикуя «идею бога и богостроительства» и указывая, что она «явно реакционна», Ленин далее писал: «Вы хотите этим сказать „доброе и хорошее", указать на „правду-справедливость" и тому подобное. Но это ваше доброе желание остается вашим личным достоянием, субъективным, невинным пожеланием». Указывая, что суть написанного определяется не «добрым пожеланием», а «объективным соотношением классов», Ленин продолжает: «...выходит так, что вы подкрасили, подсахарили идею клерикалов, Пуришкевичей, Николая II

и гг. Струве, ибо *на деле* идея бога *им* помогает держать народ в рабстве» (В. И. Ленин. Сочинения, т. 35, стр. 92—93). Этот приведенный нами пример не следует, разумеется, рассматривать как аналогию между «богостроительством» и религиозно-нравственным учением Толстого.

[25] В. И. Ленин. Сочинения, т. 16, стр. 295.— Курсив наш.— *К. Л.* и *Б. М.*

[26] В. И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр. 32.

[27] Там же, стр. 29.

[28] Е. Н. Купреянова. Лев Толстой и мировая литература.— «Литературная газета», 1957, № 144, от 3 декабря; С. А. Розанова. Работа о мировом значении Л. Толстого.— «Вопросы литературы», 1957, № 5, стр. 9 и др.

[29] В. И. Ленин. Сочинения, т. 16, стр. 295.

[30] Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. М., Изд-во АН СССР, 1954, стр. 4.

[31] Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки. Запись от 15 марта 1910 г. Рукопись.— АТ.

[32] Н. Н. Гусев. Указ. соч., стр. 5.

[33] Материалы архива М. Н. Толстой подготовлены к печати Р. Б. Заборовой. Часть из них публикуется в «Яснополянском сборнике. Год 1960».

[34] В. Д. Поликарпов. Неизданная рукопись Л. Н. Толстого.— «Исторический архив», 1956, № 1, стр. 196—202; его же. Новое о Л. Н. Толстом.— «Советский флот», 1958, № 212, от 9 сентября.

[35] Особенно показательна в этом отношении статья Я. Лаврина «Толстой и Ганди», напечатанная в упомянутом выше «толстовском» номере американского журнала «The Russian Review» (Нью-Йорк, 1960, апрель). Автор этой статьи весь смысл и учения Толстого и учения Ганди сводит к «непротивлению злу», полностью игнорируя значение сильных сторон и в наследии Толстого и в деятельности Ганди.

[36] А. И. Шифман. Толстой и Восток. М., Изд-во восточной литературы, 1960.

[37] И. Ф. Ковалев и К. Черевков. 1180 дел.— «Огонек», 1953, № 36.

[38] Ряд неизвестных до сих пор документов, относящихся к финальным событиям жизни писателя, а также к студенческим и рабочим демонстрациям, вызванным его смертью, публикуются: 1) в новой книге Б. С. Мейлаха «Уход и смерть Льва Толстого». М., 1960, и 2) в публикации Г. М. Лифшица и А. Л. Смоляк «Политическая борьба вокруг смерти Толстого», печатаемой во 2-й книге настоящего тома.

[39] Е. С. Серебровская. Записка Николая I о казни декабристов.— «Новый мир», 1958, № 9, стр. 276—278.

[40] По поводу казней декабристов. Заметка кн. Д. Д. Оболенского.—«Наша старина», вып. 2. Пг., 1917, стр. 35—36.

[41] «Летопись», I, стр. 4.

[42] «Вопросы литературы», 1959, № 9, стр. 235.

[43] Замечания, вставки и добавления Толстого к рукописи его «Биографии», составленной П. И. Бирюковым, опубликованы в т. 34, с. 394—406.

[44] Н. Н. Гусев. Жизнь Л. Н. Толстого. Молодой Толстой (1828—1862). М., 1927; Л. Н. Толстой в расцвете художественного гения (1862—1877). М., <1928>.

[45] Н. Н. Гусев. Л. Н. Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 г., стр. 3.

[46] Летописи Гос. Литературного музея, кн. 12. Л. Н. Толстой, т. II. М., 1948, стр. 146.

[47] А. И. Шифман.—«Известия Академии наук. Отделение литературы и языка», т. XIV, вып. 3, 1955, стр. 295—297.

[48] Б. С. Мейлах. Ленин и проблемы русской литературы. Изд. 3-е. Л., 1956; его же. Лев Толстой в период реакции (1908—1910) — в сб. «Вопросы литературы и жизни». Л., 1958; его же. Лев Толстой в годы первой русской революции.— «Русская литература», 1958, № 1; А. И. Шифман. Публицистика Толстого в период первой русской революции.— «Яснополянский сборник». М., 1957; см. также главу «Л. Н. Толстой» в т. IX «Истории русской литературы». М. — Л., 1956; пред. Е. Н. Купреяновой кт. 75 Собр. соч. Толстого и Л. Д. Опульской кт. 57; ее же статью «Позднее творчество Толстого» — в сб. «Творчество Толстого». М., 1955.

[49] В. М. Фриче. Л. Н. Толстой. Сборник статей. М., 1929.

[50] И. Л. Альтман. Литературные споры о книге Г. Лукача «К истории реализма».— «Красная новь», 1940, № 2, стр. 116—133; В. В. Ермилов. Литературные споры.—«Комсомольская правда», 1940, № 35, от 12 февраля; В. Я. Кирпотин. Важные вопросы литературоведения и критики.— «Литературная учеба», 1940, № 4-5, стр. 24—33; М. И. Серебрянский. К спору о книге Г. Лукача.— «Литературная газета», 1940, № 8, от 10 февраля.

[51] «Литературное наследство», т. 35-36, 1939, стр. 68.

[52] Статья впервые напечатана в «Литературной энциклопедии», т. 6. М., 1932.

[53] И. И. Анисимов. За ленинскую критику взглядов Плеханова.— «На литературном посту», 1931, № 34, стр. 27—36 (сокращенный вариант статьи — см. в «Лит. газете» от 3 декабря 1931); Н. А. Глаголев. Ленин и Плеханов о Льве Толстом. — «На лит. посту», 1931, № 20-21, стр. 5—12; № 23, стр. 33—41.

[54] Б. С. Рюриков. О творчестве Л. Толстого и некоторых его истолкователях.— «Культура и жизнь», 1947, № 2, от 21 января.

[55] Е. Н. Купреянова. Лев Толстой и его исследователи.— «Литературная газета», 1955, № 95, от 11 августа.

[56] З. С. Шепелева. Книга о великом писателе.— «Знамя», 1955, № 12, стр. 184.

[57] С. П. Бычков. Л. Н. Толстой. Очерк творчества. М., 1954, стр. 117.

[58] Извлечения из этой работы — см. в статье Э. Е. Зайденшнур «История писания и печатания „Войны и мира“» — т. 16, стр. 19—140 и в настоящем томе.

[59] С. П. Бычков. Указ. соч., стр. 274.

[60] З. С. Шепелева. Указ. рец., стр. 184.

[61] «История русской литературы», т. IX, ч. 2. М.— Л., 1956, стр. 449.

[62] Там же, стр. 451.

[63] Там же, стр. 495, 519.

[64] Там же, стр. 588.

[65] Сб. «Творчество Л. Н. Толстого». М., Изд-во АН СССР, 1954.

[66] Там же, стр. 5—6.

[67] Там же, стр. 6.

[68] Т. Л. Мотылева. О мировом значении Л. Н. Толстого. М., 1957, стр. 207.

[69] Там же, стр. 179—180.

[70] Б. И. Кандиев. К вопросу о жанре романа «Война и мир» Л. Н. Толстого.— «Ученые записки Северо-Осетинского пед. института», т. XIX, 1953; Б. С. Виноградов. О некоторых художественных особенностях романа-эпопеи Л. Н. Толстого «Война и мир».— «Ученые записки Грозненского пединститута», 1953, № 8; С. П. Бычков. Роман «Война и мир».— В кн.: «Л. Н. Толстой. Сборник статей». М., Учпедгиз, 1955; С. И. Леушева. Особенности жанра «Войны и мира».—В кн.: «Роман Л. Н. Толстого „Война и мир“». М., 1957.

[71] А. В. Чичерин. Указ. соч., стр. 17.

[72] Там же, стр. 27.

[73] См. рецензии Е. Эткинда («Звезда», 1960, № 1) и А. Кудряшевой («Вопросы литературы», 1960 № 7).

[74] Т. Л. Мотылева. Монография о «Войне и мире».— «Новый мир», 1960, № 6, стр. 259.

[75] А. А. Сабуров. «Война и мир» Л. Н. Толстого. Проблематика и поэтика. М., 1959, стр. 592.

[76] Там же, стр. 311—312.

[77] Там же, стр. 311.

[78] Там же, стр. 592.

[79] И. Г. Лежнев. Михаил Шолохов. М., 1948; стр. 420, 422, 428.

[80] Л. Г. Якименко. «Тихий Дон» М. Шолохова. М., 1958, стр. 163—165, 331—332, 451—456.

[81] И. Эксслер. В гостях у Шолохова.— «Известия», 1937, № 305, от 31 декабря.

[82] Сб. «Михаил Шолохов». Л., 1956, стр. 131.

[83] Там же, стр. 271.

[84] Тема «Горький и Толстой» рассматривается в ряде исследований и статей (Б. А. Бялика, И. А. Груздева, В. А. Десницкого и др. — К. Д. Муратова «Семинарий по Горькому». Л., 1958, стр. 117—120), но преимущественно в плане оценок Горьким Толстого и личного общения этих писателей. Исследование связи творчества Горького с традициями Толстого — дело будущего. Из других проблем, объединенных темой «Традиции Толстого в советской литературе», внимание исследователей, в плане преемственности принципов творческого метода, привлекала проблема «Фадеев и Толстой»: такая постановка вопроса дана в «Истории советской литературы», т. I. М., 1958; т. II. М., 1960, в работах А. С. Бушмина «Роман А. Фадеева „Разгром“». Л., 1954 и В. М. Озерова «Творческий путь А. А. Фадеева». М., 1960.

[85] «Лев Толстой. Материалы и публикации». Тула, 1958, стр. 209—219.

[86] В переводе с китайского опубликовано в статье К. Н. Ломунова «Лев Толстой и современность».— «Литература и жизнь», 1958, № 66, от 7 сентября.

[87] Конст. Федин. Искусство Льва Толстого.— В его кн.: «Писатель. Искусство. Время». М., 1957, стр. 23.

[88] Статья В. В. Виноградова «О языке Толстого (50—60-е годы)» содержит глубокие наблюдения над языком и стилем романа «Война и мир» («Литературное наследство», т. 35-36, 1939, стр. 117—220). Написанная более 20 лет назад, она во многом сохранила свое значение и по способам стилистического анализа художественного произведения и по выводам. Краткую характеристику языка и стиля «Войны и мира» В. В. Виноградов дает также в книге «О языке художественной литературы» (М., 1959, стр. 627—636).

ИЗ ИСТОРИИ ТВОРЧЕСТВА

К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ «КАЗАКОВ»

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ «КАВКАЗСКОГО РОМАНА» И «КАЗАЧЬЕЙ ПОВЕСТИ» (1856—1858)

Публикация П. А. Журова

В 1853 г. Толстой начал сочинение, которое он называл в своих письмах и дневниках той поры «кавказским романом». Над этим «романом», из глав которого, с позднейшими добавлениями, выросла повесть «Казаки», Толстой работал с перерывами в течение почти десяти лет, до 1862 г. Это был важный этап в его творчестве — опыт построения большого эпического полотна.

До нас дошло 578 листов черновых рукописей, относящихся к этой повести. Из них мы приводим в настоящей публикации несколько первоначальных глав и фрагментов, еще не бывших в печати. Публикуемые материалы имеют не только высокую художественную ценность, они представляют также исследовательский интерес.

Чтобы понять в самых общих чертах место публикуемых набросков в истории создания «Казаков», определим основные этапы работы Толстого.

Самым ранним наброском следует признать рукопись, возникшую летом 1853 г. и озаглавленную «Терская линия» (она была опубликована нами в 1939 г. в т. 35-36 «Литературного наследства»). Это вступление по содержанию своему имеет характер «этнографического» очерка. В нем сообщаются сведения о свойствах и быте гребенского казачества. Набросок состоит из одной главы; вторая только начата. Отметим, что это единственный фрагмент, где действие происходит в станице Червленной, и рассказ ведется от первого лица: «Я приехал жить в Червленную...».

Дальнейшего развития этот замысел не получил. В августе того же 1853 г. Толстой приступил к поискам нового начала романа, названного им «Беглец». В это время написаны три главы, четвертая начата (опубликованы — т. 6, с. 176—188). Но и этот зачин, представлявший уже довольно развернутое повествование, впрочем очень еще далекое от будущих «Казаков», был оставлен Толстым. Только кое-что из него было перенесено впоследствии в позднейшие рукописи и в законченный текст повести «Казаки» (сцена на крылечке, образ Марьяны за работой, зарисовки народных типов на площади).

К возобновлению работы над «кавказским романом» Толстой вернулся только в 1856 г., когда, уже приобретя литературную известность, жил в Петербурге и собирался выходить в отставку.

Еще в процессе обдумывания Толстой решил одновременно с «кавказским романом» писать на том же сюжетном материале «казачью повесть».

В 1856—1858 гг. были написаны три главы «казачьей повести» (без героя-офицера), составляющие ее зачин. Главам были даны следующие названия: «Праздник», «Кордон» и «Марьяна». Первые две главы — «Праздник» и «Кордон» напечатаны (т. 6, с. 198—205, 229—245 и 205—214); третья глава — «Марьяна» публикуется ниже. Больше Толстой к замыслу «казачьей повести» не возвращался.

В апреле 1857 г. Толстой опять взялся за «кавказский роман» — «Беглец» и написал еще одно — третье по счету начало его: три главы, нами публикуемые. Герой

романа — офицер, еще не имеет имени; молодой казак Терешка (будущий Кирка, а в 1862 г. — Лукашка) в действии не появляется, он только назван. В сцене гулянья нет завязки, т. е. встречи Терешки с Марьяной и их свидания. Основные персонажи определены, но обрисованы скупо. В дальнейшем офицер получит имя Ржавского, а позже превратится в юнкера Оленина; денщик Петров заменится дворовым человеком Оленина — Ванюшей. Образы Ерошки и Марьяны приобретут более углубленные черты.

В августе 1857 г. Толстой читает «Илиаду» и записывает в дневнике: «Вот оно! Чудо!〈...〉Переделывать надо всю „Кавк〈азскую〉повесть“»; «„Илиада“ заставляет меня совсем передумывать „Беглеца“» (т. 47, с. 152).

Весною 1858 г. в Ясной Поляне Толстой вновь принимается за «кавказский роман». 24 февраля он записывает в дневнике: «Старое начало казаков хорошо, продолжал немного», а 26 февраля: «Писал рассказ Еп〈ишки〉о переселении с Гребня» (т. 48, с. 8). Эти записи относятся к работе над четвертой главой «кавказского романа» (опубликована—т. 6, с. 225–229).

Вслед за этим Толстой еще раз переписывает и переделывает все четыре главы и создает пятую главу: вводит в сцену вечернего гулянья Кирку и встречу казака с Марьяной. В этой рукописи (автограф 10) время действия меняется с поздней осени на лето. Во фразе: «Был жаркий октябрьский полдень» слово «октябрьский» зачеркнуто, вставлено «майский» и т. д. Из первой главы «казачьей повести» — «Праздник» — сюда переносится сцена прихода на гулянье двух молодых казаков, разговор Кирки с Марьяной; Степку сменяет бойкая и нарядная Устенька; ее возлюбленный не Иляска, а «солдатский барин» — будущий офицер Дампиони; Иляска переименовывается в Назарку.

В марте — апреле 1858 г. Толстой продолжает напряженно и с увлечением работать над «кавказским романом». 21 марта он пишет первое письмо Ржавского, а с 11 по 25 апреля — второе письмо — о тревоге (тревога в станице, схватка в бурунах, ранение Кирки), заканчивая им первую часть романа (опубликовано нами в «Литературном наследстве», т. 35-36, с. 278—284). «Теперь все переделать надо в лето»,— записывает он в дневнике 25 апреля и на другой день, 26 апреля: «Перечитывал все и переделывал» (т. 48, с. 14). На этом была закончена работа над первой редакцией первой части романа.

Переделкой первой части, судя по дневнику, Толстой был занят всю осень 1858 г. 30 октября он отмечает в дневнике: «Переписывал Казака. Надо еще раз» (т. 48, с. 18).

Итак, 30 октября 1858 г. Толстой кончает вторую переработку первой части «кавказского романа» и тут же принимается за третью ее переработку. Всего Толстой четыре раза перерабатывал первую часть «романа». В соответствии с этим следует различать четыре последовательные редакции первой части «романа».

Первая редакция (апрель 1857 и февраль — апрель 1858 г.) состоит из пяти глав, охарактеризованных выше (костяк будущей повести «Казаки»). Действие в них начинается с прихода солдат в станицу и кончается свиданием Кирки с Марьяной, невольным свидетелем которого был офицер. Написаны два письма Ржавского к другу.

В первой редакции еще нет охоты с Ерошкой, сцены на крылечке, эпизода с абреком, вечеринки, сцены в садах. Повествование упрощенно кратко, без художественной отделки. Это пока остов романа.

Вторая редакция (осень 1858 г.) значительно расширена. Она заключает в себе по-прежнему пять начальных глав романа (первый день Ржавского в станице), но уже не два, а три письма Ржавского. Действие здесь переносится на лето. В первом письме Ржавского появляются мотивы обличения светской жизни, подробное описание Терской линии и гребенского казачества, разрабатываются те же эпизоды: посещение офицером Ерошки, песни Ерошки, охота без Ерошки, встреча на кордоне с Киркой, возвращение с казаком в станицу, подарок ему — 50 рублей (частично опубликовано — т. 6, с. 190—193). Во второе письмо Ржавского вводится сцена выкупа тела, образ офицера Дампиони (лишь упоминавшегося в первой редакции); нет

сцены на крылечке. Вечеринка у Дампиони написана в двух вариантах: кратком и развернутом (публикуется ниже). Первый — без сближения офицера с Марьяной. Ржавский дичится и смущается девушек: обменивается с Марьяной несколькими словами и быстро уходит. Его любование Марьяной не переходит еще в любовь. За вторым письмом следует третье — о новом отношении офицера к Марьяне (оно публикуется нами), выражающее решительный поворот в его душевной жизни. Развязка

ТОЛСТОЙ

Фотография с дарственной надписью: «Гр. Л. Н. Толстой Д. В. Григоровичу на память. С. Петербург. 18 февраля 1856 г.»

Литературный музей, Москва

намечалась Толстым та же, что и в первой редакции: тревога, схватка с абреками, ранение Кирки; Марьяна прогоняет офицера.

Третья редакция (осень 1858 — начало 1859 г.). В ней сделана значительная перестройка в композиции «романа», написаны новые обширные главы, углубляющие действие.

Начало «романа» и костяк его остаются, но составляют уже четыре, а не пять глав (первый день Ржавского в станице и картина станичной ночи).

Описание Терской линии и гребенского казачества из первого письма Ржавского переносится в новую, пятую главу. Написана глава шестая — охота Ржавского с

Ерошкой. Последовательность эпизодов в первом письме сохраняется прежняя: посещение офицером Ерошки, офицер один на охоте, выход на кордон, выкуп тела, разговор Кирки и возвращение офицера в станицу с Киркой (автограф 13). Второе письмо превращается в авторское повествование (автограф 24). Из «казачьей повести» присоединяется глава «Марьяна», переделанная и дополненная. Степка переименована в Устеньку, ее возлюбленный Иляска (Иляс) сменяется офицером Дампиони. Третье письмо офицера сохраняется. Из «казачьей повести» взята картина праздника в станице и написана новая глава: нарядный Кирка с Назаркой возвращаются с гор после воровства коней и участвуют в гулянье (сцена хороводов, еще без песен и соперничества между Киркой и офицером) (автограф 22). Вторая вечеринка у Дампиони изображена без проводов Марьяны офицером. Развязка предполагалась Толстым такая же, как и в первой редакции.

На этом этапе работа над первой частью «кавказского романа» была оставлена до лета — осени 1862 г. В 1860 г. в Швейцарии Толстой написал главу из третьей части романа (т. 6, с. 157—161). Здесь Ржавский переименован в Оленина.

В феврале 1862 г. (уже после продажи романа М. Н. Каткову) Толстой создал еще три главы третьей части (т. 6, с. 161 — 175). В них рассказывается о жизни офицера Оленина через три года, когда цель его была достигнута, он опростился и живет с Марьяной.

Отметим, что в автографе первой главы, датированной 15 февраля 1862 г., молодой казак все еще Кирка. Переименование в Лукашку служит датой последнего периода работы — вторая половина 1862 г.

Четвертая редакция первой части «кавказского романа» — это уже повесть «Казаки» (лето — осень 1862 г.). От замысла «кавказского романа» в целом после февральской попытки Толстой отказался. Он пробовал отказаться и от обязательства перед Катковым и предложил вернуть ему полученный гонорар, но тот не согласился. Тогда Толстой решил дать Каткову в счет долга первую часть романа, «как бы отдельное целое» (т. 60, с. 460). К работе над ней он приступил не раньше апреля 1862 г., а 28 ноября уже выслал Каткову первую половину повести; 8 декабря — вторую.

Создавая эту сводную последнюю редакцию, Толстой работал над заказанными им писарскими копиями текста третьей редакции первой части. Здесь офицер Ржавский окончательно превращается в юнкера Оленина, пишутся новые главы, создаются новые эпизоды — отъезд Оленина из Москвы на Кавказ, дорожные впечатления, мечты и воспоминания, кавказский вечер в станице, беседа двух матерей; «письма» Ржавского переделываются в повествование от автора; вместо незначительного и неясного образа Дампиони появляется образ князя Белецкого, по яркости и реалистичности приближающийся к будущим персонажам «Войны и мира». Написана (в пяти вариантах) концовка — прощальная беседа Оленина с Ерошкой, завершающая повесть.

Социальная направленность повести раскрывается на самом последнем этапе работы над ней, во вставках в главу отъезда Оленина: «Рабочий народ уж поднимается после долгой зимней ночи и идет на работы. А у господ еще вечер» (рук. коп. 38). Противопоставлением трудящегося народа и праздных господ пронизана в сущности вся повесть.

* * *

Мы публикуем одну главу из «казачьей повести» — «Марьяна» (1856—1858) и семь фрагментов из «кавказского романа» — три главы из «Беглеца» (1857) и четыре наброска «писем Ржавского» (1858).

Печатается первоначальный текст рукописей, так называемый «первый слой», без учета позднейшей правки Толстого, часто значительно меняющей и стиль и содержание. Под строкой приводятся лишь слова и строки, зачеркнутые писателем в первоначальной работе над рукописью.

ГЛАВА ИЗ «КАЗАЧЬЕЙ ПОВЕСТИ»

В 1856—1858 гг. Толстой написал три главы «казачьей повести»: «Праздник», «Кордон» и «Марьяна».

Две первые главы напечатаны А. Е. Грузинским (т. 6, с. 198—214 и 229—245). Третья глава — «Марьяна» публикуется впервые (по автографу 8). На этой главе замысел «казачьей повести» оборвался, но образы, положения, жанровые зарисовки были найдены Толстым и частично использованы в окончательной редакции «Казаков» — сцена сбора винограда в саду и разговор Марьяны с Устенькой о любви (ср. гл. XXIX—XXX — т. 6, с. 109—114).

Глава III. МАРЬЯНА

Прошли весенние теплые дни с перемочками, солнце стало печь жарче и всходить позже,[1*] садилось оно в красное, пыльное зарево. С утра поднимался ветер, переносивший в бурунах облака песку. Лес весь глухо зарос и внизу и вверху ежевишником и диким виноградником, цветы опадали, с чинары уж слетали сухие листья. В садах везде была тень от широких листьев и под ними наливались и зрели зеленые кисти. Вода давно сбыла в Тереке. Все то же было в станице, казаки служили на кордонах, бабы работали в садах, в дому и на арбузах. Кирка[2*] езжал в станицу, но не сватал Марьяны[3*]. Тужила ли о нем Марьяна? никто не знал этого. Тяжелая работа занимала ее всю. С утра она вставала, окутывалась платком и еще босиком бежала к скотине. Потом запрягала арбу и шла с матерью или полоть виноград, или сажать арбузы. Там на солнце работала она, согнувшись, до полдня. Обедала в поле. Опять работала и только вечером, убрав скотину, выходила с семячками в рукаве на перекресток посмеяться с девками. Только потухала заря, она уж шла в хату и[4*] поужинав в темной каморке с отцом, старухой и братишкой, ложилась, здоровая, усталая, на жесткое ложе и быстро засыпала без волнений и сновидений.

Был жаркий полдень. Марьяна сидела в тени персика на попоне, поджав ноги. Против нее сидел старик, отец. Луч солнца играл на его красном потном лбу и с проседью бороде, братишка лежал под арбой. Мать, засучив загорелые руки, раскладывала[5*] обед на круглую доску. Каймак, печеная тыква, рыба и хлеб. Помолившись, семейство принялось есть. Марьяна была в одной синей рубахе, на голове ее была одна красная сорочка, лицо дышало силой и здоровьем, глаза блестели негой. И в тени пекло невыносимо. В воздухе стояла пыль, теплый ветер, проходивший сквозь ветви, не прохлаждал и только однообразно жарко гнул вершины груш и тутовых, рассыпанных кое-где по зеленому пространству виноградника.

Старик выпил из кувшинчика, закрытого виноградным листом, и дал старухе. Он был весел, работа[6*] кончалась и виноград был хорош.

— Демкины еще не убрались,— сказал он про соседей по саду.

— Где им, одна Степка работает, они вишь на арбузы ехать хотели, бают, такие головы лежат, собирать надо.

[1*] *Далее было:* в середине дня
[2*] *Далее начато:* купил коня
[3*] *Далее начато:* С весны Марьяна
[4*] *Далее начато:* помолив⟨шись⟩
[5*] *Первоначально:* мешала
[6*] *Далее начато:* обрезки побегов

— Что ж, поедем и мы. Погуляет девка после.

— Ехать-то мудрено,— отвечала баба,— опять, слыхать, абреки в степи рыщут. Бают, наши казаки ловить поехали.

— Где поймать? [7*] Каких казачат послали, небось сами убегут,— сказала Марьяна.

— Что ж казаки... все люди казаки...— рассудительно заметил старик.— Да не твое бабье дело судить.

— А что Кирка-то наш, сирота, в гору пошел, абрека убил. Что ж девку сватать хотел,— сказала старуха.

Старик ничего не ответил. Марьяна встала, перекрестилась и легла под арбу. Степка пришла, окончив работу, и легла с ней вместе.

— Девке-то впрямь замуж пора, женихов много,— говорила старуха.— Не Кирке отдать.

— А отчего ж не Кирке,— сказал старик,— он казак добрый. Я богатства не ищу, только бы человек был хороший.

— Легко ли, за голого отдать...

Под арбой было тенисто и прохладно. Степка мастерица на все дела [8*], поставила сучья от солнца, нарвала листьев и прикрыла ими жаркую сторону. Степка была белокурая, остроносая девочка, невысокая ростом, но весьма хорошо сложенная и миловидная. Она была первая шутница и мастерица играть песни и водить хороводы по всей станице.

Устроившись под арбой на мешке вянувшей травы под головой, Степка вдруг обхватила руками товарку и начала смеясь целовать ее.

— Будто ты мой побочин! Голубчик! Миленький...— говорила она, целуя в щеки и шею. Марьяна смеялась тоже и отбивалась.

— Вишь ты, жила с побочинами, так знаешь, как их любить-то.

— Аль завидно?

— Что врешь. Давай спать. Зачем пришла?

Но Степка тормошила и не давала ей заснуть.

Марьяна приподнялась на локоть, и между девками завязался разговор [9*] о предмете, наибольше занимавшем девок.

— Ведь ты, плут, отчего не расскажешь,— сказала Степка [10*].— Ты что ж с ним [11*] уже давно видаешься?

— Нет, что ж мне...

— Вот я девка добрая! Я всем расскажу. Что мне прятаться. Разве я кому дурно делаю. Когда ж и гулять, как не на девичьей воле. Я ни от кого не скрываюсь. Иляса люблю да и конец, а замуж за него не пойду.

— Как же, грех, девка, будет...

— Легко ли, время придет и замуж выйду. Вот ты замуж поди, тогда и в мысль радость не пойдет, все работа да работа... Да ты расскажи, что у вас с Киркой? Как?

— Да что как? Весной он ко мне в сады выгнал корову... я искала,— говорил, что замуж возьмет. А после, вот с тех пор как чеченца убил, совсем другой стал. Приезжал в семик, все просил с ним пойти в сады. Я не пошла, я этого не люблю. Это дурно.

— А после еще говорил?

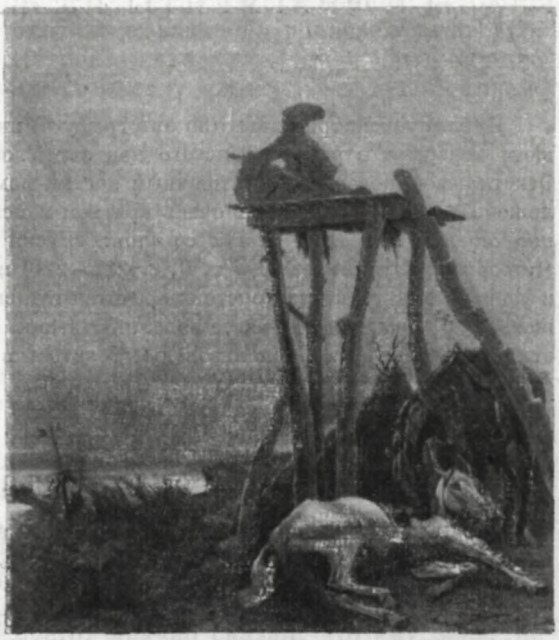
— Говорил, намеднись ночью к окну приходил, пьяный, просился. Да я не пустила. Я раз слово сказала, сдержу. Девкой останусь, а глупости не сделаю.

[7*] *Первоначально: а.* Кирка; *б.* Кого послали?
[8*] *Далее было:* нарвала листьев
[9*] *Далее было:* о Кирке и Илье
[10*] *Первоначально:* Марьяна
[11*] *Первоначально:* Киркой

КАЗАЧЬЯ СТОРОЖЕВАЯ ВЫШКА, 1860 г.

Фототипия из альбома: «Кавказские походные рисунки Т. Горшельдта», 1895 г.

Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва



Степка вдруг упала головой на землю, схватила М⟨арьяну⟩ и начала щекотать ее.

— Эх, дура, дура!— говорила она.— Счастья не хочешь.

— Брось,— говорила Марьяна, смеясь.— Брата раздавила.

— Вы чего, черти, разыгрались,—из-за арбы проговорила мать.— Кувшин чуть ногой не пролила.

— Счастья не хочешь,— продолжала Степка.—Ведь он теперь что стал. Кирка-то твой первый джигит по станице. Воскресенье посмотрела я на него. Какой конь, шашка в серебре вся. Ведь он захочет какую побочину — ни одна не откажется. Я у Иляса спрашивала — он никого не хочет, все по тебе тужит. Только, известно, ему жениться не охота,— песни, вся удаль пропадет. Он, слышь, к князьям ездит. Кунак с М. стал. Легко ли в счастье жениться ему...

— [12]*Так ничего же и не будет ему,— отвечала Марьяна.

— Крепка ты, посмотрю я на тебя.

— А вот в поход сходит, придет, тогда видно будет,— сказала Марьяна.

[— Посмотрим, дай бог.]

— Ну, спать, спать,— сказала Марьяна, бросаясь головой на мешок с травой [13]*.

— Ну, да приходи ночевать к нам нынче, он придет,— сказала Степка.

— Ладно, приду!— сказала М⟨арьяна⟩ и через минуту уже спала крепким сном.

Вечером Кирка с Илясом верхом вернулись в станицу. М⟨арьяна⟩ с Ст⟨епкой⟩ пошли ночевать к С⟨тепкиной⟩ матери. Кирку узнать нельзя было — на нем было все [14]* серебром шитом и он не робел. Эка отчаян..

---

[12]* *Зачеркнуто:* Вот да

[13]* *Далее было:* и через минуту уже она спала крепким сном

[14]* *Далее было:* золото

ГЛАВЫ И ФРАГМЕНТЫ ИЗ «КАВКАЗСКОГО РОМАНА»

I

Публикуемые три главы (по автографу 4) писались в апреле 1857 г., после большого перерыва в работе Толстого над замыслом «кавказского романа» — «Беглец». Эти главы — новое начало, прочный костяк романа. В Юбилейном издании они изложены А. Е. Грузинским в очень кратком конспекте (всего семь строк) и напечатан неточно конец третьей главы со слов: «Песня прекратилась...» (т. 6, с. 224—225). Четвертая (опубликована — т. 6, с. 225—229) и пятая главы романа написаны уже в феврале 1858 г., когда Толстой перечитал готовые главы, исправил их и стал продолжать. В окончательном тексте повести «Казаки» образы, факты, диалоги и детали из этих трех глав были использованы Толстым в четырех главах — X — XIII (т. 6, с. 38—54).

БЕГЛЕЦ

Глава 1. КАЗАЧЬЯ СТАНИЦА

Две роты пехотного кавказского полка пришли из-за Терека и, как в завоеванном краю, расположились стоять на зимних квартирах в гребенской староверческой станице.

Был жаркий октябрьский полдень. Запыленные, изнуренные шестичасовым переходом солдаты после рассчета рассыпались по переулкам и площади станицы и занимали квартиры. У въезда, где остановился обоз, кашевары уж вырыли яму, уставили котел и варили обед. Дым колом поднимался в ясное осеннее небо, и огонь костра, около которого, несмотря на тепло, грелись солдаты, как прозрачное расплавленное стекло, дрожал в чистом и редком воздухе.

Старые казаки одни, оставшиеся в станице, мрачно и молчаливо смотрели на хлопотню солдат [15*] и делали вид, что вовсе их не замечают. Бабы ожесточенно и пронзительно ругали солдат за все: и за то, что он вошел в хату, и за то, что взял воды, и за то, что поздорововался с хозяевами. Даже дети с недоброжелательным любопытством и удивлением смотрели на запыленных [16*], грязных *армейских* с бритыми бородами и с невиданными сумками и ружьями. Но солдаты, тоже как будто не замечая суровости хозяев, по двое, по трое с веселым говором входили в хаты, развешивали амуницию, мылись, чистились и разбирали лапти и мешочки.

Ротному командиру отвели квартиру у старика хорунжего Иляски.

— Что ж это будет такое, ваше благородие?— сказал [17*] запыхавшийся денщик ротному командиру, когда офицер подъехал к своей квартире. Офицер был голубоглазый, румяный молодой человек.

— А что, Петров?— отвечал офицер, с веселой улыбкой глядя на вспотевшего, с спутанными волосами денщика, который, засучив рукава, с притворной злобой, но осторожно и ловко выкидывал вещи из повозки.

Денщик бросил ведро наземь, отошел от повозки и расставил руки.

— Вам вот смешно, — заговорил он, злобно хмурясь и стараясь удержать улыбку, которая морщила [18*] его губы, — а вы подите-ка поговорите с этим народом. Не дают тебе ходу да и шабаш. Ни конюшни, ни для вещей, ни для вашего благородия, ни воды тебе, ничего не добьешься. Как тут жить будем [19*], я не знаю. Хуже татар, ей-богу. На что турка,

---

[15*] *Далее было:* или делали вид, продолжая заниматься своим делом
[16*] *Далее было:* бритых
[17*] *Далее было:* ротному командиру
[18*] *Первоначально:* сбирала
[19*] *Первоначально:* Хуже татар, ей-богу

и тот благороднее, — заключил денщик и сердито отвернулся. — Вам-то готово, —прибавил он как будто нехотя и снова пошел копаться в повозке.

— Так турка благородней, Петров? — сказал офицер, добродушно улыбаясь. — Постой, я [20*] пойду к хозяевам, улажу. Мы тут заживем, брат, славно, — сказал офицер, направляясь к хате хорунжего, и еще раз повторил: — Так турка благороднее, Петров? — Петров не ответил, а только, посмотрев вслед офицеру, прищурил левый глаз, полу-ласкательно, полу-презрительно улыбнулся и покачал головой.

Офицер вбежал весело на крылечко хаты хорунжего и отворил дверь в сени. Высокая стройная женщина в одной розовой рубашке (как всегда ходят дома казачки) испуганно отскочила с середины комнаты за дверь и закрыла нижнюю часть лица широким рукавом рубахи [21*]. Когда офицер дальше отворил дверь и прямо увидал прижавшуюся в углу фигуру, из лица ее ему видны были только длинные черные глаза, блестевшие диким любопытством и вместе с тем детским ужасом, которые жадно были устремлены на него.

Офицер прошел в хату и поклонился хозяевам.

— Чего надо? Что пришел? Черная на тебя немочь. Вишь в шапке, — начала ругаться старая казачка, сидевшая [22*] у печи.

Весьма смущенный таким приемом, офицер однако постарался объяснить старику хорунжему, что он желал бы дружелюбно устроиться с хозяевами и платить за квартиру. Седой худощавый старик, не вставая с места и едва взглянув на пришедшего, мрачно сказал, что ему денег не нужно. Офицер вышел, провожаемый бранью казачки.

[23*] В то время, как он выходил из сеней, женская фигура в розовой рубашке и повязанная белым платком, так что опять только впалые черные глаза были видны, неожиданно шмыгнула мимо него, быстро сбежала сходцы и, оглянувшись на офицера, скрылась за углом дома. Офицер не мог не заметить высокий рост, необыкновенную стройность, развитие силы мышц, обозначавшихся под легкой одеждой, и молодую щеголевато-твердую походку этой женщины. Он принял ее за дочь хозяина, и Петров [24*], который уж начинал приводить вещи в порядок, раздобылся [25*] воды, разместил кое-как лошадей и был в лучшем расположении духа [26*], заметил, что и девка такая же дикая, как [27*] кобылка табунная и сохватистая, — прибавил он и подмигнул офицеру.

2

Офицер умылся, обчистился, пообедал и, закурив трубку, уселся у окна своей новой квартиры. Он испытывал приятное чувство чистоты на умытых руках и лице и свежесть белья. Желудок легко варил здоровую пищу [28*], молодая кровь полно обращалась в его здоровом теле.

Солнце уже опускалось к горам, которые розовея отделялись на горизонте [29*], сухой воздух свежел, за рекой далеко и глухо [30*] изредка раздавались выстрелы, и фазаны звучно отзывались [31*] на них в чаще и

[20*] *Далее было:* улажу
[21*] *Далее начато:* так что офицер вид
[22*] *Первоначально:* возив⟨шаяся⟩
[23*] *Зачеркнуто: а.* В сенях он; *б.* Выход⟨я⟩
[24*] *Далее было:* подтвердил его предположение
[25*] *Первоначально:* и был
[26*] *Далее начато:* под⟨твердил⟩
[27*] *Далее начато: а.* оле⟨нь?⟩; *б.* ланка; *в.* точно
[28*] *Далее было:* кровь
[29*] *Далее начато:* возду⟨х⟩
[30*] *Далее начато:* раз⟨давались⟩
[31*] *Первоначально:* на в⟨ыстрелы⟩

камышах за станицей. Офицеру было очень хорошо, особенно после жизни в [32*] душной и пустынной крепости, он радовался своему существованию, и, пуская голубые клубы дыма, смотрел в окно на природу и на станичный народ, который возвращался с работ, выходил на улицу и загонял скотину.

— Дядя Ерошка кувшин облизал! кувшин облизал!.. — закричали вдруг казачата, гонявшие [33*] кубари перед окнами офицера, обращаясь к высокому, плотному [34*] казаку с окладистой седой бородой, который, вышед из-за угла [35*], бойко размахивая руками и весело поглядывая в окна хат, направлялся к дому [36*] хорунжего Иляски. Он как будто радовался на мальчишек, которые издалека бежали за ним и [37*], дразня его, продолжали пищать:

— Кувшин облизал, дядя Ерошка! Сучку поцеловал!

— Мой грех, ребята, мой грех, — сказал, как бы про себя, седобородый [38*] казак, добродушной улыбкой открывая съеденные до половины крепкие зубы и подмигивая офицеру.

— Здравствуй, добрый человек, — сказал он офицеру, приподнимая папаху.

— Здравствуй, добрый человек, — отвечал офицер, — что это мальчишки кричат тебе: кувшин облизал?

— А радуются. Ничего, я это люблю. Пускай радуются над дядей, — отвечал старик с самоуверенной интонацией старика и красноречивого человека.

— Ты начальник что ли армейских-то? — спросил он. — Так, *карга*! — прибавил он после утвердительного ответа. — А надолго пришли сюда?

— Да, может, надолго.

— *Карга*, — опять сказал старик, — а что ты охотник?

— Охотник.

— А пьяница ты али нет?

— Отчего ж, и выпить люблю.

— Вот так *карга*. Ты молодец значит, я к тебе войду. Чихирю вели у хозяев взять.

— Хорошо, заходи, — сказал офицер.

Дядя Ерошка вошел в горницу, и только тогда офицер мог рассмотреть подробно эту странную фигуру. Он был скорее среднего, чем высокого роста, но казался выше, потому что был необыкновенно пропорционально и плотно сложен. Несмотря на то, что красно-коричневое его лицо [39*] с совершенно белой окладистой бородой было изрыто морщинами, его грудь, мышцы ног и рук были необыкновенно полны, развиты и бочковаты [40*]. На белой [41*] коротко обстриженной голове его, как вообще ходят казаки, были видны зажившие шрамы, шея, особенно сзади, была вся в клетках и морщинах, как у быка, корявые руки с толстыми пальцами были сбиты и расцарапаны; но по одному тому, как он, не стуча вывернутыми ногами, перешагнул через порог и снял шапку, видно было, как все члены этого человека были еще сильны, гибки и приемисты [42*].

На нем был старый шелковый бешмет с галунами, узенькие чамбары и мягкие чувяки. На поясе с серебряной пряжкой [43*], туго стягивавшем

[32*] *Далее начато:* крепо⟨сти⟩
[33*] *Первоначально:* игравш⟨ие⟩
[34*] *Первоначально:* сильно⟨му⟩
[35*] *Далее было:* направлялся
[36*] *Далее было:* Иляски
[37*] *Далее было:* пищали
[38*] *Первоначально:* стар⟨ый⟩
[39*] *Далее было:* и руки
[40*] Бочковаты *написано по другому слову, не поддающемуся прочтению.*
[41*] *Далее было:* голове его
[42*] *Далее начато: а.* еже; *б.* на нем бы⟨л⟩
[43*] *Далее начато:* болтал⟨ся⟩

Л. Н. ТОЛСТОЙ
Эскиз маслом П. П. Трубецкого, 1909 г.
Музей Толстого, Москва

его сильные ребры, мотался простой кинжал и роговая мерка для пороха. С ним вместе проник в комнату [44*] не-неприятный острый запах чихирю, водки, пороху и запекшейся крови.

Старик, казалось, был немного выпивши. Он не поклонился образам, а прямо подошел к офицеру и протянул ему свою корявую руку.

— Здравствуй, ваше благородие. *Кошкильды*, — сказал он. — Кошкильды — это значит по-татарски здравия желаем, — продолжал он, садясь. — Ты ведь, я чай [45*], ничего не знаешь, как у нас живут, ты — солдат! [46*] Я — Ерошка! — продолжал он с гордостью,— ежели мы с тобой кунаками будем, я тебя всему научу, и на охоту поведу и рыбу ловить, и чеченцев покажу и душеньку тебе укажу [47*], —все сделаю. Карга? — прибавил он вопросительно.

— А *карга* что такое? — спросил офицер.

— Это так, мое слово любимое, поговорка моя. Это по-грузински значит хорошо. А что, отец мой, вели бабе чихирю [48*] принесть. Иван! — закричал он. — У вас ведь что ни солдат, все Иван.

— Петров! — сказал офицер. — Купи чихирю и принеси сюда.

— Ну, все одно Иван, — сказал старик. — Иван, спроси [49*], батюшка, из начатой бочки, у них первый чихирь в станице. Да больше 30 копеек не давай за осьмуху, а то она, ведьма, рада. Так-то, отец ты мой, — продолжал он, обращаясь к офицеру и ударяя его по плечу. —Я — Ерошка! я веселый человек, я всех люблю. — И старик засмеялся. Все зубы у него были целы и крепки, хотя съедены до половины, как у старой лошади.

3

Петров, уладивший все свои дела, был в хорошем расположении духа, следующем обыкновенно за успехом какого-нибудь дела. Он взял две пустые бутылки из телеги и пошел к хозяевам, решившись быть особенно кротким.

— Здравствуйте, любезненькие, — сказал он. Он хотел даже сказать: добряшки, но раздумал, — барин вина купить велел...

Старуха ничего не отвечала. Девка стояла перед [50*] маленьким татарским зеркальцем и убирала платок на голове. Она молча оглянулась на денщика.

— Что ж, почтенные! Я деньги заплачу,— сказал Петров, доставая медные из кармана.

— Много ли? — спросила старуха, вставая. — Ступай, налей, — обратилась она к дочери, — ты что убираешься, чертова девка! Успеешь играть-то! [51*]

Девка взяла ключи и сопутствуемая Петровым пошла в избушку.

— Гм! К-ха! К-ха! — закричал Ерошка из окна офицерской квартиры. — Нянюка! А нянюка Марьянка! Ты из новой бочки налей, душенька!

Девка шла мимо, ровно и сильно размахивая руками, той особенно молодецкой походкой, которой ходят казачьи женщины, и не оглядывалась. Рта ее не видно было, но большие черные глаза, которыми она мед-

---

[44*] *Далее было:* запах
[45*] *Далее начато:* это⟨го⟩
[46*] *Далее было:* И старик, засмеявшись, открыл все целые крепкие, но съеденные как у лошади до половины желтые зубы.
[47*] *Первоначально:* покажу
[48*] *Далее было:* нам
[49*] *Первоначально:* принеси
[50*] *Далее начато:* зерка
[51*] *Далее начато:* Петров с

ТИПЫ КАЗАКОВ, 1860 г.

Фототипия из альбома «Кавказские походные рисунки Т. Горшельдта», 1895 г.

Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

ленно повела на окно, из которого смотрели офицер и старик, глаза эти смеялись.

— Экие глаза! — сказал офицер. — Ты такую-то душеньку мне укажешь?..

— Нет, отец мой! — отвечал старик, — это что. Я тебе такую красавицу покажу, что ни у одного князя такой нет [52*]. В серебре ходит, вот какая. А эту нельзя. Ведь тоже офицерша; ее вот замуж за казака отдают...

Отперев плетеную клеть, в которой стояли бочки, девка подошла к одной и хотела поворотить.

— Что зазастил-то [53*], дьявол! —крикнула она вдруг на Петрова. — Ты подсоби лучше бочку повернуть!

Но прежде чем Петров подошел к ней, она подперла сильным плечом бочку и, порывисто напрягшись всем телом, повернула ее.

—[54*] Мамуке отдай деньги,— сказала она, нацедив две бутылки.

— Ишь, молодец девка!— подумал Петров.—Отчего вы такие сердитые, миленькие? — сказал он.

Девка засмеялась.

— А вы разве добрые? — сказала она. — Ты мирской?

— Мы в настоящем законе живем, и царь закону нашего, —отвечал Петров.

— А барин-то твой в законе тоже стало? — спросила девка, остановившись на пороге.

[52*] *Далее начато:* Да и эта офицерша

[53*] Зазастил-то *написано по другому слову, не поддающемуся прочтению.*

[54*] *Зачеркнуто:* Деньги

КАЗАК, 1860 г.

Фототипия из альбома «Кавказские походные рисунки Т. Горшельдта», 1895 г.

Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

— Господин мой такой человек, что его генерал всякий — не только... царь может быть знает... — гордо сказал Петров.

— Чтоб ему пусто было! Иди! — закричала девка и снова с молитвой заперла дверь.

Выходя на улицу, Марьяна встретила отца, возвращавшегося с Терека. Старик хорунжий нес [55*] за плечами сеть, сквозь которую виднелось несколько рыб. Затасканная шапчонка его была сбита назад, загорелый лоб в поту, сквозь распахнутый воротник рубашки виднелась грудь, поросшая седыми волосами; сильные жилистые ноги были обнажены выше колена. На лице его была усталость и строгость. Поровнявшись с ним, девка почтительно опустила голову и уменьшила шаг.

— Мать дома? — спросил отец.

— Дома, хату убирает.

— Аль солдат поставили?

— Начальника у нас поставили.

— Ишь черти! прости господи, — только сказал хорунжий и прошел в свои ворота.

Девка [56*] пошла направо по улице. На углу переулка сидели на завалинке две казачки [57*], так же как и она обвязанные платками.

Подойдя к ним, Марьяна присела, также достала из-за пазухи семячки и стала щелкать их [58*].

[55*] *Первоначально:* был

[56*] *Далее начато:* дошла до угла

[57*] *Первоначально:* ее подруги

[58*] *Далее начато:* *а*. Девка и баба; *б*. Убр

— Убрали коров-то, мамука? — обратилась она к бабе, кормившей своего ребенка.

— Подоили, — отвечала баба, отстегивая шире бешмет и нагибаясь над ребенком. — Дай семячек, Марьянушка.

— К вам, слышь, офицера постановили, — пропищала [59*] другая девка, сидевшая подле бабы, — а к нашим трех чертей поставить в хату хотели, да дедука в станично ходил, — двух оставили.

— Табачищем закурили небось? — спросила Марьяна.

—[60*] Да кури на дворе, коли хочешь, а в хату не пустим. У нас и своей семье [61*] простору нет.

— Известно, дело хорошее, у кого другая хата, как у вас, есть, —сказала баба Марьяне.

Так разговаривали казачки, сидя на перекрестке и поплевывая шелуху семячек на пыльную дорогу. Кое-кто из девок присоединился еще к собравшемуся кружку [62*], несколько парней, шутя и смеясь, остановились против них. Две старухи, убрав скотину, вышли тоже.

— И матушки, матушки!— говорила одна, охая и стеня,— каки времена пришли, слыхано ли дело, целу орду чертей в станицу пригнали. Что будем делать-то.

Другая старуха только поддакивала и стонала.

— А вот в поход пойдем, так они вами, бабами да девками, совсем завладают,— сказал один шутник парень.

— Что брешешь, сволочь,— сказала одна из молодых баб,— постоят да уйдут, не на век же пришли. Чем вздор-то брехать, песни бы пели. Вишь вас собралось куча, а ничего не играете. Экий народ стал.

Одна девка запела тонким голосом песню, другая стала вторить, один из казаков подсел ближе и подводил мужской голос, остальные слушали, изредка негромко перекидываясь словами.

[63*] Мерный топот шагов послышался на конце улицы, и из-за угла показались три солдата в шинелях, с ружьями на плечо, в ногу шедшие на смену к ротному ящику. Ефрейтор, старый солдат, усач и кавалер, молча шел впереди и, сердито глянув на кучку казаков, провел солдат так, что парни, стоявшие на дороге, должны были посторониться. Один только из них, молодой урядник, не двинулся с места и насмешливо посмотрел на солдат.

— Обойди! Люди стоят!— проговорил он.

Девки и бабы звонко засмеялись. Солдаты молча прошли дальше, ровно отбивая шаг по твердой дороге.

Песня прекратилась.

— Эка нарядные ребята!— сказал урядник.— Это к вам, нянюка, пошли,— обратился он к Марьяне.

— Под часами, девка, спать будешь, не украдешься!— проговорила баба.

— А что начальник-то ихний, что у вас стоит[64*],— спросил урядник,— имеет ли благородство в своей наружности? (Урядник был из молодых грамотных казаков).

— А я разве видала? — отвечала Марьяна,— за чихирем ему ходила, сидит черт какой-то у окна с дядей Ерошкой, такой же как он дьявол.

— Деньги платил за чихирь-то?

— А то нет.

[59*] *Далее было:* девка
[60*] *Начато:* В хату не пу⟨стим⟩
[61*] *Далее начато:* то не
[62*] *Далее было:* старуха подошла
[63*] *Начато: а.* Вдру⟨г⟩; *б.* Все было совершенно тихо в ста⟨нице⟩
[64*] *Далее было:* имеет

— Как же, как замуж пойдешь,— снова сказал урядник,— ведь Терешку к себе в дом примаете. Как же хату-то от его благородия опростаете?

— Как хочет батюшка, так и делает,— сказала Марьяна.

— И [65*] охота тебе за Терешку идти,— сказал урядник.— Красавица такая — и так за ни что замуж идешь.

— А то с тобой связаться!— сказала Марьяна.

— Худа бы не видала,— отвечал урядник.— Дай семячек, девка!— прибавил он.

— Все не бери,— сказала Марьяна, отворачивая ворот рубахи.

— Право слово, глупо делаешь, что замуж идешь,— сказал урядник, доставая у ней из-за пазухи горсть семя.— Тебе ли да на девичьей воле не жить! Кажется, по всему полку другой красавицы такой нету.

Девки снова запели песню. Урядник подсел к Марьяне и что-то шептал ей.

— Ну те к черту, смола! [66*] У тебя жена есть! [67*]— вдруг закричала девка и со всего размаху кулаком ударила по спине урядника. Урядник засмеялся и отошел к другим девкам.

Было уже совсем темно, на небе зажглись звезды, в дворах курились кизяки, разложенные для скотины, на дворах везде было тихо, только на углу слышались песни и изредка звонкие голоса и смех собравшихся казачек.

II

Публикуются две ранних редакции первого письма Ржавского — его рассказ об охоте в одиночестве (по автографам 11 и 13). Возникновение первой редакции — ⟨А⟩ — относится к марту 1858 г. Воспроизводится начало сохранившегося фрагмента. Продолжение его со слов: «Я пошел на удачу...» напечатано А. Е. Грузинским (т. 6, с. 190—193).

Возникновение второй редакции — ⟨Б⟩ — относится к осени того же 1858 г. В окончательном тексте «Казаков» охота Оленина — глава XX повести — изображена от третьего лица. В этот текст перешли лишь некоторые детали из публикуемой редакции (т. 6, с. 78—79).

⟨ОХОТА РЖАВСКОГО⟩

⟨А⟩

...Дома нет. Одно дерево осталось. Он сел и заплакал. Ай дай да ла лай. И этот печальный завывающий припев повторяется бесконечное число раз. Допевая последний припев, Ерошка захватил мое ружье и вышел ⟨?⟩ на крыльцо, и выстрелил из обоих стволов вверх и опять еще печальнее: Ай дай да ла лай. Ай дай да ла лалай.

Мы до вторых петухов просидели с стариком, и мне жалко было, что он уходит.

Расскажу тебе нынешний день. Ты лучше поймешь [68*] мою жизнь. Нынче я встал в 8, денек был серенький, тихий с морозцем. Я взял ружье, подпоясал кинжал, свистнул Бугая (это полуцетер, которого я достал здесь) и пошел на охоту. Ерошка не хотел идти со мной, он с утра уж был пьян [69*]. Когда я зашел к нему, у него сидели гости, кунаки, чеченцы из-за реки, которых он угащивал, и о чем-то очень важно бесе

[65*] *Далее начато:* что
[66*] *Далее было:* вдруг закричала она
[67*] *Далее было:* и девка
[68*] *Далее было:* прелесть
[69*] *Далее начато:* и что т

довал с ними.— Вот ты все бранишь, что я гуляю,—сказал он мне,— ведь для тебя, отец мой, вот чертей этих напою, они нас сводят на охоту за рекой. Ведь это первые молодцы.—Молодцы улыбались, глядя на меня. Ерошка что-то им сказал по-татарски. Один из них подал мне руку: кунак, кунак.— Ерошка хотел уж и меня угащивать водкой, но денек был хорош, я перелез через его забор и вышел в поле. Ты не охотник, поэтому не можешь себе представить того ни с чем не сравнимого наслаждения, которое испытываешь, проводя целый день один на охоте в таком лесу, как кавказский.

Я взял с собою в мешочек крыло жареной фазанки и хлеба, взял папирос и с 8 часов утра и до 6 вечера [70*] ходил не переставая и не трогал ни закуски, ни папирос. Ежели бы мысли и воспоминания и лежали бы в голове так, как папиросы в мешке, то, посмотрев в голове, увидели бы тоже, что и мысль ни одна не тронулась в продолжение этих 10 часов. В этом-то самозабвении и высшее бессознательное наслаждение охоты. Лес гол, прозрачен, пестр и звучно пустынен. Только твои шаги слышны по дороге,— остановишься,— только свое дыхание слышишь. Кое-где в чаще зашуршит [71*] птица, ты вглядишься — и сквозь засохшие плети между красными ягодами калины видишь, вытянув шею, торопливо бежит красный фазан; лист упадет, обломится ветка или трется камышинка об камышинку. Выдешь на полянку, откроется небо из-за кудрявых ветвей чинары и запахнет водой, дикой сыростью [72*]. Ты оглядываешься, приостанавливаешься, чутким ухом слушаешь и все ждешь— вот-вот залает собака, захрустит по веткам [73*]. Иногда дятел, вспрыгнув близко на ветке, обманет тебя, и ты примешь этот стук за топот; иногда неизвестно отчего хрустнет одна ветка в середине леса, и ты ждешь, ждешь, и даже стук своего сердца принимаешь за топот зверя. Через дорогу перескочит мышь, а тебе кажется, что это далеко большой странный зверь вскочил в лес. И все ждешь, все надеешься,— и не замечаешь, как подвигаешься вперед, как солнце, как белое яблоко, уже скрывается за лесом. В голове в это время бродит бог знает что, но не мысли и не воспоминания, а так кусочки того и другого. Опомнишься и видишь себя отчего(-то?) казаком, работающим в садах с казачкой-женою, или застанешь себя в горах за Тереком беглым абреком, или зубами раздираешь оленя.

Опасности собственно большой нет здесь, по сю сторону Терека, но бывают случаи, что забираются абреки и ловят нашего брата —русского [74*]. И как им не жить в этом лесу, где продраться нельзя осенью сквозь чащу, где только олени да охотники проторили дорожки. Эта маленькая опасность как-то еще больше раздражает чувство восприимчивости. Еще посмотрим, кто кого — думаешь себе. Вчера я убил 8 фазанов и хотел [75*] идти домой. Но тут только хватился, что решительно не знаю, где станица. Кроме однообразного и нового для меня леса ничего не было видно и ничего не слышно, кроме ветра, который поднялся к вечеру [76*]. Собака моя убежала куда-то. И дорожки даже не было, по которой бы я мог выйти

[70*] *Далее начато:* я не
[71*] *Первоначально:* упадет
[72*] *Далее было:* Все ждешь
[73*] *Далее было:* Вместе чувство опасности
[74*] *Далее начато: а.* Но это; *б.* От этого
[75*] *Первоначально:* решил
[76*] *Первоначально текст:* И как им не жить~ поднялся к вечеру *читался так:* И как им не жить в этом лесу, где продраться нельзя осенью сквзанов. Яу, где только олени да охотники проторили дорожки. Вчера я убил зайца и 8 фа озь чащеще не устал и хотел ходить еще, но мой Бугай [так подобрался, такой вдруг получил печальный вид от усталости и так] уж ходил за мной, что я [хватился] решил идти домой. Станичных звуков, лаю и говора, давно слышно не было и ничего не слышно кроме ветра в сухих ветках.

куда-нибудь. Заблудиться в здешнем лесу трудно, потому что он не шире 2-х верст, непременно выйдешь или к дороге между станицами или на Терек; но мне бы не хотелось попасть в противоположную сторону и пройти без охоты лишних несколько верст. На охоте 20 верст нипочем, а возвращаясь домой каждая лишняя сажень мучает.

⟨*На полях:*⟩

[Видишь красивый луг и думаешь: никто его не видал, а он растет]
[За убитой фазанкой зашел в чащу]
[Александра Македонск⟨ого⟩]
[Как убил фазанов ⟨в⟩ канаве]
[Сел и думал о бессознательности — фазаны разбудили]

⟨Б⟩

Нынче я встал в 5 часов, убрал свою лошадь, без седла сел на нее и поехал купаться. Вернувшись, напился чаю, взял ружье, свистнул собаку, подпоясал кинжал и пошел к Ерошке, с которым я уговаривался идти на охоту. Я проходил целый день и не видал, как прошло время. Я обыкновенно беру с собой в мешочек папирос, хлеба и кусочек жареной фазанки, но обыкновенно, и нынче тоже, возвращаюсь домой с нетронутым мешочком. Ежели бы мысли в голове лежали, как папиросы в мешке, то можно бы было видеть, что и они также в продолжение целого дня не были тронуты. Ты охотник и потому можешь себе представить то наслаждение, которое испытываешь, проведя целый день в таком лесу, как кавказский. Не воспоминания, а отрывки того и другого; опомнишься и застаешь себя отчего-то казаком, работающим в садах с[77*] с казачкой-женой, или вдруг абреком в горах; или кабаном, убегающим от меня же. День был тихий и жаркий; но в лесу было[78*] еще сыро от росы и хорошо, ежели бы не мириады комаров, буквально облепляющих тебе лицо, спину и руки. Сначала я думал, что здесь невозможно охотиться летом от этих насекомых, но теперь так привык к ним, что почти не замечаю их; даже мне кажется, что ежели бы не было[79*] этой окружающей тебя комариной атмосферы, этого комариного теста, который ⟨!⟩, проведя рукой, размазываешь по лицу, и этого беспокойного зуда по всему телу, здешний лес потерял бы свой характер. Эти мириады насекомых идут к этой до безобразия богатой растительности. Избыток силы, девственность этого нетронутого, непроходимого[80*] леса, в котором только звери и птицы проложили свои тропы, странно действуют на душу. Свободнее, сильнее чувствуешь себя и хочется той же полноты и роскоши, которыми дышут эти перевитые снизу и сверху старые раскидистые деревья. Ходить можно только по[81*] слабо проторенным арбами дорожкам, по которым ездят на кордоны и за дровами[82*]. Между заросшими колеями по грязи или песку беспрестанно попадаются раздвоенные звериные следы и кое-где с дорожек в лес идут пробитые между камышом, ежевичником и тернами звериные тропы. И беспрестанно[83*] по росистой траве между ежевичником виднеются темно-зеленые фазаньи дорожки[84*].

[77*] *Далее начато: а.* чеченцем; *б.* абреком
[78*] *Далее начато:* хорошо
[79*] *Далее начато:* в лесу
[80*] *Первоначально:* девственного
[81*] *Далее начато:* дорожкам
[82*] *Далее начато: а.* Справа и слева идут непроницаемые сте⟨ны⟩; *б.* По зар⟨осшим⟩
[83*] *Далее начато: а.* под тернами виднеются сухие пле⟨?⟩; *б.* по густой траве между
[84*] *Первоначально:* пробитые тропы

Только что я вышел из станицы, как собака моя, треща по тернам, уж стала спугивать фазанов [85*], раза два я выстрелил в чаще, как только слышал в чаще тордоканье и треск крыльев. С полверсты от станицы есть [86*] моя любимая знакомая полянка, на которой я всегда нахожу фазанов и куда я пробирался. На полянке я нашел два выводка и убил трех, но еще было рано и погода отличная, я пустил пульку в один ствол на всякий случай и пошел дальше, почти без всякой цели, но с надеждой открыть новые места и может быть наткнуться на зверя. Пулька нужна кроме того и на случай встречи с абреком, которая здесь возможна особенно в эту пору года, когда лес одет и так част, что почти невозможно пролезть через него. Эта маленькая опасность [87*] еще увеличивает удовольствие. Как-то приятно чувствовать, что только сам на себя надеешься; не то что жутко, но приятно думать, что другому могло бы быть жутко на моем месте. Еще кто кого, посмотрим,— думаешь себе, подвигаясь все вперед [88*], перехватывая ружье и ощупывая взводы. Идешь, прислушиваешься к своим шагам, к треску собаки и ко всем звукам леса. Вдруг покажется, что где-то в лесу затрещали терны, зашуршало что-то или замахались листья и хватаешься за взводы, стараешься сквозь перевитую зелень рассмотреть середину леса. Иногда и стук своего сердца принимаешь за топот зверя. Иногда через дорогу пролетит птица, тебе кажется, что это зверь пробежал в чащу, и торопишься, бежишь вперед и все ждешь, все надеешься. А иногда оглянешься кругом себя и видишь новое красивое место, какой-нибудь перевитый извилистый сук кудрявой груши [89*] зелено и живописно блестящий на солнце, и думаешь: никто никогда прежде меня не видал и не любовался этим местом, а оно все так же живописно зелено, доставляет удовольствие. Вчера я убил четвертую фазанку на самом краю дорожки, там, где я вовсе не ожидал. Собака выгнала ее из чащи, я ударил ее в то время, как она летела через дорогу. Она взвилась высоко-высоко колом кверху и, как камень, головой вниз упала в чащу на другую сторону дороги, цепляясь за терны и виноградник. Я полез за ней и нашел ее между калиновыми и терновыми кустами, в такой чаще, в которой стоять не было никакой возможности. Я присел в тени. Продираясь туда, я устал, пот лил с меня градом, а здесь было так прохладно уютно, под куполом обросшей виноградом калины. Я сел на траву и закурил папиросу. Надо мной висели темно-зеленые плети, перемешанные с листьями, под собой я мял такие кудрявые ветви ежевики, что жалко было. Тут было отлично, я вдруг почувствовал себя счастливым,— счастливым той мыслью, что здесь, в этом месте, где, может, не была никогда нога человека, сижу я, именно я, и думаю такие вещи, которых никто никогда нигде не думал, а уж тем более на этом месте. И знают ли эти деревья, этот лес, эти фазаны, копошащиеся около меня, и шакалы, чуящие меня тут, чувствуют ли они, что это я [90*]. Правду говорит Ерошка, что человек глуп, глупее свиньи, глуп, потому что не смеет того, чего хочет. Ежели бы я сказал тебе то, о чем я думал, ты бы еще раз назвал меня сумасшедшим, но чем же глупее желать быть деревом, чем желать быть губернатором. Я желал быть деревом, всем существом моим, теперь я этого не желаю; но отнюдь не знаю, правее ли я теперь, чем был тогда. Тогда я был правее, потому что был счастливее. Вот тебе образчик охотничьих мыслей; но не в том дело. На этом месте со мной случилось ужасное собы-

[85*] *Далее начато:* но зде⟨сь⟩
[86*] *Далее начато:* полян
[87*] *Далее было:* по-моему, более
[88*] *Далее было:* прислушиваясь к своим шагам и ко всем звукам леса и
[89*] *Далее начато:* так
[90*] *Далее было:* и что я думаю и чувствую. Потом мне пришла мысль, что Ерошка прав, говоря, что человек глуп, глупее свиньи. Человек глуп тем, что не смеет того, чего хочет. Отчего я юнкер? отчего я...

тие, о котором и теперь не могу вспомнить без содрогания и отчаянного раскаяния. Я встал и, проходя через низок, заметил по грязи песку большой свежий олений след. Я пошел по следу, он вывел на тропу. Не прошел я 30 шагов, как услыхал вдруг лай моей собаки. Чем бы мне бежать на этот лай, я остановился, прислушиваясь. Вдруг страшный треск раздался по лесу в той стороне дорожки. Я выскочил на дорожку. В 10 шагах от меня треск все быстро усиливался и приближался к дорожке. Я замер. В 10 шагах от меня с быстротой, которой не помню уж как, но с быстротой непонятной для меня мелькнула над крайним кустом серая грудь, поджатые под нее ноги и рога на спине. Большие черные глаза испуганно блеснули на меня, и, перелетев через дорогу, одним прыжком олень

КАЗАЧИЙ ПОСТ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Рисунок А. П. Дьяконова, 1840-е гг.
Русский музей, Ленинград

скрылся по другую сторону дороги. Я жал гашетку спущенного курка. В то время, как я видел его, треску не было слышно; но скрывшись от глаз, снова страшно загудело по лесу и все шире и шире разносился гул по тихому лесу, дальше и дальше от меня колебались [91*] сучья деревьев. Я бросил ружье на землю[92*], я проклинал себя, я говорил вслух, кажется даже, что я плакал. Через несколько секунд моя собака носом по траве с лаем проскочила по следу оленю и скрылась по дорожке, проложенной им в чаще. Надежды никакой не могло быть снова найти этого оленя; но я пошел по его следу и долго, как убитый, ходил по чаще, приглядываясь к притоптанной траве и поломанным сучьям. След вывел меня снова на полянку, я остановился и оглянулся, солнце уж спустилось к горам, становилось прохладно и кругом, кроме незнакомого высокого леса, ничего не было видно. Я прислушался, звуков никаких не было, кроме шелыхания ветра в вершинах. Я стал кликать собаку, и мне показалось, что голос мой пустынно звучит в высоком лесе. Собака не ворочалась [93*], я сообразился по солнцу и стал отыскивать дорожку, которая бы вывела

91* *Далее было:* вершины
92* *Далее было:* и
93* *Далее начато:* я перек

меня к станице. Заблудиться в этом лесу трудно, потому что он нигде не шире двух верст и, идя на юг или на север, непременно выйдешь или к дороге между станциями или на Терек, но кроме того, что ночью в лесу довольно опасно, мне бы не хотелось [94*] попасть в противуположную сторону и ночью без охоты пройти лишних несколько верст. На охоте 20 верст ничего не значат, но возвращая‹сь› домой каждая лишняя сажень мучает.

III

Описание вечеринки у Дампиони в публикуемом фрагменте, написанном осенью 1858 г., значительно полнее, чем в первом варианте, напечатанном А. Е. Грузинским (т. 6, с. 197—198). Здесь изображается начало сближения Ржавского с Марьяной. Второй вариант сцены вечеринки, развернутый еще более в следующей редакции романа (автограф 24), приближается уже к окончательному тексту «Казаков» в гл. XXIV — XXV (т. 6, с. 96—100).

‹ВЕЧЕРИНКА У ДАМПИОНИ›

Здесь в первый раз я увидал лицо Марьяны. До сих пор я видел ее до самых глаз обвязанную платком [95*]. Не даром она считается первой красавицей в станице, она была бы очень хороша, ежели бы не слишком мужественные, почти грубые черты лица. Особенно хороши ее темно [96*]-черные глаза на ярких белках и окруженные коричневой тенью и губы немного толстые, вывороченные, но удивительно приятные. Сложена она, как богиня, может быть, слишком сильно и широко, по нашим понятиям о женской красоте. Но она и велика ростом и веет [97*] от нее такой девственной силой и избытком здоровья [98*],— которых девать некуда. Одним словом, красавица в простонародном смысле этого слова, т. е. женщина, твердо уверенная в своей красоте, женщина, пренебрегающая кокетством, женщина отмеченная печатью счастья и власти. Женщина-царица [99*].

Устинька, душенька Дампиони, тоже хороша [100*]; но она хорошенькая, а не красавица. Маленькая, полненькая, с веселыми карими глазками, с вечной улыбкой на красных губках [101*] и вечно болтающая, смеющаяся [102*], так и высказывается — затейница, коновод-девка. Впрочем, тут все женщины хороши. Тут были еще две девки — обе прелесть. Мне было страшно неловко на этом бале, я мялся, придумывал, что бы сказать, и чувствовал, что, внушая любопытство, может быть, вызываю насмешку и сообщаю другим свою застенчивость. Мне казалось, что и девкам было неловко. Один Дампиони поддерживал декорум нашего бала, он не переставая болтал, заставлял девок подносить чихирь, возился с ними и все по-французски обращался ко мне [103*], чтобы я [104*] был смелей. Ты знаешь, что я не люблю, не понимаю такого рода отношений с женщинами и просто *не могу*...

[94*] *Далее начато:* пройти неск‹олько верст›
[95*] *Первоначально:* Только здесь в первый раз я увидал лицо Марьяны. Она чрезвычайно хороша. До сих пор я видал [ее] только ее глаза и фигуру. Каждый день утром, когда я за чаем сижу у себя на крылечке, я по целым часа‹м›
[96*] *Первоначально:* ярки‹е›
[97*] *Далее начато:* такой силы
[98*] *Далее начато:* что
[99*] *Первоначально:* женщина с печатью [влас] счастья и власти
[100*] *Первоначально:* тоже оче‹нь›
[101*] *Далее начато:* она
[102*] *Далее начато:* затейница
[103*] *Далее начато:* Ты знаешь
[104*] *Далее начато:* вме‹сте›

Дампиони выдумал, что Устинька именинница должна подносить с поцелуем. Она согласилась только с тем уговором, чтобы ей клали на тарелку, как это делается на казачьих свадьбах.

— И черт меня занес в эту отвратительную пирушку,— думал я и попробовал уйти; но Дампиони не пустил; притом тут надо было платить. Оставалось одно средство [105*] подделаться под них. Я выпил три стакана чихиря и старался делать bonne mine à mauvais jeu [106*]. Поцеловавшись с хорошенькой Устинькой, я нашел, что, ежели бы я мог отделаться от своей застенчивости, я бы нашел большое удовольствие в такого рода увеселениях.

— Вот, девки, загуляем,— сказала Устинька, встряхивая на тарелке четыре монета, которые мы ей положили туда.

— Ну теперь ты, Марьяна, поднеси,— сказал Д⟨ампиони⟩, схватывая ее за руку.

— Да я тебе так поцелую,— сказала она улыбаясь.

— Дедушку так поцеловать можно,— подхватили смеясь другие девки. (Они Дампиони зовут дедушкой.)

— Нет, ты поднеси,— настаивал Дампиони,— постояльцу поднеси,— и, взяв ее за руки, он привел ее и посадил со мной рядом на лавку.

— Какова красавица!? — сказал он, поворачивая ее голову от меня в профиль. М⟨арьяна⟩ не отбивалась, а, улыбаясь, повела на меня своими черными глазами. Не знаю, откуда и у меня взялась храбрость, я подвинулся к ней и хотел поцеловать ее. Она вдруг вырвалась от Дампиони, столкнула его с ног и, смеясь, отскочила к столу [107*]. Дампиони, очень довольный, что втянул меня [108*], схватил всех девок за руки и, выбежав с ними в сени, запер дверь.

— Отчего ж ты Дампиони поцеловала, а меня не хочешь? — спросил я.

— А так, не хочу и все,— отвечала она, вздергивая нижней губой и бровью.— Он дедушка,— прибавила она, улыбаясь. Она вышла к двери и стала стучать в нее.

— Что заперлись, черти!

— Что ж, пускай они там, а мы здесь,— сказал я [109*], приближаясь к ней. Она нахмурилась и строго величаво отвела меня рукой.

— Ну, ну!

Я вдруг опомнился, и мне стало стыдно за то, что я делаю, я тоже подошел к двери и стал дергать ее.

— Пустите, Дампиони, что за шутки!

Марьяна опять засмеялась своим блестящим счастливым смехом.

— Аль боишься меня? — сказала она.

— Да ведь ты такая же сердитая, как мать.

— А ты бы больше с Ерошкой сидел, так тебя девки за это любить стали...— и она улыбалась, глядя мне прямо в глаза [110*]... Я не знал, что говорить.

— А ежели бы я к вам ходил?..— сказал я.

— Другое бы было,— добавила она.

В это время Дампиони, толкнув, отворил дверь, и Марьяна отскочила на меня, так что сильная нога ее ударилась о мою ногу. Я схватил ее и поцеловал в щеку.

Мне стоило бы только немного дать себе поводья, чтобы влюбиться в эту казачку. Неприступная стена, разделявшая нас прежде, уничтожена. Я разговаривал с нею и раза два был у хозяев.

[105*] *Далее было:* попытаться стать с ними на одну ⟨ногу⟩
[106*] веселое лицо при плохой игре (франц.).
[107*] *Далее начато:* Я под
[108*] *Далее начато: а.* в [во]; *б.* отошел ⟨?⟩
[109*] *Далее начато:* подх⟨одя⟩
[110*] *Далее начато:* А ежел⟨и⟩

IV

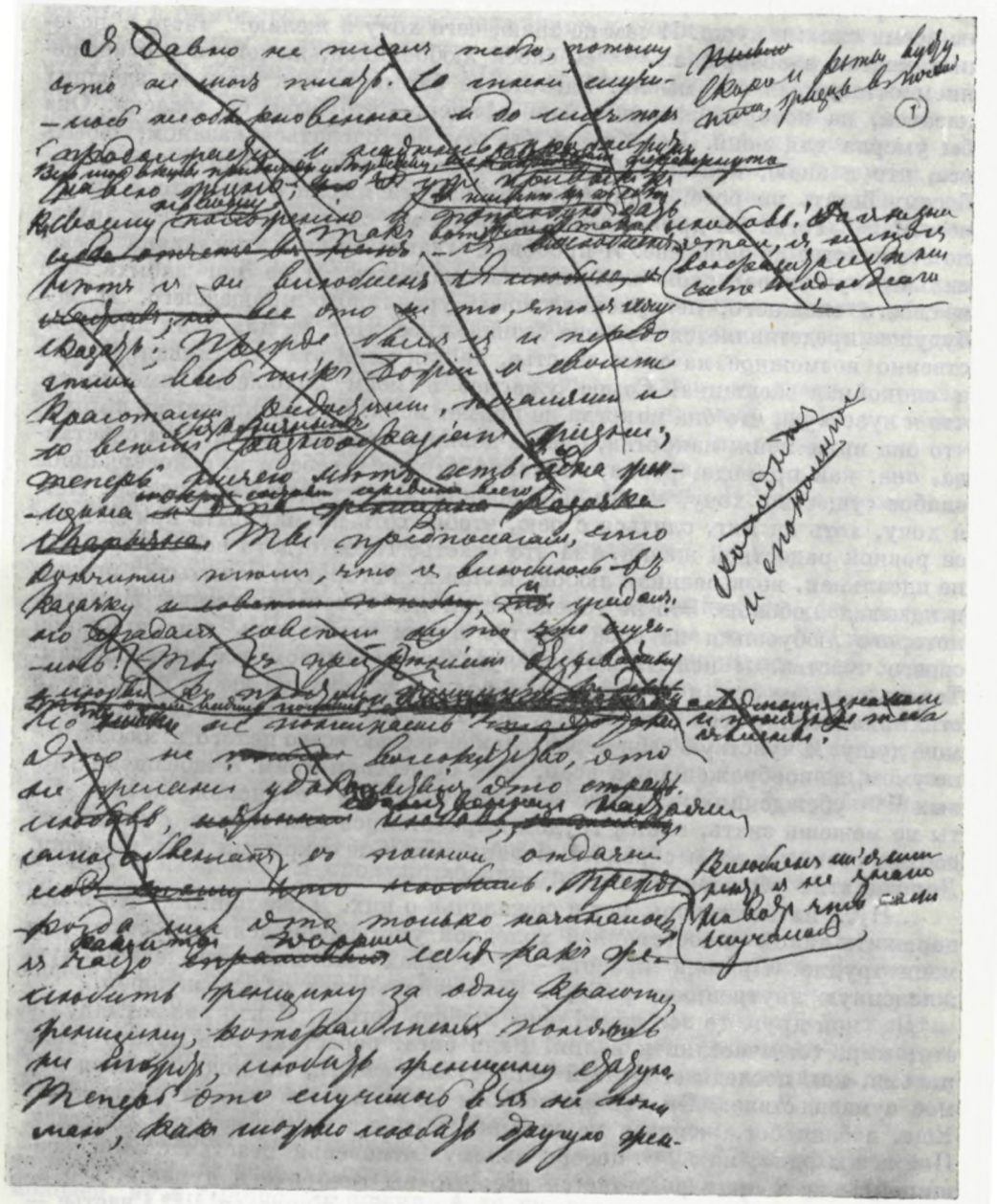
Публикуемая редакция третьего письма Ржавского (автограф 16) написана осенью 1858 г. Первая редакция этого письма, называвшегося тогда «вторым письмом», напечатана нами (под псевдонимом: С. Павловский) в т. 35-36 «Литературного наследства». В окончательном тексте «Казаков» публикуемый материал частично отразился в гл. XXXIII (т. 6, с. 120—124).

Дальнейшая развязка мыслилась Толстым по концовке «второго письма» из первой редакции («Тревога»). Эта концовка — тревога, схватка в бурунах, рана Кирки, решающее свидание офицера с Марьяной — впоследствии в развернутом виде вошла в главы XI—XII повести «Казаки» (т. 6, с. 140—146).

[ПИСЬМО]

Я давно не писал тебе, потому что не мог писать. Со мной случилось необыкновенное и до сих пор продолжается и надеюсь продолжится на всю жизнь; но я уже привык к своему положению и попробую дать себе отчет в нем. Я влюблен. Нет, я не влюблен. Я люблю, я счастлив; но все это не то, что я хочу сказать. Прежде был я и передо мной весь мир божий — с своими красотами, радостями, печалями и со всем разнообразием жизни; теперь ничего нет, есть одна женщина, и эта женщина казачка Марьяна.

Ты предполагал, что кончится тем, что я влюблюсь в казачку и совсем погибну; ты угадал: но угадал совсем не то, что случилось. Ты с презрением отзываешься о любви к простой женщине, к дереву, но ты не понимаешь, что это такое. Это не пошлое волокитство, это не желание удовольствия, это страсть, любовь, истинная любовь, с полным самозабвением, с полной отдачей себя тому, что любишь. Прежде, когда еще это только начиналось, я часто спрашивал себя: как же любить женщину за одну красоту, женщину, которая меня понять не может, любить женщину-статую. Теперь это случилось, и я не понимаю, как можно любить другую женщину, как можно искать в женщине что-нибудь, кроме красоты. Любить одну красоту? Но ведь живую красоту, живую женщину, олицетворяющую для меня всю природу. Как это случилось, я сам не знаю. После вечеринки, о которой я писал тебе, вдруг я почувствовал скуку на охоте, в разговорах с Ерошкой, почувствовал тоску в одиночестве и одно желанье постоянно видеть ее. Когда из своего окна или с своего крыльца я видел или слышал ее, я был счастлив и доволен; когда ее не видно было, я мучался. Ночи я не спал и без всякой цели проводил под ее окнами. 18 числа наша рота ходила в набег. Я три дня провел вне станицы. Мне было грустно, но я не отдавал себе причины в этой грусти, но вернувшись домой и увидав свою хату и ее фигуру и глаза, меня обхватила такая радость, что я все понял. Я люблю, страстно люблю ее. Как скоро я признался себе в этом, моя мучительная застенчивость исчезла. Я не унижаю ее своей любовью, я сам готов унизиться перед ней, только чтобы она позволила мне любить себя. Как-то само собой делалось то, что прежде для меня казалось совершенно невозможно. Я везде встречал ее, я стал ходить в хороводы, на работы, к ее отцу, я делал гадости, я с подарками подсылал к ней Петрова и старика Ерошку. Я говорил ей о своей любви такими словами, которые мне стыдно вспомнить. Совестно вспомнить, потому что я не должен был сметь говорить ей этого. Странно сказать, я боюсь ее еще больше, чем люблю. Как бы то ни было, но между нами установились отношения. Я каждый день с притворной улыбкой на губах и с мукой страсти и желаний в сердце шуточно заговаривал с ней, покупал ей пряников, посылал ей в подарки платочки по полтиннику. Она на все это отвечала всегда одинаково спокойно-гордо и весело-равнодушно. Каждое ее слово, каждый взгляд, каждое



Черновой автограф повести «Казаки», 1858 г.
Третье письмо Ржавского (начало)
Архив Толстого, Москва

движение выражали это равнодушие, не презрительное, а давящее и чарующее. Может быть точно, что я люблю природу, люблю олицетворение всего прекрасного природы; но от этого мне все-таки не легче. Я люблю ее всеми силами души. И сам не знаю, чего хочу и желаю? Часто в нелепых мечтах я воображал [111]* ее своей любовницей, женой, и с отвращением отталкивал эту мысль. Сделать ее барыней, как одну из здешних казачек, на которой женился наш офицер,— это было бы ужасно. Она бы умерла для меня. Вот, ежели бы сам мог сделаться казаком, забыть все, что я знаю, красть табуны, напиваться чихирю, ходить в походы, босому бегать по росе, заливаться песней без мысли о том, кто я? и зачем я? [112]* Тогда бы другое дело, тогда бы мы смогли понять друг друга; но это счастье не дано мне. Я пробовал отдаваться весь этой жизни и еще сильнее чувствовал свою слабость, изломанность. Я не мог забыть себя и своего сложного, негармонического, уродливого прошедшего. И мое будущее представляется мне еще безнадежнее. Нет, не для меня это единственно возможное на свете счастье, не для меня эта счастливая, гордая и спокойная женщина! Самое ужасное в моем положении именно то, что я чувствую, что она никогда не поймет меня. Она не поймет не потому, что она ниже меня; напротив, она не должна понимать меня. Она счастлива, она, как природа, ровна, спокойна и сама в себе, а я, исковерканное слабое существо, хочу, чтобы она поняла мои уродства и мученья. Нет, я хочу, хоть на миг, слиться с нею, чтобы хоть на миг быть причастным ее ровной радостной жизни, и за это счастье готов отдать все в мире. Это не идеальная, возвышенная любовь к Леиле, которую я испытывал прежде и называл любовью. Это не тоненькое личное чувство влеченья, во время которого любуешься на свое чувство и сам чувствуешь себя причиной своего чувства. Я испытывал это чувство, в котором все делаешь сам. Теперь не я, не она, я не имею своей воли, а через меня любит ее какая-то стихийная сила, весь мир божий, вся природа любовь эту вдавливает в мою душу. Я чувствую себя нераздельной частью всего целого и люблю [113]* не умом, не воображением, а всем, всем существом моим. Я тебе писал о новых [114]* убеждениях, которые я вынес из своей одинокой жизни. Но ты не можешь знать, каким трудом выработались они во мне, с какой радостью сознал я их и с радостью увидал новый открытый путь в жизни. Дороже этих убеждений ничего мне не было.

...Ну... их нет теперь, нет и сожаленья о них. Даже понять, что я мог дорожить такой односторонней холодной умственной деятельностью, для меня трудно. Пришла красота — и в прах рассеяла всю египетскую жизненную внутреннюю работу. И сожаленья нет о исчезнувшем.

Да, мой друг, то все наше, одна любовь богова. И кто раз заглянул в этот мир, тот счастлив и велик! Ради бога, перестань мне писать такие письма, как последнее. Считай меня сумасшедшим, но подделывайся под мое сумасшествие. «Он совсем погубит себя в этой глуши. Загрубеет. Еще, избави бог, женится на казачке, которая не поймет его никогда». Пойми ты одно, или [115]* поверь одному: мгновенья счастья с этой женщиной! — и в прах разлетается все, что вы говорите и думаете, все на свете ваши желанья счастья и за меня и за себя. Жениться! [116]* Счастье — это быть с ней, это видеть ее, говорить с ней. И каждый вечер я счастлив. Часов в 6, как смеркается, я иду к хозяевам. Они уже привыкли ко мне. Мне приносят чай, я сажусь в угол к печи, старуха и старик, не стес-

---

[111]* *Первоначально:* пред⟨ставлял⟩
[112]* *Далее начато:* Но мне
[113]* *Далее начато:* всем
[114]* *Далее начато:* хри⟨стианских⟩
[115]* *Далее начато:* как
[116]* *Далее было:* Да это

няясь, делают свое дело, и мы беседуем за чаем и за чихирем о казачьих делах, о соседях, о России, про которую я рассказываю; а она, как дикая коза, поджав ноги, сидит на печи или в темном углу и хотя не принимает участия в разговоре, я вижу ее глаза, лицо и слышу ее движенья, пощелкиванье семячек и чувствую, что она слушает. Иногда мне покажется, что глаза ее устремлены на меня [117]*, я встречаюсь с их блеском и, невольно замолкая, смотрю на нее. Тогда она сейчас же спрячется, и снова я, притворяясь очень занятым разговором с старухой, прислушиваюсь к ее дыханью, ко всем ее движениям и дожидаюсь ее взгляда. При других она большей частью со мной весела и ласкова, наедине дика и груба своей обворожительной грубостью. Иногда я приду, она еще не возвращалась с улицы, и вдруг заслышатся ее сильные шаги и мелькнет в отворенной двери ее голубая рубаха, она [118]* выйдет на середину хаты, и, увидав меня, ласково чуть заметно улыбнутся ее глаза, и такая радость обхват⟨ит⟩ и станет вдруг весело и страшно. Мне все кажется, что она насквозь понимает, знает и презирает меня.

Нынче вечером я пришел поздно. Старуха сидела на лавке и сучила коконы, она в одной сорочке с непокрытыми волосами шила у свечи. Увидав меня, она вскочила, взяла платок и полезла на печь.

— Что ж, посиди с нами, Марьянушка,— сказала мать.

— Не... глаза устали,— и она вскочила на печь. Я видел ее колено и стройную сильную ногу.

— Что это Кирки давно не видать,— сказал я.

Марьяна зашевелилась наверху.

Я угащивал старуху чаем, она угостила меня каймаком, за которым послала Марьяну. Но поставив тарелку на стол, она опять [119]* вскочила на печь, и я чувствовал только ее глаза. Мы разговорились о их хозяйстве, Гавриловна расходилась и [120]* вошла в восторг гостеприимства, она принесла мне моченого винограда, лучшего вина, лепешку с виноградом и с тем особенным простонародным грубым и гордым гостеприимством принялась угащивать меня. Старуха, которая сначала так поразила меня своей грубостью, теперь часто трогает меня своей простой, грубой нежностью.

— Да что бога гневить, батюшка, все у нас есть, слава богу, и чихирю нажали, и насолили, и продадим бочки три, и пить останется, гулять с тобой будем на свадьбе.

— А когда свадьба? — спросил я, чувствуя, как вся кровь вдруг хлынула мне к лицу и сердце неровно и мучительно забилось. За печью пошевелилось и послышалось щелканье семя.

— Да что, надо бы на той неделе сыграть, мы готовы,— отвечала старуха просто, спокойно, как будто это дело и не было моей любви,— я все для Марьянушки собрала, припасла. Мы хорошо отдадим, да вот немного неладно. Кирка-то наш что-то уж загулял очень.

— Как бы он не попался,— сказал я.

— И я говорю. Ты, Кирушка, не шали, ну, молодой человек, известно куражится, да ведь на все время есть. Ну, отбил, украл, абрека убил, молодец, ну и смирно бы пожил. А то уж вовсе скверно!

— Да, я его раза два видал, все пьяный,— сказал я и оглянулся на печь.

Большие черные глаза блестели на меня строго и недружелюбно. Мне стало совестно за то, что я сказал.

---

[117]* *Первоначально:* горят особен
[118]* *Далее было:* поклонится
[119]* *Далее было:* как коза
[120]* *Далее начато:* с особенным

— Что ж, он никому худа не делает,— вдруг сказала Марьяна,— на свои деньги гуляет,— и, спустив ноги, она соскочила с печи и вышла, сильно хлопнув дверью. Я следил за ней глазами и не помнил, не понимал ничего, что мне говорила Гавриловна [121]*.

Через несколько минут вернулся старик хорунжий с дядей Ерошкой и она с Устинькой.

— Здорово дневали? — пропищала она. — Все гуляешь?

— Да, гуляю.— Я хотел уйти и не мог, хотел говорить и не мог, молчать мне тоже казалось невозможно. Илья Васильич помог мне, он предложил мне выпить. Мы выпили с ним, потом я выпил с Ерошкой, потом еще с И⟨льей⟩ В⟨асильичем⟩, потом еще с Ерошкой. И чем больше я пил, тем мне становилось тяжелее на сердце. Но старики разгулялись. Девки обе залезли на печку и шушукали, глядя на нас. Мы пили до вечера, я ничего не помню. Казаки что-то кричали; старуха их выгоняла вон и не давала больше чихиря, девки смеялись над дядей Ерошкой, и уж было часов 10, когда мы все вышли на крыльцо. Устинька побежала домой, Ерошка повел И⟨лью⟩ В⟨асильича⟩ к себе, старуха пошла прибирать в избушке. Марьяна оставалась одна в хате. Не помню, как мне это пришло в голову, но я вернулся в хату. Марьяна укладывалась спать. Я подошел к ней, хотел ей сказать что-то, но голос оборвался у меня. Она села на постель, подобрала под себя ноги, отодвинулась [122]* от меня в самый угол, и молча испуганным диким взглядом смотрела на меня. Она считала меня пьяным и боялась меня. Мне стало жалко ее, совестно за себя и вместе с тем я почувствовал гордое удовольствие в том, что возбуждаю в ней это чувство.

— Марьяна,— сказал я.— Неужели ты никогда не сжалишься надо мной? Я не знаю, как я люблю тебя.

Она отодвинулась еще дальше.

— Вишь вино-то что говорит. Ничего тебе не будет.

— Нет, не вино, не выходи за Кирку. Я женюсь на тебе.— Что же это я говорю? — подумал я в то самое время, как выговаривал эти слова.— Пойдешь за меня?

Она серьезно посмотрела на меня, испуг ее как будто прошел. Не помню и не хочется вспомнить тех безумно-нежных слов, которые я говорил ей.

— Ну что, брешешь? — прервала она меня вдруг, схватив за руку, которую я протягивал к ней. Но она не отталкивала моей руки, а крепко сжала ее своими сильными шаршавыми пальцами.— Разве господа на мамуках женятся? Иди!

— Да пойдешь ли? — повторил я.

— А Кирку куда денем,— сказала она смеясь. Я вырвал у нее руку и обнял ее сильное, твердое тело; но она [123]* как серна вскочила, спрыгнула босыми ногами и выбежала на крыльцо. Мгновенье счастья с этой женщиной и больше ничего не хочу от жизни.

[124]* Завтра я опять пойду к ним [125]* и решился узнать свою участь [126]*. Что из этого будет, я не знаю; но я живу не сам по себе, есть что-то сильнее меня, руководящее мною. Я мучаюсь, страдаю; но я живу, теперь только живу, прежде я был мертв, как это дерево. Прощай.

---

[121]* *Далее начато: а.* Я чувствовал себя; *б.* Мне плакать хотелось.
[122]* *Далее было:* дальше
[123]* *Далее начато:* отск⟨очила⟩
[124]* *Зачеркнуто:* Нынче я
[125]* *Далее было:* и пост⟨араюсь⟩
[126]* *Далее было:* Она знает, что она красота и

ТВОРЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ПОВЕСТИ «ХОЛСТОМЕР»

РАННЯЯ РЕДАКЦИЯ (1861—1863)

Статья и публикация Л. Д. Опульской

Творческая история повести «Холстомер» представляет исключительный интерес. Произведение, почти завершенное в 60-е годы, было переделано, в значительной части заново написано в 1885 г. Естественно предположить, что сравнение редакции 60-х годов с окончательным текстом «Холстомера» может дать многое для характеристики идейной и художественной эволюции Толстого, наглядно свидетельствуя о том, как отразился перелом в мировоззрении писателя на его художественном творчестве.

По странному недоразумению считается, что такое сравнение неосуществимо. Так, С. А. Стахович, сообщая в своих воспоминаниях интересные сведения о печатании повести в 1885 г., одновременно уверяла, что большая часть рукописей «Холстомера» 60-х годов, которые взялась переписывать С. А. Толстая в 1885 г., «утрачена, и самая копия сохранилась не целиком»[1].

То же повторила в 1939 г. Л. М. Мышковская: «Рукописный материал не дает нам представлений о том, какой была вещь в законченном виде в 1860-х годах»[2].

В действительности сохранились все, до единого листочка, рукописи, с которых в 1885 г. С. А. Толстая делала общую копию повести, точно так же как полностью сохранилась и самая копия. Ранняя редакция «Холстомера», таким образом, не только нам известна, но известна по двум источникам: в авторских рукописях и в копии с них, сделанной С. А. Толстой. Возможно, что рукописи 60-х годов в какой-то части утрачены, однако до нас дошло все, что копировала С. А. Толстая и что, таким образом, было в распоряжении Толстого, когда он принялся в 1885 г. за окончательную работу над повестью.

Мы публикуем — впервые полностью — ту редакцию «Холстомера», которая была создана Толстым в 60-е годы и называлась «Хлыстомер». В т. 26 Юбилейного издания Толстого, вышедшем в 1936 г., были напечатаны лишь незначительные отрывки из этой редакции, вперемежку с вариантами позднейшего текста, так что никакого сколько-нибудь цельного и ясного представления о том, что было создано Толстым в 60-е годы, эта публикация не дает.

* * *

В истории создания повести «Холстомер» много неясного. Когда Толстой начал писать свою «историю лошади» и пытался ли опубликовать ее в 60-е годы? Посылалась ли для этой цели рукопись В. А. Соллогубу? С каких рукописей была сделана С. А. Толстой копия всего написанного в 60-е годы? Как велики изменения и дополнения, внесенные Толстым в текст повести перед ее опубликованием в 1885 г.? На все эти вопросы в литературе о Толстом не удается найти удовлетворительных ответов, хотя истории создания «Холстомера» посвящены две специальные работы[3] и ряд воспоминаний[4].

С документальной достоверностью устанавливается все сделанное в 1885 г. Отсюда и начнем распутывать сложный узел этой истории.

В начале 1885 г. С. А. Толстая взяла в свои руки ведение всех дел по продаже издания «Сочинений гр. Л. Н. Толстого» и, располагая доверенностью Толстого, предприняла новое, пятое по счету издание. Она решила включить в него все написанные после «Анны Карениной» художественные произведения Толстого. Их было немного: Толстой в конце 70-х и в первую половину 80-х годов был занят преимущественно публицистическими работами. С. А. Толстая сетовала по этому поводу и надеялась, что Толстой вновь обратится к художественному творчеству. 18 января 1885 г., упоминая в письме к Т. А. Кузминской о запрещении цензурой трактата «Так что же нам делать?», она писала: «Статья эта в этом роде будет последняя, Левочке надо было высказаться, и после этого он, вероятно, стал бы писать рассказы, к чему он очень стремится» (АТ).

В апреле 1885 г. С. А. Толстая сообщала сестре, что «заказ на полное собрание сочинений сделала ⟨...⟩ по всей форме и печатать начала» (там же). В третьей части этого издания, вышедшей в свет во второй половине ноября 1885 г., был напечатан «Холстомер».

К тому времени «Холстомер» сохранялся в Ясной Поляне в разрозненных черновых рукописях. Задумав включить «историю лошади» в новое издание, Софья Андреевна тщательно переписала эти рукописи, из которых составился вполне связный и сюжетно оформленный текст (если не считать конспективно набросанного конца).

Копия эта сохранилась полностью, хотя и в составе разных рукописей, куда она частично перекладывалась после исправлений Толстого. Копия сделана черными чернилами, аккуратным почерком, с большими пробелами между строками, оставленными для авторских исправлений. Время изготовления копии — лето 1885 г.[5] Толстой начал работу над копией в сентябре. 23 сентября 1885 г. С. А. Толстая писала сестре: «У Левочки набралось ⟨...⟩ столько дела, как давно не было. Он без вас написал чудесную сказку[6], прочел нам, и мы все пришли в восторг. Теперь он ее старательно переделывает и даст в мое издание. Потом он взял все те отрывки пересмотреть и поправить, которые поступят в новое издание: „История лошади“, „Смерть Ивана Ильича“ и другие. Через неделю их надо печатать, так как все подвигается к концу». 29 сентября она вновь сообщала Кузминской: «Он взял поправлять по вечерам историю лошади, на той неделе ее надо отдать в печать, стало быть дело очень к спеху» (АТ).

Таким образом, переделка «Холстомера» была осуществлена Толстым в течение нескольких недель. Работа проходила с большим подъемом. Гостившему в то время в Ясной Поляне М. А. Стаховичу Толстой «говорил, что после тяжелого труда, многолетних писаний философских статей, начав писать литературную вещь, он легко и вольно чувствует себя и, точно купаясь в реке, размашисто плавает в свободном потоке своей фантазии»[7]. Копия, испещренная поправками Толстого, наглядно свидетельствует о том, как проходила работа.

Прежде всего, Толстой исправил заглавие, написанное в копии: «Хлыстомер» на «Холстомер». Сделано это было в соответствии с указанием М. А. Стаховича (племянника писателя, сына А. А. Стаховича), сообщившего Толстому в 1885 г., что кличка Холстомер была дана лошади за размашистый бег — будто «холсты меряет». В дальнейшем тексте всюду Хлыстомер был исправлен на Холстомер. Зачеркнув в копии написанный Софьей Андреевной подзаголовок «Опыт фантастического рода 1861 года», Толстой заменил его посвящением М. А. Стаховичу и прибавил сноску: «Сюжет этот был задуман М. А. Стаховичем, автором „Ночного“, и передан автору его братом А. А. Стаховичем» (позднее С. А. Толстая вставила слово: «Наездники»)[8].

Первая половина повести правилась сравнительно немного — соответствующие листы копии с поправками Толстого заново не переписывались и были в таком виде включены в наборную рукопись. Зато вторая половина — рассказ Холстомера, а также эпизод посещения Серпуховским своего приятеля, хозяина конного завода, — была переделана самым решительным образом. Конец повести был написан заново. Эти листы копии, с поправками и большими вставками на полях, были переписаны еще раз (С. А. Толстой и М. А. Стаховичем). Некоторые листы переписывались дважды и после новых исправлений Толстого отданы в печать. Часть первоначальной копии, замененная новым текстом, была заключена С. А. Толстой в обложку с надписью: «История лошади, переписанная отрывками по поправленному».

Таким образом, если учитывать в первоначальной копии С. А. Толстой только первый слой рукописи, без позднейших исправлений Толстого, в нашем распоряжении окажется редакция «Холстомера» 60-х годов. Однако, как было сказано выше, сохранились все авторские рукописи, с которых в 1885 г. С. А. Толстая делала копию. Поэтому ранняя редакция «Холстомера» печатается нами не по копии, а по рукописям (автографам и частично копии) 60-х годов. Копия 1885 г. служит лишь ориентиром для установления последовательности ранних рукописей. В подстрочных примечаниях к тексту приведены варианты, имеющиеся в рукописях ранней редакции.

Из поправок, сделанных Толстым позднее, в 1885 г., в тексте учтены (с оговоркой в подстрочных примечаниях) лишь те, которые устраняют очевидные описки или ошибки раннего текста [9].

Начало работы над «историей лошади» относится к 1861 г. Эта дата указана в подзаголовке, написанном С. А. Толстой в копии: «Опыт фантастического рода 1861 года». Интересно отметить, что первоначально С. А. Толстая написала: «18...» и лишь потом (вероятно, справившись у Толстого) приписала: «61 года». Именно 1861 годом следует датировать первый известный нам текст (рукопись 2), содержащий начало повести (до рассказа Хлыстомера) — на основании бумаги, на которой он написан. По правому краю небольшие листы этой бумаги пробиты двумя круглыми отверстиями (для шнура). На такой же бумаге в 50—60-е годы Толстым написаны еще только два рассказа: «Идиллия» и «Тихон и Маланья», датируемые маем — октябрем 1861 г. Стало быть, и начало работы над «Хлыстомером» относится к этому же времени.

Таким образом, ни в 1856 г., когда Толстой импровизировал при встрече с Тургеневым рассказ о «переживаниях» лошади и записал в дневнике, что «хочется писать историю лошади», ни в 1859 или 1860 г., когда А. А. Стахович рассказал заинтересовавший Толстого сюжет повести «Похождения пегого мерина», которую не успел дописать его брат М. А. Стахович, работа не была начата. Есть еще одно обстоятельство, позволяющее отнести работу над «Хлыстомером» ко времени не ранее 1861 г. Строки в одном из черновиков — о сапогах Серпуховского («на каких-то чудны́х, в пале́ц толщины подошвах, очень, может, удобных для ходьбы по лондонской мостовой, но не для устеленных листьями дорог русской деревни») могли быть написаны, очевидно, лишь после недавнего (и единственного) посещения Толстым Лондона в феврале — марте 1861 г.

Писание «истории лошади» продолжалось до 1863 г. В этом году работа над повестью отмечена в известных дневниковых записях Толстого от 23 февраля и 3 марта, а также в его письмах к М. Н. Толстой и Фету. На основании письма к М. Н. Толстой от 8 марта 1863 г. удается датировать конспект повести [10], который, как выяснилось, был написан не в начале работы (1861 г.), а в 1863 г., т. е. по существу в конце работы, когда Толстой, задумывая печатать повесть, намерен был продолжить ее и объединить в одно художественное целое написанные в течение 1861 —1863 гг. отрывки [11]. В начале мая 1863 г. Толстой сообщал Фету: «Теперь я пишу историю пегого мерина, к осени, я думаю, напечатаю» (т. 61, с. 17).

На этом сообщении обрываются вплоть до 1885 г. свидетельства, идущие от самого Толстого или от его близких о повести. Сохранилось лишь письмо В. А. Соллогуба к Толстому от 20 марта неизвестного года, из которого видно, что Толстой вел переговоры о печатании своей «истории лошади».

Б. М. Эйхенбаум высказал предположение, что письмо можно датировать 1865 г. и что рукопись «Хлыстомера» была в этом году отправлена Соллогубу для напечатания в задуманном М. П. Погодиным вместе с Соллогубом журнале «Старовер».

Это предположение Б. М. Эйхенбаума не подтверждается прежде всего содержанием письма Соллогуба. В. А. Соллогуб начинает свое письмо следующими словами: «Ваша милая бель-сер, любезный граф, права. Она не высказала того, что сама не поняла, но предугадала по женскому инстинкту, гнушающемуся всего, что оскорбляет стыдливость и нежное эстетическое чувство» [12]. Таким образом, в оценке повести Соллогуб соглашается с мнением Т. А. Берс. Трудно предположить, что суждение Т. А. Берс Соллогуб узнал из неизвестного нам письма Толстого. Скорее всего, он *слышал*

его, находясь вместе с Т. А. Берс в каком-нибудь (разумеется, узком) литературном собрании, где, по всей вероятности, читалась повесть Толстого.

Это могло произойти лишь в начале 1863 г., когда Толстой был длительное время в Москве, приехав туда с женой 23 декабря 1862 г. В Ясную Поляну он возвратился около 8 февраля 1863 г. В это свое пребывание в Москве Толстой был усиленно занят литературными делами: печатал повесть «Казаки», готовил к печати «Поликушку» (привезя с собой в Москву рукопись), часто встречался с литераторами, устраивал литературные обеды и вечера.

Т. А. Берс вспоминает об одном таком литературном обеде, на котором присутствовали Фет, Григорович, Островский и на который была приглашена она с А. М. Кузминским [13]. Из дневника самого Толстого известно, что 4 января 1863 г. у Берсов было устроено чтение «Поликушки». Скорее всего, именно в этот период состоялось и чтение «Хлыстомера».

Никаких свидетельств о встречах Толстого в 1863 г. с Соллогубом не найдено. Но такие встречи, конечно, могли быть. Соллогуб стал близким знакомым Толстого с 1850 г. Именно Соллогубу передал Толстой рукопись «Зараженного семейства», приехав в 1864 г. в Москву, и тот взялся хлопотать в цензурном комитете о разрешении пьесы и в театральной дирекции о ее постановке. В 1866 г. Соллогуб приезжал в Ясную Поляну запросто, без предупреждения, решив неожиданно в дороге, что «для друга семь верст — не околица» (по воспоминаниям гувернера детей Соллогуба — Н. Добровольского-Михайлова) [14].

Предположение о том, что письмо Соллогуба относится к 20 марта 1863 г., подтверждается еще следующим фактом.

Соллогуб отозвался в своем письме о повести Толстого резко отрицательно, изложив одновременно свои соображения насчет того, как, по его мнению, следует переделать ее. Со многими советами Соллогуба Толстой, конечно, не мог согласиться — они были несправедливы (в особенности упрек в цинизме) и не соответствовали замыслу Толстого. Но один совет Соллогуба — о заглавии — был Толстым выполнен.

Первый известный нам автограф 60-х годов, начинающийся зачеркнутым текстом (зачеркнутый отрывок опубликован — т. 26, с. 477, вар. 1), свидетельствует о том, что повесть открывалась первоначально не описанием природы («Все выше и выше поднималось небо...»), а рассказом о конюхе Нестере. Интересно, что, зачеркнув это начало, Толстой между строк текста вписал заглавие: Хлыстомер. Глава I (см. воспроизведение на стр. 269 настоящего тома). Это решение в точности соответствует совету Соллогуба «Назовите статью *именем* мерина ⟨...⟩ Эта кличка в прозе будет нова».

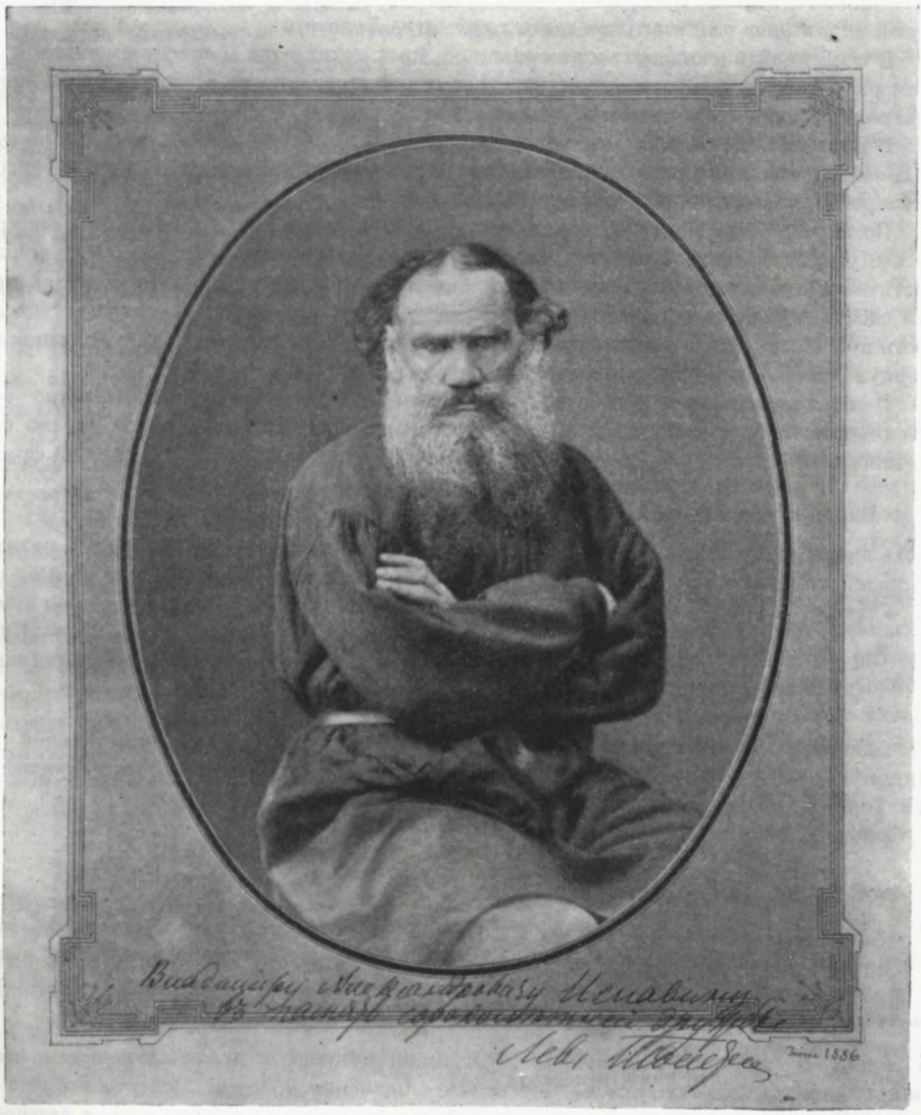
Если датировать письмо Соллогуба 20 марта 1863 г., как это делал Л. Э. Бухгейм, публикуя в 1928 г. письмо Соллогуба, а не 1865 г., как предложил Б. М. Эйхенбаум, становится вполне объяснимым это совпадение. Именно в марте — мае 1863 г. Толстой много работал над повестью, собираясь осенью напечатать ее.

Представить, что переделку повести Толстой затеял весной 1865 г., совершенно невозможно — это был период напряженнейшей, исключительной работы над «Войной и миром» (у Толстого был тогда на счету каждый день — см. записи в дневнике от марта и апреля 1865 г.— т. 48, с. 59—62).

Работа над «Войной и миром», начатая осенью 1863 г. и поглотившая все силы Толстого, явилась причиной того, что повесть о Хлыстомере осталась тогда незаконченной и ненапечатанной. Случилось то, что одновременно произошло со второй частью повести «Казаки». Но вторая часть «Казаков» так и осталась достоянием черновиков Толстого; к рассказу же о Хлыстомере он вернулся спустя 22 года — в 1885 г.

Нет никакого сомнения в том, что рукопись «Хлыстомера» в 1863 г. никуда не была отправлена, но оставалась в Ясной Поляне, и до мая 1863 г. Толстой работал над ней. Затем наступил летний перерыв в писательском труде, а с осени 1863 г. началась работа над «Войной и миром».

Рукописи «Хлыстомера» — почти завершенного произведения — пролежали в Ясной Поляне до 1885 г., когда повесть была переделана и опубликована.



ТОЛСТОЙ

Фотография 1884 г. с дарственной надписью: «Владимиру Александровичу Ославину в память сорокалетней дружбы. Лев Толстой»

Внизу (справа) помета неустановленной рукой: «Июнь 1886»

Собрание И. С. Зильберштейна, Москва

* * *

Первоначальная редакция «Холстомера» (озаглавленная «Хлыстомер») очень существенно отличается от окончательного текста повести. Главное, в ней нет того обличительного пафоса, который отличает опубликованное в 1885 г. произведение и который характерен для всего позднего творчества Толстого.

С особенной наглядностью это различие прослеживается в «рассуждениях» Холстомера о собственности, в характеристике его хозяев, прежде всего — князя Серпуховского и молодого владельца конного завода.

В первоначальной редакции говорится, главным образом, о *странности* и *неестественности* поведения людей, любящих называть вещи и даже живые существа «своими» и распоряжаться ими по своему произволу.

По мере работы Толстого над повестью в 1885 г. все больше и больше расширялись и углублялись рассуждения Холстомера о собственности, усиливался их публицистический тон, подчеркивалась обусловленность всех человеческих отношений правом собственности, *преступность* и *жестокость* этого права, раскрывалась губительность права собственности как для жертв (Холстомер), так и для самих собственников (Серпуховской, молодой хозяин конного завода и его любовница).

В первоначальной редакции критикуется противоестественное «чувство собственности»; в окончательной, помимо этого, разоблачается преступное «право собственности». Характерно, в этом смысле, например, исправление следующей фразы:

Ред. 60-х годов	Ред. 1885 г.
Есть люди, которые называют других людей своими, а *эти люди сильнее, здоровее и досужнее хозяев.*	Есть люди, которые других людей называют своими, а *никогда не видали этих людей; и все отношение их к этим людям состоит в том, что они делают им зло* (т. 26, с. 20. — Курсивом здесь и далее выделяются разночтения между двумя редакциями. — *Л. О.*).

Одновременно в рассуждениях о собственности появилась в окончательной редакции морализующая обличительная тенденция, столь характерная для произведений Толстого позднего периода.

Сравним, например:

Ред. 60-х годов	Ред. 1885 г.
И люди счастливы, *главное, тем, когда получают исключительное право только называть какую-либо вещь своею.*	И люди *стремятся в жизни не к тому, чтобы делать то, что они считают хорошим, а к тому, чтобы называть как можно больше вещей своими* (т. 26, с. 20).
Я ездил в простых *разъездных* дрожках *конюха, но старался.*	Я ездил в простых дрожках *конюшего по его делам в Чесменку и другие хутора. Все это происходило оттого, что я был пегий, а главное потому, что я был, по их мнению, не графский, собственность конюшего* (т. 26, с. 21).

В редакции 60-х годов развивается прежде всего мысль об условности самого названия «мое», о том, что преимущественное положение одного существа перед другим достигается не богатством, а прирожденными свойствами и здоровыми условиями естественной жизни. В редакции 1885 г. появилась характерная для позднего Толстого социально-нравственная оценка взаимоотношений собственника и его собственности. По первоначальному замыслу, в числе злоключений Холстомера самым печальным оказывалось его безумное увлечение Вязопурихой, случившееся уже после того, как Холстомер узнал причину странности своего положения на заводе. В окончательной редакции подчеркивается решающее значение в судьбе Холстомера этого права собственности, которое «воображал» себе конюший. Эпизод наказания конюха и свя-

занные с ним рассуждения переносятся в другую главу, становясь последним и самым тяжелым злоключением Холстомера во время его пребывания на заводе.

При переработке повести в 1885 г. Толстой последовательно развивал и подчеркивал эпизоды, рассказывающие о том, как все хозяева мучили и калечили Холстомера. Особенно это относится к одному из центральных моментов повести — рассказу о пребывании Холстомера у гусарского офицера Серпуховского. При этом первоначально писатель явно любовался бесшабашной жизнью красавца-гусара (напоминающего Турбина-старшего в «Двух гусарах»). «Кто счастлив, тот и прав» — эта, столь далекая от мироощущения позднего Толстого, мысль записана им в дневнике 3 марта 1863 г., во время обдумывания рассказа о мерине (т. 48, с. 53). В позднейшей редакции соответствующие описания резко изменяются и в значительной мере выбрасываются. Внимание сосредоточено на том, чтоб показать, как именно здесь погубили Холстомера, ибо в безнравственных условиях жизни нельзя не погибнуть.

Восторженный рассказ Серпуховского о пари и беге, колоритно характеризующий счастливую жизнь гусара и Холстомера, передаваемый в первой редакции «тоном уверенности, силы и чистоты, которым он ⟨Серпуховской⟩, верно, говаривал в старину», заключается в 80-е годы характерным для реалистически-обличительной манеры позднего Толстого описанием скучного и непрерывного «вранья» Серпуховского.

С особенной же резкостью мотивы обличения Серпуховского были развиты Толстым в заключительных главах окончательной редакции, где изображена «грязная старость» этого человека, контрастирующая со старостью Холстомера.

Чрезвычайно ярко это снижение образа Серпуховского сказалось в работе над эпизодом встречи Холстомера со своим некогда молодым и блестящим красавцем-хозяином.

В первоначальной редакции Серпуховской смотрит на старого мерина с «изменившимся лицом», тотчас узнает в нем своего Холстомера, взволнованно, «переменившимся голосом» расспрашивает о нем хозяина конного завода. О Холстомере говорится, что он, «вероятно, узнал старого хозяина». В окончательном тексте Серпуховской не узнает Холстомера и не обращает внимания на смешное старческое ржание узнавшей его лошади. Здесь в характеристику Серпуховского вносится постоянный эпитет «обрюзгший», наряду с другими деталями сатирически рисующий этот образ.

Вот, например, характерные замены:

Ред. 60-х годов	Ред. 1885 г.
Жулдыба, подходя к дому, покосилась на две *белые пестрые* мужские фигуры в соломенных *ярких* шляпах.	Жулдыба, подходя к дому, покосилась на две мужские фигуры: *один был молодой хозяин* в соломенной шляпе, *другой высокий, толстый, обрюзгший военный* (т. 26, с. 27).
... *у этого толстого* старого *человека*, которого вы сейчас видели.	...*князя Серпуховского, гусарского офицера, того самого гадкого*, старого, которого вы сейчас видели (промежуточная ред.).
... на *добром* лице его вдруг выразилось отчаяние	...*и* на *обрюзгшем* лице его вдруг выразилось отчаяние (т. 26, с. 32).
Хлыстомер, вероятно, узнал *старого* хозяина...	*Холстомер* узнал в *обрюзгшем старике своего любимого* хозяина... (т. 26, с. 28).

По замыслу 60-х годов, Серпуховской — опустившийся, но жалкий, трогательный и вызывающий к себе сочувствие бывший повеса. Он обеспокоен, как бы молодой хозяин, бестактно предлагающий ему кучу сигар, не подумал, что у него нет таких хороших сигар, с горечью вспоминает о былой роскошной, привольной жизни, хвалится Холстомером, вспоминает, что «разбил» его, оказавшись в неудобном положении, краснеет. «„Славный малый!“ — подумал хозяин и подлил ему вина. У Серпуховского были слезы как будто. Он, видимо, рассердился на себя, выпил». Серпуховской стыдится своего положения. Оставшись один, он ходит по спальне взад и вперед и думает застрелиться.

Зачеркнув в 1885 г. написанное ранее, Толстой в ином свете представляет Серпуховского и его взаимоотношения с молодым хозяином: «Хозяину было скучно слушать Серпуховского. Ему хотелось говорить про себя — хвастаться. А Серпуховскому хотелось говорить про себя — про свое блестящее прошедшее» (т. 26, с. 33). И о Холстомере Серпуховской вспоминает теперь только затем, чтобы не уступить в хвастовстве молодому хозяину конного завода.

При переделке в 1885 г. эпизода посещения Серпуховским своего приятеля Толстой в обличительном свете представил не только Серпуховского, но и молодую чету. Совершенно вычеркнут абзац, где говорилось, как хозяева были «добры от счастья» и «сердце радовалось, глядя на них».

«Нельзя быть добрым человеку, неправильно живущему»,— записал Толстой в одном из поздних своих дневников (т. 51, с. 57). Соответственно с этим, он лишил доброты, доброго выражения не только Серпуховского и его молодого приятеля, но и беременную хозяйку. Сравним два следующие описания:

Ред. 60-х годов	Ред. 1885 г.
Жена или любовница, беременная, что очень заметно было по ее поднявшемуся животу, прямой выгнутой позе, по полноте и в особенности по глазам — *этим добрым*, внутрь кротко и важно смотревшим *добрым* большим глазам, сидела за самоваром.	*Хозяйка* беременная, что очень заметно было по ее поднявшемуся животу, прямой выгнутой позе, по полноте и в особенности по глазам, внутрь кротко и важно смотревшим большим глазам, сидела за самоваром (т. 26, с. 29).

Изменяя отдельные художественные детали, Толстой настойчиво усиливал общую обличительную тенденцию.

Вот некоторые параллели:

Ред. 60-х годов	Ред. 1885 г.
...сбирался *угостить гостя сигарами*	...сбирался *похвастать ими перед гостем* (т. 26, с. 29).
— Слышал *про твоего пегого, мы как-то с Воейковым добрались, кто он был.*	— *Да, я* слышал, — *неохотно сказал хозяин*, — *но я хотел тебе сказать про своих...* (т. 26, с. 33).
...*добрые от счастья, особенно* ухаживали за бедным Никитой.	...*переносили* бедного Никиту и *даже* ухаживали за *ним* (т. 26, с. 30).
Вид счастья *его друга и молодых еще более* заставлял его, *обратившись к своему прошедшему, пасть духом.*	Вид счастья *молодого хозяина унижал Никиту* и заставлял его, *вспоминая свое безвозвратное прошедшее, болезненно завидовать* (т. 26, с. 30).

В окончательном тексте «Холстомера» в изображении одежды и домашней обстановки хозяина конного завода и его любовницы эпитет «дорогой» обычно заменяет все бывшие ранее эпитеты. Вместо «*чудные* брелоки» становится: «*крупные дорогие* брелоки»; вместо «запонки рубашки были тоже *редкости bijouterie*» — «запонки рубашки были *большие*, тоже *массивные, золотые, с бирюзой*». Браслеты и кольца на руках у хозяйки, которые, по первоначальному описанию, «все (...) *были прекрасны*»,— также сменяются на: «все *дорогие*». Сам хозяин был обрисован в 60-е годы как «русский рысистый охотник, тот, который избирается судьей, который ездит в соболях, который бросает букеты, берет на содержание самую дорогую и т. д.» Дополнив в 80-е годы эту характеристику трижды повторенным эпитетом «дорогой» (которые «бросают *дорогие* букеты актрисам, пьют вино самое *дорогое* с самой новой маркой, в самой *дорогой* гостинице» — т. 26, с. 29), Толстой придал этой характеристике ярко выраженный социально обличительный смысл.

Характерна в этом отношении и следующая замена:

Ред. 60-х годов	Ред. 1885 г.
К хозяину приехал гость, промотавшийся родственник, дальний дядя и приятель. Теперь они все сидели за вечерним чаем.	*У хозяина был накрыт роскошный* вечерний чай *в роскошной гостиной.* За чаем сидели *хозяин, хозяйка и приезжий гость* (т. 26, с. 28).

«Дорогой», «роскошный» — синоним внешнего блеска и внутренней пустоты и бессмыслицы барской жизни.

В 1885 г. был заново написан резко обличительный отрывок, рисующий Серпуховского после ужина, отрывок, в котором уже явственно виден автор «Воскресения».

Ред. 60-х годов	Ред. 1885 г.
Ушел спать один и долго вспоминал ночь проигрыша и молодость и любовь. «Теперь умирать, хоть бы пришел кто-нибудь. Надо занять или поиграть, или соблазнить ее. Ах я подлец! Подлец!» Он вспомнил Щев., треплящего по плечу, зашел к нему у него просить денег. И говорит: «Я подлец».	*Серпуховской лежал нераздетый на постели и отдувался.*
На другой день он уехал денег было мало в кошельке на столе.	*«Кажется, я много врал, — подумал он. — Ну все равно. Вино хорошо, но свинья он большая. Купеческое что-то. И я свинья большая, — сказал он сам себе и захохотал. — То я содержал, то меня содержат. Да, Винклерша содержит — я у ней деньги беру. Так ему и надо, так ему и надо! — Однако раздеться, сапоги не снимешь».*
	—Эй! Эй! — крикнул он, но человек, приставленный к нему, ушел давно спать.
	Он сел, снял китель, жилет и штаны стоптал с себя кое-как, но сапог долго не мог стащить, брюхо мягкое мешало. Кое-как стащил один, другой бился, бился, запыхался и устал. И так с ногой в голенище повалился и захрапел, наполняя всю комнату запахом табаку, вина и грязной старости (т. 26, с. 34—35).

Холстомеру и всему лошадиному «обществу» в редакции 1885 г. были приданы, наоборот, более привлекательные, чем ранее, черты. Вот некоторые сопоставления:

Ред. 60-х годов	Ред. 1885 г.
Когда он был оседлан, он отставил оплывшую ногу и стал жевать удила, *должно быть* тоже *по привычке...*	Когда он был оседлан, он отставил оплывшую *правую* ногу и стал жевать удила, тоже *по каким-то особенным соображениям...* (т. 26, с. 4).
Лошади *теснились* вокруг него, *фыркая и вздыхая...*	Лошади *неподвижно и в глубоком молчании стояли* вокруг него... (т. 26, с. 13).
Пестрота моя чрезвычайно понравилась всем...	Пестрота моя, *так не нравившаяся людям,* чрезвычайно понравилась всем *лошадям...* (т. 26, с. 15).

Острее, чем в первоначальной редакции, был развернут в 1885 г. контраст старости Холстомера и отвратительной старости Серпуховского, резче подчеркнуто противопоставление всей жизни и труда лошади — бесполезному, приносящему одно зло существованию Серпуховского. Наконец, только в окончательной редакции был нарисован потрясающий по обличительной силе контраст смерти Холстомера, с поэтическим изображением волчицы, кормящей мясом зарезанной лошади своих волчат, и смерти Серпуховского, отвратительность которой не уменьшается, а увеличивается пышной обстановкой похорон.

Прием художественного контраста — излюбленный в творчестве Толстого. Он щедро используется и в первоначальной редакции повести, в обрисовке Холстомера в молодости и в старости, противопоставлении старого Холстомера и оживленного табуна красивых, здоровых, сильных лошадей и т. п. В окончательном тексте эти контрасты сохранены, даже усилены множеством новых (порою «натуралистических»)

ХЛЫСТОМЕР

ГЛАВА I

Все выше и выше поднималось небо, шире расплывалась заря, белее становилось матовое серебро росы, безжизненнее становился серп месяца, звучнее лес; люди начинали подниматься и на [1*] барском конном дворе чаще и чаще слышалось фырканье, возня по соломе и даже сердитое, визгливое ржанье столпившихся и повздоривших за что-то лошадей.

— Но! успеешь! проголодались! — сказал старый табунщик Нестер, отворяя скрипящие ворота.— Куда? — замахнулся он на кобылку, которая сунулась было в ворота.

Но лошади нисколько не испугались и не оскорбились насмешливым тоном табунщика, они сделали вид, что им все равно, и неторопливо отошли от ворот; только одна старая караковая гривастая кобыла приложила ухо и быстро повернулась задом. При этом случае молодая кобылка, стоявшая сзади и до которой это вовсе не касалось, взвизгнула и поддала задом первой попавшейся лошади.

— Но-о! — еще громче и грознее закричал табунщик Нестер, ⟨который⟩ был уже одет в казакин, подпоясан. Кнут у него был через плечо и хлеб в полотенце. В руках он нес седло [2*] и уздечку.

Из [3*] всех лошадей, находившихся на варке (их было около сотни), меньше всех нетерпения показывал пегий мерин, стоявший одиноко в углу под навесом и [4*], прищурив глаза, лизавший столб сарая. Неизвестно, какой вкус находил в этом пегий мерин, но [5*] выражение его [6*] было серьезно и задумчиво, когда он это делал.

— Балуй! — опять тем же тоном обратился к нему табунщик, подходя и кладя на постилку седло.

Пегий мерин перестал лизать и, не шевелясь, долго смотрел на Нестера [7*]. Он не засмеялся [8*], не рассердился, не нахмурился, а понес всем животом и тяжело-тяжело вздохнул и отвернулся. Но табунщик обнял его шею и надел уздечку.

— Что вздыхаешь? — сказал Нестер.

Мерин просто взмахнул хвостом, как будто говоря: «Так, ничего, Нестер». Нестер положил на него потник и седло, при чем мерин приложил уши, выражая должно быть свое неудовольствие, но его [9*] только выбранили за это дрянью и стали стягивать подпруги. При этом мерин надулся, но ему всунули палец в рот и ударили коленом в живот, так что он должен был выпустить дух. Несмотря на то, когда зубом подтягивали трок, он еще раз приложил уши и даже оглянулся. Верно, он знал уже, что это не поможет; но, несмотря на то, считал нужным выразить, что ему это неприятно, или просто по привычке делал это. Когда он был оседлан, он отставил оплывшую ногу и стал жевать удила, должно быть тоже по привычке, потому что пора ему было знать, что в удилах не может быть никакого вкуса.

Нестер по короткому стремени влез на мерина, распростал кнут и казакин, уселся на седле особенной, кучерской, охотничьей, табунщичьей

1* *Далее было: а.* варке; *б.* дворах
2* *Первоначально:* постилку
3* *Зачеркнуто:* всей полсотни
4* *Далее было:* задумчиво
5* *Далее было:* лицо
6* *Далее было:* лица
7* *Далее было:* так же как караульщик долго смотрел на манеж. Но
8* *Далее было:* как караульщик
9* *Далее было:* ударили за это носком толстого сапога. Потом

посадкой и дернул за поводья. Мерин встряхнул головой и поднял ее, изъявляя готовность идти, куда прикажут, но не тронулся с места. Он знал, что, прежде чем ехать, многое еще будут кричать, сидя на нем, поправлять и приказывать Ваське, другому табунщику, и лошадям.

Действительно Нестер стал кричать:

— Васька! а Васька! Маток выпустил что ль? Куда ты, леший! Но! Аль спишь! Отворяй.[10*] Пущай наперед матки пройдут, и т. д.

Ворота заскрипели. Васька, сердитый и заспанный, держа лошадь в поводу, стоял подле них, и одна за одной, осторожно ступая по соломе и обнюхивая, стали проходить [11*] жеребята, стригуны и сосунчики, и тяжелые утробистые матки, осторожно, по одной в воротах, пронося свое брюхо. Молодые кобылки теснились иногда по двое, по трое, кладя друг другу головы через спины и торопились ногами в воротах, за что всякий раз получали бранные слова от табунщиков. Сосунчики бросались к ногам иногда чужих маток и звонко ржали, отзываясь на короткое гоготанье маток.

Молодая кобылка шалунья, как только выбралась за вороты, загнула вниз и на бок голову, взнесла задом и взвизгнула; но все-таки не посмела забежать вперед вороной — старой Жулдыбы, которая тихим, тяжелым шагом, с боку на бок переваливая брюхо, степенно шла, как всегда, впереди всех лошадей.

За несколько минут столь оживленный варок печально опустел, грустно торчали [12*] столбы под пустыми навесами и виднелась одна измятая унавоженная солома. Как ни привычна была эта картина опустения для пегого мерина, она, должно быть, грустно подействовала на него. Он медленно покачал головой, вздохнул, насколько ему позволял стянутый трок, и, ковыляя своими погнутыми нерасходившимися ногами, побрел за табуном, унося на своей спине старого Нестера.

«Знаю теперь, как выедем на дорогу, он станет высекать огонь и закурит свою деревянную трубочку в медной оправе и с цепочкой,— думал мерин.— Я рад этому, потому что рано поутру с росой мне приятен этот запах и напоминает много приятного; досадно только, что с трубочкой в зубах старик всегда раскуражится, что-то вообразит о себе и сядет боком, непременно боком; а мне больно с этой стороны. Впрочем, бог с ним, мне не в новости страдать для удовольствия других; я даже стал уже находить какое-то лошадиное удовольствие в этом. Пускай его хорохорится, бедняк. Ведь только и храбриться ему одному, пока его никто не видит, пускай сидит боком»,— рассуждал мерин и, осторожно ступая покоробленными ногами, шел по середине дороги.

ГЛАВА [13*] II

Пригнав табун к реке, около которой должны были пастись лошади, табунщики слезли, расседлали, и табун медленно стал разбираться по не сбитому еще лугу, покрытому росой и паром, поднимавшимся одинаково от луга и от реки, огибавшей его.

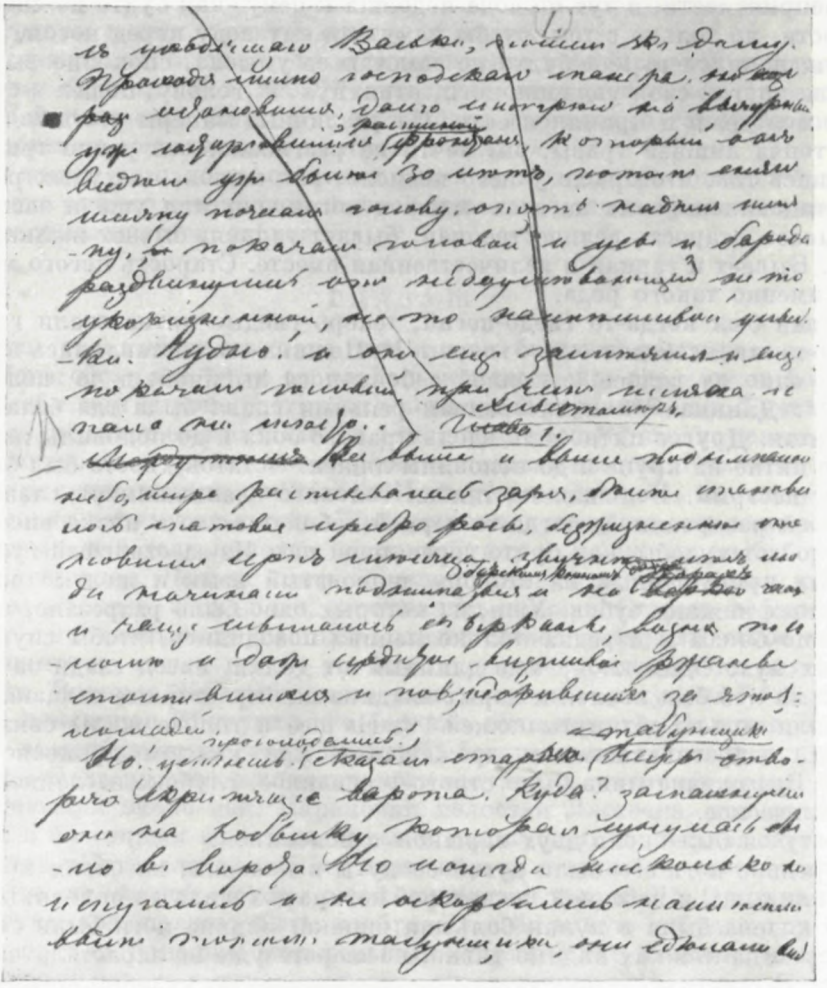
Сняв уздечку с пегого мерина, Нестер почесал его под шеей, в ответ на что мерин, в знак благодарности и удовольствия, закрыл глаза.

— Любит, старый пес! — проговорил Нестер.

Мерин же нисколько не любил этого чесанья и только из деликатности притворялся, что оно ему приятно. Он помотал головой в знак

[10*] *Далее было:* Пропасти на тебя нет
[11*] *Далее было:* кобылы
[12*] *Далее было:* пустые
[13*] *Первоначально:* Песнь

согласия. Но вдруг, совершенно неожиданно и без всякой причины, Нестер, предполагая, может быть, что слишком большая фамильярность может дать ложные о своем значении мысли пегому мерину, Нестер без всякого приготовления оттолкнул от себя голову мерина и, замахнувшись уздой, очень больно ударил самой пряжкой мерина по сухой [14*]



ЧЕРНОВОЙ АВТОГРАФ РАННЕЙ РЕДАКЦИИ ПОВЕСТИ «ХОЛСТОМЕР», 1861—1863 гг.
Лист первый
Архив Толстого, Москва

ноге и, ничего не говоря, пошел на бугорок к пню, около которого он сиживал обыкновенно.

Огорчил или нет этот поступок пегого мерина, но он не подал никакого вида и, медленно помахивая хвостом и принюхиваясь и так только для рассеянья пощипывая траву, пошел к реке. Не обращая никакого вниманья на то, что выделывали вокруг него обрадованные утром молодые кобылки, стригунки и сосунчики, и зная, что здоровее всего, особенно

[14*] *Первоначально*: ляжке

в его лета, прежде напиться хорошенько натощак, а потом уже есть, он выбрал где поотложее и просторнее берег, и моча копыты и щетку ног, опустил губы и стал сосать сквозь свои прорванные губы и поводить наполнявшимися боками и от удовольствия помахивать облезшим пегим хвостом [15*].

Бурая кобылка забияка, всегда дразнившая старика и делавшая ему неприятности, и тут по воде подошла к нему, как будто по своей надобности, но только с тем, чтобы намутить ему воду перед носом, но пегий уж напился и, как будто не замечая ее умысла, спокойно вытащил одну за другой свои увязшие ноги, отряхнул [16*] голову, пошел в сторонку от молодежи и принялся есть. На различные манеры отставляя ноги и не топча лишней травы, он, почти не разгибаясь, ел ровно три часа. Наевшись так, что брюхо у него повисло, как мешок, на худых ребрах, он установился ровно на всех четырех ногах, опустил уши и заснул.

Бывает старость величественная, бывает гадкая, бывает жалкая старость. Бывает и гадкая и величественная вместе. Старость пегого мерина была именно такого рода.

Мерин был когда-то гнедо-пегий; теперь гнедые пятна стали грязно-чалого цвета, особенно около головы [17*]. Пежина его составлялась из трех пятен; одно на голове, с кривой с боку носа лысиной, и до половины шеи [18*]. Длинная [19*] и засоренная репьями грива была где белая, где буроватая. Другое пятно шло вдоль правого бока и до половины живота; третье пятно на крупе и до половины ляжек. Остаток хвоста был белесоватый, пестрый. Большая костлявая голова с ввалившимися глазами и отвисшей разорванной, когда-то черной губой тяжело и низко висела на выгнутой от худобы, как будто деревянной шее. Из-за отвисшей губы виден был прикушенный на сторону черноватый язык и желтые остатки съеденных нижних зубов. Уши, из которых одно было разрезано, висели низко по бокам и изредка только лениво поводились, чтобы спугивать липших мух. Один клок, еще длинный от холки, висел сзади за ухом; открытый лоб был ввален и изрыт впадинами, просторные салазки (скулы) были только обтянуты кожей [20*]. На шее и голове жилы связались узлами, вздрагивавшими и дрожавшими при каждом прикосновении мухи. Выражение лица было строго-терпеливое, глубокомысленное и [21*] страдальческое.

Росту он был около двух вершков с половиной.

Передние ноги его были дугой согнуты в коленях, на обоих копытах были наплывы, и на одной, на которой пегина доходила до половины ноги, около колена была в кулак большая шишка. Задние ноги были свежее; но стерты на ляжках видимо давно, но шерсть уже не зарастала на этих местах. Все ноги казались несоразмерно длинны по худобе стана. Ребры были так открыты и обтянуты, что шкура, казалось, присохла к лощинкам между ними. Холка и спина были испещрены старыми побоями, и репица хвоста с обозначавшимися на ней позвонками торчала длинная и почти голая. На буром крупе около хвоста была заросшая белыми волосами в ладонь рана, вроде укуса, другая рана — рубец видна была в передней лопатке. Задние коленки и хвост были нечисты. Шерсть по всему

[15*] *Первоначально:* хвостиком

[16*] *Первоначально:* встряхнул; *далее было:* замочившейся гривой

[17*] *Далее было:* обсыпанной мелкими пятнышками, называемыми гречкой.

[18*] *Далее зачеркнуто:* То, что оставалось от гривы, теперь было белое с буроватой холкой *и вписано:* Длинная ~ буроватая.

[19*] *Первоначально:* Густая

[20*] *Далее зачеркнуто:* Но выражение этого *и вписано:* На шее ~ Выражение

[21*] *Далее было:* глубоко

телу [22*] торчала дыбом грязно и редко. Но, несмотря на отвратительную старость этой лошади, невольно задумывался, взглянув на нее, а знаток сразу бы сказал, что это была в свое время замечательно хорошая лошадь.

Знаток сказал бы даже, что была только одна порода в России, которая могла дать такую широкую кость, такие громадные маслаки, копыты, такую тонкость кости ноги, такой постанов шеи, главное, такую кость головы, глаз — большой, черный и светлый, эти породистые комки жил около головы и шеи, тонкую шкуру и волос.

Действительно, было что-то величественное в фигуре этой лошади и в страшном соединении в ней [23*] отталкивающих признаков дряхлости, усиленной пестротой шерсти, и приемов и выражения самоуверенности и спокойствия сознательной красоты и силы.

Как живая развалина, он стоял одиноко посереди росистого [24*] луга, а недалеко от него слышались топот, фырканье, молодое ржанье, взвизгиванье рассыпавшегося табуна.

ГЛАВА III

Солнце уже выбралось выше леса и ярко блестело на траве и извивах реки. Река обсыхала [25*] и собиралась каплями, кое-где, около болотца и над лесом, как дымок, расходился последний утренний пар. Тучки кудрявились, но ветру еще не было. За рекой щетинкой [26*] стояла зеленая [27*], свертывавшаяся в трубку рожь и пахло свежим цветом. Кукушка куковала с прихрипываньем из леса, и Нестер, развалившись на спину, считал, сколько лет ему еще жить. Жаворонки поднимались над рожью и лугом. Запоздалый заяц попался между табуном и, выскочив на бугор, сел и прислушивался. Васька опять задремал, уткнув голову в траву; кобылки еще просторнее, обойдя его, рассыпались по низу. Старые, пофыркивая на росу, прокладывали светлый следок и все выбирали такое место, где бы никто не мешал им, но уж не ели, а только закусывали вкусными травками. Вороная Жулдыба опять-таки степенно выступала [28*] впереди других, показывая [29*] другим возможность идти дальше. Молодая, в первый раз ожеребившаяся серая Мушка [30*] беспрестанно гоготала и, подняв хвост, фыркала на своего лиловенького сосунчика, который, дрожа коленами, ковылял около ней. Караковая холостая Ласточка, как атласная гладкая и блестящая шерстью, опустив голову так, что черная шелковистая холка закрывала ей лоб и глаза, играла с травой — щипнет и бросит, и стукнет мокрой от росы ногой с пушистой челкой [31*]. Один из старших сосунчиков, должно быть воображая себе какую-нибудь игру, уже 26 раз, подняв панашом коротенький кудрявый [32*] хвостик, обскакал кругом своей матки, которая спокойно щипала траву [33*], успев уже привыкнуть к характеру своего сына, и только изредка косилась на него большим черным глазом.

[22*] *Слово* телу *взято из поправленной в 1885 г. копии.*

[23*] *Далее было:* неприятных признаков

[24*] *Далее было:* молодого

[25*] *Далее было:* пар

[26*] *Первоначально:* стеной

[27*] *Далее зачеркнуто:* чуть буреющая, выколосившаяся *и надписано:* свертывавшаяся в трубку

[28*] *В автографе:* выступает. *Исправлено по аналогии с авторскими исправлениями в предыдущей и последующих фразах — везде настоящее время на прошедшее.*

[29*] *Далее было:* им

[30*] *Далее было:* все

[31*] *Так в автографе. Позднее в копии Толстым исправлено:* щеткой.

[32*] *Первоначально:* пуши⟨стый⟩

[33*] *Далее было: а.* зная твер⟨до⟩; *б.* уже

Один из самых маленьких сосунов, черный, головастый, с удивленно торчащей между ушами холкой и хвостиком, свернутым на сторону, уставив уши и тупые глаза, не двигаясь с места, пристально смотрел на сосуна, который скакал и пятился, неизвестно, завидуя или осуждая, зачем он это делает.

Которые сосут, подталкивая носом, которые неизвестно [34*] почему, несмотря на зовы матерей, бегут маленькой неловкой рысцой прямо в противоположную сторону, как будто отыскивая что-то, и потом неизвестно для чего останавливаются и ржат отчаянно-пронзительным голосом; которые лежат боком вповалку, которые учатся есть траву, которые чешутся задней ногой за ухом.

Две еще жеребые кобылы ходят отдельно и, медленно передвигая ноги, все еще едят. Видно, что их положение уважаемо [35*] другими, и никто из молодежи не решается подходить и мешать. Ежели и вздумает какая-нибудь шалунья подойти близко к ним, то одного движения уха и хвоста достаточно, чтобы показать им всю неприличность их поведенья.

Стригунки, годовалые кобылки притворяются уже большими и степенными и редко подпрыгивают и сходятся с веселыми компаниями. Они чинно едят траву, выгибая свои лебединые стриженые шейки, и, как будто у них тоже есть хвосты, помахивают своими веничками. Так же, как большие, некоторые ложатся, катаются или чешут друг друга. Самая веселая компания составляется из двухлеток — трехлеток и холостых кобыл. Они ходят почти все вместе и отдельно веселой девичьей гурьбой. Между ними слышится топот, взвизгиванье, ржанье, брыканье. Они сходятся, кладут головы друг другу через плечи, обнюхиваются, прыгают и иногда, всхрапнув [36*] и подняв трубой хвост, полу-рысью, полу-тропотой гордо и кокетливо пробегают перед товарками. Первой красавицей и затейницей между всей этой молодежью была шалунья бурая кобылка. Что она затевала, то делали и другие, куда она шла, за ней шла и вся гурьба красавиц.

Шалунья была в особенно игривом расположенье в это утро. Веселый стих нашел на нее, так, как он находит и на людей. Еще на водопое подшутив над стариком, она побежала вдоль по воде, притворилась, что испугалась чего-то, храпнула и что есть духу поскакала [37*] в поле, так что Васька должен был скакать за ней и за другими [38*], увязавшимися за ней. Потом, поев немного, она начала валяться, потом дразнить старух тем, что заходила [39*] вперед их, потом отбила одного сосунка и начала бегать за ним, как будто желая укусить его. Мать испугалась и бросила есть, сосунчик кричал жалким голосом, но шалунья ничем даже не тронула его, а только попугала его и доставила зрелище товаркам, которые все смотрели на ее проделки. Потом она затеяла вскружить голову чалой лошадке, на которой далеко за рекой по ржам проезжал мужичок с сохою. Она остановилась, гордо, несколько на бок подняла голову, встряхнулась и заржала сладким, нежным и протяжным голосом. И шалость, и чувство, и некоторая грусть выражалась в этом ржаньи. В нем было и желанье, и обещанье любви, и грусть по ней. «Вон дергач, в густом тростнике, перебегая с места на место, страстно зовет к себе свою подругу, вон и [40*] кукушка и перепел поют любовь, и цветы [41*] по ветру пересылают свою душистую пыль друг другу. И я и молода, и хороша, и сильна,—

34* *Далее было:* зачем

35* *В автографе:* уважаемое, *но в копии Толстым позднее исправлено на:* уважаемо.

36* *Первоначально:* взбрыкнув ⟨?⟩

37* *Первоначально:* побежала

38* *Далее было:* молодками

39* *Первоначально:* забегала

40* *Далее было:* соловей

41* *Далее было:* и рожь

думала, может быть, про себя шалунья,— а мне не дано было до сей поры испытать сладость этого чувства, не только не дано испытать, но ни один любовник, ни один еще не видал меня».

И шаловливое веселое ржанье грустно и молодо отозвалось низом и полем, и издалека донеслось до чалой лошадки. Она подняла уши и остановилась. Мужик ударил ее лаптем, но чалая лошадка была очарована серебряным звуком далекого ржанья, и она заржала тоже. Мужик рассердился, дернул ее возжами и ударил так лаптем по брюху, что она не успела докончить своего ржанья и пошла дальше. Но [42*] чалой лошадке стало [43*] сладко и грустно, и из далеких ржей долго еще долетали до табуна звуки начатого страстного ржанья и сердитого голоса мужика [44*].

Ежели от одного звука этого голоса чалая лошадка могла ошалеть так, что забыла свою должность, что бы было с ней, ежели бы она видела всю красавицу шалунью, как она, насторожив уши, растопырив ноздри, втягивая в себя воздух и куда-то порываясь и дрожа всем своим молодым и красивым телом, звала ее. Но шалунья долго не задумывалась над своими впечатлениями. Когда голос чалого замолк, она насмешливо поржала еще и, опустив голову, стала копать [45*] ногой землю, а потом пошла будить и дразнить пегого мерина. Пегий мерин был всегдашним мучеником и шутом этой счастливой молодежи. Он страдал от этой молодежи больше, чем от людей. Ни тем, ни другим он не делал зла. Людям он был нужен, но за что же мучали его молодые лошади?

ГЛАВА IV [46*]

Он был стар, они были молоды, он был худ, они были сыты, он был скучен, они были веселы. Стало быть, он был совсем чужой, посторонний, совсем другое существо, и нельзя было жалеть его.

Лошади жалеют только самих себя, только тех, в шкуре кого они себя легко могут представить. Но был ли виноват пегий мерин в том, что он был стар и тощ и уродлив?.. Да. По-лошадиному, он был виноват, и правы были всегда только те, которые были сильны, молоды и счастливы, те, у которых было все впереди, те, у которых от ненужного напряженья дрожал каждый мускул и колом поднимался хвост кверху. Может быть, что и сам пегий мерин понимал это и в спокойные минуты соглашался, что он виноват тем, что прожил уже жизнь, что ему надо платить за эту жизнь; но он все-таки был лошадь [47*] и не мог удерживаться часто от чувств оскорбленья, грусти и негодованья, глядя на всю эту молодежь, казнившую его за то самое, чему все они будут подлежать в конце жизни.

Причиной безжалостности [48*] лошадей было тоже и аристократическое чувство. Каждая из них вела свою родословную по отцу или по матери от знаменитого Сметанки, пегий же, неизвестно какого рода, был пришлец, купленный три года тому назад за 80 рублей ассигнациями на ярманке..

Бурая кобылка, как будто прогуливаясь, подошла к самому носу пегого мерина и толкнула его. Он уже знал, что это такое, и, не открывая глаз, приложил уши и оскалился. Кобылка повернулась задом и сделала вид, что хочет ударить его. Он открыл глаза и отошел в другую сторону. Спать ему уже не хотелось, и он начал есть. Снова шалунья, сопутствуе-

---

[42*] *Далее зачеркнуто:* ей *и вписано:* чалой лошадке

[43*] *Далее было:* ужасно

[44*] *Далее зачеркнуто:* Шалунья долго не задумывалась над своими впечатлениями *и вписано:* Ежели от одного ~ Но шалунья долго не задумывалась над своими впечатлениями.

[45*] *Первоначально:* щипать

[46*] *В автографе:* Песнь 3-я

[47*] *Первоначально:* человек

[48*] *Далее было:* других

мая своими подругами [49*], подошла к мерину. Двухлетняя лысая кобылка, очень глупая, всегда подражавшая и во всем следовавшая за бурой, подошла с ней вместе и, как всегда поступают подражатели, начала пересаливать то самое, что делала зачинщица. Бурая кобылка обыкновенно подходила как будто по своему делу и проходила мимо самого носа мерина, не глядя на него, так что он решительно не знал, сердиться или нет, и это было действительно смешно [50*]. Она сделала это и теперь, но лысая, шедшая за ней и особенно развеселившаяся, уже прямо грудью ударила мерина. Он снова оскалил зубы, взвизгнул, и с прытью, которую нельзя бы было ожидать от него, бросился за ней и укусил в ляжку. Лысенькая ударила всем задом [51*] и тяжело ударила старика по худым, голым ребрам. Старик захрипел даже, хотел броситься еще, но потом раздумал и, тяжело вздохнув, отошел в сторону. Должно быть, вся молодежь табуна приняла за личное оскорбление дерзость, которую позволил себе пегий мерин в отношении лысой кобылки, и весь остальной день ему решительно не давали кормиться и ни на минуту не давали покоя [52*], так что табунщик несколько раз унимал их и не мог понять, что с ними сделалось. Мерин так был обижен, что сам подошел к Нестеру, когда старик собрался гнать назад табун, и почувствовал себя счастливее и покойнее, когда его оседлали и сели на него.

Бог знает о чем думал старик мерин, унося на своей спине старика Нестера. С горечью ли думал он о неотвязчивой и жестокой молодежи или с свойственной старикам презрительной и молчаливой гордостью судил своих обидчиков, только он ничем не проявил своих размышлений до самого дома [53*].

К Нестеру приехали кумовья в этот вечер и, прогоняя табун мимо дворовых изб, он заметил телегу с лошадью, привязанною к его крыльцу. Загнав табун, он так поторопился, что, не сняв седла, пустил на двор мерина и, крикнув Ваське, чтоб он расседлал [54*] табунного, запер ворота и пошел к кумовьям.

Вследствие ли оскорбления, нанесенного пегим стариком гнедой кобылке, и возмущенного этим поступком аристократического чувства всех заводских лошадей — «коростовая дрянь, купленная на конной и не знающая отца и матери, смела укусить за ляжку Сметанкину правнучку! Положим, она была виновата, и он добрый старик, никого не обижал, но все-таки он должен был помнить, кто она и кто он»— так думали лошади— вследствие ли этого, или вследствие того, что мерин в высоком седле, без седока, представлял странно фантастическое для лошадей зрелище, только на варке произошло в эту ночь что-то необыкновенное. Все лошади, молодые и старые, с оскаленными зубами бегали за мерином, гоняя его по двору, раздавались звуки копыт о его худые бока и тяжелое кряхтение. Мерин не мог более переносить этого, не мог более избегать ударов. Он остановился [55*] посередине двора, на лице его выразилось отвратительное, слабое и грозное озлобление бессильной старости, он остановил свои глаза, приложил уши и шевелил губами. Лошади окружили его, но ни

[49*] *Далее зачеркнуто:* в числе которых одна *и вписано окончание фразы.*

[50*] *Далее было:* Лысая же

[51*] *Далее было: а.* но озлобив‹шийся›; *б.* пегий

[52*] *Далее зачеркнуто:* Он сам подошел к Нестеру *и вписано:* так что табунщик~ к Нестеру

[53] *В автографе на полях конспективная запись:* Подле дома встретили их два господина. «Это чей пегий?» — спросил один.—« Табунщик купил».— «Постой. Подъезжай сюда. Это Хлыстомер. Не может быть. Он. Эх, бедняга...»

Далее зачеркнутый текст автографа (т. 26, с. 477—479, вар. 2 и 2а).

[54*] *Далее зачеркнуто:* мерина, пошел *и вписано:* табунного

[55*] *Далее было:* между двух

одна не посмела подойти ближе, и тут произошло что-то необыкновенное [56*].

Посередине освещенного луной двора стояла высокая худая фигура мерина с высоким седлом, которое своей лукою угрожало, казалось, лошадям. Мерин глядел задумчиво и страшно, бока его высоко поднимались и опускались, и он медленно шевелил губами [57*]. Лошади теснились вокруг него, фыркая и вздыхая, как будто они что-то новое, необыкновенное видели в нем, точно новое, неожиданное они слушали от него [58*] . . . .

— Да, я Хлыстомер,— говорил пегий мерин,— тот самый Хлыстомер, сын Телки и Доброго 1-го, которому по крови [59*] нет равной лошади в России. Я никогда бы не сказал вам этого. К чему? Вы бы никогда не узнали меня, как не узнавала меня Вязопуриха, бывшая со мной вместе в Хреновом и теперь только признавшая меня. Вы бы и теперь не поверили мне, ежели бы не было свидетельства этой Вязопурихи. Я бы никогда не сказал вам этого. Мне не нужно лошадиное сожаление. Но вы хотели этого. Да, я тот Хлыстомер, которого отыскивают и не находят охотники, тот Хлыстомер, которого знал сам граф и сбыл с завода за то, что я обошел его любимца Лебедя.

И Хлыстомер таким образом стал рассказывать историю своей жизни.

Вечер 1

Когда я родился, я не знал, что такое значит «пегий», я думал, что я лошадь. Первое замечание о моей шерсти, помню, глубоко поразило меня и мою мать.

Я родился, должно быть, ночью, к утру я, уже облизанный матерью, стоял на ногах. Помню, что мне все чего-то хотелось, и все мне казалось чрезвычайно удивительно и вместе чрезвычайно просто. Денник у нас был в длинном теплом коридоре, с решетчатыми дверьми, сквозь которые все видно было.

Мать подставляла мне соски, а я был так еще невинен, что тыкал носом,— то ее под передние ноги, то под комягу. Вдруг мать оглянулась на решетчатую дверь и, обнесши через меня ногу, посторонилась. Дневальный конюх смотрел к нам в денник.

— Ишь ты, Телка-то ожеребилась,— сказал он и стал отворять задвижку. Он взошел по своей постилке и обнял меня руками.

— Глянь-ка, Тарас,— крикнул он,— пегий какой, ровно сорока.

Я рванулся от него и спотыкнулся на колени.

— Вишь, чертенок,— проговорил он.

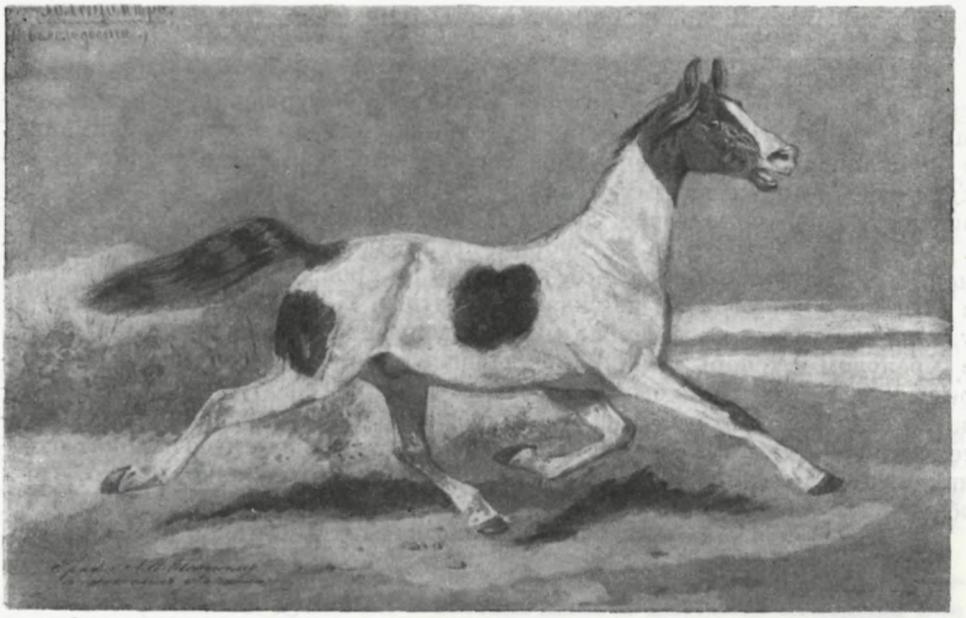
Мать обеспокоилась, но не стала защищать меня и, только тяжело-тяжело вздохнув, отошла немного в сторону. Пришли конюха и стали смотреть меня. Один побежал объявить конюшему. Все смеялись, глядя на мои пежины, и давали мне разные странные названия. Не только я, но и мать не понимала значения этих слов. До сих пор между нами и всеми моими родными не было ни одного пегого. Мы не думали, чтоб в этом было что-нибудь дурное. Сложение же и силу мою и тогда все хвалили.

[56*] *Далее было:* Месяц уже взошел и, слабо освещая двор, начинал по соломе класть тени столбов и лошадей. Через

[57*] *Далее было:* На варке произошло что-то необыкновенное.

[58*] *Далее было:* Все затихло, только слышались вздохи и переставление ног по свежей соломе. Мерин молча поводил прорванными черными губами . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
—Да, я, друзья мои,—говорил пегий мерин,—я, каким вы меня видите, опоенным, [израненным], кривобоким, без целого места на теле, без хвоста и гривы, под седлом табунщика, водовоз — я не то, что думают обо мне эти люди и что вы думали.

[59*] *Первоначально:* породе



«ХОЛСТОМЕР в МОЛОДОСТИ»
Акварель Н. Е. Сверчкова
Внизу дарственная надпись: «Графу Л. Н. Толстому с истинным уважением Сверчков. 1887»
Дом-музей Толстого в Хамовниках, Москва

— Вишь, какой шустрый,— говорил конюх,— не удержишь.

Через несколько времени пришел конюший, и он стал удивляться на мой цвет, он даже казался огорченным.

— И в кого такая уродина уродилась,— сказал он,— генерал его теперь не оставит в заводе. Эх, Телка, посадила ты меня,— обратился он к моей матери.— Хоть бы лысого ожеребила, а то вовсе пегого!

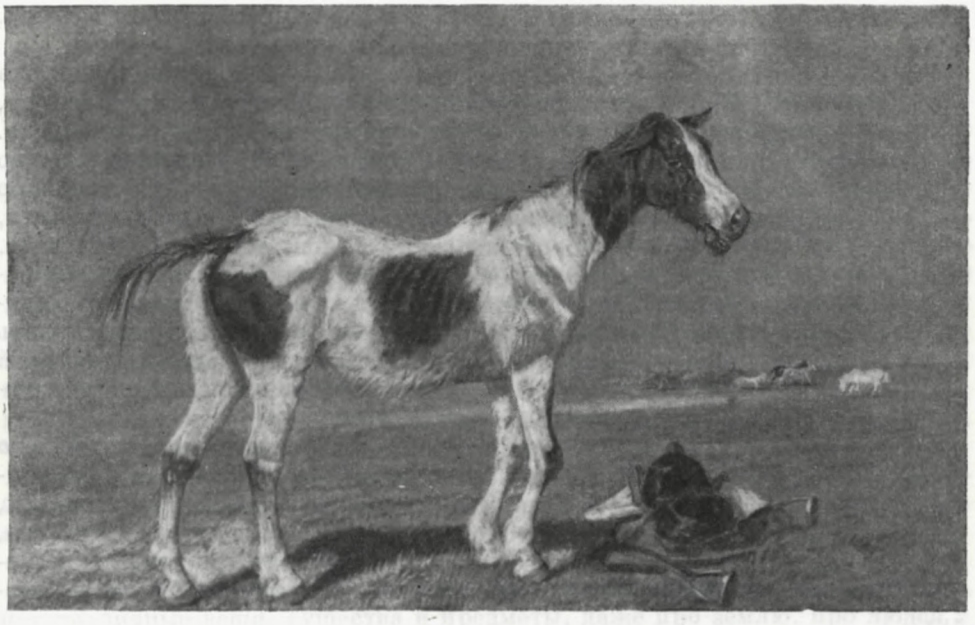
Мать моя ничего не отвечала и, как всегда в подобных случаях, опять вздохнула.

— И в какого черта он уродился, точно мужик,— продолжал он,— в заводе нельзя оставить, срам, а хорош, очень хорош, — говорил и он, и все, глядя на меня.

Через несколько дней пришел и сам генерал посмотреть на меня и опять все чему-то ужасались и бранили меня и мою мать за цвет моей шерсти.

— А хорош, очень хорош,— повторял всякий, кто только меня видел.

До весны мы жили в денниках все порознь, только изредка, когда снег на крышах варков стал уже таять от солнца, нас с матерями стали выпускать на широкий двор, устланный свежей соломой. Тут в первый раз я узнал всех своих родных и соплеменников. Тут из разных дверей я видел, как выходили с своими сосунками все знаменитые кобылы того времени. Тут была старая Голландка, Мушка, сметанкина дочь, Краснуха, верховая Доброхотиха и все знаменитости того времени, все собирались тут с своими сосунками, похаживали по солнышку, катались по свежей соломе и обнюхивали друг друга, как и простые лошади. Вид этого варка, наполненный красавицами того времени, я не могу забыть до сих пор. Вам странно думать и верить, что и я был молод и резов, но это так было. Тут была и Вязопуриха с годовалым стригунчиком — милой, веселой и резвой лошадкой; но, не в обиду будь ей сказано, не-



«ХОЛСТОМЕР В СТАРОСТИ»
Акварель Н. Е. Сверчкова
В 1887 г. была подарена художником Толстому
Дом-музей Толстого в Хамовниках, Москва

смотря на то, что она редкостью по крови теперь считается между вами, тогда она была [60*] из худших лошадей того приплода.

Пестрота моя чрезвычайно понравилась всем; все окружили меня, любовались и заигрывали со мною.

Так прошел месяц, я забыл слова людей о моей пестроте и чувствовал себя счастливым. В это время я узнал первое горе в моей жизни, и причиной его была мать. Когда уже начало таять, воробьи чирикали под навесами и в воздухе сильнее начала чувствоваться весна, мать моя стала переменяться в обращении со мною. Весь нрав ее изменился; то она вдруг без всякой причины начинала играть, бегая по двору; то задумывалась и начинала ржать; то кусала и брыкала подходивших лошадей; то начинала обнюхивать меня и недовольно фыркать; то, выходя на солнце, клала свою голову чрез плечо своей двоюродной сестре Купчихе и долго задумчиво чесала ей спину и отталкивала меня от сосков. Один раз пришел конюший, велел надеть на нее недоуздок — и ее повели из денника. Она заржала, я откликнулся ей и бросился за нею; но конюх Тарас схватил меня в охапку в то время, как затворяли дверь за выведенною матерью. Я рванулся, сбил конюха в солому, но дверь была заперта, и я только слышал все удалявшееся ржанье матери. И в ржании этом я уже не слышал призыва, а слышал другое выражение, которого я еще не замечал в матери. На ее голос далеко отозвался могущественный голос, как я после узнал, это был Добрый Первый, который с двумя конюхами по сторонам шел на свиданье с моею матерью.

Я не помню, как вышел Тарас из моего денника: мне стало так грустно, как бы я навсегда потерял свою мать и любовь ее. Это все оттого, что я пегий, думал я, вспоминая слова людей — и такое зло меня взяло, что

[60*] *Последние два слова взяты из исправленной Толстым копии.*

я стал биться об стены денника головой и коленами, и бился до тех пор, пока не вспотел и не остановился в изнеможении.

Через несколько времени мать вернулась ко мне. Я слышал, как она рысцой и непривычным ходом подбежала к нашему деннику по коридору. Ей отворили дверь, я не узнал ее — как она помолодела и похорошела. Она обнюхала меня, фыркнула и начала гоготать. По всему выражению ее я видел, что она меня не любила в это время. Она рассказывала мне про красоту Доброго и про свою любовь к нему. Свидания эти продолжались, и между мною и матерью отношения становились холоднее и холоднее.

Скоро нас выпустили на траву, и с этой поры я почувствовал себя более самостоятельным. У меня были подруги и товарищи, мы вместе учились есть траву, ржать так же, как и большие, и, подняв хвосты, скакать кругами вокруг своих матерей. Это было самое счастливое время моей жизни. Мне все прощалось, все меня любили, любовались мною и снисходительно смотрели на все, что бы я ни сделал.

В августе месяце нас разлучили с матерью; я не чувствовал особенного горя. Я видел, что мать моя носила уже меньшого моего брата, знаменитого Лебедя, и что в ней уже было меньше любви ко мне. Я не ревновал, но я чувствовал, что становился холодней к ней. Кроме того, я знал, что, оставив мать, я поступлю в общее отделение жеребят, где мы стояли подвое и по-трое, и каждый день всей гурьбой молодежи выходили на воздух.

Я стоял в одном деннике с Милым. Милый был верховой и впоследствии был лошадью императора, тогда он еще был простой сосунчик, с глянцевитой простой шерстью, лебединой шейкой и как струнки ровными и тонкими ногами. Он был всегда весел, добродушен и любезен; всегда готовый играть, лизаться и подшутить над лошадью или человеком. Мы с ним невольно подружились, живя вместе, и дружба эта продолжалась всю нашу жизнь. Он был весел и легкомыслен. Он тогда уже начинал любить и первый объяснил мне значение этой страсти. Я же, напротив, уже тогда показывал склонность к серьезности и глубокомыслию, и всю зиму эту не мог понять, какую прелесть находил Милый в игре с кобылкою. Моя пежина, возбуждавшая такое странное презрение в людях, и так скоро потерянная любовь матери, променявшей меня на Доброго, возбуждали во мне эту серьезность настроения и мысли.

Случилось еще третье обстоятельство, содействовавшее раннему развитию во мне мысли. Зимою, во время праздников, нам целый день не давали корму и не поили нас. Как я после узнал, потому, что наш конюх был пьян.

В этот же день конюший взошел к нам, посмотрел, что нет корму, и начал ругать самыми дурными словами нашего конюха, которого здесь не было, потом ушел.

На другой день наш конюх с другим товарищем взошел в наш денник задавать нам сена; я заметил, что он особенно был бледен и печален; в особенности в выражении длинной дворовской спины его было что-то грустное и наказанное.

Он сердито бросил сено, я сунулся было головой чрез его плечо; но он кулаком так больно ударил меня по морде, что я отскочил. Он еще ударил меня каблуком по животу.

— Кабы не этот коростовый,— сказал он,— ничего бы не было.

— А что? — спросил другой конюх.

— Пегий-то ведь его теперь.

— Чей? — спросил другой.

— Конюшего, черта-то,— отвечал наш конюх.— Генерал пегого жеребенка продал, подарил что ли. То-то вчерась зашел сюда, да и говорит: «Корму нет», и ну бузовать. Христианства нет. Скотину жалчей человека!

Кабы не свой жеребенок, ничего бы; креста, видно, на нем нет, сам считал, варвар, и сам генерал так не парывал, видно, христианской души нет.

То, что они говорили о христианстве и о том, что высекли нашего конюха, я хорошо понял; но для меня совершенно было темно тогда, что такое значило, что я был продан или подарен конюшему. Только гораздо уже после, когда меня отделили от других лошадей, я понял, что это значило. Тогда же мне казалось так непонятно, чтобы я мог принадлежать кому-нибудь. Что такое значило, когда говорили про меня: «мой жеребенок» или «моя лошадь». Я понимал, что значит: моя нога, моя голова, мой хвост; но почему же моя лошадь? Ежели бы это значило, что он кормит меня, я бы понял,— но кормили меня различные люди. Ежели бы это значило, что он бьет меня,— но и били меня различные люди. Сказать: моя лошадь — мне казалось так же невозможно, как сказать: моя земля, мой воздух, моя вода. Теперь только, побывав у многих хозяев, я понял, что значит — моя лошадь.

— Что же это такое значит? — спросили другие лошади с любопытством, настораживая себе уши,— мы часто слыхали это и не могли дать себе отчета.

Хлыстомер продолжал:

— Вот что значит «моя лошадь». Люди любят говорить: моя, мой, мое про различные вещи, существа и предметы, даже про землю, про людей и про лошадей. В этом заключается главная страсть людей, и для того, чтобы говорить про какую-либо вещь — мое, они готовы всем пожертвовать; но так как про одну и ту же вещь многие желают говорить — мое, и им неприятно, когда кто-нибудь другой говорит «мое» про одну и ту же вещь, то они условливаются, чтобы только один говорил про одну вещь — мое. И тот, кто про наибольшее число вещей говорит — мое, тот считается у них счастливейшим.

Для чего это так, я не знаю, но это так. Я долго прежде старался объяснить себе это понятие «мое», за которое столь многим жертвуют люди, какою-нибудь прямою выгодою, но не мог; и убежден теперь, что в этом состоит существенное различие людей от нас. И потому только мы смело можем сказать, что стоим выше, чем люди: люди подлежат желанию называть вещи «мое», а мы свободны от этой животной слабости.

Прежде, отыскивая эту истину, я спрашивал себя: не означает ли «мое» какой-нибудь прямой и существенной выгоды права или силы или обязанности для человека? Многие из моих хозяев называли меня своей лошадью; но ездили на мне не они, а совершенно другие. Кормили меня не они, а другие. Делали мне добро опять-таки не они — хозяева, а кучера, коновалы и вообще сторонние люди. Впоследствии, расширив круг своих наблюдений, я убедился, что не только относительно нас, лошадей, понятие «мое» не имеет никакого другого основания, как бессмысленно составленное условие или животный людской инстинкт, называемый чувством собственности. Государь говорит: «Государство мое», но государство это не содействует нисколько его личному благосостоянию. Он не имеет вследствие этой собственности ни больше силы, ни больше ума, ни больше образования, ни главного, что дороже всего каждому животному,— ни больше досуга. Купец говорит: «Моя лавка», «Моя лавка сукон», например,— и не имеет одежды из лучшего сукна, которое есть у него в лавке, и опять не имеет вследствие этого ни больше образования, ни больше силы, ни больше досуга, а, напротив, меньше. Есть люди, которые землю называют своею, а никогда не видали этой земли и никогда по ней не проходили. Есть люди, которые называют других людей своими, а эти свои люди сильнее, здоровее и досужнее хозяев. Есть мужчины, которые женщин называют своими, а женщины эти живут с другими мужчинами.

И люди счастливы, главное, тем, когда получают исключительное право только называть какую-либо вещь своею.

Так в первые годы моей жизни были тревожные обстоятельства, заставившие меня сделаться тем серьезным и глубокомысленным мерином, которым я есмь. Первое, моя пегая шерсть, сделавшая меня в глазах людей каким-то выродком, несмотря на мою красоту и силу моего тела. Второе, измена и непостоянство моей матери; и третье, приобретение права конюшего между людьми называть меня своим жеребенком. С одной стороны, я задумывался о несправедливости лошадиной судьбы, сделавшей меня случайно пегим и потому несчастным. С другой стороны, о непостоянстве материнской и вообще женской любви, так сильно подлежащей физическим условиям. И наконец, я вдумывался уже в законы, руководящие той странной породой животных, которых мы называем людьми.

Итак, как бы то ни было, я был уже не свой, а конюшего, так думали, по крайней мере, люди, и вследствие этого меня и лучше кормили, и с весны не отделили от маток, а оставили в общем табуне. Вместо одинокой школьной жизни вместе с жеребчиками-стригунами, я жил в женском обществе и рано узнал любовь. Вязопуриха была старше меня одним годом, мы с нею были особенно дружны; но под конец осени я заметил, что она начала дичиться меня...

Но я не стану рассказывать всей этой несчастной истории моей первой любви, она сама помнит мое безумное увлечение, окончившееся для меня самой важной переменой в моей жизни. Табунщики бросились гонять ее и бить меня. Вечером меня загнали в особый денник, я ржал целую ночь, как будто предчувствуя событие завтрашнего дня. На другой день я уже навеки перестал ржать, я уж сделался мерином. Весь свет изменился в моих глазах. Ничто мне не стало мило, я углубился в себя и стал размышлять. Сначала мне все было постыло. Я перестал уже пить, есть и ходить, а уж об игре и думать нечего. Иногда мне приходило в голову взбрыкнуть, поскакать, поржать; но сейчас же представлялся страшный вопрос: зачем? к чему? И последние силы пропадали.

Один раз меня проваживали вечером, в то время как табун гнали с поля. Я издалека еще увидал облако пыли с неясными знакомыми очертаниями всех наших маток. Я услыхал веселое гоготанье и топот. Я остановился, несмотря на то, что веревка недоуздка, за который меня тянул конюх, резала мне затылок, и стал смотреть на приближающийся табун, как смотрят на навсегда [61*] потерянное и невозвратимое счастие.

Они приближались, и я различал по одной все мне знакомые, красивые, величавые, здоровые и сытые фигуры. Кое-кто из них тоже оглянулся на меня. Я не чувствовал боль от дерганья недоуздка конюха. Я забылся и невольно по старой памяти заржал; но ржание мое отозвалось грустно, смешно и нелепо. В табуне не засмеялись, но я заметил, как многие из них из приличия отвернулись от меня. Им, видимо, и гадко, и жалко, и совестно, и главное — смешно было на меня. Им смешно было на мою тонкую, невыразительную шею, большую голову (я похудел в это время), на мои длинные, неуклюжие ноги и на глупый аллюр рысцой, который я, по старой привычке, предпринял вокруг конюха.

Никто не отозвался на мое ржание, все отвернулись от меня. Я вдруг все понял, понял, насколько я навсегда стал далек от всех их, и не помню, как пришел домой за конюхом. Я провел ужасную ночь. Я передумал страшно много в эти двенадцать часов; но за это время навсегда решились судьба и направление моей жизни. Все радости жизни навсегда были потеряны; но, несмотря на то, я жил и должен был долго жить, я это чув-

---

[61*] *В рукописи:* всегда

ствовал. Что мне было делать? Как провести эту жизнь? Как заглушить в себе раскаяние в том, что сделали со мной другие. Как в этом, так и во многих других случаях есть только одно спасение для лошади. Это спасение есть труд. Вечный, непрестанный труд с сознанием того, что труд этот не приносит никакой пользы для себя и едва ли другим приносит какую-либо пользу. Но как было трудиться, стоя в деннике? Никто не запрягал меня, а я готов бы был возить воду, ходить по колесу на рушалке. Ожидая этого времени, я стал оказывать свое усердие при каждом удобном случае. Я стал есть, пить и спать, приготовляя себя к труду. И скоро признаки моего усердия увенчались успехом. Меня запрягли; я помню, как в первый раз сам конюший, который воображал, что я ему принадлежу, с толпой конюхов стали запрягать меня, ожидая от меня буйства или противодействия. Они скрянчили мне губу. Они обвили меня веревками, заводя в оглобли; а я ожидал только случая показать свою охоту и любовь к труду. Они удивлялись, что я пошел, как старая лошадь. Меня стали проезжать, и я стал упражняться в беганье рысью. С каждым днем я делал бóльшие и бóльшие успехи, так что чрез три месяца сам генерал и многие другие приходили смотреть на меня.

Жеребцов, моих братьев, проезжали на бегу, шаги их вымеряли, выходили смотреть на них, ездили в золоченых дрожках, накидывали на них дорогие попоны. Я ездил в простых разъездных дрожках конюха, но старался.

Один раз ездили Лебедя. Генерал смотрел на часы. Лебедь бежал в две минуты. Он был хорош, горд, благороден[62*]. А я бежал шибче его, но никто не обращал на меня внимания и не мерил моих шагов [63*].

Меня продали барышнику [64*].

2-й вечер

Весь этот день лошади почтительно обращались с Хлыстомером, только Нестер по-старому вел себя с ним. Но обращение Нестера было не грубо.

Погода начала изменяться. Было пасмурно с утра и росы не было, но тепло, и муха и комар липли. Чалый жеребеночек мужика, уже подходя к табуну, заржал, и бурая кобылка опять кокетничала.

[65*] — Будешь рассказывать? — спрашивали у пегого мерина.

— Буду, — отвечал он [66*] вздыхая, — но теперь мне грустно. Оставьте меня есть.

Возвращаясь домой в этот вечер, табун наткнулся на хозяина с гостем.

Жулдыба, подходя к дому, покосилась на две белые пестрые мужские фигуры в соломенных ярких шляпах. Старуха покосилась и, признав хозяина, величественно прошла по дороге. Остальные — молодежь — переполошились, замялись, особенно когда хозяин с гостем нарочно вошли в середину лошадей, что-то показывая друг другу и разговаривая.

— Вот эту я у Воейкова купил, серую в яблоках, — говорил хозяин.

— А эта молодая вороная белоножка чья? Хороша, — говорил [67*] гость.

[62*] *Далее было:* А что твой Пегашка, бежит? Едет? Ну, пусти, пусти.
[Он] Я обежал. [Но это не повело] Генерал рассердился.— Нужно продать,— сказал конюший и продал меня за 800 рублей тогда на ассигнации.
Купил его гусарский офицер, у которого был старый кучер из дворовых. Кучер был пьяница, офицер был охотник.

[63*] *Далее было:* Один раз только попробовали пу⟨стить⟩

[64*] *Далее в автографе зачеркнуто:* Они говорили, что я принадлежал офицеру.

[65*] *Первоначально:* Вечером

[66*] *Далее было:* гру⟨стно⟩

[67*] *Первоначально:* спрашивал

Они перебрали много лошадей, забегая и останавливая. Заметили и бурую кобылку.

— Эта от верховых хреновских осталась у меня порода, — сказал хозяин.

Они не могли рассмотреть всех лошадей на ходу. Хозяин закричал Нестера; и старик, торопливо постукивая каблуками бока пегого, рысцой выбежал вперед. Пегий ковылял, припадая на одну ногу, но бежал так, что видно было, он ни в каком случае не стал бы роптать, даже ежели бы ему велели бежать так, насколько хватит силы, на край света. Он даже готов был бежать навскачь и даже покушался на это с правой ноги.

— Вот, лучше этой кобылы, я смело могу сказать, нет лошади в России, — сказал хозяин, указывая на одну из кобыл; но гость не слушал. Он смотрел на пегого.

— Откуда у тебя эта лошадь?

— Ты взгляни, — говорил хозяин, — ноги взгляни, струна...

— Откуда у тебя эта лошадь? — повторял гость переменившимся голосом. — Хозяин оглянулся.

— Какая?

Он с удивлением заметил, что гость его с изменившимся лицом смотрел на пегого мерина, на котором ехал табунщик, и гладил рукою его костлявую голову.

— Да что ты? Этот одер-то? Да ну, табунная лошадь какая-то! [68*]

— Нет, ей богу, ну две капли воды мой пегий. Ну две капли воды мой Хлыстомер, с которым я в 30-х годах видел столько горя и радости. — И он ласкал его рукой.

Хлыстомер, вероятно, узнал старого хозяина, он закрыл левый глаз и глядел одним правым, и на правом глазу века его нервически дрожала.

Табун [69*] отдалился в это время. Оттого ли, что он отдалился, или оттого, что Хлыстомер узнал хозяина, но он попробовал заржать, что он уже давно не делал.

— Видишь, узнал! Постарели мы с тобой, Хлыстомерушка! — грустно сказал гость и, шлепнув его большой рукой по крупу, пошел с хозяином рассматривать других лошадей.

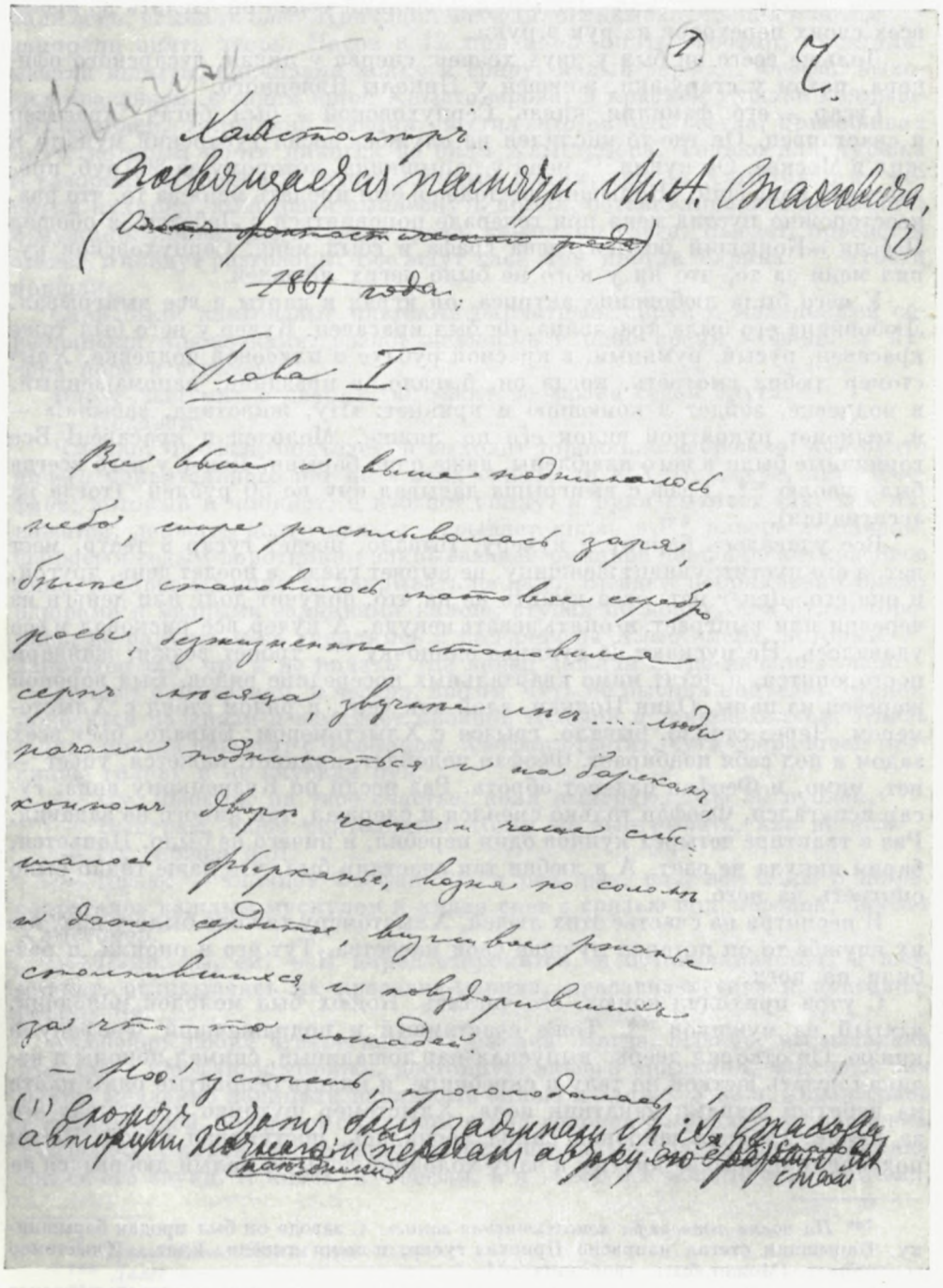
Кроме того никаких особенных событий не случилось. Как только вечером Хлыстомер прошел в свой угол, стал накрапывать дождичек по сухой соломе, и опять столпились около него. В этот вечер он рассказывал про свое житье вне завода.

— Я был рад, — сообщил он, — когда меня вывели из Хреновой и навсегда разлучили со всем, что мне было родно и мило. Мне было слишком тяжело между ними. Им предстояли любовь, почести, свобода, мне — труд, труд и труд до конца моей жизни.

— Не могу, однако, жаловаться на судьбу, — говорил он. — Мне суждено было испытать радости. И эти радости я испытал именно у этого толстого старого человека, которого вы сейчас видели. Мы были не такие, как теперь. Хотя он был причиной моей погибели, хотя он ничего и никого никогда не любил, я любил его и люблю его именно за это. Мне нравилось в нем именно то, что он был красив, счастлив, богат и потому никого не любил. Вы понимаете это наше высокое лошадиное чувство. Его холодность, его жестокость, моя зависимость от него придавали особенную силу моей любви к нему. Убей, загони меня, думал я бывало, в наши хорошие времена, я тем буду счастливее.

[68*] *Далее было:*—Эта!— презрительно и грустно сказал гость.— Это лучшая лошадь в России. Это Хлыстомер. Мой Хлыстомер *и вписано:* — Нет, ей богу~мой Хлыстомер.

[69*] *Далее было:* тронулся



Холстомер.

Посвящается памяти М. А. Стаховича.

~~(Была фрейлина такого-то)~~

~~1861 года.~~

Глава I.

Вся вода и вдали подымалось небо, стала расплываться заря, блеск становился матовее серебро росы, безжизненно становился серый месяца, двугам лег.... люди начали подниматься и на барском, конном дворе чаще и чаще слышались оклики, ходили по соломе и даже скрипели, вступая ровные сочленившиеся и ловко державшиеся за что-то лошади.

— Ишь! устоять, проклятая!

(1) Сперва автор был задуман Н. Н. Стаховым и передан автору его сыном

гладкие, своего труда, пежины, на ногу, прямую, как стрела, с широким копытом, и на круп, хоть спать ложись [75*]. За высокие решетки закладывали сено, всыпали овес. Приходил Феофан, оглядывал, трепал и потом [76*] запирали опять дверь. Часов в 12 приходил опять Феофан, впрягали, мазали копыты, смачивали холку и гриву, малый держал. Феофан выходил красавцем, с задом шире Хлыстомерова, в красном кушаке подмышки, садился, заправлял кафтан, шутил что-нибудь всегда, привешивал кнут, которым почти никогда не били Хлыстомера. Только для куража и говорил: «Пущай!» И, играя каждым шагом, трогал Хлыстомер из ворот, и кухарка, вышедшая выплеснуть помои, останавливалась на пороге, и мужики, привезшие на двор дрова, таращили глаза. Выедет, проедет и станет, и пойдут разговоры. Все ждут часа три иногда барина[77*] — гости пришли.

Сани были камышевые плетеные бархатные, сбруя с маленькими серебряными пряжечками, возжи шелковые и одно время — филе. У кучера ноги в стремена.

Вдруг зашумят в дверях, выбежит во фраке седой слуга:

— Подавай!

Чмокнет Феофан, подъедет, и выходит торопливо небрежно, как будто ничего удивительного нет ни в этих санях, ни в Хлыстомере, ни в Феофане, который и чмокнет, и изогнет спину, и руки вытянет так, как их, кажется, держать долго нельзя — выйдет князь в [78*] кивере и шинели, бобровым седым воротником закрывающей румяное чернобровое красивое лицо, которое бы никогда закрывать не надо. Выйдет, побрякивая саблей, шпорами и медными задниками калош, ступая по ковру, как будто торопясь, не радуясь и не удивляясь и не глядя на Хлыстомера, который [79*] запряжен так, что и не видать, где конец лошади и где начало гужей.

Двинет с Феофаном, и честно, шагом, чуть не рысцой подъедет, станет, покосится на князя и взмахнет кровной головой и тонкой холкой. Князь в духе иногда пошутит с Феофаном. Феофан ответит, чуть оборачивая красивую голову и не спуская рук.

— Ну, Феофан, на твое счастье, коли выиграю, тебе 50 рублей.

— Выиграм, ваше сиятельство. Кому же выигрывать, как не нам.

— Ну, пошел к Д.

— Пфью! — чмокнет Феофан [80*], и раз, раз, раз, все шире и шире, содрогаясь каждым мускулом и кидая снег с грязью под передок, поедет Хлыстомер.

— Пади, ты, ей! — И народ сторонится, и останавливается, и шею кривит, оглядываясь на красавца-мерина, красавца-кучера и красавца-барина [81*].

Особенно любил я перегнать [82*] рысака. Когда, бывало, мы издалека завидим с Феофаном упряжь, достойную нашего внимания, мы, летя как вихрь, медленно начинали наплывать ближе и ближе. Уже я, кидая грязь в спинку саней, ровняюсь с седоком и над головой фыркаю ему, ровняюсь с седелкой, с дугой, уж не вижу его и слышу только сзади себя все удаляющиеся его звуки. А князь, и Феофан, и я — мы все молчим и делаем вид,

---

[75*] *Далее было:* Потом прих⟨одил⟩

[76*] *Далее зачеркнуто:* уносил малый овес иногда *и вписано окончание фразы.*

[77*] *Далее было:* спит

[78*] *Далее было:* фу⟨ражке⟩

[79*] *Далее зачеркнуто:* двинет так *и вписано:* запряжен так

[80*] *Слова* Феофан *нет в автографе. Вписано Толстым позднее в копии.*

[81*] *Далее в автографе вставка на полях:* Особенно любил я ~ каждый в свою сторону, *относительно которой в копии С. А. Толстой помечено:* (Вставка; опять в первом лице идет рассказ).

[82*] *Первоначально:* любил я встретить

что мы просто едем и что нам дела нет до того, кто встречается на тихих лошадях на нашем пути. Любил я перегнать, но любил я также встретиться с хорошим рысаком. Один миг, звук, взгляд, и мы уж разъехались и опять одиноко летим каждый в свою сторону.

Утро обыкновенно он катал то самого князя, то какую-нибудь из его любовниц. Никогда его не били кнутом [83*]. К вечеру князь обедал, потом перепрягали; иногда и сам Хлыстомер возил в театр и оттуда в клуб, к цыганам и на целую ночь.

Один раз князь поехал на бег, вошел в беседку к приятелям. Бежали лошади знакомые: Серый [84*], Лебедь и Вязопур. Они прибежали. Лебедь пришел к звонку. Князь стал смеяться, что в эти минуты его пегашка обежит.

— Пари 1000 рублей.

— Идет.

Пустили [85*] Хлыстомера с Лебедем — понеслись. Хлыстомер без поддужного, на кругах взглядывали. Хлыстомер пришел раньше, хохот и гром рукоплесканий. Хлыстомер пошел тихо, пошатывая головой и хвостом. Сошли смотреть. Все гадкие рожи, покупать. Князь не продал и этим погубил меня.

Князю не повезло. Он выиграл, вышел в кабриолет с мешком серебра. «Пойдем еще». Пошли. Стали играть, все проиграл. Хлыстомер целый день не ел. На другой день любовница уехала с другим. Князь поскакал на Хлыстомере и не догнал. Все пошло в разлад [86*]. Его опоили, приехав домой. Он долго болел, его отдали барышнику и кончилось тем, что его купила старушка, ездила все к Николе Явленному и секла кучера. Кучер плакал в стойле. Я тут убедился, что слезы имеют соленый вкус.

Потом старушка умерла. Отдали приказчику в деревню, потом красно-рядцу [87*]. Я ничего не делал. И раз меня выпустили, я пошел осматривать. И закром пшеницы. Я стал есть. Очень приятно. Но я сделался болен. Ноги опухли. Меня продали мужику. Потом купил другой приказчик для табунщика. И вот я здесь.

Все молчало, дождь крапал.

На варке было грустно и пасмурно, особенно для пегого мерина; а в барском доме было совсем другое. К хозяину приехал гость, промотавшийся родственник [88*], дальний дядя и приятель. Теперь они все сидели за вечерним чаем.

[89*] Жена или любовница, беременная, что очень заметно было по ее поднявшемуся животу, прямой выгнутой позе, по полноте и в особенности по глазам — этим добрым, внутрь кротко и важно смотревшим добрым большим глазам [90*], сидела за самоваром.

Муж только что вернулся с ящиком особенных 10-тилетних сигар [91*], каких ни у кого не было, по его словам, чтоб угостить гостя. Хозяин [92*] был красавец лет 25-ти, свежий, холеный, расчесанный, чистенький, дома в [93*] свежей, широкой, толстой паре, сделанной в Лондоне. На цепочке

[83*] *Далее было:* В обед

[84*] *Первоначально:* Доб⟨рый⟩

[85*] *Далее было:* меня

[86*] *На полях написано:* В этот вечер они встретили старого хозяина.

[87*] *В автографе далее:* потом объелся пшеницы, заболел, продали мужику. *На полях, однако, написан новый вариант этого текста:* Я ничего не делал~продали мужику.

[88*] *Далее вачеркнуто:* жены *и вписано окончание фразы.*

[89*] *Зачеркнуто:* Хозяин

[90*] *Далее было:* разливала

[91*] *Далее вачеркнуто:* которыми он очень дорожил *и вписано окончание фразы.*

[92*] *Первоначально:* Муж

[93*] *Далее было:* новом платье

были чудные брелоки. Запонки рубашки были тоже редкости bijouterie [94*]. Борода была Наполеона III и мышиные хвостики напомажены и торчали так, как только могли это произвести в Париже [95*]. На жене было домашнее платье шелковой кисеи с большими пестрыми букетами. На голове большие золотые какие-то особенные шпильки в густых русых, хоть и не вполне своих, но прекрасных волосах. На руках было слишком много браслетов и колец; но все они были прекрасны.

Самовар был серебряный, сервиз тонкий; лакей, красивый, с пробором на затылке, в белом жилете и черном фраке. Мебель гнутая и загнутая, обои большими цветами. Левретка, необычайная, тонкая, которую звали необычайно трудным английским именем, плохо выговариваемым обоими, не знавшими по-английски, лежала в углу. Фортепьяно incrusté [96*] стояло закрытое между цветами. Книг не было.

От всего веяло новизной, роскошью и редкостностью. Все было [97*] очень хорошо, но на всем был тот особенный отпечаток излишка богатства и отсутствия умственных интересов, который можно выразить так: некуда деньги девать. А надо, чтоб и другие жили. Vivre et laissez vivre [98*].

Русский [99*] рысистый охотник, тот, который избирается судьей, который ездит в соболях, который бросает букеты, берет на содержание самую дорогую и т. д. — может быть, такие люди и неприятны бывают; но дело в том, что люди [100*], про которых я рассказываю, так очевидно были счастливы, добры от счастья, что сердце радовалось, глядя на них, несмотря на то, что у мужа была французская бородка с хвостиками, а у жены так много ненужных и некрасивых брильянтов.

Приезжий был человек лет 40, высокий, толстый, плешивый, с большими усами и бакенбардами. Он должен был быть очень красив. Теперь он опустился видимо физически и морально и денежно.

На нем было столько долгов (тысяч 120), что он должен был служить, чтобы его не посадили в яму. Он теперь ехал в губернский город начальником коннозаводства. Ему выхлопотали это его важные родные. Он был одет в военную шинель-пальто мундира коннозаводства. Военный пальто был все-таки такой, какого бы никто себе не сделал, кроме богача, белье тоже. Часы были тоже английские. Сапоги на каких-то чудных, в палец толщины подошвах, очень, может, удобных для ходьбы по лондонской мостовой, но не для устеленных листьями дорог русской деревни. Но уж, видно, так надо было.

Никита [101*] Серпуховской промотал в жизни состояние в два мильона серебром и остался еще должен 120 тысяч. От такого куска всегда остается размах жизни, дающий кредит и возможность почти роскошно прожить еще лет десять. Лет десять уж проходили, и размах кончался, и Никите становилось грустно жить. Он начинал уже попивать, т. е. хмелеть от вина, чего прежде с ним не бывало. Пить же собственно он никогда не начинал и не кончал. Более же всего было заметно его падение в беспокойстве взглядов (глаза его начинали бегать) и [102*] нетвердости интонаций и движений. Это беспокойство поражало тем, что оно очевидно недавно пришло к нему, потому что видно было, что он долго привык всю жизнь никого и ничего не бояться и что теперь, недавно только, он дошел

[94*] ювелирных изделий (франц.).

[95*] *На полях:* Один материализм — тщеславие, рады показать Серпуховскому. Она не беременна.

[96*] с инкрустацией (франц.).

[97*] *Далее было:* изящно

[98*] Жить и давать жить другим (франц.).

[99*] *Первоначально:* Московский

[100*] *Первоначально:* эти

[101*] *Далее начато:* Охот

[102*] *Первоначально:* записки

тяжелыми страданиями до этого страха, столь несвойственного его натуре.

Хозяин и жена его замечали это, переглядывались так, что, видимо, понимая друг друга, откладывали только до постели подробное обсуждение этого предмета и, добрые от счастья, особенно ухаживали за бедным Никитой.

Вид счастья его друга и молодых еще более заставлял его, обратившись к своему прошедшему, пасть духом.

— Что, вам ничего сигара, Мари? — сказал он, обращаясь к даме тем особенным, неуловимым и приобретаемым только опытностью тоном, вежливым, приятельским, но не вполне уважительным, которым говорят люди, знающие свет, с содержанками в отличие от жен. Не то, чтобы он хотел оскорбить ее. Напротив, теперь он скорее хотел подделаться к ней и ее мужу, хотя ни за что сам себе не признался бы в этом. Но он уже привык говорить так с такими женщинами. Он знал, что она сама бы удивилась, даже оскорбилась бы, ежели бы он с ней обходился как с дамой; притом, надо было удержать за собой известный оттенок почтительного тона для настоящей жены своего равного. Он обращался с такими дамами всегда уважительно, но не потому, чтобы он разделял так называемые убеждения, которые проповедуются в журналах (он никогда не читал этой дряни), о уважении к личности каждого человека, о ничтожности брака и т. д., а потому, что так поступают все порядочные люди, а он был порядочный человек, хотя и упавший.

Он достал свою сигарочницу.

— У меня есть очень хорошие, попробуй моих, — и в глазах его мелькнул опять страх и беспокойство: не подумал бы его юноша-приятель, что у него нет хороших сигар.

Дама [103*] поторопилась отвернуться. Ей ужасно жалко было его. Она знала его еще во всем блеске и, ежели бы он только захотел, могла быть и его [104*].

— Нисколько. Вы смеетесь надо мной, — сказала она и улыбнулась своей красивой доброй улыбкой.

Он улыбнулся нетвердо. Двух зубов у него не было.

— Нет, ты возьми эту, вот еще. Фриц, bringen Sie noch einen Kasten, dort zwei [105*].

Немец лакей принес ящики [106*]. Хозяин надавал всякого сорта.

— Ты какие куришь? Крепкие? Эти очень хороши.

Он видимо был рад, что было перед кем похвастаться своими редкостями. Закурив, они продолжали начатый разговор.

Хозяин рассказывал, наивно и добродушно хвастаясь своим богатством и не замечая, как больно это было его гостю.

— Доброхот мне дорого пришелся, я дал за него 5 тысяч, да он сыр. Много голландщины. У меня теперь Лебедь. Какие дети, я тебе скажу.

— Едут? — спросил Серпуховской.

— Ужасно. Нынче сын его взял три приза: в Туле, в Москве и в Петербурге; бежал с Воейковским, каналья наездник сбил четыре сбою, а то бы за флагом оставил.

— [107*] Лебедь у меня был. У меня начал. Ты сколько дал?

— Семь.

— Уж это от Воейкова?

— Да.

[103*] *Первоначально:* Мари

[104*] *Далее было:* Притом же [она стала] ее заняло происходящее в ней.

[105*] принесите сюда еще ящик, там два (нем.).

[106*] *Так в автографе. В копии позднее Толстым исправлено на:* другой ящик.

[107*] *Первоначально:* Доброхот

— Будете еще чай пить?

— Нет, я, а ты?

Она встала и вышла, хозяин успел [108]* остановить ее и поцеловать. Он как будто растерялся и потерял нить разговора.

— Да, у Воейкова, — сказал он, добродушно краснея.

— Завтра поедем, посмотрим. Мне все хотелось [109]* Дубовицких купить. Да дрянь осталась.

— Он прогорел, — сказал Серпуховской и опять испуганно посмотрел кругом. — Он проиграл Никите 120 тысяч.

— Что, ты не играешь?

— Нет.

— Абаза чертовски играет теперь американские, знаешь?

— Нет.

Он рассказал ему.

— Я уж не играю. Такое несчастье, не можешь себе представить!

Он замолк. Жена ушла. Он оглянулся.

— Что ж, ты долго?

— Да вот до бегов сам поведу, а потом за границу.

— Будешь ужинать?

— Как вы?

— Мы ужинаем. Только надо раньше.

Фриц накрыл стол. Тоже с штуками: сифоны, куколки на пробках.

Она не вышла. Хозяин все выбегал к ней.

— Нездоровится, знаешь, она беременна.

За ужином Серпуховской выпил много, кроме водки перед... [110]*

— Давай выпьем бутылочку.

Они говорили про женщин. У кого какая: цыганки, танцовщицы, француженка, — разорили.

— Ну, что же, ты оставил Кресси?

— Не я, а она. Ах, брат, как вспомнишь, что просадил в своей жизни! Теперь я рад, как заведутся 100 рублев [111]*, рад, право, как уеду от всех. В Москве не могу. Ах, что говорить! — он помолчал.

— Славный малый! — подумал хозяин и подлил ему вина.

У Серпуховского были слезы как будто. Он, видимо, рассердился на себя, выпил.

— Ну какой же резвей всех у тебя едет?

Нечего делать было, хоть и не хотел он ответа, а надо было отвечать. Хозяин ответил.

— Из молодых кобыл вчера проезжали без 5 секунд. Хорошо только две лошади бежали, резвее, — Добрый и Полкан.

— Нет, брат, не две, а резвее Полкана и Доброго бежала моя лошадь, Хлыстомер. Ты его не знавал у меня. Да что, ты был мальчишка. Хлыстомер у меня был. Это было в 42-м году, я только приехал в Москву, поехал к барышнику и вижу: пегий мерин. Чудо. Ладов я таких не видал; я купил. Ох, милая была лошадь! Да, Петя, лучшее время мое было с Хлыстомером. Я его разбил и продал его тогда, кажется, за 100 рублей, я заплатил 1000. Лучше я не знал лошади ни ездой, ни силой, ни красотой. Ты слыхал, я думаю.

— Слышал [112]* про твоего пегого, мы как-то с Воейковым добрались, кто он был.

---

[108]* *Далее было:* уже выскочить

[109]* *Далее было:* чистого арабского

[110]* *Так в автографе. В копии Толстым вписано позднее:* ужином.

[111]* *Копируя в 1885 г. автограф, С. А. Толстая ошибочно написала:* 1000 рублев; *ошибка проникла в печатный текст повести и должна быть исправлена.*

[112]* *Далее было:* Как же, Хлыстомер

— Да и я знаю. Сын Доброго 1-го. Его за пежину отдали с Хренового завода конюшему, а тот его выхолостил и продал барышнику. Таких уж лошадей нет, дружок. Ах, время было. Ах ты, молодость! — пропел он из цыганской песни. Он начинал хмелеть. — Сколько, сколько мне напоминает этот черт Хлыстомер. Мне было 25 лет, у меня было 80 тысяч сер⟨ебром⟩ дохода; тогда ни одного седого волоса, все зубы, как жемчуг. За что ни возьмусь, все удается, и все с Хлыстомером. Кончилось. Помню я, выехал я раз в Москве на бег на нем. Моих лошадей не было. Я не любил их, у меня были кровные генерала[113*]: Шоле, Магомет. На пегом я ездил. Кучер у меня был Васька, лихой, красавец [114*]. Бег уж кончился, О. взял приз, мы тут подошли. О. и говорит:

— Серпуховской, когда ты заведешь рысистых?

— Мужиков-то ваших, черт их возьми, у меня извозчичий пегий всех ваших обежит.

— Да вот не обегает.

— Обежит, вон у меня пегий заложен, я для редкости у барышника купил, давайте, кто хочет пари? Я предлагаю 1000 рублей.

— Ну, полно врать.

— Я говорю, пари, — сказал Серпуховской тем тоном уверенности силы и чистоты, которым он, верно, говаривал в старину. — С кем хотят, бегу.

Вызвались Восик и Сип., назначили день, приехали на бег. Пустили Лебедя и моего. Пять секунд раньше пришел, 1000 рублей выиграл пари. Покупали у меня — не продал. Точно такой, как твой пегий.

Ушел спать один и долго вспоминал ночь проигрыша и молодость, и любовь. «Теперь умирать, хоть бы пришел кто-нибудь. Надо занять или поиграть, или соблазнить ее. Ах я подлец! Подлец!» Он вспомнил Шев., треплящего по плечу, зашел к нему у него просить денег. И говорит: «Я подлец».

На другой день он уехал, денег было мало в кошельке на столе.

Хозяин лежал с любовницей. «Нет, он невозможен. Просил денег, напился». «И за мной ухаживал, у меня просил денег».

Серпуховской ходил взад и вперед.

«Я подлец, застрелиться, нет. Водки».

Ежели ⟨Хлыстомер⟩ вспоминал, то его развлек Васька. Кинул на него попону и поскакал. До утра он держал его у двери кабака с мужицкой лошадью. Они лизались. Утром он пошел в табун и все чесался. «Что-то больно чешется».

Прошло пять дней. Серпуховской уехал.

Позвали коновала. Он с радостью сказал:

— Короста. Позвольте цыганам продать.

— Нет, собакам режут же. Зарежьте.

Утро тихое, ясное. Табун пошел в поле. Хлыстомер остался. Пришел страшный человек, повел его. Зарезал. Собаки рвут, кобель особенно. Лошади шарахаются.

Прошло несколько месяцев. Хозяин сказал жене: «Можешь себе представить, Серпуховской пьет запоем водку и болен так, что ему, говорят, недолго жить» [115*].

[113*] *В копии 1885 г. здесь ошибка, проникшая и в печатный текст:* Генерал.

[114*] *Далее было:* Заспор⟨или⟩

[115*] *Другой вариант окончания повести, относящийся к 60-м годам, но отброшенный и не вошедший в копию, см. в т. 26, с. 483—484* (Тут все продали шарахнулся и полетел).

ПОИСКИ НАЧАЛА РОМАНА «ВОЙНА И МИР»

ПЯТНАДЦАТЬ НАБРОСКОВ (1863—1864)

Статья и публикация Э. Е. Зайденшнур

О возникновении замысла романа «Война и мир» много и подробно рассказал сам Толстой. С его слов известно, что истоком этого замысла явилась его работа над повестью о декабристе. Для того чтобы понять своего героя, писателю нужно было «перенестись к его молодости, и молодость его совпадала с славной для России эпохой 1812 года» (т. 13, с. 54). Эпоха эта вне зависимости от первоначального замысла глубоко заинтересовала Толстого. Стал созревать план «истории из 12-го года».

«В 11 году у старого князя Волхонского гостит молодой Зубцов». С этой тотчас же зачеркнутой фразы началось писание задуманной «истории»*. Но нет сомнения, что ей предшествовала огромная внутренняя работа, какая предшествовала созданию других произведений и до и после «Войны и мира». «Просыпался рано и в пробуждении пробовал придумывать свои лица» (т. 47, с. 88),— отметил Толстой в дневнике во время работы над «Юностью». «Много успел, хотя не на бумаге, — писал он по поводу «Семейного счастья».— Я очень доволен тем, что́ в голове. Фабула вся неизменно готова» (т. 48, с. 20). Подробнее об этом внутреннем творческом процессе, предшествующем писанию, Толстой говорил в связи с замыслом, возникшим вскоре после окончания «Войны и мира». Он рассказал о «мучительной» работе «глубокой пахоты того поля», на котором он «*принужден* сеять. Обдумать и передумать все, что может случиться со всеми будущими людьми предстоящего сочинения, очень большого, и обдумать мильоны возможных сочетаний для того, чтобы выбрать из них $\frac{1}{1\,000\,000}$, ужасно трудно»[1]. И позднее Толстой нередко рассказывал содержание задуманных произведений еще до того, как принимался за них [2]. «Я чувствую, что скоро начну работать и с большим увлечением, и забуду себя. Многие очень важные вещи стали для меня совершенно ясны, но сказать их не могу еще и ищу слов — формы»[3].

Так же созревала в мыслях «история из 12-го года». Толстой «бесчисленное множество раз начинал и бросал писать» ее, временами «отчаивался» в возможности высказать все то, что ему «хотелось и нужно высказать». Намереваясь поведать читателю о трудностях, сомнениях и тревогах, возникавших во время «предварительной пахоты поля», Толстой в то же время раскрыл характер нового замысла. Задумано было произведение «с величественным, глубоким и всесторонним содержанием», в котором должны участвовать «значительные лица 12-го года». Автор испытывал настоятельную потребность высказать в произведении все, что он «знал и чувствовал из того времени», и осветить стороны жизни, которые он считал важными. Работу затрудняла «необходимость выдумкой связывать те образы, картины и мысли, которые сами собою родились» у художника; несообразными с задуманным содержанием казались «простой, пошлый, литературный язык и литературные приемы романа»; возникала боязнь, что

* Статья об истории писания романа «Война и мир» (1863—1869) напечатана нами в т. 16, с. 19—141.

«писанье не подойдет ни под какую форму, ни романа, ни повести, ни поэмы, ни истории» (см. ниже, с. 334).

Не каждое произведение Толстого имеет такую подробную и всестороннюю авторскую документацию начального периода работы, как «Война и мир». И в то же время ни об одном произведении, кроме «Войны и мира», не возникла ничем не подкрепленная, но твердо укоренившаяся легенда о первоначальном замысле. Еще тридцать пять лет тому назад было высказано предположение, что Толстой задумал семейную хронику, а замысел исторической части возник после того, как определился сюжет «мира»[4]. С этого времени почти все исследователи подходили к изучению «Войны и мира», принимая на веру эту точку зрения, которая, переходя из работы в работу, приобрела характер уже не предположения, а утверждения. Создалась некая стройная концепция, согласно которой Толстой намеревался «создать поэтическую семейную хронику» двух дворянских родов Болконских и Ростовых, при работе над которой преимущественное внимание художника сосредоточивалось в первые годы работы на «воссоздании картин мирной жизни дворян». Толстой отказался в начале работы «от ввода в роман исторических и государственных деятелей изображаемой эпохи»; «исторические события должны были служить лишь вехами, этапами, фоном для развертывания хроники дворянской жизни». Позднее Г. А. Волков, один из редакторов «Войны и мира» в Юбилейном издании, на основе дальнейшего изучения рукописей изменил свою прежнюю точку зрения и в статье в «Литературной газете» впервые заявил в печати, что задуман был не семейный, а историко-бытовой роман; однако ряд неверных суждений о первоначальном периоде работы Толстого привел его к выводу, что «первая полная редакция, законченная в 1867 г., носит на себе черты дворянского сословного романа с ярко выраженной дворянской идеологией», и лишь «на четвертом году работы дворянский роман превратился в народную эпопею». В некоторых работах отмечается даже «реакционная концепция» Толстого, будто бы проявившаяся в первоначальных рукописях, и утверждается, что лишь после того, как в 1865 г. Толстой «углубился в создание „Войны и мира“, в изучение памятников и источников по 1812 году, объективно и глубоко проанализировал их, он пришел к диаметрально противоположному выводу. Писатель как бы вспомнил про ту, на время позабытую ⟨!⟩ идейную направленность в сторону народа, которой пронизана вся его предыдущая деятельность, и уже без всяких колебаний навсегда отказался от временно захвативших его антидемократических взглядов». Некоторые исследователи относят переломный момент в работе над романом к еще более позднему времени, к 1867—1869 гг., будто бы только тогда «вполне определяются писателем оценка и освещение исторических лиц и событий, а главное — роль народа в историческом процессе». Все эти «глубокие изменения» во взглядах Толстого якобы привели его «к идейному переосмыслению всего ранее написанного»: первоначальный замысел претерпел коренные качественные изменения, в результате которых «центр внимания художника» был перенесен с «истории дворянских семейств на историю народа»[5]. Невозможно понять, как могла возникнуть эта легенда, которая вот уже тридцать пять лет переходит из одной работы о «Войне и мире» в другую, продолжая спутывать и искажать действительные факты.

Приведенные выше авторские свидетельства, относящиеся к зарождению замысла и началу работы, а главное, анализ рукописей романа, которые позволяют не только заглянуть в творческую лабораторию писателя, но дают иногда возможность проследить за ходом его мысли, убеждают, что с первого же момента Толстым было задумано *историческое* художественное произведение. В основе возникновения замысла лежал глубокий интерес к исторической и общественно-политической теме. Истоком зарождения замысла был выдвинутый общественным движением 60-х годов в России один из острых вопросов — о решающей роли народных масс как движущей силы общественного развития. Даже в первоначальных набросках достаточно явно отражено стремление Толстого поставить в художественном произведении эти острые вопросы современности и по-своему ответить на них.

1

ПОИСКИ НАЧАЛА

Работа над романом началась в первой половине 1863 г. В первый год работы Толстой изучал исторические сочинения, разыскивал и изучал материалы, освещающие общественно-политические интересы людей той эпохи, знакомился с мемуарами и письмами, рассказывающими о быте и нравах тех людей. Все это помогало художнику почувствовать дух времени, ощутить звук и запах эпохи, проникнуться сознанием людей, которых ему предстояло изображать.

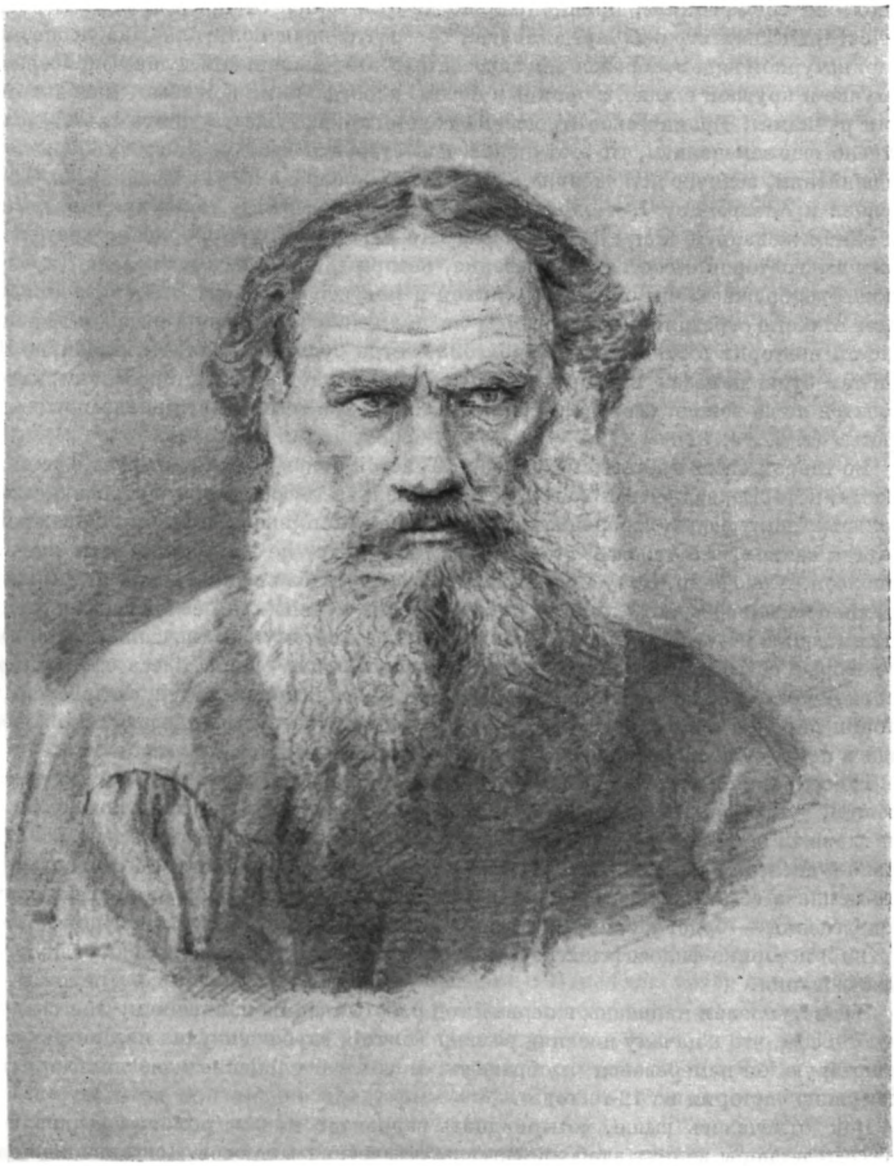
Первая написанная Толстым фраза о молодом Зубцове, гостившем у старого князя Волконского *, взятая изолированно, не раскрывает замысла писателя. Если же ее связать с последовавшими за ней многочисленными набросками начала романа, то станет ясным намерение автора начать действие в имении князя Волконского; молодой Зубцов, очевидно, должен был выполнять роль, переданную впоследствии князю Андрею. Вслед за первой зачеркнутой фразой писались и один за другим отбрасывались неудовлетворявшие писателя наброски начала романа. Их сохранилось пятнадцать. На создание их ушло около года.

Наброски начала, хотя и незначительные по объему, многое рассказывают о замысле автора, о том, на что было устремлено его внимание, чего он добивался. Можно отчасти понять, почему один за другим отбрасывались первые варианты. В набросках отражено, как постепенно раздвигались хронологические границы действия. В первых четырех начало действия — 1811 г., причем в третьем дата уточнена: «В 1811-м году., в то самое время, когда в Петербурге было получено письмо Наполеона I к Александру I и Коленкур был заменен Лористоном». Во вступлении же к четвертому наброску дан, кроме того, обзор исторических событий за период «между Тильзитом и пожаром Москвы», т. е. между 1807—1812 гг. В следующих двух набросках действие начинается в 1808 г. Наконец, в 7-м варианте сделан решительный отход вглубь истории: к ноябрю 1805 г., дням подготовки к Аустерлицкому сражению. Год 1805 закрепился. Однако Толстой продолжал отодвигать начало действия. В девятом — двенадцатом вариантах начало действия приурочено к лету 1805 г., к тому времени, «когда только объявлялась Россией первая война еще непризнанному тогда императором Наполеону», причем во вступлении, предшествовавшем одиннадцатому варианту, дан обзор событий, начиная с августа 1804 г., момента разрыва сношений России с Францией. В последних трех вариантах действие отнесено к началу 1805 г., когда «первая европейская коалиция против Буонапарта была уже составлена». Вступление же к тринадцатому варианту охватывало исторический период «между французской большой революцией и пожаром Москвы».

Каждый новый набросок начала становился своеобразным прологом к предыдущему. Когда в центре внимания автора был 1812 год, он отодвинул начало к 1808 г., чтобы открыть широкую историческую перспективу от Тильзитского мира до начала Отечественной войны. Осуществляя новый замысел — начать действие первой войной с Наполеоном 1805 г., он постепенно отходил назад с той же целью дать картину исторических событий и жизни людей, предшествующую центральному сражению войны 1805 г.— Аустерлицкому. Стремление отодвигать действие от кульминации к предыстории характерно для всех пятнадцати вариантов начала «Войны и мира».

Анализ содержания ранних набросков дает представление о том, как Толстой искал завязку, которая позволила бы сразу ввести в действие все пружины его многопланового произведения, каким оно уже тогда представлялось ему. Надо было с первых строк дать представление об общественной и военно-политической обстановке в стране к моменту начала действия и одновременно познакомить читателей с «полувымышленными» действующими лицами в их бытовой обстановке, т. е. создать ту, по

* В автографах написание этой фамилии не выдержано: то Волхонский, то Волконский.



ТОЛСТОЙ

Рисунок И. Н. Крамского, 1885—1887 гг. по фотографии 1884 г.
Музей Толстого, Москва

из двух частей: в первой дано освещение эпохи, во второй поставлен вопрос о роли государственных деятелей в историческом процессе. Третье вступление, содержащее обзор «первых годов царствования Александра в России и первых годов могущества Наполеона во Франции», принципиально не отличается от предыдущих. В нескольких сатирических строках представлена завоевательная политика Наполеона, почти в карикатурном виде изображен сам завоеватель, этот «маленький человечек, в сереньком сертучке и круглой шляпе, с орлиным носом, коротенькими ножками, маленькими белыми ручками». Ироническое отношение Толстого к могуществу этого завоевателя дополнено еще замечанием, что этот «человечек» старался «раздуваться в сообразное, по его понятиям, величие положения». Обрисовав Наполеона и его деятельность, Толстой перешел к Александру I, «молодому, любезному, красивому монарху», который «горел одним желанием славы для себя и своего народа». Толстой сравнил деятельность обоих императоров с состоянием ребенка, который, держась с позволения кучера за вожжи, воображает, что он правит «лихой и могучей тройкой». Это сравнение, в котором отчасти отразились его взгляды на роль личности в историческом процессе, Толстой повторит в отношении Наполеона, когда будет заканчивать роман, но Наполеон там будет показан в более жалкой роли: он будет сравнен с ребенком, который держится не за вожжи «могучей» тройки, а только «за тесемочки, привязанные внутри кареты» (т. 12, с. 92).

Во второй части третьего вступления Толстой открыто полемизирует с теми историками, которые, записывая в свою летопись только те события, что отразились в официальных документах, воображают, будто пишут «историю человеков». В заключение Толстой заявил, что героями его произведения будут не государственные люди, как Наполеон, Александр, Кутузов и Талейран, не те приближенные к ним люди, которые стремились только «найти лишние рубли, кресты и чины», а обыкновенные люди, не принимавшие участия в политической борьбе, а потому незамеченные историками, но которые оставляют в истории значительно бóльшие следы. Здесь сформулирован основной тезис Толстого: содержание истории — это история людей, «человеков», а не история царей и генералов. Задача автора показать, что именно эти обыкновенные люди в период опасности сделали для спасения родины больше всех.

Не сохранилось и это вступление. Сначала отпала только первая часть его, и следующий, четырнадцатый вариант начинался вступлением, в котором акцент был сделан главным образом на отношении автора к роли государственных деятелей. Затем отпала и последняя часть. Эпоха будет раскрыта в самом действии, без предварительного анализа ее автором. Оценка роли исторических лиц — одна из центральных тем произведения — будет также решаться самим действием, посредством художественных картин и историко-философских рассуждений автора, которые войдут в образную ткань повествования.

Все вступления написаны в первый год работы над произведением. Они свидетельствуют о том, что к началу писания романа Толстой глубоко изучил историческую эпоху, которую он намеревался изображать, и с четких идейных позиций приступил к созданию «истории из 12-го года».

Как отмечалось выше, четырнадцать вариантов начала романа содержали в себе беседы и споры вокруг злободневных политических вопросов. Действие начиналось то в Лысых Горах, имении старого князя Волконского, то в Петербурге на бале екатерининского вельможи, то в Москве в доме графа Простого (Плохого, Толстого) за именинным обедом, то опять в Петербурге на званом обеде в доме молодого князя Андрея Волконского, то, наконец, в салоне Annette D., фрейлины императрицы Марии Федоровны. Где бы ни собирались «героини и герои» (т. 13, с. 55) будущего романа, они непременно начинали обсуждать создавшуюся в Европе политическую обстановку.

Замысел начать действие в имении князя Волконского отражен в первом же приступе к писанию романа, в цитированной выше фразе о молодом Зубцове, гостившем в 1811 г. у князя Волконского. Эта первая, тотчас же зачеркнутая фраза заменилась кратким перечнем действующих лиц и наметками их взаимоотношений (см. т. 13, с. 13). После этого Толстой вернулся к князю Волконскому. Новый набросок озаглавлен «Три поры». Далее: «Часть 1-я. 1812 год». Заглавие говорит о том, что в данный период

работы сохранялось еще намерение автора не ограничиться «историей из 12-го года». 1812 год — это первая «пора». Следующие две: 1825 год, восстание декабристов, и 1856 год, возвращение их из ссылки. Пока создается первая часть. Текст начался с характеристики старого князя, жившего в 1811 г. в Лысых Горах с дочерью и ее компаньонкой француженкой. На этом второй набросок прерван. Толстой неоднократно возвращался к этой рукописи, перерабатывая ее в соответствии с новыми задачами. В качестве второго наброска начала она заканчивалась словами: «... умственной деятельностью»; упоминаний о сыне князя Волконского еще не было (см. ниже стр. 325—326)[6]. В таком виде набросок был отложен.

Появилась совершенно новая мысль, осуществленная в следующем, третьем наброске: началом действия должен был быть придворный бал. Написана только сцена перед «известным всему городу домом вельможи» на Английской набережной в Петербурге; ждут приезда на бал императора. Действие не развернулось. Возник замысел исторического вступления, в котором обзор событий доведен вплоть до назревающего конфликта между Россией и Францией в 1811 г.; приведен текст писем, которыми обменялись в это время императоры. Действие в этом 4-м варианте открывается балом у екатерининского вельможи; бал происходил в то самое время, когда писался ответ на письмо Наполеона. «На бале должен был быть дипломатический корпус, сам Лористон и государь», который был озабочен. «Причину же озабоченности его знали только те некоторые, которые были призваны к составлению ответа императору Наполеону». Среди присутствующих на бале названы князь Куракин, «только что вернувшийся от государя» и знавший о его тревогах, сыновья князя Куракина, которых после того, «как начались недружелюбные переговоры между петербургским и тюльерийским дворами», князь вызвал «обратно в Россию из Парижа». Особенное внимание обратили на себя на бале: «ротмистр граф Зубцов, приехавший из турецкой армии и нынче произведенный в флигель-адъютанты» (это тот самый Зубцов, который в первом наброске должен был начать действие произведения); «урожденная Княжнина, фрейлина, известная своей красотой, только что вышедшая за молодого князя Кушнева, одного из самых богатых людей России, числившегося при дворе, но нигде не служившего, потом известный повеса меньшой князь Куракин» и «мало известная дама, жена свитского офицера поручика Берга». Все эти лица должны были, естественно, занять значительное место в произведении и напоминают некоторых из героев «Войны и мира». Граф Зубцов и князь Кушнев — друзья. Они обрадованы неожиданной встречей, и князь Кушнев немедленно начинает разговор о Наполеоне. «Ну, а что ты скажешь про Бонапарте? А? Его здесь называют императором Наполеоном, но я его не признаю, и для меня это все еще un mauvais drole*, от которого долго не будет людям покоя». На фоне преклонения перед всем французским отрицательное высказывание о Наполеоне сразу выделяет этого героя самостоятельностью суждений. Чтобы сильнее подчеркнуть это, Толстой заставил ротмистра Зубцова, «шутя, как будто испугавшись» слов своего друга, указать ему на проходившего недалеко французского посланника Лористона. Упомянут еще среди гостей «старичок» Волхонский, с которым князь Кушнев вступил «в ожесточенный спор о Наполеоне».

С достаточной долей вероятности можно допустить, что теперь Толстой решил роль, предназначавшуюся молодому графу Борису Зубцову, передать сыну князя Волконского. Толстой вернулся к отложенному наброску «Три поры». Теперь был вставлен текст о сыне, который с самого начала стал именоваться князь Андрей, но в отношении характера нового персонажа известно лишь, что «отец его знать не хотел», так как он «женился бог знает на ком». Затем рукопись была продолжена: описан уклад жизни Волконских в Лысых Горах, рассказано кратко о княжне Марье и ее компаньонке m-lle Sillienne. Действие доведено до того момента, когда в Лысых Горах ожидают приезда князя Андрея, которому отец разрешил «перед кампанией» приехать проститься. Беременная жена князя Андрея находилась в Лысых Горах. Заметки на полях рукописи отчасти отражают дальнейший замысел автора. Среди них

* злой шутник (франц.).

запись о Наполеоне: «Переходил через границу завоевателем, все покорялось, теперь едет покоряться кондуктору». Отмечен такой еще факт: «Дибич противн. ⟨?⟩ взял в левую руку шпагу». Толстой воспользуется этим при изображении Берга на войне. Несколько заметок относится к пребыванию французов в Москве. Заметки на полях дают основание утверждать, что тема войны входила в план на самом раннем этапе работы. Набросок пока вновь отложен.

В новом, по счету пятом, варианте действие начинается в 1808 г. и перенесено из Петербурга в Москву, в дом графа Простого. Появляется заглавие, вероятно, первой части или группы глав: «Именины у графа Простого в Москве 1808 года». Набросок начинается словами «спорившего юноши Léon»: «Да никто вам не говорил, что я считаю Бонапарта хорошим христианином, я этого не сказал. Я совсем этого не говорил. я говорю, что он великий человек». Этот юноша, «единственный сын князя Безухого, наследник 40 тысяч душ и огромных капиталов бабки»,— центральный персонаж нового наброска. «Он спорил со всеми. Все были против него». Не обращая внимания на возражения присутствующих, юноша продолжает настаивать на том, что Наполеон «самый великий полководец мира» и что он «придет в Петербург так же, как в Вену и Берлин».

Действие происходит в доме будущего графа Ростова. Действующие лица и обстановка за именинным обедом напоминают известные сцены завершенного романа. Но не семья графа Простого пока в центре внимания автора; пятый набросок начала организован только вокруг острых политических вопросов, причем юноша Léon, так же как в предыдущем наброске князь Кушнев, высказывает взгляд на Наполеона, противоречащий мнению окружающих. Закончив сцену спора за обедом, Толстой начинает писать роман заново. Действие начинается точно так же в доме графа, но не Простого, а Плохого, тоже в день именин, но не за обедом, а утром того же дня. Первоначально новый вариант был озаглавлен почти так же, как и пятый,— «Именины в Москве 1808 года», и, видимо, тогда же сменилось заглавие. «День в Москве» — так озаглавлен затем 6-й вариант начала. На полях первой страницы конспективные заметки к содержанию; среди них такие: «За обедом умный и тонкий разговор о политике», «И⟨ван⟩ К⟨уракин⟩, Берг за правительство ⟨...⟩ Большие и малые о Бонапарте». Намечен затем «разговор графинь о детях». — Запись: «Дружба навеки 4-х» относится к молодежи в доме графа. Сделаны заметки к характеристике Бориса, будущего Друбецкого, и Берга. Заметки на полях рукописей, отражающие творческие размышления автора, являются значительным подспорьем для исследователя при анализе направления работы над произведением.

Текст 6-го варианта разделен на девять небольших глав. В первых четырех изображена хорошо знакомая по окончательному тексту сцена в доме графа Плохого. Семья графа, обстановка в доме, гости, приезжавшие поздравлять, дети, вбегающие в гостиную, и Наташа с куклой, взаимоотношения между детьми — впервые появились только теперь, и все довольно близко по содержанию к окончательному тексту. В пятой и шестой главах действие переносится в дом умирающего графа Безухого, и здесь читатель знакомится с княгиней Анной Алексеевной Щетининой, которая приехала вместе с сыном Борисом и «чувствовала гордость, исполняя свою тяжелую для нее обязанность». Толстой безжалостно разоблачает сущность ее «обязанности»: «Ежели бы ей у умирающего пришлось отрезать палец для того, чтобы вместе с пальцем получить состояние, обеспечивающее сына, она ни на минуту бы не задумалась». В дом Безухого перенесены также другие персонажи, определившиеся в предыдущих набросках: «светский дипломат» князь Василий Позоровский, занимавший «одну из высших должностей» и «приехавший за тем же, за чем княгиня Щетинина»; молодой граф Аркадий Безухий, который опять и своим поведением и образом мышления выделяется из окружавших его людей; Борис Щетинин, которому было «неловко и неприятно за свою мать», но в характере которого тем не менее проявятся во время беседы с молодым Безухим черты, роднящие его с матерью. Впервые создан образ старого графа Безухого и показан страшный контраст «роскоши огромного высокого кабинета, полного драгоценностями искусства» с тем «жалким, зараженным дурным воздухом углом», в котором находилось «жалкое существо» — больной хозяин кабинета. Даже в разговор

умирающего Безухого с княгиней Щетининой, далекой от интересов государства, Толстой ввел политическую тему. Граф «стал говорить про дела нынешнего царствования, про Сперанского, осуждая все».

Последние три главы (5—7) — именинный обед у графа Простого. Описаны съехавшиеся гости: кузен графини, «желчный известный умник» Шиншин, гвардейский офицер Берг, Борис Щетинин, князь Василий. Между гостями шел разговор о политических новостях, о неизбежности войны. В это время вошел молодой Безухов. К 6-му началу Толстой в качестве главы 8-й присоединил 5-й набросок, открывающийся спором за обедом. Теперь все спорившие лица знакомы читателю. Объединив таким образом две рукописи, Толстой дописал новую, девятую главу. «Спор о Наполеоне, о Тильзитском мире, о Эрфуртском свидании, о достоинствах Бонапарта продолжался весь обед между Бергом и Шеншиным». Князь Василий отстал от спора, «не находя его для себя приличным» теперь, после Тильзитского мира. Поведение князя Василия четко определило время действия, указанное и в заглавии. Шеншин продолжал спорить, резко осуждая возникавшее в России после Тильзита преклонение перед Наполеоном. Князь Василий был «выведен почти из себя». На этом прервался политический спор. Толстой перешел к другим участникам, к детям, появилась известная сцена поведения детей, особенно Наташи, за обедом и конспективно намечено дальнейшее изложение вплоть до разъезда гостей от графов Плохих.

Этой рукописью, созданной не позднее февраля 1864 г., закончился этап работы, связанный с задуманной «историей из 12-го года». Написано шесть эскизов начала, но работа не налаживалась. В основе созданных набросков — беседы и споры по волнующим всех собравшихся вопросам общественной и политической жизни. В этих беседах должна отразиться эпоха, а также выявиться различное восприятие людьми того времени совершающихся исторических событий. Вероятно, так же, как отдаленное от столицы имение старого князя Волконского, к тому же находившегося в немилости, так и придворный бал оказались неподходящим местом для собрания лиц разного положения в обществе и разных политических направлений, и не создалось нужных автору условий для начала действия. Гости, съехавшиеся на именины к московскому графу, по своему общественному положению далекому от великосветских кругов, также оказались, по-видимому, не достаточно благоприятной средой для отражения различных общественных взглядов, которые должны были подготовить переход к большим историческим вопросам задуманного произведения. Не помогло решению задачи и историческое вступление, предпосланное 4-му варианту.

В это время возникло намерение отодвинуть начало действия к первой войне с Наполеоном, к ее центральному событию — Аустерлицкому сражению. Пришел Толстой к этой мысли «по чувству, похожему на застенчивость». «Мне совестно было писать о нашем торжестве в борьбе с Бонапартовской Францией, не описав наших неудач и нашего срама»,— признавался позднее Толстой. Перед ним встала задача показать, что «сущность характера русского народа и войска», явившаяся причиной торжества в войне 1812 г., должна была «выразиться еще ярче в эпоху неудач и поражений» (т. 13, с. 54).

Толстой начал роман в седьмой раз. Завязкой был выбран теперь исторический факт: Аустерлицкое сражение, закончившееся поражением. Из «полувымышленных» героев участвуют молодой граф Федор Простой, Борис Горчаков, Берг и князь Андрей Волконский. Эти имена и ряд других деталей сближают новый вариант с предыдущими: «Три поры» и «День в Москве». Из них Толстой отчасти заимствовал материал для характеристик и биографий персонажей. Впервые в этом наброске в качестве действующих лиц выведены исторические деятели: Кутузов и Багратион, Александр I, Наполеон, австрийский император Франц и около двадцати других участников первой войны. Впервые объединены они с «полуисторическими, полуобщественными полувымышленными великими характерными лицами великой эпохи» (т. 13, с. 54), как назвал Толстой героев своего произведения. «12 ноября 1805 года русские войска, под командой Кутузова и Багратиона сделавшие отступление к Брюнну под напором всей армии Мюрата, в Ольмюце готовились на смотр австрийского и русского императоров»,— так сразу с действия началось произведение. В отдельных

стенах и эпизодах с участием исторических и вымышленных персонажей, в их диалогах, а также в авторских отступлениях изображена предшествовавшая Аустерлицкому сражению обстановка и настроение в штабе и в войске. В беседе с гвардейским офицером Борисом Горчаковым армейский офицер граф Простой рассказывает о храбрости русских солдат и офицеров и об отрицательном отношении в армии к «штабным». Князь Андрей Волконский в разговоре с Борисом рассказывает о положении в штабе. Как в предыдущих набросках молодой Безухов, так и в этом князь Волконский высказывает свое суждение о Наполеоне как о «лучшем полководце мира».

С нескрываемым возмущением описан военный совет, после которого участники разъехались «кто веселый, достигнув цели и надеясь на победу, кто грустный, не достигнув цели и боясь победы, кто веселый, ожидая поражения, кто убежденный в измене». Из контекста явствует, что убежден в измене австрийцев был Кутузов.

Отсутствию единства в военном руководстве Толстой неоднократно противопоставляет абсолютное единство в войске, где все слиты, где есть «только артиллерия, пехота, конница ⟨...⟩ Каждый член этих громад помнит все и вполне забывает себя». И дальше Толстой уделяет много внимания показу настроения солдат, чтобы отразить важную роль народа, который собственно и добывает победу. Когда предстоящее сражение «расшевелило в приближенных много страстей — честолюбия, зависти, ненависти и страха», войско готовилось к сражению и, «страдая, поднималось духом». Выстрелы, которые послышались с аванпостов неприятеля, «отозвались в душе каждого человека русской армии. Все ближе и ближе подходила та торжественная, страшная и желанная минута, для которой перенесено столько трудов, лишений, для которой по пятнадцати лет вымуштровывались солдаты, оставлена была семья и дом и из мужика сделан воин, для которой 80 тысяч человек жили в поле без жен, матерей, детей, без участия во всех интересах гражданской жизни, жили и двигались в чужом, неизвестном краю, в поле, на дорогах, в лесах, пренебрегая для себя и для всех всеми условиями привычной человеческой жизни». Раскрыв таким образом черты характера русского народа в условиях войны, Толстой настойчиво показывает, как «с каждым шагом вперед и с каждым звуком выстрела» становилась «сосредоточеннее, звучнее, стеклянnее» душа армии и неизменно «как шум моря» все слышнее и слышнее становилась каждому сердцу «строгая и величественная одна, все одна нота».

В 7-м варианте со всей решительностью выдвинут один из важнейших, по убеждению автора, факторов в войне — дух войска и умение обращаться с ним, «искусство поднимать его в ту минуту, когда высота его более всего нужна». Еще до описания самого сражения Толстой подвел свои рассуждения к выводу, что одна из серьезных причин поражения русской армии при Аустерлице заключалась в отсутствии самого главного, что подымает и поддерживает дух войска,— тесной связи между начальниками и подчиненными, доверия к начальникам. Армией командовал австрийский штаб, а «австрийцев и их начальников презирали».

Описание Аустерлицкого боя началось вступительной фразой о том, что «в десять часов измена уже дала в руки Бонапарту диспозицию русских». Это подтверждало правоту Кутузова, а также справедливость толков в войске об измене. Переходя к французской армии, Толстой особо останавливается на Наполеоне, подчеркивая, что «измена была таким же листом его лаврового венка, как и храбрость его солдат».

При описании сражения Толстой обращает внимание на стратегически невыгодное положение русской армии, отмечает состояние Кутузова, который был в этот день «совсем не тот главнокомандующий, каким его знали прежде в Турции и после, при Бородине и Красном», показывает отрицательную роль Александра I и Франца, торопивших наступление. Гневно обрушивается Толстой на австрийских колонноводжатых, которых он считал в большой степени виновниками Аустерлицкого поражения.

Картина боя, несмотря на конспективность, дана с огромной силой напряжения. Сначала показаны два императора со свитой, в которой «большинство ничего не понимало» в том, что делалось на поле сражения. «Только государи и ближайшие к ним, видимо, понимали и интересовались чем-то и были различных мнений с Кутузовым». Следующий эпизод — охватившая всех паника, «куда ни посмотрите, везде испуг и страх». И, наконец, бегство с поля битвы, причем «государи впереди» бегущей толпы.

В иной роли выступают Кутузов и его любимый адъютант Волконский. Их нет в толпе бегущих; они остаются на поле сражения, князь Волконский со знаменем впереди солдат. Конспективно намечено окончание сражения: «начальство скачет мимо», сражение ведут до конца Дохтуров и Ермолов. «Волконской исходит кровью», «Борис идет к командиру полка», «Берг интригует». А в штабе «всех обвиняют ⟨...⟩ кроме себя», отметил Толстой, давая понять, кто же с его точки зрения был действительно виновен.

На этом заканчивается 7-й вариант начала, созданный не позднее марта — апреля 1864 г., и который как по содержанию и композиции, так и по идейной направленности можно считать эскизом завершенного текста третьей части первого тома. В нем впервые выведен народ в качестве героя произведения и определена его решающая роль в исходе сражения.

Поиски художника не закончились. Набросок доведен в своем плане до конца. Главный из вымышленных героев, князь Волконский, показав пример высокого героизма, погибает. Других действующих лиц, которые могли бы в дальнейшем организовать художественное повествование, в этом варианте нет.

Сделав попытку начать произведение с военной сцены,Толстой был захвачен волновавшими его военно-историческими рассуждениями, которые заняли в тексте несоразмерно большое место. Быть может, отчасти и это обстоятельство заставило прервать работу. Можно также предположить, что Толстой не стал продолжать свое повествование потому, что ему понадобился пролог к центральному действию.

Очевидно, теперь Толстой стал пытаться объединить ранее написанные наброски с только что законченным. Он стал исправлять и дополнять отрывок «Три поры», приспосабливая его к новому замыслу. В тексте 1811 г. изменен на 1805, введены новые эпизоды, характеризующие старого князя, его отношения с дочерью и слугами. Сначала конспективно намечено было продолжение: в Лысые Горы приезжают гости «молодые князья Т. с гувернером из-за границы». Приехавшие князья напоминают будущих Ипполита и Анатоля Курагиных. Далее намечен конспект беседы старого князя с гостями о войне: «Князь разговаривал о Наполеоне. Он видел его силу, но презирал его ⟨...⟩ Аббат презирал революцию, но уважал la capitale du monde*. Речь о делах с австрийцами. Должны проходить войска». Заканчивается набросок конспективным изложением происшествий в доме Волконских. Конспект окончания зачеркнут и продолжено действие: приезд в Лысые Горы Анатоля Курагина, которого отец намерен женить на княжне Марье, намечена интрига между Анатолем и компаньонкой княжны и, наконец, описан приезд в Лысые Горы князя Андрея с беременной женой. «За обедом говорили о войне»,—переходит Толстой к установившейся в предшествующих вариантах начала теме беседы собравшихся людей. «Они перебирали корпуса, начальников. Князь Николай Андреич говорил, что набор тяжел, что полководцев нет. Князь Василий заступался за Кутузова. Князь Андрей заступался тоже. Отец его презрительно усмехнулся и стал рассказывать силы, средства и искусство Наполеона, которые он, сидя в деревне, лучше знал, чем он, полковник». Также конспективно описаны прощание князя Андрея с отцом, женой и сестрой и отъезд его в армию.

Дополнив так свою старую рукопись, Толстой связал ее с только что созданным 7-м вариантом начала.

«Не один князь Андрей прощался перед войной,— так начал Толстой текст вставки, связавшей две рукописи.— Война чувствовалась тогда во всем, полки шли, подводы наряжались, ехали генерал-адъютанты, великие князья, и сам государь проехал. Ему чинили дороги ⟨...⟩ Государь прокатил, как по шоссе. В народе ходили толки о ⟨Наполеоне⟩, говорили, что он уже побил австрийцев. (Как всегда молва предсказывала)»,— добавляет Толстой и пишет далее: «Письма просительные ⟨за⟩ сыновей надоедали всем генералам. Вся Россия хотела быть адъютантом. Слышно было, что Кутузов с войском уже перешел границу. Гвардия, говорили, выступит. Все подписывались на газеты. Все ждали успеха. Правительство было молодо, и все надеялись. Но

* столицу мира (франц.).

хотя дошли слухи о побитии австр⟨ийцев⟩, слуху этому порадовались. Тем лестнее будет русским побить Наполеона, победителя австрийцев». Толстой живописует: «Вот гвардия великолепная, богатая прошла с обедами и угощениями, вот государь уж там, курьеры и эстафеты летят чаще, полки ближе и ближе приближаются к границе, и все ждут, все ждут, кто новых наборов, кто победы и славы» (т. 13, с. 95).

В нескольких строках Толстой дал сжатый обзор событий к моменту вступления России в войну. И тут он не бесстрастный летописец. Он не пропустил случая отметить что в придворных кругах все выглядит парадно, торжественно, а в то же время в народе ходят толки о том, что Наполеон уже побил австрийцев. Многозначительное добавление о правоте народной молвы подсказывает, на чьей стороне автор. Соединив таким образом две рукописи (исправленные 2-й и 7-й варианты), Толстой на полях последней рукописи также сделал соединительную вставку, являющуюся как бы непосредственным продолжением только что процитированного нового окончания варианта «Три поры». Вставка начинается почти так же: «Не один князь Андрей тогда простился с семьей, оставил беременную бесчувственную жену и весело и бодро скакал куда-то, где ему казалось, что его ждет слава, а где его ждала, может быть, смерть. Много было семей, оплакивавших своих сыновей, мужей, братьев...» (т. 13, с. 98).

Затем автор переходит к описанию отъезда на войну Николая Простого. О семейных Николая Простого говорится, как о знакомых читателю лицах. Это может свидетельствовать о том, что на данном этапе работы к этим двум объединенным рукописям была присоединена еще одна, содержащая 6-й вариант начала, открывающийся описанием семьи графа Простого. Таким образом, благодаря соединению трех в разное время созданных рукописей наметилась уже стройная композиция, приближающаяся к композиции окончательного романа. Две семьи — графы Простые и князья Волконские; в обоих домах напряженные разговоры и споры о надвигающейся войне и о Наполеоне; сыновья Простых и Волконских уезжают на войну. Пролог к Аустерлицу закончен. Затем действие переходит к войне, где «выдуманными» действующими лицами являются знакомые читателю персонажи, только что вырванные из естественных условий мирной жизни.

Рукопись об Аустерлицком сражении превратилась таким образом из начала произведения в продолжение. Толстой приступил к ее обработке в соответствии с созданным для нее началом. Оказались теперь ненужными характеристики действующих лиц, которыми эта рукопись начиналась, их Толстой вычеркнул, затем сделал некоторые стилистические исправления, но, не закончив работы, вновь отложил рукопись, чтобы вскоре еще раз вернуться к ней.

Созданный в процессе объединения этих рукописей текст можно считать 8-м вариантом начала романа.

В письме Толстого к княгине Луизе Волконской говорится, что «блестящий молодой человек», который по первоначальному замыслу должен был быть убит в Аустерлицком сражении, «заинтересовал» его, для него представилась роль в дальнейшем ходе романа, и поэтому Толстой его «помиловал, только сильно ранив его, вместо смерти» (т. 61, с. 80). Очевидно, тогда появились следующие четыре варианта (9—12), в которых действие начинается со званого обеда в доме молодого князя Волконского в Петербурге.

Действие перенесено к лету 1805 г., к тому времени, когда объявлялась первая война Наполеону, когда «в Петербурге во всех гостиных только и было речи про Буонапарте, его поступки и намеренья». За обедом у князя Андрея происходят споры о преобразованиях, конституции, о войне и о Наполеоне. Парадный обед у «известного в петербургском высшем обществе» князя Волконского, адъютанта генерал-губернатора, только что переведенного в адъютанты к Кутузову, давал возможность собрать более широкий круг людей; «к нему ездило все то, что считалось замечательнейшим в тогдашнем петербургском обществе»,— предупредил автор. «Общество собиралось весьма разнообразное: военные, дипломаты, вновь возникавшее тогда сословие свитских чиновников, бюрократов, иностранцы, ученые и даже артисты». В таком разнообразном обществе легче было отразить различные общественно-политические направления, особенно обострившиеся к моменту надвигавшейся войны.

Пользуясь наметившимися в предшествующих набросках чертами, Толстой стал заново создавать, все более детализируя их, образы хозяев, в первую очередь князя Андрея, главного гостя — Пьера, а затем других лиц. Сначала круг гостей, кроме Пьера, был такой: живший в Петербурге «известный изгнанник abbe Piatoli», старушка, тетка княгини, светский молодой человек «приверженец Сперанского». Толстой намеревался подробнее рассказать о присутствовавших, причем не об их внешнем облике, не столько даже о положении в обществе, сколько об их убеждениях. «Чиновник действительно считался замечательным молодым человеком в бюрократическом мире, скромный же чистенький старичок-иностранец был еще более замечательное лицо. Это был l'abbé Piatoli, которого тогда все знали в Петербурге. Это был изгнанник, философ и политик, привезший в Петербург проект совершенно нового политического устройства Европы, которое, как сказывали, он уже имел счастие через кн. Адама Чарторижского представлять молодому императору». Замысел такого предварительного раскрытия автором взглядов персонажей сменился иным: связать каждого из гостей с Пьером. В последнем из анализируемых набросков среди гостей названы какая-то барышня, старичок-иностранец аббат, молодой чиновник, принадлежавший к клике Сперанского. Разговор за обедом «зашел о том, о чем все тогда говорили, о преобразованиях, замышляемых в России, о конституции». Во время подробно переданного Толстым разговора «чиновник изложил свои преобразовательные бюрократические соображения», Пьер—«свою либеральную философию», аббат— «свои новые идеи народного права и политического устройства». Под конец, когда беседа перешла на войну и на «любимое» князя Андрея военное дело, разговором «завладел» князь Андрей. Он говорил о военном гении Наполеона и о силе его армии, но, «несмотря на свой восторг к гению Наполеона», он называл его, «как и все в Петербурге, Буонапарте». Разговор о союзе России с Францией и Пруссией, о бульонской экспедиции перешел на последние политические события: коронование Буонапарте в Милане. Заканчивается беседа заявлением князя Андрея о том, что нет ни одного человека, которого бы он так «ненавидел» и которым бы так «восхищался», как Наполеоном.

Многое уже было найдено автором. В 12-м варианте произведение получило заглавие: «С 1805 по 1814 год». Далее вписано: «Роман графа Л. Н. Толстого». Роман должен был состоять из нескольких частей. Первая озаглавлена: «1805-й год». Особенностью этого варианта является то, что с первых же слов текст его связывает замысел нового произведения с начатой в 1860 г. повестью о декабристе. Новый вариант начала открывается характеристикой Пьера Безухого, будущего декабриста, о чем автор сообщил в первых же строках. После чего в четвертый и последний раз Толстой стал создавать сцену обеда в доме молодых Волконских, используя предшествующую рукопись.

Вновь изменяется начало произведения. Создается 13-й вариант. Автор колеблется, начинать ли с вступления, или непосредственно с действия. «В то время, когда после неслыханного...» — написал Толстой, видимо, намереваясь коснуться убийства герцога Энгиенского. Не докончив фразы, начинает снова: «Во Франции...», но на первом же слове обрывает и начинает с сообщения о том, кого он намеревается выбрать героями своего произведения: «Читая историю, для нас стирается жизнь того времени. настоящая и остаются уродства. Главное исчезает бесследно. Лучшие люди не те, кото‹рые›...». Вслед за этой полемической фразой сделаны еще три небольших наброска с описанием «небольшого общества», собравшегося «в 1805 году в одном из покоев еще старого дворца» и характеристикой времени «между французской большой революцией и пожаром Москвы», когда «идея этой революции, по-видимому задавленная и отсветившая, воплотилась в силу и давала каждому и каждую минуту себя чувствовать».

Все эти наметки зачеркнуты, создается изложенное выше последнее большое вступление (см. ниже, стр. 374 и сл.), а на полях рукописи появляется несколько конспективных заметок к содержанию произведения; среди них: «Переписка о войне, война во всем». В соответствии с этой записью повествование начинается вступительной фразой: «В придворном кругу только чувствовалась война и принималась к сердцу. В старом Зимнем дворце все фрейлины судили о войне». Далее идет рассказ о фрейлине Аннет Б., которая «отпросилась» из царских покоев для того, чтобы вечером «сразу при-

нять своих приятелей, приехавших из Москвы, и потолковать о войне». Известно, что «все друзья ее и постоянное общество были могущественнейшие люди мира». Среди съехавшихся гостей названы князь Василий с дочерью, княгиня Горчакова (это будущая Друбецкая), граф Мортемар. Намечены темы беседы: убийство герцога Энгиенского, захват Генуи, предстоящая война. Дважды повторено, что фрейлина говорила, «разумеется, не на своем языке, а на французском» и «все общество говорило по-французски».

13-й вариант, видимо, Толстой счел наиболее удавшимся и дал его в переписку (ни один из предыдущих не переписывался). Начался обычный для Толстого процесс исправлений и переработок. Правя копию, Толстой сделал еще одну запись на полях, раскрывающую темы беседы в салоне: «Взгляд высшего общества на Бонапарта, на причину и необходимость войны». В этом направлении стал развиваться разговор фрейлины с первым приехавшим на вечер гостем князем Василием. Разговор, «конечно, происходил на французском и даже на том особенном французском языке, секрет которого, по мнению знатоков дела, теперь уже утрачен». Текст рукописи был доведен до того момента, когда беседа от темы политической, интересовавшей фрейлину, перешла на «вопросы внутренних интриг», более всего интересовавших князя Василия. Так в процессе правки создался 14-й вариант. В нем салон фрейлины получил достаточно полное освещение. Хозяйка «считала себя государственным лицом, на котором лежали политические обязанности». Характеризуя общество, которое должно было собраться у фрейлины, Толстой хотел было всех причислить «посредственно и непосредственно к самым влиятельным...», но, не докончив фразы, зачеркнул ее. Если бы все принадлежали к придворному кругу, опять не создалась бы нужная ситуация для отражения различных направлений. Толстой изменил: «Некоторые из гостей, долженствовавших приехать на этот вечер, принадлежали к самым влиятельным придворным и государственным людям и все к одному и тому же лагерю, знаменем которого было убеждение в признании России восстановить законность и святость самодержавия в Европе». Остальные же гости, которых Толстой введет в придворный салон, хотя и принадлежали к высшему обществу, но были представителями другого «лагеря», представителями прогрессивного дворянства того времени.

Исправленная рукопись вновь скопирована. В процессе правки Толстой окончательно отбросил вступление. Словами «Eh bien, mon prince...» открылся 15-й вариант, и это начало закрепилось. Приглашены были на вечер, «по мнению фрейлины, самые замечательные люди Петербурга, цвет общества», которым фрейлина «желала сообщить впечатления, произведенные в ней последними известиями о пребывании Бонапарта в Италии, вчера только полученными при дворе императрицы Марьи Федоровны». На полях опять сделаны заметки, относящиеся к содержанию первых глав: «NB. Вечер во всем разгаре. Разговоры с разных сторон. С одной — о идеалистическом направлении двора нашего и антагонизме имп⟨ератрицы⟩ матери и Александра. С другой — рассказ о Энгиенском. С третьей — о дворе и интригах. Все размерено». Это темы разговоров, которые будут развиты в первых пяти главах первой части.

Поиски начала закончились. Толстой нашел то, что так долго и напряженно искал. Требования, которые Толстой предъявлял к началу произведения, он высказал в связи с работой над романом о декабристах: для начала должна быть найдена такая обстановка, чтобы из нее «как из фонтана» разбрызгивалось действие «в разные места, где будут играть роль разные лица»[7]. Таким «фонтаном» оказался вечер в придворном салоне, в котором, по позднейшему определению Толстого, как нигде «высказывался так очевидно и твердо градус политического термометра, на котором стояло настроение придворного легитимистского петербургского общества» (т. 10, с. 86).

2

РОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВ

В процессе поисков начала установилась в главных линиях композиция произведения. «В Петербурге», «В Москве», «В деревне», «Война» — так Толстой позднее сам назвал основные разделы каждой части романа. В дальнейшей работе Толстой сохра-

нил стройный переход от одного раздела к другому, что обеспечило одновременность действия при широком охвате событий.

Стремясь создать наиболее подходящую среду, которая позволила бы сразу начать с действия, Толстой постепенно находил тех вымышленных «героинь и героев», «молодых и старых людей и мужчин и женщин того времени», которых предстояло провести через исторические события. Они помогут писателю выразить свое отношение к «славной для России эпохе» и ответить на поставленные в произведении вопросы. Сохранились две примечательные ранние рукописи, раскрывающие попытку Толстого в самом начале работы наметить характеры этих людей и «придумать романическую завязку и развязку». Намечены девятнадцать действующих лиц и множество различных сочетаний, разнообразных связей между ними. Все в дальнейшем будет не раз переделываться, но при всех изменениях восемнадцать из этих персонажей останутся в романе, и некоторые из задуманных положений, а также взаимоотношения некоторых героев сохранятся в завершенном тексте.

Наиболее твердо определились в основных чертах старый князь Волконский с дочерью и семья графа Толстого (Ростова). Есть лица, которые отдельными чертами и биографическими фактами сближаются с будущими Пьером, князем Андреем, Борисом Друбецким, Элен, князем Василием и его сыновьями. Не только личная судьба героев отражена в конспективных характеристиках, но для каждого определена роль в самом главном историческом событии изображаемой эпохи — в Отечественной войне 1812 г. и особенно в Бородинском сражении. Роль персонажа в войне обусловлена его личными достоинствами или пороками. «Страстно любит Россию», «ненавидит лично Наполеона», «отдает все и имеет цель революцию и работает, как вол за солдат»,— это относится к тому который в наброске назван Петром (отдельные черты сближают его с Пьером). «В походе 12-го года получает важное назначение», во время отступления войск в первый период войны «все забывает под влиянием чувства долга, командует полком»; «под Бородиным без фраз уже он хочет умереть», его ранят. В этих заметках нетрудно узнать ситуации, в которых будет изображаться князь Андрей. Совершенно ясен Толстому Берг. Он «на бале в Вильне блестящий офицер», «под Бородиным хватает шпагу в левую руку и награжден генералом и начальником», «убирается заблаговременно из Москвы и богатеет поручениями». Благородная роль уготована старому князю Волконскому: он «не верит 12-му году» (т. е. он недооценил вначале создавшееся тяжелое положение). «Французы идут. Он ничего не хочет делать, разорять и вдруг делает больше всех». Марья Волконская за ранеными ухаживает и «делает корпию». Старый граф Толстой «торопится увезти всю библиотеку из Москвы. (О Наполеоне не знает, хвалить или ругать) и на подводах возит раненых». Сын его Николай «просится на войну, делает все, что другие». Иван Куракин, напоминающий будущего Ипполита Курагина, «в 12-м году ничего не видит кроме спасения своего достояния и карьеры». Анатоль «живет в Москве, бежит». «Аркадиева жена» (она преобразится в дальнейшем в Элен) — «у французов в Москве, в связи с генералом».

Разумеется, не все сохранилось так, как было намечено, но первоначальные заметки интересны тем, что в них отразилось то направление, в котором должны были создаваться характеры персонажей.

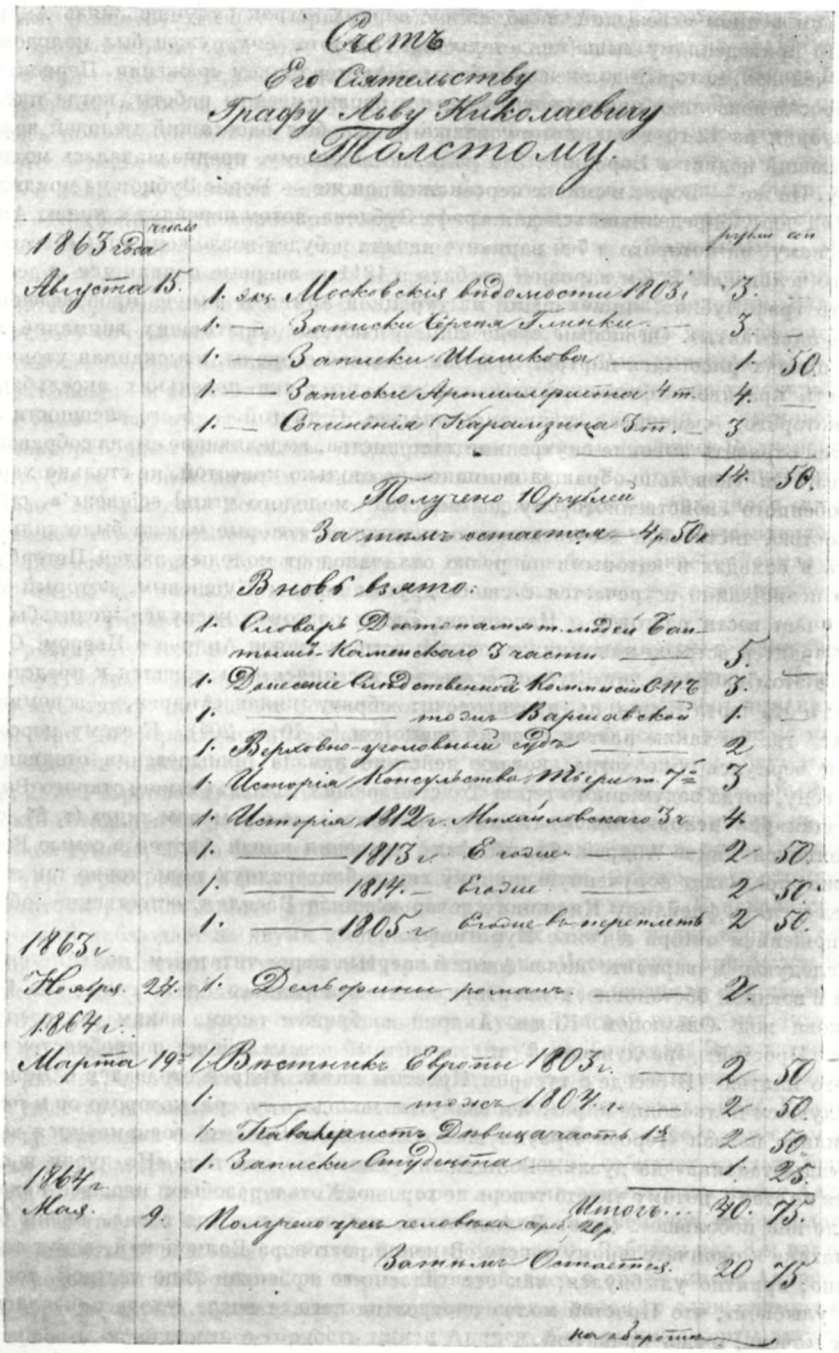
В появлявшихся затем набросках начала произведения постепенно вырисовывались намеченные лица. Образы будущих Болконских (старого князя с дочерью) и уклад их жизни в Лысых Горах очерчены в наброске «Три поры», над которым Толстой работал дважды. Семья графа Простого (Плохого, Толстого, Ростова), изображенная в варианте, озаглавленном «День в Москве», ясна автору; она только один раз появилась в ранних вариантах начала. Долее чем на других членах семьи Толстой останавливался на маленькой Наташе. Сын графа Николай появился еще раз в военной обстановке, и тогда наметилась его роль в Аустерлице. Рядом с Николаем выводится и в доме Ростовых, и в военной обстановке Борис (Щетинин, Горчаков); как в окончательном тексте, так и в ранних набросках оба персонажа противопоставлены друг другу, что с развитием действия постоянно усиливается. Без больших исканий наметился образ матери Бориса — княгини Щетининой, которая впервые появляется в доме графа Простого, затем возле умирающего графа Безухова. Рассказана ее биография, сообщено,

что она умела «вести дела с сильными мира» и для своего сына была готова на все. Ради него она приехала к умирающему графу; молодому Безухову «совестно» за нее. С первых же набросков определилась семья Курагиных. Сначала появляются сыновья с такой характеристикой: «оба были дураки. Старший вялый и ломающийся, второй простой и с плотскими наклонностями». Эти черты останутся ведущими для сыновей князя Василия. На развитие и усиление этих черт и вытекающих из них поступков будет устремлено внимание Толстого. Не сразу появилась среди «вымышленных» героев дочь князя Василия. На придворном бале выведена фрейлина Княжнина, жена князя Кушнева. Она «признанная первая красавица того времени», вызывающая восхищение всех. Лишь позднее возник замысел связать жену Пьера с другими персонажами, и наилучшей средой для нее оказалась семья Курагиных. В одном из последующих набросков, в котором начало действия отодвинуто к 1808 г., упомянута дочь князя Василия «девочка-красавица, подросток», воспитывавшаяся «под руководством настоящей эмигрантки гувернантки». Промелькнул однажды еще один персонаж — барон Шульц — «наперсник» Петра Куракина, «высокий, красивый брюнет», одетый «точь в точь так же, как и Куракин». По отдельным штрихам можно допустить, что для Шульца намечалась роль, в какой-то степени напоминающая роль Долохова.

Чаще других действующих лиц Толстой выводит в своих ранних набросках трех: князя Василия, князя Андрея и Пьера; они переходят из варианта в вариант. Путь, который прошли эти образы в первоначальный период работы Толстого, убеждает в том, что хотя не сразу были найдены их портреты и, разумеется, не могли отразиться в достаточной мере характеры,— однако автор не колебался в определении для каждого из этих героев его роли в произведении.

Впервые князь Василий появляется на бале. Он представлен как один из приближенных к императору и призванный «к составлению ответа императору Наполеону». Он изображен «в толпе женщин», где он «сыпал любезностями» и посмеивался «беззубым, но приятным ртом». Детально нарисована внешность князя, который «был весь, как на пружинах». Рассказано об его «семейных заботах», связанных с сыновьями. Характеристики обоих сыновей дополняют только что созданный образ отца. В следующих набросках князь Василий изображается в доме графа Простого. Ему придана отталкивающая внешность: старичок «в звезде и белом галстуке с завалившимся лбом и выдвинутой обезьянской нижней челюстью». Сообщаются некоторые сведения из его биографии, способствующие раскрытию внутреннего облика: он был «в милости» у деспота Павла I, очутившись же потом «в немилости сенатором в Москве», он «жил не так, как другие забытые сенаторы», а сумел найти такую линию поведения, чтобы сблизиться с лицами, окружавшими Александра I, и благодаря этому снова «был вызван в Петербург к весьма важной должности». Он «особенно сухо» обращался со всеми москвичами, «имевшими претензию на значение», и «ласково обращался с графом Плохим» именно потому, что «граф был добрый дурак, и на нем-то удобно было показать и другим, что новое назначение нисколько нас не возгордило и не изменило». Хотя князь Василий был ласков с детьми графа Плохого, однако он был «твердо уверен», что его сыновья, воспитанные за границей, «не будут знакомы с этими выкормками и олухами». Тем не менее он «особенно радушно согласился приехать есть прекрасный обед графа». Оценки князя Василия другими персонажами дополняют авторский рассказ о нем. Его не любит старый граф Безухов, понимающий цель его приезда; граф Плохой считает его «ловким» человеком; очень резко говорит о нем Шеншин, называя его «пролазой», приехавшим к Безухову только для того, чтобы «вытянуть что-нибудь», а «ежели не вытянет ничего», то «женишка поймает для дочери». В споре о Наполеоне князь Василий представлен как человек «чуткий всегда на политические mot d'ordre», поэтому он отстал от спора, который счел для себя неприличным, тем более, что в это именно время «в Петербурге все возгорелись энтузиазмом к Франции и Наполеону», и князь Василий, получив теперь «назначение в Петербург», называл Бонапарта уже императором Наполеоном и «профессировал к нему высокое уважение».

В каком бы виде ни появлялся в ранних набросках князь Василий, он так подан автором, что всегда ясна отрицательная роль, предназначенная ему в романе.



Счет
Его Сиятельству
Графу Льву Николаевичу
Толстому.

1863 года	книги		рубли	коп
Августа 15.	1.	Московские ведомости 1803 г.	3.	
	1.	Записки Сергея Глинки	3.	—
	1.	Записки Шишкова	1.	50.
	1.	Записки Артиллериста 4 т.	4.	—
	1.	Сочинения Карамзина 3 т.	3	
			14.	50.
		Получено 10 рублей		
		За старые книжки 4 р. 50 к.		
		Вновь взято:		
	1.	Словарь достопамятных людей Русской Земли Калайдовича 3 части	5.	
	1.	Описание Следственной Комиссии 1826 г.	3.	—
	1.	— тоже Варшавской	1.	—
	1.	Верховно-уголовный суд	2	
	1.	История Консульства Тьерри 7 т.	3	
	1.	История 1812 г. Михайловского 3 т.	4.	
	1.	— 1813 г. Б годах	2.	50.
	1.	— 1814 г. Б годах	2	50.
	1.	— 1805 г. Б годах в переплете	2	50.
1863 г. Ноября	27.	1. Дельфина романъ	2.	
1864 г. Марта	19.	1. Вяземскiй Европа 1803 г.	2	50
	1.	— тоже 1804 г.	2	50
	1.	Кавалеристъ Девица часть 12	2	50.
	1.	Записки Студента	1.	25.
1864 г. Мая	9.	Получено чрез человека сер. 20 р.	Итого...	40. 75.
		Заплатил Остается.	20	75

на Заборье

СЧЕТ КНИЖНОГО МАГАЗИНА ЗА КНИГИ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ ТОЛСТЫМ В ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ НАД «ВОЙНОЙ И МИРОМ», 1863—1864 гг.

Лист 1-й

Архив Толстого, Москва

Совсем в ином освещении выводятся с первых строк будущие князь Андрей и Пьер. По приведенному выше свидетельству Толстого, ему нужен был молодой блестящий человек, который должен погибнуть в Аустерлицком сражении. Первоначальные наброски позволяют предположить, что в те первые месяцы работы, когда писалась еще «история из 12-го года», автору также нужен был блестящий молодой человек, совершающий подвиг в Бородине. Эта роль, по-видимому, предназначалась молодому Зубцову. Он же — Борис в списке персонажей; он же — Борис Зубцов на придворном бале. Ряд черт, определившихся для графа Зубцова, потом перейдут к князю Андрею Болконскому, на которого в 7-м варианте начала и будет возложена роль «блестящего молодого человека». В 4-м варианте на бале в 1811 г. впервые появляется в действии ротмистр граф Зубцов, «приехавший из турецкой армии и нынче произведенный в флигель-адъютанты». Он назван среди лиц, «особенно обративших внимание всех». В двух планах рисовался портрет Зубцова. С одной стороны, изысканная утонченная внешность красивого флигель-адъютанта «в с иголочки новеньких аксельбантах», около которого, «заискивая, увивались многие». С другой, — в его внешности автор стремится отразить высокие внутренние достоинства, выделяющие его из собравшегося общества. Он «невольно обращал внимание не столько красотой, не столько характером особенного свойственного ему достоинства молодого grand seigneur'a, сколько скромностью, чистотой и девственностью очертаний, которые можно было только сохранить в походах и которыми он резко отличался от молодых людей Петербурга». Зубцов неожиданно встречается с своим другом князем Кушневым, который тотчас же начинает вести разговор о Наполеоне. Затем разговор коснулся женитьбы Кушнева. Характер встречи напоминает первую встречу князя Андрея с Пьером. Отмечено еще в этом наброске, что Зубцов «серьезно веселился» и готовился к предстоящим танцам; и эта черта также не противоречит образу князя Андрея, — вспомним его на бале, где он также назван лучшим танцором (т. 10, с. 204). К этому персонажу Толстой вернулся уже тогда, когда действие начала произведения отодвинулось к 1805 году, когда задуманного героя Толстой «решил сделать» сыном старого Волконского, «так как неловко описывать ничем не связанное с романом лицо» (т. 61, с. 80). Так появился князь Андрей. Самый факт введения князя Андрея в семью Волконских уже определяет порученную данному герою благородную роль, точно так же, как замысел сделать фрейлину Княжнину дочерью князя Василия, естественно, обусловлен отношением автора к семье Курагиных.

В следующем варианте князь Андрей впервые перед читателем появляется не на бале, а в военной обстановке, в квартире своего двоюродного брата гвардейца Бориса Горчакова под Ольмюцом. Князь Андрей изображен таким, каким его воспринял офицер Простой: «раздушенный и элегантный до малейших подробностей своего военного платья». В беседе с гусаром Простым князь Андрей отозвался о Бонапарте как о «лучшем полководце мира», чем возмутил молодого гусара, которого он к тому же насмешливо назвал «героем Браунауского бегства», и Простой вознамерился вызвать этого «адъютантика» на дуэль. Волконский спокойно ответил: «На дуэли я с вами драться не стану, потому что это теперь не хорошо. Хоть и разобьют нас, все надо, чтобы было нас побольше». Ответ Волконского, так же как и вся сцена, очень близок по тематике к окончательному тексту. В конце разговора Волконский «вдруг так добродушно, приятно улыбнулся, так осветилось его красивое лицо честной, тонкой и милой улыбкой», что Простой молча смотрел на него, а после ухода признался, что он ему «очень, очень нравится».

Затем князь Андрей показан в его служебной обстановке, в приемной генерала, дежурным адъютантом которого он в этот день был. «Честолюбивого юношу Бориса», приехавшего к Волконскому в Ольмюц, «поразила уверенность и важность своего cousin», но когда Волконский подошел к Борису, «лицо его из официального приняло то дружеское и детски кроткое выражение, которое обвораживало всякого». Так же преображается лицо князя Андрея и в предшествующем наброске его портрета, и эта характерная черта дойдет до завершенного текста.

В создаваемой сцене раскрываются идейные позиции Волконского и глубина его чистого патриотического чувства, отчасти уже отразившегося в разговоре с гусаром

Простым. В момент беседы с Борисом Волконский «видимо, был усталый»,— сообщает автор, так как «он не спал эту ночь, ездивши с приказаниями на аванпосты». Однако он был «так же бел, нежен и, как всегда, маленькие усики его и волоса были так же прибраны волосок к волоску» (напоминает портрет графа Зубцова на бале). Но здесь появляется важная подробность, раскрывающая внутреннее состояние Волконского: в день, который не видал его Борис, он «как будто похудел от сильной болезни, и глаза его блестели лихорадочным блеском, хотя движенья были так же вялы и женственны». Внешняя аристократическая изысканность и глубокое внутреннее чувство — эти особенности неразрывны для образа Волконского. Причины тревог князя Андрея выясняются из его рассказа Борису о настроении накануне Аустерлицкого сражения в штабе, где «все заняты и растеряны, как никогда». Волконский высказывает сочувствие Кутузову, который не может прогнать всех тех «шпионов и лазутчиков», которых присылают из главной квартиры. Раскрывается далее отношение Волконского к верховному командованию: «Вся сила там около государей. Адам, Долгорукий — вот это все. Это сильнее Кутузова. Там делается и зачинается все, а мы чернорабочие». Насмешливо «передразнивая немцев», сообщает Волконский свое впечатление о происходившем недавно военном совете. Толстой неоднократно подчеркивает возбуждение Волконского. Во время разговора он находился «в особенно оживленном говорливом состоянии духа, он говорил так живо и одушевленно, как не видал еще его Борис». Последовавшее за этой сценой авторское описание того же военного совета, о котором рассказывал Волконский, главное, тон описания свидетельствует о том, что автор солидарен с своим героем.

В разгар Аустерлицкого сражения Волконский появляется в качестве адъютанта Кутузова. В конспективном изложении боя отражено отношение Кутузова к своему адъютанту: он «любил Волконского», именно его он посылает выяснить положение. При дифференциации «разных» людей, находившихся в главной квартире, особо выделен Волконский: «1) кто старался все делать медленно и обдумать все, до чулок; 2) кто торопился, искал шевеленья 〈?〉; 3) кто был глупее и тупее обыкновенного; 4) кто готовился на подвиг всеми силами души; 5) кто ничего не видал, не слышал, все было в тумане; 6) кто был, как всегда, болтал по-французски и ничего не понимал; 7) кто уже перестрадал и был спокоен, как Волконский». Одного этого отрывка было бы достаточно, чтобы понять отношение автора к своему герою. В начале сражения Волконский наблюдает за двумя императорами и их свитой, видит испуг и страх на их лицах. «Волконский к Кутузову. Кутузов говорит: Посмотрите, они бегут. Волконский все понял 〈...〉 Волконский испугался, как никогда в жизни, и ему стало стыдно и гадко. Он бросился вперед собирать солдат». Гусар Толстой видел, как Волконский исчез на лошади и упал с знаменем. «Он взглянул на Толстого. Этот взгляд был и мир, и любовь, и значение». «Волконский исходит кровью»,— так намечено в конспекте.

Осуществлен замысел автора: блестящий молодой аристократ князь Волконский в минуту серьезной опасности оказывается не в бегущей во главе с русским и австрийским императорами толпе, а остается с Кутузовым, собирает солдат, бросается вперед и погибает. В 7-м варианте начала произведения решена роль князя Андрея на войне. Известно, что замысел в отношении князя Андрея изменился, ему нашлась роль в дальнейшем ходе действия, и Толстой его «помиловал». Работая над 8-м вариантом, т. е. переделывая набросок «Три поры», Толстой внес в облик князя Андрея много новых черт характера, проявлявшихся в отношениях с отцом, с служащими в имении отца: сухость, холодность и гордость князя Андрея. Совсем иные черты выступают в его отношениях с сестрой. Она была «единственное существо», с которым «гордый, холодный на вид» князь Андрей «не стыдился показывать все то, что было у него в сердце». Найдена для князя Андрея роль, создана среда, в которой он живет, нарисован портрет, раскрыты основные черты характера, хотя схематично, но определились отношения с отцом и сестрой, женой, и дружба с Пьером, промелькнуло даже его отрицательное отношение к семье Курагиных. Но Толстой продолжает искать. Возникает замысел начать действие в доме столь ясно определившегося персонажа. Пишутся четыре наброска с описанием дома молодого князя в Петербурге. Подробно Толстой останавливается на чистоте чувства князя Андрея, который «как холостым,

так еще более женатым человеком» вел жизнь «безупречной нравственной чистоты в противность обычаям тогдашней молодежи». Затем Толстой опять заново, с выписыванием мельчайших деталей рисует портрет выхоленного блестящего молодого аристократа, его тщательные заботы о себе, его изысканную французскую речь и всякий раз выделяет две важных портретных детали: «обаятельная» улыбка, преображающая его лицо, и глаза, в которых «свет казался потушенным», но в которых загорался огонь в тот момент, когда князь Андрей был чем-либо заинтересован.

Большое место в рассказе о князе Андрее занимает его дружба с Пьером. «Эти две натуры,— сообщает автор,— были столь противуположны, что дополняли одна другую», и «никогда, никто, даже жена» не выводили так молодого князя из его состояния «усталости и апатии, никто не мог вызвать на его лице той милой, доброй обаятельной улыбки», как Пьер.

Важным новым фактом для характеристики князя Андрея в последних набросках явился высказываемый им интерес к его «любимому» военному делу, которое он «знал очень хорошо», и к Наполеону, которого он, «как-то странно соединяя эти два понятия, ненавидел как врага законной монархии и обожал как величайшего полководца мира». В разговоре о неизбежности войны при создавшейся политической обстановке князь Андрей говорит о том, что «кроме науки войны, которая учит нас тому, что победа остается за тем, у кого больше пешек и кто их лучше расставит», есть еще «бог войны и есть гений, которым одарен этот необыкновенный человек». Подробно, «видимо, по основательному изучению», князь описал «все преимущества всего состава французской армии», говорил об «огромном полете», который «составляет силу Наполеона». В заключении разговора князь высказал свой «откровенный взгляд» на Наполеона: «Нет на свете человека, которого я так бы ненавидел и которым бы так восхищался, как им». При этих словах, которые князь Андрей произнес по-французски, «взгляд его загорелся таким ярким блеском, что видно было, что он говорил не только то, что думал, но что чувствовал всем существом».

В историческом вступлении к 14-му варианту начала Толстой писал, что ко времени начала действия в его произведении «великая революция, воплотившись в военную диктатуру, перестала быть идеей, с которой можно спорить, рассуждать, соглашаться или не соглашаться, а стала силой, с которой надо было не спорить, а бороться или подчиняться ей». Но было тогда «еще много людей», которые не могли понять, что червячок идеи революции давно уже превратился в бабочку военной силы и что поэтому прошло время рассуждать, а надо драться». Князь Андрей и Пьер — представители тех «многих людей»; для них Наполеон по-прежнему был еще окружен ореолом республиканизма.

В ранних набросках четко наметилось столкновение князя Андрея и Пьера со своей средой, враждебной передовым идеям этих героев романа.

В вариантах начала наиболее выразительно выполняет эту роль Пьер. Образ Пьера прошел длинный путь становления. Он показан впервые на бале в 1811 г., затем в доме графа Простого, в доме умирающего отца, на званом обеде у своего друга князя Волконского и, наконец, в салоне Annette D. Где бы он ни появился, он немедленно начинает политические споры, всякий раз высказывая суждения, не совпадающие с утвердившимися в данном кругу людей. Такова тенденция автора, проведенная через все наброски начала романа, и так осталось в завершенном тексте.

В конспекте с характеристиками намечаемых персонажей нет ни одного, который бы в достаточной мере приближался к выросшему в процессе авторских поисков Пьеру. Лишь некоторые черты, отнесенные в конспекте к Петру и особенно к Аркадию, перейдут затем к Пьеру. Такие, например: «Дружба со всеми, честолюбия и тщеславия никакого, всегда со всеми кроток. Не признает ⟨*1 нрзб.*⟩ законов. Крайний либерал в мысли и жизни. Не знает любви к женщине. Любит забыться, выпить, поздно сидеть и болтать. Философ такой, что себя пугается. О бессмертии говорит часто и мучим вопросом».

Впервые будущий Пьер появляется на бале под именем князя Кушнева. Он представлен как один из самых богатых людей России, числившийся при дворе, но нигде не служивший. Не только убеждениями, но внешностью и манерами он отличается от того общества, в котором показан. Он «высокий, толстый, близорукий, большеголовый»,

«без усов и бак, в очках и коротко обстриженный». На фоне нарядных изысканных гостей придворного бала даже комичным кажется Кушнев, который «шел, переваливаясь и [поправляя очки] с повислыми руками, неловко и небрежно, валясь вперед всем телом, точно он усталый шел в далекий и скучный путь». Говорил он «немного косноязычно, как будто рот у него был полон кашей». Когда он сталкивался с кем-нибудь, он улыбался «притворной напущенной улыбкой, притворность которой он и не пытался скрывать», но когда он встретил друга Зубцова, «лицо его вдруг просияло неожиданно совсем другой, доброй детской улыбкой», а его «зеленые глаза были еще добрее и лучше улыбки». Глаза и улыбка, преображающие лицо, останутся основными чертами портретов и князя Андрея и Пьера.

Частная подробность выражает отношение автора к герою. Больше того, она помогает воспринимать дальнейшее поведение князя Кушнева в желательном автору освещении. Первое, что произносит Кушнев,— это осуждение Наполеона, что шло вразрез с воцарившимся в России после Тильзитского мира преклонением перед Наполеоном и всем французским. Об этом преклонении рассказано во вступлении, предшествовавшем анализируемому наброску. После разговора с Зубцовым князь Кушнев вступил в «ожесточенный спор о Наполеоне» с «старичком Волхонским».

Наметился еще важный для Кушнева биографический факт: характер его женитьбы. На вопрос Зубцова о женитьбе, Кушнев отвечает: «Спроси, зачем я женился. Бог знает. Родным так хотелось, и ей, и всем это доставило такое удовольствие — стоит так мало труда, а доставляет так много удовольствия». В соответствии с замыслом автора, жена его изображена с первого же момента ее появления совершенно отличной от него. Она не была еще, по этому варианту, дочерью князя Василия. Сначала Толстой намеревался сделать ее бедной дворянкой, но тогда неоправдано было бы то «торжество», каким было ее появление на бале. Женой Кушнева теперь стала «известная своей красотой» фрейлина Княжнина. Подробно вырисован портрет «признанной первой красавицы того времени». Бросается в глаза стремление автора резко противопоставить неуклюжему Кушневу его красавицу-жену. Для определения каждой черты ее лица повторяется эпитет: «яркий». Она была «в желтом цвете», который могла себе позволить только она. В ней «невольно поражали яркий блеск черных глаз из-под длинных загнутых ресниц, яркая белизна сильных плеч, рук и груди, яркий отлив черных огромных кос, высота роста, яркость величавой поступи и легкий оттенок презрительности ярких зуб и губ, и свет двигавшихся с ней брильянтов». Ею все восхищались, государь говорил с ней. Но, как бы в противопоставление к преображающемуся от улыбки лицу Кушнева, автор сообщает, что выражение ее лица «было неизменно одно и то же, прекрасное, улыбающееся и слегка презрительное». Это точный портрет будущей Элен. И когда Толстой будет позднее рисовать ее портрет при ее появлении в салоне Annette D., он воспользуется этим возникшим в его воображении образом «первой красавицы».

В следующем наброске Кушнев заменен любителем спорить юношей Léon, «единственным сыном князя Безухого».

«Да никто вам не говорил, что я считаю Бонапарта хорошим христианином, я этого не сказал, я совсем этого не говорил, я говорю, что он великий человек»,— этими словами начинался новый набросок, в котором действие происходит на именинах у графа Простого в 1808 году. Произносит эти слова «запыхавшись и почти с пеной у рта, но с добродушнейшим озлобленным лицом высокий толстый юноша» Безухов в «споре о Наполеоне с князем Василием». Опять он высказывает мнение о Наполеоне, противоположное тому, которое в данный момент принято было в гостиных считать правильным. О внешности Безухого сказано мало: он высокий, толстый, у него добродушнейшее лицо. Известно, что у него дурные манеры: он говорит «слишком громко», положивши «оба локтя на стол, а один даже в соус». Такое необычное в этом кругу поведение вызывает смех сидевших за столом детей. Детский смех заставил юношу прекратить спор, и он вместе с детьми «засмеялся самым добродушным здоровым смехом». Старый граф Простой отзывается о нем хорошо: «умный», «славный». Вот все, что пока известно о споривше юноше.

Когда Толстой стал создавать пролог к этой сцене за обедом, молодой Безухов,— теперь он назван Аркадием,— впервые был показан в доме его умирающего отца, куда приезжают княгиня Анна Алексеевна Щетинина с сыном Борисом и князь Василий Позоровский. Совсем в иной обстановке по сравнению с предыдущими набросками появляется Аркадий Безухий, но и здесь он резко выделен из окружающей его среды. За ним сохранена все та же неуклюжая внешность: он толстый, у него толстые губы; говорит он так, «как будто рот у него был полон каши». Наряду с такой несветской внешностью Толстой показывает душевное благородство своего героя. «Хотя он с добродушием молодости и веселости, заменявшим такт в его медвежьей натуре», поцеловал руку княгини и обнял Бориса, ему, «видимо, было совестно за княгиню и ее сына, посещение которых он не мог объяснить». Молодому Безухову было особенно трудно сносить неловкое положение, потому что он «слишком тонко чувствовал и слишком был для того добр и мягок».

Аркадию неприятна и тягостна «вся эта комедия» у постели умирающего отца. «Ну, умирает человек, оставить бы его в покое. Нет, скачут из Петербурга, из Москвы, чтобы его мучить. И все за то, что он богат». Но как только он увидел, что Бориса обидели его слова, «в глазах и на всех чертах испуганного, растерянного» Аркадия выразились «жалость, нежность и любовь», и этот «толстый человек», покрасневший больше Бориса, «со слезами на глазах» стал успокаивать его.

Аркадий «с добродушным оживлением, доходящим до красноречия», высказывает Борису свои взгляды на дружбу, которую он понимает не как «любовь с чувственностью», а как «чистое, честное сближение без другой цели, как счастье того и другого». Много говорит о своих убеждениях. «Он был пропитан новыми идеями того времени, он был и мистик, и либерал, крайний либерал 1794 года, и поклонник Бонапарта». Отец Аркадия выражает сожаление, что у сына нет «ни малейшей любви к славе», и считает, что «ему бы надо родиться мещанином, а не князем Безуховым». А Борис рассказывает потом молодежи у Простых «про чудака Безухова».

Так подготовил Толстой появление за именинным столом спорящего со всеми юноши; и спор его «за» Наполеона, тогда как остальные «против», теперь понятен; Толстой разъяснил, что спор происходил в то время, когда в Москве еще неизвестно было о «возгоревшемся» в Петербурге энтузиазме к Наполеону после Тильзита.

Колебаний ни в отношении внешности, ни душевных качеств, ни убеждений Пьера у автора не было. То он более подробно рассказывает о нем от себя, то показывает впечатление, которое Пьер производит на окружающих, то проявляет черты его характера в действии,— но при всех обстоятельствах это все тот же будущий Пьер.

Чрезвычайно важны для образа Пьера 10-й и особенно 12-й варианты начала. В них Толстой засвидетельствовал, во-первых, что Пьер — это тот самый декабрист, создание повести о котором заставило писателя углубиться в изучение эпохи 1812 года, и во-вторых, что в молодости, т. е. в начале царствования Александра I, Пьер был «беззаботным, бестолковым и сумасбродным юношей», но в то же время постоянно был увлечен «либо каким-нибудь пристрастием, либо какой-нибудь отвлеченной мыслью». Эти именно черты Толстой особо выделял во всех предшествующих набросках характера Пьера. В новом — биография Пьера дополняется сообщением, что отец его был «чудак и масон», таким образом, отмечены некоторые наследственные черты у Пьера. Впервые становится известным, что, приехав из-за границы, Пьер остановился у «знаменитого вельможи и родственника отца, князя Василья Борисыча Курагина, известного всем под именем князь Василья». С его сыном Анатолем «за вином, картами и женщинами» Пьер проводил «бессумрачные ночи, сам не зная для чего, потому что не любил ни вина, ни карт, ни женщин».

Действие в новых набросках происходит в доме молодого князя Волконского. При изображении собравшихся у Волконского гостей Толстой особенно долго задержался на внешнем портрете Пьера. Он ищет определения: «толст», «пухл», «курчав», «с крупными и вялыми чертами лица». Надо показать его неуклюжую и в то же время особенную привлекательную внешность. Опять поиски деталей: улыбки и глаз. Пьер «имел замечательно оживленные глаза»,— начал было Толстой, но, не закончив сво-

его рисунка, стал заново создавать портрет, без детализации. Он отметил лишь, что «в сравнении с тонкими, твердыми и определенными чертами князя Андрея черты Пьера казались особенно пухлы, крупны и неопределенны». Главная особенность нового портрета Пьера — его «особенно оживленные и умные глаза» и улыбка. Вследствие «серьезности выражения его умных глаз лицо казалось скорее угрюмо, чем ласково, особенно, когда он говорил, но стоило ему улыбнуться и открыть порченые зубы, чтобы вдруг лицо его приняло неожиданно такое наивно, даже глупо, доброе выражение». Улыбка Пьера «вдруг, как будто по мановению волшебника, уносила обыкновенное умное, несколько угрюмое лицо и приносила другое, детски наивно доброе и все отдающееся вам лицо и выражение». Настойчиво, почти повторяясь, Толстой говорит о привлекательности, о полной обаяния внешности Пьера. Ни одного из своих только что рождающихся героев Толстой не изображал с такой любовью, как Пьера, одинаково заботясь и об его характерной внешности и об его внутреннем облике. В возникший за обедом разговор о преобразованиях, замышляемых в России, о конституции, вступает, конечно, Пьер, который «любил спорить». «Несмотря на свою распущенность и слабость в жизни,— пишет далее автор,— в деле мысли и спора он обладал логической последовательностью». Пьер «и не думал спорить о том, хорошо ли, дурно ли работает Михаил Михайлович или Иван Иванович, что́ было лучше — коллегии или министерство», даже вопрос об ответственности министров был для него ничтожен; он говорил, что конституция и вообще права и большая степень свободы не может быть дана народу, но должна быть взята, завоевана им, как она была завоевана в Англии и Франции. Он говорил, что «конституция, данная по прихоти монарха, может быть и отнята по той же прихоти» и что поэтому учреждение Совета и министерств не принесет пользы. И убеждения Пьера, и его внешность, и его духовный облик во многом уже ясны Толстому.

Так в первоначальных набросках постепенно рождались образы героинь и героев, какими они должны появиться в начале произведения. Найдя, наконец, благоприятную среду для того, чтобы начать действие сразу, художник смело вводил в салон придворной фрейлины, а затем в дом князя Безухого, Ростова и Болконского, знакомых и уже близких ему, живущих в его представлении людей. Живя их жизнью, следя за их судьбой, Толстой провел их через исторические события, происходившие в период между 1805 и 1820 годами.

3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

В ранних набросках начала романа достаточно отчетливо выявились основные принципы и метод Толстого в использовании исторических материалов. Принципы эти вытекают из понимания Толстым предмета истории и задачи исторического произведения.

Задолго до начала работы над «Войной и миром», даже до возникновения замысла исторического романа, Толстой не раз высказывал свои суждения по вопросам истории. Под впечатлением книг А. И. Михайловского-Данилевского о войнах 1812 и 1813 гг.[8] Толстой записал: «Составить истинную правдивую Историю Европы нынешнего века. Вот цель на всю жизнь.— Есть мало эпох в истории столь поучительных, как эта, и столь мало обсуженных, обсуженных беспристрастно и верно, так, как мы обсуживаем теперь историю Египта и Рима. Богатство, свежесть источников и беспристрастие историческое, невиданное — совершенство» (т. 46, с. 141—142). Размышляя о «сочинении истории», Толстой принял решение: «Каждый исторический факт необходимо объяснять человечески и избегать рутинных исторических выражений». Свое главное требование к «сочинению истории» Толстой выразил в задуманном для него эпиграфе: «Ничего не утаю», который он понимал очень широко: «Мало того, что прямо не лгать, надо стараться не лгать отрицательно — умалчивая» (т. 46, с. 212). Вскоре Толстой так определил задачу изучения истории: «знать про то, как живет, жило, слагалось и развивалось человечество в различных государствах, интерес к познанию тех законов, которыми вечно двигается человечество»[9].

Таким образом еще до «Войны и мира» у Толстого выработалось убеждение, что предмет истории — это жизнь человечества и познание законов, которыми оно движется; а задача исторического сочинения — правдивость, беспристрастие и «человеческое» объяснение каждого исторического факта.

К работе над «историей из 12-го года» Толстой приступил «с радостью, робостью и сомнениями» [10]. Его тревожила мысль, что «необходимость описывать значительных лиц 12-го года» заставит его «руководиться историческими документами, а не истиной». Сложившиеся взгляды на предмет истории и задачу исторического произведения, а также принцип руководствоваться только «истиной» определили характер работы над историческим романом и сделали неизбежной возникшую с первого же момента полемику художника с историками. Откинув все тревоги и приступив к работе, Толстой решительно заявил, что официальные документы не отражают подлинной истории, историки же видят только те события и тех людей, которые оставили следы «в дипломатическом акте», «в написанном законе», «в важном звании», «в памятнике», и только эти события вписывают в свою «летопись», воображая, что пишут «историю человеков». Толстой же был намерен писать историю не государственных деятелей, а людей, «не имевших тех недостатков, которые нужны для того, чтобы оставить следы на страницах летописей», следовательно, и не мог руководствоваться для своей «истории» только официальными документами.

Интересно сопоставить заявление Толстого с предисловием Тьера к двенадцатому тому его «Истории консульства и империи». Сообщая об окончании труда, над которым он работал 15 лет, и рассказав о методах работы, Тьер писал: «Я полагаю, что мне удалось открыть и выразить истину, не условную, какую часто создают сами себе современные поколения и передают следующим поколениям как истину подлинную, но истину самих событий, которая отыскивается только в государственных документах и особенно в переписке могущественных особ» [11]. В подходе к официальным документам одно из существенных различий метода Толстого и историков того времени. Изучая эти документы, они редко подвергали сомнению их достоверность, искренность; Толстой не менее тщательно собирал и изучал документы и исторические работы, построенные на официальных данных. Но по собственному свидетельству Толстого, он имел «дерзость обсуживать все явления и ничего не принимать на слово» (т. 8, с. 444). Не принимал он на веру и официальные документы, а стремился путем скрещивания материалов определить историческую правду.

Собирание и изучение исторических материалов началось буквально с первых дней работы. Книги, которые служили основными источниками в течение всех семи лет создания «Войны и мира», были приобретены Толстым в книжном магазине в Москве 15 августа 1863 г.: шесть томов сочинений А. И. Михайловского-Данилевского о войнах 1805, 1812, 1813 и 1814 гг., «Записки о 1812 годе» Сергея Глинки (СПб., 1836), «Краткие записки адмирала А. Шишкова...» (СПб., 1832), четыре тома «Походных записок артиллерии подполковника И. Р⟨адожицкого⟩» (М., 1835), семь томов «Истории консульства и империи» Тьера, три тома «Словаря достопамятных людей русской земли» Д. Н. Бантыша-Каменского (СПб., 1847) [12]. Почти все эти книги сохранились в Яснополянской библиотеке. Кроме того, в переписке Толстого, относящейся к первому году работы над романом, упомянуты еще «Чтения в имп. обществе истории и древностей российских при Московском университете»; в «Чтениях» за 1863 и 1864 гг. было опубликовано много материалов об Отечественной войне. Читал Толстой тогда и «Походные записки русского офицера», изданные И. И. Лажечниковым (М., 1836), и книгу П. И. Шаликова «Историческое известие о пребывании в Москве французов 1812 года» (М., 1813) [13]. Из дневника М. П. Погодина известно, что 15 декабря 1863 г. Толстой приходил к нему «за материалами о 1812 годе» [14].

Родственники Толстого разыскивали по его поручению другого рода источники, в равной мере необходимые для задуманного романа. В письме от 14—15 сентября 1863 г. Е. А. Берс, посылая ему список книг, «в которых говорится что-нибудь о 12-м годе», писала: «Их на русском языке замечательно мало, а очерков из общественной жизни почти вовсе нет; все так много заботились о политических событиях и их было так много, что никто и не думал описывать домашнюю и общественную жизнь того

времени. Тебе надо получить особенное откровение свыше, чтобы угадать по самым неясным намекам и рассказам. Постарайся послушать очевидцев (...) Я слушала некоторые рассказы, но все говорят о том, как мужики били француза, как хотели Кремль взорвать. В какой день кто и куда выехал и как жили во Владимире, да в Туле, да в Калуге эти выехавшие, никто о том решительно ничего не скажет». Из ответов Е. А. Берс ясно, что Толстой поручил ей искать рассказы и документы о «домашней и общественной» жизни людей во время войны 1812 г., «как и куда выезжали люди из занятой французами Москвы и как жили в других городах». В список книг, который приложила к своему письму Е. А. Берс, вошли в числе других: «Воспоминания очевидца о пребывании французов в Москве в 1812 году»; «Записки 1743—1812 гг.» Державина; «Воспоминания о пребывании неприятеля в Москве в 1812 году» П. Кичеева; «Рославлев» М. Н. Загоскина, «Записки современника с 1805 по 1819 гг.» С. П. Жихарева; «Два брата, или Москва в 1812 году» и «Две сестры, или Смоленск в 1812 году» Р. М. Зотова; «Освобождение Москвы в 1812 году» С. Т. Аксакова; «Анекдоты, черты из жизни и славы графа Милорадовича». Эти именно книги, «где более говорится об общественной жизни», она отметила в своем списке звездочкой [15]. Многими из них Толстой действительно воспользовался.

Тогда же разысканием материалов был занят А. Е. Берс. Он искал их и в печатных изданиях, и в устных свидетельствах современников войны. Он прислал Толстому письма М. А. Волковой, фрейлины императрицы Марии Федоровны, к В. И. Ланской и обращал внимание Толстого на имевшиеся в них «весьма интересные» сведения «об духе того времени». Известно, что и этими документами Толстой широко пользовался [16].

Перечисленный круг источников, который был известен Толстому к началу работы над «Войной и миром», достаточно велик по количеству книг и разнообразен по характеру их. Первое место занимают, естественно, те книги, которые могли ознакомить с основными историческими событиями и фактами, с официальными документами: приказами и распоряжениями командования, диспозициями боев и пр. Но этого было недостаточно. Создавалось художественное произведение, посвященное героической эпохе. Автор выступал одновременно и историком и художником. Предстояло не только отразить в художественной форме исторические события, наполеоновские войны, но для правдивого воспроизведения жизни России первой четверти XIX в. Толстому необходимо было осветить глубокие духовные процессы, происходившие в сознании живших тогда людей. «Сознание человечества составляет главный элемент истории»,— утверждал Толстой (т. 8, с. 16). Материалами, помогавшими воображению писателя проникнуть в жизнь и сознание изображаемых людей, служили письма и мемуары военных и общественных деятелей, а также частных людей того времени. Драгоценные данные предоставляли и историку и художнику журналы и газеты, издававшиеся в изучаемый период. Интересны были ему и художественные произведения о 1812 годе; роман Загоскина «Рославлев» читался «с наслаждением, которого никто кроме автора понять не может» (т. 83, с. 59 и 60). Таким образом, источники делятся на две группы: одни доставляли сведения об исторических событиях и лицах, другие оживляли «звук и запах» эпохи и заставляли писателя «понимать одной стороной ума, а другой — думать и в самых общих чертах представлять себе целые поэмы, романы, теории философии» (т. 61, с. 116).

Разумеется, на материале первоначальных рукописей, а тем более только набросков начала нельзя представить во всей широте принципы и методы использования Толстым источников. Однако ранние наброски позволяют сделать некоторые существенные выводы, которые подтверждаются анализом дальнейшей работы Толстого над историческими материалами.

Вступления с обзором исторических событий первых годов царствования Александра в России и Наполеона во Франции убеждают в том, что Толстой с первых дней работы над романом не только изучил эпоху, в которой должно развиваться действие в его произведении, но глубоко осознал ее, уяснил себе смысл и сущность каждого события, выработал свое отношение к событиям и государственным деятелям. Исторические источники предоставили множество фактических данных, освещение же эпохи

историками Толстой признал неверным. Нередко то, что историками выставлялось как великое, Толстой в своем романе изображал в форме, близкой к памфлету. «Это было в то время, когда карта Европы перерисовывалась разными красками каждые две недели, и итальянцы, испанцы, бельгийцы, голландцы, вестфальцы, поляки и особенно немцы никак не могли понять к какому, наконец, они принадлежат государству, чей мундир им надо носить, кому преимущественно подражать, льстить и кланяться». В обзоре причин первой войны России с Наполеоном Михайловский-Данилевский, чуть ли не единственный из официальных историков того времени, охарактеризовал Наполеона не только как одного из «первых полководцев всех времен», но и как человека, «обуреваемого замыслами преобладания» и «ненасытного властолюбием»[17]. Во всех других источниках, которые были в руках Толстого в первый год его работы, Наполеон показан только как великий полководец, гений войны и политики. Толстой изобразил этого признанного всеми гения в виде «маленького человечка, в сереньком сертучке и круглой шляпе, с орлиным носом, коротенькими ножками, маленькими белыми ручками и умными глазами», который «воображал себе, что он делает историю, тогда как он был только самый покорный и забитый раб ее», который «старался раздуваться в сообразное, по его понятиям, величие положения и, несмотря на умную и твердую натуру, при первом прикосновении земного величия, человеческой лести и поклонения потерял свою умную голову и погиб, надолго еще оставаясь для толпы чем-то странным и великим». Спустя почти сорок лет, Толстой, по свидетельству М. С. Сухотина, стараясь припомнить, что дало ему первый толчок в его «антипатии к государственности 〈...〉 убедился, что это были его занятия во время писания „Войны и мира“, когда ему пришлось изучить эту отвратительную личность как военачальника, императора и частного человека»[18].

Если в работах Михайловского-Данилевского Толстой еще находил некоторую поддержку своим суждениям о Наполеоне, то уж нигде в официальных русских источниках он не мог встретить тенденции низвести с пьедестала Александра I. Однако в не менее саркастической форме изобразил Толстой первые годы царствования Александра, который «решил устроить судьбы Европы, остановить les envahissements de cet homme*, заключил союз с Австрией и решил, что, победив Буонапарте (в победе нельзя было сомневаться), французам будет предоставлена свобода избрания того образа правления, который они найдут для себя лучшим, и купленные имения эмигрантов останутся в руках владельцев. Все было тонко предвидено».

Такие позиции Толстого, столь резко отличавшиеся от существовавших взглядов, отраженных в исторических сочинениях, обусловили характер использования источников в течение всей работы над романом.

По-своему раскрывая сущность исторических событий, Толстой сохранял фактическую точность. Нет нужды доказывать, что все исторические лица — а их участвует в набросках начала около тридцати — выведены под своими именами; точно соблюдены, естественно, все географические названия мест исторических событий. В неприкосновенности сохранялся текст официальных документов и цитат из сочинений историков. Но Толстой находил такие приемы введения их в свой текст, что они способствовали выражению основных взглядов автора. Вступление к 4-му варианту начала завершалось подлинным текстом писем, которыми обменялись Наполеон и Александр I перед войной 1812 г. Им предшествует авторское изложение тех событий, которые считались причинами войны и которые отражены в приведенных письмах: «В то время, о котором я пишу,— рассказывал Толстой,— ему 〈Наполеону〉 должно быть пришла мысль сделать северный океан французским озером, он начал приводить в исполнение эту великую мысль, проведя карандашом на карте Германии черту, по которой весь берег Северного и Немецкого моря был французский, и все сказали „Очень хорошо“. Однако император Александр вступился за владения родственника, принца Ольденбургского, попавшие в черту на карте. Начались протесты, споры, переписка». После такого вступления подлинные письма получили соответствующее звучание.

Один из набросков начала открывался нотой российского поверенного в делах П. д'Убриля французскому министру иностранных дел от 28 августа 1804 г. Полный

* захватничество этого человека (франц.).

текст ноты опубликован в «Вестнике Европы» 1804 г. Из этого журнала Толстой заимствовал немало различных сведений, в том числе и ноту. Возможно, что эта именно публикация навела на мысль начать произведение с данного официального документа. Вслед за точно скопированным текстом ноты Толстой стремится доказать, что эта «смелая и решительная» нота, в которой «выставлялись все причины неудовольствия нашего двора против французского и требовалось удовлетворение», не сыграла никакой роли в общем ходе исторических событий, и Наполеон, «не обращая никакого внимания на строгие замечания, которые делал господин д'Убриль», и не обращая внимания «на признание и непризнание законности его прав», продолжал захватническую политику. Привлечение подлинного текста документа с целью противопоставления его содержания действительному положению дел многократно повторяется в работе над «Войной и миром»; в завершенном романе сохранен тот же принцип подачи официальных документов.

Полемика Толстого с историками более всего относилась к пониманию «значения события». Особенно остро это сказалось в описании боев. Впоследствии Толстой сформулировал причины разногласий в описании сражений историком и художником: «Художник из своей ли опытности или по письмам, запискам и рассказам выводит свое представление о совершившемся событии», и весьма часто оно оказывается противуположным выводу историка. Такое «различие добытых результатов» обусловлено и характером источников. Официальные документы, которые для историка являются главным источником, художнику ничего не дают. «Мало того, художник отворачивается от них, находя в них необходимую ложь» (т. 16, с. 10).

В полном соответствии с приведенным позднейшим заявлением Толстого находятся его рассуждения, входящие в 7-й вариант начала, который имеет важное принципиальное значение при решении вопроса об идейных позициях Толстого в ранний период работы над романом. Первому эскизу картины Аустерлицкого сражения предпослано рассуждение автора о том, что «вопросы военных успехов решаются не величием военных гениев» и «не столько предусмотрительностью и силою всех возможных соображений, сколько умением обращаться с духом войска, искусством поднимать его в ту минуту, когда высота его более всего нужна». К выводу о решающей роли духа войска в сражении Толстой пришел «по рассуждению и по опыту» и заявил, что он был и останется верен ему. Целым рядом образных сравнений Толстой подвел свои рассуждения к тому, что на настроение войска влияет множество факторов: и климат, и толки в армии, и провиант, но решающую роль играют отношения начальников к подчиненным. «Чем больше связи между тем и другим, чем ближе, непосредственнее эта связь», тем больше «силы и высоты приобретает дух войска».

Из исторических сочинений Толстой узнавал факты, касающиеся сражения, и, руководствуясь собственным убеждением, создавал картину сражения, стремясь по-своему раскрыть его сущность. Анализ духа войска является главным компонентом толстовского описания сражений. Этого он у историков не находил и с горечью говорил о том, что «в военном деле анализированы давно все роды орудий смертности, все условия продовольствия, выгод местности и сочетания масс, но вопрос о значении того, что называют духом войска, предоставляется болтунам, поэтам и не занимает серьезных людей».

В развитие своего тезиса Толстой попытался сравнить три рода описания Аустерлицкого сражения: «Сражение с точки зрения военной истории, с точки зрения эпической поэзии и с нашей точки зрения»[19]. Строго следуя за историческими источниками, более всего используя книгу Михайловского-Данилевского, соблюдая военную терминологию, Толстой дал первый род описания сражения. Надобно заметить, что и здесь Толстому не удалось сохранить «бесстрастие» историков. Их описание в изложении Толстого перемежается его резкими полемическими заявлениями и насквозь пронизано его гневом. В связи с попытками русских историков представить как одну из существенных причин поражения под Аустерлицем то, что колонны войск, «задержанные непредвиденными обстоятельствами», опаздывали, Толстой восклицает: «Давно бы пора предвидеть и расстреливать эти непредвиденные обстоятельства, ибо такие непредвиденные обстоятельства стóят из-за лени, необдуманности, легкомыслия двух-

трех жизни десяти тысяч и позора миллионам». Толстой выставляет другую причину поражения. «Те, которые были причиной этого, австрийские колонновожатые, на другой день чистили себе ногти и отпускали немецкие вицы и умерли в почестях и своей смертью, и никто не позаботился вытянуть из них кишки за то, что по их оплошности погибло двадцать тысяч русских людей и русская армия надолго не только потеряла свою прежнюю славу, но была опозорена». Толстой закончил излагаемое им описание битвы «с военной точки зрения» спокойной по форме фразой: «Так неудовлетворительно рассуждает и объясняет военная история». Второй род изложения боя «с точки зрения эпической поэзии» представлен Толстым в подобном же раздраженно-ироническом тоне и с такими же полемическими репликами.

Наконец, свое изображение Аустерлица Толстой предваряет вводной фразой, настраивающей читателя на определенный лад: «... и вот другое описание сражения, из которого все-таки вопрос, щемящий тогда, теперь, и вопрос, который всегда щемит сердце, пока будут русские, вопрос, почему так постыдно разбито русское войско, вопрос этот не получает ответа». Вопрос Толстым поставлен. Художественной картиной битвы под Аустерлицом он будет стремиться ответить на него.

Источниками для раннего варианта описания Аустерлицкого сражения и предшествовавшей ему обстановки послужили названные выше книги Михайловского-Данилевского, Тьера, а также «Записки Алексея Петровича Ермолова» (М., 1865). Каждый приведенный Толстым факт находит подтверждение в источнике. Одиннадцатая глава книги Михайловского-Данилевского, озаглавленная «Лагерь под Ольмюцом», дала все сведения для начала наброска. Историк сообщает, что Кутузов «соединился у Вишау с первою колонною корпуса графа Буксгевдена», 10 ноября Кутузов «вступил в Ольмюц. Через два дня пришла в Ольмюц гвардия», которая «вступила в Ольмюц в полной парадной форме, прямо на смотр монархов, и смотр был самый блистательный». На этих данных построен первый эпизод 7-го варианта. Действие начинается в день смотра, т. е. «через два дня» после прихода в Ольмюц Кутузова. Толстой точно указывает дату: 12 ноября и сообщает, что «кутузовская армия готовилась в Ольмюце к смотру» и «ожидала гвардию». Этот едва заметный акцент на то, что армия «ожидала» гвардию, не случаен; в дальнейшем рассказе будут неоднократно противопоставляться гвардия и армия. Гвардия «вступала в Ольмюцкий лагерь прямо на смотр»,— точно по источнику сообщает Толстой. Михайловский-Данилевский подробно описывает переход гвардии, «радостно встречаемой на всем пути» из Петербурга до Ольмюца. В пути «укомплектовали гвардию людьми из других полков, уменьшили обоз, дали войску пять дней отдыха 〈...〉 От границы австрийских владений, по повелению императора Франца, были приготовлены на половине каждого перехода обеды для офицеров, солдатскую амуницию везли на подводах». Толстой использовал эти данные: «Гвардия, как известно, шла как на гулянье. Ранцы везли на лошадях, офицерам были готовы обеды везде. Полки шли в ногу, и офицеры шли пешком. Так шел Борис с своим товарищем ротным командиром Бергом». Каждый штрих приобретает существенное значение в общем тоне рассказа Толстого. Тон этот усилен участием именно Бориса и Берга, которые рисуются неизменно в отрицательном свете. Картина походной жизни гвардейцев продолжена изображением «чистой квартирки» Бориса и Берга, где они «чистенькие», один в шелковом халате, другой в венгерской курточке, пили чай и играли в шахматы. Особенно сильно выступит смысл подсказанной историческими фактами картины, когда Толстой перенесет действие в «лагерь 1-й армии», который имел «совсем другой вид, как гвардейский. Солдаты были оборваны, многие босиком, офицеры в разнокалиберных одеяниях».

Точно по официальным сведениям указан день выступления армии из Ольмюца — 15 ноября. Излагая обстоятельства, заставившие выступить из Ольмюца, Михайловский-Данилевский сообщает, что это было сделано вопреки мнению Кутузова, который считал, что выступление в данный момент приведет неизбежно и немедленно к сражению, «казавшемуся Кутузову рановременным». Эти сообщенные историком факты дали Толстому материал для саркастического рассуждения о военном совете, на котором «дело исполнено было: идти догонять и бить Бонапартия, но решено дело вовсе не было».

Историк сообщает, что «армия выступила от Ольмюца в пяти колоннах, шедших на одной высоте: 1-я Вимпфена, 2-я графа Ланжерона, 3-я Пржибышевского ⟨...⟩, 4-я князя Лихтенштейна и 5-я князя Гогенлоге». Это бесстрастное в источнике перечисление имен генералов, возглавлявших колонны, превратилось у Толстого в принципиально важный факт. Толстой делает упор на иностранные имена командиров. «Русские пять колонн вели: 1) немец Вимпфен, 2) француз Ланжерон, 3) поляк Пржибышевский, 4) немец Лихтенштейн, 5) немец Гогенлое». В этом была заложена одна из причин, сыгравших решающую роль в исходе войны. С самого начала не было никакой связи между русскими воинами, дорожившими честью армии, и иностранными командирами, для которых потеря сражения и бесчестие армии не были страшны.

Первым после выхода из Ольмюца было небольшое сражение при Вишау. На основе данных Михайловского-Данилевского Толстой конспективно наметил картину битвы и воспользовался свидетельством Ермолова о том, что дело при Вишау «представлено было в гораздо важнейшем виде» и в главной квартире «восхищены были победой». По поводу этой «победы» иронизирует князь Андрей: «Шесть тысяч человек напали на тысячу и выгнали, когда они хотели отступать». (На это намерение французов отступать есть указание у Михайловского-Данилевского.) «Зато как мы все поздравляли Долгорукова, пили за его здоровье за царским столом. Теперь кончено, мы чуть не захватили Бонапарта. Одного боимся, как бы не ушел». В таком же тоне, как и князь Андрей, говорит о победе эскадронный командир, обращаясь к Толстому (так именуется здесь Николай Ростов), получившему за Вишау следующий чин поручика: «Да, батюшка, уж коли за это дерьмо по следующему чину...» и добавляет при этом, что получать награды «не службой, а счастьем» привычное дело.

Историк повествует, что по окончании «пальбы» Александр I «шагом и безмолвно» объезжал поле сражения, «всматривался посредством лорнета в лежавшие тела и приказывал подавать помощь тем, у кого замечал искру жизни. Опечаленный зрелищем пораженных смертью и ранами, император весь день не вкушал пищи и к вечеру почувствовал себя нездоровым». В окончательном тексте на этой основе будет создана выразительная художественная сцена, пока же появился только конспективный набросок, в котором лишь несколькими штрихами изображен у Толстого Александр I после Вишауского сражения. С фактической стороны содержание конспекта близко к источнику, только сочувствие историка заменилось иронией художника, осветившей сущность явления. «Государь стоял верхом на энглизированной лошади и смотрел в лорнет. Лицо его было особенно добро. Он подъезжал к каждому раненому и пожимал плечами». Энглизированная лошадь, лорнет, доброе лицо и пожимание плечами, и все это среди убитых и раненых, лежавших на поле только что закончившегося сражения! Внешние факты не искажены, но тон автора сместил стержень рассказа историка и вызывает обратное впечатление, подкрепленное разговором императора с солдатом, у которого оторвана нога: «Где у тебя нога?— спросил государь.— Ниже колена, ваше высокоблагородие,— отвечал солдат. Свита улыбалась, но с грустью под тон государя».

Так же точно в плане раскрытия сущности события на основе фактических данных историков дано описание Аустерлицкого сражения. Предварительно Толстой еще раз перечислил иностранных командиров: «Русскими войсками распоряжались император Франц, полковник Вейротер, Гогенлое, Лихтенштейн, Вимпфен и Буксгевден, изменник своей стране Ланжерон и т. д.» Такое введение настораживает. Имени Кутузова среди командиров Толстой не называет, а показывает его в самом действии, в сцене перед началом сражения, в момент приезда двух императоров и их свиты. Эпизод построен на материалах Михайловского-Данилевского. Почти дословно совпадает прямая речь участников у историка и у художника. Только у писателя центральной фигурой являются не императоры, а Кутузов; выражение лица, с каким он выслушивает распоряжения императора, дает нужное Толстому направление для сцены, напоминая вновь о тревогах Кутузова перед сражением, которое он считал преждевременным. Историк рассказывает так: «В десятом часу прибыли на поле сражения император Александр и Франц ⟨...⟩ Подъехав к Кутузову и видя, что ружья стояли на козлах,

император Александр спросил его: — Михайло Ларионович, почему не идете вперед? — Я поджидаю,— отечал Кутузов,— чтобы все войска колонны пособрались. Император сказал: — Ведь мы не на Царицыном лугу, где не начинают парада, пока не придут все полки.— Государь,— отвечал Кутузов,— потому-то я и не начинаю, что мы не на Царицыном лугу. Впрочем, если прикажете.— Приказание было отдано. Войско начало становиться в ружье».

Толстой берет эпизод целиком, направляя все внимание на показ душевного состояния Кутузова. Из предшествовавшего повествования ясно, что Кутузов против воли принимал сражение, что он вынужден был подчиниться Александру, который соглашался с решениями иностранных генералов, вопреки мнению Кутузова. Теперь Толстой использовал эту сцену для того, чтобы в действии показать создавшееся для Кутузова положение.

«Наконец, заслышались выстрелы. Поднялись уши у людей и лошадей, показались панаши государей. Веселы, чисты, молоды, солнце — ярко, лошади чудесны. Кутузов скучен».

Противопоставление настроения: все веселы — Кутузов скучен — дает тон всей сцене с первых же строк. Продолжение конспекта относится к той же теме:

«Началось (улыбка).— Да.

— Жалко, что мы не будем.

— Что же вы не начинаете, Михаил Илларионович?

И лицо вечно насмешливое оскорбило государя.

— Мы не на Царицыном лугу.

— Оттого-то и не начинаю.

Сзади зашевелились, недовольство, упрек. „Такого счастливого царя, можно ли смеяться". Нехорошо!!!

— Коли прикажете...

— Ну да, с богом».

Сохраняя в точности по источнику форму этой сцены, Толстой наполнил ее иным содержанием.

Картина самого сражения дана с огромной силой напряжения, хотя так же конспективно. Даже этот эскиз будущей художественной картины Аустерлицкого боя содержит исторически верные эпизоды, опирающиеся на материалы источников, и создает известное по завершенному тексту впечатление хаоса. Толстой изобразил Аустерлицкое сражение хаотическим не потому только, что это соответствовало авторской точке зрения; как доказывают некоторые исследователи, он находил тому подтверждение в документах. «Был час пополудни. Уже не имея общей связи, битва представляла зрелище отдельных частных действий»,— отмечает Михайловский-Данилевский, объясняя, что так «всегда случается, когда средина армии бывает прорвана и отделена от флангов». Толстого не интересует толкование, ему нужен факт, который находит объяснение в общем ходе событий. Еще больше сведений для своей картины Аустерлица Толстой нашел в рассказе участника сражения А. П. Ермолова, который утверждает, что Аустерлицкое сражение «сопровождали обстоятельства столько странные», что он не сумел дать «ни малейшей связи происшествиям» и не мог описать в своих мемуарах это сражение «с большою подробностью».

Рассказ Ермолова об Аустерлице, можно думать, немало способствовал представлению Толстого об этой битве. Ермолов прямо заявляет об измене австрийских генералов, иронизирует над «премудро начертанной австрийской диспозицией», «так запутанною, что ни помнить, ни понимать не было никакой возможности». Все это отражено у Толстого. Мемуарист рассказывает, что «самые начала действий уже не согласовались с диспозицией, все колонны войск непременно одна другую перерезывали, и даже не по одному разу, и которая-нибудь напрасно теряла время в ожиданиях». Об этом опоздании колонн Толстой много рассказал и наметил в конспекте: «Три начальника действовали отдельно без связи, и все опоздали. Однако сорок тысяч человек стреляли тут друг в друга, и тысячи уже были убиты». Ермолов подробно говорит о царившем во все время сражения хаосе, который дошел до того, что «армии, казалось, полков не бывало, а видны были разные толпы». Заканчивая свой рассказ,

Ермолов пишет: «Если премудрая диспозиция нас разделила, то бегство соединило многих».

Такое впечатление создает и эскиз Толстого: сначала показана свита во главе с двумя императорами. «В свите большинство ничего не понимало: что идет? куда? зачем? где правый? где левый фланг? ⟨...⟩ Только государи и ближайшие к ним, видимо, понимали и интересовались чем-то и были различных мнений с Кутузовым». Двумя только фразами Толстой показывает поведение императоров и свиты: «На горе была толпа панашей бегущих, государи впереди. Австрийцы бежали».

Для усиления общего впечатления хаоса на поле боя использован засвидетельствованный историками точный факт: туман, который, как неоднократно упоминает Михайловский-Данилевский, «не позволял» русским видеть войска, собранные Наполеоном. Туман стал у Толстого лейтмотивом художественной картины боя. И в раннем эскизе ее уже отмечена эта немаловажная для художника правдивая деталь. «Туман поднялся клубами...»; «...серое туманное утро...»; только «присмотревшись», можно было разглядеть французов.

На материале одного эскиза Аустерлицкого сражения можно убедиться, что Толстой не искажал исторических фактов для доказательства своих воззрений, но на основе глубокого проникновения в сущность явления определял место и значение каждого факта в общем ходе события. Позднее была сформулирована Толстым задача: отвернувшись «от изучения рапортов и генеральных планов», вникнуть «в движение сотен тысяч людей, принимавших прямое непосредственное участие в событии». Она привела Толстого к убеждению, что причиной Аустерлицкого поражения было отсутствие связи между иностранным командованием и русским войском, отсутствие доверия к начальникам и упадок духа войска вследствие бестолковщины в период сражения Эти основные факторы отражены в раннем наброске описания Аустерлица.

Из тех же предпосылок вытекает оценка Толстым исторических деятелей, решительно отличающаяся от оценок официальных историков. Как при изображении исторических событий, так и при создании образов исторических лиц Толстой пользовался документами. Толстой выбирал из работ историков, из мемуаров, из биографий, из портретных изображений точные черты внешнего облика и, главное, характера во всех его многообразных проявлениях и, строго сохраняя действительные черты, создавал образы этих лиц под определенным углом зрения. В этом отразилось отношение автора к выведенным в романе лицам. Основная позиция, с которой художник анализировал характер, роль и значение каждого исторического деятеля, состояла в установлении связи его с народом. В таком подходе заключалась причина разногласий Толстого с историками в оценке почти всех ведущих деятелей эпохи наполеоновских войн.

Ранние наброски также дают некоторые данные для освещения этого вопроса. Отношение Толстого к Наполеону твердо и безоговорочно выражено в цитированных вступлениях. В действии Наполеон показан в Аустерлицком сражении. Толстой наметил: «Наполеон на аванпостах. Восторг, который был на смотру». Видимо, сцене блестящего Ольмюцкого смотра и воссозданной по рассказу Тьера сцене приезда Наполеона на аванпосты в момент чтения приказа (подлинный текст приказа заимствован также у Тьера)[20] предназначена одна роль — контраст с картиной самого боя. Стремление Толстого уничтожить ореол величия Наполеона отразилось в конспективном наброске в ряде мелких штрихов: приказ читают «при свете головешек», читает его молодой адъютант «почти как на театре», «в свет огня въехал французский император, тот самый в шляпе и сертуке, которого видел Долгорукий». Он остановил солдата. «Солдат поднял зажженный пук соломы, чтоб осветить его»; «Пуки соломы и крики, которые поражали наших, провожали его». Источники подсказывали эти факты, сослужившие художнику большую службу [21].

О Кутузове во вступлениях имеется только одна фраза: «Разве не было тысяч офицеров, убитых во времена войн Александра, без сравнения более храбрых, честных и добрых, чем сластолюбивый, хитрый и неверный Кутузов?». Что же это? Оценка Толстым Кутузова? Разумеется, нет. Эпитетами: хитрый, развратный, дряхлый, слабый, неспособный, придворный старик, развращенный, лживый, царедворец — весьма

щедро награждали Кутузова и русские и иностранные историки. Создавая свой образ Кутузова, Толстой и на раннем и на самом последнем этапе работы не раз пользовался теми же эпитетами, но всегда в полемическом смысле, и изображением самих действий Кутузова доказывал бессмысленность подобных оценок. Например, глава о Кутузове на Бородинском поле начиналась (и так дошло до корректур): «Дряхлый, слепой, развратный, неспособный Кутузов, как нам любят изображать его, в этот день 26 августа сидел, понурив седую голову...» и т. д. Этими же эпитетами заканчивается волнующая сцена, отразившая момент получения Кутузовым известия о выходе Наполеона из Москвы (основой для нее послужило описание Михайловского-Данилевского). Получив это так долго ожидаемое известие, Кутузов «сквозь слезы» произносит: «Господи! Создатель мой. Внял ты молитве нашей ⟨...⟩ Спасена Россия. Благодарю тебя, господи!». И за этими словами следовала реплика Толстого: «Так думал и говорил хитрый, развратный царедворец Кутузов». Бесспорно, точно такое же значение имела приведенная фраза в вступлении, что явствует из всего контекста. Нельзя не обратить внимания, что ни в этом, ни в трех других вступлениях с обзорами исторических событий и оценками деятельности исторических лиц Толстой не касается личности и действий Кутузова. Свое отношение к роли государственных деятелей Толстой на раннем этапе работы раскрывает на анализе деятельности Наполеона и Александра, а также частично касается немецких и австрийских генералов, военных теоретиков. Рассказ о поведении Кутузова накануне Аустерлицкого сражения и в момент сражения ведется совсем в ином тоне.

Вопреки официальным источникам, Толстой раскрыл действительную обстановку, в какой Кутузову приходилось вести войну 1805 г. В разговоре князя Андрея с Борисом показано трудное положение Кутузова в штабе, где присутствие Александра I лишало Кутузова самостоятельности; кроме того, Александр доверял авторитету австрийского генерала Вейротера, который торопил с наступлением и протестовал против мнения Кутузова, подозревавшего австрийцев в измене. Переходя к описанию самого сражения, Толстой обращает внимание на стратегически невыгодное положение русской армии и особо подчеркивает состояние Кутузова, который был в этот день «совсем не тот главнокомандующий, каким его знали прежде в Турции и после при Бородине и Красном. Не было в нем этой тихой, прикрытой беспечностью и спокойствием старческой силы презрения к людям и веры в себя, светившейся всегда из его узких глаз и твердо сложенных тонких губ. Он был скучен и раздражителен. Он отдавал приказания только о движении, но ничего не приказывал». В сцене встречи Кутузова перед сражением с императором и свитою сочувствие автора к Кутузову выражено весьма определенно. А краткий конспект сцены, рисующей Кутузова в самый напряженный момент сражения, по своей идейной направленности полностью совпадает с завершенным текстом этой сцены. Отдельными штрихами намечены действия Кутузова, взволнованного начавшимся бегством. Кутузов говорит Волконскому: «Посмотрите, они бегут». Далее: «Кутузов:— Вели стрелять на батареях картечью». «Кутузов собирал бригаду. Он любил Волхонского». Изображение Кутузова во время Аустерлицкого сражения, ясно выказавшее положительное отношение Толстого к нему, входит в 7-й вариант начала, написанный много раньше того вступления, в котором имеется цитированная фраза о «сластолюбивом, хитром, неверном» Кутузове.

Ранние наброски начала отражают полемику Толстого с историками, начавшуюся буквально с первых шагов работы над романом и обусловленную иным подходом художника к изучению законов истории. Толстой стремился проникнуть в смысл исторических явлений и разглядеть то, что он считал главным, но что не отразилось «в мишурном величии, в книге, в важном звании, в памятнике». Вследствие иной точки наблюдения и предмета наблюдения заимствованные из исторических источников сведения и материалы приобретали в произведении Толстого при сохранении фактической точности иной смысл и иное значение в общем ходе истории.

В процессе поисков начала определялась композиция произведения, обеспечивавшая одновременность действия; установилась манера вести повествование небольшими главами, что облегчало быстрый переход действия из одного места в другое, от одной группы лиц к другой. Постепенно создавались образы персонажей, какими они

должны были быть в начале века, ко времени первой войны с Наполеоном; определялась среда, в которой они жили. Наконец, в первоначальных набросках нашли отражение основные принципы и метод использования Толстым исторических источников.

Первый год работы над романом, посвященный только поискам начала,— это первый из тех семи лет, в течение которых Толстой «с мучительным и радостным упорством и волнением» шаг за шагом открывал то, что он считал истиной.

* * *

Наброски начала романа «Война и мир» опубликованы в Юбилейном издании, т. 13, с. 53, 58—205. Принцип расположения их в этой публикации непонятен, и создается впечатление бессистемности и случайности.

Важным признаком для установления по возможности хронологической последовательности возникновения набросков начала служит четко отраженный в них постепенный отход Толстого от 1812 г. к 1805 г. Приняв этот признак за основу для расположения набросков, последовательность их в т. 13 представится в следующем виде: 1, 5 (начало), 4, 3, 13, 14 (начало), 2, 7, 6, 5 (без начала, опубликованного раньше), 9, 10 (без окончания), 11, 12, 14 (без вступления, опубликованного раньше), и к 14-му присоединено в качестве непосредственного продолжения окончание 15-го варианта, начало 15-го не опубликовано. При такой публикации каждый из ранних набросков воспринимается изолированно, вне общей цепи и не больше как новый интересный текст Толстого. Значение первоначальных набросков неизмеримо серьезнее, они входят в общую цепь процесса работы Толстого над романом.

Текст рукописей, опубликованный в т. 13, прочитан хорошо, но механически воспроизведен без учета того обстоятельства, что первоначальный текст нескольких ранних набросков был использован Толстым при дальнейшей работе над произведением и подвергался позднейшей правке. Вследствие смешения слоев разновременной правки в ранние тексты Толстого внесена путаница в имена, даты, события. Например, в варианте, озаглавленном «Три поры», который Толстой трижды в разное время исправлял, приспосабливая его к новому замыслу, появились такие нелепости: «12 октября 1805 года утро было ясное, безветренное *с морозом* и безоблачное», а экипажи проезжали через имение «в густой пыли», что, разумеется, не могло быть при морозе. В это же утро «*с морозом*» m-lle Enitienne гуляла в саду «в изящном летнем платье» (см. т. 13, с. 80 и 83). Причина несоответствия открывается весьма просто: и «густая пыль» на дороге и «изящное летнее платье» относятся к первоначальному тексту, по которому действие начиналось не «12 октября 1805 года», а «28 августа 1811 года». В 6-м варианте начала, озаглавленном «День в Москве», действие происходит в 1808 г., т. е. после заключения Тильзитского мира, а среди намеченных тем беседы в гостиной у графа Плохого: «Война, объявленная французам». Эти слова даны под строкой как зачеркнутые (см. т. 13, с. 151, прим. 1). Фактически же они появились позднее, когда Толстой приспосабливал этот вариант начала к новому замыслу, по которому действие начиналось в 1805 г., т. е. к 8-му варианту начала. Текст о намерении графа спросить у гостьи, «слышала ли она, что Кутузов проехал» (т. 13, с. 151), также относится к 8-му варианту, в котором действие начиналось в октябре 1805 г., именно тогда, когда Кутузов «проехал» (а зачеркнуто все это было, очевидно, при вторичном исправлении рукописи для первой части первого тома). В варианте «Три поры» дата 1811 г. была изменена на 1805 г. тогда, когда ранее созданный текст приспосабливался также для 8-го варианта начала. По той же причине смешения слоев правки в 7-м варианте начала появилась неустойчивость имен одних и тех же персонажей: то Простовы, то Ростовы, Федор Простой, потом Nicolas Ростов (т. 13, с. 98 и сл.).

Предисловие, относящееся к 5-му варианту, напечатано на стр. 53, а текст, непосредственно за ним следующий,—на стр. 169—172. Вступление с обзором исторических событий, предшествующее 14-му варианту начала, напечатано на стр. 75—77, а непосредственное продолжение рукописи—на стр. 198—201. Такое искусственное разделение текста одной рукописи никак не оговорено.

Задача настоящей публикации — не исправление соответствующего раздела т. 13, появившегося одиннадцать лет тому назад, и не сообщение каких-то новооткрытых

текстов, а стремление, независимо от предыдущих публикаций, восстановить творческий процесс первого периода работы Толстого над романом.

Варианты начал печатаются в указанной выше хронологической последовательности. Но ввиду большого объема всех 15 вариантов, полная публикация их в настоящем издании невозможна. Те из них, которые подвергались меньшей правке, особенно разновременной правке, не печатаются совсем (вар. 4 и 9). Для того чтобы не нарушать хронологического ряда, их порядковые номера указаны в соответствующих местах и даны ссылки на их публикацию в Юбилейном издании. Вар. 6 и 7 печатаются не полностью.

Варианты начала 1—3, 5, 10—15 печатаем полностью. Текст каждого дается в его первоначальном виде, без указания позднейшей правки, затемняющей представление о ходе работы Толстого в период поисков начала романа «Война и мир».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Письмо к А. А. Фету от 17 ноября 1870 г.— т. 61, с. 240.

[2] «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891». М., 1928, стр. 37, 39—40.

[3] Письмо к Н. Н. Страхову от 26—27 ноября 1877 г.— т. 62, с. 352.

[4] А. Е. Грузинский. Вступ. статья к черновым текстам «Войны и мира».— «Новый мир», 1925, № 6, стр. 3—19.

[5] См. работы о «Войне и мире»: Л. М. Мышковская. Герои «Войны и мира».— «Литературная учеба», 1940, № 12, стр. 20; Г. А. Волков. Вступ. статья к черновым текстам «Войны и мира».— «Литературное наследство», т. 35-36, 1939, стр. 286; его же. Как писал Толстой «Войну и мир».— «Литературная газета», 1940, № 57, от 17 ноября; С. П. Бычков. Народно-героическая эпопея Л. Н. Толстого. М., 1949, стр. 6, 7; А. М. Лапин. Роман Л. Н. Толстого «Война и мир». (Эволюция замысла и образы романа).— «Русский язык в нерусской школе». Методический сборник, вып. 6. Баку, 1952; С. П. Бычков. Л. Н. Толстой. Очерк творчества. М., 1954; С. И. Леушева. «Война и мир» Л. Н. Толстого. М., 1954; Н. С. Родионов. Работа Л. Н. Толстого над рукописями «Войны и мира». — «Яснополянский сборник. 1955-й год». Тула, 1955, стр. 5—35.

[6] После четвертого наброска начала Толстой вернулся к рукописи, озаглавленной «Три поры», ввел упоминание о сыне и продолжил текст. Публикуем рукопись в этом исправленном виде.

[7] «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 113.

[8] А. И. Михайловский-Данилевский. Описание Отечественной войны 1812 года. СПб., 1839 (3-е изд. СПб., 1843); «Описание войны 1813 года». СПб., 1840 (2-е изд. СПб., 1844).

[9] «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» (1862). — т. 8, с. 109.

[10] Начав после «Войны и мира» новое историческое произведение из времен Петра I, Толстой писал: «Я берусь за работу с радостью, робостью и сомнениями, как и в первый раз» (письмо к А. А. Толстой, март 1872 г.— т. 61, с. 281).

[11] Цит. по русскому переводу, опубликованному в «Живописной русской библиотеке», 1856, т. I, № 31, стр. 245.

[12] Счет книжного магазина на книги, покупавшиеся в 1863—1865 гг., опубликован в т. 16, с. 153—154.

[13] См. письма Толстого к М. Н. Лонгинову от 19 и 26 марта 1864 г.— т. 61, с. 40, 42—43.

[14] Дневник М. П. Погодина. Рукопись.— ЛБ.

[15] Письмо Е. А. Берс к Толстому от 14—15 сентября 1863 г.— в кн.: Б. М. Эйхенбаум. Лев Толстой. Книга 2. Шестидесятые годы. М.— Л., 1931, стр. 227—228.

[16] Письма М. А. Волковой к В. И. Ланской частично были напечатаны в «Русском архиве», 1872; полностью — в «Вестнике Европы» 1874, №№ 8—12.

[17] А. И. Михайловский-Данилевский. Описание первой войны императора Александра с Наполеоном в 1805 году. СПб., 1844, стр. 2—3.

[18] Письмо М. С. Сухотина к В. Г. Черткову от 6 июля 1901 г. Копия.— АТ.

[19] В публикации этого текста (т. 13, с. 104) слово, сокращенно обозначенное двумя буквами: «Ср.», раскрыто как: ср⟨авнение⟩; думаю, что правильнее читать его: ср⟨а-жение⟩. Там же слово, обозначенное только буквой н, дополнено: н⟨ародной⟩; в соответствии с дальнейшим текстом, быть может, правильнее прочитать его: н⟨ашей⟩.

[20] A. Thiers. Histoire du Consulat et de l'Empire, t.II. Bruxelles, 1846, p. 95.

[21] У Толстого было намерение еще раз показать Наполеона в сцене его беседы с князем Долгоруким, который вместе с генералом Савари приехал на аванпосты французов. Но он не осуществил своего намерения, а лишь процитировал описания этого свидания, приведенные в книгах Тьера и Михайловского-Данилевского. В публикации данного варианта в т. 13 цитата из книги Тьера не оговорена (т. 13, с. 125, прим. 4), и поэтому она воспринимается как текст самого Толстого.

НАБРОСКИ НАЧАЛА «ВОЙНЫ И МИРА»

⟨1⟩

В 11 году у старого князя Волхонского гостит молодой Зубцов.

⟨2⟩

ТРИ ПОРЫ

Часть 1-я. 1812-й год

ГЛАВА 1-я. ГЕНЕРАЛ-АНШЕФ

Екатерининский генерал-аншеф, теперешний генерал-лейтенант, князь Волхонский, отец князя Андрея [1]*, в 1811 году был еще свежий мужчина [2]*, готовый на всякую деятельность, но лишенный возможности деятельности в привычной ⟨ му и единственно понятной для него служебной сфере. Он был в немилости, в которую впал еще при Павле за дерзкий и гордый ответ на предложение государя, не понравившееся князю. Рассказывали, что государь посоветовал ему жениться на г-же Д. и что князь ответил: «за кого же вы меня принимаете, чтобы я женился на вашей б...» [3]*. При Александре, о котором князь, лично знавший Екатерину и при ней начавший свою службу, имел весьма низкое мнение, князь был хуже, чем в немилости — его забыли. Он был хороший, храбрый офицер — успел отличиться под Очаковом — и генерал был, свято исполняющий [4]* приказания и того же строго требующий от подчиненных, внушая им своею гордостью и строгостью либо [5]* сильнейший страх, либо скрытую насмешку, но особенных дарований за ним не полагали [6]*, и потому после его воеводства в дальней губернии, куда он был послан, как в изгнание, и из которого он вышел в отставку по болезни, ему поверили, что он болен, и оставили его в покое. Родовое состояние князя было не большое, но [7]*, выйдя из службы, он женился на княжне Д., у которой были большие деньги, уехал в [8]* свое родовое именье и начал строиться в роде феодальных баронов с башнями и замками, с садами, парками, прудами и фонтанами. В 1811 году княгини уже не было на свете. От нее остались сын и дочь. Но сын этот женился бог знает на ком, как говорил князь, и отец его знать не хотел, хотя теперь, перед кампанией, он позволил привезти к себе жену, чтоб не бросить ее на улице, и самому приехать проститься. Князь жил один с дочерью и с француженкой m-lle Silienne-взятой князем из милости для компании дочери [9]*. Лысые Горы были уже

---

[1]* отец князя Андрея *вписано*.

[2]* *Далее было:* Ему было 56 лет. Во⟨лхонский?⟩

[3]* Рассказывали ~ б... *вписано*.

[4]* *Вместо:* Он был ~ исполняющий *было:* Офицер он был хороший, храбрый,— он успел отличиться под Очаковом. — Генерал был тоже небестолковый, точно исполняющий

[5]* *Далее начато:* боязнь

[6]* *Вместо* за ним не полагали *было:* он не имел

[7]* *Далее начато:* женившись на княжне Д., он приобрел огромно⟨е⟩

[8]* *Далее начато:* Лыс⟨ые Горы⟩

[9]* *Вместо* От нее ~дочери *было: а.* От нее оставалась одна дочь [17 лет] 21 года, и князь жил один с нею и с француженкой m-lle [Enitienne] Silienne, взятой князем из милости для компании дочери. M-lle Silienne было 18 лет; *б.* От нее остались сын и дочь. Князь жил один с дочерью и с француженкой m-lle Silienne, взятой князем из милости для компании дочери, летом в деревне, зимой в Москве, в собственном доме. Сын князя, еще бывши 19 лет от рода, [не по] ослушался отца, выйдя из университета и поступив в гусары. И с тех пор князь сказал, что у него нет сына. Никто не смел упо-

обстроены и обсажены, так что проезжавший по дороге к Москве, от которой в 60-ти верстах были Л⟨ысые⟩ Г⟨оры⟩, невольно запоминал место и спрашивал чье. Государь проезжал первый раз: — Чье это такое славное именье? — Князя В. — [А!] Петра? — Так точно, в⟨аше⟩ в⟨еличество⟩. — А-а! — отвечал государь. Князь сам, выезжая кататься на своей парочке, любил выезжать на то место большой дороги, с которой видна была усадьба, и любовался. Он сломал даже конюшню в 82 сажени длины только для того, чтобы виден был фасад дома с дороги. «Городок!» — говорил он сам себе, глядя на свое строенье. Все дела князь делал обдуманно, неторопливо и в высочайшей степени аккуратно, хотя сам никогда не доходил до подробностей и непосредственно не наблюдал ни за чем. Все делалось из кабинета через управляющего, архитектора и т. п.[10*] Одна из деревень его в 200 душ была отряжена на подвоз камня и битье кирпича, и работы эти продолжались 16 лет. Мужики как этой деревни, так и всех других деревень князя без чувства особенного рабского уважения, благоговения почти, не вспоминали и теперь еще — старики — не вспоминают о князе. Строг, но милостив был, как и всегда, говорят они. Главное, что чувствуется в их похвалах (тоже, как и всегда бывает), это благодарность князю за то, что тот, кому они поклонялись и работали, был князь, генерал-аншеф, человек совершенно не похожий на них, никогда не доходивший ни до каких подробностей, никогда не приравнивавшийся к ним, гордый и чуждый для них. Как бы мне ни не хотелось расстраивать читателя необыкновенным для него описанием, как бы ни не хотелось описать противуположное всем описаниям того времени, я должен предупредить, что князь Волхонский вовсе не был злодей, никого не засекал [11*], не закладывал жен в стены, не ел за четверых, не имел сералей, не был озабочен одним пороньем людей, охотой и распутством, а, напротив, всего этого терпеть не мог и был умный, образованный и [12*] столь порядочный человек, что, введя его в гостиную теперь, никто бы не постыдился за него. Жена его, правда, умерла рано, он был несчастлив с ней, и он был, хотя и бессознательно, не недоволен ее смертью, потому что она надоела ему и он никогда не любил ее, но жена его умерла совершенно своей смертью, и князь пришел ⟨бы⟩ в совершенный ужас и недоумение при одной мысли, что можно желать смерти своей жены [13*]. Он был, одним словом, точно такой же человек, как и мы люди, с теми же пороками, страстями, добродетелями и с тою же и столь сложною, как и наша, умственной деятельностью.

Князь, во всем [14*] точный и аккуратный, лето и зиму вставал в одно и то же время, в 7, в одно и то же время кушал чай, завтракал и обедал и ужинал. 28 августа 1811 года [15*] утро было ясное, безветренное, с сильной росой и безоблачное. В полях кругом сада и за дорогой кое-где клетками зеленели полоски взошедших ржей, кое-где стояли отпряженные телеги с семенами, и мужик с севалкой мерно шагал по бороздам и, пощелкивая зерном об севалку, ровно раскидывал рожь по лехам, означенным пучками ярко-желтой новой соломы, кое-где [16*] скрипели крутые

минать про него. Князь сам раз в год посылал ему [1200 р.]500 р., и сына действительно не было; *в.* От нее остались сын и дочь. Но сын этот женился б⟨ог⟩ знает на ком, как говорили, и молодая княгиня, оставленная им без средств в М⟨оскве⟩, по проискам княжны была привезена в Л⟨ысые⟩ Г⟨оры⟩ и жила во флигеле. Она была на сносях.

[10*] Все делалось ~ и т. п. *вписано.*

[11*] *Далее начато:* (даже ненавидел телесное нак⟨азание⟩

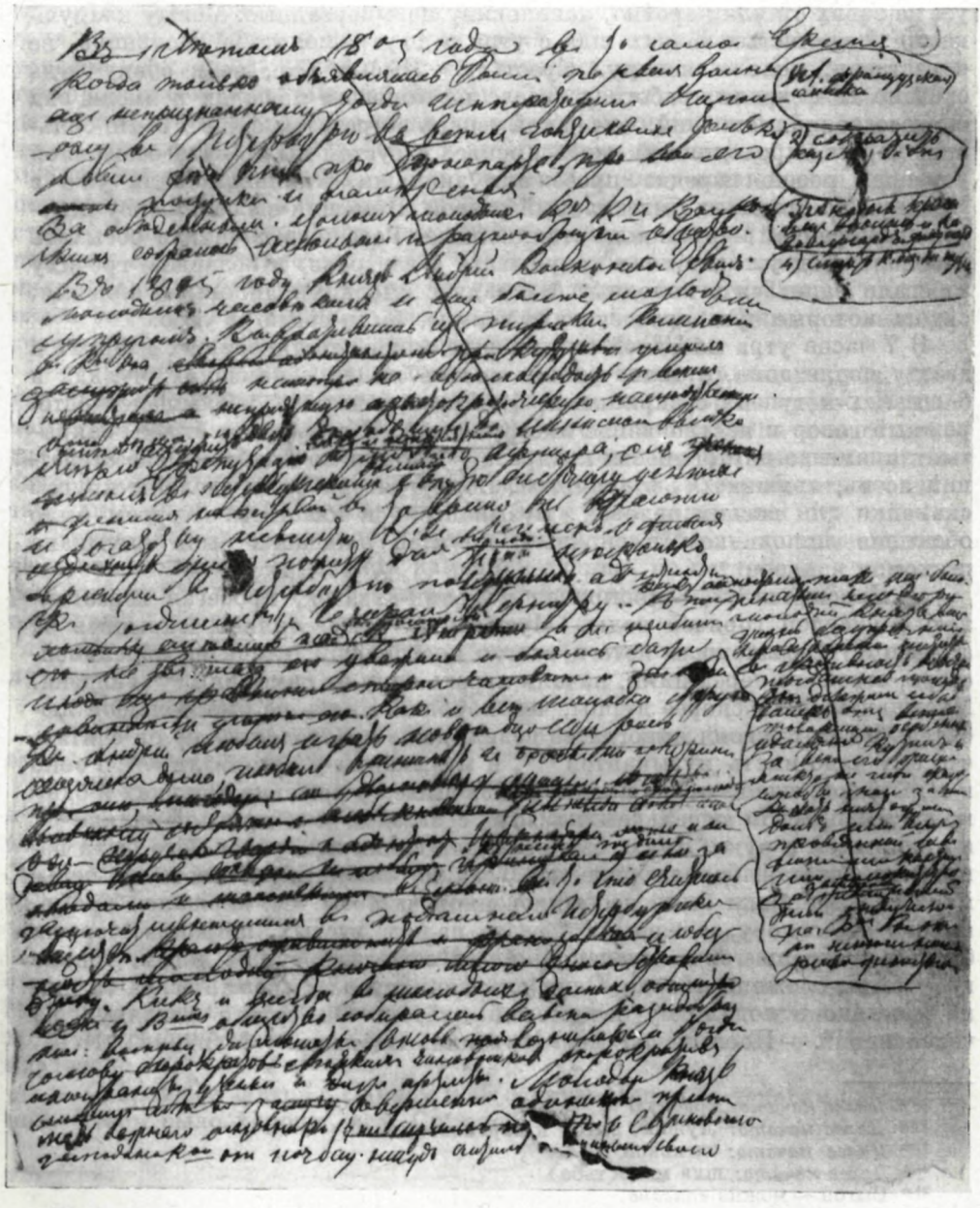
[12*] *Далее начато:* вполне

[13*] Жена его ~ своей жены *вписано.*

[14*] *Вместо* Князь, во всем *было:* Князь был аккуратен, как часы. Во всем

[15*] *Далее начато:* день был [жар⟨кий⟩] ясный, безветренный

[16*] *Далее начато:* доваживали



ЧЕРНОВОЙ АВТОГРАФ НАЧАЛА РОМАНА «ВОЙНА И МИР», 1864 г.

Вариант девятый

Архив Толстого, Москва

воза, доваживающие [17*] бурую гречиху, и краснело свежее гречанище. Скот ходил по сероватому ржаному и желтому овсяному жневью [18*]. Выгон и лужки в овражках были застелены [19*] рядами льна, и пеньки уж на задах стояли неровно, наполовину повыдерганные. Между кладушками [20*] на чистых точках шла с утра и до утра молотьба. Мельница, не переставая, молола новину. Крестьяне Лысых Гор, не в обиду будь сказано 19 февраля, работали весело на хороших лошадях и имели вид благосостояния больший, чем какой теперь встретить можно [21*]. По большой дороге, проходившей через именье, в густой пыли, чуть осаженной утренней росой, изредка проезжали экипажи. Экипажи ехали уже в Москву. На станциях был сильный разгон. Помещик шел в Москву и купец из коренной — говорили станционные. Роса уже начинала обсыхать в поле, народ уже начинал подумывать о завтраке, и возившие гречиху забегали напиться в колодцы. А в саду с высокими липовыми аллеями, сквозь которые чуть просвечивало солнце, было свежо и утро.

В 7 часов утра на одной из липовых аллей, составлявших квадрат и звезду подле дома, стояло человек восемь людей в камзолах, чулках и башмаках и тупеях с скрипками, флейтами и нотами, и слышался осторожный говор и настроиванье инструментов. В стороне от аллеи, закрытый липами во внутренности квадрата [22*], стоял по крайней мере столетний ясень, аршина $2^1/_2$ в диаметре. Вокруг ясеня были сделаны кругом скамейки для восьми человек музыкантов и пюпитры. Кругом было обсажено шиповником и сиренью, круглая площадка была высыпана песком.

— Проснулся [23*],— прокричал мальчик-казачок, пробегая через аллею с посудой горячей воды. Музыканты зашевелились, скрылись за аллеею и [24*] разложили ноты и, слегка построивши, глядя на капельмейстера, ставшего перед ними, начали играть одну из симфоний [25*] Гейдена. Музыканты были скорее дурны, чем хороши. Князь не был большой любитель и сам в жизни никогда не певал, даже в молодости, но он считал, что ему надо иметь музыкантов [26*], и музыканты у него были [27*]. Ровно в семь часов, еще не добили часы, князь вышел с крыльца в чулках и башмаках, в простом сереньком камзоле с звездой и в круглой шляпе [28*] и с костылем в руке. Князь был свеж для своих лет, голова его была напудрена, частая борода синелась, гладко выбрита. Батистовое белье манжет и манишки было необыкновенной чистоты. Он держался прямо, высоко нес голову, и черные [29*] глаза из-под густых, широких, черных бровей смотрели гордо и спокойно над загнутым сухим носом, тонкие губы были сложены твердо. Один из официантов [30*] сбежал вслед за ним на крыльцо и подал ему батистовый платок. Он строго взглянул на человека [31*]. — Послать ко мне Михаила Иваныча. — М⟨ихаил⟩ И⟨ва-

---

[17*] *Далее начато:* красную
[18*] *Далее начато:* Лужки, выгон и овражки
[19*] *Далее начато:* пенькой
[20*] *Далее начато:* шла моло⟨тьба⟩
[21*] Выгон ~ можно *вписано.*
[22*] *Далее начато:* рос огр⟨омный⟩
[23*] *Вместо* Проснулся *было:* Его сиятельство изволили проснуться
[24*] *Далее было:* стали строить
[25*] *Вместо* одну из симфоний *было:* один из секстетов
[26*] *Вместо* считал ~ музыкантов *было: а.* думал, что так надо; *б.* считал, что в его положении надо иметь музыкантов.
[27*] *Далее начато:* Князь был убежден
[28*] *Первоначально:* с звездой, в треугольной шляпе
[29*] *Первоначально:* светлые
[30*] *Вместо:* Один из официантов *было:* Петруша
[31*] *Вместо* на человека *было:* на мальчика

ныч⟩ был архитектор. Князь прошел в аллеи и, заложив руки назад, стал ходить. Музыка играла. Князь любил Фридриха Великого; его история, Семилетняя война, анекдоты врезались ему в памяти. Князь одно время страстно желал быть похожим на него [32*]. Серый сюртучок, устройство сада и дома, походка и поза, руки назад, — все это было давно когда-то усвоено им из подражания и теперь сделалось привычкой. Пришел архитектор, молодой почтительный человек, облагодетельствованный князем [33*], надел шляпу только тогда, когда князь сказал ему об этом, и все ходил, докладывая о сделанных работах и выслушивая приказания князя. Когда музыканты кончили пьесу, князь подошел к ним, остановился, достал подаренную ему Екатериной табакерку и сказал спасибо капельмейстеру. Капельмейстер, тоже дворовый человек, объяснил необходимость покупки новых кларнетов. Князь сказал, чтобы он обратился к приказчику. Капельмейстер похвалил за успехи вновь взятого Тишка. Князь велел ему дать гривенник. Капельмейстер отошел, просиявший и видимо счастливый, что удостоился поговорить с князем [34*].

— Принеси [35*] мне планы домой, — сказал князь архитектору и, сделав спокойно величественный жест рукой, пошел к оранжереям. Музыканты сыграли еще одну пьесу, потом выслали мальчика посмотреть, где князь, и, узнав, что он в оранжереях, весело болтая, разошлись, кто свиней кормить, кто чулки вязать в официантской, кто работать в саду, так как у всех, кроме музыкантской, были свои должности [36*].

Князь обошел оранжереи, парк, взглянул на [37*] работу каменщиков на новой людской — огромном каменном здании, но остановился посмотреть работу [38*] и, не отвечая и не замечая почтительных поклонов всех встречных, вернулся к дому.

— Ну что у тебя там [39*], пашут, кажется? — сказал он толстому управляющему.

— Под озимый [40*], ваше сиятельство.

— Гм! — и князь прошел дальше. Управляющий без шапки [41*] шел сзади, ожидая еще слова.

— Яков, — сказал князь, — что [же] Александра? Совсем здорова? [42*] — и князь особенно строго взглянул мельком на Якова. Князь никогда долго не удостоивал никого своим взглядом.

— Нельзя доложить вашему сиятельству, что совсем здорова, — отвечал Яков, — а вставать могут.

— Доктор был? [43*]

— Изволили быть, ваше сиятельство. По приказанию вашего сиятельства я спрашивал: могут ли А⟨лександра⟩ Д. ехать с младенцем до М⟨осквы⟩. Они сказали, что ежели князю будет угодно, то очень можно, хоть завтрашний день. — Князь покосился на управляющего при слове младенец.

— Отправь ее завтра с Павлом в М⟨оскву⟩. Приди за деньгами и письмом. Чтобы было хорошо, все! Слышишь?

[32*] *Вместо* Князь одно ~ на него *было: а. начато:* и страстно; *б.* До старости князь удержал [страсть] [слабость] желание быть похожим на него.

[33*] *Далее начато:* и почтитель⟨но⟩

[34*] Капельмейстер отошел ~ с князем *вписано.*

[35*] *Первоначально:* Принесите

[36*] кто свиней ~ должности *вписано.*

[37*] *Далее начато:* постройку

[38*] *Вместо* но ~ работу *было:* Но он даже не остановился посмотреть работу, он кинул только общий взгляд

[39*] *Далее начато: а.* се⟨ют⟩; *б.* воз⟨ят⟩

[40*] *Вместо* Под озимый *было:* Сеют

[41*] *Далее начато:* стоял

[42*] *Далее было:* Слава богу.

[43*] *Далее начато:* Были в⟨аше сиятельство⟩

— Слушаю-с.
— Что набор, назначил?
— Назначены, ваше сиятельство.
— Принеси список [44*].

Князь вошел вверх [45*]. Из официантской вскочило несколько человек молодых официантов. Двое из них были музыканты, успевшие уже позавтракать и переодеться. Он прошел в кабинет и написал письмо в Воспитательный дом облагодетельствованному им чиновнику о приеме в Воспитательный дом младенца девицы Александры, на письмо, написанное твердым, деловым, крупным почерком, наложил деньги 100 р., которые сам достал из сундука, и, хлопнув в ладони, кликнул Петрушку, а Петрушка Якова. Александра была горничная княжны, младенец был сын князя. Это был уже 5-й [46*], и все они, как ⟨этот?⟩, были отправлены в Воспитательный дом, а мать возвращалась назад. Все знали это, но князь делал вид, как будто этого не было, и все делали такой же вид, и, когда возвращалась Александра, все сомневались, в самом деле ли это все было [47*]. Дети у Александры начали рожаться полтора года после вдовства князя. Князь не упрекал себя в этом. Все у него было рассчитано наиудобнейшим образом. В религиозном отношении князь тоже не упрекал себя, потому что для него еще раньше французской революции существовала одна религия разума. Выбрана же была Александра потому, что она была ближе всех и нраву тихого и смирного.

Отправив Якова, князь почитал еще открытую у него на столе одну из частей [48*] библиотеки путешествий, взглянув на часы, нахмурился и позвал. Завтрак! И княжне доложить [49*]. Она должна быть в саду.

2

Княжна действительно была в саду. Музыка играла. Это было ее время гулять при музыке. Все занятия княжны были расписаны по часам, и княжна должна была строго им подчиняться. M-lle Enitienne была 8-я гувернантка, умевшая удержаться у князя больше двух лет. Впрочем Enitienne была не гувернантка, a demoiselle de compagnie [50*]. Встав утром в 8 часов, княжна по расписанию должна была заниматься геометрией с М⟨ихаилом⟩ И⟨вановичем⟩, архитектором, потом она 2 часа играла на фортепияно, потом она гуляла под музыку.

Тогда носили платья короткие, княжна по желанию князя, находившего неприличным показывать ногу, носила длинное платье à la taille [51*] темного цвета и ничего, кроме платья, ни косынки, ни пелеринки, — это было тоже желание князя. Она была нехороша и не грациозна. Длинная ее фигура мерно двигалась по аллеям. Enitienne свеженькая, хорошенькая, грациозная в изящном летнем платье оживленно шла подле и, не умолкая, разговаривала своим грассирующим звучным [52*] голоском. День был веселый для княжны, и музыка, и сад, и Enitienne, — все ее радовало. Она мечтала о трио, которое она сыграет нынче вечером. Она говорила о belle-sœur'e и пошла к ней. Княгиня переваливалась и тошнила. Доброе было и жалкое существо. Потом ее пришли звать к князю.

[44*] Что набор ~ список *вписано*.
[45*] *Вместо* Князь вошел вверх *было:* Князь прошел домой.
[46*] *Переправлено из:* 4-й
[47*] *Далее начато:* После
[48*] *Далее начато:* Воль⟨тера?⟩
[49*] *Далее было:* что я встал.
[50*] компаньонка (франц.).
[51*] в талию (франц.).
[52*] *Первоначально:* приятным

Входя в кабинет, она, как всегда, перекрестилась от страха. Князь принял ласково, но за belle-sœur начался спор. — Ты меня уговорила, а теперь хуже. Говорят, он приедет, а я не хочу его видеть. — Вы не хотите же, папà, чтоб муж не видел своей дочери [53*]. Он подумал. — Как хочешь делай, чтоб я не видал его. Иначе, в каком бы положении она ни была, ни ее, ни его не будет, как скоро я его увижу. — Колокольчик. Князь нахмурился... Позвонили. — Давайте завтракать и узнай приди сказать, кто этот невежа.

На полях рукописи конспективные записи:

л. 1 (стр. 326):

Брат в своих местах — чужой.

Занят делами — она порхает.

Все равны становятся при ней.

Переходил через границу завоевателем, все покорялось, теперь едет покоряться кондуктору.

Кого любит, с тем холодна, равнодушный думает, что его взяла.

Кокетка шутит, а у него двое детей от доброй любовницы.

Со стороны она мила, а нам все то же.

Он знаком с посланником и потому для него несомненно, что все ему будут рады. Но он пакостит, и в палатах люди не рады.

Губернский предводитель дворян, столкновение.

Дибич противн. ⟨?⟩ взял в левую руку шпагу.

Мальчик в Москве рад свободе, происходи⟨вшей⟩ от французов.

Злодей француз колет и тот же самый на квартире кроткий.

Любезничает с пленными и дает им хлеб, а Топчеенке есть нечего.

л. 3 об. (стр. 330):

О романе, об Александре, о музыке, [о романе]

⟨3⟩

I

В 1811-м году, в то самое время, когда в Петербурге было получено письмо Наполеона 1 к Александру 1-му и Коленкур был заменен Лористоном, в городе был бал у екатерининского вельможи князя N.

На Английской набережной светился бесчисленными огнями иллюминации известный всему городу дом вельможи. У освещенного подъезда, устланного красным сукном, стояло несколько сотен экипажей, полицимейстер, пристава и квартальные. Жандармы расставлены были далеко [54*] от дома по обеим сторонам улицы. По загроможденной щегольскими экипажами и народом улице беспрестанно подъезжали кареты с ливрейными лакеями на запятках. Лакеи были в шляпах с галунами и перьями. Из карет выходили по откидываемым подножкам то мужчины в мундирах, звездах и лентах, то дамы в атласе, горностаях, цветах и бриллиантах. Толпа, с жадностью теснясь, ловила мгновенья, в которые блестящие фигуры эти виднелись на освещенном пространстве подъезда. Полицейские кричали на кучеров, и дорогие кареты, гремя крепкими колесами, на фыркающих лошадях откатывались по порядку к своим местам. Беспрестанно хлопали дверцы, соскакивали лакеи, и слышались повелительные крики. На дворе была темнота, оттепель и туман. Кучера кутались от сырости, толпа, смотревшая на подъезд, шлепала в темноте по грязи. На бале должен был быть государь. Почти всякой раз как подъезжала

[53*] *По-видимому, здесь Толстой ошибся и вместо* жены *написал:* дочери.

[54*] *Вместо* полицимейстер ~ далеко *было:* и полиция — жандармы, расставленные далеко

блестящая карета с красным придворным лакеем [55*], в толпе снимались шапки и слышался ропот: «Государь. Нет, великий князь. Разве не видите перья, значит посланник», — и т. п. слышалось из толпы. Кто стоял на тротуарном столбике, кто, несмотря на окрики полицейских, перешмыгивал через улицу. Были и женщины, и дети, и чисто одетые, и люди в кафтанах и шубах. Один из чисто одетых, чиновник или лакей с гербовыми пуговицами, казалось, знал всех подъезжавших и называл по имени знатнейших вельмож и посланников. Около него толпились и его слушали. Другой, не только чисто, но и по последней моде одетый господин в шляпе и бекешке с бобровым воротником, стоял тут же в толпе и, хотя, казалось, мог бы скорее чиновника разъяснить недоумения толпы касательно подъезжавших лиц, не говорил ничего и только презрительно улыбался на слова чиновника. Презрительной улыбки его никто не мог видеть, но он не мог не улыбаться — он не только знал [56*], но был знаком с многими из подъезжавших. Его тяготила мысль, что его могут смешать с толпою, к которой он чувствовал глубочайшее презрение, ему очень хотелось встретить ...[57*] действительно теперь нельзя было ошибиться. В толпе, между полицейскими все зашевелилось и затихло; полицимейстер в ленте и звезде приложил руку к шляпе, карета одна, гремя по очищенной дороге [58*], подкатилась к крыльцу, и из кареты легко лаковым сапогом с шпорой ступил на красное сукно высокий мужчина в мундире с поднятыми плечами. Шапки снялись, по всем пробежал трепет, в особенности Анатоль, сам не зная отчего, почувствовал в сердце вдруг чувство радости, ожидания чего-то и зависти, и знакомая народу фигура государя с зачесанным затылком и взлизами, с высокими эполетами и андреевской лентой из-под шинели, быстро показалась и скрылась в освещенном подъезде. Государь в руке держал шляпу с плюмажем и что-то мельком сказал, проходя, вытянутому и наклоненному полицимейстеру. Каждое движение, каждая принадлежность были замечены сотнями глаз. Государь прошел. Шимко [59*] радостно оглянулся на всех, потом тяжело вздохнул и почему-то почти вслух сказал [60*] про себя следующую фразу: Je le souhaite, sire! Oui, je le souhaite de tout mon cœur [61*]. Из-за окон пронеслись стройные звуки прекрасного оркестра, и из-за освещенных окон и опущенных гардин зашевелились двигающиеся тени. Анатолю стало очень грустно [62*]. Он все смотрел. «Ну чего смотреть, пойдем»,— раздался подле него хриплый голос мастерового к своему товарищу. Анатоль опомнился [63*]. Он повернулся, взмахнул тросточкой и, молодцовато раскачиваясь, пошел [64*] по направлению к Невскому.— Je le souhaite, sire, de tout mon cœur,— все твердил он про себя.

2

— Как! на бал?! ты не хотел ехать,— сказал Анатоль, на крыльце дома встречая князя Криницына, садившегося в карету, и нарочно ударяя на ты, чтобы кучер и лакей ⟨слышали?⟩, что он говорил «ты» их барину.

[55*] *Далее начато:* по толпе пробегал

[56*] *Далее было:* почти всех

[57*] *В рукописи не хватает одного листа.*

[58*] *Далее было:* на двух караковых рысаках

[59*] *Вместо* Шимко *было:* и Анатоль

[60*] *Вместо* сказал *было:* стал твердить

[61*] Я желаю этого, государь! Да, я желаю этого от всего сердца (франц.).

[62*] *Вместо* Анатолю ~ грустно *было:* Анатолю было очень тяжело.

[63*] *Далее было: а.* Куда идти,— подумал он.— Пойду к Куракину, он тоже не поехал. Но он не хотел сам...; *б.* Куда идти,— подумал он.— Пойду к [Моро] [Кравовицкому] к Криницыну,— он не хотел ехать...; *в.* Куда идти,— подумал он.— Пойду к Криницыну играть на бильярде.

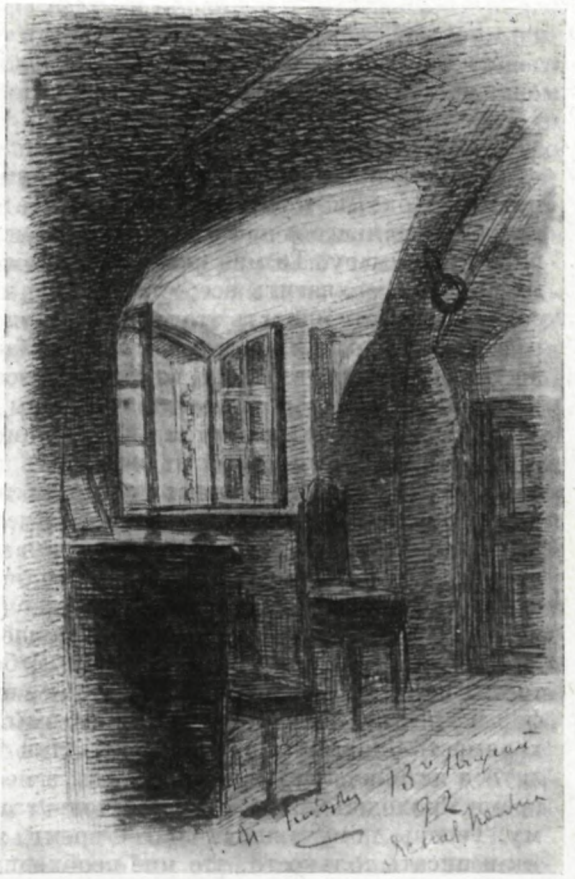
[64*] *Вместо* взмахнул ~ пошел *было:* вздохнул еще и, опустив голову, пошел

«КОМНАТА ПОД СВОДАМИ» В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Рисунок И. Я. Гинцбурга, 1892 г.

Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

Здесь в 1860-х гг. был кабинет Толстого, где он писал «Войну и мир»



— Надо ехать по многим причинам,— отвечал по-французски красивый юноша [65*] в бальном костюме, останавливаясь перед дверцой кареты.— Поедем, довезу до дому.

— Как поздно! Я проходил мимо, государь проехал.

— Поедем что ли? — нетерпеливо крикнул Криницын.— Или нет, слушай, ко мне хотела приехать Мими, я от нее бегу. Утешь ее. Сиди у меня [66*]. Ернест, напоите его чаем,— крикнул он провожавшему лакею-французу и, вскочив в карету, молодой князь нагнулся головой над перчаткой, которую он застегивал, придвигая ее к фонарю.— Смотри, Шимка, утешь и дождись меня, все расскажи [67*],— крикнул он еще из дверцы веселым успокоившимся тоном после того, как застегнул перчатку и уселся в глубь кареты.

Петр Криницын был второй и меньшой сын известного сановника того времени, только нынешней зимой вернувшийся из-за границы с братом, куда они под руководством l'abbé Musard были посланы отцом для окончания блестящего воспитания. Оба молодые человека по своему положению и воспитанию обращали на себя внимание тогдашнего света.

[65*] *Вместо* Как! на бал?!~юноша *было*: Как! на бал?! — сказал Анатоль, на крыльце дома встречая князя Криницына, садившегося в карету.

— Лежал, лежал, скука. Поеду,— отвечал красивый юноша.

[66*] *Вместо* Или нет ~ сиди у меня *было:* Или сиди у меня, пей чай.

[67*] *Вместо* Шимка ~ все расскажи *было:* Шимка, дождись меня.

〈4〉

Четвертый набросок начала не публикуем. См. т. 13, с. 58—68.

〈5〉

Я бесчисленное количество раз начинал и бросал писать ту историю из 12-го года, которая все яснее, яснее становилась для меня и которая все настоятельнее и настоятельнее просилась в ясных и определенных образах на бумагу. То мне казался ничтожным прием, которым я начинал, то хотелось захватить все, что я знаю и чувствую из того времени, и я сознавал невозможность этого, то [и чаще всего—] простой, пошлый, литературный язык и литературные приемы романа казались мне столь несообразными с величественным, глубоким и всесторонним содержанием, то необходимость выдумкою связывать те образы, картины и мысли, которые сами собою родились во мне, так мне становились противны, что я бросал начатое и отчаивался в возможности высказать все то, что мне хотелось и нужно высказать. Но время и силы мои уходили с каждым часом, и я знал, что никто никогда не скажет того, что я имел сказать, не потому, что то, что я имел сказать, было очень важно для человечества, но потому, что известные стороны жизни, ничтожные для других, только я один, по особенности своего развития и характера (особенности, свойственной каждой личности), считал важным. Больше всего меня стесняют предания как по форме, так и по содержанию. Я боялся писать не тем языком, которым пишут все, [я] боялся [68]*, что мое писанье не подойдет ни под какую форму, ни романа, ни повести, ни поэмы, ни истории, я боялся, что необходимость описывать значительных лиц 12-го года заставит меня руководиться историческими документами, а не истиной, и от всех этих боязней время проходило, и дело мое не подвигалось, и я начинал остывать к нему. Теперь, помучавшись долгое время, я решился откинуть все эти боязни и писать только то, что мне необходимо высказать, не заботясь о том что выйдет из всего этого, и не давая моему труду никакого наименования.

---

[69]* ИМЕНИНЫ У ГРАФА ПРОСТОГО В МОСКВЕ 1808 ГОДА

— Да никто вам не говорил, что я считаю Бонапарта хорошим христианином, я этого не сказал. Я совсем этого не говорил, я говорю, что он великий человек,— говорил запыхавшись и почти с пеной у рта, но с добродушнейшим озлобленным лицом высокий толстый юноша, сердито отмахиваясь от лакея [70]* из-за плеча его с бутылкой в салфетке сердито и упорно спрашивавшего: дри-мадеры прикажете? [71]*.

За именинным столом сидело 32 человека своих, родных, гостей, детей и взрослых, гувернеров и гувернанток. Стол был накрыт во всю длину залы, на одном конце сидел граф Илья Андреич, на другом графиня. Около графини сидели почетнейшие родные и гости, около графа мужчины и с одного края молодежь и дети с гувернерами. Споривший юноша сидел близко к графине. Он был единственный сын князя Безухого, наследник 40 тысяч душ и огромных капиталов бабки. Он спорил со всеми.

---

[68]* Я бесчисленное ~ боялся *первоначально было написано в настоящем времени.*

[69]* *Перед этим было начато:* В Москве 1 января 1808 года у графа Василия Андреевича Простого обедали за именинным обедом родные и гости. Всех сидело за обедом с детьми, гувернерами и гувернантками 32 человека. Обед приходил к концу.

[70]* *Далее начато:* в салфетке подававшего бутыл〈ку〉

[71]* *Далее начато: а.* Я говорю, что; *б.* Все

Все были против него, но больше всех он обращался к сидевшему подле графини старичку в звезде и белом галстуке с завалившимся лбом и выдвинутой обезьянской нижней челюстью, который, видимо, без малейшего усилия отражал редкими и резкими шутками на отличном французском языке нападения [72*] молодого Безухова. Графиня, казалось, чего-то боялась, находила что-то неприличным и беспокойно взглядывала, то на соседа, который отвечал, всегда взглядывая на нее, то на Безухового, несмотря на свою молодость, говорившего слишком громко и положившего оба локтя на стол и один даже в соус, то на дворецкого, все предлагавшего дрей-мадеру. По ее мнению, надобно же было чем-нибудь кончить с этой мадерой. Кроме того, она взглядывала и на графа (ей казалось, что он что-то часто берет в руки бутылки и становится красен), и на детей, у которых что-то такое начиналось неприличное, угрожавшее разразиться громчайшим хохотом. Они шептались, перегибались друг к другу, закусывали губы и даже изредка всфыркивали. Особенно меньшая дочь Наташа, некрасивая [73*], но красная с пупурщиками здоровая девочка лет 12-ти с голыми руками и шеей, как и все, что-то затевала под столом и фыркала чаще всех. Гувернеры и гувернантки находились в приличном сдержанном волнении и, продолжая сидеть прямо, отрывисто [74*] делали замечания своим воспитанницам и воспитанникам, но бунт, видимо, разгорался и угрожал общим взрывом неприличного хохота.

— Mon cher! — сказал старичок с звездой, оглядываясь с улыбкой на озабоченную графиню.— Rappelez vous une chose,— и он как жемчужины выпустил каждое слово,— la meilleure des cöses est perdue du moment que l'on se fâche [75*].— И он засмеялся, и засмеялись все, графиня сделала тонкую улыбочку и мигнула Гавриле, чтобы он переходил с бутылкой к следующему. Разговор шел по-французски.

— Léon говорит, что Бонапарт великий человек, а пленные в Египте,— сказала графиня.— Нет, я не соглашусь никогда. И она [76*] покачала головой на Наташу, которая совсем нагнулась под стол.

— Что вы думаете об этом, княжна? — обратилась она к девушке, сидевшей недалеко от нее. Задумчивые полузакрытые глаза княжны вдруг вспыхнули приятным томным блеском, яркий румянец выступил на полное красивое лицо.

— Я, как женщина, могу ошибаться и смотреть не так, как надо, на политику,— отвечала она, вздыхая, но я не могу простить ему смерть Енгиенского. Это ужасно.— И она содрогнулась непритворно при одном воспоминании.

Léon неучтиво не обратил никакого внимания на замечания дам.

— Я не сержусь [77*], но говорю, что это самый великий полководец мира и что нас били всегда и будут бить, и придет в Петербург так же, как в Вену и Берлин,— продолжал он, отдавая тарелку и обтирая запачканный рукав фрака. Дети не могли удерживаться больше и громко захохотали. Léon обратился к ним и тоже засмеялся самым добродушным здоровым смехом.— Pardon, мы поговорим об этом после,— сказал он.

На другом конце стола граф подливал соседу, рассказывая, что вино это получил он в бочонках, а что кипрское трудно достать.

— Об чем они? — спросил полковник, указывая на старичка с звездой.

[72*] *Далее начато: а.* противника; *б.* Безу⟨хова⟩

[73*] *Далее начато:* брюнетка

[74*] *Далее начато:* отдавали прика⟨зания⟩

[75*] Милый мой... помните, что самое лучшее доказательство теряет силу, как только рассердишься (франц.).

[76*] *Далее было:* снова

[77*] *Далее начато:* за то Тильзитский мир

— Все об Бонапарте,— отвечал граф.— Он теперь министром назначен, вы знаете кто,— Каракин.

— Да. Ловкий человек. Что и говорить.

— Ш-ш! — сказал граф,— это его сын. —Он указал на красивого юношу, сидевшего недалеко от них.

— А тот высокий, как аршин проглотил, тоже сын его?

— Как же, тот на службе, славный молодой человек. Этот шалун большой. Он их за границу посылает. Воспитаны славно так,— говорил граф. Графу, видимо, все казалось славно. Лицо его бритое, доброе, круглое с редкими седыми волосами [78*], ясными голубыми глазами и всегда готовой однообразной, но радушной улыбкой, подтверждало его похвалы всему свету.

— Как вы думаете, граф,— обратился к нему Каракин по-русски (граф плохо говорил по-французски),— придет Наполеон в Москву или нет?

— Oui, pas de doute,— прокричал граф,— très bien, très bien [79*]. Все засмеялись.

— Что говорить про это,— отвечал граф, расслышав теперь,— славно, мир бог даст и надолго. Что думать, пускай он там воюет.

— Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles [80*],— произнес [81*] Каракин, улыбаясь.

В другой стороне стола гувернер считал на блюдах кушанья и досадовал, что у него нет нынче аппетита. Родственник из деревни, случайно попавший рядом с вдовой в брильянтовом фермуаре, томился мыслью, о чем бы разговориться с москвитянкою, и расспрашивал про улицы. Другой все прислушивался с подобострастием к тому, что говорили люди в звездах. Молодой князь Каракин, сидя рядом с княжной, видимо, lui faisait la cour [82*]. Старшая дочь дома Лиза кокетничала с 2-м братом, 15-летним мальчиком. Молодой паж Борис Мещерин прислушивался к Léon и смотрел ему в глаза, одержимый к нему первой страстной дружбой. У детей дело шло в том, что Наташа принесла с собой куклу, но без носа, называемую Мими, и тайно от всех под столом кормила ее.

Entrées, entremets [83*], соусы, холодные вина, пирожные шли в таком изобилии и порядке, что только одному немцу гувернеру не наскучило. Он соображал и запоминал, чтобы написать родным в Саксонию о том, на каком обеде он участвовал.

⟨6⟩

ДЕНЬ В МОСКВЕ [84*]

1

— Очень, очень вам благодарен за себя и за именинниц,— говорил граф Плохов [85*], провожая до передней всех гостей, приезжавших поздравлять его, жену и дочь,— пожалуйста, приезжайте обедать. Вы меня обидите. Пожалуйста, пожалуйста, душевно прошу вас от всего семейства.— Эти слова с одинаковой доброй, открытой улыбкой на бритом, пол-

---

[78*] *Далее начато:* светлыми
[79*] Да, без сомнения... Очень хорошо, очень хорошо (франц.).
[80*] Все к лучшему в лучшем из миров (франц.).
[81*] *Первоначально:* прокричал
[82*] ухаживал (франц.).
[83*] Различные блюда (франц.).
[84*] *Первоначальное заглавие:* Именины в Москве 1808 года
[85*] *Первоначально:* граф Простой

ном и круглом лице [86*], крепко пожимая руки и несколько раз кланяясь, граф говорил всем приезжавшим, а приезжала вся Москва. В гостиной сидела графиня, старшая дочь, домашние в новых платьях и лентах и гостьи [87*], все утро сменявшие одна другую. Граф, проводив гостя, возвращался в гостиную, придвигал кресло к гостю или гостье и, расставив ноги и положив на колени руки, счастливо улыбаясь, на дурном французском языке (он плохо говорил) советовался о погоде и опять звал обедать. А в длинной мраморной столовой [88*] десятки официантов носили светлое, новое серебро, саксонский расписной фарфор, вазы, двигали столы и расстилали белейшие камчатные крахмаленные скатерти, в кухне в белых колпаках работали повара и поваренки на 60 персон. Дмитрий Васильевич — дворянин, заведывавший делами графа, руководя [89*] приготовлениями обеда, соображал [90*] и покрикивал. Экономка с ног сбилась.

— Княгиня Настасья Львовна Корчагина,— доложил лакей в гостиной, и вслед за докладом вошла сама княгиня, высокая, сухая, бывшая красивая женщина [91*]. В гостиной сидели две гостьи дамы, и шел тот обыкновенный разговор на французском языке, который затевают ровно настолько, чтобы иметь право при первом молчании встать, зашумев платьями, и пройти назад до передней и кареты.

Разговор казался оживленным, слышалось вдруг несколько голосов женских, перебиваемых мягким мужским тенором графа. Слышались слова: il est alité...[92*] Ça a été charmant... et la comtesse Apraksine... Que voulez-vous?e Le plaisire... Princesse et les Rasoumovsky et [93*] талала, талала-та... Apraksine ...— потом, как это часто бывает, все замолчали. Граф уже хотел спросить, чтоб занять чем-нибудь, у гостьи, слышала ли она, как в Эрфурте император Александр и Наполеон сошлись [94*], как увидал, что графиня глядела, приятно улыбаясь, на гостью, но не скрывала, что ее не огорчит, ежели гостья теперь встанет. Граф оставил. Дочь девица уже оправляла платье, ожидая подъема матери, вдруг в соседней комнате грохот кресел, которые зацепил кто-то на быстром беге, детский и юношеский хохот и топот сапог и башмаков обратил вниманье всех к двери. Вбежали почти все вместе: 2 девочки, одна 13 [95*], другая 15 лет и 2 мальчика или молодых человека, только что выходивших из отрочества. Все остановились у двери и с хохотом спрятались в другой комнате. Одна 13-тилетняя именинница в белом кисейном платьице и длинных черных локонах, падающих на голые закрасневшие плечи, вбежала в гостиную и [96*] встряхнула кудрями [97*], взглянув на гостей, с испуганным и разгоряченным лицом замерла в середине двери. Отец, мать и гости,— все заговорили в одно время.

— А вот она! идите сюда, я вам ее подержу,— сказал граф, еще добродушнее и веселее глядя на любимейшую дочь своими ясными голубыми глазами.

[86*] *Далее начато:* граф говорил всем без исключения, а приезжала

[87*] *Далее начато:* постоян⟨но?⟩

[88*] *Далее начато:* расстилали

[89*] *Вместо* руководя *было:* заведывал

[90*] *Далее начато: а.* поряд⟨ок?⟩; *б.* распоряжения

[91*] *Далее начато:* Через гостиную

[92*] *Вместо* il est alité *было*: elle a été alitée

[93*] Он в постели... Это было прелестно... и графиня Апраксина... Что поделаешь? Удовольствие... Княгиня и Разумовский и (франц.).

[94*] *Вместо* слышала ли ~ сошлись *было начато: а.* что она думает про; *б.* слышала ли она, как в Эрфурте император в театре пожал руку Наполеона и при словах Тальма

[95*] *Переделано из*: 12

[96*] *Далее начато:* как [испуг⟨анная⟩] шарахнувшаяся [кобыл⟨ка⟩] лошадка

[97*] *Далее было: а.* и нечаянно; *б.* гордо; *в.* исбока

— Ma chère, il y a un temps pour tout[98*],— сказала графиня.— Ты ее все балуешь,— прибавила, тоже улыбаясь, мужу.

— Quelle délicieuse enfant [99*],— сказала старая гостья и то же самое жестом и улыбкой выразила молодая девица, дочь гостьи [100*]. Délicieuse enfant эта вовсе не была хороша. Все черты лица ее были неправильны, глаза узки, лоб мал, нос хорош, но нижняя часть лица, подбородок и рот, так велики и губы так несоразмерны толсты, что, рассмотрев ее, нельзя было понять, почему она так нравится. Она еще носила открытые лифы и коротенькие юбки. Детские ножки ее в кружевных панталончиках и открытых башмачках содрогнулись [101*], она, как козочка, легкая, тоненькая, грациозная, подскочила к матери, обняла ее, спрятала лицо в ее кружевах и разразилась таким смехом, что здесь все захохотали и из другой комнаты послышалось тоже.

— Мама [102*], Борис хотел жениться на Мими и не хочет целовать мою Мимишку.

— Ну, так что ж? — спросила мать.

— Мы бежали за ним. Насильно... просить его, чтобы он поцеловал ее... Не правда ли, это не делается? [103*]

— Ну, убирайся с своей Мими,— сказала мать, нежно отталкивая ее от себя.— Это моя меньшая, как видите, избалованная девчонка,— прибавила она к гостье.

— Нет, мама, я не хочу с ним играть, он оскорбил Мими,— сказала Наташа почти сквозь слезы и снизу взглянула на мать. Голос этой девочки поражал своей прелестью, гибкостью, богатством и разнообразием выражения и в особенности силою столько же, сколько и вся ее наружность. Все, что она делала: плакала, смеялась, капризничала — казалось, так и должно было быть и было кстати [104*].

Гостья любовалась ею, но, как это часто бывает с людьми, принужденными присутствовать при семейных сценах, особенно с детьми, она почувствовала необходимость принять участие и участием своим испортила настроение Наташи. Она не попала в тон. Она притворялась и нежничала.

— Скажите, моя милая,— сказала она,— кто вам приходится Мими?[105*] Дочь, верно, что вы так заступаетесь за ее честь,—сказала она.

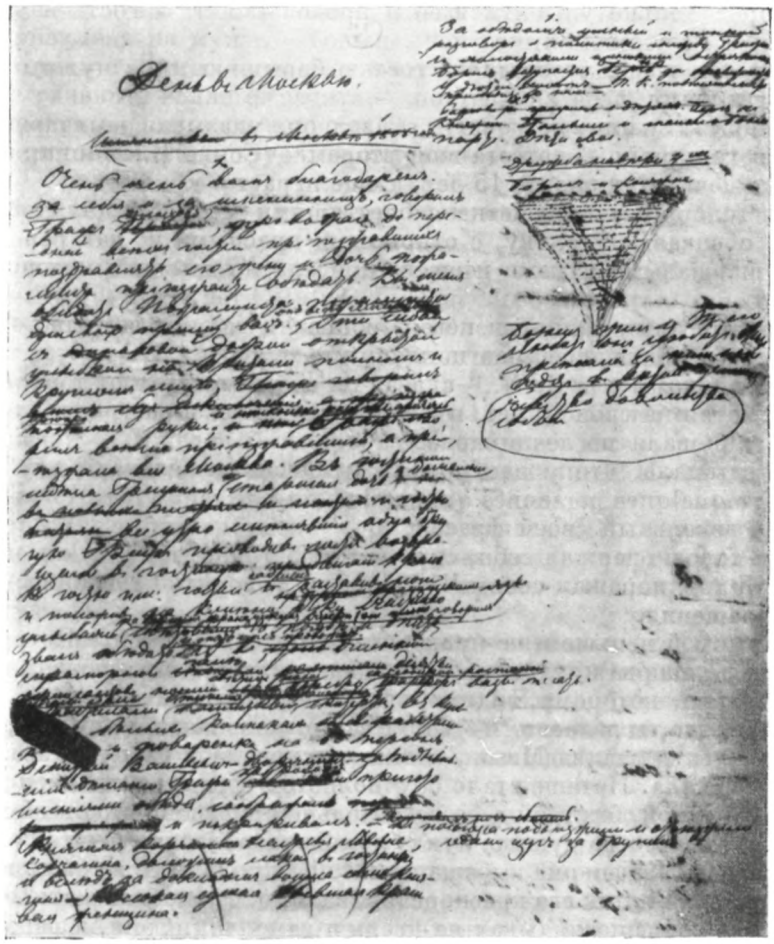
Но Наташе не понравился ее тон, не захотелось ей с этой дамой играть в куклы, не понравилось ей, что под нее, видимо, не скрывая того, подделываются.

— Non, madame, ce n'est pas ma fille, c'est une poupée! [106*],— сказала она резко, смело и таким тоном, который не позволял возражений, присела и своей грациозной [107*] походочкой, вздрагивая коротенькой юбочкой, направилась к двери [108*]. Было ли это учтиво или дерзко, никто не разобрал, все покатились со смеха, удержали ее и вызвали жениха Мими Бориса, молодого графа Nicolas и Соню, которая еще держала в руках куклу.

[98*] Милая, всему свое время (франц.).
[99*] Какое прелестное дитя (франц.).
[100*] *Далее начато:* А вместе
[101*] *Вместо* ножки ~ содрогнулись *было:* ножки ее вдруг содрогнулись
[102*] *Далее начато: а.* Борис; *б.* Николенька привел Бориса в нашу комнату, и он увидал, что я в куклы играю
[103*] *Вместо* просить ~ делается *было:* И Мими совестно, она должна была бегать за ним...
[104*] *Вместо* казалось ~ кстати *было:* всё было мило
[105*] *Вместо* испортила ~ Мими *было:* испортила все.— Кто же вам Мими
[106*] Нет, мадам, это не моя дочь, это кукла (франц.).
[107*] *Далее начато:* вздрагива⟨ющей⟩
[108*] *Далее начато:* Это было неучти⟨во⟩

2

— Познакомьте меня с вашей молодежью,— сказала гостья, отвечая на поклоны всех. Все это молодое поколение было очень мало, несмотря на то, что это все были князья, графы и графини. Видно было, что у них там, откуда они все прибежали, были совсем другие интересы, более человеческие, чем comtesse Apraksine и талала талала. Все, кроме Наташи,



ЧЕРНОВОЙ АВТОГРАФ НАЧАЛА РОМАНА «ВОЙНА И МИР», 1863—1864 гг.
Вариант шестой
Архив Толстого, Москва

точно в холодную воду попали в эту гостиную. Но как хорошо воспитанные дети и юноши они нашлись здесь и умели себя держать, поклониться и сесть в этой гостиной. Все были нарядны по-именинному, все были красивы и здоровы.

— Борис (а не Барис, как выговаривают по-русски),— сказала графиня.— Что вы это наделали с Наташей?

Борис, высокий 16-летний юноша, улыбнулся [109*] и не отвечал.

[109*] *Первоначально:* только улыбнулся

— Что, maman не приезжала? — сказал он, видимо, желая перестать быть ребенком и вступить в разговор с большими.

— Нет еще. Борис Щетинин, сын княгини Анны Васильевны,— сказала графиня, представляя его гостье.

— Ах, я очень знала Анну Алексеевну [110*] у княгини Мещерской в 18..-м году. Талала, талала.— И Борис с видимой гордостью на хорошем изысканном французском языке пустился в разговор с гостьей.

— Мама, зачем он говорит как большой, я не хочу,— закричала Наташа. Борис только улыбнулся ей и продолжал [111*] с гостьей поминать Апраксин и Разумовский и т. п.

Между тем граф, чтоб занять гостью барышню, счел нужным знакомить ее с своими.

— Лизу вы знаете, вот она,— сказал он, указывая на старшую, сидевшую в гостиной; — вот эта моя вторая — Соня. Племянница, но все равно, что дочь. Как видите 15 лет, а еще играет в куклы.

Соня, толстенькая брюнетка с блестящими глазками, чудной косой, два раза обвивавшей голову, с открытыми красными и, как peu de chagrin [112*], шершавыми руками и шеей, присела по-детски и подошла к барышне.

— Это мой сын, танцор и певец, и поэт, и все, что хотите.— Nicolas подошел к барышне, еще раз поклонился.

— Мы знакомы с m-lle N.,—сказал он и, не отставая от товарища Бориса, несмотря на свои 15 лет, пустился с девицей в разговор о том бале, где они танцовали последний раз.

— Я слышала, что у вас прекрасный голос,— сказала ему девица.

—Il y a quelques personnes qui ont la bonté de me le dire[113*],— сказал он, очень довольный своей фразой.

Борис хорошо держал себя, скромно и достойно, но Nicolas, несмотря на свои 15 лет, поражал своим [114*] уменьем говорить и грациозной свободой обращения.

— А это мой меньшой, по прозванью клоп, а в крещенье Петрушка,— сказал граф, ловя за пухлую красную щеку толстого неуклюжего с вихрами мальчугана, которому, видимо, здесь совсем не нравилось.

— Соня, что ты делаешь? — вдруг закричала, как капризный ребенок, Наташа,— ты задушила Мими.— Она подскочила к Соне, вырвала у нее куклу и убежала. Наташе стало скучно в этом обществе, и с свойственной женщине быстрой, быстрой и бессознательной способностью к обману она придумала, что сестра душила куклу и выбежала, взглянув на Бориса так, чтобы он понял, зачем она выбежала [115*]. Как только ее не было в комнате, французский поток его красноречия, видимо, стал ослабевать, он не выбирал своих слов, поглядывал на дверь и замолчал. Соня, в нерешительности постояв несколько секунд [116*], сдержанно пошла за нею до двери и от двери стремительно бросилась, топая ножками по длинной диванной. Для Nicolas тоже, видимо, пропала вся прелесть французского разговора, и, как только разговор замолк, они оба вышли за девушками. Маленький пузан пошел за ними.

— Да,— сказала графиня, после того как луч солнца, проникнувший в гостиную вместе с этим молодым поколением, исчез, и как будто отвечая на вопрос, которого никто ей не делал.— Сколько страданий, сколько бес-

---

[110*] *Так в подлиннике.*
[111*] *Далее начато:* талала талала
[112*] шагреневая кожа (франц.).
[113*] Некоторые по доброте мне это говорят (франц.).
[114*] *Далее начато: а.* тактом; *б.* развязностью
[115*] *Далее было:* Борис понял
[116*] *Далее начато: а.* тоже; *б.* побежала за нею

покойств перенесено за то, чтобы теперь на них радоваться. А и теперь, право, больше страху, чем радости. Все боишься, все боишься. Именно тот возраст, в котором так много опасностей и для девочек и для мальчиков.

— Все от воспитания зависит,— сказала гостья.

— Да, ваша правда. До сих пор, слава богу, я была другом своих детей и пользуюсь полным их доверием,— говорила графиня, повторяя заблуждение всех родителей.— Я знаю, что я всегда буду первой confidente [117*] дочерей и что Николинька будет шалить при нем и с ним,— сказала она, указывая на мужа,— больше, чем без него. Зато не будет потихоньку играть в карты, пить и целоваться с девочками.

— Да славные, славные ребята,— подтвердил граф, всегда разрешавший запутанные для него вопросы (а для его умственных способностей много вопросов казались трудны и запутаны) тем, что он все находил славным.

— Какое живое и милое существо ваша меньшая,— сказала гостья.— Порох!

—Да, в кого, бог знает[118*],—сказал граф,—и как поет! Чудо, хоть и моя дочь, а я скажу, это будет Catalani другая. Мы взяли итальянца ее учить.

— Не рано ли, говорят, вредно для голоса учиться в эту пору.

— О, нет! — граф нагнулся на ухо гостьи и пошептал, улыбаясь, что-то.— Она вот какая!— кончил он.

— А как же наши матери выходили по 13 да по 12 лет замуж,— добавила графиня.— Уж она и теперь влюблена в Бориса,— и, видимо, отвечая на мысль, всегда занимавшую ее, продолжала: — Ну вот, видите ли, держи я ее строго, запрещай ей любиться с Боринькой, бог знает, что бы они делали (графиня разумела: они целовались бы), а теперь я знаю каждое ее слово, все их отношения. Она сама вечером прибежит и все мне расскажет. Может быть, я балую ее, но, право, это, кажется, лучше. Я старшую держала строже.

— Да, меня совсем иначе воспитывали,— сказала старшая графиня, улыбаясь своей красивой, но несимпатичной улыбкой. Старшая, Вера, была хороша, была умна, была хорошо воспитана. Голос у нее был даже приятный[119*], что́ она сказала было справедливо и уместно, но, странное дело, все и графиня-оглянулись на нее и как будто удивились, зачем она это сказала, и почувствовали неловкость.

— Всегда с старшими детьми больше мудрят. Хотят сделать что-нибудь необыкновенное,— сказала гостья.

— Что греха таить, графиня мудрила с Верой,— сказал граф.— Ну, да что же, все-таки славная вышла,— и он с тем чутьем доброго сердца, которое проницательнее ума, подошел к Вере, заметив, что ей неловко, и рукой приласкал ее.— Виноват, мне надо распорядиться,— прибавил он, кланяясь. Гости уехали.

— Что за манера! Уж сидели, сидели,— сказала графиня.

3

Напрасно графиня думала, что она может быть доверенной своей дочери. То, что она сделала в диванной тотчас же после того, как выбежала из комнаты с куклой, в то время, как мать говорила о ней, она в этот вечер не рассказала своей матери.

[117*] наперсницей (франц.).
[118*] *Далее начато:* и все таланты и в
[119*] *Далее было:* но странное

— Борик,— сказала она, как только они вышли из гостиной (она картавым ребенком называла его Борик и теперь называла его так иногда),— подите сюда. — Она стояла за цветами в таком месте, где ее нельзя было видеть.

— Хотите поцеловать мою куклу, Борик?

— Хочу,— сказал он, улыбаясь.

— Нет, скажите: не хочу, пожалуйста, скажите: не хочу.

— Ну не хочу.

— Не хотите, ну так подите сюда,— она глубже ушла в цветы и бросила куклу на кадку цветов,— ближе, ближе.— Она поймала его ручками за обшлага [120*], и в покрасневшем лице ее видна была торжественность и страх.

— А меня хотите поцеловать? — прошептала она, исподлобья глядя на него.

Борис покраснел так, что слезы выступили у него на глаза.

— Какая вы смешная...— проговорил он, нагибаясь к ней и сам не зная, что ему делать.

Она [121*] вдруг вскочила на кадку так, что стала выше его, обняла его обеими руками так, что локти обвились вокруг его шеи и, откинув движеньем головы волосы назад, поцеловала его.

— Поди прочь, я тебя не люблю,— прокричала она, как змейка вырвалась от него, проскользнула между горшками на другую сторону горки цветов и убежала в детскую. Борис побежал за ней, остановил ее.

— Наташа! — сказал он,— Ты не ребенок, разумеется, я тебя люблю. Но, пожалуйста, не будем [122*] делать того, что сейчас, еще 4 года.

Наташа остановилась, подумала; — 13, 14, 15, 16,— сказала она, считая по пальцам.

— Хорошо! Так кончено!

— Кончено,— сказал Борис.— Пойдем к Соне, и по выражению лица этого юноши видно было, что он твердо верил, что это было кончено и что то, что, может быть, было минутным порывом, шуткой с ее стороны, для него было решением на всю жизнь. Красивое белокурое лицо его с тонкими губами и прямым носом вдруг побледнело после усиленной краски, он повел плечами, как будто после усиленной работы и глубоко вздохнул.

Когда они оба пришли в детскую (молодежь лучше всего любила сидеть в детской), они помешали Николаю с Соней, занимавшимся, кажется, тем же. Они все давно уже жили друг с другом — Николай с Соней с первого детства, Борис с Наташей — вот уже два года, с тех пор, как мать его привезла из-за границы и поселила в Москве, где он каждый день бывал у Простых, но, должно быть, день такой был для них нынче. Нынче не было занятий, все они были нарядны, и девочки обе были особенно хороши. Николай, припав к обнаженной руке Сони выше локтя, целовал ее. Соня говорила, что она никогда ни за кого, как за него, не выйдет замуж, а что ежели архиерей не позволит, она уйдет в монастырь и будет каждый день писать ему письма. Николай обещал писать два раза в день и все целовал ее руку и другой рукой обнимал ее.

Соня еще не боялась ни этих поцелуев, ни объятий [123*], в этой толстой, преисполненной свежей кровью, черной брюнетке с огромной косой не было ни малейшего [124*] страха [125*] перед чувством пылкого, живого,

---

[120*] *Далее начато:* его курточ⟨ки⟩
[121*] *Далее начато:* подвинулась
[122*] *Далее начато:* цело⟨ваться⟩
[123*] *Далее начато:* в ней была
[124*] *Далее начато:* чувства
[125*] *Далее начато:* чего-то

НАТАША РОСТОВА
Гуашь А. В. Николаева, 1960 г.
Музей Толстого, Москва

подвижного юноши. Она не могла бы понять, зачем он ее целует и обнимает. Ей бы никогда это не пришло в голову. Она знала только, что Николай был самый лучший, самый добрый, самый храбрый молодой человек во всем мире, что никто лучше не пел, не рисовал, не танцевал и что все поступки его прекрасны. Николай, напротив, знал, отчего ему так хочется целовать, но не боялся этого чувства, как Борис. Его впечатления всегда быстро сменялись одно другим, и он не умел думать [126*] о последствиях того, что может быть из его поступков.

Он мог воздерживаться и бояться только тогда, когда бы ему угрожала опасность поступить нечестно. Честь была для него выше всего на свете, а в этом случае до нее еще не было дела.

— Я не такой человек, как другие,— говорил Николай,— я никогда не изменял чести (как будто ему было на это время) и никогда не изменю. Я полюбил тебя и...

В это время вошли Борис и Наташа.

— Честь выше всего,— сказал Николай, быстро вставая.— Ну, будет. Давай, Наташа, Мими.— Он поставил куклу на деревянный колышек.— Одевайте ее, надо венчать.

— Уйдите, надо одевать,— говорили девочки. Николай и Борис ушли в девичью и с хохотом достали Николаю одежду, похожую на ризу. Хорошо, что Соня не видала, как они доставали у горничной Аннушки юбку для ризы. Николай в то время, как Аннушка влезала в шкаф доставать юбку, обнял ее точно так, как видел, что делал это его молодой гувернер.

[126*] *Вместо* и он ~ думать *было:* и он никогда не думал и не умел думать

— Полноте, сударь, страмник этакий! — проговорила горничная. Борис в это время надевал чулки и башмаки, и камзол, которые он достал у камердинера старого графа, готовясь к брачной церемонии.

Куклу одели, убрали померанцовыми цветами, и обе девочки все забыли, исключая того, как бы убрать красивее и приличнее Мими. Она для них была живая дочь, потом сами они оделись и отперли запертую дверь. Вера вошла в комнату.

— M-me de Janlis, m-me de Janlis,— прокричали они на нее с недоброжелательством.

— Я вам не мешаю,— сказала Вера кротко [127]*,— я пришла за косынкой.— Но всем кротость эта показалась оскорблением. Она подошла к зеркалу и долго надевала ее и оправляла прическу.

— Сколько раз я вам говорила, чтобы вы не брали с моего стола моих вещей, я maman скажу. Где изумрудная брошка? [128]* На куклу надели,— и она подошла, чтобы взять брошку, надетую на куклу.

— Вера, душенька, оставь, сейчас отдам, голубчик, душечка,— завопила Наташа.

Но Лиза [129]* подошла и вынула брошку.

— Черт! — сказала Наташа шепотом. Она подслушала это ругательство у горничных, и потому, что гувернантки приходили в ужас от этого слова, она любила повторять его.

Вера [130]* столкнула куклу и ушла.

— Что вам за охота с нами ссориться? — сказал кротко Борис.— Нам так весело.— Борис был в чулках и кафтане с лентой через плечо.

— [131]* Берг будет обедать, так для него мы так охорашиваемся,— сказал Николай, который уже стоял в ризе и с подвешенной из фальшивой косы бородой.

— Nicolas не может без колкостей,— вся покраснев, сказала Вера.

— Ну, все готово. Ты посаженная мать?

И хохот поднялся такой, что [132]* Вера слышала его до самой гостиной и гувернантка заглянула в комнату в то время, как Борис, держа за руку куклу, ходил вокруг судна, а Николай с Петей в ризах кричали «Исая ликуе». Гувернантка махнула рукой.

Им было слишком весело, тут уже нечего было мешаться.

— M-r Boris, votre mère est au salon [133]*,— сказала она. Борис только мигнул ей глазом.

Княгиня Анна Алексеевна Щетинина, мать Бориса, только приехала из Петербурга, куда она почти безуспешно ездила по делам своего 22 года тянущегося процесса с братом министра и по делам определения в службу своего единственного обожаемого Бориньки. Княгиня для поездки этой заложила последнюю свою брильянтовую брошку в Моск⟨овском⟩ опек⟨унском⟩ совете и теперь, вернувшись в Москву, у ней оставалось только 25 рублей ассигнациями, а надо было везти, обмундировать и поместить Бориньку в [134]* службу. Княгиня по своим связям была родня и знакомая всей знати Петербурга, но бедность, в которую привели ее покойный взбалмошный муж и процесс, мешала ей пользоваться вполне этими связями. Все сенаторы Петербург⟨ского⟩ и Моск⟨овского⟩ сената, все обер-прокуроры, все переменявшиеся министры знали ее строгую, грус-

---

[127]* *Первоначально:* добродушно и кротко
[128]* *Вместо* моих вещей ~ брошка *было:* шпилек. Я maman скажу. Где они?
[129]* *Так в автографе: не* Вера, *а* Лиза
[130]* *Переправлено из:* Лиза
[131]* *Перед этим начато:* Это она для
[132]* *Далее начато:* в гостиной стало
[133]* Борис, ваша матушка в гостиной (франц.).
[134]* *Далее начато:* артил⟨лерийскую⟩

ную и полную достоинства высокую фигуру, большей частью в черном, не стесняясь являвшуюся к холостым и женатым. Все знали ее почерк и карточку, на которой она почти мужским почерком писала: «La princesseTchetinin présentant ses respects»[135]*. «Княгиня А. А. Щетинина желает знать, в какое время она может иметь удовольствие видеться с г-ном м⟨инистром⟩ или с⟨енатором⟩ NN по ее личному делу». Княгиня, как и многие вдовы, оставленные собственным средствам без помощи мужчины, несколько увлекалась своим[136]* уменьем вести дела с сильными мира и, несмотря на неуспех, гордилась и злоупотребляла этим уменьем.— Я одна, женщина,— говаривала она,— надо как-нибудь устраивать дела. И что мне до них? Пусть думают обо мне, как хотят.— Ее знакомые и родные удивлялись ее уменью обращаться с министрами и в особенности искусству писать бумаги, очень редкому в то время. Другие знакомые и родные, любившие ее, больше удивлялись ее силе характера, деятельности и любви к сыну, для которого она работала день и ночь, переносила все и для воспитания которого (она дала ему самое лучшее воспитание тогдашнего времени за границей) она закладывала и продавала брильянты и кружева.

В то время, как сын ее в щегольском платье и белье[137]*, свежий, блестящий, здоровый, веселый, умный, хорошо образованный, со всеми надеждами впереди, венчался в детской с Наташиной куклой Мими, она в скромном черном шелковом платье, худая и бледная, с слабыми остатками прежней красоты, сидела в гостиной графини, своей подруги детства, и плакала, рассказывая историю своих похождений в Петербурге.

Дальнейший текст 6-го варианта начала (главы 4—9) — см. т. 13, с. 159—173.

На полях рукописи конспективные записи:

л. 1 (стр. 336):

1

За обедом умный и тонкий разговор о политике между графом и холостяком, циником, остряком.

Борис вступается. И⟨ван⟩ К⟨уракин⟩ Берг за правительство.

У детей хохот. П⟨етр⟩ К⟨уракин⟩ повесничает — приходите к нам.

2

[Разговор графинь о детях. Берг к княжне.] Большие и малые о Бонапарте. Дети свое.

Дружба навеки четырех.

Борис и княжна.

Борис жил у Т⟨олстых⟩, его любит, он любит. Мать приехала за ним, и он едет в артиллерийское училище.

Чувство довольства собой.

л. 1 об. (стр. 337):

О к⟨нязе⟩ В⟨асилии⟩, о Без⟨ухом⟩, о кн⟨яжнах?⟩.

л. 3 (стр. 340):

Довольство собой.

л. 7 об. (стр. 345):

Мы остались только для ваших именин, завтра едем.

л. 8 (текст этого листа не печатается—см. т. 13, с. 160):

У графа чудак ругатель спорит с Бергом. Граф любуется.

---

[135]* Княгиня Щетинина, принося уверения в своем уважении (франц.).

[136]* *Далее начато:* мастерством

[137]* *Вместо* щегольском платье и белье *было:* щегольском фраке

6

Она ищет.
Завистливый кост. и А. С.
Диспозиция.
Страсть к службе
Пока они дожидались, Борис слышал разговор.
Несносны эти попрошайки.

л. 10 (см. т. 13, с. 162):

Б⟨орис⟩ хитрит, что оскорбляется.

⟨7⟩

12 ноября 1805 года русские войска, под командой Кутузова и Багратиона сделавшие отступление к Брюнну под напором всей армии Мюрата [138]*, в Ольмюце готовились на смотр австрийского и русского императоров. Гвардия остановилась за два перехода и должна была вступить в Ольмюцкий лагерь прямо на смотр в 10 часов утра.

С вечера в армии, стоявшей лагерем, был отдан приказ чистить амуницию и готовиться на смотр. Лагерь занимал огромное поле, кавалерия занимала деревню. Ночь накануне была ясная и с первым морозом не выше 3-х градусов. В одном из домов предместья сидели офицеры за столами и играли в карты.

— Господа, завтра смотр. Гвардия пришла [139]*, в часу отсюда,— сказал батальонный адъютант, входя в комнату.

— Врешь! Кто тебе сказал? Приказ вышел? — послышалось с разных сторон.

Офицеры сидели группами. У одного стола метался банк. Банк метал казначей Киевского полка, раненный в руку, понтировал сильнее всех гусарский офицер или юнкер, нельзя было разобрать, потому что шинель была на нем солдатская, с солдатским крестом, а сабля офицерская.

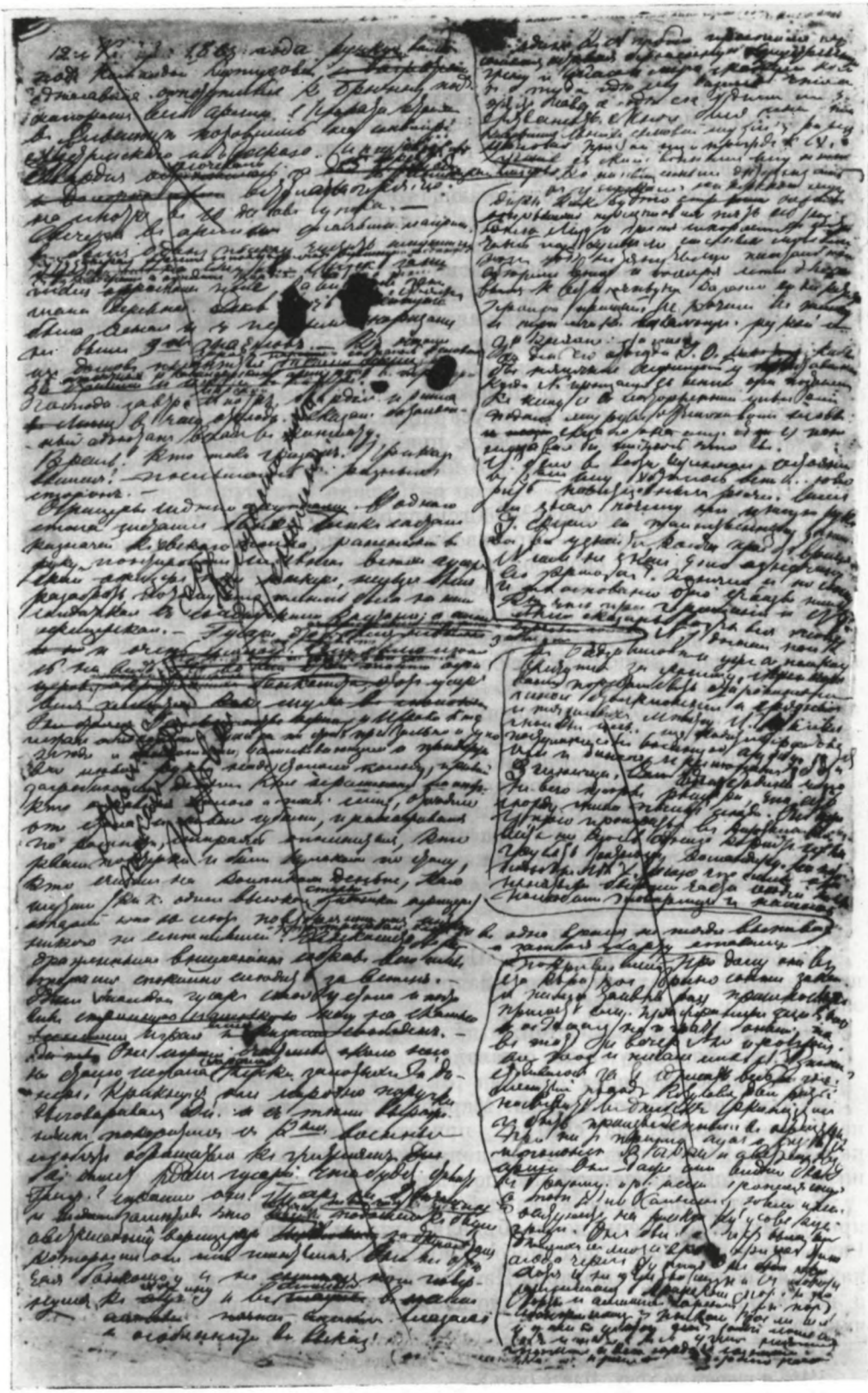
Гусар этот с голубыми глазами и курчавой головой был невысок и очень молод. Ему было лет 16 на вид. Но во всей этой толпе офицеров, окружавших банкомета, этот гусар был заметен, как муха в молоке [140]*. Игроки, кто лежал, облокотившись лежа на стол, пристально и тупо следя за банкометом, записывающим, и, придерживая левой рукой над столом колоду, правой загребающим деньги. Кто переминался на месте, кто, оправляя волоса и гладя лицо, отходил от стола и, шевеля губами, прохаживался по комнате, стараясь опомниться, кто рвал понтерки и бил кулаком по столу, кто считал на коленках деньги, кто шутил (как один высокий, старый уланский офицер) старой [141]*, десять лет повторяющейся шуткой, никого не смешившей. Банкомет, с раздраженным вниманием собрав все силы, старался спокойно следить за всем. Молодой гусар, стоя у стола и поставив стройную маленькую ногу на скамью, веселился, играя, и казался свободен. Он играл счастливо, около него на столе лежала хорошая кучка золотых.

— Эй, динер! — крикнул он, нарочно по-русски выговаривая Ди и с тем выражением покорителя, с которым военные любят обращаться к жителям. Банкомет ждал гусара.

— Что будете ставить, граф? — спросил он. Гусар не отвечал и [142]*, заметив, что слуга подошел к двум австрийским офицерам, сидевшим за

---

[138]* *Далее начато:* стояли
[139]* *Далее начато:* в Линц
[140]* *Далее начато: а.* Он стоял; *б.* Большинство офицеров
[141]* *Далее было:* сто
[142]* *Далее было:* видимо



ЧЕРНОВОЙ АВТОГРАФ НАЧАЛА РОМАНА «ВОЙНА И МИР», 1864 г.

Вариант седьмой

Архив Толстого, Москва

другим столом, которым он нес глинтвейн, он не отвечал банкомету и, не снимая ноги, повернулся к хозяину и в слишком смелых, почти наглых глазах его и в особенности в выражении сжатых губ, которые в углах всегда оставляли складку, черту насмешливости, блеснула та черта решительности, ни перед чем не отступающая и перед которой всегда покоряются люди.

— Динер,— закричал.— Ну!..—и он испустил солдатское ругательство. Хозяин всем телом повернулся, расплескал глинтвейн и подошел к нему.

— Вот так-то! — сказал он и начал по-немецки отличным выговором, — Hören Sie mal... bringen Sie mir... Nu, was soll ich nehmen...[143*]— Он, видимо, нарочно медлил — ну, ich will nichts. Gehen Sie [144*].— Хозяин ушел. В это время вошел офицер с известием о приходе гвардии. Опять банкомет ждал, потому что граф гусар прислушался и стал расспрашивать, где ночует гвардия и какие полки, пришел ли Измайловский. Банкомет раздосадовался.

— Я мечу. Готово [145*].

— Измайловский пришел? Вы говорите, в стороне за городом? — расспрашивал он.— Атанде,— проговорил он, видимо, на что-то новое решившись. Гусар счел свои золотые.— У вас сколько в банке?

— Вот видите,— отвечал с досадой раненый банкомет.

— Сочтите,— повторил гусар.

— 2300 гульденов, да вот запись 1800, все,—сказал банкомет недовольный, но, однако, исполняя требование противника.

— Ну запись... ваше дело,— сказал гусар, видимо, практичный в игре, несмотря на свою молодость.— Ва банк.— Он отсчитал из своих золотых столько, сколько было на столе, поднял с полу валявшуюся понтерку и двинул все на середину стола.

— Два с боку,— сказал он и оставшиеся от его денег два золотых положил в карман и надел фуражку.

— Бита,— сказал кто-то. Граф повернулся и пошел в лагерь.

— Соколов, поедем к гвардии,— крикнул он одному Павлоградского полка офицеру.

— Поедем!

Они [146*] вместе стояли в палатке.

Только что они вернулись и Простой велел седлать лошадь, как вошел вахмистр и доложил, что эскадронный командир велел готовиться к завтрашнему смотру [147*].

— Нельзя ехать, Простой.

— Вздор, я поеду, а ты оставайся.

— А спросят?

— Ну, говори, что хочешь. Марков,— обратился он к вахмистру,— на, выпей водки, да смотри, приготовь мне к завтрему мундир, как хочешь! Он сел на плохую полковую лошадь и пустился рысью по каменистой освещенной месяцем дороге к Ольмюцу.

В темноте приехал он к гвардейскому лагерю. Два раза его не хотели пропускать сквозь цепь, но он объявлял, что он послан к великому князю. Раз он наткнулся было на самого великого князя и, наконец, попал по показаниям солдат на кашеваров Измайловского полка, узнал, где 4-я рота, и добрался, наконец, ⟨*1 нрзб.*⟩ до квартиры [148*] прапорщика князя Горчакова.

[143*] Послушайте... принесите мне... Ну, что же мне взять... (нем.).
[144*] я ничего не хочу. Идите (нем.).
[145*] *Далее начато:* Только что он кипу⟨л⟩
[146*] *Далее начато:* пошли в па⟨латку⟩
[147*] *Вместо* велел ~ смотру *было:* велел к завтрему готовиться на ученье.
[148*] *Вместо* квартиры *было:* палатки

— Где князь Горчаков? — спрашивал он.— Нет такого, в 3-м батальоне спросите, там князей много.

— Э, Валенчук,— отозвался молодой солдат,— в 4-й роте с капитаном стоит князь, никак.

— И то, кажись, он, спросите ⟨?⟩.

Борис Горчаков стоял с Бергом. Гвардия, как известно, шла, как на гулянье. Ранцы везли на лошадях, офицерам были готовы обеды везде. Полки шли в ногу, и офицеры шли пешком. Так шел Борис с своим товарищем, ротным командиром Бергом. Они и стояли вместе. В то время, как Простой, привязав лошадь, как буря ворвался к ним, они чистенькие, Берг в шелковом халате, а Борис в венгерской курточке, которую он купил дорогой, сидели в чистой квартирке, отведенной им, перед круглым столом. Борис на диване с но⟨гами⟩, Берг на кресле, пили чай и играли в шахматы.

— Нет [149*]; Юлий Карлыч, теперь я не поддамся,— говорил Борис,— ретируйтесь отсюда с царицей.— Юлий Карлыч держался за царицу и курил из длинной трубки, стоявшей на полу.

— Это что за гром! — сказал он, оборачиваясь, как влетел Федор Простой.

— Ты откуда?

— Ах, черт тебя возьми. Гвардия? Пети зенфан але куше дормир [150*] (это говорила дома барышня приживалка, обоим одинаково знакомая),— закричали они друг на друга, говоря глупые слова и помирая со смеху без смешной причины, но только от радости. Берг даже улыбался, хотя чувствовал себя чужим между этими двумя друзьями.

— Ах вы, полотеры проклятые! чистенькие, свеженькие точно с гулянья,— кричал Простой так громко, что хозяйка высунулась из двери посмотреть на крикуна.— Ну, рассказывай, когда видел моих. Проходили через Спасское? Что Наташка моя милая?

— Как же, мы дневали в Спасском в вашем,— вмешался Берг,— какой прием был войскам от вашей маменьки [151*].

— А, Берг, здравствуйте [152*],— сказал Простой, протягивая покровительственно руку штабс-капитану гвардии и ротному командиру.

— Видели всех,— отвечал Борис,— они не сердятся на тебя нисколько, я привез тебе 6 тысяч рублей. А Наташа, Наталья Ивановна,— поправился он,— без тебя совсем другое стала...

Простой подвинул стул, сел верхом на него и рукавом швырнул на диван все шахматы.

— Ну их к черту. Садись, рассказывай.— Борис удивлялся на это армейское молодечество, которое так усвоил себе Простой и которое он теперь перед гвардейцами, как будто, нарочно утрировал.

— Знают они об наших делах? Знают, что я произведен? — спрашивал он.

— Где же знать, мы только теперь узнали,— отвечал Борис, не переставая любуясь и улыбаясь на своего героя и друга.— Ты был в деле? — спросил он.

— Кремс.

— А отступленье?

— Нет, брат.

— А это что?

[149*] *Далее было:* брат

[150*] Маленькие дети, идите спать (франц.).

[151*] *Вместо* мы дневали ~ маменьки *было:* мы дневали в Лысых Горах, у князя Волконского,— вмешался Берг,— какой прием был войскам.

[152*] *Далее было:* батюшка

Простой небрежным движением старого воина тряхнул по своему солдатскому Георгию [153*].— Корнет и представлен в поручики.

Но он тотчас же переменил разговор, которым он любил всегда капризно руководить по-своему. Он всегда начинал говорить об одном, и как только все следовали за ним, он вдруг бросался совсем на другой предмет, переводил всех за собой и опять тотчас же бросался в другое. Теперь он не ответил на поздравленье Берга и спросил о старом слуге Бориса.

— Ну, а твой старый пес Никита тут?

— Тут.

— Эй! черт Никитка!

Вошел добродушный и, видимо, хорошего дома слуга.

— Поди сюда, целуй меня, старый кобель! — И он обнял его.

— Имею честь поздравить ваше сиятельство.

— Ну, давай полтинник за извозчика заплатить,— сказал он, напоминая те времена в Москве, как он занимал у старика по гривенникам. Старик, приятный [154*] и приличный всегда, засмеялся.

— Извольте, ваше сиятельство, офицеру и кавалеру поверить можно,— и стал доставать из кармана.

— ⟨*2 нрзб.*⟩. Как я ему рад, этому старине.—Он опять переменил разговор, отвернулся.— Пошли у маркитанта взять шампанского.

Борис не пил, но с радостью достал из-под чистых подушек тощий ⟨?⟩ кошелек и велел принесть вина.

— Кстати и тебе отдать твои деньги и письмо.

— Давай, свинья этакая,— закричал Простой, хлопая его по заднице в то время, как он, нагнувшись над шкатулкой, хлопал в ней звенящим английским замком и доставал деньги.

— Ты потолстел,— прибавил Простой.

У Бориса все, от постели, сапог, до кошелька, чистоты ногтей и звенящего, несломанного замка с секретом шкатулки,— отзывалось умеренностью и порядочностью. Он дал письмо. Простой облокотился на стол, почти повалившись на него, засунул руку в курчавые волоса, комкая их, и стал читать. Он прочел несколько строк, блестящие глаза его потускнели, прочел еще, еще страннее стал его взгляд [155*], и вдруг две слезы потекли по его щеке и носу, и он только успел закрыть лицо.

— Я свинья,— сказал он вдруг.— Берг, милый мой! Послушайте! Когда вы сойдетесь с задушевным другом, как это животное, и я буду тут, я сейчас уйду и сделаю для вас, что хотите. Послушайте, уйдите пожалуйста куда-нибудь к черту. Вы знаете, я от души говорю,— прибавил он, хватая его ласково за плечо и тем стараясь смягчить грубость своих слов.

— Ах, помилуйте, граф, я очень понимаю,— сказал Берг, говоря както в себя и раскачивая, вдавливая шею в грудь в знак успокоения.

— Вы к хозяевам пойдите. Они вас звали,— прибавил Борис с своим всегдашним мягким и полным такта обращеньем.

Берг надел сертук, такой чистый и франтовской, какого не было во всей армии, с эполетами и, сделавшись вдруг красивым офицером, вышел из комнаты.

— Я свинья! Смотри, что они пишут. «Милый наш друг Федя. Все забыто» [156*]. Он показал середину письма: «и о том, что было между нами, не будем говорить. Виноват ты, виноват и я, да простит нас бог. А жить с мыслью, что единственный любимый мой сын боится меня, с упреком в

[153*] *Далее начато:* и офицер

[154*] *Далее было:* чистый

[155*] *Вместо* блестящие ~ взгляд *было начато:* глаза его все тускнели, тускнели, прочел еще, еще страннее стал его взгляд и выражение кротости [в губах], несмотря на или особенно вследствие этой вечно остающейся презрительной складки в углах губ

[156*] *Далее начато:* Посылаю тебе наше благосло⟨вение⟩

сердце и оставил меня, чтобы находиться среди ужаснейших опасностей, свыше моих сил. Ты [157]* милый мой сын, дороже мне всех моих детей, да простит меня бог. Все забыто, и ты опять милый, дорогой, неоцененный Федя. Да простит тебе бог те слезы, которые я по тебе выплакала и да не даст тебе испытать тех мучений...» Далее шли подробности о домашних, советы и приложено было рекомендательное письмо к князю Багратиону.

Вдруг углы губ поднялись выше и выше и Федор Простой улыбнулся, не сводя глаз с темного угла комнаты, в который он задумчиво смотрел.

— Ну, а m-me Genlis все та же? А Наташка милая моя? Все то же? — Он улыбнулся. Борис улыбнулся тоже не насмешливо, не от чего-нибудь, а только от радости [158]*.

— Расскажи про ваши дела. К нам приезжал ваш адъютант, да я не видал его...

— Ну, после, а Соня? что?..

— Ты ее не узнаешь, как она похудела, как она убита, это не тот человек... Напиши ей.

Опять Федор Простой задумался и опять потускнели его глаза.

— Да,— сказал он,— меня все любят, я это знаю, но вот сердце мое знает, что она одна всегда будет любить меня, никогда не изменит. От этого я и мало ценю ее. Ну рассказывай ты... Как вы шли? Как вы у моих были?

Как только Берг ушел, Простой стал другим, более кротким, простым человеком и сбросил с себя все это прежде выказываемое гусарство, которое, как ни шло к нему, затемняло в нем того доброго, пылкого, честного юношу, которого справедливо любили столь многие.

Борис не рассказал всего похода, он только рассказал, как он был у князя Волконского, как княжна ухаживала за ними, расспрашивала о нем, Простом, и боялась расспрашивать, как потом приехали из Спасского все Простые и он успел пробыть у них 8 часов. Борис рассказывал тонко про проводы и походы и новых людей за границей.

— У меня история была с батальонным командиром Вревским. Он переведен к нам на шею из Преображенского [159]*. Солдаты, надо тебе сказать, вели себя удивительно. Ведь переходы были по 45 верст и, несмотря на то, нигде ничего, вдруг этот барин под Краковом [160]* послал фуражировать из нашей роты. Я ему сказал, что не пойду, он хотел меня под арест и отправил к полковому командиру. У нас, надо тебе сказать, две партии: аристократов и плебеев.

— Погоди, вот проберут вас. Да расскажи же, где ты был в первый раз в огне.

Принесли шампанское.

— А мне не хочется,— сказал Простой.— Ну, налей, все равно. Это, брат, пустяки. В первый раз нас пустили под Кремсом, ну жутко, а потом гадко на других и зло берет. Нет, брат, как мы отступали от... вот это было, я бы вас пустил туда. Мы, брат, бежали, как зайцы, сбились, наш полк попал не в ту сторону.

— Да как же диспозиция разве вам была неизвестна?

— Э, брат, диспозиция, дислокация, все это вздор, ну какая диспозиция? Мы стоим лагерем, у нас перемирие, ждем, скачет дурак какой-то, говорит, слышали выстре⟨л⟩ и пошла писать...[161]* Из чего мы деремся? Арк⟨адий⟩ рассказывал про Энгиенского. Наполеон. Признанье в честолюбии. Бросилось все, сбилось в кучу, адъютанты скачут, отступать

---

[157]* *Далее было:* блудный
[158]* *Далее начато:* Теперь он хотел переменить разговор, но Пр⟨остой⟩
[159]* *Далее начато:* Офицеры
[160]* *Далее начато:* велел
[161]* *Далее начато:* В это время вошел красивый адъютант Волхонский.

по какой-то Клапау, а черт ее знает, что за Клапоау? Лшадь у меня захромала. Все это офицерство трусит, один майор у нас молодец.

— Ну, что ты играл?

— Немного, до сих пор выигрывал. Только денег нет. Я просадил на одну немочку. Что за прелесть в Раузнице, когда мы стояли авангардом, она приезжала из Аустерлица, это городишка скверный, она дочь сапожника. Что за пуховики — умора.

— Нет, расскажи, как же вы отступали.

Приятели почти до утра сидели, разговаривая и не обращая внимания на Берга, который вернулся и лег спать. Толстой [162]* совсем забыл войну, службу, товарищество, игру и пьянство. В его воображении с живостью, ему свойственной, ясно стояли лица его детства и юности: семья, соседка Волкова и весь строй мысли того времени. Он на себя и на свою жизнь, рассказывая Борису все испытанное, смотрел с той точки зрения.

— Совсем, брат, нет того, что мы думали. Во-первых, страшно, во-вторых, безалаберно, беспорядочно и, в-третьих, жалко. Я изрубил одного [163]* шнаца, и как он схватился руками за острую саблю, так гадко стало. А главное, славы нет и не будет. Интрига, интрига и интрига. У всех одна мысль parvenir [164]*, а общее дело идет, как хочет. Да и видеть нельзя, отчего так или иначе. А мне доходно. Тебе я только скажу. Я бы с нашими солдатами разбил бы Бонапарта. Чем страшнее, чем хуже, тем мне яснее дело и тем я храбрее.

— Ну, что Багратион?

— Молодец! Он подъезжал к нам два раза и все равно как на параде... Но и у него эта толпа безобразная тунеядцев, адъютантов состоящих [165]*, начальников кавалерии, артиллерии и миллион еще, и у каждого обоз, коляски. А как награды, то все им.

— Вот он уже пойдет,— сказал Борис,— стоит только забрать репутацию, а чины тогда можно.

— Ты уверен, что ты будешь главнокомандующим? — вдруг, помолчав, спросил Толстой.

Борис подумал немного.— Да уверен,— сказал он, слегка улыбнувшись.— Нет, постой. Я боюсь первого дела. Ежели я не струшу, тогда и уверен, что я все могу.

[166]* Вошел Волхонский, двоюродный брат Бориса и сосед Толстого. Толстой не знал его, хотя и слышал про него, как про гордого, чопорного, французского [167]* рыцаря, как его звали, и человека с характером, посмевшего против воли отца жениться на бедной, ничтожной дочери помещицы. Он был адъютантом главнокомандующего и теперь ездил в главную квартиру и получил оттуда письмо, извещавшее о рождении сына. Он не понравился Толстому. Красивый, тонкий, сухой [168]* с маленькими, белыми, как у женщины, ручками, раздушенный и элегантный до малейших подробностей своего военного платья. Он не поклонился никому, искоса презрительно поглядел на Толстого и, когда его познакомили, лениво протянул руку и не пожал руки, а только предоставил свою пожатию. Адъютантик, не бывший в деле и чем-то гордившийся, очень не понравился Толстому, считавшему себя уже обожженным боевым офицером, перенесшим уже много трудов и опасностей. Углы губ его поднялись выше, губы сжались, и Борис с свойственным ему тактом все время следил за Тол-

---

[162]* *Так в подлиннике.*
[163]* *Далее начато:* chasseu ⟨стрелка⟩ (франц.).
[164]* возвыситься (франц.).
[165]* *Так в подлиннике.*
[166]* *Перед этим начато:* На этом
[167]* *Далее начато:* юношу
[168]* *Далее начато:* и женоподобный

НИКОЛАЙ РОСТОВ
Гуашь А. В. Николаева, 1960 г.
Музей Толстого, Москва

стым и незаметно смягчал недоброжелательство Толстого и вызывал Волхонского на такие разговоры, которые бы не могли зацепить самолюбие Толстого. Толстой был однако поражен и даже почувствовал некоторое уважение этим презрением штабного паркетного молодчика к боевому офицеру, тогда как до сих пор все эти господа, как будто чувствуя свою вину блестящего и выгодного бездействия, всегда записывали в нем и в ему подобных боевых офицерах, теперь сделавших славное отступление.

Толстой начал продолжать рассказ о отступлении и несколько раз задевал адъютантов и штабных, говоря, что эти господа, как всегда, ничего не делая, получали награды. В〈олхонский〉, видимо, нисколько не интересовался всем этим, как будто такие рассказы он слыхал бесчисленное число раз и они уже успели ему надоесть.

— Ну что, ты получил письмо? — спросил Борис.

— Получил,— отвечал В〈олхонский〉 по-французски (он говорил на этом языке с особенным изяществом). Жена родила сына и благополучно. Сестра пишет, что надеется скоро свести отца с женою. Как он хочет впрочем.

В〈олхонский〉 развалился на диване с ногами, как будто был один и дома.— Как я устал.

— Ты в чем ездил?

— В карете, гадость страшная, разломило. Вели мне дать пить.

— Шампанского хочешь?

— Нет, избавь, пожалуйста, воды дай.

Дав поговорить ему о домашних делах и не обращаясь к Толстому, которого, видимо, бесило молчание, Борис перевел его вопросом о том, что он слышал в главной квартире, на общий разговор.

— Кутузов говорил, что [169*] решен⟨о⟩ [170*] наступать. Буксевден очень смешон.— В⟨олхонский⟩ говорил о всех этих главных лицах, как о хороших ему знакомых, приводя их слова ему и свои ответы.

Толстой сказал о мнении Багратиона, о котором (о мнении) он слышал и которое было противуположно, и тем желая опровергнуть новости В⟨олхонского⟩.

— Ну что Багратион, он хороший рубака,— отозвался Волхонский с презрением о том, кто высшим лицом казался Толстому,— а совет его очень не важен. Да, хотят наступать, не дожидаясь Эссена, и пойдут, и наверно Бонапарт нас расколотит.

— Отчего же? — в один голос спросили Борис и Толстой.

— Наверно расколотит, потому что француз первый солдат в мире, а у нас половина армии изменников немцев, а половина диких казаков русских. Там лучший полководец мира, а у нас...— и он в первый раз улыбнулся, и улыбка его была очень приятна. «Он должен был очень нравиться женщинам»,— подумал Толстой.

— Ежели бы мы так все думали, то нам бы надо бежать, как увидим французов,— закричал Толстой,— а мы пока не бежали.

— Еще как бежали-то!— опять презрительно улыбнулся В⟨олхонский⟩.

— Мы не бежали, милостивый государь, мы дрались, а побегут те, кого растрясло в карете, и тот, кто боится имени французов.

В⟨олхонский⟩ не ответил и остался совершенно спокоен. Ни одна черта его лица не показала, чтобы он почел себя оскорбленным и удерживался бы. Он презирал мальчишку гусара так искренно, что не мог быть им оскорблен [171*], и он верно чувствовал себя столь далеким от трусости, что не мог сердиться.

— Наступать надо,— сказал Борис,— потому что иначе он соберет армию из Италии.

— Ох, как расколотят,— как бы про себя и с улыбкой как бы удовольствия проговорил Волхонский.— Не нам воевать с Бонапартом. Он не хотел вас бить, у него уже была Вена.

— Послушайте, вы дразнить меня хотите,— закричал Толстой, весь красный и уже придумывая, кого взять секундантом,— ежели вы не перестанете срамить свой и мой мундир, я вас заставлю замолчать.

— На дуэли я с вами драться не стану, потому что это теперь не хорошо. Хоть и разобьют нас, все надо, чтобы было нас побольше, и потому вы ошибаетесь, что можете меня заставить замолчать. А так я вижу, что вам, герою Браунауского бегства, неприятно это, так я не стану говорить, жалея вас.— И он вдруг так добродушно, приятно улыбнулся, так осветилось его красивое лицо честной, тонкой и милой улыбкой, что Толстой молча смотрел на него. Волхонский подал ему руку.

— Не сердитесь, сосед.

Толстой только пожал плечами.

— Eh bien, mon cher [172*]. Ну что твои все? — совершенно свободно перешел В⟨олхонский⟩ к другому разговору. Он все говорил по-французски.— Здоровы? тетушка все у Николы Явленного? Eh comment vont les amours? [173*]

Он поговорил еще, лениво встал и вышел, почти не кланяясь.— Устал, спать хочется.

Борис стал извинять своего родственника, уверяя, что он отличный

[169*] *Далее было:* почти

[170*] *Далее начато: а.* Я был у Орлова; *б.* Орлов го⟨ворил⟩; *в.* Багратион говорил, что

[171*] *Далее начато:* Толстой понял

[172*] Итак, мой милый (франц.).

[173*] Как твои сердечные дела? (франц.).

человек, удивительного сердца и характера, рассказал, как он в долг принес себя женщине ничтожной, только потому, что считал себя к этому обязанным, но что он горд и странен.

— Вот кто будет главнокомандующим, а не мы с тобой,— сказал Толстой.— Да что ты мне про него говоришь. Он мне очень-очень нравится. Ну, прощай и я.— Толстой сел на свою лошадку и поехал при заходящем месяце опять по каменистой дороге. Совсем другой строй мыслей установился в его голове. Все общественные, семейные отношения, забытые им, возникли в его голове. Уже рассвело, когда он приехал, и солдаты чистились к царскому смотру. Пехотные заиграли утреннюю зорю.

Дальнейший текст седьмого наброска начала почти не подвергался позднейшей авторской правке и довольно точно опубликован в т. 13 (с. 107—149) до слов: «Войска возвратились par journées d'étapes». *Ввиду большого объема этого наброска не повторяем указанной публикации. Конспект продолжения, опубликованный в т. 13 вслед за текстом наброска, относится к позднейшей работе Толстого.*

На полях рукописи конспективные записи:

3 (стр. 351):

Он хвалит русские войска.

л. 4 (стр. 352):

равны и Топчеенко и князь Волхонский.

Ср⟨ажение⟩ с точки зрения военной истории, с т⟨очки⟩ зрения эпич⟨еской⟩ поэзии и с н⟨ашей⟩ т⟨очки⟩ зр⟨ения⟩.

⟨8⟩

См. вступительную статью, стр. 301—302.

⟨9⟩

Девятый набросок начала — см. т. 13, с. 174—177 (№ 20 и 21).

⟨10⟩

Сношения России с Францией были разорваны в 1804 году смелой и решительной нотой, поданной при отъезде из Парижа нашим поверенным в делах д'Убрилем вскоре после убийства герцога Енгиенского. Нота эта была следующего содержания [174]* *⟨текста ноты в автографе нет⟩*.

Не обращая никакого внимания на строгие замечания, которые делал господин д'Убриль Наполеону, Наполеон вскоре по получении этой ноты принял на себя звание императора, насильно, как говорили, привез папу из Рима и заставил себя короновать в Париже и не только не думал удовлетворять его Сардинское величество и успокоивать Неаполитанское величество, но, не удовлетворившись императорским коронованием в Париже, вместе с папою, поехал в Милан и заставил себя короновать королем Италии [175]*.

---

[174]* *Вместо* Сношения ~ содержания *было начато: а.* Летом 1805 года политические известия о дипломатических переговорах между Россией и Пр⟨уссией⟩; *б.* Летом 1805 года дипломатические сношения России с европейскими державами становились с каждым днем сложнее и значительнее. Сношения России с Францией, разорванные еще в прошлом 1804 году, вскоре после убийства герцога Енгиенского, не возобновлялись.

[175]* *Вместо* Не обращая ~ Италии *было: а.* В ответ на эту ноту Наполеон [надел на себя императо⟨рскую⟩] принял звание императора, заставил признать за собой это звание половину Европы, вытребовал папу из Рима и заставил себя короновать, составил рейнский союз, назвав себя протектором его и перерисовывал карту Европы

Летом 1805 года дипломатические сношения России со всеми европейскими державами, за исключением Франции, особенно оживились. Любители политических новостей с особенным нетерпением ждали газет, делали предположения войны против Франции и различные комбинации союзов. Курьеры и уполномоченные из Пруссии, Англии и Австрии особенно часто скакали по русским и прусским *нежелезным* дорогам [176]* и останавливались у подъезда еще старого Зимнего дворца. Двор Марьи Федоровны, императрицы-матери, находился в Павловске, и приближенные этого двора, известного за свою ненависть к Наполеону, имели вид значительный, довольный и скромный, как будто они все знали что-то особенное и важное, что публике еще рано было знать.

Молодой император казался озабоченным и сильно занятым. Смотры и совещания с министрами занимали все его время. Молодые наперсники и советники императора, Кочубей, Новосильцов, Долгорукий, Чарторыжский, смело смотрели в глаза недоверчивым старикам и, видимо, затевали что-то решительное и важное [177]*. Указ о учреждении министерств вместо коллегий уже выдержал бурю гонений со стороны стариков. Над дополнениями его [178]* работал уже приобретший известность Сперанский [179]*. Преобразования с свойственной молодости жаром готовились и приводились в исполнение по всем частям государственного управления. И тогда, как и теперь, как и всегда было и будет, молодое правительство видело одни ошибки во всем старом и боялось отстать от века, старики видели одни ошибки во всяком изменении старого порядка вещей и удивлялись, чтоб возможно было иметь смелость тем, кого они знали ребятами, изменять то, что жило в знаменитый век Екатерины.

Пускай не исполняется и $^1/_{100}$ из надежд молодости, надежды эти все так же [180]* необходимы. Пускай из тысячи цветов один только оплодотворяется, природа каждый год воспроизводит их новые тысячи. И зачем нам знать назначение этих красивых, хотя и бесплодных цветов, когда мы любим их.

Но, несмотря на общий всем временам характер борьбы старого и нового, время это имело для России как государства еще особенный характер счастливой и исполненной надежд красивой молодости.

После короткого царствования Павла и тяжелого чувства революции воцарился рыцарский, красивый, любезный и всеми любимый молодой внук Екатерины, и ужаснувшая всех революция уже улеглась в свое русло. Все страшное неограниченного образа правления в России похоронено было с Павлом, все ужасное революции похоронено было с Директорией. Оставались славные воспоминания величия Екатерининского царствования и великие идеи революции, проникшие невольно во все благородные души.

Дать конституцию России, освободить крестьян, дать свободу слова и печати были мысли — дети революции, исполнение которых казалось

по своим соображениям и [готовился высадиться на берег в Булоньском лагере] готовил погибель Англии, не обращая никакого внимания на признание и непризнание законных его прав. Наполеон был та же революция, как говорят историки, но с той только разницей, что когда революция была идеей, она спорила и доказывала, теперь же, ставши силой, она вместо ответа на убеждения и рассуждения, победоносно доказывавшие ей ее неправду [она только] выставляла 100 000 штыков и говорила: «Ну-ка попробуйте»; *б.* В ответ ~ короновать, в Париже составил рейнский союз, назвав себя протектором его, и, объявив войну Англии, готовил ей погибель, и поехал в Италию [возложить], чтобы в Милане принять еще звание короля итальянского. Наполеон был *и т. д., как а.*

[176]* *Далее начато:* В Зимнем дворце молодой император

[177]* *Далее начато:* И как и теперь, как и всегда

[178]* *Вместо* Над дополнениями его *было:* Над ним уже

[179]* *Далее начато:* Свойственное молодости стремление к преобразованиям

[180]* *Далее начато:* красивы и милы

легко и просто молодому и восприимчивому императору. Сделать Черное море русским озером и восстановить величие греческого храма Софии, остановить завоевания Бонапарта и восстановить законное правительство у французов казалось для внука Екатерины только исполнением завещания славной бабки. Было счастливое молодое царствование.

Как и теперь, как и всегда, так и тогда было, что около молодых людей, боровшихся за новое, и екатерининских стариков, боровшихся за старое, были толпы людей, в этой борьбе видевших только удобство найти лишние рубли, кресты и чины, и были толпы людей, только совершенно отвлеченно разделявших эту борьбу, но работавших не для борьбы, а для своих страстей и потребностей.

Эти-то люди и будут героями этой истории.

Несмотря на летнее время, в Петербурге, не ⟨?⟩ на дачах в июне 1805 жило все придворное, служащее, торговое, военное и бездельное население этого города.

Один из таких бездельных людей был незаконный сын знаменитого князя Кирилла Владимировича Безухого, богача, чудака и масона, жившего безвыездно в Москве со времени воцарения Павла. Сын Кирилла Владимировича назывался не Петр Кириллыч, а Петр Иваныч и не Безухой, а Медынской. Отец[181*] давал ему много денег и интересовался им, но не хотел усыновить, желая, чтоб сын сам сделал себе карьеру. Несмотря на неусыновление, m-r Pierre, как его звали в свете, был принят в лучшем свете и, приехав из-за границы, остановился у знаменитого вельможи и родственника отца, князя Василья Борисыча Курагина[182*], известного всем под именем кнезь Василья[183*]. М-r Pierr'у весной надо было ехать[184*] в Москву, где отец его хотел определить в архив. Но он жил тут все лето, сам не зная для чего и каждый день говоря, что он завтра поедет.

Близких знакомых у него было два дома: кнезь Василья, у которого вверху он не любил бывать, но с сыном которого он за вином и картами и женщинами проводил петербургские сумрачные ночи, сам не зная для чего, потому что не любил ни вина, ни карт, ни женщин, и другой знакомый дом — был недавно женившийся адъютант петербургского генерал-губернатора князь Андрей Волконский, по строгости своей жизни и чопорности дома совершенный контраст князя Анатоля Курагина. М-r Pierre проводил день, обедал у князя Андрея, с которым он был дружен, говорил о литературе, о политике, философии, любовался его домашним счастьем, красивой женой, обдумывал свое положение, решался ехать, но приходила светлая беспокойная ночь, чего-то еще ему хотелось, поскорее что-то хотелось забыть, он не мог идти домой, заходил к Анатолю и пьяный, усталый и с раскаянием в душе засыпал уже тогда, когда солнце поднималось из-за домов, город оживлялся и становилось жарко. Так день проходил за днем. И тем радостнее было ему подъезжать к чистому домику в Литейной, где в высокой, чистой и роскошной квартире жила молодая чета Волконских, всегда радушно встречавшая каждый день заблуждающегося и возвращающегося блудного сына.

20 июля он точно так же, как и все дни, начиная с 1 апреля должен был ехать на другой день в Москву, но его задержало предложение князя Андрея Волконского приехать к нему обедать и вместе ехать к старой штатс-даме Анне Павловне Шерер, которая очень желала его видеть.

181* *Далее начато:* любил

182* *Переделано из:* Куракина

183* *Далее начато: а.* Зачем; *б.* Отец уже давно ждал к себе сына из-за границы

184* *Вместо* весной ~ ехать *было:* уже давно было пора ехать

— Ну, что ж, вы и поедете завтра,— сказал князь Андрей [185]* улыбаясь, как всегда, лениво и добродушно.— Вы уж привыкли.

20 июля m r Pierre приехал к обеду и, как всегда, опоздал. Лакей не в камзоле по старинной моде, а по новой английской моде во фраке, доложил, что кушают, но в то же время послышался из столовой металлический и строгий голос князя Андрея.— Ежели Петр Иваныч, проси! — M-r Pierre вошел в светлую, высокую, расписанную столовую с дубовыми резными буфетами и уставленным хрусталем и серебром столом. За столом сидел князь Андрей, маленький аристократический человечек с сухими красивыми чертами и выражением лени и изнеженности во всех движениях и позе, его жена, хорошенькая оживленная брюнетка, какая-то барышня, какой⟨-то?⟩[186]* старичок и молодой чиновник, которого m-r Pierre видал и знал comme un jeun homme de mérite et qui promet [187]*. Он знал еще, что молодой человек этот принадлежал к клике Сперанского. Тогда это был первый чиновник, не дипломат, которого m-r Pierre видел в свете. Прибор для m-r Pierr'a стоял накрыт и новенький, как и все, что было в доме, стул был придвинут высокой спинкой к краю белейшей и тоже новой скатерти. На лицах, на серебре, на белье, на мебели, на стенах, на слугах и их жилетах, на рамах и задвижках окон, на коврах, на сертуке и эполетах хозяина, на серьгах и воротничке хозяйки, на всем в этом доме был тот особенный светлый отпечаток, который бывает у *молодых*. Все, от отношений мужа к жене и их положению, до последнего ковра и лампы на лестнице,— все было свежо и ново. M-r Pierre, кроме симпатии к хозяевам, от этого, может быть, еще больше любил бывать у Волконских [188]*.

— Ну, садитесь, mon cher.

— Извините, что я опоздал,— сказал m-r Pierre, улыбкой открывая испорченные зубы и таким тоном, что видно было, он знал, что его извинят.

— Когда вы уедете из Петербурга, чего я очень желаю для вас и очень жалею для себя,— сказал князь Андрей по-французски и, как и всегда, тихим, приятным и ровным голосом, спокойно округляя периоды своей речи,— тогда вы сразу извинитесь за все, это будет для вас удобнее.

— Суп подать,— опять сказал металлический неприятный голос, обращаясь к слугам.

— Тогда вы вместе и извинитесь в том, что вы мне забываете привезть книгу, которую обещали,— сказала княгиня звонким голоском и улыбаясь яркой улыбкой брюнетки с белыми прекрасными зубами.

Pierre, севший было на стул, вскочил и всплеснул руками.— Ах, забыл, опять забыл. Нет, я поеду сейчас.— Лицо его выражало отчаяние.

Княгиня засмеялась так, что все засмеялись с ней вместе.— Нет, сидите, обедайте.

Барышня, старичок и чиновник прилично и приятно улыбались, глядя на эту домашнюю [189]* сцену, которая, видимо, была очень знакома всем. Видно было, что m-r Pierre уже давно освоился с своей ролью беспутного, беспорядочного, рассеянного, но милого и любимого друга дома, князь — с ролью покровительствующего снисходительного друга, а княгиня — с ролью невинно кокетливо задирающего и ласкающего друга-женщины.

---

[185]* *Далее начато:* трепля его

[186]* *Край листа оторван.*

[187]* как молодого человека с достоинствами и подающего надежды (франц.).

[188]* *Далее начато:* M-r Pierre был знаком со всеми собеседниками и мало интересовался ими. Молодой чиновник только, казалось, был для него новость и он тотчас же, не доев супа, вступил с ним в горячий разговор, начавший принимать характер спора.

[189]* *Первоначально:* семейную

КНЯЗЬ АНДРЕЙ
Акварель К. И. Рудакова, 1945—1948 гг.
Музей Толстого, Москва

Спор зашел о том, о чем все тогда говорили, о преобразованиях, замышляемых в России,— о конституции.

— Как же вы хотите, Петр... Кириллыч, кажется, чтоб такое преобразование могло совершиться быстро и с одного раза войти в свою колею. Теперь положим учрежден Совет и министерства, впоследствии могут быть образованы и Chambres [190*] и все те права, которые благоразумный гражданин может требовать в наше время. Ежели теперь,— продолжал чиновник, видимо, отвечая преимущественно на те возражения, которые он привык слышать от большинства старых служащих, а не на те, которые делал ему m-r Pierre,— ежели теперь не замечается единства и представляется разрозненность в новых учреждениях, то это происходит от того, что только часть их могла быть введена в действие.— Он оглянулся на князя и княгиню.— Положим, вы бы портного упрекали за то, что рукава [191*] фрака безобразны, когда они не пришиты еще к фраку. Не так ли?

Князь не моргнул, не изменил своего красивого, нежного, спокойного лица и продолжал прямо смотреть на чиновника, очевидно, не желая принимать никакого участия в этом разговоре и думая о совершенно другом. Княгиня учтиво улыбнулась.— Согласитесь,— продолжал чиновник,— что нельзя требовать, чтобы работы по такому громадному делу окончены были вдруг. Где у нас люди, я вас спрошу,— говорил чиновник, за 50 лет тому назад точно также и совершенно в том же смысле, как

190* Палаты (франц.).
191* *Далее начато:* камзо⟨ла⟩

говорят это теперь, т. е. стараясь показать, что из людей есть один только я да еще несколько,— где у нас люди? Ведь Михаил Михайловичу (Сперанскому) верно никто не откажет в трудолюбии и деятельности, однако он работает почти один, и что же мы можем помогать ему.

М-г Pierre любил спорить, и, несмотря на свою распущенность и слабость в жизни, в деле мысли и спора он был необыкновенно силен и обладал непоколебимой логикой, которая, казалось, против его воли влекла его в самые поразительные соображения.

М-г Pierre [192]* считался либералом того времени, в своем путешествии нахватавшимся идей революции, но неспособным ни на какое дело. Чиновник имел репутацию человека дела, благоразумного либерала, умеющего прилагать мысль к жизни.

М-г Pierre был [193]* с крупными и вялыми чертами лица и имел замечательно оживленные глаза. Князь Андрей в насмешку называл его Мирабо. Взглянув на его лицо, всякий невольно говорил: какая умная рожа. А увидав его улыбку, всякий говорил: и славный малый, право, этот m-r Pierre. Лицо m-r Pierr'a вследствие серьезности выражения его умных глаз казалось в спокойные минуты скорее угрюмо, чем ласково, но стоило ему улыбнуться, чтоб вдруг лицо это приняло неожиданно такое наивно, даже глупо доброе выражение, что, глядя на эту улыбку, его даже жалко становилось. И улыбался он не так, как другие улыбаются, так что улыбка сливается с неулыбкой почти незаметно. У m-r Pierr'a улыбка вдруг, как будто по мановению волшебника, уносила то умное, не сколько угрюмое лицо и приносила другое, детски, наивно доброе, прося щее прощения как будто и все отдающееся всем лицо и выражение.

Когда m-r Pierre начал возражать, чиновник [194]* спокойно замолк в уме, как будто, приготовляясь разбирать по нумерам и статьям возражения.

Подвести по нумерам возражения m-r Pierr'a было очень трудно. Он всегда имел свойство обобщать предмет и выводить спор из мелочей, подробностей. Он и не думал спорить о том, хорошо ли, дурно ли работает Михаил Михайлович или Иван Иванович, что было лучше — коллегии или министерства, даже вопрос об ответственности министров был для него ничтожен, он говорил, что конституция и вообще права и большая степень свободы не может быть дана народу, но должна быть взята, завоевана им, как она была завоевана в Англии и Франции. Он говорил, что конституция, данная по прихоти монарха, может быть и отнята по той же прихоти и что поэтому учреждение Совета и министерств не принесет пользы.

— Я не упрекаю новые учреждения в отсутствии единства,— говорил он, глядя через очки, что всегда было признаком большого оживления,— но я говорю, что все эти изменения только дают ложные понятия всем нам, когда еще мы не знаем своих прав. И не знаем сами чего требовать. В государстве, где миллионы рабов, не может быть мысли об ответственных министрах и представительной каморе депутатов.

Во время обеда и после его оба молодые человека под видом спора высказывали друг другу и присутствующим свои мысли. Княгиня, занимая других гостей, изредка делала вид, что слушает споривших, но занималась преимущественно рассматриванием различных выражений, которые принимало лицо Pierr'a, и, улыбаясь особенно радостно, указывала на него мужу, особенно в те минуты, когда Pierre был более всего оживлен и потому смешной для веселой маленькой княгини. Молодой князь слушал спор,

---

[192]* *Далее начато:* был либералом не только
[193]* *Далее начато: а.* толст; *б.* пухл; *в.* курчав
[194]* *Далее начато:* учтиво

но не говорил своего мнения. Молодой князь был один из тех людей, которые никогда не тяготятся молчанием, и, глядя на молчание которых, вам никогда не придет в голову упрекнуть их в этом молчании, а вы всегда упрекнете себя. Молодой князь вообще говорил очень немного. Иногда о городских слухах, о родных, о придворных делах и больше всего о войне и военном деле, которое он знал очень хорошо, при всех же остальных разговорах он всегда спокойно слушал, как будто отдыхая от вечной усталости. В середине разговора князь встал, взглянул на часы, вышел в кабинет и через полчаса вернулся, в еще более новом адъютантском мундире, на котором были три военные ордена, доказывавшие, что он был не новичок в военном деле.

— Eh bien, mon cher, vous n'avez pas oublié que nous passons la soirée chez m-me Cherer [195*],— сказал он, подходя к Pierr'у.

Чиновник встал и простился. Князь проводил его до двери.

— Ах, André, как они мне надоели с своим спором,— сказала жена.— Он скучен, этот m-r.

— Вы знаете, что я не люблю говорить дурно ни про кого, особенно про людей, которые у меня бывают,— сказал кн. Андрей, и в тоне, с которым он обратился к жене, было заметно больше, чем сухость, а что-то недружелюбное.— Да не забудьте, 8 часов, вам надо одеваться, чтоб нам не опаздывать, как Pierr'у,— прибавил он, оправляя эполет.

Княгиня, улыбаясь, выпорхнула, раскачиваясь, из гостиной.

Старичок, чистенький аббат, держал себя все время обеда учтиво, уверенно и скромно, как будто чувствуя и давая чувствовать, что он знаменитость, которой не нужно себя выказывать, но созерцанием которой он предоставляет пользоваться тому обществу, в которое он приехал. Несмотря на эту неловкую роль знаменитости, старичок-иностранец поражал, однако, своим односторонне умным сосредоточенным выражением горбоносого, сухого лица. Видно было, что этот человек знал или думал по крайней мере, что уж так насквозь знает людей, что с первого взгляда он составлял о них мнение и ими не интересовался и что уже давно, давно у этого человека была одна мысль, для которой одной он жил, считая все остальное ничтожным. С этим вместе у него было спокойное уменье обхожденья, очевидно приобретенное не рожденьем и воспитаньем, как у светских людей, но долгим навыком обращаться с людьми всякого рода. Он с учтивой, но оскорбительной по своей давнишней притворности улыбкой всегда обращался к дамам и с спокойно-рассеянным взглядом, не останавливавшимся ни на чем, обращался к мужчинам. Княгиня спрашивала его за столом, как нравятся ему русские кушанья, как переносит он климат Петербурга и т. п.— вопросы, которые всегда делают иностранцам, он на все с своей для дам приготовленной улыбкой отвечал коротко и вновь молчал, прислушиваясь к разговору m-r Pierr'а, которого личность, по-видимому, заинтересовала его настолько, насколько еще могло что-нибудь заинтересовывать этого прошедшего столько превратностей странного итальянца. Когда вышли из⟨-за⟩ стола и князь спросил, не курят ли, все отказались, а аббат попросил позволенья из крайней учтивости понюхать. Достал золотую табакерку с изображением какой-то коронованной особы и подсел ближе к m-r Pierr'у, перевертывая на сухом белом пальце дорогой изумрудный перстень, очевидно, тоже подарок важной особы. Экс-аббат пользовался, видимо, здоровьем свежей старости и испытывал приятное чувство пищеварения после хорошего обеда, выпив чашку кофе, пожелал, видимо, посондировать этого курчавого умного юношу, столь легкомысленно опровергающего все на основании идей

[195*] Да, мой друг, вы не забыли, что мы сегодня проводим вечер у г-жи Шерер (франц.).

революции. Он остановил его в то время, как m-r Pierre доказывал, что основанием всего государственного благоустройства может быть только признание за каждым гражданином прав человека, les droits de l'homme.

— Позвольте мне сказать,— сказал экс-аббат с учтивым движением головы и тихим голосом, но таким, который невольно заставил споривших остановиться и выслушать речь старичка,— позвольте мне заметить, что права человека были вполне признаны во Франции, но мы не можем сказать, чтобы это государство пользовалось образцовым благоустройством. Чиновник, уже давно обобщениями m-r Pierr'a выбитый из своей колеи обсуждения канцелярских работ, с трудом поддерживавший спор, с благодарностью обратился молча на Pierr'a и иностранца, как будто говоря: «я это самое и говорю. Вот он это самое и говорит».

— Кто же виноват? — отвечал m-r Pierre с тою же горячностью, с которой он спорил против чиновника, шамкая слюнявым ртом и почти не замечая перемены собеседника,— разве по теперешнему положению дел во Франции можно судить о том, что бы она была, ежели бы идеи революции могли свободно развиваться.

Экс-аббат имел искусство внимательно и чрезвычайно спокойно слушать и перерывать именно в тот момент, когда это было выгодно для того, что он хотел доказывать.

— А кто же помешал развитию этих идей? — перебил он так же тихо, как и прежде, и кто же установил тот порядок вещей, который, я полагаю, вы согласитесь назвать военным деспотизмом, противным всякой свободе.

— Порядок этот установился сам собою.

— Sans doute [196]*,— говорил экс-аббат, видимо, только ожидая времени опять вставить свое победительное возражение.

— Деспотизм возник оттого, что Франция была поставлена в необходимость защищать свои установления против всей Европы.

— Sans doute,— закрывая глаза, говорил аббат.

— Даже жестокости Конвента и Директории, все это произвело европейское вмешательство.

— Sans doute, но отчего же европейские державы вмешались в дела внутреннего устройства Франции? — сказал аббат с улыбкой спорщика, приведшего противника именно к тому пункту, у которого он ждал его.

Pierre на минуту не знал что ответить, и вдруг из мрачного с пеной у рта проповедающего Мирабо сделался жалкий и добрый, добрый русский юноша. Он улыбнулся.— Allez le leur demander [197]*,— сказал он, но, тут же оправившись, продолжал.— Впрочем, вы говорите, отчего? Оттого, что свобода невыгодна деспотам, оттого что учение революции не проникло еще во все углы.

— Sans doute,— повторил аббат.— Но позвольте у вас спросить, ежели бы нам с вами предоставлено было устроить судьбу мира [198]*, чего бы мы желали и к чему бы стремились: к благоустройству Франции или к благу всего человечества. Я думаю, что к последнему.

Pierre замолчал, не понимая, к чему ведет его противник.

— Я тоже думаю,— только сказал он.

— Sans doute [199]*. Вы говорите, что признание прав человека есть начало и основание всякой свободы и государственного благоустройства, я с вами совершенно согласен. Теперь я говорю, что признание прав человека во Франции, в одной Франции, не только не повело человечество к большому счастию и благоустройству, а повело и Францию, и челове-

---

196* Несомненно (франц.).
197* Подите их спросите об этом (франц.).
198* *Первоначально:* судьбу людей
199* *Далее начато:* Теперь согласитесь

КНЯЗЬ АНДРЕЙ НА АУСТЕРЛИЦКОМ ПОЛЕ
Гуашь А. В. Николаева, 1960 г.
Музей Толстого, Москва

чество к величайшему из зол, к войнам, к убийству ближнего [200*] и к попранию всех тех прав человека, которые были признаны. Это я говорю, и вы со мной согласны. Не так ли? Теперь, стало быть, нам остается решить вопрос: каким образом устроить судьбу человечества так, чтобы права человека были признаваемы одинаково всем образованным миром и чтобы уничтожилась возможность войны между народами.

— Это будет тогда, когда идеи справедливости и свободы проникнут во все углы,— возражал m-r Pierre,— для этого нужны общества распространения этих идей, нужна пропаганда, как общества масонов...

Иностранец посмотрел на масонское кольцо с мертвой головой, которое было надето на пальце m-r Pierr'a.

— Как масонские ложи, вы думаете,— сказал он улыбаясь.— Sans doute. Но мне кажется, что до тех пор, пока в руках королей и императоров будет власть посылать на войну своих подданных, до тех пор у них будет и власть подавлять эти идеи.

— Так вы думаете, что человечество вечно останется таким же.

— Избави меня бог это думать, — спокойно, самоуверенно отвечал итальянец, и лицо его приняло то выражение важности и поглощения всего в мысли, которое бывает у сумасшедших, когда их наводят на пункт их помешательства.— Меня бы не было здесь, ежели бы я это думал,— продолжал он, как-то таинственно оглядываясь.— Я думаю, напротив, что именно здесь, в Петербурге, и теперь именно, в нынешнем 1805 году, есть возможность навсегда избавить человечество от всех зол деспотизма и злейшего из зол, родоначальника всех других, от войны.

— Какие же это средства,— пробурлил m-r Pierre оживленно, заинтересованный.

— Очень простые: европейское равновесие и droits des gens [201*]. Стоит одному государству, как Россия, прославленному за варварство, стать бескорыстно во главе союза, имеющего цель равновесие Европы, и он спасет мир.

— Но что такое равновесие и какая цель его? — спросил Pierre.

— Когда я жил дома, — сказал аббат со вздохом,— когда я был свободен, я был охотник до домашней птицы, особенно до индеек. Я долго учился их выкармливать и не мог этого достигнуть оттого, что брал много индеек вместе и сажал их в одно отделение. Что же происходило? Сильные нападали на слабых, отбивали их от корма, даже нападали на них,

---

200 * *В автографе:* ближнему
201 * права людей (франц.).

воевали, и слабые чахли, умирали, а сильные в борьбе слабели. Я разделил индеек по категориям. В каждой категории были индейки одинакового роста и силы. И с тех пор индейки стали велики, сыты и счастливы. В природе, mon cher monsieur,— продолжал он,— все живет и множится только вследствие закона экилибра сил. Когда будет этот экилибр сил и в системе государств, тогда только человечество будет счастливо.— И экс-аббат, как и все маниаки, видимо, в тысячный раз без малейшей скуки рассказал весь свой план переустройства Европы, тот самый, который через Чарторыжского был подаваем государю. План состоял вкратце в следующем: чтоб удержать Францию от завоеваний, ей должны были быть поставлены на севере и на юге два новые государства как преграды. На севере — Голландия и Бельгия, соединенные в одно, на юге — независимая Италия. Германский союз должен был быть отделен от Австрии и Пруссии. Польша в прежних пределах должна была быть сделана независимым государством. До малейших подробностей было обдумано переустройство всех государств Европы таким образом, чтобы могущество одного не могло быть опасно для соседей. Кроме того, все ученые мира должны были на общем конгрессе составить новое право народов, в котором постановлено бы было, что война не может никем быть начата без согласия и посредничества соседних держав. Все было так хорошо обдумано и так ясно излагалось в устах этого тихого, сосредоточенного человека, что перед воображением слушателей невольно возникал новый [202]* век счастия для человечества. Особенно Pierre казался поглощенным вновь представившимся ему рядом мыслей.

— Et la guerre est impossible [203]*,— окончил аббат.

— Что ж мы, военные люди, будем делать, любезный аббат,— спросил князь Андрей, улыбаясь.

Аббат, как и все маниаки, был так уверен в том, что он предполагал, что насмешка над его планами не оскорбляла его; напротив, он с другими готов был тонко посмеяться, зная, что от насмешки толпы его великие идеи не умалятся.

— Vous irez planter des choux à la campagne avec votre charmante épouse [204]*,— сказал итальянец с своей приторной улыбкой, как будто отгоняя от себя серьезность настроения, которой он считал недостойной свою аудиторию.— Oui, c'est comme ça, mon cher monsieur [205]*,— только прибавил он к Pierr'у, чувствуя, что здесь только семя упало на плодородную землю.

— Однако и исполнение этой великой мысли невозможно без войны,— сказал Pierre.— Наполеон не разделит этих мыслей.

— Этого я не знаю. Я полагаю, что Россия, Австрия и Пруссия довольно сильны, чтобы заставить его принять эти основания.

— Contre le génie il n' y a pas de force qui tienne [206]*,— сказал князь Андрей, теперь входивший в свою колею, как только вопрос коснулся войны.— Разве в 1800 году Россия, Пруссия и Австрия и Англия не были соединены?

У каждого из этих четырех собеседников, исключая князя, был свой дада в разговоре, и, как следует в каждом хорошем обществе, каждый проездил на своем дада. Чиновник изложил свои преобразовательные бюрократические соображения, Pierre — свою либеральную философию, аббат — свои новые идеи народного права и политического устройства, теперь

---

[202]* *Далее начато:* мир

[203]* И война невозможна (франц.).

[204]* Вы будете сажать капусту в деревне вместе с вашей очаровательной супругой (франц.).

[205]* Да, это так, мой дорогой (франц.).

[206]* Нет силы, которая бы устояла против гения (франц.).

завладел князь Андрей разговором, когда он перешел на его любимое военное дело.

— Разве силы, соединенные в первую войну, не были втрое сильнее армии Буонапарте (князь, несмотря на свой восторг к гению Наполеона, называл его, как и все в Петербурге, Буонапарте),— и что ж вышло. Кроме науки войны, которая учит нас тому, что победа остается за тем, у кого больше пешек и кто их лучше расставит, поверьте, что есть еще бог войны и есть гений, которым одарен этот необыкновенный человек. Вы говорите о новом союзе в Европе; а завтра, может быть, мы получим известие, что французская армия в Ирландии и идет на Лондон.

Аббат ничего не отвечал и, насколько позволяла учтивость, презрительно улыбнулся.

Чиновник, давно тяготившийся молчанием, обратился к князю Андрею.— Неужели вы думаете, князь, что эта булоньская экспедиция может удасться.

— Я ничего не думаю,— резко отвечал князь, видимо [207]*, считая чиновника недостойным слушателем в военном деле.— Я знаю,— обращаясь к аббату и Pierr'у,— я знаю только, что у него теперь 25 кораблей, не считая испанских, что у него сосредоточена 200 000-ная армия, обученная, обстрелянная, сформированная и снабженная провиантом, как ни одна армия в мире. Что у этого человека генералы дивизионные такие, каких нет у Австрии [208]*, не говоря уже про [209]* Пруссию и про нас. Нужен счастливый ветер и туман, который бы перенес его через Па-де-Кале, и все ваше равновесие европейское погибло, любезный аббат, прежде, чем родилось.

— Читали вы, князь, последние известия о короновании в Милане,— вмешался опять чиновник,— какая смелость надеть самому на себя корону.

— Да,— задумчиво сказал князь, как будто воображая себе перед глазами любимого героя.— Dieu me la donne, gare à qui la touche [210]*,— сказал он, повторяя сказанные Наполеоном слова при надевании короны и величественно поднимая голову, как будто подражая движению Наполеона в то время, как он произносил эти слова. Gare à qui la touche, m-r l'abbé. Le nouveau royaume Cisalpine ne sera si facile a former, quand le petit caporal dira: Non! Vous avez beau dire, c'est le plus grand homme de l'histoire [211]*.

M-r Pierre любовался одушевлением своего друга, однако не мог удержаться, чтоб не возразить ему [212]*.

— Не понимаю, как можно так любить человека нехорошего,— сказал он.— Ну да уж это ваша слабость le petit caporal,— сказал Pierre.

— Le prince est partisan de Buonaparte? [213]*,— вопросительно и презрительно поднимая брови, сказал аббат.

— Нет портрета, нет бюста Наполеона, которого бы не было у André,— сказала княгиня,— посмотрите у него в кабинете.

— Il n'y a pas d'homme au monde qui je haisse et qui j'admire autant que cet homme, voila ma profession de foi a son egard [214]*,— сказал князь.

---

[207]* *Далее начато:* недовольный

[208]* *Вместо* нет у Австрии *было:* нет ни у Пруссии, ни у Австрии.

[209]* *Далее было:* Англию

[210]* Бог мне дал корону, горе тому, кто ее тронет (франц.).

[211]* Горе тому, кто ее тронет, г-н аббат. Нелегко будет образовать новое цизальпинское королевство, если маленький капрал скажет: Нет! Что вы ни говорите, он самый великий человек в истории (франц.).

[212]* *Далее начато: а.* Ну, да; *б.* Это ваш герой

[213]* Князь сторонник Бонапарте? (франц.).

[214]* Нет на свете человека, которого я так бы ненавидел и которым бы восхищался как им; вот мой откровенный взгляд на него (франц.).

〈11〉

Сношения России с Францией были разорваны в 1804 году вскоре после убийства герцога Енгиенского смелой и решительной нотой, поданной при отъезде из Парижа нашим поверенным в делах д'Убрилем. В ноте выставлялись все причины неудовольствий нашего двора против французского и требовалось удовлетворение.

Вслед за этими строками вписан рукой С. А. Толстой полный текст ноты, поданной российским поверенным в делах французскому министру иностранных дел 28 августа 1804 г. Подпись: П. д'Убриль (см. т. 13, с. 177—181). Вернее всего, текст ноты выписан по указанию Толстого из «Вестника Европы», 1804, ч. XVIII, № 23, стр. 239 и след. (экземпляр журнала сохранился в яснополянской библиотеке).

〈12〉

С 1805 ПО 1814 ГОД

Роман графа Л. Н. Толстого

1805-й ГОД. ЧАСТЬ 1-я

Глава I

Тем, кто знали князя Петра Кирилловича Б. в начале царствования Александра II, в 1850-тых годах, когда Петр Кириллыч был возвращен из Сибири белым как лунь стариком, трудно бы было вообразить себе его беззаботным, бестолковым и сумасбродным юношей, каким он был в начале царствования Александра 1, вскоре после приезда своего из-за границы, где он по желанию отца оканчивал свое воспитание.

Князь Петр Кириллович, как известно, был незаконный сын князя Кирилла Владимировича Б. В то время первой молодости, о котором я пишу, он еще не был усыновлен отцом и в том высшем кругу общества, в котором вырос, был известен под именем только monsieur Pierr'a [215*]. По бумагам он назывался не Петр Кириллыч, а Петр Иваныч, и не Б., а Медынский, по имени деревни, в которой он родился. Говорили, что старый князь по беспечности не позаботился об усыновлении молодого человека при Екатерине, когда ему стоило бы только слово сказать, чтобы его желание было исполнено, а что при Павле старый князь имел свои причины ни о чем не просить государя [216*]. У старого князя Б. было 40 тысяч душ и никого прямых наследников; поэтому вопрос о том, будет ли или не будет в нынешнее царствование усыновлен [217*] Pierre (как его звали), казался для многих весьма интересным и производил в обращении знакомых молодого человека [218*] смесь фамильярности, ласки, заискиванья и пренебрежения. Более всех интересовал этот вопрос петербургского вельможу кнéзь Василья Курагина, бывшего ближайшим родственником старого князя Б. и потому имевшего права рассчитывать на наследство, и меньше всех интересовал этот вопрос самого Pierr'a, постоянно увлеченного либо каким-нибудь пристрастием, либо какою-нибудь отвлеченною мыслью. Приехав из-за границы еще в начале мая и остановившись по родственному у князя Василья, Pierre тогда же должен был

[215*] *Далее было: а.* сына старого Б.; *б.* и чувствовал себя в неловком и фальшивом положении.

[216*] *Далее было:* Теперь же предполагали, что при новом царствовании князь уже сделал это или сделает это, и потому все, знавшие молодого человека, кроме его самого, считали его лицом очень важным.

[217*] *Далее начато: а.* молодой; *б.* Петр; *в.* Monsieur.

[218*] *Вместо* в обращении ~ человека *было*: в обращении с Пьером.

отправиться [219*] в Москву, где безвыездно жил его отец, но уже была половина июня, а он все жил в Петербурге. То у него не было денег, то было слишком много денег, то был rendez-vous, то вечер, на который его звали, и он два месяца сбирался ехать *непременно* завтра.

В Петербурге, несмотря на летнее время, жило все служащее и придворное население города.

Близких знакомых у m-r Pierr'a было два дома: кнезь Василья, у которого вверху он не любил бывать, но с сыном которого он за вином, картами и женщинами проводил петербургские бессумрачные ночи, сам не зная для чего, потому что не любил ни вина, ни карт, ни женщин, и другой знакомый дом — был недавно женившийся адъютант петербургского генерал-губернатора князь Андрей Волконский, по строгости своей жизни и английской чопорности дома совершенный контраст князя Анатоля Курагина.

M-r Pierre проводил большей частью день у князя Андрея, с которым он был не только дружен, но к которому, несмотря на совершенное различие характеров и вкусов, он имел то страстное обожание, которое так часто бывает в первой молодости. С ним он говорил о войне, о политике, философии, любовался его домашним счастьем, красивой женой, обдумывал свое положение, решался ехать на другой день в Москву, но приходила светлая беспокойная ночь, чего-то еще ему хотелось, поскорее что-то хотелось забыть, он не мог идти домой, заходил к Анатолю и пьяный, усталый, и с раскаянием в душе засыпал уже тогда, когда солнце поднималось из-за высоких домов, город оживлялся и по Невскому становилось шумно, пыльно и жарко. И тем радостнее было ему подъезжать в 6-м часу к большому дому в Литейной, где в высокой, чистой и роскошной квартире жила молодая чета Волконских, всегда весело встречавшая каждый день заблуждающегося и возвращающегося блудного сына.

20 июля он, точно так же, как и все дни, начиная с 1 апреля, должен был ехать на другой день в Москву, но его задержало предложение встреченного накануне молодого князя Андрея Волконского приехать к нему обедать и вместе ехать к старой фрейлине Анне Павловне Шерер, которая очень желала видеть молодого Медынского.

— Ну, что ж, вы и поедете завтра в Москву? — сказал ему накануне князь Андрей, посмеиваясь.— Вы уж привыкли и мы привыкли, что завтра. Так не изменяйте.

M-r Pierre приехал к обеду и как всегда опоздал. Лакей, не в камзоле по старинной французской, а по новой, вводившейся тогда английской моде, во фраке, доложил, что кушают, но в то же время послышался из столовой металлический, ленивый и неприятно резкий голос князя Андрея [220*]:

— Петр Иваныч? Проси.

M-r Pierre вошел в светлую, высокую, расписанную столовую, с дубовыми резными буфетами и уставленным хрусталем и серебром столом. За столом сидели князь Андрей, свежий, красивый [221*], молодой человек с сухими чертами лица и глазами, в которых свет казался потушенным. Эти глаза, смотревшие и ничего не хотевшие видеть, поражали невольно. На другом конце стола сидела его жена, хорошенькая, оживленная и заметно брюхатая брюнетка. В середине гости: какая-то барышня, старичок, видимо, иностранец, которого m-r Pierre сначала не заметил, и молодой чиновник, которого m-r Pierre видал и знал comme un jeune

---

[219*] *Далее начато:* к отцу

[220*] *Первоначально:* металлический, неприятно резкий голос князя Андрея, который всегда был таким, когда относился к прислуге.

[221*] *Далее начато:* адъютант

homme de mérite et qui promet [222]*. Хотя князь Андрей никого никогда не поражал особенным блеском ума, он любил ум и образование, и в его гостиной встречалось все, что бывало замечательного в Петербурге. Чиновник действительно считался замечательным [дельным] молодым человеком в бюрократическом мире, скромный же чистенький старичок-иностранец был еще более замечательное лицо. Это был l'abbé Piatoli, которого тогда все знали в Петербурге. Это был изгнанник, философ и политик, привезший в Петербург проект совершенно нового политического устройства Европы, которое, как сказывали, он уже имел счастие через кн. Адама Чарторыжского представлять молодому императору.

M-r Pierre как домашний человек был знаком со всеми собеседниками, исключая старичка-иностранца, и не обратил на него внимания.

— Извините, что я опоздал,— заговорил, бубуркая ртом, толстый юноша, как будто рот у него был набит чем-то, доброй улыбкой открывая испорченные зубы и таким тоном, что видно было, он знал, что его извинят.

Pierre по наружности составлял резкую противуположность князю Андрею. В сравнении с тонкими, твердыми и определенными чертами князя Андрея, черты Пьера казались особенно пухлы, крупны и неопределенны. Особенно оживленные и умные глаза, отчасти скрытые очками, составляли главную черту его физиогномии.

— Когда же вы не опаздывали, mon cher [223]*,— сказал князь Андрей по-французски. На лбу его распустилась какая-то складка, и просияло лицо [224]*.

— Когда вы будете уезжать, тогда извинитесь. Суп подать,— как будто с трудом, по-русски прибавил он лакею грубым, неприятным голосом, один звук которого составлял оскорбление.

— Тогда вы вместе и извинитесь в том, что вы мне забываете привезть «Corinne», которую обещали,— сказала княгиня звонким голоском и улыбаясь яркой улыбкой брюнетки, с белыми, прекрасными зубами.

Pierre, севший было на стул, вскочил и всплеснул руками.

— Ах, забыл, pardon, princesse, опять забыл... Нет, я поеду, сейчас привезу,— прибавил он вопросительно.

Княгиня засмеялась так, что все засмеялись с ней вместе.

— Нет, сидите, обедайте.

Барышня, старичок-иностранец и чиновник прилично и приятно улыбались, глядя на эту домашнюю сцену, которая, видимо, была очень знакома всем. Видно было, что m-r Pierre уже давно освоился с своей ролью беспутного, беспорядочного, рассеянного, но милого и любимого друга дома, молодой князь — с ролью покровительствующего, снисходительного друга, а княгиня — с ролью невинно, кокетливо задирающего и ласкающего друга-женщины.

— Вы знаете,— прибавила она,— что этот молодой человек вот уж 3-й месяц едет завтра в Москву. Так?

— Так,— улыбаясь и печально махнув рукой, подтвердил Pierre.

Разговор зашел о том, о чем все тогда говорили, о чем говорят всегда, думая говорить о важных предметах: о преобразованиях, замышляемых в России,— о конституции [225]*.

— Как же вы хотите,— говорил чиновник,— чтоб такое преобразование могло совершиться быстро. Теперь, положим, учрежден Совет и

---

[222]* как молодого человека с достоинствами и подающего надежды (франц.).

[223]* *Далее было:* m-r Pierre

[224]* *Вместо* сказал ~ лицо *было: а.* сказал голос князя Андрея мелодический и нежный, совсем другой, чем тот, которым он сказал: проси; *б. начато:* сказал ленивый голос князя Андрея по-французски; *в. начато:* сказал князь Андрей, и на лбу его как будто защелкнув

[225]* *Далее было:* Pierre, не доев еще супа, вступил в спор с молодым чиновником.

ЭЛЕН
Акварель К. И. Рудакова, 1947 г.
Музей Толстого, Москва

министерства и они имеют свои недостатки, кто в этом спорит. Не так ли, князь? [226*].

— Je vous avoue, mon cher,— пропустил сквозь зубы, князь, отламывая красивой рукой корочку хлеба [227*],— que je suis parfaitment indifférent au nom Collège ou ministère. Il nous faut des gens capables et nous n'en avons pas [228*]. — Он говорил ленивым тоном старого вельможи, который смешон был в нем, в молодом человеке, но говорил с такой уверенностью, что его слушали.

— Извините, князь, ежели теперь,— продолжал чиновник, видимо, отвечая преимущественно на те возражения, которые он привык слышать от большинства старых служащих, а не на те, которые делали ему,— ежели теперь не замечается единства и представляется разрозненность в новых учреждениях, то это происходит оттого, что только часть их могла быть введена в действие.— Он оглянулся на княгиню.— Положим, вы бы портного упрекали за то, что рукава фрака безобразны и не в пору, когда они не пришиты еще к фраку. Не так ли?

Князь в ответ на пристально и долго устремленный на него взгляд не моргнул, не изменил своего красивого, спокойного лица и продолжал прямо смотреть на чиновника. Княгиня учтиво улыбнулась.

[226*] *Далее начато:* Но почему же вы полагаете, что все те права, которых благоразумный гражданин может требовать в наше время, не могут быть даны просвещенным и следящим за развитием политической науки правительством.

[227*] *Вместо* отламывая ~ хлеба *было:* предлагая вместе с тем вино даме

[228*] Признаюсь, милый мой, мне нет никакого дела до названия: коллегия или министерство. Нам нужны способные люди, а их у нас нет (франц.).

Pierre во время этого разговора ел суп и прислушивался.

— А я вот как думаю,— торопливо и быстро заговорил он и, с свойственной молодости поспешностью и хвастовством мысли обобщив предмет, начал доказывать чиновнику, что Советы и ответственность министров не хороши, потому что большая степень свободы народа не может быть дана ему, но должна быть завоевана им. Конституция, данная по прихоти монарха, может быть и отнята по той же прихоти. Аббат стал смотреть внимательно на Pierr'a. L'h⟨omme⟩ de b⟨eaucoup⟩ de m⟨érite⟩ спросил ⟨?⟩:

— Что же отменено? Напротив в эти 5 лет — все с учрежд⟨ением⟩ минист⟨ерств⟩, отмены Советов все идет вперед.

— Я не упрекаю новые учреждения в отсутствии единства,— говорил он, глядя через очки,— но я говорю, что все эти изменения дают ложные понятия всем нам, когда еще мы не знаем своих прав. И не знаем сами, чего требовать. В государстве, где мильоны рабов, не может быть мысли об ответственных министрах и представительной каморе депутатов [229*].

— Но все не может сделаться вдруг [230*].

Старичок чистенький аббат держал себя все время [231*] учтиво, уверенно и скромно, как будто чувствуя, что он знаменитость, которой не нужно себя выказывать. Несмотря на эту неловкую роль знаменитости, старичок-иностранец поражал, однако, своим односторонне умным, сосредоточенным выражением горбоносого, сухого лица. Видно было, что этот человек знал или думал по крайней мере, что уж так насквозь знает людей, что с первого взгляда он составлял о них мнение и ими не интересовался, и что уже давно-давно у этого человека была одна мысль, для которой одной он жил, считая все остальное ничтожным.

С этим вместе у него было спокойное уменье обхожденья, очевидно, приобретенное не рожденьем и воспитаньем, как у светских людей, но

[229*] *Далее было:* Чиновник возражал.

[230*] *Далее начато исправление раннего текста (см. стр. 360—361):* Во время обеда и после него чиновник и Pierre спорили. Княгиня, занимая других гостей, изредка делала вид, что слушает споривших, но занималась преимущественно рассматриванием различных выражений, которые принимало лицо Pierr'a, и, улыбаясь, украдкой указывала на него мужу, особенно в те минуты, когда Pierre был более всего оживлен и потому смешон для веселой маленькой княгини. Старичок-иностранец иногда делал головой знаки спокойного одобрения, но, видимо, не хотел вступать в спор. Молодой князь [молчал] изредка вставлял в разговор презрительную французскую шуточку и, видимо, не скрывал, что скучал. Он вообще говорил очень немного, иногда о городских слухах, о родных, о придворных делах, и больше всего о войне, военном деле, которое он знал очень хорошо, и Наполеоне, которого он, как-то странно соединяя эти два понятия, ненавидел, как врага законной монархии, и обожал, как величайшего полководца мира. При всех же остальных разговорах он больше спокойно слушал, как будто отдыхая, и только наводил других на разговоры, которые ему казались занимательны. Посмотрев на часы, он встал, вышел в кабинет. Через 10 минут вернулся ленивым, спокойным, в еще более новом адъютантском мундире, на котором были три военные ордена, полученные им в Турецкой кампании.

— Eh bien, mon cher, vous n'avez pas oublié que nous passons la soirée chez m-me Cherer. Elle veut vous confesser. ⟨Ну, мой милый, вы не забыли, что вечером мы у г-жи Шерер. Она хочет вас исповедывать⟩,— сказал он, подходя к Pierr'y.

Аббат и чиновник встали и простились. Князь проводил их до двери.

— Ах, André, как они мне надоели с своим спором,— сказала жена.— Он скучен, этот monsieur.

— Вы знаете, что я не люблю говорить дурно ни про кого, особенно про людей, которые у меня бывают,— сказал князь Андрей строго и холодно, и в тоне, с которым он обратился к жене, было заметно больше, чем сухость, а что-то недружелюбное.— Да не забудьте 8 часов, вам надо одеваться, чтоб мне вас не ждать и чтоб нам не опаздывать, как Pierr'y,— прибавил он, оправляя эполет. Действительно, князь никогда ни про кого не говорил дурно и никогда не опаздывал. Княгиня, улыбаясь [выпорхнула], раскачиваясь, вышла из гостиной. *На полях*: Разговор о Наполеоне.

[231*] *Первоначально:* все время обеда

долгим навыком обращаться с людьми всякого рода. Он прислушива‹ясь› к разговору m-r Pierr'a, которого личность, по-видимому, заинтересовала его настолько, насколько еще могло что-нибудь заинтересовать этого, видимо, прошедшего столько превратностей, странного итальянца. Когда вышли из‹-за› стола, аббат попросил позволенья из крайней учтивости понюхать. Он достал золотую табакерку с изображением какой-то коронованной особы, понюхал, уложил табакерку в жилетный карман и подсел ближе к m-r Pierr'y, перевертывая на сухом, старом, белом пальце дорогой изумрудный перстень, очевидно, тоже подарок важной особы.

Он остановил его в то время, как m-r Pierre доказывал, что основанием всего государственного благоустройства может быть только признание за каждым гражданином прав человека,— les droits de l'homme,— сказал он.

— Позвольте мне сказать,— сказал экс-аббат своим итальянским выговором с учтивым движением головы и тихим голосом, но таким, который невольно заставил Pierr'a остановиться и выслушать речь старичка,— позвольте мне заметить, что права человека были вполне признаны во Франции, но мы не можем сказать, чтобы это государство пользовалось образцовой свободой ни во времена Конвента [232]*, — он остановился,— ни во времена Директории,— он остановился,— ни теперь.— Он улыбнулся.

L'homme de beaucoup de mérite с благодарностью посмотрел на итальянца, как будто говоря: «я это самое и говорю».

— Кто же виноват? — отвечал m-r Pierre, с горячностью, шамкая ртом и почти не замечая перемены собеседника,— разве по теперешнему положению дел во Франции можно судить о том, что бы она была, ежели бы идеи революции могли свободно развиваться.

Экс-аббат имел искусство внимательно и чрезвычайно спокойно слушать и прерывать именно в тот момент, когда это было выгодно.

— Позвольте узнать ваше мнение, кто же помешал развитию этих идей? — перебил он так же тихо, как и прежде,— и кто же установил настоящий порядок вещей, который, я полагаю, вы согласитесь назвать военным деспотизмом, противным всякой свободе.

— Порядок этот установился сам собою.

— Sans doute [233]*,— говорил экс-аббат, видимо, только ожидая времени опять вставить свое победительное возражение.

— Деспотизм возник оттого, что Франция была поставлена в необходимость защищать свои установления против всей Европы.

— Sans doute,— закрывая глаза, говорил аббат.

— Даже жестокости Конвента и Директории —всё это произвело европейское вмешательство.

— Sans doute; но отчего же европейские державы вмешались в дела внутреннего устройства Франции? — сказал аббат с улыбкой спорщика, приведшего противника именно к тому пункту, у которого он ждал его.

Pierre на минуту не знал, что ответить. Он улыбнулся.

— Allez le leur demander [234]*,— сказал он, но тут же, оправившись, продолжал: — Впрочем, вы говорите, отчего? Оттого, что свобода невыгодна деспотам, оттого, что учение революции не проникло еще во все умы.

— Sans doute,— повторил аббат.— Но позвольте у вас спросить, ежели бы нам с вами предоставлено было устроить судьбу мира, чего бы мы

---

[232]* *Вместо* во времена Конвента *было:* во времена Директории

[233]* Несомненно (франц.).

[234]* Спросите их об этом (франц.).

желали и к чему бы стремились: к благоустройству Франции или к благу всего человечества? Я думаю, что к последнему.

Pierre замолчал, не понимая, к чему ведет его противник.

— Я тоже думаю,— только сказал он.

— Sans doute. Вы говорите, что признание прав человека есть начало и основание всякой свободы и государственного благоустройства, я с вами совершенно согласен. Теперь я говорю, что признание прав человека во Франции, в одной Франции, не только не повело человечество к большему счастию и благоустройству, а повело и Францию, и человечество к величайшему из зол, к войнам, к убийству ближнего и к попранию всех тех прав человека, которые были так торжественно признаны. Это я говорю, и вы со мной согласны. Не так ли? Теперь, стало быть, нам остается решить вопрос: каким образом устроить судьбу человечества так, чтобы права человека были признаваемы одинаково всем образованным миром и чтобы уничтожилась возможность войны между народами.

— Это будет тогда, когда идеи справедливости и свободы проникнут во все углы,— возражал m-r Pierre,— для этого нужны общества распространения этих идей, нужна пропаганда...

Иностранец посмотрел на руки Pierr'a, как бы отыскивая что-то.

— Как масонские ложи, вы думаете,— сказал он улыбаясь.— Sans doute. Но мне кажется, что до тех пор пока в руках королей и императоров будет власть посылать на войну своих подданных, до тех пор у них будет и власть подавлять всех этих подданных, те идеи, которые невыгодны для власти.

— Так вы думаете, что человечество вечно останется таким же?

— Избави меня бог это думать,— спокойно, самоуверенно отвечал итальянец, и лицо его приняло то выражение важности и поглощения всего в мысли, которое бывает у сумасшедших, когда их наводят на пункт их помешательства.— Меня бы не было здесь, ежели бы я это думал,— продолжал он, как-то таинственно оглядываясь.— Я думаю, напротив, что именно здесь, в Петербурге, и теперь именно, в нынешнем 1805 году, есть возможность навсегда избавить человечество от всех зол деспотизма и злейшего из зол, родоначальника всех других, от войны.

— Какие же это средства? — пробурлил m-r Pierre оживленно, заинтересованный. Аббат долго помолчал, как бы раздумывая, стоит ли высказывать свои задушевные мысли перед такой ничтожной аудиторией, и потом, как бы махнув рукой и подумав: «отчего же и не сказать», начал говорить:

— Средства очень простые: европейское равновесие и droits des gens [235*]. Стоит одному могущественному государству, как Россия — прославленному за варварство — стать бескорыстно во главе союза, имеющего цель равновесия Европы, и она спасет мир.

— Но что такое равновесие и какая цель его? — спросил Pierre, еще не зная, верить ли или не верить.

— Когда я жил дома,— сказал аббат, доставая табакерку со вздохом,— когда я был свободен, я был охотник до домашней птицы, особенно до индеек. Я прошу извинить меня за эти тривиальные детали,— обратился он к княгине.— Я долго учился их выкармливать и не мог этого достигнуть оттого, что брал старых и молодых индеек вместе и сажал их в одно отделение. Что ж происходило? Сильные нападали на слабых, отбивали их от корма, даже нападали на них, воевали, и слабые чахли, умирали, а сильные в борьбе слабели. Я разделил индеек по категориям. В каждой категории были индейки одинакового роста и силы. И с тех пор

[235*] права людей (франц.).

индейки стали велики, сыты и счастливы. В природе, mon cher monsieur,— продолжал он,— все живет и множится только вследствие закона экилибра сил. Когда будет этот экилибр сил и в системе государств, тогда только человечество будет счастливо.

И экс-аббат, как и все маниаки, видимо, оживленный страстным вниманием Pierr'а, в тысячный раз без малейшей скуки рассказал [236*] весь свой план переустройства Европы, тот самый, который через Чарторыжского был подаваем государю. План состоял вкратце в следующем: чтоб удержать Францию от завоеваний, ей должны были быть поставлены на севере и на юге два новые государства как преграды. На севере — Голландия и Бельгия, соединенные в одно, на юге — независимая Италия. Германский союз должен был быть отделен от Австрии и Пруссии. Польша в прежних пределах должна была быть сделана независимым государством. До малейших подробностей было обдумано переустройство всех государств Европы таким образом, чтобы могущество одного не могло быть опасно для соседей. Кроме того, все ученые мира должны были на общем конгрессе составить новое право народов, в котором постановлено бы было, что война не может никем быть начата без согласия и посредничества соседних держав. Все было так хорошо обдумано и так ясно излагалось в устах этого тихого, сосредоточенного человека, что перед воображением слушателей невольно возникал новый век счастия для человечества. Pierre казался поглощенным вновь представившимся ему рядом мыслей. Княгиня была даже заинтересована, один князь слушал так же, как он все слушал, с своим потухшим взглядом, как будто или все это он знает и презирает, или ничего не понимает, но не заботится о том, чтобы казаться понимающим.

— Et la guerre est impossible [237*],— окончил аббат.

— Что ж мы, военные люди, будем делать, любезный аббат?— спросил князь Андрей, лениво улыбаясь.

Аббат, как и все маниаки, был так уверен в возможности того, что он предполагал, что насмешка над его планами не оскорбляла его, напротив, он с другими готов был тонко посмеяться, зная, что от насмешки толпы его великие идеи не умалятся.

— Oui, c'est comme ça, mon cher monsieur [238*],— только прибавил он к Pierr'у, чувствуя, что здесь только семя упало на плодородную землю.

— Однако и исполнение этой великой мысли невозможно без войны,— сказал Pierre.— Vous comtez sans votre hôte [239*]. Наполеон не разделит этих мыслей.

— Этого я не знаю. Я полагаю, что Россия, Австрия и Пруссия довольно сильны, чтобы заставить его принять эти основания.

— Австрия показала уже, как она мало сильна в войне,— сказал князь Андрей [240*].

— Я не говорю про одну Австрию, а про соединенные силы всей Европы. Разве силы, соединенные в первую войну, не были втрое сильнее армии Буонапарте,— сказал князь Андрей и усмехнулся [241*].

Аббат ничего не отвечал.

— Нужен счастливый ветер и туман, который бы перенес Буонапарте через Па-де-Кале, и все ваше равновесие европейское погибло, любезный

[236*] *Далее начато:* всю свою
[237*] И война — невозможна (франц.).
[238*] Да, это так, мой дорогой (франц.).
[239*] Вы рассчитываете, не спросясь хозяина (франц.).
[240*] *Далее было:* Что было в прошлую войну?
[241*] *Вместо* и усмехнулся *было:* вдруг оживляясь.

аббат, прежде чем родилось,— сказал князь насмешливо. Все замолчали. Князь подробно, видимо, по основательному изучению описал все преимущества всего состава французской армии и все шансы за успех булоньского предприятия. Аббат сказал, что в случае войны есть человек, который по гению военному не уступит Бонапарту. Это Моро. Заговорили о слухе, что в Америку послан [242*] генерал для приглашения Моро в русскую службу. Князь Андрей доказывал, что Моро копун и не имеет того огромного полета, который составляет силу Наполеона, и привел доказательства из подробного разбора некоторых кампаний этих полководцев. Разговор перешел на последние политические события.

— Читали вы, князь, последние известия о короновании Буонапарта в Милане? — сказал чиновник.— Какая смелость: надеть самому на себя корону.

— Да,— сказал [243*] князь, как будто воображая себе перед глазами Наполеона.— Dieu me la donne, gare à qui la touche [244*],— сказал он, повторяя сказанные Наполеоном слова при надевании короны и поднимая голову, как будто подражая движению Наполеона в то время, как он произносил эти слова.— Gare à qui la touche, m-r l'abbé. Le nouveau royaume Cisalpine ne sera si facile à former, quand le petit caropal dira: Non! Vous avez beau dire, c'est le plus grand homme de l'histoire ancienne et moderne [245*].

— Le plus grand homme,— повторил m-r Pierre.

— Le prince est partisan de Buonaparte? [246*]— вопросительно и презрительно поднимая брови, сказал аббат.

— Vous avez vu le buste de Buonaparte qu'il a dans son cabinet? [247*]— сказала княгиня.

Князь презрительно [248*] посмотрел на жену, как будто досадуя на то, что она толкует о том, чего не понимает.

— Il n'y a pas d'homme au monde que je haisse et que j'admire autant que cet homme, voila ma profession de foi à son égard [249*],— сказал он [250*].

‹13›

1

[251*]Время между французской большой революцией и пожаром Москвы, то самое время, когда революция эта перестала быть идеей и стала силой.

[242*] *Далее начато:* Вин‹ценгероде?›

[243*] *Первоначально:* оживленно сказал

[244*] Бог мне дал корону, горе тому, кто ее тронет (франц.).

[245*] Горе тому, кто ее тронет, г-н аббат. Нелегко будет образовать новое цизальпинское королевство, если маленький капрал скажет: «Нет!». Что вы ни говорите, он самый великий человек древней и новой истории (франц.).

Далее было: и князь так оживился, что стал совсем другой человек. M-r Pierre любовался одушевлением своего друга, однако не мог удержаться, чтоб не возразить ему.

— Это ваш герой. Не понимаю, как можно так любить человека нехорошего,— сказал он.—Ну да уж это наша слабость, le petit caporal ‹маленький капрал›,— сказал Pierre.

[246*] Князь сторонник Буонапарте? (франц.).

[247*] Вы видели бюст Буонапарте в его кабинете? (франц.).

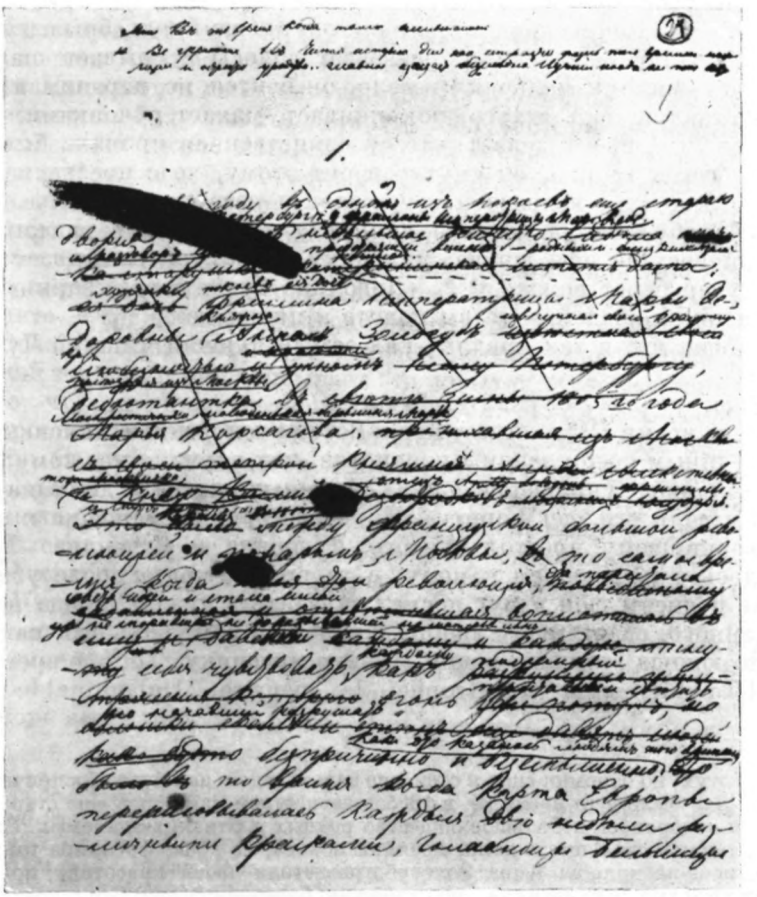
[248*] *Первоначально:* злобно и презрительно

[249*] Нет на свете человека, которого я так бы ненавидел и которым бы так восхищался, как им. Вот мой откровенный взгляд на него (франц.).

[250*] *Вместо* сказал он *было:* сказал князь, и потухший взгляд его загорелся таким ярким блеском, что видно было, что он говорил не только то, что думал, но что чувствовал всем существом.

[251*] *Перед началом текста наброски: а.* В то время, когда после неслыханного; *б.* Во Франции; *в.* Читая историю, для нас стирается жизнь того времени настоящая и остаются уродства. Главное исчезает бесследно. Лучшие люди не те, кот‹орые›

уже не спорившѐй, не доказывавшей, но матерьяльно дававшей себя чувствовать каждому, как подземный огонь, переставший светить, но начавший разрушать беспричинно и бессмысленно, как это казалось людям того времени, то время [252*], когда карта Европы перерисовывалась каждые две недели различными красками, голландцы, бельгийцы, итальянцы и маленькие немецкие народцы решительно не знали, какому политическому богу кланяться, в то время, когда маленький человечек,



ЧЕРНОВОЙ АВТОГРАФ НАЧАЛА РОМАНА «ВОЙНА И МИР», 1864 г.
Вариант тринадцатый
Архив Толстого, Москва

в серень̀ком сертучке и круглой шляпе, с орлиным носом, коротенькими ножками, маленькими белыми ручками и умными глазами, воображал

252* *Вместо* Время между ~ то время *было: а.* В 1805 году в одном из покоев еще старого дворца собралось небольшое общество. Сидела хозяйка-старушка, екатерининская штатс-дама, ее дочь, фрейлина императрицы Марьи Федоровны Аннет Зологуб, известная своей любезностью и умом всему Петербургу, дебютантка в свете зимы 1805-го года Марья Корсагова, приехавшая из Москвы с своей теткой княгиней Анной Алексеевной, и князь Василий Безбородков, любимец государя. Это было между французской большой революцией и пожаром Москвы в то самое время, когда идея этой революции, по-видимому задавленная и отсветившая, воплотилась в силу и давала каждому и каждую минуту себя чувствовать, как разрушение землетрясения, которого

себе, что он делает историю, тогда как он был только самый покорный и забитый раб ее, когда этот человечек старался раздуваться в сообразное, по его понятиям, величие положения и, несмотря на умную и твердую натуру, при первом прикосновении земного величия, человеческой лести и поклонения потерял свою умную голову и погиб, надолго еще оставаясь для толпы чем-то страшным и великим [253*].

Видали вы ребенка, которого посадил старый кучер рядом с собой на козлы и позволил ему держаться за вожжи, воображая, что он правит лихой и могучей тройкой. Кони бегут быстрее и быстрее, дорога скользит под ногами, топот сливается в один одуряющий гул, брызги летят из-под копыт, ветер режет лицо, развевает волосы и срывает шапку, дух захватывает; милому мальчику весело, он боится, но, перенимая у ямщиков, представляет вид лихого, покрикивает, махает ручонками. Бедняжке кажется, что он все делает, что он единственная причина быстроты, с которой несется тройка, он смутно верит этому, но с презрением и гордостью поглядывает на воза и пешеходов и несется все шибче и шибче, прохожие любуются на бедного мальчика и похвалами разжигают его, но лошади несутся еще шибче, мальчику жутко, он закрывает глаза, и старый кучер берет вожжи [254*]. «Довольно будет с вас, барин»,— и кучер остановил лошадей,— «а вы подите к нянюшке».

«А правда, что я так правлю, как самый лучший ямщик? Лучше всех на свете?»

«Правда, правда. Ступайте, будет».

То самое время [255*], когда у нас в России человечка с маленькими ручками и орлиным носом звали Буонапарте, как научили нас тому эмигранты, составлявшие украшение наших гостиных, когда в дипломатических актах называли его «cet homme» [256*], когда [257*] отвращение к святотатцу, осквернившему престол святого Лудовика и мученика Лудовика, соединялось с презрением к нему, в то время, когда после убеждения, что он не посмеет... он вдруг посмел схватить в чужом городе невинного и влюбленного, счастливого юношу и велел во рву убить его, как собаку, за то, что юноша этот был родня королю-мученику. То [258*] время, когда le duc d'Enghien и la catastrophe, le meurtre, l'abominable meurtre

---

огонь уже потух, но обломки скал и стен еще давят людей как будто беспричинно и бессмысленно. Это было в то время; *б.* в 1805 году в одном из покоев еще старого дворца в Петербурге собралось небольшое общество родных и близких знакомых. Сидела старушка, екатерининская штатс-дама, хозяйка покоев, ее дочь, фрейлина императрицы Марьи Федоровны княжна Анна Зологуб, известная своей красотой, приезжая из Москвы дебютантка москвитянка, молоденькая барышня Мари Корсагова, княгиня Анна Алексеевна, тоже москвичка, и князь Василий, отец [Annette Sologoub] фрейлины и муж штатс-дамы. Это было между французской *и т. д. как в тексте*; *в.* В 1805 году в одном из покоев еще старого дворца в Петербурге у фрейлины императрицы Марьи Феодоровны собралось небольшое общество и разговор зашел о предстоящей войне. Это было в 1805 году между французской *и т. д. как в тексте*.

[253*] *Вместо* при первом ~ великим *было*: начинал теряться и гибнуть как человек, оставаясь для толпы великим владыкой и полководцем.

[254*] *Вместо* Бедняжке ~ вожжи *было:* Бедняжке страшно, но он храбрится, притворяется спокойным и привычным лихачом-ямщиком. Ему кажется, что он все делает, от него так шибко несется вся тройка, он с презрением и гордостью поглядывает на воза и пешеходов и гонит шибче, но лошади несутся только так скоро, как хочет того старый кучер.

[255*] *Вместо* То самое время *было: а.* Но то, что я хочу описывать, было в то самое время; *б.* То, что я хочу описывать, было в то самое время; *в.* Это было в то самое время

[256*] этот человек (франц.).

[257*] *Далее начато:* святое

[258*] *Первоначально:* В то

d'Ettenheim [259*] был на устах каждой чувствительной [260*] особы высшего круга, в то время, когда молодой, любезный, красивый монарх Александр I [261*] решил устроить судьбы Европы, остановить les envahissements de cet homme [262*], заключил союз с Австрией и решил, что, победив Буонапарте (в победе нельзя было сомневаться [263*]), французам будет предоставлена свобода избрания того образа правления, который они найдут для себя лучшим, и купленные имения эмигрантов останутся в руках владельцев. Все было тонко предвидено. Опять ехала другая тройка навстречу и правил ею опять не тот кучер, которого все видели на козлах, а все тот же старый, старый старик, везущий по-своему и правящий миром со времен Алкивиадов и Кесарей.

Но не Наполеон и не Александр, не Кутузов и не Талейран будут моими героями, я буду писать историю людей, более свободных, чем [264*] государственные люди, историю людей, живших в самых выгодных условиях жизни, людей, свободных от бедности, от невежества и [265*] независимых, людей, не имевших тех недостатков [266*], которые нужны для того, чтобы оставить следы на страницах летописей [267*], но глупый человек не видит этих следов, не выразившихся в мишурном величии, в книге, в важном звании, в памятнике, он видит их только в дипломатическом акте, в сражении, в написанном законе. Он видит их только в том насильственном зле, которому суждено нарушать спокойное течение человеческой жизни, и он записывает эти события в свою летопись, воображая себе, что он пишет историю человеков. Люциан Бонапарт был не менее хороший человек, чем его брат Наполеон, а он почти не имеет места в истории. Сотни жирондистов, имена которых забыты, были еще более хорошие люди. Сотни и тысячи не жирондистов, а простых людей Франции того времени были еще лучшими людьми [268*]. И никто их не знает. Разве не было тысяч офицеров, убитых во времена войн Александра, без сравнения более храбрых, честных и добрых, чем сластолюбивый, хитрый и неверный Кутузов?

Разве присоединение или неприсоединение Папской области к Французской империи на сколько-нибудь могло изменить, увеличить или уменьшить любовь к прекрасному работающего в Риме художника? Или изменить любовь его к отцу и к жене? Или изменить его любовь к труду и к славе?

[259*] герцог Энгиенский и несчастное событие, убийство, отвратительное убийство в Эттенгейме (франц.).

[260*] *Далее начато:* дамы

[261*] *Далее было:* после Павла сосредоточивший на себе все надежды России

[262*] завоевания этого человека (франц.).

[263*] *Вместо* в победе ~ сомневаться *было:* победа была несомненна, так как коалиция имела более 600 тысяч войска

[264*] *Далее было:* эти

[265*] *Далее начато:* ничем

[266*] *Вместо* Но не Наполеон ~ тех недостатков *было: а.* Но не Наполеон и не Александр будут моими героями, я буду писать историю героев [не менее] более человечных, чем они, людей таких же, как все мы, людей общества, живших в самых выгодных условиях жизни для борьбы и выбора между добром и злом, [для] людей, изведавших все стороны человеческих мыслей, чувств и желаний, людей таких же, как мы, могших выбирать между образованием и невежеством, между славою и неизвестностью, между властью и ничтожеством, между рабством и свободой, между любовью и ненавистью, людей свободных от [боязни] бедности, от предрассудков, и имевших право считать себя ⟨?⟩ равными всякому. В таком положении находилось в начале нашего века русское [хорошее] дворянство; *б.* Но не Наполеон ~ не имевших тех недостатков, которые нужны для славы, живших, страдавших, не как герои, а как люди

[267*] *Далее начато:* но имевших те свойства, которые нужны

[268*] *Вместо* Люциан ~ людьми *было:* Разве Люциан Бонапарт был менее хороший ~ в истории? Разве сотни жирондистов, имена которых забыты, не были еще более хорошие люди? Разве сотни и тысячи не жирондистов, а простые люди в Франции того времени не были еще лучшими людьми?

Когда с простреленной грудью офицер [269*] упал под Бородиным и [270*] понял, что он умирает, не думайте, чтоб он радовался спасению отечества и славе русского оружия и унижению Наполеона. Нет, он думал о своей матери, о женщине, которую он любил, о всех радостях и ничтожестве жизни, он поверял свои верованья и убеждения; он думал о том, что будет *там* и что было здесь. А Кутузов, Наполеон, великая армия и мужество россиян,— все это ему казалось жалко и ничтожно в сравнении с теми человеческими интересами жизни, которыми мы живем прежде и больше всего и которые в последнюю минуту живо предстали ему.

Историки — les chroniquers des fastes de l'histoire [271*]— видят только выступающие уродства человеческой жизни и думают, что это сама жизнь.

Они видят сор, который выбрасывает река на берега и отмели, а вечно изменяющиеся, исчезающие и возникающие капли воды, составляющие русло, остаются им неизвестны [272*].

Пишу о том времени, которое еще [273*] цепью живых воспоминаний связано с нашим, которого запах и звук еще слышны нам. Это время первых годов царствования Александра в России и первых годов могущества Наполеона во Франции.

В придворном кругу только чувствовалась война и принималась к сердцу. В старом Зимнем дворце все фрейлины судили о войне. Одна фрейлина отпросилась у императрицы на вечер [274*] для того, чтобы сразу принять своих приятелей, приехавших из Москвы, и потолковать о войне. Она была свободна, что редко случалось с нею. Ее ум и любезность слишком нужны были при дворе и слишком к ним уже привыкли, чтобы обходиться без нее... Она не была из тех фрейлин, которые только надетым в торжественные дни шифром отличаются от других смертных, она не была одною из сотни, она была одна из двух-трех любимых приближенных. Говорили, что она имеет большое влияние, хотя она собственно была ничем, но все друзья ее и постоянное общество были могущественнейшие люди мира. Она давно уже забыла о том, фрейлина ли она или нет. Шифр она получила 5 [275*] лет тому назад, и быть не на выходах и не на балах, а en petit comité [276*] коронованных лиц стало ее привычкой. Она была умна, насмешлива и чувствительна, и ежели не была положительно правдива, то отличалась от толпы ей подобных своей правдивостью. Она гордилась своим franc parler [277*], но что она была [278*] по душе,

---

[269*] *Вместо* офицер *было: а.* Раевский; *б.* Тучков

[270*] *Далее начато:* знал

[271*] летописцы выдающихся событий истории (франц.).

[272*] *Вместо* только ~ неизвестны *было:* только уродства человеческой жизни, а сама жизнь ускользает от них, и суждения их о всей жизни, основанные на ее уродствах, всегда ложны. Они хотят исследовать течение реки по берегам ее. Они видят яры, заливы, мысы и выбоины берегов, но [вода течет] не понимают и не знают реки. И ежели берег отступил или выступил, подмыт или занесен песком, то вода оттого ни прозрачнее, ни мутнее, ни холоднее, ни теплее, ни быстрее, ни тише и дно ее также для них неизвестно. Надобно отдаться течению, надо плыть с нею вместе, чтобы сколько-нибудь узнать ее.

Какие мы ни строили берега и как бы ни изменяли их, вода течет [вечно и вечно и вечно] все так же и вечно изменяется, и мы — капли этой воды, вечно исчезающие и вечно возникающие.

[273*] *Далее было:* живо в памяти живых людей, время, которое

[274*] *Вместо:* В придворном ~ на вечер *было: а.* Хозяйка дворцовой комнаты отпросилась у императрицы на нынешний вечер; *б. начато:* Все только и гов⟨орили⟩; *в. начато:* Как и всегда бывает, государство готовилось к войне, но очень, очень мало людей заботилось узнать и обсудить причины и случайности войны, [собирали рекрут], играли в бостон, женились, ссорились, богатели и разорялись.

[275*] *Переделано из:* 15

[276*] в тесном кружке (франц.).

[277*] прямотой (франц.).

[278*] *Вместо* Она была умна ~ но что она была *было:* Кто и что она была

ДОЛОХОВ
Акварель К. И. Рудакова, 1945 г.
Музей Толстого, Москва

никто не знал. Этот лак высшего тона, скрывающий [279*] качество дерева, которое он покрывает, так густо закрывал в ней все ее особенности, что трудно было понять, что за человек эта женщина. Говорила она, разумеется, не на своем языке, а на французском, и на французском [280*] одного известного мира, наследовавшего этот род языка [281*] от дворов Людовиков. На выражение каждой мысли, даже каждого чувства были свои, готовые, грациозные и красивые формы и, естественно, что она употребляла их, придавая им как умная женщина свой личный характер. Отношения с Анетт Б⟨езбородко?⟩ были самые приятные для того, кто умел держаться в формах того искусственного мира, но под этими формами таилось неизвестное, и тот, кто бы захотел узнать это неизвестное, выйдя из условных форм, непременно показался бы сам себе грубияном [282*].

Она и все общество говорило по-французски.

— Я достаточно стара,— говорила она,— чтобы принимать мужчин к себе, не правда ли, княгиня? [283*]. И потом лучше я не могла воспользоваться своим отпуском, как собрав вас всех к себе. Я одним камнем [284*] делаю не два, а четыре удара, дядя и вы, мой милый Basile,— обратилась она к сухому камергеру с звездой,— и милая кузина (это обращалось

[279*] *Первоначально:* покрывающий
[280*] *Далее начато:* того мира
[281*] *Вместо* этот род языка *было:* язык свой
[282*] *Далее начато: а.* В этот вечер; *б.* Нынче был именно такой грубиян. Это был дядя ее, князь В⟨олхонский⟩, екатерининский генерал-аншеф. Попавши в немилость императора Павла за дерзкий ответ.
[283*] *Первоначально:* тетушка
[284*] *Далее начато:* убиваю

молодой девушке) [285*].— Il faut que je la produise cet hiver [286*]. С этим лицом это было бы грех жить в вашей деревне, называемой Москвой. Вот один случай, когда я жалею, что не [287*] замужем. Я удобнее могу produire [288*]. Сыщите мне мужа — (это к камергеру),— который бы мне не мешал и служил бы удобством вывозить и принимать. А то, право, ежели бы не вы, княгиня,— (это обращалось к княгине Анне Алексеевне Горчаговой) — я бы не решилась звать к себе. Ах, у меня будет интересный человек, le comte de Mortemart. Он был auprès de monseigneur le duc d'Enghien [289*], этот святой мученик. И потом говорят, что он [290*] très bien le jeune homme. Il est allié par sa mère [291*] à la princesse de Rohan au Montmorency [292*].

— У нас весь Петербург с ума сходит от него, кроме меня, разумеется, и бегает [293*] за ним. Я не видала его еще. Я просила Александра Д. нынче привезти его ко мне. По крайней мере вам не скучно будет.— (К княжне).— Ну, что вы скажете о последнем поступке [294*] этого человека (Буонапарте).— (К князю В.).— Я знаю, вы [295*] поклялись выводить меня из себя. Неужели вы и теперь после l'envahissement de Gênes [296*] не видите причин к войне?

[Грубиян князь Волхонский редко улыбался, но он улыбнулся.

— Я, моя милая, деревенский дворянин и тех тайных пружин, по которым все движется здесь, не знаю].

На полях рукописи конспективные записи:

л. 4 (*стр. 377*):

Сцена с женой, один — жесток. К⟨нязь⟩ В⟨асилий⟩ в Москве и при смерти подл. Переписка о войне, война во всем. У к⟨нязя⟩ по-старому.

⟨14⟩

Пишу о том времени, которое еще цепью воспоминаний связано с нашим, о времени, когда матери наши в робах с короткими талиями при свете восковых и спермацетовых свеч танцовали [котильоны] матрадуры и минуэты, восхищались романами m-me Redcliff и m-me Suza и знали наизусть тирады и Racine, и Boileau и Corneille, когда отцы наши восхищались мыслями Rousseau и Voltair'a и еще помнили Екатерин, Фридрихов, Суворовых и Потемкиных так, как мы помним Александра, Наполеонов, Мюратов и Кутузовых.

Я говорю о времени [297*] первых годов царствования Александра I

[285*] *Вместо* дядя и вы ~ девушке *было: а. начато:* (разговор ведет; *б.* (Оба дяди; *в.* Потому что и вы мне дядя по дружбе, мой милый [Basile] князь,— обратилась она к сухому камергеру с звездой, а вы мне [дядя по] друг, потому что дядя. Ежели бы вы не были дядя, уж верно я бы никогда не [узнала] имела храбрости узнать вас. (Это обращалось к кн⟨язю⟩ В⟨олхонскому?⟩) И милая кузина (это обращалось к дочери кн⟨язя⟩ В⟨олхонского?⟩)

[286*] Мне надо ее вывозить нынешней зимой (франц.).

[287*] *Далее начато:* вышла ⟨замуж⟩

[288*] вывозить (франц.).

[289*] граф Мортемар. Он был при герцоге Энгиенском (франц.).

[290*] *Далее начато:* очень

[291*] *Далее было:* Duchesse de Berry ⟨герцогине Беррийской⟩

[292*] очень порядочный молодой человек. Он родня по матери княгине Роган-Монморанси (франц.).

[293*] *Вместо* У нас ~ бегает *было:* У нас все бегает

[294*] *Первоначально:* декрете

[295*] *Далее было:* дядюшка

[296*] захвата Генуи (франц.).

[297*] *Вместо* с нашим ~ говорю о времени *было: а.* с нашим, которого запахи и звуки еще слышны нам. Это время; *б. начато:* с нашим, которого неуловимый характер, запах и звук, соединяясь с особенной прелестью прошедшего и детства, так мило знакомы нам. О том времени

в России и первых годов могущества Наполеона во Франции. Время между французской большой революцией и пожаром Москвы [298*], время, когда карта Европы перерисовывалась каждые две недели различными красками, когда голландцы, бельгийцы, итальянцы и маленькие немецкие народцы решительно не знали, какому политическому богу кланяться, то время, когда этот маленький человечек в сереньком сертучке и треугольной шляпе, с орлиным носом и умными глазами [299*] представлялся чем-то [300*] непонятным, то страшным, как антихрист, то смешным и гадким, как мещанин в дворянстве, то великим, как герои древности.

То время [301*], когда у нас в России этого человека звали Буонапарте, как научили нас тому эмигранты, составлявшие украшение наших гостиных, и когда в дипломатических актах называли его «cet homme» [302*]. То время [303*], когда le duc d'Enghien et la catastrophe, le meurtre, l'abominable meurtre d'Ettenheim [304*] был на устах каждой чувствительной особы нашего высшего круга, в то время, когда молодой, любезный и красивый монарх Александр I, взойдя на престол после Павла, соединил на себя все те надежды, любовь и преданность, которые подданные так счастливы законно отдавать своим владыкам. То время, когда этот рыцарский [305*] юноша-царь [306*] искренно желал только устроить судьбы Европы, остановить les envahissements de cet homme [307*] и после победы (в которой никто не сомневался) [308*] предоставить самим французам свободу избрания того образа правления, который они найдут для себя лучшим, так ничего не могло быть лучше и справедливее этого [309*].

[298*] *Далее было: а.* то самое время ~ казалось людям того времени ⟨*копия соотв. строк вар. 13*⟩; *б.* то самое время, когда великая революция, воплотившись в военную диктатуру, перестала быть идеей, с которой можно спорить, рассуждать, соглашаться или не соглашаться, а стала силой, с которой надо было не спорить, а бороться или подчиняться ей. Было еще много людей, которые не могли понять, что червячок идеи революции давно уже [перешел] превратился в бабочку военной силы и что поэтому прошло время рассуждать, а надо драться.

Роялисты и монархисты доказывали очень хорошо и победительно, что революция и военная диктатура хуже королевской власти. Все это было очень справедливо, а Наполеон, представитель превращенной идеи революции, в ответ на это [набирал] [брал] взял всех годных французов в солдаты и публично расстреливал принца королевской крови [и говорил всей Европе, обратив 100 000 штыков из-за своих штыков и пушек] надел на себя императорскую корону и, выставив сотни тысяч штыков, сказал: ну-ка попробуйте! [То время когда матери наши при освещении восковых свеч]

[299*] *Далее идет текст:* воображал ~ ступайте, будет (*см. вар. 13, с. 376*), *частично исправленный и затем отчеркнутый на полях чертой, что означало, что текст выпущен из данной рукописи, но не зачеркнут как ненужный вообще. На полях пометка:* «№ Вычеркн.».

[300*] *Далее было:* волшебным

[301*] *Вместо* То время *было: а.* То самое время; *б.* Пишу о том времени

[302*] этот человек (франц.).

[303*] *Далее было: а.* когда отвращение ~ родня королю мученику (*копия вар. 13*); *б.* когда негодование к святотатцу ~ соединялось с страхом, презрением и отвращением к тому, кто убил невинного счастливого, влюбленного юношу за то только, что юноша этот был родня королю мученику.

[304*] герцог Энгиенский и несчастное событие, убийство, отвратительное убийство в Эттенгейме (франц.).

[305*] *Первоначально:* бескорыстный

[306*] *Далее начато:* горел одним желанием славы для себя и своего народа и презирал еще все дипломатические увертки, руководящие большей частью правительства

[307*] завоевания этого человека (франц.).

[308*] *Вместо* (в которой никто не сомневался) *было:* (сомневаться в победе нельзя было)

[309*] *Далее было: а.* и купленные ~ на страницах летописи (*копия вар. 13*); *б.* Но не Наполеон, не Александр, не Кутузов и не Талейран будут моими героями, я буду

Следующий дипломатический акт был уже несколько месяцев тому назад сообщен французскому правительству нашим посланником д'Убриль перед оставлением Тюлерийского дворца.

Около года шли переговоры между Россией, Австрией, Пруссией и Англией о составлении коалиции против Франции. Наконец, Наполеон предложил сам переговоры о мире и вызвал Россию быть посредницею. В Париж послан был Новосильцев[310]*.

В начале 1805-го года первая европейская коалиция против Буонапарте была уже составлена.

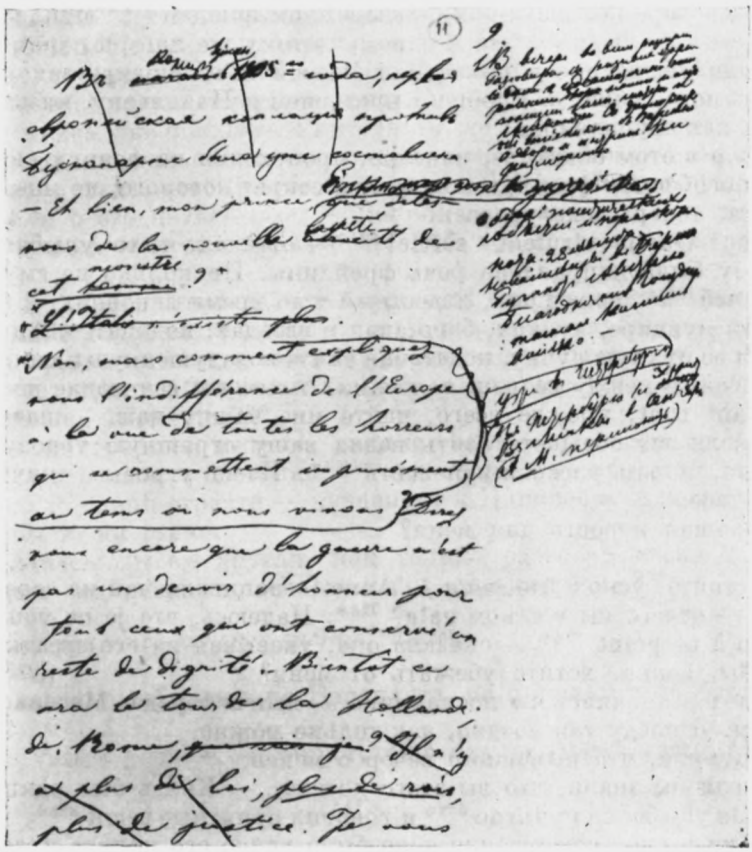
— Eh bien, mon prince, que dites vous de la nouvelle atrocité de cet homme? Italie n'existe plus. Non, mais comment expliquez vous l'indifference de l'Europe a la vue de toutes les horreurs qui se commettent impunément au temps ou nous vivons. Direz vous encore que la guerre n'est pas un devoir d'honneur pour tous ceux qui ont conservé un reste de dignité. Bientôt ce sera le tour de la Hollande, de Rome, que sais-je. Il n'y a plus de foi, plus de rois, plus de justice, [il n'y a plus de Dieu]. Je vous préviens que si vous ne me dites pas que nous avons de bonnes nouvelles de Haugwitz et que ⟨nous⟩ aurons la guerre et la guerre à outrance avec ce monstre, cet antichrist — ma parole d'honneur j'y crois — si vous ne me dites pas que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies de cet homme, ce n'est pas un homme, que Dieu me pardonne, c'est pire — je ne vous connais plus, vous n'êtes plus mon ami, мой верный раб, comme vous dites. Ah, si j'étais homme!! [311]*

писать историю людей, живших в более выгодных условиях жизни для человеческой борьбы между добром и злом, людей свободных от бедности, от невежества, но зато свободных и от обязанности власти, историю людей, не имевших тех недостатков ⟨*далее как в варианте а*⟩; *в. начато:* То время, когда Потемкин, Екатерина, Фридрих были еще свежими воспоминаниями, [как теперь Наполеон и Александр, время когда паров не было, прогресс был еще в государственном устройстве, в идеях, когда исторической школы не было, наивно думали, что классики языка и математики были лучше ист⟨о-рии?⟩, когда поэтами были Расин, Корнель, Гёте, в книгах Руссо, Вольтер, Дидерот, романы Staël, Suza. Когда носили робы с короткими талиями, когда мечты о свободе крестьян то же, что коммунизм, когда восковые свечи, когда]; *последний незаконченный набросок зачеркнут и отмечен:* №; *г.* В то время был в Петербурге знаменитый дом Натальи Львовны Нарышкиной. Дом этот был знаменит не красотою здания, не роскошью убранства, не обедами и ужинами и балами, хотя домик был недурной, между двором и садом, и хотя бывали в нем и обеды, и ужины, и балы, удостоенные часто посещениями высочайших особ, но скромные балы,— дом этот был знаменит своей хозяйкой, высокой, красивой старухой, с умными, проницательными глазами, тонкой улыбкой и строгой осанкой.— Старуха эта ничего не делала для того, чтобы быть знаменитой, кроме того, что говорила. Она говорила уже более 50 лет, говорила с Екатериной, с Павлом, с Потемкиным, с Ломоносовым и Державиным, говорила и по-русски, но охотнее по-французски. Нельзя сказать, что именно говорила эта старуха, в ее речах не было ничего необыкновенного, но она знала, что и когда и как надо сказать, знала, что важнее всего, чего не надо сказать, и перед старухой благоговело все, что ее знало, а еще более те, которые не знали, но только слышали про нее. И все это заслужила она одним разговором «Всяк пляшет, да не так, как скоморох, говорит пословица». Всякий говорит, да не так, как говорила эта старуха.

[310]* *Вместо* Наконец ~ Новосильцев *было*: Австрия обещала, медлила и требовала от нас большого количества войск. Пруссия прямо объявила, что нет надежды для Европы в войне с Наполеоном остаться победительницею. Англия обещала денег и в число 600 тысяч свои 7 тысяч войска. [Англия ⟨*1 нрзб.*⟩ и не могла понять задней мысли русского правительства.]

[311]* Ну, князь, что вы скажете об этом новом ужасном поступке этого человека? Италия больше не существует. Нет, как вы объясняете себе равнодушие Европы при виде тех безобразий, которые в наше время творятся безнаказанно? И будете ли вы по-прежнему утверждать, что война не долг чести для всех тех, у кого сохранилась еще хоть капля достоинства? Скоро наступит очередь Голландии, Рима, почем знать. Нет больше ни веры, ни королей, ни справедливости [ни бога]. Предупреждаю вас, что ежели я не услышу от вас хороших вестей о Гаугвице и что война будет, и война беспощадная против этого чудовища, антихриста,— даю вам слово, что я так думаю — ежели вы не скажете мне, что будет война и решитесь по-прежнему извинять все гнус-

— Ну здравствуйте, здравствуйте. Je vois que je vous fais peur [312*]. Хотите чаю? — Так говорила фрейлина и приближенная императрицы Марьи Федоровны, отпросившаяся от службы на один вечер для того, чтобы [313*] сделать у себя в этот вечер un thé, на который, разосланными накануне записочками с красным лакеем [314*], приглашены были,



НАЧАЛО РОМАНА «ВОЙНА И МИР». КОПИЯ С. А. ТОЛСТОЙ С ПРАВКОЙ ТОЛСТОГО, 1864 г.

Вариант пятнадцатый

Архив Толстого, Москва

по мнению фрейлины, самые замечательные люди Петербурга, цвет общества, la crème de la société [315*]. В записочках было написано: Si vous n'avez rien de meilleur à faire, Monsieur le comte или mon Prince, je serais bien charmée de vous voir chez moi entre 7 et 10 heures [316*].

Annette D. [317*].

ности, совершаемые этим человеком, да это не человек, прости меня, господи! а хуже, то я больше вас знать не хочу, вы больше мне не друг, не верный раб, как вы себя зовете, Ах, если бы я была мужчиной!! (франц.).

312* Я вижу, что я вас пугаю (франц.).

313* *Далее начато:* соединить у себя в этот вечер

314* *Первоначально:* с камер-фурьером

315* сливки общества (франц.).

316* Ес ли у вас, граф или князь, нет в виду ничего лучшего, то буду очень рада видеть вас нынче у себя, между 7 и 10 часами (франц.).

317* *Далее начато:* Записочки были посланы к

Кроме желания воспользоваться свободным вечером, Annette D. [318]*, может быть и не без основания, считала себя государственным [319]* лицом, на котором лежали политические обязанности. Она желала сообщить впечатления, произведенные в ней последними известиями о пребывании Бонапарта в Италии, вчера только полученные при дворе имп⟨ератрицы⟩ М⟨арьи⟩ Ф⟨едоровны⟩. Некоторые из гостей, долженствовавших приехать в этот вечер, принадлежали к самым влиятельным [320]* придворным и государственным людям и все к одному и тому же лагерю, знаменем которого было убеждение в призвании России восстановить законность и святость самодержавия в Европе и презрение к Наполеону, называемому не иначе, как Буонапарте.

Разговор в этом обществе, конечно, происходил на французском и даже на том особенном французском языке, секрет которого, по мнению знатоков дела, теперь уже утрачен.

— Dieu! Quelle virulente sortie! [321]*— отвечал, тихо улыбаясь, тот, к которому была направлена речь фрейлины. Нисколько не смутясь такой встречей [322]*, вошедший, известный в то время сановник, в придворном шитом мундире, чулках, башмаках и звездах, подошел к Annette D., поцеловал ее пухлую ручку, подставив ей свою надушенную и сиящую [323]* белизной, даже между седыми волосами, лысину и сел подле нее.

— Avant tout, прежде всего, дайте мне чашку чаю,— сказал он,— потом, ежели вы обещаете взять назад вашу страшную угрозу — прогнать меня, я вам расскажу новость [324]*. Из-за угрозы — ничего. Без угрозы — все.

— Хорошая новость для меня?

— Да.

— Постойте, успокойте меня,— Annette наливала чай из серебряного самовара — отчего вы в таком gala? [325]*. Надеюсь, что je ne vous en impose jusqu'à ce point [326]*,— сказала она, указывая на его звезды и башмаки.— Вы, верно, хотите убежать от меня?

— А вечер английского посланника — нынче середа. Мне надо показаться там. Я поеду так поздно, как только можно.

— Я думала, что нынешний вечер отменен.

— Ежели бы знали, что вы этого хотите...— Князь был один с Annette D. Он улыбался приятно [327]* и говорил приятные вещи [328]*, но из-за этой улыбки и слов совершенно ясно было видно его полное презрение к своей собеседнице, которое он не только не старался скрывать, но старался как будто выказать, говоря такие вещи, как то, что вечер посланника был бы отложен, ежели бы знали, что Annette D. этого не хочет [329]*. «Я государственный человек. Я дело делаю, а ты болтушка», казалось говорили все его приемы и, несмотря на то, он с почтительностью обращался к фрейлине и, перемешивая шуточками и глотками чаю, рассказал Annette D. все, что он знал о содержании депеши из Берлина, привезенной в тот день утром.

---

[318]* *Вместо:* Annette D. *было:* фрейлина

[319]* *Вместо* государственным *было:* политическим и государственным

[320]* *Вместо:* Она желала ~ к самым влиятельным *было:* Особы, которые должны были собраться в этот вечер, все, исключая двух родных, которых нельзя было исключить, принадлежали посредственно и непосредственно к самым влиятельным

[321]* Господи! Какое горячее нападение (франц.).

[322]* *Далее начато: а.* он; *б.* сановник

[323]* *Далее начато:* чис⟨тотой⟩

[324]* *Далее начато:* и хо⟨рошую?⟩

[325]* парадном наряде (франц.).

[326]* я не в такой мере внушаю вам почтение к себе (франц.).

[327]* *Далее было:* как придворный

[328]* *Далее было:* как придворный

[329]* *Далее начато:* И несмотря на то, он был почтителен

— Buonaparté a brûlé ses vaisseaux depuis l'affligente événement d'Ettenheim [330]*,— сказал князь.— Больше ждать нечего, кроме насилия во всех отношениях. Нынче утром на выходе я сказал это [331]* Н., а он видит еще возможность мира.

— Совершенно справедливо. Il a brûlé ses vaisseaux, il faut que nous brûlions les nôtres. A propos [332]*. Нынче у меня будет очень интересный человек, le comte de Mortemart, il est allié aux Montmorency par les Rohans [333]*, одна из лучших фамилий Франции. Он был при Monseigneur le duc d'Enghien [334]* во время его плена [335]*. On dit qu'il est très bien, ce jeune homme. J'ai prié S. de me l'amener. Toutes nos dames en raffolent [336]*.

— Кроме вас, разумеется. Я его видал в свете. Скажите, правда это,— продолжал князь уже с видимым интересом, не так, как прежде, когда он, видимо, исполнял только тяжелую для него обязанность взаимности, рассказывая, правда, что l'impératrice mère [337]* говорила его величеству о бароне З. и о его назначении? — Вопрос этот, видимо, был личный и живой для князя.— C'est un pauvre sire [338]*, все что я могу сказать. Как вы думаете?

Annette D. строго ответила, что барон этот был рекомендован ее величеству à l'impératrice mère. Лицо Annette выразило глубокое, искреннее выражение преданности и уважения, соединенные с грустью, когда она назвала императрицу. Она сказала, что ее вел⟨ичество⟩ оказала барону [339]* beaucoup d'estime [340]*.

Вопросы внутренних интриг, видимо, мало интересовали Annette. Она потухла и делалась достойно [341]* печальна. Она искренно вся была предана только одной страсти — ненависти к Наполеону и желанию войны во что бы то ни стало.

Она делалась совсем другая, как только разговор касался войны. Она делалась оживлена, красноречива и увлекательна [342]*.

На полях рукописи конспективные записи:

л. 6 (стр. 382):

Взгляд высшего общества на Бонапарта, на причину и необходимость войны.

dans ses vastes pensées, se rapportant à des territoires vastes [343]*.

⟨15⟩

1

[344]* Eh bien, mon prince, que dites-vous de la nouvelle lâcheté de ce monstre? Non mais comment expliquez-vous l'indifférence de l'Europe

---

330* Буонапарте сжег свои корабли после прискорбного события в Эттенгейме (франц.).

331* *Далее начато:* гр⟨афу⟩

332* Он сжег свои корабли, мы должны сжечь наши. Кстати (франц.).

333* граф Мортемар, он в свойстве с Монморанси через Роганов (франц.).

334* его высочестве герцоге Энгиенском (франц.).

335* *Первоначально:* во время его убийства

336* Говорят, что этот молодой человек очень мил. Я просила С. мне его привести Все наши дамы без ума от него (франц.).

337* вдовствующая императрица. *Далее начато:* а parlée ⟨говорила⟩

338* ничтожный человек (франц.).

339* *Вместо* à l'impératrice ~ барону *было:* и что она показала ему

340* много уважения (франц.).

341* *Далее начато:* спокой⟨ной⟩

342* *Вместо* Она делалась совсем ~ увлекательна *было:* Никто никогда так всей душой не скорбит о ужасах войны, когда война начата, как женщины. Никто так сильно не желает войны, как женщины, до тех пор, пока война еще не начиналась

343* в его обширных мыслях, относящихся к обширным областям (франц.).

344* *Перед этим было: а.* В начале; *б.* В конце зимы 1805 года первая европейская коалиция против Буонапарте была уже составлена.

à la vue de toutes les horreurs qui se commettent impunément au temps où nous vivons. Direz-vous encore que la guerre n'est pas un devoir d'honneur pour tous ceux qui ont conservé un reste de dignité. Bientôt ce sera le tour de la Hollande, de Rome. Je vous préviens que si vous ne me dites pas que nous avons de bonnes nouvelles de Novosilzoff et si vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies de cet antichrist,— ma parole, j'y crois — je ne vous connais plus, vous n'êtes plus mon ami, vous n'êtes plus мой верный раб, comme vous dites [345*].

— Ну, здравствуйте, здравствуйте. Je vois que je vous fais peur [346*]. Садитесь и рассказывайте.— Так говорила известная Annette D., фрейлина и приближенная императрицы Марии Федоровны, обращаясь к члену совета и министру в звездах и орденах, только что после обеда у ее величества зашедшему к своему другу фрейлине в кавалерском домике.

Фрейлина кашляла несколько дней, у ней был грипп, как она говорила, и потому она не выходила из дому. Так как князь Василий сам назвался зайти к ней пить чай после обеда императрицы, фрейлина пригласила в этот вечер к себе кое-кого из близких людей, живших в окрестностях П⟨етергофа⟩. В записочках, развозимых утром красным лакеем, было написано, во всех без различия: Si vous n'avez rien de meilleur à faire, M. le comte или mon prince, et si la perspective de passer la soirée chez une pauvre malade ne vous effraye pas, je serais bien charmée de vous voir chez moi entre 7 et 10 heures [347*].

Annette D.

Кроме желания воспользоваться свободным вечером и доставить князю Василью [348*] достойное его общество, фрейлина Annette D., считавшая себя государственным лицом, на котором лежали политические обязанности, желала сообщить кое-кому из друзей и из дипломатов впечатление, произведенное при дворе императрицы М⟨арии⟩ Ф⟨едоровны⟩ известием о присоединении Бонапартом Генуезской республики к Французской империи, составлявшем в это время новость дня.

— Dieu! Quelle virulente sortie! [349*]— нисколько не смутясь такой встречей, отвечал, чуть улыбаясь, вошедший князь в придворном шитом мундире, чулках, башмаках и звездах с теми тихими приемами и интонациями, которые свойственны человеку случайному. Он подошел к Annette D., поцеловал ее руку, подставив ей свою надушенную и сияющую лысину и сел подле.

— Avant tout, dites moi comment vous allez [350*], успокойте друга,— сказал он тоном, в котором из-за участия и приличия просвечивало равнодушие и даже насмешка.— Потом, ежели вы обещаете взять назад вашу страшную угрозу прогнать меня, я вам расскажу новость. Из-за угро-

---

345* Ну, князь, что вы скажете о новой ужасной подлости этого чудовища? Но как вы объясняете себе равнодушие Европы при виде тех безобразий, которые безнаказанно творятся в наше время. Вы будете по-прежнему утверждать, что война не долг чести для всех тех, у кого сохранилась еще хоть капля достоинства? Скоро наступит очередь Голландии, Рима. Предупреждаю вас, что если вы не сообщите мне о том, что у нас имеются хорошие вести о Новосильцеве и если вы позволите себе по-прежнему извинять все гнусности этого антихриста,— даю вам слово, что я больше вас знать не хочу, вы больше не мой друг, вы больше не мой верный раб, как вы себя называете (франц.).

346* Я вижу, что я вас пугаю (франц.).

347* Если у вас, граф или князь, нет в виду ничего лучшего, и если перспектива провести вечер у бедной больной не пугает вас, я буду очень рада видеть вас у себя между 7 и 10 часами (франц.).

348* *Далее было:* назвавшемуся к ней

349* Боже! Какое жестокое нападение! (франц.).

350* Прежде всего скажите, как ваше здоровье (франц.).

зы — ничего. Без угрозы — все. Он сказал все это [351]*, совсем не изменяя интонаций голоса.

— Как вы хотите, чтоб я была здоровой, когда нравственно страдаешь. Разве можно оставаться спокойной в наше время, когда есть чувство,— сказала Annette D.— Вы весь вечер у меня, надеюсь?

— А праздник английского посланника, нынче середа. Мне надо показаться там. Я поеду так поздно, как только можно.

НАТАША, ПЬЕР И АНДРЕЙ НА БАЛУ
Акварель Д. А. Шмаринова, 1954—1955 гг.
Третьяковская галерея, Москва

— Я думала, что нынешний праздник отменен. Je vous avoue que tous ces feux d'artifice commencent à devenir insipides [352]*.

— Ежели бы знали, что вы этого не хотите, праздник бы отменили,— сказал князь по привычке, как заведенные часы, говоря приятную и льстивую ложь, видимо, вовсе не заботясь о том, как эти слова будут приняты.

— Ne me tourmentez pas! Eh bien, la nouvelle? [353]*

— La nouvelle? — сказал князь холодным скучающим тоном, как будто он повторял слова, говоренные им так часто, что слова эти давно

---

[351]* *Далее начато: а.* вяло; *б.* холодно

[352]* Признаюсь, что все эти фейерверки становятся несносны (франц.).

[353]* Не мучьте меня. Ну, а новость? (франц.).

наскучили ему.— La nouvelle? C'est que Buonaparté a brûlé ses vaisseaux et je crois que nous sommes en train de brûler les nôtres. Et vogue la galère!..[354*]

И перемешивая разговор шуточками, комплиментами, которым он и не хотел, чтоб верили, он рассказал Annette D. все, что он знал о содержании последней депеши Новосильцева из Берлина, привезенной в тот день утром. Содержание депеши позволяло надеяться на участие Пруссии в коалиции против Бонапарта.

Князь Василий, говорил ли он умные или глупые [355*], одушевленные или равнодушные слова, говорил их таким тоном, как будто он говорит их 1000-ный раз и как актер роль старой пьесы, как будто слова эти выходят не из его соображений, и говорит он их не умом, не сердцем, а по памяти и одними губами [356*]. Этот тон ничем не возмутимого спокойствия в соединении с [всегда] сухим, холодным и свежим лицом и [всегда] методически отчетливой одеждой, — как будто редкие пучки его седых волос и воротники его жабо также мало могли изменить свое положение, как бы они могли изменить его на его будущей бронзовой статуе круглые яркие всегда золоченые эполеты.

Все это внушало невольно уважение к нему. Чувствовалось, что сколько бы ни сказал он, все-таки не сказал всего, что думает и что главные и важнейшие пружины его деятельности и его тайны останутся навсегда его тайнами.

Annette D., напротив, была вся преисполнена оживления и порывов, которые она, видимо, долгим опытом едва приучила сдерживать в рамке придворной обдуманности приличия и discrétion [357*]. Annette D., уже, видимо, прошла тот возраст, когда естественные интересы молодой женщины — желание выдти замуж [358*] — невольно стоят на первом плане и поглощают все остальное, и пылкость ее характера, видимо, вся перенесена была на интересы придворные и политические. Всякую минуту она, видимо, готова была сказать лишнее, но, хотя она и на волоске была от того, это лишнее не прорывалось, и вследствие этого [только] разговор ее, постоянно угрожая крайностью, приобретал больше оживления. Она была нехороша, но приятный огонь глаз и оживление улыбки, выражавшей тонкую насмешку как будто над своей пылкостью [359*], придавали особенную привлекательность ее умному лицу.

По словам и выражению князя Василья видно было, что в том кругу, в котором они оба обращались, давно установилось всеми признанное мнение об Annette D., как о милой и доброй энтузиастке и патриотке, которая берется немножко не за свое дело, но которая, хотя и часто вдается в крайность, мила искренностью и пылкостью своих чувств. Сдержанная улыбка, игравшая постоянно на лице Annette, выражала, как у избалованных детей, постоянно [это] сознание своего любезного и милого недостатка, от которого она не хочет, не может и не находит нужным исправляться.

Содержание депеши от Новосильцева, поехавшего в Париж для переговоров о мире, было следующее: приехав в Берлин, Новосильцев узнал, что Бонапарт издал декрет о присоединении Генуезской республики к Французской империи в то самое время, как он изъявлял желание мириться с Англией при посредничестве России, Новосильцев, остановив-

---

[354*] Новость? Буонапарте сжег свои корабли, и я боюсь, что мы должны будем сжечь наши... (франц.).

[355*] *Далее начато:* пустые

[356*] *Вместо* не умом ~ губами *было:* по памяти и как будто слова эти ему уже давно, давно надоели

[357*] сдержанности (франц.).

[358*] *Вместо* естественные ~ замуж *было:* природные интересы женщины — любовь.

[359*] *Вместо* насмешку ~ пылкостью *было:* насмешку над холодностью других и над своей горячностью

шись в Берлине и предполагая, что такое насилие Буонапарте может изменить намерение императора, спрашивал разрешение его величества ехать ли в Париж, или возвратиться. Ответ Новосильцеву был составлен и должен быть отослан завтра. В ответе сказано: «Nous ne voulons plus traiter avec *un homme* qui, tout en protestant de son désir pour la paix, continue ses envahissements» [360*].

— Ну к чему все эти переговоры,— сказала Annette D. по-французски, как и весь разговор происходил.— Разве не ясно, что этот злодей только хочет выиграть время? Разве можно договариваться с убийцей и изменником, — перебила Annette D., краснея и дрожа от одушевления.— Все равно, война и война. Война неизбежна. Не переговоры, а смерть за смерть нужна злодею,— сказала она раздувая ноздри и [361*] поворачиваясь на диване [362*].

— Вы слишком кровожадны, ma chère, в политике не делается все, как в гостиной. Il y a des ménagements... [363*]

— Но к чему они нас повели?

— А к тому, что Австрия теперь должна принять неизбежность войны. Все другие пути истощены.

— Не говорите мне про Австрию. Я ничего не понимаю, может быть, но Австрия никогда не хотела и не хочет войны, и она предаст нас. Россия одна должна быть спасительницею Европы. И наш благодетель знает свое высокое призвание и будет верен ему. Вот одно, во что я верю. Государю предстоит величайшая роль в мире, и он так добродетелен и хорош, что бог не оставит его, и он исполнит свое призвание, задавит гидру революции, которая теперь еще ужаснее в лице этого убийцы и злодея. Мы одни должны искупить кровь праведника. На кого нам надеяться? Я вас спрашиваю. Англия с своим коммерческим духом не поймет и не может понять всю высоту души императора Александра. Она хочет видеть, ищет arrière-pensée [364*] наших действий. Что они сказали Новосильцеву? Ничего. Они не поняли. Они не могут понять самоотвержения императора. И что она обещала? Ничего, и что обещали, и того не будет. Пруссия прямо объявила, что Буонапарте непобедим, и что вся Европа ничего не может против него... Но я верю в бога и в высокую судьбу императора. Он спасет Европу...— Она вдруг остановилась с своей улыбкой насмешки над своей горячностью.— Что пишет Новосильцев про прусский двор? — спросила она.

— Есть надежда,— сказал князь, улыбаясь тоже.— Я думаю, что ежели бы вас послали вместо Винценгероде, вы бы взяли приступом согласие короля. Нет, без шуток, entre nous [365*], ежели государь сам будет видеться с королем, то он не устоит. Последнее известие, говорят, очень подействовало и на прусский двор. Но вы не признаете трактатов, а пруссаки еще держатся суеверия, они связаны договорами с Наполеоном.

— Que me parlez-vous de traites avec un homme qui ne connais que son ambition, après l'assassinat du duc il n'y a plus de traité,— вспыхнув проговорила Annette.— A propos [366*],— прибавила она, опять успокоившись.— Нынче у меня будет очень интересный человек, — сказала

[360*] Мы не хотели более вести переговоры с человеком, который, изъявляя желание мириться, продолжает свои вторжения (франц.).

[361*] *Далее было:* блестя глазами

[362*] *Далее было:* но вслед за тем улыбаясь над своим одушевлением

[363*] Есть более мягкие способы (франц.).

[364*] заднюю мысль (франц.).

[365*] между нами (франц.).

[366*] Зачем вы упоминаете о договорах с человеком, который ничего не признает кроме своего собственного честолюбия; после убийства герцога договора больше не существует... Кстати (франц.).

Annette,— le vicomte de Mortemart, il est allié aux Montmorency par les Rohan [367*], одна из лучших фамилий Франции. Он был при Monseigneur le duc d'Enghien, при несчастном святом мученике, во время его пребывания в Ettenheim. On dit qu'il est très bien ce jeune homme. Votre charmant fils Hyppolite m'a promis de me l'amener ce soir. Toutes nos dames en raffolent [368*].

— Кроме вас, разумеется. Я его видал в свете,— отвечал князь, видимо, мало заинтересованный надеждой видеть хоть бы и Mortemart'a.

— Скажите,— прибавил князь по случаю упоминания о своем сыне, вспомнив, что он хотел назначить его секретарем в Вену.— Правда, что Impératrice mère [369*] желает назначения барона Ф. первым секретарем в Вену [370*]. C'est un pauvre sire [371*], все, что я могу сказать.

Annette D. почти закрыла глаза в знак того, что она и никто не может судить про это. Барон был рекомендован ее величеству, à l'Impératrice mère,— только сказала она сухо ⟨?⟩. Лицо Annette выразило глубокое и искреннее выражение преданности и уважения, соединенное с грустью, когда она назвала императрицу, что с ней бывало всякий раз, как она в разговоре упоминала о своей высокой покровительнице. Она сказала, что ее величество изволило оказать барону Ф. beaucoup d'estime [372*], и опять взгляд ее подернулся грустью. Князь равнодушно замолк.

— Mais à propos de votre famille [373*],— прибавила Annette D. [374*] после вздоха и вновь оживая.— Знаете ли вы, что ваша дочь fait les délices de tout le monde. On la trouve belle comme le jour [375*]. Государыня очень часто спрашивает про нее: «Que fait la belle Hélène?» [376*]. Князь наклонился в знак уважения и признательности.

— Я часто думаю,— продолжала Annette D.,— как иногда несправедливо распределяется счастие жизни. За что вам дала судьба таких двух [377*] славных детей. Я исключаю Анатоля вашего меньшого. Вы, право, [378*] менее всех других цените их и потому их не стóите,— сказала она, улыбаясь своей восторженной улыбкой.

— Que voulez⟨-vous⟩, Lafater aurait dit que je n'ai pas la bosse de la paternité [379*],— сказал князь вяло [380*].

[367*] виконт де Мортемар, который в родстве с де Монморанси через Роганов (франц.).

[368*] Говорят, что этот молодой человек очень хорошо воспитан. Ваш милый сын Ипполит обещал привести его ко мне. Все наши дамы от него без ума (франц.).

[369*] вдовствующая императрица (франц.).

[370*] *Вместо* желает ~ в Вену *было начато:* желает назначения Кутузова

[371*] ничтожный человек (франц.).

[372*] большое уважение (франц.).

[373*] Но кстати о вашем семействе (франц.).

[374*] *Вместо* de votre ~ Annette D. *было:* de votre fils ⟨о вашем сыне⟩, прибавила она.

[375*] доставляет удовольствие всему свету. Ее находят прекрасной, как день (франц.).

[376*] Что делает прекрасная Элен? (франц.).

[377*] *Далее начато:* прек⟨расных⟩

[378*] *Далее начато:* не сто́ите

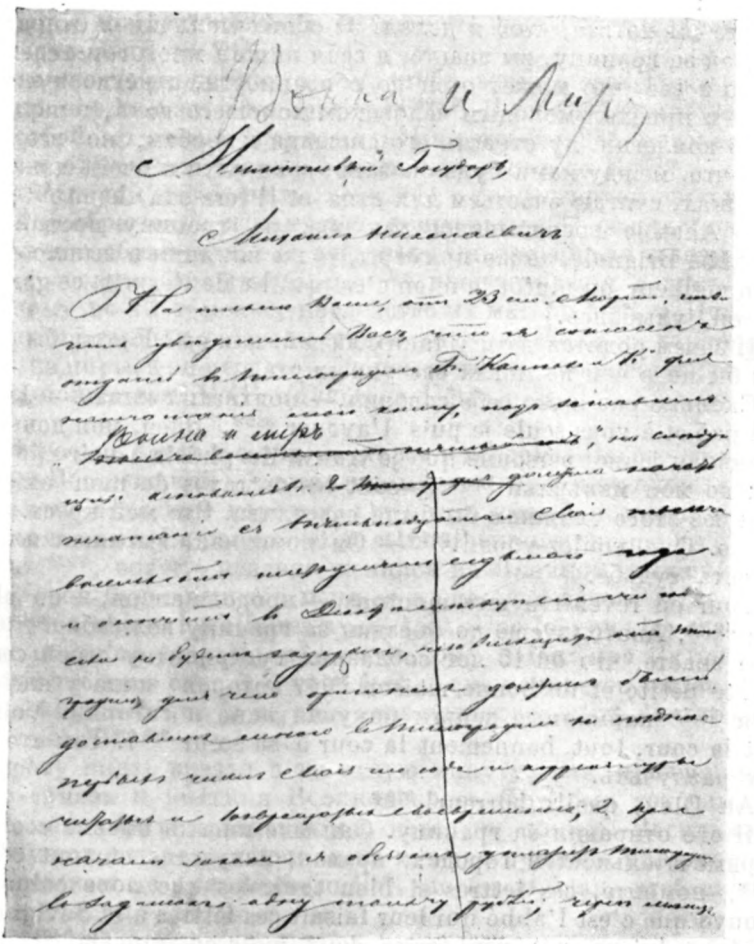
[379*] Что вы хотите, Лафатер сказал бы, что у меня нет отцовской шишки (франц.).

[380*] *Вместо* Mais à propos ~ вяло *было:* А ваши приедут ко мне? — спросила Annette D. [Я люблю вашего старшего Ипполита, il est très bien ⟨он очень хорош⟩. Анатоль — тот принадлежит к тому роду молодежи вивёров, к которым я никогда не имела вкуса. И потом он решительно не хочет знать меня. А Элен делается совершенной античной Психеей... Я бы очень желала видеть ее нынче у себя. Приедет она?

Князь Василий улыбнулся вместо ответа. [Князь Василий был давнишний поклонник Annette D., еще тогда, когда она была очень хороша лет 15 тому назад. (Никто не знал, отчего он, тогда бывши вдовцом, не женился на ней. Полагали, что это произошло оттого, что у нее не было состояния и сам он [знал роскошь], никогда не имел почти ничего кроме службы). Привычка князя Василия была понятна для Annette D. Он всякий раз улыбался так, когда [она при нем] женщина хвалила красоту какой-нибудь другой женщины, хотя бы это была его дочь. Улыбка эта означала: vous êtes trop

— Я всегда удивлялась, как вы с вашим хорошим сердцем, потому что vous avez beau vous faire pire que vous ne l'êtes [381*], у вас сердце хорошее, как вы можете быть дурным отцом [382*].

— Сердце-то это занято [383*]... и вы знаете, кто в этом виноват...



ПРОЕКТ ДОГОВОРА НА ПЕРВОЕ ОТДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ РОМАНА «ВОЙНА И МИР» С ЗАГЛАВИЕМ И ИСПРАВЛЕНИЯМИ РУКОЙ ТОЛСТОГО (МАРТ 1867 г.)

Договор составлен в форме письма к М. Н. Лаврову, сотруднику типографии М. Н. Каткова

Архив Толстого, Москва

— Перестаньте шутить. Я серьезно недовольна вашим меньшим сыном. Я его совсем не знаю, но он, кажется, il a pris à tâche de se faire une

---

indulgente. Quand on est belle comme vous ⟨вы слишком снисходительны. Когда прекрасна как вы...⟩

— Не знаю,— сказал он,— Ипполит, кажется, едет к посланнику, а [Sophie] Hélène хотела приехать. Вы знаете, j'ai beau faire⟨ как я ни стараюсь⟩, все что касается моих детей меня мало интересует.

[381*] вы напрасно стараетесь казаться хуже, чем вы на самом деле (франц.).

[382*] *Вместо* как вы ~ отцом *было:* как вы с вашим хорошим сердцем можете быть дурным отцом?

[383*] *Первоначально:* всегда занято

réputation scandaleuse [384*]. Между нами будь сказано,— лицо ее приняло грустное выражение,— об нем говорили у ее величества и жалели вас.

Князь В⟨асилий⟩ поморщился и с живостью и волнением стал рассказывать [385*]:

— Что вы хотите, чтоб я делал? Я обоих мальчиков отправил 3 года тому назад за границу, вы знаете, я себя лишил многого; я сделал для их воспитания все, что может отец по обязанности, а не по чувству. Старший был и приехал молодым человеком хорошего дома, теперь он в иностранной коллегии, ну страсть его смешная к гербам, но все он хорош. Правда, что, между нами будь сказано,— он глуп и очень даже глуп, что я, в скобках, считаю счастьем для отца et il fera son chemin [386*], вы увидите; но Anatole воспитывался так же, за границу поехал так же, с тем же abbé Brignole, те же примеры, те же влияния и вышло совсем другое. Son malheur ou plutôt le mien c'est qu'il a de l'esprit, ce garçon [387*],— сказал он, улыбаясь.

— И зачем родятся дети у таких людей, как вы? Ежели бы вы не были отец, я бы ни в чем не могла вас упрекнуть.

— Сколько раз я это себе говорил,— подхватил князь.— Je suis votre верный раб et à vous seule je puis l'avouer [388*]. Элен, моя дочь, для меня хорошенькая jeune personne que je trouve du plaisir à voir [389*], и больше ничего; но мои мальчики [390*] ce sont les entraves de mon existence [391*], которая без этого слишком бы была счастлива. Это мой крест. Я так себе объясняю. Que voulez-vous...[392*]— Он помолчал, выражая жестом свою покорность судьбе.

— Pour en revenir à mes moutons,— продолжал он,— ou plutôt à ce mouton [393*], Анатоль еще до поездки за границу вел себя [394*] бог знает как. Вы знаете, что он 15 лет соблазнил гувернантку своей сестры, une charmante petite et de bonne maison [395*], которая жила у нас [396*], и на все свои [397*] карманные деньги покупал вино и сигарки. Voilà. Потом il a fait la cour, tout bonnement la cour à sa sœur [398*]. Так что я должен был их разлучить.

— Ah Dieu, quelle horreur! [399*]

— Я его отправил за границу. Они мне писали письма с описаниями достопримечательностей городов, нравов, искусства et tout ce qui s'en suit [400*], помните, ces lettres si bien tournées que nous colportions ici, il se trouve que c'est l'abbé qui leur faisait ces lettres à la Sévigné que nous admirions et lui ne sait pas écrire deux mots en français [401*]. И что ж?

384* он старательно устанавливает о себе скандальную репутацию (франц.).
385* *Вместо* Князь Василий ~ рассказывать *было:* Князь Василий оживился
386* и он пойдет своей дорогой (франц.).
387* Несчастье его, или скорей мое, в том, что он умен, этот малый (франц.).
388* Я ваш верный раб и одной вам могу в этом признаться (франц.).
389* молодая особа, которую мне приятно видеть (франц.).
390* *Далее начато:* это как-то
391* они обуза моего существования (франц.).
392* Что делать? (франц.).
393* Чтобы возвратиться к прежнему разговору... или именно к нему (франц.).
394* *Далее было:* [как] comme un payen ⟨как язычник⟩
395* прелестную девочку и из приличной семьи (франц.).
396* *Далее начато:* и уносил вино
397* *Далее начато:* argent de poche ⟨карманные деньги⟩
398* Вот... Потом он стал ухаживать, настоящим образом ухаживать, за сестрой (франц.).
399* Боже, какой ужас! (франц.).
400* и так далее (франц.).
401* прекрасно написанные письма, которые мы распространяли здесь, а оказалось, что это аббат писал в стиле Севинье те письма, которыми мы так восхищались, сам он не может написать двух слов по-французски (франц.).

сам l'abbé был совершенно развращен Анатолем. Оказывается, что там они с l'abbé пили, ездили по балам, играли и le cher Anatole завел интригу с какой-то une de ces princesses italiennes et s'est trouvé être en concurrence avec un cardinal [402]*. И был посажен au château de St. Ange. Voilà. Tout cela est très triste, mais que voulez-vous, c'est un très beau garçon et qui malheureusement ne manque pas d'esprit. Très beau garçon! [403]— прибавил он [404]*.

— Вы никогда не думали о том, чтобы женить его? Говорят, что старые девицы ont la manie des mariages [405]*. Я еще не чувствую этой слабости за собой, но у меня есть одна petite personne [406]*, которая очень несчастлива с отцом, une parente à nous, une princesse B.[407]*.

Князь Василий не отвечал, хотя [408]* с свойственной светским людям быстротой соображенья и памятью движеньем [409]* головы показал, что он принял к соображенью это сведенье. Он продолжал о меньшем сыне.

— Нет послушайте, теперь он [410]* живет у меня в доме, я им [411]* даю каждому по 10 т⟨ысяч⟩, наследство их матери [412]*: у Ипполита все это выходит на гербы и разные странности, у Анатоля на танцовщицу, на скакунов, на пиры, и он играет.— Он помолчал.— Что будет через 5 лет [413]*, ежели это пойдет так? Voilà l'avantage d'être père [414]*. Она богата, ваша княжна?

— Отец очень богат и скуп, он живет в деревне. Знаете, этот знаменитый князь В⟨олконский⟩, отставленный еще при покойном императоре и прозванный прусским королем. Он очень умный человек, но с странностями и тяжелый. La pauvre petite est malheureuse comme les pierres [415]*. У нее брат [416]*, вот что недавно женился на Ляниной, бывший адъютант Кутузова,— он будет нынче у меня — и она одна дочь [417]*.

— Oui, ma chère, les affaires avant tout. Une fois que les choses en sont à ce point et qu'on en parle même à la cour, il faut que j'y mette ordre. Je sais bien que vous avez été, vous êtes et que vous serez toujours mon bon ange. La seule chose que je ne puis vous pardonner c'est de n'avoir jamais voulu de moi [418]*.

Эту фразу князь сказал в ту самую минуту, как придворный лакей доложил: «князь и княгиня В⟨олконск⟩ие». (Это был тот самый князь В⟨олконский⟩, брат предлагаемой невестки князю Василью). Князь Василий чувствовал, что ничем он не мог так душевно польстить Annette D., как намеком на супружество [419]*, но он выбрал, чтоб сказать это,

---

[402]* с одной из итальянских княгинь и оказался в соперничестве с кардиналом (франц.).

[403]* в тюрьму Св. ангела. Вот. Все это весьма грустно, но что поделаешь, он очень красив и, к сожалению, не лишен ума. Весьма красивый малый (франц.).

[404]* *Далее было: а. начато:* невольно; *б.* радостно

[405]* имеют манию женить (франц.).

[406]* девушка (франц.).

[407]* наша родственница, княжна Б. (франц.).

[408]* *Далее начато:* видимо, он

[409]* *Вместо* движеньем *было*: знаком

[410]* *Вместо* Нет ~ он *было:* Теперь он

[411]* *Далее начато:* отдал состоян⟨ие⟩

[412]* *Вместо* даю ~ матери *было:* даю по 10 т⟨ысяч⟩ каждому

[413]* *Вместо* и он играет ~ 5 лет *было:* так что мне страшно подумать о том, что у него будет долгу через 5 лет.

[414]* Вот выгода быть отцом (франц.).

[415]* Бедняжка несчастлива, как камни (франц.).

[416]* *Вместо* У нее брат *было*: У него один сын

[417]* *Далее было*: про которую я и говорю.

[418]* Конечно, милая моя, дела прежде всего. Раз положение таково, что о нем говорят даже при дворе, я должен навести порядок. Знаю хорошо, что вы были, есть и всегда будете моим добрым ангелом. Единственное, чего простить я вам не могу, это, что вы никогда не хотели принять моего поклонения (франц.).

[419]* *Далее начато:* и вместе с тем он во всякое другое время

такую минуту, когда входили гости, и потому дальнейшие объяснения, могущие быть неприятными для него, были невозможны.

Князь Василий был государственный человек, человек сильный в Совете и при дворе, человек, одаренный великим даром для успеха в том мире, где он искал успеха, даром фамильярности. Он был короткий приятель *всех*. Так по крайней мере казалось всем сильным мира того времени. Каждый из министров, придворных, вельмож, влиятельных женщин, даже великих князей был уверен, что князь В⟨асилий⟩ со всеми остальными, исключая самого его, в самых коротких отношениях и что права на эту короткость даны князю на основании его серьезных и прекрасных качеств и достоинств. Ежели я и не нахожу в нем особенных достоинств [420*], думал тот, который рассуждал таким образом, то это происходит, должно быть, оттого, что я мало знаю его; но, судя по близости его ко всем и по простоте и фамильярности его обращения и со мной, он должен быть очень нужный и важный человек и им нельзя пренебрегать. Точно так, хотя и не отдавая себе в том отчета, думал каждый из людей, короткость с которыми нужна была князю. Дар фамильярности князя состоял в том, что он имел искусство [421*] быть с каждым настолько и в такие минуты фамильярным [422*], что показать ему удивление в этой, ничем не оправдываемой короткости, которую он позволял себе, было невозможно, и что, вместе с тем, вид этой короткости действовал на других. На выходе он подходил к высшему сановнику государства, к удивленью его, брал его под руку и увлекал его ходить по зале, близко наклоняя к нему голову и конфиденциально что-то сообщая ему. Старичок-сановник только сбирался выразить неудовольствие за такие приемы непривычной короткости, как князь умел в ту же минуту сказать старичку такие вещи, которые заставляли его слушать с интересом и прощать неловкости короткости. От старичка он подходил к великому князю и без вызова со стороны его высочества начинал, опять низко наклоняя лицо, говорить смешное и заставлял смеяться его высочество. Сановник [423*] говорил себе: il doit être très bien en cour [424*], глядя на его отношения с его высочеством, а его высочество, заметив его прогулку под руку с старичком, думал себе: он, видимо, в больших связях с этим сановником. Потом князь подходил к новому лицу, молодому человеку, только что начинающему выплывать при дворе, и князь, совсем незнакомый с ним, на всякий случай трепал [425*] по плечу и ласкал удивленного, но благодарного новичка.

Князь Василий совершенно справедливо говорил, что, ежели бы не дети, он бы был совершенно счастлив. Счастлив он был оттого, что дело его жизни совпадало с его вкусами, с его страстью к свету, к новым знакомствам, к изящной и разнообразной болтовне и ненасытному любопытству, равнявшемуся только его памяти. Annette D., с которой он пятнадцать лет в разговорах и переписках играл умной чувствительностью и надеждой на супружество, была одним из [426*] самых влиятельных лиц старого двора императрицы Марьи Федоровны. Он знал, что Annette D. была одна из тех придворных, которые от долгого пребывания при дворе и долгой, одинокой, т. е. холостой или девической жизни [427*], делаются

[420*] *Вместо* Ежели ~ достоинств *было:* Ежели я короток с ним

[421*] *Первоначально:* чутье

[422*] *Первоначально:* за панибрата

[423*] *Далее было:* глядя на него

[424*] его положение при дворе должно быть хорошо (франц.).

[425*] *Вместо* и князь ~ трепал *было:* и князь, почти незнакомый с ним, трепал его

[426*] *Вместо* Annette D. ~ одним из *было:* Annette D., кроме того, что была его другом женщиной, таким полу-другом, полу-любовницей в хорошем смысле, которые бывали у всех образованных людей того времени, с которой он в разговорах и переписках играл умом и чувствительностью, кроме того, она была, как он сам говорил, la cheville ouvrière ⟨главной пружиной⟩

[427*] *Далее начато:* утрачивают

нравственными кастратами, не имеющими других интересов, как интересы своих покровителей, но которые взамен этого и утрачивают все дурное придворной жизни — зависть, интригу, страсть к повышениям, и приобретают полное доверие своих господ.

Annette D. была верным слугою, как старая собака, старый дворовый, не признающие другой жизни, как жизнь при господине или госпоже [428*].

Притворяться и выказывать то, что она не думала или не чувствовала, она не могла. Она была слишком честная и хорошая натура; и потому с свойственной женщинам гибкостью она раз навсегда отреклась от себя, от всей своей жизни и полюбила всеми силами души одну свою госпожу и потому уже искренно думала и чувствовала только то, что думала и чувствовала ее высокая покровительница. Искренность ее, отсутствие всякого искательства так редки везде и особенно в том мире, в котором она жила, что эти качества были оценяемы, и чем меньше она желала делать для себя и для других, тем больше она могла сделать, и чем реже она высказывала свое особенное мнение [429*], тем оно более уважалось. Князь Василий [430*], не упускавший молодого флигель-адъютанта, не приобретя на всякий случай его поддержку, не мог не ценить своих отношений с нею.

Но и в этом случае, как и в других, он действовал не вследствие обдуманного макьявелического плана, но по какому-то ему самому необъяснимому влечению, которое инстинктивно тянуло его в короткость к тем, которые более всего ему были нужны. Как образуется механик, музыкант, воин, так точно образуется человек придворный и государственный. Успех в этом свете есть следствие характера, а не искусства [431*].

На полях рукописи конспективные записи:

л. 1 (стр. 385—386):

№ Вечер во всем разгаре. Разговоры с разных сторон. С одной о идеалистическом направлении двора нашего и антагонизме имп⟨ератрицы⟩ матери и Александра. С другой рассказ об Енгиенском. С третьей о дворе и интригах. Все размеренно.

Обзор политических событий и переговоры.

Нота 28 августа.

Новосильцев в Париже.

Ругают Австрию.

Благодеяния государя.

Тайная коалиция войска.

(Уже в Петербурге

В Петербурге в [августе] июне.

В Москве в сентябре.

А. М. переменить.

л. 4 об. (стр. 388):

Винценгероде в Австрии.

Не так делается его дипломация

Зачем переговоры?

[428*] *Далее было: а.* Ей было легко жить, не думая, не чувствуя от себя, а думая и чувствуя только то, что внушала ей ее глубокая не только преданность, но страсть к своей высокой покровительнице; *б.* Вследствие этого ей легко было жить, во-первых, потому, что не нужно было ни думать, ни чувствовать от себя, а делать только то, что внушала ей ее глубокая не только преданность, но страсть к своей высокой покровительнице, во-вторых, потому что искренняя любовь и преданность ее была оценена и все знали, что Annette D. всегда искренна.

[429*] *Вместо* чем реже ~ мнение *было:* чем реже мнение ее было противуположно мнению царствовавшему

[430*] *Далее было:* на всякий случай

[431*] *Вместо* Успех ~ искусства *было:* Это характер, более, чем искусство.

Затем чтобы потом задавить его. Пруссия будет видеть.

Австрия подличает.

На Англию надежды нет.

J'ai vu Novosilzoff [432]*.

Они не понимают самоотвер⟨жен⟩ности государя, но добродетель должна быть награждена.

Пруссия говорит, что ее побьют.

л. 5 (стр. 390):

Кутузова. Моро выписали, послали Палена. Я бы предложил D. Приятная поездка (во время разговора с Pierre'ом).

л. 8 об. (стр. 390):

К⟨нязь⟩ В⟨асилий⟩ без убеждений, фамильярный и умный, дети тягость.

Annette D., обожающая государыню.

— L'impératrice [désire voir] m'a dit des contes de votre fille. Elle l'a vue au bal. On la dit si belle.

— Elle viendra [433]*.

---

[432]* Я видел Новосильцева (франц.).

[433]* — Императрица [желает видеть] говорила мне чудеса о вашей дочери. Она видела ее на бале. Она так прекрасна.

— Она придет (франц.).

К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ «АННЫ КАРЕНИНОЙ»

ДВА РАННИХ НАБРОСКА РОМАНА (1873)

Статья и публикация В. А. Жданова

Как начать новое произведение — эта мысль неизменно волновала Толстого: «Всегда страшно начинать, когда дорожишь мыслью, как бы ее не испортить, не захватать дурным началом» (т. 84, с. 44).

В творчестве Толстого «начала», над которыми он так бился, разнообразны, и все-таки можно отметить некоторые совпадения. Сюжет произведения развертывается или в обычной последовательности (от завязки к кульминации и, наконец, развязке), или же, наоборот, начинается с кульминации, даже развязки, с последующим отходом в предысторию. В поисках начала «Войны и мира» Толстой прошел длинный творческий путь постепенного хронологического отхода от темы вернувшегося из ссылки декабриста к событиям 1812 г., а затем к событиям 1805 г. и первому столкновению России с Наполеоном.

Приступая к созданию «Воскресения», Толстой начал действие с описания знакомства молодого Нехлюдова с юной Катюшей, но затем изменил композицию, обратившись сразу к кульминации, т. е. к встрече героев в суде. При этом построении романа предыстория раскрывалась через воспоминания героев и авторские обобщения.

В «Анне Карениной»— другое решение. Первым порывом Толстого было начать с кульминации в романической фабуле. В двух ранних набросках, где сюжетная линия Карениных — Вронского очерчивала тогдашние границы произведения, кульминация была приурочена к сцене в светском салоне,— в этот вечер стали окончательно ясны отношения между Анной и Вронским. Затем Толстой отказался от такого плана, добившись в следующих рукописях нового построения, в котором вступлением является сцена знакомства Анны с Вронским на московском вокзале.

В течение многих лет существовало убеждение, что роман сразу создавался по тому плану, который запечатлен в завершенном произведении. Утверждалось, что Толстой будто бы начал «Анну Каренину» фразой «Все смешалось в доме Облонских», а впоследствии написал новое вступление о счастливых и несчастных семьях. Действительно, так начинается «Анна Каренина», но далеко не таков первый набросок этого произведения. Только после знакомства с рукописями романа представилась возможность восстановить ход работы писателя при создании «Анны Карениной» (см. об этом в нашей книге «Творческая история „Анны Карениной“». М., 1957).

Изучение рукописей было предпринято в 30-х годах для печатания романа в составе Юбилейного издания. Редактор соответствующего тома (т. 20) Н. К. Гудзий произвел тщательный разбор рукописного фонда «Анны Карениной», в результате чего стало бесспорным, что роман начинался совсем не так, как думали об этом прежде,— не сценой в доме Облонских в Москве, а встречей Анны с Вронским в светском салоне в Петербурге, т. е. сценой, занявшей место во второй части завершенного произведения. Правильность вывода подтверждается также свидетельством самого Толстого о той роли, которую для него в самом начале работы сыграло чтение прозы Пушкина, в частности наброска «Гости съезжались на дачу...». В этом отрывке говорится о том, что в салоне Вольской после спектакля собрались гости. Среди гостей была

замужняя женщина, влюбленная в Минского, который тоже присутствовал на вечере. Прочитав этот набросок, Толстой «невольно, нечаянно, сам не зная зачем и что будет, задумал лица и события, стал продолжать, потом, разумеется, изменил, и вдруг завязалось так красиво и круто, что вышел роман» (письмо к Н. Н. Страхову от 25 марта 1873 г.—т. 62, с. 16). Когда Толстой сообщал об этом своему корреспонденту, роман далеко еще не «вышел»,— для создания его потребовалось пять лет. Толстого привлекла манера Пушкина «приступать прямо к делу», «вводить в действие сразу» (Ф. И. Булгаков. Гр. Л. Н. Толстой и критика его произведений, русская и иностранная. Изд. 3. СПб., 1899, стр. 86). И первая сцена первого наброска будущего толстовского романа начинается по такой же схеме, как и отрывок Пушкина.

В Юбилейном издании напечатаны три начала «Анны Карениной» с одинаковой композицией. Второй — по счету этого издания (т. 20, с. 20—23) набросок — не получил развития и при восстановлении полного текста нами не учитывается.

В качестве первого редактор Юбилейного издания опубликовал небольшой отрывок, написанный на четырех листах бумаги и озаглавленный «Молодец-баба». Он содержит один незаконченный эпизод: съезд гостей после театра.

Публикация Юбилейного издания имеет большое принципиальное значение. Она устранила ошибку в определении начального, а значит и последующих этапов творческой работы писателя над «Анной Карениной». Однако редактор не до конца провел анализ. Вследствие этого он признал первым наброском романа тот, который по ходу работы Толстого занимает в действительности второе место, и, кроме того, он ошибся в установлении подлинного объема наброска «Молодец-баба»,— текст его значительно больше опубликованного.

В наброске, помещенном в Юбилейном издании в качестве первого (т. 20, с. 14—20), главные герои носят фамилию Каренины. Но среди черновых рукописей сохранился другой набросок, в котором фамилия этих героев не Каренины, а Ставровичи. Если допустить, что последовательность набросков определена в Юбилейном издании правильно, то выходит, что Толстой сначала выбрал фамилию Каренины, затем нашел другую— Ставровичи, но нигде ею не воспользовался и снова вернулся к первой фамилии, проведя ее впоследствии через все черновики. Это мало вероятно.

Приведем еще один довод, дающий право уже с полной уверенностью утверждать, что первоначальной является рукопись с фамилией героев Ставровичи. На нескольких листах этой рукописи имеются исправления, появившиеся в процессе дальнейшей работы над наброском «Молодец-баба» (главная перемена заключается в замене фамилии Ставровичи на Каренины). Ясно, что в качестве первоначальной должна быть определена рукопись, из которой был взят материал для позднейшей.

Первый набросок («Хозяйка только что успела снять соболью шубку...»), ошибочно показанный в Юбилейном издании третьим (т. 20, с. 23—46), не имеет заглавия. Он заключает в себе довольно развитую схему романа от начала до развязки. Имена действующих лиц такие: Михаил Михайлович и Татьяна Сергеевна Ставровичи (будущие Каренины), Иван Балашов (будущий Алексей Вронский). В эскизе содержится многое из того, что мы знаем по законченному произведению. Кроме изображения великосветского салона, где начинается действие, в наброске дано подробное описание событий, происшедших в день скачек. В отличие от законченного романа в этом первом наброске муж дает согласие на развод, и Татьяна Ставрович вступает в брак с Иваном Балашовым. Новый брак оказывается несчастливым, и Татьяна кончает самоубийством (бросается в Неву).

Таким образом, Толстой первоначально намеревался писать не социальный роман широкого охвата, а более узкий, семейный роман. Тема развода, вернее, морального осуждения развода, должна была стать центральной. Хотя в разработке этой темы Толстой колебался между двумя противоположными решениями ее (развод жена получила, и в разводе отказано),— конечный итог жизни в законном или в «гражданском» браке он предусматривал один и тот же: героиня, оставившая мужа и семью ради новой семьи, должна была уничтожить себя как нарушительница извечного закона. Из первого же наброска становится ясно, что утверждению морального принципа должно было сопутствовать острое столкновение героев с общественной средой.

Во втором наброске, озаглавленном «Молодец-баба», имена и фамилии героев изменились: они получили фамилию Карепины. Муж носит имя Алексей Александрович, будущая Анна уже не Татьяна Сергеевна, а Настасья Аркадьевна, сокращенно Нана; будущий Вронский — Алексей Гагин.

Изучение рукописей «Анны Карениной» дало возможность установить действительный объем второго (по нашему счету) наброска романа. Мы обратили внимание на две черновые рукописи (каждая из них состоит из нескольких листов, разобщившихся в архивном хранении случайно). Одна имеет заглавие «Молодец-баба», содержание другой тематически совпадает с предыдущей (в т. 20, вар. 37).

Текст первой рукописи обрывается на описании внешности Нана, только что вошедшей в заполненный гостями салон (см. стр. 429). К Нана еще не успел никто обратиться, она не сказала ни слова, а набросок «Молодец-баба» как будто уже исчерпал себя. Текст второй рукописи начинается внутренним монологом хозяйки салона: «Ну, так и есть,— подумала хозяйка, так же как и все в гостиной, с тех пор как она 〈Нана〉 вошла, невольно следившие за ней,— так и есть,— думала она, как бы по книге читая то, что делалось в душе Карениной» (см. стр. 430). Очевидно, что между этими двумя рукописями, принадлежность которых к одному этапу работы не вызывает сомнений, существовал какой-то связующий текст. В нем, разумеется, шла речь о поведении жены Каренина в этот вечер. Ведь из содержания второй рукописи видна только реакция гостей и хозяйки на то, что они увидели и что нам пока неизвестно.

Дальнейший анализ рукописей помог восстановить пробел. Оказывается, Толстой использовал для связки двух рукописей небольшой отрывок из первого (неозаглавленного) наброска («Хозяйка только что успела...»). Эта первая рукопись испещрена авторскими вставками и поправками, имеющими различное происхождение. Одни сделаны в процессе создания наброска, другие появились много позднее, когда эпизод в гостиной перестраивался для второй части уже оформившегося в своей окончательной структуре романа. Наконец, в небольшой части текста сделаны такие исправления имен супругов Ставровичей и Балашова, которые приспосабливают материал первого наброска к материалу второго («Молодец-баба»), а также к новой рукописи, присоединяемой нами к той, которая получила заглавие (М. М. Ставрович переименован в А. А. Каренина, его жена — в Нана Каренину и Балашов — в Гагина).

Сопоставление трех упомянутых рукописей: 1) имеющей заглавие «Молодец-баба», 2) нескольких листов из первоначального наброска (без заглавия), 3) новой рукописи с теми же именами, что и в «Молодец-баба»,— позволило установить, что весь этот материал, взятый как целое, является стройным текстом последовательного рассказа. Он значительно больше напечатанного в Юбилейном издании под заглавием «Молодец-баба».

Ход наших наблюдений таков. Опубликованный в т. 20 Юбилейного издания набросок «Молодец-баба» обрывается на том месте, где сказано, что Карепины вошли в гостиную, и добавлено несколько слов о внешности героини. (Находящийся в этой публикации текст от строки 6-й страницы 19-й до конца наброска ошибочно добавлен из рукописи позднейшего происхождения.) Текст, взятый в исправленном виде из рукописи первоначального (без заглавия) наброска, продолжает действие со слов, естественно обращенных хозяйкой к пришедшему позже других гостю: «Алексей Александрович, хотите чаю?» (до исправления имени Ставровича читалось: «Михаил Михайлович, хотите чаю?»). Следовательно, тексты «Молодец-баба» и вставка из первого наброска слиты воедино (см. стр. 429). Вставка посвящена злым пересудам светских людей и, главное, многообещающему разговору Нана Карениной и Гагина. Эта вставка заканчивается так: «И, нагнув голову, она взяла в зубы ожерелье черного жемчуга и стала водить им, глядя исподлобья и остановив взгляд на Гагине». Итак, мы получили первую возможность расширить набросок «Молодец-баба». Основанием для дальнейшего его расширения путем присоединения к нему еще одной рукописи послужило следующее.

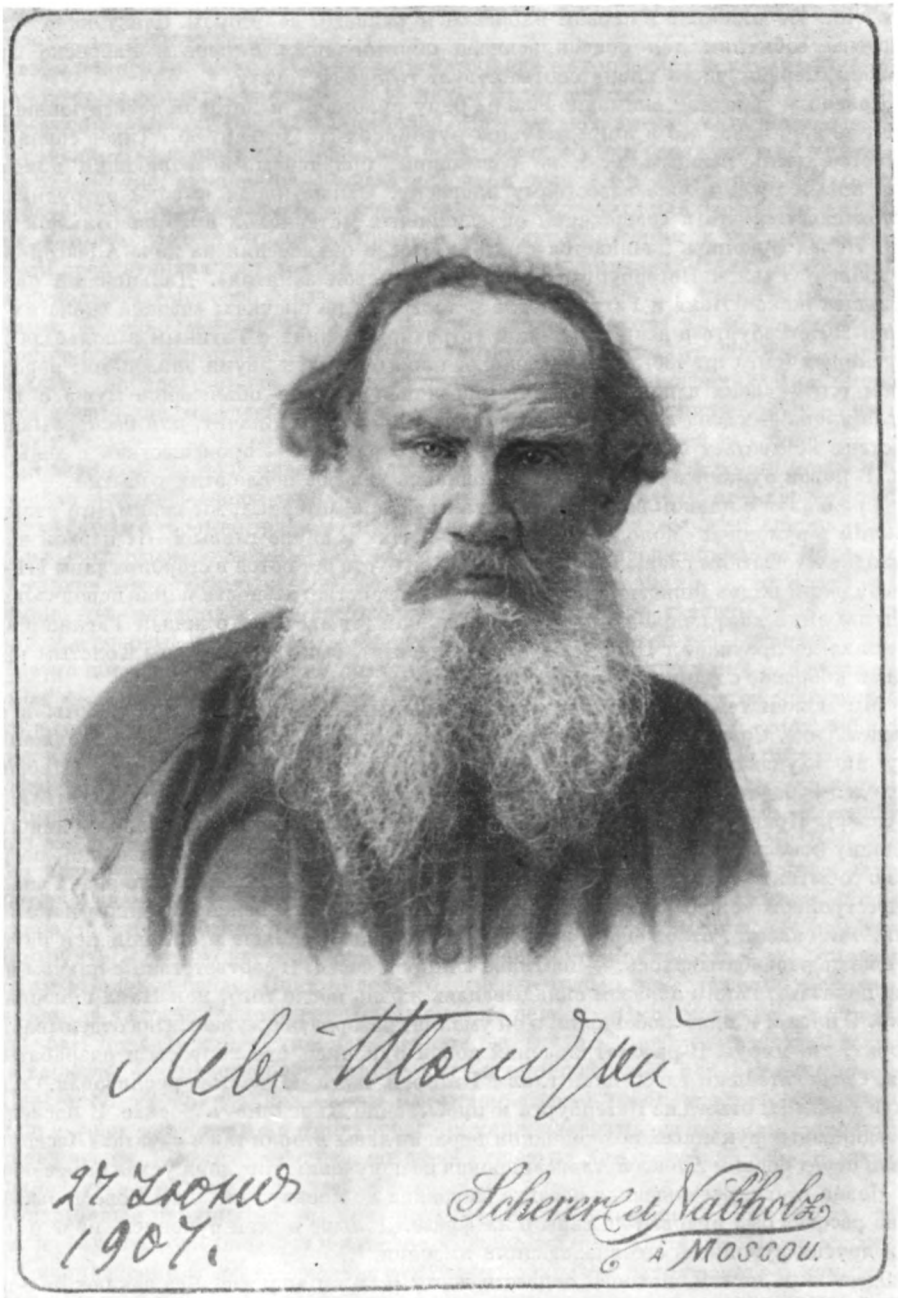
Из содержания завершенного романа известно, что поведение Анны и Вронского в гостиной Бетси Тверской (ч. 2, гл. VI—VII) произвело смущение в обществе. В рассматриваемой теперь рукописи как раз об этом и говорится. В начинающем эту рукопись внутреннем монологе хозяйки есть такая важная для нас

подробность о Карениной: «Теперь она взяла в рот жемчуг — жест очень дурного вкуса». Это в той же новой рукописи, но вспомним, что о жемчуге, который взяла в рот Нана, мы только что читали в листах другой рукописи, приспособленных для этого варианта. Указанная деталь и единство ее сюжетного обрамления связывают второй материал с третьим, доказывая тем самым правильность их соединения. Размер опубликованного в Юбилейном издании небольшого отрывка тем самым увеличен нами еще раз. Но сюжетные границы отрывка не на много вышли за пределы сцены в светском салоне. Рукопись заканчивается двумя новыми эпизодами: разговором Нана с Гагиным у кареты и объяснением мужа с женой после ее возвращения домой. Хотя муж не добился признания у жены, но понял все же, что «сущность несчастия совершилась».

Прервем пока дальнейший анализ рукописей и сопоставим уже известные нам два наброска романа. Сравнение их показывает, как заботился Толстой о разработке эпизода, носившего в первоначальной рукописи эскизный характер («Хозяйка только что успела...»). В этой рукописи нет еще заглавия, и вместо заглавия проведена какая-то волнистая черта; во втором наброске имеется четкое заглавие — «Молодец-баба». Кстати, об этом заглавии. По всей очевидности, оно относится не к задуманному роману в целом, а к части его, и во всяком случае не связывается с главной героиней. Ход наших наблюдений над дальнейшей судьбой этого варианта таков: во втором наброске действие значительно более развито, и ход событий логически оправдан, чего не хватает в первом, где можно заметить отсутствие необходимой мотивировки действия: поведение Татьяны Ставрович не было настолько откровенным, чтобы после этого вечера для нее были закрыты двери света. В наброске «Молодец-баба» образ действия Нана и Гагина укрепил догадки общества: «все чувствовали, что случилось что-то неприятно грубое, неприличное, постыдное». Беседа Нана с Гагиным отчетливо показала, какой близости достигли их отношения, а в первом наброске не были показаны ни поведение Татьяны, ни реакция окружающих, ни впечатление мужа. Только во втором наброске Толстой дает понять, что муж имел основания заподозрить жену. Видна и во втором неустойчивость в представлении писателя о внешности персонажей. Так, при входе Нана в салон Толстой рисует ее некрасивой (см. стр. 429), а немного дальше, при объяснении мужа с Нана, тот говорит об ее красоте (см. стр. 436). Это не авторский промах, а поиски художественно правдивой детали. Вспомним, что, рисуя лицо арестантки Масловой в «Воскресении», Толстой наделял его противоположными чертами. Так было и с Нана, облик которой отличается от внешности Татьяны Ставрович и Анны Карениной. Сравнение обоих отрывков не оставляет сомнения в том, какой из них следует считать первым. Первый краткий набросок превращался при дальнейшей его разработке в стройное, психологически обоснованное повествование.

Вернемся к прерванному нами восстановлению полного текста «Молодец-баба». Именно фраза о «сущности несчастия» помогла дальнейшим поискам. Она необычно убористо вписана в конец страницы, и видно, что перенесена с какого-то другого листа. Он сохранился. На этом листе в самом верху был написан тот самый текст о свершившемся несчастии, который перенесен в конец предыдущей рукописи. Здесь он зачеркнут, и вслед за вымаранными строками начата разработка плана всего будущего романа (т. 20, с. 3—5). Фраза, отброшенная в начале одной рукописи и перенесенная в конец другой, накрепко соединила обе эти рукописи. Совпадение имен действующих лиц в рукописи, присоединенной к «Молодец-баба», и в плане свидетельствует о внутренней связи двух внешне разобщенных материалов. Установив это, можно следующим образом представить творческий процесс на данном этапе. После того, как Толстой до конца исчерпал тему первого эпизода (встреча Нана с Вронским в светской гостиной и объяснение Нана с мужем), он начал размышлять о дальнейших перспективах и решил пока не продолжать действие, а записать план романа, начинавшего оформляться в его сознании. План состоит из четырех частей, по нескольку глав в каждой части (см. факсимиле двух листов рукописи на стр. 437 и 439).

Учитывая непосредственную связь листов, занятых планом, с рукописью расширенного произведения, озаглавленного «Молодец-баба», можно с уверенностью сказать, что работа писателя над сценами в салоне и в доме Карениных подвела-



ТОЛСТОЙ

Фотография 1896 г. с автографом Толстого: «Лев Толстой. 27 июня 1907 г.»
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

к разработке развернутого плана произведения. Начальные две главы плана отражают то, что возникло в первом наброске и развито во втором. Следующие четыре отведены событиям дня скачек, эскизно обрисованным в первом наброске. Таким образом, первая часть плана соответствует готовому тексту.

Далее мы обратили внимание еще на одну рукопись, в которой действующие лица носят те же имена, что и в предыдущих рукописях (т. 20, вар. 66). Такое совпадение является очень важным, если не решающим, признаком, позволяющим присоединить новый текст к уже известному наброску. Однако наши выводы затрудняло то обстоятельство, что в содержании объединенных материалов имеется большой перерыв. Новая рукопись начинается фразой: «После объяснения на даче Алексей Александрович уехал в Петербург и погрузился в свои занятия». Дальнейший рассказ посвящен жизни Нана и Гагина после катастрофы на скачках; создана сцена их свидания в Петербурге в день нечаянной встречи Каренина с Гагиным в подъезде дома Карениных (см. стр. 436). Следовательно, план обрамлен двумя эпизодами: перед началом его — сцена в доме княгини Врасской и затем — объяснение мужа с Нана. После плана — сцена в петербургском доме Карениных. Значит, для беспрерывности действия не хватает большого промежуточного раздела — происшествий в день скачек. В новой рукописи действие возобновилось как раз после этих событий.

Сравнивая с планом весь известный нам теперь материал, мы видим, что развитие событий в рукописи «Молодец-баба», занимающих в плане главы I—II первой части, подходит к событиям главы I второй части. Как будто остаются в стороне главы III—VI первой части плана (описание дня скачек), но в действительности и они использованы. События этого дня, подробно намеченные планом (от рассказа о жизни Гагина в артели полка до признания Нана мужу в неверности), были изображены Толстым уже в первом наброске с фамилией героев Ставровичи.

Мы можем теперь представить себе дальнейший ход творческой работы в следующем виде. Создав законченный план всего произведения, Толстой продолжал работу над художественным воплощением отдельных намеченных сцен. Набросок «Молодец-баба» готов, и следующий эпизод (скачки) тоже написан (в предшествующем наброске). Правда, он требовал некоторой доработки — приспособления раннего к позднему (как раньше было сделано с небольшой вставкой к сцене в салоне), но рассказ о событиях этого рокового дня все-таки написан. Творческая мысль звала вперед, с перестройкой можно было не торопиться, и эти листы в неисправленном пока виде были, так сказать, отложены в запас. Толстой пошел дальше и остановился на том, что еще не разрабатывалось, — на главе I второй части. В соответствии с планом надо было показать, каким образом складывалась жизнь после того, как Нана призналась мужу. В плане: «Сидят любовники, и он умоляет разорвать с мужем. Она отделывается, говорит, что умру». В рассматриваемой новой рукописи эти вопросы и разрабатываются. Следовательно, здесь план главы I второй части полностью реализован. Содержание главы II: отъезд из Петербурга и пребывание Каренина в Москве. В последней из соединенных рукописей по окончании первой главы вторая так и начата: «Несколько недель перед родами Алексей Александрович по поручению государя уехал на ревизию».

Новая глава, посвященная поездке Каренина в Москву, началась повествовательно, но рассказ был прерван на первой же фразе. Дальше в этой рукописи ничего нет, нет и других рукописей с совпадающими именами.

Здесь мы можем наконец подвести черту в своем анализе. Без заключительных слов, буквально на ходу оборвалась работа над наброском, озаглавленным «Молодец-баба», который должен был, судя по плану, вылиться в законченное произведение (но, конечно, не с этим заглавием).

Содержание рукописей, объединенных этим заглавием, сводится к следующему:

1. Сцена в салоне княгини Врасской (будущей Бетси Тверской), затем сцена в доме Карениных (объяснение супругов).

2. К этим эпизодам примыкает план произведения.

3. За планом идет рассказ о жизни Карениных после катастрофы на скачках.

4. От изображения жизни Карениных и Гагина после признания Нана мужу писатель перешел к рассказу о том, что Каренин уехал в Москву, где должен был решить-

ся вопрос о разводе. После первой же фразы об этой поездке Толстой прервал работу над вторым наброском романа.

Чтобы понять значение публикуемого материала в творческих исканиях Толстого, надо вкратце напомнить, как проходила дальнейшая работа.

Набросок «Молодец-баба» был оставлен. Важные мотивы побудили автора начать новые поиски. Два первых наброска, как бы ни были велики различия в их художественной разработке, начинались с одной исходной позиции и включали в себя психологическую тему Карениных и Вронского. Толстой искал пути для расширения проблематики, которую следует выразить в произведении большой формы, и для этого следовало ввести действующих лиц другой общественной группировки. План, находящийся среди рукописей «Молодец-баба», не предусматривал этого. В третьем наброске с условным, очевидно, заголовком «N.N.» действие начато в Москве, в доме Гагина, и здесь появляется новый персонаж— Костя Нерадов, приятель Гагина (т. 20, вар. 4; упоминание в этом наброске имени Карениной позднейшего происхождения). Для характеристики нового действующего лица сделано лишь несколько штрихов, но все они напоминают будущего Константина Левина. (Нерадов «не такой, как все люди»).

Так велика была возникшая у Толстого потребность ввести в роман новое лицо, выразителя будущей «левинской» линии в романе, что писатель на какое-то время как будто забыл о героине, ради которой было задумано произведение. Однако тут же он начал четвертый набросок (т. 20, вар. 6), впервые озаглавив его «Анна Каренина».

Заглавие говорит само за себя. Толстой вернулся к исходной теме, но начал ее по-новому: не кульминация в салоне будущей Бетси Тверской, а завязка на московском вокзале, где впервые встретилась Анна (уже не Нана) Каренина с Гагиным.

Третий и четвертый наброски небольшие по объему. Однако в них появился один из самых важных персонажей романа — будущий Левин. В четвертом произведение начато с событий, связанных с боковой сюжетной линией, с семейной ссоры будущих Облонских, что является излюбленным приемом Толстого. Как ни велика роль этих набросков, они не удержались в романе. Толстой продолжал поиски другой завязки, и его привлекла возможность в первую очередь обрисовать нового героя, который должен занять в романе выдающееся место. Появился пятый вариант. Он очень большой по размеру, и его нельзя назвать, как предыдущие, наброском. Роман открывается описанием выставки скота; в этой сцене во всей глубине и яркости проявились характерные особенности уже не Нерадова, но еще и не Левина,— Ордынцева.

В структуре пятого варианта самое интересное — это прямая связь его материала с текстом «Молодец-баба». Повторилось то, что случилось при создании второго наброска, когда часть материала перешла в него из первого. На этот раз весь текст «Молодец-баба» (от светской гостиной до отъезда Каренина в Москву на ревизию) вошел в пятый вариант, неизмеримо разросшийся в сравнении с первыми набросками и планом.

Поиски общей композиции «Анны Карениной» на этом закончились. Создано все для дальнейшего развития многопланового романа, запечатлевшего важнейшие стороны жизни эпохи. Шестого варианта, подобного предыдущим, в котором бы произведение намечалось в полном виде, нет.

В настоящей публикации мы приводим первые два наброска. В них нет каких-то совсем новых, не вошедших в Юбилейное издание текстов Толстого. Наша задача — внести исправления в первоначальную публикацию. Она заключается в том, чтобы устранить допущенное в Юбилейном издании смешение текстов, относящихся к разным этапам работы Толстого над «Анной Карениной», а также напечатать первые два наброска романа в правильной последовательности, а второй из них — в его действительном объеме, впервые нами установленном.

Рукописи публикуемых текстов исправлялись Толстым как в процессе их создания, так и много позднее, в период приспособления их к новым вариантам романа. Нами воспроизводится первоначальный слой рукописей. Позднейшие исправления и добавления не печатаются. Из заметок на полях воспроизводятся только те, которые бесспорно относятся к ранней стадии работы Толстого над рукописью.

⟨ПЕРВЫЙ НАБРОСОК⟩

I

[1*] Хозяйка только что успела снять соболью шубку в передней и отдать приказанья дворецкому о чае для гостей в большой гостиной, как уж другая карета загремела у подъезда [2*]. Хозяйка только улыбкой встретила гостей (она их видела сейчас только в опере и позвала к себе) и, поспешно отцепив неловкой рукой в перчатке кружево от крючка шубы, скрылась за тяжелой портьерой.

— Оторву мужа от его гравюр и пришлю к вам,— проговорила хозяйка из-за портьеры.

Генерал [3*], блестя эполетами [4*], а жена его обнаженными плечами, оправлялись перед [5*] зеркалами, между цветов. Два [6*] беззвучные лакея следили за каждым их движением, ожидая мгновенья [7*] отворить двери в [8*] зало. За генералом вошел дипломат с измученным лицом [9*], и [10*], пока они говорили, проходя через зало, хозяйка, уж [11*] вытащив мужа из кабинета, шумя платьем, шла навстречу гостей в большой гостиной.— По голубому ковру в [12*] обдуманном свете гостиной собралось общество.

— Пожалуйста, не будем говорить об Виардо [13*]. Я сыта *Виардою*. Кити обещала приехать. Надеюсь, что не обманет. Садитесь сюда поближе ко мне, князь. Я так давно не слыхала вашей желчи.

— Нет, я смирился уж давно. Я весь вышел.

— Как же не оставить про запас для друзей?

— В ней много пластического,— говорили с другой стороны [14*].

— Я не люблю это слово.

— Могу я вам предложить чашку чая?

По мягкому ковру обходят кресла и подходят к хозяйке за чаем.

Хозяйка, поднявши розовый мизинчик, поворачивает кран серебряного самовара и передает китайские прозрачные чашки.

— Здравствуйте [15*], княгиня,— говорит слабый голос из-за спины гостьи. Это хозяин вышел из кабинета.— Как вам понравилась опера, «Травиата», кажется? Ах, нет, «Дон Жуан».

— Вы меня испугали. Как можно так подкрадываться. Здравствуйте.

Она ставит чашку, чтоб подать ему тонкую с розовыми пальчиками руку.

— Не говорите, пожалуйста, про оперу, вы ее не понимаете.

Хозяин здоровывается с гостями и садится в дальнем от жены углу стола. Разговор не умолкает. Говорят о Ставровиче и его жене и, разумеется,

---

1* *Перед этим было начато:* Г⟨ости⟩
2* *Далее начато:* Сейчас. Извините меня.
3* *Далее начато: а.* с женой; *б.* с блестящи⟨ми⟩
4* *Далее начато: а.* и голою; *б.* обнажен⟨ною⟩
5* *Далее начато:* вид⟨невшимися?⟩
6* *Далее начато:* моло⟨дые⟩
7* *Далее начато:* поднять портьеру
8* *Далее начато:* в столовую
9* *Далее начато:* за ним
10* *Далее начато:* еще
11* *Далее начато:* шумя платьем, вб⟨ежала⟩
12* *Далее начато:* слаб⟨ом⟩
13* *Первоначально:* об Нильсон.
14* *На полях заметки:*
Застенчива.
Необыкновенно неприлична.
Он смешон.
Она насмешлива.
Сестра Л⟨еонида⟩ Д⟨митрича⟩ страдает и оттого, что дети тоже что он
15* *Здесь и далее в автографе:* здрастуйте.

говорят зло, иначе и не могло бы это быть предметом веселого и умного разговора.

— Кто-то сказал,— говорит дипломат,— что народ имеет всегда то правительство, которое он заслуживает; мне кажется, и женщины всегда имеют того мужа, которого они заслуживают [16*]. Наш общий друг Михаил Ми⟨хайлович⟩ Ставрович есть [17*] тот муж, которого заслуживает его красавица жена.

— О! Какая теория! Отчего же не муж имеет жену, какую...

— Я не говорю. Но госпожа Ставрович слишком хороша, чтоб у нее был муж, способный любить...

— Да и с слабым здоровьем.

— Я одного не понимаю,— в сторону сказала одна дама,— отчего М-me Ставр⟨ович⟩ везде принимают. У ней ничего нет — ни имени, ни tenue [18*], за которое бы можно было прощать.

— Да ей есть что прощать. Или будет.

— Но так прежде чем решать вопрос о прощении обществу, принято, чтоб прощал или не прощал муж, а он, кажется, и не видит, чтобы было что-нибудь à pardonner [19*].

— Ее принимают оттого, что она соль нашего пресного общества.

— Она дурно кончит, и мне просто жаль ее.

— Она дурно кончила,— сделалась такая обыкновенная фраза.

— Но милее всего он. Эта тишина, кротость, эта наивность.

[20*].— Эта ласковость к друзьям его жены.

— Милая Софи.— Одна дама показала на девушку, у которой уши не были завешаны золотом.

[21*]— Эта ласковость к друзьям его жены,— повторила дама,— он должен быть очень добр. Но если б муж и вы все, господа, не говорили мне, что он дельный человек (дельный — это какое-то кабалистическое слово у мужчин), я бы просто сказала, что он глуп.

— Здравствуйте, Леонид Дмитрич,— сказала хозяйка, кивая из-за самовара, и поспешила прибавить громко [22*] подчеркнуто: —а что, ваша сестра М-me Ставрович будет?

Разговор о Ставрович затих при ее брате.

— Откуда вы, Л⟨еонид⟩ Д⟨митрич⟩, верно, из Буфф? [23*]

— Вы знаете [24*], что это неприлично, но что ж делать, опера мне скучно, а это весело. И я досиживаю до конца. Нынче...

— Пожалуйста, не рассказывайте...

Но хозяйка не могла не улыбнуться, подчиняясь улыбке искренней, веселой открытого, красивого с крас⟨ивыми⟩ т⟨онкими⟩ г⟨убами⟩ и б⟨ольшого?⟩ в⟨ыразительного?⟩ лица Л⟨еонида⟩ Д⟨митрича⟩.

— Я знаю, что это дурной вкус. Что делать...

И Л⟨еонид⟩ Д⟨митрич⟩, прямо нося свою широкую грудь в морском мундире, подошел к хозяину и уселся с ним, тотчас же вступив в новый разговор.

— А ваша жена? — спросила хозяйка.

— Все по-старому, что-то там в детской, в классной, какие-то важные хлопоты.

[16*] *Далее начато:* Ставров⟨ич⟩
[17*] *Далее начато:* имен⟨но⟩
[18*] манеры держать себя (франц.).
[19*] прощать (франц.).
[20*] *Далее начато: а.* Он; *б.* Я бы сказала, ч⟨то?⟩
[21*] *Перед этим начато:* Ах, не
[22*] *Первоначально:* очень громко
[23*] *Первоначально:* из фр⟨анцузского⟩ театра
[24*] *Далее начато:* мою слаб⟨ость⟩

Немного погодя вошли и Ставровичи, Татьяна Сергевна в желтом с черным кружевом платье, в венке и обнаженная больше всех.

Было вместе что-то вызывающее, дерзкое в ее одежде и быстрой походке и что-то простое и смирное в ее красивом румяном лице с большими черными глазами и такими же губами и такой же улыбкой, как у брата[25]*.

— Наконец и вы,— сказала хозяйка,— где вы были?

— Мы заехали домой, мне надо было написать записку[26]* Балашову. Он будет у вас?

— Этого недоставало,— подумала хозяйка.— Не знаю,— сказала она.

— Мих⟨аил⟩ Мих⟨айлович⟩, хотите чаю?

Лицо М⟨ихаила⟩ М⟨ихайловича⟩, белое, бритое, пухлое и сморщенное, сморщилось в[27]* улыбку, которая была бы притворна, еслиб она не была так добродушна, и начал мямлить что-то, чего не поняла хозяйка, и на всякий случай подала ему чаю. Он аккуратно разложил салфеточку и, оправив свой белый галстук и сняв одну перчатку, стал всхлипывая отхлебывать. Чай был горяч, и он[28]* поднял голову и собрался говорить. Говорили об Офенбахе, что все-таки есть прекрасные мотивы. М⟨ихаил⟩ М⟨ихайлович⟩ долго собирался сказать свое слово, пропуская время, и наконец сказал, что Офенбах, по его мнению, относится к музыке, как M-r Jabot относится к живописи, но он сказал это так не вовремя, что никто не слыхал его. Он замолк, сморщившись в добрую улыбку, и опять стал пить чай.

Жена его между тем, облокотившись обнаженной рукой на бархат кресла и согнувшись так, что плечо ее вышло из платья, говорила с дипломатом громко, свободно, весело о таких вещах, о которых никому бы не пришло в голову говорить в гостиной.

— Здесь говорили,— сказал дипломат,— что всякая жена имеет мужа, которого заслуживает. Думаете вы это?

— Что это значит,— сказала она,— мужа, которого заслуживает? Что же можно заслуживать в девушках? Мы все одинакие, все хотим выйти замуж и боимся сказать это, все влюбляемся в первого мужчину, который попадется, и все видим, что за него нельзя выйти.

— И раз ошибившись, думаем, что надо выдти не за того, в кого влюбились,— подсказал дипломат.

— Вот именно.

Она засмеялась громко, весело, перегнувшись к дипломату[29]*, сняв перчат⟨ки⟩, взяла чашку.

— Ну а потом?

— Потом?— сказала она задумчиво.

— Потом?

Он смотрел улыбаясь, и несколько глаз обратились на нее.

— Потом, я вам расскажу через 10 лет.

— Пожалуйста, не забудьте.

— Нет, вот вам слово,— и она с своей непринятой свободой подала ему руку и, встав, тотчас же обратилась к генералу[30]*: Когда же вы приедете к нам обедать?

И, оттянув ожерелье черного жемчуга[31]*, стала водить им, глядя исподлобья...

---

[25]* *На полях:* Застенчива. Скромна.

[26]* *Далее начато: а.* Кура⟨кину?⟩; *б.* Корсак⟨ову?⟩; *в.* Неволи⟨ну?⟩; *г.* Воль⟨скому?⟩

[27]* *На полях:* что-то противное и слабое

[28]* *Далее было:* собрался

[29]* *Далее начато:* и взяла чашку

[30]* *Вместо* обратилась к генералу *было:* отошла к другому столу и села за альбомы.

[31]* *Далее начато:* она взя⟨ла⟩

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ТОЛСТОГО НА ПЕРВОМ ТОМЕ РОМАНА «АННА КАРЕНИНА» (М., 1878):

«Дорогой сестре Марье Николаевне Толстой от Автора»

Архив Толстого, Москва

В 12-м часу взошел Балашов. Его невысокая коренастая фигурка всегда обращала на себя вниманье, хотел или не хотел он этого. Он, поздоровавшись с хозяйкой, не скрываясь, искал глазами и, найдя, поговорив, что нужно было, подошел к ней. Она перед этим встала, выпустив ожерелье из губ, и прошла к столу в угле, где были альбомы. Когда он стал рядом, они были почти одного роста. Она тонкая и нежная, он черный и грубый. По[32*] странному семейному преданию, все Балашовы носили серебряную кучерскую серьгу в левом ухе, и все были плешивы. И Ив⟨ан⟩ Б⟨алашов⟩, несмотря на 25 лет, был уже плешив, но на затылке курчавились черн⟨ые⟩ волосы, и борода, хотя свежевыбритая, синела по щек⟨ам⟩ и подбородку. С совершенной свободой светского человека он подошел к ней, сел, облокотившись над альбом⟨ами⟩, и стал говорить, не спуская глаз с ее разгоревшегося лица. Хозяйка была слишком светская женщина, чтоб не скрыть неприличности их уединенного разговора. Она подходила к столу, за ней др⟨угие⟩, и вышло незаметно. Можно было начас сходить, и вышло бы хорошо. От этого-то многие, чувствуя себя изящ⟨ными⟩ в ее гостиной, удивлялись, чувствуя себя снова мужиками вне ее гостиной.

Так до тех пор, пока все стали разъезжаться, просидели вдвоем Татьяна и Балашов. М⟨ихаил⟩ М⟨ихайлович⟩ ни разу не взглянул на них[33*]. Он говорил о миссии — это занимало его — и, уехав раньше других, только сказал:

— Я пришлю карету, мой друг.

32* *Далее начато:* странной при⟨вычке⟩

33* *Далее начато:* и, сказав жене

Т⟨атьяна⟩ вздрогнула, хотела что-то сказать: — Ми..,— но М⟨ихаил⟩ М⟨ихайлович⟩ уж шел к двери[34*].

С этого дня Т⟨атьяна⟩ С⟨ергеевна⟩ не получила ни одного приглашения на балы и вечера б⟨ольшого⟩ света.

II

Прошло 3 месяца.

Стояло безночное петербургское лето[35*], все жили по деревням, на дачах и на водах за границей. М⟨ихаил⟩ М⟨ихайлович⟩ оставался в Петербурге по делам своей службы и избранного им любимого занятия миссии на востоке. Он жил в Петербурге и на даче в Царском, где жила его жена. М⟨ихаил⟩ М⟨ихайлович⟩ все реже и реже бывал последнее время на даче и все больше и больше погружался в работу, выдумывая ее для себя, несмотря на то, что домашний доктор находил его положение здоровья опасным и настоятельно советовал ехать в Пирмонт. Доктор Гофман был друг М⟨ихаила⟩ М⟨ихайловича⟩. Он любил, несмотря на все занятое время, засиживаться у Ставр⟨овича⟩.

— Я еще понимаю наших барынь, они любят[36*] становиться к н⟨ам⟩, докт⟨орам⟩, в положение детей — чтоб мы приказывали, а им бы можно не послушаться, скушать яблочко, но вы знаете о себе столько же, сколько я. Неправильное отделение желчи — образование камней, оттого раздражение нервной системы, оттого общее ослабление и большое расстройство, circulus viciosus[37*], и выход один — изменить наши усложненные привычки в простые. Ну, поезжайте в Царское, поезжайте на скачки. Держите пари, пройдитесь верст 5, посмотрите...

— Ах да, скачки,— сказал М⟨ихаил⟩ М⟨ихайлович⟩.— Нет, уж я в другой раз, а нынче дело есть.

— Ах, чудак[38*].

— Нет, право, доктор, — мямля проговорил М⟨ихаил⟩ М⟨ихайлович⟩, — не хочется. Вот дайте срок, я к осени отпрошусь у государя[39*] в отпуск и съезжу в деревню и в Москву. Вы знаете, что при Покровском монастыре открыта школа миссионеров. Очень, очень замечательная.

В передней зазвенел звонок, и[40*], только что входил директор, старый приятель М⟨ихаила⟩ М⟨ихайловича⟩, в передней раздался другой звонок. Директор, стально-седой сухой человек, заехал только затем, что⟨бы⟩ представить М⟨ихаилу⟩ М⟨ихайловичу⟩ англ⟨ичанина⟩ миссионера, приехавшего из Индии, и второй звонок б⟨ыл⟩ миссионера. М⟨ихаил⟩ М⟨ихайлович⟩ принял того и другого и сейчас же вступил с англич⟨анином⟩ в оживленную беседу. Дир⟨ектор⟩ вышел вместе с доктором. Док⟨тор⟩ и д⟨иректор⟩ остановились на крыльце, дожидаясь кучера извозчичьей коляски д⟨иректора⟩, который торопливо отвязывал только что подвязанные торбы.

— Так нехорошо? — сказал д⟨иректор⟩.

— Очень,— отвечал доктор.— Если бы спокойствие душевное, я бы ручался за него.

— Да, спокойствие,— сказал директор.— Я тоже ездил в Карлсбад, и ничего, оттого что я неспокоен душою.

34* *Далее начато:* Я вы⟨шлю?⟩

35* *Вместо* Стояло ~ лето *было начато:* Уж наступала безночная весна Петербурга, уже разъез⟨жались⟩. *После* лето *начато:* балы

36* *Далее начато:* чтобы им прика⟨зывали⟩

37* заколдованный круг (лат.). *В подлиннике*: circulum viciosum.

38* *Далее начато:* Ну вот видите,— сказал М⟨ихаил⟩ М⟨ихайлович⟩, обр⟨ащаясь?⟩

39* *Далее начато:* в Москву и в деревню

40* *Далее начато:* не успел еще

— Ну да, иногда еще можно, а где ж М⟨ихаилу⟩ М⟨ихайловичу⟩ взять спокойствие с его женушкой.

Доктор молчал, глядя вперед на извозчика, поспешно запахивающего и засовывающего мешок с овсом под сиденье.

— Правда, что она беременна? — ск⟨азал⟩ д⟨иректор⟩.

— Да, это правда,— также сухо ск⟨азал⟩ д⟨октор⟩.

— После 6 лет. Как странно.

— Вы, верно, на дачу,— сказ⟨ал⟩ д⟨октор⟩.

— До свиданья. Захар, подавай.

И оба разъехались. Дир⟨ектор⟩ ехал и с удов⟨ольствием⟩ думал о том, как хорошо устраивает судьба, что не все дается одному. Пускай М⟨ихаил⟩ М⟨ихайлович⟩ моложе его, имеет доклады у государя и тон, что он пренебрегает почестями, хотя через две получил Владимира, зато в семейной жизни он упал так низко.

Доктор думал, как ужасно устроила судьба жизнь такого золотого человека, как М⟨ихаил⟩ М⟨ихайлович⟩. Надо было ему[41*] это дьявольское наваждение — женитьбы, и такой женитьбы. Как будто для того только, чтоб втоптать его в грязь перед такими людьми, как этот директор.

III

Иван Балашов обедал в артели своего полка раньше обыкновенного. Он сидел[42*] в расстегнутом над бел⟨ым⟩ жилетом сюртуке, облокотившись обеими руками на стол, и, ожидая заказ⟨анного⟩ обеда, читал на тарелке франц⟨узский⟩ роман.

— Гей, человек! Пошли ко мне, чтоб Корд сейчас пришел сюда,— сказал он[43*]. Подали суп[44*] в серебрян⟨ой⟩ мисочке, и он вылил себе на тарелку. Он доедал суп, когда в столовую вошли офицер и статский.

Б⟨алашов⟩ взглянул на них и отвернулся опять, будто не видя.

— Что, подкрепляешься на работу,— сказал[45*] офицер, садясь подле него.

— Да. Ты видишь.

— А вы не боитесь потяжелеть,— сказал толстый, пухлый штатский, садясь подле молодого офицера.

— Что? — сердито сказал Б⟨алашов⟩.

— Не боитесь потяжелеть, граф?

— Гей, человек, подай мой херес,— сказал Б⟨алашов⟩, не отвечая.

Штатский тоже спросил у офицера, будет ли он пить, и, умильно глядя на него, просил его выбрать.

— И вели подать.

Твердые шаги послышались в зале, вошел молодчина-ротмистр и ударил по плечу Б⟨алашова⟩.

— Так умно, Ваня. Я за тебя держу с Голицыным.

Вошедший точно так же сухо отнесся к штатскому и офицерику, как и Б⟨алашов⟩. Но Б⟨алашов⟩ весело улыбнулся ротмистру.

— Что же ты вчера делал? — спросил он.

— Проиграл пустяки.

— Пойдем, я кончил,— сказал Б⟨алашов⟩[46*].

[41*] *Далее начато:* жену

[42*] *Далее начато:* облокотившись обоими локтя⟨ми⟩

[43*] *Далее начато:* и опять

[44*] *Первоначально:* Когда ему подали суп

[45*] *Далее начато: а.* старший; *б.* младший

[46*] *Вместо* Пойдем ~ Балашов *было:* Пойдем [ко мне] в биллиардную. Туда вели принести.

И, встав, они пошли к двери. Р⟨отмистр⟩ громко, почти не стесняясь, сказал:

— Эта гадина как мне надоела. И мальчишка жалок мне.

— Да. Я больше не буду есть. Ни шампанского, ничего.

В биллиардной никого не было еще, они сели рядом. Р⟨отмистр⟩ выгнал маркера.

Корд, англичанин, пришел и на вопрос Б⟨алашова⟩, о том, как лошадь Tiny[47]*, получил ответ, что весела и ест корм, как следует есть честной лошади.

— Я приду, когда вести,— сказал Б⟨алашов⟩ и отправился к себе, чтоб переодеться во все чистое и узкое для скачки. Р⟨отмистр⟩ пошел с ним и лег, задрав ноги, на кровать, пока Б⟨алашов⟩ одевался. Товарищ, сожитель Б⟨алашова⟩ Несвицкий, спал. Он кутил всю прошлую ночь. Он проснулся[48]*.

— Твой брат был здесь, — сказал он Б⟨алашову⟩. — Разбудил меня,черт его возьми, сказал, что придет опять. Это кто тут? Грабе? Послушай, Грабе. Чтó бы выпить после перепою? Такая горечь, что...

— Водки лучше всего. Терещенко, водки барину и огурец.

Б⟨алашов⟩ вышел в подштаниках, натягивая в шагу.

— Ты думаешь, это пустяки. Нет, здесь надо, чтоб было узко и плотно, совсем другое, вот славно.— Он поднимал ноги.— Новые дай сапоги.

Он почти оделся, когда пришел брат. Такой же плеш⟨ивый⟩, с серьгой, коренастый и курчавый.

— Мне поговорить надо с тобой.

— Знаю,— сказал Иван Б⟨алашов⟩, покраснев вдруг.

— Ну, секреты, так мы уйдем.

— Не секреты. Если он хочет, я при них скажу.

— Не хочу, потому что знаю все, что скажешь, и совершенно напрасно.

— Да и мы все знаем,— сказал, выходя из-за перегородки в красном одеяле Несв⟨ицкий⟩.

— Ну, так что думают *там*, мне все равно. А ты знаешь лучше меня, что в этих делах никого не слушают люди, а не червяки. Ну и все. И пожалуйста, не говори, особенно там.

Все знали, что речь шла о том, что[49]* тот, при ком состоял старший брат Б⟨алашова⟩,[50]* б⟨ыл⟩ недоволен тем, что Б⟨алашов⟩ компрометировал Став⟨рович⟩.

— Я только одно говорю,— ск⟨азал⟩ ст⟨арший⟩ брат,— что эта неопределенность нехороша. Уезжай в Ташкент, за границу, с кем хочешь, но не...

— Это все равно, как я сяду на лошадь, объеду круг, и ты меня будешь учить, как ехать. Я чувствую лучше тебя.

— И не мешай, он доедет,— закричал Н⟨есвицкий⟩.— Послушайте, кто же со мной выпьет? Так водки, Грабе? Противно. Пей. Потом пойдем смотреть, как его обскачут, и выпьем с горя.

— Ну, однако, прощайте, пора,— ск⟨азал⟩ И⟨ван⟩ Б⟨алашов⟩, взглянув на отц⟨овский⟩ стар⟨инный⟩ брегет, и застегнул куртку.

— Постой, ты волоса обстриги.

— Ну, хорошо.

47* *Первоначально:* Джим

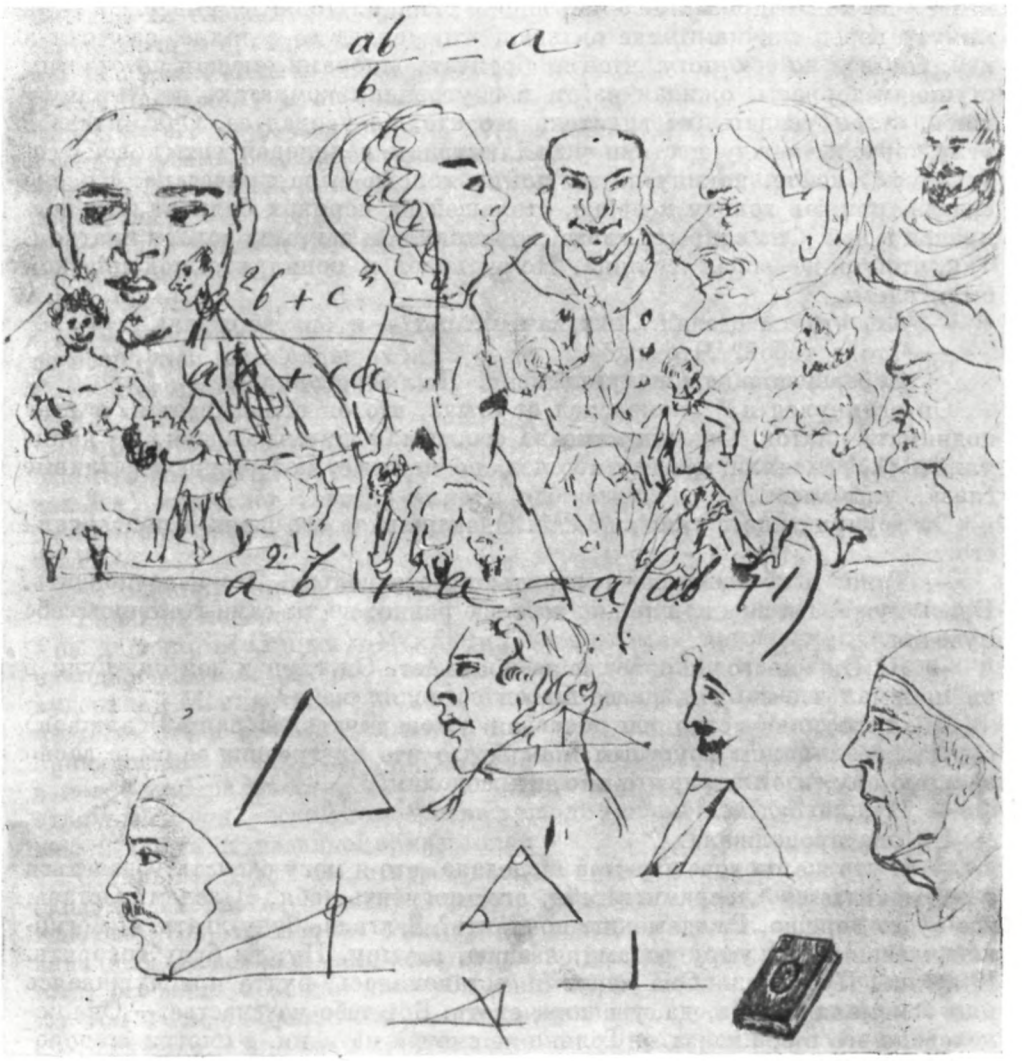
48* *Первоначально:* и только проснулся.

49* *Далее начато:* при дворе одно лицо

50* *Далее начато*: заметил, чт⟨о⟩

Иван Балашов надвинул прямо с затылка на лысину свою фуражку и вышел, еще разминаясь ногами.

Он зашел в конюшню, похолил Tiny, которая, вздохнув тяжело при его входе в стойло, покосилась на него своим большим глазом и, отворотив левое заднее копыто, свихнула зад на одну сторону. «Копыто-то,—



РИСУНКИ ТОЛСТОГО НА ЛИСТЕ РУКОПИСИ «АННЫ КАРЕНИНОЙ»
Архив Толстого, Москва

подумал И⟨ван⟩ Б⟨алашов⟩.— Гибкость!» Он подошел еще ближе, перекинул прядь волос с гривы, перевалившуюся направо, и провел рукой по острому глянцевит⟨ому⟩ загривку и по крупу под попоной.

— All right,— повторил Корд, скучая.

И⟨ван⟩ Б⟨алашов⟩ вскочил в коляску и поехал к Т⟨атьяне⟩ Ставрович.

Она была больна и скучна. В первый раз беременность ее давала себя чувствовать.

IV

Он вбежал в дачу и, обойдя входную дверь, прошел в сад и с саду, тихо ступая по песку[51*], крадучись, вошел в балконную дверь. Он знал, что мужа нет дома, и хотел удивить ее.

Накануне он говорил ей, что не заедет, чтоб не развлекаться, потому что [52*] не может думать ни о чем, кроме скачки. Но он не выдержал и на минуту перед скачками, где он знал, что увидит ее в толпе, забежал к ней. Он шел во всю ногу, чтоб не бренчать шпорами, ступая по отлогим ступеням террасы, ожидая найти в внутренних комнатах, но, оглянувшись, чтобы увидать, не видит ли его кто, но увидал ее. Она сидела в углу террасы между цветами у баллюстрады в лиловой шел⟨ковой⟩ собр⟨анной⟩ кофте, накинутой на плечи, голова была причесана. Но она сидела, прижав голову к лейке, стоявшей на перилах балкона. Он подкрался к ней. Она открыла глаза, вскрикнула и закрыла голову платком. Так, чтоб он не видал ее лица. Но он видел и понял, что под платком были слезы.

— Ах, что ты сделал... Ах, зачем... Ах,— и она зарыдала...

— Что с тобой? Что ты?

— Я беременна, ты испугал меня. Я... беременна.

Он оглянулся и[53*] покраснел от стыда, что он оглядывается, и стал поднимать платок. Она удерживала его, делая ширмы из рук. В конце улицы ⟨?⟩[54*] сияли мокрые от слез, но нежные, потерянно счастливые глаза, улыбаясь...

Он всунул лицо в улицу ⟨?⟩[54*]. Она прижала его щеки и поцеловала его.

— Таня, я обещался не говорить, но это нельзя. Это надо кончить. Брось мужа. Он знает, и теперь мне все равно; но ты сама готовишь себе мученья.

— Я? Он ничего не знает и не понимает. Он глуп и зол он. Если б он понимал что-нибудь, разве бы он оставлял меня?

Она говорила быстро, не поспевая договаривать. И⟨ван⟩ Б⟨алашов⟩ слушал ее с лицом грустным, как будто это настроение ее было давно знакомо ему, и он знал, что оно непреодолимо.

— Ну, не будем.

Но она продолжала.

— И что же ты хочешь, чтоб я сделала, что я могу сделать? Сделаться твоей maitresse[55*], осрамить себя, его, погубить тебя. И зачем? Оставь, все будет хорошо. Разве можно починить? Я лгала, буду лгать. Я погибшая женщина. Я умру родами, я знаю, я умру. Ну, не буду говорить. И нынче. Пустяки.— Она вдруг[56*] остановилась, будто прислушиваясь или вспоминая.— Да, да, уж пора ехать. Вот тебе на счастье.— Она поцеловала его в оба глаза.— Только не смотри на меня, а смотри на дорогу и на препятствиях не горячи Тани, а спокойнее. Я за тебя держу три пари. Ступай.

Она подала ему руку и вышла. Он вздохнул и пошел к коляске. Но как только он выехал из переулков дач, он уже не думал о ней. Скачки с беседкой, с флагом, с подъезжающими колясками, с лошадьми, проваживаемыми в круг, открылись ему, он забыл все, кроме предстоящего.

[51*] *Далее начато:* прошел

[52*] *Далее начато:* занят будет одной

[53*] *Далее начато:* видимо

[54*] *Так в подлиннике.*

[55*] любовницей (франц.).

[56*] *Первоначально:* Она встала. Вдруг

V

Б⟨алашов⟩ пробежал мимо толпы знакомых, кланяясь невпопад и слыша, что в толпе на него показывали как на одного из скачущих и на самого надежного скакуна. Он пошел к своей Тани, которую водил конюх и у которой стоял Корд, и, входя, разговаривал. По дороге он наткнулся на главного соперника, Нельсона Голицына. Его вели в седле два конюха в красных картузах. Невольно заметил Б⟨алашов⟩ его спину, зад, ноги, копыты. «Вся надежда на езду против этой лошади»,— подумал Б⟨алашов⟩ и побежал к своей.

Перед его подходом лошадь остановили. Высокий, прямой статский с седыми усами осматривал лошадь. Подле него стоял маленький, худой, хромой. Маленький хромой, в то самое время, как Б⟨алашов⟩ подходил, проговорил:

— Слов нет, лошадь суха и ладна, но не она придет.

— Это отчего?

— Скучна. Не в духе.

Они замолчали, когда подошел Б⟨алашов⟩[57]*. Седой в высокой шляпе обернулся к Б⟨алашову⟩.

— Поздравляю, мой милый. Прекрасная лошадь, я подержу[58]* за тебя.

— Каков ездок будет? — сказал Б⟨алашов⟩.

Высокий штатский окинул взглядом сбитую коренастую фигурку Б⟨алашова⟩ и веселое твердое лицо и одобрительно улыбнулся.

В толпе зашевелилось, зашевелились жандармы. Народ побежал к беседке.

— Великий князь, государь приехали,— послышались голоса.

Балашов побежал к беседке. У весов толпилось человек 20 офицеров. Три из них, Г⟨олицын⟩, М⟨илютин⟩ и З., были приятели Б⟨алашова⟩, из одного с ним петерб⟨ургского⟩ круга. И один из них, маленький, худенький М⟨илютин⟩, с подслеповатыми сладкими глазками, был, кроме того, что и вообще несимпатичный ему человек, несмотря на то, что принадлежал к высшему свету, мальчик гордый и с оттенком учености и новой либеральности. Кроме того, он был соперник самый опасный, отличный ездок, легкий по весу и на лошади кровной, в[59]* Италии ⟨?⟩ взявшей 2 приза и недавно привезенной.

Остальные были мало известные в пет⟨ербургском⟩ свете гвард⟨ейские⟩ кавалеристы, армейцы, гусары, уланы и один казак. Были юноши еще без усов, мальчики, один гусар, совсем мальчик с детским лицом, складный, красивый, напрасно старавшийся принять вид строго серьезный, особенно обращал на себя внимание. Б⟨алашов⟩ с знакомыми, и в том числе с М⟨илютиным⟩, поздоровался по своему обыкновению просто, радушно, одинаково крепко пожимая руку и глядя в глаза. М⟨илютин⟩, как всегда, был ненатурален[60]*, твердо смеялся, выставляя свои длинные зубы.

— Для чего вешать?— сказал кто-то.— Все равно надо нести что есть в каждом.

— Для славы го́спода. Записывайте: 4 п. 5 ф.

Уже немолодой кон⟨ный⟩ гренадер ⟨?⟩ ⟨*1 нрзб.*⟩ слез с весов.

— 3 п. 18 ф., 4 п. 1 ф.

—[61]* Пишите прямо 3,2,— сказал Милютин.

---

[57]* *Далее начато:* Старый

[58]* *Первоначально:* я поставлю

[59]* *Далее было:* Анг⟨лии⟩

[60]* *Далее начато:* привычно и твердо и

[61]* *Далее начато:* Постойте.

— Нельзя. Надо поверить...

В Б⟨алашове⟩ было 4,35 пудов.

— Вот не ждал бы, что вы так тяжелы.

— Да, не сбавляет.

— Ну, господа, скорее. Государь едет.

По лугу рассыпались бегущие фигуры к своим лошадям. Б⟨алашов⟩ подошел к Tiny. Корд давал последние наставления.

— Помните одно, не смотрите на других и не думайте о них. Не обгоняйте. Перед препятствиями не удерживайте и не посылайте. Давайте ей выбирать самой, как она хочет приступить. Труднее всех для вас канавы, не давайте ей прыгать вдаль.

Б⟨алашов⟩[62*] засунул палец под подпруги. Она, прижав уши, оглянулась.

— All right,— улыбаясь сказал англ⟨ичанин⟩[63*].

Б⟨алашов⟩ был немного бледен, как он мог с его смуглым лицом[64*].

— Ну, садиться.

Б⟨алашов⟩ оглянулся. Кое-кто сидел, кто заносил ноги, кто вертелся около недающи⟨хся⟩ садиться. Б⟨алашов⟩[65*] вложил ногу и гибко сильно приподнял тело. Седло заскрипело новой кожей, и лошадь подняла заднюю ногу и потянула головой в поводья. В один и тот же момент поводья улеглись в перчатку, Корд пустил, и лошадь тронулась вытягивающим шагом. Как только Бал⟨ашов⟩ подъехал к кругу и звонку и мимо его проехали двое, лошадь подтянулась и подняла шею, загорячилась и, несмотря на ласки, не успокаивалась, то с той, то с другой стороны стараясь обмануть седока и вытянуть поводья. Мимо его галопом проехал Милютин на 5-вершковом гнедом жеребце и осадил его у звонка. Тани выкинула левую ногу и сделала два прыжка, прежде, чем, сердясь, не перешла на тряскую рысь, подкидывая седока.

Порывы, прискочки, повороты назад, затишье, звонок, и Балашов пустил свою лошадь в самый момент звонка. Казачий оф⟨ицер⟩ на серой лошадке проскакал неслышно мимо его, за ним[66*], легко вскидывая, но тяжело отбивая задними ногами, проплыл М⟨илютин⟩. Тани влегла в поводья и близилась к хвосту М⟨илютина⟩. Первое препятствие был барьер. М⟨илютин⟩ был впереди и, почти не переменяя аллюра, перешел барьер и пошел дальше. С к⟨азачьим⟩ о⟨фицером⟩ Б⟨алашов⟩ подскакивал вместе. Т⟨ани⟩ рванулась и близко слишком поднялась, стукнула задней ногой. Б⟨алашов⟩ пустил поводья, прислушиваясь к такту скачки, не ушиблась ли она. Она только прибавила хода. Он опять стал сдерживать. Второе препятствие была река. Один упал в ней. Б⟨алашов⟩ подержал влево и не посылал, но он почувствовал в голове лошади в ушах нерешительность; он чуть приложил шенкеля и щелкнул языком. «Нет, я не боюсь»,— как бы сказала лошадь, рванулась в воду. Один, другой прыжок по воде. На третьем она заторопилась, два нетактные прыжка в заду, но последний прыжок так подкинул зад, что, видно было, она шутя выпростала ноги из тины и вынесла на сухое. М⟨илютин⟩ был там сзади. Но не упал. Б⟨алашов⟩ слышал приближ⟨ающийся⟩ ровный поскок его жеребца. Б⟨алашов⟩ оглянулся: сухая чернеющая от капель пота голова жеребца, его тонкий хр⟨ап⟩ с прозр⟨ачными⟩ красн⟨ыми⟩ на нем ноздрями близилась к крупу его лошади, и Милютин улыбался ненатурально.

Б⟨алашову⟩ неприятно б⟨ыло⟩ видеть М⟨илютина⟩ с его улыбкой;

62* *Далее начато:* потя⟨нул⟩

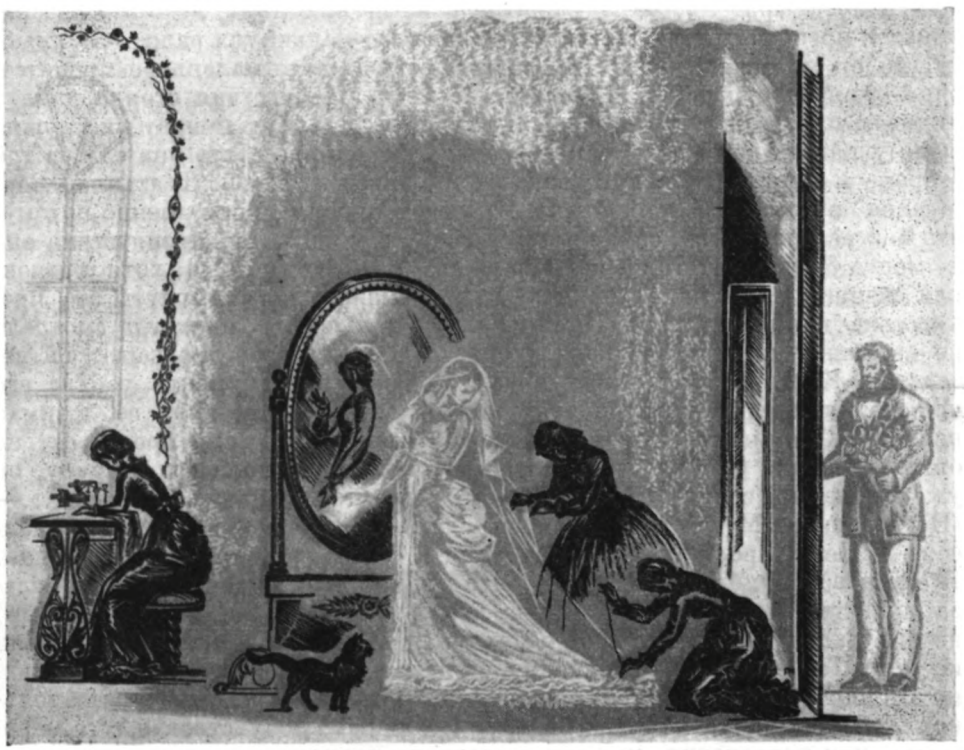
63* *Далее начато:* Пожалуйста не

64* *Далее начато: а.* Пожалуйста; *б.* кот⟨орый?⟩; *в.* Что есть надежда; *г.* Всякая

65* *Далее начато: а.* сильно; *б.* вз⟨ял?⟩

66* *Далее начато:* тяжело

он не сдержал Т⟨ани⟩. Она только что начинала потеть на плечах. Он даже, забыв увещания Корда, послал ее. «Так нужно наддать,— как будто сказала Т⟨ани⟩.— О, еще много могу»,— еще ровнее, плавнее, неслышнее стали ее усилия, и она отделилась от М⟨илютина⟩. Впереди было самое трудное препятствие: стенка и канава за нею. Против этого препятствия стояла кучка народа. Было их большинство своих приятелей. М. О., товарищи Гр⟨абе⟩ и Н⟨есвицкий⟩ и несколько дам. Б⟨алашов⟩ уже был в том состоянии езды, когда перестаешь думать о себе и лошади отдельно, когда не чувствуешь движений лошади, а сознаешь



«КИТИ-НЕВЕСТА»
Гравюра Н. И. Пискарева, 1933 г.
Иллюстрация к изданию романа «Анна Каренина» на английском языке

эти движения, как свои собственные, и потому не сомневаешься в них. Хочешь перескочить этот вал и перескочишь. Ни правил, ни советов Корда он не помнил, да и не нужны ему были. Он чувствовал за лошадь и всякое движенье ее знал и знал, что препятствие это он перескочит так же легко, как сел на седло. Кучка людей у препятствия были его приятели. Гр⟨абе⟩ выше всех головой стоял в середине и любовался. Приятелем Б⟨алашовым⟩ он всегда любовался, утешаясь им после мушек, окружавших его. Теперь он люб⟨овался⟩ им больше, чем когда-нибудь. Он своими зоркими глазами издали видел его лицо и фигуру и лошадь и глазами дружбы сливался с ним и, так же как и Б⟨алашов⟩, знал, что он перескочит лихое препятствие. Но когда артиллерист знает, что выстрелит пушка по м⟨ушке⟩, которую он ударяет, он все-таки дрогнет при выстреле, так и теперь он и они все с замиранием смотрели на приближающуюся качающуюся голову лошади, приглядывающейся к предстоящ⟨ему⟩

препятствию, и на нагнутую вперед широкую фигуру Б⟨алашова⟩ и на его бледное, но веселое лицо и блестящие, устремленные вперед и мелькнувшие на нем глаза.

«Лихо едет».— «Погоди».—«Молчите, господа». Тани как раз размеряла место и поднялась с математически верной точки, чтобы дать прыжок. Лица всех просияли в то же мгновение, они поняли, что она на той стороне, и точно мелькнула поднятая голова и грудь и раз и два вскинутый зад, и не успели задние ноги попасть на землю, как уже передние поднялись, и лошадь и седок, вперед предугадавший все движения и неотделившийся от седла, уже скакали дальше. «Лихо, браво, Балашов»,— проговорили зрители, но уже смотрели на М⟨илютина⟩, который подскакивал к преп⟨ятствию⟩. На лице Б⟨алашова⟩ мелькнула радостная улыбка, но он не оглядывался. Впереди и сейчас было маленькое препятствие — канава с водой в 2 аршина. У этого препятствия стояла дама в лиловом платье, другая в сером и два господина. Б⟨алашову⟩ не нужно было узнавать даму, он с самого начала скачек знал, что она там, в той стороне и физически почувствовал приближение к ней. Т⟨атьяна⟩ Серг⟨еевна⟩ пришла с золовкой и Б. Д. к этому препятствию именно потому, что она не могла быть спокойна в беседке, и у большого препятствия она не могла быть. Ее пугало, волновало это препятствие. Она, хотя и ездок, как женщина, не могла понять, как возможно перепрыгнуть это препятствие на лошади. Она остановилась дальше, но и оттуда смотрела на страшное препятствие. Она видела сон, и сон этот предвещал ей несчастие. Когда он подъезжал к валу (она давно в бинокль узнала его впереди всех), она схватилась рукой за сестру, перебирая ее, сжимая нервными пальцами. Потом откинула бинокль и хотела броситься, но опять схватила бинокль, и в ту минуту, как она искала его в трубу, он уже был на этой стороне[67*]. —«Нет сомненья, что Б⟨алашов⟩ выиграет».— «Не говорите, М⟨илютин⟩ хорошо едет. Он сдерживает. Много шансов».—«Нет, хоро⟨ш⟩ этот».—«Ах, опять упал». Пока это говорили, Б⟨алашов⟩ приближался, так что лицо его видно было, и глаза их встретились. Б⟨алашов⟩ не думал о канавке, и действ⟨ительно⟩ нечего было думать. Он только послал лошадь. Она поднялась, но немножко рано. Так чтоб миновать канаву, ей надо бы прыгнуть не 2, а 3 аршина, но это ничего не значило ей, она знала это, и он вместе. Они думали только о том, как скакать дальше. Вдруг Б⟨алашов⟩ почувствовал в то мгновение, как перескочил, что зад лошади не поддал его, но опустился неловко (нога задняя попала на край берега и, отворотив дернину, осунулась). Но это было мгновенье. Как бы рассердившись на эту неприятность и пренебрегая ею, лошадь перенесла всю силу на другую задн⟨юю⟩ ногу и бросила, уверенная в упругости задней левой, весь перед вперед. Но боком ли стала нога, слишком ли понадеялась на силу ноги лошадь, неверно ли стала нога, нога не выдержала, перед поднялся, зад подкосился, и лошадь с седоком рухнулась назад на самый берег канавы. Одно мгновенье, и Б⟨алашов⟩ выпростал ногу, вскочил и бледный, с трясущейся челюстью, потянул лошадь, она забилась, поднялась, зашаталась и упала. М⟨илютин⟩ с белыми зубами перелетел через канаву и исчез. К⟨азачий⟩ офицер ерзонул через, еще третий. Б⟨алашов⟩ схватился за голову. «А-а!»— проговорил он и с бешенством ударил каблуком в бок лошадь. Она забилась и оглянулась на него. Уже бежали народ и Корд. Т⟨атьяна⟩ С⟨ергеевна⟩ подошла тоже.

— Что вы?

Он не отвечал. Корд говорил, что лошадь сломала спину. Ее оттаскивали. И его ощупывали. Он сморщился, когда его тронули за бок. Он [67*]

[67*] *Далее начато*: Очень хорошо едет.

сказал Т⟨атьяне⟩ С⟨ергеевне⟩: «Я не ушибся, благодарю вас», — и пошел прочь, но она видела, как его поддерживал доктор и как под руки посадили в дрожки[68*].

VI

Не одна Т⟨атьяна⟩ С⟨ергеевна⟩ зажмурилась при виде скакунов, подходивших к препятств⟨иям⟩. Государь [69*] зажмуривался всякий раз, как офиц⟨ер⟩ подходил к препят⟨ствиям⟩. И когда оказалось, что из 17 человек упало и убилось 12, государь недовольный уехал и сказал, что он не хотел этого и таких скачек, ч⟨то⟩ ломать шеи не позволит вперед. Это же мнение и прежде слышалось, хотя и смутно, в толпе, но теперь вдруг громко высказалось.

М⟨ихаил⟩ М⟨ихайлович⟩ приехал-таки на скачку, не столько для того, чтобы последовать совету д⟨октора⟩, но для того, чтоб разрешить мучавшие его сомнения, которым он не смел, но не мог не верить. Он решился говорить с женой последний раз и с сестрою, с божественной Кити, которая так любила, жалела его, но которая должна же была понять, что прошло время жалеть, что сомнения даже хуже его горя, если есть что-нибудь в мире хуже того горя, которого он боялся. В доме на даче, разумеется, никого не было. И М⟨ихаил⟩ М⟨ихайлович⟩, отпустив извозчика, решил пойти пешком, следуя совету доктора. Он заложил за спину руки с зонтиком и пошел, опустив голову, с трудом отрываясь от своих мыслей, чтобы вспоминать на перекрестках, какое направленье надо выбирать. Он пришел к скачкам, когда уже водили потн⟨ых⟩ лошадей, коляски разъезжались. Все были недовольны, нек⟨оторые⟩ взволн⟨ованы⟩. М⟨илютин⟩, победитель, весело впрыгнул в коляску к матери.

У разъезда столкнулся с Голиц⟨ыной⟩ и сестрой.

— Браво, М⟨ихаил⟩ М⟨ихайлович⟩. Неужели ты пешком?

— Но что с вами?

— Должно быть, устал.

Он в самом деле от непривычного движения скачки в то время как был, как сума⟨с⟩шедший, так раздражен нервами, чувствовал полный упадок сил и непреодолимую решительность.

— А Т⟨аня⟩ где?

Сестра покраснела, а Г⟨олицына⟩ стала говорить с стоявшими подле о падении Б⟨алашова⟩. М⟨ихаил⟩ М⟨ихайлович⟩, как всегда при имени Б⟨алашова⟩, слышал все, что его касалось, и в то же время говорил с сестрой. «Она пошла с Н⟨есвицким⟩ к канаве. Она хотела приехать домой одна». Сестра лгала: она видела в бинокль, что Т⟨атьяна⟩ С⟨ергеевна⟩ пошла вслед за падением Б⟨алашова⟩ к своей коляске и знала, как бы она сама видела, что Т⟨атьяна⟩ С⟨ергеевна⟩ поехала к нему. М⟨ихаил⟩

[68*] *На полях написано:*
М⟨ихаил⟩ М⟨ихайлович⟩ приехал и не нашел ее. [Она]. Сестра говорит, что не может говорить.
Она лжет.
Объяснение о беременности.
Отъезд М⟨ихаила⟩ М⟨ихайловича⟩ в Москву.
Роды. Прощение.
Л⟨еонид⟩ Д⟨митрич⟩ затащил к себе обедать. Его жена — разговор с [сестрой] кузиной.
Едет [домой] в Петербург. Нигилисты утешают. М⟨ихаил⟩ М⟨ихайлович⟩ горячится.
Он уезжает [в деревню] в Петербург.
На комитете.
Приходит домой и отравляет⟨ся?⟩.
Написано очевидно позднее относящееся к первой теме: Муж приехал. Она ревет, бледная. Ее не пустили к любовнику, и признается.

[69*] *Далее начато:* остался недоволен

М⟨ихайлович⟩ тоже понял это, услыхав, что Б⟨алашов⟩ сломал ребро. Он спросил, с кем она пошла. С Н⟨есвицким⟩. Не хочет ли он взять место в коляске Г⟨олицыной⟩, его довезут.

— Нет, благодарю, я пройдусь.

Он с тем[70*] официальным приемом внешних справок решился основательно узнать, где его жена. Найти Н⟨есвицкого⟩, спросить его, спросить кучера. Зачем он это делал, он не знал. Он знал, что это ни к чему не поведет, знал и чувствовал всю унизительность роли мужа, ищущего свою жену, которая ушла. «Как лошадь или собака ушла», подумал он. Но он холодно односторонне решил это и пошел. Н⟨есвицкий⟩ тотчас же попался ему.

— А, М⟨ихаил⟩ М⟨ихайлович⟩.

— Вы видели мою жену?

— Да, мы стояли вместе, когда Б⟨алашов⟩ упал и все это попáдало. Это ужасно. Можно ли так глупо!

— А потом?

— Она поехала домой, кажется. Я понимаю, что̀ для M-me Ст⟨аврович⟩ это, да и всякую женщину с нервами. Я мужчина, и то нервы. Это гладиаторство. Недостает цирка с львами.

Это была фраза, которую сказал кто-то, и все радовались повторять. М⟨ихаил⟩ М⟨ихайлович⟩ взял извозчика и поехал домой. Жены не было. Кити сидела одна, и лицо ее скрывало что-то под неестественным оживлением.

М⟨ихаил⟩ М⟨ихайлович⟩ подошел к столу, поставил локти, сдвинув чашку, которую подхв⟨атила⟩ Кити, положил голову в руки и начал вздыхать[71*], но остановился. Он открыл лицо.

— Кити, что ж, решительно это так?

— Мишель, я думаю, что я не должна ни понимать тебя, ни отвечать тебе. Если я могу свою жизнь отдать для тебя, ты знаешь, что я это сделаю; но не спрашивай меня ни о чем. Если я нужна, вели мне делать.

— Да, ты нужна, чтоб вывести меня из сомненья.— Он глядел на нее и понял ее выражение при слове *сомненье*.— Да и сомнений нет, ты хочешь сказать. Все-таки ты нужна, чтоб вывести меня из сомненья. Так жить нельзя. Ты привыкла у меня спрашивать, от меня учиться жизни. Забудь это все. Я несчастное, невинное наказанное дитя. Мне рыдать хочется, мне хочется, чтоб меня жалели. Чтоб научили, что мне делать. Правда ли это? Неужели это правда? И что мне делать?

— Я ничего не знаю, я ничего не могу сказать. Я знаю, что ты несчастлив, а что я...

— Как несчастлив?

— Я не знаю как, я вижу и ищу помочь.

В это время зазвучали колеса, раздавливающие мелкий щебень, и фыркнула под самым окном одна из лошадей остановившегося экипажа. Она вбежала прямая, румяная и опять больше чем когда-нибудь с тем дьявольским блеском в глазах, с тем блеском, который говорил, что, имея в душе то чувство, которое она имела, преступленья нет и нет ничего, что бы остановило. Она поняла мгновенно, что говорили о ней. Враждебное блеснуло в ее взгляде, в ней, в доброй, ни одной искры жалости к этим 2 прекрасным (она знала это) и несчастным от нее 2-м людям.

— И ты здесь? Когда ты приехал? Я не ждала тебя. А я была на скачке и потом от ужаса при этих паденьях уехала.

[70*] *Далее начато:* внешним

[71*] *Вместо* начал вздыхать *было:* тяжело вздох⟨нул⟩

— Где ты была?

— У... у Лизы,— сказала она, видимо радуясь своей способности лжи,— она не могла ехать, она больна, я ей все рассказала.

И как бы радуясь и гордясь своей способностью (неизвестной доселе) лжи, она, вызывая, прибавила:

— Мне говорили, что убился П., и Балашов очень убился. Ну, я пойду разденусь. Ты ночуешь?

— Не знаю, мне очень рано завтра надо.

Когда она вышла, К⟨ити⟩ сказала:

— М⟨ишель⟩, я не могу ничего сказать, позволь мне обдумать, и я завтра напишу тебе.

Он не слушал ее.

— Да, да, завтра.

Сестра поняла.

— Ты хочешь говорить с ней?

— Да, я хочу.

Он смотрел неподвижно на самовар и именно думал о том, что он скажет ей. Она вошла в блузке спокойная, домашняя. Сестра вышла. Она испугалась.

— Куда ты?

Но К⟨ити⟩ ушла.

— Я приду сейчас.

Она стала пить чай с аппетитом, много ела. Опять дьявол!

— Таня,— сказал М⟨ихаил⟩ М⟨ихайлович⟩.— Думаешь ли ты... ду... думаешь ли ты, что мы можем так оставаться?

— Отчего? — Она вынула сухарик из чая.— Что ты в Петербурге, а я здесь? Переезжай сюда, возьми отпуск.

Она улыбающ⟨имися⟩, насмешливыми глазами смотрела на него.

— Таня. Ты ничего не имеешь сказать мне особенного?

— Я? — с наивным удивлением сказала она и задумалась, вспоминая, не имеет ли она что сказать.— Ничего, только то, что мне тебя жаль, что ты один.

Она подошла и поцеловала его в лоб. И то же сияющее, счастливое, спокойное, дьявольское лицо, выражение которого, очевидно, не имело корней в разуме, в душе.

— А, ну так хорошо,— сказал он и невольно, сам не зная как, подчинился ее влиянию простоты, и они поговорили о новостях, о денежных делах.

Только один раз, когда он передал ей чашку и сказал: «еще, пожалуйста», она вдруг без причины покраснела так, что слезы выступили на глаза, и опустила лицо. Кити пришла, и вечер прошел обыкновенно.

Она проводила его на крыльцо и, когда в месячном свете по безночному свету садился в коляску, она сказала своим грудным голосом:

— Как жаль, что ты уезжаешь,— и прибежала к коляске и кинула ему свой плед на ноги. Но когда коляска отъехала, он знал, что она, оставшись у крыльца, страдала ужасно.

На другой день М⟨ихаил⟩ М⟨ихайлович⟩ получил письмо от К⟨ити⟩. Она писала: «Я молилась и просила просвещения свыше. Я знаю, что мы обяз⟨аны⟩ сказать правду. Да, Т⟨атьяна⟩ неверна тебе, и это я узнала против воли. Это знает весь город. Что тебе делать? Я не знаю. Знаю одно, что христово учение будет руковод⟨ить⟩ т⟨обой⟩.

Твоя К⟨и т и⟩».

С тех пор М⟨ихаил⟩ М⟨ихайлович⟩ не видал жены и скоро уехал ⟨из⟩ Пет⟨ербурга⟩[72*].

[72*] *В подлиннике описка:* в Пет⟨ербург⟩

VII

О беременности. Он глуп, насмешливость.

VIII

М⟨ихаил⟩ М⟨ихайлович⟩ в Москве. Л⟨еонид⟩ Д⟨митрич⟩ затащил обедать. Его жена. Разговор о неверности мужа. Дети похожи на отца.

IX

В вагоне разговор с нигилистом.

X

Роды, прощает.

XI

М⟨ихаил⟩ М⟨ихайлович⟩ ходил по зале: «ш-ш», говорил он на шумевших слуг. И⟨ван⟩ П⟨етрович⟩ лег отдохнуть после 3-х бессонных ночей в кабинете. Чувство успокоения поддержив⟨алось⟩ в М⟨ихаиле⟩ М⟨ихайловиче⟩ только христианск⟨ой⟩ деятельностью. Он пошел в министерство, и там, вне дома, ему б⟨ыло⟩ мучительно. Никто не мог понимать его тайны. Хуже того — и понимали, но навыворот. Он мучался вне дома, только дома он был покоен. Сужд⟨ения⟩ слуг он презирал. Но не так думали И⟨ван⟩ Б⟨алашов⟩ и Т⟨атьяна⟩.

— Что же, это вечно будет так? — говорил Б⟨алашов⟩.— Я не могу переносить его.

— Отчего? Его это радует? Впрочем, делай как хочешь.

— Делай, разумеется, нужен развод.

— Но как мне сказать ему? Я скажу: «Мишель, ты так не можешь жить». Он побледнеет. —«Ты простил, будь великодушен, дай развод».— «Да, да, но как?» — «Я пришлю тебе адвоката».—«Ах да, хорошо».

Подробности процедуры для развода, унижение их — ужаснуло его. Но христ⟨ианское⟩ чувство — это была та щека, которую надо подставить. Он подставил ее.

Через год М⟨ихаил⟩ М⟨ихайлович⟩ жил по-старому, работая тоже; но значение его уничтожилось.

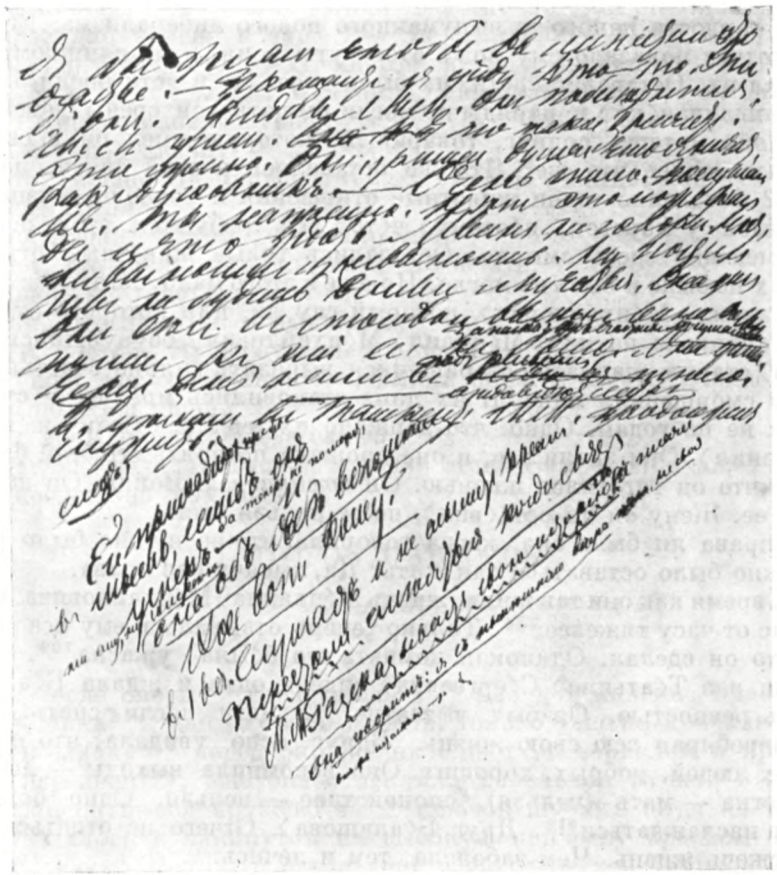
XII

Хотели муссировать доброту христ⟨ианства⟩ его, но это не вышло: здр⟨авый⟩ смысл общества судил иначе, он был посмешищем. Он знал это, но не это мучало его. Его мучала необходимость сближения с прежней женой. Он не мог забыть ее ни на минуту, он чувствовал себя привяз⟨анным⟩ к ней, как преступник к столбу. Да и сближения невольно вытекали через детей. Она смеялась над ним, но смех этот не смешон был. Б⟨алашов⟩ вышел в отставку и не знал, что с собой делать. Он был за границей, жил в Москве, в Петербурге, только не жил в деревне, где только ему можно и должно было жить. Их обоих[73*] свет притягивал[74*], как ночных бабочек. Они искали — умно, тонко, осторожно — признания себя такими же, как другие. Но именно от тех-то, от кого им нужно б⟨ыло⟩ это признание, они не находили его. То, что свободно мыслящие люди дурного тона ездили к ним и принимали их, не только не радовало их, но огорчало. Эти одинокие знакомые очевиднее всего доказывали, что никто не хочет знать их, что они должны удовлетворять себе одни. Пу-

[73*] *Далее начато:* как

[74*] *В подлиннике ошибочно повторено:* их

скай эти люди, которые принимали их, считали себя лучше той т⟨ак⟩ н⟨азываемой⟩ пошлой светской среды, но им не нужно было одобрения этих добродет⟨ельных⟩ свободномыслящих людей, а нужно было одобрение т⟨ак⟩ н⟨азываемого⟩ пошлого света, куда их не принимали. Б⟨алашов⟩ бывал в клубе — играл. Ему говорили: «А, Б⟨алашов⟩, здоров⟨о⟩, как поживаешь?» —«Поедем туда, сюда». — «Иди в половину». Но никто



ЧЕРНОВОЙ АВТОГРАФ РОМАНА «АННА КАРЕНИНА», 1873 г.
Конец первого наброска
Архив Толстого, Москва

слова не говорил о его жене. С ним обращались как с холостым. Дамы еще **хуже**. Его принимали очень мило; но жены его не было для них, и он **сам** был человек слишком хорошего тона, чтобы попытаться заговор⟨ить⟩ о жене и получить тонкое оскорбление, за которое нельзя и ответить.— Он не мог не ездить в клубы, в свет, и *жена* ревновала, мучалась, хотела ехать в театр, в концерт и мучалась еще больше. Она была умна и ловка и, чтоб спасти себя от одиночества, придумывала и пытала разные выходы. Она пробовала блистать красотой и нарядом и привлекать молод⟨ых⟩ людей, блест⟨ящих⟩ мужчин, но это становилось похоже, она поняла на что, когда взглянула на его лицо после гулянья, на котором она в коляске с веером стояла недалеко от Гр. Кур., окруженная толпой. Она пробовала другой, самый обычный выход — построить себе

высоту, с которой бы презирать тех, которые ее презирали; но способ постройки этой контр-батареи всегда один и тот же. И как только она задумала это, как около нее[75*] уже стали собираться дурно воспитанные[76*] писатели, музыканты, живописцы, которые не умели благодарить за чай, когда она им подавала его.

Он слишком был твердо хороший, искренний человек, чтоб променять свою гордость, основан⟨ную⟩ на старом роде честн⟨ых⟩ и образ⟨ованных⟩ людей, на человечн⟨ом⟩ воспитании, на честности и прямоте[77*], на этот пузырь гордости какого-то выдуманного нового либерализма. Его верное чутье тотчас показало ему ложь этого утешения, и он слишком глубоко презирал их. Оставались дети, их было двое. Но и дети росли одни. Никакие англичан⟨ки⟩ и наряды не могли им дать той среды дядей, теток, крестн⟨ой⟩ матери, подруг, товарищей, которую имел он в своем детстве. Оставалось что же? Что же оставалось в этой связи, названной браком? Оставались одни животные отношения и роскошь жизни, имеющая смысл у лореток, п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ все любуются этой роскошью, и не имеющие здесь смысла. Оставались голые животные отношения, и других не было и быть не могло. Но еще и этого мало, оставался привидение М⟨ихаил⟩ М⟨ихайлович⟩, который сам ли, или которого судьба всегда наталкивала на них, М⟨ихаил⟩ М⟨ихайлович⟩, осунувшийся, сгор⟨бленный⟩ старик, напрасно старавшийся выразить сияние счастья жертвы в своем сморщенном лице. И их лица становились мрачнее и старше по дням, а не по годам. Одно, что держало их вместе, б⟨ыли⟩ ж⟨ивотные⟩ о⟨тношения⟩. Они знали это, и она дрожала потерять его, тем более, что видела, что он тяготился жизнью. Он *отсикнулся*. Война. Он не мог покинуть ее. Жену он бы оста⟨вил⟩, но ее нельзя было.

Не права ли была она, когда говорила, что не нужно было развода, что можно было оставаться так жить? Да, тысячу раз права.

В то время как они так жили, жизнь М⟨ихаила⟩М⟨ихайловича⟩становилась час от часу тяжелее[78*]. Только теперь отзывалось ему все значение того, что он сделал. Одинокая комната его б⟨ыла⟩ ужасна[79*].

Один раз Т⟨атьяна⟩ С⟨ергеевна⟩ сидела одна и ждала Б⟨алашова⟩, мучаясь ревностью. Он был в театре[80*]. Дети легли спать. Она сидела, перебирая всю свою жизнь. Вдруг ясно увидала, что она погубила 2-х людей, добрых, хороших. Она вспомнила выходы — лоретка — нигилистка — мать (нельзя), спокойствие — нельзя. Одно осталось — жить и наслаждаться[81*]. Друг Б⟨алашова⟩. Отчего не отдаться, не бежать, сжечь жизнь. Чем заболела, тем и лечись.

Человек пришел доложить, что приехал М⟨ихаил⟩ М⟨ихайлович⟩.

— Кто?

— М⟨ихаил⟩ М⟨ихайлович⟩ желают вас видеть на минутку.

— Проси.

Сидит у лампы темная, лицо[82*] испуган⟨ное⟩, непричесана.

— Я... вы я... вам...

Она хотела помочь. Он высказался.

— Я не для себя пришел. Вы несчастливы. Да, больше чем когда-нибудь. Мой друг, послушайте меня. Связь наша не прервана. Я видел, что

75* *Далее начато:* собра⟨лось?⟩

76* *Далее начато: а.* арт⟨исты⟩; *б.* му⟨зыканты⟩

77* *Далее начато:* чтобы на эту горд⟨ость⟩

78* *Далее начато:* Как шутка

79* *Далее начато:* Один раз он пошел в комитет [о япон⟨ской?⟩] миссии. Говорили о ревности и убийстве жен. М⟨ихаил⟩ М⟨ихайлович⟩ встал медленно и поехал к оружейнику, зарядил пистолет и поехал к [себе] ней. Я не могу жить.

80* *Вместо* был в театре *было:* был на бале

81* *Далее начато:* Офицер

82* *Далее было:* доброе

это нельзя. Я половина, я мучаюсь, и теперь вдвойне. Я сделал дурно. Я должен был простить и прогнать, но не надсмеяться над таинством, и все мы наказаны. Я пришел сказать: есть одно спасенье. Спаситель. Я утешаюсь им. Если бы вы поверили, поняли, вам бы легко нести. Что вы сделаете, Он сам вам укажет. Но верьте, что без религии, без надежд на то, чего мы не понимаем, и жить нельзя. Надо жертвовать собой для него, и тогда счастье в нас. Живите для других, забудьте себя, для кого — вы сами узнаете: для детей, для него, и вы будете счастливы. Когда вы рожали, простить вас была самая счастливая минута жизни. Когда вдруг просияло у меня в душе...— Он заплакал.— Я бы желал, чтобы вы испытали это счастье.— Прощайте, я уйду. Кто-то.

Это был он. Увидав М⟨ихаила⟩ М⟨ихайловича⟩, он побледнел. М⟨ихаил⟩ М⟨ихайлович⟩ ушел.

— Что такое значит?

— Это ужасно. Он пришел, думая, что я несчастна, как духовник.

— Очень мило.

— Послушай, Ив⟨ан⟩, ты напрасно.

— Нет, это ложь, фальшь, да и что ждать.

— Иван, не говори.

— Нет, невыносимо, невыносимо.

— Ну, постой, ты не будешь дольше мучаться.

Она ушла. Он сел в столовой, выпил вина, с све⟨чей⟩ пошел к ней, ее не было. Она ушла.

Через день нашли в Неве ее тело [83*].

Б⟨алашов⟩ уехал в Ташкент, отдав детей сестре. М⟨ихаил⟩ М⟨ихайлович⟩ продолжал служить [84*].

⟨ВТОРОЙ НАБРОСОК⟩

МОЛОДЕЦ-БАБА

I

Гости после оперы [85*] съезжались к [86*] молодой княгине Врасской [87*]. Княгиня Мика [88*], как ее звали в свете, только успела, приехав из театра, снять шубку [89*] перед окруженным цветами зеркалом в ярко освещенной передней [90*]; еще она отцепляла маленькой ручкой в перчатке упрямо зацепившееся кружево за [91*] крючок шубки, когда из-под лестницы показалось в накинутом на высокую прическу красном башлыке красивое личико Нелли, и слышалось военное легкое бряцание шпор и сабли ее мужа, и показалась вся сияющая плешивая приглаженная голова и усатое лицо ее мужа.

[83*] *Вместо* нашли в Неве ее тело *вписано позднее:* нашли под рельсами тело.

[84*] *По окончании текста вписано позднее (воспроизводится первоначальный текст):*
Слез.
Ей приходит мысль: если б он умер.
И она об себе вспомнила.
Ах, вот кому?
Слушает и не слышит ⟨*1 нрзб.*⟩.
Перестали смеяться: когда связь.
М⟨ихаил⟩ М⟨ихайлович⟩ рассказывает свою историю ⟨*2 нрзб.*⟩ и плачет.

[85*] *Первоначально:* после театра

[86*] *Далее начато:* кня⟨гине⟩

[87*] *Вместо* Врасской *было: а.* Кареловой; *б.* М⟨ика?⟩

[88*] *Далее было:* хозяйка

[89*] шубку *ошибочно зачеркнуто.*

[90*] *Вместо* успела ~ передней *было:* успела снять шубку, в ярко освещенной блестевшей зеркалами и цветами передней.

[91*] *Далее начато:* ворот⟨ник?⟩

Княгиня Мика разорвала, сдернув, перчатку и все-таки не выпростала и разорвала кружево. Она улыбкой встретила гостей[92*], которых она только что видела в театре.

— Сейчас вытащу мужа из его кабинета и пришлю к вам,— проговорила она и скрылась за тяжелой портьерой.— Чай в большой гостиной,— сказала она толстому дворецкому, прошедшему за нее,— и князя просить.

Пока княгиня Мика в уборной с помощью[93*] встретившей ее франтихи горничной розовыми пальчиками[94*], напудренными лебяжьим пухом, как бы ощупывала свое лицо и шею и потом стирала эту пудру, и горничная ловкими быстрыми пальцами[95*] и гребнем потрогивала ее прическу, давая ей прежнюю свежесть[96*], и пока Нелли с мужем в передней[97*] снимали шубы, передавая их[98*] ⟨на руки⟩ следивших за каждым их движением ожидавших двух в чулках и башмаках лакеев, уж входная большая стеклянная дверь несколько раз беззвучно отворилась швейцаром, впуская новых гостей.

Почти в одно и то же время хозяйка с освеженным лицом и прической вышла[99*] из одной двери и гости из другой в большую темную от абажуров гостиную, и естественно[100*] все общество сгруппировалось около круглого стола с серебряным самоваром.

Разговор, как и всегда в первые минуты сбора, дробился на[101*] приветственные речи[102*], на предложение чая, шутки, замечания об опере, певцах и певицах, как будто отыскивая предмет и не позволяя себе быть более завлекательным, пока еще продолжали входить гости.

— Ах, пожалуйста, не будем говорить об Нильсон. Я только и слышу это имя и одно и то же о ней и все такое, что должно быть ново, но что уж сделалось старо.

— А Кити будет? Отчего я давно ее не вижу?

— Она обещала; но ты знаешь, как можно рассчитывать на душу в кринолине,— отвечала хозяйка.— Да и потом мне кажется, что у ней есть что-то на сердце. Боюсь не с Ана ли что-нибудь.

— Ана так мила!

— О да. Могу я вам предложить чашку чая,— обращалась она к генералу.— А вот и Serge.

— Расскажите мне что-нибудь злое и веселое,— говорила известная умница фрейлина молодому дипломату.

— Говорят, что злое и смешное несовместимо, но я попробую, если вы мне дадите тему.

Хозяин, молодой человек с умным и истомленным лицом, вышел из боковой двери и здоровывается с гостями[103*].

—[104*] Как вам понравилась Нильсон[105*], графиня,— говорит он, неслышно подойдя по мягкому ковру к полной красивой даме в черном бархатном платье.

92* *Далее начато:* и скрылась
93* *Далее начато:* горничной
94* *Далее начато:* открывала коробку с пудрой
95* *Далее начато:* потрогивала
96* *Далее начато:* приехавшая за
97* *Далее начато:* снимала шубку и оправляла
98* *Далее начато: а.* беззвучно; *б.* почтительно
99* *Далее начато:* в большую гостиную, и гости
100* *Далее начато:* образова⟨лись?⟩
101* *Далее начато:* мелкие замечания об опере, о том, где кто был, последн⟨ем?⟩
102* *Далее начато:* шутки, за⟨мечания⟩
103* *Первоначально:* с дамами
104* *Перед этим начато:* Можно
105* *Далее начато:* «Трав⟨иата⟩»

— Как можно так пугать,— отвечает дама, перегибаясь к нему с своим веером и подавая ему руку в перчатке, которую она не снимает, п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ рука ее некрасива. — Не го́ворите, пожалуйста, про оперу со мной. Вы думаете, что вы спускаетесь до меня, а я этого вам не позволяю. Я хочу спуститься до вас, до ваших гравюр. Расскажите мне, какие новые сокровища вы нашли на толкучем?..

«В ДЕРЕВНЕ»
Гравюра Н. И. Пискарева, 1933 г.
Иллюстрация к изданию романа «Анна Каренина» на английском языке

Совершенно незаметно стол устанавливается всем, что нужно для чая, гости[106]* разместились все у круглого стола. Мужчины[107]* обходят неслышно кресла дам и берут из рук хозяйки прозрачные дымящиеся паром чашки чая. Хозяйка[108]* стоит с рукой с отставленным розов⟨ым⟩ мизинчиком на серебряном кране и выглядывает из⟨-за⟩ самовара на гостей и на двери и дает знаки в тени стоящим 2-м лакеям. Разговор из отрубков фраз начинает устанавливаться в разных группах и для того чтобы сделаться общим и завлекательным, разумеется, избирает своим предметом лица всем известные, и, разумеется, об этих лицах говорят зло, иначе говорить было бы нечего, так как счастливые народы не имеют истории.

Такого рода разговор установился в ближайшем уголке к хозяйке, и теперь этот разговор имеет двойную прелесть, так как те, о которых[109]*

---

[106]* *Далее начато:* по местам
[107]* *Далее начато:* по мягк⟨ому ковру?⟩
[108]* *Далее начато: а.* стоит; *б.* встает
[109]* *Далее начато:* говорят друзья

злословят, друзья хозяйки и [110*] должны приехать нынешний вечер; говорят о молодой [111*] Анастасье (Ана [112*] Гагина, как ее зовут в свете) и о ее муже.

Молодой дипломат сам избрал эту тему, когда упомянули о том, что Пушкины [113*] обещались быть сегодня, но не могли приехать рано, потому что у Алексея Александровича какой-то комитет, а *она всегда* ездит только с мужем.

— Я часто думал,— сказал дипломат,— что, как, говорят, народы имеют то правительство, которого они заслуживают, так и жены имеют именно тех мужей, которых они заслуживают, и Ан⟨астасья?⟩ Арк⟨адьевна⟩ Каренина [114*] вполне заслуживает своего мужа.

— Знаете ли, что, говоря это, вы для меня по крайней мере делаете похвалу ей.

— Я этого и хочу [115*].

— Только как *он* может спокойно спать с такой женой. И с всяким другим мужем она бы была героиней страшного романа.

— Она знает, что муж ее замечательный человек, и [116*] она удовлетворяется. Она примерная жена.

— Была.

— Я никогда не могла понять, княгиня,— сказала фрейлина,— что в нем замечательного. Если бы мне все это не твердили, я бы просто приняла его за дурачка. И с таким мужем не быть героиней романа — заслуга.

— Он смешон.

— Стало быть, не для нее,— сказала хозяйка.— А заметили вы, как она похорошела? Она положительно *не*хороша, но если бы я была мужчина, я бы с ума сходила от нее,— сказала она, как всегда женщины, ⟨на⟩ это ожидая возражения.

Но как ни незаметно это было, дипломат заметил это, и, чтоб подразнить ее, тем более, что это была и правда, он сказал:

— О да! Последнее время она расцвела. Теперь или никогда для нее настало время быть героиней романа.

— Типун вам на язык,— сказала хозяйка.

Хозяйка говорила, но ни на минуту не [117*] теряла [118*] взгляда [119*] на входную дверь.

— Здравствуйте [120*], Степан Аркадьич [121*],— сказала она [122*], встречая улыбкой молодого полного, румяного с прекрасными красными губами, прямо держ⟨авшегося⟩, добродушного молодого человека.

— А сестра ваша будет? [123*]— прибавила она громко, чтобы разговор о ней замолк при ее брате.— Приедет она?

110* *Далее начато:* сейчас

111* *Далее начато: а.* Ана; *б.* Настасье

112* *Далее было: а.* Пушкина; *б.* Бернова

113* *Фамилия будущих Карениных остается пока неустойчивой. Двумя строками выше вместо:* Пушкина *вставлено* Гагина, *а здесь осталось неисправленным:* Пушкина. *Немного ниже* Пушкина *изменена на* Каренина, *в другом месте* Гагин *исправлен на* Каренин. *Дальше окончательно закрепилась фамилия* Каренины. *На данном этапе работы фамилию* Гагин *получил будущий* Вронский, *в начале работы над этим вариантом навывавшийся:* Врасский

114* *Первоначально:* Пушкина

115* *Далее начато:* Она

116* *Далее начато:* лелеет его

117* *Далее начато:* упускала

118* *Далее начато:* общего

119* *Далее было: а.* на общее дело; *б.* на разные группы и

120* *Здесь и дальше в автографе:* здраствуйте, здраствуй

121* *Вместо* Степан Аркадьич *было начато:* Леонид

122* *Далее начато:* особенно громко,— а чт⟨о⟩

123* *Вместо* А сестра ~ будет *было: а.* А ваша сестра Ана Пушкина; *б.* А ваша сестра М-me Каренина

— Не знаю, княгиня. Я у нее не был[124*].

И Ст⟨епан⟩ Арк⟨адьич⟩, знакомый со всеми женщинами и на ты со всеми мужчинами, добродушно раскланивался, улыбаясь и отвечая на вопросы.

— Откуда я? Что ж делать? Надо признаваться. Из Буффов. «La comt⟨esse⟩ de Rudolstadt» — прелесть. Я знаю, что это стыдно, но в опере я сплю, а в Буффах досиживаю до последнего конца и всласть. Нынче...

— Пожалуйста, не рассказывайте про эти ужасы.

— Ну, не буду, что ж делать, мы, москвичи, еще глупы, терпеть не можем скучать.

[125*]Дама в бархатном платье подозвала к себе Ст⟨епана⟩ Ар⟨кадьича⟩.

— Ну что ваша жена? Как я любила ее. Расскажите мне про нее.

— Да ничего, графиня. Вся в хлопотах, в детях, в классах, вы знаете.

— Говорят, вы дурной муж,— сказала дама тем шутливым тоном, которым она говорила об гравюр⟨ах⟩ с хозяином.

Степан Аркадьич на мгновенье нахмурился, но сейчас же рассмеялся.— Если оттого, что я не люблю скучать, то да. Эх, графиня, все мы одинаки. Она не жалуется.

Ст⟨епан⟩ Арк⟨адьич⟩ оглянулся[126*], и лицо его еще больше просияло.

— Вот кого не видал все время, что я здесь,— сказал он, увидав входившего невысокого роста коренастого военного, молодого, но почти плешивого и с серьгой в ухе.

— Виноват, графиня,— сказал Ст⟨епан⟩ Арк⟨адьич⟩ и, поднявшись, пошел к вошедшему.

— Гагин[127*], здравствуй.

Твердое, выразительное лицо Г⟨агина⟩[128*] с свежевыбритой, но синеющей от силы растит⟨ельности⟩ бородой просияло, открыв сплошные, правильного полукруга здоровенные зубы.

— Отчего тебя[129*] нигде не видно?

— Я знал, что ты здесь, хотел к тебе заехать.

— Да, я дома, ты бы заехал.

— Ну, завтра обедать вместе. Мне сестра про тебя говорила.

— Да, я был у ней.

Гагин[130*] замолчал, оглядываясь на дверь. Ст⟨епан⟩ Арк⟨адьич⟩ посмотрел на него.

— Что ты оглядываешься? Ну, так завтра обедать у Дюссо в 6 часов.

— Я еще с хозяйкой двух слов не сказал,— и В⟨расский⟩[131*] пошел к хозяйке с[132*] приятными, так редко встречающимися в свете приемами скромности, учтивости, совершенного спокойствия и достоинства.

Но[133*] и хозяйка, говоря с ним, заметила, что он нынче был не в своей тарелке. Он беспрестанно оглядывался на дверь и ронял нить разговора. Хозяйка в его лице, как в зеркале, увидала, что теперь вошло то лицо, которое он ждал. Это была Нана Каренина впереди своего мужа[134*].

[124*] *Далее начато:* А зд⟨есь?⟩

[125*] *Перед этим начато:* Одна из дам

[126*] *Далее начато:* Винов⟨ат⟩

[127*] *Первоначально:* Врасской

[128*] *Первоначально:* Вр⟨асского⟩

[129*] *В автографе описка:* тебе

[130*] *Первоначально:* Вр⟨асский⟩

[131*] *Осталось неисправленным от первого наброска этой рукописи:* В⟨расский⟩ *По смыслу следует:* Гагин

[132*] *Далее начато:* теми приемами

[133*] *Далее начато:* он

[134*] *Вместо:* Это ~ мужа *было: а.* Это был А. А. Гагин с женою; *б.* Это был А. А. [Гагин] Каренин с женою.

Действительно, они были пара: он прилизанный, белый, пухлый и весь в морщинах; она некрасивая с[135*] низким лбом, коротким, почти вздернутым носом и слишком толстая. Толстая так, что еще немного, и она стала бы уродлива. Если бы только не огромные черные ресницы, украшавшие ее серые глаза, черные огромные ⟨?⟩ волоса, красившие лоб, и не стройность стана, но грациозность движений, как у брата, и крошечные ручки и ножки, она была бы дурна. Но, несмотря на некрасивость лица, было что-то в добродушии улыбки[136*], так что она могла нравиться.

Хозяйка мгновенно сообразила вместе нездоровье Кити, сестры Карен⟨ина⟩, и удаление ее последнее время от света. Толки толстой дамы о том, что Гагин, как тень, везде за Нана, его приезд нынче, когда он не был зван, его беспокойство и оглядыванье и, главное, последнее, что[137*] связало все эти замечания, это было лицо Нана, ее взгляд на Гагина. Никто не мог спорить с молодым человеком, назвавшим ее некрасивой, в то время как она вошла в комнату и еще больше сощурив свои и так небольшие узкие глаза (так, что видны были только густые черные ресницы)[138*], вглядывалась в лица. Низкий, очень низкий лоб, маленькие глаза, толстые губы и нос некрасивой формы[139*].

—[140*] Ал⟨ексей⟩ Ал⟨ександрович⟩, хотите чаю?

Лицо М. М.[141*] белое, бритое, пухлое и сморщенное сморщилось в[142*] улыбку. А⟨лексей⟩ А⟨лександрович⟩ проговорил что-то об удовольствии и сел подле. Она подала ему чаю. Он аккуратно разложил салфеточку и, оправив свой белый галстук и сняв одну перчатку, стал, всхлипывая, отхлебывать. Чай был горяч, и он поднял голову и собрался говорить. Говорили об Офенбахе, что все-таки есть прекрасные мотивы. А⟨лексей⟩ А⟨лександрович⟩ послушал и, сделав усилие над собой, сказал, что Офенбах, по его мнению, относится к музыке, как M-r Jabot относится к живописи.

Жена его между тем начала разговор с хозяйкой, но какой-то новый тон холодности поразил ее, и она[143*] тотчас обратилась к толстой даме с вопросом о[144*] ее кузине, выходящей замуж[145*].

— Да, она выходит, она влюблена, это так редко. У нас все разумные браки.

— Я думаю, что вы за разумные браки?

— Да, они дурно кончают...

Поняв, что и тут что-то не то, Н⟨ана⟩ тотчас же обратилась к дипломату и начала с ним разговор, так просто, свободно. Видно было, что это ведение разговора, которое для большинства светских людей было цель и дело не беструдное, для нее была шутка, не стоившая ей ни малейшего усилия, мало того, она, очевидно, никогда не думала, о чем бы поговорить, а говорила, о чем приходило в голову, и выходило всегда умно и мило, во всяком роде, в легком и серьезном.

135* *Далее начато:* маленьким

136* *Далее начато: а.* выкупа⟨вших⟩; *б.* за что она нр⟨авилась⟩

137* *Далее начато:* прив⟨ело⟩

138* *Далее начато:* оглядыва⟨лась⟩

139* *Далее начато: а.* Но когда; *б.* Она сделала те несколько шагов, которые отделяли ее от

140* *Отсюда начинается вставка из первого наброска.*

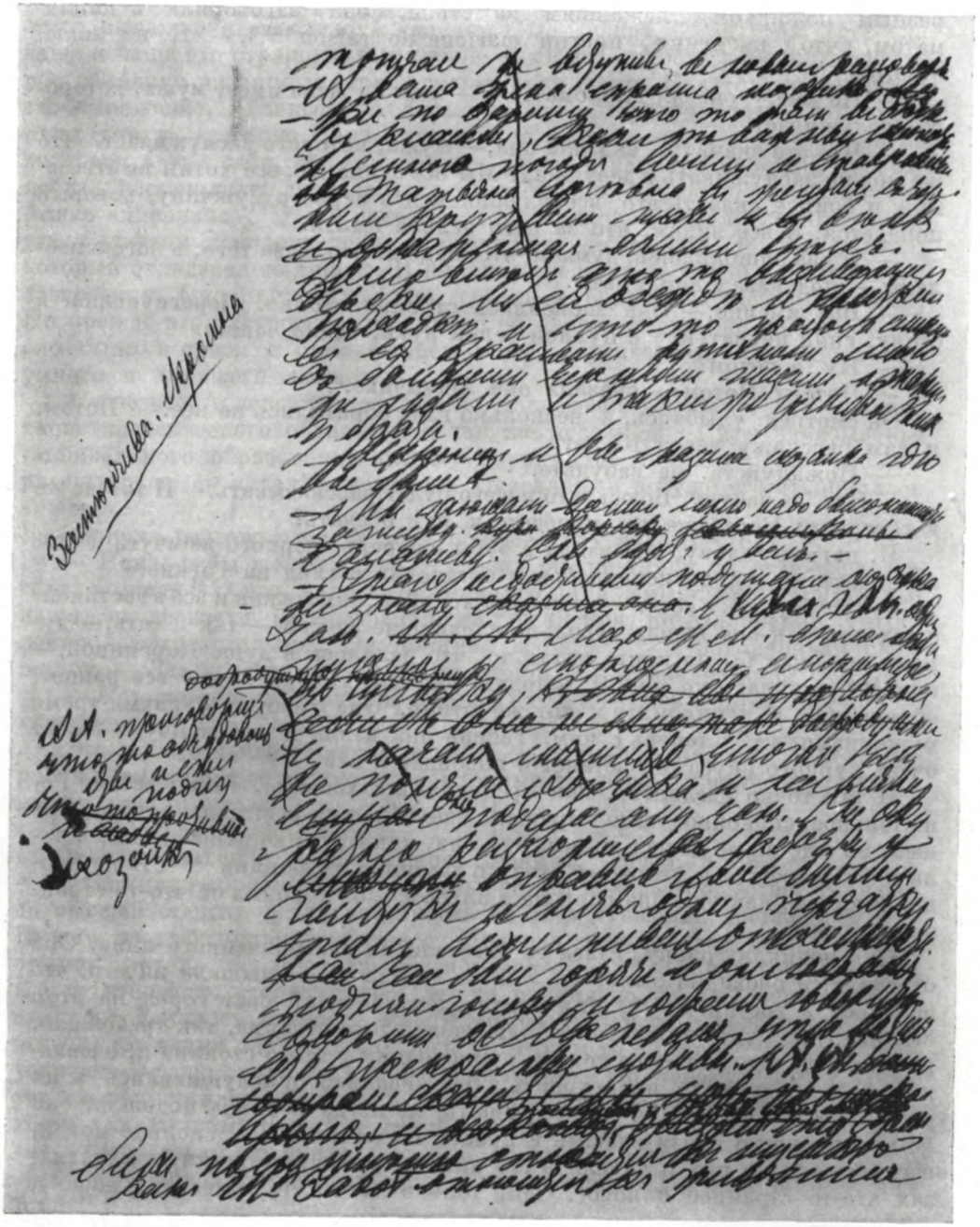
141* *Случайно имя* Михаил Михайлович *осталось неисправленным на* Алексей Александрович.

142* *Далее начато: а.* добродушную; *б.* притворную

143* *Далее начато:* с чут⟨костью?⟩

144* *Далее начато:* о последнем бале у посл⟨анника⟩

145* *Далее начато: а.* Т⟨олстая⟩д⟨ама⟩, отвечая на вопрос, успела дать почувствовать, что и ей; *б.* Это



ЧЕРНОВОЙ АВТОГРАФ РОМАНА «АННА КАРЕНИНА», 1873 г.
Первый набросок романа, переработанный Толстым для второго наброска
Архив Толстого, Москва

Облокотивши обнаженную[146*] руку на бархат кресла и играя разрезным ножик⟨ом⟩, лежавшим на столе, ⟨она⟩ заговорила с дипломатом, ⟨что⟩ кн⟨ягиня⟩ против mariage de raison[147*]. — «Я не знаю, отчего».

— По мне,— сказал дипломат,[148*]— всякая жена имеет мужа, которого заслуживает.

— Что это значит,— сказала она,— мужа, которого заслуживает? Что же можно заслуживать в девушках? Мы все одинакие, все хотим выйти замуж и боимся сказать это, все влюбляемся в первого мужчину, который попадется, и все видим, что за него нельзя выйти.

— И раз ошибившись, думаем, что надо выдти не за того, в кого влюблены,— подсказал дипломат.

— Вот именно.— Она засмеялась странно звонко. Перегнувшись к столу, сняв перчат⟨ку⟩ с пухлой белой руки, взяла чашку.

— Ну, а потом?

— Потом? Потом,— сказала она задумчиво...

Он смотрел, улыбаясь, и несколько глаз обратились на нее.— Потом, я вам расскажу через 10 лет.

— Пожалуйста, не забудьте.

— Нет, не забуду. Боюсь, что нечего будет рассказывать.— И тотчас же к генералу: Когда же вы приедете к нам обедать?

И, нагнув голову, она взяла в зубы ожерелье черного жемчуга и стала водить им, глядя исподлобья и остановив взгляд на Гагине.

— [149*] Ну, так и есть, — подумала хозяйка, так же как и все в гостиной, с тех пор как она вошла невольно следившие за ней,— так и есть,— думала она, как бы по книге читая то, что делалось в душе Карениной,— она[150*] кинулась ко мне. Я холодна, она мне говорит: «мне все равно», обращается к д⟨ипломату⟩, тот же отпор. Она говорит с двумя-тремя мужчинами, а[151*] теперь с ним. Теперь она взяла в рот жемчуг — жест очень дурного вкуса; он встанет и подойдет к ней.

И так точно сделалось, как предполагала хозяйка. Гагин встал. Решительное, спокойное лицо выражало еще бо́льшую решительность; он[152*] шел, но еще он не дошел до нее, как она, как будто не замечая его, встала и[153*] перешла к угловому столу с лампой и альбомами[154*]. И не прошло минуты, как уже она глядела в альбом, а он говорил ей что-то странное, дикое.

Она подняла голову, глаза ее блестели из разгоряченного лица. Она отвечала, и очевидно было, что она не видела и не слышала ничего, что делалось в гостиной[155*]. Как будто электрический свет горел на этом столике, как будто в барабаны били около этого столика, так тревожило, раздражало все общество то, что происходило у этого столика и, очевидно, не должно было происходить. Все невольно прислушивались к их речам, но ничего нельзя было слышать, и, когда хозяйка подошла, они не могли ничего найти сказать и просто замолчали. Все, сколько могли, взглядывали на них и видели в его лице выражение страсти, а в ее глазах что-то странное и новое. Один только Ал⟨ексей⟩ Александ⟨рович⟩,

---

146* *Осталось неисправленным от первого наброска:* обнаженной

147* брак по рассудку (франц.).

148* *Далее ошибочно не вачеркнуто относящееся к первому наброску:* что

149* *Отсюда начинается текст новой рукописи (по описанию т. 20 рук. 19)*

150* *Далее начато:* бросила⟨сь⟩

151* *Далее начато:* потом

152* *Далее начато:* подошел, но не

153* *Далее начато:* села

154* *Далее было:* Благодарствуйте, милый друг,— сказала она хозяйке.

155* *Далее начато: а.* При той чуткости общества к нравственным влия⟨ниям⟩; *б.* При той чуткости общества к духовным

не[156*] прекращавший разговора с генер⟨алом⟩ о классич⟨еском⟩ образовании, глядя на светлое выражение лица своей жены, знал значение этого выражения. Последний год (он был женат 6 лет) он встречал чаще и чаще это страшное выражение — света, яркости и мелкоты, которое находило на лицо и отражалось в духе жены. Как только находило это выражение, А⟨лексей⟩ А⟨лександрович⟩ старался найти ту искреннюю, умную, кроткую Нана, которую он знал, и ничто в мире не могло возвратить ее в себя, она становилась упорно, нарочно мелочна, поверхностна, насмешлива, логична и холодна, весела, и ужасна для А⟨лексея⟩ Алекс⟨андровича⟩[157*]. А⟨лексей⟩ А⟨лександрович⟩, религиозный человек, с ужасом ясно определил и назвал это настроение. Это был дьявол, который овладевал ее душою. И никакие средства не могли разбить этого настроения. Оно проходило само собою и большею частью слезами. Но прежде это настроение приходило ей одной, теперь же он видел, что оно было в связи с присутствием этого энергического, молодцоватого, умного и хорошего юноши.

А⟨лексей⟩ А⟨лександрович⟩ ясно доказывал генералу, что навязыванье классического образования так же невозможно, как навязыванье танцовального образования целому народу, он мямлил, искал слова и улыбался, но он видел, чувствовал, ужасался, и в душе его становилось холодно.

Окончив разговор, он встал и подошел к угловому столу.

— Нана, я бы желал ехать,— сказал он, не глядя на вставшего Гагина, но видя[158*] его, видя выражение его лица, умышленно, чтоб не выказать ни легкости, ни презрения, ни сожаления, ни озлобления, умышленно безвыразительное. Он понимал все это[159*] и поворачивал свою шляпу. — Ты хотела раньше ехать домой, да и мне нужно.

— Нет, я останусь, пришли за мной карету,— сказала она просто[160*], холодно.

«Это он, это дьявол говорит в ней»,— подумал А⟨лексей⟩ А⟨лександрович⟩, глядя на ее прямо устремленные на него, странно светящиеся между ресниц глаза.

— Хорошо.

Он поклонился и, откланявшись хозяйке, вышел.

[161*]Истинно хорошее общество только тем и хорошее общество, что в нем до высшей степени развита чуткость ко всем душевным движениям[162*]. Ничего не произошло особенного. Молодая дама и знакомый мужчина отошли к столу и в продолжение полчаса о чем-то горячо говорили, но все чувствовали, что случилось что-то неприятно грубое, неприличное, стыдное. Хотелось завесить их. И когда А⟨лексей⟩ А⟨лександрович⟩ вышел, кн⟨ягиня⟩ Мика решилась во что бы то ни стало[163*] нарушить уединение и перезвала к их столу двух гостей. Но через 5 минут Нана встала и простилась, сияющей улыбкой пренебрежения отвечая на сухость приветствий. Вслед за ней вышел и Гагин.

— Что я вам говорила?

— Это становится невозможно,— переговорили хозяйка и тол⟨стая⟩ дама.

— Бедный дурак.

[156*] *Далее начато:* переста⟨вавший⟩
[157*] *Далее начато:* Никакие средства не могли ре⟨лигиозного⟩
[158*] *Далее начато:* всю ф⟨игуру⟩
[159*] *Далее начато:* и мямлил
[160*] *Первоначально:* так просто
[161*] *Перед этим начато:* Тем
[162*] *Далее начато:* Об⟨щество⟩
[163*] *Далее начато:* прервать свида⟨ние⟩

Старый, толстый татарин-кучер в глянцовитом кожане с трудом удерживал[164*] левого прозябшего серого, извивавшегося у подъезда; лакей стоял, отворив дверцу. Швейцар стоял, держа внешнюю дверь. Нас⟨тасья⟩ Арк⟨адьевна⟩ Каренина отцепляла кружева рукава от крючка шубки и, нагнувшись, улыбалась. Гагин говорил:

— Вы ничего не сказали, положим, я ничего не требую, ничего. Только[165*] знайте, что моя жизнь — ваша, что одна возможность счастия — это ваша любовь.

— Да, я не сказала, что я люблю вас,— повторила она медленно, горловым густым голосом, и вдруг, в то же время как отцепила кружево,— потому что незачем говорить. Я люблю тебя. Завтра в 4 часа. До свиданья, Алексей Кирилыч.

Она подала руку, взглянула и быстрым, сильным шагом прошла мимо швейцара и скрылась в карете.

Ал⟨ексей⟩ Александрович, вернувшись домой прежде жены[166*], решился объясниться с нею. Он, не раздеваясь, ходил[167*] своим неровным слабым шагом взад и вперед по освещенной одной лампой столовой, по ковру темной гостиной, в которой свет отражался только в зеркало и через ее кабинет, в котором горели две свечи[168*], освещая красивые игрушки, так давно знакомые ему, ее письменного стола, и до двери спальни, у которой он поворачивался. Он слышал, как в спальню вошла Маша, горничная, слышал, как она взглянула на него, и потом, как будто сердясь на то, что он так непривычно ходит не в своем месте, стала бить подушки, трясти какими-то простынями. Все эти столь непривычные предметы, звуки как ножом резали его в самое сердце.

Как человеку с больным пальцем кажется, что как нарочно он обо все ушибает этот самый палец, так А⟨лексею⟩ Ал⟨ександрович⟩у казалось, что все, что он видел, слышал, ушибало его больное место в сердце. На каждом[169*] протяжении в своей прогулке и большей частью на середине в темной гостиной, он останавливался и говорил себе: «Да что же случилось? Ничего. Она долго говорила с ним. Ну, что же? Вольно же мне видеть в этом что-то особенное»; но как только он входил в темную гостиную, ему вдруг представлялось это преображенное, мелкое, веселое и ужасное выражение лица, и он понимал, что действительно случилось что-то, и холод охватывал сердце. Он входил в кабинет и тут[170*], глядя на ее стол с лежащей[171*] наверху бювара начатой запиской, он живо вспоминал ее тою, какою она была для него эти 6 лет, — простою, ясною, открытою до последних извивов души, вспоминал ее вспыльчивость, ее несправедливые почти всегда досады на него, ее грубые слова и потом простое раскаяние — слезы. Но теперь? Нет этого теперь, реже и реже я вижу и понимаю ее.— Нет, нет, я должен объясниться, разрешить все это.

Румяное, круглое лицо с огромным шиньоном в белейших воротничках высунулось из двери спальной.

— Извольте ложиться, А⟨лексей⟩ А⟨лександрович⟩, я убралась,— сказал голосок горничной.

Алек⟨сей⟩ Ал⟨ександрович⟩ заглянул в спальню, и новое чувство злости, отвращения к ней, к себе наполнило его душу.

164* *Далее начато:* двух прозябших серых, бившихся у подъезда
165* *Далее начато:* мне позвольте
166* *Далее начато:* провел
167* *Далее начато:* взад и вперед
168* *Далее начато:* между мелочами ее
169* *Далее начато:* ново⟨роте⟩
170* *Далее начато:* ему
171* *В автографе описка:* лежащим

«ЛЕВИН НА БАЛКОНЕ»
Гравюра Н. И. Пискарева, 1933 г.
Иллюстрация к изданию романа «Анна Каренина» на английском языке

— Да, да, хорошо,— сказал он с своей притворной улыбкой и, прибавив шагу, направился опять к столовой. У подъезда зашумели. А⟨лексей⟩ А⟨лександрович⟩ вернулся в ее кабинет и посмотрелся в зеркало. Лицо его пухлое, морщинистое, было покрыто красными пятнами и показалось ему самому отвратительно. И на него нашла робость. Как и что скажет он ей? Она шла тихо через залу, быстро и легко через столовую, потом шаги ее замолкли в темной гостиной. Она остановилась. О чем она задумалась? А⟨лексей⟩ Ал⟨ександрович⟩ встал, пошел к двери. Она стояла в накинутом распущенном башлыке, играя обеими руками его кистями и задумчиво опустив голову. Увидав его, она подняла голову, улыбнулась.

— Ты не спал, вот чудо! — И с этими словами скинула башлык и прошла в спальню.— Пора, Алекс⟨ей⟩ Александрович,— проговорила она из-за двери.

— Нана, мне нужно переговорить с тобой!

— Со мной? — Она высунулась из двери.— Ну давай переговорим, если так нужно. А лучше бы спать.

— Что с тобой? — начал он.

— Как что со мной?

Она отвечала так просто, весело, что тот, кто не знал ее, как муж, не мог бы заметить [172*] ничего неестественного ни в звуках, н⟨и⟩ в смысле ее слов. Но для него, знавшего, что когда он ложился спать позже обыкно-

[172*] *Далее начато:* ни одн⟨ой?⟩

венного, когда на лице его видна была тревога, забота, иногда самая легкая, она тотчас же замечала и спрашивала; для него, знавшего, что всякие свои радости, веселье, горе она тотчас сообщала ему, для него теперь видеть, что она не хотела замечать его состояния, что не хотела ни слова сказать про себя, было ужасно.

— Как что со мной? Со мной ничего. Ты уехал раньше, чтоб спать, и не спишь, не знаю отчего, а я приехала и хочу спать.

— Ты знаешь, что я говорю. Я вижу, что ты переменилась, я вижу, что в душе у тебя что-то делается, что ты чем-то живешь, ты чем⟨-то⟩ счастлива, независимо от меня, от общей семейной жизни,— сказал он, сам чувствуя всю праздность своих слов, когда он говорил их и смотрел на ее смеющиеся, страшные теперь, потому что закрытые от него, глаза.

— Ты всегда так,— отвечала она, как будто совершенно не понимая его, и изо всего того, что он сказал, понимая только последнее.— Тебе то неприятно, что я скучна, то тебе неприятно, что я весела. Мне не скучно было. Это тебя оскорбляет.

— Ах, это ужасно,— вскрикнул[173*] он, взмахнув над головой руками, чувствуя, что то дьявольское наваждение, которое было в ней, не пронзимо ничем. — Ах, это ужасно! Нана, опомнись!

— Да что же это такое,— сказала она с таким искренним и комическим, все-таки веселым удивлением.— Что тебе от меня надо?

— Тебя, тебя, какая ты есть, а не это.— И голос его задрожал слезами.

— Это удивительно,— сказала она, не замечая его страдания и пожав своими холодными белыми плечами.— Ты нездоров, Ал⟨ексей⟩ Александ⟨рович⟩,— и она хотела затворить дверь, но он схватил своей разгоряченной рукой ее тонкую и холодную руку и остановил ее. Она бы могла шутя стряхнуть его руку, и в том взгляде, который она опустила на его костлявую слабую руку и на свою руку, выразилось насмешливое презрение, но она не выдернула руки, только с отвращением дернулась плечом.

— Ну-с, я слушаю, что будет.

Еще раз он смиренно и умоляющим[174*] взглядом просил ее, чтобы она вернулась, она, какая она была прежде; но неприступная черта та же лежала между ними. Он все-таки начал говорить:

— Наша жизнь связана и связана не людьми, а богом. Бывает, что связи эти разрываются, но тогда гибнут те люди. И в связи нашей есть таинство, и ты и я, мы его чувствуем, и оттого я знаю, хотя ничего не случилось, я знаю, что теперь, именно нынче, в тебя вселился дух зла и искушает тебя, завладел тобой. Ничего не случилось, но я вижу гибель для тебя и для меня. Я не буду пугать тебя.

— Что ж, это ревность, к кому? Ах, боже мой, и как мне на беду спать хочется.

— Ради бога, не говори так. Я не буду тебя пугать собой. Чем я буду пугать? Я слабый человек и физически и морально.

На мгновение лицо ее опустилось и потухла насмешливая искра в ее взгляде.

— А⟨лексей⟩ Александр⟨ович⟩[175*], у тебя нервы.

— Позволь, дай договорить; да, я слабый человек и собой пугать не буду, я ничего не сделаю, не могу да и не хочу наказывать. Мщение у бога. Но я думал в минуты моей ревности прежде, что бы я сделал, если бы ты разорвала нашу связь. Я бы оставил тебя и постарался бы умереть. Но не я главное лицо, а ты. Поверь мне, теперь торжественная минута.

[173*] *Первоначально:* сказал

[174*] *Вместо* смиренно и умоляющим *было:* видимо умоляющим

[175*] *Далее начато:* ты чем-то расстро⟨ен⟩

— Что с вами, я понять не могу, я бы думала, что вы ужинали.

И опять та же неприступная черта восстановилась.

— Если ты дорожишь собой, своей вечной душой, отгони от себя это холодное, не твое состояние, вернись сама в себя. Скажи мне все. Скажи мне, если даже тебе кажется, что ты жалеешь, что вышла за меня, что[176*] ты жалеешь свою красоту, молодость, что ты боишься полюбить или полюбила.

— Мне нечего говорить, да и... пора спать.

Всю ночь эту А⟨лексей⟩ А⟨лександрович⟩ не смыкал глаз и, когда на другой день он увидал[177*] ту же чуждость в своей жене, он решил сам с собой, что одно из главных несчастий его жизни свершилось. Как, в каких подробностях оно выразится, что он будет делать, он не знал, но знал, что сущность несчастия совершилась[178*].

2-я ЧАСТЬ

I

После объяснения на даче Ал⟨ексей⟩ Александрович[179*] уехал в Петербург и погрузился в свои занятия.

В конце сентября он получил записку от жены: «Я намерена переехать в Петербург в середу, поэтому распорядитесь в доме так, ⟨как⟩ вы найдете это нужным». Ал⟨ексей⟩ Ал⟨ександрович⟩ передал приказанье дворецкому, и в середу Н⟨астасья⟩ Арк⟨адьевна⟩ с сыном и англичанкой переехали. Муж и жена встречались, но никогда не говорили наедине. Они говорили друг другу «ты», но старались избегать друг друга. Они не выезжали вместе и не принимали. Ал⟨ексей⟩ Ал⟨ександрович⟩ старался обедать вне дома или опаздывать, так что ему подавали обед в кабинет. Когда он б⟨ывал⟩ в детской, что случалось часто, она, услыхав его голос в детской, дожидалась, пока он уйдет[180*]. Все, и знакомые и прислуга, могли догадываться и догадывались об отношениях между супругами, но не имели права знать. А⟨лексей⟩ Гагин часто обедал и все вечера до поздней ночи проводил у Наст⟨асьи⟩ Арк⟨адьевны⟩. Встречаясь в свете и на крыльце, Ал⟨ексей⟩ А⟨лександрович⟩ и Гагин кланялись друг другу, не глядя в глаза, но никогда не произносили ни одного слова. Жизнь эта была мучительна для обоих. Наст⟨асья⟩ Арк⟨адьевна⟩ одна, казалось, не чувствовала всего ужаса этого положения, никогда не тяготилась им, не жаловалась и, казалось, не видела необходимости предпринять что-нибудь. Гагин видел, что она переменилась для него, тоже испытывал чувство, подобное тому, которое испытывает человек, глядя на изменившийся, завядший цветок в руке, с тех пор как он сорвал его, тот самый цветок, который был так хорош, пока он был не в руке. Он чуял, что она была несчастлива; но не имел права сказать ей это.

176* *Далее начато:* тебе прих⟨одится?⟩

177* *Далее начато:* то же вы⟨ражение⟩

178* *На этом кончается рукопись. На полях вписан новый вариант конца в той же первой стадии работы (см. факсимиле на стр. 437).*

А⟨лексей⟩ А⟨лександрович⟩, расплакавшись, [долго] всхлипывал [потом] еще на постели, но еще всхлипыванья не прошли, как они перешли в сырое храпенье. Нана между тем долго лежала неподвижно с открытыми глазами и говорила [шептала] себе без звука одни и те же слова: «Поздно. Ах поздно, голубчик, ах поздно». И ей весело было, что было уж поздно.

Дальнейший текст, находящийся в другой рукописи (по описанию т. 20 рук. 38), написан после того, как был создан план, следовавший за окончанием предыдущей рукописи (факсимиле плана см. на стр. 439).

179* *Далее начато:* жил [только] в одном доме с женою, соблюдая приличия, но никогда не говорил с нею наедине.

180* *Далее начато:* Гагин просиж⟨ивал⟩

Она, казалось, вполне счастлива одним настоящим, без прошедшего и будущего.

Однажды в середине зимы он запоздал больше обыкновенного. Он[181*] был на обеде проводов выходившего из полка товарища. Он выпил больше обыкновенного и, что с ним редко случается, заснул. Проснувшись, он смутно вспомнил какой-то странный сон, поразивший его. В его комнате стоял мужик, маленький, грязный, с взъерошенной бородкой[182*], и что-то он делал, нагнувшись, и вдруг заговорил по французски, часто-часто приговаривал какие-то странные слова. И он проснулся от ужаса. Ничего ужасного не было. Но во сне это было ужасно. «Что за вздор»,— подумал Гагин, облился водой, оделся[183*] и поехал к ней, поглядывая[184*] на часы у фонаря и тревожась ее беспокойством. Было 9, а[185*] она ждала его[186*] с 8-ми.

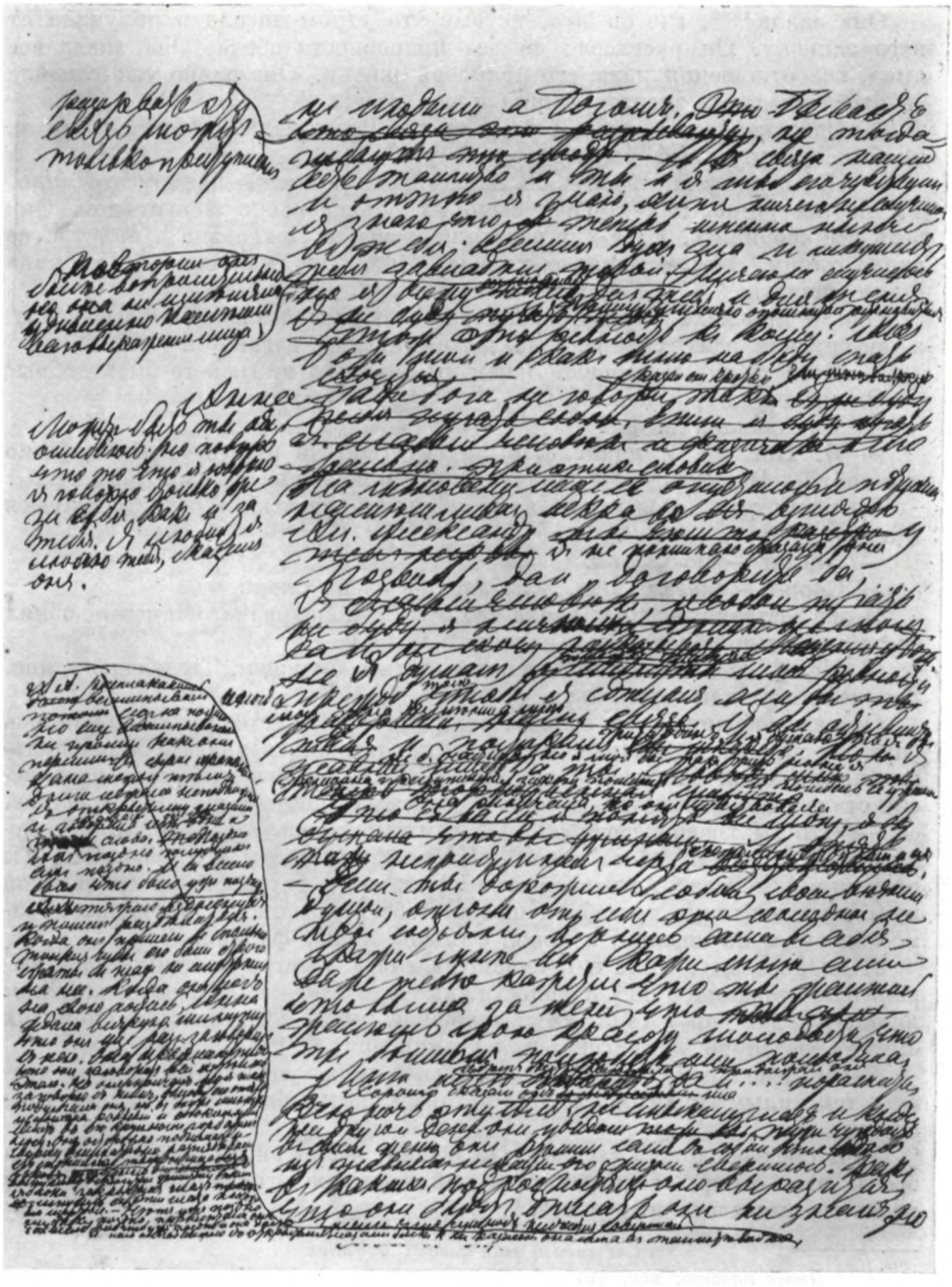
Карета, их карета — высокая, узенькая, с коричневыми колесами и пара серых ночных стояли у подъезда. «Она едет ко мне. Нет, не может быть,— подумал он.— Верно, он. Столкнешься с ним. Что делать?».

С теми усвоенными им с детства приемами человека, которому нечего стыдиться (несмотря на то, что теперь и было чего стыдиться), Гагин вышел из саней и, бренча саблей, побежал вверх по ступеням. Лакей, знакомый Корней, держал дверь. Он, не привыкший стыдиться и замечать, заметил теперь выражение, знающее выражение лица Корнея.

Медленно, стуча калошами, спускалась высокая, немного больше обыкновенного сгорбленная фигура Алек⟨сея⟩ Александровича. Рожок газа прямо освещал его бледное пухлое лицо с нахмуренными белыми бровями и отвисшим носом и отвисшими щеками над бобровым воротником. Ясные, светлые, голубые глаза его устремились с недоумением на лицо Гагина, и все-таки он первым поднял пухлую руку к шляпе. Этим движением он уронил черную перчатку. Гагин тоже приложил руку к козырьку, двинулся невольно к перчатке, вспыхнул[187*] и отшатнулся, А⟨лексей⟩ А⟨лександрович⟩ заторопился, нагнулся к перчатке, споткнулся и справился, загремев калошами. Когда Гагин вышел в переднюю, он с трудом удержался от хрипения, вызванного в нем душевной болью. Боже мой! если бы[188*] он потребовал удовлетворения, если бы я чем-нибудь мог заплатить[189*]. Но еще хуже, если бы он потребовал удовлетворения. Это ужасно б было хоть не стрелять, но поставить под выстрел[190*] и с пистолетом в руках[191*] человека с этими глазами. Нет, это не может так продолжаться. Это должно кончиться.

Еще снимая шинель, он услыхал и удаляющиеся шаги. Он понял, что она ожидала его и прислушивалась и теперь вернулась в гостиную, чтоб скрыть свое беспокойство. Он знал, что ему не будет упреков[192*]. Она встретила его у дверей гостиной и положила обе руки на его плечи и долго смотрела на него любящим, глубоким, восторженным и вместе испытующим взглядом. Она изучала его лицо за то время, которое она не видала его. Она, как и при всяком свиданье, сводила в одно в мысли то воображаемое представление о нем (несравненно лучшее, невозможное в действительности) с ним, с таким, каким он был.

181* *Далее начато:* обедал с товарищами
182* *Далее начато: а.* и, нагнувшись; *б.* и страшной
183* *Первоначально:* переоделся
184* *Далее начато:* на первом пов⟨ороте⟩
185* *Далее начато:* когда он приезжал
186* *Далее начато:* каждый де⟨нь⟩
187* *Первоначально:* опять вспыхнул
188* *Далее начато:* это
189* *Далее начато:* Если бы он
190* *Далее начато:* этого
191* *Далее начато:* это⟨го⟩
192* *Далее начато:* но что



ЧЕРНОВОЙ АВТОГРАФ РОМАНА «АННА КАРЕНИНА», 1873 г.
Предпоследний лист первого наброска
Архив Толстого, Москва

— Ты встретил его? — сказала она.— Вот тебе наказанье за то, что ты опоздал. Где ты был? Неужели все на этом обеде?

Она знала[193*], где он был, потому что утром писала и получила от него записку. Он рассказал ей все подробности обеда. Она знала все лица, все отношения даже его полковой жизни. Она давно уже следила за этой жизнью и знала все лица и характеры.

— Одно нехорошо, что вы пьете много. Разве нельзя не пить? Что ж, он был тронут, когда вы поднесли ему?

— Да, и искренно тронут. В нашем франмасонстве пьяном это мило. Ты не поверишь, как хорошо было их объясненье с Ленгольдом. Они ведь всё ссорились. Ну а тут растаяли и оба, и Ленгольда я никогда не видал таким. Потом качанье хорошо было. Это маленького Пушкина стали качать.

Она[194*] держала в руках свивальник, который она вязала, и не вязала, а, не спуская глаз, смотрела на него сияющим взглядом.

— Нет[195*], это нехорошо. Зачем вы без вина не можете быть добры?

Он перестал рассказывать.

— Ты плакала нынче?

— Я? Нет, да. Я плакала, было грустно. Не оттого, чтобы грустно что-нибудь. Чего мне еще? Но мы в этом положеньи не свои бываем.

Он посмотрел на ее глаза, на свивальник, на всю ее расширившуюся фигуру.

— Когда? — сказал он.

— Скоро,— сказала она, улыбаясь,— очень скоро.

И она, оставив вязанье, взяла его руку и поцеловала. Он встал, обнял ее за голову и поцеловал в волосы.

— Нана![196*] Ты мне обещала поговорить о будущем. Ты обещала мне. Это не может так оставаться.

Она высвободила свою голову, отстранилась от него, ручки ее взялись опять за крючок и вязанье, и быстро накидывались указательным пальцем петли белой блестевшей под огнем лампы бумаги, и быстро нервически стала подворачиваться тонкая[197*], нежная кисть в шитом рукавчике.

— Что ты хочешь говорить? Об чем ты хочешь говорить? Какое будущее? — зазвенел[198*] ее голос.— Я знаю, отчего ты это говоришь. Ты встретил А⟨лексея⟩ А⟨лександровича⟩, и он с духовной миссионерской кротостью взглянул на тебя и послал тебе христианское прощение, самое ядовитое из мщений, и ложь, фальшь, ложь, фальшь.

И она, вытянув лицо и полузакрыв глаза, быстро изменила свое выражение, сложила руки, и непостижимо для Гагина он в ее прелестном личике увидал вдруг то самое выражение лица, с которым поклонился ему на лестнице А⟨лексей⟩ А⟨лександрович⟩[199*].

Гагин невольно[200*], хоть и кольнуло в душе, улыбнулся. Она засмеялась тем милым грудным смехом, который был одной из ее главных прелестей.

Этот смех ободрил Г⟨агина⟩. Он решил, несмотря на то, что встречал всегда этот отпор, это странное в ней жестокое отношение к мужу, он решился высказать нынче все.

193* *Далее начато:* все, что

194* *Далее начато:* смотрела на него

195* *Далее начато:* *а.* как; *б.* что ты ни говори

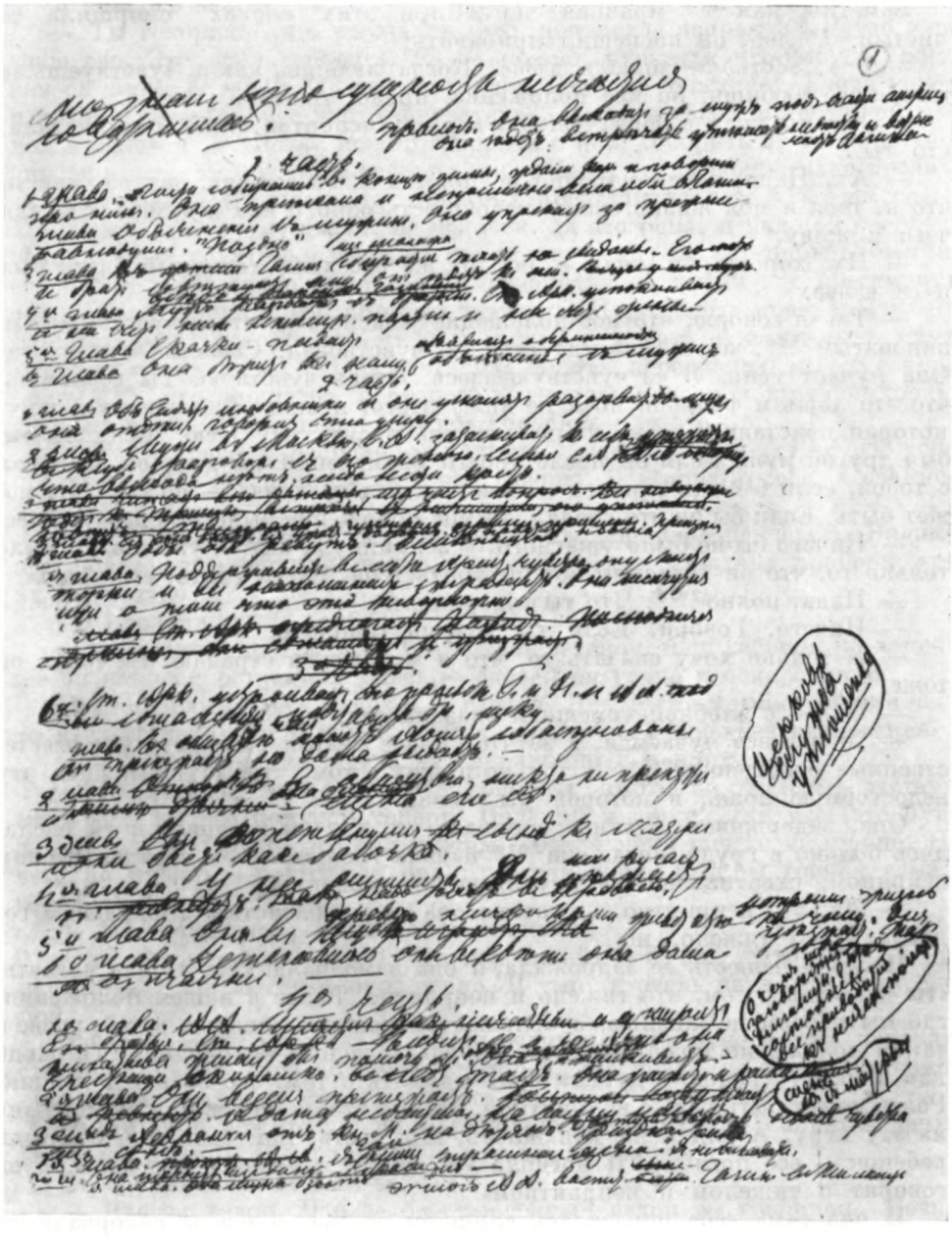
196* *Далее начато:* Это не может

197* *Далее начато:* бела⟨я⟩

198* *Первоначально:* заговорил

199* *На полях записи, относящиеся к этой стадии работы:* ⟨1⟩ «Он мне г⟨оворит⟩: ты, Нана». Я бы разорвала. ⟨2⟩ Сны видит, что оба — мужья.

200* *Далее начато:* как ему ни



ЛИСТ РУКОПИСИ «АННЫ КАРЕНИНОЙ»

Автограф. Первый план романа, 1873 г.

Архив Толстого, Москва

— Все-таки, Нана, позволь мне все сказать, что я давно думаю и нынче думал. Я не знаю, как ты переносишь свое положение.

Заметив, как [201]* мрачная черта при этих словах сморщила ее чистый [202]* лоб, он поспешил прибавить:

— Т⟨о⟩ е⟨сть⟩ я знаю в душе. Когда любишь, как я, чувствуешь за того, кого любишь; но мое положение, право, тяжело, ужасно.

— Что ты упал в обществе. Ты *карьеру* испортил. Тебе мать сказала, что ты...

— Ах, Нана, зачем нарочно не понимать. Ты знаешь, так же как я, что я, твоя и моя жизнь, наша любовь есть одно, о чем я думаю [203]*, для чего я живу.

— Ну хорошо, я знаю,— но тот же веселый, холодный блеск был в ее глазах.

— Так я говорю, что мое положение ужасно тем, что я чувствую себя виноватым [204]*, чем я никогда себя не чувствовал. Совесть — не слова. Она мучает меня. Я ее чувствую здесь. Очень чувствую. Ты говоришь, что это ложь и фальшь, но я не вижу этого, я вижу беззащитную овцу, которая подставила шею, и мне ужасно рубить эту шею. Если бы это был другой муж. Если бы после твоего объяснения на даче он разорвал с тобой, если б он придрался ко мне, вызвал на дуэль,— но этого не может быть. Если бы он это сделал, то мое положение было бы еще ужаснее.

— Ничего бы не было ужасного,— вскрикнула она,— ужасно бы было только то, что он нечаянно мог бы убить тебя. А его убить, его убить?

— Нана, полно [205]*. Что ты говоришь...

— Ничего. Говори. Если ты хочешь говорить.

— Я только хочу сказать то, что я мучаюсь и страдаю, ты тоже, он тоже.

— Он! — с злобной усмешкой сказала она.

— Да мы все мучаемся, и за что? Разве нельзя разорвать эти неестественные отношения? [206]* Я только прошу о том, чтобы уничтожить эту недостойную ложь, в которой мы живем.

Она, задерживая дыханье, слушала то, что он говорил, и ей сделалось больно в груди, когда она [207]* начала говорить. И с страдальческим вскриком, схватившись за грудь, начала говорить.

— Да, это неприятно,— сказала она своим басистым воркующим голосом,— это тяжело, но...

Нижняя челюсть ее задрожала, и она замолчала. Она хотела сказать: «ты думаешь о том, что тяжело и неприятно. Разве в нашем положении, где мы играем не жизнью, а больше чем жизнью, жизнью детей, разве в таком положении может быть что-нибудь тяжело и неприятно? Все равно как в минуту родов,— думала она,— думать о том, что собьется чепчик. Разве может быть речь о неприятном, потому что он не поставил всю жизнь на эту игру. А для меня моя жизнь, моя честь, мой сын, мой будущий ребенок — все погибло. И погибло уж давно, и давно я это знаю, а он говорит о тяжелом и неприятном».

И она сама себе показалась слишком жалка, и слезы надорвали ее голос. Она помолчала и, положив руку на его рукав, не давала ему говорить, дожидалась, пока будет в силах говорить.

---

[201]* *Далее начато: а.* она нах⟨мурилась⟩; *б.* черты
[202]* *Далее было:* низкий
[203]* *Далее начато:* что я люблю
[204]* *Далее было:* вором (*в автографе описка:* ворым)
[205]* *Далее начато:* Нана, ты
[206]* *Далее начато:* Подумай
[207]* *Далее было:* наконец

Он смотрел на нее, сдерживая дыханье[208*]. Ей стало жалко его[209*], она успокоилась и сказала не то, что хотела сказать. Она сказала одно то, о чем она могла говорить, о муже.

— Ты говоришь, что он жалок, это неправда, неправда. Разве я не знаю его. Это ложь, гадость. Разве можно, чувствуя что-нибудь, жить как он живет со мной. Он ничего не понимает, не чувствует. Разве может человек, который что-нибудь чувствует, жить с своей *преступной* женой в одном доме. Разве можно говорить с ней, говорить ей ты. Третьего дня он в детской при няне говорит мне: «Нана, ты думаешь, надо послать за доктором».— И опять невольно она представила его: «Ты, ma chère. Ты, Нана». Это не мужчина, не человек, да это овца, и надо ей свернуть голову. О, о! если бы я была на его месте, если бы кто-нибудь был на его месте, я бы давно убила, я бы разорвала на куски эту преступную жену. Я не говорила бы: «Как ты думаешь, Нана, взять повара Павла?». Это животное, которое любит есть, спать и ездить в комитеты и министерства с портфелем.— Она отставила локоть, передразнивая его с портфелем[210*]. Это животное, к⟨оторое⟩ выучилось словам и имеет духовные голубые глаза. Не будем, не будем говорить про это.

— Ты *не*права и *не*права, мой друг,— сказал Гагин, стараясь успокоить ее.— Но все равно я не о нем говорю. Я говорю о себе, а главное, о тебе.

Он помолчал. Она смотрела на него с насмешливой радостью. Видимо, она нашла еще смешные яркие стороны в муже и ждала времени, чтоб их высказать.

Он продолжал:

— Но, Нана, друг мой. У тебя будет ребенок, наш ребенок, не сможет же он наконец оставаться здесь,— сказал он гордо и оскорбленно.

Насмешливый блеск потух в ее глазах. Но другая улыбка знания чего-то неизвестного ему и тихой грусти заменила ее прежнее выражение.

Она помолчала, поглядела на свивальник и подняла голову.

— Алексей! Я не хотела тебе говорить этого, но ты [сам] заставил меня[211*]. Ты все поймешь теперь. Пеленку я вяжу. Для нее (это будет девочка, я знаю), для нее они нужны, но для меня ничего не нужно. Ничего не нужно,— повторила она с расстановкой, как бы говоря сама с собой.

— Я не понимаю,— сказал он, понимая.

— Я не переживу этого. Не перебивай, — и она заторопилась говорить. — Я знаю это и знаю верно. Я умру и очень рада, что умру с тобой.

Слезы потекли у нее из глаз. Он нагнулся к ее руке и стал целовать, стараясь скрыть свое волненье, которое, он знал, не имело никакого основания, но он не мог преодолеть его.

— Вот так, вот это лучше,— говорила она, пожимая сильным движением его руку.— Вот одно, одно, что нам осталось.

Он опомнился и поднял голову.

— Что за вздор. Что за бессмысленный вздор ты говоришь. Вечные фантазии всех беременных.

— Нет, это правда.

— Что, что правда?

— Что я умру. Я видела сон.

— Сон? Когда?

208* *Далее начато:* Он ей показался

209* *Далее начато:* и

210* *Далее начато: а.* и к⟨ак?⟩ *б.* Он не пон⟨имает⟩

211* *Далее начато:* Алексей, тебе

— Давно уж. Я видела, что я вбежала в свою спальню, что мне нужно там взять что-то, узнать что-то. Ты знаешь, как это бывает. И в спальне в углу стоит что-то.

— Ах, какой вздор, как можно верить.

Но она не позволила себя перебить. То, что она говорила, было слишком важно для нее.

— И это что-то повернулось, и я вижу, что это мужик, маленький, с взъерошенной бородой и страшный. Я хотела бежать, но он нагнулся [212]* над мешком и я слышу, что он руками что-то копошится там (она представила, как он копошится в мешке).

Ужас был на ее лице. И Гагин, вспоминая свой сон, чувствовал такой же ужас, наполнявший его душу.

— Он копошится и приговаривает по-французски скоро, скоро и, знаешь, грассируя: «Il faut le battre le fer, le broyer, le pétrir» [213]*. И я от страха я захотела проснуться, проснулась. Но я проснулась во сне [214]*. И стала спрашивать себя, что это значит. И Корней мне говорит: «Родами, родами умрете, родами, матушка». И я опять проснулась. И еще он б⟨ыл⟩ тут и храпел. И я узнала и знаю верно.

— Какой вздор, какой вздор,— говорил Гагин. Но он сам чувствовал, что не было никакой убедительности в его голосе.

— Ну, не будем говорить. Вели подать чаю.

— Так ты не хочешь говорить?

— Ничего, ничего, ни слова. — Она заплакала.—Подожди, недолго.

С этих пор Гагин не пытался более изменить существующего положения и с страхом ждал родов.

II

Несколько недель перед родами А⟨лексей⟩ Алекс⟨андрович⟩ по поручению государя уехал на ревизию [215]*.

---

[212]* *Далее начато:* и я слышу, что

[213]* Надо ковать железо, толочь его, мять (франц.).

[214]* *Далее начато:* И мне

[215]* *На этом кончается вариант «Молодец-баба». На оставшихся незаполненными двух страницах вписаны впоследствии отдельные заметки, опубликованные в т. 20, с. 11 (план № 11).*

НАЧАЛО НЕЗАВЕРШЕННОГО РАССКАЗА «ЗАПИСКИ СВЯЩЕННИКА»

(1909)

Публикация В. С. Мишина

Публикуемое нами начало «Записок священника» было написано Толстым 21 октября 1909 г. В дневнике под этим числом Толстой отметил: «Начал писать записки священника. Могло бы быть очень хорошо. Может быть, и напишу». Через два дня, 23 октября, Толстой сделал новую запись: «(Для записок священника) как больше всего усилили в нем сомнения софизмы защиты церкви товарищем, и как утвердило в вере принесение бабой свечи Казанской божьей матери» (т. 57, с. 155 и 159).

Этими двумя записями исчерпываются свидетельства самого Толстого о работе над начатым произведением. Ни в дневниках, ни в письмах его нет никаких дополнительных сведений.

О своем новом замысле Толстой через месяц сообщил Д. П. Маковицкому; при этом он более подробно, чем в дневнике, раскрыл содержание произведения. 21 ноября 1909 г. Маковицкий записал, что Толстой говорил с ним о «желании» написать «рассказ про священника, разуверившегося в религии, которую он исповедовал; написать об его сомнениях, страданиях, о том, что семья заставляет его продолжать прежний путь».

В заключение Толстой сказал, что он «начал писать об этом, но не кончит» («Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого. Рукопись.— АТ).

В архиве Толстого сохранился автограф первого наброска рассказа на двух листках. Заглавие, в нем отсутствующее, дается нами по названию этого рассказа в дневнике Толстого.

⟨ЗАПИСКИ СВЯЩЕННИКА⟩

1906 года в конце октября умер от чахотки в селе Никольском священник отец Алексей. После о⟨тца⟩ Алек⟨сея⟩ осталось три сына, две дочери и вдова Марья Ефимовна.

Состояния у отца А⟨лексея⟩ не осталось никакого. Он[1*] со време⟨ни⟩ посвящения в сан почти ежедневно писал свои записки. За несколько недель до смерти он передал 8 тетрадей жене[2*], и сказал, чтобы[3*] она после его смерти передала запис⟨ки⟩ его другу и родственнику Миропольскому и что оч⟨ень⟩ может быть, что Мир⟨опольский⟩ сумеет выручить за напечатание этих записок мож⟨ет⟩ б⟨ыть⟩ и порядочные деньги[4*]. В 1-ю тетрадь записок была влож⟨ена⟩[5*] бумажка с написанными на ней следующими

[1*] *Далее было:* всю свою

[2*] *Первоначально:* М⟨арье⟩ Е⟨фимовне⟩

[3*] *Первоначально: а.* может быть эти; *б.* за эти

[4*] *Далее начато: а.* Записки; *б.* Перед смертью о. А⟨лексей⟩ хотя и с великим трудом написал на вырванном из книги листке следующее:

[5*] *Далее было:* еще [следующая] написанная накануне записка

словами: «*Прожил лживую подлую жизнь*[6*]. *Не скрываю этого от себя. Но все-таки не боюсь идти к Тому, от Кого пришел.* Он знает меня, знает, что побуждало, останав⟨л⟩ивало меня. Он все знает лучше, чем я сам. Знает, что́ я хотел, с чем боролся, знает мое страдание. Не говорю — прости[7*]. Он не может не прощать, а говорю — благодарю за все и больше всего за страдания».

Умирал он, как рассказывала Мар⟨ья⟩ Ефим⟨овна⟩, оч⟨ень⟩ тихо. Только когда уже очевидно приходило к концу, похолодели уже оконечности, он раскрыл глаза и, как говорила М⟨арья⟩ Е⟨фимовна⟩, удивительно было видеть[8*] улыбку на этом исхудалом, бледном мертвом лице.

И он стал шептать что-то.

— Что ты, отец,— спросила М⟨арья⟩ Е⟨фимовна⟩.

— Как хорошо, как хоро⟨шо⟩.

Он два раза повторил.

— Что хорошо?

Он пошевелил головой.

— Не поймете, все равно не поймете,— и с улыбкой на лице закрыл глаза.

Через несколько минут он умер.

Вот эти записки.

1

Служил, как всегда, воскресную обедню, народа б⟨ыло⟩ мало.

[6*] *Зачеркнуто*: Но

[7*] *Далее было:* Ты всех

[8*] *Далее было:* радостную с трудом, медленно выступившую ⟨?⟩

«ЦАРСТВО БОЖИЕ ВНУТРИ ВАС»

ИЗ РУКОПИСЕЙ ДВЕНАДЦАТОЙ ГЛАВЫ (1890)

Предисловие М. Н. Зозули

Статья и публикация Н. В. Горбачева

Публикуемые первоначальные наброски, относящиеся к XII главе трактата «Царство божие внутри вас», представляют значительный интерес для исследователей позднего Толстого.

Черновые варианты толстовского трактата интересны фактическим материалом и отношением Толстого к русской действительности 90-х годов, в чем проявились и великая сила его «разума», особенно в разоблачении гнета господствующих классов над народными массами, и «предрассудки» в определении целей и смысла жизни.

Варианты, не вошедшие в окончательный текст трактата, содержат порой острые политические оценки явлений действительности. Вникая в причины конфликта крестьян с помещиком Бобринским, вызвавшим карательную экспедицию, Толстой писал, что у крестьян «у многих, как Бобринских, нищенский надел, т. е. есть только $^1/_{10}$ того, что нужно, чтобы кормиться, остальное у помещика〈...〉 Они все нищие и третий год мрут от голода» (вар. 1). Толстой до глубины души возмущен отношением помещика к народу. Ведь это же «тот самый народ, на котором зиждется вся сила русского государства», — с негодованием замечает писатель.

Толстой не мог указать народным массам истинных путей выхода из трагического положения, но он верно указал на виновников бедственного положения народа — царя, правительство, губернаторов, помещиков, капиталистов и всю государственную машину самодержавия. Толстой понимает, что господствующие классы иначе и не могли поступать, ибо «все эти люди потеряют все те выгоды, которые связаны с этим». Указав на виновников народных бедствий, Толстой с наивностью патриархального крестьянина и проповедника всеобщей любви внушает читателю, что «цель нашей жизни есть исполнение дела божия〈...〉 Поймите, что жизнь ваша принадлежит не вам, не семье, не государству, а тому, кто послал вас сюда. Дело вашей жизни есть исполнение его воли». Эти рецепты «спасения человечества» от социального зла наивны и утопичны в жестокой действительности дореволюционной России, мастерски раскрываемой Толстым во многих характерных деталях. Так, в варианте № 2 писатель решительно опровергает свою догматическую проповедь всеобщей любви и покорности, когда контрастно противопоставляет судьбы богачей и судьбы голодающих крестьян: «Живет семейство богатое (помещичье или капиталиста или купца или чиновника) где бы то ни было в России, в Англии, в Америке. Живет это семейство богато, т. е. так, что оно поглощает труды сотен, тысяч, миллионов рабочих, живущих так, что они не могут пользоваться произведениями своего труда, а отдают его этим богатым семействам». Аналогична и судьба крестьян: «...крестьяне принуждены добывать деньги и для того закабаляться в работу к помещикам и заводчикам» (вар. 4).

В варианте № 4 дается убедительная оценка классового содержания реакционной политики царского правительства: «Правительство со своей стороны, поддерживая стачку помещиков и препятствуя всеми силами просвещению народа, запрещая школы и книги и общение с людьми, могущими просветить его», — истязает голодных крестьян, оказывающих неповиновение властям и помещикам.

В военных карательных экспедициях «богачей Бобринских» против беззащитных крестьян Толстой видит яркое проявление общественного строя, господствовавшего в России и во всем мире: «Разве не то же самое, не переставая, совершается— и все чаще и чаще — во всей Европе и в Америке» (вар. 5).

Гнет и насилие правящих классов совершаются над народом во имя денег, богатства, роскоши, в своекорыстных целях: «Каждая ложа в театре, каждая бутылка шампанского, каждая роскошная книга,— это столько-то розог, столько-то дней тюрьмы, столько-то крови, столько-то стонов и слез» (вар. 10).

Но господство собственников становится все более шатким, народные массы восстают против помещиков и капиталистов, — это для Толстого бесспорная истина. Вот почему, объясняет Толстой, все чаще правительство посылает военные карательные экспедиции против голодающих крестьян, поднимающихся против помещиков. Эти экспедиции и посылаются для утверждения колеблющегося «священного права собственности» (вар. 10).

Нарастающая волна народного гнева, охватившая Россию в период подготовки первой русской революции, обострила до предела социальные противоречия, вызвала выступления масс и кровавые расправы царских властей. Говоря о солдатах, посылаемых сечь и расстреливать голодных стариков, женщин и детей, Толстой ссылается на самые злободневные факты: «Все они ⟨солдаты⟩ знают, что им придется делать то, что на днях было в Саратове, в Астрахани, на Юзовском заводе ⟨...⟩ в Орле» (вар. 14).

Порой в этих не публиковавшихся ранее черновых вариантах автор трактата конкретнее и политически острее высказывается по злободневным политическим вопросам современности, чем в беловом тексте. Его отдельные наблюдения, замечания, оценки вырастают в глубокие обобщения живой действительности. Наиболее выразителен в этом отношении вариант № 15, в котором раскрывается лживая механика буржуазного строя, его философия и мораль: «... люди нашего времени: землевладельцы, купцы, заводчики, банкиры, цари, архиереи, генералы, офицеры, министры, судьи, всей своей жизнью отрицая всякую справедливость, всякое добро и всеми поступками своими проповедуя несправедливость, неравенство, угнетение, братоненавистничество и высказывая полное презрение ко всем законам божеским и человеческим, спокойным, уверенным тоном проповедуют справедливость, гуманность, христианство, братолюбие, милосердие, любовь». Толстой утверждает, что «весь мир полон стонами угнетенных и разъяснениями причин этого угнетения и указаниями необходимости изменить положение вещей».

Толстой — обличитель капитализма и господствующих классов — в этих фрагментах мастерски обнажает природу общественных отношений и вопреки своей проповеди всепрощения и «всеобщей любви» логикой фактов подводит читателя к выводам о неизбежности краха существующего «порядка вещей».

* * *

Ленинская концепция философии творчества Толстого предполагает диалектическое единство Толстого-мыслителя и художника, публициста и проповедника. В этом сложном единстве исследователь находит и ведущие прогрессивные тенденции, отражающие процессы общественного развития, и мертвую религиозно-этическую догматику и схоластику «вечных истин», тормозящие развитие общества. В свете ленинской концепции и возможно плодотворное исследование публицистики Толстого в целом, и, в частности, трактата «Царство божие внутри вас». В публикуемых черновых набросках XII главы трактата проявились многие стороны сложного единства толстовского мировоззрения и творчества. На первый план выдвинуты обличения классового характера государства и общественного строя при капитализме, тревога и волнение за судьбы русского народа. Именно эта тенденция и создает пафос трактата, лейтмотив публикуемых документов. В них объективно отразилось нарастание в стране сил крестьянской революции, что составляло основное реальное историческое содержание действительности. Но в вариантах трактата нашло отражение и религиозно-эти-

ческое учение Толстого, отрицавшее революционную активность народных масс, утверждавшее общественную пассивность, «всеобщую любовь», смирение и личное самоусовершенствование. Эта реакционная тема трактата тонет в могучем пафосе толстовского протеста «против всякого классового господства» (Ленин), но она тоже отражала реальные слабости крестьянского движения в период подготовки первой русской революции.

М. Зозуля

РАБОТА НАД КНИГОЙ «ЦАРСТВО БОЖИЕ ВНУТРИ ВАС»

1

В 1890—1893 гг. Толстой написал трактат «Царство божие внутри вас». Первоначально им было задумано лишь небольшое предисловие к брошюре американского общественного деятеля Адина Баллу «Катехизис непротивления». Но в процессе работы, увлекшей Толстого, предисловие расширялось, углублялось и к концу работы превратилось в обширное сочинение, в котором отразились многие события общественно-политической жизни того времени, в том числе рабочие стачки, крестьянские восстания и жестокое подавление их.

8 июля 1890 г. Толстой отметил в дневнике: «Написал предисловие к катехизису Баллу» (т. 51, с. 60). В действительности, он написал тогда это сочинение лишь начерно, в наброске. Об этом свидетельствует его рукопись «Предисловия» к «Катехизису» Баллу и к «Декларации чувств» Вильяма Гаррисона, известного борца за отмену рабства в Америке и вместе с тем одного из первых проповедников философии «непротивления злу злом» (Толстой в своих черновых текстах называет Гаррисона «знаменитым американцем» или «одним из величайших людей не только Америки, но и всего мира»). Одновременно у Толстого родилась мысль написать и «Заключение» к названным сочинениям, а во время работы над «Предисловием» и «Заключением» у него возник замысел большого произведения: «Да, хорошо бы выразить учение жизни Христа, как я его понимаю теперь», — записывает он в дневнике 26 октября 1890 г. — т. 51, с. 98. 16 ноября 1890 г. Толстой написал отрывок под заглавием «О непротивлении злу, о церкви и об общей воинской повинности», превратившийся в дальнейшей работе в трактат «Царство божие внутри вас». Написав этот отрывок, Толстой таким образом стал осуществлять свой замысел большого произведения, включившего в себя неоконченные «Предисловие» и «Заключение» к «Катехизису» Адина Баллу и «Декларации» Вильяма Гаррисона. Авторское название главы — «О непротивлении злу. о церкви и об общей воинской повинности» — это первоначальное название трактата.

Работа над трактатом продолжалась и в 1891 г. Из дневниковой записи от 25 января узнаем: «Все это время писал понемногу свою статью. Подвинулся. 6 глав, могу сказать, кончены» (т. 52, с. 5). Эту запись, конечно, не следует понимать так, что первые шесть глав трактата были окончательно подготовлены к печати. Судя по черновым рукописям, они подвергались большой переработке, к ним писались многочисленные дополнения, производились перестановки текста, одни главы соединялись, другие неоднократно перемещались.

22 мая 1891 г. Толстому «уяснилось все в целом», и он «написал конспект 9 глав» (т. 52, с. 32), когда работал уже над четвертой главой своей книги.

Вот текст этого «конспекта» (т. 28, с. 309):

1 гл. То, что сделано б⟨ыло⟩ уже прежде.

2 гл. Суждения церковн⟨ых⟩ и вольнодумных кр⟨итиков⟩.

3 гл. Die schädlichsten Wahrheiten und maessig entstellt*. Причина непонимания церковни⟨ков⟩ — церковь.

4 гл. Причина непонимания светских — наука.

5 гл. Два недоразумения препятств⟨уют⟩ пониманию христианства людьми научными.

---

* Вреднейшие истины и иетины отчасти искаженные (нем.).

6 гл. Неизбежность замены общественного жизнепонимания христианским.

7 ⟨гл.⟩. Страдания жизни: правительства. Значение общей воинской повинности.

8-я ⟨гл.⟩. Какое же разрешение? Прекращение подлости. (Schiller'a письмо.) Пробуждение от гипнотизма, сознание долга — добродетели, как было, гражданской, теперь — христианской.

9-я ⟨гл.⟩. Чем же она выразится? Не выразится ли она квиетизмом, равнодушием? Подвигом спокойствия — преддверия любви, неделания зла.

Заключение.

Как это будет?*

«Конспект» был составлен начерно без всякой стилистической отделки, в нем были обозначены лишь основные сюжетные линии трактата.

Продолжая работу над трактатом, Толстой 12 августа записал в дневнике, что «остановился на 8-й главе и, кажется, обдумал ее сегодня» (т. 52, с. 48).

В отличие от «конспекта», предусматривавшего 9 глав и заключение, Толстой на этом этапе работы намеревался закончить ее на восьмой главе. В дневнике 13 сентября 1891 г. отмечено: «За это время писал довольно много. Подвинулся так, что близок к концу. Пишу VIII гл., которой и окончится» (т. 52, с. 50). Однако глава эта так разрослась, что Толстому пришлось разделить ее на три — восьмую, девятую и десятую, к которым были затем прибавлены еще одиннадцатая и заключительная двенадцатая глава, разбитая на шесть подглав.

2

В 1891—1892 гг. в России разразился страшный голод, охвативший двадцать девять губерний. По словам Толстого, была «голодом захвачена $^1/_3$ России, и та самая треть, которая всегда кормила большую часть остальных двух третей» (т. 29, с. 118).

Крестьянские голодовки в царской России были обычным явлением. В статье «Признаки банкротства» В. И. Ленин писал: «Хищническое хозяйство самодержавия покоилось на чудовищной эксплуатации крестьянства. Это хозяйство предполагало, как неизбежное последствие, повторяющиеся от времени до времени голодовки крестьян той или иной местности ⟨...⟩ С 1891 года голодовки стали гигантскими по количеству жертв, а с 1897 г. почти непрерывно следующими одна за другой» (Сочинения, т. 6, с. 66—67).

Узнав о страданиях голодающего народа, Толстой не мог «жить дома, писать», чувствовал «потребность участвовать, что-то делать» (письмо к Н. Н. Ге-отцу и Н. Н. Гесыну от 9 (?) ноября 1891 г. — т. 66, с. 81—82).

В сентябре 1891 г. он объезжает районы Тульской и Рязанской губерний, пораженные голодом. Возвратившись в Ясную Поляну, Толстой пишет статью «О голоде», чтобы рассказать в ней о страданиях голодающих крестьян. «Вот большая деревня Ефремовского уезда, — читаем в его статье. — Из 70 дворов есть 10, которые кормятся еще своим. Остальные сейчас, через двор, уехали на лошадях побираться. Те, которые остались, едят хлеб с лебедой и с отрубями, который им продают из склада земства по 60 копеек с пуда» (т. 29, с. 92).

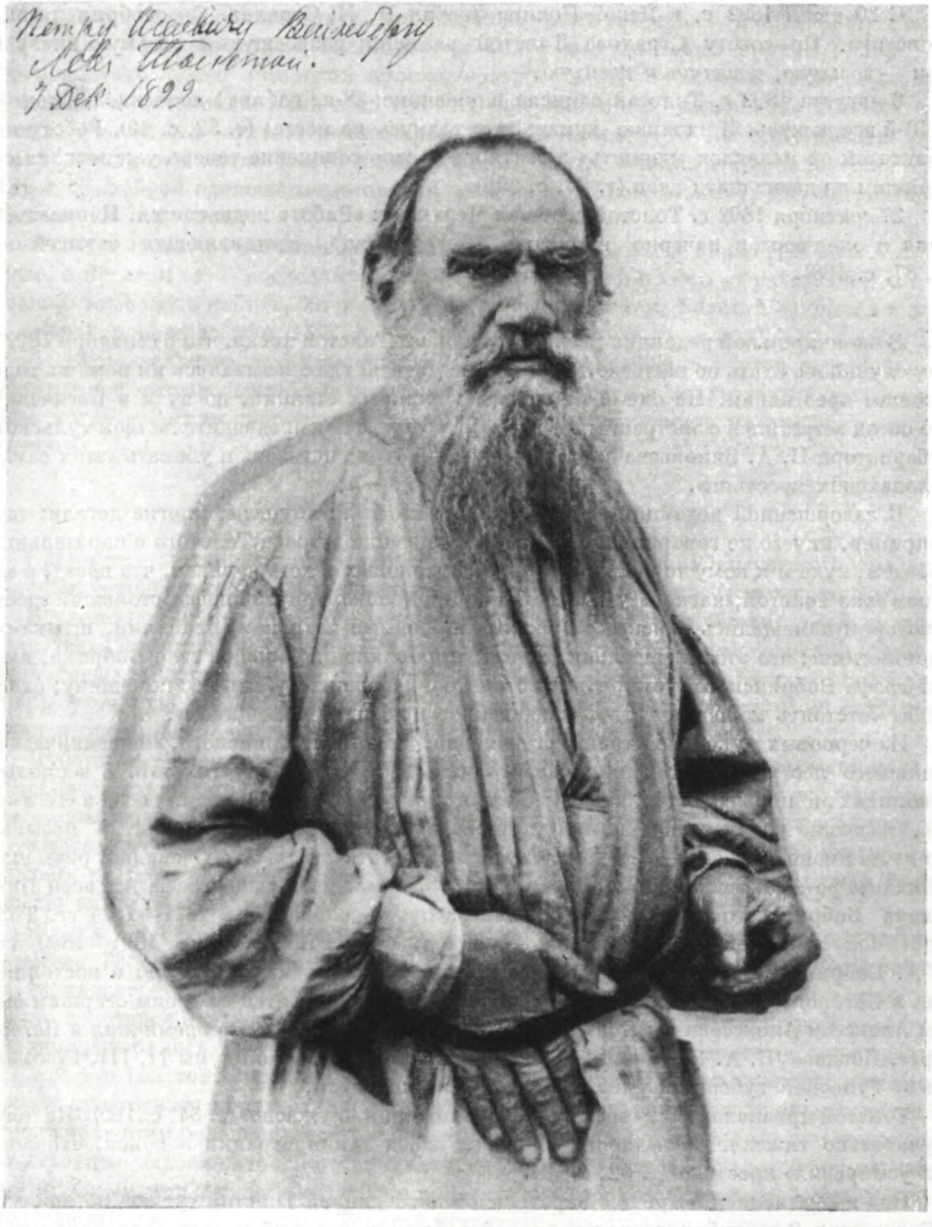
Толстой решает принять деятельное участие в помощи голодающим крестьянам. В октябре 1891 г. он поселяется в имении своего друга И. И. Раевского Бегичевке Рязанской губернии, где на пожертвования, поступавшие к нему из разных мест России и из-за границы, он организует многочисленные столовые для бедняков, детей, стариков. Оказывает помощь и в поддержании хозяйства, в сохранении скота. Его помощники организуют медицинские пункты для борьбы с эпидемией.

Месяц, проведенный им в работе для голодающих крестьян, «один из самых счастливых» в его жизни, — сообщал Толстой А. А. Толстой 8 декабря 1891 г. (т. 66, с. 107).

Оказание помощи голодающим крестьянам, составление отчетов, писание статей о голоде отнимали у Толстого много сил и внимания. И тем не менее он продолжал писать свой трактат. 3 и 4 октября 1891 г. Толстой «писал 8-ю главу и хорошо кончил»

---

* *Сбоку справа приписка:* Правительства уж не помощь, а вред. Защита от междоусобий не стоит лишений.



ТОЛСТОЙ

Фотография 1892 г. с дарственной надписью:
«Петру Исаевичу Вейнбергу Лев Толстой. 7 дек. 1899»
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

(т. 52, с. 55). В действительности восьмая глава не была им закончена; работа над этой главой велась и в последующие месяцы.

С 20 июня 1892 г. в Ясной Поляне гостил Н. Н. Страхов. Он одобрил писание Толстого. По совету Страхова Толстой разделил разросшуюся восьмую главу на три — восьмую, девятую и десятую.

6 августа 1892 г. Толстой записал в дневнике: «8-я гл〈ава〉 кончена, но над 9-й и 10-й все вожусь. И начинаю думать, что толкусь на месте» (т. 52, с. 69). Работу над трактатом он надеялся «кончить» в сентябре и свое сочинение теперь уже мыслил состоящим из двенадцати глав (т. 66, с. 259).

27 сентября 1892 г. Толстой сообщал Черткову: «Работа подвигается. Написано 11 глав и окончены и начерно написана 12-я гл〈ава〉, составляющая заключение» (т. 87, с. 160).

3

В окончательной редакции двенадцатой главы Толстой писал, что 9 сентября 1892 г. ему случилось ехать по железной дороге в местность, где оказывалась им помощь голодающим крестьянам. На одной из железнодорожных станций, по пути в Бегичевку, его поезд встретился с экстренным поездом, в котором под предводительством тульского губернатора Н. А. Зиновьева ехал карательный отряд истязать и убивать «этих самых голодающих крестьян».

В завершенной редакции двенадцатой главы были опущены многие детали: там, например, ничего не говорилось о том, где произошла встреча Толстого с карательным поездом, куда и к кому тот направлялся. Из черновых текстов узнаем, что поезд, в котором ехал Толстой, «нагнал» «у большой станции Узловой» другой поезд, стоявший здесь, в котором помещались войска «с ружьями и боевыми патронами, саблями, штыками, пистолетами»; что этот карательный поезд направлялся в большое село Бобрики, имение графа Бобринского, усмирять крестьян, не дававших рубить лес помещику; ехал, чтобы «отстоять мошенничество, совершенное над ними помещиком».

Из черновых рукописей трактата не видно, какого Бобринского, «мошеннически» отнявшего лес у «голодных и холодных крестьян», имел в виду Толстой. В черновых рукописях он лишь сообщал, что помещик «в то же утро, как приходил поезд в его имение, поспешно уехал, чтобы не присутствовать» при истязании крестьян, и называл его не по имени, а просто — «молодой малый», «богатый малый». Очевидно, речь шла о Владимире Алексеевиче Бобринском (р. 1868) — младшем сыне графа Алексея Павловича Бобринского (1826—1894), министра путей сообщения в 1871—1874 гг. Толстой знал лично обоих Бобринских — отца и сына. В голодные 1891—1893 гг. В. А. Бобринский был гласным Богородицкой уездной земской управы и постоянно жил в Богородицке и в своем имении, в селе Бобрики. Его отец со своим старшим сыном Алексеем Алексеевичем (театральным деятелем, р. 1864) в это время жил в Петербурге. Позднее В. А. Бобринский был членом Государственной думы II, III, IV созывов от Тульской губернии, умер в 1921 г. белоэмигрантом.

Толстой признавал, что «впечатление Узловой было ужасно» (т. 84, с. 160). На него «мучительно тяжелое впечатление произвел поезд администрации и войск, ехавших для усмирения» крестьян (т. 52, с. 71).

Под впечатлением встречи с карательной экспедицией Толстой тут же, по приезде в Бегичевку, 9 сентября сделал черновой набросок, который и стал первоначальной черновой редакцией двенадцатой главы трактата, а глава двенадцатая, написанная прежде, до 9 сентября, вследствие перестановки стала одиннадцатой, бывшая же одиннадцатой — вошла в состав десятой главы.

Толстой считал все написанное им в двенадцатой главе после 9 сентября необходимым заключением к сочинению «Царство божие внутри вас» (т. 87, с. 182).

В черновых набросках двенадцатой главы содержатся высказывания Толстого, не вошедшие в окончательный текст этой главы. Орловского губернатора Неклюдова и нижегородского — Баранова, прославившихся истязаниями крестьян, Толстой называет в этих набросках «палачами» и «мерзавцами»; общественное мнение «кладет на них неизгладимое пятно хуже старинного клейма каторжных». О тульском же губернаторе Н. А. Зиновьеве Толстой пишет здесь, что «он знает всю мерзость того дела,

которое он совершает, но старается притвориться спокойным. И бегающие глаза и неестественная развязность тона выдают его».

Судя по рукописям трактата, двенадцатая, заключительная, в сравнении с восьмой главой, потребовала от Толстого еще более напряженного труда. Глава подверглась наибольшей авторской правке, содержала огромное количество чернового рукописного материала. Если весь трактат содержит около четырнадцати тысяч черновых рукописных листов, исписанных с обеих сторон, то на одну двенадцатую главу приходится около шести тысяч листов. Такое обилие материала свидетельствует о крайней сложности авторской работы и об огромном труде, затраченном Толстым на эту главу.

Толстой писал 24 декабря 1892 г. Н. Н. Ге-сыну: «Мы в Москве, я весь в своей книге, в писаньи ее — последняя глава — заключенье, и ничего не вижу, ни о чем не думаю, кроме как о ней» (т. 66, с. 287). Работу над трактатом Толстой закончил в конце первой половины мая 1893 г.

То обстоятельство, что двенадцатая глава «Царства божия внутри вас» писалась Толстым под непосредственным впечатлением его встречи с карательным поездом и в годы, когда в России свирепствовал страшный голод, наложило на эту главу яркий отпечаток.

4

Настоящая статья дополняет нашу статью «История писания и печатания трактата „Царство божие внутри вас“» и варианты, напечатанные в Юбилейном издании (т. 28).

В указанной статье (с. 357) говорилось, что под впечатлением своей встречи с карательным поездом Толстой тут же сделал набросок, ставший началом двенадцатой главы. Дополнительное изучение черновых рукописей трактата позволяет теперь уточнить, что этот набросок, сделанный Толстым в Бегичевке 9 сентября, являлся первоначальной черновой редакцией двенадцатой главы.

Публикуемые нами варианты извлечены из обширного чернового материала к двенадцатой заключительной главе трактата. Несмотря на то, что они относятся к разным стадиям работы Толстого над главой и некоторые из них не находят себе точного соответствия в окончательном тексте этой главы, мы все-таки для удобства чтения располагаем их по мере возможности в порядке сюжетного развития двенадцатой главы в последней ее редакции.

Вариант № 1 — первоначальная черновая редакция двенадцатой главы, созданная Толстым 9 сентября 1892 г. в Бегичевке. В дальнейшей авторской работе она подверглась коренной переделке. Отдельные мысли, содержащиеся в ней, получили некоторое отражение в окончательном тексте. Так, в первоначальной черновой редакции говорилось о тяжелом экономическом и правовом положении русских крестьян; о том, что Толстой к ним ехал 9 сентября 1892 г. с тяжелым чувством, «подобным тому, которое испытывает приставленный к безнадежному больному фельдшер», последний, ухаживая за этим больным, знает, что не может вылечить его и вместе с тем чувствует нравственную невозможность оставить его; о том, что Толстой «ехал к этому несчастному больному, чтобы сидеть над ним» и показать ему свое сочувствие к его страданиям. Карательный поезд, с которым Толстой встретился на станции Узловая, ехал «усмирять этого самого умирающего больного». Все эти страницы, рассказывающие о тяжелой доле русского крестьянства, Толстой, перерабатывая первоначальную черновую редакцию двенадцатой главы, исключил, и они в печатный текст не вошли. Впоследствии в совершенно иной форме Толстой писал об этом в 1898 г. в статье «Голод или не голод?», когда в России снова разразился голод и Толстой, как и в 1891—1893 гг., принимал деятельное участие в помощи голодающим крестьянам.

В упомянутой статье Толстой писал: «Голода нет, а есть хроническое недоедание всего населения, которое продолжается уже 20 лет, и все усиливается ⟨...⟩ Голода нет, но есть положение гораздо худшее. Все равно, как бы врач, у которого спросили, есть ли у больного тиф, ответил бы: „Тифа нет, а есть быстро усиливающаяся чахотка“» (т. 29, с. 224—225).

Также не вошли в окончательный текст многие подробности из описания участников карательного поезда и самого руководителя этого поезда губернатора Зиновьева.

В восьмой главе Толстой подробно пишет о германском императоре Вильгельме II, приводит его речь, с которой он обратился в 1891 г. к рекрутам.

По мнению Вильгельма II, рекруты после принятой ими присяги принадлежат ему душой и телом; теперь для них существует один враг — враг Вильгельма; если окажется нужным, они должны быть готовы даже к тому, чтобы «убивать своих братьев и отцов».

В этой главе Толстой называет Вильгельма II «жалким, ошалевшим от власти, больным человеком», который «оскорбляет все, что может быть святого для человека» (т. 28, с. 162—163).

В черновой редакции двенадцатой главы он только упоминает Вильгельма II. Но в процессе работы над этой главой упоминание о Вильгельме II Толстой исключил, и в окончательный текст оно не вошло.

Первоначальная черновая редакция двенадцатой главы, судя по авторской правке, не удовлетворила Толстого. Написав, он стал перерабатывать ее. Во второй ее половине Толстой многое исключил.

Без сомнения, работая над расширением первоначальной черновой редакции двенадцатой главы, Толстой писал и дополнения. К числу таких дополнений мы относим отрывок, публикуемый в виде в а р и а н т а № 2. Он был написан, как это видно из его содержания, тоже в Бегичевке, на следующий день по приезде туда Толстого, т. е. 10 сентября 1892 г.

Не располагая всеми рукописями ранних черновых редакций двенадцатой главы, мы лишены возможности определить в них место варианта № 2.

Вторая половина этого варианта, где говорится об эксплуатации и угнетении правящими классами трудового народа, получила весьма отдаленное отражение в окончательной редакции, а первая его половина никак не отразилась.

Ранние черновые редакции двенадцатой главы, как и вообще все черновые рукописи Толстого, содержали в себе многочисленные авторские поправки, вставки и исключения текста. После окончания работы над ними, Толстой передал свою рукопись для переписки. Переписанная рукопись снова исправлялась им.

К этому периоду работы, когда рукопись была переписана и Толстой продолжал над ней работать, относятся последующие черновые отрывки, публикуемые в виде вариантов № 3—15.

В а р и а н т № 3 — это небольшой отрывок, не вошедший в состав печатного текста двенадцатой главы. Из него узнаем и о месте встречи Толстого с карательным поездом.

В а р и а н т № 4, за исключением нескольких первоначальных строк, тоже не отразился в окончательной редакции двенадцатой главы.

В этом варианте Толстой стремится выяснить причины голодовок и постоянной нужды русского крестьянства. По своему содержанию вариант дополняет статьи Толстого о голоде.

Последующие варианты № 5—15— это небольшие отрывки или совсем не включенные Толстым в печатный текст, или использованные в печатном тексте лишь частично.

Высказывания Толстого, содержащиеся в публикуемых черновых вариантах двенадцатой главы, без сомнения, послужат ценным дополнением к его трактату «Царство божие внутри вас» и к его статьям о голоде.

Позднее, работая над романом «Воскресение», Толстой привнес в него многое из того, что наблюдал и пережил в годы, когда оказывал помощь голодающим крестьянам.

Изображая на многих страницах этого романа тяжелую жизнь крестьян, он противопоставляет ее роскоши, в которой живут господствующие классы. Публикуемые черновые варианты по мыслям, содержащимся в них, служат также ценным дополнением и к роману «Воскресение».

Н. Горбачев

ВАРИАНТЫ К ГЛАВЕ XII

⟨1⟩

Вчера я кончал эту двухлетнюю работу и поехал[1*] опять в ту Рязанскую деревню, где я жил, распределяя пришедшие к жене моей пожертвования на корм голодающим русским крестьянам. Поехать туда было уже давно пора.

Было 9 сентября. Прошло более месяца со времени уборки. Убрано было в нынешнем году еще меньше, чем в прошлом году. Едва достанет у нек⟨оторых⟩ на месяц. Ярового совсем нет. И это — третий год. Я ехал туда с тем тяжелым чувством, с которым я прожил там год, чувством, подобным тому, которое испытывает приставленный к безнадежному больному фельдшер, который должен трудиться, переворачивать, давать лекарство, зная, что все, что он делает, не поможет больному, и вместе с тем чувствуя[2*] невозможность оставить его. Чувство особенно мучительное тем, что, если бы больному дали ту пищу, то ⟨*1 нрзб.*⟩, те все условия, которые ему нужны, он бы мог выздороветь. Но есть люди, которые не дают ему этого. Принудить людей дать их ему нельзя, и должен ходить за этим больным, зная, что труд твой праздный и что больной не поправится[3*].

Кормить русских голодающих крестьян: у большинства из них земли меньше чем половина того, что нужно, чтобы прокормиться, земля эта вся окружена и перерезана землями помещиков. Иногда с нею окружены ⟨*1 нрзб.*⟩, у многих, как Бобр⟨инских⟩, нищенский надел, т. е. есть только $^1/_{10}$ того, что нужно, чтобы кормиться, остальное у помещика.

У большинства из них нет $^1/_{10}$ того капитала в виде лошадей, орудий, которые нужны для обработки, все они в долгу у землевладельца и правительства, собирающего с них непосильную подать. Они закабалены помещиком так, что мужчина работает 16 часов ⟨в⟩ день за 15 к., женщина — за 8.

Они все нищие и третий год мрут от голода. Хотят уйти, переселиться, их не пускают под предлогом, что не нарезаны земли, но в сущности потому, что они рабы, прикреплен⟨ные⟩ к земле, и нужны для землевладельцев. Унижение их таково, что всякий мужик, снявши шапку, за 100 шагов бежит к человеку, одетому по-господски, если он поманит его.

Всякая женщина — $^9/_{10}$ женщин — продадут и продают себя за 20—50 к. И вместе с тем, это тот самый народ, на котором зиждется вся сила русского государства: они платят тот миллиард, который собирается, они производят всю работу, кормящую всех господ, они то войско, которым угрожает русское правительство Европе и держится весь народ.

И вот я ехал к этому несчастному больному, чтобы сидеть над ним, зная, что я не помогу, но чувствуя необходимость хоть этим моим сиденьем над ним показать сознание своей вины перед ним и сочувствие его страданиям. И вот едучи по железной дороге, на половине дороги мы съехались на станции с целым поездом администрации и войска, которое ехало усмирять этого самого умирающего больного, над которым я ехал сидеть, и в ту же местность.

Дело, по которому они ехали, следующее. В Епиф⟨анском⟩ уезде одно из огромных имение гр. Бобринского. Все Бобр⟨инские⟩ устроили свои дела так, что их крестьяне на нищенском наделе. Но у них есть земля, и понятно, как они ценят то, что у них есть. В большом селе этом, Бобрики, есть выгон, оставленный в общем владении. На выгоне вырос лес. Крестьяне считают, что леса половина принадлежит им, но

[1*] *Далее было:* туда, куда уж мне нужно было ехать, в Рязанскую губ.
[2*] *Далее было:* свою ира⟨вственную⟩
[3*] *Первоначально:* умрет.

владелец, у которого миллионы, не хочет уступить им половину своего леса и ⟨требует⟩ 2000 рублей. Стали судиться. Судьи первой инстанции неправильно (я говорю неправильно со слов всех юристов, знающих это дело) решили это дело. Все дальнейшие инстанции до сената, не найдя поводов к кассации, утвердили решение, и лес присудили помещику. Он решил срубить его. Крестьяне не дают рубить и отгоняют тех, кто хочет поднимать лес. Вот в чем дело, тянущееся уже два года. В нынешнем году решено усмирять их, и поезд людей, который я встретил, ехал для этого усмирения.

Первое, что я увидал — это был молодой человек хорошей честной семьи, родителей которого я знал давно, а его знал мальчиком. Он ехал с губернатором усмирять. Куря папироску, он вошел к нам в вагон и стал с бегающими глазами рассказывать про это дело в таком духе, что это необходимо, что тут кто-то делает не то, что надобно, но что он надеется, что все уладится, что не будут ни стрелять, ни сечь; но в поезде везут солдат с заряженными пулями ружьями, с отточенными штыками и с запасом розог. И этот юноша едет участвовать в этом. Мне так жалко было его, и так он вместе с тем противен был мне, что я отошел от него и не слушал его больше.

Следующее, что я видел — это были вагоны молодцеватых, веселых, честных солдат в кителях, которые стояли в дверях, сидели, спустив ноги, в товарных вагонах и весело болтали, не понимая того, что и зачем их везли с их ружьями и тесаками.

Их семьи ободрали, отняв последних баранов, на эти деньги их кормят, поят, чисто одевают, на эти же деньги купили им ружья, на эти деньги наняли священников и офицеров, которые — одни обманывают их, другие учат убийству и ведут теперь на их же отцов и матерей разорять последнее, что осталось у них, или убивать их (как объяснил это Вильгельм), если понадобится. И они едут, закуривают, бегут по платформе напиться, шутят, делают дурацкие жесты перед офицерами и думают, что все это так надо и иначе быть не может.

Следующее, что я увидал,— это начальника всей этой экспедиции, седого [4*] человека, у которого, я знаю, дочь выходит замуж и маленькая 5-летняя дочка, невинный ребенок, которую он любит и крестит, старушка мать, у которой он целует руку и тоже крестит [5*].

Лицо этого человека несчастно. Он знает всю мерзость того дела, которое он совершает, но старается притвориться спокойным. И бегающие глаза и неестественная развязность тона выдают его.

Станция вся полна офицерами. Все — молодцы, чисто одетые, пьют, едят, курят, все те же самоуверенные жесты, твердые походки. И все это кажется мне притворным. Не могут они не знать значения того, что они делают.

Но нет, не могут они притворяться: зная значение того, что они делают, делать то, что они делают. А если зная, что они делают, делать то, что делают из выгод, из страха неприятностей, то они все подлецы, негодяи, мерзавцы. Но ведь это не может быть. Я знаю некоторых из них и знаю, что они добрые, хорошие люди. Что же не видят они разве того, что они делают? Этого не может быть. Ведь дело все так ясно, что сказать, что они не видят значения того, что они делают, про них, все равно, что сказать, что человек, крадущий из чужого кармана деньги, не знает того, что он делает.

Ведь все они знают, что едут они на мужиков, на тех, которые кормили их и кормят и на этом труде затянулись так, что стали умирать с го-

---

[4*] *Первоначально:* старого

[5*] *Далее было:* Человек с бегающими глазами суетился на ста⟨нции⟩

СБОРНИК «ПОМОЩЬ ГОЛОДАЮЩИМ» (М., 1892), ИЗДАННЫЙ ПРИ БЛИЖАЙШЕМ УЧАСТИИ ТОЛСТОГО

Шмуцтитул с рисунком В.Е.Маковского

лода; знают, что они едут, чтобы восстановить нарушенные права собственности богача и нехорошего богача, что они все не исполнят служебную обязанность по отношению к этому богачу, которому не хочется отдать отобранную неправдой у нищих мужиков $^{1}/_{10000}$ его состояния. Они все едут исполнить незаконное желание этого богача; и едут как? с чем?

Ведь они знают, что с ними едут розги и главное — едут ружья, боевые патроны. Они знают, что они едут, чтобы привести в исполнение высочайший, как они называют, указ (состоящий в том, чтобы исполнить затеянное богачом мошенничество) и что они едут, чтобы сломить силою сопротивление властям, которое началось и может повториться.

Силою же сломить сопротивление,— значит ранить, убивать подряд всех, кого попало, других нет средств, и к этому они по всем вероятиям могут быть приведены сопротивлением. И они едут, и офицеры в голубых околышах, отставив ножку, пьют чай, заботливо отряхивают крошки хлеба, насыпавшиеся на грудь. И шутят, и курят, и едят, и пьют.

И они,— и генералы, и солдаты, и все — спокойны. Что же это такое? Гипнотизация? Но это — хотя это более всего объясняет положение — недостаточно. Гипнотизация есть влияние одного человека на другого, но где здесь гипнотизация? Загипнотизированы все. Но кем? Гипнотизация есть действительно единственное объяснение, потому что тут есть именно явление гипнотизма, именно то, что люди действуют под влиянием низших психических сил, высшие же как-то, чем-то усыплены. Есть еще и то гипнотическое явление, что приведены[6*] в это состояние люди бле-

---

[6*] *В автографе описка:* приведено

ском внешним, наружным — как гипнотизируют смотрением на блестящий предмет. Здесь тоже блеск торжественности, всегда сопутствующий такого рода явлениям. Без внешнего блеска, блестящих предметов, барабанов, музыки, колокольного звона и т. п. не бывает подобных явлений. Говорят про гипнотизацию шекеров, вертящихся дервишей и т. п. И ездят смотреть это как редкие явления, когда такие явления окружают нас, когда мы все порабощены такими явлениями.

Мы все невольные вертящиеся дервиши. Тут есть явления гипнотизма, и только гипнотизмом можно объяснить эти явления. Но где гипнотизатор? Сказать, что гипнотизатор — глава правительства, нельзя; мы знаем, что он сам загипнотизирован и более всех других.

Он более всех других совершает дела, которые можно совершать только во сне и перед которыми он ужаснется, когда проснется, если только проснется когда-нибудь. Где же гипнотизатор? Его нет.

Люди загипнотизированы, но не кем-либо определенным лицом, стоящим вне гипноза (если не признать таким лицом фантастического дьявола), но загипнотизированы друг другом и загипнотизированы не нынче и вчера, а десятками поколений, историей. Правда, что есть часть людей,— правящие классы,— которым кажется более выгодное — это гипнотизация, и не желают пробуждаться от нее. И стараются усыпить или устранить пробуждающихся, но и все люди сами гипнотизируют себя и даже те, которым это невыгодно, также стараются усыпить пробуждающихся[7*] и устранить их чаще, еще жесточе, чем те, которым это выгодно.

Люди, загипнотизированные несколькими поколениями, воспитанные в гипнозе, поддерживают друг друга в этом состоянии. Только этим можно объяснить то, что я видел 9 числа. Все эти люди делают несомненно противное всему, что только могут считать должным делать, и они так переплетены и связаны, что никто не чувствует себя виноватым. Помещик просил восстановить, как он говорил, свои нарушенные права, подкупленный судья признал несправедливое справедливым, высшие инстанции утвердили, не найдя поводов к кассации, административная власть потребовала исполнения, для приведения в исполнение, так как крестьяне не покорились, оказалось недостаточным станового и судебного пристава, понадобились войска.

Министр предложил, государь утвердил, губернатор с солдатами приводит в исполнение. Каждый в своем состоянии гипноза, т. е. с бездействующим высшим центром, как говорят врачи, с бездействующей христианскою совестью, как говорят по-русски: не может поступить иначе или виноват.

Один сочиняет, другой подписывает, третий[8*] переписывает, четвертый отправляет, пятый исполняет и доходит, наконец, до солдата, который с розгой в руке должен сечь голую спину кричащего и корчащегося седого старика — такого же как его отец и дед (приняты меры, чтобы это не могло случиться) или стрелять боевым зарядом в стариков, баб, детей, голодных, нагих, объеденных нами кормильцов за то, что они защищают дело, признаваемое правым даже теми, которые истязают и убивают их. И никто не виноват. Никто не мог поступить иначе.— Да, что же ему делать,— говорят про министра, который пишет о неповиновении крестьян, про императора, который одобряет меру исполнения посредством войска, про губернатора, чиновника, полковника, ротного командира, солдата?—Что же им делать? — говорят люди, не выходя из гипноза, и искренно не видят возможности выйти из такого положения.

[7*] *В автографе описка:* пробуждающего

[8*] *В автографе описка:* другой. *У Толстого первоначально было:* Один подписывает, другой переписывает. *Написав после слова* Один *дополнение:* сочиняет, другой, *Толстой по недосмотру не исправил слово* другой *на* третий.

Если он не сделает этого, министр не распорядится, государь не подпишет, губернатор, полковой офицер, солдат не исполнят, то министр перестанет быть министром, государь — государем, губернатор — губернатором, полковник — полковником, офицер — офицером, т. е. все эти люди потеряют все те выгоды, которые связаны с этим, а солдат, так как ему нечего терять, будет сам высечен или расстрелян. И людям кажется это невозможным, казалось бы, нет такого состояния, в котором человек мог бы быть поставлен в необходимость пожертвовать или по крайней мере рисковать своей жизнью.

Можно прямо сказать и всякий согласится, что если человек живет так, что у него нет такого положения, в котором он может быть принужден отдать свою жизнь — он не человек, а животное. Риск жизни в каждой работе,— у рыбака, у дровосека, у машиниста; солдат, врач, священник, простой благородный человек живут так, что всякую минуту может к нему заявиться такое требование, при котором придется отдать свою жизнь или по крайней мере рисковать ею; военный, если он военный, всегда должен быть готов идти не только на самую большую вероятность смерти, но на верную смерть; врач точно так же, когда его зовут к чумному, прокаженному; так же священник, как мне недавно рассказывали, проглотивший частицу даров, которая вышла с рвотой холерного; всякий человек высшего круга всякую минуту должен быть готов на смерть на дуэли из-за того, что какой-нибудь шалопай оскорбит его жену, сестру или его самого.

И люди не только говорят это, но в кругу общественных людей и уважают только таких людей, и действительно живут так: доктор идет к безнадежно чумному с риском заразиться, военный отдает жизнь за глупую тряпку, обшитую бахромой; священник действительно с опасностью жизни глотает кусочек хлебца, чтобы спасти его от осквернения, предполагая, что он чем-то отличается от других кусочков; светский человек становится под пистолет, потому что другой человек сказал ему глупость про его жену, сестру или его самого. Стало быть, есть же эта сила энергии, способность жертвы.

Отчего же эти люди не только не жертвуют жизнью, но не жертвуют жалованьем ради того, чтобы не участвовать в том ужасном деле, которое они поехали делать 9 числа.

Люди знают, что тут не тряпка с бахромой, не кусочек хлебца, над которым что-то нашептывали, не воображаемая честь жены, сестры, которая нарушается глупым словом чужого человека, а тут дело идет об ограблении, сечении, убийстве несчастных, голодных для того, чтобы пустому мало⟨му⟩, богачу прибавить 2000 р., которые он пропьет в два дня.

Отчего же они тут не жертвуют своей жизнью? Да и не жизнью. Тут жертвы всех ограничатся самым ничтожным. Министр, не докладывая и отказавшись преследовать, рискует только немилостью, но не будет пенсии государственного совета, стало быть ничем не рискует. Государь, не подписывая, ничем ровно не рискует, кроме ослабления своей власти. Также губернатор, офицеры рискуют выходом в отставку, переходом в другое ведомство, т. е. маленькие, уменьшенные жалованья. Солдаты рискуют больше всех, но и то далеко не жизнью. И несмотря на то, что мотив, по которому следует жертвовать, в бесконечное число раз важнее тех, во имя которых люди жертвуют своей жизнью, и несмотря на то, что жертвовать приходится самыми ничтожными выгодами, люди не жертвуют ими и, сваливая ответственность друг на друга, совершают те страшные дела, которые они совершают ныне — 9[9*] сентября с своими розгами

[9*] *В автографе описка:* 11 *вместо:* 9.

и заряженными ружьями. (То, что дело это может кончиться без истязаний[10*] и убийств, не уменьшает преступности поступка людей, с готовностью исполнить их, шедших на эти истязания и убийства.)

Что это значит? А значит это то, что люди[11*] думают, что они не люди, не сыны бога, пославшего их в жизнь для исполнения его воли, а думают, что они министры, цари, губернаторы, священники, офицеры, солдаты. И они готовы понести всякие страдания и жертвы для того, чтобы только исполнить то, что от них требуют их министерство, императорство, губернаторство, священничество, офицерство для того, чтобы не потерять своего общественного положения. Им кажется, что вся жизнь их в этом. Они думают, что они министры, цари, солдаты, и забыли, что они люди, что кроме тех маленьких, крошечных по времени и пространству закончиков их государств, министерств, вероисповеданий, как и кроме разных обычаев, угощений, свадеб, керемети чувашских и т. п., существует один вечный закон, написанный в сердце каждого человека и неизгладимыми ясными, понятными всякому словами, вызванный всею мудростью человеческой и последним великим проявлением ее — христианским законом.

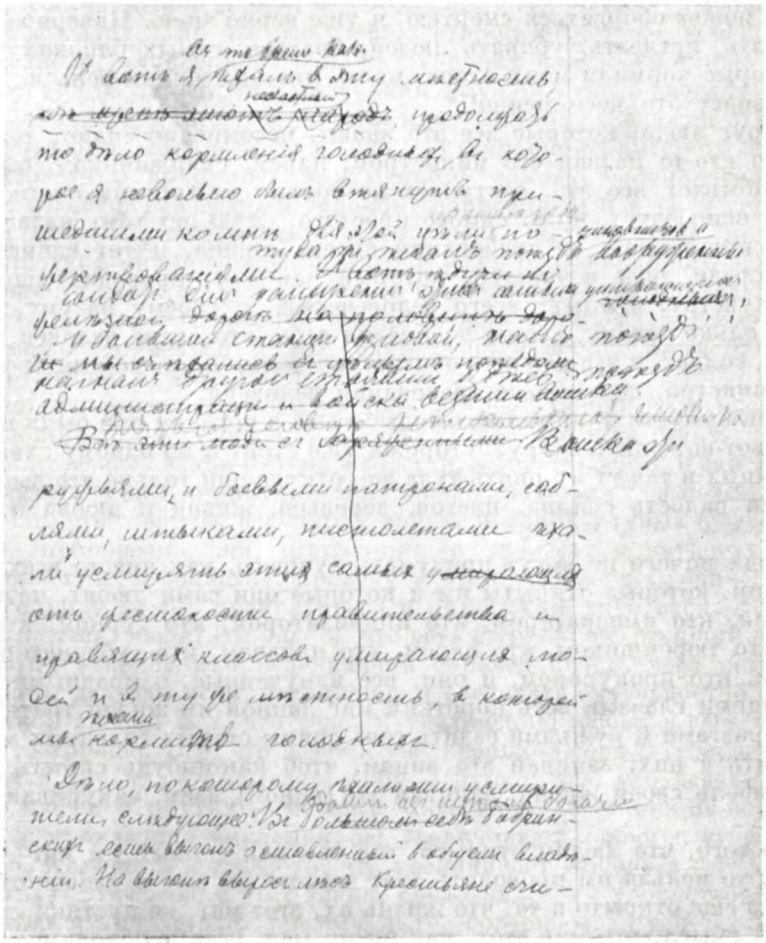
Что же мне делать? Ведь я министр, получая за это жалованье. Кроме этого, я исполняю волю императора. Что же мне делать? Я царь, я ответствен за спокойствие населения, безопасность, а бунты нарушают, я обязан предписать? Что же мне делать, губернатору, я служу, у меня семья, которая этим живет. И кроме того, если бы был не я, был бы другой, который жестче, хуже меня исполнял бы. (Я палач, с приятностью рублю голову, другой будет хуже.) Я полковник, офицер, я этим живу, кормлюсь, я на другое не способен. Что же мне делать, солдату? Ведь меня же накажут. Ведь если бы это не было так ужасно, это было бы смешно именно той[12*] несоответственностью ничтожности причины с огромностью выводимого из нее[13*] следствия.— Я разумное, любящее существо, сознаю себя только разумом и любовью; я, как говорил Достоевский, существо, не жившее никогда — целая вечность прошла и меня не было — я это существо вдруг после целой вечности несуществования сознаю себя живущим, разумным и любящим существом и узнаю, что жизнь эта моя продолжается только около, в лучшем случае, 70 лет[14*], т. е. мгновение в сравнении с предшествовавшей вечностью, и я опять уйду туда, откуда я вышел, в вечность несуществования. Я знаю, что это так, знаю это несомненно, и все фантазии о жизни за гробом — игра воображения; действительное же положение мое такое,— мне дана жизнь на мгновение, которую для себя мы разделяем на 70, или около того, оборотов земли около солнца. Но это мгновение — мое. В этом — опять, что бы ни говорили те, которые утверждают, что жизнь моя не моя, не от меня зависит, все это фантазии и игра воображения,— действительность, но что жизнь эта моя, и я могу сделать с ней все, что хочу в данных мне пределах, могу даже уничтожить ее, могу сделать ее адом, могу всю ее пропитать ядом отчаяния[15*], ненависти к людям и к началу, пославшему меня в жизнь, могу сделать ее раем — коротким или длинным, это все равно, она всегда коротка среди двух вечностей,— пропитанной радостью жизни, любовью к людям и к тому началу, которое послало меня в жизнь. Оба пути открыты передо мной и каждым из нас. Каждый шаг на первом пути зла мучителен и отзывается неудовлетворением и укором в глубине совести,

---

[10*] *Первоначально:* без употребления оружия
[11*] *Далее было:* забыли, что они люди
[12*] *Далее было:* контрастом двух сопоставляемых
[13*] *В автографе описка:* из него
[14*] *Первоначально:* от 30 до 70 лет
[15*] *Первоначально:* зла

и каждый шаг на пути добра, радости отзывается сознанием должного и внутреннего одобрения.

Но мало того, что так отзывается в сердце каждого каждый шаг на том и другом пути, люди не оставлены были одни, не предоставлены каждый себе, своей личной силе распознавания добра и зла.



ЧЕРНОВАЯ РУКОПИСЬ ТРАКТАТА «ЦАРСТВО БОЖИЕ ВНУТРИ ВАС» ГЛАВА XII (ВАРИАНТ 3), 1892 г.
Копия Е.И.Попова с правкой Толстого
Архив Толстого, Москва

Как в мире материальном все: наши жилища, одежда, пища, средства передвижения — все это результат накопления работы веков, передававшейся от поколения к поколению, так что человеку не нужно самому отыскивать и придумывать, что нужно для его тела — все это уже готово, и ему нужно только идти дальше, пользуясь тем, что дано ему. Так точно и в мире духовном распознавания добра и зла; распознавание это сделано веками и, передаваясь от поколения к поколению, передано нам в виде нравственного учения[16*],— очевидного, всеми признанного,— свободы, равенства, братства, любви. Закон это вечный, единый, известен

[16*] *Далее было:* Христа учения

всем нам — он дает благо; внутреннее чувство непрестанно подтверждает истинность этого закона.

Если и может быть сомненье о том, как именно, как нужно провести мне это данное в мою власть, это 70-летнее, в лучшем случае, мгновение моей жизни между двумя вечностями, то сомнения в том, чего не надо наверное, не надо, не должно делать в это мгновение, которое каждую секунду может оборваться смертью, я уже верно знаю. Наверное знаю я, что мучать, истязать, убивать людей, братьев, самых близких братьев, тех, которые кормили моих отцов, меня, мне уже никак нельзя. Каждый из нас знает это несомненно[17*].

И вдруг люди, которые все это знают, несомненно знают, только оттого, что кто-то назвал его министром, царем, священником, офицером, вдруг забывает все это, отступает не только от христианского закона, который исповедует, но от самого простого, 2000 лет тому назад известного людям закона, от требования своего сердца, и тот единственный момент среди двух вечностей, который дан ему, проводит противно и своему чувству, и опыту всего человечества, и своему разуму, и своей выгоде только потому, что он вообразил себе, что он не человек, а царь, министр, солдат, и что для него обязательнее выдуманные ими требования царя, министра, чем вечные требования человека.

Людей выпустили из тайного подземелья, в котором они были и в котором их вот-вот опять запрут; сторожа уже стоят и по одному схватывают выпущенных и тащут их опять туда же, откуда они только что выпущены; над ними радость солнца, цветов, деревьев, жизни и любви и полной свободы.

И люди ничего не могут придумать лучшего, как вместо всех тех наслаждений, которые открыты им и которые они сами любят, называться кто папой, кто императором, кто инквизитором, кто турком, кто министром, кто тюремщиком, кто царем, кто палачом, кто губернатором, кто солдатом, кто прокурором, и они, все измученные, с мрачными лицами и бегающими глазами весь короткий миг данной им жизни тратят на то, чтобы с розгами и ружьями ездить сечь спины старых голодных мужиков и стрелять в них, запивая это вином, чтоб как-нибудь скрыть от себя всю погибель своей жизни, запивая это [вином], чаем, закуривая это табаком[18*].

Мало того, что людям открыто, что так как данный им миг — жизнь коротка, то нельзя им проводить этот данный им миг в ненависти и злобе. Но им еще открыто и то, что жизнь их, этот миг, не пустяки, но имеет глубокий смысл, что миг этот, как он ни мал, есть необходимое условие жизни всего мира, есть орган служения тому, кто послал их сюда, что, кроме личного расчета, по которому жизнь лучше прожить в блаженстве, любви к людям, чем в муках ненависти к ним и страха перед ними, в жизни этой есть еще глубокий, общий смысл, есть общее дело, которого каждый из нас призван быть участником, которое делается только нами, и всякий чувствует еще то — и это открыто Христом, что в жизни этой, кроме вопроса его личного блаженства или страдания в данный ему миг жизни, есть еще общее дело, которого он призван быть творцом, что мы,

---

[17*] *Далее было:* что всякую секунду может умереть, и все они боятся этого, как холеру, что смерть может застать на этом самом деле, что жизнь моя, данная на радость и любовь, пройдет и кончится в том, что я буду подписывать глупые и злые бумаги, делать смотры и участвовать в них и сечь и стрелять в мужиков, которые кормили и кормят меня.

Единственная возможность провести наилучшим образом данное нам мгновение жизни есть следование этому закону, не говоря уже о законе не ограбления, не истязания, не убийства, но закона любви.

[18*] *В автографе далее следует текст, вероятно, не зачеркнутый Толстым по ошибке:* истребления и мучения друг друга. Но мало этого

вступая в жизнь, вступаем в дело, которое не мы начали, но которое мы обязаны продолжать, мы жнем то, что не сеяли, и радость наша общая. И продолжение этого начатого дела совпадает с наибольшим благом, которое мы получаем, следуя закону любви.

Вступая в эту жизнь, мы чувствуем, что, увеличивая в себе любовь, мы содействуем начатому делу установления ц⟨арства⟩ б⟨ожия⟩ и, содействуя установлению ц⟨арства⟩ б⟨ожия⟩, увеличиваем любовь в себе и в других людях. Так что все со всех сторон влечет нас к исполнению вечного закона, написанного в наших сердцах и во всем мире, и вдруг оказывается, что оттого, что маленький кружок людей назвал меня царем или становым, или священником, или солдатом, я должен отказаться от вечного, ясного закона моей жизни, отступление от которого я не могу не чувствовать и покоряясь выдуманному закону маленького кружка людей и пренебрегая вечным законом, написанным и в моем сердце и в мудрости людской, лишиться и того блага, которое мне предназначено в короткий миг моей жизни, и отказаться от признанного единственно возможного смысла этого короткого данного в мое распоряжение мига. И я знаю, что мое мгновение жизни между двумя вечностями всякую минуту может кончиться и что единственная возможность блага есть служение любви в этот миг.

Я знаю, что смысл моей жизни только в исполнении воли пославшего меня, и воля в том же служении любви. Я знаю это и не стану делать того, что велит вечный закон разума и совести, а то, что велит Иван Иваныч, мистр Смит или еще кто-нибудь: стану жизнь проводить[19*] в подписывании злых бумаг, приговоров, в смотрах войск, писании глупых указов, производств, проповеди лжи, истязаниях в тюрьмах и каторгах людей, в приготовлениях к убийству, проведу в этом всю жизнь, зная, что она всякую секунду может прекратиться и никогда не воротится. Это ужасно! [Опомнитесь, люди! Вы знаете, что есть один закон, стоящий превыше всех других законов и определяющий справедливость всех остальных. И закон этот дан нам ясно, несомненно и следовать ему радостно и легко. Это — закон любви. Все, что ведет к увеличению любви в себе и в других, все то хорошо. Все, что ведет к увеличению любви к себе, но уменьшению ее в других,— вызывает злобу — дурно; все, что ведет ⟨к⟩ увеличению любви в других — мнимые благодеяния, если они не исходят из сердца, не производят умиления, не увеличивают любви к себе — тоже нехорошо. Хорошо и должно то, что увеличивает любовь в себе и в других, и делать. Вы знаете этот закон, следование ему удовлетворяет личное чувство и содействует общему делу, совершающемуся в мире. Вы знаете, что жизнь ваша мгновение и что поправить ее уж никогда нельзя, потому что она, эта жизнь, уже никогда не воротится ни для кого из нас. Опомнитесь, люди, проснитесь, стряхните с себя напущенный на вас веками обман и откройте глаза к простой истине, что всякая минута нашей жизни единственная, не может воротиться и что вся жизнь навсегда всякую минуту может прекратиться. Помните, что цель вашей жизни больше, чем те, которые предписывают вам люди. Цель нашей жизни есть исполнение дела божия, дело же божие никогда не может требовать истязаний, убийств и под⟨обного⟩.

И не верьте тому, что люди любят говорить, что если мы не будем исполнять их воли, не будем брать подати, служить, судить, истязать, казнить, убивать,— будет что-то кому-то худое. Неправда. Не может быть никому худого оттого, что мы будем исполнять закон бога. Напротив, то, что от исполнения закона людского надо нарушать закон бога — признак того, что не надо исполнять закона людского.

[19*] *В автографе по ошибке осталось неисправленным:* проведу

Одумайтесь, люди, μετανοεῖτε и веруйте в Евангелие,— говорил Христос,— и то же говорит вся история человечества ⟨со⟩ всеми теми ужасами жизни и противоречиями сознания и жизни, до которых мы дожили.]

1800 лет тому назад Х⟨ристос⟩ сказал: Одумайтесь,— т. е. перемените свое понимание жизни и подобное и самую жизнь. Поймите, что жизнь ваша принадлежит не вам, не семье, не государству, не человечеству, а тому, кто послал вас сюда. Дело вашей жизни есть исполнение его воли. И воля эта открыта вам не в своих последних целях, но в той вашей деятельности, которая нужна для нее. И деятельность эта, нужная для нее, даст и вам наибольшее доступное всем благо. Благо это не в чьей-либо определенной цели, не в стремлении к ней, не в достижении ее, не в наслаждении личном, не в семье, не в богатстве, не во власти, а только в сознании того, что ты делаешь дело, которое ты призван делать. И дело это есть увеличение любви в себе и в других[20*]. [Для исполнения этого нужно только то, чтоб тот помещик, который отнял лес у крестьян, не отнимал бы его. Для того же, чтобы он не был побуждаем отнимать его, нужно, чтоб у него не было к этому мотивов, чтоб он не жил роскошно. Для того же, чтобы он не жил роскошно, нужно, чтобы он, его мать, жена не в личном наслаждении искали блага, а в исполнении воли пославшего, в служении ему.

Если бы тот помещик, который отнял лес у крестьян, не искал блага в личном наслаждении, и в этом же не искали его ближние, семейные, он бы не отнимал леса у крестьян[21*].

Но это все общие рассуждения, слова, что делать, что определенно делать для того, чтобы избавиться от зол нашей жизни и жить сообразно с законом Христа.

Делать надо тому помещику, который отнял лес[22*], не судиться, понимать, что суд дурное дело, насилие, и не только не оттягивать у крестьян леса, но быть готовым на то, чтобы, если крестьяне отняли у него его землю, не прибегать к суду и насилию, зная, что привести исполнение суда надо войском.

Если же помещик подал в суд, то судье не надо было судить не только неправильно, но вовсе судить, рискуя тем, что суд вызовет истязание и убийство, как это теперь случилось. Также не надо было судить сенаторам, министру, зная, что это дело может повести к убийству и в основе своей имеет убийство, также[23*] не надо было царю делать предписанье. Также не надо было военным служить в военной службе, зная, что цель ее убийство.

Но как же можно было помещику не отстаивать свой лес, у него бы взя⟨ли⟩ его последнее? Как можно было судье не судить? Он этим живет и кормит семью. Как можно министру, губернатору, офицеру не исполнять приказания? Они тоже этим кормятся. Как можно царю не подписывать указ, он на это царь?

Для того, чтобы всем этим людям можно бы было сделать это, им, их семьям надо отказаться от всех материальных благ[24*]. Для того, чтобы отказаться, надо в ином полагать их. Надо одуматься.

[20*] *Далее вачеркнуто:* И для того, что⟨бы⟩ исполнять это, не нужно, как это нужно для мирских дел, исполнение некоторых поступков, нужно только усилие, чтобы вырваться из инерции мирского движения и перестать совершать мирские поступки, губящие нашу жизнь.

[21*] *Далее было:* Если бы он даже и отнимал лес у крестьян, судья, решивший

[22*] *Далее было:* во-первых, не искать блага в наслаждении, роскошном богатстве, не делать того же женщинам, его семейным. Если бы он жил воздержно, ему бы не нужен был лес; во-вторых

[23*] *Далее было:* надо было женами семьям этих чиновников

[24*] *Далее было:* а этого они не могут

И стоит понять это для того, чтобы тотчас все зло заменилось благом, чтобы все сошедшиеся 9 сентября люди, удивленные тому, зачем они сошлись сюда, все спокойно и радостно разошлись бы в разные стороны.]

Рук. № 30/318.

⟨2⟩

Да, это было бы смешно, если бы заблуждение это было невинное, не производящее мучительных ⟨в⟩ противовес всему существу человеческому последствий, и, главное, могло еще быть смешным, если бы это было только предположение; но ⟨это⟩ не предположение, но это ужасная действительность. Трудно удержаться от улыбки и часто и от смеха, когда взрослый, как будто настоящий человек, говорит вам серьезно и внушительно, что он теперь ангел божий и бог открывает ему все свои намерения. Слушая невинный бред несчастного и глядя на невредящие другим его нелепые поступки, мы не видим всего ужаса их и не можем удержать улыбки. Но если человек этот, вообразив себя ангелом нынче, доносящим богу о том, что происходит на земле, завтра может вообразить себя избранным орудием бога — ангелом смерти для истребления неверных и может перебить топором десятки людей. Тоже и с тем положением не заблуждения даже, но прямо сумасшествия, в котором живет большинство людей 1800 лет после открытия людям христианского закона, предполагающих свою жизнь данной им для их личного наслаждения или для благоденствия их семьи или государства.

И сумасшествие это не в том, что неразумно то, что если цель человека и человечества есть наибольшее материальное благо, достижимое здесь в этом мире, то для этого нужно то устройство мира, которое существует с своими правительствами, солдатами, розгами. Все это ясно и последовательно, как ясно и последовательно все то, что выводит сумасшедший из своего установившегося в нем ложного представления о том, что он гриб или ангел смерти; сумасшествие его не в том, что он сидит на корточках или убивает, а в том, что он верит, что он гриб или ангел смерти. И потому[25*]...

Люди эти — некоторые из них — могут прожить длинную жизнь в этом тихом сумасшествии, могут не быть приведенными к необходимости делать то, что делали вчера те люди, которые поехали в Бобрики, т. е. те акты сумасшествия, перешедшего в бешенство, где сумасшедший бегает с топор⟨ом⟩, убивая невинных, но они всегда наготове этого, они поддерживают тех бешеных, которые как вчерашние бешеные бегают по свету, убивая людей; вся их жизнь поставлена так, что они связаны неразрывно с этими бешеными, что без этих бешеных невозможна их жизнь. И вся энергия бешеных поддерживается их не только согласием, но одобрением.

Живет семейство богатое (помещичье или капиталиста или купца или чиновника) где бы то ни было в России, в Англии, в Америке. Живет это семейство богато, т. е. так, что оно поглощает труды сотен, тысяч, миллионов рабочих, живущих так, что они не могут пользоваться произведениями своего труда, а отдают его этим богатым семействам.

Рабочие эти не могут хотеть отдавать свой труд чужим, не только незнакомым, но ненавидимым ими людям. Зачем же они отдают их им? Только затем, что если они не сделают того, что нужно, чтобы труд их переходил к этим семействам, или сделают то, что задержит этот переход,

---

[25*] *Против слов:* И сумасшествие это не в том ~ И потому *рукою Толстого карандашом помечено:* пр⟨опустить⟩.

то их принудят их ⟨!⟩ силою. Что значит принудить силою? Значит, в лучшем случае для физического здоровья, но худшее для достоинства человека,— их будут сечь, бить розгами по голой спине, в худшем — запрут навечно, убьют пулями, штыками не одних бунтующих, но женщин, детей.

И та мать семейства, которая где бы то ни было сидит за своим роскошным столом ⟨в⟩ роскошной столовой, тратя на себя и свою семью чужой труд,— участница этого дела. Она та тихая сумасшедшая, не доведенная до бешенства, но сумасшествие то же. Для того, чтобы я мог пользоваться трудами людей, неохотно дающих его (не мне прямо, но кому бы то ни было), я должен быть готов сечь и убивать людей, я тот же, но только еще не раздраженный сумасшедший.

1800 лет тому назад сумасшествие это было обличено Христом, и 1800 лет уже люди стараются сцепиться так между собою, чтобы от самих себя скрыть свой грех и свое безумие, но и грех и безумие все более и более выступают наружу.

Уже 1800 лет тому назад христианство указало людям безумие их жизни. Еще 1800 л⟨ет⟩ т⟨ому⟩ назад Христос сказал, что безумие воображать, что жизнь принадлежит нам и цель ее есть благо наше — благо личное, семейное, государственное, и что в устройстве этого блага вся деятельность человечества.

[Безумие 1800 лет тому назад было открыто людям, но люди продолжали и до сих пор про⟨должают⟩. Это прежде было невинно, безвредно, но теперь оно становится ужасным.]

Рук. № 30/318.

СТОЛОВАЯ ДЛЯ ГОЛОДАЮЩИХ

Фотография М. Дмитриева из альбома: «Неурожайный 1891—1892 год в Нижегородской губернии» (Н.-Новгород, 1893)

Литературный музей, Москва

РАЗДАЧА ХЛЕБА ГОЛОДАЮЩИМ

Фотография М. Дмитриева из альбома: «Неурожайный 1891—1892 год в Нижегородской губернии» (Н.-Новгород, 1893)

Литературный музей, Москва

〈3〉

И вот я в то время, как ехал в эту местность, где мрет этот[26*] народ, продолжать то дело кормления голодных, в которое я невольно был втянут пришедшими ко мне для этой цели прошлого года пожертвованиями. Туда же ехал поезд чиновников и вооруженных солдат для усмирения этих самых умирающих голодных.

[У большой станции Узловой наш поезд нагнал другой, стоявший здесь, поезд, везший войска. Войска эти 〈с〉 ружьями и боевыми патронами, саблями, штыками, пистолетами ехали усмирять этих самых от жестокости правительства и правящих классов умирающих людей и в ту же местность, в которой мы ехали кормить голодных.]

Рук. № 31/334, л. 48.

〈4〉

И вот я увидел воочию русских добрых и проникнутых христианским духом людей, с ружьями и розгами едущих убивать и истязать своих голодных братьев.

Зрелище это особенно поразительно тем, что доведены люди до голода теми самыми людьми, которые возбудили это дело, предписали его и распоряжаются им. То, что крестьяне доведены до голода теми самыми людьми, которые вызвали и устроили посылку этого поезда для убийства и истязания, я основываю на следующих соображениях: 1) Крестьянское население со времени освобождения увеличилось везде на 75, а во многих

[26*] *Далее было:* несчастный

местах на 100%. Количество земли, которым они владеют, и прежде далеко не достаточное для пропитания, осталось то же; окружающие их земли, с которых они собирают нужное пропитание, принадлежат помещикам, и крестьяне принуждены нанимать эти земли на условиях, предлагаемых помещиками. Помещики же, пользуясь своим положением, возвысили цены на земли до такой степени, что, в продолжение 30 лет со времени освобождения, плата за земли возросла втрое, от 5 до 15 рублей и более; 2) для уплаты податей, насильственно взыскиваемых с них правительством, крестьяне принуждены добывать деньги и для того закабаляться в работу к помещикам и заводчикам, и так как нужда заставляет их принимать те условия, которые им предлагают, плата за труд за те же 30 лет упала вдвое. Прежде обрабатывали землю за 8 рублей, теперь за 4 рубля десятину. Я привожу точные цифры из Тульской губернии. В других черноземных губерниях, т. е. таких, в которых земледелие составляет главный промысел, произошло приблизительно то же самое, хотя цифры возвышения цен на землю и упадка на работу могут быть иные. 3) Правительство с своей стороны, поддерживая стачку помещиков и препятствуя всеми силами просвещению народа, запрещая школы и книги и общение с людьми, могущими просветить его, насильственно спаивая его вином, т. е. не позволяя народу, где они того хотят, удалять из своих сел винную торговлю, посредством побоев и отнятия имущества отбирает от народа на подати еще и последние его средства. 4) Переселение на свободные земли, которые одни могли бы вывести крестьян из этого положения, или затрудняется или вовсе запрещается. И потому главные причины голода не во внешних, атмосферических условиях, а во внутренних: в увеличении цен за землю, в уменьшении платы за работу, в умышленном одурении и спаивании народа и насильственном отбирании от него денег на подати, в затруднении и запрещении переселений, вообще в постоянно усиливающемся и усиливающемся, под видом опеки его, стеснении и угнетении народа в пользу правящих классов.

И вот к этим-то, доведенным до голода людям ехали теперь те люди, которые довели их до этого положения, с тем, чтобы истязать и убивать их[27*].

Повод, по которому они ехали, был следующий:

В одном из имений богачей Бобринских крестьяне вырастили на общем с помещиками выгоне лес (вырастили, т. е. оберегали во время его роста) и всегда пользовались им, и потому считали этот лес своим или по крайней мере общим; владелец же, присвоив себе этот лес, начал рубить его. Крестьяне подали жалобу.

Рук. № 30/321, лл. 1—3.

⟨5⟩

Совершается ужасное дело: едут люди с ружьями и розгами убивать и сечь тех затянувшихся в труде таких же людей, как они, братьев, да еще таких, которые их же вырастили, выкормили и теперь содержат, одевают и кормят.

[Но удивительное дело — поступки этих людей не представляются таковыми, никто так не смотрит на это дело.]

Но большинство людей не видит ужаса этого дела. Розги еще, может быть, покажутся излишними для европейского судьи этого дела. Это специальная дикость русского правительства. Но самое дело не только не возмущает большинство людей и русских, и английских, и германских, и французских, и американских. Но возмущает такая постановка дела,

---

[27*] *Против слов:* Зрелище это особенно поразительно ~ убивать их *рукою Толстого карандашом помечено:* Пр⟨опустить⟩.

при которой приведение в исполнение *закона* представляется чем-то жестоким и не гуманным.

Разве не то же самое, не переставая, совершается — и все чаще и чаще — во всей Европе и в Америке. Разве не то же самое совершается при всех смертных казнях за воровство, за убийство, за политические преступления. Не то же самое совершается надо всеми заточенными, каторжными, сосланными; не то же совершается над выгоняемыми из своих домов фермерами, над не хотящими отравляться опиумом и вином китайцами, индейцами, африканцами? Не то же производится по всему миру и все чаще и чаще над рабочими-стачечниками? И главное, не то же ли самое производится ⟨во⟩ всех государствах над собираемыми податями, приготовлениями к военным убийствам и над забираемыми солдатами?

Не одни участники этого поезда не видят того ужаса, который совершается насилием, но этого не видят все те, которые где бы то ни было и в каких бы то ни б⟨ыло⟩ формах совершают его или пользуются им.

Рук. № 31/337, л. 48.

⟨6⟩

Они шутят, разговаривают, курят, отряхивают насыпавшиеся на грудь мундира крошки; ходят, подрагивая на каждой ноге; но все это они делают по привычке и стараясь подбодрить самих себя.

Но они все страдают. У всех в глазах есть что-то или тревожное[28*] или напускное, развязное (я говорю про чиновников и офицеров) и равнодушное. И проезжавшая добродушная либеральная дама, увидавшая этих господ и начавшая по этому случаю ругать порядки нашего времени и срамить людей, участвующих в них, смутила всех. Все ее сторонились и делали вид, что не слышат ее слов, которые были очень слышны.

Рук. № 30/302, л. 4.

⟨7⟩

Стоит только поговорить с ними, со всеми участниками этого дела, от помещика до последнего городового и солдата, чтобы увидать, что все они в глубине души знают, что это дело дурное и что лучше бы было не участвовать в нем, и страдают от этого.

В том-то и особенность переживаемого нами времени, что насилующие должны так же, как и прежде (и даже чаще, потому что насилуемые уже понимают теперь всю жестокость и несправедливость того положения, в котором находятся), употреблять против насилуемых все одни и те же средства насилия (новых не выдумано), побои и убийства, а между тем значение этого насилия, цель его становится все яснее и яснее, и люди, долженствующие совершать насилие, все более и более должны бы чувствовать постыдность таких дел.

Хорошо было не только за тысячи и сотни лет, но даже 50 лет тому назад богатым землевладельцам, заводчикам, купцам, государственным чиновникам требовать употребления насилия против рабочего народа, когда народ этот считался диким зверем, который нужно было укрощать для общего блага, когда насилующие да и сами насилуемые не видали связи этого насилия с выгодами насилующих, и когда жестокости истязаний и убийств были в обычаях и нравах людей. Но теперь, когда народ уже нельзя считать диким и опасным зверем, которого можно укрощать только жестокостями, когда не только литература и общественное мнение,

---

[28*] *Первоначально:* мрачн⟨ое⟩

но сама жизнь в постоянно происходящей во всем христианском мире сознательной борьбе между богатыми — не рабочими и бедными — рабочими показывает и когда нравы настолько смягчились, что истязание и убийство животных вызывает уже противодействие всего общества, не могут уже насилующие с спокойной совестью требовать насилия; не могут с спокойной совестью люди нашего века и настроения распоряжаться истязаниями и убийствами. И еще менее могут люди сами, как это должны делать солдаты, сами своими руками с спокойной совестью совершать истязания и убийства над своими отцами и братьями.

Не могут люди нашего времени, возбуждая такие дела, и совершая их, и участвуя в них, и даже видя их, слыша про них, не испытывать нравственного страдания.

Не может тот помещик, который получит свои три тысячи рублей после того, как для приобретения этих трех тысяч убьют или подвергнут истязанию несколько человек, не видеть того, что эти деньги приобретаются убийствами или истязаниями, и не может он не страдать от этого. И не могут те чиновники и офицеры, которые едут истязать и убивать крестьян, не видеть того, что они получают жалованье за то, чтобы по воле начальства истязать и убивать людей, и не могут они не страдать от этого сознания.

Не могут не страдать и все те судьи и чиновники, и министры, и государь, зная, что они покупают свое спокойствие истязаниями и убийством. Они и страдают, хотя всеми силами стараются скрыть это от себя и других.

Страдает помещик, который затеял все дело: в то же утро, как приходил поезд в его имение, он поспешно уехал, чтобы не присутствовать при том деле, в котором он в самой глубине души считает себя виноватым. Страдает и тот судья, который решил дело против крестьян, и все те судьи высших инстанций, которые, сваливая его с себя на других, пропустили его в том же виде. Они, чувствуя свою вину, при всяком случае старательно доказывают законность своего решения и неизбежность его.

Страдает прокурор, который должен бы был ехать, но, рискуя даже неисполнением своей обязанности, не поехал на это возмущающее его дело. Страдают и министр и царь, которые распорядились приведением решения суда в исполнение войсками, когда что-нибудь напоминает им об их участии в нем.

И тем более страдают теперь все едущие в этом поезде при мысли и напоминании о том, что предстоит им. Страдают даже и зрители, не участники этого дела... [29*]

Рук. № 30/321, лл. 24—27.

⟨8⟩

Губернатор [30*] знает, что дело орловского губернатора вызвало негодование лучших людей общества, и сам он уже выражал неодобрение ему; знает, что прокурор, который должен был ехать, прямо отказался от участия в деле, потому что считает это дело постыдным; знает губернатор и то, что и в правительстве нынче-завтра могут произойти перемены совсем в другую сторону и что есть пресса, если не русская, то заграничная, которая может описать это дело и навеки осрамить его; и он дорого бы дал, чтобы как-нибудь выпутаться из того положения, в которое он попал, и не знает, как это сделать.

[29*] *Против слов:* В том-то и особенность переживаемого нами времени ~ этого дела *рукою Толстого карандашом помечено:* Пр⟨опустить⟩.

[30*] *Тульский губернатор Н. А. Зиновьев.— Н. Г.*

Он испытывает то же, что испытывает загипнотизированный человек, приближаясь к месту и времени предписанного ему противного его совести деяния.

Рук. № 31/332, л. 44.

⟨9⟩

Ведь здесь дело идет не о приличии, не о воображаемой чести, не о тряпке, которую называют знаменем, и не о кусочке хлеба, на котором что-то нашептали, но о самом ужасном и очевидном преступлении, которое только может быть совершено человеком, о надругательстве над всем, что только может быть святым для людей: об истязании и убийстве не только невинных людей, но своих кормильцев.

Неужели они не считают этого дурным? Не могут же они не считать этого дурным, потому что, как они ни храбрись [31*], не может уже в наше время живой человек не считать не только дурным, но ужасным, возмущающим все существо человека, постыдным делом сечение стариков и стреляние из ружей по толпе людей и участие в этом деле. Ведь все эти люди — чиновники и офицеры — живут жизнью нашего времени, все так или иначе исповедуют известные правила гуманности или христианства, выставляют их, руководятся ими в оценке чужих и своих поступков. Как же это соединить с сечением и убийством стариков, голодных людей? Ведь если можно это делать, то надо оставить все речи о гуманности и христианстве, а, оставив эти речи, нечем будет руководиться в жизни, ни о чем судить нельзя будет. Ведь большинство из этих солдат крестьянские ребята, которые большею частью боятся убить курицу и всех мужиков, смотря по годам, называют дядей или дедом. Как же они будут сечь дядей или дедов?

Если и есть среди всех этих людей такие [32*] одичалые, как те несчастные Баранов и Неклюдов, которые хотели отличиться своим палачеством, то уже и на этих несчастных [33*] есть бич общественного мнения, которое [34*], вместо отличия, которого они добивались, кладет на них неизгладимое пятно хуже старинного клейма каторжных.

Не могут в наше время люди делать этаких дел спокойно, не могут и готовиться к ним спокойно. Так что же такое значит то необыкновенное спокойствие всех этих людей за два часа до совершения преступления, на которое они идут? Человек идет красть у богатого купца лошадь или корову и то дрожит и боится [35*], а эти едут сечь и убивать невинных и, как ни в чем не бывало, разговаривают, шутят, курят, допивают кофе, отряхивают крошки, упавшие на грудь, ходят неторопливо, подрагивая на каждой ноге.

Рук. № 31/337, л. 21.

⟨10⟩

Когда было окончено истязание 12 человек, канаву запрудили, и священные права собственности были восстановлены, мельница замолола, и помещик стал опять получать тот доход, который он получал прежде, и мог купить новое платье жене, нанять репетитора к сыну, подписаться

[31*] *Далее было:* как тот несчастный, который кричал: Скамейку—и присутствовал при истязании стариков

[32*] *Далее было:* не чутки⟨е⟩ люди, такие

[33*] *Далее было:* не чутких людей уже

[34*] *Далее было:* уж казнит их и навеки

[35*] *Далее было:* и старается

на новый журнал и получить эстетическое наслаждение слушанием пения такой-то дивы и игры такой-то актрисы.

Ведь кажется несомненно ясно и не требует особенных доказательств то, что те деньги, которые получатся за мельницу [36]*, выручены истязанием, осквернением людей и что без этого не было бы денег.

Точно также ясно, что те деньги, которые получит помещик, те 3 т⟨ысячи⟩ р⟨ублей⟩ за лес, которые едет защищать тульский губернатор с войсками, получатся тем же способом, если же не тем, то угрозой такого же способа.

Но не менее ясно и то, что все те деньги, которые получает этот помещик, да и всякий другой помещик не в одной России, но во всем мире, получаются тем же способом, употребленным только прежде, когда из-за обладания землею происходили между единичным владельцем и бедным народом такие же столкновения, какие произошли теперь за спорные вопросы выращенного на выгоне леса, поднятой воды в мельнице.

То, что произошло теперь из-за леса и мельницы, происходило уже много и много раз прежде, давно и [37]* ограбление многих для одного вошло в привычку, в обычай, и ограбленные уж перестали противиться, но основы владения те же. И деньги, большие деньги, большие преимущества богатых над бедными, которыми пользуются богатые люди, не могут произойти ни от чего другого, как от розог, тюрем, каторг, убийств, и ничем иным не могут быть поддерживаемы, как мы ни стараемся это скрывать от самих себя, если мы не хотим прямо лгать, мы не можем не признаться, глядя на такие явления как орловское дело и этот поезд, с которым я съехался, что все наши радости, роскоши покупаются на деньги, получаются нами только через розги, тюрьмы, убийства.

Каждая ложа в театре, каждая бутылка шампанского, каждая роскошная книга,— это столько-то розог, столько-то дней тюрьмы, столько-то крови, столько-то стонов и слез. И утешаться нельзя [38]* и тем, которые не имеют прямого отношения к лесу, к мельнице, к земле, к фабрике, как утешаются те, которые занимаются различными профессиями среди землевладельцев, фабрикантов, банкиров, правительств, от них получая вознаграждения. В этом вознаграждении те же розги, те же слезы, та же кровь [39]*. Если бы деньги [эти] приобретались не путем розог, тюрем, слез и крови, их бы не давали так щедро,— и не было бы возможности существования этими профессиями.

Так, вот 9 сентября я съехался на станции Узловой с тем поездом, который вез солдат с ружьями и розгами для утверждения колеблющегося священного права собственности молодого богача, имеющего 200 т⟨ысяч⟩ дохода, и для того, чтобы не упустить 3 т⟨ысяч⟩, которые он проживет в неделю, не только допустившего, но вызвавшего весь этот страшный отряд нового Чингисханского полчища.

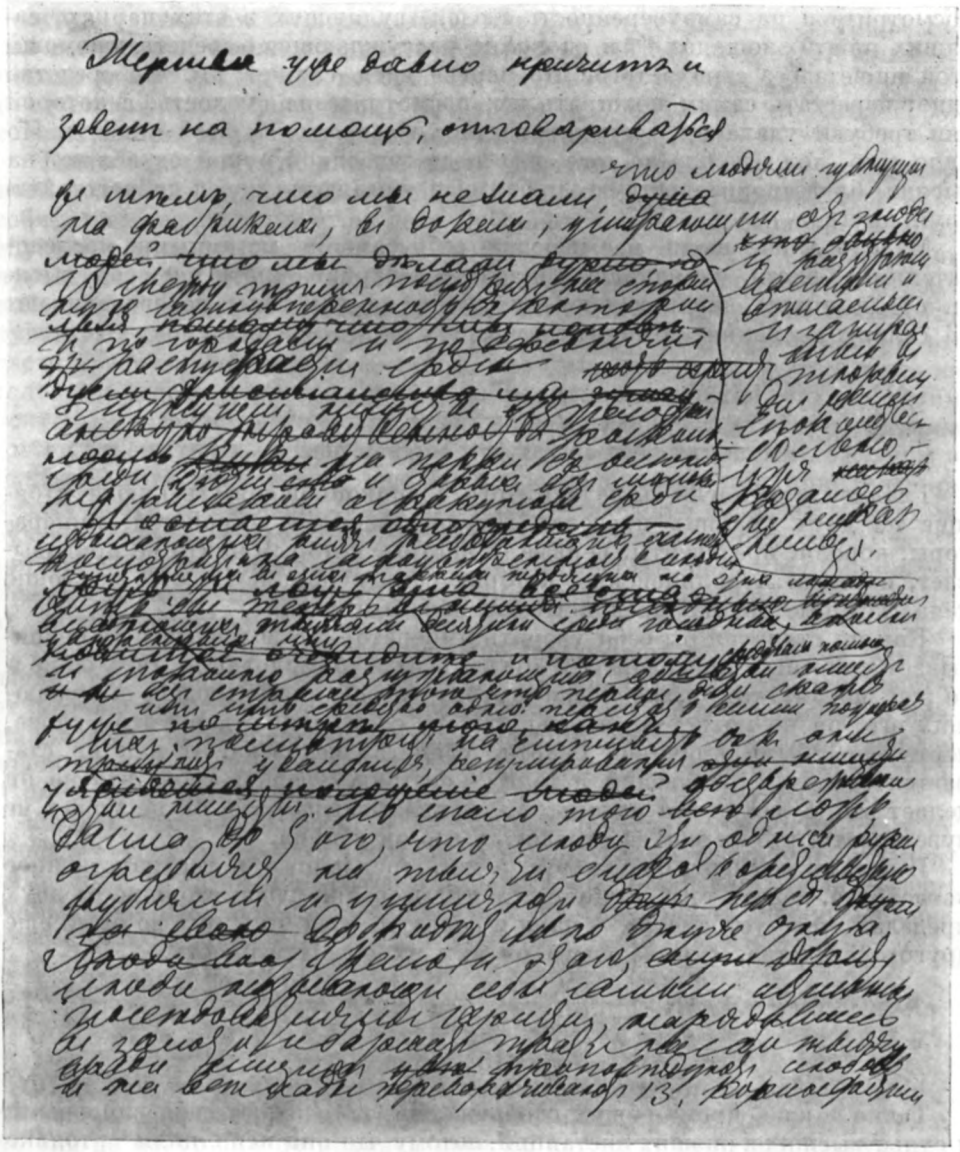
Рук. № 31/338, лл. 41—42.

⟨11⟩

Жертва уже давно кричит и зовет на помощь. Отговариваться же тем, что мы не знали, что людям, гибнущим на фабриках, в доках, умирающим от голода и расстреливаемым, и вешаемым, и запираемым в тюрьму для нашего спокойствия,— больно,— уж казалось бы никак нельзя.

---

[36]* *В автографе описка:* мельницы
[37]* *Далее было:* привычка захвата, отнятие у многих
[38]* *Далее было:* никому придумывая себе опр⟨авдания⟩
[39]* *Далее было:* в тех деньгах, которые получают эти люди



ЧЕРНОВАЯ РУКОПИСЬ ТРАКТАТА «ЦАРСТВО БОЖИЕ ВНУТРИ ВАС»
ГЛАВА XII (ВАРИАНТ 11), 1892 г.
Копия Е. И. Попова с правкой и вставками Толстого
Архив Толстого, Москва

А между тем, посмотрите на спокойную самоуверенность, с которой и по городам и по деревням распускается среди гибнущей нищеты безжалостная роскошь; на парки с оленями среди детей и старых без молока; на рысаков и скакунов среди издыхающих кляч, работающих хлеб; посмотрите и на самоуверенность людей, гуляющих в этих парках, ездящих на этих лошадях [40*] и спокойно рассуждающих о средствах помощи этой нищете без страха того, что первое дитя скажет им, что средство одно: перестать самим пожирать их; посмотрите на смелость, с которой они требуют удаления, регулирования, обезвреженья этой нищеты. Но мало того, ложь дошла до того, что люди эти одной рукой ограбляют на тысячи, благотворительствуют рублями и умиляются перед добродетелью друг друга.

Мало и этого, люди, называющие себя самыми истинными последователями Христа, нарядившись в золото и бархат, тратя на себя тысячи среди нищих, проповедуют любовь и на все лады переворачивают 13 ⟨главу послания⟩ Коринфянам... [41*]

Рук. № 30/310, л. 37.

⟨12⟩

Главное ж не могли бы делать этого с спокойной совестью люди, стоящие на двух крайних пределах государственного устройства: императоры, короли, президенты, первые министры, которым никто не приказывает, и солдаты, полицейские, которые сами исполняют все те жестокие дела, которые только предписывают начальствующие.

Как ни старался бы себя уверить император, президент, что он подписывает смертный приговор или отказывает в помиловании (что одно и то же), потому что он вынужден к этому требованиями людей, окружающих его, он не может не видеть, что его слово или отказ в этом слове, черта пера были причиной смерти, убийства человека. И как ни старается солдат, стреляющий в толпу крестьян, уверить себя, что не он делает это, а делает это начальство, приказывающее это, он не может не чувствовать, что он мог не стрелять и что он убийца.

И потому не могли бы все эти люди, сцепленные в государственное устройство, делать того, что они делают, особенно люди, стоящие на двух пределах этого устройства — цари и солдаты, если бы у них не было еще другого средства, скрывающего от них их ответственность.

Рук. № 31/323, л. 16.

⟨13⟩

Точно также, кроме общих соображений, не считают себя виновными и судьи высших и низших инстанций, потому что они исполнили [42*] только одну часть дела, не имеющую ничего общего с истязаниями и убийствами: они к частному случаю приложили общий закон и то только в пределах своей компетенции, а не окончательно.

Еще менее считают себя виновными те, которые написали закон. Не считают себя ответственными и губернские власти, донесшие о неповиновении крестьян. Они только исполняли свою обязанность, сообщили, ничего не предрешая, высшей власти о том, что совершается в вверенной их наблюдению области.

[40*] *Далее было:* владеющих тысячами десятин среди голодных
[41*] *Далее текст обрывается.— Н. Г.*
[42*] *Далее было:* закон

Не считает себя ответственным и министр, представивший доклад государю. Он не считает себя ответственным, потому что он, получив донесение о неповиновении крестьян, он по [43*] законам, по преданиям, по обязанностям своей службы и то не один, а в совете не мог составить иного доклада, как тот, который он представил государю. Государь же, дав согласие на докладе министра, не может считать себя ответственным, потому что [44*] он, ничего не беря на себя, как и во всех таких случаях, предоставляет дело законному течению, т. е. тому, как это само собой сделается при наименьшем личном вмешательстве.

Точно так же, хотя и испытывая некоторую неловкость, вследствие необходимости личного употребления насилия, все-таки не чувствуют себя ответственными в этом деле губернатор и все губернские власти, едущие в этом поезде. Дело это возбуждено и произведено не ими: они чувствуют себя только промежуточной инстанцией, в положении людей, которые принуждены исполнять неприятное дело. И они не только не чувствуют себя виноватыми, но скорее чувствуют себя в положении отчасти трагическом, отчасти в таком, что они, участвуя в этом деле, не только не делают дурное, но скорее доброе дело именно тем, что они своим искусным ведением дела могут уменьшить истязания и убийства и даже совсем избежать их.— Еще меньше чувствуют себя виновными офицеры и солдаты, хотя испытывают еще бóльшую неловкость при приближении к тому месту и времени, когда придется — особенно солдатам — своими руками убивать, бить, вязать. Эти люди [45*] воспитаны к тому, чтобы не [46*] считать себя ответственными ни за какие злодейства, которые им придется совершить по приказанию свыше. Этим людям — особенно солдатам — это прямо внушено.

[В каждом таком деле, как отнятие собственности, истязание, заключение, убийство, т. е. казни, войны, есть два предела: высшая власть, от которой все исходит и от которой все ждут и требуют решения, и низшая власть — полицейский, солдат, который в иерархическом порядке подчинен всем высшим властям и который должен исполнять все на деле. И ни один не ответствен более другого.]

Власть предписывающая и власть исполняющая, лежащие на двух пределах государственного устройства, кажутся чрезвычайно отдаленными друг от друга, а между тем [47*] они сходятся как два кольца, соединенные в кольцо, и одна обусловливает и поддерживает другую, и одна немыслима без другой.

Рук. № 30/320, лл. 19—20.

⟨14⟩

Люди так запутаны и связаны и личным интересом, и обманом, и тем, что теперь называется гипнотизацией, которая производится над ними, что они не могут или по крайней мере им кажется, как тому петуху, который не встает с полу потому, что проведена мелом черта от его клюва, что они не могут не делать того, что они делают. Но то петух, который лежит и вероятно ничего особенного не испытывает. Здесь же люди,

---

[43*] *Далее было:* всем

[44*] *Далее было:* он получил донесение и дал только согласие на то, что он него требовалось и представлялось необходимым.

После этого зачеркнутого текста было написано, а потом зачеркнуто: ему внушено, что он совершенно особенное существо, помазанник, поставленный богом для управления 100-миллионным народом, и что потому решение, положенное им, будет внушено ему богом. Но даже не вполне доверяя и этому, государь считает себя неответственным.

[45*] *Далее было:* так

[46*] *Далее было:* думать о том

[47*] *В автографе описка:* этими

живые, добрые, мягкие, воспитанные в христ⟨ианских⟩ преданиях, люди едут с розгами и заряженными ружьями сечь и убивать голодных людей для того, чтобы отстоять мошенничество, совершенное над ними помещиком.

Не могут люди подходить к участию в таком деле спокойно. Все они, или по крайней мере большинство из них, знают, что им, через час может быть, придется делать [48*].

Все они знают, что им придется делать то, что на днях было в Саратове, в Астрахани, на Юзовском заводе.

Они войдут в деревню, их встретит толпа народа, невежественная, запутанная, сбитая с толка и возбужденная. Им прикажут стрелять. Они выстрелят по улице, попàдают в крови люди — женщины, старики, дети, и раздастся вой матерей и жен, и заберут тех, которых назовут зачинщиками, и посадят военных, которые будут притворяться, что они заботятся о⟨б⟩ установлении справедливого возмездия, а потом поставят виселицу и в виду родных и односельцев торжественно задушат [49*] веревкой несколько невинных людей. Но если даже и этого не будет, то будет то, что на днях было в Орле [50*]...

Рук. № 31/338, *л.* 4.

⟨15⟩

Но я говорю только то, что людям надо перестать лгать, уверяя себя и других, что, живя жизнью, основанной на воровстве, грабеже, истязаниях, убийствах людей, могут считать себя справедливыми, нравственными, добродетельными; могут заботиться об устройстве доброй жизни; могут других учить справедливости и нравственности и показывать пример добродетели. Я не говорю, что людям всем надо сделаться добродетельными, но я говорю, что людям надо перестать лицемерить [51*].

Говорят о лицемерии фарисеев. Но лицемерие людей нашего времени оставляет далеко за собой все то, что в этом отношении могли представить фарисеи. У тех [52*] был внешний закон [53*] и из-за исполнения которого они могли не видеть человечных требований по отношению угнетенных братьев, да и требования эти не были высказаны; но в нашем мире нет такого божеского закона, который скрывал бы наши обязанности к угнетенным братьям; напротив, закон этот прямо указывает [54*] на эти требования и, кроме того, со всех сторон весь мир полон стонами угнетенных и разъяснениями причин этого угнетения и указаниями необходимости изменить положение вещей. И тут-то в таких условиях люди нашего времени: землевладельцы, купцы, заводчики, банкиры, цари, архиереи, генералы, офицеры, министры, судьи, всей своей жизнью отрицая всякую справедливость, всякое добро и всеми поступками своими проповедуя несправедливость, неравенство, угнетение, братоненавистничество и высказывая полное презрение ко всем законам божеским и человеческим, спокойным, уверенным тоном проповедуют справедливость, гуманность, христианство, братолюбие, милосердие, любовь.

Рук. № 31/334, л. 19.

[48*] *Текст:* Люди так запутаны ~ делать *обведен справа карандашом рукою Толстого и помечено:* пр⟨опустить⟩.

[49*] *В автографе описка:* задушать

[50*] *Далее текст обрывается. — Н. Г.*

[51*] *Первоначально:* притворяться, а быть тем, что они есть.

[52*] *Далее было:* была хоть внешняя праведность

[53*] *Далее было:* которому они следовали

[54*] *Первоначально:* требует

ПОСЛЕСЛОВИЕ К СТАТЬЕ О ГОНЕНИИ НА ДУХОБОРОВ (1895)

Публикация В. С. Мишина

Публикуемая впервые заметка (черновик) Толстого —послесловие к статье, описывающей «историю гонений духоборцев» до их «переселения на Кавказ». На механической копии этого черновика сделаны пометы рукой М. Л. Толстой «К статье Абрамова. Послано Кенворти». Однако неизвестно, какая именно статья имеется здесь в виду. Очевидно лишь, что речь идет о статье Я. В. Абрамова (1858—1906), известного в свое время либерально-народнического публициста и исследователя сектантства, автора книжки «Духоборцы» (М., 1884).

В 1895 г. в связи с усилившимися гонениями царского правительства на духоборов Чертков предполагал издать в «Посреднике» сборник «в защиту преследуемых сектантов». К участию в этом сборнике он пригласил и Абрамова, который дал согласие и в письме уведомил Черткова, что уже работает над статьей. Письмо Абрамова неизвестно, и о содержании его можно судить лишь по письму Черткова к Толстому от 21 ноября 1895 г., вместе с которым Чертков пересылал упоминаемое письмо Абрамова. 1 декабря Толстой возвратил Черткову полученное им письмо (т. 87, с. 341—345).

Предполагаемый сборник в защиту сектантов не был издан, по-видимому, по цензурным условиям, и о статье Абрамова, писавшейся для этого сборника, сведений не имеется. Была ли это та же статья, которая была послана Кенворти, также неизвестно.

Джон Кенворти (Kenworthy), английский издатель сочинений Толстого, его переводчик и биограф, в письме к Толстому от 8 ноября н. с. 1895 г. сообщил о получении им статьи Абрамова и о своем намерении ее опубликовать, а в письме от 4 декабря н. с. писал, что он «работает над статьей Абрамова» и надеется, что «может быть, она сможет появиться в январской книжке какого-нибудь журнала». О заметке же Толстого к этой статье в его письмах упоминаний нет (письма Кенворти не изданы; они хранятся в АТ).

Судя по письмам Кенворти, можно предположить, что дата Толстого под заметкой («2 ноября») — нового стиля. Это вполне возможно, так как Толстой в письмах к Кенворти за это время неоднократно ставил даты по новому стилю. Однако заметка Толстого могла быть послана и позже статьи Абрамова.

В дальнейшей переписке Толстого с Кенворти ни о статье Абрамова, ни о послесловии Толстого не упоминается. Вероятно, Кенворти говорил о них Толстому во время своего пребывания в Москве, куда он приезжал по делам издания произведений Толстого в Англии 21 декабря 1895 г. (уехал 7 января 1896 г.).

В публикуемой заметке Толстой ссылается на описания гонений духоборов в лондонском «Times». Он имеет в виду статью П. И. Бирюкова «Гонение на христиан в России в 1895 г.», опубликованную в «Times» (1895, № 34715, от 23 октября, с. 4) с письмом Толстого «К редактору английской газеты» в виде предисловия, в котором он сообщал: «Достоверно и несомненно самое существенное, рассказанное в этой записке, а именно то, что духоборы были в разных местах неоднократно жестоко истязуемы, что большое число их засажено в тюрьмы и что более 450 семей совершенно разорены и выгнаны из своих жилищ» (т. 39, с. 237—238 и т. 68, с. 173).

〈ПОСЛЕСЛОВИЕ〉

Этим кончается правдивый обзор истории гонений духоборцев. Но история их гонений не кончается этим [переселением на Кавказ]. Гонения эти продолжаются, потому что продолжается та борьба света с тьмою, которая началась [1]* с начала мира и будет продолжаться до конца его.

Спокойствие, которым пользовались духоборцы последние десятки лет на Кавказе, было только перемирие, после которого неизбежно должна была наступить усиленная борьба света с тьмою. Так оно и было. Огонь [2]*, сведенный Христом в мир, так сильно разгорелся в последнее время среди духоборцев, что мирские власти почувствовали себя в опасности и были вынуждены тушить [3]* его, и начались новые, усиленные гонения, продолжающиеся до сих пор, те самые гонения, краткое описание которых было сделано в газете «Times» 〈23〉 октября. И гонения эти, как всегда, если только они переносятся с христианской кротостью, как переносят их духоборцы, производят [4]* обратное действие тому, к которому стремятся гонители. Люди хотят скрыть показавшийся огонь в лесу и, чтоб затушить его, прижимают его к земле всем тем, что у них есть под рукою: листом, травой, хворостом, дровами, и огонь разгорается все больше и больше, и свет его распространяется все дальше и дальше.

Лев Толстой

2 ноября 1895. Ясная Поляна

---

[1]* *Далее было*: только с тех пор, как Христос свел на землю тот огонь, о разгорании которого он так томился.

[2]* *Далее было:* Христовой истины

[3]* *Первоначально:* угрожающий им огонь

[4]* *Далее было*: только

«РАБСТВО НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ (1900)

Предисловие К. Н. Ломунова
Публикация Е. С. Серебровской

Ниже публикуются несколько еще не бывших в печати вариантов рукописей статьи Толстого «Рабство нашего времени». Законченная в 1900 г., статья эта — одно из сильнейших публицистических произведений позднего Толстого. Главная ее тема — рабочий вопрос, положение фабрично-заводского пролетариата в буржуазном обществе.

В статье Толстого и в публикуемых вариантах ее дана острейшая критика пороков буржуазной цивилизации, критика тех сторон буржуазного прогресса, которые до глубины души возмущали писателя-гуманиста. Толстой гневно обрушивается на ученых экономистов, прославляющих выгоды разделения труда, являющегося основой быстрого роста капиталистической промышленности. Особенно возмущался он тем, что тысячи рабочих заняты на фабриках и заводах производством предметов, доставляющих «людям достаточных классов» удобства, комфорт, роскошь и «удовольствия жизни».

Толстой подвергает критике тех «социалистов», которые писали о том, что и при обобществлении средств производства сохранится подобное разделение труда. Такие теоретики, по мнению Толстого, не видят глубокой связи, существующей между конкретными формами разделения труда в капиталистическом обществе и самыми основами этого общества, построенного на порабощении и угнетении трудящихся. «Если бы действительно рабочие овладели всеми орудиями производства, — пишет Толстой,— то случилось бы совершенно иное, чем то, чего ожидают социалисты» (вар. к гл. VI). Первое, по его мнению, что сделали бы рабочие — это «перестали бы работать те предметы, которые не нужны для большинства» и устранили бы условия работы, «губительные для их телесного и душевного здоровья».

В статье «Рабство нашего времени» острейшей критике подвергнута буржуазная демократия, основой которой служит обман народных масс правящими классами, в чьих руках находится правительственный аппарат, армия, финансы и другие могучие средства воздействия на порабощенные трудовые классы. «Не только в деспотических государствах, как Россия, — пишет Толстой, — но во всех конституционных демократических республиках происходит то же самое: деньги насильно отбираются у большинства и употребляются так, как это выгодно правящим классам» (вар. к гл. X).

Сильные критические удары, наносимые Толстым буржуазному «рабству нашего времени», ослабляются надуманными рецептами спасения человечества, которые он предлагал. В качестве универсального средства борьбы с этим рабством Толстой выдвигал «простое» неучастие в делах буржуазных правительств — не служить в армии, не платить подати, не работать на фабриках и заводах и т. д.

Видя ясно заблуждения Толстого и понимая породившие их причины, мы высоко ценим те страницы его произведений, в которых с огромной силой звучит его могучий голос страстного протестанта, великого критика и обличителя несправедливого общественного строя, горячего защитника интересов трудящихся, выразителя их надежд и чаяний. Этот голос мы слышим и в печатаемых впервые вариантах одного из важнейших публицистических произведений писателя.

ВАРИАНТЫ К РАЗНЫМ ГЛАВАМ*

К ГЛАВЕ II

Мне рассказывали, что какой-то гвардейский офицер, кутила, мазал свою пролетку вместо сала французской помадой по 3 р. за банку, потому что он так задолжал везде, что никто ему уже не верил в долг, кроме парикмахера. Разве не то же самое происходит в нашем обществе? Только вследствие запутанности и безумия нашего общества тратится не французская помада, а жизнь человеческая.

Рук. № 7.

К ГЛАВЕ IV

В действительности же, как бы ни казалось поверхностно хорошо положение фабричного рабочего в сравнении с сельским, положение земледельца хозяина всегда останется самым лучшим, свободным, достойным и наиболее соответствующим телесному и духовному развитию человека и потому наиболее желательным для всякого неразвращенного человека.

Как бы ни была облегчена работа, как бы велико ни было вознаграждение, губительное для души и тела, одуряющее и развращающее влияние подневольной с машиной, однообразной работы остается то же, если только рабочие будут работать на тех же заводах и фабриках при теперешнем крайнем разделении труда, как это всегда предполагается, когда говорят об улучшении положения рабочих.

Правда, что экономическая наука нигде прямо не говорит этого, но она всегда подразумевает, что то крайнее разделение труда, которое существует теперь, останется таким. И при таком-то *крайнем* разделении труда, при котором положение рабочих не может не быть бедственным, экономическая наука предполагает улучшить это положение и даже при обобществлении труда, поставленном идеалом, довести его до совершенства.

И потому, казалось бы, вопрос, требующий решения, состоит не в том, как улучшить положение рабочих на существующих заводах, а в том, чтобы найти причины, выгнавшие людей из деревни, из естественной людям жизни среди природы, с свободными занятиями земледелием и промыслами, и пригнавшие в губительные фабричные условия — и, найдя эти причины, устранить их.

Рук. № 32.

К ГЛАВЕ VI

Если бы действительно рабочие овладели всеми орудиями производства, то случилось бы совершенно иное, чем то, чего ожидают социалисты.

Если бы рабочие стали свободны, то первое, что бы они сделали, это то, что они перестали бы работать те предметы, которые не нужны для

---

* В Архиве Толстого хранится 1962 листа рукописей, относящихся к «Рабству нашего времени». После напряженного, кропотливого труда Е. С. Серебровской удалось все черновики трактата расположить в хронологической последовательности их написания. Такое расположение рукописей дало возможность проследить ход работы Толстого и выявить большое количество вариантов. Частично варианты трактата опубликованы: в кн. «Лев Толстой. Неизданные тексты». М., 1933, стр. 356—366 (№№1—13); в журн. «Октябрь», 1940, № 1, стр. 180—184 (№№ 1—13) и в т. 34, с. 491—502 (№№ 1—14).

Здесь публикуется еще пятнадцать вариантов, расположенных по порядку глав, с указанием, из какой рукописи взят каждый вариант.— *Ред.*

большинства, и перестали бы работать в тех условиях теперешнего крайнего разделения труда, губительного для их телесного и душевного здоровья, и сама собой уничтожилась бы большая часть тех заводов и фабрик, которые существуют теперь, и перестали бы производиться те предметы, которыми достаточные классы пользуются теперь и которыми они хотят наградить и рабочих.

Рук. № 7.

К ГЛАВЕ VI

Разделение труда выгодно, но для людей свободных существует очень определенный предел разделения труда. Как только разделение труда не добровольно, как только оно убивает душевные способности людей, так, очевидно, оно может быть выгодно только тем, которые пользуются таким трудом других людей, а не сами работают. Для компании железных дорог, очевидно, выгодно заставлять одних людей в продолжение 37 часов подряд грузить вагоны, и для фабриканта шелковых материй выгодно брать на эти работы девушек из деревни, но для всех людей, очевидно, не выгодно то, чтобы люди, способные на самые разнообразные, полезные для человечества труды, сокращали свою жизнь и превращались в вьючных животных, и здоровые женщины губили своих детей. Так что предположение о том, что при осуществлении социалистического идеала все люди будут продолжать работать при условии теперешнего разделения труда, совершенно фантастично. Так что социалистический идеал о том, что рабочие, овладев орудиями производства, будут пользоваться теми предметами, которыми пользуются теперь богатые люди, есть или нелепая фантазия, или проект самого ужасного рабства всех. Если бы действительно рабочие овладели всеми орудиями производства, то случилось бы совершенно иное, чем то, чего ожидают социалисты. Если бы рабочие стали свободны, то первое, что бы они сделали, это то, что они уничтожили бы большую половину всех тех заводов и фабрик, которые существуют теперь, и стали бы производить совсем другие предметы и совсем иными способами, чем какими они производятся теперь.

Рук. № 45.

К ГЛАВЕ VII

И точно так же, как тогда самые передовые противники крепостного права требовали полного освобождения крестьян, но с не оставлявшей их задней мыслью о том, что положение освобождающих от этого все-таки не изменится (спор об освобождении с землей или без земли — имел только то значение, что оспаривавшие освобождение с землей боялись, что такое освобождение изменит положение господ). Точно так же и самые передовые люди нашего времени — социалисты, требуя полной передачи рабочим орудий труда, при этом все-таки молчаливо предполагают, что будет продолжаться производство тех же предметов и с теперешним же разделением труда, дающим то обилие предметов роскоши, которыми они пользуются.

Рук. № 33.

К ГЛАВЕ VII

Люди достаточных классов так привыкли к той роскоши, тем удовольствиям и тем удобствам жизни, которыми пользуются, что им кажется,

что без этих условий жизнь будет не жизнь и что всякое изменение того, что они называют культурой, будет погибелью всего самого драгоценного для человечества. То, что эта культура, которой они так дорожат, достигнута и держится среди нас только благодаря самому жестокому рабству, которое никак не совместимо с культурой, нисколько не смущает их.

На каждом шагу приходится вспоминать меткое слово Герцена: «Чингиз-Хан с телеграфами!». Приходится вспоминать потому, что слово это живо изображает положение нашего общества. Разве это не Чингиз-Хан с телеграфами — фабрика с электрическими двигателями и светом, ценою жизней человеческих производящая табак, стекло, шелковые материи? А ведь вся фабричная промышленность со всеми производимыми ею чудесами есть не что иное, как это самое.

Теперешнее общество с политической экономией во главе говорит. Fiat cultura — pereat * свобода и жизнь людей. А между тем для науки на основании разума, рассматривающей отношения людей, на первом плане должны быть поставлены жизнь и свобода человеческие, а потом уже культура, разумея под ней производимые ею удобства жизни, и то не для всех, а для малой части людей.

Рук. № 43.

К ГЛАВЕ VII

Очень может быть, что рабство было необходимым и считалось неизбежным условием жизни человечества, было необходимо для того, чтобы были люди, которые бы лезли под землю добывать железо, плавить и ковать его, но в наше время, когда рабство несовместимо с нашими нравственными требованиями, лезть под землю, работать на химическом заводе, быть кочегаром может не оскорбляя нашего нравственного чувства, только тот человек, который свободно пойдет на это. И в наше время с тем увеличением производительности, которое приобрел человек благодаря машинам, нет никакого труда устроить жизнь так, чтобы человек делал необходимые для себя предметы, не губя своих телесных и душевных сил.

Рук. № 32.

К ГЛАВЕ VII

Когда в наше время говорят о рабстве рабочих, то обыкновенно думают, что такое выражение есть только метафора, преувеличение, не имеющее реального значения, что рабов в настоящем значении этого слова уже нет и что хотя рабочие и находятся в зависимости от капиталистов, они все-таки не рабы, а свободные люди. В этом ложном представлении, вытекшем из ложных положений экономической науки, имеющей целью только оправдание существующего устройства, и лежит главная причина недействительности всех тех мер, которые предпринимаются и предлагаются теперь для улучшения положения мнимо свободных рабочих. Вместо того, чтобы отыскивать средства уничтожения рабства, придумываются и предполагаются средства облегчения положения рабов.

Нужно не выдумывать мнимые социологические законы, а признать то, что теперешние рабочие — рабы в самом действительном, прямом значении этого слова; — и не улучшать их положение, оставляя их рабами, а уничтожать то, что держит их в рабстве, освобождать их.

Рук. № 59.

---

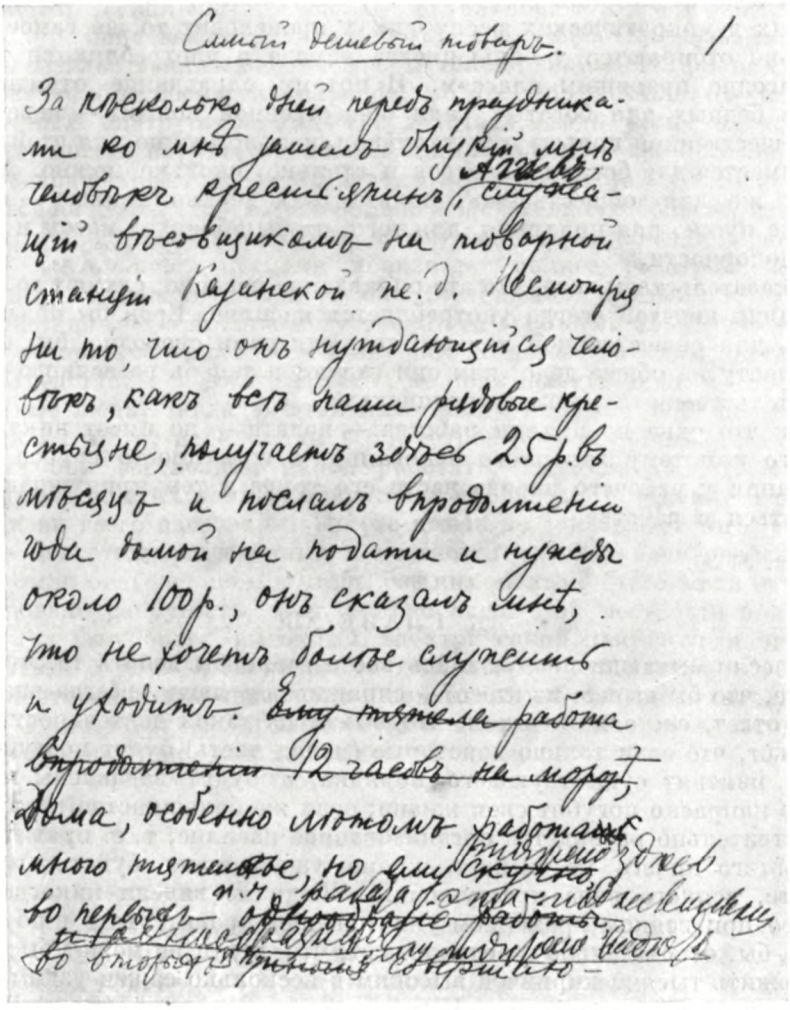
* Да здравствует культура — да погибнет (лат.).

К ГЛАВЕ X

Общая причина, производящая рабство, есть, стало быть, узаконенное насилие.

На чем же основано это насилие и предполагаемая законность его?

В первом случае, в взимании податей, законность насилия основывается на том, что будто бы подати собираются с народа с общего согласия



Самой дешевой товаръ. /

За нѣсколько дней передъ праздниками ко мнѣ явился бѣдный мужикъ чембарскаго уѣзда, служащій въ извозчикахъ на товарной станціи Казанской ж. д. Несмотря на то, что онъ нуждающійся человѣкъ, какъ всѣ наши рядовые крестьяне, получающіе здѣсь 25 р. въ мѣсяцъ и посылающіе въ продолженіе зимы домой на подати и нужды около 100 р., онъ сказалъ мнѣ, что не хочетъ болѣе служить и уходитъ. Его тяжела работа въ продолженіе 12 часовъ на морозѣ, зима, особенно ночью работать много тяжелые, но они скудно платятъ. Во первыхъ отъ работы [illegible]

«САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ТОВАР» — РУКОПИСЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ СТАТЬИ «РАБСТВО НАШЕГО ВРЕМЕНИ», ДЕКАБРЬ 1899 — ЯНВАРЬ 1900 гг.

Копия с правкой Толстого

Архив Толстого, Москва

и для общего блага. Утверждают, что подати нужны для того, чтобы защищать народ от врагов (войска), учреждать порядок (судьи, чиновники), поддерживать религию, науки, искусства, пути сообщения, земледелие, торговлю, образование. Но ведь все это неправда. Подати установлены

не потому, что народ согласен платить их, и не потому, что они должны употребляться на общественные нужды, а подати установились потому, что одни люди захватили власть над другими людьми и наложили на них дань. Со временем же, желая оправдать это незаконное и жестокое отбирание у бедных имущества в пользу богатых, было придумано объяснение, оправдание этого грабежа и были делаемы и делаются некоторые подобия употребления ограбливаемых денег на общественные нужды. Не только в деспотических государствах, как Россия, но во всех конституционных демократических республиках происходит то же самое: деньги насильно отбираются у большинства народа и употребляются так, как это выгодно правящим классам. И потому оправдание отнятия части трудов бедных для богатых ради общественной пользы — неверно. Не для общественной пользы и не столько, сколько нужно для этой пользы, а отнимается для богатых классов и столько, сколько можно. Употребляется же для общественной пользы как можно меньше — столько, сколько нужно для приличия, для того, чтобы обмануть массы и держать их в покорности.

Доказательством того, что это оправдание неверно, служит то, что для взыскания податей всегда употребляется насилие. Если бы подати отбирались для общественной пользы, то люди сами свободно бы отдавали свою лепту на общее дело, как они отдают и теперь во всякого рода неправительственных союзах, подписках.

Так что одна из причин рабства — подати — не имеет никакого разумного и потому законного основания, а есть просто грубое насилие отнимания у рабочего народа части его труда и тем принуждающее его отдаваться в рабство.

Рук. № 30.

К ГЛАВЕ XIII

Но если бы люди послушались вас и стали бы делать то, что вы советуете, что бы вышло из этого?— спрашивают люди, всегда вперед уже давая ответ, состоящий в том, что выйти из такой деятельности ничего не может, что если только некоторые (малая часть) будут поступать так, то не изменят существующего порядка, а будут задавлены и потому только напрасно погубят свои жизни; если же большинство поступит так и действительно распадется организованное насилие, т. е. правительство, то из этого ничего не выйдет, кроме ужаснейших буйств, грабежей, убийств, всякого рода преступлений. Люди не видели никогда ничего другого при всяком временном уничтожении правительств и потому, казалось бы, основательно предполагают, что это и не может быть иначе. Не сложить тысячи кирпичей высоким в несколько сажен узким столбом с неустойчивым равновесием. И действительно, всякий вынутый кирпич разрушит все устройство и погубит кирпичи, но это никак не доказывает того, чтобы разумно с устойчивым равновесием наложенные кирпичи не могли выдержать тяжести или вынимания кирпичей. То же и с государственным устройством. Государственное устройство есть весьма искусственно ненужное и с неустойчивым равновесием устройство, и то, что малейший толчок разрушает его, не только не доказывает того, что оно необходимо, но, напротив, показывает то, что оно не нужно, вредно и опасно.

Не нужно же, вредно и опасно оно потому, что оно употребляет для воздействия, для управления людьми, руководства их, то средство, которое несвойственно употреблять по отношению людей — людей нашего времени — именно насилие. Люди нашего времени, все европейские христианские народы доступны разумному убеждению, и потому естест-

венное свойственное людям средство воздействия на людей есть разумное убеждение; и разумное убеждение так связывает людей между собою, что как скоро связь на разумном убеждении установилась, она всегда выгодна людям, не представляет никакой опасности и так прочна, что ничто уже не может разрушить ее.

Если же связь, производимая насилием, так не прочна, и разрушение ее опасно, то происходит это оттого, что связь эта не есть истинная внутренняя химическая связь, а внешнее сцепление, которое держится только до тех пор, пока внешняя сила действует. В сущности, связь, производимая правительственным насилием, есть только видимость, фикция — связи нет. Все то благоденствие народов, которое представляется нам в так называемых благоустроенных государствах, ведь есть только обман: все, что может нарушить внешнее благообразие,— все голодные, больные, развращенные, все распределены по своим местам и только не показываются на глаза, а они есть, и большей частью их тем больше, чем больше они скрыты. Всякое нарушение, а тем более прекращение правительственной деятельности насилия произведет полное расстройство жизни, остановку ее, говорят люди, и они совершенно правы.

Представим себе прекрасно устроенный огромный электрический генератор, который передает всем живущим по домам рабочим двигательную силу. Представим себе, что грубые, не понимающие дела и, кроме того, корыстные люди, завладев этой машиной и не умея обращаться с ней и не желая этого, переломали все и устроили свои конные двигатели, на которых они заставляют народ работать. Несомненно, что остановка и расстройство этих конных двигателей произведет остановку и расстройство жизни всего населения. Но это никак не доказывает того, чтобы эти конные двигатели, заведенные в местности, где был электрический генератор, были благодеянием и чтобы без них нельзя было жить и чтобы их не следовало разрушить, как только люди этой местности поняли, какой у них был более выгодный электрический двигатель и они умели обращаться с ним. Электрический генератор — это разумное убеждение людей, которое всегда связывало и связывает и будет связывать их между собою; конные грубые приводы — это насилие, которое хочет производить то же действие, как разумное убеждение.

Рук. № 70.

К ГЛАВЕ XIII

Как только солдаты и деньги в руках правительства, так оно тотчас, заставив солдат присягать на евангелии о том, что они будут во всем беспрекословно повиноваться поставленным им начальникам, подвергает их искусным, веками выработанным, приемам одурения, вытравления из них всего человеческого и озверения, потом вооружает их, подкупает для них начальников и, имея в своих руках это ужасное, безвольное орудие насилия и убийства, готовится на совершение всякого рода нужных для удержания своей власти преступлений и не переставая совершает их.

Рук. № 129.

К ГЛАВЕ XIV

Богатые, властвующие люди кажутся толпе счастливцами. Им кажется, что, живя в дворцах с лифтом, электрическим освещением, звонками, велосипедами, утонченными яствами и питиями, театрами, концертами, люди эти блаженствуют, но их положение рабовладельцев развратило

их, изнежило, лишило всех свойств, дающих счастье, сделало их одинокими, постоянно неспокойными и озлобленными против рабов, над которыми они властвуют и которых не переставая боятся. Обман, посредством которого правительства держат в рабстве людей, ни для кого не выгоден и держится только глупостью и дурными страстями людей: одни люди не видят этого обмана, другие, и видя его, ошибочно думают, что участие в нем выгодно для них; третьи поддерживают его потому, что, начав участвовать в нем, как зарвавшиеся игроки, не знают, как остановиться.

Так что насилие правительства держится обманом. И истинное средство уничтожения насилия не есть другое насилие, а обличение обмана: приведение людей к сознанию того, что они обмануты.

Поняв то, что правительство обманывает их, люди должны перестать пользоваться правительственным насилием, перестать участвовать в нем и поддерживать его. Правительства же все держатся только на том, что люди, надеясь воспользоваться выгодами правительственного насилия, участвуют в нем и поддерживают его.

Рук. № 85.

К ГЛАВЕ XIV

Для того, чтобы люди перестали поддерживать обман, надобно, чтобы они поняли, что он всегда невыгоден для них.

Как для того, чтобы избавиться от бедствия, производимого рулеткой или кабаками, разрушающих и губящих людей, есть только одно действительное средство — ясное сознание того, что рулетка и кабак губительны для блага людей, точно так же и для того, чтобы уничтожить насилие правительства, нужно ясное сознание, что этот правительственный обман всегда губителен для людей и не может принести им пользы. Нужно, чтобы люди ясно поняли, во-первых, то, что среди христианского мира нет никакой нужды в защите народов друг от друга, что все вражды народов между собою вызываются только правительствами и что поэтому войска, которые собирают правительства, нужны только для них, для народов же не только не нужны, но в высшей степени вредны, служа орудием порабощения людей. Во-вторых, нужно, чтобы люди поняли то, что ограждение земельной собственности и приобретенных предметов выгодно только для правительств, богачей, капиталистов, для народа же вообще, у которого отнята земля и нужные ему предметы именно посредством этого ограждения, оно всегда не только убыточно, но служит главным средством его порабощения.

В-третьих, нужно, чтобы люди поняли, что всякое их признание законности правительства и всякое участие в нем, в виде ли членов парламента, присяжных чиновников на жалованье у правительства, есть губительное закрепление себя во власть правительственного обмана насилия.

Для того, чтобы люди могли освободиться от правительств, им надо понять, что правительства суть не высшие священные учреждения, как это усиленно внушается им агентами правительств, а разбойнические и мошеннические шайки, подавляющие и эксплуатирующие массы и не брезгающие никакими средствами от пользования предательством, шпионством, до убийства и мученичества невинных людей, только чтобы удержать свою преступную власть над людьми.

Людям же, стоящим внизу лестницы,— рабам, надо понять, что признание их правительства и участие в нем всегда для них невыгодно, и, кроме того, унизительно и безнравственно, что, признавая правительство и поддерживая его, они будут участниками его преступлений, совершаемых против них же, и всегда будут рабами, и что поэтому, если они не

хотят быть в накладе и быть рабами, им надо не признавать правительства, не пользоваться им, не участвовать в нем.

И потому для уничтожения правительств нужно ясное сознание их бесполезности и преступности и вследствие этого сознания — воздержание от участия в нем. Чтобы уничтожить разоряющий своим соблазном жителей местечка трактир или игорный дом, есть только одно средство: перестать всем пользоваться этими заведениями и тем уничтожить их.

Так же должны быть уничтожены правительства.

Рук. № 90.

К ГЛАВЕ XIV

Люди освободятся от правительственного насилия только тогда, когда они ясно поймут, что такое правительство, и в чем состоит то средство, коим оно властвует над людьми.

Средство это состоит в самом коварном обмане и в самом утаении преступления. Обман же состоит в том, что войска, которые учреждаются и воспитываются для мнимой обороны государства, нужны только для малого числа властвующих; для народов же не только не нужны, но в высшей степени вредны, служа орудием порабощения людей; ужасное же преступление состоит в том, что для своих корыстных и жестоких целей правительства под видом дисциплины умышленно и сознательно развращают людей, приучая их к отречению от своей совести и разума и преступлению и приготовлению к преступлению.

Рук. № 99.

К ГЛАВЕ XIV

Обман, посредством которого это совершается, состоит в том, что малое число властвующих людей, получившие власть от предшественников, установленную завоевателями, говорит большинству: вас много, вы глупы и необразованны и не можете ни управлять сами собой, ни устраивать свои общественные дела, и потому мы берем на себя эти заботы: мы будем защищать вас от внешних врагов, будем устраивать и поддерживать среди вас внутренний порядок, будем делать между вами суд, будем заводить и блюсти для вас общественные учреждения: училища, пути сообщения, почты, и вообще заботиться о вашем благе, а вы только исполняйте те небольшие требования, которые мы предъявим вам и, между прочим, и то, чтобы отдавать в полное наше распоряжение небольшую часть ваших доходов и самим поступать в войска, которые нужны для вашей безопасности и вашего управления. И люди большинства не потому, чтобы они взвесили выгоды или невыгоды этих условий (они никогда не имеют возможности это сделать), а потому, что они с самого рождения уж застают себя в этих условиях, соглашаются на это. Если и возникают в людях сомнения о том, нужно ли это, то каждый думает только о себе, боится пострадать за отказ от исполнения этих условий, каждый надеется воспользоваться для своей выгоды этими условиями, и все соглашаются, рассчитывая на то, что отдача правительству небольшой части своего достатка и согласие на военную службу не может особенно повредить его жизни. А между тем согласие на требование правительства лишает его всего, что только драгоценно для человека. Как только деньги и солдаты во власти правительств, так они вместо исполнения взятого на себя обязательства защищать своих подданных от внешних врагов и устраивать их благо получше, делают все возможное для озлобления соседних народов и возбуждения войн и не только не содействуют внутреннему благоденствию своих народов, но разоряют и развращают их, внушая им при этом посредством ложнорелигиозного и патриотического воспитания не только

слепую покорность своей воле, но и восхваления всех своих действий и обожание себе, т. е. членам, составляющим правительства.

В «Тысяче и одной ночи» есть рассказ о том, как, попавши на необитаемый остров, путешественник находит на берегу ручья сидящего на земле с высохшими ногами старичка. Старичок просит путешественника перенести его через ручей, взяв на плечи. Путешественник соглашается, но как только старичок уселся на плечи путешественнику, так тотчас же обвивает ногами его шею и уже не выпускает. Овладев путешественником, старичок понукает им, как хочет, срывает с деревьев плоды, сам ест их, не давая ничего несущему, и еще всячески надругивается над ним.

Это самое совершается с народами, давшими правительствам солдат и деньги. На деньги правительства покупают оружие и нанимают или приготавливают воспитанием бессовестных озверелых военных начальников. Начальники же посредством веками выработанных искусных приемов одурения, называемых дисциплиною, приготавливают из забранных в солдаты людей дисциплинированное войско. Когда же во власти правительств это безвольное орудие насилия и убийства, то весь народ в их власти, и они уже не выпускают его и не только разоряют, но еще и надругиваются над ним, внушая посредством ложнорелигиозного и патриотического воспитания преданность и даже обожание себе, т. е. тем самым людям, которые держат весь народ в рабстве и мучают его.

Недаром все короли, императоры, президенты так дорожат дисциплиною, так страшатся ее нарушения и считают самым важным делом смотры, маневры, парады, церемониальные марши и тому подобные глупости. Они знают, что все это поддерживает дисциплину; на дисциплине же основаны не только их власть, но и их существование.

Старичок знает, что если только он слезет с плеч путешественника, то он погибнет, и потому единственное средство его существования состоит в том, чтобы душить того, на ком он сидит.

Дисциплинированное войско не нужно даже для оборонительной войны, как это много раз проявлялось в истории, и как это на днях показала война в Африке; дисциплинированное войско нужно только для завоеваний, т. е. грабительства или для брато- и отцеубийств, как это выразил самый глупый или дерзкий из коронованных людей Вильгельм II, сказав своим солдатам речь о том, что они присягали ему и потому должны быть готовы убивать своих братьев и отцов, если это ему понадобится.

Рук. № 142.

ИЗ РУКОПИСЕЙ СТАТЬИ «О ШЕКСПИРЕ И О ДРАМЕ»

(1903—1904)

Публикация Е. С. Серебровской

Толстой начал работать над статьей «О Шекспире и о драме» 13 сентября 1903 г. и закончил ее в середине января 1904 г., что подтверждается записями в его дневнике и датами на обложках черновых рукописей.

Поводом к написанию статьи послужила присланная Толстому английским писателем Э. Кросби статья «Отношение Шекспира к рабочему классу».

Первоначально Толстой предполагал написать только краткое предисловие к статье Кросби, но в процессе работы предисловие, по выражению Толстого, «переросло статью Кросби» и превратилось в большую статью о творчестве Шекспира.

14 ноября 1903 г. Толстой записывает в дневнике: «Все время был занят Шекспиром, который все разрастался, кажется, пришел к концу» (т. 54, с. 193). 24 ноября: «Все копаюсь с предисловиями и к Шекспиру и к Гаррисону» (т. 54, с. 196). В записи от 7 декабря читаем: «Последние два дня нездоров — печень. Ничего не делал, кроме пересматривания Шекспира» (т. 54, с. 200).

О своей статье о Шекспире Толстой пишет Черткову 6 октября 1903 г.: «Занят теперь очень неожиданной работой, которая вот уже скоро месяц отвлекла меня от моих более нужных работ. Это начатое мною предисловие к статье Crosby об отношении Шекспира к рабочему народу, которое переросло статью Crosby и стоило мне большого труда. Надеюсь, что я кончу ее дня через два. Мне хотелось высказать мое много раз и очень добросовестно проверенное впечатление о Шекспире, совершенно противоположное установившемуся» (т. 88, с. 309).

В статье «О Шекспире и о драме» сказались взгляды Толстого, выраженные им в трактате «Что такое искусство?». Толстой подходил к Шекспиру антиисторически и субъективно. Он видел в нем писателя, в творчестве которого будто бы проявлялось «выделение исключительного искусства высших классов от народного искусства». Критическое острие статьи Толстого направлено против тех, кто содействует «гипнозу» массового преклонения перед неоспоримостью и всемогуществом Шекспира. Определяя замысел статьи, уже в конце работы над нею, Толстой писал 9 октября 1903 г. В. В. Стасову: «Дело не в аристократизме Шекспира, а в извращении, посредством восхваления нехудожественных произведений, эстетического вкуса» (т. 73-74, с. 202).

Вместе с тем Толстой глубоко положительно относился к некоторым сторонам художественного мастерства Шекспира. Наиболее высоко ценил Толстой умение Шекспира выражать движение чувств. В этом Шекспир, по мнению Толстого, «был великий мастер» (рук. 26). Шекспир, — пишет Толстой, — «умел в своих драмах особенно хорошо вести сцены, в которых выражались движения чувств» (рук. 50). Сцена Лира с дочерьми, «когда он колеблется между гневом, гордостью, сознанием своей слабости, надеждой на Регану и готовящимся отчаянием, есть образец этого мастерства» (рук. 32).

Как достоинство Шекспира Толстой отмечает его умение восклицаниями, жестами, повторением слов выражать душевное состояние, благодаря чему драмы Шекспира на сцене «имели преимущество перед драмами не только своих сверстников, но и теперь имеют преимущество перед современными драмами» (рук. 51). Толстой отмечает «очень

ярко очерченные характеры» (Лира, леди Макбет, Отелло, Яго и особенно Фальстафа), хотя в то же время признает, что характеры этих лиц в новеллах и старинных драмах даны сильнее и ярче, чем у Шекспира.

Большим достоинством пьес Шекспира Толстой признает «драматическое положение лиц», которое «является в самой сильной степени в драме Лира» (рук. 12). Но приводит Шекспир свои лица к этому положению, как указывает Толстой, «произвольно».

Отмечает Толстой и «умные речи», которые Шекспир вкладывает в уста своих героев (монолог Лира о наказании, Гамлета о жизни и смерти, речь Антония над трупом Кесаря и др.). «Хороши иногда целые речи, иногда только изречения»; «хороши меткость и смелость речей и изречений...» (рук. 15).

Один из крупных недостатков творчества Шекспира Толстой усматривал в будто бы ложном риторическом языке его драм. На протяжении всей своей работы Толстой многократно касался этого вопроса. Основные недостатки языка драм Шекспира, по мнению Толстого, это — «напыщенность», «отсутствие языка, то есть того, чтобы каждое лицо говорило свойственным ему языком» (рук. 10).

Все лица говорят «большей частью холодным языком Шекспира», и, главное, «говорят слишком много». Этим обилием слов уничтожается то, «что было бы хорошо сказано, если бы было сказано только одно» (рук. 15).

Таковы основные положительные и отрицательные — в представлении Толстого — стороны творчества Шекспира, которые затрагивает Толстой в статье «О Шекспире и о драме».

В архиве Толстого сохранилось 1177 листов рукописей, относящихся к статье. Краткое описание рукописей, сделанное редактором 35 тома Юбилейного издания, дает очень слабое представление о сложнейшей творческой работе Толстого над созданием статьи.

В результате продолжительных разысканий удалось распределить черновики статьи в 96 последовательных рукописях. Хронологическое расположение рукописей дало возможность определить четыре последовательных редакции статьи, а также выявить ряд неопубликованных вариантов, содержащих высказывания Толстого не только о творчестве Шекспира, но и по общим вопросам теории драмы.

Первым этапом работы Толстого следует считать его работу над кратким предисловием к статье Кросби о Шекспире и рабочем классе. От этого периода сохранилось семь последовательных рукописей. Первый набросок — автограф, озаглавленный «Предисловие», по содержанию распадается на две части. В первой части Толстой выражает намерение в связи со статьей Кросби высказать свое мнение о творчестве Шекспира; во второй части излагает содержание I действия «считающейся шедевром» драмы Шекспира «Король Лир». Текст первого автографа был последовательно шесть раз скопирован, и каждая из копий носит на себе следы значительных исправлений Толстого. В процессе работы Толстой делит текст предисловия на главы I—II. Текст главы I со значительными позднейшими изменениями и дополнениями вошел в окончательную редакцию как глава I; текст главы II с незначительными изменениями вошел как начало той же главы II. Этим заканчивается первый этап работы Толстого над статьей.

Второй этап работы охватывает рукописи №№ 8—15, текст которых непосредственно примыкает к тексту, созданному на первом этапе. В этот период Толстой пишет продолжение главы II с изложением содержания действий II—V драмы «Король Лир», затем дает характеристики, по его мнению, положительных и отрицательных сторон драмы, которые в рукописи № 15 составили содержание главы III.

Этими тремя главами, созданными на первом и втором этапах работы, Толстой, видимо, хотел первоначально ограничить размер своей статьи. Рукопись № 15 имеет законченный характер и датирована «25 сентября». Текст, созданный в эти два этапа и законченный 25 сентября 1903 г., можно считать *первой редакцией* статьи «О Шекспире и о драме».

Из первой редакции мы ниже публикуем три варианта (№№ 1—3).

Третий этап работы над статьей включает рукописи №№ 16—42 и охватывает период с 25 сентября по 19 октября 1903 г. Работа началась с новой переработки главы III;

ТОЛСТОЙ НА ПРОГУЛКЕ ВЕРХОМ В ОКРЕСТНОСТЯХ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ
Фотография, 1908 г.
Музей Толстого, Москва

затем последовательно создавались главы IV—VI, в которые были введены темы «Отелло» и «Гамлет». В этот период Толстой особенно много останавливается на критике миросозерцания Шекспира; впервые затрагивает вопрос о Шекспире как признанном «учителе жизни» и высказывает свое мнение о причине такого отношения; резко критикует язык драм Шекспира. Созданные на этом этапе главы III—VI, объединенные с главами I—II первой редакции, составили *вторую редакцию* статьи, близкую к окончательной редакции. Но эта редакция не удовлетворила Толстого. В результате напряженной работы создалась *третья редакция* статьи.

Из второй редакции мы публикуем семь вариантов (№№ 4—10).

Работа над третьей редакцией охватывает рукописи №№ 43—66 и относится к октябрю — началу ноября 1903 г. За этот период были созданы главы VII, частично глава VIII, кроме того, происходила переработка глав I—VI, в особенности четырех последних. В этой редакции, как и в предыдущей, отведено большое место критике миросозерцания Шекспира, указана причина, по мнению Толстого, ложной славы Шекспира, высказано отрицательное отношение Толстого к исследователям творчества Шекспира, написавшим «десятки тысяч томов». Вновь затронут вопрос о мерилах достоинства драматических произведений и т. д.

Из третьей редакции мы публикуем пять вариантов (№№ 11—15).

Четвертая и последняя редакция статьи включает рукописи №№ 67—96. Работа Толстого над четвертой редакцией продолжалась с ноября 1903 г. до конца января 1904 г. Главное внимание автора в этот период работы было направлено на создание глав VII—VIII и особенно на окончание статьи, и одновременно продолжалась детальная отделка предыдущих глав. В этой редакции снова затрагивается вопрос о причине восхваления творчества Шекспира, о низком уровне современного буржуазного искусства; сделано дополнение к главе II (пересказ II действия «Короля Лира»). Можно предположить, что Толстой, усиленно работая над главами III—VIII, временно оставил главы I—II. Теперь же, в четвертой редакции, заканчивая статью, он снова перечитал первые главы и внес в них ряд дополнений и изменений.

Из четвертой редакции мы публикуем четыре варианта (№№ 16—19).

ВАРИАНТЫ ИЗ ПЕРВОЙ РЕДАКЦИИ

⟨1⟩

Главная завязка драмы («Король Лир») основана на невозможном поступке Лира, верящего в правдивость речей старших дочерей и непонимающего правдивости меньшой. Он жил с ними и не мог не знать их. Если же он поступил так потому, что он сумасшедший, то вся дальнейшая судьба его неинтересна.

Так же неестественна второстепенная и точно такая же завязка: отношения Глостера с своими сыновьями. Он точно так же, как и Лир, сразу верит самому грубому обману и даже не пытается спросить обманутого. Это подобие обеих завязок делает их еще более неестественными. Невозможно верить, чтобы так могли поступать живые люди, и потому не могут быть интересны последствия невозможных поступков. Если и не совсем неестественна преданность Кента своему шальному королю, то его переодевание и служение королю, не узнающему его под видом какого-то нового прислужника уже совершенно невозможно по своей неестественности и потому исключает всякую возможность сочувствовать его отношениям к королю. То же и в странном переодевании Эдгара, которого точно так же никто не узнает. Неестественны и все другие отношения лиц: и Реганы и Гонерилы к Эдмунду, и его к ним, и верх неестественности — доходящее до смешного отношение Эдгара, водящего слепого отца и уверяющего его, что он спрыгнул с утеса.

Не говоря уже об убийствах и смертях, оканчивающих драму.

Рук. № 15 (ср. т. 35, с. 220—222).

⟨2⟩

Главное лицо Лир — есть кукла, которую автор заставляет говорить и делать все, что он считает нужным как для развития своей фабулы, так и для того, чтобы забавлять публику без всякого соображения о том, что лицо это должно, как всякое лицо, иметь какой-либо определенный характер и действовать сообразно ему.

Рук. № 3.

⟨3⟩

Достоинство драм Шекспира — это очень ярко очерченные характеры, но не только не всех, а только некоторых удавшихся ему лиц: таковы — взбалмошного Лира [1*], Отелло, Яго, Шейлока, Ричарда III и особенно Фальстафа. Лица эти особенно выступают из огромного количества бесцветных лиц Шекспира, представляющих только ярлыки злодеев, невинно страждущих или мнимо поэтических женских всех одинаковых фигур Корделии, Юлии, Дездемоны и др.

Рук. № 15 (ср. т. 35, с. 238—240).

[1*] *Далее вачеркнуто:* злодейки леди Магбет

ВАРИАНТЫ ИЗ ВТОРОЙ РЕДАКЦИИ

‹4›

Главные достоинства [2*] всякой драмы заключаются, по моему мнению: во-первых, в трагичности положений, т. е. в том, что действующие лица, вследствие известных внешних событий и своих поступков, вытекающих из их характеров, поставлены в такие отношения друг к другу, в которых должны проявиться их самые сильные, трогательные чувства, и во-вторых, в яркости изображения характеров [3*], действующих под влиянием тех условий, в которые они поставлены.

Рук. № 18.

‹5›

Трагичность положений действующих лиц драм Шекспира есть только трагичность внешняя, не действующая на читателя или зрителя; во-первых, потому, что описываемые события неестественны [4*]; во-вторых, потому, что условия, в которых действуют лица, не соответствуют времени и месту, в которых предполагается, что происходит действие; в-третьих, потому, что события сопровождаются фальшивыми поэтическими прикрасами; в-четвертых, что жестокости, совершаемые лицами, преувеличены, и читатель и зритель поэтому не может перенестись в положение действующих лиц. В-пятых, потому, что лица действуют не по свойственным им побуждениям, а по произволу автора, умышленно ставившего их в сложные, запутанные положения, долженствующие быть страшными или трогательными.

Рук. № 18.

‹6›

Говорят о мастерстве Шекспира в изображении характеров. Но как же могут быть в драме изображены характеры, когда лица драмы говорят то, что не свойственно их положению, и говорят каждое не своим языком, а все одним и тем же шекспировским, неестественным, вычурным и однообразным языком.

Рук. № 32 (ср. т. 35, с. 239).

‹7›

Какое же может быть изображение характеров, когда у действующих лиц нет языка. Может быть программа характеров или описание характеров одних лиц в устах других, но не может быть характеров без свойственного каждому лицу языка. А этого совершенно нет у Шекспира. И вот тут особенно поразителен тот гипноз восхваления Шекспира, который заставляет критиков восхвалять Шекспира именно за то, что составляет его недостатки.

Рук. № 32.

[2*] *Далее зачеркнуто:* приписываемые этой и всем другим драмам Шекспира состоят-

[3*] *Далее зачеркнуто:* в-третьих, в меткости, смелости и значительности речей и изречений, произносимых действующими лицами

[4*] *Первоначально:* невозможны

⟨8⟩

Движения чувства действующих лиц во многих сценах шекспировских драм выражены и сильно и верно и могли бы производить сильное действие, если бы иллюзия не была постоянно нарушена неестественностью, неопределенностью положения, беспрестанным смешением анахронизмов, главное, неестественным, напыщенным, искусственным, однообразным языком.

Рук. № 32.

⟨9⟩

Художественное произведение — не ученое сочинение, не проповедь, не собрание афоризмов. Художественное произведение должно производить духовное, особенное наслаждение. А разве может доставить это наслаждение произведение, в котором на каждом шагу нарушается иллюзия, составляющая главную часть этого наслаждения. Разве возможно получить наслаждение от музыкального произведения, в котором через каждые две ноты одна фальшивая. А там, где это наслаждение нарушается, нет художественного произведения. И таковы все произведения Шекспира.

Рук. № 41.

⟨10⟩

Умиляетесь ли вы при чтении или созерцании, изменяется ли ваше настроение, хочется ли вам смеяться, плакать, торжествовать при восприятии художественного произведения, то значит, что оно хорошо; не получаете вы этого впечатления от художественного произведения,— оно дурно, как бы его ни расхваливали. Отнеситесь так к Шекспиру и вы освободитесь не только от очень вредного извращения одного из важных чувств — эстетического, но и от неверной нравственной оценки жизни, которая невольно соединяется с непомерным восхвалением, если не безнравственного, то уже совершенно не нравственного сочинения.

Лев Толстой

19 окт⟨ября⟩ 1903

Рук. № 41.

ВАРИАНТЫ ИЗ ТРЕТЬЕЙ РЕДАКЦИИ

⟨11⟩

Миросозерцание Шекспира, которое должно поучать человечество и служить ему руководством, есть то самое мировоззрение, которое устанавливается и поддерживается «Московскими ведомостями» в России и всеми грубо консервативными ретроградными газетами, миросозерцание генералов и придворных.

Рук. № 46.

⟨12⟩

Аристотель полагает, что сущность драмы заключается в действии и характерах[5*], то же признают и новые эстетики (Карвер, Гервинус), с тою только разницею, что Аристотель признает самым важным элемен-

[5*] *Далее зачеркнуто:* И это определение

том драмы — действие, а характер — второстепенным, новые же эстетики признают оба элемента одинаково важными [6*].

Рук. № 49.

⟨13⟩

Репертуар этот ⟨из пьес Шекспира.— *Е. С.*⟩ в наше время может служить материалом для истории драматического искусства, но никак не представляет, как это принято думать, образец драматического искусства.

Рук. № 50.

⟨14⟩

Достоинства же драмы состоят в том, чтобы события, вследствие которых действующие лица становятся в противоречие с миром, и поступки их были бы так свойственны их характерам, чтобы читатель или зритель переносился бы в положение действующего лица и переживал бы испытываемые им чувства.

Рук. № 53.

⟨15⟩

И этими приемами ⟨восклицаниями, жестами, повторением слов.—*Е.С.*⟩ драмы Шекспира на сцене имели преимущество перед драмами не только своих сверстников, но и теперь имеют преимущество перед современными драмами, в которых вместо настоящих драматических эффектов, выражения чувства, все внимание направляется на обстановку.

Рук. № 52.

ВАРИАНТЫ ИЗ ЧЕТВЕРТОЙ РЕДАКЦИИ

⟨16⟩

Всякое художественное воспринимаемое впечатление есть не что иное, как заражение тем чувством, которое испытывает художник, и происходящее от этого чувства единение с самим художником и со всеми людьми, испытывающими то же чувство.

Рук. № 69.

⟨17⟩

Слушая восхваление того места в «Короле Лире», где Лир среди самого сильного проявления страсти просит расстегнуть ему пуговицу, я, веря на слово тем уважаемым мною людям, которые восхищались этим, забывал все то нелепое, что при этом говорил Лир, находил, что это прекрасно, испытывал при этом чувство, подобное художественному. Помню также, как, читая в «Вильгельме Мейстере» речь Гёте о Гамлете, я испытывал нечто подобное художественному чувству при представлении личности Гамлета.

Но обаяние это продолжалось недолго; читая самого Шекспира, я очень скоро понял мое заблуждение, но опыт этот ясно показал мне, как

[6*] *Далее зачеркнуто:* Я думаю, что это определение неполно и что достоинство драмы заключается, кроме действия и характера, преимущественно в нравственности.

должны подчиняться этому гипнозу люди или менее меня чуткие к искусству, или хотя и может быть более меня чуткие к искусству, но которые с молодых лет подверглись и долгое время подвергались этому гипнозу.

Рук. № 71.

⟨18⟩

Если мы говорим, что на нас производит художественное впечатление прощание Гектора с Андромахой, свидание Корделии с Лиром в старой драме, или смерть Дон Кихота, или рассуждения Санхо-Панчо, или похождение Пиквика, то и те, которые утверждают, что шекспировские сцены прыжка Глостера или разговора Гамлета с тенью отца производят на них художественное впечатление, согласны с нами.

Мы же не можем согласиться с ними. Не можем согласиться тем более потому, что они определяют свое чувство очень сложными рассуждениями и подряд считают в том авторе, от которого они утверждают, что получили художественное впечатление, все хорошим.

Рук. № 76.

⟨19⟩

Искусство имеет свойство производить на людей особенное специфическое впечатление, которое люди, чуткие к искусству, получая его в очень сильной степени всегда, когда получают его и в слабой степени, умеют отличить от всякого другого впечатления и никак не могут смешать его ни с каким другим ⟨...⟩ [7*].

Так, например, человек, обладающий неизвращенным художественным чувством, прочтя в первый раз сцену примирения Лира с Корделией в старой драме, почувствует особенного рода волнение, сжимание в горле, готовность плакать и беспричинную умиленную радость. Такое же чувство человек этот испытает при чтении сцены возвращения рыбака в «Les pauvres gens» Hugo[8*], и такое же, хотя иное по характеру впечатление получит такой человек от чтения сцен Мольера, Диккенса, Сервантеса, ему захочется не плакать, а смеяться, но беспричинная радость будет та же самая.

И человек несомненно знает, что он получил художественное впечатление от такого или такого произведения и больше ничего сказать не может, как то, что это произведение вызвало во мне[9*] особенное впечатление, которое называется художественным.

Рук. № 86.

[7*] *Далее следует известный текст — см. т. 35, с. 574.*

[8*] *Толстой имеет в виду стихотворение «Легенды веков» Гюго.— Ред.*

[9*] *Так в подлиннике. По смыслу следует:* в нем

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ И ПИСЬМА

ТРИ БИОГРАФИЧЕСКИХ ОЧЕРКА ТОЛСТОГО

ОЧЕРКИ, СОСТАВЛЕННЫЕ СОФЬЕЙ АНДРЕЕВНОЙ СО СЛОВ ТОЛСТОГО И ИМ ВЫПРАВЛЕННЫЕ

Публикация Е. С. Серебровской

Первые упоминания о работе С. А. Толстой над биографией Толстого относятся к 1876 г. 17 сентября 1876 г. С. А. Толстая записывает в дневнике: «Велела принести из ружейного шкапа все Левочкины бумаги, и вся ушла в мир литературных его произведений и дневников. Я с волнением переживала целый ряд впечатлений. Но я не могу писать задуманной мной его биографии, потому что не могу быть беспристрастна... Но попытаюсь»[1]. Работа была начата 24 октября 1876 г. и продолжалась недолго.

27 февраля 1877 г. С. А. Толстая записывает: «Сегодня, перечитывая дневники старые Левочки, я убедилась, что не могу писать „материалов к биографии", как хотела. Жизнь его внутренняя так сложна, чтение дневников его так волнует меня, что я путаюсь и в мыслях, и в чувствах и не могу на все смотреть разумно. Жаль оставлять мечту свою»[2].

От этого периода работы в архиве С. А. Толстой сохранилось начало биографического очерка, озаглавленное: «Материалы к биографии Л. Н. Толстого и сведения о семействе Толстых и преимущественно гр. Льва Николаевича Толстого». Перед заглавием помета: «(Для потомства)» и дата «24 октября 1876 года». Исправлений Толстого в нем нет.

Текст очерка вместе с другими материалами вписан С. А. Толстой в общую тетрадь с надписью: «Мои записи разные для справок» (он занимает лл. 10 об. — 23 и 75). Текст очерка публикуется полностью.

К работе над биографией Толстого Софья Андреевна вернулась в 1878 г. в связи с намерением М. М. Стасюлевича поместить краткую биографию Толстого в IX выпуске «Русской библиотеки», составленном из отрывков его произведений.

По этому поводу С. А. Толстая записывает 16 октября 1878 г.: «Я взялась составить краткую биографию Левочки для нового издания „Русской библиотеки", кратко составленного из произведений его по выбору Страхова. Издает это Стасюлевич. Оказалось, писать биографию дело нелегкое. Я написала немного, но плохо»[3].

Интенсивная работа началась после письма Стасюлевича к Толстому от 24 августа (5 сентября) 1878 г. Стасюлевич писал: «Буду также просить вас доставить мне по крайней мере материал для биографического очерка, если бы вы не пожелали написать сами краткую автобиографию»[4]. С той же просьбой обратился к Толстому и Н. Н. Страхов. 11 октября 1878 г. он писал, что Стасюлевич «просит биографических сведений, и я обещал ему просить вас об них. Сведения, конечно, должны составить род послужного списка, и, я думаю, графиня отлично может его сделать»[5].

В конце октября С. А. Толстая с помощью Толстого снова начала работать над биографическим очерком. В ее дневнике 1878 г. имеется ряд записей, отражающих характер этой работы.

25 октября: «Вечером вдвоем делали обзор всей Левочкиной жизни для биографического очерка. Он говорил, а я записывала. Дело это шло весело, дружно, и я так рада, что мы это сделали».

27 октября: «... писала Левочкин биографический очерк».

29 октября: «... кончила сегодня биографический очерк жизни его; писала весь день».

16 ноября: «Все пристаю к Левочке поправить написанный мною его биографический очерк и не допрошусь» [6].

В связи с окончанием очерка Толстой в письме от 10 ноября спрашивал Н. Н. Страхова, что если нельзя в издании Стасюлевича обойтись без биографии, «то какой minimum ее возможен» (т. 62, с. 452). А 22—23 ноября Толстой сообщал Страхову, что биография, для которой С. А. Толстая спрашивала его и «справлялась по письмам и дневникам, вышла превосходная для меня и для меня только. Мне интересно восстановить в памяти свою жизнь. И если бог даст жизни, и я когда-нибудь вздумаю писать свою историю, то это будет для меня канва чудесная; но для публики это немыслимо. Мы выберем на днях по вашим вопросам факты и пришлем вам» (т. 62, с. 454).

На другой день, 24 ноября, С. А. Толстая отметила в дневнике: «Я написала в этот день новый биографический очерк, но длинно, и опять потому не годится» [7].

27—28 ноября законченный биографический очерк с сопроводительным письмом Толстого был отправлен Страхову. Толстой писал: «Вот что мы составили с женой, дорогой Николай Николаевич, и что посылаем на ваше благоусмотрение. Если годится, отдайте, но ничего не прибавляйте, а если нужно, выкиньте, что лишнее» (т. 62, с. 457).

Посланная «Краткая биография Л. Н. Толстого» (четвертая редакция) была напечатана в «Русской библиотеке», вып. IX. СПб., 1879, стр. III—VII.

От этого периода (1878 г.) работы С. А. Толстой над биографией Толстого, кроме черновой рукописи очерка, отправленного Страхову («Еще один самый краткий биографический очерк, написанный мной под диктовку мужа 28 ноября 1878 года»), сохранились в ее архиве еще три редакции «Краткого биографического очерка жизни гр. Л. Н. Толстого». Все рукописи написаны рукой С. А. Толстой и исправлены Толстым. Первая, третья и четвертая редакции написаны на отдельных листах (первая редакция — 9 лл. 4°; третья — 10 лл. 4° и четвертая — 4 лл. 4°). Вторая редакция вписана в тетрадь, озаглавленную «Мои записи разные для справок» (она занимает лл. 58 об. — 64).

В настоящую публикацию входят черновые редакции краткой биографии Толстого, составленной С. А. Толстой.

Публикуемые очерки имеют большую ценность для исследователей как биографический материал, записанный со слов писателя и лично им дополненный. Эти очерки являются единственным источником некоторых ценных сведений о жизни и творчестве Толстого. Только из этих очерков мы узнаем о написанной Толстым в Казани статье о симметрии, о впечатлении, произведенном на Толстого первой хвалебной рецензией на его повесть «Детство», о времени и месте начала работы над «Поликушкой», о новых подробностях декламирования мальчиком Толстым стихотворений Пушкина и т. д.

В очерках обращают на себя внимание многочисленные хронологические неточности в рассказах Толстого о различных событиях своей прошлой жизни. Это характерно для Толстого; подобные неточности встречаются и в его произведениях. Все такие случаи оговорены нами в примечаниях [8].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860—1891». М., 1928, стр. 108.
[2] Там же, стр. 109.
[3] Там же, стр. 115—116.
[4] Неизд.— АТ.
[5] «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. 1870—1894». СПб., 1914, стр. 189.
[6] «Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860—1891», стр. 118—124.
[7] Там же, стр. 126.
[8] Выдержки из «Материалов к биографии Л. Н. Толстого» были напечатаны в «Биографии Л. Н. Толстого» П. И. Бирюкова (т. I. Изд. 3-е. М.— Пг., 1923, стр. 38, 63) и в книге Н. Н. Гусева «Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год» (М., 1954, стр. 70, 93, 106—107, 109, 143—144, 155, 158, 159, 171, 275, 388, 395—396, 426, 474).

〈1〉

МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ Л. Н. ТОЛСТОГО И СВЕДЕНИЯ О СЕМЕЙСТВЕ ТОЛСТЫХ И ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ГР. ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО

24 октября 1876 года

Граф Л. Н. Толстой родился 1828 года, 28 августа в сельце Ясной Поляне, где мы и теперь. Ясная Поляна было именье матери Л. Н., которое она наследовала от отца. Он был четвертый сын графа Николая Ильича и графини Марьи Николаевны, рожденной княжны Волхонской. Имя Лев дано ему было по следующей причине: князь Николай Сергеич Волхонский был очень дружен с князем Голицыным и еще с детства помолвил свою единственную дочь за сына Голицына. Но молодой князь Лев Голицын умер в молодости, и княжна Марья Волхонская вышедши впоследствии уже не в молодых годах за графа Толстого, назвала в память своего молодого, умершего жениха сына своего Львом [1]. Она к нему чувствовала всегда особенную нежность и называла его: «mon petit Benjamin» *.

Еще не было ему двух лет, когда умерла его мать, и потом всегда, на всю жизнь женское попечение о детях перешло в руки дальней родственнице, но прелестнейшей тетушке Татьяне Александровне Ергольской, которая никогда не хотела выйти замуж, навсегда осталась с Толстыми, в семействе которых была воспитана, и воспитала детей, любила их как своих собственных и, наконец, и умерла у нас в доме в глубокой старости 20 июня 1874 года [2].

Не было еще Льву Николаевичу 8 лет, как раз его отец застал его за какой-то хрестоматией, в которой маленький Л〈евочка〉 с большим увлечением и с интонациями читал стихи Пушкина «На смерть Наполеона». Отца поразила, вероятно, верность интонаций и увлечение ребенка; он сказал: «Каков Лёвка, как читает, ну-ка прочти еще раз». И позвав из другой комнаты крестного отца Льва Николаевича Семена Ивановича Языкова [3], он при нем заставил сына читать стихи Пушкина.

Судя по словам старых тетушек, которые мне рассказывали кое-что о детстве моего мужа, и также по словам моего деда Исленьева [4], который был очень дружен с Николаем Ильичем, маленький Левочка был очень оригинальный ребенок и чудак. Он, например, входил в залу и кланялся всем задом, откидывая голову назад и шаркая. А то раз его заперли в наказание в комнату во втором этаже, а он выпрыгнул оттуда, следствием чего было то, что он сутки проспал, а потом остался совершенно здоров [5].

Первые года детства прожил Л. Н. в кругу многочисленного своего семейства в Ясной Поляне. Кроме отца, матери и старой бабушки Пелагеи Николаевны [6], семейство состояло из пяти детей, тетушки Татьяны Александровны, тетушки Александры Ильинишны [7] и воспитанницы ее Пашеньки. Жили они довольно уединенно, и самые близкие и частые посетители Ясной Поляны были мой дед Исленьев и его шестеро детей, в том числе и мать моя [8], которую раз, расшалившись, Лев Николаевич столкнул с террасы, и она долго хромала. Впоследствии она смеясь говорила ему, что «видно, ты меня для того в детстве столкнул с террасы, чтоб жениться на моей дочери».

Дом, в котором жило семейство Толстых, был наскоро построен на начатом кн. Волхонским каменном фундаменте отцом Льва Николаевича и был очень велик. Он стоял посреди двух каменных флигелей, построенных тоже Волхонским, и впоследствии был продан по желанию

* мой маленький Вениамин (франц.).

Льва Николаевича во время его пребывания на Кавказе. Теперь он стоит, как был, в селе... помещика Горохова [9].

Многие эпизоды из детства Льва Николаевича описаны в его «Детстве». Но не все типы взяты из семейства Толстых. Например, тип «папá» в «Детстве» есть живой портрет моего деда Исленьева; гувернантка Мими тоже жила у деда. Но первый воспитатель их Федор Иваныч (в «Детстве» Карл Иваныч) действительно существовал и описан таким, каким он был. Потом воспитателем их был умный, живой француз St. Thomas, который, вероятно, видел в меньшем из четырех братьев что-нибудь особенное, потому что он говорил про него: «Ce petit a une tête; c'est un petit Molière» *.

Когда я спрашивала других и самого Льва Николаевича, хорошо ли он учился, то всегда получала ответ, что «нет». Но это, главное, объяснялось тем, что разница лет между им и другими братьями была слишком велика, и им как меньшим плохо занимались.

Когда ему было восемь лет, все семейство жило в Москве, куда поехали, чтоб брать учителей старшим братьям. Глава дома была бабушка; ее все боялись и уважали. Тетушка Александра Ильинишна, несчастная в супружестве, все молилась, принимала странников, помогала бедным и ходила в церковь. Детьми и домом занималась Татьяна Александровна.

Как-то раз летом отец уехал по делам в Тулу и, идя по улице к приятелю своему Тимяшеву [10], он вдруг упал и умер скоропостижно. Некоторые думают, что он умер ударом, другие предполагают, что его отравил камердинер, так как деньги у него пропали, а именные билеты принесла уже в Москве к Голстым какая-то таинственная нищая.

Когда умер Николай Ильич, тело его из Тулы привезли в Ясную Поляну, и хоронила его Александра Ильинишна и старший сын его Николай. Лев Николаевич рассказывал, какое он испытывал чувство, когда стоял в трауре на панихидах отца. Ему было грустно, но он чувствовал в себе какую-то важность и значительность вследствие такого горя. Он думал, что вот он такой жалкий, сирота, и все это про него думают и знают, но он не мог остановиться на потере личности отца. Отец и мать Льва Николаевича похоронены у нашей церкви в часовне, там и брат Дмитрий.

Смерть сына совсем убила старую бабушку Пелагею Николаевну **. Она умерла тоже через девять месяцев от тоски и горя чахоткой. Опекуншей детей назначена была Александра Ильинишна. Беспомощная, но милая, честная натура, она занималась и делами и детьми.

Меньших — Льва, Митеньку и Машеньку увезли в Ясную Поляну, где они и жили довольно долго с Татьяной Александровной. Старшие учились и жили зимами в Москве с Александрой Ильинишной и m-r St. Thomas. Но и она прожила недолго. Место ее заступила Пелагея Ильинишна, другая, меньшая сестра отца, которая жила в Казани и была замужем за Владимиром Ивановичем Юшковым [11].

Прежде чем оставить совсем тетушку Александру Ильинишну, надо и о ней сказать несколько слов; история ее очень трогательна.

Замужем она была за графом Остен-Сакен. Он был ревнивый и сумасшедший человек. В первый же год ее замужества она раз ехала с ним в дорогу в карете. Она была беременна на седьмом месяце. Он стал с ней говорить, что кто-то за ним гонится, стал упрекать ее, что она знает, кто гонится, что она в заговоре с кем-то против него, и, наконец, пришел в бешенство, вынул пистолет и выстрелил ей в грудь. Пуля ранила ее на-

---

* Этот малыш — голова; это — маленький Мольер (франц.).

** Она все плакала, всегда по вечерам велела отворять дверь в соседнюю комнату и говорила, что видит там сына, и разговаривала с ним. А иногда спрашивала с ужасом дочерей: «Неужели, неужели это правда, и его нет?» — *Прим. С. А. Толстой.*

вылет. Вследствие этого, конечно, начались сейчас же родовые муки. Принуждены были остановиться у какого⟨-то⟩ дьячка, и Александра Ильинишна родила преждевременно дочь, которая тут же скончалась. Но она все спрашивала, где ее ребенок; все боялись ее огорчить и потому скрыли от нее его смерть. Случилось так, что в том же доме жена дьячка,

ТОЛСТОЙ И С. А. ТОЛСТАЯ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Фотография, 1907 г.

Внизу автографические подписи: «София Толстая. 1862—1907 г.», «Лев Толстой. 23 сент. 1907»

Архив Толстого, Москва

у которого было большое семейство, тоже родила дочь; она охотно уступила свою девочку, которую и принесли к больной. Не знаю, почувствовала ли она обман, но знаю, до шести недель она эту девочку считала своей дочерью; и когда после ее выздоровления ей сказали, что это не ее дочь, хотя была очень огорчена, но ответила, что она считала ее шесть недель своей дочерью, так пусть всю жизнь будет считать ее дочерью. И так эта Пашенька, бледная, молчаливая и кроткая, всегда жила с Александрой Ильинишной, называла ее матерью и потом в молодости умерла в чахотке. Лев Николаевич ее помнит, она была член их семьи.

Александра Ильинишна умерла в Оптиной Пустыни. В то время, как она была там, дети оставались в Ясной Поляне с Татьяной Александровной. Но когда пришло известие, что Александра Ильинишна умирает, Татьяна Александровна поехала туда же. Это время особенно памятно было потом всем детям. Они остались с учителем Федором Иванычем и с странницей Марьей Герасимовной, полуюродивой, которую я знала. Она была крестной матерью маленькой Машеньки, которую родители вымолили у бога как единственную дочь, и потому и в крестные матери ей взяли богомольную, юродивую странницу. Была у них тогда собака черная моська, с которой они играли. Сделали ей трон и сажали ее на этот высокий трон, с которого она все прыгала. Но раз она прыгнула и вдруг завизжала и поползла под стул. Ее осмотрели, и оказалось, что сломана лапа. Отчаяние было ужасное, все плакали навзрыд, а впоследствии это впечатление слилось с воспоминанием об уединении с монотонным пением каких-то псалмов Марьи Герасимовны и с известием о смерти любимой тетушки Александры Ильинишны.

Итак, после смерти Александры Ильинишны все дети, и опека, и дела перешли в руки Пелагеи Ильинишны. Это была добродушная, светская, чрезвычайно поверхностная женщина. Муж ее Владимир Иваныч Юшков не любил ее и относился к ней презрительно. Она же в молодости его очень любила и считала свое сердце разбитым. Но на ней этого не было видно. Всегда живая, веселая, она любила свет и всеми в свете была любима; любила архиереев, монастыри, работу по канве и золотом, которые раздавала по церквам и монастырям, любила поесть, убрать со вкусом свои комнаты, и вопрос о том, куда поставить диван, для нее был огромной важности...

Муж ее был хотя человек умный, но без правил. Жил он бездеятельно, прекрасно вышивал по канве, подмигивал на хорошеньких горничных и играл слегка на фортепиано.

И вот в какую среду попали дети после смерти прекрасных умных родителей.

Когда умерла ее сестра, Пелагея Ильинишна приехала из Казани. Старший брат, Николай Николаевич, который уже был в то время студентом 1-го курса и не перешел на второй, обратился к тетеньке с словами: «Ne nous abandonnez pas, chère tante, il ne nous reste que vous au monde» *. Она прослезилась и задалась мыслью «se sacrifier» **. Что она под этим подразумевала, не знаю. Только она сейчас же стала собираться в Казань и для этого вперед заказала барки, которые потом нагрузила всем, что только можно было вывезти из Ясной Поляны [12]. Дворню тоже всю повезли: столяров, портных, слесарей, поваров, обойщиков и проч. В Казани заняли два дома, и все это почему-то тогда считалось нужным.

Льву Николаевичу в то время было 12 лет. Это было в 1840 году, который был голодным годом. Летом, живши в Ясной Поляне, все мальчики имели своих лошадок. У Льва Николаевича была тоже своя, вороненькая лошадка. По случаю голода детским лошадям овса не давали, и они бегали в поле, в шапках приносили чей-то овес и сами кормили своих лошадей. И в голову им не приходило, что это овес какого-нибудь бедного мужика, так сильно было в то время чувство собственности. В многочисленных экипажах, каретах потянулось все семейство осенью из Тулы в Казань. В карете ехали меньшие с тетенькой Пелагеей Ильинишной. Дорогой шла целая жизнь. Останавливались иногда в поле, в лесу, собирали грибы, купались, гуляли. Большое горе было при расставании с тетенькой Татьяной Александровной, которая была в недру-

---

* Не оставляйте нас, дорогая тетенька, вы теперь у нас одна на свете (франц.).
** принести себя в жертву (франц.).

желюбных отношениях с Пелагеей Ильинишной и уехала к своей сестре графине Елизавете Александровне Толстой [13] в село Покровское. Неприязнь Татьяны Александровны и Пелагеи Ильинишны происходила оттого, что муж Пелагеи Ильинишны в молодости был влюблен в Татьяну Александровну и делал ей предложение, но она ему отказала. Пелагея Ильинишна никогда не простила Татьяне Александровне любовь ее мужа к ней и за это ее ненавидела, хотя на вид у них были самые фальшивосладкие отношения.

Пять лет прожили Толстые в Казани. Каждое лето все семейство, сопровождаемое Пелагеей Ильинишной, отправлялось в Ясную Поляну. Барки нагружались вещами и прислугой и тянулись по Волге, семейство же путешествовало в экипажах. Каждую осень все возвращались в Казань, где все четыре брата вступили в университет. По собственному своему желанию вдруг Лев Николаевич решил, что он поступит на факультет восточных языков, и, не слушая никого, привел в исполнение свое решение, но не выдержал больше года и перешел на юридический факультет. Учился он плохо, всегда ему было трудно всякое навязанное другими образование, и всему, чему он в жизни выучился, он выучился сам, вдруг, быстро, усиленным трудом.

Студенческая жизнь Льва Николаевича мало представляет интересного. Рассказывал он мне на мои вопросы о том, писал ли он тогда что-нибудь, что раз он почему-то много думал о том, что такое симметрия и написал сам на это философскую статью в виде рассуждения [14]. Статья эта лежала на столе, когда в комнату вошел товарищ братьев Шувалов [15] с бутылками во всех карманах, собираясь пить. Он случайно увидел на столе эту статью и прочел ее. Его заинтересовала эта статья, и он спросил, откуда Лев Николаевич ее списал. Л. Н. робко ответил, что он ее сам сочинил. Шувалов рассмеялся и сказал, что это он врет, что не может этого быть, слишком ему показалось глубоко и умно для такого юноши. Так и не поверил, и с тем и ушел.

На юридическом факультете пробыл Л. Н. менее двух лет. Братья, кончивши курс, уехали из Казани; пришло время им всем делиться. Оставшись один в университете, Лев Николаевич стал усердно готовиться к экзаменам 2-го курса, но тут он увлекся философией и решил, что учиться незачем. Философией стал он заниматься вот каким путем.

Был в Казанском университете молодой профессор Мейер [16]: он обратил особенное внимание и заметил Льва Николаевича. Через студента Пекарского [17] он велел передать студентам и в особенности Льву Николаевичу, чтобы кто-нибудь взял на себя труд написать сравнение наказа Екатерины с «Esprit des lois» Montesquieu *. С горячностью взялся за это дело Лев Николаевич и начал изучать Montesquieu, потом философию юридическую, потом философию вообще и бросил учиться; а с свойственной ему горячностью и увлечением весь отдался философии. Приехав в Ясную Поляну, он и сам вообразил себя Диогеном. Сшил себе длинный халат из грубой материи, который не снимал никогда, вел более суровый образ жизни и изучал философов.

Та философия, которую он тогда изложил в записках и дневниках, с некоторыми изменениями, но в сущности своей осталась та же и на всю его жизнь **.

Праздно и бестолково прожил он следующие годы. Молодость, свобода увлекли его в праздность, игру и рассеянную жизнь. Но, живши в деревне, не одни развлечения занимали его. Он взял к себе немца учителя музыки

---

* «Дух законов» Монтескье (франц.).

** *На полях против слов:* Та философия ∞ и на всю его жизнь *написано:* Период философский был в 1846 году. Ему было тогда 18 лет

и тут сам своей охотой выучился музыке, которую любил всегда, и занимался ею до старости.

Зиму 1850 года провел Лев Николаевич в Москве. Приехавши, он решил жить аккуратно, ездить в свет, не играть, и первое, что сделал,— пошел к Иверской. Потом занимало его щегольство квартирки, саней, cabinet de toilette и проч. Но, живши в Москве, он уже думал о повести из цыганской жизни, которую все собирался написать. Также писал он тогда о музыке, которой занимался. Умная и добрая тетушка Татьяна Александровна своими письмами и советами постоянно удерживала его от увлечений игры. Но к концу зимы Л. Н. запутался в мелких делах и суетности московской жизни и вернулся в Ясную Поляну, всегда тихое убежище его от всех волнений жизни. Здесь он сосредоточивался в себе, проверял все дурное и хорошее и всегда находил новые силы на все хорошее. Старый анализ самого себя, постоянная проверка и внутренняя работа, стремление ко всему идеальному во всю жизнь были главными чертами его характера и выработали со временем твердый, высоконравственный и прелестный характер.

Борьба с неудержимо-страстной и живой натурой окончилась все-таки торжеством всего идеального и прекрасного.

В первый раз, живши в Москве, ему пришло в голову описать что-нибудь. Прочитав «Voyage Sentimental» par Sterne *, он, взволнованный и увлеченный этим чтением, сидел раз у окна, задумавшись, и смотрел на все происходящее на улице. «Вот ходит будочник, кто он такой, какая его жизнь; а вот карета проехала — кто там и куда едет, и о чем думает, и кто живет в этом доме, какая внутренняя жизнь их... Как интересно бы было все это описать, какую можно бы было из этого сочинить интересную книгу».

Приехав в Ясную Поляну весной 1851 года, Лев Николаевич застал тут своих братьев. Брат Сергей был страстно увлечен цыганами и влюблен в свою будущую жену — Машу цыганку. Он хотел и Л. Н. завлечь в свою страсть к цыганам вообще и к какой-нибудь цыганке в особенности. Но тут же приехал в отпуск милый, умный старший брат Николай Николаевич, служивший в то время на Кавказе. То всегда верное чувство самосохранения и сердечного понимания, что́ хорошо и что́ надо, и на этот раз спасло Льва Николаевича от увлечения. Он вдруг решил, что он едет с братом Николаем служить на Кавказ, и несмотря на холодность брата Сергея, он решения своего не изменил.

В мае 1851 года, в прелестную весеннюю погоду оба брата предприняли путешествие на Кавказ. Письма их с дороги полны веселья, восхищения природой и новизны впечатлений. В Казани они пробыли неделю; здесь повидались они с Загоскиной, начальницей института, которая в их студенческое время была одна из лучших знакомых, умная, энергическая женщина [18].

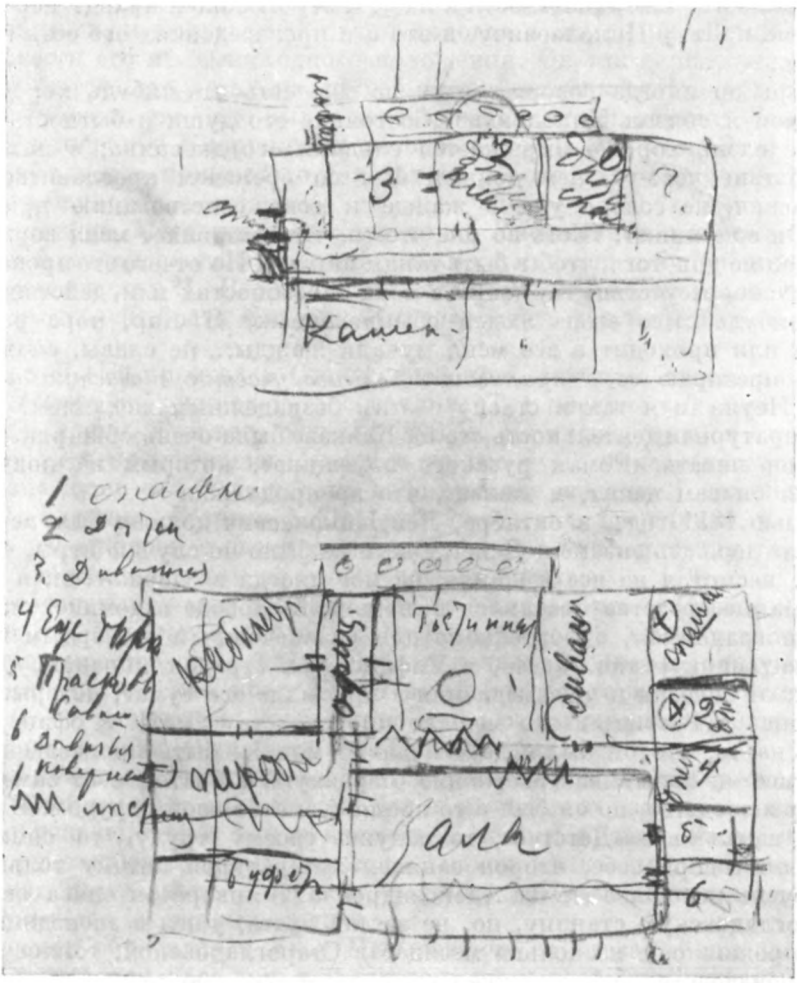
Из Саратова до Астрахани плыли они по Волге в маленькой лодочке, и этот род путешествия очень веселил их.

Приехали они в Старогладовскую станицу, где стоял лагерь, в котором служил Николай Николаевич. Впечатление местности, общества офицеров было грустное. В письме своем к тетушке Татьяне Александровне яркое описание типов офицеров и добродушного, хотя очень ограниченного артиллериста, начальника Льва Николаевича — Алексеева [19]. Но вскоре Николай Николаевич получил назначение переходить в Горячеводск (Старый Юрт). И здесь вся картина переменилась. Кавказские горы, живописнейшая местность, горячие ключи с картиной моющих белье ногами татарок под горой, прелестнейшая природа,— все это охватило

* «Сентиментальное путешествие» Стерна (франц.).

своей поэзией впечатлительную душу Льва Николаевича, и он упивался этим наслаждением природой, проводя целые часы у окна и глядя на всю эту кавказскую, новую для него картину.

Из Старого Юрта Л. Н. волонтером ходил в набег, который и был написан им на Кавказе и послан в Петербург. Природа так трогала его на



ПЛАН СТАРОГО ЯСНОПОЛЯНСКОГО ДОМА, В КОТОРОМ РОДИЛСЯ ТОЛСТОЙ
Рисунок Толстого, 1898 г.
Архив Толстого, Москва

Кавказе, что он часто себе говорил: пойду опишу, что вижу. Но потом ему казалось так прозаично, так невозможно взять чернила, перо, писать буквы и все это, чтобы выразить *чувство*, и он останавливался...

Он часто говорил мне, что лучшие воспоминания его жизни принадлежат Кавказу. Он много там читал, переводил Стерна [20], играл в шахматы с братом и офицерами; вел самую чистую, спокойную, нравственную жизнь. Особенно трогательны его воспоминания о его тогдашней дружбе с братом Николаем, который осторожно, умно и дружески относился к нему и вместе с тем имел на Льва Николаевича самое благотворное и хорошее влияние. Потом охота и природа доставляли ему огромные наслаж-

дения. Но главное, на Кавказе он начал в первый раз свою авторскую деятельность. На Кавказе, в Тифлисе, было написано «Детство», «Отрочество». Потом «Набег» и «Казаки», которые продолжал он в Иере в 1860 году, кончены и напечатаны уже в 1862 году [21].

Мне говорил Л. Н., что брат и на талант его имел влияние тем, что он любил все настоящее, всегда вникал в жизни в самую суть всего, не терпел внешности, поверхностности и лжи. И эту любовь к правде передал он незаметно и Льву Николаевичу, и это и в произведениях его есть главная прелесть.

Теперь он иногда говорит: если во мне есть что-нибудь хорошее, то всем, всем я обязан Николеньке. Состояние его души в бытность его на Кавказе очень хорошо выражается словами его дневника; в них видно предчувствие чего-то, чем должен был со временем прославиться Лев Николаевич, не говоря уже о жажде к совершенствованию нравственному. Он еще пишет: «Есть во мне что-то, что заставляет меня верить, что я рожден не для того, чтобы быть таким как все. Но отчего это происходит? Не согласие, отсутствие гармонии в моих способностях или, действительно, я чем-нибудь стою выше людей обыкновенных? Я стар, пора развития прошла или проходит, а все меня мучали жажды... не славы, славы я не хочу и презираю ее, а *принимать большое участие в счастии и пользе людей*. Неужели я так и сгасну с этим безнадежным желанием?» [22].

Литературная деятельность его на Кавказе была очень обширна. Там же начал он писать «Роман русского помещика», который не кончил, но который он сам ценит, и жалеет, что не продолжал [23].

Осенью 1851 года, в октябре, Лев Николаевич должен был переехать в Тифлис держать экзамен. Денег у него не было по случаю игры, от которой он, несмотря на все желание, не мог иногда воздержаться, и потому он на малые средства поселился в Немецкой слободе в домике, окруженном виноградником, с фортепиано для развлечения и с твердым намерением жить аккуратно. Здесь, в Тифлисе, он страдал морально от двух причин: от болезни и от замедления в присылке его бумаг, которые где то затерялись в России, и это мешало производству Л. Н. в офицеры, несмотря на то, что он был в деле и давно мог бы быть произведен. Хотя в Тифлисе он испытывал огорчение от разлуки с братом и от замедления в его производстве, но он был в то время счастлив своим трудом. В первый раз он начал свое «Детство», то радуясь своему труду, то сомневаясь в нем, то говоря себе, что он занялся литературой потому только, что этого очень желала Татьяна Александровна. В январе он снова вернулся в Старогладовскую станицу, но, не застав брата, ушел в экспедицию. Он потом прожил еще несколько месяцев в Старогладовской, томясь ожиданием производства, и продолжал свою литературную деятельность. Хотя бумага, нужная для назначения Л. Н., в батарею еще не приходила, генерал Вольф [24] устроил так, что в январе 1852 года велел написать такого рода бумагу, где предписывалось взять Л. Н. на службу, несмотря на то, что бумага не получена еще, с тем, что когда получится, записать его на действительную службу со дня употребления в батарее.

С этой бумагой, надевши мундир и считаясь фейерверкером 3-го класса, довольный хоть тем, что кончается его бездействие, Л. Н. собирается в Старогладовскую. Но выехать не может по случаю безденежья. Во время этих сборов, наконец, получает деньги и письмо от брата Николая [25], которое доставило ему большую радость. Это очень трогательный эпизод. Летом 1851 года в Старогладовской, где была батарея, шла постоянная игра в карты между офицерами. К ним приходил также играть Садо, тамошний житель, и офицеры его обыгрывали и обсчитывали, потому что Садо не умел считать. Л. Н. не стал играть против Садо и сказал ему, что его обманывают, предложив играть и считать за него. Садо

за это ему был очень благодарен и предложил быть *кунаками* (друзьями). Потом Садо подарил Льву Николаевичу оружие, а Л. Н. ему лошадь, и они были самыми лучшими друзьями, несмотря на то, что Садо был конокрад и разбойник. В это же лето Л. Н. проиграл Кнорррингу [26] все свои деньги и, кроме того, 500 р., на которые дал вексель сроком до января.

Живши в Тифлисе, когда подошел срок, Л. Н. страшно мучился этим долгом и не видел исхода из ужасного положения. Тогда раз вечером он стал молиться, и молиться так, как никогда в жизни не молился, прося бога вывести его из безвыходного положения. Он так верил, что молитва его услышится, что встал на другой день спокойный. И вдруг получает письмо от брата, что Садо был у него и сказал, что он вексель Льва Николаевича выиграл у Кнорринга и разорвал его. И при этом Садо так был счастлив, так наивно и весело хохотал от радости, что Николай Николаевич полюбил его за это.

На станции Моздокской по дороге из Тифлиса он написал тетушке Татьяне Александровне прелестное письмо с мечтами о будущем семейном идеальном счастии [27]. Все мечты его исполнились, но не стало двух любимых им людей: брата Николая Николаевича и тетушки Татьяны Александровны.

Когда Л. Н. приехал в Старогладовскую, он брата своего там не застал и вскоре отправился на экспедицию. Тут писание «Детства» прекратилось на время, и он весь отдался службе. На экспедицию он отправился волонтером и не мог ничего ожидать за нее — ни чина, ни награды. Но в глубине души его было только одно сильное желание, одна цель, одна мечта — получить Георгия *. Два раза представлялся случай, и оба раза он был разочарован в своих ожиданиях, и это доставило ему такое огорчение, которое он потом не забыл во всю жизнь.

Он рассказывал мне раз, как ему не дали Георгия. Передаю рассказ со слов его. В батарею после 1-й экспедиции 1852 года было прислано несколько крестов для раздачи. Добрый начальник артиллерии уже назначил один георгиевский крест Льву Николаевичу за то, что он действительно действовал в ряду самых храбрых; но при раздаче крестов Алексеев вдруг обратился к великодушию Льва Николаевича.

Обыкновенно кресты эти раздаются самым старым и заслуженным солдатам, которым этот знак потому очень важен, что дает право на пожизненную пенсию, какое они в настоящем чине получают жалованье. Или же Георгия дают молодым юнкерам, находящимся под протекцией начальства. Чем больше Георгиев получат молодые юнкера, тем более их отнимается у старых солдат.

Алексеев обратился к Льву Николаевичу со словами: «вы заслужили крест, хотите я вам его дам, а то тут есть очень достойный солдат, который заслужил тоже и ждет креста как средства к существованию».

Конечно, Л. Н. с отчаянием в душе отказался от креста и от любимой мечты. Но была еще надежда.

Когда по прошествии менее года опять были присланы кресты, то Л. Н. опять был представлен и с нетерпением ждал дня раздачи. Наконец, на другой день должна была исполниться его мечта. Но с свойственным ему неудержимым увлечением он до ночи заигрался в шахматы вместо того, чтобы идти на службу, на остров, где стояли орудия. Дивизионный начальник Олифер [28], не найдя его на карауле, страшно рассердился, сделал ему выговор и посадил под арест.

На другой день в полку с музыкой и барабанным боем раздавали георгиевские кресты. Он знал, что и ему следовало получить этот знак, всю

---

* *На полях против слов:* Но в глубине души ∞ одна мечта — получить Георгия *написано:* Служил в 20-й бригаде, 4-й батарейной батарее.

цель, все счастье его заветных мечтаний, и вместо торжества сидел одинокий под арестом и предавался крайнему отчаянию (как он сам говорит) *. В письмах его к тетеньке я не нашла этих подробностей, а там причина неполучения Георгия выставлена та, что замедлили присылкой его бумаг. Он пишет: «19-го февраля было послано представление о наградах, а 20-го получились мои бумаги» [29].

Возвратившись в Старогладовскую, Л. Н. продолжал писать «Детство». 1 апреля 1852 года была написана глава о молитве, и он сам пишет о ней, что «вяло». Вот как строг он был к себе. 17 апреля он написал главу «Ивины». Не принимая участия ни в пьянстве, ни в жизни офицеров, одинокий в своем внутреннем мире, он чувствовал свою силу и твердо, последовательно, раз ставши на этот путь литературного творчества, последовал ему. Охота, природа, старый казак Епишка, казачья жизнь,— вот чем он жил, помимо труда. Иногда он вдруг говорил себе, что все дурно, что вяло, растянуто; то вдруг сам плакал над тем, что писал. То он говорил себе, что, например, начатый им «Роман русского помещика» есть «чудная вещь».

К весне 1852 года здоровье Л. Н. совсем расстроилось, и он отправился в отпуск, уехал пить воды и купаться в Пятигорск. Здесь жил он уединенно в маленьком домике, лечился, вел самый правильный образ жизни, почти никого не видал и много работал. Здесь кончено было «Детство» и 9 июля 1852 года отправлено с робким письмом к Некрасову для напечатания в «Современнике» [30]. Умный, даровитый Некрасов понял талант молодого начинающего писателя, он напечатал в «Современнике» «Детство» и написал Льву Николаевичу, что повесть его имеет настолько интереса, что может быть напечатана. Вознаграждение начинающим никогда не дают, а за дальнейшее назначают ему по 50 р. за лист.

Л. Н. говорил, что он испытал огромное наслаждение при получении этого письма. В то же время Некрасов написал сестре Льва Николаевича очень лестный о нем отзыв [31] и появились хвалы неизвестному писателю под литерами *Л. Н.* [32]

В это время, не зная своего успеха, Л. Н. жил на Кавказе и продолжал работать. Поправившись здоровьем в Пятигорске, потом в Железноводске, он вернулся в августе в Старогладовскую на службу. Тут опять получил он бумагу осенью 28 октября 1852, по которой не может быть произведен ранее двух лет.

Он писал родным в Москву, Тулу и Петербург, где и задержали бумаги, и, наконец, уж тетушка Пелагея Ильинишна через хлопоты князя Дмитрия Александровича Оболенского [33] выручила задержанные бумаги. Но эти постоянные неудачи по службе страшно огорчали Льва Николаевича, но укрепляли в нем силу авторскую и углубляли его в эту работу. Он пишет к тетеньке уже 18 месяцев после своего поступления на службу на Кавказ, что все к лучшему, что он не унывает и ее просит не огорчаться, потому что он нравственно чувствует себя сильнее, лучше и радуется своему исправлению [34]. А главное, там, в этом уединении, проснулся его талант.

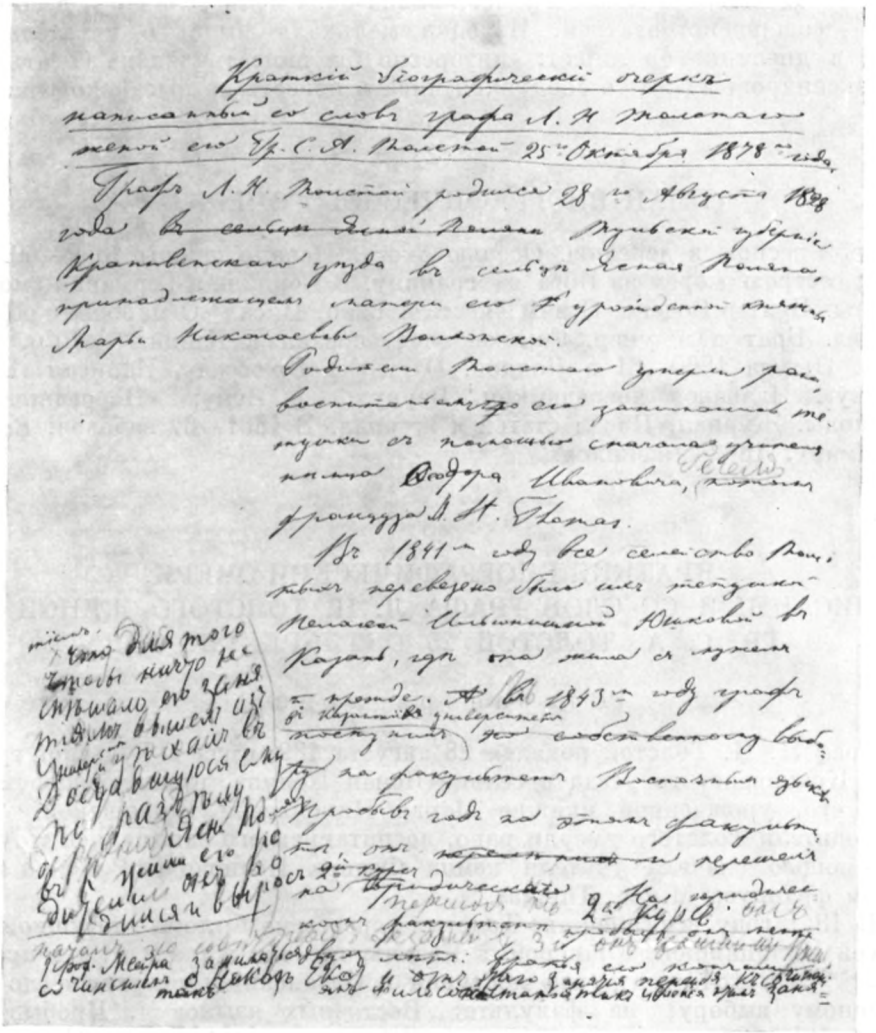
Рассказывал он мне, что раз получили они на Кавказе «Отечественные записки» и Л. Н. стал читать статью: «О Современнике», а там самые лестные похвалы о неизвестном авторе «Детства» [35]. Он говорил мне: «Лежу я в избе на нарах, а тут брат и Оголин [36], читаю и упиваюсь наслаждением похвал, даже слезы восторга душат меня, и думаю: „никто не знает, даже вот они, что это меня так хвалят“».

---

* *На полях против слов:* Он знал, что и ему следовало ∞ как он сам говорит *написано:* Можно получить офицера по выслуге лет и по отличию. По бумагам произвели в офицеры, а не к Георгию.

Добавление

Мать Л. Н. была очень умная, живая, некрасивая и вспыльчивая женщина. Но у ней был дар, говорят, удивительный — рассказывать сказки. Бывало в молодости соберет вокруг себя подруг и рассказывает



ПРАВКА ТОЛСТОГО НА ПОЛЯХ РУКОПИСИ ЕГО БИОГРАФИЧЕСКОГО ОЧЕРКА, СОСТАВЛЕННОГО С. А. ТОЛСТОЙ

Вторая редакция. 25 октября 1878 г.

Лист 1

Архив Толстого, Москва

им сказки и истории собственного вымысла; и все так заслушаются, что забывают все другие удовольствия. Дар этот перешел и к старшему ее сыну Николаю Николаевичу, и выразился в виде авторитетного таланта в меньшом — Льве.

Отец был веселый, остроумный человек и любил образование. Он, например, взял твердое решение, составляя библиотеку, не поставить в шкаф ни одной книги, которую он бы не прочел, и так и сделал.

К 1850-му году. Зимою, т. е. в марте, живя в Москве и не находя довольно нравственных в себе сил, чтобы достигнуть какого-то идеального, морального совершенства, Л. Н. вдруг решил, что ему нужно серьезное занятие, и стал готовиться к кандидатскому экзамену. Но скоро он охладел к этому и стал заниматься английским языком. Бросаясь от одного занятия к другому, во всем у него видна одна цель твердая и несомненная — совершенствоваться. Изредка мелькала мысль о писательстве. Так, в дневнике он пишет: «интересно бы описать жизнь Т⟨атьяны⟩ А⟨лександровны⟩». А то собирался писать повесть из цыганской жизни.

⟨2⟩

⟨ПЛАН БИОГРАФИЧЕСКОГО ОЧЕРКА⟩*

1859 весною в деревню. Осенью охота. Начало школы 1859—60. Летом с сестрою морем из Пбга за границу. В Берлине и Германии смотрел школы. Брат в Содене. С ним вместе в Гиер. Писал «О народном образовании». Брат там умер. Сам заболел, поехал в Италию — Рим, Неаполь. Оттуда 1860—61 в Лондон. Оттуда в Брюссель. Написал «Поликушку». Назначен посредником. Вернулся в Ясную. Посредничество и школы. Журнал. Писал статьи в журнал. В 1861—62 заболел. Весной в Самару. 1862— женился.

⟨3⟩

КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК, НАПИСАННЫЙ СО СЛОВ ГРАФА Л. Н. ТОЛСТОГО ЖЕНОЙ ЕГО ГР. С. А. ТОЛСТОЙ 25 ОКТЯБРЯ 1878 ГОДА

⟨Вторая редакция⟩

Граф Л. Н. Толстой родился 28 августа 1828 года в Тульской губернии, Крапивенского уезда в сельце Ясная Поляна, принадлежащем матери его, урожденной княжне Марье Николаевне Волконской.

Родители Толстого умерли рано, воспитанием его занимались тетушки с помощью сначала учителя немца Федора Ивановича Реселя**. потом француза M. St. Thomas.

В 1841 году все семейство Толстых перевезено было и тетушкой Пелагеей Ильинишной Юшковой в Казань, где она жила с мужем прежде [А в]***. В 1843 году граф поступил в Казанский университет [по собственному выбору] на факультет Восточных языков [37]. Пробыв год на этом факультете, он перешел на [2-й курс] юридический. На юридическом [факультете пробыл он менее двух лет], перейдя на 2-й курс, он перед экзамен⟨ами⟩ в 3-й он [вышел из университета] начал по совету проф. Мейера заниматься сочинением о «Наказе» Екат⟨ерины⟩ и, от этого занятия перейдя к сочинениям философских статей, так увлекся этим заня⟨тием⟩, что, для того чтобы ничто не мешало его занятиям, вышел из унив⟨ерситета⟩; уехал в доставшуюся ему по разделу деревню Яс⟨ную⟩

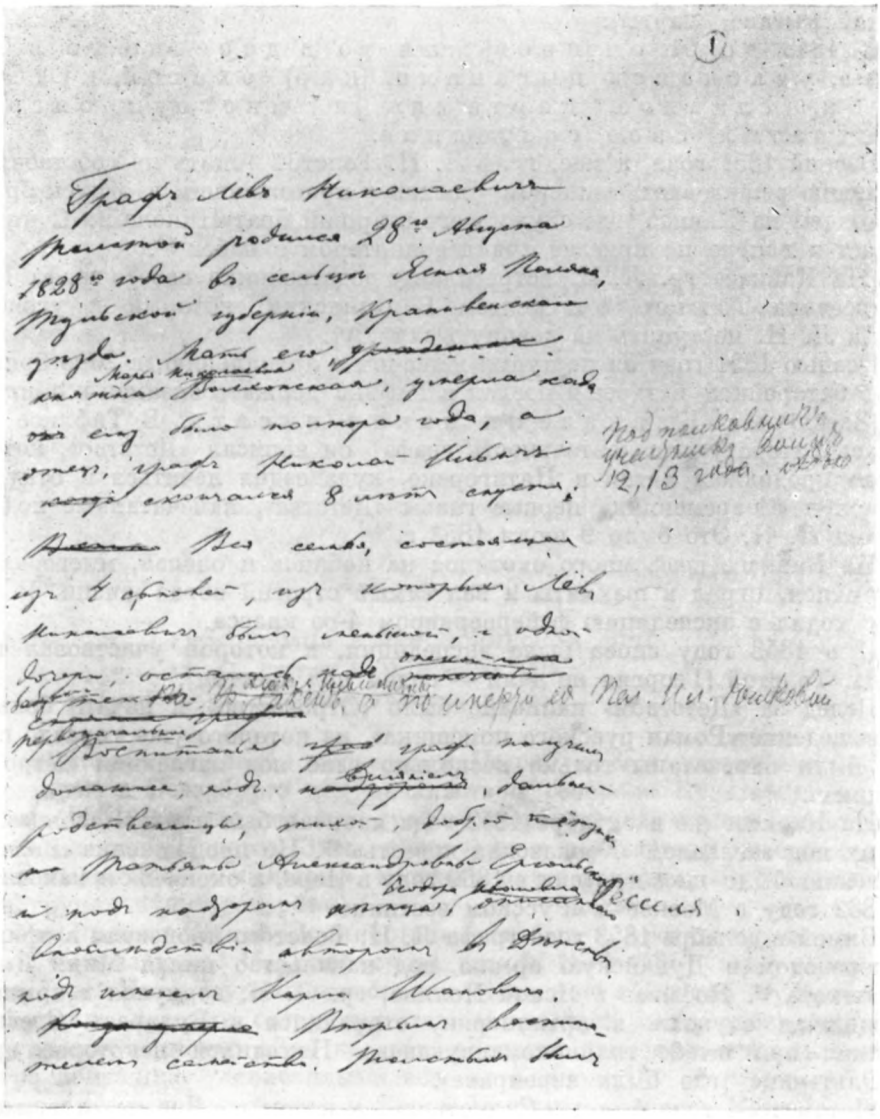
---

* *Запись рукой Толстого.— Ред.*

** *Здесь и ниже разрядкой набраны вставки Толстого, сделанные им при просмотре рукописи.— Ред.*

*** *Здесь и ниже в квадратных скобках даны слова, зачеркнутые рукой Толстого.— Ред.*

П〈оляну〉, в к[оторой] жили его родители и он родился и вырос. Братья его кончили курс и уехали из Казани. Бросив [держать экзамен] унив〈ерситет〉, граф Л. Н. Толстой



ПРАВКА ТОЛСТОГО НА ПОЛЯХ РУКОПИСИ ЕГО БИОГРАФИЧЕСКОГО ОЧЕРКА, СОСТАВЛЕННОГО С. А. ТОЛСТОЙ

Третья редакция, 1878 г.

Лист 1

Архив Толстого, Москва

тоже уехал за ними [увлекся занятием философией и музыкой], поселился с тетушкой Т. А. Ерг〈ольской〉 в деревне, где занимался [охотой] музыкой и философией. Зимой 1847 года Толстой поехал в Петербург [хотел] [чтобы] и там, увлекшись светом, хотел поступить в юнкера в кавалергардский полк, но вскоре раздумал и вместо юнкеров начал

готовиться к кандидатскому экзамену, чтобы поступить на гражданск⟨ую⟩ службу, неимени⟨е⟩ чина мучило его. Весной, выдержав успешно один экзамен из уголовного права, он снова переменил свои намерения и уехал опять в Ясную Поляну [38]. [Здесь начинается период бездействия, жизнь увлечений молодости — охота, цыгане, карты].

С 1848 до 51 он [пров] жил то в деревне, то в Москве, увлекаясь цыганами, [кар] охотой, кутежами и, главное, карта⟨ми⟩ и много проиграл, растратил свое состояние.

Весной 1851 года, в мае, граф Л. Н. Толстой [опять по собственному влечению решил ехать юнкером] поехал с приезжавшим в отпуск братом Николаем на Кавказ [где служил его старший брат Николай]. С ним он и жил и вскоре по приезде ходил волонтером в набег [39].

[На Кавказе гр. Л. Н. встретился у родственника своего графа Ильи Андреевича Толстого [40] с князем Барятинским, который и уговорил графа Л. Н. поступить на военную службу].

Осенью 1851 года он поступил юнкером в артиллерию, в 20-ю бригаду в 4-й батарейной батарее и поехал в Тифлис держать экзамен в офицеры.

[Здесь] на Кавказе он начал писать. В Тифлисе [началась литературная деятельность графа] он написал «Детство», которое потом продолжал летом в Пятигорске, куда ездил лечиться и откуда и послал в «Современник» первые главы «Детства», напечатанные под литерами Л. Н. Это было 9 июля 1852 г. [41]

На Кавказе граф много охотился на кабанов и оленей, много читал, занимался, играл в шахматы и вел самый строгий образ жизни. В 1852 году ходил в экспедицию фейерверкером 4-го класса.

И в 1853 году снова была экспедиция, в которой участвовал граф Л. Н. Толстой [Георгия не дали — сидел под арестом].

Вслед за «Детством» написано было «Отрочество» и начато большое произведение «Роман русского помещика», из которого уже гораздо позднее были напечатаны только несколько глав под заглавием «Утро помещика».

На Кавказе же в октябре 1852 года написан был план «Казаков», начатых под заглавием «Кавказская повесть» [42]. Но продолжение «Казаков» написано было впоследствии в 1860 году в Иере, а окончена и напечатана в 1862 году в Москве в «Русском вестнике» [43].

Зимой в декабре 1853 года графа Л. Н. Толстого произвели в офицеры с переводом в Дунайскую армию под начальство князя Мих. Дмитр. Горчакова [44]. Побывав в Ясной Поляне, гр. Л. Н. вернулся в армию и, продолжая служить в артиллерии, отправился в Бухарест. Здесь он служил при штабе главнокомандующего. Находился некоторое время в Ольтенаце [где была переправа].

Летом 1854 года был под Силистрией, а потом из Ясс по отступлении нашей армии по собственному желанию своему перешел в Севастополь. Здесь граф Л. Н. Толстой был зачислен в легкую батарею и стоял на 4-м бастионе до мая 1855 года. [Во время первой кампании литературная деятельность графа на время прекратилась, но и военная карьера была одна из самых несчастливых. По переводе в Севастополь написан был «Севастополь в декабре»].

В мае 1855 года граф назначен был командиром горного дивизиона и послан на левый фланг нашей армии на Бельбек. Здесь написан был «Севастополь в мае» и окончена начатая прежде «Рубка леса».

На Бельбеке находился граф до 4 августа. 4 августа был в сражении у Черной речки и до 27 августа стоял вне Севастополя. В памятный для всех день 27 августа 1855 года находился при штурме Севастополя, после

УГОЛОК ЗАЛА В ЯСНОПОЛЯНСКОМ ДОМЕ
Рисунок В. Н. Мешкова, 1910 г.
Музей Толстого, Москва

чего был вскоре отправлен курьером в Петербург и перечислен в ракетную батарею в Петербурге под начальством генерала Константинова [45].

Зиму 1855—1856 года прожил граф в Петербурге, где сделал знакомство со многими литераторами. Здесь докончены и напечатаны были одно за другим: «Отрочество», «Юность», «Севастополь в августе», «Рубка леса» [46] (снята группа с литераторами) [47].

Прожив лето в Ясной Поляне [влюблен был в Арсеньеву, хотел жениться, но раздумал] [48], граф снова зимой 1856—1857 года вернулся в Петербург. Литературная известность стала уже на такую ступень, что три журнала просили сотрудничества, и все три были удовлетворены тремя произведениями: «Два гусара», «Встреча с московским знакомым» и «Утро помещика», написанными еще на Кавказе [49].

Лето и осень прожил граф в Ясной Поляне, увлекаясь охотой с борзыми, и глубокой осенью отправился из Петербурга в мальпосте до Варшавы и оттуда за границу в Париж [50].

В Париже виделся часто с Тургеневым, Некрасовым, слушал лекции тамошних профессоров, учился по-итальянски.

* Из Парижа ездил с Тургеневым в Дижон, где написал «Альберта».

В 1858 году лето граф жил в Швейцарии [52], где сошелся с Карамзиными [53], Пущиными [54], Рябининым [55] и А. А. Толстой [56], находившейся в то время при в. кн. Марье Николаевне.

* *На полях против слов:* Из Парижа ездил ~ жил в Швейцарии *написано С. А. Толстой:* [Знакомство с Трубецкими, была мысль жениться на княжне Трубецкой, впоследствии графиня Орлова ⟨жена⟩ посланника в Париже][51].

Проездом в Люцерне написал краткий рассказ под заглавием «Люцерн», который напечатал в «Современнике» [57].

Осенью 1858 года граф воротился в Ясную Поляну [58], а потом провел зиму в Москве вместе с братом своим Николаем. Зима эта памятна в жизни графа охотой на медведя, которая чуть не стоила ему жизни. Медведь держал уже [в зубах] во рту правый глаз графа и грыз нижней челюстью щеку, а верхней — лоб, когда на помощь прибежал мужик Архип с хворостинкой в руке и энергическим криком спугнул медведя [59]. В Москве граф посещал так называемый «свет» и первый устроил музыкальное общество с содействием других в доме Киреевой, давшей для этой цели свой дом [60]. В этот год написано было «Семейное счастье» и «Три смерти», последнюю повесть писал он ⟨у⟩ подмосковной родственницы своей, старушки княжны Волхонской, куда он на время уединялся от света [61]. В Москве сошелся он с семейством Аксакова [62].

В 1859 году летом, во время пребывания своего в деревне, впервые пришла графу Л. Н. Толстому мысль о народном образовании и деревенских школах *. В 1860 году с мыслью изучения педагогики отправился граф из Петербурга морем с сестрой за границу. Сначала жил в Берлине и проехал по Германии, встретившись в Содене с братом Николаем, тогда уже больным чахоткой, он с ним вместе отправился в Иер, где писал «О народном образовании» [63].

В Иере умер брат Льва Николаевича, и он сам, заболев сильно кашлем, поехал в Италию — Рим, Неаполь и, наконец, в 1861 в Лондон. [В Лондоне болели страшно зубы, что испортило все и помешало многому] Брюссель. Тут написал он «Поликушку», напечатанную уже в 1862 году в «Русском вестнике» [64].

За границей получил граф Толстой известие о своем назначении от правительства мировым посредником. Это был год освобождения крестьян. С энергией [и добросовестностью] взялся он за это дело, которое стоило больших трудов и усилий [65]. Отдавшись весь делу народному, граф Толстой к деятельности посреднической присоединил деятельность школьную.

В 1861 году он открыл по всем соседним с Ясной Поляной деревням деревенские школы, определил учителей из московских студентов, пострадавших в студенческой истории, и начал издавать педагогический журнал под именем «Ясная Поляна» [66].

Проработав год над этим делом, граф весной 1862 года заболел и, взяв с собой двух любимых учеников яснополянской школы, мальчиков лет 12—13 из крестьян [67], отправился с ними в Самарскую губернию, в степи к башкирцам пить кумыс.

Вернувшись из Самары в августе, граф Толстой женился 23 сентября 1862 года в Москве на 18-летней дочери доктора Андрея Евстафьевича Берса.

Зиму граф Л. Н. провел в деревне Ясной Поляне, продолжая заниматься школами и хозяйством. В эту зиму напечатаны были «Казаки» и «Поликушка» в «Русском вестнике».

После женитьбы [почти] безвыездно жил граф Толстой в Ясной Поляне. Два раза только на короткое время переезжал он с семейством в Москву.

В 1864 году был начат роман «Война и мир». Зимой 1865 года начало его было прочтено в небольшом кружке в Москве и напечатано потом под заглавием «Тысяча восемьсот пятый год» [68]. Живши три месяца в Москве, граф Толстой занимался скульптурой и ходил учиться лепить в рисовальную школу, но скоро бросил, продолжая работать над большим своим

* *На полях:* [осень охота]

произведением. Труд этот продолжался до 1869 года. В год писанья и печатанья 6-го тома «Войны и мира» граф Толстой занялся и увлекся сильно изучением философии, особенно Шопенгауэра и других.

Потом деятельность графа Толстого снова обратилась к педагогике. Он составил свои «Азбуки» и «Книги для детского чтения» [69]. Над этим он работал два года.

После «Войны и мира» граф Толстой делал попытки писанья в различных родах. Он изучал эпоху Петра Великого, пробовал писать роман из этого времени, но оставался всегда недоволен своим началом [70].

Зимой с 1870—1871 года он занялся усидчиво изучением греческого языка. Употребив страшные усилия и изучив язык в три месяца, граф Толстой заболел и снова отправился на кумыс с шурином своим Степаном Андреевичем Берсом [71].

Здоровье его поправилось, силы вернулись. Всю зиму опять провел он, работая над «Азбукой» и занимаясь изучением астрономии.

19 марта 1873 года, прочитав отрывок Пушкина, начинающийся со слов «Гости съезжались на дачу...», граф Толстой вдруг набросал план нового романа. Но лето он, по обыкновению своему, не занимался, а провел с семейством на кумысе и написал воззвание к спомоществованию голодным самарским жителям [72].

Вернувшись в Ясную Поляну, граф взялся за набросанный роман и продолжал его писать под заглавием «Анна Каренина». В эту же зиму 1874 года граф снова обратил внимание на школьное образование, преследовал звуковой метод и написал статью в «Отечественных записках» «О народном образовании» [73].

Литературная деятельность графа, надо надеяться, еще не прекратилась. В настоящее время он продолжает работать, живя безвыездно в имении своем Ясная Поляна, занимаясь хозяйством, воспитанием многочисленной семьи и охотой.

Конец

⟨4⟩

КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНИ гр. Л. Н. ТОЛСТОГО

(написанный его женой)

Варианты из третьей редакции

⟨1⟩

С 1848 года до 1851 года он жил то в деревне, то в Москве, увлекаясь то цыганами, то охотой, то кутежами, то светской жизнью, то занятиями хозяйством и философией, то игрою в карты.

⟨2⟩

На Кавказе начал [свою литературную деятельность] писать [длинный] роман, из которого начало составило «Детство», «О⟨трочество⟩» и «Ю⟨ность⟩».

〈3〉

На Кавказе граф Л. Н. Толстой, кроме охоты и участия в военных действиях, много читал, занимался и вел самый строгий образ жизни, стараясь проживать не более 10 р. в месяц, чтобы уплачивать долги.

〈8〉

В 1859 году, во время пребывания своего в деревне, граф Л. Н. Толстой начал заниматься школой в Ясной Поляне.

В 1860 году с целью изучения педагогики и лечения заболевшего брата Николая отправился он из Петербурга морем с сестрой Марьей Николаевной за границу. Сначала он жил в Берлине и проехал по Германии, изучая сельские школы, потом, съехавшись в Содене с братом Николаем, болезнь которого все ухудшалась, он с ним вместе отправился в Гиер. В Гиере была написана статья «О нар〈одном〉 обр〈азовании〉».

В Гиере умер граф Николай Николаевич. После смерти брата Л. Н., сам больной сильным кашлем, поехал в Италию — сначала в Рим, Неаполь. Оттуда он поехал в Англию.

В Лондоне получил граф Л. Н. Толстой известие о назначении от правительства мировым посредником. [Это было после великого события] во время освобождения крестьян. [Вернувшись] и отправился домой. Л. Н. пробыл по дороге несколько недель в Брюсселе, где написал «Поликушку».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Князь Сергей Федорович *Голицын*. В своих «Воспоминаниях» Толстой утверждает, что семейное предание о том, что он назван был Львом в честь умершего жениха его матери, неверно, так как у С. Ф. Голицына не было сына Льва (т. 34, с. 352).

[2] Татьяна Александровна *Ергольская* (1792—1874) — троюродная тетка Толстого со стороны отца (см. о ней в «Воспоминаниях» Толстого — т. 34, с. 364—367).

[3] Семен Иванович *Языков* (1787—1865) — тульский помещик, опекун малолетних Толстых. О декламировании перед отцом стихотворений Пушкина рассказывает и Толстой в своих «Воспоминаниях» (т. 34, с. 357).

[4] Александр Михайлович *Исленьев* (1794—1882) — дед С. А. Толстой со стороны матери.

[5] Сообщение С. А. Толстой, будто бы мальчик-Толстой выпрыгнул из окна второго этажа, будучи заперт в комнате, по-видимому, не соответствует действительности. М. Н. Толстая иначе передавала этот эпизод (П. И. Бирюков. Биография Льва Николаевича Толстого, т. I. М., 1923, стр. 47). С. А. Толстая, вероятно, спутала этот случай с другим из детства Толстого, произведшим на него глубокое впечатление и описанным в «Отрочестве», когда он за какую-то ничтожную провинность был заперт в комнате гувернером Сен-Тома.

[6] Пелагея Николаевна *Толстая* (рожд. кн. Горчакова) (1762—1838) — бабка Толстого со стороны отца.

[7] Александра Ильинична *фон дер Остен-Сакен* (рожд. Толстая) (1797?—1841)— тетка Толстого со стороны отца. Муж ее — Карл Иванович фон дер Остен-Сакен (1797—1855), остзейский помещик.

[8] Любовь Александровна *Берс* (рожд. Ислявина) (1826—1886).

[9] П. М. Горохов, помещик, которому в 1854 г. был продан на сруб в его имение Долгое большой яснополянский дом.

[10] Александр Алексеевич *Темяшев* (1784—1830-е гг.) — троюродный дядя Толстого, приятель Н. И. Толстого.

[11] Пелагея Ильинична *Юшкова* (рожд. Толстая) (1801—1875) — тетка Толстого со стороны отца. Муж ее — Владимир Иванович Юшков (1789—1869), казанский помещик.

[12] Переезд семьи Толстых в Казань к П. И. Юшковой состоялся осенью 1841 г. («Летопись», I, стр. 20).

[13] Елизавета Александровна *Толстая* (рожд. Ергольская) (1790—1851).

[14] Статья Толстого о симметрии не сохранилась.

[15] Николай Николаевич *Шувалов* (ум. 1885) — студент Казанского университета; упоминается Толстым в «Воспоминаниях», гл. IX (т. 34, с. 382).

[16] Дмитрий Иванович *Мейер* (1819—1856) — профессор гражданского права в Казанском, а затем в Петербургском университете.

[17] Петр Петрович *Пекарский* (1823—1872) — студент Казанского университета, впоследствии академик.

[18] Об Екатерине Дмитриевне *Загоскиной* — см. стр. 532 настоящего тома.

[19] Никита Петрович *Алексеев* — командир батареи, в которой служил Н. Н. Толстой и в которую вскоре поступил и Л. Н. Толстой. Упоминаемое письмо Толстого к Т. А. Ергольской, датированное 22 июня 1851 г. — см. т. 59, с. 102—106.

[20] Перевод части «Сентиментального путешествия» Стерна, сделанный Толстым,— см. т. 1, с. 249—278.

[21] Повесть Толстого «Казаки» была напечатана в 1863 г. в «Русском вестнике», № 1.

[22] Цитата взята из дневника Толстого от 29 марта 1852 г. (т. 46, с. 102). Нами исправлены неточности С. А. Толстой при цитировании.

[23] Отдельные главы «Романа русского помещика» (под заглавием «Утро помещика») были напечатаны в «Отечественных записках», 1856, № 12.

[24] Николай Иванович *Вольф* (1811—1881) — помощник начальника Главного штаба при М. С. Воронцове.

[25] Речь идет, вероятно, о письме Н. Н. Толстого к Л. Н. Толстому от второй половины декабря 1851 г. (АТ). Отрывок из него со строками о Садо опубликован — т. 59, с. 148.

[26] Ф. Г. *Кнорринг* — командир взвода легкой батареи. Характеристика его дана в дневнике Толстого от 4 июля 1851 г. (т. 46, с. 67—68).

[27] Письмо Толстого к Т. А. Ергольской от 12 января 1852 г. (т. 59, с. 159—164).

[28] *Олифер* (ум. 1854)— штабс-капитан батарейной № 4 батареи 20-й артиллерийской бригады. Приказ Олифера об аресте Толстого от 7 марта 1853 г. напечатан — т. 59, с. 241.

[29] Письмо к Т. А. Ергольской от 26 июня 1852 г. (т. 59, с. 188—192).

[30] По дневнику Толстого, «Детство» было отправлено в редакцию «Современника» 4 июля 1852 г. (т. 59, с. 193).

[31] Сообщение С. А. Толстой, будто бы Некрасов написал письмо сестре Толстого с отзывом о «Детстве», неверно. Некрасов познакомился с М. Н. Толстой не ранее 1855 г. Лестный отзыв не о «Детстве», а об «Отрочестве» встречается в письме Тургенева к М. Н. и В. П. Толстым от 4 декабря 1854 г. (И. С. Тургенев. Собр. соч., т. XII. М., 1958, стр. 176).

[32] В октябре 1852 г. появилось несколько отзывов об «Истории моего детства» Толстого: «Отечественные записки», № 10, отд. VI, стр. 84—85 (вероятно, С. С. Дудышкина); «Москвитянин», № 19, отд. «Критика», стр. 106—109 (Б. А<лмазова>) и «Пантеон», № 10, отд. IV, стр. 13.

[33] Дмитрий Александрович *Оболенский* (1822—1881) был в то время председателем Петербургской палаты гражданского суда.

[34] Письмо к Т. А. Ергольской от 29 октября 1852 г. (т. 59, с. 208—209).

[35] Критическая заметка о «Детстве», принадлежавшая, очевидно, С. С. Дудышкину, появилась в № 10 «Отечественных записок» 1852 г. (отд. VI, стр. 84—85).

[36] Александр Павлович *Оголин* — штабс-капитан батарейной № 4 батареи 20-й артиллерийской бригады.

[37] Толстой поступил в Казанский университет в сентябре 1844 г. («Летопись», I, стр. 23).

[38] Толстой уехал в Петербург в феврале 1849 г. Там он держал экзамены на получение звания кандидата университета и успешно выдержал два экзамена: по уголовному праву и гражданскому процессу («Летопись», I, стр. 35).

[39] Толстой в июне 1851 г. участвовал в качестве волонтера в набеге отряда левого фланга Кавказской армии под командой А. И. Барятинского (1814—1879), впоследствии главнокомандующего Кавказской армией.

[40] Илья Андреевич *Толстой* (1813—1879) — двоюродный дядя Толстого со стороны отца.

[41] См. выше прим. 30.

[42] Толстой 19 и 21 октября 1852 г. записал в дневнике программу «Очерков Кавказа»; осуществлена она была частично (т. 46, с. 146).

[43] См. выше прим. 21.

[44] Михаил Дмитриевич *Горчаков* (1791—1861) — троюродный дядя Толстого со стороны отца.

[45] Константин Иванович *Константинов* (1819—1871) — командир Петербургского ракетного заведения.

[46] Перечисленные С. А. Толстой произведения выходили в свет в следующем порядке: «Отрочество» (1854), «Рубка леса» (1855), «Севастополь в августе» (1856) и «Юность» (1857).

[47] По предложению Толстого 15 февраля 1856 г. снялись группой: Тургенев, Островский, Дружинин, Толстой, Григорович и Гончаров.

[48] Валерия Владимировна *Арсеньева* (1836—1909). Письма Толстого к ней напечатаны в т. 60.

[49] Толстого приглашали сотрудничать редакции «Современника», «Отечественных записок» и «Библиотеки для чтения». В «Современнике» Толстой в 1856 г. напечатал очерк «Севастополь в августе» (№ 1), рассказ «Метель» (№ 3) и повесть «Два гусара» (№ 5); в «Отечественных записках» 1856 г.— «Утро помещика» (№ 12); в «Библиотеке для чтения» 1856 г.— «Встреча в отряде с московским знакомым» (№ 12).

[50] Толстой выехал из Москвы через Варшаву за границу 29 января 1857 г. («Летопись», I, стр. 143).

[51] Николай Иванович *Трубецкой* (1807—1874) — двоюродный дядя Толстого со стороны матери; его жена Анна Андреевна (ум. 1882) и их единственная дочь Екатерина Николаевна (1840—1885). Николай Алексеевич *Орлов* (1827—1885) с 1859 г. занимал посты русского посла в государствах Западной Европы.

[52] Толстой провел в Швейцарии март — июль 1857 г. («Летопись», I, стр. 151—161).

[53] Екатерина Николаевна *Карамзина* (в замужестве Мещерская) (1805—1867) и Елизавета Николаевна *Карамзина* (1821—1891) — дочери писателя.

[54] Михаил Иванович *Пущин* (1800—1869) — брат декабриста, и Мария Яковлевна *Пущина* — его жена.

[55] Михаил Андреевич *Рябинин* (1814—1867) — родственник Пущина.

[56] Александра Андреевна *Толстая* (1817—1904) — троюродная тетка Толстого со стороны отца.

[57] Очерк Толстого «Из записок князя Д. Нехлюдова. Люцерн» был напечатан в «Современнике», 1857, № 9.

[58] Толстой вернулся в Ясную Поляну после первого заграничного путешествия 11 августа 1857 г. («Летопись», I, стр. 163).

[59] Этот эпизод Толстой описал в рассказе для детей «Охота пуще неволи» (т. 22, с. 579—589).

[60] Александра Васильевна *Киреева* (1812—1891). По воспоминаниям Толстого, в доме Киреевой (на Б. Никитской) каждую неделю устраивались концерты (Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки. Запись от 14 августа 1905 г. Рукопись. — АТ).

[61] Варвара Александровна *Волконская* (1785—1878) — двоюродная тетка Толстого со стороны матери. В ее имении Соголево близ Клина Толстой в январе 1858 г. писал «Три смерти».

[62] Речь идет о С. Т. Аксакове (1791—1859) и его сыновьях Константине (1817—1860) и Иване (1823—1886).

[63] Статья «О народном образовании» (1862) появилась в журнале «Ясная Поляна», 1862, № 1 (т. 17, с. 71—132).

[64] Повесть «Поликушка» была напечатана в «Русском вестнике», 1863, № 2.

[65] Документы о деятельности Толстого в должности мирового посредника опубликованы Д. Успенским в статье «Архивные материалы для биографии Л. Н. Толстого».— «Русская мысль», 1903, № 9, стр. 76—106.

[66] Журнал «Ясная Поляна» выходил в течение только 1862 г.

[67] Толстой взял с собой в Самару лучших учеников яснополянской школы — Василия Морозова и Егора Чернова.

[68] Толстой в Москве читал А. М. Жемчужникову и И. С. Аксакову 11 декабря 1864 г. первые шесть глав будущего романа («Летопись», I, стр. 304).— Первые главы «Войны и мира» под заглавием «Тысяча восемьсот пятый год» были напечатаны в «Русском вестнике», 1865, №№ 1—2.

[69] Над «Азбукой» Толстой работал в 1871—1872 гг.; вышла в свет в ноябре 1872 г. «Новая азбука» была начата в конце ноября 1874 г.; вышла в свет в 1875 г. Четыре «Русские книги для чтения» первоначально входили в состав «Азбуки»; в 1875 г. вышли отдельным изданием.

[70] Роман из эпохи Петра I был начат в 1870 г. Остался незаконченным. Начала романа напечатаны — т. 17, с. 151—215.

[71] Степан Андреевич *Берс* (1855—1910) — брат С. А. Толстой.

[72] Письмо к издателям (о самарском голоде) (1873) было опубликовано в «Московских ведомостях», 1873, № 207, от 17 августа (т. 17, с. 61—70).

[73] Статья «О народном образовании» была напечатана в «Отечественных записках», 1874, № 9 (т. 17, с. 71—132).

ПИСЬМА ТОЛСТОГО

Е. Н. АХМАТОВОЙ, Е. В. БАРСОВУ, С. И. БИРЮКОВУ, П. П. БОТКИНУ, А. А. ВАСИЛЬЕВУ, Ф.-Д. ГАРРИСОНУ, В. К. ГЕЙНСУ (В. ФРЕЮ), В. ГЕНКЕЛЮ, Г. ДРОЗУ, С. П. ДЯГИЛЕВУ, Е. Д. ЗАГОСКИНОЙ, В. В. ИВАНОВУ, Э. КЛЕРКУ, Э. КОРНМАНУ, Р. ЛЁВЕНФЕЛЬДУ, В. А. и М. А. МАКЛАКОВЫМ, В. А. ОЛСУФЬЕВУ, М. ПЕРРО, С. Т. СЕМЕНОВУ, Н. Л. СОМОВУ, К. С. СТАНИСЛАВСКОМУ, И. Д. СЫТИНУ, И. Л. и М. Н. ТОЛСТЫМ, В. Г. ЧЕРТКОВУ, Т.-А. ЭДИСОНУ

Письма Толстого составляют «третью серию» Юбилейного издания и занимают в нем тридцать один том — с 59 по 89. Тома эти выходили в свет в течение двадцати двух лет (т. 59 вышел в 1935 г., т. 89—в 1957). В них напечатано около восьми с половиной тысяч писем Толстого. Они обращены к почти трем тысячам лиц и написаны за период семидесяти лет жизни Толстого (с 1840 по 1910 г.). В дополнительном томе 90, вышедшем в 1958 г., напечатано еще 190 писем и записок. В конце каждого тома помещен «Список писем Толстого, не имеющихся в распоряжении редакции». В этих списках учтено около полутора тысяч не дошедших до нас писем.

В настоящей публикации печатаются 34 письма Толстого к разным лицам, найденные уже после завершения работы над Юбилейным изданием. Письма расположены в хронологическом порядке. В сериях писем к одному лицу (Е. Н. Ахматовой, В. А. Маклакову, С. Т. Семенову) основой для определения места серии в публикации является дата первого письма. Печатаются не только беловые письма, но и черновики писем, окончательный текст которых не дошел до нас (письма к Г. Дрозу, Э. Клерку и М. Перро).

Е. Н. АХМАТОВОЙ

Публикация Н. Н. Гусева

Переписка Толстого с Елизаветой Николаевной *Ахматовой* (1820—1904) — известной в свое время писательницей и издательницей — возникла по ее инициативе. Поводом к началу переписки послужило чтение педагогических статей Толстого, печатавшихся в журнале «Ясная Поляна». В обширном письме от 30 июля — 6 августа 1862 г. Ахматова писала: «Чем более я читаю ваши статьи в „Ясной Поляне", тем более я удивляюсь, до какой степени ваши взгляды сходятся с моими ⟨...⟩ Ваши слова в одной из ваших статей, что учитель не имеет права притеснять ученика на том основании, что ему только десять или двенадцать лет, когда это такой же человек, окончательно привели меня в восторг, потому что они убедили меня, что мнения мои были не парадоксальны, не эксцентричны, что их могут иметь и другие, не одна я ⟨...⟩ Ваши мнения внушены были вам не только вашей наблюдательностью, но и вашей любовью к человечеству вообще. Вы, заботясь о народном образовании, хотите принести пользу всем русским детям вообще». Далее Ахматова задавала некоторые вопросы относительно воспитания своего семилетнего сына, прибавляя, что на опыте она вполне убедилась в бесплодности принудительного образования.

Ответ Толстого, датированный 1 октября, несомненно, относится к 1862 г. Толстой был очень обрадован письмом Ахматовой. В своем ответе он просил у нее разрешения напечатать в «Ясной Поляне» выдержки из ее письма. Ахматова, очевидно,

сейчас же по получении письма Толстого (ее второе письмо датировано 7 октября 1862 г.) ответила согласием на его просьбу, но журнал «Ясная Поляна» вскоре прекратил свое существование, и письмо Ахматовой в печати не появилось.

Не получив ответа на второе письмо, Ахматова, вероятно в сентябре или в начале октября 1863 г., обратилась к Толстому с новым письмом, в котором, основываясь на слухах о том, что Толстой пишет рассказ из эпохи 1812 года, просила предоставить этот рассказ издаваемому ею детскому журналу «Дело и отдых», надеясь, что имя Толстого привлечет подписчиков к журналу.

Толстой ответил Ахматовой 12 октября (очевидно, того же 1863 г.). Он выражал согласие участвовать в журнале Ахматовой и предоставить ей свой рассказ «о 12-м годе», если он будет написан.

На это письмо Толстого Ахматова ответила 19 октября того же года (письма Ахматовой к Толстому хранятся в Архиве Толстого).

Но «рассказ о 1812 годе», как известно, написан не был, а Толстой создал колоссальную народно-историческую эпопею, которая, разумеется, не могла быть помещена в детском журнале.

Письма Толстого к Ахматовой публикуются по копиям. Местонахождение оригиналов неизвестно.

1

〈Ясная Поляна. 1 октября 1862 г.〉

Милостивая государыня
Лизавета Николаевна!

С тех пор как я занимаюсь школами и журналом, я не слыхал ни от кого слова сочувствия, которое было бы мне столь приятно и драгоценно, как письмо, полученное от вас (я получил письмо третьего дня и спешу ответить. Почему оно пролежало так долго — не понимаю). Дорого мне то, что вы просто вследствие того, что любите своего Сережу и непредубежденно ясно смотрите на мир, дошли до совершенно тех же убеждений, до которых дошел я, мне кажется, иным путем.

На вопросы ваши я чувствую себя не в силах отвечать коротко, ясно и убедительно. Скажу только одно, что план ваш сделать из Сережи архитектора или что бы то ни было, я не могу одобрить. Готовить ребенка к чему-нибудь есть один из самых старых и опасных приемов деспотизма. Вы хотите дать ему верный кусок хлеба, а, может быть, он готовится для того, чтобы всю жизнь быть нищим, великим поэтом или мыслителем.

Другое — в его возрасте (да и всегда) есть только две науки, в пользе которых можно быть твердо уверенным — это язык или языки, искусство выражать и понимать всякие и во всякой форме мысли, и математика. Я бы по крайней мере приохочивал * ребенка только к этим двум наукам.

Письмо ваше душевно тронуло меня. Мне кажется, что по этому письму я понял и узнал в вас давнишнего друга. Но письмо это имеет, кроме того, для меня важное значение как подтверждение не логическое, а жизненное, т. е. что мысли мои не только справедливы как мысли, но и как жизнь, как чувство. Я бы был очень рад, ежели бы можно было напечатать это письмо, разумеется, выпустив имена и все личное. Что вы на это скажете? Во всяком случае я умоляю вас писать мне больше и подробнее и для печати. Вы не можете сами чувствовать всей важности, которую в моих глазах и в глазах публики имеют ваши слова, вытекающие из источника, совершенно противуположного тому, из которого идет большая часть литературы,— из сердца.

---

* *Слово, не разобранное переписчиком. В копии:* пре...чивал? — *Н. Г.*

В другой раз буду писать вам подробнее. Около нового года надеюсь быть в Москве и, может быть, в Петербурге. Надеюсь, что до того времени мы еще перепишемся.

Искренно уважающий вас

Гр. Л. Толстой

1 октября

2

〈Ясная Поляна. 12 октября 1863 г.〉

Милостивая государыня
Елизавета Николаевна! *

Простите меня, пожалуйста, что не отвечал на ваше письмо. На это были причины, которые бы, верно, нашли бы уважительными, ежели бы я был столько нескромен, чтобы вам рассказывать их. Рассказ мой о 12-м годе не написан для печати, и я долго не имею намерений печатать что-нибудь. Участвовать же в вашем журнале мне приятно бы было. Я попробую написать рассказ о 12-м годе. Ежели он мне удастся, я с удовольствием пришлю вам его. Поэтому обещать мне бы ничего не хотелось и поэтому выставлять свое имя, которому вы, мне кажется, ошибочно приписываете какое-нибудь значение. Искренно желаю вам успеха и остаюсь

Уважающий вас гр. Л. Толстой

12 октября
Ясная Поляна

В. А. ОЛСУФЬЕВУ

Публикация А. Л. Смоляк

Когда именно и где Толстой познакомился с Василием Александровичем *Олсуфьевым* (1831—1883) и его первой женой Марией Алексеевной (рожд. Ребиндер) (1831—1866), в точности неизвестно. По-видимому, знакомство произошло в Москве, в конце 50-х годов. В дневниках Толстого упоминания о встречах с Олсуфьевыми (Алсуфьевыми) впервые встречаются в записях 1857—1858 гг. (т. 47, с. 120, 166).

В последующие годы, вплоть до 80-х годов, в сохранившихся письмах и дневниках Толстого нет упоминаний о встречах с Олсуфьевыми. Более близкое бытовое общение с ними установилось с осени 1881 г., когда Толстые стали жить по зимам в Москве. Этому содействовало то обстоятельство, что дом Олсуфьевых на Девичьем поле находился в близком соседстве с домом Толстого в Хамовниках. С. Л. Толстой вспоминал: «Наш знакомый и сосед по дому Василий Александрович Олсуфьев любил играть в винт. Встречались зимой 1882—1883 гг.» (С. Л. Толстой. Очерки былого. М., 1956, стр. 340).

Дочь В. А. Олсуфьева, Анна Васильевна, писала своей матери Александре Григорьевне (второй жене Олсуфьева, рожд. Есиповой) 8 ноября 1882 г.: «Читальные вечера с Толстыми по понедельникам. Читают, как прежде, комедии по ролям. Гр. Толстая хочет также принять участие в этом, и папа и ты, когда вернешься, и граф Толстой. Вечером пришел гр. Толстой...» (ЦГИАМ, ф. 1019, оп. 1, ед. хр. 478). Об отношении Толстого к семье Олсуфьевых — см. также в воспоминаниях П. И. Нерадовского, во 2-й книге настоящего тома.

Дружеские отношения Толстого с Олсуфьевым продолжались до конца жизни последнего (умер 18 апреля 1883 г.).

---

* *В копии ошибочно:* Михайловна.— *Н. Г.*

〈Ясная Поляна.〉 8 апреля 〈1860 или 1862 г.〉

Давно я перед вами виноват, любезный Василий Александрович. Я совсем забыл, что эта книга принадлежит вам. Это тем более дурно с моей стороны, что вам я обязан за много наслаждений, которые мне дали занятия, на которые вы первый навели меня. Я бы очень желал повидаться с вами, чтобы поговорить о многом, но сам не знаю, когда буду в Москве. Вы не поедете ли куда мимо Ясной Поляны; тогда дурно будет, ежели не заедете. Напомните обо мне и передайте низкий поклон всем вашим.

Ваш Л. Толстой

Автограф. ЦГИАМ, ф. 1019 (Олсуфьевых), оп. 1, ед. хр. 408, лл. 1—2.

В Архиве Толстого сохранился следующий ответ Олсуфьева на публикуемое письмо:

Москва. 22 апреля

Не знаю, как вам выразить, любезный граф, то удовольствие, которое мне доставило ваше письмо. Мне как-то все не верится, чтобы мне действительно удалось возбудить в вас любопытство проникнуть в тайны растительной жизни; я убежден, что эти изученья доставят вам непрерывный ряд истинных наслаждений. К сожалению, вы мне отсылаете книгу, тогда, как она вам была бы всего нужнее, при наступлении весны. Сделайте милость располагайте мною, если нуждаетесь в ботанических сочинениях, я берусь вам высылать в Ясные Поляны все, что вам понадобится по этому предмету, вам стоит только мне указать, какую часть ботаники вы намерены изучать.

Моя жена и матушка вам кланяются и велели вам сказать, что, дескать, вы уже довольно насиделись в деревне, пора бы и нас, москвичей, проведать.

Благодарю вас за приглашение приехать в Ясные Поляны, если придется ехать мимо, непременно им воспользуюсь.

Весь ваш Василий Олсуфьев

Ни письмо Толстого, ни ответ Олсуфьева не содержат данных для бесспорного определения года этой переписки. Рамки предполагаемой широкой датировки устанавливаются на основании следующих соображений. Письмо Толстого, помеченное «8 апреля», не могло быть написано ни ранее 1857 г., когда он познакомился с Олсуфьевыми, ни в 1857 г., так как в апреле этого года он находился за границей. Вряд ли можно отнести письмо к 1858 г. Весной этого года, а именно с 11 марта по 9 апреля Толстой находился в Москве. Олсуфьев еще в ответном письме от 22 апреля передает Толстому упреки своей жены и матери: «вы уже довольно насиделись в деревне, пора бы и нас, москвичей, проведать». В следующем, 1859 г. Толстой находился в Москве с 21 марта по 9 апреля. Отпадает далее 1861 г.: в начале апреля этого года Толстой еще путешествовал за границей. С другой стороны, письмо не могло быть написано позднее 1863 г. В этом году умерла мать Олсуфьева — Мария Васильевна (рожд. Нарышкина, по первому мужу де Бальмен). В ответном письме Олсуфьева от 22 апреля он передал ее поклон Толстому. Таким образом, наиболее вероятной датой публикуемого письма является 1860 или 1862 г.

ГЮСТАВУ ДРОЗУ

Публикация Т. Н. Волковой

Французский писатель Гюстав *Дроз* (Droz) (1832—1895) родился в семье художника и сам дебютировал как художник. Он окончил Школу изящных искусств, и жанровые его картины в течение семи лет появлялись на парижских выставках.

С 1864 г. Дроз стал выступать как писатель, помещал в газетах и журналах маленькие сценки и рассказы из парижской жизни. Затем Дроз обратился к созданию произведений крупного жанра. Он стал писать романы. Они имели у современников шумный успех: некоторые из них выдержали до 50 изданий.

Возникновение публикуемого наброска письма к Дрозу связано с чтением Толстым его романа «Баболэн», вышедшего в Париже в 1872 г. (первое издание). В этом романе, названном по имени главного героя, рассказывается история жизни учителя математики, скромного, трудолюбивого, застенчивого человека с нежной душой, очень несчастливого с детства (он рос сиротой), неудачно женившегося на красавице-художнице,

разоренного и брошенного ею. Баболэн умирает никому не нужный и всеми заброшенный, но такой же кроткий и любящий, каким он был всю жизнь.

В письме от 4 февраля 1873 г. к Т. А. Кузминской С. А. Толстая сообщала о чтении романа «Баболэн». «Мы с Левочкой читали вслух и нам очень нравится, очень хорошо, прочти непременно» (АТ).

Под непосредственным впечатлением от только что прочитанного произведения Толстой взялся за письмо к Дрозу. По-видимому, оно осталось неоконченным и было не отправлено.

⟨Ясная Поляна. Начало февраля 1873 г.⟩

Monsieur,

Vous trouverez au bas de cette lettre un de ces noms rempli de consonnes qui ont la vocation de faire tapisserie dans des mauvais romans français.

Mais je vous prie de croire, que le porteur de ce nom est votre véritable ami beaucoup plus que nombre de personnes que vous tutoyez et que vous voyez tous les jours.

Je viens de finir la lecture de votre «Babolain» et je ne puis me défendre du désir de vous dire que cela est et pourquoi cela est à mon avis un chef d'oeuvre.

Il y a 2 ans un de mes amis m'apporta quelques livres Français. Beliot[1] était entre nous [Je suis] ordinairement beaucoup à faire et je ne lus pas...

Перевод:

Милостивый государь!

В конце этого письма вы увидите одно из тех имен со многими согласными, назначение которых присутствовать для виду в скверных французских романах.

Но прошу вас верить, что обладатель этого имени — ваш истинный друг, гораздо более, чем множество тех людей, с которыми вы на «ты» и с которыми вы ежедневно встречаетесь.

Я только что кончил читать вашего «Баболэна» и не могу удержаться и не высказать вам, что, по моему мнению, это — шедевр и почему именно.

Два года назад один из моих друзей принес мне несколько французских книг. Бэлио[1] был между нами. Я обычно очень занят и не прочел...

Черновой автограф, хранящийся в АТ среди рукописей романа «Декабристы».

[1] О чем идет речь установить не удалось.

Э. КЛЕРКУ и М. ПЕРРО

Публикация Т. Н. Волковой

27 июля 1874 г. Толстой обратился к своей двоюродной тетке Александре Андреевне Толстой, подолгу живавшей за границей и имевшей там знакомства, с просьбой найти «в Швейцарии, в самом гнезде педагогов» гувернера и гувернантку для его детей (т. 62, с. 101). Старшему сыну Толстого Сергею было тогда одиннадцать лет, Татьяне — десять, Илье — восемь.

Найти нужных педагогов было очень важно для Толстых: от этого зависело решение, переезжать всей семье в Москву или оставаться в Ясной Поляне. «Переезжать в город, т. е. испортить всю свою жизнь и их тоже, под предлогом их воспитания, я не хочу до последней возможности; поэтому для меня вопрос о помощнике и помощнице для воспитания — гувернеры, гувернантки — вопрос, в последнее время поглотивший

меня всего»,—писал Толстой в этом же письме (т. 62, с. 100—101). Александра Андреевна быстро откликнулась на просьбу племянника и 6 августа отвечала ему: «В Швейцарии есть у меня один человек, к которому могу адресоваться с полной уверенностью, что он совестливо укажет нам человека достойного» («Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой». СПб., 1911, стр. 253). По-видимому, она тут же написала опытному швейцарскому педагогу Максимилиану *Перро* (Maximilien Perrot; ошибочно назван редактором 62 т. — Меем Перро) в Женеву, повторив требования Толстого: «Мои желания вот что: хорошая нравственность, сколь возможно, высокое душевное настроение без педантизма и фарисейства. И лучше всего муж с женою, бездетные или с ребенком от 6 до 11 лет. Остальных условий никаких. Национальность — все равно: немец, француз, англичанин, русский — только бы европеец и христианин» (т. 62, с. 101).

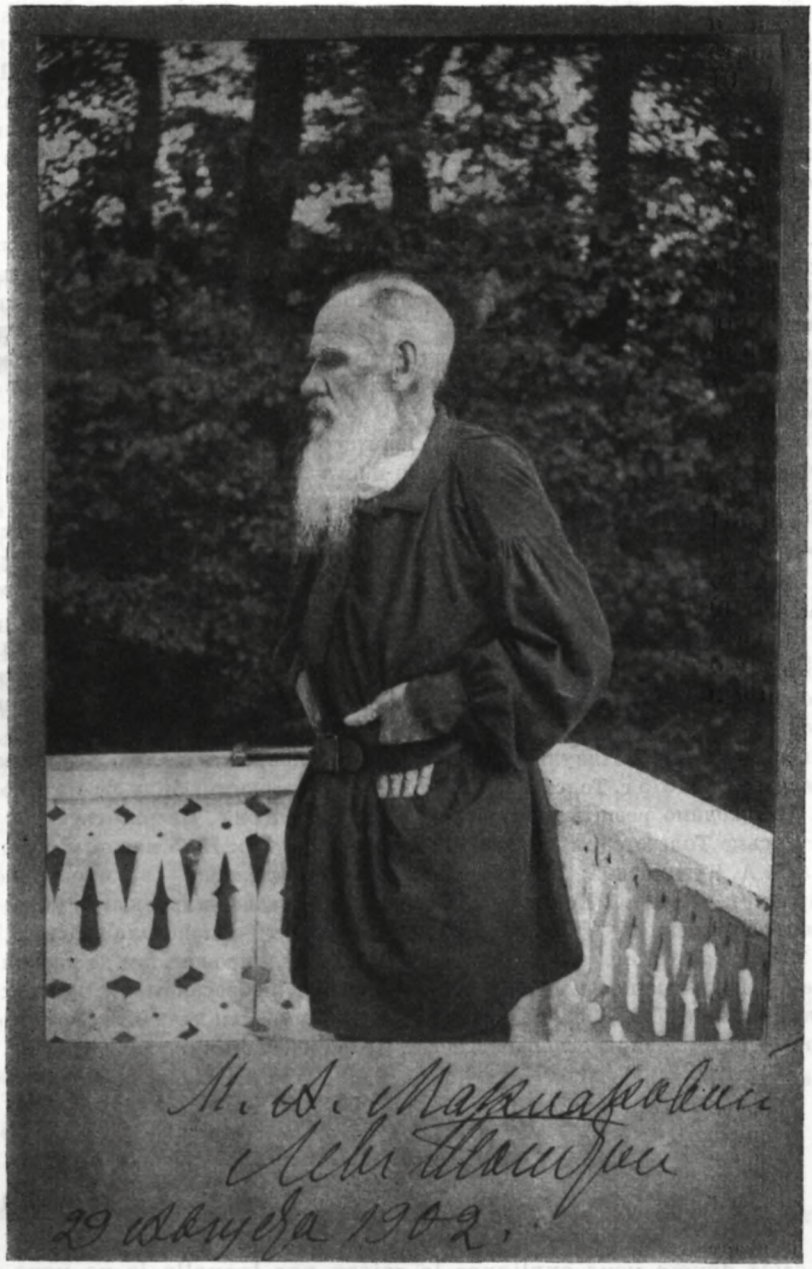
Перро деятельно и охотно принялся за выполнение поручения Толстого, причем стал уже сноситься непосредственно с ним самим. В Архиве Толстого хранятся семь писем Перро. В первом, от 21 ноября/3 декабря 1874 г., Перро писал: «Я получил ваше письмо от 14 ноября, которого я ожидал для того, чтобы более энергично продолжать мои поиски ⟨...⟩ Вы сообщаете мне все необходимые подробности относительно преподавателя, но что касается гувернантки, то я все еще не в состоянии ответить на вопрос, который был мне задан сначала ⟨...⟩ Под *совершенным* владением французским языком понимаете ли вы, что она должна только в совершенстве говорить на этом языке или же она должна знать и преподавать этот язык ⟨...⟩ Я хотел найти *брата* и *сестру*, которые отнеслись бы к своему делу со всей серьезностью и надолго стали бы для вас настоящими помощниками. Находились, правда, молодые люди, готовые поступить, но они хотели остаться за границей год-два, не больше. Если я правильно понял вашу мысль, это — не то, чего вы хотите. Я написал также в Невшатель, который поставляет хороших людей ⟨...⟩ Мне кажется, что с жалованьем ⟨...⟩, которое вы предлагаете, я буду затруднен в выборе».

Толстой был, по-видимому, доволен ответом Перро. Во второй половине декабря 1874 г. он извещал А. А. Толстую: «Перро очень мил, и я надеюсь, что он мне устроит. Я чрезвычайно благодарен вам и ему. Что он за человек? И чем можно отблагодарить его?» (т. 62, с. 131).

До сих пор была известна только одна телеграмма Толстого к Перро от начала мая 1875 г. (т. 62, с. 180). Два его письма, от 2/14 ноября 1874 г. и от начала марта (?) 1875 г., до нас не дошли (см. т. 62, с. 520—521). О чем же писал Толстой в этих письмах?

«Я получил ваши два последние письма, где вы даете мне некоторые ценные указания, которые облегчат мне поиски»,— отвечал Перро Толстому 13/25 марта 1875 г. В тот же день писал Толстому и знакомый Перро — женевский педагог А. Демóн (Demont): «Уяснив себе ваши требования и пожелания, высказанные в ваших письмах, которые находятся у меня перед глазами, я полагаю, что могу предложить вам нескольких солидных кандидатов». 13/25 января 1875 г. Перро рекомендовал Толстому очень понравившегося ему педагога: «Одновременно с настоящим вы получите письмо от воспитателя, который предлагает вам свои услуги. Г-н Эдуард Клерк (Clerc), уроженец Невшателя, уже был воспитателем в Бухаресте ⟨...⟩ Он надеется выполнить всю вашу программу, с которой я его подробно познакомил. По этому поводу он вам подробно напишет. Что касается вознаграждения, я не решился обещать ему 1600 р., которые вы назначили как максимум. Я не договорился с ним, предпочитая, чтобы вы снеслись с ним непосредственно ⟨...⟩ Я его спрашивал о его религиозных убеждениях, так как, судя по тому, что мне писала ваша кузина, я не мог выбрать неверующего. Г-н Клерк сказал мне, что не имеет определенных религиозных убеждений, но больше всего связан с так называемыми евангелическими христианами».

Письма Э. Клерка к Толстому не сохранились. Договориться с педагогами на расстоянии между Ясной Поляной и Женевой было очень трудно: возникло недоразумение в связи с объемом знаний Клерка (он честно признался в письме к Толстому, что немного забыл математику и греческий язык) и предлагаемым Толстым вознаграждением: от 1200 до 1600 р. в год. Одно из публикуемых нами писем является черновиком ответа Толстого Клерку, где он пытается разъяснить возникшее недоразумение.



ТОЛСТОЙ

Фотография с дарственной надписью: «М. А. Маклаковой Лев Толстой. 29 августа 1902 г.»

Архив Толстого, Москва

Но, по-видимому, Клерк, не дожидаясь ответа Толстого, написал ему сам (второе письмо) и отказался принять место педагога в его доме. 13/25 марта 1875 г. и Перро уже извещает Толстого, что Клерк предпочел устроиться где-то в Эльзасе. Тут же он пишет, что по состоянию здоровья должен передать дело поисков педагога владельцу конторы по приисканию учителей для семьи и школы в Женеве — А. Демóну. Однако Перро не совсем устранился от помощи Толстому: 17/29 марта и 10/22 апреля он писал ему о различных кандидатах для Ясной Поляны. Наиболее подходящими казались ему окончивший гимназию во Фрейбурге двадцатитрехлетний Жюль Ре (Rey) и его сестра.

По-видимому, Толстой задал Демóну ряд вопросов о Ре, потому что последний сообщил в обширном письме на имя Женевской конторы для учителей 15/27 апреля 1875 г. следующее: «Я отвечу поочередно на все вопросы, поставленные господином графом Толстым ⟨...⟩: 1. Какой обычный уровень знаний древних языков в швейцарских гимназиях? 2. Успешно ли г-н Ре учился древним языкам? 3. Занимался ли он математикой после окончания гимназии? 4. Которая из трех отраслей преподавания известна ему лучше других? 5. Что изучал он в университете? 6. Какой отраслью науки он интересуется и занимается? 7. Какое он хочет вознаграждение? 8. Каково образование мадемуазель Ре?».

Ответы Жюля Ре, пространные и малоинтересные, мы не приводим.

Пересылая Толстому письмо Ре, Демóн писал 25 апреля/7 мая 1875 г.: «Я получил два письма, которые вы благоволили мне послать ⟨они неизвестны. — *Т. В.*⟩. Если я несколько задержался с ответом, то это потому, что должен был списаться с г-ном Ре и мадемуазель Ре и что последняя несколько колеблется перед тем, как решиться дать ответ, поедет ли она со своим братом или же отсрочит свой приезд в соответствии с вашими предложениями ⟨...⟩ Что же касается г-на Ре, то он согласен вступить в должность уже вашего 1 июня, если вы сочтете возможным его взять на основании прилагаемого письма, в котором вы найдете ответы на поставленные вами вопросы».

Все письма швейцарских педагогов к Толстому (подлинники по-французски) хранятся в его архиве.

Поиски педагогов затянулись. Толстые торопились ехать на лето в самарское имение. В начале мая 1875 г. Толстой посылает Перро телеграмму: «Жду ответа относительно Рея. Необходимо решить немедленно. Уезжаем 7 июня. Письмо следует» (т. 62, с. 180). Письмо Толстого от мая 1875 г. не дошло до нас. Но 5 мая он с облегчением сообщал Т. А. Кузминской: «Важное же семейное событие наше — это окончание дела с швейцарцем м-г Rey ⟨...⟩ Если оно удастся, то воспитание мальчиков до университета будет вопрос решенный» (т. 62, с. 181). Мадемуазель Ре приехала в Ясную Поляну только 30 октября 1875 г., а Жюль Ре приехал 4 июня и прожил там до января 1878 г.

Все публикуемые письма Толстого — черновики, набросанные на рукописи романа «Декабристы» (АТ 9203/5). В письмах №№ 2—4 имеются варианты, которые мы не приводим. Датируются на основании писем Перро к Толстому.

1

ЭДУАРДУ КЛЕРКУ

⟨Ясная Поляна. Февраль 1875 г.⟩

Monsieur.

Je crois devoir vous expliquer la raison par laquelle je ne vous proposais pas le max⟨imum⟩ du traitement que j'avais fixé à M-r Perrot.

Je désirais avoir un précepteur pour la surveillance de mes enfants et pour leur enseigner outre le Français et l'Allemand, le Grec, le Latin et les Mathématiques, que j'enseigne jusqu'à présent moi-même. Dans le cas qu'il se trouve un précepteur capable de me remplacer auprès de mes enfants pour les trois leçons, je fixais à M. Perrot le max⟨imum⟩ de traitement 1600 r.

Vous m'avez écrit que vous avez pu oublier le Grec et les Mathématiques (j'apprécie beaucoup le sentiment qui vous a poussé à le dire) mais que vous espérez à vous le remettre en mémoire et supposez que le premier

temps il faudra que je continue à m'occuper moi-même de mes enfants, dont l'ainé est assez avancé pour le Grec et les Mathématiques. Il traduit depuis deux ans Xenophonte et en est assez avancé ⟨?⟩.

J'ai cru juste de vous proposer les appointements de 1200 en attendants que vous ne me remplaciez en tuteur pour toutes les disciplines ⟨?⟩.

J'ai pu m'être trompé et je m'empresse de rétablir mes conditions.

Si vous êtes en état de me remplacer pour les deux⟨?⟩ leçons ⟨?⟩ de Grec, de Mathématiques, je propose 1600, si n⟨on?⟩ j'offre 1200.

Перевод:

Милостивый государь.

Мне кажется, я должен объяснить вам причину, по которой не предложил вам то наивысшее вознаграждение, которое назначал через г-на Перро.

Мне хотелось иметь воспитателя для надзора за моими детьми и чтобы учить их, кроме французского и немецкого языков, греческому, латыни и математике, которые до сих пор я преподаю им сам. Если бы нашелся преподаватель, способный заменить меня по этим трем предметам, я назначал г-ну Перро наивысшее вознаграждение — 1600 р.

Вы мне написали, что, возможно, забыли греческий язык и математику (я очень ценю то чувство, которое толкнуло вас это высказать), но надеетесь восстановить все в своей памяти и предполагаете, что первое время мне нужно будет самому продолжать занятия с моими детьми, из которых старший довольно подвинут в греческом языке и математике. Он уже два года переводит Ксенофонта и довольно силен в этом ⟨?⟩.

Мне казалось справедливым предложить вам вознаграждение в 1200 р. пока вы не сможете заменить меня в преподавании по всем предметам ⟨?⟩.

Возможно, я ошибся и спешу повторить мои условия.

Если вы в состоянии заменить меня по двум ⟨?⟩ предметам ⟨?⟩, греческому языку и математике, я предлагаю 1600 р., если нет ⟨?⟩, я даю 1200 р.

Письмо отправлено не было.

2

МАКСИМИЛИАНУ ПЕРРО

⟨Ясная Поляна.
Конец февраля — начало марта 1875 г.⟩

Monsieur.

J'ai reçu une lettre de M-r Clerc dans laquelle il refuse de se placer...

Перевод:

Милостивый государь.

Я получил письмо г-на Клерка, в котором он отказывается поступить...

3

МАКСИМИЛИАНУ ПЕРРО

⟨Ясная Поляна.
Конец февраля — начало марта 1875 г.⟩

Monsieur!

J'allais écrire à M-r Clerc et j'espérais m'arranger avec lui lorsque je reçus la nouvelle qu'il s'était engagé ailleurs. Je le regrette beaucoup. J'avais l'intention d'écrire à M-r Clerc que je me fie à lui pour fixer le chiffre de ses appointements.

D'après la lettre de M-r Clerc j'ai cru voir qu'il ne se sentait pas en état d'enseigner tout de suite le Grec et les Mathématiques (sans parler de l'Allemand). Ne s'en étant pas occupé après avoir fini ses études il a dû avoir oublié le Grec et les Mathématiques ce qui arrive ordinairement.

Il m'écrit qu'il aurait pu se ressouvenir de ce qu'il connaissait, supposant qu'il n'en aura pas besoin tout de suite.

Pour le Grec mon fils aîné l'étudie depuis deux ans et il fait du Thème de Traductions. Pour les Mathématiques nous en sommes aux équations du 2 degrè. De sorte que pour me remplacer dans...

Перевод:

Милостивый государь!

Я собрался было писать г-ну Клерку и надеялся, что сговорюсь с ним, когда пришло известие, что он поступил на место. Я очень об этом сожалею. Я хотел написать г-ну Клерку, что доверяю ему самому установление размеров его жалованья.

По письму г-на Клерка я увидал, что он не чувствует себя в состоянии начать немедленно преподавание греческого языка и математики (не говоря о немецком языке), так как не занимался этим с тех пор, как кончил учиться и забыл греческий и математику, что обычно бывает.

Он мне пишет, что намеревается вспомнить все, что знал, предполагая, что это ему не сразу понадобится.

Мой старший сын изучает греческий язык уже два года и делает переводы. По математике мы проходим уравнения 2-й степени. Таким образом, чтобы заменить меня по...

4

МАКСИМИЛИАНУ ПЕРРО

〈Ясная Поляна.
Конец февраля — начало марта 1875 г.〉

Monsieur,

Je suis véritablement désolé du malentendu qui a rendu vos recherches infructueuses et qui m'a privé de M-r Clerc que je désirais 〈?〉 beaucoup à engager.

En fixant le maximum des honoraires à 1600 r. pour un précepteur j'exigais aussi un certain maximum de connaissances non par ma fantaisie, mais par le plan de l'éducation et par l'état d'un 〈*1 нрзб.*〉 de la France 〈?〉.

En faisant mon programme je ne me suis pas dit: il serait bien qu'un précepteur connaisse ceci et cela, mais je me suis dit: je donne à mes enfants des leçons de Latin, de Grec et des Mathématiques et d'Allemand. Plus le précepteur pourra me remplacer, plus j'aurais de loisir et plus je pourrais lui payer.

Si un précepteur peut enseigner toutes ces branches, je lui paye le maximum, si non, je lui paye encore 〈?〉moins. Il se trouve que M-r Clerc, doutant lui-même de sa capacité d'enseigner le Grec et les Mathématiques exigeait le maximum. D'après ce que M-r Clerc m'écrit dans sa dernière lettre je vois qu'il suppose que mes enfants n'ont pas encore commencé ni le g〈rec〉, ni l'algèbre et qu'il aurait eu le temps de se ressouvenir de ce qu'il savait et ce qu'il avait oublié.

Mais mon fils aîné est assez avancé pour son âge et en est en Algèbre 〈?〉 aux équations de 2 degré et pour le Grec fait des traductions du Xenophonte. De sorte que j'aurais dû m'occuper moi-même 〈*1 нрзб.*〉 ces deux leçons jusqu'à ce que je ne fusse convaincu que M-r Clerc est en état de bien enseigner sans donner trop de peine inutile à son élève.

C'est la cause que j'ai proposé 1200 r. pour la ⟨*1 нрзб.*⟩ et que j'avais l'intention de proposer à M-r Clerc de fixer lui-même ses honoraires conformémant du degrès auquel il aurait rempli le programme.

Vous ne saurez croire, M-r, combien je suis touché de la bonté, de la patience avec laquelle vous vous occuper de mes affaires. Si par hasard il se trouvait que M-r Clerc est encore disponible je l'engage beaucoup à accepter mes propositions. Il serait bien que ce n'est par un excès de délicatesse qu'il...

Перевод:

Милостивый государь.

Я действительно в отчаянии от недоразумения, сделавшего бесплодными ваши поиски, а меня лишившего г-на Клерка, которого мне очень хотелось ⟨?⟩ пригласить.

Назначив для преподавателя наивысшее вознаграждение в 1600 р., я потребовал также и известного уровня знаний, что не было моей выдумкой, но соответствовало плану образования и состоянию ⟨*1 нрзб.*⟩ Франции ⟨?⟩.

Я не говорил себе, составляя программу: хорошо, если бы преподаватель знал то и это, но я сказал себе: я даю моим детям уроки латыни, греческого языка и математики и немецкого. Чем больше сможет меня заменить преподаватель, тем более будет у меня свободного времени и тем больше смогу я ему заплатить.

Если преподаватель сможет преподавать все предметы, я буду платить ему максимум, если нет, я плачу ему еще ⟨?⟩ меньше. Оказалось, что г-н Клерк, сам сомневаясь в своей возможности преподавать греческий язык и математику, требует наивысшего вознаграждения. Судя по последнему письму г-на Клерка ко мне, я вижу, что он предполагает, что мои дети еще не начали ни г⟨реческого языка⟩, ни алгебры и что у него будет время восстановить в памяти все, что он знал и запамятовал.

Но мой старший сын довольно подвинут для своего возраста и в алгебре ⟨?⟩ — уравнения второй степени — и в греческом языке — делает переводы из Ксенофонта. Так что мне самому придется заниматься ⟨*1 нрзб.*⟩ этими двумя предметами, пока я не буду уверен, что г-н Клерк в состоянии хорошо учить, не утруждая излишне своего ученика.

Поэтому я и предложил 1200 р. за ⟨*1 нрзб.*⟩ и имел намерение предложить г-ну Клерку самому назначить вознаграждение, согласно с тем, насколько он сможет выполнить программу.

Вы не поверите, милостивый государь, насколько я тронут добротой и терпением, с которыми вы занимаетесь моими делами. Если случайно выяснится, что г-н Клерк еще свободен, я очень хотел бы, чтобы он принял мои предложения. Было бы хорошо, если бы не от избытка деликатности...

Е. В. БАРСОВУ

Публикация М. Я. Блинчевской

Переписка Толстого с Елпидифором Васильевичем *Барсовым* (1836—1917) — известным исследователем произведений народного творчества и древнерусской письменности до настоящего времени не была известна. Об их знакомстве и отношениях мы знали лишь из нескольких мемуарных свидетельств Барсова, переданных третьими лицами. В. А. Гиляровский вспоминает рассказы Барсова о том, как к нему, обладателю богатого собрания древних рукописей, в 70-х годах «захаживал» «советоваться насчет

материалов для своих работ» Толстой. Есть у Гиляровского и дословно записанный рассказ Барсова (от 25 июня 1901 г.) о его встречах с Толстым. В рассказе этом находим следующие строки, характеризующие интерес Толстого ко времени и личности Петра:

Толстой «у меня несколько раз был, когда приезжал в Москву. Это было в 78 и 79 годах. Он тогда писал новый роман „Петр I". Много о Севере расспрашивал, о древних людях. *А потом приходит как-то ко мне и говорит:*

— Я пока остановился писать „Петра": ничего раскола не понимаю. — И засыпал меня вопросами о расколе. Потом уж я напечатал в „Русском обозрении "статью„ Петр и раскол" ⟨у Гиляровского ошибочно: „Толстой" вместо „раскол" — *М. Б.*⟩. *Это был мой ответ Льву Николаевичу» (В. А. Гиляровский. Москва и москвичи. М., 1955, стр. 424).*

1

⟨Москва. 1 марта 1873 г.⟩

Милостивый государь,

(Потерял вашу карточку и не знаю имени, отчества, пожалуйста, напишите.)

Очень благодарен вам за ваши прекрасные книги. Предания о Петре прелестны [1]. И как верно вы говорите, что народ указал на основные черты его характера, который вы так выпукло выставляете [2]: самое подробное изучение, тончайший душевный анализ и непосредственное чутье певца приводят к одному и тому же.

В первый приезд в Москву постараюсь упрочить так бегло начатое с вами знакомство и побываю у вас, если позволите.

Искренно уважающий вас

Гр. Л. Толстой

1 марта

Автограф. АТ.

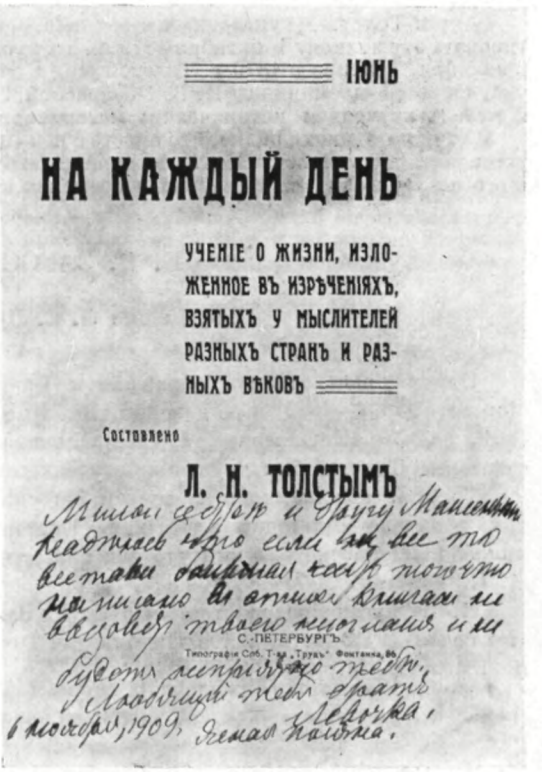
Публикуемое письмо, вероятно, написано 1 марта 1873 г. Этот год — время интенсивной работы Толстого над романом из эпохи Петра I. Известно, что в связи с собиранием материалов для романа Толстой вел оживленную переписку с фольклористом П. Д. Голохвастовым, а 13—15 февраля 1873 г. был в Москве, где и могло состояться «бегло начатое» знакомство с Барсовым, о котором тот пишет. Такому предположению не противоречит и самый характер высказываний Толстого в письме о Петре I: известно, что отношение к личности Петра I в первый период работы Толстого над романом (ноябрь 1872 — март 1873) сменилось, в период вторичного возвращения к этой работе (январь — май и сентябрь — октябрь 1879), резким переосмыслением деятельности Петра I, которая подверглась затем самому крайнему осуждению (см. кандидатскую диссертацию Б. А. Базилевского «Незавершенные романы Л. Н. Толстого из эпохи Петра I и второй половины XVIII века». М., 1951). Косвенным подтверждением датировки является и дата цензурного разрешения упоминаемой здесь книги — «Петр Великий в народных преданиях Северного края» — 6 июня 1872 г. Не лишено основания предположение составителя описания библиотеки Толстого, В. Ф. Булгакова, о том, что, судя по почерку и чернилам, время присылки всех книг Барсова с авторскими надписями (без дат), имеющихся в этой библиотеке, соответствует времени их издания (сообщено в письме В. Ф. Булгакова к автору настоящих строк).

[1] Толстой, несомненно, благодарит за книгу «Петр Великий в народных преданиях Северного края, собранных Е. В. Барсовым» (М., 1872) — на обложке экземпляра этой книги, хранящегося в библиотеке Толстого в Ясной Поляне, надпись: «Льву Николаевичу графу Толстому от Е. Барсова». О каких еще книгах идет в письме речь — неизвестно. Две другие книги Барсова с авторскими надписями, хранящиеся в библиотеке Толстого, были предподнесены ему, судя по годам издания, позднее. Это: «Богатырское слово в списке начала XVII века, открытое Е. В. Барсовым» (СПб., 1881), с надписью на обложке: «Глубокоуважаемому графу Льву Николаевичу Толстому от Евг. ⟨?⟩ Барсова», и «Причитанья Северного края, собранные Е. В. Барсовым, ч. 2. Плачи завоенные, рекрутские и солдатские» (М., 1882), с надписью на титульном листе: «Многоуважаемому графу Льву Николаевичу Толстому приносит с любовью Собиратель» («Библиотека Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне. Книги на русском языке», ч. I. М., 1958, стр. 45). По всей видимости, в библиотеке сохранились не все

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ТОЛСТОГО М. Н. ТОЛСТОЙ НА КНИГЕ «НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ» (СПб., 1909):

«Милой сестре и другу Машеньке. Надеюсь, что если не все, то все-таки большая часть того, что написано в этих книгах, не вызовет твоего несогласия и не будет неприятно тебе. Любящий тебя брат Левочка. 6 ноября. 1909. Ясная Поляна».

Архив Толстого, Москва


ІЮНЬ

НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

УЧЕНІЕ О ЖИЗНИ, ИЗЛОЖЕННОЕ ВЪ ИЗРѢЧЕНІЯХЪ, ВЗЯТЫХЪ У МЫСЛИТЕЛЕЙ РАЗНЫХЪ СТРАНЪ И РАЗНЫХЪ ВѢКОВЪ

Составлено

Л. Н. ТОЛСТЫМЪ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

книги, подаренные Барсовым Толстому. Возможно, что вместе со сборником преданий о Петре I Толстой получил от Барсова и первую часть последней из названных выше книг — «Причитанья Северного края» (М., 1872).

[2] Толстой имеет в виду слова Барсова из вступления к книге «Петр Великий в народных преданиях Северного края» о том, что собранные им предания «дороги теми нравственными чертами, в которых рисуется народный образ Петра I», а также характеристики этих черт в пояснениях Барсова к тому или иному преданию. Так, собиратель подчеркивает, что «особенно велик Петр I в глазах народа ⟨...⟩ тем, что он „*на царском троне был работник*“ ⟨...⟩ ходил пешком по болотам, отдыхал в жилищах, рубил бревна и т. п.», пишет о том, что в преданиях отражена «близость Петра к народу», которая «возбуждала соревнование». Например, «Рассказ о том, как Петр Великий хлопотал об устройстве Мариинской системы», показывает, по словам Барсова, что «мысль о соединении волжских вод с северными не была кабинетным вдохновением гения Великого Петра, а подсказана ему самим народом». И вместе с тем предания говорят, как пишет Барсов, что Петр, «преследуя будущее благо государства, не щадил наличных сил и даже самой нравственности народа» («Рассказ о том, как Ладожский канал копали»). Другие предания, по словам Барсова, подчеркивают такие черты характера Петра, как «всюду проникающий и испытующий взор его», то, что Петр «не терпит ослушания» («Рассказ о том, как Петр Великий ездил в Соловки на богомолье»), знакомит «с народным воззрением на отношения Петра Великого к патриарху» («Рассказ о войнах Петра Великого со шведами»), рисуют Петра «великаном, богатырем, повелителем моря и ветра» («Рассказ о встрече Петра I со шведским королем на Ладожском море», «Рассказ о том, как Петр Великий ездил в Соловки на богомолье»).

2

⟨Москва. 1 октября 1879 г.⟩

Граф Лев Николаевич Толстой препровождает книги к *Ельпидифору Васильевичу Барсову* и просит известить, что завтра 2 октября будет дома до 12-ти часов. Кудрино, Конюшки, д. Ладыженской, кв. кн. Оболенского.

Записка написана рукой неустановленного лица. ГИМ, ф. 450 (Барсова), ед. хр. 884.

Адрес Толстого, указанный в записке,— «кв. кн. Оболенского» — позволяет датировать эту записку 1 октября 1879 г., а предполагавшуюся встречу — соответственно 2 октября. Именно в 1879 г. Толстой жил с 27 сентября по начало октября в Москве, у мужа своей племянницы Е. В. Оболенской, Л. Д. Оболенского, занимаясь в архивах и музеях изучением исторических материалов для начатого романа.

Из текста записки видно, что вместе с ней «препровождены» были и книги, какие — установить не удалось. Весьма возможно, что речь шла о книгах, нужных Толстому в его исторических розысканиях и временно взятых им у Барсова.

Е. Д. ЗАГОСКИНОЙ

Публикация Л. С. Пустильник

Публикуемая записка обращена к Екатерине Дмитриевне *Загоскиной*, рожд. Мертваго (1807—1885) и ее дочерям: Варваре Николаевне, в замужестве Краснокутской, и Софье Николаевне (ум. 1922), бывшей замужем за юристом А. С. Оголиным, с которым Толстой был дружен со студенческих лет.

Толстой познакомился с семьей Загоскиных и стал постоянным посетителем их дома в начале 40-х годов в Казани. Екатерина Дмитриевна была здесь начальницей Родионовского института для благородных девиц, в котором воспитывалась М. Н. Толстая.

Н. Н. Гусев предполагает, что Е. Д. Загоскина послужила прототипом матери Нехлюдова в «Юности» («Лев Николаевич Толстой. Материалы для биографии с 1855 по 1869 год». М., 1957, стр. 144).

〈Киев. 16 июня 1879 г.〉

Милые друзья Катерина Дмитриевна, Варвара и Софья Николаевны, простите меня, пожалуйста, за то, что не приехал к вам проститься, а уехал. Устал и соскучился по семье.

Благодарю вас за дружбу, целую ваши руки и желаю всего лучшего. Бог даст побываю еще в Киеве и тогда увижу всех.

Ваш Л. Толстой

〈*Адрес:*〉 Ее превосходительству
Варваре Николаевне Краснокутской.

Автограф. ЦГИАМ, коллекция отдельных документов личного происхождения, ф. 1463, оп. 1, ед. хр. 640.

Письмо датируется временем пребывания Толстого в Киеве, куда он приехал 14 июня 1879 г. (см. письмо к С. А. Толстой от 14 июня 1879 г. В этом же письме Толстой сообщал: «Послезавтра наверное выеду...» — т. 83, с. 271). Как следует из публикуемого письма, оно написано перед отъездом из Киева, т. е., очевидно, 16 июня 1879 г. (см. также «Летопись», I, стр. 260—261).

М. Н. ТОЛСТОЙ

Публикация С. А. Розановой

Письмо Толстого адресовано его сестре Марии Николаевне *Толстой* (1830—1912) (в Юбилейном издании напечатано 27 писем и одна телеграмма к ней писателя). Публикуемое письмо является 28-м из известных нам писем Толстого к сестре.

〈Москва. Начало — середина 1880-х годов〉

Вот, милый друг Машенька, у тебя не задается прислуга, а ко мне пришла женщина, ищущая место горничной.

Редко мне так нравилась бедная просительница. И симпатичная, и прямая, и жалкая, и, очевидно, работящая. Она дочь чиновника, жена больного телеграфиста. Поговори с ней, может быть вы сойдетесь.

Л. Толстой

Автограф. ЛБ, ф. А. А. Фета, № 315, к. 11, ед. хр. 46.

На конверте рукой М. Н. Толстой написан адрес: «Ее высокоблагородию Марье Петровне Шеншиной», а на обороте письма — строки: «Не можете ли, милая Марья Петровна (вы такая добрая), куда-нибудь пристроить эту особу, у вас много знакомых; я бы рада ее взять, но у меня даже места даже <!> нет в доме. Душой вам преданная гр. М. Толстая».

Письмо датируется началом — серединой 80-х годов, на следующих основаниях: 1) М. П. Фет стала именоваться Шеншиной только с 1874 г., после того, как 26 декабря 1873 г. последовал Указ, дозволяющий Фету носить фамилию Шеншин. 2) На конверте нет почтового штемпеля. Письмо Толстого так же, как письмо Марии Николаевны, несомненно, было переслано с посыльным. Это свидетельствует о том, что оно могло быть написано только тогда, когда Толстой, его сестра и Феты одновременно жили в Москве, т. е. в 80-е годы. В 1881 г. Толстыми был куплен дом в Хамовниках, в 1884 г. Шеншиными — дом на Плющихе, и в эти же годы Мария Николаевна, вернувшись из-за границы, проводила зимы в Москве.

П. П. БОТКИНУ

Публикация М. Я. Блинчевской

Петр Петрович *Боткин* (1831- 1907) — московский чаеторговец, брат литератора Василия Петровича Боткина и жены Фета Марии Петровны. Толстой познакомился с ним, по-видимому, в 50-х годах. Как о своем знакомом Толстой упоминает о П. П. Боткине в письме к Фету от 28 июня 1860 г. (т. 60, с. 344).

<Москва. 1860 — 80-е годы>

Многоуважаемый Петр Петрович!

Хотел воспользоваться случаем (того, что мне нужно чая) побывать у вас и повидать вас и ваше семейство; но до сих пор не успел. Надеюсь еще успеть, особенно, если скажете, когда вы дома. Теперь покорная просьба как всегда — цибик хорошенького чая. И если будете так добры — прикажите прислать нынче.

Ваш покорный слуга
Гр. Лев Толстой

<*Адрес*:> Его высокоблагородию
Петру Петровичу Боткину.

Автограф. АТ.

Датируется по почерку не позднее 80-х годов.

В. К. ГЕЙНСУ (ВИЛЬЯМУ ФРЕЮ)

Публикация М. И. Перпер

В сентябре 1885 г. Толстой получил из Петербурга большое письмо. Автор его горячо убеждал Толстого переменить свои взгляды и принять более разумную, по мнению писавшего, и необходимую для счастья людей «религию человечества», созданную Огюстом Контом. Толстой пригласил к себе автора письма, «американского гражданина» Вильяма Фрея, пропагандиста контовского позитивизма.

Фрей приехал в Ясную Поляну из Петербурга и провел там пять дней, с 7 по 12 октября. Они прошли в беседах и спорах с Толстым. После отъезда гостя Толстой писал Т. А. Кузминской: «Без тебя был Фрей — ты слышала — он интересен и хорош не одним вегетарианством. Жаль, что ты не была при нем. Ты бы многое узнала. У меня осталась от него самая хорошая отрыжка. Я много узнал, научился от него, и многое — мне кажется — не успел узнать. Он интересен тем, что от него веет свежим, сильным

молодым, огромным миром американской жизни (...) Он 17 лет прожил большей частью в русских и американских коммунах, где нет ни у кого никакой собственности, где все работают не „головой", а руками и где многие и мужчины и женщины счастливы очень» (т. 63, с. 289).

Толстой настолько проникся симпатией и уважением к Фрею, к его душевным качествам, уму, разностороннему опыту и обширным знаниям, что собирался сделать его одним из главных сотрудников задуманного им в то время журнала для народного чтения (см. о Фрее в воспоминаниях И. М. Ивакина во 2-й книге настоящего тома).

«Американский гражданин» Фрей был в действительности русским, звали его Владимир Константинович *Гейнс* (1839—1888). Сын генерала русской службы, он воспитывался в Брест-Литовском кадетском корпусе, а затем обучался в Артиллерийской академии в Петербурге. По окончании образования Гейнс был направлен преподавать аналитическую геометрию в Инженерную академию, затем был прикомандирован к Пулковской обсерватории для участия «в ученых работах по измерению 52-й параллели» (см. автобиографическую запись Фрея в альбоме М. И. Семевского «Знакомые». СПб., 1888, стр. 247). Блестящие способности открывали Гейнсу — в 28 лет капитану генерального штаба — пути и к военной и к научной карьере. Но глубокая восприимчивость к социальной несправедливости русской жизни заставила Гейнса избрать другую дорогу. Он испытал большое влияние идей Герцена, Чернышевского, русской революционной демократии в целом, был одно время близок к первой «Земле и Воле», но скоро разочаровался в надежде на успех революционных преобразований, «отказался от революционной деятельности и, бросивши все в России», уехал в Америку, думая, что «силы, способные помочь делу общественного переустройства», надо вырастить в трудовых коммунах (см. письмо Фрея к П. Л. Лаврову от 23 мая 1885 г. — ЦГИАМ, ф. 198, оп. 4, ед. хр. 456, лл. 4—5).

Перед отъездом Гейнс женился на своей единомышленнице Марии Евстафьевне Славинской. Приехав в 1868 г. в Соединенные Штаты, супруги приняли фамилию Фрей («свободные») и американское подданство. Они изучили разные ремесла и зарабатывали на жизнь физическим трудом, главным образом в земледельческих колониях, которые Фрей организовывал вместе с американцами и русскими эмигрантами. В начале 70-х годов Фрей познакомился с взглядами Огюста Конта и, как ему казалось, нашел в контовской «религии человечества» единственно правильный путь развития общества и возможность соединить объективные данные науки с «жаром революционера-социалиста» и «чувством любви и терпимости ко всем людям» (см. его письма к С. М. Степняку-Кравчинскому и П. А. Кропоткину от 2 июля 1886 г. — ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 478, лл. 1—3 об.). Продолжая организовывать коммуны, Фрей принялся энергично пропагандировать «религиозный социализм» Конта. Он посылал в Россию одно призывное послание за другим (лишь немногие откликнулись и рискнули уехать в Америку, чтобы устроить жизнь по-новому в коммунах), вел деятельную переписку с Лавровым, опубликовавшим на страницах журнала «Вперед» (1873, № 2) «Письмо коммуниста» Фрея; сам издавал свои сочинения («Конституцию», принятую в «Русской общине» — одной из устроенных им колоний — и напечатанную по-русски в «Вольной русской типографии» Агапия Гончаренко в Сан-Франциско, брошюру «Религия человечества»).

Однако жизнь в Америке, как писал сам Фрей, «была полна самых тяжелых физических лишений, самых гнетущих разочарований в социальной деятельности». Фрей решил переехать в Европу и, если удастся, вернуться в Россию. В конце лета 1885 г. Фрей приехал в Россию, чтобы продолжать на родине пропаганду своих взглядов. В «деле», заведенном на него в Департаменте полиции, имеется выписка из перлюстрированного письма за подписью «Настя», адресованного Михаилу Семеновичу Морозову в Москву. В письме говорится: «На днях я была у Фрея; он говорил от 8 до часу ночи. Я за ним записывала, так что со временем отдам тебе полный отчет, а пока скажу, что он проповедует религию человечества, религию нравственности, но не миссионерским тоном и доводами, а скорее как социалистические проповедники, как вольный американец. Его выводы сходны с выводами Толстого, но тот путает сюда христианство, а Фрей говорит, что христианство не починить, оно отжило и дает место

позитивной религии человечества. Он уверяет, что это будет безусловно так!» (ЦГИАМ, дело Департамента полиции, 3 делопроизводство, № 750 «Об американском гражданине Вильяме Фрее». Начато 23 ноября 1885 г., кончено 31 марта 1886 г., л. 1).

Узнав о переломе в убеждениях Толстого, прочитав его последние произведения, Фрей загорелся желанием приобрести для «религии человечества» такого мощного союзника. Ему не удалось переубедить Толстого «в первый ряд свиданий» в Ясной Поляне, но он не терял надежды на успех, о чем свидетельствует его переписка с Толстым. Первое письмо Фрея к Толстому, как и последующие, получило широкое распространение в рукописных и гектографированных копиях и вызвало даже отклики в печати (статья Л. Е. Оболенского «Научные основания учения любви».—«Русское богатство», 1886, № 1). В Симферополе, куда Фрей поехал после Ясной Поляны, он написал обширное «Дополнение» к этому письму (датированное 3/15 ноября 1885 г.), в котором рассказывал о беседах с Толстым и о своих надеждах на присоединение его к «религии человечества».

Приехав в Москву в начале декабря, Фрей снова посетил Толстого, ознакомившего его со своим трактатом «Так что же нам делать?», в 30 и 31 главах которого критиковались мнения Конта. В своем втором письме к Толстому (10 декабря) Фрей писал: «Лучшее, что вы могли бы сделать,— это вовсе вычеркнуть XXXI главу. Ввиду нашего общего врага нам следует вместе и дружно стоять под знаменем долга и служения Человечеству, не придавая особого значения тому, каким путем каждый из нас пришел к одним и тем же правилам жизни. Но если вы захотите оставить эту главу, вы сделаете те поправки в ней, которые будут указаны вашею совестью и умом». Но ни это письмо, ни устные убеждения Фрея при следующем их свидании (в самом конце декабря) не дали тех результатов, на которые он рассчитывал: Толстой никаких изменений в свой трактат не внес. Все же Фрей надеялся переубедить Толстого и написал ему перед отъездом из России, 26 февраля 1886 г., еще одно — третье — полемическое письмо. Оно было огромно (более 50 страниц). В заключительной части письма Фрей, чтобы «облегчить труд» Толстого, «свел существенные положения своего письма в ряд тезисов» и просил Толстого ответить «на каждый из этих тезисов».

«Отвечая мне,— писал Фрей,— вы окажете громадную услугу тысячам людей, ожидающих от вас разъяснения гложущих их сомнений. Ваш ответ поэтому не есть только личное обязательство ко мне, но и ваша обязанность перед лучшими людьми России, мнением которых вы не можете пренебрегать».

Через несколько дней (1 марта) Фрей уехал в Англию, в «добровольную ссылку», откуда продолжал вести переписку с русскими друзьями. В 1887 г. ему удалось издать в Женеве у Элпидина свои письма к Толстому («Письма В. Фрея к Л. Н. Толстому». Женева, 1887).

В Лондоне Фрей работал в небольшой типографии, устроенной им совместно с несколькими друзьями, жил вместе с семьей в страшной нужде и пытался распространять свои взгляды среди русских эмигрантов и англичан. В июле 1886 г. он познакомился с Степняком-Кравчинским, которому впоследствии оставил свою переписку с Толстым. Умер Фрей 5 ноября 1888 г. от туберкулеза. Перед смертью (2 ноября) он написал письмо «К русским друзьям» (сб. «Русские пропилеи», т. I. М., 1915, стр. 360—362).

Толстой, узнав о смерти Фрея, писал Е. П. Свешниковой: «Я знал, что дорогой Фрей болен, и ждал этого известия. Вы не ошиблись, говоря, что это был один из лучших людей, которых мне привелось знать. И какая хорошая смерть!» (т. 64, с. 190).

Публикуемое письмо Толстого находилось в бумагах Степняка-Кравчинского, пересланных его вдовой из Лондона в Советский Союз в середине 30-х годов, но обнаружено было только в 1958 г. Оно является ответом на упомянутое выше обширное послание Фрея от 26 февраля, на полях которого Толстой сделал множество критических замечаний, но, будучи не в состоянии «писать подробно», не стал сводить их в обстоятельный разбор «положений» Фрея, а ограничился небольшим письмом, вместе с которым просил переслать Фрею свои замечания. Они были переписаны Свешниковой (кроме последних, не поместившихся на полях и занявших особый листок) и посланы в Лондон вместе с «отдельным полулистком» замечаний, написанных

собственноручно Толстым (опубликовано по копии в т. 63, с. 339—340 как «письмо»), и его письмом. Эти материалы дали Фрею повод составить «Свод возражений против религии человечества» (1886).

〈Ясная Поляна. Первая половина марта 1886 г.〉

Дорогой Владимир Константинович,

получил ваше письмо и внимательно прочел его. Есть недоразумение между нами в том, что под словом религия мы — вы и я — понимаем две различные сущности. Будет возможность, то я постараюсь письменно разъяснить вам это [1]. И это разъяснение одно даст ответ на ваши тезисы. Без этого же разъяснения и ответы невозможны. Л. П. Свешникова [2] пока письменно сообщит вам кое-что об этом. Пока же мне хочется только выразить вам мое уважение и любовь к вам и полное сочувствие — не платонически, а на деле — проповедуемому вами учению. Есть люди, для которых истина открывается только с вашей стороны, и таких людей я прямо направляю к вам.

Прочел вашу брошюру [3] (благодарю за присылку книг вашу жену). Она превосходна: она проповедь того пути спасения от зла, в котором погрязли социалисты-революционеры, но она выводит их только из зла и неразумия, положительное же дастся им только религией. Под религией же мы с вами понимаем различные сущности: вы понимаете общее миросозерцание, согретое чувствами, я — выражение простых непререкаемых нравственных истин, которые неизбежно изменяют жизнь,— как, напр., истина единобрачия, непротивления злу и др.

Мне теперь нездоровится, и только потому не решаюсь писать вам подробно. Братски целую вас и прошу передать мой братский же привет вашей жене и друзьям.

Лев Толстой

Автограф. АТ.

Письмо не датировано. Оно было написано, очевидно, в первой половине марта 1886 г., так как, посылая его в Лондон 21 марта/2 апреля, Свешникова сообщала Фрею: «Списав все заметки, я прикладываю в оригинале один отдельный полулисток (тоже заметка), вложенный в тетрадь 〈т. е. в письмо Фрея.— *М. П.*〉. Затем тут же найдете его письмо к вам и портрет. Я бы давно вам их переслала, но думала, что при „случае“ вернее, тем более, что случай предвиделся» (там же).

[1] Другие письма Толстого к В. Фрею неизвестны.

[2] Елизавета Петровна *Свешникова* (ум. 1918) — переводчица и писательница, автор книг и рассказов для народного чтения, сотрудница издательства «Посредник».

[3] Вероятно, Толстому была прислана опубликованная на английском языке брошюра Фрея «Религия человечества» («Religion of Humanity»). London, 1883.

В ЛАВКУ И. Д. СЫТИНА

Публикация Р. С. Мишина

Записка адресована в книжную лавку известного издателя и книготорговца Ивана Дмитриевича *Сытина* (1851—1934). Толстой находился с ним в 80—90-х годах в близких деловых и личных отношениях.

〈1887—1890 гг.〉

В лавку Сытина

Книги, заказанные мною, прошу, пожалуйста, передать Сергею Терентьевичу Семенову.

Лев Толстой

Автограф на листке, вклеенном в книгу: «Л. Н. Толстой. Его жизнь и литературная деятельность. Биографический очерк Евгения Соловьева (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова)». СПб., 1894.— АТ.

Датируется временем начала знакомства Толстого с С. Т. Семеновым (см. о нем след. публикацию).

С. Т. СЕМЕНОВУ

Публикация М. Я. Блинчевской и В. С. Мишина*

Крестьянский писатель Сергей Терентьевич *Семенов* (1868—1922) познакомился с Толстым в конце ноября (после 21-го) или в декабре 1886 г., когда принес ему на просмотр свой первый рассказ «Два брата». Рассказ с одобрения Толстого был напечатан в изд. «Посредник» (М., 1887). В начале апреля 1889 г. Семенов послал Толстому рукописи своих повестей «Немилая жена» и «Назар Ходаков». 10 апреля Толстой отвечал

С. Т. СЕМЕНОВ
Фотография
Музей Толстого, Москва

ему: «Рукописи я ваши прочел. „Немилая жена" — лучше, но еще грубо. Другая тоже имеет этот же недостаток и вся слабее» (т. 64, с. 243.—После исправлений, сделанных автором, повесть «Немилая жена» была издана «Посредником» в 1891 г.; «Назар Ходаков» напечатан не был).

В тот же день, 10 апреля, Толстой писал Черткову, посылая ему повести Семенова: «Семенов очень замечательный человек, не столько по уму, сколько по сердцу; и повести его в сыром их виде очень замечательны, отражая народный быт, как он действительно есть. Я его очень люблю и переписываюсь с ним» (т. 86, с. 224).

Переписка Толстого с Семеновым продолжалась в течение многих лет. Семенов неоднократно бывал у Толстого в Ясной Поляне и в Москве. Толстой принимал деятельное участие в литературной работе молодого писателя, целый ряд произведений

* Письма №№ 1 и 2 публикуются В. С. Мишиным, № 3 — М. Я. Блинчевской.

которого создавался под непосредственным влиянием Толстого. В письмах его к Семенову заключаются конкретные советы, связанные с дальнейшей работой Семенова над тем или иным произведением, и многочисленные отзывы о них. По рекомендации Толстого произведения крестьянского писателя печатались не только в изданиях «Посредника», но и в «Русских ведомостях», «Русской мысли», «Ниве», «Неделе» и других органах печати.

1

⟨Москва. 12 апреля 1889 г.⟩

Повесть вашу с письмом я переслал Черткову. Повесть недурна. Я написал вам в закрытом письме все, что думаю о занимающем вас вопросе [1]. Помогай вам бог разрешить его по истине.

Л. Т.

⟨*Адрес*:⟩ Московской губ. Волоколамского уезда
Деревня Андреевская.
Сергею Терентьевичу Семенову.

Автограф (почтовая открытка). АТ.

Датируется по почтовому штемпелю.

[1] В письме от 10 апреля («закрытом») Толстой отвечал Семенову на его вопрос о деньгах и семье (т. 64, с. 241).

2

⟨Москва. 21 марта 1894 г.⟩

Получил вашу книжку, собрал Ив⟨ану⟩ Ив⟨ановичу⟩ недостающее и все передал Солдатенкову, который согласился печатать. Я думаю 4800 экз. продавать по 5 к. с печатного листа. Условия Солдатенкова те, что первая выручка идет на покрытие издания, остальное — в пользу автора. Я написал несколько слов предисловия. Желаю успеха книге и вам душевного мира.

Любящий вас Л. Толстой

⟨*Адрес*:⟩ Моск⟨овской⟩ губ. Волоколамского уезда
деревня Андреевка. Сергею Терентьевичу Семенову.

Автограф (почтовая открытка). АТ.

Датируется по почтовому штемпелю и записи М. Л. Толстой в «Списке отправленных писем за 1894 г.» (АТ).

3 февраля 1894 г. Семенов сообщал Толстому о своих материальных затруднениях и, между прочим, писал: «Я ⟨...⟩ думал вот что: собрать лучшие из моих рассказов в книжечку и попросить вас предложить кому-нибудь из издателей, может быть, купят и издадут». Толстой отвечал 18 февраля, что рад будет помочь ему, хотя и высказывал свои сомнения «в успехе». Между тем он добавлял, что «книжечка может выйти хорошая» и он может «искренно похвалить ее», и просил указать, к кому он должен обратиться (т. 67, с. 43). Семенов назвал московского издателя К. Т. Солдатенкова. Толстой связался с ним, вероятно, через посредство И. И. Горбунова-Посадова и, получив согласие, переслал материал для сборника со своим предисловием (предисловие написано между 18 и 21 марта; небольшие исправления сделаны 23 марта — т. 29, с. 420). Об этом он и извещал Семенова в публикуемом письме.

Книжка вышла под названием «Крестьянские рассказы» С.Т. Семенова. С предисловием Толстого (типо-литография В. Рихтера. М., 1894).

3

⟨Ясная Поляна. 5 сентября 1894 г.⟩

Спасибо, что дали о себе весточку и сообщили много интересного. Когда буду свободнее, напишу вам, а теперь только благодарю за ваше письмо [1]. Я пока еще в деревне, где, как всегда, буду стараться пробыть

как можно дольше. Рассказы ваши [2] большинству людей не предубежденных нравятся [3]. Либеральные же журналы осуждают: один («Вестник Европы») за то, что они слишком не тенденциозны [4], а «Мир божий» за то, что они тенденциозны [5]. Пишите, не думая об этих критиках, а только о том, чтоб не погрешить словом.

Любящий вас Л. Т.

⟨*Адрес*:⟩ Сергею Терентьевичу Семенову.
Московской губ. Волоколамский уезд.
Дер. Андреевская.

Автограф (почтовая открытка). АТ.

Датируется по почтовому штемпелю.

[1] Публикуемое письмо, по-видимому, ответ на письмо Семенова от 29 августа 1894 г. (на конверте помета — «отвеч.»). Семенов в нем подробно рассказывает Толстому о деревенской жизни, о сложных отношениях с отцом, не прощающим ему отхода от православия, о встрече с неким Орфано (последний называл Толстого Антихристом, а его учение — «лжеучением»), о знакомстве с «паренько́м», читавшим «В чем моя вера».

[2] Сборник Семенова «Крестьянские рассказы» (см. прим. к предыдущему письму). В предисловии к этому сборнику Толстой отмечает содержательность рассказов Семенова («о самом значительном сословии России — крестьянстве» пишет человек, «живущий сам деревенскою тягловою жизнью») и соответствующую этому содержанию простую, серьезную форму, искренность, правдивость писателя, а также «часто совершенно новый по выражениям, но всегда безыскусственный и поразительно сильный и образный язык, которым говорят лица рассказов» (т. 29, с. 214). Такая высокая оценка отнюдь не означала, что Толстой не видел недостатков в рассказах Семенова: в письмах его к самому Семенову, Черткову и другим встречаются критические замечания о подражательности и «бедности содержания» произведений и нехудожественности образов.

[3] Предисловие Толстого не только увеличило интерес критики к изданию, но и послужило поводом для превращения отзывов о нем в полемические выступления прежде всего против Толстого. Толстой это понимал, чем и вызвана его оценка рецензий на книгу Семенова (см. дневник В. Ф. Лазурского.— «Лит. наследство», т. 37-38, стр. 483).

[4] Толстой имеет в виду небольшую рецензию на сборник рассказов Семенова, напечатанную в июльском номере «Вестника Европы» 1894 г. Автор рецензии, утверждая, что «почти вся книжка г. Семенова состоит из вариации на тему „Власть тьмы“», критикует по сути дела литературно-эстетическую позицию Толстого, а не только его оценку рассказов Семенова. Не видя в эстетических воззрениях Толстого ничего, кроме требования «голого изображения факта», критик «Вестника Европы» рассматривает и рассказы Семенова как «несколько новых сухих протоколов», лишь умноживших «количество тех мрачных впечатлений, какие принесла „Власть тьмы“».

[5] В отличие от критика «Вестника Европы» автор рецензии о сборнике «Крестьянских рассказов», напечатанной в разделе «Новые книги» журнала «Мир божий» (1894, № 8), видит основной недостаток рассказов Семенова в чрезмерной назидательности, в том, что в основе их лежит «ходячая прописная мораль». «Никаких особенных черт крестьянской жизни тут не видно»,— пишет рецензент, не соглашаясь с оценкой Толстого, «очень расхвалившего» рассказы в своем предисловии.

Н. Л. СОМОВУ

Публикация З. Н. Ивановой

3 ноября 1891 г. в «Русских ведомостях» было напечатано «Письмо в редакцию» С. А. Толстой с призывом жертвовать в пользу голодающих. Среди многих откликов на этот призыв пришло письмо харьковского жителя Н. Л. Сомова от 13 ноября 1891 г. (датируется по почтовому штемпелю. — АТ). «Я успел собрать небольшую сумму денег для голодных, питаемых вашей семьей, — писал Сомов Толстому, — думаю сам приехать к вам в помощь предпринятому вами делу. Этим письмом спрашиваю вашего совета: привезти ли денег — сколько успею собрать, или затратить их здесь на покупку хлеба или какой иной провизии; или не лучше ли еще — купленный хлеб выпечь и обратить в сухари?».

Письмо Сомова было прислано в Бегичевку Рязанской губ., куда Толстой в это время приехал для организации помощи голодающим (см. об этом также выше, стр. 448—451) и следующие письма). На конверте письма имеется помета рукой Толстого: «отвеч⟨ать⟩»:

⟨Бегичевка. 24 ноября 1891 г.⟩

Лучше всего приезжайте сами. С благодарностью примем вами собранное, *но более всего будем благодарны за личную помощь.*

Л. Толстой

⟨*Адрес*:⟩ Харьков.
Ново-Чернышевская улица, д. № 16,
Николаю Львовичу Сомову.

Автограф (почтовая открытка). АТ.

Датируется по почтовому штемпелю.

Сведений о том, приезжал ли Сомов в Рязанскую губернию для помощи голодающим, найти не удалось.

В. В. ИВАНОВУ *

Публикуемое письмо обращено к одному из членов земледельческой колонии «Криница» (в имении В. В. Еропкина) на Кавказе — Василию Васильевичу *Иванову*. 28 ноября 1891 г., в дни страшного голода, охватившего многие губернии России, Иванов обратился к Толстому с письмом из Новороссийска с просьбой похлопотать о бесплатном провозе крестьянских лошадей из голодающих мест в колонию «Криница». Колонисты надеялись спасти лошадей, чтобы весной вернуть их владельцам-крестьянам. Иванов писал, что кулаки за бесценок скупают лошадей, и добавлял, что «весной, если сам мужик и не умрет до этого времени от голода, то работать в поле ему будет нечем, и на будущий год он опять должен будет голодать...»

Предполагая устроить в Новороссийске столовые по образцу уже открытых Толстым, Иванов пишет: «... не откажите сообщить организацию этого дела, чтобы сразу быть в курсе его, без ошибок и траты времени. Надо знать, что готовится для харчей, какое количество выдается всего, когда и проч. Желательно, чтобы обходилось все по такой же цене, как и у вас. Вам, наверно, известны те места, где наиболее нужна такая помощь, не откажите указать их нам» (АТ).

Ответом на это обращение Иванова и является публикуемое письмо Толстого из имения его друга И. И. Раевского— Бегичевки, Рязанской губ., где Толстой работал «на голоде».

⟨Бегичевка. Начало декабря 1891 г.⟩

Василий Васильевич!

Письмо ваше очень взволновало меня. Я только что взялся за дело спасения лошадей крестьянских и кое-что сделал и делаю, а именно: пересылаю 80 лошадей в Калужскую губ., да лошадей 50 разместил еще неподалеку. Намерен же нанимать дворы при винокуренных заводах и ставить их на барду. Ваше же предложение очень важно — и было бы большое дело, если бы оно могло быть осуществлено. Дело в том, что я уже просил председателя Общества Красного креста Кауфмана исходатайствовать бесплатный провоз для лошадей, но он отказал мне в общей мере, а выслал мне из суммы Красного креста деньги на этот провоз. Теперь я вновь пишу ему, говоря о вашем предложении, прося вновь исходатайствовать и выставить на вид, что провоз на Кавказ будет стоить 17 р. 30 по удешевленному тарифу [1]. Пишут об этом еще другие. Пишу еще и Вышнеградским [2]. Пускай Виктор Васильевич [3] напишет о том же

* Публикация подготовлена редакцией «Литературного наследства».— Ред.

своим путем. О хлебе я теперь не прошу вас, потому что закупил, да и боюсь задержки провоза. Нужно нам бы было вагонов шесть кукурузы. Если есть возможность скоро доставить, то напишите.

Очень, очень благодарю вас за обращение ко мне. Очень радостно знать, что есть товарищи в работе. Передайте мой привет Вик⟨тору⟩ Вас⟨ильевичу⟩.

Помогай вам бог.

Л. Толстой

О столовых напишет вам наш сотрудник.

⟨Далее в письме следует текст, написанный неизвестным лицом:⟩

Столовые устраиваются в более бедных деревнях. По просьбе крестьян или просто по слуху кто-нибудь из нас едет туда, обходит самые наибедные дворы, с помощью старосты и некоторых лиц жителей этой же деревни учитывает, сколько из каждого дома будет едоков. Потом выбирается одно семейство, где и назначается столовая. Столовые пускают к себе все и охотно бесплатно. Каждой столовой кормится от 30 до 60 человек, но 60 уже тесно, и трудно одной бабе успевать и варить и печь хлеба. Провизия выдается по такому расчету в день на едока:

Муки ржаной	$1^1/_4$ ф.
Картофеля	$1—2^1/_2$ ф.
Свеклы	$^1/_2$ ф.
Соли	$2^3/_4$ зол.
Овсянки на кисель	$^3/_8$ ф.
Дров на день	2 пуд.
Керосину в день	$^1/_4$ ф.

Луку на заправку картоф. дается $^1/_8$ меры на неделю

Из этого приготовляется холодный свекольник, который заквашивается квасом, варится картофельная похлебка, кисель. В обед дают кисель и похлебку, в ужин свекольник и похлебку, кисель в некоторые дни заменяется жареным (без масла и сала) картофелем или чем иным. Обходится такая пища от $5—5^1/_2$ коп. в день на человека. Хлеба чистого ржаного дается вволю. Продукты хранятся в знакомых помещичьих экономиях и в столовые выдаются два раза в неделю.

⟨Затем снова рукою Толстого:⟩

Капуста отпускалась прежде на щи, теперь не отпускается, только случайно на время. Обходиться стало дороже оттого, что голодать стали больше.

Фотокопия. АТ. Автограф хранится у сына адресата В. В. Иванова (Батуми). Впервые опубликовано К. Серебряковым в «Литературной газете». 1960, № 66, от 4 июня.

[1] Письма Толстого к М. П. Кауфману не дошли до нас. По просьбе Толстого к Кауфману обращалась А. А. Толстая, хлопоты которой не увенчались успехом (см. письмо Толстого к ней от 8 декабря 1891 г.— т. 66, с. 106—107.— Официальный ответ Кауфмана от 4 декабря цит. там же — с. 108).

[2] Письма Толстого к старому товарищу Н. Н. Страхова, министру финансов в 1887—1892 гг.— Ивану Алексеевичу *Вышнеградскому* (1831—1895) или членам его семьи,— нам неизвестны (см. упоминание о нем в письме Толстого к Страхову на эту же тему от 11 декабря 1891 г.— т. 66, с. 111—112).

[3] Виктор Васильевич *Еропкин* (1848—1909) — один из основателей (1886) земледельческой общины «Криница». 18 мая 1890 г. Толстой писал В. И. Алексееву: «Поклонитесь от меня Еропкину и скажите ему, что я люблю его и желаю ему всего хорошего» (т. 65, с. 101).

Э. КОРНМАНУ

Публикация Т. Н. Волковой

31 января 1892 г. пастор реформатской церкви в Одессе Э. Корнман сообщал Толстому, что посылает 500 рублей на помощь пострадавшим от неурожая крестьянам Рязанской губернии (о пребывании Толстого «на голоде» — см. также в письмах его к В. В. Иванову, С. П. Дягилеву и др. в настоящем томе).

«В моем приходе не более пятисот человек, — писал Корнман, — но тем не менее у меня есть еще около 600 рублей, которые я предназначаю (если вы мне в этом посодействуете) для тех губерний, где работают ваши дети.

Я сочувствую вам и молюсь за вас с самого начала вашей борьбы против народного бедствия и нищеты ⟨...⟩

Вы мне сделаете большое одолжение, граф, если найдете время написать несколько слов о том, куда послать вторую половину моего пожертвования».

Публикуемый нами ответ Толстого Корнману был найден в 1939 г. в конверте Корнмана вместе с его письмом (АТ. Корреспонденты Толстого, оп. 666).

Судя по отметке Т. Л. Толстой на письме Корнмана: «Отв.», публикуемый ответ Толстого является черновиком и послан не был, а послана, вероятно, была беловая копия с него, сделанная Татьяной Львовной.

Поскольку адресат обратился к Толстому по-французски, Толстой также ответил Корнману на этом языке.

⟨Бегичевка. Начало февраля 1892 г.⟩

Monsieur,

J'ai reçu votre don. L'expression des idées parfaitement chrétiennes qui l'accompagnent me le rend d'autant plus précieux. Je ferai de mon mieux pour l'employer aussi efficacement que possible pour le bien des pauvres.

En vous remerciant au nom de ceux qui profiteront de votre offrande et au mien pour les bons sentiments que vous m'exprimez

je me dis
votre devoué
L. T o l s t o y

L'adresse de mon fils [1] qui travaille parmi la population souffrante de la disette est Самарс⟨кая⟩ губ⟨ерния⟩.

Перевод:

Милостивый государь,

Я получил ваше пожертвование. Оно особенно ценно для меня выражением христианских чувств, которые его сопровождают.

Я сделаю все, от меня зависящее, чтобы употребить его наилучшим образом на благо бедных.

Благодарю вас от имени тех, кто воспользуется вашим приношением, и от себя за ваши добрые ко мне чувства

и остаюсь
искренне ваш
Л. Т о л с т о й

Адрес моего сына [1], который работает среди населения, пострадавшего от неурожая, Самарс⟨кая⟩ губ⟨ерния⟩.

Датируется на основании даты письма Корнмана.

[1] Лев Львович *Толстой* (1869—1945) работал «на голоде» в Самарской губернии с октября 1891 г. по начало июля 1892 г. См. об этом Л. Л. Т о л с т о й. В голодные года. Записки и статьи. М., 1900.

ФРЕНСИСУ ГАРРИСОНУ

Публикация Т. Н. Волковой

Френсис Д. *Гаррисон* (Garrison) — сын известного общественного деятеля, борца за отмену рабства в Соединенных Штатах Америки — Вильяма Л. Гаррисона, чье сочинение «Declaration of sentiments» («Декларация чувств») было переведено Толстым и творчески использовано в книге «Царство божие внутри вас» (см. выше, стр. 447). В 1892 г., живя в Бостоне, Френсис Гаррисон был казначеем «Society of American Friends of Russian Freedom» («Общество американских друзей русской свободы»). Он собирал пожертвования в пользу голодающих в России крестьян и направлял их Толстому. Всего им было переслано за 1892 г. — 298,4 фунтов стерлингов.

В Юбилейном издании опубликовано всего одно письмо Толстого к Гаррисону — от 1 апреля 1892 г. (т. 66, с. 187). Мы печатаем еще одно письмо — от 18 февраля 1892 г.

Кроме того, из сохранившихся писем Гаррисона видно, что Толстой писал ему еще раз: 22—23 января / 3—4 февраля 1892 г. Это был ответ на письмо Гаррисона от 10/22 января, в котором он, посылая вырезку из американской газеты с заметкой о запрещении русским правительством деятельности Толстого «на голоде», спрашивал: правда ли это? Толстой это сообщение опроверг, о чем Гаррисон упоминает в ответном письме от 1/13 февраля 1892 г.

Всего в Архиве Толстого хранится пятнадцать писем Гаррисона: четырнадцать 1892 г. и одно — 1899. Все они, кроме последнего, касаются сбора денег для голодающих в России и пересылки их Толстому. Т. Л. Толстая ответила, по поручению отца, на семь писем Гаррисона.

〈Бегичевка. 18 февраля 1892 г.〉
February 18, 1892.

Honoured Sir.

Allow me to express my deep-felt gratitude to your countrymen and friends for the offerings which have been sent to me through your kind agency.

I have not been able, until now, to acknowledge receipt of your last three letters and of the drafts (for £16, £17, £80) enclosed therein, and beg to be permitted to do so now.

I try, and will try, to use the money as well as I can to relieve the wants of the famine-stricken peasantry in the districts where I live.

With cordial regards and sincere thanks, believe me, sir,

Yours truly Leo Tolstoy

Перевод: 18 февраля 1892 г.

Милостивый государь.

Позвольте выразить мою глубокую благодарность вашим соотечественникам и друзьям за пожертвования, которые были мне посланы через ваше любезное посредничество.

До настоящего времени я не имел возможности подтвердить получение ваших последних трех писем со вложенными чеками (на 16, 17, 80 фунтов стерлингов) и прошу разрешения сделать это сейчас.

Я стараюсь и буду стараться использовать деньги наилучшим образом, чтобы облегчить нужду голодающего крестьянства в той местности, где я живу.

С сердечным расположением и искренней благодарностью, остаюсь, милостивый государь,

искренне ваш Лев Толстой

Печатается по вырезке из американской газеты от второй половины марта 1892 г. (АТ). Название, а также число и номер газеты установить не удалось. Вырезка вложена в письмо Гаррисона к Толстому от 1 апреля 1892 г.

С. П. ДЯГИЛЕВУ

Публикация Р. Б. Заборовой

Сергей Павлович *Дягилев* (1872—1929) — известный художественный и театральный деятель, один из основателей и редакторов журнала «Мир искусства», — познакомился с Толстым 16 января 1892 г. Дягилев и Д. В. Философов, в ту пору студенты 2-го курса юридического факультета Петербургского университета, посетили Толстого в этот день в его доме в Хамовниках для передачи пожертвований петербургских студентов голодающим. «Приятно видеть это братство, которое соединяет людей»,— сказал им Толстой, приняв пожертвование, и добавил: «Да, дай бог, чтобы общество хорошо относилось. Да и много, много надо, чтобы покрыть эту ужасную скорбь. Ведь, собственно говоря, наша деятельность — это маленькие оазисы, а кругом все мрак» (Д. В. Философов. Паломничество в Хамовники 16 января 1892 г. — ГПБ, ф. 814, Д. В. Философова, № 6, л. 21).

28 января 1892 г. Дягилев обратился к Толстому с письмом (АТ). Он просил разъяснить смысл резких нападок «Московских ведомостей» на Толстого в связи с опубликованием за границей его статьи «О голоде». Призыв Толстого помочь голодающим «прямо и просто уменьшать свои требования, удовлетворяемые трудом народа, и прямо и просто сейчас сближаться с ним и по мере сил своих служить ему» (т. 29, с. 110) был перетолкован в газете как активная пропаганда «программы социальной революции», натравливание «бедных на богатых».

В редакционной статье «Московских ведомостей», 1892, № 22, от 22 января было написано: «В другом письме ⟨о голоде⟩ граф Толстой задается серьезным вопросом: понимают ли сами крестьяне серьезность своего положения и необходимость *вовремя проснуться и самим предпринять что-нибудь*, ввиду того, что никто другой им помочь не может, ибо, если *сами* они ничего не предпримут, „они передохнут к весне, как пчелы без меду“». Эти искаженные слова Толстого (т. 29, с. 98) «Московские ведомости» перетолковывали как призыв к «самодеятельности народа в смысле экономическом» (см. об этой полемике т. 66, с. 125—126, 144—146 и 160—163).

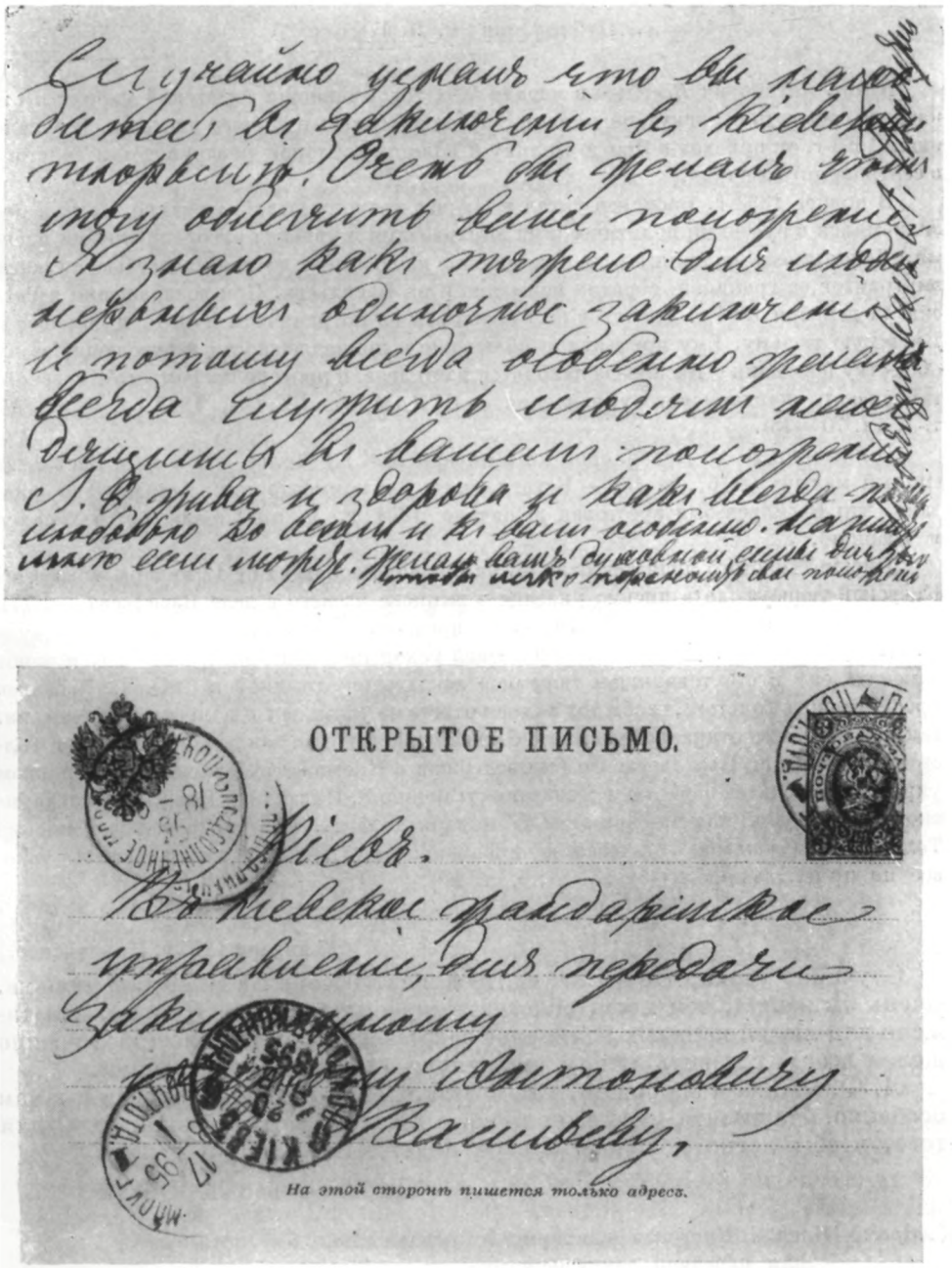
⟨Бегичевка. Около 7 февраля 1892 г.

Мне очень жаль, что статья «Моск⟨овских⟩ вед⟨омостей⟩» смутила вас. Писем я никаких не писал в англ⟨ийские⟩ газеты; то же, что появилось там, есть не что иное, как разбитая на несколько номеров моя статья о голоде, написанная для «Вопр⟨осов⟩ психолог⟨ии⟩» в ее цельном виде. Фраза же, которую вы выписываете, есть произведение «Моск⟨овских⟩ вед⟨омостей⟩»; ничего подобного там нет. Говорить о самодеятельности народа в смысле экономическом и толкование «М⟨осковских⟩ в⟨едомостей⟩» никогда не пришло бы мне в голову.

Очень рад был узнать о том, что вы так верно понимаете меня. (Впрочем, не совсем верно, если могли усомниться.) Желаю вам всего хорошего

полюбивший вас
Л. Толстой

Копия. ГПБ, ф. 814 (Д. В. Философова), № 129. Копия сделана рукой Д. В. Философова. Под текстом письма Философовым помечено: «Письмо это получено от Л. Н. Толстого 7 февр⟨аля⟩ 1892 г.». К письму позднее была присоединена вырезка из «Нового времени», 1892, № 5757, от 9 марта, с текстом ответа Толстого на статью «Московских ведомостей» — см. этот текст в т. 84, с. 119.



ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО.

Кіевъ.

На Кіевское фактурное управленіе, для передачи Здравомыслову

Василію Ивановичу

Васильеву.

На этой сторонѣ пишется только адресъ.

АВТОГРАФ ПИСЬМА ТОЛСТОГО к А. А. ВАСИЛЬЕВУ ОТ 15 ЯНВАРЯ 1895 г. И АДРЕС ТОГО ЖЕ ПИСЬМА

Написано на почтовой открытке

Центральный исторический архив, Москва

А. А. ВАСИЛЬЕВУ

Публикация Р. Я. Бусс

Антон Антонович *Васильев* в начале 90-х годов окончил кадетский корпус и отказался отбывать воинскую повинность, желая поступить в Горный институт. В начале июня 1893 г. он приехал в Ясную Поляну к Толстому. Второй раз он посетил Толстого в сентябре того же года.

В ноябре 1893 г. Васильев уехал в Цюрих продолжать образование. Там он познакомился с русскими политическими эмигрантами и увлекся революционными идеями. Департамент полиции, ведя постоянное наблюдение за деятельностью русских эмигрантов за границей, обратил внимание и на Васильева. При возвращении в Россию 11 декабря 1894 г. Васильев был арестован на пограничном пункте и помещен в Киевскую тюрьму. Ему предъявили обвинение в принадлежности к революционному обществу (сведения о Васильеве находятся в его деле, в протоколах допроса Киевского губернского жандармского управления.— ЦГИАМ, ф. 102, ОО, 1898, д. 6, ч. 877, т. I, лл. 70—75).

В письме к В. М. Величкиной (от 5 января 1894 г.) Толстой называет Васильева «милый малый» (т. 67, с. 13. — Кстати, здесь в комментариях неправильно указано, что Васильев был арестован в начале 1894 г. В это время он находился в Цюрихе).

Письмо Толстого является ответом на письмо Васильева от 12 января 1895 г. из Киевской тюрьмы (дата письма указана в выписке из него в деле Васильева, л. 77). асильев просил Толстого обратиться к председателю Киевского окружного суда А. М. Кузминскому, чтобы тот содействовал ускорению решения по его делу и помог заменить ему и его товарищам тюремное заключение ссылкой в Сибирь. Васильев предупреждал Толстого, чтобы тот в своем ответе не упоминал о получении его письма, так как оно было отправлено тайно с большим риском для заключенного. Ответ Толстого не дошел до Васильева. Он был задержан в Киевском губернском жандармском управлении, а затем переслан в Департамент полиции. Начальник Киевского жандармского управления доносил при этом 27 января 1895 г., что препровождает письмо Толстого, так как по содержанию письма он «не нашел удобным выдать таковое по принадлежности» (указ. дело, л. 86).

〈15 января 1895 г. Никольское.〉

Случайно узнал, что вы находитесь в заключении в Киевской тюрьме. Очень бы желал, чем могу, облегчить ваше положение. Я знаю, как тяжело для людей нервных одиночное заключение, и потому всегда особенно желал всегда служить людям, находящимся в вашем положении.

Л. Ф. [1] жива и здорова и, как всегда, полна любовью ко всем и к вам особенно. Напишите мне, если можете. Желаю вам духовной силы для того, чтобы легко переносить свое положение.

Любящий вас Л. Толстой

〈*Адрес*:〉 Киев. В Киевское жандармское управление,
для передачи заключенному
Антону Антоновичу Васильеву.

Автограф (на почтовой открытке). ЦГИАМ, ф. 102, ОО, 1898, д. 6, ч. 877, т. I, л. 87. Датируется по почтовому штемпелю. В «Списке писем Толстого, текст которых неизвестен» это письмо отнесено к 16 января 1894 г. (т. 67, с. 297).

[1] Леонила Фоминишна *Анненкова* — курская помещица, знакомая Толстых.

В. ГЕНКЕЛЮ

Публикация Т. Н. Волковой

Деятельность немецкого литератора, издателя и переводчика Вильгельма (Василия Егоровича) *Генкеля* (Henckel) (1825—1910) была связана как с Германией, так и с Россией. В обеих странах он деятельно и плодотворно сотрудничал в разных органах печати либерального направления. Ему принадлежит около пятисот статей о литературе, искусстве, истории, политике и экономике России. Среди них несколько статей о Толстом. Генкель переводил на немецкий язык произведения Тургенева, Достоевского, Чехова, Гаршина и других русских писателей. Из произведений Толстого он перевел и издал в Германии: «Первую ступень», «Царство божие внутри вас», «Христианство и патриотизм», «Хозяина и работника», «Приближение конца», «Смерть Ивана Ильича», «Три притчи» и др.

В Юбилейном издании опубликовано одно письмо Толстого к Генкелю от 11/23 августа 1894 г. (т. 67, с. 187). Сейчас мы имеем возможность напечатать еще одно письмо— от 1/13 мая 1895 г. Это ответ на письмо от 10/22 апреля 1895 г., в котором Генкель писал Толстому: «Вам, конечно, известно, какой успех имел ваш „Хозяин и работник" в Германии. К полученным вами переводам присоединяю сегодня и мой, который окончен был на восьмой день по получении мартовской книжки „Северного вестника" и тотчас же отослан в редакцию журнала „Aus Fremden Zungen"» (АТ).

Из писем Генкеля видно, что Толстой писал ему, не считая публикуемого нами письма, еще четыре раза, а именно: в первой половине мая и 5/17 октября 1894 г., в середине мая и в конце мая 1895 г. Кроме того, из материалов Архива Толстого видно, что по его поручению на три письма Генкеля отвечали его дочери Татьяна Львовна и Мария Львовна. Писем же Генкеля к Толстому сохранилось семнадцать — за 1891—1906 гг. (АТ).

〈Москва. 1/13 мая 1895 г.

Ich erhielt Ihre Übersetzungen des Artikels über Religion und Moral [1] und der letzten Erzählungen [2]. Sie sind, wie immer, sehr gut. Ich bedauere sehr, daß die letztere etwas verspätet erschien, und es wird mich freuen, wenn das künftig — falls ich noch etwas schreiben sollte — nicht mehr vorkommt.

Soeben fällt mir ein mich mit einer kleinen Bitte an Sie zu wenden. (Sollte sie Ihnen Beschwerde verursachen, so lassen Sie sie unbeantwortet, wollen Sie sie aber beantworten, so genehmigen Sie dafür meinen herzlichen Dank). Ich möchte, daß Sie mir einige gesunde und angenehme Sommer-Aufenthaltsorte in Bayern angeben. Wir haben in diesem Frühjahr unseren von meiner Frau leidenschaftlich geliebten jüngsten Sohn [3] verloren. Dieser Verlust wirkte auf die Gesundheit meiner Frau so ungünstig, daß wir uns erschlossen haben diesen Sommer nicht in unserem Dorfe, sondern im Auslande zuzubringen. Es wäre mir besonders angenehm in Süddeutschland zu verweilen und deshalb ersuche ich Sie mir einen solchen Ort zu bezeichnen. Je ausführlicher Ihre Mitteilung sein wird, desto dankbarer werde ich Ihnen sein [4].

Genehmigen Sie etc.

Leo Tolstoi

1 Mai 1895.

Перевод:

Я получил ваши переводы статьи о религии и нравственности [1] и последних рассказов [2]. Переводы, как всегда, очень хороши. Очень сожалею, что последний из них вышел с некоторым опозданием, и я был бы

рад, чтобы в будущем — если я еще что-нибудь буду писать — этого больше не случалось.

Мне вдруг только что пришло в голову обратиться к вам с маленькой просьбой. (Если она затруднительна для вас, оставьте ее без ответа, если же вы захотите на нее ответить, разрешите мне принести вам мою сердечную благодарность). Не можете ли вы указать мне несколько здоровых и приятных мест для летнего отдыха в Баварии. Этой весной мы потеряли нашего младшего сына [3], страстно любимого моей женой. Эта утрата так тяжело отразилась на здоровье жены, что мы решили провести это лето за границей, а не у себя в деревне. Мне было бы особенно приятно пожить в южной Германии; поэтому я и прошу вас указать мне такое место [4]. Чем обстоятельнее будет ваше сообщение, тем более я буду вам признателен.

Примите и пр.
Лев Толстой

1 мая 1895 г.

Печатается по вырезке из газеты «Münchener Neueste Nachrichten» от 15 мая 1895 г. (АТ). В подлиннике письмо было, несомненно, написано по-русски.

[1] Статья Толстого 1893 г. «Религия и нравственность» (т. 39, с. 3—26).

[2] В немецкий переводной текст публикации «Münchener Neueste Nachrichten», по-видимому, вкралась ошибка: в русском подлиннике письма Толстого речь, вероятно, шла о переводе только одного рассказа «Хозяин и работник», посланного ему Генкелем. Перевод Генкеля имеется в яснополянской библиотеке Толстого («L. T o l s t o j. Der Herr und sein Knecht. Aus dem Russischen übersetzt von W. Henckel». Halle, б. г.).

[3] Младший из детей Толстого — Ванечка умер от скарлатины 23 февраля 1895 г. в семилетнем возрасте.

[4] Намерение поехать за границу скоро было оставлено Толстыми.

К. С. СТАНИСЛАВСКОМУ

Публикация Н. А. Леонтьевского

Первая крупная режиссерская работа К. С. Станиславского связана с именем Толстого. В 1891 г., с ведома автора, Станиславский поставил в московском Обществе искусства и литературы «Плоды просвещения» (в которых он играл роль Звездинцева). Спектакль был высоко оценен, в частности, В. И. Немировичем в «Новостях дня» (под псевдонимом «Гобой»): «Я утверждаю, что никто и никогда не видел такого образцового исполнения у любителей. Да если бы вы не были убеждены, что это любители, вы бы и не поверили. Комедия гр. Л. Н. Толстого „Плоды просвещения“ была разыграна с таким ансамблем, так *интеллигентно*, как не играют хоть бы у Корша» (цит. по кн.: К. С. Станиславский. Сочинения, т. 1. М., 1954, стр. 460).

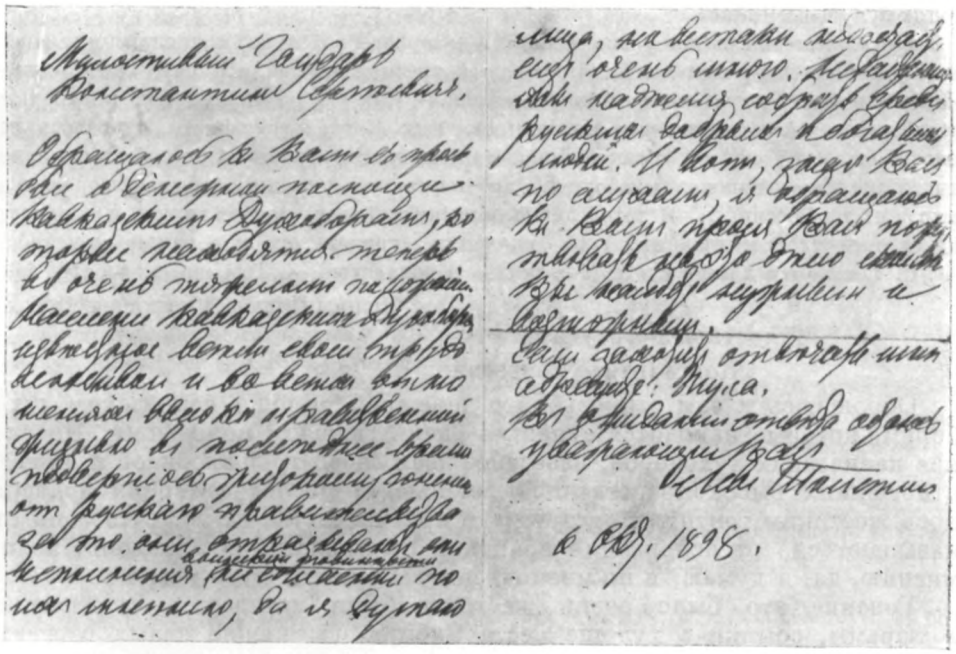
Тогда же Станиславский внес в репертуар Общества и «Власть тьмы». Но постановка этой пьесы была осуществлена им лишь в Художественном театре в 1902 г. Этому спектаклю, так же как и «Плодам просвещения», посвящены особые главы книги «Моя жизнь в искусстве». В главе под названием «Знакомство с Л. Н. Толстым», относящемся к 1893 г., Станиславский подробно рассказал, как Толстой при встрече с ним в доме Н. В. Давыдова в Туле просил его: «Доставьте радость старику, освободите от запрета „Власть тьмы“ и сыграйте» (там же, стр. 142).

Толстому не пришлось видеть своих пьес в постановке Станиславского. В Художественном театре он был дважды: на спектакле «Дядя Ваня» Чехова и «Одинокие» Гауптмана в 1900 г. Толстой высоко оценил Станиславского-Астрова и высказал мнение, что главную мужскую роль в «Одиноких» Станиславский сыграл бы лучше Мейерхольда. По окончании сезона 1899—1900 г. Немирович-Данченко и Станиславский отправили Толстому от имени «тружеников Художественного общедоступного театра» телеграмму, в которой говорилось, что они считают в жизни театра лучшими вечера-

ми «те вечера, когда театр был осчастливлен присутствием величайшего мирового писателя» (там же, т. 7, стр. 169).

Смерть Толстого застала Станиславского в Кисловодске за работой над инсценировкой «Войны и мира» для задуманного в МХТ спектакля к столетию Отечественной войны 1812 года, осуществить который, однако, не удалось.

О смерти Толстого Станиславский узнал из газет. 10 ноября он писал в Москву Немировичу-Данченко: «Начну с того, чего требует душа. Здесь мы одни и переносили волнения о Толстом в одиночестве с запоздалыми на два дня известиями. Я не думал,



АВТОГРАФ ПИСЬМА ТОЛСТОГО К. К. С. СТАНИСЛАВСКОМУ ОТ 6 ОКТЯБРЯ 1898 г.
Листы первый и последний
Музей Московского Художественного академического театра СССР им. А. М. Горького

что это так тяжело ⟨...⟩ только сегодня мы узнали все, что творится там, в тех местах, где совершалось великое событие. Я подавлен величием и красотой души Толстого и его смерти. Это духовенство, которое, как воры, с заднего крыльца стараются пролезть к умирающему. Эта бедная, слишком земная семья, не смеющая войти в исторический теперь дом; целый полк корреспондентов, фотографов и любопытных, которые блуждают в темноте и говорят шепотом, в то время как наивный Мудрец воображает себя в одиночестве и, удивляясь приезду сына Сергея, говорит: „как ты меня нашел?“ Власти и жандармы, рассыпающиеся в любезностях, отношение крестьян и их пение, отсутствие духовенства,—все это так необычно, так знаменательно, так символистично, что я ни о чем другом не могу думать, как о Великом Льве, который умер, как царь, отмахнув от себя перед смертью все то, что пóшло, не нужно и только оскорбляет смерть. Какое счастье, что мы жили при Толстом, и как страшно оставаться на земле без него. Так же страшно, как потерять совесть и идеал⟨...⟩ Мир праху величайшего из людей!!» (там же, т. 7, стр. 482).

Гражданской панихидой по Толстому можно назвать постановку «Живого трупа» в МХТ в 1911 г., режиссеры Немирович-Данченко и Станиславский, в которой последний исполнял роль Абрезкова.

Общение Станиславского с Толстым-драматургом не прекращалось до конца его дней. В 1918 г. он начинал работу над ролью Сарынцева в драме «И свет во тьме светит»

(спектакль в МХТ не пошел). В сезоне 1921—1922 г. Станиславский провел огромную режиссерскую работу над «Плодами просвещения» и над своей ролью Звездинцева.

Неизвестной до сих пор страницей в истории взаимоотношений Толстого и Станиславского, страницей, не связанной с театром, является публикуемое здесь впервые письмо Толстого от 6 октября 1898 г. В московском Художественном общедоступном театре шли тогда приготовления к открытию первого сезона, назначенному на 14 октября. Уже начинались генеральные репетиции пьесы «Царь Федор Иоаннович» А. К. Толстого, усиленно репетировались: «Потонувший колокол» Гауптмана, «Самоуправцы» Писемского, «Венецианский купец» Шекспира. Решался вопрос об исполнителях будущей «Чайки».

Поглощенный в те дни режиссерской и актерской работой, Станиславский меньше всего занимался приходившей на его имя корреспонденцией. «Прошло еще довольно много времени,—вспоминал он впоследствии.— Как-то, разбирая свой письменный стол, я нашел нераспечатанное письмо на мое имя. Когда я вскрыл его, оказалось, что письмо было от Толстого. Я так и обмер. На нескольких страницах он собственноручно писал мне обо всей эпопее духоборцев и просил принять участие в добывании средств на вывоз их из России〈...〉 Я хотел лично объяснить Толстому этот случай и оправдать перед ним свое молчание〈...〉 К сожалению, увидеть его мне так и не удалось» К. С. Станиславский. Моя жизнь в искусстве. — Там же, т. 1, стр. 144).

〈Ясная Поляна. 6 октября 1898 г.〉

Милостивый государь
Константин Сергеевич,

Обращаюсь к вам с просьбой о денежной помощи кавказским духоборам, которые находятся теперь в очень тяжелом положении. Население кавказских духоборов, известное всем своей трудолюбивой и во всех отношениях высоконравственной жизнью, в последнее время подверглось жестоким гонениям от русского правительства за то, 〈что〉 они отказывают〈ся〉 от исполнения воинской повинности, несогласной, по их мнению, да, я думаю, и по мнению самого Христа, с его учением.

Гонение это было очень жестоко: были истязания, заключения в тюрьмы, ссылки в худшие места Сибири, выселение целых деревень из их жилищ в грузинские и татарские поселения, где эти выселенные вымирали и вымирают от нужды и болезней. Гонение было так жестоко, что духоборы просили правительство о разрешении им выселиться за границу. Разрешение дано им, но в последние года гонений они так разорены, что не имеют средств для переселения в Канаду, где канад〈ское〉 правительство даст им земли. Всего их, переселяющихся, 750 душ, часть их — 1100 чел.— уже выселены стараниями квакеров на о. Кипр. Но положение их там так дурно, что им тоже предстоит переехать в Канаду. На переезд морем и по железной дороге, на первое обзаведение и пропитание нужно по крайней мере по 100 р. на душу, а, между тем, все, что соберут духоборы 〈от〉 продажи своих имуществ, составит не более 300 т〈ысяч〉. Квакеры пожертвовали и еще жертвуют, жертвуют и другие лица, но все-таки недостает еще очень много. Недостающее мы надеемся собрать среди русских добрых и богатых людей. И вот, зная вас по слухам, я обращаюсь к вам, прося вас пожертвовать на это дело сколько вы найдете нужным и возможным.

Если захотите отвечать мне, адресуйте: Тула.

В ожидании ответа остаюсь уважающий вас

Лев Толстой

6 окт〈ября〉 1898.

Автограф. Музей МХАТ СССР им. Горького, архив К. С. Станиславского, № 4859

Публикуемое письмо к Станиславскому зарегистрировано в Юбилейном издании в «Списке писем Л. Н. Толстого, текст которых неизвестен» (т. 70-71, с. 527).

В сентябре-октябре 1898 г. Толстой обратился к «богатым и добрым людям» с призывом оказать материальную помощь духоборам для переезда их в Канаду. В тот же день, 6 октября 1898 г., он написал три аналогичных письма (см. т. 70-71, с. 460—463).

Обращаясь к Станиславскому со словами «зная вас по слухам», Толстой, очевидно, имел в виду то, что его знакомство со Станиславским носило не личный характер, а было связано только с их театральными интересами.

Р. ЛЁВЕНФЕЛЬДУ

Публикация Хорста Раппиха (ГДР)

Немецкий писатель Рафаэль Лёвенфельд (1854—1910), с которым Толстой познакомился в 1890 г. в Ясной Поляне, был одним из первых и крупнейших популяризаторов творчества Толстого в Германии. Он не только перевел на немецкий язык наиболее значительные произведения Толстого, в частности «Войну и мир», но и познакомил немецкую читающую публику с жизнью великого русского писателя. Об отношениях Толстого к Лёвенфельду подробно пишет Христиана Штульц в обзоре «Толстой в современной ему немецкой критике (1856—1910)» (готовится к печати в томе «Литературного наследства»— «Мировое значение Толстого»).

В середине 90-х годов Лёвенфельд составил себе имя в немецком театральном мире как основатель и директор народного Шиллеровского театра в Берлине (куда и адресовано письмо Толстого).

Кроме публикуемого письма к Лёвенфельду, известны еще пять писем Толстого к нему: от 6 февраля 1890 г. (т. 65, с. 17), 17 августа 1893 г. (т. 66, с. 384), 5 января 1894 г. (т. 67, с. 16) и 15 июля 1902 г. (т. 73, с. 299), а также от 26 июня 1893 г. (см. ниже, кн. 2, стр. 519). В Архиве Толстого хранятся 24 неопубликованных письма к нему Лёвенфельда за 1890—1905 гг. (на половине из них имеются пометки об ответе).

<Ясная Поляна. 18 февраля/2 марта 1899 г.>

Lieber Herr Lövenfeld,

Письмо это вам передаст мой молодой приятель и сын моего друга А. Г. Русанов[1]. Он врач и в первый раз за границей. Вы, верно, по своему доброму расположению ко мне не откажетесь пошапронировать * его во время его пребывания в Берлине.

Дружески жму вам руку.

Готовый к услугам Лев Толстой

18 фев<раля> 1899.

<*Адрес*:> Berlin. Raphael Lövenfeld.
Schiller's Theater.

Автограф. Баварская государственная библиотека в Мюнхене (шифр: Gesch. 1427). Как явствует из надписи на первом листе письма, оно было подарено А. Г. Русановым 17 апреля н. с. 1899 г. Рукописному отделу Баварской государственной библиотеки**.

[1] Андрей Гаврилович *Русанов* (1874—1949) — врач, с 1921 г. профессор Воронежского университета, сын близкого друга Толстого Г. А. Русанова; познакомился с Толстым в 1884 г. в доме своего отца. В последующее время А. Г. Русанов часто встречался с Толстым, особенно в 1893—1902 гг. О хороших отношениях между ними свидетельствует письмо Толстого к нему от 27 февраля 1907 г. (т. 77, с. 43—44) и воспоминания последнего (А. Г. Русанов. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом.— Сб. «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. I. М., 1960, стр. 74—82).

Во время своей поездки в Берлин А. Г. Русанов, вероятно, не застал Лёвенфельда, так как весной 1899 г. последний путешествовал по Германии (поэтому письмо Толстого и осталось в руках Русанова).

---

* оказать ему покровительство (от франц. chaperonner).

** Ныне фотокопия автографа письма к Лёвенфельду поступила в Архив Толстого. — *Ред.*

С. И. БИРЮКОВУ

Публикация И. А. Покровской

19 июня 1899 г. к Толстому обратилась врач М. Н. Овсова. В пространном письме она рассказывала о своей судьбе, о тяжелых невзгодах, которые выпали на ее долю. Поселившись в Костроме, куда она приехала для воспитания сына, она долгое время не могла найти работы. Не имея ниоткуда поддержки и совершенно отчаявшись, она решила просить помощи у Толстого. На первое письмо ответа не последовало. Не зная, дошло ли по назначению первое письмо, Овсова 2 сентября вновь обратилась в Ясную Поляну с просьбой совета и помощи. На конверте второго письма имеется помета рукой Толстого: «отв.».

Лично Овсовой Толстой не писал; помета обозначала, что Толстой счел необходимым откликнуться на ее просьбу, обратившись с публикуемым письмом к своему близкому знакомому Сергею Ивановичу *Бирюкову* (1858—1940). Это был брат биографа Толстого П. И. Бирюкова. В ту пору он служил земским начальником в Костромском уезде.

25 сентября ⟨1899 г.⟩

Дорогой Сергей Иванович,

женщина-врач Овсова, живущая в Костроме, просит какой-нибудь работы в вашем городе, куда она переехала для воспитания своего сына. Сделайте это для нее, если можете, а я рад случаю писать вам и напомнить о наших дружеских отношениях. От Поши получаю письма, ему, кажется, живется хорошо [1].

Дружески жму вам руку Лев Толстой

Письмо написано рукой Н. Л. Оболенского. Последняя строка — автограф Толстого. АТ.

[1] Павел Иванович Бирюков (Поша) годы 1899—1904 проводил в Швейцарии, близ Женевы.

В. А. МАКЛАКОВУ

Публикация В. С. Мишина

Василий Алексеевич *Маклаков* (1870—1957) — московский адвокат, депутат Государственной думы, член кадетской партии, примыкавший к ее правому крылу; был близким знакомым семьи Толстых. После Октябрьской революции — белоэмигрант.

С конца 90-х годов Толстой не раз обращался к Маклакову за помощью по судебным делам окрестных крестьян и рабочих. Он пользовался этими услугами до переезда Маклакова в Петербург.

Последняя из публикуемых записок, адресованная сестре адвоката, Марии Алексеевне *Маклаковой* (1887—1957), по существу также относится к нему.

1

⟨Ясная Поляна.

Конец 1890-х — первая половина 1900-х годов⟩

Будьте добры, Василий Алексеевич, научите подателей этой записки, как им поступить в их деле, а если можете, то и помогите им в ведении этого дела. Просители — рабочие из рудника, которым администрация этого рудника не платит заработанных денег.

Если можете, пожалуйста, сделайте, а то направьте к такому же, как вы, хорошему человеку.

Лев Толстой

С начала письма и до слов «Если можете» написано рукой неустановленного лица; далее — автограф. АТ.

Для более точной датировки оснований не имеется.

2

〈Ясная Поляна. 25—27 сентября 1900 г.〉

Дорогой Василий Алексеевич.

Господин этот едет в Петерб〈ург〉 хлопотать о деле крестьян, которых угнетали и истязали в Киевск〈ой〉 губ. [1] Прошение его, по-моему, написано очень нехорошо. Но несмотря на то, видно, что дело возмутительное и хорошо бы было взяться за него добрым людям.

Как жаль, что вы ко мне не заехали.

Дружески жму вам руку.

Лев Толстой

Автограф. АТ.

В конце сентября 1900 г. Толстой писал М. О. Меньшикову о приезде к нему «господина с делом о высеченных киевских крестьянах» и просил напечатать «об этом ужасном деле». 29 сентября Меньшиков уже отвечал Толстому, обещав «с прошением о высеченных крестьянах сделать, что можно» (т. 72, с. 463). Несомненно, что в данном случае речь идет об одном и том же деле, и письма к Меньшикову и Маклакову написаны одновременно.

[1] Кто приезжал к Толстому по делу об истязании крестьян в Киевской губ. и в чем состояло это дело, неизвестно. Очевидно, по этому же делу Толстой несколько позже писал и А. Ф. Кони, сообщая, что в Сенат «должна поступить жалоба крестьян деревни Каменногорки Липовецкого уезда Киевской губ. на истязания, которым они подверглись» (т. 90, с. 325; с предположительной датой: «1901? г.»).

3

〈Ясная Поляна. Май 1901 г.〉

Милый Вас〈илий〉 Алексеев〈ич〉.

Людям этим Козельск〈ого〉 уезда, отказавшимся от православия и назвавшимся баптистами, не дают паспортов. Законно ли это? Нельзя ли помочь? [1] Люди очень хорошие.

Л. Толстой

Автограф (на небольшой карточке). АТ.

Датируется предположительно. В записной книжке за май 1901 г. Толстой отмечает посещение его «хорошим, умным» «баптистом из Козельского уезда» (т. 54, с. 250). Возможно, что письмо Толстого было связано с этим посещением.

[1] О помощи Маклакова «козельским сектантам» Толстой вспоминает в письме к нему от 19 ноября 1903 г. (т. 74, с. 235).

4

М. А. МАКЛАКОВОЙ

〈Ясная Поляна. 8 марта 1906 г.〉

Тотчас после вас нашел письмо.

Извините, милая Марья Алексеевна, что утруждаю вас.

Попросите от меня очень В〈асилия〉 А〈лексеевича〉, который меня совсем знать не хочет, чтобы он сделал, что может.

Л. Толстой

〈*Адрес*:〉 Москва, д. Борщева. Пречистенка.

Василью Алексеевичу Маклакову.

Автограф. АТ. Датируется на основании ответного письма В. А. Маклакова от 15 марта 1906 г. (см. ниже) и дня отъезда М. А. Маклаковой из Ясной Поляны.

Толстой написал эту записку на последней странице письма к нему Р. П. Сиксне от 3 марта 1906 г. из города Луки, Псковской губ. В этом письме сообщалось об отказе от военной службы по религиозным убеждениям К. П. Сиксне и о постановлении военного суда, по которому он приговаривался «на два года в дисциплинарный батальон без отмены телесных наказаний». «Читая ваши сочинения,— писал Р. П. Сиксне о своем брате,— он пришел к такой окончательности убеждений, и он готов умереть, нежели отказаться от своих убеждений». Далее говорилось, что «псковские верующие братья», желая помочь пострадавшему, хотели бы поручить дело какому-нибудь известному присяжному поверенному и просили совета Толстого по этому вопросу.

Упоминаемый в записке Р. П. Сиксне его брат Карл Петрович Сиксне (1884—1908)— крестьянин, латыш. В 1905 г. он отказался от военной службы, но, несмотря на это, был отправлен в действующую армию. По прибытии в Харбин, Сиксне вновь заявил о своем отказе, после чего был арестован и судим военным судом.

В. А. Маклаков, получив письмо Р. П. Сиксне к Толстому с его припиской, 15 марта отвечал Толстому: «Вмешательство присяжного поверенного в данном случае совершенно невозможно, т. к. в полковых судах и вообще в должностных преступлениях гражданские защитники не допускаются». «... В 1891 г.,— писал он,— был издан тайный циркуляр о том, чтоб *не судить* людей, отказывающихся от военной службы, а административно ссылать их в Якутскую область на 18 лет (т. е. срок службы и запаса)» (АТ).

К. П. Сиксне умер от чахотки в Томской тюрьме.

В. Г. ЧЕРТКОВУ

Публикация И. А. Покровской

Письма Толстого к В. Г. Черткову занимают значительное место в огромной переписке Толстого. За 27 лет знакомства с Чертковым Толстой написал ему 928 писем, дающих богатейший материал для характеристики последнего периода жизни и творчества писателя.

Все письма Толстого к Черткову, которыми располагала редакция Юбилейного издания, опубликованы в нем и занимают пять томов (85—89). Кроме того, в этом издании отмечено, что, по имеющимся у редакции сведениям, было еще восемь писем за 1885—1887, 1906 и 1910 гг. — текст их не известен.

Публикуемое письмо не попало в этот список. Оно обнаружено совсем недавно при разборе архива Черткова. На обложке, в которую оно вложено, написано рукой его сына — В. В. Черткова: «Секретно».

Письмо Толстого — ответ на письмо Черткова из Англии от 4 мая 1904 г., присланное через друга Черткова — Бригса. 11 мая Толстой отметил в дневнике: «Англичанин с письмом от Ч⟨ерткова⟩» (т. 55, с. 34). Этот англичанин и был Бригс.

Письмо Черткова не найдено — в Архиве Толстого хранится только сопроводительная записка, переданная Бригсом. В ней Чертков представляет Бригса как своего друга и просит Толстого оказать ему внимание, но о посылаемом письме не упоминает. Известны два письма Толстого от 13 мая 1904 г., связанные по содержанию с публикуемым письмом. В них затронута та же тема, но в публикуемом письме Толстой высказал откровенно свое отношение к поставленному перед ним Чертковым вопросу о праве на издание сочинений писателя. Именно это Толстой просил сохранить в тайне. Публикуемое письмо является дополнением к двум письмам, известным ранее (т. 88-89, №№ 719—720, от 13 мая 1904 г.).

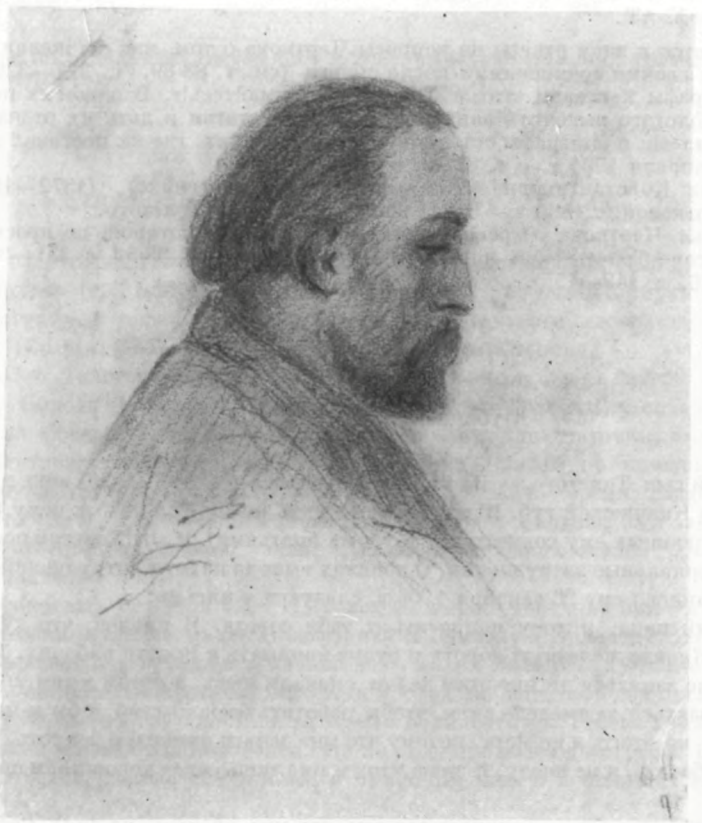
Вероятно, Чертков, стараясь выполнить просьбу Толстого, хранил автограф в секрете ото всех.

⟨Ясная Поляна. 13 мая 1904 г.⟩

Не скрою от вас, любезный друг В⟨ладимир⟩ Г⟨ригорьевич⟩, что ваше письмо с Бригсом было мне неприятно. Ох, эти практические дела. Неприятно мне не то, что дело идет о моей смерти, о ничтожных моих бумагах, которым приписывается ложная важность, а неприятно то, что тут есть какое-то обязательство, насилие, недоверие, недоброта к людям. И мне,

я не знаю как, чувствуется втягивание меня в неприязненность, в делание чего-то, что может вызвать зло.

Я написал свои ответы на ваши вопросы и посылаю [1]. Но если вы напишете мне, что вы их разорвали, сожгли, то мне будет очень приятно. Одно, что в вашем обращении ко мне не было неприятно мне, это ваше желание иметь от меня непосредственное обращение к вам с просьбою после смерти рассмотреть, разобрать мои бумаги и распорядиться ими. Это я сейчас и сделаю.



В. Г. ЧЕРТКОВ
Рисунок Т. Л. Сухотиной-Толстой, 1908 г.
Музей Толстого, Москва

Вот вы пишете, что будете откровенны, не сетуйте и на меня (я знаю вы не будете), что я тоже вполне высказываю, что думаю и чувствую.

Вы мне задали трудную задачу с текстом переводов эпиграфов [2]. Постараюсь это сделать. Я смутно чувствовал, что это нужно было сделать, и сам виноват, что не сделал этого тогда же. Прощайте пока. Привет вашим и Ольге [3]. Радуюсь, что ей и детям хорошо.

Лев Толстой

1904, 13 мая.

Нужно было к этому письму прибавить три пункта. Два вспомнил, а третий забыл. Один пункт то, что вся эта переписка как с моей, так и с вашей стороны, останется для всех тайной.

Второй пункт в том, что как мне бы ни хотелось содействовать материальному успеху ваших изданий, т. е. моих писаний, мне было бы очень тяжело отступить от принятого и очень для меня приятного решения не печатать ничего художеств〈енного〉 до моей смерти. Вообще всякое практическ〈ое〉 отношение к моим писаниям,— мое участие в нем — для меня прямо болезненно. Знаю, что вы поймете меня и не осудите.

Третье, хотя не то, что я забыл, это то, что я перечел вашу статью и надеюсь написать предисловие краткое[4].

Автограф. АТ.

[1] Имеются в виду ответы на вопросы Черткова о том, как бы желал Толстой распорядиться своими сочинениями после смерти (см. т. 88-89, с. 327—329).

[2] Эпиграфы к главам статьи Толстого «Одумайтесь!». В одном из писем Чертков убеждал Толстого выделить эпиграфы из текста статьи и дать их отдельно. Толстой был не согласен, и эпиграфы остались на тех же местах, где их поставил автор (письмо от 18—19 апреля 1904 г.— т. 88-89, с. 329—331).

[3] Ольга Константиновна *Толстая* (рожд. Дитерихс) (1872—1951) — сестра А. К. Чертковой; с 1899 г.— жена Андрея Львовича Толстого.

[4] Статья Черткова «О революции», предисловие к которой, по просьбе Черткова, было написано Толстым (см. письмо от 20 мая 1904 г.—т. 88-89, с. 331—335; предисловие — т. 36, с. 149—155).

И. Л. ТОЛСТОМУ

Публикация Т. Н. Волковой

Второй сын Толстого — Илья Львович *Толстой* (1866—1933) жил в своем имении Мансурово Калужской губ. Известно всего пять писем Толстого к нему (не считая писем, адресованных ему совместно с другими братьями). И. Л. Толстой постоянно испытывал материальные затруднения. О поисках выхода из этих затруднений он, советуясь с отцом, написал ему 26 декабря 1906 г. следующее письмо:

«Милый папа, я хочу попросить у тебя совета. Я прочел, что духоборы хотят строить в Канаде железную дорогу и будут нанимать в России рабочих. И мне пришло в голову, не заняться ли мне этим делом, сначала здесь, а потом и там, в Канаде. Если бы я мог взяться за это дело с тем, чтобы работать бескорыстно, я бы и не спросил твоего совета, но этого я не могу, потому что мне деньги нужны, и без того, чтобы так или иначе заработать, я не поеду. Я знаю,что ты мне дашь совет хороший, и потому спрашиваю тебя.

Мои сомнения еще увеличиваются тем, что мне обещано на днях место оценщика в Крестьянском банке, которое мне очень подходяще.

Представь себе, что с самых похорон Маши я болею, не переставая, сильнейшим ревматизмом. То скрючит руку, то ноги, то какой-нибудь палец. Несколько дней пролежал в постели и не мог ничем двигать. Бывает иногда довольно сильный жар. До нового года не велели выходить 〈...〉 Сам я, благодаря болезни, живу вяло. Может быть хорошо тем, что дурного не делаю и стал смирен. Если тебе некогда мне написать, скажи Саше или Жули 〈Ю. И. Игумновой〉 мне написать два слова. Целую тебя. Твой И л ь я» (АТ).

Ниже публикуется ответное письмо Толстого.

〈Ясная Поляна. 31 декабря 1906 г.〉

Бедный и жалкий Илья.

Я не знаю никакого такого предприятия духоборов, в котором они могли бы предложить тебе дело с вознаграждением. Думаю, что от добра добра не ищут, и тебе нечего искать лучшего против места, которое тебе предлагают.

Болезнь как состояние, удаляющее нас от соблазнов и приближающее нас к смерти, очень полезное состояние. Советую тебе как можно лучше использовать его.

Мне очень грустно, что я с тобой, как и со всеми сыновьями, не могу общаться искренно. Вероятно, я тоже виноват в этом, но все-таки эта разобщенность, которая не изменится, вероятно, до смерти, очень грустна для меня.

Прощай, желаю тебе подольше и поплодотворнее поболеть.

Любящий тебя отец Л. Т.

31 дек⟨абря⟩ 1906

Печатается по отдельным листам (207 и 208), вырезанным из копировальной книги (АТ, Бп 121 б/10914).

Т.-А. ЭДИСОНУ

Публикация Вильяма Эджертона (США)

В статье «Переписка Толстого с Т. Эдисоном», напечатанной в 1939 г. в «Литературном наследстве» (т. 37-38, стр. 330), А. П. Сергеенко рассказал историю получения Толстым фонографа в подарок от известного американского изобретателя Томаса Алвы *Эдисона* (Edison) (1847—1931). История эта вкратце такова.

20 мая 1907 т. Толстого посетил американский корреспондент газеты «New York Times» Стивен Бонсал (Stephen Bonsal). Прощаясь с Толстым, Бонсал вызвался послать ему из Соединенных Штатов Америки аппарат для диктовки, изобретенный Эдисоном и изготовляемый его фирмой. Заказ подарка Бонсал организовал с помощью своего друга Артура Брисбена (Arthur Brisbane), в то время редактора нью-йоркской газеты «New York Evening Journal». Очевидно, фонограф был заказан фирме Эдисона Брисбеном, но Эдисон, узнав, что аппарат предназначался для Толстого, отказался от платы.

Получив фонограф 4 января 1908 г., Толстой просил Черткова помочь ему написать благодарственные письма на английском языке Эдисону и Брисбену. По недоразумению Чертков написал и послал эти письма не от имени Толстого, а от своего. 11 февраля 1908 г. Толстой писал Черткову: «Я тогда просил вас написать два письма: Брисбену и Эдисону, но вы меня не поняли: я хотел сам подписать их. Теперь меня тревожит мысль, что Эдисон может быть недоволен, что не получил моего автографа. Будьте так добры, напишите хорошенько ему письмо и пришлите мне, а я подпишу его» (т. 89, с. 89—90).

В примечании к этому письму в Юбилейном издании сказано: «Чтобы исправить кажущуюся ему неловкость, Толстой написал письмо Брисбену по-английски, прося передать и Эдисону его благодарность (см. т. 78, письмо № 52). Эдисону Толстой также написал письмо на английском языке, но оно не сохранилось. О нем известно из письма Черткова к Эдисону от 1 мая 1908 г.» (т. 89, с. 90).

Письмо Толстого к Эдисону, долгое время считавшееся утерянным, недавно обнаружено нами в архиве Эдисона. Архив находится в бывшей лаборатории изобретателя в городке Уест Орендж (West Orange) штата Нью-Джерси США, которая после его смерти в 1931 г. стала Музеем им. Эдисона *.

⟨1 марта 1908 г.⟩

Yasnaya Poliana. Toula. Russia.

Dear Mr Edison,

My friend Tchertkoff has already at my request written to thank you for the phonograph you have so kindly given me. But owing to a misun-

* Ныне фотокопия автографа письма к Эдисону поступила в Архив Толстого.— *Ред.*

derstanding the letter was posted to you without having previously been handed to me to be signed, as I had intended to do. Not wishing to appear discourteous I am now sending you these lines in order to repeat how grateful I feel to you for your amiable attention. I am using your phonograph for answering letters, and as I gradually get more accustomed to its manipulation I find it more and more helpful.

Hoping you have recovered from the illness you have, I heard, been suffering from,

I am yours very sincerely
Leo Tolstoy

1908. 1 March.

Перевод:

Ясная Поляна. Тула. Россия.

Дорогой мистер Эдисон,

Я просил друга своего Черткова написать вам от моего имени и поблагодарить вас за фонограф, который вы так любезно мне прислали в дар. Я намеревался подписать письмо сам, но по недоразумению оно было отправлено без моей подписи. Я не хочу, чтобы вы сочли меня неучтивым, и посылаю вам эти несколько строк, чтобы еще раз поблагодарить вас за ваше милое внимание. Я пользуюсь фонографом для ответов на письма, и по мере того, как привыкаю обращаться с ним, нахожу его все более полезным.

В надежде, что вы оправились после болезни, от которой вы, как я слышал, страдали,

остаюсь искренно ваш
Лев Толстой

1908. 1 марта.

Только слова «I am yours very sincerely Leo Tolstoy» и дата написаны рукою Толстого.

Штемпель конторы Эдисона, поставленный на письме, указывает, что получено оно было 15 мая 1908 г., т. е. через два с половиной месяца после его отправления из Ясной Поляны.

ФОЛЬКЛОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ, ДНЕВНИКАХ И ПИСЬМАХ ТОЛСТОГО

Публикация Э. Е. Зайденшнур

Публикуемый список пословиц и поговорок, которые вошли в произведения, письма и дневники Толстого, убедительно говорит об интересе Толстого к тому виду народного творчества, который, по определению собирателя пословиц В. И. Даля, не сочиняется, а рождается. Еще в 60-е годы Толстой высказал убеждение, что в этих народных изречениях заложен глубокий смысл, что, будучи сказанными «кстати», они «получают вдруг значение глубокой мудрости» («Война и мир» — т. 12, с. 50). С годами эта высокая оценка не изменилась. Спустя более чем двадцать лет Толстой утверждал, что посредством пословиц народ выразил «метким, кратким и сильным языком» свое мировоззрение. Наличие «глупых и дурных» пословиц не колебало отношения Толстого к мудрости пословиц; он считал, что они «возникли среди глупых и дурных людей», что их сравнительно мало, и не стоит обращать на них внимания, они «подобны песку или мякине в хлебе»[1].

Задача нашей вводной заметки лишь в общих чертах коснуться вопроса о пословице в творчестве Толстого, не раскрывая темы во всем ее многообразии.

К пословицам и поговоркам Толстой обращался на протяжении буквально всей жизни. По словам его старшего сына, Толстой никогда «не переставал изучать русский язык и собирать слова, поговорки и пословицы. В разговоре он нередко приводил русские пословицы как общеизвестные, так и мало известные, записанные им от крестьян и богомольцев». С. Л. Толстой перечисляет несколько пословиц, которые отец его чаще других вводил в свою речь. Это: «Много баить не подобаит»; «На всякий роток не накинешь платок»; «Как аукнется, так и откликнется»; «Бог-то бог, да сам не будь плох»; «Где родился, там и годился»; «Не так живи, как хочется, а как бог велит»; «День мой— век мой». В устной речи Толстого, разумеется, более всего было русских пословиц, но нередко он пользовался иностранными, особенно французскими. Чаще других он любил приводить следующие французские пословицы: «Dans le doute abstiens toi»; «Le mieux est l'ennemie du bien»; «Dis moi qui tu hantes, et je te dirai qui tu es»; «Tout comprendre c'est tout pardonner»; «Tout vient à temps à celui qui sait attendre»; «L'exactitude c'est la politesse des rois»; «Fais ce que doit, advienne que pourra» *. Эти пословицы, по словам С. Л. Толстого, служили его отцу «правилами», а последняя из названных была «его девизом»[2].

Рассеянные по многим мемуарам пословицы и поговорки из устной речи Толстого встречаются также в его письмах и дневниках, начиная с 1847 г. и кончая последней дневниковой записью, сделанной за три дня до смерти. Их более ста пятидесяти. В письмах к близким Толстой приводил пословицы: «Сердце сердцу весть подает», «Твоими бы устами да мед пить». По разным поводам вспоминались пословицы: «Шила в мешке не утаишь», «Бочка меда, ложка дегтю: все испортит». Нравилась Толстому пословица «Старому лгать, богатому красть»; добавив к ней слова: «незачем и стыдно», он до конца выразил заложенную в ней мысль. Толстой ценил эту пословицу особенно потому, что она ясно выражала

* Переводы иноязычных пословиц, приведенных в вступительной статье, см. в списке на стр. 631—636.

часто испытываемое им самим в старости чувство (письмо к Н. Н. Неплюеву от 10 декабря 1893 г.—т. 66, с. 446). Поговорка «На небе царство господнее, а на земле царство господское», услышанная им за несколько месяцев до смерти от крестьян в Кочетах (имение его зятя), чрезвычайно близкая ему по мысли, сразу полюбилась Толстому. Он тотчас же написал об этом Черткову: «Тяготит меня, как всегда, и особенно здесь роскошь жизни среди бедноты народа. Здесь мужики говорят: на небе царство господнее, а на земле царство господское. А здесь роскошь особенно велика, и это словечко засело мне в голову и усиливает сознание постыдности моей жизни» (письмо от 25 августа 1910 г.—т. 89, с. 209). Спустя месяц он вновь вспомнил эту поговорку по поводу революции в Португалии: «И как ясно в народе сознание несправедливости государственного устройства!—сказал Толстой. — Вы знаете, в Кочетах у крестьян есть поговорка: На небе царство господнее, а на земле царство господское»[3]. Тогда же в дневнике Толстой повторил врезавшуюся в его память поговорку (т. 58, с. 97).

Из бывших в ходу у Толстого иностранных пословиц особо выделяются три. «Dans le doute abstiens toi» впервые встречается в 60-е годы, а в последний раз — в письме от 1 сентября 1910 г.; Толстой считал эту пословицу «мудрой» и «очень» верил «мудрости этого правила» (т. 87, с. 268 и т. 76, с. 197). Точно также почти через всю жизнь писателя проходит другая французская пословица: «Tout vient à point à celui qui sait attendre». Ее вписал в дневник 24-летний Толстой, а с годами она сделалась для него «максимой», ею закончено письмо к Черткову, написанное за несколько дней до ухода из Ясной Поляны. И, наконец, третья — «Fais ce que doit advienne que pourra», которую Толстой также считал выражением «глубокой мудрости» и которую множество раз приводил по разным поводам,—замечательна еще тем, что она вошла в последнюю запись Толстого. За три дня до смерти писатель подвел итог: «Вот и план мой. „Fais ce que doit adv...“ И все на благо и другим, и, главное, мне» (т. 58, с. 126). Так закончился дневник Толстого, который он вел с небольшими перерывами 64 года.

Источником, предоставившим Толстому огромный запас русских пословиц, служило постоянное общение его с народом, а также сборники пословиц, чтение которых было для Толстого еще в молодости одним из «любимых» «наслаждений»[4]. В яснополянской библиотеке сохранились сборники пословиц И. М. Снегирева и В. И. Даля. К этим двум книгам Толстой обращался неоднократно, о чем свидетельствуют многочисленные пометки на них, относящиеся к разным периодам. А в последний год жизни Толстой сам выписал из книжного магазина только что вышедший сборник И. И. Иллюстрова «Жизнь русского народа в его пословицах и поговорках» (СПб., 1910). После ухода Толстого из Ясной Поляны книга осталась на его письменном столе, где находится и поныне.

Интерес Толстого к пословицам был настолько велик, что у него возник замысел составить свой сборник. Записная книжка 1880 г. целиком посвящена подготовке неосуществленного в ту пору замысла (т. 48, с. 332—341). Толстой сделал три наброска плана; наиболее широко разработан третий набросок, раскрывающий характер задуманной книги: посредством пословиц, подобранных тематически, дать ответы на коренные вопросы жизни. Книга должна была начаться с введения, озаглавленного «Пословица — ее значение», и состоять из 66 отделов, названия которых с максимальной простотой и четкостью вскрывают их тематику. Например, «Трудись, кормись и корми», «Женись, люби жену и детей», «Думай, учись и учи» и т. д. Названия некоторых разделов выражены пословичными формулами: «Нет черного без белого, нет добра без зла», «Слово чтобы было не праздно и спорно, а ласково», «Всему свое место». Работа не ограничилась только составлением плана; для некоторых разделов были уже подобраны пословицы. Источником служил главным образом сборник Даля, в котором пословицы расположены по темам. Толстому нравился тематический подбор, поэтому изданные «Посредником» стенные листки под заглавиями: «Любовь», «Слово», «Вино», содержащие народные пословицы на указанные темы, получили большое одобрение Толстого. «...что за прелесть листок с пословицами, — писал он по получении одного из них.—Вот бы таких побольше〈...〉 Это прекрасно» (письмо Черткову от 13 сентября 1888 г. — т. 86, с. 168).

Сборник пословиц составлен не был, но мысль о нем сохранялась, и замысел в несколько иной форме осуществился через семь лет. Это был «Календарь с пословицами на 1887 год» (СПб., 1887), над составлением которого Толстой трудился в 1886 г. «Все мы работаем над народным календарем; девочки мои вписывают на каждый день стих из Евангелия и соответствующую пословицу, а потом мы припишем на каждый день народные приметы и советы для крестьянского хозяйства», — рассказывал Толстой [5].

В том же году появилась отдельная книжечка: «Пословицы на каждый день» (изд. «Посредник», СПб., 1887), являющаяся перепечаткой средней части «Календаря» (стр. 30—117), т. е. пословиц на каждый день, а также составленных Толстым описаний крестьянских работ на каждый месяц. Впоследствии в издательстве «Посредник» неоднократно переиздавались только пословицы, расположенные в том же порядке, но без указаний дней, к которым они приурочены в «Календаре»; выходили они под заглавием: «Русские пословицы. Собрал Л. Н. Толстой». Так, хотя и не в полной мере, осуществился замысел Толстого о создании сборника пословиц. В Ясной Поляне в кабинете Толстого находился один экземпляр «Русских пословиц» (изд. 1904) с его многочисленными пометками. В сентябре 1910 г. Толстой вновь читал свой сборничек пословиц, «отмечая», и лучшие из них читал вечером вслух. У многих пословиц указаны сокращенно названия отделов, близкие к разделам книги «Путь жизни». Вероятно, Толстой пользовался этим сборником и раньше как источником при составлении своих сборников афоризмов, первый из которых вышел в 1903 г. под заглавием «Мысли мудрых людей на каждый день», а за ним последовали «Круг чтения» (1906), «На каждый день» (1909—1910) и, наконец, «Путь жизни» (1910). Составляемые Толстым в 80-е годы сборники пословиц, особенно первый неосуществленный сборник, вполне можно считать зерном позднейших книг афоризмов, и особенно «Пути жизни». По тематике разделов неосуществленный сборник 80-х годов чрезвычайно близок к этой книге Толстого и отражает вполне определившееся к тому времени мировоззрение писателя.

В четырех книгах афоризмов, выражающих, по свидетельству Толстого, «полно и ясно» его мировоззрение[6], наряду с изречениями мудрых людей всех времен и народов заняли место народные афоризмы — пословицы и поговорки русские и иноязычные. Пословицы и поговорки, смысл которых совершенно ясен, включены без дополняющих их объяснений. Например, «Кто много говорит, тот мало делает», «Себя уморишь, а людей не удивишь», «Бедному горе, а богатому вдвое». Многие пословицы сопровождаются разъяснением их смысла, как его понимает Толстой. Иногда одна добавленная фраза дает пословице нужное Толстому направление. Например: «Плохое колесо громче визжит, пустой колос выше стоит». «Так же и плохой и пустой человек»,— добавил Толстой. Связав две пословицы (о колесе и колосе) кратким выводом, Толстой создал собственный афоризм. В другом случае он те же две пословицы объединил иным выводом, более общего характера: «Таково же и свойство гордости». Смысл пословицы «Люди век людям помогают» Толстой расширил, введя в ее толкование всегда волновавшую его мысль о социальном неравенстве людей: «Люди век людям помогают. Без такой помощи не могут жить люди. Но помощь эта должна быть взаимная. А то жизнь наша сложилась так, что одни помогают, а другие только пользуются этой помощью». Некоторые пословицы введены с осудительным отзывом: «Есть две пословицы: „от работы будешь горбат, а не будешь богат", и еще „от трудов праведных не наживешь палат каменных". Пословицы эти несправедливы, — добавляет Толстой, — потому что лучше быть горбатым, чем быть неправедно богатым, и труды праведные много лучше, чем палаты каменные».

В годы работы над сборниками мыслей мудрых людей Толстой очень интересовался Востоком и, естественно, внес в свои книги много изречений восточных мудрецов, а также пословицы народов Востока.

Пословица сослужила большую службу и Толстому-педагогу. Глубокий интерес к народному искусству и высокая оценка его привели писателя к мысли использовать для обучения в народной школе «прекрасную, неподражаемую» литературу, которая «выпевается из среды самого народа» (дневник за апрель — май 1851 г. — т. 46, с. 71). На опыте Толстой убедился, что дети с большим интересом читают книги, «писанные не для народа, а из народа, а именно: сказки, пословицы, сборники песен, легенд, стихов,

загадок»[7]. Толстой смело ввел в свою школу сборники сказок А. Н. Афанасьева и И. А. Худякова, сборники песен П. Н. Рыбникова; почетное место заняли сборники загадок и пословиц. Загадки и пословицы оказались самым лучшим материалом для первоначального чтения. Младшие ученики еще «не в силах были читать и понимать сказки: единовременный труд складывания слов и понимания смысла был слишком велик для них» (т. 8, с. 53). Им пришли на помощь пословицы, а для старших школьников пословицы служили темами для сочинений. Известен взволнованный рассказ Толстого о том, как он совместно со своими учениками, крестьянскими мальчиками, писал сочинение на пословицу «Ложкой кормит, стеблем глаз колет», напечатанное в апрельской книжке «Ясной Поляны» 1862 г. (т. 8, с. 301—324). В архиве Толстого сохранилась рукопись ученического сочинения на пословицу «Хорошая слава в лукошке лежит, а плохая слава по дорожке бежит»; а в мартовской книжке «Ясной Поляны» напечатано сочинение яснополянского ученика на пословицу «Кто празднику рад, тот до свету пьян».

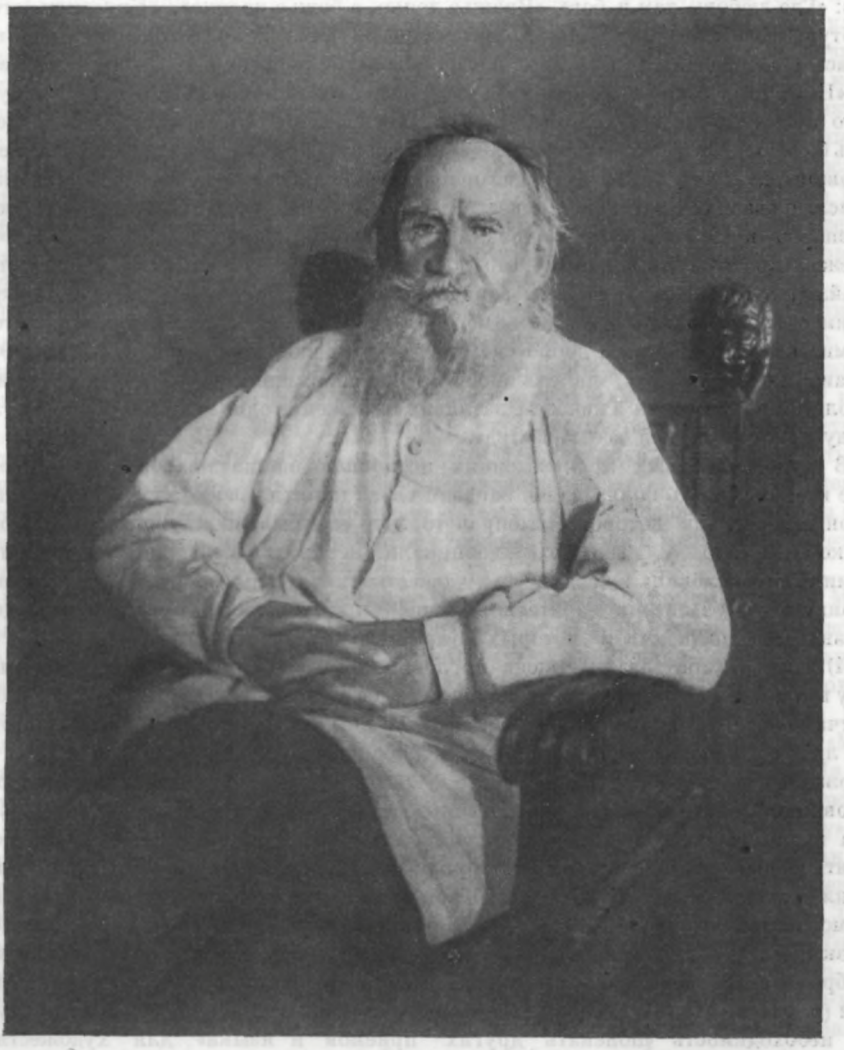
Спустя почти 10 лет Толстой вернулся к педагогической работе. В центре его деятельности на этот раз было не только обучение детей в школе, но и составление учебных книг для начальной школы. В эти годы были созданы «Азбука» (СПб., 1872) с входящими в ее состав четырьмя книгами для чтения и «Новая азбука» (М., 1875). Первые части «Азбуки» и «Новой азбуки» состоят почти исключительно из загадок и особенно пословиц. Они сыграли большую роль при обучении чтению в яснополянской школе, и опыт 60-х годов был использован при создании учебных книг. Толстому предстояло подобрать пословицы на все буквы алфавита, и для этой цели оказался наиболее удобным сборник Снегирева с алфавитным расположением пословиц. Назначение пословицы в «Азбуке» Толстого — не только познакомить ученика с буквой, которой она начиналась, но и служить материалом для первоначального самостоятельного чтения отдельных фраз. Ничто не должно затруднять самый процесс чтения, мысль должна быть легко понятной ученику и выраженной правильным языком. Эта педагогическая задача потребовала тщательной отделки текста отобранных пословиц. Несколько примеров: «Ворона за море летала, а ума не стало» — так у Снегирева. Толстой уточнил смысл: «Ворон за море летал, а умнее не стал». Пословицу «Знаючи недруга, непочто в пир» Толстой заменил более ясным вариантом: «Знаючи недруга, не зови на пир». Уточнен смысл пословицы «Кто бы дятла знал, кабы не его длинный нос»; Толстой дал такую форму: «Кто бы дятла знал, кабы носом не стучал». И смысл понятнее и, благодаря свойственной многим пословицам рифме, она легче запоминается. Подобной «редактуре» Толстого подверглись многие пословицы, включенные в его учебные книги, но немалое количество пословиц сохранилось в книгах Толстого в их подлинном виде, запечатлевшемся в печатных источниках.

От чтения изолированных пословиц Толстой переводит ученика к чтению коротеньких рассказов, большинство которых написано на темы уже знакомых ему пословиц. Обычно к тексту пословицы Толстой добавлял одну-две фразы, и создавался легко доступный для начального чтения трех-четырехстрочный рассказ с определенным сюжетом. Например, «Старик сажал яблони. Ему сказали: ты не дождешься с них яблок. — И пчела не на себя работает». «На деревне умер мальчик; мать его плакала, а на улице пели песни. — Лес по дереву не плачет». «Ездил барин за границу. Приехал к себе и затеял рожь руками сажать. Мужики сказали: Ворон за море летал, умнее не стал»[8].

Еще в 1862 г. Толстой писал, что при чтении пословиц ему «представлялись лица из народа и их столкновения в смысле пословиц», и «в числе неосуществимых мечтаний» писателю «представлялся ряд не то повестей, не то картин, написанных на пословицы». Создание нескольких десятков коротеньких рассказов для детей на пословицы явилось в какой-то, в весьма небольшой степени осуществлением этих «мечтаний» Толстого.

Кроме маленьких рассказов для азбук, у Толстого имеется несколько художественных произведений на темы пословиц. Хотя пословица в качестве заглавия или подзаголовка встречается у Толстого не часто, однако необходимо отметить, что пословичное заглавие, четко выражающее главную мысль автора, привлекало Толстого, и в различные периоды творчества он возвращался к этому художественному приему. Впервые пословица появляется в виде заглавия в «Отрочестве»: «Перемелется, мука бу-

дет»— так озаглавлена шестнадцатая глава, в которой встревоженного предстоящим наказанием Николеньку успокаивает этой пословицей дядька Николай. В дневнике 12 января 1857 г. Толстой записал ряд сюжетов, над которыми он намеревался работать. Среди них: «Роман женщины — тогда орехи, когда зубов у белки нет. Любит и чувствует себя вправе тогда, когда ум дает мало». Даже без пояснения автора тема сочинения благодаря введенной пословице ясна. Такая образность и в то же время лаконизм



ТОЛСТОЙ
Фотография, 1909 г., Ясная Поляна
Музей Толстого, Москва

выражения мысли пословицей всегда привлекали Толстого. В 1863 г. написана повесть «Идиллия», в которой пословица привлечена в качестве подзаголовка. В первой редакции повести эту роль выполняет пословица «Не играй с огнем — обожжешься», символически передающая идею рассказа. Во второй редакции она заменена другой (а может быть это пословичная формула Толстого?): «Оно заработки хорошо, да и грех бывает от того». Теперь подзаголовок не только определяет основную тему, но и вскрывает самый сюжет произведения: отец послал Евстрата на заработки, а за время его отсутствия жена согрешила, изменила Евстрату.

По окончании первой редакции будущего романа «Война и мир» у автора промелькнула мысль озаглавить его «Все хорошо, что хорошо кончается». Но роман даже в его первой редакции не укладывался в такое спокойное заглавие, и эта мысль сразу отпала. В начале 70-х годов Толстой озаглавил пословицами два рассказа: «Охота пуще неволи» — здесь пословица определяет характер поведения главного персонажа; а во втором «Бог правду видит, да не скоро скажет»—вскрывает идею рассказа. Ту же функцию идейного осмысления выполняют пословичные заглавия народных рассказов 80-х годов: «Где любовь, там и бог», «Вражье лепко, а божье крепко», «Упустишь огонь — не потушишь» и подзаголовок драмы «Власть тьмы» — «Коготок увяз, всей птичке пропасть». Последняя повесть, над которой Толстой работал в 1908—1910 гг., озаглавлена «Нет в мире виноватых». Нельзя утверждать, что именно пословица «В миру виноватого нет» натолкнула Толстого на это заглавие. Выраженная данной пословицей мысль была близка Толстому, и он неоднократно высказывал ее [9]. Однако наличие такой пословицы, да к тому же входящей в хорошо известный Толстому сборник Даля, наводит на мысль о связи ее с заглавием повести. Незавершенная комедия «От ней все качества», писавшаяся в 1910 г., по первоначальному замыслу должна была называться «Долг платежом красен». По-видимому, это пословичное заглавие связывалось с поступком Михайлы, который (по черновым вариантам пьесы) возвращает прохожему украденный им сахар и отказывается от намерения вести его за кражу к уряднику, говоря: «Ты мне вчера, и мне и ей добро сделал. Ты думаешь, я забыл» (т. 38, с. 229, 239). Заглавие не удержалось, оно отвлекало от основной идеи пьесы — о вреде пьянства. И Толстой использовал в качестве заглавия выражение одного из действующих лиц по поводу водки: «От ней все качества».

В художественных произведениях пословица нашла наибольшее применение. Чаще всего писатель пользовался запасом своей памяти, своего «умственного ящика», как он говорил, из которого выбирал то, что ему бывало «нужно для писания» [10]. Однако нередко у Толстого возникала необходимость вновь обращаться к сборникам пословиц в связи с художественными замыслами. Так было при создании образа Платона Каратаева; нужны были пословицы определенного идейного направления, посредством которых Каратаев должен «высказывать себя» (т. 48, с. 344). Речь Каратаева насыщена пословицами, источником которых послужил Толстому все тот же сборник Даля; тематическое расположение пословиц в этом сборнике облегчало отбор. Среди рукописей романа сохранились три примечательных автографа: один лист в четвертку, вдоль и поперек исписанный пословицами, и два других листа, содержащих раннюю редакцию текста о Каратаеве, — поля их сплошь заполнены пословицами. Всего заготовлено было семьдесят пословиц, а вошло из них в речь Каратаева в романе только девять, в черновых же вариантах их значительно больше; вероятно, опасаясь чрезмерной перегрузки речи Каратаева пословицами, Толстой сократил их количество. В следующий раз надобность в подборе пословиц возникла, видимо, при работе над незавершенным романом из эпохи Петра I. Толстой составил список нужных ему для работы книг, и среди них назвал: «Словарь Даля», а затем в октябре 1877 г. вновь «наслаждался» чтением сборников пословиц Снегирева и Даля (т. 62, с. 343, 345). Как раз в семидесятые годы Толстой-художник почувствовал необходимость «поискать других приемов и языка» для художественных произведений; ему стали противны, по его словам, «теперешний язык и приемы», а «к другому языку и приемам» влекли его «мечты невольные», язык же этот «и случился народный» (т. 61, с. 277). К этому времени относится особая записная книжка Толстого, являющая пример углубленного изучения Толстым народного русского языка как в беседах с крестьянами и различными странниками и проезжими на «Невском проспекте» (так Толстой называл Киевское шоссе близ Ясной Поляны), так и по словарю русского языка. Наряду с меткими народными словами и выражениями в записной книжке находится более двухсот пословиц и поговорок. Многие из них выписаны из «Толкового словаря русского языка» Даля. Перед Толстым не стояло в то время определенной задачи отбора пословиц, как это было при работе над «Войной и миром» и азбуками. Просматривая том за томом «Толковый словарь», выписывая отдельные слова, Толстой задерживался и на пословицах, помещенных в гнездах данных слов.

Многими из выписанных тогда пословиц Толстой впоследствии воспользовался для драмы «Власть тьмы».

В последний раз Толстой специально отбирал пословицы для художественного произведения уже в 90-е годы, при работе над повестью «Хаджи-Мурат». Понадобились теперь не русские, а пословицы народов Дагестана; Толстой нашел их в «Сборнике сведений о кавказских горцах», из которого он воспользовался и другим фактическим материалом для своей кавказской повести.

В художественных произведениях пословицы входят и в авторский текст и в прямую речь персонажей. Пользуются пословицами представители различных классов, и эти пословицы, конечно, соответствуют внутреннему облику каждого. В речь представителей дворянства, кроме русских, входит немало французских пословиц, которые одновременно выполняют дополнительную функцию — характеристики диалекта столичного русского дворянства. Отмеченные выше излюбленные Толстым французские пословицы произносят идейно близкие ему герои. Высоко ценимую Толстым пословицу «Tout comprendre c'est tout pardonner» напоминает князю Андрею княжна Марья. Две французские пословицы «Dans le doute abstiens toi» и «Tout vient à point à celui qui sait attendre», которыми не раз руководился Кутузов,— это те самые пословицы, в «глубокую мудрость» которых неизменно верил сам Толстой.

Разумеется, более всего пользовались пословицами действующие лица из народа. Но и в их речи пословицы не выпирают, а незаметно сливаются с речью. Так же как индивидуализирован язык персонажей, так в большей части индивидуализированы их пословицы. И няня в «Зараженном семействе», и ямщик в «Метели», и солдаты, и Каратаев в «Войне и мире», и Корней Захаркин из наброска романа времен Петра I, и крестьяне из народных рассказов, и все почти действующие лица «Власти тьмы», и мужики, особенно второй мужик «грубый и правдивый» из «Плодов просвещения», и крестьяне из «Воскресения»— все привлекают пословицы, в которых отражены и трудности крестьянской жизни, и ироническое отношение народа к господам, и недоверие к царскому суду.

Резко выделяются из всех героев двое: Платон Каратаев («Война и мир») и Матрена («Власть тьмы»). Пословицы, которыми пересыпал свою речь Каратаев, идейно слиты с его образом так же, как стилистически с его речью. Смирение и кротость Каратаева, его непоколебимая вера в судьбу и полная покорность ей выражены пословицами. Однако при всем смирении и непротивлении в Каратаеве, как и во всем народе, сильно чувство патриотизма. Для выражения его он тоже нашел пословицы. «Москва, она городам мать», «Как не скучать, на это смотреть»,— скорбит Каратаев. На вопрос Пьера: «Что ж ты думаешь, что уж конец России?», Платон «спокойно и споро» отвечал: «Россеи конца сделать не можно, потому Россеи да лету — союзу нету» (так в черновых вариантах). И Каратаев уверен, что враг должен погибнуть, так как «червь капусту гложе, а сам прежде того пропадае». Произойдет же это, по убеждению наивного патриархального крестьянина, «не нашим умом, а божьим судом». Теми же «нравственными» пословицами руководствуются в жизни и другие герои Толстого, которые, начиная с Каратаева, создают галерею образов патриархального крестьянства. Таковы Аким («Власть тьмы») и отдельные персонажи рассказов 80-х годов.

Пословицами иного характера насыщена речь Матрены. «Ведьма хитрая, хлопотница, скрытная и всех видит», «болтунья, ведьма, любящая пакость»,— такой задумал Толстой эту носительницу «власти тьмы». Характеру Матрены соответствует ее язык, над которым автор много работал, вводя в процессе отделки его все больше и больше метких словечек, речений, пословиц и поговорок. По количеству произносимых пословиц и поговорок Матрена занимает первое место среди героев Толстого. В устах Матрены они звучат то грубо-откровенно, когда ей не надо притворяться: «Все 77 уверток знаю», «Раз маху дашь, век не справишься», «Деньги всему делу голова», «Ходи тором, не положат вором», то лживо, когда она цветистыми речами старается скрыть свои злые умыслы: «Не по лесу видно, а по людям боль-то ходит», «Не красит видно хворь-то», «Бог души не вынет, сама душа не выйдет»[11].

В целом же пословицы в речи персонажей из народа являются, по выражению Толстого, «сводом глубокой житейской мудрости, которой живет народ».

* * *

В публикуемый список включены русские и иностранные пословицы, содержащиеся в произведениях, дневниках, записных книжках и письмах Толстого, а также пословицы, подобранные им для неосуществленного в 1880 г. сборника пословиц, работа над которым отражена в Записной книжке. Пословицы, входящие в составленный Толстым «Календарь с пословицами на 1887 год», в список не включены. Их всего 606; они полностью опубликованы (т. 40, с. 9—66). Учтены в списке лишь те пословицы, которые содержатся в написанных Толстым для «Календаря» заметках о крестьянских работах на каждый месяц года. Не вошли также в список пословицы из устной речи Толстого, упомянутые только в мемуарной литературе.

Пословицы расположены в списке в алфавитном порядке. Текст каждой дан в том варианте, каким пользовался Толстой. Если Толстой включил только часть пословицы, опущенный им текст дополняется в угловых скобках. Например, «Терпи, казак, ⟨атаманом будешь⟩». Дополнения, введенные Толстым к тексту пословицы, печатаются вразрядку. Например, «Старому лгать, как богатому красть н е з а ч е м в с т ы д н о». Звездочкой (*) отмечены пословицы, использованные Толстым в измененном по сравнению с источником виде. Двумя звездочками (**) отмечены те случаи, когда перефразированная пословица или часть ее вошла непосредственно в авторский текст. Например, «Это непорядочно бить лежачего» из пословицы: «Лежачего не бьют»; или «Эти новые метлы не чище, а дальше метут» из пословицы: «Новая метла чисто метет».

Вслед за пословицей указан печатный источник, в котором она приведена. Ссылка на источник не всегда означает, что Толстой именно из него заимствовал пословицу, но всегда служит подтверждением того, что приведенная пословица действительно народная. Только в перечисленных ниже четырех случаях можно с уверенностью говорить, что указанные издания действительно служили печатным источником Толстому при подыскании нужных пословиц:

1. Для пословиц в «Азбуке» и «Новой азбуке» в качестве основного источника указывается сборник Снегирева. Сборник Даля указан лишь в тех случаях, когда у Снегирева данной пословицы нет, или толстовский вариант ее ближе к варианту, имеющемуся у Даля.

2. Для пословиц, отобранных к «Войне и миру», дается ссылка на сборник Даля, так как точно установлено, что именно из него выписывались пословицы.

3. Для пословиц к задуманному в 1880 г. сборнику пословиц главным источником также служил сборник Даля, о чем свидетельствуют поставленные Толстым у текста многих пословиц страницы этого сборника.

4. Пословицы в записную книжку 1879 г. Толстой выписывал главным образом из «Толкового словаря русского языка» Даля и реже из сборника пословиц Даля. На эти источники и дается ссылка. В Записную книжку 1880 г. выписано несколько пословиц из «Сборника сведений о кавказских горцах», вып. 1. Он указан в источниках.

Для ряда русских пословиц печатного источника установить не удалось. Вероятно, некоторые из них Толстой слышал в устной речи народа, либо сам сочинил.

Не удалось установить источника восточных пословиц. Толстой читал много книг по Востоку, из которых и мог выбирать их. Выбранные пословицы Толстой давал в своем, разумеется, вольном переводе. В сборник «Пословицы и поговорки народов Востока», изданный Институтом народов Азии Академии наук СССР (М., 1961), использованные Толстым пословицы не вошли.

Под текстом каждой пословицы перечислены в хронологическом порядке произведения, дневники, записные книжки и письма, в которых она приведена. В скобках указаны том и страницы Полного собрания сочинений Толстого (Юбилейное издание).

В нескольких случаях для пословиц, помещенных в «Круге чтения», указано первое издание, так как в основу публикации в Юбилейном издании положена другая редакция, в которую данные пословицы не вошли. Для пословиц, которые входят в черновые варианты произведений, не включенные в Юбилейное издание, указывается: рукопись. После заглавия художественных произведений

приводится имя персонажа, в речь которого входит пословица. Отсутствие имени означает, что пословица дана в авторском тексте. Имеющиеся в нескольких случаях отметки «черн.» означают, что пословица содержится только в черновой редакции произведения. Отметки «р.» означают, что на указанных страницах напечатан рассказ, написанный Толстым на эту пословицу.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Н. Н. Иванов. У Л. Н. Толстого в 1886 году.— Сб. «Лев Николаевич Толстой». М.— Л., 1928, стр. 193—194.

[2] С. Л. Толстой. Очерки былого. М., 1956, стр. 86 и 87.

[3] В. Ф. Булгаков. Лев Толстой в последний год его жизни. М., 1957, стр. 382.

[4] «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас, или нам у крестьянских ребят». — т. 8, стр. 302.

[5] А. А. Стахович. Клочки воспоминаний.— «Толстовский ежегодник, 1912». М., 1912, стр. 27—28.— В Архиве Толстого сохранились черновые материалы, относящиеся к этому «Календарю». Часть пословиц вписана дочерьми Толстого и другими участниками работы, многие же вписаны самим Толстым. О работе над «Календарем»— см. П. И. Бирюков. Как Лев Николаевич составлял народный календарь («Всеобщий ежемесячник», 1911, ноябрь, стр. 4—10), упомянутые воспоминания Н. Н. Иванова, а также письма к Черткову (т. 85, с. 331 и 411) и к С. А. Толстой (т. 83, с. 576).

[6] А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого, т. I. М., 1959, стр. 235 (запись от 10 августа 1908 г.).

[7] «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» (1862 г.) — т. 8, стр. 60.

[8] Рассказы Толстого на пословицы — см. в томах 21 и 22.

[9] Еще в период работы над «Декабристами» Толстой писал: «Надобно, чтоб не было виноватых» (т. 62, с. 397). «Мне вот именно, если бог приведет, хотелось бы показать в моей работе, что виноватых нет», — говорил он 6 мая 1908 г. (Н. Н. Гусев. Два года с Л. Н. Толстым. М., 1928, стр. 150). А в дневнике спустя год Толстой записал: «Живо представил себе повесть или драму, в которой нет злых, дурных, все добрые для себя и все невиноватые. Как бы было хорошо и как ярко выступила ⟨бы⟩ из-за этой доброты, невиновности людей недоброта и виновность устройства жизни» (т. 57, с. 61).

[10] С. А. Толстая. Моя жизнь. Рукопись.— АТ.

[11] О пословицах в произведениях Толстого — см. также статьи Э. Е. Зайденшнур: «Народная песня и пословица в творчестве Л. Н. Толстого» — Сб. «Лев Николаевич Толстой». М., Изд-во АН СССР, 1951, стр. 511—576; «Произведения народного творчества в педагогике Л. Н. Толстого».— «Яснополянский сборник. Год 1955». Тула, 1955, стр. 137—153; «Фольклор народов Востока в творчестве Л. Н. Толстого».— «Советское востоковедение», 1958, № 6, с. 57—65; «Яснополянский сборник. Год 1960». Тула, 1960, стр. 19—39.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ ИСТОЧНИКОВ

Даль — Пословицы русского народа. Сборник пословиц, поговорок, речений, присловий, частоговорок, прибауток, загадок, поверий и проч. В. Даля. М., 1862.

Забелин, I — И. Забелин. Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст. М., 1872.

Забелин, II — И. Забелин. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII ст. М., 1869.

Массон — Мудрость народная в пословицах у немцев, русских, французов и других одноплеменных им народов. Сборник, составленный Морицом Массоном. СПб., 1868.

Сборник СКГ — Сборник сведений о кавказских горцах, вып. 1. Тифлис, 1868.

Словарь — Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля, т. I—IV. М., 1862—1863.

Снегирев — Русские народные пословицы и притчи, изданные И. Снегиревым. М., 1848.

Снегирев, Доп.— Дополнительный список пословиц, приложенный в конце вышеуказанного издания.

Снегирев, Нов.— Новый сборник русских пословиц и притчей, служащий дополнением к сборнику русских народных пословиц и притчей, изданных в 1848 году И. Снегиревым. М., 1857.

Düringsfeld — Ida von Düringsfeld und Otto Freiherrn von Reinsberg-Düringsfeld. Sprichwörter der Germanischen und Romanischen Sprachen vergleichend zusammengestellt. Leipzig, 1875. Bd. I und II.

Hazlitt — W. Carew Hazlitt. English proverbs and proverbial phrases. London, 1882.

Le Roux de Lincy — Le Livre des proverbes français par Le Roux de Lincy. Paris, chez Paulin, edit., 1842.

Martel — Petit Recueil de proverbes français par L. Martel. 4-ème edit. Paris, Garnier frères libr.-edit.

Wander — Deutsches Sprichwörter-Lexicon. Herausgegeben von Karl Friedrich Wilhelm Wander Leipzig, 1867—1881. Bd. I—V.

РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ

1. * Азбуку учат, на всю избу кричат.— *Снегирев, с. 3.*
«Азбука» (т. 22, с. 20); «Новая азбука», черн. (т. 21, с. 392).
2. Ал цвет мил на весь свет.— *Снегирев, с. 3.*
«Азбука» (т. 22, с. 20); «Новая азбука», черн. (т. 21, с. 392).
3. * Аршин на сукно, ведро на вино.— *Снегирев, с. 5.*
«Азбука» (т. 22, с. 20); «Новая азбука», черн. (т. 21, с. 392).
4. * Баба с печи летит, 77 дум передумает.— *Даль, с. 370.*
«Власть тьмы» — Матрена (т. 26, с. 132).
5. * Бабий кадык не заткнешь ничем.— *Даль, с. 369.*
«Власть тьмы» — Никита (т. 26, с. 193).
6. * Бабий тук до мужицких рук.— *Словарь, IV, с. 452.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 281).
7. * Бабушке только дедушка не внук.— *Даль, с. 418.*
«Азбука» (т. 22, с. 19).
8. Баловливая овца волку корысть [1].— *Снегирев, с. 8.*
«Азбука» (т. 22, с. 56); «Новая азбука» (т. 21, с. 59, р.).
9. Барину везде пир, мужику везде работа.
Записная книжка 1880 (т. 48, с. 297).
10. Барышу наклад — большой брат.— *Даль, с. 576.*
«Много ли человеку земли нужно» — меньшая сестра (т. 25, с. 67).
11. Беда беду родит.— *Даль, с. 31.*
Грамматика для сельской школы (т. 21, с. 535, 543).
12. Беда научает мудрости.
Грамматика для сельской школы (т. 21, с. 535).
13. * Беда одна не ходит.— *Даль, с. 31.*
«Зараженное семейство» — гость (т. 7, с. 268); «Анна Каренина» (т. 18, с. 382).
14. Бедному горе, а богатому вдвое.
«Путь жизни» (т. 45, с. 152).
15. Бедному жениться и ночь коротка.— *Даль, с. 74.*
«Власть тьмы» — Матрена (т. 26, с. 154); «Воскресение» — арестантка (т. 32, с. 167).
16. Бедность не порок.— *Снегирев, с. 28.*
«Новая азбука» (т. 21, с. 47).
17. * Бедность учит, счастье портит.— *Снегирев, с. 28.*
«Азбука» (т. 22, с. 29).
18. Бедный часто ся озирает, хоть его и не кличут.— *Снегирев, с. 27.*
«Азбука» (т. 22, с. 46).
19. * Бежишь от волка, напхаешься на ведмедя.— *Снегирев, с. 28.*
«Власть тьмы» — Матрена (т. 26, с. 234).

---

[1] Среди рукописей «Азбуки» имеется черновой вариант рассказа, озаглавленный этой пословицей. В первом варианте, помещенном в «Азбуке», текст пословицы изменен: Шаловливая овца волку корысть.

20. * Без бога ни до порога, а с ним хошь за море.— *Снегирев, с. 9.*
«Азбука» (т. 22, с. 39).

Без бога ни до порога.
«Нет в мире виноватых» — Неустроев (т. 38, с. 191).

21. Без божьей милости не проживешь, а без родителей проживешь.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 236).

См. также: Без отца, матери проживут, а без бога не проживут.

22. Без денег горе, а с деньгами вдвое.
«Власть тьмы» — Аким (т. 26, с. 182).

23. Без каши внучек ни на час.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 216).

24. Без корня и полынь не растет.— *Даль, с. 339.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 45).

25. Без костей и рыбки не съешь.— *Даль, с. 49.*
«Азбука» (т. 22, с. 33).

Без костей рыбы не съесть.
«Новая азбука» (т. 21, с. 58).

26. Без отца, матери вырастет, а без божьей милости не вырастет.
Записи на отдельных листах (т. 90, с. 196).

Без отца, матери проживут, а без бога не проживут.
«Чем люди живы» — Матрена (т. 25, с. 21).

27. * Без правды жить легко, помирать тяжко. — *Словарь, III, с. 391.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 257).

28. Без притчи веку не изживешь.— *Даль, с. 523.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 341).

29. Без снасти и вша не убьешь.— *Даль, с. 565.*
«Война и мир» — Платон Каратаев (т. 12, с. 95).

30. Без стыда лица не износишь, как платье без пятна.— *Даль, с. 319.*
«Власть тьмы», черн.— Матрена (т. 26, с. 540).

31. Без ума голова — шелыга.— *Даль, с. 465.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 339).

32.* Бездонную кадку не наполнишь, бесщастное дитя не наделишь. — *Снегирев, с. 8.*
«Азбука», черн. (рук. 4, л. 44).

33. Бей русского, часы сделает.— *Даль, с. 343.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 45).

34. Белые руки чужие труды любят.— *Снегирев, с. 28.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 340).

Белые ручки чужие труды любят.— *Даль, с. 549.*
«Так что же нам делать?» (т. 25, с. 237); «На каждый день» (т. 44, с. 279).

35. ** Береженого и бог бережет.— *Снегирев, с. 12.*
Письмо С. А. Толстой 13 декабря 1891 (т. 84, с. 108).

36. Берут завидки на чужие пожитки.— *Даль, с. 741.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 293).

37. Бес не мужик, батога не боится.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 260).

38. * Благодаря Христа борода не пуста, хоть три волосика, да и те взъерошившись. — *Даль, с. 63.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 47); «Война и мир», черн. (т. 15, с. 36); один из пленных в балагане (т. 15, с. 39).

39. Ближняя копейка лучше дальнего рубля.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 247).

Ближняя копейка дороже дальнего рубля.
Работы в январе.— Календарь с пословицами на 1887 год (т. 40, с. 13).

40. Близко локоть, да не укусишь.— *Даль, с. 921.*
«Зараженное семейство» — няня (т. 7, с. 230).
См. также: Локоть близок...

41. * ⟨Бог⟩ бабу взял, девку даст.— *Даль, с. 99.*
«Отец Василий» — кум Митрия (т. 36, с. 90).

42. * Бог велел от земли кормиться.— *Даль, с. 1008.*
Грамматика для сельской школы (т. 21, с. 535).

43. Бог велит пополам делить.
Записная книжка, сентябрь 1910 (т. 58, с. 215).

44. Бог да добрые люди. — *Словарь, II, с. 289.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 263).

45. Бог дает роды, бог даст и силы.
Письмо В. Г. Черткову 16 октября 1887 (т. 86, с. 92).

46. Бог дал, бог и взял. — *Снегирев, с. 17.*
«Крейцерова соната» (т. 27, с. 43).

47. Бог долго ждет, да больно бьет. — *Даль, с. 5.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 47).

48. Бог души не вынет, — сама не выйдет. — *Даль, с. 289.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 45); «Власть тьмы» — Матрена (т. 26, с. 161); «Три дня в деревне». Второй день — старуха (т. 38, с. 16); Записная книжка 1879 (т. 48, с. 232).

49. Бог любит правду, ⟨а денежка счет⟩. — *Снегирев, с. 18.*
«Грамматика для сельской школы» (т. 21, с. 537).

50. Бог мучеников любит.
Записная книжка, 1879 (т. 48, с. 283).

51. Бог не выдаст, свинья не съест. — *Снегирев, с. 18.*
«Зараженное семейство», черн.— Иван Михайлович (т. 7, с. 305).

52. Бог о сироте печальник.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 238).

53. * Бог посылает страдания тому, кого любит.— *Даль, с. 5.*
«Для души» (т. 40, с. 391); «На каждый день» (т. 43, с. 352); «Путь жизни» (т. 45, с. 446).

54. Бог правду видит, да не скоро скажет. — *Снегирев, с. 18.*
Заглавие рассказа (т. 21, с. 246); «Азбука», черн. (т. 21, с. 341).

55. Бог труды любит. — *Снегирев, с. 18.*
«Сто лет» — Евстигней (т. 17, с. 219); «Грамматика для сельской школы» (т. 21, с. 534).

56. Богат ждет пакости, а убог радости. — *Снегирев, с. 15.*
«Азбука» (т. 22, с. 38); «Новая азбука» (т. 21, с. 66—67, р.).

57. Богатому жаль корабля, убогому — костыля. — *Даль с. 77.*
«Азбука» (т. 22, с. 37).

* Богачу жалко корабля, бедняку жалко костыля. — *Даль, с. 77.*
«Новая азбука» (т. 21, с. 47).

58. * Богатому как хочется, убогому как можется. — *Даль, с. 72.*
«Азбука» (т. 22, с. 37).

59. * Богатому красть, старому лгать. — *Даль, с. 374.*
Письма: Н. Н. Страхову 26 (?) мая 1881 (т. 63, с. 65); С. А. Рачинскому 15 ноября—декабрь (?) 1881 (т. 63, с. 84).
См. также: Старому лгать...

60. * Богатство глупому сыну не впрок.— *Словарь, I, с. 103.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 245).

61. Богатство перед богом великий грех, а бедность —перед людьми. — *Даль, с. 73.*
«Путь жизни» (т. 45, с. 149).

62. * Богатство с золотом, а бедность с весельем.— *Даль, с. 72.*
«Путь жизни» (т. 45, с. 153).

63. Богу молись, а к берегу гребись. — *Снегирев, с. 16.*
«Азбука» (т. 22, с. 37—38); «Новая азбука» (т. 21, с. 66).

64. Бодливой корове бог рог не дает. — *Снегирев, с. 18.*
«Азбука» (т. 22, с. 40).

65. Божью власть не руками скласть.— *Словарь, I, с. 109.*
«Война и мир» — купец, перед оставлением Москвы (т. 11, с. 330); «Отец Василий» — отец Василий (т. 36, с. 89).

66. * Больного волка на овцу станет.— *Снегирев, с. 37.*
«Азбука» (т. 22, с. 50).

67. Больному все горько.— *Даль, с. 424.*
«Власть тьмы» — Анисья (т. 26, с. 156).

68. Босоты да наготы изнавешены шесты. А голоду и холоду полны амбары стоят. Дым и копоть, а нечего лопать.— *Даль, с. 64.*
Записная книжка, январь (?) 1873 (т. 48, с. 103).

69. Бочка меду, ложка дегтя: все испортит. — *Даль, с. 108.*
Речь о народных изданиях (т. 25, с. 525); письма: Н. Н. Страхову 6 (?) декабря 1876 (т. 62, с. 294); Н. П. Вагнеру 25 марта 1890 (т. 65, с. 59); Д. А. Хилкову 14 сентября 1892 (т. 66, с. 258); И. М. Трегубову 23 (?) декабря 1900 (т. 72, с. 538).

Браки совершаются в небесах (переводн.) — см. № 1167.

70. Брань в боку не болит. — *Даль, с. 268.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 257).

71. * Брюхо болит, что плохо лежит, или глядючи.— *Словарь, I, с. 135.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 267).

72. Брюхо — злодей: старого добра не помнит.— *Даль, с. 481.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 340).

73. * Будет дождь, будет и рожь.— *Даль, с. 1011.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 232).

74. Булат железо и кисель не режет.— *Снегирев, с. 23.*
«Азбука» (т. 22, с. 20, 32); «Новая азбука» (т. 21, с. 59, р., 510).

75. * Булат и кисель и железо режет.— *Даль, с. 499.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 340).

76. * Бурлацкое горло как рядное бердо, долго терпишь, сыто ешь.— *Словарь, I, с. 83.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 286).

77. * Бушка баран, не гуляй по лесам; убьют тебя, не пеняй на меня.— *Снегирев, с. 23.*
«Азбука» (т. 22, с. 30).

78. Были бы кошки [1], а мышки будут.— *Даль, с. 765.*
«Азбука» (т. 22, с. 20).

79. * Были попы золотые и чаши деревянные; стали чаши золотые — попы деревянные.— *Снегирев, с. 338.*
«Так что же нам делать?» (т. 25, с. 374).

80. Бьешься как рыба об лед.— *Даль, с. 84.*
«Сто лет» — Корней (т. 17, с. 219).

81. * В большом грехе человек кается, а ⌊малый забывается [2].— *Словарь, I, с. 413.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 289).

82. В глупости не волен, а за дурость не хвалят.
Листы из записной книжки 1879 (т. 48, с. 360).

83. В гостях хорошо, а дома лучше.— *Снегирев, с. 51.*
«Анна Каренина» — Левин (т. 18, с. 99); письмо Т. А. Ергольской 26 июня/8 июля 1857 (т. 60, с. 198).

84. В дождь коси, в погоду греби.
«Анна Каренина» — старик-крестьянин (т. 18, с. 266).

85. В драке богатый лицо бережет, убогий — кафтан.— *Даль, с. 77.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 47).

86. В друге стрела как в пне, ⟨а в себе, что в сердце⟩.— *Снегирев, с. 51.*
«Азбука» (т. 22, с. 29).

87. В миру маится, вся сила ангельска удивится.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 244).

88. * В могилу под заступ да укрыть дерниной.— *Словарь, I, с. 344*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 264).

89. В мор намрутся, а в войну налгутся.— *Даль, с. 263.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 45).

90. В одно ухо входит, в другое выходит.— *Словарь, IV, с. 540.*
«Любите друг друга», черн. (рукопись).

91. В полвек мысль приберется в кучку.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 293).

92. * В поле ветер ловишь.— *Даль, с. 437.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 254).

93. В поле две воли; ⟨чья сильнее⟩.— *Даль, с. 263.*
«Хаджи-Мурат» — Иван Матвеевич (т. 35, с. 94).

94. * В пустой избе замка не надо.— *Даль, с. 94.*
«Азбука» (т. 22, с. 24).

95. * В радости сыщут, в горе забудут.— *Даль, с. 142.*
«Азбука» (т. 22, с. 28).

---

[1] Возможно, что в «Азбуке» опечатка; у Даля: «Были бы крошки, а мышки будут».
[2] В Словаре Даля эта пословица читается: «Большой грех прощается скорее малого, потому что человек покается». Толстой первоначально, очевидно, стал списывать ее: «Большой грех прощается скорее малог⟨о⟩», но, не дописав, зачеркнул и придал ей иную пословичную форму.

96. В рот тебе ситного пирога с горохом.— *Толстой слышал эту поговорку от солдата*[1] *(см. сборник «Толстой и о Толстом», вып. 2. М.,1925, с. 88—89.*

«Власть тьмы» — Митрич (т. 26, с. 180, 182, 213, 219, 224).

97. В семье не без урода.— *Снегирев, с. 57.*

«Зараженное семейство», черн.— Иван Михайлович (т. 7, с. 307); «Грамматика для сельской школы» (т. 21, с. 536).

98. * В сене дождевина, в хлебе ведрина.— *Словарь, I, с. 465.*

Записная книжка 1879 (т. 48, с. 290).

99. В соседи за умом не пойдешь.— *Даль, с. 472.*

Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 335).

100. В степи простор, в лесу угодье.— *Даль, с. 342.*

«Азбука» (т. 22, с. 25).

101. * В темноте и гнилушка светит.— *Даль, с. 82.*

«Азбука» (т. 22, с. 22).

102. В тесноте, да не в обиде.— *Даль, с. 604.*

«Война и мир», черн.— Платон Каратаев (т. 15, с. 45); «Крейцерова соната», черн.— купец (т. 27, с. 354); «Воскресение» — Тарас (т. 32, с. 355).

* В тесноте обиды нету.— *Даль, с. 604.*

Письмо А. А. Фету 8—10 июня 1872 (т. 61, с. 293).

103. В тесноте люди живут ⟨лихо не в обиде⟩.— *Снегирев, с. 58.*

«Азбука» (т. 22, с. 23).

104. В умолоте не без ухвостья.— *Даль, с. 502.*

Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 338).

105. * В худого коня корм, в худую кадушку вода. — *Словарь, II, с. 157*

Записная книжка 1879 (т. 48, с. 263).

106. В чужие сани не садись.— *Снегирев, с. 59.*

«Азбука» (т. 22, с. 29).

107. В чужих руках ломоть велик.— *Даль, с. 501.*

«Власть тьмы» — Матрена (т. 26, с. 201); Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 338).

108. Везде бог, везде люди.

«Божеское и человеческое» — раскольник (т. 42, с. 215).

109. Век живи, век учись. — *Снегирев, с. 61.*

«Зараженное семейство», черн.—Мария Васильевна (т. 7, с. 296); «Анна Каренина» — гр. Лидия Ивановна (т. 19, с. 90); письмо В. Г. Черткову 2 ноября 1907 (т. 89, с. 77).

110. Век мелем, а посыпать не умеем.— *Даль, с. 485.*

Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 340).

111. * Век пережить — не поле перейти.— *Снегирев, с. 61.*

«Азбука» (т. 22, с. 29).

112. Век протянется, всему достанется.— *Даль, с. 47.*

Записная книжка 1879 (т. 48, с. 249).

113. * Венчался, как волк, вокруг елки. — *Словарь, I, с. 340.*

Записная книжка 1879 (т. 48, с. 284).

---

[1] В отрывке В. А. Слепцова «Дорожные заметки пешехода» приводится подобная поговорка: «В рот тебе пирога с кашей».

114. Верба хлест, бьет до слез.— *Словарь, I, с. 180.*
«Новая азбука» (т. 21, с. 38).

115. Верить — верь, а без ружья спать не ложись [1].
«Казаки» — Ерошка (т. 6, с. 63).

116. * Весною день долог, ночка коротка.— *Даль, с. 553.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 274).

117. * Вешний путь не дорога, с пьяным речь не беседа.— *Даль, с. 887.*
«Власть тьмы» — Аким и Никита (т. 26, с. 188).

118. * Вздулся как пузырь дождевой и стал ничего.— *Снегирев, с. 31.*
«Азбука» (т. 22, с. 49).

* Вздулся как пузырь и стал ничего.— *Снегирев, с. 31.*
«Новая азбука» (т. 21, с. 51).

119. Взойдет красно солнце, прощай светел месяц.— *Даль, с. 507.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 338).

120. * Взялся за гуж, ⟨не говори, что не дюж⟩.— *Снегирев, с. 31.*
«Анна Каренина» — косец (т. 18, с. 264); «Кто убийцы? Павел Кудряш» (т. 37, с. 307).

121. Видел татарин во сне кисель, да ложки не было; лег спать с ложкой, не видал киселя.— *Даль, с. 33.*
«Азбука» (т. 22, с. 45, р.).

122. Вина голову клонит.— *Снегирев, с. 33.*
«Азбука» (т. 22, с. 24).

123. Вина не от вина.
«От ней все качества», черн. (т. 38, с. 233).

124. Виноватого кровь — вода, а невинного — беда.— *Снегирев, с. 33.*
«Азбука» (т. 22, с. 49).

125. * Вместе тесно, а врозь скучно.— *Даль, с. 604.*
Письмо В. Г. Черткову 19 апреля 1892 (т. 87, с. 141).

126. * Во всяком хлебе мякина.— *Даль, с. 502.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 338).

127. * Во всяком чину есть по плохому сыну.
«Плоды просвещения», черн. — 2-й мужик (т. 27, с. 445).

Во всяком чину бывает по плохому сыну.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 232).

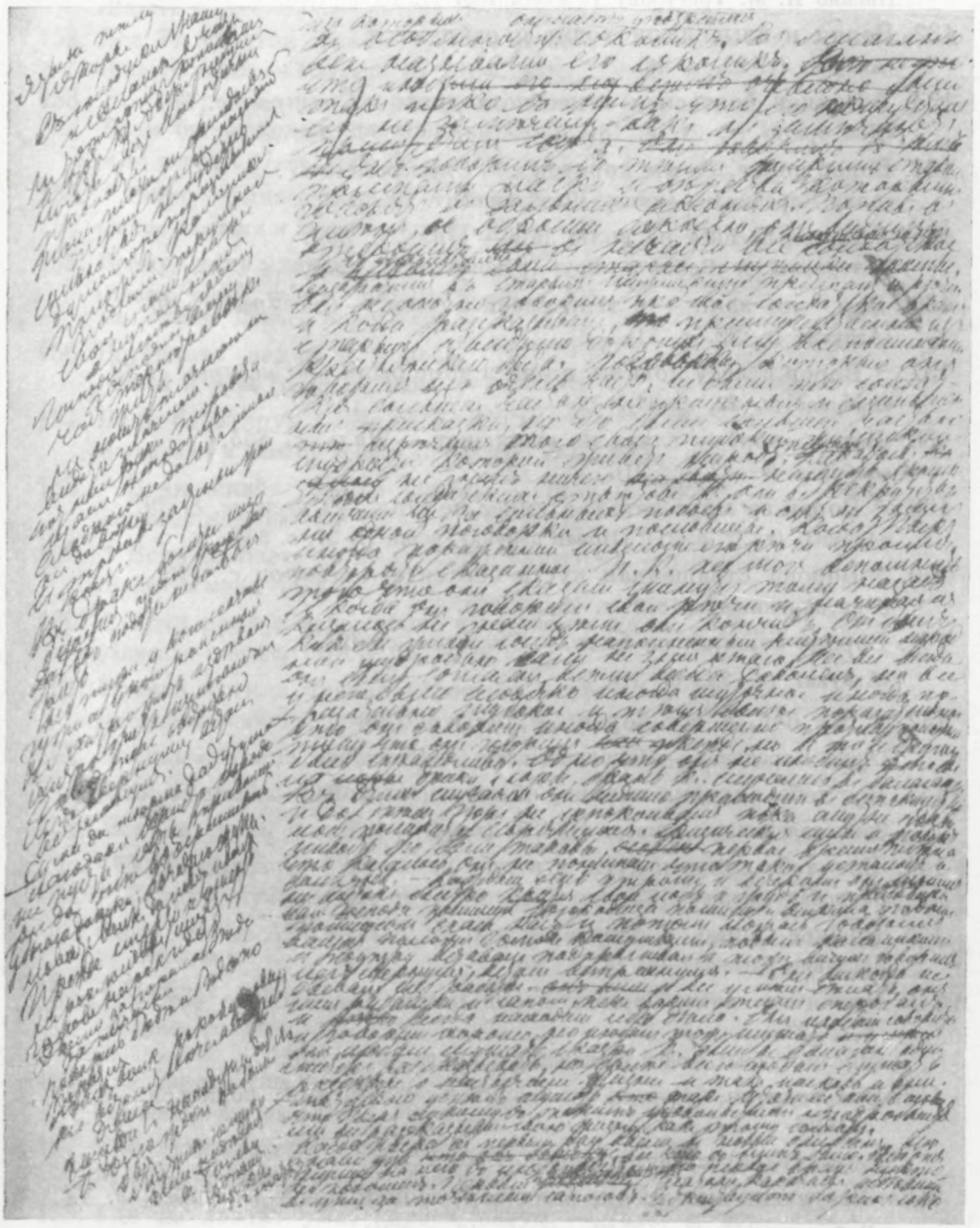
128. * Воз под горою, возжи упали.— *Снегирев, с. 36.*
«Азбука» (т. 22, с. 36, р.); «Новая азбука» (т. 21, с. 59, р.).

129. Воин врагов побивает, лядащий корысть подбирает.— *Даль, с. 264.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 45).

130. Война кровь любит.— *Даль, с. 263.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 45).

---

[1] Относим это выражение к пословицам, так как подобные пословицы имеются. Например, «Дружиться — дружись, а за саблю держись» (Даль, с. 739). Среди пословиц, записанных за знаменитой вопленницей Ириной Федосовой, есть подобная же: «С солдатом дружись, а топор за кушаком держись» (см. «Причитания Северного края», собранные Е. В. Барсовым, ч. I. М., 1872, стр. 323).



ЗАПИСИ РУССКИХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК, СДЕЛАННЫЕ ТОЛСТЫМ НА ПОЛЯХ РУКОПИСИ «ВОЙНЫ И МИРА», 1868 г.

Лист ранней редакции текста о Каратаеве

Архив Толстого, Москва

131. * Волк в овечьей шкуре.— *Даль, с. 19.*
Письмо И. М. Трегубову 19 июля 1897 (т. 70, с. 109).

132. Волки и злые люди ходят и озираются.
«Азбука» (т. 22, с. 46).

133. * Волков бояться — в лес не ходить.— *Снегирев, с. 36.*
«Два брата» (т. 21, с. 181).

134. Волос долог, ⟨а ум короток⟩.— *Снегирев, с. 37.*
«Анна Каренина» — князь Щербацкий (т. 18, с. 409).

135. * Вольный свет на волю дан.— *Даль, с. 301.*
Материалы к «Войне и миру» (рукопись 177, л. 1).

136. Вор, что заяц — и тени своей боится. — *Снегирев, с. 40.*
«Азбука» (т. 22, с. 31).

137. * Воров в лесу ловили, а они в доме были. — *Снегирев, с. 39.*
«Азбука» (т. 22, с. 31).

138. Ворон ворону глаза не выклюнет. — *Даль, с. 855.*
«Азбука» (т. 22, с. 31).

139. * Ворон за море летал, а умнее не стал. — *Снегирев, с. 39.*
«Азбука» (т. 22, с. 21); «Новая азбука», черн. (т. 21, с. 393).

140. * Ворона стращенная куста боится. — *Снегирев, с. 346.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 282).

141. Вороне соколом не быть. — *Снегирев, с. 39.*
«Азбука» (т. 22, с. 31).

142. * Вот бог, а вот порог. — *Даль, с. 239.*
«Анна Каренина» — Николай Левин (т. 18, с. 93).

143. Вот тебе луковка попова, облуплена готова.— *Даль, с. 620.*
Записная книжка, январь (?) 1873 (т. 48, с. 103).

144. Вот тебе хомут и дуга, а я тебе не слуга. — *Снегирев, с. 41.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 295).

145. Вражье лепко, а божье крепко. — *Даль, с. 11.*
Заглавие рассказа (т. 25, с. 59).

146. Время за нами, время перед нами, при нас его нет. — *Словарь, I, с. 265.*
«Мысли мудрых людей на каждый день» (т. 40, с. 210).

147. Все годится, только не годится с чертями водиться. — *Даль, с. 503.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 338).

147а. Все люди, как люди, один черт в колпаке.— *Снегирев, с. 44.*
«Война и мир», черн.— Жирков (т. 13, с. 634).

148. Все минется, правда останется. — *Снегирев, с. 43.*
Письмо Н. В. Орлову 22 апреля 1904 (т. 75, с. 84); Записная книжка 1879 (т. 48, с. 257).

149. * Все мы правду любим, и все ее губим. — *Даль, с. 197.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 289).

150. Все на свете годится, только тот не годится, кому все не годится. — *Даль, с. 503.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 338).

151. Все одно: пить — умереть, не пить — умереть.
«Власть тьмы», черн.— Митрич (т. 26, с. 541).

152. Все 77 уверток знаю. — *Даль, с. 368.*
«Власть тьмы» — Матрена (т. 26, с. 131).

153. Все хорошо, что хорошо кончается (переводн.)— см. № 1125.
Всем бы молодец, да девичий отец.
«Сто лет» (т. 17, с. 237).

154. * Всему бывает конец. — *Снегирев, с. 43.*
«Закон насилия и закон любви» (т. 37, с. 160).

155. Всему делу деньги голова.
«Власть тьмы», черн.— Матрена (т. 26, с. 535).
См. также: Деньги всему делу...

156. Вставлять палки в колеса.
«Война и мир» (т. 11, с. 130).

157. Всяк бабе внук. — *Даль, с. 939.*
Материалы к роману времен Петра I (т. 17, с. 395).

158. * Всяк живот смерти боится. — *Даль, с. 286.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 214, 362).

159. * Всяк пляшет, да не так, как скоморох. — *Снегирев, с. 47.*
«Война и мир», черн. (т. 13, с. 77).

160. * Всяк рану в себе лучше чует, чем в ином. — *Даль, с. 667.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 267).

161. Всякая могила травой заростает. — *Даль, с. 302.*
Материалы к «Войне и миру» (рук. 177, л. 1).

162. Всякая старина свою плешь хвалит. — *Словарь, III, с. 133.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 275).

163. Всякая щель пищит. — *Даль, с. 112.*
«Азбука» (т. 22, с. 28).

164. * Всякий пусть метет перед своей дверью. — *Словарь, II, с. 328*
«Круг чтения» (М., 1906, т. 2, с. 62); «На каждый день» (т. 44, с. 87); «Путь жизни» (т. 45, с. 133).

165. * Выйдет красно солнце, уйдет светел месяц. — *Снегирев, с. 31.*
«Азбука» (т. 22, с. 27).

166. Где закон, там и обида. — *Даль, с. 247.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 293).

167. Где любовь, там и бог. — *Словарь, II, с. 287.*
Заглавие рассказа (т. 25, с. 35).

168. Где не хватит ума, спроси разум. — *Даль, с. 478.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 339).

169. Где прежде разгорается, там и раздувается.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 250).

170. * Где родился, там и годился. — *Словарь, IV, с. 5.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 236).

171. Где суд, там и неправда. — *Даль, с. 163.*
«Война и мир» — Платон Каратаев (т. 12, с. 46).

172. Где цветок, там и медок. — *Снегирев, Нов., с. 18.*
«Азбука» (т. 22, с. 21).

173. * Гладкая головка — отцу-матери не кормилец. — *Снегирев, Нов., с. 18.*
«Азбука» (т. 22, с. 34).

174. * Гложет червь капусту, а сам прежде пропадает. — *Даль, с. 302.*
Материалы к «Войне и миру» (рук. 177, л. 1).
См. также: Червь капусту гложе...

175. * Глупой птице свой дом не мил. — *Снегирев, с. 69.*
«Азбука» (т. 22, с. 21); «Новая азбука» (т. 21, с. 42); «Новая азбука», черн. (т. 21, с. 394).

176. Глупый ищет большого места, а умного и в углу знать. — *Даль, с. 465.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 339).

177. Глупый не ищет знания, только бы выказать свой ум.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 247).

178. * Глупый про себя согрешит, а умный других соблазнит. — *Даль, с. 475.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 287).

179. Глупый умного, а пьяница трезвого не любит. — *Даль, с. 465.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 339).

180. Года от соблазна не затулье. — *Словарь, I, с. 675.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 261).

181. Гол как сокол. — *Даль, с. 65.*
«Казаки», черн.— Ерошка (т. 6, с. 221).

182. Голенький ох, а за голеньким бог. — *Снегирев, с. 71.*
«Азбука» (т. 22, с. 37).

183. Голова без ума, что фонарь без свечи. — *Даль, с. 465.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 338).

184. Головешка одна, сколько не чади, и та затухнет.
«Сто лет» — Корней (т. 17, с. 219).

185. Голод перед сытостью. — *Даль, с. 70.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 47).

186. * Голодный поле перейдет, а голый из печи не вылезет. — *Снегирев, с. 72.*
«Чем люди живы», черн. (т. 25, с. 545, 552); Записная книжка 1879 (т. 48, с. 283).

187. * Голь на выдумки хитра. — *Снегирев, с. 73.*
«О прогрессе и образовании» (т. 8, с. 436).

188. Гонят день к вечеру, а не работу к отделке.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 239).

189. * Гора с горой не сходится. — *Снегирев, с. 73.*
Письмо в. к. Н. М. Романову 15 ноября 1903 (т. 74, с. 233).

190. Горбатый нос себе на уме.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 274).

191. Горе по пятам бьет.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 260).

192. Город доход любит.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 243).

193. Господин гневу своему — господин всему. — *Даль, с. 112.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 46).
См. также: Своему гневу господин...

194. Господь гордым противится, смиренным дает благодать.— *Забелин, II, с. 49, 216.*

Заметки к роману из времен Петра I (т. 17, с. 441); Записная книжка 1879 (т.48, с. 245).

195. * Господь миловал, король жаловал. — *Даль, с. 245.*

Записная книжка 1879 (т. 48, с. 243).

* Господь миловал, царь жаловал. — *Даль, с. 245.*

Записная книжка 1879 (т. 48, с. 249).

196. * Господь терпел и нам велел. — *Даль, с. 96.*

«Закон насилия и закон любви» (т. 37, с. 180).

197. Господь ходил по земле, так он нами не гребовал.

Записная книжка 1879 (т. 48, с. 215).

198. Грамота как полотенце, и строки золотые на концах.

Записная книжка 1879 (т. 48, с. 293).

199. Грех да беда на кого не живет. — *Даль, с. 523.*

Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 341).

200. Грех за грех цепляет, за собою тянет.

«Власть тьмы» — Аким (т. 26, с. 196).

201. Грех сладок, а человек падок. — *Снегирев, с. 79.*

Записная книжка 1879 (т. 48, с. 275).

202. * Грешат—видят, а каются тайно. — *Даль, с. 208.*

Записная книжка 1879 (т. 48, с. 263).

203. Грешить легко, да душе тяжело.

Записная книжка 1879 (т. 48, с. 295).

204. Грибы ищут, по лесу рыщут. — *Снегирев, с. 78.*

«Азбука» (т. 22, с. 33).

205. Губа не дура, ⟨язык не дурак⟩. — *Снегирев, с. 80.*

«Воскресение» — купец-присяжный (т. 32, с. 66).

206. Дай бог водить, не дай бог за ней ходить.

Записная книжка 1879 (т. 48, с. 218, 362).

207. Дай бог подать, не дай бог брать. — *Даль, с. 74.*

Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 47); письмо С. Т. Семенову 20 марта 1890 (т. 65, с. 55).

208. * Дай в окно, бог даст в подворотню. — *Снегирев, Нов., с. 19.*

«Азбука» (т. 22, с. 55).

209. * Дай за поросенка грош, посади в рожь, он и будет хорош. — *Даль, с. 58.*

«Плоды просвещения» — 2-й мужик (т. 27, с. 109).

210. * Дал топор, дай и топорище. — *Даль, с. 710.*

Письма: Н. Н. Страхову 6 августа 1889 (т. 64, с. 292); В. В. Стасову 30 октября 1893 (т. 66, с. 412).

211. Дали бабе холст, говорит: толст. — *Снегирев, Нов., с. 19.*

Листы записной книжки, декабрь 1907 (т. 56, с. 294).

Дали бабе холст, сказала: толст.

«Новая азбука» (т. 21, с. 51).

Дали бабе холст, а она говорит толст; дали потоне, а она говорит: дай боле.

«О безумии», черн. (т. 38, с. 412); письмо Р. С. Лабковской 23 марта 1910 (т. 81, с. 179).

Дали бабе холст — говорит: толст; дали тоне — говорит: дай боле.

Дневник 17 марта 1910 (т. 58, с. 26).

* Дали бабе холст, говорит: толст; дали тоне, она говорит: дай боле.

Письмо Н. Н. Страхову 7 февраля 1878 (т. 62, с. 388).

Дали бабе холст, она говорит: толст; дали бабе потоне — говорит: дай боле.

«Азбука» (т. 22, с. 41).

212. Дали дурню грош, а он говорит: не гож.— *Даль, с. 121.*

Листы записной книжки, март 1910 (т. 58, с. 165).

213. Дали убогому амбарчик да ярочку.

Записная книжка 1880 (т. 48, с. 298).

214. Дальше солнца не сошлют. — *Словарь, IV, с. 272.*

Записная книжка 1879 (т. 48, с. 280).

215. Дать-то дашь, да назад не возьмешь.

«Первый винокур»— мужицкий чертенок (т. 26, с. 46).

216. Два раза не умирать. — *Снегирев, с. 85.*

«Азбука» (т. 22, с. 21).

Два раза не умирать, а раз не миновать.

«Новая азбука», черн. (т. 21, с. 395).

217. Двое плешивых за гребень дерутся. — *Даль, с. 495.*

«Азбука (т. 22, с. 27, 48); «Новая азбука» (т. 21, с. 73); Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 335).

218. Двух смертей не бывать, а одной не миновать. — *Даль, с. 52.*

«Война и мир», черн. (т. 13. с. 324): «Ермак» (т. 21, с. 194); «Хозяин и работник» — Никита (т. 29, с. 45).

219. * Девичий стыд до порога, а переступила — и забыла. — *Снегирев, с. 108.*

«Власть тьмы» — Анисья (т. 26, с. 173).

220. Дела ⟨дела⟩, как сажа бела. — *Снегирев, Нов., с. 21.*

«Первый винокур» — приказный чертенок (т. 26, с. 40).

221. Дело блин блином.

Записная книжка 1879 (т. 48, с. 279).

222. Дело делать с шагу, а то зачерствеет.

Записная книжка 1879 (т. 48, с. 291).

223. * Дело забывчиво, а тело заплывчиво. — *Словарь, I, с. 573.*

Записная книжка 1879 (т. 48, с. 293).

224. Дело не делай, а от дела не бегай. — *Снегирев, с. 109.*

Отрывки рассказов из деревенской жизни (т. 7, с. 116).

225. Дело середкой крепко. — *Даль, с. 540.*

Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 336); письмо Л. Л. и Т. Л. Толстым 6 марта 1894 (т. 67, с. 73).

226. * Дело стало за спором. — *Даль, с. 205.*

Роман из времен Петра I (т. 17, с. 187).

См. также: За спором дело стало.

227. Дело учит и мучит и кормит. — *Даль, с. 555.*
«Азбука» (т. 22, с. 28).

228. * День год кормит. — *Снегирев, Нов., с. 20.*
«И свет во тьме светит» — Севастьян (т. 31, с. 144).

229. * День — денна моя печальница, ночь — ночная богомолица. — *Даль, с. 411.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 289).

230. День прошел, другой дошел.
Записная книжка 1880 (т. 48, с. 298).

231. Деньги — ад.
Дневник 6 мая 1881 (т. 49, с. 32).

232. Деньги всему делу голова.
«Власть тьмы» — Матрена (т. 26, с. 168).
См. также: Всему делу...

232а. ** Деньги — не щепки. — *Снегирев, Доп., с. 482.*
«Записки маркера» (т. 3, с. 101).

233. * Десять раз отмерь, один раз отрежь. — *Даль, с. 602.*
Письма: Л. А. Сулержицкому 20 октября 1898 (т. 71, с. 472); В. Г. Черткову 20 октября 1898 (т. 88, с. 137).

* Десять раз прикинь, раз отрежь.
Письмо Д. Г. Рубану 7 апреля 1910 (т. 81, с. 215).

* Десять раз примерь, а раз отрежь.
«Живой труп» — Каренин (т. 34, с. 14).

Десять раз примерь, один раз отрежь. — *Даль, с. 602.*
«Азбука» (т. 22, с. 35); «Круг чтения» (М., 1906, т. 2, с. 302).

234. Дитё без каши ни на час.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 362).

235. * Дитя падает — ангел перинку стелет. — *Даль, с. 373.*
«Азбука» (т. 22, с. 22).

236. * Для мила дружка семь верст не околица. — *Снегирев, с. 91.*
«Война и мир» — князь Василий (т. 9, с. 258).

237. Для первого раза прощается. — *Даль, с. 227.*
«Казаки» — Оленин (т. 6, с. 67).

238. До царя далёко, до бога высоко. — *Даль, с. 129.*
«Азбука» (т. 22, с. 27).

239. Добр подъячий, а язык высуня голосит. — *Забелин, I, с. 310.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 291).

240. Добрая жена даст голое тело.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 229).

241. Добро помни, а зло забывай. — *Даль, с. 481.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 341).

242. * Добро сытому царева обеда ждати, а праведному смертного часа. — *Даль, с. 717.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 276).

243. * Доброе — доброму, дурному такое же. — *Даль, с. 230.*
«Поликушка», черн. (т. 7, с. 58).

244. * Добрых людей слушаться — решетом воду носить. — *Снегирев, Нов., с. 36.*
«Азбука» (т. 22, с. 46—47, р.); «Новая азбука» (т. 21, с. 74).
См. также: Людей слушаться...

245. * Добудешь так, что и домой не будешь. — *Словарь, I, с. 458.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 220, 363).

246. Доведется и нам песенку свою спеть. — *Даль, с. 98.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 45).

247. Дождик вымочит, красное солнышко высушит. — *Даль, с. 97.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 45).

248. Долг платежом красен. — *Снегирев, с. 99.*
Первоначальное заглавие комедии «От ней все качества» (т. 38, с. 558); письмо А. А. Фету 28 июня 1867 (т. 61, с. 172).

249. * Долги давать — под гору кидать, а собирать — на гору вытягивать. — *Даль, с. 585.*
«Первый винокур» — мужицкий чертенок (т. 26, с. 46).

250. Долго терпит господь-батюшка, да не миновать разделки.
«Власть тьмы», черн.— Аким (т. 26, с. 538).

251. Долгу не имеешь, держи поруку.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 240).

252. Дом вести не <.....> трясти. — *Снегирев, с. 100.*
Записная книжка 1879 (т. 47, с. 286).

253. * Дóма и стены помогают. — *Даль, с. 651.*
Письмо М. О. Меньшикову 7 июня 1898 (т. 71, с. 370).
* Дóма стены помогают.
«Анна Каренина» (т. 18, с. 181).

254. Дома нет ничего, а чтобы был синий лоскут на плечах.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 241).

255. * Дорога крива, да по дороге пива. — *Словарь, II, с. 196.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 264).

256. Дорого к пожару ведро воды.
«Календарь с пословицами на 1887 год». Работы на апрель (т. 40, с. 28).

257. * Дорогой идешь и то спотыкаешься. — *Даль, с. 523.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 341).

258. * Дрова рубят — щепки летят. — *Снегирев, с. 410.*
«Война и мир» — Кутузов (т. 11, с. 170).

259. * Друга ищи, а найдешь — береги. — *Снегирев, с. 103.*
«Азбука» (т. 22, с. 39).

260. Другу сколько можно помогай, <да и дружня добра не забывай>. — *Снегирев, с. 103.*
«Азбука» (т. 22, с. 39).
Друзья наших друзей — наши друзья (переводн.) — см. № 1163.

261. * Дума за горами, беда за плечами. — *Даль, с. 40.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 47).
* Дума за горами, смерть за плечами.
«Не могу молчать» (т. 37, с. 96); Записная книжка 1879 (т. 48, с. 218, 362).
* Думка за горами, а смерть за плечами.
Письмо Е. Ф. Юнге 20—21 (?) января 1886 (т. 63, с. 323).

262. Дума, что борода, лишняя тягота. — *Даль, с. 464.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 338).

263. Думать надо с богом. — *Даль, с. 498.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 340).

264. Думка орлячья, а папоротки курячьи.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 278).

265. Думу думать — не продумать.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 262).

266. * Дурак в воду камень кинет, и умный не достанет. — *Даль, с. 479.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 341).

267. Дурак завяжет, и умный не развяжет. — *Даль, с. 479.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 341).

268. Дурак, что мутовка: куда ни поверни, а сук впереди. — *Даль, с. 467.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 339).

269. Дурака в семи водах не выварить.
«Хаджи-Мурат», черн.— Панов (т. 35, с. 474).

270. Дуракам закон не писан. — *Снегирев, с. 106.*
«Детская мудрость»: «Осуждение» — Митя (т. 37, с. 318).

271. Едешь на день, бери хлеба на неделю. — *Снегирев, с. 470.*
«Азбука» (т. 22, с. 29).

272. Еду не свищу, а наеду — не спущу. — *Снегирев, с. 470.*
«Азбука» (т. 22, с. 29).

273. * Ерема, Ерема, сидел бы ты дома, точил бы свои веретена. — *Даль, с. 340.*
«Война и мир» — Шиншин (т. 9, с. 76).

274. * Если бы вашими устами мед пить. — *Снегирев, с. 113.*
Письмо Н. Н. Страхову 22—23 сентября 1877 (т. 62, с. 343).

Вашими устами мед пить.
Письма: А. А. Фету 6—8 ноября 1878 (т. 62, с. 451); Д. Р. Кудрявцеву 16 января 1895 (т. 68, с. 18).

* Кабы вашими устами мед пить.
Письмо В. Г. Черткову 28—29 октября 1889 (т. 86, с. 268).

275. * Если веруешь, то горы подвигнешь. — *Даль, с. 11.*
Начало фантастического рассказа (т. 5, с. 189).

276. * Если изверишься в алтыне, не поверят в рубле. — *Снегирев, с. 113.*
«Азбука» (т. 22, с. 21); «Новая азбука», черн. (т. 21, с. 395).

277. Есть что слушать, да нечего кушать. — *Снегирев, с. 114.*
«Азбука» (т. 22, с. 49); «Новая азбука» (т. 21, с. 73).

278. * Ехал прямо, упал в яму. — *Снегирев, с. 471.*
«Азбука» (т. 22, с. 24).

279. Ешь с голоду, а люби с молоду. — *Словарь, I, с. 379.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 263).

280. Жалеть мешка, не завесть дружка. — *Снегирев, с. 115.*
«Азбука» (т. 22, с. 56).

281. Жалит пчелка, жаль меду. — *Снегирев, с. 115.*
«Азбука» (т. 22, с. 22).

282. Жаль молока — не видать кошки. — *Снегирев, с. 115.*
«Азбука» (т. 22, с. 56).

283. * Железом хлеба добывают. — *Снегирев, с. 117.*
«Азбука» (т. 22, с. 22); «Новая азбука», черн. (т. 21, с. 395).

284. * Жена для совета, теща для привета, а нет милей родной матушки. — *Даль, с. 411.*
«Война и мир» — Каратаев (т. 12, с. 47).

285. Женится — переменится. — *Даль, с. 382.*
«Война и мир», черн. — граф и графиня Ростовы (т. 13, с. 576).

286. * Жену без попа, как лапти сплесть без кочедыка. — *Словарь, II, с. 183.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 264).

287. Женщина — жена — утлый сосуд.
«Крейцерова соната» — купец (т. 27, с. 11).

288. Жестоко жить — души спасти.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 233).

289. * Живем, пока хлеб жуем. — *Словарь, I, с. 544.*
«Власть тьмы» — Матрена (т. 26, с. 162).

290. Живи всяк своим умом. — *Даль, с. 472.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 335).

291. * Живи до веку и до вечера. — *Даль, с. 288.*
«Круг чтения» (т. 42, с. 112); «На каждый день» (т. 43, с. 299); «Путь жизни» (т. 45, с. 462); письма: А. А. Толстой 1—20(?) июня 1889 (т. 64, с. 269); духоборам, сосланным в Якутскую область, 24 марта 1899 (т. 72, с. 102).

* Живи до вечера и до веку.

Письмо А. К. и В. Г. Чертковым 17 сентября 1890 (т. 87, с. 46).
См. также: Жить до веку и до вечеру.

292. Живой живое и думает. — *Снегирев, с. 124.*
«Власть тьмы» — Матрена (т. 26, с. 167); дневник 7 марта 1904 (т. 55, с. 17).

293. * Животы, что голуби — где приживутся. — *Снегирев, с. 125.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 292).

294. Жид крещеный, конь леченый, недруг примиренный. — *Снегирев, с. 179.*
«Азбука» (т. 22, с. 53).

295. * Жил-был молодец: дома не видал веселья, ушел на чужбину — заплакал. — *Даль, с. 340.*
«Азбука» (т. 22, с. 24).

296. Жили деды — не видали беды; стали жить внуки — натерпелись муки. — *Снегирев, с. 126.*
«Азбука» (т. 22, с. 22 и 53); «Новая азбука», черн. (рукопись).

297. * Жить до веку и до вечеру. — *Даль, с. 288.*
Записная книжка 1893—1895 (т. 52, с. 250).

Жить до вечера и до веку.

«На каждый день» (т. 44, с. 318); «Путь жизни» (т. 45, с. 333); Дневник 3 ноября 1893 (т. 52, с. 104).
См. также: Живи до веку и до вечера.

298. * За перо возьмется, у мужика борода трясется. — *Словарь, III, с. 102.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 275).

299. * За простину бог любит. — *Словарь, III, с. 532.*
Листы из записной книжки (т. 48, с. 361).

300. ⟨За семь верст⟩ киселя есть. — *Снегирев, с. 136.*
«Зараженное семейство», черн.— няня (т. 7, с. 302).

301. * За сердце щепа влезла. — *Словарь, IV, с. 675.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 282, 362, 364).

302. За спором дело стало. — *Даль, с. 205.*
«Азбука» (т. 22, с. 36, 58—59); «Новая азбука» (т. 21, с. 69, р.).
См. также: Дело стало за спором.

303. Завыли рога у туга лука.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 227).

304. Зайцу от собак не уйти.
«Новая азбука» (т. 21, с. 55).

305. * Заря вгонит, заря выгонит. — *Словарь, I, с. 647.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 280).

306. Заря деньгу дает. — *Снегирев, с. 136.*
«Азбука» (т. 22, с. 19); «Новая азбука» (т. 21, с. 65; с. 392, черн.).

307. Захвати тепла до Покрова. — *Словарь, III, с. 254.*
«Календарь с пословицами на 1887 год». Работы в октябре (т. 40, с. 55).

308. * Зацепился за пень и стал на весь день. — *Даль, с. 615.*
«Азбука» (т. 22, с. 29).

309. * Здорова жена — мужу, богата сестра брату мила. — *Даль, с. 419.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 290).

310. * Земля-матушка никому не скажет, как корова языком слижет. — *Даль, с. 630.*
«Власть тьмы» — Матрена (т. 26, с. 207).

311. * Земля слухом полнится. — *Снегирев, с. 374.*
«Бог правду видит, да не скоро скажет» — Макар Семенов (т. 21, с. 250).

312. Землю на раздел, царя на расст⟨рел?⟩.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 234).

313. Злая жена мужу пуще злого переческа.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 276).

314. Зло добром покрывается.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 281).

315. * Знаем сами — кривы сани. — *Снегирев, с. 144.*
«Азбука» (т. 22, с. 22).

316. Знает кошка, чье мясо съела. — *Снегирев, с. 144.*
«Азбука» (т. 22, с. 22); «Новая азбука» (т. 21, с. 61, 395, черн.); «О науке» черн. (т. 38, с. 322); письмо Ф. А. Абрамову 1 июля 1909 (т. 80, с. 3).

317. Знай сверчок свой шесток. — *Снегирев, с. 145.*
«Азбука» (т. 22, с. 22); «Новая азбука», черн. (т. 21, с. 395).

318. * Знаючи недруга, не зови на пир. — *Даль, с. 857.*
«Азбука» (т. 22, с. 39).

319. Золовки-колотовки. — *Даль, с. 417.*
«Война и мир» — Ахросимова (т. 10, с. 316).

320. Золото в запарку нейдет.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 287).

321. И бог на всех не угодит. — *Даль, с. 501.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 338).

322. * И бог на того, кто обидит кого. — *Снегирев, с. 387*
«Азбука» (т. 22, с. 48).

323. * И в гостях хорошо и дома хорошо. — *Снегирев, с. 51.*
Письмо С. А. Толстой 19 июня 1910 (т. 84, с. 395).

324. И в рай и в муки на все руки.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 258, 260).

325. И вожжи тут, и перемет здеся.
«Власть тьмы», черн.— Никита (т. 26, с. 541).

326. И волки сыты, и овцы целы. — *Даль, с. 456.*
«Война и мир» — Сперанский (т. 10, с. 168).

327. И за горой рекой... люди ⟨живут⟩. — *Словарь, II, с. 289.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 263).

328. И месяц светит, коль солнца нет. — *Снегирев, с. 155.*
«Азбука» (т. 22, с. 22).

329. * И моя денежка не щербатая. — *Даль, с. 184.*
«Крейцерова соната», черн.— Позднышев (т. 27, с. 361).

330. * И на доброго коня спотычка. — *Даль, с. 502.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 341).

331. И отца-мать забудешь, а есть не позабудешь. — *Даль, с. 481.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 340).

332. * И полынь на своем кореню растет. — *Даль, с. 339.*
«Война и мир» — солдат (т. 12, с. 196).

333. И пчела летит на красный цветок. — *Снегирев, с. 157.*
«Азбука» (т. 22, с. 20); «Новая азбука», черн. (т. 21, с. 393).

334. * И пчела на себя не работает. — *Даль, с. 556.*
«Азбука» (т. 22, с. 52).

И пчела не на себя работает.
«Новая азбука», черн. (т. 21, с. 510).

335. И сам тонет и других топит. — *Даль, с. 486.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 335).

336. И собака не лает на того, чей хлеб ест. — *Снегирев, Нов., с. 25.*
«Азбука» (т. 22, с. 53).

337. И трава в застеньи жолкнет. — *Даль, с. 81.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 47); Записная книжка 1879 (т. 48, с. 225).

338. И царь воды не удоржит. — *Даль, с. 927.*
«Воскресение» — арестант (т. 32, с. 385).

339. * И через золото слезы льются. — *Снегирев, с. 159.*
«Власть тьмы» — кума (т. 26, с. 177).

340. * Из грязи да попал в князи. — *Снегирев, с. 32.*
«Свечка» (т. 25, с. 106).

341. Из огня да в полымя. — *Даль, с. 488.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 335).

* Из огня — в полымя. — *Снегирев, с. 153.*
Дневник 16 апреля 1910 (т. 58, с. 39).

342. Из сердца не вынешь.— *Снегирев, с. 154.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 283).

343. Из худого кармана последний грош валится. — *Снегирев, Нов., с. 25.*
«Азбука» (т. 22, с. 43).

344. Изба крепка запором, а двор забором. — *Снегирев, с. 150.*
«Азбука» (т. 22, с. 19); «Новая азбука», черн. (т. 21, с. 392, р.).

345. Изверишься в алтыне, не поверят в рубле. — *Снегирев, с. 113.*
«Новая азбука», черн. (т. 21, с. 395).

346. * Именья крест да пуговица, а скотины таракан да жуковица. — *Даль, с. 63.*
«Власть тьмы», черн.— Митрич (т. 26, с. 541).

347. Ин сворчит, а я смолчу.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 238).

348. * Искать большого счастья — малое потерять.— *Снегирев, Нов., с. 23.*
«Два брата» (т. 21, с. 181).

349. * Искра зажгла Москву.— *Даль, с. 595.*
«Новая азбука» (т. 21, с. 50).

350. Ищи на орле, на правом крыле. — *Даль, с. 630.*
«Власть тьмы» — Матрена (т. 26, с. 165).

351. К слову говорится — *Словарь, IV, с. 227.*
«Поликушка», черн.— Игнат (т. 7, с. 59).

352. * К тебе с добром, а ты с дерьмом. — *Словарь, I, с. 444.*
«Власть тьмы», черн.— Анисья (т. 26, с. 539).

353. * Кабы барыня не уськала, и барин не лаял. — *Словарь, I, с. 49.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 287).

354. * Кабы ему песий хвост, — сам бы себе бока настегал. — *Словарь, III, с. 106.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 275).

355. * Кабы из твоих уст да богу в уши. — *Словарь, IV, с. 528.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 230).

356. Кабы мне тот разум наперед, что приходит опосля. — *Даль, с. 463.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 334).

Кабы мне наперед тот разум, что после приходит.
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 338).

357. Каждое леточко что ни травинка, то цветочек.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 280).

358. * Как бог на душу положит. — *Даль, с. 536.*
«Бог правду видит, да не скоро скажет» — Аксенов (т. 21, с. 251).

* Как положит бог на сердце.
Письмо Д. А. Хилкову 24 декабря 1893 (т. 66, с. 453).

359. Как в воде лицо к лицу, так в жизни сердце к сердцу человека.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 261).

360. * Как в доме лад, найдешь клад, а не лад, потеряешь клад. — *Даль, с. 862.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 234).

361. * Как волка ни ласкай, он все к лесу глядит. — *Снегирев, с. 164.*
«Азбука» (т. 22, с. 23).

362. * Как глядишь, так и видишь. — *Снегирев, с. 485.*
«Азбука» (т. 22, с. 21); «Новая азбука», черн. (т. 21, с. 394).

363. Как горе одно не ходит, так и радости.
«Смерть Ивана Ильича», черн. (т. 26, с. 514).

364. Как два разных колеса врозь.
Листы из записной книжки 6 декабря 1881 (т. 49, с. 148).

365. Как жид торгуйся, а разделывай, как крестьянин.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 279).

366. Как одна свеча другие свечи зажжет — сама не умалится в своем свете.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 224, 363).

367. Как перед богом.
Дневник 20 октября 1906 (т. 55, с. 262).

368. Как перепелка под ястребом головы не поднимает.
Листы из записной книжки 6 декабря 1881 (т. 49, с. 148).

369. ⟨С нас беда⟩ как с гуся вода. — *Словарь, I, с. 421.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 289).

370. * Как сам плох, не даст бог. — *Словарь, III, с. 131.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 234).

371. Как свеча пойдет богу на жертву.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 292).

372. Как слепые щенята от матери расползлись. — *Словарь, IV, с. 675.*
«Почему христианские народы вообще и в особенности русский находятся теперь в бедственном положении» (т. 37, с. 355).

373. Как унес в море бросить — грехи.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 294).

374. Какой палец ни укуси, все больно. — *Даль, с. 407.*
«Война и мир» — Каратаев (т. 12, с. 47); «Азбука» (т. 22, с. 20); «Новая азбука» (т. 21, с. 65, 512, черн.); Записная книжка 1879 (т. 48, с. 311).

375. Камень и тот треснет — искра выскочит.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 260).

376. Капля мала, а каплями море. — *Словарь, II, с. 86.*
«Азбука» (т. 22, с. 30).

Капля мала, а по капле море.
«Новая азбука» (т. 21, с. 21).

377. Кинь калач на лес, назад пойдешь, найдешь калач. — *Даль, с. 532.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 341).

378. * Клин выбивать клином. — *Снегирев, с. 169.*
Письмо П. В. Веригину 21 ноября 1895 (т. 68, с. 264).

* Клин клином выгоняют.
Письмо В. В. Арсеньевой 12 декабря 1856 (т. 60, с. 141).

379. Когда рожь, тогда и мера. — *Даль, с. 484.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 335).

380. Когда счастье в руках, несчастью не верится.
«Поликушка», черн. (т. 7, с. 60).

381. * Кого бог любит, того и испытывает. — *Даль, с. 5.*
Письмо В. А. Молочникову 7 июня 1908 (т. 78, с. 161).

382. * Коготок увяз, всей птичке пропасть. — *Даль, с. 130.*
«Власть тьмы» — Аким и Никита (т. 26, с. 242); подзаголовок драмы «Власть тьмы» (т. 26, с. 121).
См. также: Ноготь увяз...

383. * Коза до соли, девка до воли. — *Даль, с. 935.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 275).

384. Коли братня смерть не накажет, своей не накажешься. — *Даль, с. 530.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 340).

385. Коли мужик на корню не сидел, так уж бабе не усидеть.
«Жил в селе человек праведный...» — старшина (т. 26, с. 463).

386. Кому скорей надо, тот осади назад.
«Новая азбука» (т. 21, с. 49).

387. Конец — делу венец. — *Даль, с. 540.*
«Новая азбука» (т. 21, с. 47).

388. Конь без мотычки, корова без передою, закром без выгребу.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 263).

389. Конь о четырех ногах, да спотыкается. — *Даль, с. 502.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 341).

390. Корова солому ест, и то играет.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 233).

391. Короткий счет, длинная дружба. — *Снегирев, с. 180.*
«Азбука» (т. 22, с. 54).

392. Кот да кошка, да поп Тимошка. — *Забелин, II, с. 423.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 221, 364).
См. также: Никто не знает: ни кот...

393. * Кошачьим глазам дым не страшен. — *Снегирев, с. 181.*
«Азбука» (т. 22, с. 28).

394. * Кошке игрушки, мышке слезки. — *Снегирев, с. 182.*
«Азбука» (т. 22, с. 23 и 36).

* Кошке шутки, а мышке слезки.
«Новая азбука» (т. 21, с. 21).

Крайности сходятся (переводн.). — см. № 1165.

395. * Красна баба повоем, корова удоем. — *Даль, с. 772.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 263).

396. * Красна птица пером, человек умом. — *Снегирев, с. 182.*
«Азбука» (т. 22, с. 23).

397. Красному яблочку червоточинка не укор. — *Даль, с. 503.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 341).
См. также: Червоточинка...

398. Красные девицы, пирожны мастерицы, горчешны пагубницы. — *Даль, с. 825.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 289).

399. Крестьянское брюшко вкруг спинки обошло.—*Словарь, I, с. 135.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 279).

400. Кривы дрова, да прямо горят. — *Даль, с. 500.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 338); Записная книжка 1879 (т. 48, с. 264).

401. * Кто бога боится, тот людей не боится. А кто людей боится, тот бога не боится.— *Словарь, I, с. 123.*
«Мысли мудрых людей на каждый день» (т. 40, с. 170).

402. * Кто богу не грешен, царю не виноват. — *Снегирев, с. 184.*
«Декабристы», черн.— генерал Самойлов (т. 17, с. 274); «Дьявол» — приказчик (т. 27, с. 502); «Воскресение» — Матрена Харина (т. 32, с. 214); «Кто убийцы? Павел Кудряш» (т. 37, с. 296); «Корней Васильев», черн. (т. 42, с. 481).

403. * Кто бы дятла знал, кабы носом не стучал. — *Снегирев, Нов., с. 28.*
«Азбука» (т. 22, с. 53).

404. * Кто гладок, так похудает, а худому смерть. — *Даль, с. 303.*
«Война и мир» — солдат (т. 12, с. 192).

405. * Кто кого одолел, тот того и съел. — *Снегирев, с. 189.*
«Единственное средство», черн. (рукопись).

406. * Кто много говорит, тот мало делает.—*Снегирев, с. 194.*
«На каждый день» (т. 44, с. 313).

407. * Кто на море не бывал, тот богу не маливался. — *Снегирев, с. 190.*
«Море» (т. 21, с. 116).

408. Кто не пашет, у того и огрехов нет. — *Даль, с. 524.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 341).

409. * Кто старое помянет, тому глаз вон. — *Даль, с. 481.*
«Дьявол» — приказчик (т. 27, с. 502); материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 341).

410. Кто счастлив, тот и прав.
«Казаки».— Оленин (т. 6, с. 100; черн. с. 165).

411. Куда иголка, туда и нитка. — *Снегирев, с. 197.*
«Азбука» (т. 22, с. 24); «Новая азбука» (т. 21, с. 47); «Сказка об Иване дураке...»— жена Ивана (т. 25, с. 129).

412. Куй железо, пока горячо. — *Снегирев, с. 198.*
«Хаджи-Мурат» — Шамиль (т. 35, с. 452); письма: И. И. Горбунову-Посадову 1—25 (?) октября 1888 (т. 64, с. 187); Е. И. Попову 14 мая 1894 (т. 67, с. 122).

413. * Кукушка не вьет своего гнезда. — *Даль, с. 670.*
«Новая азбука» (т. 21, с. 61).

413а. Лаптем шти хлебал.— *Забелин, I, с. 262.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 219, 363).

414. * Ласка не нужна, а гроз не боюсь. — *Словарь, I, с. 407.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 289).

415. * Ласковое слово кость ломит. — *Даль, с. 446.*
Письмо Е. М. Ещенко около 15 февраля 1889 (т. 64, с. 223).

416. * Ласковое теля двух маток сосет, а с бодливой коровы рога сшибут. — *Словарь, I, с. 108.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 282).

417. Лев страшнò, обезьяна смешно. — *Снегирев, с. 202.*
«Азбука» (т. 22, с. 34).

418. Лег—свернулся, встал—встряхнулся ⟨:вот моя жизнь⟩. —*Даль, с. 70.*
«Война и мир» — Каратаев (т. 12, с. 49); материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 47).

419. Лежа пищи не добудешь. — *Даль, с. 526.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 341).

420. Лежачего не бьют. — *Снегирев, с. 202.*
«Воспитание и образование» (т. 8, с. 222); «Война и мир», черн.— князь Андрей (т. 14, с. 112); «Анна Каренина» — Анна (т. 18, с. 384).

421. Лепя, лепя и облепишься. — *Снегирев, с. 214.*
«Война и мир» — кн. Долгоруков (т. 10, с. 15).

422. Лес по дереву не плачет. — *Даль, с. 561.*
«Азбука» (т. 22, с. 49); «Так что же нам делать?» (т. 25, с. 342).

423. * Лето собирает, зима съедает. — *Снегирев, с. 214.*
«Азбука» (т. 22, с. 23).

424. Летят гуськи, дубовы носки, говорят: то-то ты. — *Словарь, I, с. 421.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 289).

425. * Лиха беда начать. — *Даль, с. 536.*
Дневник 29 ноября 1907 (т. 56, с. 82).

426. Лихо помнится, добро забывается. — *Даль, с. 504.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 340).

427. Лишние догадки на худое падки.
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 338).

428. Лишний сбор, лишняя склока. — *Даль, с. 527.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 335).

429. Ловит волк, да ловят и волка. — *Даль, с. 48.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 47).

430. Ловит волк роковую овцу. — *Даль, с. 27.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 47).
См.: Роковую овцу...

431. * Ложкой кормит, стеблем глаз колет. — *Снегирев, с. 207.*
Заглавие сочинения, написанного Толстым со своими учениками — см.: «Кому у кого учиться писать...» (т. 8, с. 302); «Азбука» (т. 22, с. 45); в наброске тем рассказов для «Азбуки» имеется эта пословица (т. 21, с. 428).

432. Локоть близок, да не укусишь. — *Снегирев, с. 207.*
«Азбука» (т. 22, с. 29).
См. также: Близко локоть...

433. * Ломят кости, не иду в гости. — *Снегирев, с. 413.*
«Азбука» (т. 21, с. 30).

434. Лучше воротиться, чем блудиться. — *Даль, с. 500.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 335).

434а. Лучше найдешь, забудешь; хуже найдешь, вспомянешь. — *Даль, с. 860.*
«Власть тьмы» — Марина (т. 26, с. 143).

435. Лучше перекланяться, чем не докланяться.
«Пора понять» (т. 38, с. 163); письмо В. Г. Черткову 10 (?) сентября 1891 (т. 87, с. 104).

436. Лучше с умным в аду, чем с глупым в раю. — *Даль, с. 479.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 340).

437. Лучше с умным потерять, чем с глупым найти. — *Даль, с. 479.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 340).

438. Лучше укрух хлеба в мире, чем дом полон добра с бранью.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 246).

439. Лучше хромать, чем сиднем сидеть. — *Даль, с. 499.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 338).

440. Льва сонного не буди. — *Снегирев, с. 213.*
«Азбука» (т. 22, с. 34).

441. * Люби взять, люби и дать. — *Снегирев, с. 214.*
«Азбука» (т. 22, с. 22).

442. Люби кататься, ⟨люби и саночки возить⟩. — *Снегирев, с. 214.*
«Анна Каренина» — Анна (т. 18, с. 8).

443. * Людей не удивишь, а себя уморишь. — *Словарь, II, с. 289.*
«Мысли мудрых людей на каждый день» (т. 40, с. 170).

444. Людей слушай, а делай свое. — *Даль, с. 472.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 335).

445. Людей слушаться, решетом воду носить. — *Снегирев, Нов., с. 36.*
«Мысли мудрых людей на каждый день» (т. 40, с. 170).
См. также: Добрых людей слушаться...

446. Люди людям век помогают.
«Чем люди живы», черн.— сапожник (т. 25, с. 545, 548, 549, 551—552); Записная книжка 1879 (т. 48, с. 229).
Люди век людям помогают.
«Круг чтения» (т. 41, с. 193); «На каждый день» (т. 44, с. 145).

447. Люди надеются до самой смерти.
«Азбука» (т. 22, с. 46).

448. * Люди рады лету. Пчелы рады цвету. — *Снегирев, с. 216.*
«Грамматика для сельской школы» (т. 21, с. 535 и 543).

449. Малые дети — малые заботы, большие дети ⟨— большие заботы⟩. — *Снегирев, с. 218.*
Письмо П. Д. Голохвастову 25—26 (?) сентября 1876 (т. 62, с. 285)

450. Маремьяна старица, по всем мире печальница, а дома не емши сидят. — *Снегирев, с. 219.*
«Власть тьмы» — Матрена (т. 26, с. 137).

451. * Материнская молитва со дна моря поднимает. — *Снегирев, с. 220.*
«Азбука» (т. 22, с. 23); «Новая азбука» (т. 21, с. 73); «Грамматика для сельской школы» (т. 21, с. 533).

452. — Медведя поймал! — Веди сюда! — Да нейдет! — Так сам иди! — Да не пускает!» — *Даль, с. 41.*
«Азбука» (т. 22, с. 39—40); «Новая азбука» (т. 21, с. 59).

453. Мельница вертится — крыл не видать.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 278).

454. * Мельница не по ветру, а против ветра мелет. — *Даль, с. 175.*
«Азбука» (т. 22, с. 46).

455. * Меньше говори, меньше греха, и б о л ь ш е у с л ы ш и ш ь. — *Снегирев, с. 222; Даль, с. 434.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 287).

456. Меньше строй, да чаще крой. — *Даль, с. 437.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 335).

457. * Мзда глаза слепит человеку. — *Снегирев, с. 223.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 243).

458. * Мила та сторона, где пуп резан. — *Словарь, III, с. 559.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 283).

459. Мир без старосты, как сноп без перевясла. — *Словарь, II, с. 337.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 264).

460. Мир жнет, а рать кормится. — *Даль, с. 263.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 45).

461. Мир крещеный, да мешок холщевый. — *Словарь, II, с. 337.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 264).

462. Мир своих любит, а божьих ненавидит.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 267).

463. Мне всё за горсть земли, а правда надобна. — *Словарь, III, с. 391.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 250).

464. Много баить не подобает.— *Словарь, I, с. 39.*
«Воскресение» — Тарас (т. 32, с. 356); Записная книжка 1879 (т. 48, с. 260).

465. Много званых, да мало избранных. — *Снегирев, с. 226.*
«Жил в селе человек праведный...» — поп (т. 26, с. 463).

466. * Много знать будешь, скоро состаришься. — *Снегирев, с. 226.*
«Власть тьмы» — Митрич (т. 26, с. 214).

467. Много на свете дураков, всех не перечтешь, не токмо что переучишь.
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 335).

468. * Много ног под столом, домой пойдут, все разберут. — *Словарь, II, с. 568.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 274).

469. Много худого на свете, а нет хуже худого разума. — *Даль, с. 504.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 340).

Мозг ленивого есть любимое место пребывания дьявола (переводи.) — см. № 1125а.

470. * Мокрому дождь не страшен. — *Снегирев, с. 228.*
«Азбука» (т. 22, с. 23); письмо Л. И. Веселитской 15—28 (?) июля 1894 (т. 67, с. 181).

471. * Молитва сдвинет гору. — *Даль, с. 11.*
«Война и мир» — Николай Ростов (т. 12, с. 28); «Молитва» (т. 41, с. 129).

472. Молод годами, да стар бедами. — *Даль, с. 531.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 340).

473. Молодец на овец, а на молодца и сам овца. — *Снегирев, с. 229.*
«Азбука» (т. 22, с. 34).

474. Молодость не без глупости, старость не без дурости. — *Даль, с. 377.*
Листы из записной книжки 1879 (т. 48, с. 358).

475. * Морских топит море, а сухопутных — горе. — *Снегирев, с. 231.*
«Новая азбука» (т. 21, с. 73).

476. Москва бьет с носка, а Питер бока повытер. — *Даль, с. 345.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 45).

477. Москва — всем городам мать. — *Даль, с. 345.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 45, 47).

Москва она городам мать.
«Война и мир» — Каратаев (т. 12, с. 46).

478. Москва не сеет, не жнет, а богато живет.
«Так что же нам делать?» (т. 25, с. 228).

479. Москва, что доска: спать широко, да кругом метет. — *Даль, с. 347.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 45).

480. * Муж глава, жена душа. — *Снегирев, с. 235.*
«Азбука» (т. 22, с. 45).

481. * Муж с женой бранится, под одну шубу ложится. — *Словарь, IV, с. 667.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 253).

482. * Муж с женой, что вода с мукой, сболтались, не разболтать. — *Словарь, II, с. 363.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 265).

483. * Муж стар, жена молода, дожидайся детей. Муж молод, жена стара — плетей. — *Даль, с. 389.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 289).

484. Мужик в кольях, баба в нитках. — *Словарь, II, с. 564.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 274).

485. Мужик на мужика осил надевает, а бог свое содевает. — *Даль с. 3.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 47).

486. Мужики дерутся в расходку, а бабы в кучку. — *Даль, с. 264.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 45).

487. Мужику не давай обрасти, а стриги его догола.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 238).

488. * Муравей не по себе ношу тащит, никто спасибо не скажет, а пчела меньше носит, да богу и людям мила. — *Даль, с. 558.*
«Азбука» (т. 22, с. 30).

489. Муху убить — руки умыть. — *Даль, с. 286.*
Материалы к «Войне и миру» (рук. 177, л. 1).

490. Мы к обедни, ан отпели; мы к обеду, ан отъели; мы в кабак, ан только так. — *Снегирев, с. 236.*
«От ней все качества» — Игнат (т. 38, с. 220).

491. * М ы р о д н я: на вашей бабушке сарафан горел, наш дедушка руки грел. — *Даль, с. 413.*
«Азбука» (т. 22, с. 26).

492. Мыло серо, да моет бело.— *Снегирев, с. 237.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 338).

493. * Мягко стелешь, жестко спать. — *Снегирев, с. 238.*
Отрывки рассказов из деревенской жизни (т. 7, с. 113).

494. * На бога надейся, сам не плошай. — *Даль, с. 513.*
«Азбука» (т. 22, с. 37); Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 341).

495. На бога ся ⟨себя⟩ надеют.
«Азбука» (т. 22, с. 46).

496. * На болезнь плакаться — бог смерти не даст. — *Словарь, III с. 120.*
«Война и мир» — Каратаев (т. 12, с. 154).

497. На брань слово купится. — *Словарь, II, с. 224.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 239).

498. На вдовий двор хоть щепку кинь. — *Снегирев, с. 240.*
«Азбука» (т. 22, с. 58).

499. На весь мир и солнышко не угреет. — *Даль, с. 501.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 338).

500. На воде всякое дерево здорово.
«Новая азбука», черн. (т. 21, с. 399, р.).

501. На воре шапка горит. — *Снегирев, Нов., с. 34.*
«Азбука» (т. 22, с. 31); «Новая азбука» (т. 21, с. 66).

502. На всякий час ума не напасешься. — *Даль, с. 523.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 341).

503. На всякого мудреца довольно простоты. — *Даль, с. 523.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 341).

504. На всякое чиханье не наздравствуешься. — *Снегирев, с. 241.*
«Новая азбука» (т. 21, с. 73); письма: Эйльмеру Мооду 27 января 1900 (т. 72, с. 290); В. Г. Черткову 15 июля 1902 (т. 88, с. 268); Эйльмеру Мооду 14 июня 1904 (т. 75, с. 125); А. С. Марову 22 марта 1906 (т. 76, с. 126).

505. На гладкого навоз кладут, а на рябом пшеницу сеют. — *Словарь, I, с. 362.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 286).

506. На грех мастера нет. — *Снегирев, с. 242.*
«Азбука» (т. 22, с. 24).

507. * На двор через забор, а в острог дверьми. — *Словарь, I, с. 568.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 293).

508. * На дороге стал, о дороге спрашивай. — *Словарь, I, с. 487.*
«Божеское и человеческое» — раскольник (т. 42, с. 215); «Великий грех» (т. 36, с. 218); Записная книжка 1879 (т. 48, с. 69).

509. На кочеток надевает гужок (хомуток).
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 289).

510. * На Красную горку родители из могилы теплом пахнут. — *Словарь, I, с. 386.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 288).

511. На ловца и зверь бежит. — *Снегирев, с. 245.*
«Зараженное семейство» — Беклешов (т. 7, с. 218).

512. На миру и смерть красна. — *Даль, с. 142.*
«Метель» (т. 3, с. 124).

* На миру смерть красна.
Дневник 26 декабря 1901 (т. 54, с. 116).

513. * На молоке обжегся, вперед на воду дуй. — *Даль, с. 739.*
«Новая азбука», черн. (т. 21, с. 391).

514. На небе царство господнее, а на земле царство господское. — *Толстой слышал эту пословицу от крестьян в Кочетах.*
Дневник 26 августа 1910 (т. 58, с. 97); письмо В. Г. Черткову 25 августа 1910 (т. 89, с. 209).

515. На нет и суда нет. — *Снегирев, с. 246.*
«Азбука» (т. 22, с. 19); «Новая азбука», черн. (т. 21, с. 392).

* На нет суда нет.
Письма: А. А. Фету 27—28 (?) августа 1876 (т. 62, с. 284); Н. М. Нагорнову 20 марта 1880 (т. 63, с. 15); П. И. Бирюкову 16 декабря 1898 (т. 71, с. 516); А. Л. Толстому 13 февраля 1906 (?) (т. 90, с. 333).

516. На огонь дров не напасешься. — *Словарь, I, с. 508.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 290).

517. На ошостке сидит девка, на жаратке сидит мать.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 288).

518. На родителях лес не рубят.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 241).

519. На сердитых воду возят. — *Снегирев, с. 249.*
«Азбука» (т. 22, с. 21); «Новая азбука», черн. (т. 21, с. 395, р.).

520. * На смирного бог беду шлет, а бойкий сам набежит. — *Даль, с. 275.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 335).

521. На тебе, боже, что мне не гоже[1]. — *Снегирев, с. 250.*
Письмо С. А. Толстой 12 сентября 1891 (т. 84, с. 86).

522. На то человек родится, чтобы жить своим умом. — *Даль, с. 472.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 340).

523. На хотенье есть терпенье. — *Даль, с. 98.*
«Война и мир», черн.— начальник (т. 13, с. 313).

524. * На чем согрешил, тем и наказан. — *Снегирев, с. 463.*
«Война и мир», черн.— Ипполит (т. 13, с. 372).

525. * На чужой земле и весна не красна. — *Снегирев, с. 491.*
«Азбука» (т. 22, с. 24).

526. * Надейся на бога, сам не плошай. — *Даль, с. 6.*
«Новая азбука» (т. 21, с. 55).

527. * Надел хомут, так тяни.— *Словарь, IV, с. 577.*
«Беседа досужих людей» — женщины (т. 26, с. 246).

528. Надо жить, как набежит. — *Словарь, I, с. 560.*
Письмо М. О. Меньшикову 8 сентября 1895 (т. 68, с. 161).

---

[1] Толстой указывал, что эта поговорка искажена: вместо слова «боже» следует говорить «убоже». В «Толковом словаре» В. И. Даля (т. I, с. 375) отмечено, что эта поговорка искаженная украинская: «От тоби, небоже, що нам не гоже».

529. Надо точить нож, когда затупится.
Письмо В. И. Алексееву декабрь 1884 (т. 63, с. 196).

530. * [Найдется] голод найдет голос.— *Даль, с. 127.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 279).

531. Нанялся, продался. — *Снегирев, с. 246.*
«Власть тьмы» — Аким (т. 26, с. 136).

532. Нападай бог, нападут и добрые люди. — *Даль, с. 8.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 47).

533. Наслушаешься ума от пьяного дурака.
«Чем люди живы» — Матрена (т. 25, с. 12).

534. Наше счастье — вода в бредне. — *Даль, с. 30.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 45).

535. * Наше счастье как вода в бредне: тянешь — надулось, а вытащишь — ничего нету.
«Война и мир» — Каратаев (т. 12, с. 47).
См. также: Счастье как вода в бредне...

536. Наши лепешки поели кошки. — *Снегирев, с. 256.*
«Азбука» (т. 22, с. 33); «Новая азбука» (т. 21, с. 65).

537. Наши пряли, а ваши спали. — *Снегирев, с. 256.*
«Азбука» (т. 22, с. 19); «Новая азбука», черн. (т. 21, с. 392).

* Наши пряли. Ваши спали.
«Новая азбука» (т. 21, с. 21).

538. Нашла коса на камень. — *Снегирев, с. 257.*
«Из кавказских воспоминаний. Разжалованный», черн.— поручик О. (т. 3, с. 275); «Анна Каренина» (т. 18, с. 113).

539. ** Не бей мужика дубьем, бей рублем. — *Даль, с. 209.*
«Так что же нам делать?» (т. 25, с. 266).

540. Не бери горсткой, а бери щепоткой. — *Снегирев, Нов., с. 36.*
«Азбука» (т. 22, с. 28).

541. Не будет пахатника, не будет и бархатника. — *Снегирев, с. 259.*
«Новая азбука» (т. 21, с. 73).

542. Не будет снега, не будет и следа. — *Снегирев, с. 259.*
«Азбука» (т. 22, с. 21); «Новая азбука», черн. (т. 21, с. 395).

543. * Не были б борцы, не дались бы венцы. — *Словарь, I, с. 119.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 261).

544. * Не в коня корм. — *Даль, с. 487.*
Письма: А. А. Фету 2—3 сентября 1877 (т. 62, с. 342); Н. Н. Страхову 3 (?) мая 1881 (т. 63, с. 62); Н. Н. Страхову 25 марта 1891 (т. 65, с. 276).

545. Не в силе бог, а в правде. — *Словарь, IV, с. 188.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 257).

546. * Не вели казнить, вели слово молвить. — *Даль, с. 184.*
«Первый винокур» — мужицкий чертенок (т. 26, с. 42).

547. Не велик сверчок, да слышно кричит. — *Снегирев, с. 261.*
«Азбука» (т. 22, с. 19); «Новая азбука» (т. 21, с. 65).

548. Не величка капля, а камень долбит. — *Снегирев, с. 261.*
«Азбука» (т. 22, с. 19).

549. * Не верь лошади в поле, а жене в доме. — *Даль, с. 394.*
«Крейцерова соната» — купец (т. 27, с. 12); «Хозяин и работник», черн.— Василий Андреевич (т. 29, с. 297).

550. Не во всяком камне искра, не во всяком муже правда. — *Словарь, III, с. 348.*
«Азбука» (т. 22, с. 45).

551. * Не все поповым ребятам Митрева суббота. — *Снегирев, с. 263.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 362).

552. * Не встанет свеча, а встанет душа. — *Даль, с. 9.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 47).

553. Не всякому слуху верь. — *Даль, с. 197.*
Письмо В. Г. Черткову 15 ноября 1887 (т. 86, с. 98).

554. Не выберешь дубинки без кривинки.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 241).

555. ** Не выноси из избы сору. — *Снегирев, с. 267.*
«Крейцерова соната», черн.— старик (т. 27, с. 397).

556. Не выпрячи — впрячи, ни в ухабе сберечи. — *Словарь, I, с. 315.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 296).

557. * Не вырони пера, не быть у твоего двора. — *Словарь, III, с. 102*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 275).

558. Не говори правды, не теряй дружбы. — *Словарь, IV, с. 413.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 363).

559. Не годы стареют — горе. — *Снегирев, с. 268.*
«Азбука» (т. 22, с. 21); «Новая азбука», черн. (т. 21, с. 394).

560. Не горы копать, не землю пахать, не донник.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 265).

561. * Не давши слова крепись, а давши слово держись. — *Даль, с. 715.*
«Благодарная почва» (т. 38, с. 35).

562. Не два века жить будем.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 366).

563. * Не для шапки голова на плечах. — *Даль, с. 465.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 339).

564. Не до жиру, быть бы живу. — *Снегирев, с. 271.*
«Голод или не голод?» (т. 29, с. 222).

565. Не дорог подарок, дорога любовь.— *Снегирев, с. 271.*
«Война и мир» — графиня Ростова (т. 12, с. 278); письмо С. А. Стахович 23 марта 1909 (т. 79, с. 130).

566. * Не евши легче, а поевши крепче. — *Снегирев, с. 297.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 284).

567. Не ей, так богу в честь.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 238).

568. * Не ждать журавля в небе, когда можно взять синицу в руки. — *Снегирев, с. 290.*
«Неужели это так надо?», черн. (т. 34, с. 517).
См. также: Не сули журавля...

569. Не за то волка бьют, что сер, а за то, что овцу съел. — *Снегирев, с. 273.*
«Азбука» (т. 22, с. 34); «Новая азбука» (т. 21, с. 58).

570. Не загадывай в год, загадывай в рот. — *Даль, с. 527.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 335).

571. Не замороженная река не держит.
«Новая азбука» (т. 21, с. 73).

572. * Не играй с огнем — обожжешься. — *Даль, с. 738.*
Подзаголовок «Идиллии» (т. 7, с. 82).

573. Не испортив дела, мастером не будешь. — *Даль, с. 531.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 340).

574. * Не ищи большого, потеряешь малое. — *Снегирев, Нов., с. 23.*
«Азбука» (т. 22, с. 50).

575. * Не красит хворь-то. — *Даль, с. 423.*
«Власть тьмы» — Матрена (т. 26, с. 160).

576. * Не лапоть, с ноги не снимешь, хоть бы сноху. — *Снегирев, с. 118.*
«Власть тьмы» — Петр (т. 26, с. 137).

577. Не любит дать, любит взять. — *Словарь, I, с. 199.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 238).

578. * Не любо не слушай, лгать не мешай. — *Снегирев, с. 277.*
«Азбука» (т. 22, с. 30).

579. Не малина, не опанет. — *Даль, с. 617.*
«Власть тьмы» — Матрена (т. 26, с. 135); Записная книжка 1879 (т. 48, с. 363).

580. Не мозгами, а боками.
«Наше жизнепонимание», черн. (рукопись); «О безумии», черн. (т. 38, с. 417).

581. * Не море топит, а ветры. — *Снегирев, с. 277.*
«Азбука» (т. 22, с. 26).

582. Не море топит — лужа. — *Даль, с. 294.*
«Азбука» (т. 22, с. 24).

583. Не на пользу, так возьми, а на пользу — оставь, господи.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 247).

584. * Не нами стало, не нами и кончится. — *Снегирев, с. 279.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 228).

* Не нами установилось, не нами и переставится. — *Словарь, IV, с. 528.*
«Понятие о жизни» (т. 26, с. 694).

585. Не нашим умом, а божьим судом. — *Даль, с. 4.*
«Война и мир» — Каратаев (т. 12, с. 46); «Где любовь, там и бог» — старичок (т. 25, с. 36).
См. также: Творится не нашим умом...

586. Не носить плаченого, не видать злаченого. — *Даль, с. 96.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 46).

587. Не отпыхавшись, дерева не срубишь. — *Даль, с. 98.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 45).

588. Не паси дела, паси хлеба. — *Даль, с. 533.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 341).

589. Не печь кормит, а нивка. — *Даль, с. 526.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 341).

590. Не плюй в колодезь: ⟨случится напиться⟩. — *Даль, с. 532.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 336).

591. Не по годам ⟨бьют⟩, а по ребрам. — *Снегирев, с. 282.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 236).

592. * Не по лесу, а по людям боль-то ходит. — *Даль, с. 427.*
«Власть тьмы» — Матрена (т. 26, с. 160).

593. Не по личику, а по обычику.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 280).

594. Не по хорошу мил, а по милу хорош. — *Даль, с. 819.*
«Война и мир» — Николай Ростов (т. 12, с. 264); «Что такое искусство?», черн. (т. 30, с. 335); материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 338); Дневник 22 сентября 1895 (т. 53, с. 54).

595. Не пойман — не вор. — *Снегирев, с. 282.*
«Анна Каренина» (т. 18, с. 459); «Бог правду видит, да не скоро скажет» — Макар Семенов (т. 21, с. 250); Дневник 20 июля 1910 (т. 58, с. 81).

596. Не поминай лихом. — *Даль, с. 481.*
«От ней все качества», черн.— прохожий (т. 38, с. 232, 233).

597. Н пропаханное поле нельзя сеять.
«Новая азбука» (т. 21, с. 73).

598. * Не работа сушит — забота. — *Снегирев, с. 285.*
«Азбука» (т. 22, с. 26).

* Не работа, забота сушит.
«Сто лет» — Корней (т. 17, с. 219).

599. Не рад холстам, рад концам.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 250).

Не ради холста, ради конца.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 244).

600. * Не разевай рта, муха не влетит. — *Снегирев, с. 285.*
«Азбука» (т. 22, с. 21); «Новая азбука», черн. (т. 21, с. 393).

601. * Не родом нищие, а кому бог даст. — *Словарь, II, с. 565.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 274).

602. * Не рой другому яму, сам упадешь. — *Даль, с. 188.*
«Азбука» (т. 22, с. 23).

603. Не рок головы ищет, голова на рок идет. — *Даль, с. 47.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 47).

604. Не с того боку нос затесан.
Записная книжка 1880 (т. 48, с. 299).

605. * Не сказанное слово золотое. — *Снегирев, с. 369.*
«На каждый день» (т. 44, с. 55); «Путь жизни» (т. 45, с. 357); Записная книжка 27 ноября 1866 (т. 48, с. 116); письмо Н. Н. Страхову 23 августа 1894 (т. 67, с. 206).
См. также: Сказанное слово серебряное...

606. Не скучай работой, а скучай заботой.
«Азбука» (т. 22, с. 41).

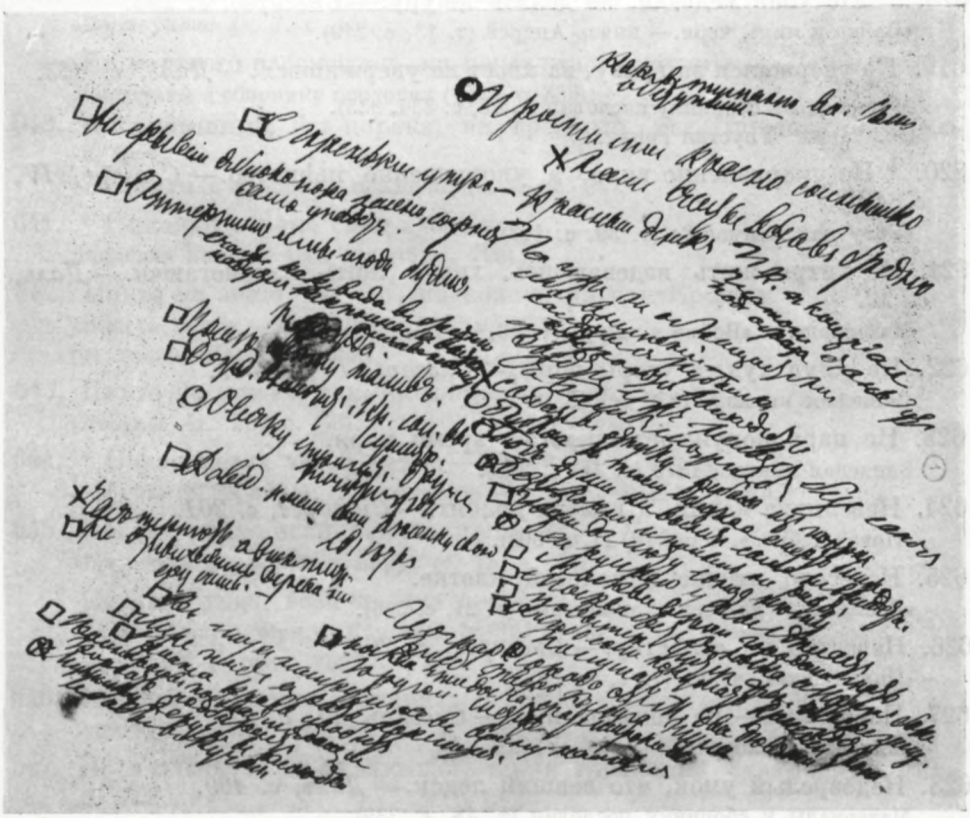
607. * Не слушаешься отца-матери, послушаешься барабанной шкуры. — *Снегирев, с. 191.*
«Работник Емельян и пустой барабан» (т. 25, с. 167); листы из записной книжки 1908 (т. 90, с. 210).

Не послушаешься отца-матери, послушаешься ослиной шкуры.
«Царство божие внутри вас», черн. (т. 28, с. 314).

608. ** Не срывай яблоко, пока зелено: созреет, само упадет. — *Даль, с. 101.*
«Война и мир» (т. 12, с. 111); материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 45).

609. Не старый умирает, а поспелый. — *Даль, с. 371.*
«Азбука» (т. 22, с. 29).

610. Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки. — *Снегирев, с. 290.*
«Два брата» (т. 21, с. 181).
См. также: Не ждать журавля...



ЛИСТ С ЗАПИСЯМИ ТОЛСТОГО. РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ. 1868 г.
Находится среди черновых рукописей «Войны и мира»
Архив Толстого, Москва

611. Не та земля ⟨дорога⟩, где медведь ревет, а та, где курица скребет. — *Словарь, I, с. 701.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 260).

612. * Не то беды, что родился не хлеб, а лебеда; а то беды, что ни хлеба, ни лебеды. — *Даль, с. 139.*
«Азбука» (т. 22, с. 32).

613. * Не то забедно, что воз тяжел, а что она сидит. — *Словарь, I, с. 573.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 293).

614. * Не только свет-то, что из окошка. — *Снегирев, с. 291.*
Предисловие к книге «Japanese notion of european political economy» (т. 90, с. 68).

615. Не тот болен, кто болит, а кто над болью сидит. — *Даль, с. 428.*
«Власть тьмы» — кума (т. 26, с. 154); письмо М. Л. Оболенской 29 января 190[illegible] (т. 76, с. 92).

616. * Не тот отец, кто родил, а тот, кто добру научил. — *Даль, с. 408.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 46).

617. * Не тужи у кого мочальные гужи, а у кого ременные. — *Даль. с. 72.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 47).

618. ** Не убив медведя, не делите шкуру. — *Снегирев, с. 293.*
«Война и мир», черн.— князь Андрей (т. 13, с. 219).

619. Не удержался за гриву, за хвост не удержишься. — *Даль, с. 463.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 334, 335).
См. также: Упустил гриву...

620. * Не укоризненно вино, а укоризненно пьянство. — *Словарь, IV, с. 496.*
«Богу или маммоне?» (т. 39, с. 108).

621. Не хитро жить издеваючись, хитро жить изнемогаючи. — *Даль, с. 72.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 47).

622. Не хлуд худ, а уторы воры. — *Словарь, IV, с. 567.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 259).

623. Не царь понуждает время, а время царя.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 273).

624. Невеличка капля, а камень долбит. — *Снегирев, с. 261.*
«Новая азбука», черн. (т. 21, с. 392).

625. Невесело птичке в золотой клетке.
«Грамматика для сельской школы» (т. 21, с. 536).

626. Невестке на отместку. — *Снегирев, с. 268.*
«Поликушка», черн. (т. 7, с. 58).

627. Невольник — не богомольник. — *Словарь, II, с. 52.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 262).

628. Недозрелый умок, что вешний ледок. — *Даль, с. 469.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 339).

629. Неизведанный друг не хорош для услуг. — *Снегирев, с. 274.*
«Азбука» (т. 22, с. 39).

630. Немец на обухе молотит хлебец.
«Война и мир» — Шиншин (т. 9, с. 71).

631. * Неправда наружу выйдет. — *Даль, с. 193.*
«Власть тьмы» — Аким (т. 26, с. 141).

632. * Неправдой свет пройдешь, да назад не вернешься. — *Даль, с. 193.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 274).

633. Неразумного учить — решетом воду носить, — на воде писать, — дырявый мех надувать. — *Даль, с. 471.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 339).

634. * Неразумного учить, что мертвого лечить, в бездонную кадку воду лить. — *Даль, с. 470.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 339).

635. * Несчастье на костылях, а счастье на крылах. — *Даль, с. 31.*
«Война и мир», черн.— Каратаев (т. 15, с. 46).

636. Нет худа без добра. — *Снегирев, с. 304.*
«О том, что называют искусством» (т. 30, с. 267); «Заметка о смертной казни» (т. 38, с. 49); Дневник 21 мая 1908 (т. 56, с. 130).

637. * Неуча и в попы не ставят. — *Словарь, IV, с. 543.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 241).

638. Ни к селу, ни к городу. — *Даль, с. 700.*
«Поликушка» (т. 7, с. 16).

639. Ни мертвого рассмешить, ни неразумного научить. — *Даль, с. 470.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 339).

640. Ни праведный без порока, ни грешный без покаяния. — *Даль, с. 502.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 341).

641. * Никакая сорока свой хвост не ⟨.....⟩ — *Словарь, I, с. 372.*
Записная книжка 1880 (т. 48, с. 298).

642. Никто не знает: ни кот, ни кошка, ни поп Ерошка.
«Власть тьмы» — Матрена (т. 26, с. 233).
См. также: Кот да кошка...

643. Никто не может, так бог поможет. — *Даль, с. 3.*
«Азбука» (т. 22, с. 48).

644. * Новая метла чисто метет. — *Снегирев, с. 300.*
«Азбука» (т. 22, с. 24); «Воскресение» — член суда (т. 32, с. 70).

645. Ноготь увяз, всей птичке пропасть. — *Даль, с. 130.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 46).

Ноготок увяз, всей птичке пропасть.
«Война и мир», черн.— Каратаев (т. 15, с. 46).
См. также: Коготок увяз...

646. * Норов не боров, откормить и убить. — *Снегирев, с. 301.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 279).

647. Носи платье — не складывай, терпи горе — не сказывай. — *Даль, с. 128.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 46).

648. Носком не много унесешь.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 248).

649. * Ночная кукушка денную перекукует. — *Даль, с. 396.*
«Власть тьмы» — Матрена (т. 26, с. 235); Записная книжка 1879 (т. 48, с. 218, 362).

650. * Нужа пригонит к поганой луже. — *Словарь, II, с. 276.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 226).

651. * Нужда и кормит, и мучит, и учит. Богатство пучит. — *Даль, с. 69.*
«Путь жизни» (т. 45, с. 152).

652. Нужда и по воскресным дням постится. — *Снегирев, с. 301.*
«Новая азбука» (т. 21, с. 73).

653. * О том кукушка и кукует, что гнезда у ней нет. — *Даль, с. 339.*
«Азбука» (т. 22, с. 26).

654. * Обижена слеза мимо не канет, а все на человеческу голову.— *Даль, с. 142.*
«Власть тьмы» — Аким (т. 26, с. 141).

655. * Обрящи бог виноватого, справь невинного. — *Даль, с. 181.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 362).

656. * Обычай не клетка, не переставишь. — *Снегирев, с. 305.*
«Понятие о жизни» (т. 26, с. 894).

657. Овчинка выделки не стоит. — *Даль, с. 105.*
«Анна Каренина» (т. 18, с. 177).

658. Овечку стригут, а другая того же жди. — *Снегирев, с. 306.*
«Азбука» (т. 22, с. 34).

Овечку стригут, другая того ж жди. — *Даль, с. 98.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 45).

659. * Огонь без дыму, человек без ошибки. — *Даль, с. 524.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 341).

660. Огонь маслом не тушат. — *Даль, с. 487.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 335).

661. * Один бог без грехов. — *Снегирев, с. 111.*
«Первый винокур» — баба (т. 26, с. 51).

662. * Один в поле не воин. — *Снегирев, Нов., с. 41.*
«Хаджи-Мурат» — Козловский (т. 35, с. 97); «Грамматика для сельской школы» (т. 21, с. 536).

663. Один вяжется, другой сватается. — *Даль, с. 922.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 286).

664. Один год весь век заел. — *Даль, с. 129.*
«Новая азбука» (т. 21, с. 47).

665. Один горшок, а много ложек.
«Азбука» (т. 22, с. 45).

666. Один грех скрыть, другой нажить.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 271).

667. Один, как выпь на болоте. — *Словарь, I, с. 316.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 286).

668. * Один охоч, да не горазд, другой горазд, да не охоч. — *Словарь, I, с. 387.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 289).

669. Один сын не сын, два сына не сын, три сына — сын. — *Даль, с. 598.*
«Сто лет» (т. 17, с. 216 и 222).

670. * Одна голова и бедна — так одна. — *Снегирев, Нов., с. 41.*
«Война и мир» — дворянин в Смоленске (т. 11, с. 112).

Одна голова не бедна, а бедна — так одна.
«Азбука» (т. 22, с. 34); «Отчего зло на свете» (т. 21, с. 300).

671. Одна ласточка весны не делает. — *Снегирев, с. 308.*
«Круг чтения» (т. 41, с. 46; т. 42, с. 552); Дневник 5 октября 1893 (т. 52, с. 102).

672. Одна паршивая овца все стадо портит. — *Снегирев, с. 309.*
«И свет во тьме светит» — генерал (т. 31, с. 160).

673. Одна свеча другие зажжет, а сама в своем свете не умалится.
«Круг чтения» (т. 42, с. 286); Записная книжка 1879 (т. 48, с. 363).

674. Одно дело делай, а другого не порть. — *Даль, с. 485.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 335).

675. Одному и одонья не скласть.
«Сто лет» (т. 17, с. 237).

676. Око видит далеко, а мысль еще дальше. — *Снегирев, с. 310.*
«Азбука» (т. 22, с. 24).

677. Около пчелки медок ⟨около жука навоз⟩. — *Снегирев, с. 310.*
«Азбука» (т. 22, с. 24).

678. Оно заработки хорошо, да и грех бывает от того.
«Идиллия». Подзаголовок второй редакции (т. 7, с. 64).

679. Осаживай обручи до места. — *Даль, с. 542.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 336).

680. * Осердясь на блох, и шубу в печь. — *Снегирев, с. 312.*
«Собеседники» (т. 17, с. 371); «Религия и наука» (т. 40, с. 428); письмо Н. А. Александрову 1882 (т. 30, с. 211).

681. * От бога грех, от людей посмех. — *Словарь, III, с. 347.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 255).

682. От всякого труда прибыль, от пустословия только ущерб.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 247).

683. От добра добра не ищут. — *Снегирев, с. 315.*
«Новая азбука», черн. (т. 21, с. 398); письма: С. А. Толстой 8 апреля 1882 (т. 88, с. 330); В. Г. Черткову 30 апреля 1894 (т. 87, с. 273). И. Л. Толстому 31 декабря 1906 (настоящий том, стр. 556).

684. От дождя да в воду. — *Даль, с. 487.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 335).

685. От корма кони не рыщут, от добра добра не ищут. — *Снегирев, с. 316.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 289).

* От овса кони не рыщут, от добра добра не ищут. — *Снегирев, с. 316.*
«Власть тьмы» — Матрена (т. 26, с. 131).

686. От людей утаишь, а от бога не утаишь. — *Даль, с. 5.*
«Власть тьмы» — Аким (т. 26, с. 141).

687. От овса овес, от пса пес.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 280).

688. От одного берега отбыл, к другому не пристал. — *Словарь, I, с. 83.*
Листы из записной книжки 6 декабря 1881 (т. 49, с. 148); письмо И. Л. Толстому, октябрь 1887 (т. 64, с. 115).

689. * От работы будешь не богат, а горбат. — *Даль, с. 557.*
«Детская мудрость»: «Богатство» — нищий (т. 37, с. 328).

От работы не будешь богат, а будешь горбат.
Там же — хозяин (т. 37, с. 328).

* От работы будешь горбат, а не будешь богат.
«На каждый день» (т. 44, с. 280); «Путь жизни» (т. 45, с. 145).
См. также: От труда будешь не богат...

690. От скуки на все руки.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 245).

691. От слова не сделается. — *Словарь, IV, с. 227.*
«Поликушка», черн.— Игнат (т. 7, с. 59).

692. От старых дураков молодым нет житья. — *Даль, с. 470.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 339).

693. От сумы да от тюрьмы никогда не отказывайся. — *Снегирев, с. 317.*
«Война и мир» — Каратаев (т. 12, с. 47); черн. (т. 15, с. 30).

694. * От труда будешь не богат, а горбат.— *Даль, с. 557.*
«Неужели это так надо?» (т. 34, с. 226).

* От трудов будешь горбат, а не будешь богат.
«На каждый день», 10 марта (т. 43, с. 134); «Беседы с детьми по нравственным вопросам» (т. 37, с. 35).
См. также: От работы будешь не богат...

695. От трудов праведных не наживешь палат каменных. — *Даль, с. 557.*
«Дорого стоит» (т. 27, с. 259—260); «Неужели это так надо?» (т. 34, с. 226); «Беседы с детьми по нравственным вопросам» (т. 37, с. 35); «На каждый день» (т. 43, с. 134; т. 44, с. 280); «Путь жизни» (т. 45, с. 145); Дневник 10 июня 1891 (т. 52, с. 39).

696. От чего пойдешь, к тому и придешь.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 234).

697. Ответ подаст, головой отдаст.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 293).

698. Отплатятся кошке мышкины слезки. — *Даль, с. 231.*
«Как мы уезжали из Москвы» (т. 21, с. 355).

699. Оттерпимся — и мы люди будем. — *Даль, с. 98.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 45).

700. Отцовыми костьями торговать грех.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 290).

701. Охота пуще неволи. — *Снегирев, с. 318.*
Заглавие рассказа (т. 21, с. 281).

702. * Пей да ума не теряй. — *Снегирев, с. 320.*
«Власть тьмы» — Никита (т. 26, с. 188).

703. * Пей, на себя не лей. — *Снегирев, с. 320.*
«Новая азбука» (т. 21, с. 41).

704. * Первая рюмка — колом, вторая — соколом, а после третьей — мелкими пташечками. — *Снегирев, с. 321.*
«Анна Каренина» (т. 19, с. 253), черн. (т. 20, с. 495).

705. Первое худо — худой разум. — *Даль, с. 504.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 340).

706. * Первый блин комом. — *Снегирев, с. 321.*
Дневник 25 августа 1909 (т. 57, с. 123).

707. * Перед людьми утаишь, а перед богом не утаишь. — *Даль, с. 5.*
«Круг чтения» (т. 41, с. 180).

708. * Переливать из пустого в порожнее. — *Даль, с. 435.*
«Детство», черн. (т. 1, с. 155); «Казаки» — лакей (т. 6, с. 3); «Власть тьмы» — Никита (т. 26, с. 147).

709. Перемелется, мука будет. — *Снегирев, с. 322.*

«Отрочество»— заглавие гл. XVI; «Отрочество» — дядька Николай (т. 2, с. 46); «Как мы уезжали из Москвы» (т. 21, с. 355).

710. Пересол — хуже недосолу. — *Словарь, II, с. 530.*

Записная книжка 1879 (т. 48, с. 328).

711. Петухи кричат рано к веселой ночи.

«Воскресение» (т. 32, с. 224).

712. Печаль по плечам, сухоту по животу. — *Словарь, III, с. 108.*

Записная книжка 1879 (т. 48, с. 292).

713. Пили, ели, кудрявчиком звали; попили, поели — прощай, шелудяк. — *Даль, с. 861.*

«Плоды просвещения» — 2-й мужик (т. 27, с. 170).

714. Пирога] ждать, не евши спать. — *Даль, с. 904.*

«Азбука» (т. 22, с. 39).

715. Питер женится, Москва замуж идет. — *Даль, с. 345.*

Материалы] к «Войне и миру» (т. 13, с. 45).

716. Пить до дна, не видать добра. — *Снегирев, с. 323.*

Записи к грамматике (т. 48, с. 352).

717. Плетью обуха не перешибешь. — *Даль, с. 922.*

«Война и мир» — Денисов (т. 10, с. 138); «И свет во тьме светит» — генерал (т. 31, с. 162); «Божеское и человеческое», черн.— вахтер (т. 42, с. 525).

718. Плоти убыток, душе барыш. — *Словарь, I, с. 52.*

Записная книжка 1879 (т. 48, с. 287).

719. Плохое колесо всегда громче скрипит. — *Снегирев, с. 442.*

«Новая азбука», черн. (т. 21, с. 398, р.); «Круг чтения» (т. 42, с. 237).

Плохое колесо громче визжит.

«На каждый день» (т. 44, с. 92); «Путь жизни» (т. 45, с. 179).

720. По делам вору и му́ка. — *Даль, с. 157.*

«Война и мир» — кто-то из толпы во время казни Верещагина (т. 11, с. 346); «Новая азбука», черн. (т. 21, с. 401); письмо Н. Я. Гроту 22 октября 1891 (т. 66, с. 60).

721. По доконам пойдешь, до всего дойдешь. — *Словарь, I, с. 471.*

Записная книжка 1879 (т. 48, с. 290).

722. По платью встречают, по уму провожают. — *Даль, с. 467.*

«Анна Каренина» — Левин (т. 18, с. 405); материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 339); «На каждый день» (т. 44, с. 153); письмо М. Л. Толстой 9 февраля 1889 (т. 64, с. 220).

723. * По пояс в грязи лежит, а говорит —не брызжи. —*Словарь, I, с. 134.*

Записная книжка 1879 (т. 48, с. 215, 362).

724. * По снегу грибы не ищи. — *Снегирев, с. 329.*

«Азбука» (т. 22, с. 24); «Новая азбука» (т. 21, с. 21).

725. Победны в поле горох да репка, и в миру вдова да девка. — *Словарь, III, с. 141.*

Записная книжка 1879 (т. 48, с. 275).

726. Повинную голову ⟨и меч не сечет⟩.— *Снегирев, с. 325.*

Письмо А. А. Толстой 5 июня 1872 (т. 61, с. 290).

* Повинную голову не секут, не рубят.

«Анна Каренина», черн.— Облонский (т. 20, с. 528); письмо Н. М. Нагорнову, конец февраля 1875 (т. 90, с. 236).

727. * Погнался за топорищем, упустил топор. — *Даль, с. 745.*
«Азбука» (т. 22, с. 52).

728. * Погоди голову рубить — отсечешь, не приставишь. — *Даль, с. 184.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 228).

729. Под лежачий камень вода не потечет. — *Снегирев, с. 327.*
«Два брата» (т. 21, с. 181).

730. * Под окошком выпрошу, под другим съем. — *Словарь, II, с. 685.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 237).

731. * Подле горы не ходи, сапогов не скривишь. — *Снегирев, с. 326.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 276).

732. Подле Казани, где пьяных вязали. — *Забелин, II, с. 422.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 221, 363).

733. Подливать масла в огонь.
Письмо Эйльмеру Мооду 3 августа 1900 (т. 72, с. 435).

734. * Поет кочеток про милый животок. — *Словарь, I, с. 556.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 292).

735. * Пока зайца поймают, вола съедят. — *Словарь, I, с. 693.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 260).

736. * Пока суд да дело, а из боку не вынешь. — *Даль, с. 163.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 277).

737. Покидай на утро хлеба, не покидай на утро дела. — *Даль, с. 533.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 341).

738. Поклониться — голова не отвалится. — *Словарь, II, с. 737.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 220, 363).

739. Покорись беде, и беда покорится. — *Даль, с. 27.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 47); «Война и мир», черн.— Каратаев (т. 15, с. 30, 47); «Свечка» — Петр Михеев (т. 25, с. 108).

740. Положи, господи, камушком, подними перушком. — *Даль, с. 124.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 46).

* Положи, боже, камушком, подними калачиком.
«Война и мир» — Каратаев (т. 12, с. 48).

741. ⟨Попался⟩ как кур во щи. — *Снегирев, с. 330.*
«Зараженное семейство» (т. 7, с. 216).

742. Попытка не шутка, а спрос не беда. — *Даль, с. 531.*
«Плоды просвещения» — Таня и 1-й мужик (т. 27, с. 144).

743. Порог поскребла, пирог испекла. — *Даль, с. 649.*
«Азбука» (т. 22, с. 39).

744. Порожний колос выше стоит. — *Даль, с. 478.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 339).
См. также: Пустой колос выше стоит...

745. Порожний мех надувается. — *Даль, с. 478.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 339).

746. После драки кулаками махать.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 250).

747. После скобеля топором, после полотенчика онучей. — *Даль, с. 489.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 335).

748. * После стрижки бог на овец теплом пахнёт. — *Даль, с. 2.*
Материалы к «Войне и миру» (рук. 177, л. 1).

749. После цвету налив. — *Даль, с. 97.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 45).

750. * Пословица не даром молвится. — *Словарь, III, с. 345.*
«Власть тьмы» — Матрена (т. 26, с. 154).

751. Пословица не мимо молвится.
«Чем люди живы» — Матрена (т. 25, с. 21); «Власть тьмы», черн.— Матрена (т. 26, с. 540); «Беседы с детьми по нравственным вопросам» (т. 37, с. 35); «На каждый день» (т. 43, с. 134); Записная книжка 1879 (т. 48, с. 265).

752. Потная рука — таровата, сухая — неподатлива. — *Даль, с. 88.*
«Война и мир» — Каратаев (т. 12, с. 96); материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 47).
См. также: Сухая рука прижимиста, потная рука таровата.

753. * Похвальное слово — пагуба. — *Словарь, III, с. 2 и 377.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 363).

754. * Правда не горит, не тонет. — *Даль, с. 191.*
Письмо Т. М. Бондареву 25 мая 1896 (т. 69, с. 99).

755. Правда не на миру стоит, а по миру ходит. — *Словарь, II, с. 337.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 264).

756. Правда со дна моря выносит. — *Словарь, III, с. 391.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 258).

757. Правда со дна моря выплывает.
«Записки христианина» (т. 49, с. 9).

758. Правду, как шило, в мешке не утаишь. — *Даль, с. 195.*
«Азбука» (т. 22, с. 24).

759. Правду-то боров сжевал.
«Воскресение» — сторожиха-арестантка (т. 32, с. 112).

760. Правды у царя нет.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 242).

761. * Праздность, — мать всех пороков. — *Снегирев, с. 338.*
Дневник 22 ноября 1907 (т. 56, с. 79).

Праздность есть мать пороков.
«Любите друг друга», черн. (рукопись); письмо В. Г. Черткову 7 ноября 1884 (т. 85, с. 114).

762. * Прежде смерти не умереть. — *Даль, с. 47.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 47).

763. * Прикрой чужой грех, бог два простит. — *Даль, с. 230.*
«На каждый день» (т. 44, с. 376); «Круг чтения» (М., 1906, т. 2, с. 482); «Путь жизни» (т. 45, с. 360).
См. также: Скрой чужой грех...

764. * Про старые дрожжи не поминать двожды. — *Снегирев, Нов., с. 44.*
«Власть тьмы» — Никита (т. 26, с. 196).

Про старые дрожжи поминать двожды.
«Хаджи-Мурат» — сноха в доме Авдеевых (т. 35, с. 38).

765. * Проголодается, и сам догадается. — *Даль, с. 529.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 341).

766. Променял кукушку на ястреба. — *Снегирев, с. 344.*
«Хаджи-Мурат» (т. 35, с. 38).

767. Пропал, как обрин. — *Даль, с. 129.*
«Новая азбука», черн. (т. 21, с. 440).

768. Пропустить мимо ушей. — *Словарь, IV, с. 540.*
«Любите друг друга», черн. (рукопись).

769. Прости, мое красное солнышко. — *Даль, с. 29.*
Материалы к «Войне и миру» (рук. 177, л. 1).

770. Простота (щедрость) хуже воровства. — *Даль, с. 477.*
Листы из записной книжки 1879 (т. 48, с. 361).

771. Прошедшего не воротишь.
«Нет в мире виноватых» — Порхунов (т. 38, с. 189).

772. * Прыткий набежит, а на тихого бог нанесет. — *Снегирев, с. 250.*
«Азбука» (т. 22, с. 54).

773. Птица живая та, что летает.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 195).

774. * Птица не сеет, не жнет, сыта живет. — *Даль, с. 527.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 335).

* Птица не сеет, не жнет, а сыто живет.
«Азбука» (т. 22, с. 24).

775. Пуля найдет виноватого. — *Снегирев, с. 346.*
«Хаджи-Мурат», черн.— Панов (т. 35, с. 473).

776. Пускай добро на мир, как на лес, придет вся на нас 〈?〉 (как пух).
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 244).

777. Пускай ум наперед: отстанет, не догонит. — *Даль, с. 478.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 339).

778. Пустого меха не поставишь. — *Даль, с. 471.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 339).

779. * Пустой колос выше стоит. — *Даль, с. 478.*
«Круг чтения» (т. 42, с. 237); «На каждый день» (т. 44, с. 92); «Путь жизни» (т. 45, с. 179).
См. также: Порожний колос...

780. Пусть глаз не видит, только бы сердце чуяло.
Записная книжка 1880 (т. 48, с. 301).

781. Пьян да умен — два угодья в нем. — *Снегирев, с. 347.*
Роман из времен Петра I (т. 17, с. 176); «Воскресение» (т. 32, с. 421).

782. Работаем — никто не видит, а выпьем — всяк видит.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 230).

783. Рад бы в рай, да грехи не пускают. — *Снегирев, с. 349.*
«Азбука» (т. 22, с. 42); «Воскресение» (т. 32, с. 155).

784. * Рада бы курица на свадьбу не идти, да за крыло волокут. — *Снегирев, с. 349.*
«Азбука» (т. 22, с. 42).

* Рада бы курица на свадьбу не идти, да за крыло сволокли.
«Новая азбука» (т. 21, с. 68).

785. * Раз маху дашь, век не справишься. — *Даль, с. 523.*
«Власть тьмы» — Матрена (т. 26, с. 152).

786. Разметало тучки, что онучки. — *Словарь, II, с. 696.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 278).

787. Разозлится, с крыши солому роет.
«Власть тьмы» — Анисья (т. 26, с. 177).

788. Разошелся ум по закоулкам, в середке ничего не осталось. — *Даль, с. 469.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 339).

789. Разум не велит, ума не спрашивайся. — *Даль, с. 478.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 339).

790. Рано пташка запела, как бы кошка не съела. — *Снегирев, с. 352.*
«Азбука» (т. 22, с. 25).

791. Раньше встанешь — больше дня.
«Новая азбука» (т. 21, с. 65).

792. Рассудил, как водой разлил.
«Власть тьмы» — Матрена (т. 26, с. 139).

793. Рассчитал ему вдоль, а он меряет поперек.
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 340).

794. Резала коса, да нарезалась.
«Сказка об Иване дураке» (т. 25, с. 130).

795. Резвы ноги в кандалы заклепаны.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 267).

796. Родился с лысинкой и помрешь с лысинкой. — *Словарь, II, с. 281.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 278).

797. Рожали — смертный час принимали, а почету нет.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 294).

798. Рок головы ищет. — *Даль, с. 28.*
«Война и мир» — Каратаев (т. 12, с. 47).

799. * Роковую овцу волк ловит. — *Даль, с. 27.*
«Война и мир», черн.— Каратаев (т. 15, с. 47).
См. также: Ловит волк...

800. России да лету союзу нету. — *Даль, с. 343.*
«Война и мир» — Каратаев и Пьер (т. 12, с. 97); материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 45).

801. Рубаха к телу близка, а смерть ближе. — *Даль, с. 290.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 45).

802. * Руби дерево крепкое, гнилое само упадет.— *Снегирев, с. 355.*
«Азбука» (т. 22, с. 25).

803. Рука руку моет ⟨и обе белы живут⟩. — *Даль, с. 119.*
«Царство божие внутри вас» (т. 28, с. 218).

Рука руку моет и обе белы живут.
«Азбука» (т. 22, с. 28).

804. * Ручка беленька, душа черненька. — *Даль, с. 323.*
«Азбука» (т. 22, с. 28).

805. * Рыба ищет где глубже, человек — где лучше. — *Снегирев, с. 357.*
«Миташа» (т. 26, с. 529).

806. Рыба от головы тухнет, а человек от ума. — *Даль, с. 478.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 339).

807. Рыбак рыбака видит издалека. — *Даль, с. 859.*
«Азбука» (т. 22, с. 25).

808. * Рыбам море, птицам воздух, людям земля. — *Даль, с. 314.*
«Новая азбука» (т. 21, с. 47).

809. * С богатым не судись, с сильным не борись. — *Снегирев, с. 391.*
<«Аггей»> — разбойник (т. 26, с. 492); «Воскресение» — кузминский мужик (т. 32, с. 205).
См. также: С сильным не борись...

810. С больной головы на здоровую. — *Снегирев, с. 388.*
«Власть тьмы» — Матрена (т. 26, с. 156).

811. * С возу упало — не сыщешь. — *Снегирев, с. 388.*
«Азбука» (т. 22, с. 22).

812. С глупым водиться, сам поглупеешь.
«Азбука», (т. 22, с. 52).

813. С голодухи Малашке и алашки в честь. — *Даль, с. 893.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 46); «Война и мир», черн.— Каратаев (т. 15, с. 46).

814. * С грехом ссорься, с грешником мирись. — *Даль, с. 208.*
«Круг чтения» (т. 41, с. 200).

815. С дуру, что с дубу. — *Даль, с. 701.*
«Азбука» (т. 22, с. 51).

816. С жиру ино и не блажноï блажит. — *Словарь, I, с. 97.*
Записная книжка 1879 (т. 8, с. 287).

817. * С жиру и собака бесится. — *Снегирев, с. 389.*
«Власть тьмы» — Митрич (т. 26, с. 180); «Путь жизни» (т. 45, с. 153).

818. С избранным избран будешь, с повинным повинишься, с строптивым развратишься.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 232).

819. С концов зубами натянул, в середке лопнуло. — *Даль, с. 482.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 335).

820. **С миру по нитке, голому рубаха. — *Снегирев, с. 390.*
«Так что же нам делать?» (т. 25, с. 239).

821. * С молоду дырка, а под старость — дыра. — *Снегирев, с. 390.*
«Азбука» (т. 22, с. 29).

822. С нужды умнеют, от богатства дуреют.
«Путь жизни» (т. 45, с. 153).

823. * С паршивой собаки хоть шерсти клок. — *Снегирев, с. 388.*
«Сказка об Иване дураке», черн. (т. 25, с. 592).

824. С разу всему не научишься.
«Азбука» (т. 22, с. 35).

825. С родной земли умри, не сходи. — *Словарь, I, с. 701.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 260).

826. * С сильным не борись, с богатым не судись. — *Словарь, IV, с. 465.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 240).
См. также: С богатым не судись...

827. * С умным найти, с дураком потерять. — *Снегирев, с. 391.*
«Азбука» (т. 22, с. 51).

828. * С умным побраниться — ума набраться, а с глупым — себя погубить. — *Словарь, I, с. 125.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 278).

829. С чем в колыбельку, с тем и в могилку. — *Снегирев, с. 392.*
«Азбука» (т. 22, с. 51).

830. * Сажала пирожки и вынула покрышки на горшки. — *Словарь III, с. 113.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 275).

831. Сам господь по земле ходил и то нами не гребовал.
Листы из записной книжки 1879 (т. 48, с. 362).

832. * Сварила бы кашу, да куры крупу расклевали. — *Даль, с. 80.*
«Азбука» (т. 22, с. 25).

833. * Сватать — не хвастать. — *Словарь, IV, с. 147.*
«Власть тьмы» — Матрена (т. 26, с. 200).

834. * Свет клином сошелся. — *Даль, с. 24.*
Отрывки рассказов из деревенской жизни (т. 7, с. 112).

835. * Свет не без добрых людей. — *Словарь, II, с. 289.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 263); письмо Л. И. Бродскому 4 августа 1898 (т. 71, с. 418).

836. Света кверху не видно.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 288).

837. Свинья борову, а боров всему городу. — *Снегирев, с. 363.*
Записная книжка 29 июня 1877 (т. 48, с. 183).

838. Своего спасиба не жалей, а чужого не жди. — *Даль, с. 120.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 46).

839. Своему гневу господин, всему господин.
«Война и мир», черн.— Платон Каратаев (т. 15, с. 46).
См. также: Господин гневу своему...

840. * Свой своему поневоле брат. — *Снегирев, с. 364.*
«Власть тьмы», черн.— Матрена (т. 26, с. 536).

841. Свой уголок, свой домок, свой разумок. — *Даль, с. 472.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 335, 340).

842. Своя семья — самые верные друзья.
«Новая азбука» (т. 21, с. 61).

843. Сгубить легко, да душе каково. — *Даль, с. 286.*
Материалы к «Войне и миру» (рук. 177, л. 1).

844. Сделавши добро — не кайся. — *Снегирев, с. 365.*
«Азбука» (т. 22, с. 51).

845. Сделайся богат, друзья будут.
«Азбука» (т. 22, с. 51).

846. Себе воняю, других не соблажняю.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 254).

847. Себя покоить — дома не построить. — *Даль, с. 527.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 341).

848. * Себя уморишь, а людей не удивишь. — *Даль, с. 121.*
«Круг чтения» (т. 41, с. 555); «На каждый день» (т. 44, с. 284).

849. Седина в бороду, бес в ребро. — *Снегирев, с. 393.*
Роман из времен Петра I (т. 17, с. 152).

850. * Седой мужик обрился, в дети не годился. — *Словарь, I, с. 449.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 289).

851. * Семейная кашка гуще кипит. — *Даль, с. 379.*
«Азбука» (т. 22, с. 20); «Новая азбука», черн. (т. 21, с. 393).

852. Семь бед, один ответ. — *Снегирев, с. 366.*
«От ней все качества», черн.— прохожий (т. 38, с. 237); письмо А. М. Кузминскому, июль 1896 (т. 90, с. 294).

853. Сердце вещун. — *Словарь, I, с. 345.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 286).

854.** Сердце с перцем. — *Даль, с. 117.*
Письмо С. С. Урусову 22—28 декабря 1879 (т. 62, с. 509).

855. Сердце сердцу весть подает. — *Снегирев, с. 367.*
Письма: Н. Н. Страхову 12 ноября —17 декабря 1872 (т. 61, с. 348); Л. А. Сулержицкому 13 июля 1893 (т. 71, с. 404); П. И. Бирюкову 19 июля 1910 (т. 82, с. 77).

855а. Сердце царево в руце божией. — *Даль, с. 246.*
«Война и мир» (т. 11, с. 6).

856. Серенькое утро — красный денек. — *Даль, с. 101.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 45).

857. Сказанное слово серебряное, не сказанное — золотое. — *Снегирев, с. 369.*
«Война и мир» — Пьер (т. 11, с. 291); «Азбука» (т. 22, с. 25); «Новая азбука» (т. 21, с. 73); Дневник 2 февраля 1907 (т. 56, с. 8).
См. также: Не сказанное слово...

858. Скачет баба и задом и передом, а дело идет своим чередом. — *Даль, с. 484.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 335).

859. Сколько голов, столько умов. — *Снегирев, с. 370.*
«Война и мир», черн. (т. 15, с. 236); «Анна Каренина» — Анна (т. 18, с. 146).

860. Скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается. — *Снегирев, с. 372.*
Письма: Е. И. Попову 1—10 ноября 1889 (т. 64, с. 328); А. Ф. Марксу 8 октября 1899 (т. 72, с. 207).

861. Скорое на долгое выходит.
«Война и мир» — Кутузов (т. 11, с. 172).

862.** Скотины — таракан да жуколица; посуды — крест да пуговица. — *Словарь, I, с. 563.*
«Записки христианина» (т. 49, с. 20); Записная книжка 1879 (т. 48, с. 293).

863. Скрой чужой грех, бог два простит. — *Даль, с. 230.*
«Круг чтения» (т. 41, с. 91).
См. также: Прикрой чужой грех...

864. * Скрыпучее дерево стоит, а здоровое летит. — *Даль, с. 424.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 276).

865. Скучен день до вечера, коли делать нечего. — *Снегирев, с. 373.*
«Азбука» (т. 22, с. 41).

866. Скучно жить Афонюшке на чужой сторонушке. — *Снегирев, с. 373.*
«Азбука» (т. 22, с. 41).

867. Сладкого — не досыта, милого — не довеку. — *Даль, с. 83.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 47).

868. Слеза скоро сохнет. — *Снегирев, с. 373.*
«Азбука» (т. 22, с. 36).

869. Слепой щенок и тот к матери лезет. — *Даль, с. 411.*
«Азбука» (т. 22, с. 21).

870. Слово святыня души, а не свист птицы.
Письмо Л. Д. Урусову 19 июня 1885 (т. 63, с. 265).

871. Снявши голову, по волосам не плачут. — *Снегирев, с. 377.*
«Война и мир» — купец (т. 11, с. 330).

872. Собака на сене лежит, сама не ест и другим не дает. — *Снегирев, с. 378.*
«Азбука» (т. 22, с. 25); «Новая азбука», черн. (т. 21, с. 397, р.); «Плоды просвещения» — 2-й мужик (т. 27, с. 442); «Единственное возможное решение земельного вопроса» (т. 36, с. 284); «Единственное средство», черн. (рукопись); «К рабочему народу», черн. (рукопись).

873. Солдат в отпуску — рубаха из портков. — *Даль, с. 785.*
«Война и мир» — Каратаев (т. 12, с. 49); материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 45).

874. Соловья баснями не кормят. — *Снегирев, с. 380.*
«Анна Каренина» — Каренин (т. 18, с. 217).

875. Солью сыт не будешь, думой горе не размыкаешь. — *Даль, с. 126.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 46).

876. Сон милее отца и матери. — *Снегирев, с. 380.*
«Так что же нам делать?» (т. 25, с. 409).

877. Спорить с язычным человеком — накладывать дров на его огонь.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 236).

878. * Спустя лето по малину не ходят. — *Снегирев, с. 382.*
«Поликушка» — Герасим (т. 7, с. 19).

879. * Стал на ряду, не говори, что не могу. — *Словарь, IV, с. 126.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 285).

880. Стар годами да молод умом. — *Даль, с. 470.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 339).

881. Старая хлеб-соль не помнится.
«Волк и мужик» (т. 21, с. 269).

882. Старого мужа соломкой прикрою, а молодого сама отогрею. — *Словарь, II, с. 363.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 265).

883. Старому лгать, как богатому красть не зачем и стыдно. — *Даль, с. 191.*
Письмо А. В. Жиркевичу 30 июня 1890 (т. 65, с. 120).

* Старому лгать, что богатому красть.
Письмо Н. Н. Неплюеву 10 декабря 1893 (т. 66, с. 446).
См. также: Богатому красть — старому лгать.

884. Старость — не радость. — *Снегирев, с. 384.*
«Власть тьмы» — Матрена (т. 26, с. 154).

885. Старый друг лучше новых двух. — *Снегирев, с. 384.*
«Азбука» (т. 22, с. 39).

886. Старый дурак глупее молодых. — *Даль, с. 470.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 339).

887. Стерпится — слюбится. — *Снегирев, с. 385.*
«Война и мир» — старый князь Болконский (т. 9, с. 108).

888. Стоит не на полу, а на руках помереть.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 241).

889. * Стриженная девка косы не заплетет. — *Даль, с. 620.*
«Власть тьмы» — Анисья (т. 26, с. 238).

890. Стыд не дым, глаза не выест. — *Снегирев, с. 386.*
«Власть тьмы», черн.— Анисья (т. 26, с. 539).

891. * Сума да тюрьма дадут ума. — *Даль, с. 69.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 47); «Война и мир», черн.— Каратаев (т. 15, с. 30).

892. * Сухая рука прижимиста, потная рука таровата. — *Даль, с. 88.*
«Круг чтения» (т. 41, с. 490); «На каждый день» (т. 43, с. 18); «Путь жизни» (т. 45 с. 146).
См. также: Потная рука—таровата, сухая — неподатлива.

893. Сухую грязь к стене не прилепишь. — *Словарь, I, с. 414.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 289).

894. * Счастлив в любви, несчастлив в картах. — *Даль, с. 25.*
«Война и мир» — Долохов (т. 10, с. 56).

895. Счастливой собаке и хозяина не нужно.
«Азбука» (т. 22, с. 57).

896. * Счастливый пойдет — клад найдет, бесчастный и гриба не сыщет. — *Снегирев, с. 466.*
«Азбука» (т. 22, с. 57).

897. Счастье без ума — дырявая сума; <где найдешь, там и сгубишь>. — *Снегирев, с. 467.*
«Азбука» (т. 22, с. 25).

898. Счастье как вода в бредне — надуется как полное, а вытащишь, ничаво нету. — *Даль, с. 30.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 45).
См. также: Наше счастье как вода...

899. Съел бы пирог, да в печи сжег. — *Снегирев, с. 470.*
«Азбука» (т. 22, с. 39); «Новая азбука» (т. 21, с. 58).

900. Такой работящий, что номер с кочедыком в руках. — *Словарь, II, с. 183.*
«Так что же нам делать?» (т. 25, с. 401).

901. * Творится не нашим умом, а божьим судом. — *Даль, с. 2.*
Материалы к «Войне и миру» (рук. 177, л. 1).
См. также: Не нашим умом...

902. Тебе, телу, во земле лежать, а мне, душе, на ответ идти. — *Словарь, II, с. 742.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 278).

903. Терпи казак, <атаман будешь>. — *Даль, с. 24.*
Дневник 22 июля 1910 (т. 58, с. 83).

904. Терпит квашня долго, а через край пойдет, не уймешь. — *Словарь, II, с. 186.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 264).

905. * Тех же щей, да жиже влей. — *Снегирев, с. 407.*
«Азбука» (т. 22, с. 26).

905а. Тит, ступай молотить.— *Даль, с. 260.*
«Война и мир» — кучер (т. 9, с. 321).

906. Тихий воз будет на горе. — *Снегирев, с. 397.*
«Азбука» (т. 22, с. 54).

907. Тише едешь, дальше будешь. — *Снегирев, с. 398.*
«Азбука» (т. 22, с. 26); «Нет в мире виноватых» — Соловьев (т. 38, с. 191); письмо Ф. Ф. Тищенко 28—31 (?) октября 1894 (т. 67, с. 263).

908. То же тело, да клубком свертело. — *Даль, с. 423.*
«Война и мир», черн.— Каратаев (т. 15, с. 75).

909. * То и закон, что судья знаком. — *Словарь, I, с. 606.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 293).

910. * Тогда орехи, когда зубов у белки нет. — *Даль, с. 567.*
Дневник 12 января 1857 (т. 47, с. 111).

911. * Той же мучки, да не те же ручки. — *Даль, с. 953.*
«Азбука» (т. 22, с. 27).

912. Толки воду на воеводу. — *Даль, с. 789.*
«Анна Каренина», черн. (рук. 84, л. 1).

913. Толкý век, а тóлку нет. — *Даль, с. 485.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 340).

914. Толочь воду. — *Словарь, IV, с. 423.*
Письмо Е. И. Попову 7 февраля 1894 (т. 67, с. 31).

915. Только и воску в свечи, что она.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 286).

916. * Только и свету, что в окошке. — *Снегирев, с. 291.*
«Речь о народных изданиях» (т. 25, с. 527); письмо неизвестному 3 апреля 1907 (т. 90, с. 332).

917. Только лесу, что стоит.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 289).

918. * Только сорока в одно перо родится.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 275).

919. Только хлеб в брюхе да платье на теле.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 240).

920. Тому тяжело, кто помнит зло. — *Даль, с. 481.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 341).

921. Тонко прясть — долго ждать. — *Снегирев, с. 401.*
«Азбука» (т. 22, с. 26); «Новая азбука» (т. 21, с. 38).

922. Тоньше ноги, толще брюхо.
Записная книжка, май 1906 (т. 55, с. 354).

923. Трое осудят, десятеро рассудят. — *Даль, с. 472.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 340).

924. Труд человека кормит ⟨а лень портит⟩. — *Снегирев, с. 405.*
«Азбука» (т. 22, с. 43).

925. * Труды бог любит. — *Снегирев, с. 18.*
«Азбука» (т. 22, с. 43).

926. Тупо сковано — не наточишь ‹глупо рожено — не научишь›. — *Даль, с. 461.*
Письмо Ф. Ф. Тищенко 12 декабря 1886 (т. 63, с. 425).

927. * Ты на пядень, а он от тебя на сажень. — *Даль, с. 546.*
«Записки сумасшедшего» (т. 26, с. 472).

928. Ты не родился, а женился.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 239).

929. Ты о людях, а бог о тебе.
Дневник 27 марта 1910 (т. 58, с. 30).

930. * Ты тянешь, и он тянет: кто ни перетянет, а обоим падать. — *Словарь, IV, с. 464.*
«Понятие о жизни» (т. 26, с. 886).

931. Тяжело против воды плыть. — *Снегирев, с. 407.*
«Азбука» (т. 22, с. 44).

932. * Тяжело терпеть, обижать еще тяжелее. — *Словарь, IV, с. 467.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 295).

933. У богатого мужика борода помелом, у бедного клином. — *Даль, с. 55.*
«Азбука» (т. 22, с. 50—51).

934. У каждого свой царь в голове. — *Даль, с. 472.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 335).

935. * У княгини княжа, у кошки котя — все то же дитя. — *Даль, с. 407.*
«Азбука» (т. 22, с. 22); «Новая азбука», черн. (т. 21, с. 395).

936. У кого зубы есть, все сгложет.
«Крейцерова соната», черн.— старик (т. 27, с. 356).

937. У кого что болит, тот о том и говорит. — *Снегирев, с. 414.*
«Азбука» (т. 22, с. 48).

938. * У ребят да у зайчат по два зуба. — *Даль, с. 406.*
«Азбука» (т. 22, с. 27).

939. У семи нянек дитя без глазу. — *Снегирев, с. 421.*
«Азбука» (т. 22, с. 26).

940. У страха глаза велики. — *Снегирев, с. 423.*
«Азбука» (т. 22, с. 22 и 27).

941. У татарина два коня, третья душа.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 215, 362).

942. У царя руки далеко сягают.— *Даль, с. 245.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 228).

943. * Убогого докука, богатого скука. — *Даль, с. 59.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 47).

944. Уговорец — делу родной братец. — *Даль, с. 712.*
«Война и мир» — Каратаев (т. 12, с. 95).

945. * Удалось червяку на веку лист съесть. — *Даль, с. 47.*
«Азбука» (т. 22, с. 21); «Новая азбука», черн. (т. 21, с. 394).

946. Уйдут деньги на свои щели.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 258).

947. Укатали Бурку крутые горки. — *Словарь, IV, с. 494.*
«Анна Каренина», черн.— Грабе (т. 20, с. 523).

948. Ум бороды не ждет. — *Даль, с. 469.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 339).

949. Ум не в бороде, а в голове. — *Даль, с. 470.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 339).

950. Ум разумом крепок; ум за разумом не ходит. — *Даль, с. 478.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 339).

951. Ум разуму подспорье. — *Снегирев, с. 418.*
«Грамматика для сельской школы» (т. 21, с. 532, 536, 541).

952. Ум хорошо, а два лучше. — *Даль, с. 472.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 340); письма: А. А. Толстой 26—27 (?) ноября 1865 (т. 61, с. 121); А. В. Жиркевичу 27 декабря 1887 (т. 64, с. 132); Л. А. Сулержицкому 5 октября 1899 (т. 72, с. 203).

* Ум хорошо, а два г о р а з д о лучше.
Письмо П. И. Бирюкову 8 (?) декабря 1886 (т. 63, с. 419).

* Ум хорошо, два лучше.
Письмо В. Г. Черткову 29 (?) марта 1888 (т. 86, с. 144).

953. Ума за морем не купишь, коли его дома нет. — *Даль, с. 472.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 335).

954. * Умей взять, умей и дать. — *Снегирев, с. 418.*
«Азбука» (т. 22, с. 26).

955. Умей затевать, умей и распутывать.
Листы из записной книжки 1879 (т. 48, с. 356).

956. * Умел гулять, умей и концы хоронить. — *Снегирев, с. 418.*
«Власть тьмы» — Матрена (т. 26, с. 208).

957. Умел ошибиться, умей и поправиться. — *Даль, с. 524.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 340).

958. * Умней себя наставлять — в реку воду таскать; неразумного учить — решетом воду носить. — *Даль, с. 471.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 339).

959. * Умный и на суд не ходит, а глупый из суда не выходит. — *Даль с. 464.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 339).

960. Умный и согрешит и поправит. — *Даль, с. 464.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 339).

961. * Умный любит учиться, а неразумный учить. — *Даль, с. 471.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 339).

962. * Умный одно слово молвит, и то скажется. — *Даль, с. 465.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 340).

963. Умный скрывает ум, глупый высказывает глупость.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 247).

964. Умный смиряется, глупый надувается. — *Даль, с. 471.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 339).

965. Уплыли годы, как вешние воды. — *Даль, с. 376.*
«Азбука» (т. 22, с. 23).

966. * Упустил гриву, за хвост не держись. — *Снегирев, с. 421.*
«Азбука» (т. 22, с. 26).
См. также: Не удержался за гриву...

967. Упустишь огонь — не потушишь.
Заглавие рассказа (т. 25, с. 46).

968. Утро вечера мудренее. — *Снегирев, с. 424.*
Письмо С. Н. Толстому 24—25 сентября 1860 (т. 60, с. 355).

969. * Ученье свет, неученье тьма. — *Снегирев, с. 424.*
«Азбука» (т. 22, с. 27).

970. Учителей много, послушников нет.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 276).

971. Ушки на макушке — *Даль, с. 733.*
«Казаки», черн. (т. 6, с. 177).

972. * Филипп к печке прилип. — *Даль, с. 687.*
«Азбука» (т. 22, с. 26).

973. Фунтами пуды, копейками рубли.
«Азбука» (т. 22, с. 26).

974. Хворь и поросенка не красит. — *Словарь, II, с. 189.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 264).

975. Хлеб-соль — взаимное дело. — *Словарь, IV, с. 669.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 241).

976. Хлеба ни куска, так в тереме тоска. — *Снегирев, с. 428.*
«Азбука» (т. 22, с. 33).

977. Хлеба-соли покушать, красного звона послушать. — *Даль, с. 346.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 45).

978. * Хмель по тычинке взвивается. — *Словарь, IV, с. 459.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 267).

979. Хмель рваная — умному на любовь, а безумному на бой.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 285).

980. * Ходи тором, не положат вором. — *Даль, с. 756.*
«Власть тьмы» — Матрена (т. 26, с. 234).

981. Ходит Зиня рот разиня. — *Снегирев, с. 430.*
«Азбука» (т. 22, с. 27).

982. * Холостой брюзжит, женится, женатый — кается, старый умирать сбирается. — *Словарь, I, с. 135.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 279).

983. Хороша жена — чужая корысть, а дурная то мне не надо.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 262).

984. * Хороша работа без заботы, а плоха забота без работы. — *Даль, с. 526.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 335).

985. * Хорошая слава под порожком лежит, а худая задрамши хвост бежит. — *Снегирев, с. 93.*
«Зараженное семейство», черн.— няня (т. 7, с. 303).

986. Х о р о ш е й хозяйкой дом стоит. — *Снегирев, с. 502.*
«Азбука» (т. 22, с. 58).

987. Хороший товар сам себя хвалит. — *Снегирев, с. 433.*
«Азбука» (т. 22, с. 58).

988. Хотят две кожи снять, да и одной не снимут, только лоскуты сдирают.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 239).

989. * Хочешь есть калачи, не сиди на печи. — *Даль, с. 545.*
«Азбука» (т. 22, с. 27).

990. Худое дерево в сук растет. — *Снегирев, с. 442; Даль, с. 504.*
«Азбука» (т. 22, с. 27); материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 335).

991. Худое колесо больше скрипит. — *Словарь, IV, с. 214.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 339).

992. Худой спор лучше доброй ссоры. — *Даль, с. 272.*
«Хаджи-Мурат» — Мария Васильевна (т. 35, с. 34).

993. Царство без грозы — конь без узды. — *Словарь, II, с. 156.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 263).

994. Царя не все видят, а все его знают. — *Даль, с. 245.*
«Азбука» (т. 22, с. 27).

995. Час от часу не легче. — *Даль, с. 37.*
«Война и мир» — Ахросимова (т. 10, с. 360).

996. Час терпеть, а век жить. — *Даль, с. 98.*
«Война и мир» — Каратаев (т. 12, с. 45); Пьер, черн. (т. 15, с. 34); материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 45, 46); «Много ли человеку земли нужно» — Пахом (т. 25, с. 77).

997. * Чей бы бычок ни скакал, а теля-то наше. — *Снегирев, с. 450.*
«Идиллия», 2-я ред. (т. 7, с. 64).

998. * Человек ищет—где лучше, рыба—где глубже. — *Словарь, IV, с. 117.*
«Прогресс и определение образования» (т. 8, с. 345).

999. Человек на человека не приходит.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 233).

1000. Человек ходит, бог водит. — *Даль, с. 2.*
Дневник 7 сентября и 1 декабря 1900 (т. 54, с. 41 и 68); письма: А. И. Коневскому 13 сентября 1896 (т. 69, с. 144); И. Ф. Наживину 14 ноября 1906 (т. 76, с. 234).

1001. Чем больше голеют, то больше мудренеют.
Записная книжка 29 июня 1877 (т. 48, с. 183).

1002. Чем больше ездить, тем торней дорожка. — *Даль, с. 531.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 335, 340).

* Что больше ездить, то торней дорожка.
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 335).

1003. Чем бы дитя ни тешилось, только бы не плакало. — *Снегирев, Нов., с. 57.*
«О науке», черн. (т. 38, с. 322 и 325); письмо Ф. А. Абрамову 1 июля 1909 (т. 80, с. 3).

1004. * Чем заболел, тем и лечись. — *Снегирев, с. 463.*
Письмо В. В. Арсеньевой 12 декабря 1856 (т. 60, с. 141).

Чем ушибешься, тем и лечись.—*Даль, с. 425.*
«Азбука» (т. 22, с. 27).

1005. * Чем хуже, тем лучше. — *Словарь, IV, с. 461.*
Дневник 15 апреля 1909 (т. 57, с. 49).

1006. Чему бывать, того не миновать. — *Даль, с. 26.*
«От ней все качества», черн.— прохожий (т. 38, с. 228).

Чему быть, тому не миновать. — *Снегирев, с. 451.*
«Отрочество» — Николенька (т. 2, с. 38); письмо Т. А. Берс 20 февраля 1864 (т. 61, с. 36).

1007. * Чему посмеешься, тому и послужишь. — *Даль, с. 181.*
Дневник 10 сентября 1862 (т. 48, с. 44).

Чему посмеешься, тому и поработаешь.
Письмо С. А. Толстой 14 сентября 1862 (т. 83, с. 17).

1008. Черви в гнилом, так и скука в худом человеке.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 236).

1009. Червоточинка красному яблочку не покор. — *Даль, с. 503.*
«Власть тьмы» — Матрена (т. 26, с. 201).
См. также: Красному яблочку червоточинка...

1010. * Червь капусту гложе, а сам прежде того пропадае. — *Даль, с. 302.*
«Война и мир» — Каратаев (т. 12, с. 46).

Червь капусту гложет, а сам прежде пропадает.
Материалы к «Войне и миру» (рук. 177, л. 1).
См. также: Гложет червь капусту...

1011. Черного кобеля не отмоешь добела. — *Словарь, II, с. 127.*
Письмо Н. Н. Страхову 29—30 ноября 1878 (т. 62, с. 58).

1012. Черный хлебушка — калачу дедушка [1]. — *Даль, с. 890.*
«Что такое искусство?» (т. 30, с. 145).

1013. Чес, чес. Где-то мой пес?
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 262).

1014. Честь человеку отстать от ссоры, дурак задорен.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 247)

1015. * Что было, то уплыло. — *Снегирев, с. 454.*
«Власть тьмы» — Марина (т. 26, с. 148).

1016. * Что в людях ведется, то и у нас не минется. — *Снегирев, с. 455.*
«Понятие о жизни» (т. 26, с. 894).

1017. * Что дальше в лес, то больше дров. — *Снегирев, с. 463.*
«Новая азбука» (т. 21, с. 64); письма: Н. М. Нагорнову 16 марта 1875 (т. 62, с. 158); С. А. Толстой 12 декабря 1884 (т. 83, с. 462).

1018. * Что докучает, то и научает. — *Даль, с. 530.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 340).

1019. Что долго думать, отрубил да и в шапку.
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 338).

1020. Что за честь, когда нечего есть. — *Даль, с. 62.*
«Севастополь в августе 1855 года» — комиссионер (т. 4, с. 79).

[1] Пословица не в тексте Толстого, а в рассказе Ф. Ф. Тищенко, содержание которого Толстой передает.

1021. * Что на душе, то и на языке. — *Снегирев, с. 457.*
«Мать» (т. 31, с. 258).

* Что на сердце, то и на языке.
«Роман русского помещика» (т. 4, с. 337); «Ильяс» — Ильяс (т. 25, с. 33).

1022. Что написано пером, того не вырубишь топором. — *Снегирев, с. 457.*
«О свободном возникновении и развитии школ в народе» (т. 8, с. 149).

1023. Что ни болит, все к сердцу валит. — *Даль, с. 422.*
«Война и мир», черн.— Каратаев (т. 15, с. 76).

1024. Что ни лучший пирог в печи забыла. — *Словарь, III, с. 113.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 275).

1025. Что ни поп, то батька. — *Снегирев, Нов., с. 57.*
«Зараженное семейство» — няня (т. 7, с. 233).

1026. * Что одна курушка в поле, сколько ни чади, не миновать загаснуть. — *Даль, с. 693.*
«Сто лет» (т. 17, с. 234).

1027. Что поделился, то разорился.
Отрывки рассказов из деревенской жизни (т. 7, с. 106).

1028. Что припасешь, то и в рот понесешь. — *Даль, с. 526.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 341).

1029. Что с воза упало, то пропало. — *Снегирев, с. 459.*
«Азбука» (т. 22, с. 35).

1030. * Что-то в лесу пищит, волк барана тащит. — *Даль, с. 514.*
«Азбука» (т. 22, с. 28).

1031. Что топором, что языком.
Отрывки рассказов из деревенской жизни (т. 7, с. 114).

1032. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. — *Снегирев, с. 459.*
«Для чего люди одурманиваются?», черн. (т. 27, с. 547).

1033. Что я в поле за обсевок? — *Даль, с. 184.*
«Азбука» (т. 22, с. 41—42, р.).

1034. Чужая беда не дает ума. — *Даль, с. 138.*
«Азбука» (т. 22, с. 26).

1035. Чужая душа темна. — *Снегирев, с. 460.*
«Азбука» (т. 22, с. 27).

1036. * Чужие грехи перед собой, а свои за спиной. — *Даль, с. 813.*
«Упустишь огонь — не потушишь» — старик (т. 25, с. 51).

1037. * Чужие куры ростятся, наши только топорщатся. — *Словарь, IV, с. 428.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 295).

1038. Чужим владать, своего не видать.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 254).

1039. Чужим умом не долго жить. — *Даль, с. 472.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 335).

1040. Чужими руками жар загребать.— *Даль, с. 669.*
Письмо Н. Н. Страхову 18 февраля 1891 (т. 65, с. 251).

1041. Чужое-то лыко, то велико.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 282).

1042. * Чужой грех покрой, бог два простит. — *Даль, с. 230.*
«Упустишь огонь — не потушишь» — старик (т. 25, с. 57).
См. также: Прикрой чужой грех...

1043. Чужой дом не назовешь своим.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 240).

1044. Чужой чужим и пахнет.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 215, 362, 364).

1045. Чужую беду руками разведу. — *Даль, с. 669.*
Письмо В. Г. Черткову 17 марта 1893 (т. 87, с. 182).

1046. * Чужую душу погубить легко, да своей-то каково. — *Даль, с. 286*
«Свечка» — Петр Михеев (т. 25, с. 108).

1047. * Шелудивый баран все стадо портит. — *Снегирев, с. 464.*
«Азбука» (т. 22, с. 28).

1048. Шила в мешке не утаишь. — *Снегирев, с. 464.*
«Азбука» (т. 22, с. 28); «О Шекспире и о драме», черн. (т. 35, с. 570); «Корней Васильев», черн.— Кузьма (т. 42, с. 475); письма: Н. Н. и С. Н. Толстым 4 июня 1860 (т. 60, с. 339); Н. Н. Страхову 24—26 апреля 1876 (т. 62, с. 270); Н. Н. Ге (сыну) 11 февраля 1893 (т. 66, с. 292); Н. Д. Фоминой 11 июля 1894 (т. 67, с. 172).

1049. Щей горшок, да сам большой. — *Снегирев, с. 440.*
«Великий грех» черн. (т. 36, с. 472); «К рабочему народу», черн. (рукопись); «О значении русской революции» (т. 36, с. 350); «На каждый день» (т. 43, с. 132); «Путь жизни» (т. 45, с. 109).

1050. * Щенок лает, у старших слышит. — *Снегирев, с. 468.*
«Азбука» (т. 22, с. 28).

1051. * Щербина в ноже, щетина в еже. — *Снегирев, с. 468.*
«Азбука» (т. 22, с. 28).

1052. * Щука умерла, да зубы целы. — *Снегирев, с. 469.*
«Азбука» (т. 22, с. 28).

1053. Эй, человек, сведи меня на водопой. — *Даль, с. 470.*
Материалы к сборнику пословиц (т. 48, с. 340).

1054. * Это только цветочки, а ягоды впереди. — *Даль, с. 304.*
«Азбука» (т. 22, с. 27).

1055. * Эх-ма! кабы да полная сума! — *Даль, с. 75.*
«Азбука» (т. 22, с. 29).

1056. * Юность не грех, старость не смех. — *Даль, с. 371.*
«Азбука» (т. 22, с. 30).

1057. * Я сам с усам. — *Даль, с. 100.*
«Война и мир»— Денисов (т. 12, с. 125); «Первый винокур» — 2-й старик (т. 26, с. 59).

1058. * Язык голову кормит, он же и губит. — *Снегирев, с. 474.*
«Азбука» (т. 22, с. 44).

1059. Язык мой — враг мой. — *Даль, с. 439.*
«Война и мир» — Пьер (т. 10, с. 180).

1060. Язык не лопатка, знает, что сладко. — *Снегирев, с. 475.*
«Азбука» (т. 22, с. 44).

1061. Язык помягче — пока не стар.
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 215).

1062. Язык телу якорь. — *Даль, с. 433.*
Материалы к «Войне и миру» (т. 13, с. 45).

1063. Языком блекотал, а рукам воли не давал. — *Словарь, I, с. 243.*
Записная книжка 1879 (т. 48, с. 285).

1064.** Яйца курицу не учат. — *Снегирев, с. 199.*
«Война и мир» — граф Ростов (т. 11, с. 314).

1065. Ярко слово смущает сердце. — *Снегирев, с. 745.*
«Азбука» (т. 22, с. 30).

ПОСЛОВИЦЫ НАРОДОВ КАВКАЗА

Аварские

1066. Веревка хороша длинная, а речь короткая. — *Сборник СКГ, I, с. 17.*
«Хаджи-Мурат» — Хаджи-Мурат (т. 35, с. 10).

1067. Веревка что длинней, а слово что короче.
Записная книжка 1880 (т. 48, с. 297).

1068. Кто не видал дня, тот днем зажигает свечу. — *Сборник СКГ, I, с. 18.*
«Хаджи-Мурат», черн. — Хаджи-Мурат (т. 35, с. 481).

1069. Куй железо, пока горячо.
«Хаджи-Мурат», черн.— Шамиль (т. 35, с. 335, 452).

1070. Мельница сильна не той водой, что в бучиле, а той, что в пруду.
Записная книжка 1880 (т. 48, с. 297).

1071. На косогоре лужа не стоит. — *Сборник СКГ, I, с. 18.*
Записная книжка 1880 (т. 48, с. 297).

1072. Перелез передними ногами, пролезай и задними.
«Хаджи-Мурат» — Хаджи-Мурат (т. 35, с. 57).

1073. Рассыпь меру, кура все копать будет. — *Сборник СКГ, I, с. 18.*
Записная книжка 1880 (т. 48, с. 297).

1074. Тело на лекарство, дом на милость.
Записная книжка 1880 (т. 48, с. 297).

1075. Угостила собака ишака мясом, а ишак собаку сеном, — оба голодные остались.
«Хаджи-Мурат» — Хаджи-Мурат (т. 35, с. 93).

Акушинские

1076. Быстра вода до моря не дойдет. — *Сборник СКГ, I, с. 18.*
Записная книжка 1880 (т. 48, с. 300).

1077. Каждую ночь зайцы совещаются о том, как бы им прогнать орлов. К рассвету разбегаются, все еще не решив дела.— *Сборник СКГ, I, с. 12).*
«Хаджи-Мурат» — старик (т. 35, с. 8); материалы к «Хаджи-Мурату» (т. 35, с. 276).

1078. Кто швырять не умеет, за большой камень хватается. — *Сборник СКГ, I, с. 19.*
Записная книжка 1880 (т. 48, с. 300).

1079. Режь шавку, делай шапку. — *Сборник СКГ, I, с. 19.*
Записная книжка 1880 (т. 48, с. 300).

1080. Шуба новая, друг старый. — *Сборник СКГ, I, с. 19.*
Записная книжка 1880 (т. 48, с. 300).

Кюринские

1081. В одной руке два арбуза. — *Сборник СКГ, I, с. 19.*
Записная книжка 1880 (т. 48, с. 301).

1082. Ты лисица, а я лисий хвост. — *Сборник СКГ, I, с. 12.*
Материалы к «Хаджи-Мурату» (т. 35, с. 276).

Лакские

1083. Вести сбирает, вести носит. — *Сборник СКГ, I, с. 18.*
Записная книжка 1880 (т. 48, с. 297).

1084. У женщины ума в голове, сколько на яйце волос. — *Сборник СКГ, I, с. 14.*
«Хаджи-Мурат» — Хаджи-Мурат (т. 35, с. 52).

1085. Храбрость терпень на час. — *Сборник СКГ, I, с. 72.*
Записная книжка 1880 (т. 48, с. 301).

1086. Языком поранишь, не заживет. — *Сборник СКГ, I, с. 18.*
Записная книжка 1880 (т. 48, с. 297).

ИНОСТРАННЫЕ ПОСЛОВИЦЫ

ВОСТОЧНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ

1087. Человек может избежать несчастий, ниспосылаемых небом, но от тех несчастий, которые он сам навлекает на себя, нет спасения.
«Мысли мудрых людей на каждый день» (т. 40, с. 148); «Круг чтения» (т. 42, с. 268).

Арабские

1088. Когда ты говоришь, слова твои должны быть лучше молчания.
«Мысли мудрых людей на каждый день» (т. 40, с. 86); «Круг чтения» (т. 41 с. 134); «На каждый день» (т. 44, с. 176); «Путь жизни» (т. 45, с. 364).

1089. Лучший язык тот, который тщательно сдерживается; лучшая речь та, которая тщательно обдумывается; когда ты говоришь, слова твои должны быть лучше молчания.
«Круг чтения» (М., 1906, т. 1, с. 152).

Лучший язык — тщательно сдерживаемый; лучшая речь — тщательно обдуманная. Когда ты говоришь, слова твои должны быть лучше молчания.
«Мысли мудрых людей на каждый день» (т. 40, с. 86); «На каждый день» (т. 44, с. 243).

1090. Одинаково недостойно человека разумного и желать смерти и страшиться ее.

«Мысли мудрых людей на каждый день» (т. 40, с. 197); «Круг чтения» (М., 1906, т. 1, с. 255).

Индийские

1091. Наживи себе такое богатство, которого никто не может отнять от тебя, которое и по смерти осталось бы за тобою и которое никогда не убавляется и не тлеет. Богатство это — твоя душа.

«На каждый день» (т. 43, с. 83); «Путь жизни» (т. 45, с. 159).

Наживи себе то богатство, которого воры не могут похитить, на которое тираны не смеют посягать, которое и по смерти за тобой останется, никогда не убавляется и не тлеет.

«Мысли мудрых людей на каждый день» (т. 40, с. 193); «Круг чтения» (т. 42, с. 113—114, 440).

1092. Ночная бабочка летит в огонь лампы, не зная боли ожога; и рыба глотает червяка на удочке, не зная опасности; а вот мы не расстаемся с чувственными наслаждениями, хотя отлично знаем, что они опутаны сетью бедствий. Такова бездонная глубина безрассудства.

«Круг чтения» (т. 41, с. 341—342).

1093. Поступай днем так, чтобы ночью твой сон был спокоен, а в молодости так, чтобы старость твоя была спокойна.

«Мысли мудрых людей на каждый день» (т. 40, с. 199); «Круг чтения» (т. 42, с. 340).

Китайские

1094. Бог не поможет, коли упустишь.

Дневник 1884 (т. 49, с. 61).

1095. Дегтярная бочка только на деготь.

Дневник 1884 (т. 49, с. 61).

1096. Доброта завяжет крепче дома.

Дневник 1884 (т. 49, с. 61).

1097. Добрые люди друг другу пособляют, даже не подозревая того; а злые умышленно противодействуют друг другу.

«Круг чтения» (т. 41, с. 16).

Добрые люди друг другу пособляют, не думая об этом, а злые нарочно вредят друг другу.

«Круг чтения», черн. (т. 42, с. 534).

1098. Добрые люди забывают то хорошее, что они сделали: они так заняты тем, что сейчас делают, что не думают о том, что уже сделали.

«На каждый день» (т. 43, с. 297); «Путь жизни» (т. 45, с. 337).

1099. И из реки мышь не выпьет больше того, что в брюхо влезет.

Дневник 1884 (т. 49, с. 61).

1100. Когда пить захотелось, некогда колодца рыть.

Дневник 1884 (т. 49, с. 61).

1101. Кто бранит за глаза, тот боится, а кто хвалит в глаза, тот презирает.

Записная книжка, февраль — май 1908 (т. 56, с. 360).

Кто за глаза поносит меня, тот боится меня; а кто в глаза хвалит — презирает меня.

«Круг чтения» (М., 1906, т. 1, с. 102); «На каждый день» (т. 44, с. 176); «Путь жизни» (т. 45, с. 360).

См. также: Тот, кто меня бранит...

1102. Кто бьет на самое лучшее, добьется хорошего, а кто бьет только на хорошее, тот никогда не дойдет до него.

Дневник 1884 (т. 49, с. 61).

1103. Лишь чужими глазами можно видеть свои недостатки.

«Мысли мудрых людей на каждый день» (т. 40, с. 199); «Круг чтения» (т. 41, с. 199); «На каждый день» (т. 44, с. 113).

Только чужими глазами можно видеть свои недостатки.

«Путь жизни» (т. 45, с. 404).

1104. На чужие деньги жить — время коротко; на других работать — время долго.

Дневник 1884 (т. 49, с. 61).

1105. Настоящий человек всегда как дитя.

Дневник 1884 (т. 49, с. 61).

1106. Не тот судья, кто играет, а кто смотрит.

Дневник 1884 (т. 49, с. 61).

1107. Останови руки, останови и рот.

Дневник 1884 (т. 49, с. 61).

1108. Открой книгу, что-нибудь да узнаешь.

Дневник 1884 (т. 49, с. 61).

1109. Очень богат тот, кому нечего терять.

«Круг чтения» (т. 41, с. 166).

1110. Правдивость — единственная монета, которой везде ход.

«Круг чтения» (т. 41, с. 326).

1111. Путь к славе пролегает через дворцы, к счастью — через базары, а к добродетели — через пустыни.

«Круг чтения» (т. 41, с. 598).

1112. С мыслями своими обходись как с гостями, а с своими желаниями — как с детьми.

«Круг чтения» (т. 42, с. 42).

1113. Себя попрекай, в чем других попрекаешь, а других прощай, в чем себя прощаешь.

Дневник 1884 (т. 49, с. 62).

1114. Скромность истинно добрых людей выражается в забвении: они так поглощены тем, что сейчас делают, что упускают из виду то, что уже сделали.

«Круг чтения» (т. 42, с. 189).

1115. Сладкие речи — яд, горькие — лекарство.

Дневник 1884 (т. 49, с. 61).

1116. Счастье умному — радость, а дураку — горе.

Дневник 1884 (т. 49, с. 62).

1117. Тот, кто меня бранит за глаза, боится меня; кто же хвалит меня в глаза, тот меня презирает.

Письмо И. А. Самсонову 24 февраля 1908 (т. 78, с. 68).
См. также: Кто бранит...

1118. Ты уже несчастен, если страшишься несчастья, а кто его заслуживает, тот его вечно страшится.

«Круг чтения» (т. 41, с. 471).

1119. Чего нельзя сказать, лучше не делать.

Дневник 1884 (т. 49, с. 61).

1120. Яйцо все крепко, а насидится — цыпленок вылупится.

Дневник 1884 (т. 49, с. 61).

Манчжурские

1121. Жалостливый не бывает богат. Богатый наверное не жалостлив.

«Круг чтения» (т. 41, с. 136); «На каждый день» (т. 43, с. 25); «Путь жизни» (т. 45, с. 153).

1122. Люди с великой и прекрасной душой всегда спокойны и довольны; люди, ничтожные духом, всё недовольны и печальны.

«Круг чтения» (т. 42, с. 165).

Турецкие

1123. Если ты направился к цели и станешь дорогою останавливаться, чтобы швырять камнями во всякую лающую на тебя собаку, ты никогда не дойдешь до цели.

«На каждый день» (т. 44, с. 312).

1124. Язык немого лучше языка лгуна.

«Круг чтения» (т. 41, с. 135).

ЗАПАДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ

Английские

1125. All is well that ends well ⟨Все хорошо, что хорошо кончается⟩.— *Hazlitt, с. 50.*

Предполагаемое заглавие «Войны и мира» (т. 61, с. 139); «Хаджи-Мурат» — Воронцов (т. 35, с. 45); дневник 8 января 1910 (т. 58, с. 6); письмо В. В. Стасову 8 мая 1904 (т. 75, с. 103).

1125а. An idle brain is the devils workshop ⟨Мозг ленивого есть любимое место пребывания дьявола⟩.— *Düringsfeld, II, № 113.*

«Круг чтения» (т. 41, с. 593).

1126. Blood will tell ⟨досл.: Кровь скажется⟩.

«Анна Каренина», черн. (т. 20, с. 532).

1127. Last, but not the least ⟨Последний по счету, но не наименьший по важности⟩.—*Hazlitt, с. 265.*

Письмо С. А. Толстой 1 марта 1892 (т. 84, с. 131).

1128. No news, good news ⟨досл.: Отсутствие новостей значит — хорошие новости⟩.— *Hazlitt, с. 308.*

Письма: С. А. Толстой 11 ноября 1897 (т. 84, с. 300); Т. Л. Сухотиной 6 июня 1902 (т. 73, с. 255).

1129. The zest of the thing is gone ⟨Острота миновала⟩.

«Анна Каренина», черн. (т. 20, с. 532).

1130. To beat about the bush ⟨Ходить вокруг да около⟩.—*Hazlitt, с. 424.*

«Неизбежный переворот», черн. (т. 38, с. 300).

1131. To cry over spilt milk ⟨досл.: Плакать о пролитом молоке; соотв.: Слезами горю не поможешь⟩.— *Düringsfeld, II, Nachtrag, № 580.*

Письма: А. П. Щербаку 16 декабря 1898 (т. 71, с. 518); Т. Л. Толстой 5 июня 1899 (т. 72, с. 136).

1132. Two is company, three is none ⟨Где двое, там третий лишний⟩.— *Hazlitt, с. 461.*

Дневник 28 сентября 1908 (т. 56, с. 151); 6 мая 1909 (т. 57, с. 58); письма: С. А. Толстой 3 февраля 1893 (т. 84, с. 178); Н. Н. Гусеву 18 марта 1910 (т. 81, с. 152).

1133. Where is a will is a way ⟨Где есть желание, там есть средство⟩.— *Hazlitt, с. 486.*

Дневник 12 сентября 1909 (т. 57, с. 137); письма: М. А. Стаховичу 16 (?) марта 1899 (т. 72, с. 98); Эйльмеру Мооду 22 мая 1903 (т. 74, с. 130).

Немецкие

1134. Den Nagel auf den Kopf getrofen ⟨досл.: Попасть гвоздем в голову; соотв.: Не в бровь, а прямо в глаз⟩.— *Wander, III, с. 863, 80.*

Письмо Л. Д. Урусову 19 июня 1885 (т. 63, с. 265).

1135. Der langen Rede kurzer Sinn ⟨досл.: Длинной речи краткий смысл⟩.— *Wander, III, с. 1550, 76.*

«О социализме» (т. 38, с. 432); дневник 30 апреля 1908 (т. 56, с. 125); письмо В. А. Ислявину 5 января 1878 (т. 62, с. 373).

1136. Ein Narr kann mehr fragen, als Tuasend Weisen antworten ⟨перевод Толстого: Всякий дурак задает такие вопросы, что и сто мудрых не ответят⟩. — *Wander, III, с. 893, 361, 367 и др.*

«Детская мудрость» (т. 37, с. 328); дневник 9 февраля 1908 (т. 56, с. 102); Записная книжка 14 сентября 1910 (т. 58, с. 224); письмо В. Г. Булатовичу 20 января 1908 (т. 78, с. 316).

1137. Ohne Hast, ohne Rast ⟨Без поспешности, без отдыха⟩.

«Война и мир», черн. (т. 14, с. 171); «Анна Каренина» (т. 18, с. 116); дневник 14 мая 1909 (т. 57, с. 67).

1138. Von lauter Bäumen sieht man den Wald nicht ⟨Из-за деревьев леса не видать⟩.— *Wander, I, с. 284, 283.*

«Война и мир», черн. (т. 13, с. 633); письмо А. А. Столыпину 24 августа 1907 (т. 77, с. 181).

1139. Wie du dein Bett machst, so magst du darauf schlafen ⟨досл.: Как постелешь свою постель, так и будешь на ней спать⟩.— *Wander, I, с. 350, 66.*

«Анна Каренина», черн.— Каренин и Анна (т. 20, с. 442. Толстой приводит не подлинный текст, а перефразирует русский перевод); «Единственное средство», черн. (рукопись).

Французские

1140. Aide-toi et Dieu t'aidera ⟨На бога надейся, а сам не плошай⟩.— *Le Roux de Lincy, I, с. 12.*

«И свет во тьме светит» — Александра Ивановна (т. 31, с. 120).

1141. Bon appétit — bonne conscience ⟨У того хороший аппетит, у кого совесть чиста⟩.

«Анна Каренина» — Весловский (т. 19, с. 155).

1142. C'est bonnet blanc et blanc bonnet ⟨в смысле: Все одно и то же; досл.: Это колпак белый и белый колпак⟩.— *Le Roux de Lincy, II, с. 113.*

Письмо в. к. Николаю Михайловичу 25 апреля — 1 мая 1902 (т. 73, с. 239).

1143. C'est compter sans son hôte ⟨досл.: Это рассчитывать без хозяина; соотв.: По приходу расход держи⟩.— *Martel. № 50.*

«Живой труп», черн.— князь Абрезков (т. 34, с. 425).

1144. C'est le moment ou jamais ⟨Теперь или никогда⟩.

Дневник 21 июня 1909 (т. 57, с. 98).

1145. C'est tiré par les cheveux ⟨Притянуто за волосы⟩.

«И свет во тьме светит» — Александра Ивановна (т. 31, с. 129).

1146. Ce qui est retardé n'est' pas perdu ⟨досл.: Что отложено, не потеряно; соотв.: Проволочка не на век отсрочка⟩.— *Le Roux de Lincy, II, с. 191.*

Письма: И. П. Борисову 25 июля 1865 (т. 61, с. 97); Н. В. Давыдову 2 ноября 1894 (т. 67, с. 264); С. Н. Толстому 22 февраля 1897 (т. 70, с. 31); Ш. Соломону 31 июля 1900 (т. 72, с. 714); В. Г. Черткову 16 июля 1910 (т. 89, с. 194).

1147. Cousinage dangereux voisinage ⟨досл.: Двоюродные братья и сестры — опасное соседство⟩.

«Война и мир» — Друбецкая (т. 9, с. 51).

1148. Dans le doute abstiens-toi ⟨В сомнении — воздерживайся⟩.— *Martel, № 411.*

«Война и мир» — Кутузов (т. 11, с. 172); «На каждый день» (т. 43, с. 228); дневник 7 мая 1909 (т. 57, с. 60); письма: С. А. Толстой 22—23 июля 1881 (т. 83, с. 296); В. Г. Черткову 12 марта 1889 (т. 86, с. 218); Л. Л. и Т. Л. Толстым 2 марта 1894 (т. 67, с. 58); В. Г. Черткову 7 апреля 1894 (т. 87, с. 268); Н. Н. Ге (сыну) 12 августа 1894 (т. 67, с. 189); М. Л. Толстой конец сентября 1895 (т. 68, с. 192); Я. Райгородскому 22 сентября 1906 (т. 76, с. 197); Д. А. Олсуфьеву 1 сентября 1910 (т. 82, с. 130).

1149. Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es ⟨Скажи мне с кем ты знаком, и я скажу кто ты⟩.— Düringsfeld, II, № 498.

«Война и мир», черн.— старый князь Болконский (т. 13, с. 485).

1150. Faire d'une pierre deux coups ⟨Одним ударом двух зайцев убить⟩.— *Le Roux de Lincy, II, с. 60.*

«Детство», черн. (т. 1, с. 177).

1151. Fais ce que doit, advienne que pourra ⟨Делай, что должно, пусть будет, что будет⟩.— *Martel, № 417.*

«Анна Каренина», черн. (т. 20, с. 315); «Рабство нашего времени», черн. (рукопись); дневник 6 февраля 1904 (т. 55, с. 188); 17 ноября 1906 (т. 55, с. 273); 9 февраля 1908 (т. 56, с. 103); 16 января 1909 (т. 57, с. 12); 22 сентября 1910 (т. 58, с. 137); 3 ноября 1910 (т. 58, с. 126); Записная книжка ноябрь 1906 (т. 55, с. 391); письма: В. Г. Черткову 17 мая 1885 (т. 85, с. 205); П. И. Бирюкову 1 марта 1887 (т. 64, с. 22); Р. А. Писареву 3—12 (?) января 1892 (т. 66, с. 133); неизвестной — Л. И. П. 5 марта 1894 (т. 67, с. 64); А. А. Штевен 5 марта 1894 (т. 67, с. 71); Т. Л. Толстой 2 августа 1894 (т. 67, с. 183); С. А. Толстой 3 октября 1895 (т. 84, с. 240); Эрнесту Кросби 4—12 января

1896 (т. 69, с. 21); в. к. Николаю Михайловичу 11 июля 1906 (т. 76, с. 176); И. Ф. Наживину 14 ноября 1906 (т. 76, с. 234); А. М. Хирьякову 5 декабря 1909 (т. 80, с. 231); А. К. Чертковой 30 августа 1910 (т. 89, с. 210).

1152. Il faut que jeunesse se passe ⟨Молодо-зелено, погулять велено⟩.— *Массон, с. 208.*

«Смерть Ивана Ильича» (т. 26, с. 71).

1153. Il les fera marcher les lapins ⟨досл.: Он заставит ходить кроликов⟩.

«Война и мир» — французский офицер (т. 12, с. 142. Толстой перевел эту поговорку: Он их проберет).

1154. Il n'y a pas de patience qui tienne ⟨Всякое терпение лопнет⟩.

«И свет во тьме светит» — Александра Ивановна (т. 31, с. 124).

1155. Il n'y a pas de pires sourds que ceux qui ne veulent pas entendre ⟨Нет более безнадежных глухих, как те, которые не хотят слышать⟩.— *Martel, № 273.*

Предисловие к статье В. Г. Черткова «О революции» (т. 36, с. 149); «Неизбежный переворот» — эпиграф ко всей статье (т. 38, с. 72); «По поводу статьи П. Струве» (т. 38, с. 338); письма: Э. Мооду 15 декабря 1899 (т. 72, с. 271); П. А. Буланже 2 апреля 1902 (т. 73, с. 227); В. Г. Черткову 20 мая 1904 (т. 88, с. 331); А. Н. Нарышкиной 24 сентября 1906 (т. 76, с. 200); Е. И. Лозинскому 26 января 1909 (т. 79, с. 47); В. Г. Черткову 15 марта 1910 (т. 89, с. 177); Ф. А. Страхову 1 апреля 1910 (т. 81, с. 197).

1156. Il n'y a point de héros pour son valet de chambre ⟨Для лакея не может быть великого человека⟩.

«Война и мир» (т. 12, с. 186. Толстой привел не подлинный текст, а русский перевод).

1157. Il s'en soucie comme de l'an quarante ⟨соотв.: Его это так же интересует, как прошлогодний снег⟩.— *Martel, № 195.*

«Кто прав?» — Владимир Иванович (т. 29, с. 276).

1158. Il y a un temps pour tout ⟨Всему свое время⟩.— *Martel, № 256.*

«Война и мир», черн.— графиня Ростова (т. 13, с. 151).

1159. Jeter son bonnet par dessus les moulins ⟨досл.: Забросить свой чепец за мельницу; смысл: пренебречь общественным мнением, правилами приличия⟩.— *Martel, № 119.*

«Анна Каренина» — Бетси Тверская (т. 19, с. 100. Толстой привел не подлинный текст, а дословный перевод).

1160. Le diable n'est pas aussi noir qu'on le fait ⟨Не так страшен черт, как его малюют⟩.— *Düringsfeld, II, № 431.*

«Война и мир», черн.— Пьер (т. 15, с. 34).

1161. Le mieux est l'ennemi du bien ⟨Лучшее — враг хорошего⟩. — *Martel, № 462.*

«Семейное счастье» — Сергей Михайлович (т. 5, с. 110); письма: А. А. Толстой 5 июля 1865 (т. 61, с. 93); А. А. Фету 11—12 ноября 1877 (т. 62, с. 349); В. Г. Черткову 12 ноября 1893 (т. 87, с. 239).

1162. Le vin est tiré, il faut le boire ⟨досл.: Вино откупорено, надо его пить; соотв.: Взялся за гуж, не говори, что не дюж⟩. —*Martel, № 498.*

«Война и мир»— Рапп (т. 11, с. 220, 222); письмо Н. Н. Страхову 10 мая 1874 (т. 62, с. 88).

1163. Les amis de nos amis sont nos amis ⟨Друзья наших друзей — наши друзья⟩.

«Юность»— Софья Ивановна (т. 2, с. 144); «Сусойчик» (т. 25, с. 514); письма: С. П. Яремичу 13 июня 1895 (т. 68, с. 107); В. В. Стасову 2 мая 1896

(т. 69, с. 94); Н. М. Данилевской 19 февраля 1897 (т. 70, с. 28); А. П. Кузнецову 6 сентября 1903 (т. 74, с. 178); надпись на портрете, посланном А. А. Руфину 1 августа 1910 (В. Булгаков. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. М., 1957, стр. 332).

1164. Les bons comptes font les bons amis ⟨Счет дружбы не портит⟩. — *Martel, № 465.*

Письмо Н. М. Нагорнову 29 февраля — 1 марта 1876 (т. 62, с. 252).

1165. Les extrêmes se touchent ⟨Крайности сходятся⟩. — *Martel, № 310.*

«О Шекспире и о драме», черн. (т. 35, с. 570); «На каждый день» 2 декабря (т. 44, с. 327); письма: И. Л. Толстому октябрь 1887 (т. 64, с. 119); Н. Н. Ге (отцу) 21 июля 1891 (т. 66, с. 24); Анжел де Сен-Франсуа (Angèle de St. François) 1 апреля 1892 (т. 66, с. 189); А. М. Бодянскому 14 мая 1893 (т. 66, с. 318); М. А. Стаховичу 1 января 1907 (т. 77, с. 5).

1166. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas ⟨День на день не приходится⟩. — *Martel, № 316.*

«Из кавказских воспоминаний. Разжалованный» (т. 3, с. 83).

1167. Les mariages se font dans les cieux ⟨досл.: Браки совершаются на небесах; смысл: Суженого конем не объедешь⟩. — *Düringsfeld, I, № 314.*

«Война и мир» — гостья Курагиных (т. 9, с. 258); графиня Ростова (т. 10, с. 219); письмо Л. Л. Толстому 19 февраля 1896 (т. 69, с. 44).

1168. Les petites causes produisent de grands effets ⟨досл.: Малые причины производят большие действия⟩. — *Martel, № 314.*

Дневник 17 марта 1847 (т. 46, с. 3).

1169. N'entendent pas de cette oreille ⟨досл.: Не слышать этим ухом⟩.

«Война и мир» — Кутузов (т. 11, с. 172).

1170. Malheureux en jeu — heureux en amour ⟨Несчастлив в игре — счастлив в любви⟩. — *Düringsfeld, II, № 511.*

«Хаджи-Мурат», черн. (т. 35, с. 322).

1171. On recule pour mieux sauter ⟨Разбежаться для того, чтобы лучше прыгнуть⟩. — *Martel, № 348.*

«Патриотизм или мир?» (т. 90, с. 46).

1172. Pierre qui roule n'amasse pas mousse ⟨досл.: Камень, который катится, не обрастает мхом; соотв.: Кто бросается на все, ни в чем не успевает⟩. — *Le Roux de Lincy, I, с. 54.*

Письмо Л. Л. Толстому 15 апреля 1904 (т. 75, с. 74).

1173. Quand on parle du soleil on en voit les rayons ⟨досл.: Когда говорят о солнце, видят его лучи; соотв.: Легок на помине⟩.

«Война и мир»— Жюли Карагина (т. 11, с. 175); «И свет во тьме светит»—Александра Ивановна (т. 31, с. 124).

1174. Qui dit trop ne dit rien ⟨Кто много говорит, тот ничего не говорит⟩.

«Исследование догматического богословия», черн. (рукопись).

1175. Qui s'excuse — s'accuse ⟨Кто извиняется, тот признает свою вину⟩. — *Martel, № 370.*

«Война и мир» — Жюли Карагина (т. 11, с. 177).

1176. Qui trop embrasse mal étreint ⟨Много желать, добра не видать⟩. — *Martel, № 512.*

Письма: Д. А. Хилкову 20 марта 1896 (т. 69, с. 71); В. Г. Черткову 8 августа 1897 (т. 88, с. 46).

1177. Revenir à ses moutons ⟨досл.: Вернуться к нашим баранам; смысл: Возвратиться к прежнему разговору⟩.

«Война и мир», черн.— князь Василий (т. 13, с. 202).

1178. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ⟨Если б молодость знала, если б старость могла⟩. —*Le Roux de Lincy, II, с. 318.*

«Воспоминания» (т. 34, с. 370).

1179. Tous chemins mènent à Rome ⟨Все дороги ведут в Рим⟩. — *Martel, № 210.*

«Война и мир» — Балашев (т. 11, с. 30); письмо В. Г. Черткову 2—3 октября 1900 (т. 88, с. 206).

1180. Tout comprendre c'est tout pardonner ⟨Всё понять—всё простить⟩.

«Война и мир» — княжна Марья (т. 9, с. 128); дневник 10 октября 1900 (т. 54, с. 47); письмо А. Е. и Л. А. Берс 30 июня 1865 (т. 61, с. 91).

1181. Tout vient à point à celui qui sait attendre ⟨Все приходит во время для того, кто умеет ждать⟩. — *Martel, № 523.*

«Война и мир»— Кутузов (т. 11, с. 172); дневник 2 января 1852 (т. 46, с. 241); письма: А. А. Толстой 4 февраля 1866 (т. 61, с. 129); Т. Л. Толстой 3 октября 1896 (т. 69, с. 160); П. И. Бирюкову 2 октября 1900 (т. 72, с. 465); В. Г. Черткову 26—28 марта 1902 (т. 88, с. 258); В. А. Лебрену 24—28 июля 1910 (т. 82, с. 89); В. Г. Черткову 22 октября 1910 (т. 89, с. 228).

1182. Vaut mieux tard que jamais ⟨Лучше поздно, чем никогда⟩. — *Le Roux de Lincy, III, с. 264.*

«Война и мир» — Николай Ростов (т. 12, с. 16); дневник 27 марта 1908 (т. 56, с. 118); записная книжка, март 1908 (т. 56, с. 323).

1183. Vivre et laisser vivre ⟨Жить и давать жить другим⟩.—*Массон, с. 226.*

«Живой труп», черн.— Афросимов (т. 34, с. 450); дневник 15 апреля 1909 (т. 57, с. 49).

ДРЕВНИЕ ПОСЛОВИЦЫ

Латинские

1184. Ars longa, vita brevis ⟨Искусство продолжительно, а жизнь коротка⟩.

Дневник 1 декабря 1904 (т. 55, с. 104); письмо Р. Лёвенфельду 15/28 июля 1902 (т. 73, с. 270).

1185. De mortuis aut bene aut nihil ⟨О мертвых говори добро или ничего⟩.

«Круг чтения» (т. 42, с. 231); «На каждый день» (т. 43, с. 102); Дневник февраль 1902 (т. 54, с. 124); Записная книжка, февраль 1902 (т. 54, с. 269).

1186. Facit dormire quia habet virtutem dormitivam ⟨Усыпляет потому, что обладает снотворной силой⟩.

«Так что же нам делать?» (т. 25, с. 254).

1187. Habeant sua fata libelli pro capite lectoris ⟨Книги имеют свои судьбы в зависимости от головы читателя⟩ [1].

«О том, что называют искусством» (т. 30, с. 263); «Что такое искусство?» (т. 30, с. 77); «О Шекспире и о драме», черн. (т. 35, с. 571); письмо Н. Н. Страхову 1 октября 1872 (т. 61, с. 324).

1188. Quos vult perdere dementat ⟨Кого бог хочет наказать, того лишает разума⟩.

«Война и мир» (т. 11, с. 11); черн. (т. 13, с. 601); «Анна Каренина» — Каренин (т. 18, с. 430).

---

[1] Толстой говорил, что «обыкновенно приводится только первая половина этого изречения: книги имеют свои судьбы,— что лишает его настоящего смысла, а именно, что успех книги зависит от понимания и уровня развития читателей» (С. Л. Толстой. Очерки былого. М., 1956, стр. 86).

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ТОЛСТОГО, В КОТОРЫЕ ВОШЛИ ПОСЛОВИЦЫ[1]

«Азбука» — 1—3, 7, 8, 17, 18, 20, 25, 32, 54, 56—58, 63, 64, 66, 74, 77, 78, 86, 94, 95, 100, 101, 103, 106, 111, 118, 121, 122, 124, 128, 132, 136—139, 141, 163, 165, 172, 173, 175, 182, 204, 208, 211, 216, 217, 218, 227, 233, 235, 238, 244, 259, 260, 271, 272, 276—278, 280—283, 294—296, 302, 306, 308, 311, 315—318, 322, 328, 333, 334, 336, 343, 344, 361, 362, 374, 376, 391, 393, 394, 396, 403, 411, 417, 422, 423, 431—433, 440, 441, 447, 451, 452, 454, 470, 473, 480, 488, 491, 494, 495, 498, 501, 506, 515, 519, 525, 536, 537, 540, 542, 547, 548, 550, 559, 569, 574, 578, 581, 582, 598, 600, 602, 606, 609, 612, 629, 643, 644, 653, 658, 665, 670, 676, 677, 698, 709, 714, 724, 727, 743, 758, 772, 774, 783, 784, 790, 802—804, 807, 811, 812, 815, 821, 824, 827, 829, 832, 844, 845, 851, 857, 865, 866, 868, 869, 872, 885, 895—897, 899, 905—907, 911, 921, 924, 925, 931, 933, 935, 937—940, 945, 954, 965, 966, 969, 972, 973, 976, 981, 986, 987, 989, 990, 994, 1004, 1029, 1030, 1033—1035, 1047, 1048, 1050—1052, 1054—1056, 1058, 1060, 1065.

«Анна Каренина» — 13, 83, 84, 109, 120, 134, 142, 253, 420, 442, 538, 595, 657, 704, 722, 726, 859, 874, 912, 947, 1126, 1129, 1137, 1139, 1141, 1151, 1159, 1188.

«Беседа досужих людей» — 527.

«Беседы с детьми по нравственным вопросам» — 694, 695, 751.

«Благодарная почва» — 561.

«Бог правду видит, да не скоро скажет» (Третья русская книга для чтения) — 54, 311, 358, 595.

«Богу или маммоне» — 620.

«Божеское и человеческое» — 108, 508, 717.

«Великий грех» — 508, 1049.

«Власть тьмы» — 4, 5, 15, 19, 22, 30, 48, 67, 96, 107, 117, 151, 152, 155, 200, 219, 232, 250, 289, 292, 310, 325, 339, 346, 350, 352, 382, 434а, 450, 466, 531, 575, 576, 579, 592, 615, 631, 642, 649, 654, 685, 686, 702, 708, 750, 751, 764, 785, 787, 792, 810, 817, 833, 840, 884, 889, 890, 956, 980, 1009, 1015.

«Война и мир»—29, 38, 65, 102, 147а, 156, 159, 171, 236, 258, 273, 284, 285, 319, 326, 332, 374, 404, 418, 421, 471, 477, 496, 523, 524, 535, 565, 585, 594, 608, 618, 630, 635, 645, 670, 693, 717, 720, 739, 740, 752, 798—800, 813, 839, 855а, 857, 859, 861, 871, 873, 887, 891, 894, 905а, 908, 944, 995, 996, 1010, 1023, 1057, 1059, 1064, 1137, 1147—1149, 1153, 1156, 1158, 1160, 1162, 1169, 1173, 1175, 1177, 1179—1182, 1188.

«Война и мир» (материалы к роману) — 24, 33, 38, 47, 48, 85, 89, 129, 130, 135, 161, 174, 185, 193, 207 246, 247, 261, 337, 418, 429, 430, 460, 476, 477, 479, 485, 486, 489, 532, 534, 552, 586, 587, 603, 608, 616, 617, 621, 645, 647, 658, 699, 715, 739, 740, 748, 749, 752, 762, 769, 800, 801, 813, 838, 843, 856, 867, 873, 875, 891, 898, 901, 943, 977, 996, 1010, 1062, 1125.

«Волк и мужик» (Четвертая русская книга для чтения) — 881.

«Воскресение» — 15, 102, 205, 338, 402, 464, 644, 711, 759, 781, 783, 809.

«Воспитание и образование» — 420.

«Воспоминания» — 1178.

«Вражье лепко, а божье крепко» — 145.

«Где любовь, там и бог» — 167, 585.

«Голод или не голод?» — 564.

«Грамматика для сельской школы» — 11, 12, 42, 49, 55, 97, 448, 451, 625, 662, 716, 951.

«Два брата» (Вторая русская книга для чтения) — 133, 348, 610, 729.

«Декабристы» — 402.

«Детская мудрость» — 270, 689, 1136.

«Детство» — 708, 1150.

«Для души»—53.

«Для чего люди одурманиваются?» — 1032.

Дневники — 211, 231, 292, 297, 341, 367, 425, 512, 514, 594, 595, 671, 695, 706, 761, 857, 903, 910, 929, 1000, 1005, 1007, 1094—1096, 1099, 1100, 1102, 1104—1108, 1113, 1115, 1116, 1119, 1120, 1125, 1132, 1133, 1135—1137, 1144, 1148, 1151, 1168, 1180—1185.

«Дорого стóит» — 695.

〈Драматическая обработка легенды об Аггее〉 — 809.

«Дьявол» — 402, 409.

«Единственное возможное решение земельного вопроса» — 872.

«Единственное средство» — 405, 872, 1139.

«Ермак» (Вторая книга для чтения)—218.

«Живой труп» — 233, 1143, 1183.

«Жил в селе человек праведный...» — 385, 465.

«Закон насилия и закон любви» — 154, 196.

«Записки маркера» — 232а.

«Записки сумасшедшего» — 927.

[1] Цифры указывают номера пословиц в списке.

«Записки христианина» — 757, 862.
Записные книжки — 6, 9, 21, 23, 26, 27, 36, 37, 39, 43, 44, 48, 50, 52, 60, 68, 70, 71, 73, 76, 81, 82, 87, 88, 91, 92, 98, 105, 112, 113, 116, 127, 140, 143, 144, 148, 149, 158, 160, 162, 166, 169, 170, 177, 178, 180, 186, 188, 190—192, 194, 195, 197, 198, 201—203, 206, 211—214, 221—223, 229, 230, 234, 239, 240, 242, 245, 251, 252, 254, 255, 261, 264, 265, 279, 286, 288, 293, 297—299, 301, 303, 305, 309, 312—314, 320, 324, 327, 337, 342, 347, 353—355, 357, 359, 360, 364—366, 368—371, 373—375, 383, 388, 390, 392, 395, 398—400, 413а, 414, 416, 424, 438, 446, 453, 455, 457—459, 461—464, 468, 474, 481—484, 487, 497, 505, 507, 509, 510, 516—518, 530, 543, 545, 551, 554, 556—558, 560, 562, 566, 567, 577, 579, 583, 584, 591, 593, 599, 601, 604, 605, 611, 613, 622, 623, 627, 632, 637, 641, 646, 648—650, 655, 663, 666—668, 673, 681, 682, 685, 687, 688, 690, 696, 697, 700, 710, 712, 718, 721, 723, 725, 728, 730—732, 734—736, 738, 746, 751, 753, 755, 756, 760, 770, 773, 776, 780, 782, 786, 795—797, 816, 818, 825, 826, 828, 831, 835—837, 846, 850, 853, 864, 877, 879, 882, 888, 893, 902, 904, 909, 915, 917—919, 922, 928, 932, 941, 942, 946, 955, 963, 970, 974, 975, 978, 979, 982, 983, 988, 993, 999, 1001, 1008, 1013, 1014, 1024, 1036, 1038, 1041, 1043, 1044, 1061, 1063, 1067, 1070, 1071, 1073, 1074, 1076, 1078, 1079—1081, 1083, 1085, 1086, 1101, 1136, 1151, 1182, 1185.
«Зараженное семейство» — 13, 40, 51, 97, 109, 300, 511, 741, 985, 1025.

«И свет во тьме светит» — 228, 672, 717, 1140, 1145, 1154, 1173.
«Идиллия» — 572, 678, 997.
«Из кавказских воспоминаний. Разжалованный» — 538, 1166.
«Ильяс» — 1021.
«Исследование догматического богословия» — 1174.

«К рабочему народу» — 872, 1049.
«Казаки» — 115, 181, 237, 410, 971.
«Как мы уезжали из Москвы» (Книги для чтения, черн.) — 698, 709.
«Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас, или нам у крестьянских ребят?» — 431.
«Корней Васильев» — 402.
«Крейцерова соната» — 46, 102, 287, 329, 549, 555, 936.
«Крестьянские работы в „Календаре с пословицами на 1887 год“» — 39, 256, 307.
«Круг чтения» — 164, 233, 291, 446, 671, 673, 707, 719, 763, 779, 814, 848, 863, 892, 1087—1093, 1097, 1101, 1103, 1109—1112, 1114, 1118, 1121, 1122, 1124, 1125а, 1185.
«Кто прав?» — 1157.
«Кто убийцы? Павел Кудряш» — 120, 402.

«Любите друг друга» — 90, 761, 768.

«Мать» — 1021.
«Метель» — 512.
«Миташа» — 805.
«Много ли человеку земли нужно?» — 10, 996.
«Молитва» — 471.
«Море» (Первая русская книга для чтения) — 407.
«Мысли мудрых людей на каждый день» — 146, 401, 443, 445, 1088—1091, 1093.

«На каждый день» — 34, 53, 164, 291, 297, 406, 446, 605, 689, 694, 695, 719, 722, 751, 763, 779, 848, 892, 1049, 1088, 1089, 1098, 1101, 1103, 1121, 1123, 1148, 1165, 1185.
⟨Начало фантастического рассказа⟩ — 275.
«Наше жизнепонимание» — 580.
«Не могу молчать» — 261.
«Неизбежный переворот» — 1130, 1155.
«Нет в мире виноватых» — 20, 771, 907.
«Неужели это так надо?» — 568, 694, 695.
«Новая азбука» — 1—3, 8, 16, 25, 56, 57, 63, 74, 114, 118, 128, 139, 172, 175, 211, 216, 217, 244, 283, 296, 302, 304, 306, 316, 317, 333, 344, 345, 349, 362, 374, 376, 386, 387, 394, 411, 413, 451, 452, 475, 500, 501, 504, 513, 515, 519, 526, 536, 537, 541, 542, 548, 559, 569, 571, 597, 600, 624, 652, 664, 683, 703, 719, 720, 724, 767, 784, 791, 808, 842, 851, 857, 872, 899, 935, 475, 1017.

«О безумии» — 211.
«О значении русской революции» — 1049.
«О науке» — 316, 1003.
«О прогрессе и образовании» — 187.
«О свободном возникновении и развитии школ в народе» — 1022.
«О социализме» — 1135.
«О том, что называют искусством» — 636, 1187.
«О Шекспире и о драме» — 1048, 1165, 1187.
«От ней все качества» — 123, 248, 490, 596, 852, 1006.
«Отец Василий» — 41, 65.
«Отрочество» — 709, 1006.
⟨Отрывки рассказов из деревенской жизни⟩ — 224, 493, 834, 1027, 1031.
«Отчего зло на свете» (Четвертая русская книга для чтения) — 670.
«Охота пуще неволи» (Четвертая русская книга для чтения) — 701.

«Патриотизм или мир?» — 1171.
«Первый винокур» — 215, 220, 249, 546, 661, 1057.
Письма — 35, 45, 59, 69, 83, 103, 109, 125, 131, 148, 189, 207, 210, 211, 225, 233, 248, 253, 261, 274, 291, 316, 323, 378, 381, 412, 415, 435, 449, 470, 504, 514, 515, 521, 528, 529, 544, 553, 565, 605, 615, 680, 683, 688, 720, 722, 726, 733, 754, 761, 835, 852, 854, 855, 860, 870, 883, 907, 914, 916, 926, 952, 968, 1000, 1003, 1004, 1006, 1007, 1011, 1017, 1040, 1045, 1048, 1117, 1125, 1127, 1128, 1131—1136, 1138, 1142, 1146,

1148, 1151, 1155, 1161—1165, 1167, 1172, 1176, 1179, 1180, 1181, 1184, 1187.
«Плоды просвещения» — 127, 209, 713, 742, 872.
«По поводу статьи П. Струве» — 1155.
«Поликушка» — 243, 351, 380, 626, 638, 691, 878.
«Понятие о жизни»— 584, 656, 930, 1016.
«Пора понять» — 435.
«Почему христианские народы вообще и в особенности русский находятся теперь в бедственном положении» — 372.
Предисловие к книге: «Japanese notion of european political economy» — 614.
Предисловие к статье В. Г. Черткова «О революции» — 1155.
«Прогресс и определение образования» — 998.
«Путь жизни» — 14, 53, 61, 62, 164, 291 297, 605, 651, 689, 695, 719, 763, 779, 817, 822, 892, 1049, 1088, 1098, 1101, 1103, 1121.

«Работник Емельян и пустой барабан» — 607.
«Рабство нашего времени» — 1151.
«Разжалованный» — см. «Из кавказских воспоминаний».
«Религия и наука»— 680.
«Речь о народных изданиях» — 69, 916.
Роман из времен Петра I — 157, 226, 781, 849.
«Роман русского помещика» — 1021.

«Сборник пословиц». Материалы — 28, 31, 34, 72, 75, 99, 104, 107, 110, 119, 126, 147, 150, 168, 176, 179, 183, 199, 217, 225, 241, 257, 262, 263, 266—268, 290, 321, 330, 331, 335, 341, 356, 377, 379, 384, 389, 397, 400, 408, 409, 419, 426—428, 434, 436, 437, 439, 444, 456, 467, 469, 472, 492, 494, 499, 502, 503, 520, 522, 563, 570, 573, 588—590, 594, 619, 628, 633, 634, 639, 640, 659, 660, 674, 679, 684, 692, 705, 722, 737, 744, 745, 747, 765, 774, 777, 778, 788, 789, 793, 806, 819, 841, 847, 858, 880, 886, 913, 920, 923, 934, 948—950, 952, 953, 957—962, 964, 984, 990, 991, 1002, 1018, 1019, 1028, 1039, 1053.
«Свечка» — 340, 739, 1046.
«Севастополь в августе 1855 года» — 1020.
«Семейное счастье» — 1161.
«Сказка об Иване дураке» — 411, 794, 823.
«Смерть Ивана Ильича» — 363, 1152.
«Собеседники» — 680.
«Сто лет» — 55, 80, 153, 184, 598, 669, 675, 1026.
«Сусойчик» — 1163.

«Так что же нам делать?» — 34, 79, 422, 478, 539, 820, 876, 900, 1186.
«Три дня в деревне» — 48.

«Упустишь огонь — не потушишь» —967, 1035, 1042.

«Хаджи-Мурат» — 93, 269, 412, 662, 764, 766, 775, 992, 1066, 1068, 1069, 1072, 1075, 1077, 1082, 1084, 1125, 1170.
«Хозяин и работник» — 218, 549.

«Царство божие — внутри вас» — 803.

«Чем люди живы» — 26, 186, 446, 533, 751.
«Что такое искусство?» — 594, 1012, 1187.

«Юность»—1163.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Все ссылки на тексты Толстого даются по изданию: Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений (в 90 томах). Под общ. ред. В. Г. Черткова. М.— Л., Гослитиздат, 1928 — 1959, с указанием только томов и страниц.

«Летопись», I—Н. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. 1828—1890. М., 1958.

«Летопись», II—Н. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. 1891—1910. М., 1960.

АТ — Архив Толстого Государственного Музея Л. Н. Толстого (Москва).
ГИМ — Государственный Исторический музей (Москва).
ГМТ — Государственный Музей Л. Н. Толстого (Москва).
ГПБ — Государственная Публичная библиотека РСФСР имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).
ДП — Департамент полиции (фонд).
ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР (Ленинград).
ЛБ — Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина (Москва).
ОО — Особый отдел Департамента полиции (фонд).
ЦГАЛИ —Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).
ЦГИАЛ—Центральный государственный исторический архив (Ленинград).
ЦГИАМ — Центральный государственный исторический архив (Москва).

СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОЙ КНИГИ

ОТ РЕДАКЦИИ 5

СЛОВО О ТОЛСТОМ

РЕЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ Л. М. ЛЕОНОВЫМ, 19 НОЯБРЯ 1960 г. В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ СССР НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ, ПОСВЯЩЕННОМ 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ТОЛСТОГО 7

ТОЛСТОЙ-ХУДОЖНИК

ДОКЛАД, ПРОЧИТАННЫЙ В. В. ЕРМИЛОВЫМ 30 ИЮНЯ 1960 г. НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПАМЯТИ ТОЛСТОГО В ВЕНЕЦИИ 23

СТАТЬИ

МИРОВОЗЗРЕНИЕ ТОЛСТОГО

Статья В. Ф. Асмуса 35

ТОЛСТОЙ И РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX в.

Статья Л. Д. Опульской 103

ТОЛСТОЙ И СОВРЕМЕННЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ПИСАТЕЛИ

Статья Т. Л. Мотылевой 141

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ИЗУЧЕНИЯ ТОЛСТОГО

Статья К. Н. Ломунова и Б. С. Мейлаха 185

ИЗ ИСТОРИИ ТВОРЧЕСТВА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ «КАЗАКОВ»

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ «КАВКАЗСКОГО РОМАНА» И «КАЗАЧЬЕЙ ПОВЕСТИ» (1856—1858)

Публикация П. А. Журова 231

ТВОРЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ПОВЕСТИ «ХОЛСТОМЕР»

РАННЯЯ РЕДАКЦИЯ (1861—1863)

Статья и публикация Л. Д. Опульской 257

ПОИСКИ НАЧАЛА РОМАНА «ВОЙНА И МИР»

ПЯТНАДЦАТЬ НАБРОСКОВ (1863—1864)

Статья и публикация Э. Е. Зайденшнур 291

К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ «АННЫ КАРЕНИНОЙ»

ДВА РАННИХ НАБРОСКА РОМАНА (1873)

Статья и публикация В. А. Жданова 397

НАЧАЛО НЕЗАВЕРШЕННОГО РАССКАЗА «ЗАПИСКИ СВЯЩЕННИКА» (1909)

Публикация В. С. Мишина 443

ПУБЛИЦИСТИКА И КРИТИКА

«ЦАРСТВО БОЖИЕ ВНУТРИ ВАС»
ИЗ РУКОПИСЕЙ ДВЕНАДЦАТОЙ ГЛАВЫ (1890)
Предисловие М. Н. Зозули
Статья и публикация Н. В. Горбачева 445

ПОСЛЕСЛОВИЕ К СТАТЬЕ О ГОНЕНИИ НА ДУХОБОРОВ (1895)
Публикация В. С. Мишина 475

«РАБСТВО НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ (1900)
Предисловие К. Н. Ломунова
Публикация Е. С. Серебровской 477

ИЗ РУКОПИСЕЙ СТАТЬИ «О ШЕКСПИРЕ И О ДРАМЕ» (1903—1904)
Публикация Е. С. Серебровской 487

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ И ПИСЬМА

ТРИ БИОГРАФИЧЕСКИХ ОЧЕРКА ТОЛСТОГО
ОЧЕРКИ, СОСТАВЛЕННЫЕ СОФЬЕЙ АНДРЕЕВНОЙ СО СЛОВ ТОЛСТОГО И ИМ ВЫПРАВЛЕННЫЕ
Публикация Е. С. Серебровской 497

ПИСЬМА ТОЛСТОГО
Е. Н. АХМАТОВОЙ, Е. В. БАРСОВУ, С. И. БИРЮКОВУ, П. П. БОТКИНУ, А. А. ВАСИЛЬЕВУ, Ф.-Д. ГАРРИСОНУ, В. К. ГЕЙНСУ (В. ФРЕЮ), В. ГЕНКЕЛЮ, Г. ДРОЗУ, С. П. ДЯГИЛЕВУ, Е. Д. ЗАГОСКИНОЙ, В. В. ИВАНОВУ, Э. КЛЕРКУ, Э. КОРНМАНУ, Р. ЛЁВЕНФЕЛЬДУ, В. А. и М. А. МАКЛАКОВЫМ, В. А. ОЛСУФЬЕВУ, М. ПЕРРО, С. Т. СЕМЕНОВУ, Н. Л. СОМОВУ, К. С. СТАНИСЛАВСКОМУ, И. Д. СЫТИНУ, И. Л. и М. Н. ТОЛСТЫМ, В. Г. ЧЕРТКОВУ, Т.-А. ЭДИСОНУ
Публикация М. Я. Блинчевской, Р. Я. Бусс, Т. Н. Волковой, Н. Н. Гусева, Р. Б. Заборовой, З. Н. Ивавой, Н. А. Леонтьевского, В. С. Мишина, М. И. Перпер, И. А. Покровской, Л. С. Пустильник, Х. Раппиха, С. А. Розановой, А. Л. Смоляк и В. Эджертона 519

ФОЛЬКЛОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ, ДНЕВНИКАХ И ПИСЬМАХ ТОЛСТОГО
Публикация Э. Е. Зайденшнур 561

Список условных сокращений 640

В КНИГЕ 103 ИЛЛЮСТРАЦИИ И 2 ВКЛЕЙКИ

«Литературное наследство», том 69,
кн. 1-я. Лев Толстой

Утверждено к печати
Ученым советом Института мировой литературы
им. А. М. Горького
Академии наук СССР

Редактор издательства *А. Т. Лифшиц*
Технический редактор *Г. Н. Шевченко*
Корректор *В. Г. Богословский*

РИСО АН СССР № 1—101В. Сдано в набор 23/XII 1960 г.
Подп. в печать 5/X 1961 г. Формат бум. 70×108¹/₁₆
Печ. л. 40,25+2 вкл. У л. п. л. 55,41
Уч.-изд. лист. 55,7 (55,5+0,2 вкл.) Т-03466
Тираж 7000 экз. Издат. № 5447. Тип. заказ 1369

Адрес редакции: Москва, Г-19, Волхонка, 18.
Телефон Г 5-29-66

Цена 6 руб. за 2 книги

Издательство Академии наук СССР.
Москва, Б-62, Подсосенский пер., д. 21

2-я типография Издательства АН СССР.
Москва, Г-99, Шубинский пер., д. 10

СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОЙ КНИГИ, ОДНОВРЕМЕННО ВЫХОДЯЩЕЙ В СВЕТ

ВОСПОМИНАНИЯ И ДНЕВНИКИ

ИЗ РУКОПИСИ ВОСПОМИНАНИЙ ХУДОЖНИКА П. Ф. ВИМПФЕНА О ТОЛСТОМ
Публикация Л. Н. Кузиной

ТОЛСТОЙ В 1880-е ГОДЫ. ЗАПИСКИ И. М. ИВАКИНА
Вступительная статья С. Л. Толстого
Публикация Н. Н. Гусева и В. С. Мишина

ВСТРЕЧИ С ТОЛСТЫМ
Из воспоминаний П. И. Нерадовского

ТОЛСТОЙ В ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ СВОЕЙ ЖИЗНИ. ПО ЗАПИСЯМ В ДНЕВНИКЕ М. С. СУХОТИНА
Публикация Л. Н. Кузиной

ДОЧЬ ТОЛСТОГО ОБ ЕГО УХОДЕ И СМЕРТИ
Воспоминания Т. Л. Сухотиной-Толстой
Предисловие Б. С. Мейлаха

ПОСЛЕДНИЕ СЮЖЕТЫ
Из воспоминаний А. П. Сергеенко

РАЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ТЕКСТЕ ДРАМЫ «ВЛАСТЬ ТЬМЫ»
Две полемические заметки
1. Поправки Толстого в издании «Власть тьмы» 1887 г.
Сообщение В. Ф. Булгакова
2. По поводу сообщения В. Ф. Булгакова
Реплика Н. К. Гудзия

РЕВОЛЮЦИОНЕР-НАРОДНИК О ТОЛСТОМ
Две забытые статьи С. М. Степняка-Кравчинского
Публикация М. И. Перпер

ТОЛСТОЙ О СТУДЕНЧЕСКОЙ СТАЧКЕ 1899 г. ПИСЬМО Н. М. ЕЖОВА К А. А. СУВОРИНУ
Сообщение Н. И. Гитович

ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА ВОКРУГ СМЕРТИ ТОЛСТОГО
Вступительная статья Г. М. Лифшица
Публикация Г. М. Лифшица и А. Л. Смолян

НЕОПУБЛИКОВАННАЯ ЛЕКЦИЯ А. В. ЛУНАЧАРСКОГО О ТОЛСТОМ 1928 г.
Предисловие К. Н. Ломунова
Публикация В. Д. Зельдовича

ОБЗОРЫ

О ПОЛНОМ СОБРАНИИ СОЧИНЕНИЙ ТОЛСТОГО («ЮБИЛЕЙНОМ»)
Критический обзор Н. К. Гудзия. Н. Н. Гусева, В. А. Жданова, Э. Е. Зайденшнур, В. С. Мишина, А. И. Опульского, Л. Д. Опульской, Н. С. Родионова, С. А. Розановой и А. И. Шифмана

Цена за две книги
6 руб.

ЛИТЕРАТУРНОЕ
НАСЛЕДСТВО

ТОМ 69
В ДВУХ КНИГАХ

Цена за две книги
6 рублей

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР